This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

P Slav 170.25

Bd. Jan. 1895.

Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER,

OF BOSTON,

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER,

(Class of 1817),

29 Sept. – 31 Oct. 1894.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ-

ЛИТЕРАТУРЫ.

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 9-я.

СЕНТЯБРЬ, 1894.

5

ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 5 лин., 28.

ИСТОРІЯ, БІОГРАФІЯ, МЕМУАРЫ, ПЕРЕПИСКА, ПУТЕШЕСТВІЯ, ПОЛИТИКА, ФИЛОСОФІЯ, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО.

КНИГА 9-я. — СЕНТЯБРЬ, 1894.

Стр.

I.—ЛЕНОЧКА.—Повѣсть.—**Д. Ц—ва.** 5

II.—Н. В. ГОГОЛЬ. — Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г. — XXI-XXVII.—**В. И. Шенрока** 55

III.—ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗІИ.—Повѣсть.—XV-XX.—**В. Дмитріевой** 93

IV.—ИППОЛИТЪ ТЭНЪ въ исторіи якобинцевъ.—I.—**В. И. Герье** 142

V.—ЗАЛОЖНИКЪ.—The Bondman, by Hall Caine.—Романъ.—Книга первая.—I-XIII.—Съ англійскаго.—**А. Б—г** 192

VI.—ЭКОНОМИЧЕСКІЙ МАТЕРІАЛИЗМЪ ВЪ ИСТОРІИ. — IX-XIII. — **И. И. Карѣева** 249

VII.—ИСПРАВЛЕНІЕ КНИГЪ И НАЧАЛО РАСКОЛА.—**А. И. Пыпина** 278

VIII—ПОЗЕМЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ.—III-IV.—**Л. З. Слонимскаго** 328

IX.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Бракосочетаніе Е. И. В. Вел. Кн. Ксеніи Александровны.—Гласность процесса у насъ и во Франціи. — Судъ присяжныхъ и французскій законъ объ анархистахъ. — Присяга присяжныхъ засѣдателей. — Дальнѣйшее распространеніе новыхъ судебно-административныхъ порядковъ.—Нѣчто о законности.—Сельскіе рабочіе.—Льготы по образованію при отбываніи воинской повинности 348

X.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Современные международные вопросы. — Недавнія событія и перемѣны въ Сербіи. — Политическія дѣла Болгаріи. — Стамбуловскій режимъ и его послѣдствія. — Болгарское общественное мнѣніе. — Школьное дѣло и печать въ княжествѣ. — Вопросъ о русско-болгарскомъ сближеніи. — Странныя требованія нѣкоторыхъ газетъ.—Японско-китайская война и ея значеніе 367

XI.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ шести томахъ. — Д. И. Писаревъ, его жизнь и литературная дѣятельность, Евг. Соловьева. — **Т.** — Празднованіе Имп. Казанскимъ университетомъ столѣтней годовщины дня рожденія Н. И. Лобачевскаго.—**А. В.**—Путешествіе на Востокъ Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича, 1890—1891. Авторъ-издатель кн. Э. Э. Ухтомскій. Части 1—3.—**Вл. С.**—Новыя книги и брошюры 382

XII.—СЪ КНИГАМИ ПО ЯРМАРКАМЪ.—Письмо изъ полтавской губерніи.—**В. Яковенко** 401

XIII.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. — I. Ginisty. L'Année littéraire. —II. Journal des Goncourt. Tome 7-me.—**З. В.** 419

XIV.—НЕКРОЛОГЪ. — Е. И. Утинъ †. **К. К. Арсеньева** 432

XV.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ. — Наступилъ ли „добрый часъ“ общей, дружной работы всѣхъ видовъ начальной школы? — Еще объ офицерскихъ дуэляхъ. — Процессъ Баготурова. — Городское самоуправленіе въ пермской губерніи.—Литературный фондъ.—Журналы и газеты 437

XVI.—БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Бесѣды съ дѣтьми о природѣ, Арабеллы Бёрклей. — Исторія германскаго народа, К. Лампрехта, т. I, ч. 1 и 2. — — Рѣчь государственнаго обвинителя въ уголовномъ судѣ, А. Левенстима. —Законы о судопроизводствѣ и взысканіяхъ гражданскихъ, состав. М. П. Шафиръ.

XVII.—ОБЪЯВЛЕНІЯ—I-XVI стр.

☛ **Подписка на второе полугодіе и послѣднюю четверть года въ 1894 г.** ☚
(См. подробное объявленіе о подпискѣ на послѣдней страницѣ обертки.)

ВѢСТНИКЪ

ЕВРОПЫ

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ V.

ЖЪ LVIII. — ТОМЪ CCCXLIII. — 1/13 СЕНТЯБРЯ, 1894.

ВѢСТНИКЪ
ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ – ПОЛИТИКИ – ЛИТЕРАТУРЫ

СТО-ШЕСТЬДЕСЯТЪ-ДЕВЯТЫЙ ТОМЪ

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ

ТОМЪ V

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала: на Васильевскомъ Острову, 5-я линія, № 22.

Экспедиція журнала: на Вас. Остр., Академич. переулокъ, № 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1894

674 53/2 ~~131.84~~
~~Slav 30.2~~
1894. Sept. 29 – Oct. 31.
P Slav 176.25 Sever. fund.

(2229)

ЛЕНОЧКА

ПОВѢСТЬ.

I.

Леночка Дольская родилась въ Петербургѣ; отецъ ея служилъ въ гвардейскомъ полку; мать выѣзжала; но скоро, по счетамъ не только портныхъ и каретниковъ, но даже мясныхъ и зеленныхъ лавокъ, Дольскіе убѣдились, что продолжать жить такимъ образомъ невозможно. Распродавши наскоро все, что было можно, и расплатившись съ самыми неотложными долгами, они отправились въ смоленскую деревню поправлять дѣла и заниматься хозяйствомъ.

Дохода имѣнье почти не давало, но оно давало цензъ, и Владиміръ Ивановичъ сейчасъ же былъ выбранъ мировымъ судьей, и пока онъ былъ живъ, семья перебивалась со дня на день: въ домѣ были горничныя и гувернантки, хотя, конечно, дешевыя; на конюшнѣ стояли лошади, одна называлась даже верховой, хотя при случаѣ ей приходилось возить не только бѣговыя дрожки, но и бочку съ водой.

Такъ прошло почти десять лѣтъ, когда со смертью Владиміра Ивановича все измѣнилось.

Въ первую минуту вдова его совсѣмъ растерялась, но она не лишена была практическаго смысла и, разобравшись въ бумагахъ и потолковавъ съ приказчикомъ, сообразила, что они не совсѣмъ еще нищіе.

Съ этой минуты всѣ ея силы и все ея вниманіе сосредоточились на экономіи и на хозяйствѣ; дѣтьми, которыхъ, къ счастью,

у нея было только двое, заниматься было некогда; мальчика ей удалось пристроить на казенный счетъ въ закрытое заведеніе; оставалась одна Леночка, но и ту, Богъ дастъ, можно будетъ помѣстить въ институтъ, а ко времени ея выпуска дѣла ихъ могутъ поправиться.

Сама Леночка сначала не тяготилась своимъ положеніемъ; правда, куклы ея стали калѣками, платья обносились, и она выросла изъ нихъ, но никто не бранилъ за чернильныя пятна, не требовалъ повторенья уроковъ, она могла утромъ бѣгать по саду сколько угодно, а вечеромъ сколько угодно зачитываться старыми журналами въ бывшемъ кабинетѣ отца, превратившемся въ ея классную.

Раза два, три въ недѣлю Аристархъ Николаевичъ, готовившій къ экзамену ея брата и самъ готовившійся къ экзамену зрѣлости, давалъ и ей уроки русскаго языка, математики и всѣхъ вообще предметовъ; но этихъ уроковъ она не боялась и не скучала за ними, какъ прежде съ гувернанткой. Правда, что Аристархъ Николаевичъ, не даромъ одолѣвшій весь семинарскій курсъ, несмотря на свою любовь къ простотѣ и естественности, выражался нѣсколько витіевато и не совсѣмъ ясно, но Леночка не смущалась этимъ, тѣмъ болѣе, что когда она отвѣчала урокъ, онъ только одобрительно покачивалъ головой: „Такъ, такъ, барышня; недурно, очень недурно, только читать побольше надо,—конечно, серьезныхъ книгъ; расширить свой умственнный кругозоръ, очистить его отъ всякаго стараго хлама; я принесу вамъ двѣ, три книжки, да и тутъ, въ шкафу, кое-что найдется“. И Леночка читала. Весною братъ ея былъ принятъ въ приготовительный классъ, но учитель его провалился на университетскомъ экзаменѣ и продолжалъ къ нему готовиться и развивать единственную свою ученицу. Неудача Аристарха Николаевича удивила Леночку, но не поколебала его авторитета; Марья Петровна, напротивъ того, совсѣмъ разочаровалась въ его умѣ и познаніяхъ и хотѣла даже достать для Леночки другого учителя; но найти его было негдѣ, да и не хотѣлось ссориться съ отцомъ Николаемъ. Не нравилось ей, что Аристархъ Николаевичъ, послѣднее время, сталъ относиться къ своимъ обязанностямъ слишкомъ добросовѣстно, что уроки продолжались иногда слишкомъ долго, и она то сама заходила въ классную, то посылала туда старую няню, Панкратьевну; но слѣдить постоянно за уроками дочери ей было некогда.

Впрочемъ, особенно тревожиться причины не было; черезъ два, три мѣсяца, Аристархъ Николаевичъ уѣдетъ въ Москву, а

если опять провалится на экзаменѣ, такъ пострижется въ діаконы или поступитъ писцомъ въ управу. Эта перспектива успокоивала Марью Петровну и заставляла ее смотрѣть сквозь пальцы на слишкомъ продолжительные уроки и частыя посѣщенія учителя.

Она не ошиблась. Въ концѣ марта, только-что солнце стало сильнѣе пригрѣвать поля, покрытыя снѣгомъ, не успѣли еще открыться озими и тронуться зимній путь, какъ Аристархъ Николаевичъ пришелъ проститься со своей ученицей.

Леночка ждала его и волновалась. Не то, чтобы она его любила и очень жалѣла о немъ, но съ тѣхъ поръ, какъ кончилась ея глухая борьба за независимость, съ тѣхъ поръ, какъ Марья Петровна махнула рукой на ея воспитаніе и предоставила ей самой одѣваться, читать и гулять какъ и когда вздумается, Леночкѣ стало скучно, ей не съ кѣмъ было не только посмѣяться, но даже поспорить; подругъ у нея не было; тѣ двѣ, три дамы, которыя продолжали разъ въ мѣсяцъ обмѣниваться визитами съ Марьей Петровной, привозили иногда своихъ дочерей и приглашали ее изъ вѣжливости; но Леночка не знала, что дѣлать въ такихъ случаяхъ.

Она смотрѣла свысока на этихъ дѣвочекъ, не вышедшихъ еще изъ повиновенія своимъ гувернанткамъ и нянькамъ и не читавшихъ ничего, кромѣ своихъ учебниковъ и сказокъ Андерсена. Была у нея одна пріятельница, Вѣра Соханская, но въ прошломъ году она поступила въ гимназію и теперь уже должна была перейти въ седьмой классъ.

— Марьи Петровны нѣтъ дома? — спросилъ Аристархъ Николаевичъ, входя въ классную и стряхая снѣгъ со своей шапки.

— А вамъ ее нужно?

— Совсѣмъ не нужно, просто спросилъ къ свѣденію.

Оба замолчали. Аристархъ Николаевичъ грузно опустился въ кресло. Леночка продолжала стоять, какъ бы ожидая, что онъ скажетъ.

— Ну-съ, Елена Владиміровна, превзошли мы съ вами всѣ науки. Завтра самъ на судъ праведный отправляюсь: испилатятъ они меня порядкомъ, зато узнаю, созрѣлъ ли мой умишко для болѣе серьезнаго дѣла, или надо еще подолбить Платона да Цицерона.

Но замѣтивъ, что ученица его продолжаетъ молчать и даже не улыбается, онъ перемѣнилъ тонъ.

— А вы что намѣрены дѣлать? здѣсь киснуть будете или въ пансіонъ отвезутъ танцамъ и музыкѣ обучаться, совершенствоваться въ иностранныхъ діалектахъ?

Леночка покраснѣла.

— Вы отлично знаете, что отвезти меня никуда не отвезутъ, если я сама не захочу,—сказала она,—а заниматься серьезно, здѣсь ли, или въ другомъ мѣстѣ, я хочу и буду.

— Вотъ это такъ, за это люблю, милая барышня; только заниматься-то здѣсь никакъ невозможно: что вы тутъ увидите? Кто вамъ объяснитъ что-нибудь? путной книги на сто верстъ кругомъ не разыщете; тѣ, что въ шкафу были, — давно перечитаны.

Леночка молчала.

— Дѣвушка вы развитая, вамъ бы черезъ годъ, черезъ два, за серьезную работу приняться можно, на курсы бы поступить могли, не всѣмъ же баклуши бить, съ кухаркой ругаться, да цвѣточки по канвѣ вышивать.

— Я объ этомъ уже думала.

— Думать-то вы думали, да время не ушло бы за думаньемъ; теперь вы кое-что знаете, а потомъ, пожалуй, все перезабудете; а времена теперь такія, что того и гляди не только на курсы, а на постоялые дворы не велятъ пускать безъ экзамена. Вотъ Устинья Петровна, та молодецъ, сама пройдетъ куда угодно, да и другихъ проведетъ, даромъ что въ институтѣ шесть лѣтъ подъ замкомъ просидѣла. — Аристархъ Николаевичъ засмѣялся.

— Какая Устинья Петровна?

— Рыжова. Да вы ее вѣрно видѣли? третьяго года она сюда на вакаціи пріѣзжала, дочь нашего станового.

— Чѣмъ же она молодецъ?

— Развѣ вы не знаете, какъ она своего родителя отдѣлала? Сообщила она ему, что хочетъ на врачебные курсы готовиться; Петръ Ивановичъ всполошился: „Чтобъ дочь моя на эти дурацкіе курсы ходила, да, пожалуй, еще о политикѣ разсуждать стала и въ какую-нибудь исторію попала!—и думать не смѣй, никогда не позволю! Въ институтѣ танцамъ и музыкѣ на казенный счетъ обучаться,—это сколько угодно, сиди хоть по два года въ каждомъ классѣ, пока не выгонятъ“. Устинья Петровна видитъ—со старикомъ каши не сваришь, спорить не стала:—„Воля ваша“,—какъ будто согласилась съ нимъ даже. Только уѣхалъ онъ по дѣламъ въ станъ, приходитъ проситель:—„Отца дома нѣтъ. Заходите завтра; можетъ быть, вернется“.—„Какой завтра! дойдетъ дѣло—суда не вернешь, разорятъ меня совсѣмъ; ради Бога помогите, пошлите за батюшкой; завтра же дѣло уладить надо; вотъ я и деньги принесъ на хлопоты,—ужъ не откажите“.—„Хорошо, я постараюсь, я передамъ отцу“.

На другой день возвращается Петръ Ивановичъ—ни Устиньи Петровны, ни денегъ.

— Какъ? Неужели украла?

— Украла? нѣтъ, просто взяла и даже предупредила Петра Ивановича, что дастъ имъ полезное назначенье. Сумма была довольно круглая,—она и отправилась въ Москву готовиться къ экзамену.

— Ну, а что же Петръ Ивановичъ?

— Разбѣсился ужасно: „Въ кандалы закую, въ монастырь отдамъ!“—а потомъ успокоился; самъ ея бумаги изъ института выписалъ и видъ на жительство ей послалъ.

— Какъ это странно!

— Ничего страннаго. Что-жъ ему черезъ полицію дочь свою изъ Москвы вытребовать? До губернатора дойдетъ—хорошъ становой,—скажутъ, — за собственной дочерью усмотрѣть не могъ. Да и деньги пропали сомнительныя: разыщешь триста рублей, а того и гляди самъ подъ судъ угодишь; ужъ лучше сидѣть смирно.

Леночка была поражена; въ ея головѣ не укладывалось то, что она слышала: хорошо это или дурно?

— Ну, и что-жъ, выдержала она экзаменъ?—спросила она наконецъ.

— Блистательно. Самъ Иванъ Егоровичъ замѣтилъ, пригласилъ къ себѣ и долго съ ней разговаривалъ; теперь она сотрудничаетъ въ „Думѣ“. Въ прошлой книжкѣ замѣчательную статью помѣстила: „о пауперизмѣ въ Ирландіи“; удивительно даже, какъ пропустила цензура. Да, впрочемъ, не она одна работать умѣетъ...— и Аристархъ Николаевичъ перешелъ на одну изъ своихъ излюбленныхъ темъ: какъ необходимо только вспахать мозги женщины, чтобы передъ ней открылась широкая дѣятельность на полѣ цивилизаціи.

Но Леночка перебила его.

— А можно на высшіе курсы поступить изъ гимназіи?

— Конечно, это прямая дорога.

Въ это время за дверью послышались шаги Марьи Петровны, и разговоръ оборвался сразу.

— Леночка, пора обѣдать. А я и не видѣла васъ,—сказала, входя, Марья Петровна.

— Я пришелъ проститься, завтра ѣду въ Москву.

— Опять экзаменъ держать? Вотъ не пустила бы васъ, на мѣстѣ отца Николая.

— Не всѣ раздѣляютъ вашъ взглядъ на пользу просвѣщенія, Марья Петровна. .

— Да вѣдь вы, кажется, уже десять лѣтъ въ семинаріи учились?

— И не въ прокъ, хотите вы сказать?

Марья Петровна не отвѣтила.

— Хотите обѣдать съ нами? — сказала она только.

— Покорно благодарю. Дома пообѣдаю.

И онъ молча раскланялся, какъ будто давая понять, что съ ней и разговаривать не стоитъ.

Обѣдъ прошелъ вяло. Леночка молчала и хмурилась, но, наконецъ, не выдержала.

— Мама, мнѣ надо поговорить съ вами,—сказала она, когда онѣ встали.

Марья Петровна взглянула на нее съ безпокойствомъ:

— Хорошо, пойдемъ ко мнѣ.

— Я хочу учиться.

— Конечно, мой другъ, я объ этомъ уже думала.

— Я хочу поступить въ гимназію.

— Въ гимназію? это трудно; ѣхать съ тобой я не могу, а отпустить не съ кѣмъ...

— Но, мама, вѣдь я уже не маленькая...

— Да ты съ ума сошла! Не думаешь ли ты, что я пущу тебя одну или поручу какой-нибудь квартирной хозяйкѣ? — и, чувствуя, что начинаетъ раздражаться, Марья Петровна поспѣшила кончить разговоръ: — Совсѣмъ это не твое дѣло, я сама знаю, что тебѣ надо учиться, и позабочусь о твоемъ образованіи.

Леночка ушла недовольная. Недѣли черезъ двѣ Марья Петровна вошла къ ней съ письмомъ въ рукахъ.

— Я написала тетѣ Лизѣ,—сказала она;—вотъ письмо, которое отчасти тебя касается; тетя пишетъ, что она говорила съ начальницей Н—скаго института, и тебя примутъ на первую свободную вакансію.

— Я не хочу въ институтъ.

— Не хочешь? — Марья Петровна готова была опять разсердиться, но сдержалась.

— Послушай, Леночка, стыдно тебѣ капризничать, ты не маленькая и должна понимать наше положеніе: ты видишь, что мы бьемся, какъ рыба объ ледъ; у насъ нѣтъ другого средства дать тебѣ приличное воспитаніе. Неужели ты думаешь, что мнѣ весело разставаться съ тобой? но вѣдь потомъ ты сама меня обвинять станешь. Не захочешь ты весь свой вѣкъ оставаться недоучкою, уѣздной барышней, или выйти за мужъ за письмоводителя или станового.

Марья Петровна угадала чувствительную струну: Леночка начинала колебаться.

— Что значитъ два, три года, когда вся жизнь впереди? Ратьковы и старше тебя, и богаче, а въ прошломъ году поступили же въ пансіонъ м-мъ Дебо.

Леночка вспыхнула; она вспомнила, какъ она съ Вѣрой Соханской смѣялась тогда надъ Ратьковыми, которыхъ въ семнадцать лѣтъ отправили въ пансіонъ учиться хорошимъ манерамъ.

— Очень можетъ быть, мама, но я ни въ какой институтъ и ни въ какой пансіонъ поступать не желаю; въ гимназію — другое дѣло.

— Да пойми же, наконецъ, что дѣло тутъ не въ твоемъ желаніи, — сказала Марья Петровна, теряя терпѣніе.

— Я въ институтъ не пойду.

— Глупая дѣвочка, ты, кажется, въ самомъ дѣлѣ вообразила, что ты большая: „не пойду, не пойду!“ вотъ отвезу тебя завтра къ тетѣ Лизѣ, такъ и пойдешь безъ разговоровъ.

— Этого вы не сдѣлаете.

— Это почему?

— Потому, что я даю вамъ слово, что убѣгу съ первой же станціи; а вы знаете, я никогда не лгу.

— Какъ ты смѣешь такъ говорить со мной, дерзкая дѣвчонка! Молчи сейчасъ! я тебѣ дамъ время одуматься,—я избаловала тебя, но успѣю еще выбить всѣ эти глупости изъ головы у тебя.—И Марья Петровна вышла, хлопнувъ дверью.

Какъ она ни была взволнована, она скоро поняла, что легче было сдѣлать угрозу, чѣмъ выполнить. Даже при другихъ отношеніяхъ и при другихъ характерахъ она не могла бы слѣдить за дочерью, потому что для этого пришлось бы бросить хозяйство, а это была ея единственная надежда. Вотъ почему на слѣдующій день она не приняла никакихъ крутыхъ мѣръ и ограничилась съ Леночкой холодностью и молчаньемъ, какъ будто ожидая, что та одумается.

Леночка, со своей стороны, чувствовала себя какъ будто немного виноватой, но въ то же время убѣждена была, что поступить иначе она не могла,—не идти же ей, въ самомъ дѣлѣ, въ институтъ!

Прошла недѣля, затѣмъ другая, и ни Марья Петровна, ни Леночка не возобновляли разговора, вызвавшаго между ними бурную сцену.

Марья Петровна избѣгала этого разговора, потому что чувствовала себя не въ силахъ настоять на своемъ и боялась окон-

чательно уронить свой авторитетъ въ глазахъ дочери; Леночка тоже старалась обходить все то, что могло напомнить матери недавнюю ссору; она не боялась, что ее повезутъ въ институтъ насильно, но ее все-таки немножко тревожила угроза Марьи Петровны. Какъ знать, что она придумаетъ? Вдругъ выпишетъ какую-нибудь глупую гувернантку; она объ этомъ говорила давно, еще до отъѣзда брата. Но теперь, когда она одна въ домѣ, гувернантка для нея одной, какая-нибудь старая дѣва, которая будетъ ходить за ней какъ тѣнь, перелистывать ея книги и надоѣдать ей своими нравоученіями—это было бы скучно, нелѣпо, а главное, обидно. Однако опасенія ея не оправдались: надо было купить молотилку, внести подати, и Марья Петровна должна была по неволѣ все оставить по прежнему и мало-по-малу все вошло въ свою колею.

II.

Былъ конецъ мая. Марья Петровна въ саду занята была высадкой цвѣтовъ, когда Леночка подбѣжала къ ней.

— Соханскіе вчера вернулись! Вѣра проситъ меня пріѣхать, если можно, сейчасъ. Могу я взять Сокола? я бы верхомъ съѣздила.

— Хорошо, поѣзжай; только, пожалуйста, не запаздывай; постарайся вернуться къ чаю.

До Соханскихъ было всего версты четыре, и черезъ полчаса Леночка въѣзжала уже въ широкую липовую аллею. Погода была чудная; пахло цвѣтами; Соколъ, несмотря на свои преклонные годы, бѣжалъ довольно крупною рысью; импровизованная амазонка шла къ ней, и Леночка была въ самомъ радужномъ настроеніи. Еще далеко не доѣзжая до дома, она разслышала звонкіе голоса на балконѣ.

На встрѣчу ей выбѣжали двѣ дѣвочки, веселыя, краснощекія, съ голыми руками и ногами.

— Куда вы, куда вы, прямо подъ лошадь!—послышался голосъ за ними, и передъ Леночкой появилась стройная, почти совсѣмъ сложившаяся фигура ея пріятельницы.

— Ахъ, это ты, Лена! Какъ я рада, что ты пріѣхала!

— А я-то какъ рада! совсѣмъ о тебѣ соскучилась, вѣдь почти годъ не видались,—говорила Лена, спрыгивая съ лошади.

— Петя, Петя, иди же скорѣй, помоги ей, возьми по крайней мѣрѣ лошадь! Смотри, какой у меня теперь братъ солидный и важный, совсѣмъ студентомъ смотритъ, будущимъ!—подчеркнула она послѣднее слово.

Но Петя, очевидно обстрѣленный, только подтвердилъ совершенно спокойно:

— Конечно, солидный и важный, а тебѣ просто завидно,— вотъ ты и пристаешь. Здравствуйте, Елена Владиміровна.

— Конечно, завидно,—перебила его Вѣра:—еще цѣлую зиму долбить скучныя книжки и вставать въ половинѣ девятаго. Ну, а теперь, Лена, идемъ ко мнѣ, а вы, дѣти, маршъ къ м-ль Жюли!

— А намъ нельзя съ тобой?

— Нѣтъ, нельзя, мнѣ надо поговорить съ Леной.

Дѣвочки ушли неохотно, озираясь на сестру, не позовутъ ли ихъ.

Вѣра Соханская была старшая дочь крупнаго землевладѣльца, рано овдовѣвшаго и поселившагося въ деревнѣ съ многочисленной семьей. Вѣрочка рано стала на ноги; въ домѣ были бонны и гувернантки, но съ двѣнадцатилѣтняго возраста не она ихъ слушала, а они ее. Отецъ обожалъ хорошенькую и бойкую дѣвочку и хотя старался не баловать ее, но какъ-то само собою вышло, что она стала хозяйкою въ домѣ, и не только младшіе безпрекословно подчинялись ей, но даже братъ, который былъ старше ея на два года, и ея собственная гувернантка находились подъ ея вліяніемъ и лишь изрѣдка протестовали. Съ Леночкой Вѣру скоро сблизило нѣкоторое сходство въ положеніи. Но Вѣра чувствовала въ подругѣ своей, несмотря на то, что та была моложе, большую сдержанность и способность бороться съ судьбой,— способность, которой она за собой не знала, да въ которой и не предвидѣла надобности. Когда въ прошломъ году она поступила въ гимназію, она была уже настолько хорошо подготовлена, что ей не трудно было сдѣлаться одной изъ лучшихъ ученицъ; еслибы ей пришлось долго пробыть въ гимназіи, она, вѣроятно, стала бы тяготиться однообразіемъ гимназической жизни, но, поступивъ уже въ старшій классъ, ей некогда было соскучиться; способности у нея были хорошія, и безъ вреда для ученья она успѣвала бывать то въ театрѣ, то въ концертѣ, то на какомъ-нибудь полу-дѣтскомъ вечерѣ,—а для дѣвочки, выросшей въ деревнѣ, это представляло всю прелесть новизны.

— Ну, теперь разсказывай!—обратилась она къ Леночкѣ.

— Мнѣ что разсказывать? Ты знаешь, у насъ все по старому, только Аристархъ Николаевичъ уѣхалъ,—а вотъ ты разсказывай, у тебя все новое.

— Да, но я, право, не знаю, съ чего начать!—и, перепрыгивая съ одного предмета на другой, она стала разсказывать о театрѣ, объ учителяхъ, о новыхъ модахъ и новыхъ знакомыхъ; но, замѣтивъ, что это не можетъ интересовать Лену, она вдругъ остановилась.

— Ну довольно; теперь поговоримъ о тебѣ. Что ты думаешь дѣлать? какіе твои планы?

— Я хотѣла бы поступить на курсы.

— На какіе курсы?

— На высшіе женскіе курсы.

— На высшіе курсы? Но вѣдь тебѣ придется сдавать экзамены изъ всей гимназической программы.

— А развѣ нельзя къ нимъ подготовиться дома?

— Конечно, можно; и въ Москву на телѣгѣ можно доѣхать, только это долго и неудобно.

— Такъ какъ же быть по твоему?

— Поступи скорѣе въ гимназію.

— Я такъ и думала, но мама не соглашается меня отпустить, а сама она уѣхать не можетъ.

Вѣра задумалась.

— Жаль, что она прежде не позаботилась какъ-нибудь пристроить тебя.

— То-есть, какъ пристроить? я тебя не понимаю, Вѣра.

— Года два, три тому назадъ ты могла бы поступить въ институтъ.

— Ты это серьезно говоришь?

— Конечно. Курсъ и права тамъ почти тѣ же, что въ гимназіи, но въ наши годы къ закрытому заведенію привыкать трудно; въ дѣтствѣ это гораздо легче,—не безъ важности заключила она.

— И ты думаешь, что кромѣ гимназіи и института нѣтъ способа попасть на курсы?

— Не знаю,—сказала Вѣра.—Впрочемъ, Петръ Ивановичъ тебѣ объяснитъ все это лучше меня.

— Какой Петръ Ивановичъ?

— Я и забыла тебѣ сказать, что у насъ гоститъ Петръ Ивановичъ Кореневъ, профессоръ; онъ этой зимой очень подружился съ папой.

— Тотъ самый, что на курсахъ литературу читаетъ?

— Да, онъ.

Несмотря на убѣжденіе, что для развитой женщины не должно

существовать никакихъ авторитетовъ, у Леночки сильно забилось сердце.

— Я не знаю, удобно ли его спрашивать?

— Отчего же, онъ очень любезный и совсѣмъ простой; онъ, должно быть, теперь у папа въ кабинетѣ,—идемъ же.

Въ кабинетѣ, дѣйствительно, слышались голоса.

— Ахъ, это вы, Леночка! очень радъ; покажитесь, покажитесь, какая вы. Э, да вы совсѣмъ большой смотрите! не рано-ли?—встрѣтилъ ее Соханскій.

Шутливый тонъ хозяина былъ Леночкѣ особенно непріятенъ теперь, когда она въ первый разъ видѣла настоящаго профессора.

А Соханскій продолжалъ поддразнивать ее:

— Да вы не сердитесь и съ моей Вѣрочки примѣра не берите; я и ей говорю: куда, куда спѣшишь? поспѣешь въ старыхъ дѣвахъ насидѣться.

— Ну, папа, я предпочитаю всю жизнь остаться старой дѣвой, чѣмъ маленькой дѣвочкой.

— Да это теперь такъ, а вотъ посмотримъ, что ты черезъ десять лѣтъ скажешь.

Но Вѣра не отвѣчала.

— Петръ Ивановичъ,—сказала она съ важностью:—позвольте васъ познакомить; это мой другъ... она запнулась:—Елена Владиміровна Дольская; она хотѣла просить вашего совѣта.

Кореневъ улыбнулся и привсталъ.

Леночка сконфузилась еще больше, но рѣшительно протянула ему руку.

— Очень радъ, что могу служить вамъ; о чемъ же вы хотѣли спросить меня?

— Леночка хотѣла бы поступить на курсы, — отвѣтила за нее Вѣра.

Кореневъ очевидно не ожидалъ этого; онъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ посмотрѣлъ на свою будущую слушательницу.

— Простите нескромный вопросъ: но сколько вамъ лѣтъ?

— Четырнадцать.

— Такъ вы по возрасту не можете еще поступить на наши курсы.

— Да, но въ томъ-то и дѣло, — вмѣшалась опять Вѣра,— что ей надо успѣть подготовиться.

— Конечно; а гдѣ вы до сихъ поръ учились?

— Я занималась дома.

— Вамъ придется во всякомъ случаѣ держать экзаменъ изъ курса среднихъ учебныхъ заведеній,—и Петръ Ивановичъ началъ

развивать мысль, что среднее образованіе есть главное, особенно для женщины, что вообще вопросъ этотъ неправильно поставленъ въ Россіи, и высшее образованіе постоянно смѣшивается со спеціальнымъ.

— А вы какими предметами особенно интересуетесь?—вдругъ обратился онъ къ Леночкѣ, которая начинала уже раскаяваться въ своей откровенности, а теперь она совсѣмъ растерялась.

— Меня... меня преимущественно интересуетъ соціологія,— проговорила она наконецъ.

Кореневъ опять улыбнулся.

— Но соціологія не преподается ни на курсахъ, ни въ университетѣ.

— Я этого не знала, — и Леночка сдѣлала отчаянную попытку перемѣнить разговоръ:—Вы не знаете въ Москвѣ Рыжовой?

— Какой Рыжовой?

— Писательницы.

— Не знаю.

— Она недавно помѣстила въ „Думѣ“ статью о причинахъ пауперизма въ Ирландіи“.

— Ахъ, вы вотъ о комъ! Конечно, знаю; она у меня двѣ недѣли тому назадъ экзаменъ держала, отвѣчала недурно, но за статью не могъ бы поставить ей больше двойки.

— Какъ же ее напечатали?

— Напечатали, потому что Кедрову рекомендовалъ ее пріятель, а самъ онъ никогда не читаетъ того, что печатаетъ. И думаютъ этимъ поддержать въ женщинахъ стремленіе къ наукѣ!— продолжалъ онъ. — Высшее образованіе! да развѣ это теперь главное? Подайте намъ прежде всего хорошее преподаваніе въ гимназіяхъ, въ институтахъ, въ частныхъ пансіонахъ, а тогда будетъ время подумать и о высшемъ образованіи.

— А почему же вы сами согласились читать на курсахъ?— спросила вдругъ Вѣра.

Леночкѣ ужасно хотѣлось сдѣлать этотъ вопросъ, но она не рѣшилась и теперь одобрительно посмотрѣла на свою подругу.

— Согласился, во-первыхъ, потому, что еслибы не я, читалъ бы другой и, можетъ быть, хуже, а во-вторыхъ, потому, что между ста слушательницами есть пять, шесть, которыя дѣйствительно подготовлены и которымъ мои лекціи могутъ пригодиться. Но вы не повѣрите, что такое остальныя,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Соханскому:—азбуки не усвоили, а принимаются за рѣшеніе самыхъ сложныхъ вопросовъ! — и онъ сталъ разсказывать примѣры удивительныхъ отвѣтовъ.

Всѣ смѣялись; смѣялась и Леночка, хотя не всегда понимала, въ чемъ соль, и все время сидѣла какъ на иголкахъ; она давно убѣжала бы, еслибъ знала, какъ это сдѣлать, не показавшись смѣшной. Наконецъ Вѣра замѣтила ея волненіе.

— Пора, идемъ чай наливать, да и о дѣтяхъ мы позабыли; надо помочь м-ль Жюли.

Но Леночкѣ хотѣлось остаться одной какъ можно скорѣе.

— Прости меня, душа моя, я уѣду сейчасъ, я и такъ опоздала, мама будетъ безпокоиться.

Выѣхавъ за ворота, она ударила лошадь, и та поскакала тяжелымъ, неуклюжимъ галопомъ. Солнце садилось уже за вершины далекихъ сосенъ; въ воздухѣ становилось прохладно; свѣжій вѣтеръ билъ ей въ лицо, а въ головѣ мысли кружились съ такой быстротой, что она ни на чемъ не могла остановиться. Ей казалось, что сейчасъ случилось что-то невозможное, такое тяжелое, обидное, что она готова была расплакаться. „Такъ нельзя, такъ нельзя,—вертѣлось у нея въ головѣ;—я больше никогда не вернусь въ этотъ домъ". Но когда она старалась вспомнить, что̀ именно такъ задѣло ее, она не могла. Сохансκій? онъ всегда былъ такой же. Кореневъ? все, что̀ онъ говорилъ, было для нея неожиданно и непріятно, но ей лично онъ ничего обиднаго не сказалъ. „А все-таки такъ нельзя, нельзя!"—твердила она, погоняя лошадь, какъ будто хотѣла скорѣе ускакать какъ можно дальше отъ нихъ. Движеніе и свѣжій воздухъ немного успокоили ея нервы; въѣхавши въ рощу, она натянула поводья и пустила лошадь шагомъ. „Да, такъ нельзя дольше. И всѣ они точно сговорились. Нѣтъ, я покажу имъ, что не глупѣе другихъ, и если чего-нибудь захочу, такъ съумѣю довесть до конца".— Она задумалась, губы ея сжались, брови сдвинулись съ такимъ напряженіемъ, какъ будто она рѣшилась, не крикнувъ, сейчасъ выдержать мучительную операцію. Отъ дома было уже недалеко, и, опять ударивши лошадь, она подъѣхала къ крыльцу крупной рысью.

Марья Петровна сидѣла за самоваромъ. Она взглянула на дочь и испугалась.

— Что̀ съ тобой, ты вѣрно упала?

— Нѣтъ, ничего, мама.

— Какъ ничего? да на тебѣ лица нѣтъ!

— Я сейчасъ все вамъ скажу!—и, тяжело дыша, Леночка опустилась на стулъ рядомъ съ матерью.

— Я хотѣла просить васъ написать тетѣ Лизѣ, что я желаю поступить въ институтъ.

Это было такъ неожиданно, что Марья Петровна не сразу нашлась, что̀ отвѣтить.

— Леночка, — наконецъ сказала она нерѣшительно: — ты знаешь, что сама я этого желала, но послѣ нашего разговора я много думала; обстоятельства такъ сложились, ты такъ много была одна, такъ привыкла къ самостоятельности, что я не знаю, выдержишь ли ты, хватитъ ли у тебя терпѣнія? а если не хватитъ, такъ лучше не начинать.

— Вы знаете, мама, что если надо, я многое могу вытерпѣть; а я даю вамъ слово, что не вернусь, не кончивши курса.

— И тебѣ не страшно?

— Чего? вѣдь вы сами знаете, что иначе нельзя,—добавила она дрогнувшимъ голосомъ.

Марья Петровна притянула ее къ себѣ.

— Бѣдная, бѣдная моя дѣвочка!

Леночка не выдержала, прижалась къ ней и тоже расплакалась.

На слѣдующее утро она проснулась поздно съ смутнымъ сознаніемъ, что что-то случилось; она не сразу вспомнила, что̀ именно. Потомъ она вдругъ испугалась:—зачѣмъ она это сказала! теперь не вернешь!—но въ ту же минуту ей стало стыдно и досадно на себя за этотъ испугъ.

Она, не одѣваясь, сѣла въ кровати и стала думать; сначала рѣшеніе, принятое въ минуту досады, показалось ей слишкомъ поспѣшнымъ: глупо изъ взрослой барышни по собственной охотѣ опять превратиться въ дѣвочку, присѣдать, цѣловать руку у начальницы и слушаться классной дамы. Самолюбіе страдало; но остаться здѣсь, вѣдь это еще хуже; то̀, по крайней мѣрѣ, на время, а тутъ чего она можетъ ждать? И чѣмъ дальше, тѣмъ будетъ хуже; къ этому примѣшивалось еще новое чувство: какъ ни страдало ея самолюбіе, въ ней шевелилось сознаніе какого-то подвига.

Она быстро одѣлась, и когда вышла къ чаю—была уже совершенно спокойна. На вопросительный взглядъ Марьи Петровны она отвѣчала тоже вопросомъ:

— Вы написали тетѣ Лизѣ?

— Нѣтъ. Почта не отходитъ сегодня. А ты не передумала? я хотѣла тебѣ дать время подумать.

— Нѣтъ, мама, не будемъ объ этомъ говорить. Теперь мнѣ надо работать; выпишите, пожалуйста, поскорѣе программы и учебники.

Съ этой минуты отношенія Марьи Петровны къ дочери со-

вершенно перемѣнились: она всегда любила дочь, но ей все некогда было сидѣть съ ней или говорить съ ней серьезно подолгу; только теперь, когда имъ скоро придется разстаться, Марья Петровна поняла, какъ она ее любитъ, и къ этому чувству примѣшивалось нѣкоторое удивленіе, даже что-то въ родѣ страха: да, вотъ она какая! она не знала своей Леночки; сама она ни за что не рѣшилась бы на ея мѣстѣ.

Теперь онѣ просиживали по цѣлымъ часамъ на балконѣ, разговаривая, какъ равныя, повѣряя другъ другу свои мечты и планы.

Марья Петровна не очень одобряла идею высшихъ курсовъ, хотя противорѣчить боялась; ей хотѣлось бы, чтобы изъ института дочь вернулась къ ней; къ тому времени дѣла ихъ должны поправиться, и она сама стала бы вывозить ее, а въ крайнемъ случаѣ это могла бы сдѣлать тетя Лиза, у которой дочь однихъ лѣтъ съ Леночкой; но Леночка горячо протестовала: можно остановиться, погостить нѣсколько дней, но поселиться въ домѣ богатыхъ родственниковъ—на это она ни за что не согласится.

— Да ты не горячись,—успокоивала ее Марья Петровна:—вѣдь это не завтра, да я и сама никому не стану тебя навязывать.

Одинъ разъ, во время подобнаго разговора, пріѣхала Вѣра Соханская.

Леночка ждала ее и не знала,—сказать ей о своемъ рѣшеніи или нѣтъ? Какъ отнесется къ этому Вѣра? она должна понять и оцѣнить; но что, если она подниметъ ее на смѣхъ? А все-таки сказать надо, а то подумаетъ еще, что отдаютъ насильно.

Вѣрочка, между тѣмъ, весело выпрыгнула изъ пролетки, расцѣловалась съ Марьей Петровной и потащила своего друга въ садъ.

— Мнѣ надо разсказать тебѣ, ты не можешь себѣ представить, какъ это весело: Петръ Ивановичъ ухаживаетъ за мной, т.-е. онъ не дѣлаетъ мнѣ признаній въ любви, не вздыхаетъ и не подноситъ букетовъ, но онъ самъ предложилъ читать Шекспира и по цѣлымъ часамъ разговариваетъ со мной.

Леночку точно что-то кольнуло: это не была ни ревность, ни зависть; но ей казалось теперь еще труднѣе заговорить о томъ, что ее интересовало.

Вѣра, однако, замѣтила настроеніе своей подруги.

— А ты отчего сегодня такая грустная?

— Я? Нисколько. Только я на-дняхъ приняла серьезное рѣшеніе: я поступаю въ институтъ.

Вѣра широко раскрыла глаза.

— Тебя это удивляетъ?

— Да... нѣтъ... ты сама это придумала?

— Конечно, да,—обиженно сказала Леночка.

Вѣра молчала.

— Ты думаешь, что я дѣлаю глупость и потомъ буду жалѣть о ней?—и Леночка съ жаромъ начала объяснять ей значеніе своего плана.—Что же ты молчишь? Продолжаешь думать, что глупо?

— Напротивъ. Только на твоемъ мѣстѣ у меня не хватило бы рѣшимости на такую героическую мѣру.

Леночка была довольна: Вѣра, очевидно, ее поняла.

III.

Леночка проснулась и не сразу поняла, гдѣ она. Послѣдніе дни ей пришлось пережить столько новаго и она такъ устала, что тотчасъ заснула, какъ только поѣздъ отошелъ изъ Москвы. Теперь ей живо вспомнилась провожавшая ее Вѣрочка, суета на вокзалѣ, бѣготня Панкратьевны; наконецъ третій звонокъ, хлопанье дверей, свистки и медленное, равномѣрно ускоренное движеніе поѣзда. Какъ странно и какъ все это ново! И вотъ она въ самомъ дѣлѣ уѣхала, и годъ, а можетъ быть, и больше не увидитъ ни мамá, ни своей комнаты, ни сада, ни Сокола.

Въ вагонѣ, кромѣ нея и Панкратьевны, почти никого нѣтъ; фонари занавѣшены; искры локомотива то проносятся рѣдкими, яркими звѣздами, то сыплются частымъ золотымъ дождемъ; телеграфные столбы и черные силуэты сосенъ быстро мелькаютъ передъ окномъ. Она испытываетъ какое-то тревожное и въ то же время сладкое чувство. Ей кажется, что она видитъ, какъ отъ нея убѣгаетъ все ея дѣтство, точно эти мелькающіе телеграфные столбы; ей не жаль прошедшаго, не хочется остановиться, вернуть его, но все-таки жутко летѣть въ эту темноту. Она опустила окно и заглянула впередъ: вѣтеръ срывалъ съ нея шляпу, но ничего нельзя было разобрать; только локомотивъ продолжалъ сыпать золотымъ дождемъ искры и, казалось, отодвигалъ передъ собой сплошную черную стѣну...

Леночка подняла окно и снова задумалась.

Да, ей не жаль своего дѣтства; она выросла слишкомъ одиноко. Мать она любила, но видѣла ее мало; отца почти никогда

не было дома; бонны и гувернантки часто мѣнялись, и привязаться къ нимъ она не успѣвала.

Пока сама она была маленькой, дружнѣе всего она была съ братомъ, но онъ былъ моложе и послѣднее время между ними оставалось все менѣе общаго. Когда онъ поступилъ въ школу, она погоревала о немъ, но недолго чувствовала его отсутствіе.

Подругъ у нея не было, съ одной Вѣрой она была близка; иногда имъ бывало весело вмѣстѣ, иногда онѣ строили вмѣстѣ воздушные замки, но Леночка смутно понимала, что у Вѣры своя жизнь, что она, особенно въ Москвѣ, по цѣлымъ недѣлямъ, вѣроятно, и не вспомнитъ о ней.

Неужели это всегда такъ будетъ?

Послѣднее время она сблизилась съ матерью; но то, что ихъ занимало, было такъ различно и такъ не похоже. Леночкѣ, несмотря на желаніе какъ можно скорѣе поступить на высшіе курсы, такъ хотѣлось бы, чтобы все у нихъ было хорошо, чтобы имъ можно было поѣхать въ Петербургъ и за границу, чтобы лошади у нихъ были хорошія и платья красивыя, но она мало думала о томъ, какъ дойти до всего этого: какъ сдать землю подъ озимое, какъ убѣдить Теленкова заплатить за овесъ тремя копѣйками дороже, или какъ строить скотный дворъ подешевле?

Да, она была права: прожить всю жизнь такъ она не могла бы; какъ ни тяжело ей будетъ эти три года, зато потомъ настоящая, серьезная работа, а потомъ что будетъ... потомъ...—Леночка не совсѣмъ ясно себѣ представляла, но была убѣждена, что будетъ хорошо. Да и въ институтѣ такъ ли тяжело будетъ? вѣдь не тюрьма же это въ самомъ дѣлѣ; по крайней мѣрѣ, она будетъ не одна; есть и тамъ навѣрно развитыя, взрослыя дѣвушки, даже гораздо старше ея. И она стала придумывать себѣ идеальную подругу, съ которой она могла бы читать, говорить обо всемъ, дѣлиться всѣми своими мыслями.

— Станція Колпино. Поѣздъ стоитъ десять минутъ!

Леночка съ удивленіемъ открыла глаза; на дворѣ давно уже было свѣтло, и она совсѣмъ не помнила, когда задремала.

Панкратьевна суетилась около нея съ корзиной и ремнями.

— Вставайте, барышня, вставайте; кондукторъ сказывалъ—сейчасъ пріѣдемъ и билеты отобралъ.

Лена оправила волосы и опять сѣла къ окну.

День былъ сѣрый; деревья начинали желтѣть, и дымъ фабричныхъ трубъ едва выдѣлялся на фонѣ тумана. Въ вагонѣ было свѣжо; по спинѣ у Леночки пробѣжала легкая дрожь, и она плотнѣе завернулась въ пуховый платокъ.

Ей вдругъ ясно представился вопросъ: что ее ждетъ впереди? не въ далекомъ будущемъ, не на курсахъ, даже не въ институтѣ, а вотъ тутъ, черезъ полчаса? Тетю Лизу она знала только по фотографіямъ и по разсказамъ матери.

Зина писала ей два раза въ годъ французскія письма, по которымъ она не могла составить себѣ ни малѣйшаго понятія о томъ, что такое ея двоюродная сестра? Леночка отвѣчала сама такими же, ничего не говорящими, французскими письмами, стараясь сбыть съ рукъ, какъ можно скорѣе, эту обязанность, на исполненіи которой настаивала Марья Петровна.

— Какая она?—въ первый разъ спросила себя Леночка:—вѣрно какая-нибудь неразвитая, пустенькая дѣвочка, которая ни о чемъ не думаетъ и только важничаетъ своимъ родствомъ и нарядами. Ну, да все равно, не надолго.

Но думать объ этомъ было уже поздно.

Раздался протяжный свистъ, и поѣздъ пошелъ тише; замелькали дома, послышался рѣзкій отрывистый грохотъ подъ мостами, и они остановились.

На платформѣ было не много народу; поѣздъ былъ пассажирскій, и встрѣчавшая публика была такая же сѣрая, какъ и пассажиры. Леночка выскочила на платформу, пока Панкратьевна суетилась съ вещами и отчаянно звала носильщика.

Въ этой сѣрой, суетящейся толпѣ вниманіе Леночки невольно привлекла неподвижная, представительная фигура выѣзднаго лакея съ галуномъ на шляпѣ; но не успѣла она взглянуть на него, какъ онъ уже подошелъ къ ней и спросилъ, снимая шляпу:

— Не вы ли будете госпожа Дольская?

— Да, я,—слегка краснѣя, отвѣтила Леночка.

— Письмо къ вамъ отъ графини.

Лена распечатала не безъ волненія.

„Очень рада, моя милая, что ты пріѣхала; я такъ люблю твою мать, что и ты меня полюбишь, надѣюсь. Тебя встрѣтитъ миссъ Блэкъ; багажъ твой получитъ Андрей. Твоя няня можетъ пріѣхать съ нимъ вмѣстѣ.

„Любящая тебя тетя Лиза".

— Эмилія Эдуардовна дожидаются васъ въ каретѣ; позвольте квитанцію, я получу багажъ. Пожалуйте сюда!—и онъ указалъ Леночкѣ выходъ.

— Иванъ, подавай!—и, быстро сбѣжавъ по ступенькамъ и отворивъ дверцу кареты, ловко подсадивъ ее, прежде чѣмъ она успѣла опомниться, крикнулъ:—Пошелъ домой!

Леночка очутилась рядомъ съ англичанкой, лѣтъ пятидесяти,

почти сѣдой, съ добрыми сѣрыми глазами и нѣсколько птичьимъ лицомъ.

— Вы не говорите по-англійски? — спросила она Леночку по-французски, но такъ, что ее не безъ труда можно было понять.

— Нѣтъ, не говорю.

— Какъ жаль!

— И мнѣ жаль.—Леночкѣ было неловко, но больше сказать она ничего не нашлась. Наступило молчаніе. Карета повернула налѣво и быстро, беззвучно покатилась по торцовой, потомъ она повернула еще разъ, колеса опять застучали и снова замолкли— онѣ выѣхали на набережную. Леночка невольно высунулась въ окно. Какъ хорошо!—и ей вдругъ показалось, что она помнитъ все это.

Но карета остановилась.

— Пріѣхали!—лаконически сказала миссъ Блэкъ. Швейцаръ отворилъ дверь, и онѣ вошли въ просторную прихожую съ дубовой рѣзной мебелью и широкой лѣстницей, поднимавшейся прямо противъ подъѣзда. Швейцаръ позвонилъ, и пока онѣ поднимались, отворилась дверь въ бель-этажѣ.

Леночка машинально вошла и почти не замѣтила, какъ передъ ней очутилась бѣлокурая дѣвочка, лѣтъ четырнадцати.

„Вотъ она!“ мелькнуло въ головѣ Леночки, но она, молча, смотрѣла на нее; та тоже сконфузилась и нерѣшительно протянула руку.

— Что же вы?—сказала миссъ Блэкъ по-англійски; но обѣ поняли и поцѣловались.

— Вы, должно быть, очень устали; пойдемте, я проведу васъ въ нашу комнату,—и, взявъ Леночку за руку, она повела ее широкимъ и свѣтлымъ коридоромъ.

— Вотъ это классная,—сказала она, отворяя дверь,—а тутъ наша спальня. Вотъ маленькая уборная, а за нею комната миссъ Блэкъ. Хотите переодѣться? ваши вещи сейчасъ привезутъ.

— А пока я велю вамъ сюда подать чаю,—сказала, входя, миссъ Блэкъ:—ваша кузина, я думаю, голодна послѣ дороги.

— Это ваша гувернантка?—спросила, наконецъ, Леночка.

— Да. Она предобрая, вотъ вы увидите.

— Вы ее любите?

— Конечно, ее нельзя не любить. Но пойдемте въ уборную. Тутъ вамъ все приготовлено. Я пока займусь чаемъ.

Леночка осталась одна; ее поразили размѣры и количество лоханокъ и рукомойниковъ, которыми былъ уставленъ бѣлый

мраморный столъ. На столикѣ рядомъ, передъ зеркаломъ, лежали гребни и щетки. Она заглянула въ зеркало, и ей не понравились ни ея помятая шляпа, ни дорожный костюмъ, которымъ она гордилась еще въ Москвѣ; здѣсь это было не то: не потому, чтобы чувствовалась какая-нибудь роскошь, напротивъ, все было просто, но только ей казалось, что и сама она, и ея туалетъ не согласуются съ такой простотой.

Послышался легкій стукъ:

— Ваши вещи привезли; прикажете помочь или позвать вашу прислугу?

— Благодарю васъ, не надо; прикажите только сундукъ отпереть; вотъ ключъ.

„Какое платье надѣть?—задумалась Леночка:—конечно, это все вздоръ, и не гоняться же мнѣ за ихъ глупыми модами, а все-таки нельзя надѣть что попало. Черное барежевое, что изъ мама платья передѣлано?—не по сезону, и брать его, пожалуй, не стоило. Синее шерстяное—ужъ черезъ-чуръ просто... Сѣрое—слишкомъ свѣтло, почти бѣлое... Надѣну я свою русскую шитую рубашку съ передникомъ и синюю юбку,—рѣшила она:—мама говорила, что въ Петербургѣ это не принято, да откуда же мнѣ взять петербургскіе туалеты?

Рѣшившись, она быстрымъ движеніемъ распустила густые, почти черные волосы, налила полную лоханку воды и стала полоскаться, какъ утка. Несмотря на уроки Аристарха Николаевича, она никакъ не могла научиться презрѣнью къ водѣ и къ мылу.

Наскоро одѣвшись, она вошла въ классную, гдѣ ждала ее Зина за самоваромъ.

Зина взглянула на нее удивленно, но сейчасъ же оправилась и спросила:—Хотите чаю?—вотъ сыръ и икра; сейчасъ принесутъ холоднаго ростбифа; вы вѣрно проголодались.

— Нѣтъ, я не голодна, хотя сегодня проспала и не успѣла напиться чаю. „Чему это она такъ удивилась? неужели моему костюму?“—мелькнуло у нея въ головѣ.

Но Зина не выдержала:

— А вы всегда такъ одѣваетесь? — спросила она и покраснѣла.

„А васъ всегда такъ наряжаютъ?“ хотѣлось Ленѣ спросить въ отвѣтъ, глядя на распущенные волосы, широкій шолковый кушакъ и на короткую юбку кузины. Но она удержалась и коротко отвѣтила:

— Нѣтъ, не всегда.

Но Зина угадала ея мысль и покраснѣла еще больше.

— Конечно, это очень глупо,—сказала она,—но здѣсь невозможно одѣваться, какъ хочешь; и потомъ мама́ сама занимается моимъ туалетомъ.

„Оно и замѣтно", подумала Леночка.

Но въ это время въ коридорѣ послышалось шуршанье шолковаго платья, и дверь отворилась.

Зина вскочила:—Здравствуй, мама!—и она поцѣловала у нея руку.

Леночка послѣдовала этому примѣру.

— Очень рада, что ты пріѣхала,—сказала тетя Лиза, цѣлуя ее.—Надѣюсь, не слишкомъ устала. Ну, покажись, какая ты? совсѣмъ большая... но не петербургская!—она улыбнулась:—да это не бѣда, ça viendra!

— Налить тебѣ чаю, мама?

— Налей, пожалуй.—И тетя Лиза сѣла.

Леночка сейчасъ узнала бы ее по портрету, а все-таки она представлялась ей не такой. Особенно поразили ее глаза и губы: ротъ былъ красивый, но въ складкѣ этихъ губъ было что-то такое, что̀ немного смущало Леночку и чего она никогда не видала у своей матери; зато большіе, сѣрые глаза смотрѣли ласково и молодо, хотя Леночкѣ казалось, что они видятъ ее насквозь. Она невольно потупилась, а тетя Лиза заговорила съ дочерью.

— Хотите еще чаю?—спросила Зина, протягивая руку, чтобъ взять чашку Лены.

— Нѣтъ, благодарю васъ.

— Это что̀ за глупости: вы говорите другъ другу *вы*? вѣдь вы не чужія! И тебя, Леночка, прошу помнить, что ты не въ гостяхъ; твоя мать мнѣ поручила тебя, и я охотно принимаю всѣ ея права и обязанности,—полушутливо сказала она.—Прежде всего придется, кажется, позаботиться о твоемъ туалетѣ.

— Это зачѣмъ, ma tante?—съ нѣкоторой тревогой спросила Леночка:—я вѣдь, все равно, черезъ двѣ, три недѣли поступлю въ институтъ.

— Это правда, не стоитъ хлопотать. Только едва ли ты поступишь такъ скоро, и спѣшить некуда. А есть у тебя пока что-нибудь въ другомъ родѣ, не такое видное?

— Конечно, есть,—поспѣшила отвѣтить Леночка.

— Ты мнѣ покажешь потомъ. А теперь я васъ оставлю, вы скорѣе познакомитесь вдвоемъ; мнѣ надо сдѣлать нѣсколько визитовъ,—и она вышла.

— Ты не хочешь отдохнуть послѣ дороги?—спросила Зина, когда онѣ остались однѣ.

— Нѣтъ, я совсѣмъ не устала.

— Ты вѣдь въ сущности въ первый разъ въ Петербургѣ, тебѣ это должно представляться совсѣмъ иначе, чѣмъ мнѣ.

— Нѣтъ, не совсѣмъ; мнѣ, кажется, что я что-то помню...

— Да, такъ же, какъ я Неаполь. Мнѣ такъ жаль, что мы уѣхали, когда мнѣ было всего три года.

— А ты хорошо себя помнишь маленькой?

Онѣ разговорились.

— А твоей матери, кажется, тоже не понравился мой костюмъ?—вдругъ сказала Леночка.

— Да, здѣсь это не принято. Ты бы надѣла къ обѣду что-нибудь другое.

— Мнѣ все равно, только, право, я не знаю что̀.

— Покажи мнѣ свои платья, мы вмѣстѣ выберемъ,—и онѣ перешли въ уборную.

Но выборъ оказался довольно затруднителенъ. Наконецъ Зина остановилась на шерстяномъ синемъ,—по крайней мѣрѣ, сидитъ недурно и въ глаза не бросается.—Онѣ продолжали еще изслѣдованіе сундука, когда Зина вдругъ вспомнила, что ей надо готовить уроки.

— Такъ иди скорѣй и пришли мнѣ, пожалуйста, кого-нибудь помочь разобрать все это.

Явилась Панкратьевна, и принялись за уборку.

— Какъ хорошо, барышня, что мы съ вами пріѣхали!—говорила она:—чего бы вы въ деревнѣ увидѣли? Я на своемъ вѣку всего насмотрѣлась и въ губерніи два раза была, а только тутъ много лучше и домъ самый настоящій,—продолжала она разсказывать:—графиня, тетенька ваша, ничего, хоть и строга, говорятъ; а на барышню не нахвалятся,—тихая такая, ласковая со всѣми, и нарядовъ, нарядовъ у нея—страсть, только ужъ очень коротко одѣваютъ,—нехорошо, вѣдь не маленькая; а все англичанка, дура, виновата. У нихъ тамъ, сказываютъ, барышни чуть не голыя ходятъ...—и Панкратьевна плюнула.

Леночкѣ почему-то непріятны были эти разсказы. Она переодѣлась и вышла. Зину она застала за тетрадями и сама усѣлась у окна, открывъ первую попавшуюся книгу. Но читать она не могла. Былъ уже четвертый часъ. Погода прояснилась. По набережной то-и-дѣло катились коляски и кареты, встрѣчались, обгонялись и останавливались. У перилъ медленно двигалась толпа гуляющихъ. Леночка, лишь изрѣдка перелистывая свою

книгу, не замѣтила, какъ солнце успѣло спуститься и брызнули яркія искры въ окнахъ и на крышахъ по ту сторону Невы.

Она опомнилась только тогда, когда у подъѣзда остановилась карета и послышался звонокъ.

— Это, вѣрно, мама,—сказала Зина, вставая и собирая тетради.

Дѣйствительно скоро вошла тетя Лиза.

— Ну, что вы тутъ дѣлаете? А!—сказала она, взглянувъ на Леночку:—вотъ это гораздо приличнѣе. Теперь пойдемте ко мнѣ; сейчасъ подадутъ обѣдать.

Но едва онѣ вышли въ коридоръ, тетя Лиза остановилась.

— Это что такое? Зачѣмъ ты топаешь, точно котъ въ сапогахъ?..

Леночка засмѣялась.

— У насъ другой обуви во всемъ городѣ не отыщешь, а въ Москвѣ я купить не успѣла, и потомъ не все ли равно?

— Какъ все равно! Да тебя такъ въ институтъ и не впустятъ: примутъ за пожарнаго, а не за благовоспитанную дѣвицу. Григорій!—позвала она дворецкаго: — пошлите сейчасъ къ Бонэ, чтобъ онъ прислалъ кого-нибудь сегодня же, нужно снять мѣрку.

Леночка попробовала протестовать.

— Вздоръ! ты этакъ и на улицу показаться не можешь!

Гостей не было, и обѣдали онѣ въ четверомъ. Тетя Лиза внимательно наблюдала за ней, но скоро убѣдилась, что Леночка ѣстъ прилично и не пользуется ножомъ вмѣсто вилки. Вечеръ прошелъ незамѣтно между музыкой, разговорами про Марью Петровну, деревню, и разсматриваньемъ фотографій. Когда пробило десять часовъ, тетя Лиза встала.

— Ну, теперь, дѣвочки, вамъ спать пора. У Зины вѣрно еще уроки не готовы, придется раньше вставать завтра. А тебѣ отдохнуть надо. Ты любишь музыку?—вдругъ спросила она.

— Да, очень.

— Ну, въ другой разъ ты можешь остаться.

— А кто сегодня будетъ у насъ, мама?

— Мартини хотѣлъ пріѣхалъ послѣ второго дѣйствія, только не знаю, успѣетъ ли?

У подъѣзда послышался звукъ подъѣзжающей кареты, и дѣвочки вышли.

Леночка въ самомъ дѣлѣ устала и рада была очутиться въ постели.

— Лена, тебѣ не холодно? Не велѣть ли каминъ затопить?

— Какъ знаешь,—протягиваясь и съ наслажденіемъ кутаясь въ одѣяло, отвѣчала Леночка.

Каминъ былъ затопленъ. И Зина тоже стала раздѣваться.

— А гдѣ же миссъ Блэкъ? она поздно ложится?

— Какъ придется. Сегодня она чай разливаетъ. И потомъ, вѣроятно, она останется до конца вечера—она любитъ пѣнье. А тебѣ еще не хочется спать? такъ я приду къ тебѣ!—и, накинувъ пеньюаръ, Зина сѣла на постель къ Леночкѣ.

— Ты не можешь себѣ представить, какъ я рада, что ты пріѣхала! только зачѣмъ ты хочешь поступать въ институтъ? право, не понимаю.

— Что же мнѣ дѣлать? Я не хочу быть недоучкой, а въ деревнѣ серьезно учиться почти невозможно.

— Въ деревнѣ, да, но здѣсь сколько угодно.

— Не могу же я здѣсь оставаться три года.

— Какъ не можешь? напротивъ, мама была бы такъ рада; она сама еще вчера говорила объ этомъ.

— Я очень благодарна и тебѣ, и тетѣ, но только это совсѣмъ, совсѣмъ невозможно.

— Я, право, не вижу, почему,—настаивала Зина.

— Да мало ли почему? — и Леночка искала предлоговъ, чувствуя, что главной причины сказать не можетъ:—хотя бы потому, что такъ я не получу диплома.

— Какого диплома? На что онъ тебѣ? вѣдь не пойдешь же ты въ гувернантки?

— А, можетъ быть, и пойду. Впрочемъ, ты этого не понимаешь...—и испугавшись, что она обидѣла Зину, она перемѣнила тонъ:—довольно объ этомъ! спасибо тебѣ, милая, ты очень милая и добрая, спасибо тебѣ за все...

Но Зина и не думала обижаться.

— Что ты, что ты, Лена! за что спасибо? я, право, не понимаю,—и онѣ поцѣловались совсѣмъ не такъ, какъ сегодня утромъ.

Въ коридорѣ послышался шелестъ платья. Зина вскочила и нырнула въ свою постель.

— Только ты не смѣй и думать поступать до Рождества. Насидишься въ своемъ институтѣ.

Она погасила свѣчи, и скоро послышалось ея ровное дыханье.

Какъ ни устала Леночка, она не могла заснуть такъ скоро. „Такъ вотъ она какая!—думалось ей:—и тетя Лиза тоже совсѣмъ не такая, какъ я думала. Но особенно Зина“... Какъ странно, что онѣ сошлись такъ скоро!—и она чувствовала, что теперь ужъ ей было бы жалко разстаться съ ней, даже болѣе жалко, чѣмъ съ Вѣрочкой, которую она уже три года считала своимъ лучшимъ другомъ.

А въ сущности у нихъ нѣтъ рѣшительно ничего общаго. Зина еще совершенный ребенокъ и не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о жизни,—рѣшила Леночка.—А все-таки ей такъ хорошо съ этой дѣвочкой, что жаль уже будетъ разставаться.

На слѣдующій день она проснулась въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Зины не было въ комнатѣ и только за дверью по временамъ слышались легкіе шаги ея—она, должно быть, что-то тамъ убирала. Леночка тоже хотѣла встать, но не могла найти своей обуви.

— Зина, Зина, вели пожалуйста подать мнѣ ботинки!—позвала она.

— Вотъ твои туфли, сейчасъ принесли отъ Бонэ,—сказала, входя, Зина.

— Какъ же такъ скоро? еще вчера онъ говорилъ, что невозможно раньше недѣли!

— Вѣроятно, нашлись готовыя.

Леночка, къ стыду своему, надѣла туфли не безъ удовольствія; въ нихъ было такъ ловко, такъ легко и такъ мягко. „Ну,—подумала она невольно,—если этимъ ограничится вмѣшательство тети Лизы въ мой туалетъ, съ этимъ еще помириться можно".

День былъ ясный и теплый, и онѣ отправились на Острова въ открытой коляскѣ. Леночка вернулась въ такомъ восторгѣ, что готова была бѣгать и прыгать не хуже Зины, позабывъ, что это не совсѣмъ согласно съ достоинствомъ взрослой дѣвицы, мечтающей только о высшемъ образованіи. Леночкѣ было такъ хорошо, что она почти начинала раскаяваться въ томъ, что такъ безповоротно объявила свое рѣшеніе идти въ институтъ. Развѣ, для того, чтобы попасть на высшіе курсы, единственный способъ —три года просидѣть подъ замкомъ? Какъ она ни пріучала себя къ этой мысли, она не могла къ ней вполнѣ привыкнуть. Способности у нея хорошія, она наверстала бы пропущенное и, можетъ, быть даже черезъ два года выдержала бы выпускной экзаменъ въ гимназіи, въ одно время съ Вѣрочкой!—мелькнуло у нея въ головѣ.

„Какъ жаль, что нельзя здѣсь остаться такъ долго! Положимъ, что тетя Лиза не хочетъ, чтобъ я считала себя въ гостяхъ"...—на этомъ размышленья ея прервались.

Одинъ разъ, какъ будто ненарочно, она заговорила при теткѣ о серьезности гимназическаго образованія, но та такъ посмотрѣла на нее, что Леночка сконфузилась.

— Ты знаешь, Лена, что по моему ты совсѣмъ напрасно хочешь идти въ институтъ, но что касается гимназіи, то я ни Зинѣ, ни тебѣ не позволила бы не только ходить туда, но даже серьезно думать объ этомъ. Это хорошо для мальчиковъ.

Мечта о гимназіи разлетѣлась.

Но остаться надолго у тети Лизы нельзя и учиться вмѣстѣ съ Зиной тоже нельзя. Она рада была бы жить съ ней, но учиться—другое дѣло, ей нуженъ дипломъ и серьезныя знанія, а Зинѣ ученье нужно только для гостиной.

Но теперь не было по крайней мѣрѣ причины черезъ-чуръ торопиться въ институтъ, и Леночку не особенно огорчило, когда учителя нашли, что по нѣкоторымъ предметамъ она знаетъ достаточно, но по другимъ необходимо поработать еще два, три мѣсяца.

Начались уроки, но это было совсѣмъ не то, къ чему она привыкла. Учителя почти ничего не говорили сами и только спрашивали ее или объясняли то, чего она не понимала. Зато она сама удивлялась, съ какой легкостью она рѣшала теперь задачи, казавшіяся ей неразрѣшимыми.

IV.

Недѣли черезъ двѣ послѣ пріѣзда Леночки, графиня собралась въ Москву на нѣсколько дней. Дѣвочки остались однѣ подъ начальствомъ миссъ Блэкъ, но этого начальства онѣ не боялись. Зина любила мать, Леночка была увѣрена, что никого не боится, но все же присутствіе тети Лизы стѣсняло ихъ обѣихъ.

Какъ только онѣ вернулись съ вокзала, куда провожали ее, въ домѣ почувствовалось необычайное оживленіе: чай почему-то поданъ былъ въ классной, вмѣсто столовой, и послѣ него, вмѣсто приготовленія уроковъ, рѣшено было идти въ залу играть въ четыре руки; но тамъ, подъ предлогомъ разыскиванія кошки, которая туда забѣжала изъ кухни, дѣвочки подняли такую бѣготню, что миссъ Блэкъ насилу удалось успокоить ихъ.

Когда онѣ улеглись наконецъ, Лена вспомнила, что не приготовила русскаго урока, хотя взялась выучить вдвое больше, чѣмъ было задано.

— Ничего,—утѣшала ее Зина:—скажешь Иванову, что некогда было, провожали мама.

На слѣдующее утро Леночка рѣшила воспользоваться отсутствіемъ тети Лизы, чтобы надѣть свой любимый русскій костюмъ. Къ тому же Ивановъ—москвичъ, а Вѣрочка говорила, что

въ Москвѣ это очень въ модѣ, и даже самъ профессоръ Будаевъ заинтересовался узоромъ ея передника, а у Леночки и на рубашкѣ, и на передникѣ былъ точь-въ-точь такой, она сама снимала его. Всѣхъ этихъ соображеній она не рѣшалась, однако, высказать Зинѣ и на вопросъ ея отвѣчала только:

— Не бросать же мнѣ ихъ, а въ институтѣ надѣть нельзя будетъ.

Однако надежды ея не оправдались. Ивановъ не замѣтилъ передника, но остался не совсѣмъ доволенъ, что урокъ не приготовленъ.

— Вы бы хоть половину выучили,—покачавъ головой, сказалъ онъ.

Леночка была сконфужена, и когда онъ ушелъ, ей уже было далеко не такъ весело, какъ вчера. Почти не отвѣчая на вопросы Зины, она принялась за неоконченную алгебраическую задачу, отчаянно стуча карандашомъ и то-и-дѣло ломая его. Но занятія ея были прерваны: послышался звонокъ, какіе-то переговоры и шаги въ коридорѣ.

Зина вскочила.

— Кто бы это могъ быть? безъ мамы никого не принимаютъ!

Дверь отворилась и вошелъ гимназистъ, лѣтъ семнадцати.

— Ахъ, это ты, Боря?

— Да, я, насилу впустили.

— Мама въ Москвѣ, мы никого не принимаемъ.

— Даже двоюродныхъ братьевъ?

— Троюродныхъ,—поправила Зина.

— Прикажешь уходить?—полусерьезно спросилъ онъ.

— Какой вздоръ! садись, коли пришелъ!—и она хотѣла уже познакомить его съ Леночкой, но та сдѣлала видъ, что не замѣчаетъ его, и еще усерднѣе стала стучать карандашомъ.

— Кто эта телеграфистка? — почти вполголоса спросилъ Боря, но Леночка слышала и покраснѣла до ушей.

— Какъ ты смѣешь говорить такія глупости!—почти шопотомъ отвѣчала Зина:—это моя двоюродная сестра.

— Лена,—сказала она, подходя къ ней:—представляю тебѣ Бориса Николаевича Комскаго.

— Очень рада,—сказала Леночка, слегка наклоняя голову, но не подавая руки.

— Вы вѣрно недавно въ Петербургѣ,—почтительно кланяясь, сказалъ онъ:—я еще не имѣлъ чести видѣть васъ?

— Да, очень недавно.

— И постоянно живете въ Москвѣ?

— Это почему?

— Я самъ люблю Москву и радъ видѣть, что и къ намъ проникаютъ, наконецъ, московскія теоріи и русская рѣчь, и русскіе наряды.

Леночка вспыхнула.

— Да, разумѣется, это въ тысячу разъ проще и умнѣе, чѣмъ ваши здѣшнія моды.

— Я съ вами совершенно согласенъ: всѣ эти шиньоны, турнюры и трэны ужасно некрасивы,—не смущаясь, продолжалъ Боря, выразительно глядя на Зину.

Та разсердилась въ свою очередь:

— Сколько разъ я тебѣ говорила, что ты тутъ ровно ничего не понимаешь!

— Ну, не сердись, не сердись, пожалуйста; вѣдь я пришелъ къ тебѣ по дѣлу.

— По какому дѣлу?—еще не успокоившись, коротко спросила она.

— По очень важному.

— Пожалуйста, безъ предисловій.

— Нѣтъ, серьезно. На той недѣлѣ въ субботу праздникъ, и мы рѣшили устроить у васъ спектакль.

Гнѣвъ Зины сразу погасъ.

— Это невозможно,—сказала она грустнымъ голосомъ:— мама возвращается только въ четвергъ.

— Почему невозможно? папа берется все устроить; ты развѣ забыла, что роли всѣ выучены, костюмы готовы и пьеса пошла бы еще на Пасху, еслибы ты не заболѣла...

Зина начинала колебаться.

— Безъ мама все-таки нельзя.

— Да вѣдь можно телеграфировать ей, она навѣрное позволитъ; репетицій не нужно, самое бо́льшее—одну.

Вошла миссъ Блэкъ, и Боря сейчасъ же употребилъ всѣ силы, чтобы привлечь ее на свою сторону; заговорилъ съ ней по-англійски и доказалъ ей, что это одна изъ лучшихъ англійскихъ пьесъ для любительскаго спектакля и что переводъ хорошъ и вполнѣ приличенъ.

Кончилось тѣмъ, что миссъ Блэкъ взялась телеграфировать графинѣ.

На слѣдующій день пришло разрѣшеніе.

Зина была въ восторгѣ. Леночка тоже интересовалась спектаклемъ, хотя ей не нравилось, что главную роль долженъ былъ играть Боря. Напрасно Зина увѣряла ее, что въ сущности онъ очень милый и очень умный.

— Да у тебя все милые! — отвѣчала Лена:—а по моему просто дерзкій мальчишка.

— Онъ немного избалованъ, но ты не знаешь, какъ онъ много занимается, какъ много читаетъ.

— Воображаю!—презрительно отвѣчала Лена.

До субботы было такъ недалеко, что приготовленія къ спектаклю закипѣли сразу. Зина зубрила свою роль, хотя давно знала ее, а Леночка, спрашивая ее, и сама почти наизусть ее выучила. Въ залѣ слышался стукъ и выростали подмостки; въ комнатѣ миссъ Блэкъ столъ былъ усыпанъ разноцвѣтными шолковыми лоскутками, цвѣтами и лентами и приводилось въ порядокъ для Зины платье со шлейфомъ.

Леночку немного безпокоило, что она надѣнетъ на этотъ вечеръ: „черное барежевое, больше нечего,—рѣшила она;—можно какую-нибудь ленту на поясъ, да цвѣты приколоть, ничего, сойдетъ“. Зина такъ захлопоталась, что не спрашивала ее объ этомъ, а заговорить первой Леночкѣ казалось неудобно. Только наканунѣ пріѣзда графини Зина вдругъ вспомнила и испугалась.

— Лена! а ты что же надѣнешь на вечеръ?

— Да черное барежевое; какъ-нибудь устрою и сойдетъ прекрасно...

— Не знаю,—въ раздумьѣ покачала головой Зина:—и какъ это я не подумала раньше! Ну, да теперь, все равно, поздно, надо дождаться мамá.

На слѣдующій день тетя Лиза вернулась. Зина бросилась встрѣчать ее.

— Мама, милая, какъ я рада! спасибо, спасибо тебѣ, что ты позволила! это такая прелесть будетъ, ты не знаешь,—говорила она, цѣлуя мать:—ты не можешь себѣ представить.

— Постой, постой, сейчасъ все мнѣ разскажешь, дай только переодѣться.

— А мнѣ нельзя съ тобой?

— Можно, если ужъ очень не терпится,—улыбаясь, сказала тетя Лиза, и онѣ прошли въ уборную графини.

— Какое у меня платье! чудо!—продолжала разсказывать Зина;—только одно меня безпокоитъ,—вдругъ вспомнила она:—не знаю, что надѣть Ленѣ?

— А развѣ платья ея не готовы?

— Какія платья?

— Я, уѣзжая, просила миссъ Блэкъ заняться ея туалетомъ; не можетъ же она до Рождества ходить въ однѣхъ тряпкахъ!—Она, вѣрно, не успѣла. Какъ это скучно!

— Лена думала надѣть черное барежевое. Ты его видѣла.

— Да вы съ ума сошли! вѣдь это не маскарадъ.

— Но какъ же быть?

— Если не успѣютъ сшить новаго, придется выбрать что-нибудь изъ твоихъ платьевъ; вы почти одного роста. Попроси ко мнѣ миссъ Блэкъ.

Зина хотѣла возразить что-то, но не рѣшилась и, передавъ миссъ Блэкъ, что мама зоветъ ее, сконфуженная, вошла въ классную.

— Что съ тобой, что случилось?—спросила Леночка.

— Ничего, только мама находитъ, что твое барежевое платье надѣть невозможно.

Леночка почти догадалась, въ чемъ дѣло.

— Въ такомъ случаѣ, есть очень простое средство: я буду на генеральной репетиціи, а спектакль, право, меня не привлекаетъ; будетъ толпа народа, а я никого не знаю.

Въ уборной графини, между тѣмъ, толковали о томъ же.

— Отчего вы давно не съѣздили съ Леной къ м-мъ Валерй?— спрашивала тетя Лиза.

— Право, графиня, я не знала, какъ исполнить ваше порученіе.

— Что же въ немъ было труднаго?

— Поѣхать, конечно, не трудно, но вы велѣли заказать такія же платья, какъ у Зины.

— Да.

— По моему, это невозможно.

— Это почему?

— Миссъ Эллень не согласится.

— Какъ не согласится? да кто же спрашиваетъ ея согласія?

— Васъ, можетъ быть, она послушаетъ, хотя не думаю. Это не то, что Зина; она выросла на свободѣ, въ деревнѣ, и привыкла все дѣлать по своему.

— Прескверная привычка для четырнадцатилѣтней дѣвочки, особенно когда она собирается поступать въ институтъ. Во всякомъ случаѣ, вы понимаете, что это не капризъ; не могу я наряжать Зину и предоставлять Ленѣ одѣваться какъ горничной; пока она у меня въ домѣ, я не могу между ними дѣлать различія.

— Понимаю, но все-таки это будетъ очень трудно; она не привыкла...

— Привыкнетъ. А пока прошу васъ съѣздить съ нею сейчасъ же къ м-мъ Валерй и снять мѣрку; фасонъ и матеріи я выберу сама.

Черезъ полчаса Леночка, въ сопровожденіи миссъ Блэкъ, выходила изъ кареты у подъѣзда м-мъ Валерй. Она была не то обижена, не то встревожена быстротой рѣшенія тети Лизы; Лена едва успѣла поздороваться съ ней, какъ миссъ Блэкъ пришла за нею.—Куда? зачѣмъ?..

На всѣ разспросы миссъ Блэкъ,—пользуясь тѣмъ, что плохо говоритъ по-русски и немного лучше по-французски,—едва отвѣчала, и Леночка насилу добилась отъ нея, что онѣ ѣдутъ къ м-мъ Валерй снимать мѣрку для платья, что графиня сама потомъ подробнѣе все объяснитъ ей.

Несмотря на это, Леночка не безъ нѣкотораго любопытства и даже съ оттѣнкомъ легкаго почтенья, хотя она ни за что не призналась бы въ этомъ, вошла по широкой лѣстницѣ, устланной мягкимъ ковромъ.

М-мъ Валерй встрѣтила ихъ съ любезной важностью; она давно знала миссъ Блэкъ.

— Чѣмъ могу служить вамъ?

— Надо снять мѣрку съ этой барышни; графиня сама заѣдетъ и выберетъ матерію.

— Очень хорошо. М-ль Жюли!—позвала француженка.—Потрудитесь, пожалуйста, пройти въ сосѣднюю комнату.

И Леночка съ миссъ Блэкъ очутились въ просторной комнатѣ съ мягкой мебелью, со столомъ, заваленнымъ модными журналами, и огромнымъ зеркаломъ между оконъ.

Вошла м-ль Жюли и тотчасъ принялась за дѣло. Она съ сосредоточеннымъ видомъ, молча, по нѣсколько разъ измѣряла то талію, то рукава, то плечи, по временамъ записывая что-то въ своей книжкѣ.

И только когда дѣло дошло до юбки, она спросила неопредѣленно:

— La longueur, s'il vous plait?

— Графиня сама скажетъ,—поспѣшила отвѣтить миссъ Блэкъ.

Леночка вернулась домой не въ духѣ.

„Положимъ, тетя Лиза не успѣла переговорить со мной, но тогда зачѣмъ же было такъ торопиться? Вѣдь все равно, пока матерія не выбрана, шить нельзя. Развѣ не могла она взять меня съ собой, вмѣсто этой глупой поѣздки съ миссъ Блэкъ? А теперь почемъ я знаю, что̀ она выберетъ?“—и Леночка готовила самые вѣскіе аргументы, чтобы хоть отчасти отстоять свою самостоятельность въ такомъ важномъ и щекотливомъ вопросѣ. Но не успѣла она всего обдумать и взвѣсить, какъ вошла тетя Лиза.

— Ну, дѣвочки, до свиданія, я сейчасъ уѣзжаю. Вы можете

устроить сегодня репетицію. Зина, напиши Борѣ, чтобы онъ приходилъ обѣдать,—и она вышла.

Леночка была поражена. „Что же это такое? она, очевидно, забыла. Но послѣ завтра спектакль и платье не поспѣетъ. Тѣмъ лучше!—рѣшила она:—по крайней мѣрѣ безъ хлопотъ и безъ объясненій".

За обѣдомъ Леночка сидѣла рядомъ съ Борей; но при тетѣ Лизѣ онъ казался самымъ скромнымъ, благовоспитаннымъ юношей; онъ не только не позволялъ себѣ никакихъ шутокъ и колкостей, но даже самъ, какъ будто, немножко конфузился.

— Твой отецъ будетъ сегодня?

— Да, ma tante, онъ хотѣлъ пріѣхать.

— На его мѣстѣ никогда не позволила бы тебѣ участвовать въ разныхъ спектакляхъ.

— Это почему, ma tante? вѣдь вы позволяете участвовать въ нихъ Зинѣ?

— Зина—другое дѣло, а ты провалишься на экзаменѣ; потомъ самъ жалѣть будешь.

— Зачѣмъ же мнѣ проваливаться?

— Зачѣмъ?—передразнила его тетя Лиза:—а какъ ты думаешь, зачѣмъ вообще проваливаются?

Боря не нашелся, и она продолжала:

— Вообще, по моему, отецъ твой слишкомъ рано отпустилъ м-сье Бризара.

— Не слишкомъ ли поздно, ma tante?—отвѣтилъ Боря, задѣтый за живое:—и такъ цѣлыхъ два года ему было рѣшительно нечего дѣлать; весь день я былъ въ гимназіи...

— А весь вечеръ въ гостяхъ? ты это хотѣлъ сказать? Помѣстилъ бы онъ тебя въ лицей или правовѣденіе, гораздо бы лучше было, чѣмъ въ этой гимназіи, гдѣ никакого надзора.

— Право, я не чувствую ни малѣйшаго призванія быть ни адвокатомъ, ни дипломатомъ.

— А ты, можетъ быть, чувствуешь призваніе быть актеромъ?

— Нѣтъ, вы знаете, ma tante, что я поступаю на филологическій факультетъ.

— Поступаешь, но еще не поступилъ, а пока прочелъ Спенсера и рѣшилъ, что и самъ ты философъ. Григорій, кофе подайте въ гостиную и велите въ залѣ лампы зажечь.

Леночка, какъ ни сердита она была на тетю Лизу, не безъ удовольствія слушала ее и нѣсколько разъ выразительно взглянула на Зину, которая сдѣлала видъ, что ничего не замѣчаетъ.

Началась репетиція. Къ графинѣ кто-то пріѣхалъ, и Леночка

такъ и осталась въ неизвѣстности, будетъ или не будетъ она на спектаклѣ.

Только на слѣдующій день, когда онѣ съ Зиной хлопотали около декорацій, тетя Лиза, проходя черезъ залу и отдавая какія-то распоряженія, вдругъ остановилась:

— Лена, я забыла тебѣ сказать, я заѣзжала вчера къ м-мъ Валерѝ; она обѣщаетъ, что платье поспѣетъ завтра, только примѣрить некогда; если выйдетъ нехорошо, ты сама виновата, что не попросила объ этомъ раньше миссъ Блэкъ,—и тетя Лиза прошла въ гостиную.

Леночка не выдержала.

— Нѣтъ, Зина, это просто невозможно! Ужъ если твоя мать безъ меня заказываетъ для меня платья, такъ могла бы она по крайней мѣрѣ сказать мнѣ, какія. Должна же я знать, что надѣну завтра: вѣдь я не семилѣтняя дѣвочка, чтобы меня наряжали, какъ куклу.

Зина сама была сконфужена больше своего друга, но старалась не показать этого:

— Не сердись, пожалуйста; я увѣрена, что все отлично устроится. Я спрошу миссъ Блэкъ, она навѣрное знаетъ, и если что-нибудь не такъ, завтра еще можно будетъ поправить.

Но сама она сомнѣвалась въ этомъ.

— Неужели это то платье, которое я примѣряла на прошлой недѣлѣ?—подумала она и бросилась разыскивать миссъ Блэкъ, но почти до обѣда не могла поговорить съ ней наединѣ. Леночка ушла въ классную и не показывалась, дѣлая видъ, что читаетъ.

Наконецъ Зина пришла къ ней разстроенная: миссъ Блэкъ наотрѣзъ отказалась вмѣшиваться въ это дѣло, а то, что Зина отъ нея узнала, было неутѣшительно, и она не знала, какъ объ этомъ сказать Леночкѣ.

— Что съ тобой, Зина?—спросила та, закрывая книгу и стараясь казаться равнодушной.

— Ничего, только у меня къ тебѣ большая просьба.

— Просьба? какая?

— Сыграй за меня мою роль въ этой пьесѣ! ты давно ее знаешь наизусть.

— Что ты, что ты! за кого ты меня принимаешь?

— Увѣряю тебя, такъ будетъ лучше для насъ обѣихъ; я сконфужусь и испорчу всю пьесу, и потомъ,—прибавила она, какъ будто это было уже не такъ важно:—если ты не будешь играть, мама захочетъ непремѣнно, чтобы ты присутствовала на спектаклѣ, а

то платье, которое она тебѣ заказала, навѣрное тебѣ не понравится. Это будетъ такъ непріятно.

Лена поняла, но не сразу отвѣтила.

— А ты видѣла развѣ это платье?

— Я примѣряла его.

— Какъ, это розовое?—спросила Леночка.

— Конечно, его передѣлаютъ,—поспѣшила отвѣтить Зина,—но все-таки я боюсь—оно покажется тебѣ коротко.

— Я не вижу, въ такомъ случаѣ, зачѣмъ твоей матери нужно, чтобы я была на спектаклѣ,—стараясь сохранить хладнокровіе, сказала Лена.

— Какъ же ты не понимаешь: мамѣ нельзя иначе!—и Зина, увлекшись, сообщила своему другу то, что конфиденціально передала ей миссъ Блэкъ.—Увѣряю тебя, другого способа нѣтъ: сыграй эту роль за меня! я уговорю мама, и мнѣ будетъ это такъ пріятно!

— Не говори, пожалуйста, вздору!—съ досадой перебила ее Лена:—я сама подумаю и переговорю съ твоей матерью.

Придумать, однако, Леночка ничего не могла и рѣшила, что думать не стоитъ; тогда видно будетъ, что сказать, а прежде нужно спросить тетю Лизу; но спросить было некогда. За обѣдомъ—гости; вечеромъ—опять репетиція, и Леночка, видя, что разъѣзда гостей не дождется, ушла къ себѣ подъ предлогомъ приготовленія уроковъ; но читать уже не могла: ее какъ кошмаръ преслѣдовало противное платье. Чѣмъ больше она думала, тѣмъ больше раздражалась, тѣмъ сильнѣе разыгрывались ея нервы. Ей показалось, что у нея лихорадка; не мудрено и заболѣть, въ самомъ дѣлѣ. Она встала и, не дожидаясь Зины, ушла въ спальню; ей показалось холодно, она легла и закуталась потеплѣе. Мысль, что она нездорова, на минуту развлекла и успокоила ее. „Нѣтъ, не больна, только нервы,—рѣшила она:—тѣмъ хуже“. Но какъ же быть? Завтра спектакль, откладывать невозможно. Она пріѣхала сюда и готова была все вынести, потому что она сама захотѣла и понимала, что такъ нужно; но *этого* она не ожидала; для чего это нужно? Въ то же время она чувствовала, что тетя Лиза —не мама, ее не переубѣдишь и не испугаешь; конечно, заставить ее не можетъ никто; но если она сама не согласится, ей остается только скорѣе уѣхать домой къ мамѣ и бросить всѣ свои планы! Нѣтъ, это невозможно, она дала слово, она рѣшилась. „И все я сама виновата: зачѣмъ я согласилась остаться у нихъ до праздниковъ, и потомъ зачѣмъ я не послушалась мамѣ и не заказала сама платья въ Москвѣ?!“

А теперь ничего не придумаешь. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ играть вмѣсто Зины; да еслибы это и было возможно, это ровно ни къ чему не поведетъ. Та же исторія повторится на слѣдующей же недѣлѣ, какъ только будетъ какой-нибудь новый концертъ или вечеръ. Зачѣмъ она сюда пріѣхала?!—и ей вспомнился Аристархъ Николаевичъ: „обучаться манерамъ и танцамъ“,—и если это такъ пойдетъ, у нея не хватитъ силъ дотянуть до конца.

— Такъ нѣтъ же!—вдругъ съ озлобленіемъ, почти громко сказала она:—хватитъ, хватитъ, хватитъ! Я должна была это предвидѣть, а теперь по дѣломъ, сама захотѣла!..—И опять брови ея сдвинулись и губы сжались, какъ въ тотъ вечеръ, когда она возвращалась отъ Сохансвихъ.

„Пусть дѣлаютъ, что хотятъ, а я выдержу!“

— Что съ тобой, ты нездорова?—сказала Зина, входя.

— Нѣтъ, ничего.

— Какъ ничего? ты совсѣмъ блѣдная! Я сейчасъ позову миссъ Блэкъ; надо послать за докторомъ.

— Совсѣмъ не надо, все это пустяки, я устала и спать хочу,— и она повернулась лицомъ къ стѣнѣ.

V.

Въ домѣ съ утра поднялась возня. Плясали полотеры; передвигали мебель, переставляли растенія; въ прихожей то-и-дѣло слышались звонки. Зина бѣгала изъ одной комнаты въ другую. Миссъ Блэкъ разрывали на части. Не суетились только тетя Лиза и Леночка, хотя она и была немного блѣдна, послѣ дурно проведенной ночи, и вздрагивала при каждомъ звонкѣ.

Обѣдали сегодня раньше и къ шести часамъ почти все было готово. Только платье отъ м-мъ Валерй не являлось. Теперь Леночка была почти увѣрена, что оно опоздаетъ, и вздохнула свободнѣе; Зина тоже начинала надѣяться.

Онѣ перешли въ уборную, гдѣ красовалось уже платье Зины и разбросаны были кружева, цвѣты и ленты. Зина расположилась передъ зеркаломъ, и горничная тети Лизы занялась ея прической. Зина была почти готова, когда въ дверь постучали.

— Кто тамъ?—и Зина вскочила.

— Платье отъ м-мъ Валерй. Можно войти?

— Нѣтъ, нельзя. Спросите у нея платье!—обратилась она къ горничной; та принесла картонку, перевязанную розовой ленточкой.—Скажите, чтобы подождала, и сами подождите съ ней; я позвоню, когда будетъ надо.—Горничная ушла.

— Ну, что же, Лена?—спросила она нерѣшительно, когда онѣ остались вдвоемъ.

— Ничего, пора одѣваться,—стараясь казаться какъ можно спокойнѣе и расчесывая волосы, сказала Леночка.

— Хочешь, я помогу тебѣ?

— Спасибо.

Зина осторожно вынула платье и принялась хлопотать около него.

— Ты опоздаешь сама. Слышишь? кто-то подъѣхалъ.

— Не опоздаю. Въ первыхъ сценахъ я не участвую, а до спектакля мнѣ выходить все равно нельзя,—и она продолжала возиться, то подкалывая что-то, то наклоняясь, то становясь на колѣни и оправляя юбку.—Тебя не жметъ здѣсь? подними руку, повернись немножко! А здѣсь? вотъ такъ, хорошо будетъ?

Леночка стояла молча, почти не отвѣчая, закусивъ губу и стараясь не глядѣть въ зеркало.

Наконецъ все было готово, и Зина отошла немного, чтобы взглянуть хорошенько. Блѣдно-розовое, легкое платье, все покрытое кружевами и лентами, сидѣло прекрасно, но оно было совсѣмъ коротко, точь въ точь такое, какимъ Зина примѣряла его сама.

— Леночка, право я не виновата,—говорила она, чуть не плача.—Я сейчасъ позову мама; она сама увидитъ...

— Пожалуйста, не дѣлай вздору!—и Леночка вдругъ рѣшительными шагами пошла къ двери.

— Куда ты?—испуганно вскрикнула Зина, но Леночка была уже въ коридорѣ.

Когда она вошла въ залу, тамъ суетилась еще прислуга; двери въ гостиную были затворены, но оттуда слышны были голоса. Сердце ея такъ сильно стучало, что она остановилась перевести духъ, потомъ, сама не зная какъ, вдругъ отворила дверь и очутилась въ гостиной. Тамъ какой-то сѣдой господинъ со звѣздой разсказывалъ повидимому что-то очень смѣшное двумъ молодымъ дамамъ, а тетя Лиза сидѣла съ какою-то важною старушкою.

— Лена!—сейчасъ же позвала ее графиня:—позвольте вамъ представить мою племянницу Лену Дольскую.

Леночка, сама не зная почему, вдругъ сдѣлала реверансъ, чего съ ней давно не случалось.

— Elle est très gentille!—сказала старушка:—et quel beau teint! видно, что не петербургская. Какое прелестное платье! прелестно...— и она собиралась заняться подробнымъ осмотромъ Леночки, но тетя Лиза сдѣлала видъ, что не замѣчаетъ этого.

— Лена, миссъ Блэкъ въ красной гостиной, и ты вѣроятно найдешь тамъ знакомыхъ.

Леночка знала, что никакихъ знакомыхъ она тамъ не найдетъ, но теперь ей было все равно, куда ни идти.

Въ красной гостиной собралась молодежь и замѣтно было большое оживленіе, хотя народу было еще немного, особенно кавалеровъ.

Правовѣдъ съ пробивающимися усиками и съ чашкой чая въ рукахъ стоялъ передъ двумя барышнями почти въ такой же позѣ, какъ тотъ господинъ со звѣздой, котораго Леночка только-что видѣла, и разсказывалъ имъ, повидимому, тоже что-то очень смѣшное; было еще два или три пажа и нарядный мальчикъ, лѣтъ четырнадцати, въ бархатной куртке и шолковыхъ чулкахъ, который любезно подвинулъ ей стулъ; барышни, или скорѣе дѣвочки, были многочисленнѣе; Леночка сразу и не безъ нѣкотораго успокоенія замѣтила, что большинство было одѣто почти такъ же, какъ она, и выдѣлялось только три или четыре длинныхъ платья—очевидно, старшія сестры.

— Хотите чаю?—спросила миссъ Блэкъ, знакомя ее съ нѣкоторыми изъ гостей. Леночка взяла чашку, но поспѣшила пробраться въ дальній уголъ.

— Кто это?—разслышала она вопросъ одного изъ пажей.

— Не знаю.

— А не дурна, даже весьма; только отчего у нея видъ такой растерянный?

Не успѣла Леночка усѣсться, какъ одна изъ большихъ барышенъ, разговаривавшая съ миссъ Блэкъ и съ которой та только-что ее познакомила, подошла къ ней:

— Можно къ вамъ? я такъ рада васъ видѣть. Зина столько мнѣ говорила про васъ; это мой лучшій другъ, хотя она гораздо моложе меня...

„Чего этой еще отъ меня надо?“—подумала Леночка, съ досадой отодвигаясь, чтобы дать ей мѣсто, но она скоро замѣтила, что вдвоемъ ей все-таки удобнѣе и сноснѣе, чѣмъ одной, среди всѣхъ этихъ незнакомыхъ лицъ, которыя постоянно прибывали и, какъ ей казалось, всѣ на нее смотрѣли. Она сдѣлала надъ собой усиліе и отвѣчала насколько возможно спокойнѣе и толковѣе своей новой знакомой. А той того и нужно было: она рѣшила взять Леночку подъ свое покровительство; ей показалось, что Лена конфузится просто оттого, что въ первый разъ въ большомъ обществѣ, и ей было лестно и весело въ шестнадцать лѣтъ шапронировать эту хорошенькую деревенскую дѣвочку. Она называла входившихъ, подсмѣиваясь надъ ними и вообще

такъ заинтересовала Леночку, что та на минуту забыла собственную обидную роль въ этомъ спектаклѣ. Леночка почти не замѣтила, какъ онѣ встали и перешли въ залу передъ началомъ спектакля.

Пьеса была одноактная; по окончаніи ея должны были быть танцы. Леночка давно рѣшила, что какъ только опустится занавѣсъ и начнутъ убирать залу, она проскользнетъ въ коридоръ и больше не покажется; танцовать ее никто не заставитъ.

Теперь, когда пьеса приближалась къ концу, она не безъ нѣкоторой гордости чувствовала, что выдержала-таки характеръ.

„Вотъ и кончается, а я все-таки добьюсь своего, поступлю въ институтъ!“ думала она, почти забывая уже про высшіе курсы.

Занавѣсъ опустился. Послышались рукоплесканія и вызовы.

Леночка встала, стараясь какъ можно скорѣе подготовить себѣ отступленіе.

Но въ эту минуту подошелъ къ ней мальчикъ въ бархатной курточкѣ и, почтительно кланяясь, спросилъ ее, не сдѣлаетъ ли она ему честь танцовать съ нимъ.

Леночка вспыхнула и коротко отвѣтила: — Я не танцую.

Новая знакомая улыбнулась.

— Вы въ самомъ дѣлѣ не танцуете, или только съ нимъ не хотите?

— И въ самомъ дѣлѣ не танцую, и съ нимъ не хочу,— сказала она, теряя терпѣніе. Но та не обидѣлась.

Леночка сдѣлала нѣсколько шаговъ по направленію къ двери, но уйти было нельзя: тетя Лиза стояла совсѣмъ близко, провожая какую-то даму.

„Только не вздумала бы еще представлять!“ — и Леночка остановилась какъ разъ передъ зеркаломъ, ожидая, чтобы тетя Лиза ушла.

„Что бы подумала Вѣрочка, еслибъ она увидала меня теперь?“—мелькнуло у нея въ головѣ. Но на этотъ разъ она не отвернулась, а разсѣянно слушая то, что ей говорила ея новая знакомая, продолжала смотрѣть на себя въ зеркало. „По дѣломъ тебѣ, дождалась!—съ горечью и въ то же время съ какимъ-то злобнымъ удовольствіемъ думала она.—Любишь кататься, люби и саночки возить“,—вспомнила она любимую поговорку Аристарха Николаевича и въ первый разъ она разсмотрѣла всѣ подробности своего туалета. Ея новая знакомая замѣтила наконецъ этотъ взглядъ.

— Какое на васъ прелестное платье!—сказала она:—отъ кого это?

— Отъ м-мъ Валерй.

— Прелестно! Это настоящая артистка,—сейчасъ видно.

„Ну и носи его, коли оно тебѣ такъ нравится!“ — со злостью подумала Леночка.

— Не хотите ли фасонъ?—спросила она, не выдержавъ.

Ея новая пріятельница не то удивилась, не то обидѣлась:

— Нѣтъ, я хотѣла только сказать, что къ *вамъ* оно очень идетъ.

— Вы находите?—и Леночка повернулась къ ней спиной, готовясь уйти, но въ дверяхъ почти столкнулась съ Борей. Актеры рѣшили не переодѣваться, и онъ, какъ будто на сценѣ, съ изысканной любезностью поклонился ей.

Она сдѣлала нетерпѣливое движеніе впередъ, но Боря притворился, что ничего не замѣчаетъ.

— А вы измѣнили своимъ убѣжденіямъ,—съ любезной улыбкой сказалъ онъ: — и послѣдовали-таки петербургскимъ модамъ!

— Вы видите, я хочу пройти,—рѣзко сказала Леночка и почти бѣгомъ пустилась черезъ коридоръ въ спальню.

Тамъ, сорвавъ съ себя ненавистное платье, она бросилась въ постель и уткнулась лицомъ въ подушки.

VI.

Съ этого дня Петербургъ въ глазахъ Леночки потерялъ всю свою прелесть. Съ каждымъ новымъ платьемъ, которое приносили отъ м-мъ Валерй,—а ихъ было не мало,—Леночка готова была отказаться отъ своихъ плановъ и написать Марьѣ Петровнѣ, чтобъ она скорѣй увезла ее въ деревню, но, совладѣвъ съ собой, она старалась только не показывать своей обиды. Сначала новыя платья она надѣвала только тогда, когда ей напоминали объ этомъ, но потомъ нашла, что такія превращенія еще смѣшнѣе и глупѣе, и велѣла убрать все, что привезла съ собой изъ деревни. Теперь, когда онѣ гуляли съ Зиной въ сопровожденіи миссъ Блэкъ, можно было принять ихъ за родныхъ сестеръ. Иногда, встрѣчая такихъ же нарядныхъ и почти взрослыхъ дѣвочекъ въ сопровожденіи такихъ же гувернантокъ, Леночка сама уже не знала, большая она или нѣтъ.

Проходя мимо зеркала, она не узнавала себя и ей казалось, что это не можетъ быть Леночка Дольская, которую привела сюда потребность высшаго образованія. Она завидовала Зинѣ, которая не только не тяготилась своими туалетами, но доказы-

вала, что всѣ такъ ходятъ и что Леночка только не привыкла. Но какъ ни старалась Леночка казаться равнодушной, она не могла безъ волненія видѣть даже вывѣски м-мъ Валерй.

Когда наконецъ она выдержала экзаменъ и была принята въ институтъ, она была такъ рада, какъ будто уже окончила въ немъ курсъ. Правда, что радость эта была непродолжительна и привыкать къ институтскимъ порядкамъ было не весело. Но для Леночки это казалось все-таки лучше, чѣмъ у тети Лизы. Правда, что здѣсь отъ ея прежней независимости не осталось и тѣни и каждый шагъ нужно было спрашивать позволенія, но она видѣла, что иначе нельзя, что она одна изъ тысячи и теряется въ этой тысячѣ. Къ тому же дни были такъ наполнены и такъ однообразны, что проходили одинъ за другимъ незамѣтно; иногда это однообразіе казалось невыносимо скучно, но зато, оглянувшись назадъ, она не замѣчала, какъ прошло два, три мѣсяца, да и объ этомъ она думала больше по праздникамъ, а въ будни время такъ шло, что некогда было оглянуться.

Такъ прошло болѣе трехъ лѣтъ; только праздники и каникулы составляли пестрыя точки на этомъ однообразно сѣромъ фонѣ.

Наконецъ Леночка окончила курсъ и Марья Петровна увезла ее отдыхать въ деревню.

Когда онѣ пріѣхали въ Моховое, сирень была въ цвѣту, деревья покрыты еще свѣжей зеленью и по вечерамъ въ саду допѣвали свои пѣсни запоздалые соловьи. Въ комнатѣ Леночки все было обтянуто новенькимъ ситцемъ и все какъ будто ждало ее. Первые дни показались ей особенно тихими и свѣтлыми. Ей ничего не хотѣлось. Она такъ наслаждалась сознаніемъ, что ничего уже не нужно дѣлать, что никто отъ нея ничего не требуетъ и всѣ стараются угодить ей, что ей казалось—ничего больше не надо.

Пусть только по утрамъ сквозь розовыя занавѣски въ ея комнату все такъ же прокрадывается солнечный лучъ и такъ же чирикаютъ воробьи. Пусть за обѣдомъ мама и Панкратьевна наперерывъ стараются накормить ее любимыми блюдами. Пусть ей все такъ же будетъ восемнадцать лѣтъ и платья у нея будутъ такія же простенькія, но красивыя, а по вечерамъ пусть все такъ же поютъ соловьи.

Она даже ни разу не заглянула въ программы и книжки, лежавшія у нея на столѣ, которыми она запаслась передъ отъѣздомъ: съ нея достаточно было сознанія, что если она захочетъ теперь, она легко можетъ достигнуть того, что̀ прежде казалось почти недостижимымъ.

Ей ничего и никуда не хотѣлось. Она не написала даже Вѣрѣ Соханской, со дня на день откладывая свое посѣщеніе. Только пѣніемъ она занималась усердно. Послѣдній годъ въ институтѣ она уже работала, насколько могла, надъ своимъ голосомъ, но не хватало времени, несмотря на то, что учитель тоже особенно интересовался ею, какъ единственной ученицей, подававшей большія надежды.

Дня три послѣ пріѣзда она только-что кончила свои сольфеджіо и сидѣла у рояля, разучивая какой-то романсъ, когда во дворѣ послышался стукъ подъѣзжавшаго экипажа.

Леночка поспѣшно закрыла рояль и хотѣла уйти, но Вѣра была уже въ залѣ.

— И тебѣ не стыдно такъ забывать друзей: четвертый день здѣсь и даже не написала!—говорила она, цѣлуя ее.—Хорошо, что я не злопамятна. Ну, теперь разсказывай все, все по порядку.

— Пойдемъ лучше ко мнѣ, тамъ удобнѣе,—и Леночка увела своего друга.

— Какъ у тебя уютно, просто прелесть!—говорила Вѣра, разсматривая комнату.—А ты знаешь, у тебя замѣчательный характеръ; я тебѣ удивляюсь, я все думала, что ты не выдержишь. А это что такое? программы? Какъ тебѣ не надоѣло еще учиться? Я давно уже всѣ свои книжки отдала Петѣ и онъ продалъ ихъ за пять рублей у Сухаревой башни. Ну, а теперь покажи мнѣ свои платья. Завтра ты у насъ обѣдаешь. Петя празднуетъ окончаніе курса. Положимъ, это не онъ, а я выдумала, но все равно. Ну, что ты надѣнешь? показывай!

И она заставила Леночку не только показать всѣ свои платья, но и примѣрить ихъ.

— А ты очень перемѣнилась,—говорила она, слѣдя за тѣмъ, какъ Леночка быстро и ловко застегивала лифъ и оправляла банты.

— Это въ какомъ отношеніи?

— Не знаю, какъ тебѣ сказать, но ты совсѣмъ не похожа на будущую курсистку.

— Ахъ, вотъ что! можетъ быть; я ихъ почти не видала.

Онѣ проговорили весь вечеръ, и Вѣра уѣхала, взявъ слово съ своей пріятельницы, что завтра она будетъ у нихъ непремѣнно.

Гости почти всѣ были уже въ сборѣ, когда пріѣхала Леночка. Вѣра поспѣшила познакомить ее со всѣми; впрочемъ большинство она уже знала, хотя и не видала болѣе трехъ лѣтъ. Тутъ

былъ исправникъ, отставной военный, старавшійся быть свѣтскимъ кавалеромъ и разговаривавшій съ дамами такимъ голосомъ, какъ будто командовалъ ротой; судебный слѣдователь изъ правовѣдовъ, за которымъ ухаживали всѣ маменьки; земскій начальникъ, умѣвшій такъ ругаться, что нерѣдко достигалъ примиренія сторонъ еще прежде судебнаго разбирательства. Было два гимназиста и старичокъ-помѣщикъ, бранившій и старые, и новые порядки, и три дочери его, изъ которыхъ старшая, съ плотной таліей и тонкимъ голосомъ, очевидно держала въ страхѣ не только сестеръ, но и его самого; была какая-то барышня въ псевдо-русскомъ костюмѣ, который Леночка прежде такъ любила и который теперь показался ей совсѣмъ некрасивымъ.

Леночка такъ отвыкла отъ этого общества, что въ первую минуту растерялась, но закуска была уже на столѣ; за обѣдомъ она сидѣла между Петей и судебнымъ слѣдователемъ. Старикъ Сохансвій по обыкновенію началъ поддразнивать ее; она краснѣла, но не сердилась; она чувствовала, что уже взрослая, что платье идетъ къ ней и сама она нравится. Петя, который, бывало, почти не обращалъ на нее вниманія, теперь былъ съ ней особенно любезенъ, а кандидатъ на судебную должность, къ неудовольствію другой своей сосѣдки, нѣсколько разъ успѣлъ уже объяснить ей, что онъ недавно въ провинціи и надѣется, что не надолго.

Послѣ обѣда Вѣра попробовала устроить какія-то игры, но дѣло не пошло и рѣшено было заняться музыкой.

Началъ исправникъ; онъ спѣлъ: „Во Францію два гренадера“... такимъ страшнымъ голосомъ, какъ будто Франціи грозило новое нашествіе.

Потомъ барышня съ тонкимъ голосомъ пѣла: „On dit que l'on te marie“... пронзительно, хотя и невнятно.

Леночка слушала съ удивленіемъ, и когда стали къ ней приставать, что теперь ея очередь, она хотѣла рѣшительно отказаться, но Вѣрочка почти насильно притащила ее къ роялю и шепнула ей, что это невозможно, что другіе обидятся, что она хоть что-нибудь должна спѣть для нея. Леночка выбрала какой-то романсъ и начала пѣть нехотя и вяло, но скоро она позабыла окружавшее ее общество, и голосъ ея зазвенѣлъ полнѣе и ярче; онъ былъ такъ силенъ и звученъ, что вся зала была полна имъ.

Когда она кончила, наступила минута молчанія, какъ будто всѣ еще продолжали слушать.

— Леночка, да у тебя чудный голосъ!—вскакивая, говорила Вѣра:—ты настоящая артистка!

— Вос-хи-ти-тель-но!—отчеканивая слова, скомандовалъ исправникъ.

— Вы много учились? — спросила барышня съ тонкимъ голосомъ.

— Нѣтъ, очень немного.

— А у кого вы учились?

Леночка назвала учителя.

— А я училась у...—и барышня назвала знаменитую артистку: — а вы много слышали музыки? — продолжала она свои разспросы.

Но Леночкѣ надоѣлъ этотъ экзаменъ; она сдѣлала видъ, что не разслышала.

— Ты ѣздишь верхомъ?—обратилась она къ Вѣрѣ.

— Нѣтъ еще; лошадь моя захромала. А ты?

— У меня ея совсѣмъ нѣтъ.

— Такъ позвольте мнѣ предложить вамъ мою, — сказалъ Петя.

— А какъ же вы сами?

— У меня двѣ; одна совсѣмъ даромъ стоитъ.

— Такъ отчего же Вѣра на ней не ѣздитъ?

— Не безпокойся; мнѣ онъ ее не предложитъ.

Леночка хотѣла возразить что-то, но Вѣра ее перебила:

— Да что ты съ нимъ церемонишься; развѣ ты не понимаешь, что ему будетъ гораздо пріятнѣе ѣздить съ тобой, чѣмъ тебѣ съ нимъ!

— Вѣчно какую-нибудь глупость скажешь!—съ досадой отозвался Петя.

— Какъ глупость? Или ты думаешь, что это неправда? Какое самомнѣніе!

Леночка засмѣялась.

— Хорошо, не ссорьтесь; покажите мнѣ вашу лошадь.

— Я провожу васъ на ней; сами увидите, совсѣмъ подходящая.

— А васъ въ институтѣ не только пѣнію, но и верховой ѣздѣ обучали?—язвительно спросила барышня съ тонкимъ голосомъ.

Леночка не нашлась что отвѣтить, но за нее обидѣлся исправникъ.

— Не знаю, какъ онѣ, а вотъ вы прекрасно изволите ѣздить, точно въ кавалерійской школѣ весь курсъ прошли.

Всѣ засмѣялись.

— Только Никаноръ Ивановичъ такіе комплименты дѣлать умѣетъ!

Но той, къ кому комплиментъ относился, онъ очевидно не понравился.

— Папа, намъ пора ѣхать,—сказала она, не отвѣчая.— Дѣвочки, одѣвайтесь скорѣе!

Дѣвочкамъ этимъ было уже за-двадцать, но, видя, что сестра не въ духѣ, онѣ не рѣшились возражать и поднялись съ мѣста; за ними послѣдовали и другіе, кто для того, чтобы проводить, кто для того, чтобы самимъ уѣхать.

— Обидѣлась, глупая кикимора!—пробурчалъ исправникъ.

Скоро гости разъѣхались, но у Леночки кучеръ оказался неисправенъ, и Соханскій велѣлъ запречь своихъ лошадей.

— Ну, теперь чужіе гости уѣхали, спой еще что-нибудь!— говорила Вѣра.

Леночка не заставила себя просить; она чувствовала, что въ голосѣ, видѣла, что Петя не спускаетъ съ нея глазъ, и ей самой хотѣлось и пѣть, и смѣяться.

Лошади давно уже были у подъѣзда, когда наконецъ она рѣшительно закрыла ноты и отошла отъ рояля.

— Нѣтъ, пора; мама будетъ безпокоиться, что я совсѣмъ пропала.

Всѣ вышли на крыльцо.

— Какъ свѣтло, точно днемъ!

— Завтра полнолуніе.

— Пріѣзжай поскорѣй, да не забудь ноты съ собой захватить.

— Я сейчасъ догоню васъ,—говорилъ Петя, и тарантасъ быстро понесся по знакомой аллеѣ. Коренникъ плавно покачивался подъ дугой, пока пристяжныя шли полнымъ галопомъ.

Въ воздухѣ пахло травою, сиренью и зацвѣтающей липой.

Деревья быстро мелькали и скоро они выѣхали въ поле, потомъ опять показалась роща и позади послышался звукъ приближающихся копытъ. „Вѣрно, Петя! — подумала Леночка, полной грудью вдыхая свѣжій весенній воздухъ.—Какъ хорошо и какъ не похоже на тотъ вечеръ, когда я возвращалась отсюда! Вотъ и дождалась, и можно и стоитъ жить, какъ сегодня!“

Но Петя уже почти поровнялся съ ней.

— Куда ты гонишь? — съ досадой крикнулъ онъ кучеру. Тотъ придержалъ лошадей.—Вотъ посмотрите лошадь, Елена Владиміровна!

Вороная лошадка была уже въ мылѣ.

— Какъ разъ по васъ: не слишкомъ высока, рысь покойная.

Они поѣхали тише, отъ времени до времени перекидываясь словами.

„Какъ хорошо! — думала она, — какъ все теперь совсѣмъ другое! Какіе они всѣ милые и какъ удивились, когда я пѣла! А Петя смѣшной. Кокетничать я съ нимъ не буду, а все-таки весело.

Они подъѣхали къ дому.

Петя соскочилъ съ лошади и помогъ ей выйти.

— Такъ завтра я пришлю вамъ лошадь.

— Нѣтъ, погодите, я еще поговорю съ мамà.

— Только, пожалуйста, не откладывайте; теперь самое лучшее время, а потомъ жары пойдутъ, — сказалъ онъ, садясь въ сѣдло и поворачивая лошадь.

Ночь эту Леночка спала плохо и не разъ просыпалась. Сны были не страшные, но какіе-то особенно яркіе, и, проснувшись, она долго вглядывалась въ темноту, какъ будто желая убѣдиться, не увидитъ ли опять того, что̀ сейчасъ такъ ясно стояло передъ ней.

VII.

Время шло быстро. Іюнь ужъ былъ на исходѣ. Погода стояла жаркая; днемъ солнце такъ пекло, что хотѣлось скорѣе отъ него спрятаться, а не успѣвало оно сѣсть, какъ собиралась гроза.

Сегодня погода начала хмуриться съ утра и Леночка не выходила еще изъ своей комнаты. Она почти недѣлю уже не ѣздила верхомъ, хотя Петя и пробовалъ раза два заѣхать за ней. Неужели и сегодня не прояснится?—и Леночка съ нѣкоторой враждебностью смотрѣла на крупныя дождевыя капли, начинавшія уже барабанить въ окно.

— Положимъ, мамà говоритъ—это прекрасно, особенно для яровыхъ, но каждый день—это невыносимо.

Въ дверяхъ появилась Панкратьевна.

— Аристархъ Николаевичъ пришелъ, желаетъ васъ видѣть.

Леночка поморщилась; она забыла, что визитъ этотъ былъ неизбѣженъ, а теперь совсѣмъ не расположена была вести умные разговоры.

— Хорошо,—сказала она,—попроси его въ гостиную; скажи, что я сейчасъ выйду. Что мама, у себя?

— Нѣтъ, сейчасъ на гумно пошли.

— Здравствуйте, милая барышня!—встрѣтилъ Леночку Аристархъ Николаевичъ.—И я вернулся на родину и пришелъ полюбоваться на свою ученицу. Когда же на курсы поступать изво-

лите? Или, можетъ быть, теперь и институтской премудрости на нашъ вѣкъ хватитъ? Больше никакимъ наукамъ обучаться не будете?

— Нѣтъ, буду,—коротко отвѣчала Леночка.—Что же вы не садитесь?—и она сѣла. Теперь ей противно было и то, какъ онъ подалъ ей руку, и то, какъ онъ говорилъ, и то, какъ онъ смѣялся.

„Все ломается! — подумала она: — какъ я прежде этого не замѣчала!"

Аристархъ Николаевичъ сѣлъ, но, повидимому, замѣтилъ произведенное имъ впечатлѣніе и сталъ еще грубѣе. Онъ посмотрѣлъ на нее съ улыбкой, которая такъ и говорила: „ахъ, вотъ ты какая; постой же, я тебѣ покажу".

— А впрочемъ, какія же вамъ еще науки; я думаю, и такъ всему обучились, не то что по-французски и по-англійски, а на всѣхъ семидесяти семи языкахъ можете сказать: бонжуръ, адье, комильфо; зачѣмъ же еще утруждать дворянскую голову? А женихи и безъ того найдутся, далеко и ходить не зачѣмъ.

— Что вы хотите сказать?—краснѣя и хмурясь, спросила Леночка.

— Ухъ, какъ страшно! простите пожалуйста; же не доре плю, только чѣмъ же я виноватъ, слухомъ земля полнится, а суженаго конемъ не объѣдешь, особенно воронымъ,—и онъ опять громко засмѣялся собственной остротѣ.

Леночка вспыхнула. Какъ онъ смѣетъ такъ говорить!—и ей захотѣлось сказать ему что-нибудь очень обидное, но какъ нарочно въ голову ничего такого не приходило.

— Простите, мнѣ некогда,—сухо сказала она и вышла.

— Куда вы, куда вы?—нѣсколько озадаченный крикнулъ ей въ догонку Аристархъ Николаевичъ.—Вотъ тебѣ и не комильфо вышло. Стоило тащиться за три версты, а теперь еще, того и гляди, по дорогѣ дождемъ окатитъ. Ну ихъ совсѣмъ!—онъ плюнулъ и взялся за шапку.—Не дожидаться-же тутъ мамаши: отъ той ужъ совсѣмъ, какъ отъ козла, ни шерсти, ни молока!—и онъ вышелъ, ворча себѣ что-то подъ носъ.

Леночка между тѣмъ въ волненіи ходила взадъ и впередъ по своей комнатѣ.

„Какъ онъ смѣетъ? И какое ему дѣло? Что значатъ эти глупые намеки? Неужели въ самомъ дѣлѣ уже говорятъ объ этомъ и могутъ подумать, что она ловитъ жениха? Какая гадость. Очень ей надо! Не только за Петю,—ни за кого она теперь не пойдетъ. И она презрительно пожала плечами, но все-таки не могла успокоиться и продолжала ходить взадъ и впередъ. Самое обидное

то, что въ словахъ ея бывшаго учителя есть доля правдоподобія, если не правды. Что она теперь дѣлаетъ? Готовится на курсы? но книжки, привезенныя изъ Петербурга, лежатъ еще неразрѣзанныя. Положимъ, она три года только и дѣлала, что училась, и теперь можетъ отдохнуть, но потомъ что? опять учиться, зубрить неизвѣстно для чего въ сущности совсѣмъ не неинтересныя и ни на что не нужныя вещи. Вѣдь она не Аристархъ Николаевичъ и никакихъ научныхъ открытій сдѣлать не надѣется. Но если не идти на курсы, то что же дѣлать? не оставаться же здѣсь; это хорошо на мѣсяцъ, на два, а потомъ?

— Леночка, обѣдать пора,—сказала, входя, Марья Петровна и подала ей письмо, должно быть, отъ Зины, съ заграничной маркой.

Зина писала, что эту зиму онѣ проводятъ въ Россіи, вернутся въ Петербургъ рано, не заѣзжая въ деревню, и чтобъ она непремѣнно пріѣхала къ нимъ какъ можно скорѣе.

Письмо это еще болѣе спутало все въ головѣ у Леночки; ей хотѣлось ѣхать, но для чего она поѣдетъ? чтобъ поступить на курсы и выѣзжать съ Зиной? Но въ качествѣ чего? Какъ подруга и родственница богатой невѣсты?—на это она никогда не согласится.

Почти смеркалось, когда Леночка велѣла сѣдлать лошадь и рѣшила отправиться къ Соханскимъ. „Какое мнѣ дѣло до того, что плетутъ здѣшнія кумушки? Поговорю съ Вѣрой; сама я теперь ничего не придумаю“.

Едва она выѣхала изъ воротъ, какъ почувствовала себя спокойнѣе. Прохладный, влажный воздухъ освѣжилъ ее. Солнце уже сѣло и отъ него осталась только ярко багровая полоса; по небу неслись еще клочья разорванныхъ тучъ, освѣщенныя заревомъ заката, а изъ-за лѣса поднимался тусклый, почти такой же багровый мѣсяцъ; по низинамъ вездѣ стояла вода и съ шумомъ, веселыми брызгами разлеталась изъ-подъ копытъ.

Когда Леночка въѣхала во дворъ Соханскихъ, она почти забыла и свой разговоръ съ Аристархомъ Николаевичемъ, и письмо Зины. Она спрыгнула съ лошади и, отдавъ поводъ подошедшему кучеру, взбѣжала на крыльцо.

Изъ залы доносились звуки рояля, тамъ было почти темно и Вѣра одна импровизировала что-то очень меланхолическое.

— Вотъ не ожидала! Какъ ты хорошо сдѣлала, что пріѣхала! Но ты не одна, надѣюсь. Ты не видала Петю? Я думала, онъ къ вамъ поѣхалъ.

— Нѣтъ, не видала, — и Леночка почувствовала, что крас-

нѣтъ. „Какъ глупо! Хорошо, что теперь темно“,—подумала она и прибавила громко: — А я хотѣла съ тобой посовѣтоваться — и вдругъ остановилась: „Что за вздоръ, о чемъ я буду совѣтоваться съ ней? Не могу же я сказать ей, что курсы меня не интересуютъ; кто же мнѣ велитъ тогда поступать на нихъ? А про сплетню Аристарха Николаевича говорить тоже неудобно“.

— Что же ты хотѣла сказать мнѣ?

— Да, я хотѣла посовѣтоваться съ тобой,—начала Леночка, сама не зная еще, что скажетъ:—я получила письмо отъ Зины; она зоветъ меня въ Петербургъ; мнѣ хотѣлось бы знать твое мнѣніе.

— То-есть, о чемъ собственно?

— Ты понимаешь, когда я жила у тети Лизы до поступленія въ институтъ, это было другое дѣло; во-первыхъ, я была дѣвочкой, а потомъ это было на короткое время. Теперь, если ѣхать, такъ ѣхать придется надолго; не знаю, удобно ли?

— Для нихъ? Если онѣ тебя зовутъ, такъ это не простая любезность, это уже ихъ дѣло; а для тебя во всякомъ случаѣ будетъ удобнѣе, чѣмъ жить одной въ какихъ-нибудь меблированныхъ комнатахъ.

— Да, но вѣдь я не для того собираюсь въ Петербургъ, чтобы ѣздить на вечера и въ концерты.

— Такъ и не ѣзди на нихъ и слушай лекціи свои, сколько душѣ угодно. Не знаю, какъ въ Петербургѣ, а въ Москвѣ это даже очень въ модѣ; только ты прости меня, я право не понимаю, что тебѣ за охота идти на курсы?

— Такъ что же, по твоему, такъ и сидѣть дома, ничего не дѣлая, и читать безъ разбора интересныя книжки?

— Я не понимаю, какъ ты можешь это говорить, когда у тебя настоящій талантъ, когда ты артистка!

— Не могу же я поступить на сцену безъ убѣжденія,— сказала Леночка.

— Это почему?

— Да хотя бы потому, что я къ этому не готовилась.

— Займешься годъ, другой—вотъ тебѣ и подготовка.

— Нѣтъ, тамъ школы разныя, театральное училище есть...

— Да вѣдь ты не въ балетъ собираешься; тамъ только танцовщицъ готовятъ.

Леночка не знала, что сказать на это.

— Ужъ не думаешь ли ты, что унизительно быть актрисой, какъ думаютъ здѣшнія дамы, которыя и актрисъ видали только въ проѣзжемъ балаганѣ? Да еслибы у меня былъ твой голосъ,

я бы только объ этомъ и мечтала. Конечно, изображать поселянокъ или пажей въ хорѣ не интересно, но знать, что тебя слушаютъ тысячи людей и ловятъ каждый звукъ твоего голоса и ты заставляешь ихъ то улыбаться, то плакать... нѣтъ, милая моя, передъ этимъ никакая филологія и никакая астрономія не устоятъ.

— Ты говоришь, будто я въ самомъ дѣлѣ какая-нибудь Патти или Нильсонъ.

Въ комнатѣ было совсѣмъ темно. Вдругъ она вся освѣтилась. Обѣ онѣ вздрогнули.

— Опять гроза,—сказала Вѣра.

— Еще далеко, грома не слыхать еще, надо ѣхать скорѣй.

— Что ты, погоди; я велю коляску запречь.

— Не надо, успѣю доѣхать до грозы; вели только мнѣ лошадь подать скорѣй.

Онѣ вышли на крыльцо.

— Право, пережди; что за охота рисковать!

Но Леночка была уже въ сѣдлѣ и сразу подняла лошадь въ галопъ.

Не успѣла она выѣхать со двора, какъ на встрѣчу ей мелькнула другая фигура.

— Это вы, Елена Владиміровна?—съ изумленіемъ окликнулъ ее Петя, поворачивая лошадь. Она придержала свою и они поровнялись.

— А я, было, хотѣлъ заѣхать за вами, да подумалъ, что вы не рѣшитесь въ такую погоду.

— И ошиблись, а теперь ступайте домой.

— Какъ домой?

— Да, вамъ пора чай пить, поздно.

— Чтобъ я въ такую пору отпустилъ васъ одну?!

— Вотъ какъ! Отъ кого же вы будете меня защищать: отъ дождя или отъ грома? Ну, до свиданія!

— Да что вы меня гоните?

— А вамъ очень хочется принять холодную ванну. Что-жъ, поѣзжайте, пожалуй!—и она опять пустила лошадь галопомъ.

Молнія вспыхивала и на мгновеніе все освѣщала, но мѣсяцъ давно заволокло тучами и въ промежуткахъ было совсѣмъ темно.

Петя засмѣялся.

— Чему вы?

— Вспомнилъ поговорку: ночь темная, лошадь черная, ѣдешь, ѣдешь и пощупаешь, тутъ ли она.

Но лошадь его поскользнулась и чуть не упала.

— Осторожнѣй!—крикнулъ онъ ей:—тутъ скользко.

Она рѣзкимъ движеніемъ натянула поводья и поѣхала шагомъ.

Глухой раскатъ грома докатился до нихъ и не успѣлъ смолкнуть, какъ вспыхнула новая молнія; она ярко освѣтила темные силуэты деревьевъ и, точно стелясь и скользя по травѣ, заставила вспыхнуть разомъ всѣ лужи.

— Какъ хорошо!—вырвалось у Леночки, которой въ эту минуту было и жутко, и весело.

— А все-таки поскорѣе надо доѣхать, вотъ и дождь начинается. Позвольте мнѣ ѣхать впередъ.

И онъ собирался уже обогнать ее, но она не пустила.

— Это зачѣмъ? я дорогу не хуже вашего знаю.

И, ударивъ лошадь, она пустила ее вскачь.

— Тише, тише!—кричалъ Петя, стараясь ее догнать.

Но Леночка не слушала; ее только подзадоривалъ этотъ топотъ за нею, эта молнія и этотъ дождь, крупными, тяжелыми каплями хлеставшій ей прямо въ лицо. Весь день нервы ея были слишкомъ напряжены и теперь она находила особую прелесть въ этой бѣшеной скачкѣ въ потьмахъ.

А въ то же время у нея мелькало въ головѣ: артистка! разумѣется, артистка! Вѣра только однимъ словомъ выразила то, что ей сто разъ приходило въ голову, но чего она даже себѣ самой не смѣла сказать такъ ясно.

Не прошло и пяти минутъ, какъ они полною рысью въѣзжали во дворъ. Дождь лилъ какъ изъ ведра. У конюшни мелькалъ фонарь; очевидно, собирались посылать за Леночкой.

Петя помогъ ей слѣзть съ сѣдла, что было не очень удобно, такъ какъ на нихъ не оставалось сухой нитки.

— Теперь до свиданія; надѣюсь, вы не простудитесь.

— Какъ, до свиданія? Вы переждете грозу, а мы васъ какъ-нибудь обсушимъ.

Д. Ц—въ.

Н. В. ГОГОЛЬ

Пять лѣтъ жизни за границей

1836 — 1841 гг.

XXI *).

Печально вступилъ Гоголь въ слѣдующій, 1839 годъ, но зато въ первой половинѣ своей это былъ одинъ изъ самыхъ счастливѣйшихъ годовъ его жизни. Въ это время въ Римъ пріѣхали одинъ за другимъ молодой графъ Іосифъ Віельгорскій, Жуковскій, супруги Шевыревы, Чертковы, Погодины и проч. Приблизительно въ это же время Гоголь познакомился и сошелся съ извѣстнымъ художникомъ Ивановымъ. Такимъ образомъ жизнь его была совершенно наполнена, и на чужбинѣ онъ чувствовалъ себя въ кругу людей особенно ему близкихъ и дорогихъ. Всѣ эти счастливыя встрѣчи облегчали для него разлуку съ самымъ искреннимъ его другомъ, съ его „ближайшимъ", съ А. С. Данилевскимъ. Если годъ тому назадъ, не видясь съ послѣднимъ въ продолженіе всего двухъ-трехъ мѣсяцевъ, онъ уже грустилъ и писалъ: „Я давно не видался съ нимъ и хотѣлъ бы поглядѣть на него",— то теперь перспектива продолжительнаго нравственнаго одиночества, предстоявшаго на неопредѣленный срокъ, должна бы была сильно удручить его, еслибы не цѣлый рядъ самыхъ пріятныхъ и частью неожиданныхъ свиданій.

Изъ всѣхъ названныхъ лицъ Гоголь раньше всѣхъ встрѣтилъ

*) См. выше: августъ, стр. 611.

Иванова. Когда произошло ихъ первое знакомство, опредѣлить трудно, но оно должно было завязаться не позже конца 1838 г. Въ перепискѣ Гоголя нѣтъ никакихъ данныхъ для рѣшенія этого вопроса, а отсутствіе какихъ-либо упоминаній объ Ивановѣ въ письмахъ 1837 года никакъ не можетъ еще служить доказательствомъ, что они не были знакомы уже тогда. Мы видѣли раньше, что Гоголь, кромѣ самыхъ близкихъ людей, любилъ говорить въ письмахъ и притомъ всегда съ ироніей только о такихъ, которые были для него обычнымъ предметомъ насмѣшки и глумленія. Гораздо важнѣе другое соображеніе: при безусловно замкнутомъ образѣ жизни Иванова, при извѣстной его робости и необщительности, сближеніе съ нимъ Гоголя едва ли могло произойти въ короткій срокъ. Притомъ Данилевскій вовсе не зналъ тогда Иванова. Все это скорѣе говоритъ въ пользу того, что если Гоголь и встрѣчался съ Ивановымъ въ первые пріѣзды въ Римъ, то ихъ отношенія начались позднѣе. Наконецъ, не лишено, конечно, основанія и то, что въ своей извѣстной книгѣ объ Ивановѣ Боткинъ относитъ начало знакомства его съ Гоголемъ именно къ концу 1838 г. Въ Ивановѣ Гоголь не могъ не оцѣнить прежде всего какъ его безпредѣльную любовь къ искусству, такъ и одинаковое съ нимъ увлеченіе дорогимъ ему древнимъ Римомъ, а сходство въ ихъ внѣшнемъ положеніи и тяжелыя матеріальныя условія обоихъ должны были еще болѣе укрѣпить взаимную симпатію. Несмотря на рѣшительное несходство характеровъ, Гоголь и Ивановъ во многомъ представляли собою двѣ родственныхъ по духу натуры. Мы знаемъ, съ какимъ восторгомъ всегда привѣтствовалъ Гоголь въ другихъ присутствіе той искры божіей, того вдохновеннаго увлеченія красотами природы, которое чувствовалъ въ себѣ. Не оттого ли его письма къ М. П. Балабиной дышатъ такимъ свѣтлымъ настроеніемъ и такъ живо рисуютъ передъ читателемъ искреннія, непринужденныя отношенія обоихъ корреспондентовъ. Переписка съ Балабиной Гоголя была очень непродолжительная и неправильная; тѣсной духовной связи между ними не было, а между тѣмъ едва ли, читая эти письма, можно усомниться въ томъ, что всѣ они вылились изъ глубины души. Но впечатлѣнія молодой дѣвушки были, конечно, очень мимолетны; другое дѣло—глубокое, сильное чувство художника, положившаго всю душу въ дорогое искусство. Въ одномъ письмѣ къ Балабиной Гоголь возмущается, между прочимъ, пошлыми возгласами людей, лишенныхъ чувства изящнаго, но несмотря на то считающихъ для себя обязательнымъ всѣмъ восхищаться. „Есть классъ людей,—говоритъ онъ,—которые за фразами не

лѣзутъ въ карманъ и говорятъ: „Какъ это величаво! какъ хорошо!“ Словомъ, превращаются очень легко въ восклицательный знакъ и выдаютъ себя за людей съ душой. Ихъ не терпитъ тоже моя душа, и я скорѣе готовъ простить, кто надѣваетъ на себя маску набожности, лицемѣрія, услужливости для достиженія какой-нибудь своей цѣли, нежели кто надѣваетъ на себя маску вдохновенія и поддѣльныхъ поэтическихъ чувствъ“. Напротивъ, людей съ душой и истиннымъ художественнымъ чувствомъ Гоголь не могъ не цѣнить высоко, а Ивановъ былъ одаренъ имъ въ высокой степени и восторгался Италіей не меньше самого Гоголя, о чемъ ясно говорятъ слова этого энтузіаста въ письмѣ къ брату: „О Римѣ и Италіи говорить нечего: ты ужъ такъ и полагай, что въ рай ѣдешь“. Нельзя не пожалѣть, что самое раннее письмо Гоголя къ Иванову относится уже къ концу 1839 г., а слѣдующія затѣмъ письма принадлежатъ къ тому печальному періоду жизни Гоголя, когда лучшія стороны его природы стали сильно искажаться. Мы не можемъ поэтому, за недостаткомъ данныхъ, судить вполнѣ о степени ихъ взаимности въ смыслѣ общихъ художественныхъ наслажденій, которыя несомнѣнно были.

Днемъ встрѣчи Гоголя съ молодымъ графомъ Віельгорскимъ было 20-е декабря 1838 г. Они сошлись быстро, несмотря на то, что, находясь въ тискахъ жесточайшей чахотки, Віельгорскій старался избѣгать бесѣды съ кѣмъ бы то ни было. Даровитый, симпатичный юноша производилъ на всѣхъ самое пріятное впечатлѣніе; тѣмъ скорѣе долженъ былъ къ нему привязаться оставшійся въ то время въ Римѣ безъ друзей Гоголь. Какъ быстро умѣлъ располагать къ себѣ этотъ кроткій и симпатичный страдалецъ, видно, между прочимъ, изъ отзыва Погодина, далеко не отличавшагося особенной чувствительностью. Въ своемъ путевомъ дневникѣ, изданномъ подъ названіемъ: „Годъ въ чужихъ краяхъ“, Погодинъ отмѣтилъ подъ 14 марта: „Обѣдалъ у графа Віельгорскаго, который показывалъ свои матеріалы для исторіи литературной критики“, и затѣмъ, сказавъ объ его умѣ и любознательности, съ сожалѣніемъ прибавляетъ: „румянецъ на щекахъ его не предвѣщаетъ добра“. Въ самомъ дѣлѣ, соединеніе въ Віельгорскомъ богатыхъ дарованій съ самыми привлекательными нравственными качествами не могли не возбуждать искренней грусти въ каждомъ, видѣвшемъ его въ эти послѣдніе мѣсяцы жизни. Чѣмъ ближе подкрадывалась безпощадная развязка, тѣмъ трогательнѣе становилось это безропотное угасаніе прекрасной молодой жизни. Тяжело было видѣть, какъ гибнетъ чистый юноша, исполненный самыхъ благородныхъ стремленій, такъ много обѣ-

щающій и такъ безжалостно отнимаемый судьбой у семьи, друзей, отечества. Всѣ воспоминанія объ Іосифѣ Віельгорскомъ одинаково рисуютъ его въ самомъ сочувственномъ свѣтѣ, и поэтому намъ нѣтъ причины подвергать сомнѣнію искренность грустнаго размышленія Гоголя послѣ его смерти: „Я ни во что теперь не вѣрю, и если встрѣчаю что прекрасное, тотчасъ же жмурю глаза и стараюсь не глядѣть на него. Отъ него несетъ мнѣ запахомъ могилы. „Оно на краткій мигъ", шепчетъ глухо внятный мнѣ голосъ. Оно дается для того, чтобы существовала по немъ вѣчная тоска сожалѣнія, чтобы глубоко и болѣзненно крушилась по немъ душа". Самое тѣсное сближеніе Гоголя съ молодымъ Віельгорскимъ произошло въ послѣдніе дни страданій умирающаго. Въ этотъ промежутокъ времени Гоголь безусловно отдался чувству дружбы, всецѣло посвятивъ Віельгорскому всѣ заботы и помышленія. Какъ человѣкъ въ высокой степени впечатлительный, Гоголь въ полторы недѣли своего почти неотлучнаго присутствія при больномъ, всей душой переживалъ и наслажденія тѣхъ великихъ минутъ, когда люди испытываютъ отраду въ безкорыстной помощи, оказываемой дорогому страдальцу, радуясь малѣйшему облегченію больного и высоко цѣня каждое проявленіе его благодарности, и съ другой стороны въ то же самое время Гоголемъ все сильнѣе овладѣвала жестокая тоска и отчаяніе отъ сознанія неминуемой близкой разлуки. Страшная трагедія послѣдняго разсчета съ жизнью, всегда оставляющая такое тяжелое, подавляющее чувство, является для присутствующихъ при кончинѣ особенно ужасной, когда неумолимая смерть избираетъ своей жертвой, какъ было и на этотъ разъ, существо прекрасное, чистое, съ богатыми надеждами и блестящими дарованіями. Тогда естественный роковой исходъ болѣзни представляется какимъ-то оскорбительно-нелѣпымъ и самая жизнь получаетъ видъ печальной несообразности; грозный смыслъ смерти какъ будто теряетъ всякое значеніе. Человѣкъ глубоко-религіозный, какъ Гоголь, не можетъ долго оставаться въ такомъ настроеніи, но на нѣкоторое время все-таки поддается ему, видя неизбѣжность и вмѣстѣ съ тѣмъ невѣроятную безсмыслицу совершающагося. Какое сильное, потрясающее впечатлѣніе имѣла на Гоголя съ каждымъ днемъ надвигавшаяся смерть Віельгорскаго, видно уже изъ того, что въ эти ужасные дни все остальное рѣшительно потеряло для него свое значеніе: теперь для него были мертвы и утратили всякій смыслъ и волшебныя чары Рима, и высокіе художественные замыслы и впечатлѣнія, и воспоминанія о близкихъ друзьяхъ и

знакомыхъ, и тѣмъ болѣе собственные мелкіе эгоистическіе разсчеты и соображенія...

Въ оставленныхъ Гоголемъ въ его записной книжкѣ воспоминаніяхъ подъ заглавіемъ: „Ночи на виллѣ", ярко охарактеризовано тогдашнее исключительное состояніе его души. Чтобы вполнѣ оцѣнить важное автобіографическое значеніе этихъ замѣтокъ, необходимо постараться, подобно автору, отрѣшиться на время отъ обыденныхъ интересовъ и обыденнаго настроенія. Необходимо представить себѣ, что автору ничтожнымъ и мелочнымъ показалось тогда все, что, можетъ быть, переполняло его душу наканунѣ. Блестящая столичная жизнь, суета повседневныхъ заботъ и стремленій, обычныя увлеченія и печали, все это передъ просвѣтленнымъ взоромъ высшей беззавѣтной любви, въ торжественныя минуты приготовленія дорогого человѣка къ иной, лучшей жизни, становилось чѣмъ-то фантастически призрачнымъ передъ этой полной глубокаго смысла, величавой картиной перехода въ таинственную загробную дѣйствительность, открывавшуюся передъ угасающимъ благороднымъ юношей. Гоголь, всегда чрезвычайно доступный религіознымъ представленіямъ, конечно, не могъ смотрѣть иначе на совершавшееся передъ его глазами зрѣлище смерти. Часы, проведенные Гоголемъ у постели больного, оставили глубокій, неизгладимый слѣдъ въ его сердцѣ. „Онѣ были сладки и томительны эти безсонныя ночи"—такъ начинаетъ Гоголь свой первый набросокъ въ „Ночахъ на виллѣ". „Онъ сидѣлъ больной въ креслахъ. Я при немъ. Сонъ не смѣлъ касаться очей моихъ. Онъ безмолвно и невольно, казалось, уважалъ святыню ночного бдѣнія. Мнѣ было такъ сладко сидѣть возлѣ него, глядѣть на него. Уже двѣ ночи, какъ мы говорили другъ другу *ты*. Какъ ближе послѣ этого онъ сталъ ко мнѣ! Онъ сидѣлъ все тотъ же кроткій, тихій, покорный. Боже! съ какой радостью, съ какимъ веселіемъ я принялъ бы на себя его болѣзнь! И еслибы моя смерть могла возвратить его къ здоровью, съ какою бы готовностью я бы кинулся тогда къ ней". Изъ этихъ строкъ, проникнутыхъ искреннимъ чувствомъ, мы въ правѣ заключить, что прежняя привязанность Гоголя къ больному еще болѣе усилилась отъ чувства безпредѣльной жалости, внушаемой кроткимъ характеромъ и задушевнымъ обращеніемъ Вѣльгорскаго, въ которомъ ни Гоголь, ни другія лица, видѣвшія его во время послѣдней болѣзни, нисколько не замѣчали столь извинительной и столь обычной у больныхъ раздражительности, отъ него не слышали ни слова ропота или скорби объ ускользавшей молодой жизни, сулившей ему, казалось бы, столько прекрасныхъ, свѣт-

лыхъ радостей. Эта трогательная покорность судьбѣ, эта привлекательная сердечность, украсившія ореоломъ великодушнаго всепрощенія послѣдніе дни Віельгорскаго, придавали страдальцу въ глазахъ Гоголя яркій отпечатокъ своеобразнаго поэтическаго величія. Жалобы, проклятія, стоны, невольно вырывающіеся у многихъ другихъ въ его положеніи, неизбѣжно ослабили бы долю благоговѣйнаго сочувствія къ умирающему, но ничего подобнаго на этотъ разъ не было, и дышала невыразимымъ, святымъ обаяніемъ эта умилительная кротость. Однажды Гоголь не въ силахъ былъ преодолѣть свой сонъ и ушелъ отъ Віельгорскаго домой отдохнуть. Но сонъ нисколько не освѣжилъ его и, напротивъ, его стали мучить угрызенія совѣсти. „О, какъ пошла, какъ подла была эта ночь вмѣстѣ съ моимъ презрѣннымъ сномъ!—бичевалъ себя Гоголь.—Я дурно спалъ ее, несмотря на то, что всю недѣлю проводилъ ночи безъ сна. Меня терзали мысли о немъ. Мнѣ онъ представлялся молящій, упрекающій. Я видѣлъ его глазами души. Я поспѣшилъ на другой день поутру и шелъ къ нему какъ преступникъ. Онъ увидѣлъ меня лежащій въ постели. Онъ усмѣхнулся тѣмъ же смѣхомъ ангела, которымъ привыкъ усмѣхаться. Онъ далъ мнѣ руку. Пожалъ ее любовно. „Измѣнникъ,—сказалъ онъ мнѣ:—ты измѣнилъ мнѣ!“—„Ангелъ мой!—сказалъ я ему:—прости меня. Я страдалъ самъ твоимъ страданіемъ. Я терзался эту ночь. Не спокойствіе былъ мой отдыхъ: прости меня“. Кроткій! онъ пожалъ мнѣ руку! Какъ я былъ полно вознагражденъ тогда за страданія, нанесенныя мнѣ моею глупо проведенной ночью“.

Проводя унылыя безсонныя ночи у одра друга, Гоголь сильно надорвалъ нервы: въ груди у него закипѣло озлобленіе противъ всего счастливаго, безмятежно пользующагося благами жизни. Онъ готовъ былъ проклинать всѣ дары счастья, всѣ земныя почести и сокровища, эту, по его выраженію, „звенящую приманку деревянныхъ куколъ, называемыхъ людьми“. Такая нота отчаянія только однажды прозвучала въ его признаніяхъ. Любопытно, что Гоголь проклиналъ даже тѣ милости, которыя онъ получилъ съ высоты престола и которыя незадолго передъ тѣмъ горячо благословлялъ. Конечно, въ этой импровизированной страстной вспышкѣ презрѣнія и ненависти къ людямъ и ко всѣмъ земнымъ благамъ можно видѣть только минутное изступленное проявленіе охватившаго его отчаянія, которое одно только объясняетъ намъ, почему Гоголь могъ сказать: „О, какъ бы весело, съ какою бы злостью растопталъ и подавилъ я все, что сыплется отъ могучаго скипетра полночнаго царя, еслибъ только зналъ, что за это куплю

усмѣшку, знаменующую тихое облегченіе на лицѣ его!" При видѣ ничтожества земного счастья въ душѣ Гоголя заговорила яростная ненависть къ этимъ благамъ, такъ дорого достающимся и такимъ непрочнымъ по существу! Не могъ не вспомнить онъ и о себѣ: сколько униженій и горя пришлось ему вынести въ своей скитальческой жизни, сколькихъ волненій ему стоило испрашиваніе и ожиданіе субсидій и какой убійственно-дорогой цѣной приходилось расплачиваться за художественныя наслажденія въ Римѣ! И весь этотъ горькій осадокъ пережитаго въ связи съ новой невыносимой утратой поднималъ цѣлую бурю злобы въ душѣ измученнаго безсонницами и душевными тревогами Гоголя. Это вихремъ налетѣвшее щемящее горе, грозившее умчать съ собой и развѣять скудныя радости жизни, погрузило нашего писателя въ непроглядный мракъ тяжелыхъ думъ: то, что̀ въ другое время и подъ иными впечатлѣніями забывалось за роемъ опьяняющихъ наслажденій, теперь, въ гнетущую минуту глухого отчаянія, поднимало изъ глубины души безотрадные вопли изнывшаго и наболѣвшаго сердца. Припомнимъ, что все это происходило въ 1839 г., когда въ Гоголѣ уже подготовлялся роковой переломъ. При такихъ обстоятельствахъ сильное душевное потрясеніе получаетъ особенную важность. Однимъ изъ зловѣщихъ признаковъ наступленія въ Гоголѣ психическаго переворота была рѣзкая перемѣна въ отношеніяхъ къ друзьямъ молодости, къ которымъ онъ становился постоянно равнодушнѣе и холоднѣе. Гоголь замѣтно старѣлся нравственно, и чѣмъ привѣтливѣе передъ нимъ мелькнула на минуту чистая, безкорыстная дружба къ умирающему Іосифу Віельгорскому, тѣмъ безпощаднѣе его охватилъ потомъ холодъ и очерствляющая пустота обыденной жизни. Послѣ напряженныхъ тревогъ и волненій на него вдругъ повѣяло безотрадной тишиной могилы; не о комъ стало заботиться, некого жалѣть; со всѣхъ сторонъ надвигался мракъ сердечной пустоты; все оставалось по прежнему, но недоставало одного того высокаго, облагороживающаго нравственнаго возбужденія, въ которомъ было такъ много горечи и тоски, но которое не могли бы замѣнить ему даже лучшія минуты жизни. Когда все миновало, Гоголь въ слѣдующихъ заключительныхъ строкахъ „Ночей на виллѣ" правдиво и вѣрно подвелъ итоги всему пережитому имъ въ это короткое время. „Какъ странно нова была тогда моя жизнь",—говоритъ онъ,—„и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ я читалъ въ ней повтореніе чего-то отдаленнаго, когда-то давно бывшаго! Но, мнѣ кажется, трудно дать идею о ней: ко мнѣ возвратился летучій, свѣжій отрывокъ моего юношескаго времени, когда молодая душа ищетъ дружбы и братства

между молодыми своими сверстниками и дружбы рѣшительно дружеской, полной милыхъ, почти младенческихъ, мелочей и наперерывъ оказываемыхъ знаковъ нѣжной привязанности; когда сладко смотрѣть очами въ очи, когда весь готовъ на пожертвованія, часто даже вовсе не нужныя. И всѣ эти чувства сладкія, молодыя, свѣжія,—увы! жители невозвратимаго міра, — всѣ эти чувства возвратились ко мнѣ. Боже! зачѣмъ? Я глядѣлъ на тебя, милый мой молодой цвѣтъ. Затѣмъ ли пахнуло на меня вдругъ это свѣжее дуновеніе молодости, чтобы потомъ вдругъ и разомъ я погрузился еще въ большую мертвящую остылость чувствъ, чтобы я вдругъ сталъ старѣе цѣлымъ десяткомъ, чтобы отчаяннѣе и безнадежнѣе *я увидѣлъ исчезающую мою жизнь*? Такъ угаснувшій огонь еще посылаетъ на воздухъ послѣднее пламя, озарившее трепетно мрачныя стѣны, чтобы потомъ скрыться навѣки". Послѣ этого дерзкимъ и непонятнымъ покажется съ перваго взгляда сопоставленіе этого сравненія съ сходнымъ, употребленнымъ Гоголемъ въ первой части „Мертвыхъ Душъ" по поводу Плюшкина, но сходство несомнѣнное, и притомъ ничто не мѣшало, конечно, Гоголю по разнымъ случаямъ высказывать въ лирическихъ отступленіяхъ тѣ чувства и мысли, которыя возникали въ его душѣ въ разное время и при разныхъ обстоятельствахъ, а потомъ находили себѣ примѣненіе въ художественномъ творчествѣ при обрисовкѣ того или другого героя. Поэтому и о Плюшкинѣ могло быть высказано имъ болѣе общее наблюденіе въ этихъ словахъ: „На его лицѣ вдругъ скользнулъ какой-то теплый лучъ, выразилось не чувство, а какое-то блѣдное отраженіе чувства: явленіе, подобное неожиданному появленію на поверхности водъ утопающаго, произведшему радостный крикъ въ толпѣ, обступившей берегъ; но напрасно обрадовавшіеся братья и сестры кидаютъ съ берега веревку и ждутъ, не мелькнетъ ли вновь спина или утомленныя бореньемъ руки — появленіе было послѣднее. Глухо все, и еще страшнѣе и пустыннѣе становится послѣ того затихнувшая поверхность безотвѣтной стихіи".

Нельзя не замѣтить, что горе Гоголя о смерти Віельгорскаго и о матери его „ближайшаго" нельзя и сравнивать по глубинѣ и искренности чувства съ другими его потерями. Здѣсь мы не слышимъ уже благочестивой реторики съ холодными утѣшеніями въ духѣ религіозной проповѣди, какъ это часто бывало въ другихъ подобныхъ случаяхъ. Много грустныхъ часовъ провелъ Гоголь у постели умирающаго, но много было зато пережито имъ высокихъ, очищающихъ душу мгновеній, украшенныхъ всей прелестью истиннаго человѣческаго чувства. Въ такія минуты чистой

скорби забываются пошлые будничные интересы и минуты эти остаются святыми и памятными на вѣки. Едва ли у кого достанетъ духа усомниться въ искреннемъ движеніи души, которое слышится въ этихъ словахъ: „Что бы я далъ тогда,—говоритъ Гоголь,—какихъ бы благъ земныхъ, презрѣнныхъ, этихъ подлыхъ, этихъ гадкихъ благъ... Нѣтъ! о нихъ не стоитъ и говорить! Ты, кому попадутся,—если только попадутся,—въ руки эти нестройныя, слабыя строки, блѣдныя выраженія моихъ чувствъ,—ты поймешь меня. Иначе они не попадутъ тебѣ“. Въ послѣднихъ словахъ заслуживаетъ вниманія довольно ясное проявленіе тѣхъ мистическихъ взглядовъ, которые вскорѣ совершенно завладѣли душой Гоголя и наполнили собой всю его переписку за послѣднее десятилѣтіе жизни.

Изъ другихъ лицъ, жившихъ вмѣстѣ съ Гоголемъ въ Римѣ въ 1839 г., намъ слѣдуетъ остановиться внимательнѣе на Шевыревѣ, Жуковскомъ и Погодинѣ. Впрочемъ съ Шевыревымъ и его женой Гоголь едва ли могъ тогда особенно близко сойтись, такъ какъ большая часть времени ревностнаго профессора была посвящена научнымъ занятіямъ, которыхъ онъ не оставлялъ нигдѣ во время своего путешествія за границей. Въ то время онъ усердно посѣщалъ лекціи археологическаго института и изучалъ славянскія рукописи Ватиканской библіотеки. Плодомъ этихъ работъ были потомъ статьи, напечатанныя въ „Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія“, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Кромѣ того, своимъ пребываніемъ въ Римѣ Шевыревъ воспользовался также для знакомства съ разными учеными знаменитостями того времени, какъ-то: Меццофанти, Нибби и другими. Въ Римъ Шевыревъ прибылъ еще въ 1838 г.; это очевидно уже изъ того, что его отчеты о занятіяхъ въ археологическомъ институтѣ появлялись въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ еще за 1838 г., и только въ письмѣ отъ 31-го декабря къ А. С. Данилевскому о немъ сказано мимоходомъ: „Изъ моихъ *знакомыхъ* здѣсь Шевыревъ, Чертковъ; прочіе незначительные, т.-е. для меня“. И въ этихъ строкахъ Шевыревъ названъ на ряду съ Чертковымъ, далеко не близкимъ человѣкомъ для Гоголя. Если принять во вниманіе, что до пріѣзда въ Римъ Шевыревъ былъ слишкомъ поверхностно знакомъ съ Гоголемъ и что въ самомъ Римѣ онъ былъ постоянно занятъ, то завязавшуюся между ними пріязнь и относительную короткость можно почти съ увѣренностью отнести къ тому промежутку времени, когда въ Римъ пріѣхалъ уже Погодинъ. Тогда, по свѣденіямъ „Біографическаго словаря“ профессоровъ московскаго университета, Погодинъ „прожилъ мѣсяцъ на

квартирѣ у Гоголя, который, *вмѣстѣ съ Шевыревымъ*, и показалъ Погодину всѣ его достопримѣчательности", что подтверждается съ другой стороны и воспоминаніями Погодина. Въ свое пребываніе въ Римѣ Шевыревъ, какъ извѣстно, расширилъ свое знакомство съ произведеніями римской литературы и искусства и въ совершенствѣ изучилъ итальянскій языкъ. Съ Гоголемъ онъ, безъ сомнѣнія, почти ежедневно встрѣчался, когда пріѣхалъ Погодинъ, и тутъ уже установилась между ними извѣстная близость, вскорѣ проявившаяся въ томъ, что, разставаясь съ своимъ семействомъ, Шевыревъ поручилъ послѣднее дружескимъ попеченіямъ Гоголя. Съ этихъ поръ между ними завязалась и переписка и вообще они становятся близкими другъ къ другу людьми, но близость эта все-таки далеко не была такою, какая существовала между каждымъ изъ нихъ и Погодинымъ. Такимъ образомъ можно думать, что по крайней мѣрѣ въ продолженіе двухъ первыхъ мѣсяцевъ 1839 г. Гоголь преимущественно дѣлилъ свое время между сообществомъ Жуковскаго и молодого умирающаго графа Віельгорскаго. Въ уже цитированномъ письмѣ Гоголя къ Данилевскому отъ 1-го декабря 1838 г. читаемъ извѣстіе о его пріѣздѣ: „На дняхъ пріѣхалъ наслѣдникъ, а съ нимъ вмѣстѣ Жуковскій. Онъ все такъ же добръ, такъ же любитъ меня. Свиданіе наше было трогательно: онъ весь полонъ Пушкинымъ. Наслѣдникъ, какъ извѣстно тебѣ, имѣетъ добрую душу. Всѣ русскіе были приглашены къ его столу на второй день его пріѣзда". Въ написанномъ вскорѣ послѣ того письмѣ княжнѣ В. Н. Репниной Гоголь говоритъ: „Я теперь такъ счастливъ пріѣздомъ Жуковскаго, что это одно *наполняетъ меня всего*. Свиданіе наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, было Пушкинъ. Понынѣ чело его облекается грустью при мысли объ этой утратѣ. *Мы почти весь день вмѣстѣ осматривали Римъ съ утра до ночи*. Онъ весь упоенъ Римомъ, и только жалѣетъ на короткость времени" (sic). Письма Гоголя къ Жуковскому послѣ ихъ встрѣчи въ Римѣ носятъ явные слѣды происшедшаго въ этотъ промежутокъ болѣе тѣснаго сближенія между ними. Хотя съ внѣшней стороны письма Гоголя къ Шевыреву, которому онъ еще въ Римѣ, повидимому, началъ говорить на ты, кажутся болѣе товарищескими, но въ нихъ нѣтъ до самой кончины Гоголя никакого намека на истинное расположеніе, которое чувствуется обыкновенно въ письмахъ къ Погодину (до ссоры съ нимъ въ началѣ сороковыхъ годовъ) и къ Жуковскому. Вообще намъ кажется, что въ сношеніяхъ съ Шевыревымъ у Гоголя нигдѣ не прорывается сколько-нибудь сильнаго и искренняго порыва души. Повидимому,

и впослѣдствіи Гоголь преимущественно высоко цѣнилъ въ этомъ своемъ пріятелѣ скорѣе его точность въ веденіи порученныхъ ему затруднительныхъ и щекотливыхъ денежныхъ дѣлъ и его утонченную деликатность, которою онъ, конечно, безъ сравненія превосходилъ болѣе симпатичнаго Гоголю въ началѣ Погодина. Но едва ли въ самомъ дѣлѣ Гоголь могъ искренно любить Шевырева, тѣмъ болѣе, что онъ состоялъ съ нимъ преимущественно только въ письменныхъ сношеніяхъ, а лично видался въ сущности почти только въ немногіе и короткіе пріѣзды свои въ Москву. Напротивъ, Жуковскій съ Гоголемъ дѣлилъ отъ души самыя высокія наслажденія прекраснымъ въ продолженіе всего пребыванія его въ Римѣ. Маститый поэтъ совершенно оправдалъ задушевныя мечты Гоголя, писавшаго ему еще въ концѣ 1837 г.: „Неужели вы не побываете здѣсь, и не поглядите на Италію? И не отдадите тотъ поклонъ, которымъ долженъ красавицѣ-природѣ всякъ кадящій прекрасному? Здѣсь престолъ ея. Въ другихъ мѣстахъ мелькаетъ одно только воскраіе ея ризы, а здѣсь она вся глядитъ въ очи, своими пронзительными очами". Все это онъ дѣйствительно переживалъ потомъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ. Съ нимъ Гоголь много странствовалъ по Риму; они вмѣстѣ всходили на куполъ св. Петра, вмѣстѣ гуляли по цѣлымъ днямъ и рисовали съ натуры. Когда Жуковскій уѣзжалъ, Гоголь почувствовалъ нравственное одиночество и томительную пустоту и ему безпрестанно вспоминались ихъ совмѣстныя прогулки. „Доживу ли я",— говоритъ онъ,—до того времени, когда мы вновь сядемъ вмѣстѣ, оба съ кистями? Вѣрите ли, что иногда, рисуя, я, позабывшись, вдругъ оборачиваюсь, чтобы сказать слово вамъ, и, оборотившись, вижу и какъ будто слышу пустоту, по крайней мѣрѣ на нѣсколько минутъ, въ землѣ, гдѣ всякое мѣсто наполнено и гдѣ нѣтъ пустоты". Даже встрѣчая на улицахъ бывшаго слугу Жуковскаго, Гоголь въ разсѣянности готовъ былъ спросить его о его прежнемъ хозяинѣ. Гоголь особенно жалѣлъ, что Жуковскій уѣхалъ изъ Рима слишкомъ рано, почти вслѣдъ за окончаніемъ карнавала, и не дождался въ немъ начала весны. „Бывало, помните,— писалъ онъ,—мы гонялись за натурою, т.-е. движущеюся, а теперь она сама лѣзетъ въ глаза: то оселъ, то албанка, то аббатъ, то наконецъ такого рода странное существо, которыхъ опредѣлить трудно". Такъ какъ въ письмѣ къ Данилевскому отъ 5-го февраля Гоголь говоритъ о началѣ наступившаго карнавала, когда Жуковскій еще былъ въ Римѣ, и даже даетъ ясное указаніе на то, что онъ долженъ черезъ два дня оставить Римъ, то отъѣздъ Жуковскаго можно отнести приблизительно къ 10-му февраля этого

года. Вскорѣ послѣ этого, въ письмѣ отъ 12-го февраля, Гоголь уже говорилъ: „Жуковскій теперь только уѣхалъ и оставилъ меня сиротою и мнѣ сдѣлалось въ первый разъ грустно въ Римѣ". Наконецъ, судя по тому, что въ предшествующую пору Гоголь „проводилъ все время съ Римомъ, т.-е. съ его развалинами и природой и Жуковскимъ", надо думать, что его усиленныя ухаживанія за больнымъ Іосифомъ Віельгорскимъ относятся уже къ апрѣлю и маю мѣсяцамъ этого года. Въ мартѣ же Гоголя посѣтилъ въ Римѣ его также землякъ и хорошій знакомый родителей, Николай Михайловичъ Трахимовскій, внукъ извѣстнаго доктора, ради совѣта съ которымъ Марья Ивановна Гоголь, передъ рожденіемъ своего знаменитаго сына, пріѣхала въ Сорочинцы, гдѣ и увидѣлъ свѣтъ нашъ писатель. По словамъ А. С. Данилевскаго, онъ былъ гвардейскимъ офицеромъ, лейбъ-уланомъ (потомъ онъ былъ предводителемъ дворянства въ Бѣлостокѣ). Въ мартѣ также пріѣхалъ въ Римъ и Погодинъ.

XXII.

Погодинъ велъ подробный дневникъ своей поѣздки и благодаря этому мы можемъ съ большимъ удобствомъ слѣдить за подробностями сношеній его съ Гоголемъ въ Римѣ. Днемъ пріѣзда Погодина въ Римъ было 7 марта (за нѣсколько недѣль до Пасхи). Теперь Гоголю снова представился случай переживать свои любимыя наслажденія, когда онъ принялся знакомить друга съ достопримѣчательностями Рима. Не давъ Погодину отдохнуть съ дороги, онъ уже потащилъ его въ храмъ св. Петра. Исполняя съ обычнымъ увлеченіемъ добровольно принятую на себя роль чичероне, Гоголь замѣтно оказывалъ сильное вліяніе какъ на выборъ и передачу предметовъ, подлежащихъ совмѣстному обзору, такъ даже на характеръ самыхъ впечатлѣній своего спутника. Онъ съ такой энергіей и живостью направлялъ вниманіе пріятеля на все, что̀ имъ встрѣчалось по дорогѣ любопытнаго, что послѣднему оставалось только поспѣвать слѣдить за нимъ и нàскоро схватывать со всѣхъ сторонъ наплывающія впечатлѣнія. Слѣды этого можно видѣть отчасти уже въ бѣгломъ перечисленіи въ дневникѣ Погодина предметовъ и зданій, встрѣчавшихся имъ на пути, но на время откладываемыхъ для болѣе достопримѣчательнаго. „Вотъ мостъ св. Ангела, вотъ Тибръ, вотъ мавзолей Адріановъ, а вотъ и площадь св. Петра съ Сикстовымъ обелискомъ", припоминаетъ Погодинъ, очевидно, весьма бѣгло промелькнувшія

впечатлѣнія. Сопровождая Погодина, Гоголь имѣлъ обыкновеніе хранить торжественное молчаніе, отдаваясь въ то же время самъ охватывавшимъ его наслажденіямъ и наплывавшимъ мыслямъ и, можетъ быть, стремясь сильнѣе и достойнѣе поразить своего спутника изрѣдка вырывавшимися восклицаніями. Но воспоминанія Погодина отзываются какой-то вялостью въ сравненіи съ той воспріимчивостью, которою отличался всегда Гоголь. Если Гоголь не могъ, по его выраженію, оторваться отъ „чтенія" Рима, которое онъ начиналъ теперь въ „сотый" разъ, то у Погодина, какъ всегда, время отъ времени вырываются столь знакомыя по его новѣйшей біографіи слащавыя и безсодержательныя воздыханія, выдающія въ немъ натуру черствую и вовсе не поэтическую. Что Гоголь живѣе чувствовалъ красоты показываемаго имъ излюбленнаго города, нежели пассивно руководимый имъ Погодинъ, восхищавшійся какъ-то по заказу и какъ бы изъ приличія, видно особенно изъ того случая, когда, подъ вліяніемъ усталости и подступавшаго голода, послѣдній легко примирился (и притомъ безъ всякаго сожалѣнія или намѣренія вознаградить въ другое время по неволѣ сдѣланное упущеніе) съ пропускомъ осмотра катакомбъ подъ церковью св. Севастіана. Для полнаго успокоенія Погодину оказалось совершенно достаточно заявленіе Гоголя о томъ, что эти катакомбы похожи на знакомыя ему кіевскія пещеры, какъ о томъ разсказывалъ *самъ* Погодинъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Искренно передавая свои впечатлѣнія, онъ, конечно, и не подозрѣвалъ, какъ жестоко этимъ признаніемъ выдалъ свою довольно равнодушную ко всему изящному и выдающемуся природу. Какую послѣ этого можно давать цѣну его патетическимъ возгласамъ въ разныхъ случаяхъ, кажется, нѣтъ нужды говорить; но для примѣра мы позволимъ себѣ привести нѣсколько подобныхъ возгласовъ: „Капитолій! — вздыхаетъ Погодинъ: — можно ошеломиться отъ такого громового слова. Капитолій! повторяю я, смотря во всѣ глаза". Впрочемъ на Капитолій невольно залюбовался и Погодинъ, такъ что черезъ нѣсколько минутъ уже Гоголь первый предложилъ ему идти дальше („Ну, полно,—сказалъ Гоголь,—пойдемъ дальше!"). На знаменитомъ Foro Romano Погодинъ снова предается шаблонному раздумью, выраженному самымъ шаблоннымъ образомъ: „Боже мой, что же значитъ человѣческая твердость, что значитъ эта человѣческая слабость, которою такъ надмеваются люди? Здѣсь, здѣсь именно, да еще развѣ на островѣ св. Елены, можно изъ глубины сердца воскликнуть съ Соломономъ: суета суетъ и всяческая суета!" Въ самую сильную минуту увлеченія Погодинъ, впрочемъ, сказалъ однажды, что хотѣлъ бы прожить въ

Римѣ годъ. Но при первой неудачѣ отъ его мгновенныхъ восторговъ не остается и слѣда: онъ выходитъ изъ себя, сердится и негодуетъ на Гоголя, который, обладая болѣе нервной и чуткой натурой, дѣйствительно могъ иногда своими неровностями и увлеченіями смущать своего разсудительнаго и хладнокровнаго спутника. Не разъ Гоголь былъ въ самомъ дѣлѣ виноватъ излишней самоувѣренностью и нетерпѣливымъ характеромъ. Онъ питалъ, напр., неколебимое убѣжденіе въ томъ, что знаетъ Римъ въ совершенствѣ, но на дѣлѣ это убѣжденіе оказывалось часто преувеличеннымъ. Такъ при посѣщеніи Фраскати испортившаяся погода такъ сильно отразилась на настроеніи Гоголя, что онъ не хотѣлъ ни на что смотрѣть и неудержимо стремился домой, на чемъ въ концѣ концовъ и настоялъ, а между тѣмъ во время возвращенія ихъ домой небо вскорѣ же стало проясняться. Въ другой разъ Погодинъ справедливо остался недоволенъ Гоголемъ за то, что онъ, гордясь своимъ знаніемъ римскихъ порядковъ и обычаевъ, имѣлъ неосторожность убѣдить своего пріятеля, что для того, чтобы любоваться съ достаточнымъ комфортомъ блестящимъ фейерверкомъ въ крѣпости св. Ангела на второй день Пасхи, совершенно не стоитъ заботиться о заблаговременномъ обезпеченіи себѣ мѣстъ. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ давка была такъ велика, что друзьямъ пришлось потомъ безъ успѣха вернуться съ дороги усталыми и разсерженными.

Такимъ образомъ въ началѣ пребыванія Погодина въ Римѣ имъ руководилъ преимущественно Гоголь, позднѣе же Шевыревъ: не потому ли произошло это, что натуры Шевырева и Погодина ближе подходили другъ къ другу и что, съ другой стороны, они имѣли гораздо больше общихъ интересовъ. Зато въ первыя недѣли Гоголь не хотѣлъ и не могъ никому уступить наслажденія подѣлиться лишній разъ съ близкимъ человѣкомъ переполнявшими его душу чувствами. Когда онъ привелъ Погодина въ храмъ св. Петра, онъ тотчасъ поставилъ его у одного простѣнка и спросилъ: „видишь ли напротивъ этихъ мраморныхъ ангельчиковъ надъ чашею?“ —Вижу, ну что же?—Велики они?—Что за велики —маленькіе! — „Обернись“,—сказалъ Гоголь.— Я обернулся,— продолжаетъ Погодинъ,—и увидѣлъ передъ собою, подъ пару къ тѣмъ, маленькимъ, два, почти колоссальныхъ. Какова церковь! Потомъ онъ повелъ меня по линіи всей окружности. Шелъ, шелъ, нѣсколько разъ останавливался отдыхать. Насилу обошелъ! Что за пространство!“ Мы уже говорили, что не только на этой передачѣ впечатлѣній, но и на самомъ ихъ характерѣ сказываются слѣды руководительства Гоголя, впрочемъ и не скрываемаго По-

годинымъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ первое время, когда Погодинъ всего чаще былъ сопровождаемъ Гоголемъ, онъ отмѣчалъ и описывалъ въ своемъ дневникѣ преимущественно все то, что всегда останавливало на себѣ вниманіе послѣдняго; позже это вліяніе замѣчается уже не въ такой сильной степени. Подъ 9 марта въ дневникѣ Погодина записано: „Гоголь повелъ меня смотрѣть Римъ.—Что же ты мнѣ покажешь нынче?—Подожди, узнаешь—пойдемъ.—Пошли молча по Корсо. Потомъ поворотили въ переулокъ. Безпрестанно встрѣчаются духовные въ разныхъ одѣяніяхъ: капуцины въ высокихъ верблюжьихъ мантіяхъ, подпоясанные ремнями, безъ шляпы, остриженные; прелаты въ лиловыхъ чулкахъ". При этомъ и другихъ подобныхъ описаніяхъ невольно припоминается, что именно то и нравилось въ Римѣ наиболѣе Гоголю, о чемъ больше всего говоритъ Погодинъ въ дневникѣ. Точно также подъ вліяніемъ Гоголя онъ прежде всего остановилъ вниманіе на изящной красотѣ развалинъ Колизея: „Гдѣ обвалилась стѣна, гдѣ упалъ сводъ подъ окнами, гдѣ отстали карнизы. Даже нельзя жалѣть, что онъ не сохранился въ цѣлости". Наслажденія, вновь переживаемыя Гоголемъ вдвойнѣ—за себя и за пріятеля—не одинъ разъ съ большой живостью изображаются послѣднимъ. Такъ при посѣщеніи Капитолія Гоголя видимо заранѣе приводилъ въ восхищеніе ожидаемый эффектъ. Погодинъ такъ разсказываетъ объ этомъ: „Передъ нами открылась вдали широкая каменная лѣстница; наверху по бокамъ ея два огромные коня, которыхъ подъ уздцы держатъ всадники, и наконецъ конная статуя. Въ глубинѣ какое-то обширное зданіе, съ высокими колоннами. „Ну, видишь молодцовъ?—спросилъ мой чудакъ.—Вижу, да что же такое? кто они?—Это древнія статуи Діоскуровы изъ театра Помпеева. А это Маркъ Аврелій на конѣ. А это Капитолій!" Гоголь усердно водилъ своего друга и наконецъ у послѣдняго вырвалось восклицаніе: „Ахъ, еслибы пріѣхать сюда и пожить надолго. Оставайся, братецъ, здѣсь, когда тебѣ сладко. Не имѣю духа звать тебя, и понимаю, что ты могъ зажиться". Но этому патетическому возгласу едва ли можно придать какое-либо значеніе, особенно въ виду того, что въ томъ же самомъ дневникѣ и подъ тѣмъ же числомъ Погодинъ записалъ мысли совершенно противоположнаго характера, которыя явились у него уже независимо отъ вліянія Гоголя, когда онъ остался наединѣ съ самимъ собой. Мысли эти очень мало вяжутся съ недавно пережитымъ восторженнымъ состояніемъ и ясно свидѣтельствуютъ о фальшивой и дешевой аффектаціи Погодина, восхищавшагося на половину по обязанности. Сравненіе ихъ съ предъ-

идущими наглядно показываетъ степень вліянія Гоголя, которое, очевидно, слишкомъ поверхностно скользило по душѣ Погодина. „Разсматривалъ записку я, что надо осмотрѣть въ Римѣ,—припоминаетъ на досугѣ Погодинъ,—*ужасъ, сколько! Впрочемъ, еслибы что и не успѣли—такъ и быть: довольно даже того, что видѣли въ эти два дня*“. Въ послѣднихъ словахъ передъ нами на распашку настоящій Погодинъ: онъ готовъ, пожалуй, восхищаться изящнымъ, и нельзя даже сказать, чтобы оно было ему совсѣмъ недоступно, но его далеко не художественную душу не захватывали получаемыя имъ впечатлѣнія и, быстро тускнѣя, легко уступали мѣсто обычной прозѣ, такъ что на другой день по пріѣздѣ въ Римъ онъ уже удовлетворенъ и можетъ легко мириться съ тѣмъ, что не все видѣлъ въ этомъ чудномъ городѣ. Такъ же точно, въ первый же день по пріѣздѣ, Погодинъ, лишь только увидѣлъ Шевырева, охотно перенесся привычной мыслью въ Москву и, позабывъ о Римѣ, весь вечеръ проговорилъ о дѣлахъ московскаго университета, что, конечно, дѣлаетъ ему честь какъ профессору, но не какъ туристу-эстетику. Нисколько не думая, впрочемъ, ставить въ упрекъ это равнодушіе черствой душѣ Погодина, мы указываемъ на него, главнымъ образомъ, для того, чтобы представить наглядно разницу между нимъ и Гоголемъ въ ихъ отношеніяхъ къ изящному. Гоголя, конечно, оскорбила бы такая невоспріимчивость его друга, еслибы пристрастіе къ послѣднему и сила собственнаго увлеченія не помѣшали его обычной проницательности. Съ другой стороны въ впечатлѣніяхъ Погодина, безъ сомнѣнія, могло быть не мало любопытнаго и для Гоголя, такъ какъ историческія воспоминанія перваго были безъ сравненія полнѣе, богаче и разнообразнѣе, какъ съ другой стороны оба они, т.-е. Погодинъ и Гоголь, въ свою очередь, сильно уступали въ этомъ отношеніи Шевыреву, особенно внимательно изучавшему памятники искусства въ Римѣ. Такъ, по возвращеніи домой послѣ осмотра Капитолія, оба пріятеля собрались навѣстить больного Шевырева и съ удовольствіемъ выслушали отъ него цѣлую обстоятельную лекцію о судьбѣ и исторіи Капитолія. Погодинъ, впрочемъ, былъ откровененъ въ своемъ недостаточномъ пониманіи искусства и однажды чистосердечно признавался въ этомъ: „Зашли въ церковь Santa Maria del Popolo. Гоголь показывалъ намъ здѣсь фрески Пентуриккіо, ученика Перуджина, которымъ онъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ удивляется; но я, признаюсь въ невѣжествѣ, не вижу въ нихъ никакого особеннаго достоинства“. Такъ же откровенно и добродушно разсказываетъ Погодинъ въ своемъ дневникѣ объ обыденныхъ прозаическихъ потребностяхъ

сна и пищи, не заглушаемыхъ въ немъ интересомъ къ чудесамъ итальянской природы и искусства. Такъ, вслѣдъ за приведенными выше строками, тотчасъ же послѣ заявленія о непонятной для него красотѣ фресокъ, Погодинъ разсказываетъ: „Устали, проголодались безъ памяти, а гостинницы всѣ заперты. Надо ждать до шести часовъ, когда пропоется: ave, Magia“. Указывая все это, мы, быть можетъ, нѣсколько преувеличенно выставляемъ грубопрозаическій характеръ впечатлѣній Погодина, но спѣшимъ оговориться, что сравниваемъ его въ данномъ случаѣ не съ людьми толпы, а съ натурами, обладающими выдающейся воспріимчивостью. Такъ однажды Погодинъ отмѣтилъ въ своемъ дневникѣ встрѣчу съ однимъ московскимъ художникомъ, который, пріѣхавъ въ Римъ на годъ, не замѣтилъ времени и прожилъ тринадцать лѣтъ, вовсе еще не думая о возвращеніи. Вотъ этой-то способности находить отраду въ изящномъ до самозабвенія и не было, очевидно, у Погодина: этого съ нимъ никогда не могло бы случиться. Для пониманія же Гоголя наше сравненіе его съ Погодинымъ можетъ быть полезно потому, что, только оцѣнивъ въ полной мѣрѣ особенности его художественной организаціи, читатели, быть можетъ, не рѣшатся слишкомъ уже безпощадно судить его за безграничную страсть къ Италіи, которая для него, человѣка безъ средствъ, была, строго говоря, непозволительной роскошью: то, что было бы преступнымъ въ дюжинной, обыкновенной натурѣ, не можетъ ли до нѣкоторой степени быть оправдано въ натурѣ исключительной ея необыкновенною организаціей, такъ какъ безъ послѣдняго условія не могли бы быть созданы и такія безсмертныя произведенія, какъ „Ревизоръ“ и „Мертвыя Души“.

XXIII.

Подъ 3 апрѣля 1839 г. въ дневникѣ Погодина записано: „Шевыревъ объявилъ мнѣ, что рѣшается ѣхать въ Парижъ вмѣстѣ съ нами (Погодинымъ и его женой), т.-е. побывавъ прежде въ Неаполѣ. Мы очень обрадовались такому драгоцѣнному чичероне для достопримѣчательностей Неаполя и Помпеи, гдѣ онъ былъ долго и знаетъ коротко. Хоть добрый Грифи (отрекомендованный Гоголемъ Погодину учитель итальянскаго языка) выучилъ насъ немножко болтать по-италіански, но какая же разница ѣхать съ Шевыревымъ, который готовъ говорить хоть съ Дантомъ и Петраркой“. Такимъ образомъ они разстались съ Гоголемъ. Въ

своихъ „воспоминаніяхъ о С. П. Шевыревѣ“ Погодинъ разсказываетъ, между прочимъ, о томъ, какую помощь оказалъ имъ въ путешествіи Шевыревъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и о досадѣ, причиняемой его педантической точностью во всѣхъ мелочахъ. Гоголь и Шевыревъ, по словамъ Погодина, представляли собою двѣ рѣзкія противоположности: первый постоянно всюду опаздывалъ; второй простиралъ свою аккуратность такъ далеко, что хотѣлъ являться наканунѣ срока и придумывалъ самъ кучу совершенно ненужныхъ формальностей. На прощаньѣ Гоголь сговорился встрѣтиться еще разъ съ друзьями въ Чивитавеккіи, когда они должны были проѣхать черезъ нее по пути въ Марсель. На попеченіи его была на нѣкоторое время оставлена жена Шевырева. Такъ какъ Погодинъ и Шевыревъ ѣхали въ Парижъ, то Гоголь снабдилъ ихъ рекомендательными письмами къ своимъ знакомымъ и прежде всего направилъ ихъ, конечно, къ Данилевскому, котораго просилъ познакомить ихъ съ А. И. Тургеневымъ, Мицкевичемъ, и отрекомендовать хорошіе отели и кафе́, а самъ Гоголь, по возвращеніи въ Римъ, получалъ короткія и отрывочныя извѣстія о нихъ отъ жены Шевырева. Заботы Гоголя доходили до подробныхъ наставленій Данилевскому, что̀ и ка́къ именно онъ долженъ сдѣлать особенно для Погодина и даже какой заказать для него сюртукъ. Оставшись въ Римѣ, какъ мы знаемъ, Гоголь долженъ былъ проводить дни и ночи у постели больного Віельгорскаго и даже почти не имѣлъ времени навѣщать порученную его заботамъ Софью Борисовну Шевыреву. Теперь красные дни его прошли надолго: Віельгорскій вскорѣ скончался и всѣ письма Гоголя были наполнены скорбью о немъ. Только-что привыкнувъ къ этой утратѣ, Гоголь испыталъ новый ударъ: онъ былъ принужденъ покинуть страстно любимую Италію, чтобы взять изъ Патріотическаго института кончившихъ въ немъ курсъ сестеръ.

Принести эту жертву Гоголю сильно не хотѣлось и онъ изыскивалъ всѣ средства, чтобы отклонить ее отъ себя. Вмѣсто сборовъ въ далекій путь онъ думалъ только объ условленной съ Погодинымъ встрѣчѣ въ Маріенбадѣ, и его письма къ матери неожиданно становятся холодными и сухими. Въ Гоголѣ сильно боролись любовь къ сестрамъ и долгъ брата съ крайнимъ нежеланіемъ оставить Римъ. Къ довершенію непріятностей, изъ дому до него доходили самыя неутѣшительныя извѣстія о семейныхъ и хозяйственныхъ дѣлахъ, да и по этимъ извѣстіямъ нельзя было составить настоящаго понятія о степени запущенности дѣлъ. Все, что̀ говорило ему о далекой Васильевкѣ,

обдавало суровымъ холодомъ прозаическихъ заботъ, мучительныхъ и досадныхъ, представлявшихъ ужасающую противоположность съ розами безмятежнаго счастья, которыя онъ срывалъ въ обожаемой Италіи. Несносная дѣйствительность, всегда отказывающая небогатымъ людямъ въ правѣ на наслажденія, невозбранно представляющіяся къ услугамъ многихъ другихъ, мѣшала ему отдаваться всей душой упоенію благами, щедро разсыпанными передъ глазами, и настойчиво возбуждала укоры совѣсти, уже болѣе года отягощенной займомъ у Погодина. Чѣмъ далѣе отодвигались разсчеты съ прозаическими дрязгами, тѣмъ томительнѣе было возвращеніе къ нимъ изъ міра поэтическихъ замысловъ и художественныхъ впечатлѣній. Деньги же, полученныя отъ Погодина, были собраны послѣднимъ съ большимъ трудомъ при помощи Аксакова, Баратынскаго, Н. Ф. Павлова и особенно благодаря щедрому подарку Великопольскаго.

О необходимости пріѣхать въ Россію уже давно напоминала Гоголю мать. До половины 1838 г. Гоголь продолжалъ по прежнему писать ей съ открытымъ сердцемъ, но, по мѣрѣ приближенія непріятнаго срока, его тонъ становится натянутымъ и принужденнымъ и наконецъ раздражительнымъ. Пока этотъ срокъ былъ еще далекъ, Гоголь спокойно писалъ, что „какъ только милость Божія продлится надъ нимъ, то онъ увидитъ вновь всѣхъ дорогихъ сердцу, съ которыми теперь въ разлукѣ“, и письма къ сестрамъ были проникнуты обычной любовью и нѣжностью. Въ ноябрѣ 1838 г. онъ уже начинаетъ неохотно отвѣчать матери на ея новыя напоминанія: „Вы спрашиваете о сестрахъ. Выпускъ ихъ еще не такъ близко: еще годъ. Къ этому времени, во всякомъ случаѣ, я надѣюсь быть, и мы объ этомъ потолкуемъ“. Вскорѣ Гоголь былъ разстроенъ страшной мнительностью матери, вычитавшей въ довольно невинныхъ строкахъ его письма тяжкіе упреки себѣ. Онъ вспомнилъ при этомъ о болѣзненной мечтательности ея характера, развившейся еще во время его жизни въ Россіи. Свое впечатлѣніе онъ передаетъ въ письмѣ къ одной изъ сестеръ, въ свою очередь принявшей слова Гоголя въ превратномъ смыслѣ, полагая, что онъ пишетъ о физической болѣзни матери... Пришлось успокоивать взволнованную и огорченную сестру. Все это, разумѣется, только растравляло раны Гоголя. М. П. Балабиной, находившейся въ Петербургѣ, Гоголь отвѣчалъ уклончиво о предстоящемъ пріѣздѣ въ Россію: „Вы пишете и спрашиваете, когда я буду къ вамъ. Это задача для меня самого, которую, признаюсь, я не принимался еще разрѣшать. Притомъ же вы подали совѣтъ моему двоюродному брату

такой, который и мнѣ можетъ пригодиться". Наконецъ онъ пишетъ суровое письмо матери (нѣкогда сильно возмутившее своимъ тономъ покойнаго О. Ѳ. Миллера, впрочемъ разсматривавшаго его отдѣльно и не принявшаго въ соображеніе всю совокупность условій и обстоятельствъ). Въ этомъ письмѣ онъ усиленно выдвигаетъ свое нездоровье, но эта отговорка была уже результатомъ невольной досады, потому что мать не могла ѣхать сама за дочерьми — необходимо было еще достать деньги и уплатить кое-что—и сама, въ свою очередь, конечно, не мало сокрушалась о томъ, что ей приходится причинять непріятность нѣжно любимому сыну. Съ другой стороны, и Гоголь зналъ отлично, что поѣхать придется и что ущербъ для его здоровья будетъ вовсе ужъ не такъ значителенъ. Но непріятная поѣздка сулила, кромѣ тяжелой для него перспективы разлуки съ Римомъ, для возвращенія въ который понадобятся снова недостающія ему средства,—только безконечныя издержки, долги и безпокойства. Съ горя и досады Гоголь отвергаетъ присланный ему подарокъ матери, отказываясь носить сдѣланныя ею рубашки, которыми она, какъ кажется, по мѣрѣ силъ и умѣнья хотѣла смягчить неизбѣжное принужденіе. „Напрасно вы нашили мнѣ рубашекъ,—писалъ Гоголь,—я ихъ, безъ всякаго сомнѣнія, не могу носить и не буду, потому что онѣ сшиты не такъ, какъ я привыкъ". Еще суровѣе были слѣдующія слова: „Что̀ касается до времени моего пріѣзда, то ничего навѣрное не могу вамъ сказать: все это будетъ зависѣть отъ моего здоровья и обстоятельствъ. Впрочемъ, я постараюсь быть непремѣнно къ выпуску сестеръ въ Петербургѣ, хотя заранѣе содрогаюсь отъ нашего жестокаго климата, который рѣшительно былъ признанъ докторомъ гибельнымъ для моего здоровья. Больше ничего не имѣю вамъ теперь сказать. Прощайте до слѣдующаго письма". Эти строки должны были произвести, безъ сомнѣнія, не очень пріятное впечатлѣніе на любящую мать, но онѣ отражаютъ лишь временное ненастное настроеніе Гоголя и никакъ не должны быть принимаемы во вниманіе при характеристикѣ отношеній его къ матери, какъ проявленіе исключительнаго минутнаго порыва накипѣвшей у него горечи. Въ виду суроваго упрека, сдѣланнаго по поводу этого письма Гоголю покойнымъ О. Ѳ. Миллеромъ, считаемъ необходимымъ съ особеннымъ удареніемъ указать на то, что въ то время на Гоголя со всѣхъ сторонъ сыпались большіе удары и мелкія огорченія. Незадолго передъ этимъ онъ былъ удрученъ смертью крѣпко полюбившагося ему, симпатичнаго юноши Віельгорскаго; затѣмъ, послѣ избаловавшихъ

его постоянныхъ встрѣчъ съ друзьями, еще начиная съ пріѣзда Жуковскаго въ концѣ 1838 года, онъ остался въ Римѣ одинокъ. При этомъ въ общемъ счетѣ даже небольшія непріятности должны были дѣйствовать раздражающимъ образомъ на его болѣзненный и нервный организмъ. Такъ онъ только-что получилъ извѣстіе изъ Парижа, что Данилевскій не сошелся съ Погодинымъ и Шевыревымъ, чего Гоголь, повидимому, никакъ не ожидалъ. Въ тѣхъ же числахъ онъ писалъ Данилевскому: „Мнѣ очень жаль, что ты мало сошелся и сблизился съ своими гостями. Впрочемъ, и то сказать, что пріѣхавшій въ Парижъ новичокъ худой товарищъ обжившемуся парижанину. Первый еще жаждетъ и ищетъ; другой уже усталъ и утомленъ"... Наконецъ Гоголь долженъ былъ ѣхать.

XXIV.

Потребность найти утѣшеніе въ вынужденной поѣздкѣ на родину заставила Гоголя успокоивать себя тѣмъ, что онъ кстати окончитъ и напечатаетъ драму съ сюжетомъ изъ малороссійской жизни и что дорога, по обыкновенію, разбудитъ его дремавшее въ послѣднее время вдохновеніе. „Трудъ мой, — писалъ онъ съ дороги о начатой драмѣ Шевыреву, — найдетъ, а чувствую, вещь можетъ быть славная! Или для драматическаго творенія нужно работать въ виду театра, въ омутѣ со всѣхъ сторонъ уставившихся на тебя лицъ и глазъ зрителей, какъ я работалъ во времена оны? Я надѣюсь много на дорогу. Дорогою обыкновенно у меня развивается и приходитъ на умъ содержаніе; всѣ сюжеты почти я обдѣлывалъ въ дорогѣ". Въ этомъ же письмѣ изъ Вѣны отъ 10-го августа Гоголь прямо говоритъ: „Словомъ, я долженъ ѣхать, несмотря на все мое нежеланіе". Нѣсколько дней послѣ этого онъ провелъ снова съ Погодинымъ въ Маріенбадѣ, страдая отъ повторявшихся на каждомъ шагу встрѣчъ съ русскими, допекавшими его вопросами о томъ, что онъ пишетъ. Въ Маріенбадѣ онъ снова пользовался водами. Въ это время онъ опять возвратился къ давно оставленному изученію народныхъ пѣсенъ, необходимому для задуманной, но никогда не напечатанной драмы и для „Тараса Бульбы". „Передо мной, — писалъ онъ Шевыреву, — выясняются и проходятъ поэтическимъ строемъ времена казачества, и если я ничего не сдѣлаю изъ этого, то я буду большой дуракъ. Малороссійскія ли пѣсни, которыя теперь у меня подъ рукою, навѣяли ихъ, или на душу мою нашло само

собою ясновидѣніе прошедшаго, только я чую много того, что нынѣ рѣдко случается".

До какой степени Гоголь колебался, уже принявъ, повидимому, окончательное рѣшеніе ѣхать въ Петербургъ, видно изъ того, что, уже извѣстивъ сестеръ о выѣздѣ, онъ вдругъ, неизвѣстно какими судьбами, очутился снова въ Тріестѣ, чуть ли не на обратномъ пути въ Римъ, будто бы для того, чтобы продолжать прерванное леченіе. Онъ снова предается досадѣ и пишетъ матери: „Если я буду въ Россіи, то это будетъ никакъ не раньше ноября мѣсяца, и то если найду для этого удобный случай и если поѣздка эта меня не разоритъ. Путешествіе же зимой по Россіи несравненно дешевле. Еслибы не обязанность моя быть при выпускѣ моихъ сестеръ и устроить по возможности лучше судьбу ихъ, то я бы не сдѣлалъ подобнаго дурачества и не рисковалъ бы такъ своимъ здоровьемъ". Но это было только новымъ напраснымъ огорченіемъ для матери, потому что, покоряясь необходимости, Гоголь тутъ же извѣщалъ ее о вторичномъ выѣздѣ въ Вѣну. Послѣ этого Гоголь снова засѣлъ на мѣсяцъ въ Вѣнѣ, до условленной встрѣчи съ Погодинымъ, состоявшейся въ двадцатыхъ числахъ октября. Ему трудно было принудить себя собраться въ дорогу и отъѣздъ незамѣтно откладывался со дня на день, даже и въ то время, когда онъ, наконецъ, рѣшилъ поѣздку безповоротно. 24-го октября онъ извѣщалъ мать: „сегодня выѣзжаю", но остался еще разъ на нѣсколько дней и 28-го числа снова пишетъ и уже окончательно: „Итакъ, я выѣзжаю сегодня въ Россію!" Отмѣтимъ здѣсь и одно мелочное обстоятельство; теперь уже онъ просилъ мать: „На всякій случай приложите и рубашки, которыя у васъ для меня сдѣланы".

XXV.

Совершенно непонятною и необъяснимою является въ воспоминаніяхъ С. Т. Аксакова приведенная имъ дата письма, написаннаго къ нему М. С. Щепкинымъ будто бы 28-го сентября 1839 г., съ извѣстіемъ о пріѣздѣ въ Москву Гоголя. Извѣстно, что послѣднее было принято всѣми московскими друзьями Гоголя какъ событіе. Всѣ они давно уже мечтали о его возвращеніи, а Погодинъ, собираясь въ Италію, говорятъ, питалъ даже намѣреніе привезти съ собой Гоголя. Тѣмъ страннѣе видѣть на заграничныхъ письмахъ Гоголя, напечатанныхъ г. Кулишемъ, даты, относящіяся не только къ сентябрю, но даже къ концу октября

1839 г. По этимъ числамъ, всегда аккуратно выставляемымъ г. Кулишемъ и провѣреннымъ по печатямъ почтовыхъ конвертовъ, видно, что Гоголь оставался за границей почти до ноября. Согласить это противорѣчіе нельзя даже предположеніемъ ошибки въ мѣсяцѣ и разницей въ стиляхъ. Если даже отнести выѣздъ Гоголя изъ Вѣны къ 16 (по новому стилю 28 октября), а прибытіе въ Москву къ 28 по старому стилю, то и при такой натяжкѣ сказанное затрудненіе не устраняется. Съ одной стороны выѣздъ Гоголя съ Аксаковымъ въ Петербургъ, когда ему нужно было взять сестеръ изъ института, отнесенъ послѣднимъ къ 26 октября 1839 г., не говоря уже о томъ, что записка Щепкина была получена Аксаковымъ еще на дачѣ, слѣдовательно, никакъ уже не въ послѣднихъ числахъ октября. Наконецъ, выѣзду въ Петербургъ предшествовало немалое замедленіе, происшедшее по винѣ Аксакова. Всѣ эти показанія являются окончательно сбивчивыми и противорѣчивыми, если сопоставимъ разсказъ Аксакова съ слѣдующими словами письма Гоголя изъ Вѣны отъ *28-го октября* 1839 г.: „*Черезъ мѣсяца полтора или два буду въ С.-Петербургѣ, а недѣли черезъ двѣ послѣ этого въ Москвѣ*“. Между тѣмъ Гоголь пріѣхалъ раньше въ Москву, а въ Петербургъ все-таки прибылъ въ началѣ ноября. Наконецъ, пребываніе Гоголя въ началѣ ноября въ Петербургѣ подтверждается одинаково обоими взаимно противорѣчащими источниками.

Но оставимъ это загадочное противорѣчіе, высказавъ лишь въ видѣ простого предположенія, что записка Щепкина могла передать неточное сообщеніе, которое, однако, вѣрно и живо характеризовало отношенія къ Гоголю москвичей и, цѣнное въ этомъ смыслѣ, разумѣется, вполнѣ заслуживало того вниманія, которое обратилъ на него Аксаковъ. Остальныя мелкія хронологическія неточности легко могли вкрасться въ разсказъ, составленный гораздо позднѣе по памяти. Напротивъ, подвергнуть сомнѣнію цѣлый рядъ вполнѣ точныхъ и согласныхъ между собою датъ на письмахъ, собранныхъ изъ разныхъ рукъ г. Кулишемъ, по нашему мнѣнію, не представляется никакой возможности. Общій же смыслъ разсказа Аксакова и особенно дѣлаемыя имъ замѣчанія и характеристики въ высшей степени цѣнны. Отсылая читателей къ прекрасному и обстоятельному разсказу Аксакова о жизни Гоголя въ Москвѣ и ихъ общей поѣздкѣ въ Петербургъ, обратимъ здѣсь вниманіе лишь на замѣченную Аксаковымъ перемѣну въ отношеніяхъ къ нему Гоголя. „Казалось, какъ бы могло, —говоритъ Аксаковъ,—пятилѣтнее отсутствіе, безъ письменныхъ сношеній, такъ сблизить насъ съ Гоголемъ? По чувствамъ на-

шимъ мы, конечно, имѣли полное право на его дружбу и, безъ сомнѣнія, Погодинъ, знавшій насъ очень коротко, передалъ ему подробно обо всемъ, и Гоголь почувствовалъ, что мы точно его настоящіе друзья". Итакъ, въ Москвѣ у Гоголя, кромѣ Щепкина, Погодиныхъ и Шевыревыхъ, прибавилось теперь еще одно сердечно расположенное къ нему и высоко имъ цѣнимое семейство. Если довѣрять разсказу Аксакова,—а сомнѣваться въ его справедливости мы не имѣемъ основанія,—то пріѣздъ Гоголя въ Москву, прежде чѣмъ онъ поѣхалъ взять сестеръ изъ института, при его стѣснительныхъ матеріальныхъ условіяхъ и несомнѣнномъ утомленіи отъ долгой дороги, долженъ быть объясненъ дѣйствительнымъ расположеніемъ его къ московскимъ друзьямъ, съ которыми онъ имѣлъ случай еще болѣе сойтись въ Римѣ. Еще менѣе мы должны сомнѣваться въ томъ, что не только Гоголя, какъ говорится, тянуло къ нимъ, но онъ и съ ихъ стороны нашелъ самый радушный пріемъ и почувствовалъ себя въ родной сферѣ и обстановкѣ, чѣмъ всего лучше объясняется и внезапная его привѣтливость и симпатія къ дому Аксаковыхъ. Какъ извѣстно, Гоголь совершенно измѣнялся, переходя изъ близкаго круга въ общество людей постороннихъ и наоборотъ. Это же самое произошло и теперь: благодаря разсказамъ Погодина о пламенной и безкорыстной любви къ нему Аксаковыхъ, онъ и самъ, конечно, почувствовалъ къ нимъ пріязнь и сталъ ихъ считать своими. Такое начало должно было въ ближайшемъ времени повести ихъ къ тѣмъ болѣе тѣсному сближенію, что Гоголь не могъ не оцѣнить широкаго сердца старика Аксакова, доказывавшаго ему на каждомъ шагу свое расположеніе самымъ дѣломъ и до того осыпавшаго его немаловажными услугами, что такимъ великодушіемъ и безпредѣльной добротой не могъ бы не тронуться самый черствый человѣкъ. Самое общеніе съ Аксаковымъ имѣло весьма счастливое дѣйствіе на Гоголя: въ продолженіе всей дороги до самаго Петербурга Гоголь шутилъ и заставлялъ своихъ спутниковъ хохотать до упада, хотя, по наблюденіямъ того же Аксакова, несмотря на личину веселости, онъ былъ сильно разстроенъ. Причины удручавшихъ Гоголя печалей намъ извѣстны, но зато тѣмъ болѣе намъ разъясняется теперь вліяніе на него теплаго, въ высшей степени сердечнаго обхожденія съ нимъ Аксакова, относившагося къ нему съ вниманіемъ вполнѣ преданнаго человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, каждая страница воспоминаній послѣдняго дышетъ истиннымъ, не часто встрѣчаемымъ въ жизни дружескимъ чувствомъ. Съ какой любовью онъ говоритъ о характерѣ, привычкахъ Гоголя, о состояніи его здоровья. Болѣзнен-

ность и необычайная зябкость Гоголя уже тогда сильно бросались въ глаза, и все это Аксаковъ замѣчалъ и потомъ занесъ въ свои воспоминанія. Уже самая мысль записать все, что такъ или иначе имѣло отношеніе къ жизни Гоголя, не принадлежитъ къ числу часто исполняемыхъ у насъ и доказываетъ, до какой степени онъ дорожилъ малѣйшей чертой, касавшейся его друга...

Въ Петербургѣ Гоголю пришлось улаживать разныя денежныя затрудненія: „по поводу моихъ сестеръ,—жаловался онъ,—столько мнѣ дѣлъ и потребностей денежныхъ, какъ я никогда не ожидалъ: за одну музыку и за братые ими уроки нужно заплатить болѣе тысячи, да притомъ на обмундировку, то, другое, такъ что у меня голова кружится“. Жуковскій обѣщалъ похлопотать у императрицы, но какъ нарочно императрица въ то время занемогла, и Жуковскій не рѣшался утруждать ее. Объ этомъ мы имѣемъ согласныя свѣденія въ обоихъ нашихъ источникахъ, но у Аксакова прямо и опредѣленно указываются факты, тогда какъ, напр., въ письмѣ Гоголя къ Погодину находимъ лишь общій загадочный намекъ („Надѣюсь на Жуковскаго, но до сихъ поръ никакого вѣрнаго отвѣта не получилъ. Правда, что время не очень благопріятное“). Между тѣмъ въ Петербургѣ пріѣздъ Гоголя возбудилъ непріятные для него толки и разговоры, и онъ неудержимо стремился возвратиться въ Москву. Аксаковъ сообщаетъ много любопытнаго о петербургскихъ впечатлѣніяхъ Гоголя и особенно о его мученіяхъ подъ давленіемъ настоятельной необходимости во что бы то ни стало достать деньги, нужныя при выпускѣ сестеръ. Благородный поступокъ Аксакова, предложившаго ему взаймы 2.000 рублей, его утонченная деликатность и великодушіе должны были окончательно упрочить признательность къ нему въ сердцѣ Гоголя. Впечатлѣніе его передано Аксаковымъ въ слѣдующихъ словахъ: „Видно, въ словахъ моихъ и на лицѣ моемъ выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сдѣлалось лучезарнымъ. Вмѣсто отвѣта, онъ благодарилъ Бога за эту минуту, за встрѣчу на землѣ со мной и моимъ семействомъ, протянулъ мнѣ обѣ свои руки, крѣпко сжалъ мои и посмотрѣлъ на меня такими глазами, какими смотрѣлъ за нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти, уѣзжая изъ нашего Абрамцева въ Москву и прощаясь со мной не надолго“.

Въ половинѣ ноября Гоголь взялъ сестеръ изъ института и могъ бы немедленно двинуться обратно въ Москву, но принужденъ былъ дожидаться Аксакова. И здѣсь его преслѣдовали неудачи. Еще въ письмѣ къ Погодину отъ 4-го ноября онъ гово-

рилъ: „Не вижу часу ѣхать въ Москву, и весь бы летѣлъ къ вамъ сію же минуту“, и сокрушался при мысли о возможныхъ проволочкахъ: „Боже, если я и къ 20 ноябрю (sic) не буду еще въ Москвѣ!“ Но самъ онъ не умѣлъ ухаживать за институтками-сестрами и долженъ былъ помѣстить ихъ до дня отъѣзда у Балабиныхъ. По нелицепріятному свидѣтельству Аксакова, Гоголь при посѣщеніи имъ сестеръ въ институтѣ и позднѣе производилъ на него впечатлѣніе самаго нѣжнаго брата, но не умѣвшаго, однако, съ ними обходиться. „Гоголь очень занимался своими сестрами: онъ самъ покупалъ все нужное для ихъ костюма, нерѣдко терялъ записки нужныхъ покупокъ, которыя онѣ ему давали, и покупалъ совсѣмъ не то, что было нужно; а между тѣмъ у него была маленькая претензія, что онъ во всемъ знаетъ толкъ и умѣетъ купить хорошо и дешево“. Въ Петербургѣ, по словамъ Аксакова, не понимали и бранили Гоголя; ухаживать за сестрами онъ не умѣлъ и не зналъ, какъ съ ними обращаться; большинство впечатлѣній въ Петербургѣ было для него тяжелое; дальнѣйшее пребываніе въ такомъ положеніи становилось съ каждымъ днемъ невыносимѣе, а уѣхать въ Москву все-таки не удавалось. Всего ужаснѣе въ этой пыткѣ было то, что ему не хотѣлось долго оставлять своихъ сестеръ у Репниныхъ, тѣмъ болѣе, что тамъ ничѣмъ не могли на нихъ угодить. Онѣ были помѣщены тамъ съ 18-го ноября и пробыли почти мѣсяцъ. По старой дружбѣ Репнины и Балабины ухаживали за ними, какъ умѣли, но не могли ничѣмъ побѣдить ихъ институтской застѣнчивости. Елизавета Васильевна Гоголь (впослѣдствіи Быкова) сама признавалась со временемъ, что онѣ съ сестрой не пили по утрамъ чаю, упорно отказывались отъ пищи, несмотря ни на какія угощенія, и потихоньку ѣли угли отъ голода. „Мнѣ приходилось сидѣть,—вспоминала она,—рядомъ съ однимъ изъ сыновей Балабиныхъ; я просила сестру Аннетъ помѣняться мѣстами (она сидѣла рядомъ съ Магіе Балабиной),—она каждый разъ соглашалась, но когда приходило время садиться, у нея не хватало храбрости, и я со слезами на глазахъ садилась на свое старое мѣсто“... Ѣхать, не дожидаясь Аксакова, Гоголю мѣшало неимѣніе прислуги и общества для сестеръ; притомъ, какъ мы видѣли, онъ нуждался при обхожденіи съ робкими молодыми дѣвушками въ помощи болѣе опытныхъ и привычныхъ людей. Однажды у него сорвались по поводу этихъ невзгодъ слова горькой досады: „Всему виной Аксаковъ. Онъ меня выкупилъ изъ бѣды, онъ же и посадилъ“. Наконецъ, томленіямъ Гоголя наступилъ давно желанный предѣлъ и съ облегченнымъ сердцемъ онъ возвратился въ

Москву къ самому исходу 1839 года. За этотъ промежутокъ времени мысли о драмѣ были отложены, хотя Гоголь и подумывалъ изрѣдка о напечатаніи комедіи въ „Сынѣ Отечества“ и „Библіотекѣ для Чтенія“. Гоголь остановился у Погодина и ждалъ свиданья съ матерью, чтобы затѣмъ при первой возможности возвратиться въ Римъ.

Возможность эта представилась, когда онъ получилъ отъ Жуковскаго 4.000 р. Въ порывѣ восторга онъ писалъ: „Римъ мой! А о благодарности нечего и говорить: она сильна. Я употреблю все и, дастъ Богъ, выплачу мой долгъ“. Оставалось повидаться съ матерью и устроить домашнія дѣла. Одну изъ сестеръ Гоголю удалось помѣстить у П. И. Раевской, пріятельницы его знакомой А. П. Елагиной. Когда счастливый случай послалъ ему въ лицѣ молодого Панова также и товарища въ поѣздкѣ, то оставаться въ Москвѣ уже не было причинъ, и 18-го мая онъ выѣхалъ изъ нея въ Италію, получивъ, между прочимъ, обѣщаніе отъ Константина Сергѣевича Аксакова, что онъ вскорѣ также послѣдуетъ за ними туда. Уговаривая послѣдняго посѣтить излюбленную имъ страну, Гоголь преслѣдовалъ не одинъ эгоистическій интересъ: ему хотѣлось „перенести своего юнаго пріятеля изъ отвлеченнаго міра мысли въ міръ искусства“. Въ концѣ нашего обзора главнѣйшихъ фактовъ изъ жизни Гоголя въ Москвѣ въ первой половинѣ 1840 г. укажемъ особенно на вынесенное семействомъ Аксаковыхъ заключеніе о пристрастіи Гоголя къ Италіи: „Намъ казалось, что Гоголь не довольно любитъ Россію, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художниковъ, роскошь климата, поэтическія развалины славнаго прошедшаго,—все это вмѣстѣ бросало невыгодную тѣнь на природу нашу и нашу жизнь“.

XXVI.

Воспоминанія С. Т. Аксакова, такъ ярко рисующія во всѣхъ подробностяхъ жизнь Гоголя въ Москвѣ, при всей своей несомнѣнной правдивости и полнотѣ, все-таки не исчерпываютъ безусловно всѣхъ его тогдашнихъ стремленій и интересовъ. Пробѣлъ въ этой мастерской картинѣ заключается преимущественно въ томъ, что завѣтныя надежды и планы Гоголя оставались не вполнѣ извѣстными Аксакову, такъ что о нихъ мы можемъ полнѣе судить уже по другимъ источникамъ, и притомъ, главнымъ образомъ, по письмамъ Гоголя къ Жуковскому, напечатаннымъ въ

„Русскомъ Архивѣ". Какъ извѣстно, Гоголь не былъ большимъ охотникомъ посвящать въ свои тайныя намѣренія самыхъ дорогихъ для него людей, а Аксаковъ уже въ силу врожденной деликатности и благородства своего характера не стремился проникать въ то, что̀ отъ него скрывалось, не считая возможнымъ даже подвергать контролю вѣроятность возвращенія ему въ близкомъ будущемъ занятой для Гоголя суммы. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ представлялъ особенно рѣзкую противоположность Погодину, который, будучи связанъ съ Гоголемъ гораздо болѣе продолжительными и близкими отношеніями, не стѣснялся, однако, очень скоро начать довольно ощутительно давать чувствовать Гоголю, что дорогой его пріятель ни на минуту не забываетъ въ немъ должника. Но былъ у Гоголя, кромѣ Аксакова, еще другой вполнѣ преданный и совершенно безкорыстный покровитель и другъ, обращаться къ которому было для Гоголя часто въ то же время и настоятельной необходимостью, и наиболѣе надежнымъ ресурсомъ во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ. Такимъ истиннымъ доброжелателемъ былъ для Гоголя, разумѣется, Жуковскій.

Еще передъ выѣздомъ изъ Рима Гоголю пришлось обратиться къ маститому поэту, когда онъ понемногу долженъ былъ убѣдиться, что предстоящая поѣздка въ Россію „неотразима". Мы не знаемъ, насколько справедливо, что за однѣхъ сестеръ Гоголю надо было заплатить нѣсколько тысячъ въ Петербургѣ; но если это было имъ даже преувеличено, то во всякомъ случаѣ уже его собственное матеріальное положеніе было тогда далеко не блестяще: онъ находился въ такой нуждѣ, что, даже оставаясь спокойно въ Римѣ, былъ бы принужденъ позаботиться о поправленіи своихъ незавидныхъ обстоятельствъ. Жуковскому онъ жаловался и, конечно, не безъ основанія,—что „послалъ въ Петербургъ за послѣдними деньгами и больше ни копѣйки; впереди нѣтъ совершенно никакихъ средствъ добыть ихъ". Тогда-то подъ давленіемъ нужды зародилась у Гоголя мысль хлопотать о полученіи какой-нибудь должности въ Римѣ, чтобы имѣть небольшое, но вѣрное обезпеченіе. Жаль только, что предположенія Гоголя не всегда бывали легко осуществимы, и потому просьбы хлопотать за него должны были, по всей вѣроятности, не мало затруднять не привыкшаго ни въ чемъ отказывать Жуковскаго. Въ своихъ просительныхъ письмахъ Гоголь, какъ обыкновенно поступаетъ въ подобныхъ случаяхъ большинство нуждающихся, не столько взвѣшивалъ возможность осуществленія возникающихъ плановъ, сколько настаивалъ на необходимости изыскать для него сколько-нибудь удовлетворительный источникъ безбѣднаго существованія.

Мысль его получить пенсіонъ, равный выдаваемому воспитанникамъ академіи художествъ въ Римѣ, не имѣла, разумѣется, никакого основанія, и гораздо удобнѣе было Жуковскому просто обратиться къ Государю съ просьбой для него о нѣкоторой субсидіи. Гоголь прекрасно сознавалъ это и потому тотчасъ же замѣняетъ свою первую просьбу предложеніемъ снова испробовать однажды уже счастливо удавшееся средство. Какъ года два тому назадъ онъ получилъ крупное вознагражденіе за поднесенный Государю экземпляръ „Ревизора", такъ теперь онъ проситъ Жуковскаго въ надеждѣ на новую награду: „Найдите случай и средство указать какъ-нибудь Государю на мои повѣсти: „Старосвѣтскіе помѣщики" и „Тараса Бульбу". Это тѣ двѣ счастливыя повѣсти, которыя нравились совершенно всѣмъ вкусамъ и всѣмъ различнымъ темпераментамъ; всѣ недостатки, которыми онѣ изобилуютъ, вовсе непримѣтны были для всѣхъ, кромѣ васъ, меня и Пушкина. Я видѣлъ, что по прочтеніи ихъ болѣе оказывали вниманія. Еслибы ихъ прочелъ Государь! Онъ же такъ расположенъ ко всему, гдѣ есть теплота, чувство и что пишется прямо отъ души. О, меня что-то увѣряетъ, что онъ бы прибавилъ ко мнѣ участія". Будучи убѣжденъ во всегдашней готовности Жуковскаго чѣмъ можно помочь ему, Гоголь и въ слѣдующемъ письмѣ основываетъ свои просьбы о ходатайствѣ за него передъ тономъ главнымъ образомъ на своихъ нуждахъ. „Мнѣ нужно,—говорилъ онъ,—на экипировку сестеръ, на заплату за музыку, учителямъ во все время ихъ пребыванія въ институтѣ, около 5000 р. и, признаюсь, это на меня навело совершенный столбнякъ. Объ участи своей я не забочусь: мнѣ нуженъ воздухъ, да небо, да Римъ". Въ этомъ письмѣ Гоголь проситъ Жуковскаго поговорить о немъ съ императрицей.

Пріѣхавъ въ Россію, Гоголь не переставалъ тосковать о Римѣ, но долго не могъ добиться желаемой возможности сколько-нибудь удовлетворительно устроить собственныя дѣла и дѣла своего семейства. Несомнѣнно одно,—что онъ никакъ не ожидалъ сначала, чтобы ему пришлось остаться въ Россіи больше полугода; самое меньшее, на что онъ разсчитывалъ, что ему придется вернуться въ Италію не позже марта, о чемъ онъ ясно говоритъ въ одномъ изъ писемъ къ Иванову, вскорѣ послѣ ихъ разлуки. „Я, къ сожалѣнію, не буду въ Римѣ раньше февраля. Никакъ не могу отклониться отъ неотразимой для меня поѣздки въ Петербургъ. Но въ февралѣ непремѣнно намѣренъ очутиться на Via Felice и на моей старой квартирѣ и вновь примемся за carretto arrosto и asciuto", и черезъ нѣсколько строкъ еще разъ

прибавляетъ: „*Я буду непремѣнно*, если не въ февралѣ, то въ мартѣ *непремѣнно*“. Сообразно съ этими предположеніями Гоголь черезъ Иванова давалъ даже кое-какія инструкціи своему квартирному хозяину.

Въ промежуткѣ своей полуторамѣсячной жизни въ Петербургѣ, Гоголь получилъ предложеніе отъ Смирдина продать послѣднему предполагаемое имъ собраніе его сочиненій, но за весьма умѣренный гонораръ. По разсчету Гоголя оказывалось, что Смирдинъ хотѣлъ безцеремонно эксплуатировать его въ тяжелую пору денежнаго безвременья. И въ самомъ дѣлѣ предлагаемыя имъ девять тысячъ за всѣ три тома, тогда какъ за однѣ только комедіи Гоголю давали охотно 6.000, являются болѣе чѣмъ скромной цифрой. Другой книгопродавецъ, Ширяевъ, вызывался тогда же дать 16.000, если только въ собраніе сочиненій Гоголя будутъ включены также „Мертвыя Души“. „Нужно же,—жалуется Гоголь Жуковскому,—какъ нарочно, чтобы мнѣ именно случилась надобность въ то время, когда меня болѣе всего можно притѣснить и сдѣлать изъ меня безгласную, страдающую жертву“. Но какъ ни былъ Гоголь стѣсненъ нахлынувшими со всѣхъ сторонъ неизбѣжными расходами, ему удалось, благодаря все той же великодушной рукѣ Жуковскаго, найти болѣе благопріятный исходъ. Ему только что предстояла ужасающая перспектива, для удовлетворенія желаній книгопродавцевъ, изуродовать свое любимѣйшее произведеніе и выпустить въ свѣтъ наскоро, безъ надлежащей обработки, преступно обративъ плодъ вдохновенія въ денежную спекуляцію. Но если Гоголь считалъ возможнымъ принимать милости двора, то потому конечно, что въ его время и въ его средѣ былъ распространенъ нѣсколько легкій взглядъ на пользованіе ими, но онъ все-таки никогда не могъ допустить мысли сдѣлаться литературнымъ барышникомъ. Все это чрезвычайно важно для сужденія о тѣхъ его поступкахъ, которые были вынуждены извѣстной намъ тяжелой альтернативой. Впрочемъ есть основаніе думать, что въ трудныя минуты Гоголь допускалъ мысль по возможности ускорить окончаніе „Мертвыхъ Душъ“, но онъ мужественно побѣждалъ соблазнъ и тѣмъ болѣе не могъ не сочувствовать и не проникаться уваженіемъ къ святой выдержкѣ Иванова, такъ стойко и благородно переносившаго на его глазахъ всѣ невзгоды для своего горячо любимаго труда. О минутномъ колебаніи Гоголя въ указанномъ выше смыслѣ, кажется, можно заключить по слѣдующимъ строкамъ письма его къ Жуковскому: „Я рѣшился не продавать моихъ сочиненій, но употребить и поискать всѣхъ средствъ если не отразить, то отсрочить несчастное

теченіе моихъ трудныхъ обстоятельствъ. Какъ-нибудь на годъ уѣхать какъ можно скорѣе въ Римъ, гдѣ убитая душа моя воскреснетъ вновь, какъ воскресла прошлую зиму, а весну приняться горячо за работу *и, если можно, кончить романъ въ одинъ годъ*". Намъ кажется, что этимъ такъ мало обращающимъ на себя вниманія при чтеніи отдѣльнаго письма строкамъ, напротивъ, необходимо придать особенное значеніе для правдивой оцѣнки дѣйствій и намѣреній Гоголя. Эти строки въ связи съ остальной перепиской Гоголя неожиданно проливаютъ яркій свѣтъ на ужасную, полную глубокаго трагизма внутреннюю борьбу, которую подавлялъ и хоронилъ въ себѣ Гоголь, поставленный въ необходимость для своего семейства принести ужаснѣйшую изъ жертвъ для истиннаго художника. Но не склонилъ онъ головы до самыхъ послѣднихъ минутъ свой жизни и не сдѣлался литературнымъ барышникомъ, хотя много помогъ ему и въ этой ужасной „битвѣ съ жизнью" Жуковскій, всегда бывшій для него, какъ и Пушкинъ, добрымъ геніемъ. Тотчасъ за выше приведенными строками Гоголь прибавляетъ: „Я придумалъ вотъ что: сдѣлайте складку, сложитесь всѣ тѣ, которые питаютъ ко мнѣ истинное участіе; составьте сумму въ 4.000 рублей и дайте мнѣ взаймы на годъ. Черезъ годъ я даю вамъ слово, если только не обманутъ меня силы, и я не умру, выплатить вамъ ее съ процентами. Это мнѣ дастъ средство какъ-нибудь и сколько-нибудь выгрузиться изъ моихъ обстоятельствъ и возвратить на сколько-нибудь меня мнѣ". Мысль эта запала Гоголю, когда онъ гостилъ еще у Жуковскаго въ Петербургѣ, но она камнемъ лежала на душѣ его и высказать ее онъ рѣшился только на бумагѣ, уже вернувшись въ Москву, какъ это видно изъ слѣдующихъ строкъ начала письма: „Нѣсколько разъ брался за перо писать къ вамъ и какъ деревянный стоялъ передъ столомъ: казалось, какъ будто застыли всѣ нервы, находящіеся въ соприкосновеніи съ моимъ мозгомъ, и голова моя окаменѣла".

По полученіи отъ Жуковскаго желаемыхъ четырехъ тысячъ Гоголь, зарывшись въ долги, почувствовалъ себя нравственно еще въ худшемъ положеніи: приходилось подумать о томъ, какъ ихъ выплатить, и больше не оставалось никакого средства, какъ только завести рѣчь о какой-нибудь должности въ Римѣ. Между тѣмъ прошелъ слухъ, вскорѣ оказавшійся вѣрнымъ,—что родственникъ Репниныхъ, Павелъ Ивановичъ Кривцовъ, получилъ мѣсто начальника открывающейся въ Римѣ русской академіи художествъ и что при немъ предполагается должность секретаря съ окладомъ въ 1.000 р. въ годъ. Это-то мѣсто и захотѣлъ получить Гоголь, о чемъ снова

просилъ своихъ вліятельныхъ друзей: Жуковскаго, гр. Толстого и кн. Вяземскаго. О желаніи его было извѣстно и Аксакову. При своей крайней неприхотливости и вполнѣ суровомъ образѣ жизни (начиная съ сороковыхъ годовъ) Гоголь надѣялся, получая 1.000 р. въ годъ, спасти себя отъ тины вѣчныхъ долговъ и одолженій, а еще болѣе не обременять свою совѣсть и не насиловать талантъ, призванный создать великое и, какъ онъ думалъ, спасительное для Россіи въ моральномъ отношеніи произведеніе. Но судьба отказала ему и въ этомъ желаніи, и ему пришлось снова терзаться этими требованіями совѣсти и заботами о существованіи. Что долги его страшно тяготили, понятно само собой и подтверждается особенно письмомъ къ Жуковскому отъ 3 мая 1840 г., гдѣ онъ прямо говорилъ: „О, еслибы вы знали, какъ мучается моя бѣдная совѣсть, что существованіе мое повисло на плечи великодушныхъ друзей моихъ“. Но это было сказано уже тогда, когда ему удалось обезпечить себя хотя въ недалекомъ будущемъ извѣстными денежными средствами отъ продажи своихъ сочиненій. „Деньги получу не вдругъ и не теперь,—писалъ онъ,—но вѣрныя. Отъ Погодина вы получите половину въ этомъ году того долга, который вы для меня сдѣлали, благодаря великодушной любви вашей“. Гоголь готовъ себя уже заранѣе считать счастливымъ, если ему удастся получить мѣсто при Кривцовѣ, и просилъ, собираясь выѣхать изъ Москвы, дать ему отвѣтъ уже въ Вѣну (poste restante), но имѣлъ огорченіе получить отказъ еще въ Москвѣ. На это указываетъ письмо его къ Жуковскому изъ Москвы же, начинающееся слѣдующими словами: „Что я могу написать къ вамъ! Благодарить только васъ за ваши заботы, за ваше рѣдкое участіе. Богъ мнѣ даетъ вкушать наслажденіе даже въ минуты самыхъ тяжкихъ сердечныхъ болей. Что жъ дѣлать мнѣ теперь! О Римъ мой, о мой Римъ!—Ничего я не въ силахъ сказать... Но еслибы меня туда (sic) перенесло теперь, Боже, какъ бы освѣтилась душа моя!—Но какъ, гдѣ найти средствъ! Думаю и ничего не могу придумать! Иногда мнѣ приходило въ мысль, неужели мнѣ совершенно не дадутъ средствъ быть на свѣтѣ? Неужели мнѣ не могутъ дать какого-нибудь оффиціальнаго порученія? Неужели меня не могутъ приклеить и засчитать въ какую-нибудь должность?“ Послѣднія слова особенно заставляютъ предполагать, что это и былъ отвѣтъ на непредвидѣнный и слишкомъ скоро полученный отказъ. Съ досады на неудачу Гоголь называлъ теперь свое предпріятіе мечтой и утверждалъ, что „это дѣло можно устроить только имѣя въ родствѣ какого-нибудь важнаго дядюшку или тетушку“. Но все-таки онъ не скоро еще отказался окончательно отъ своей

надежды и въ письмѣ къ Погодину изъ Рима отъ 17 декабря 1840 г. снова повторяетъ: „Никакихъ извѣстій изъ Петербурга: надѣяться ли мнѣ на мѣсто при Кривцовѣ? По намѣреніямъ Кривцова, о которыхъ я узналъ здѣсь, мнѣ нечего надѣяться, потому что Кривцовъ искалъ на это мѣсто европейской знаменитости по части художествъ. Онъ хотѣлъ имѣть нѣмца Шадова, а потомъ даже хотѣлъ предложить Овербеку". Гоголь утѣшалъ себя по крайней мѣрѣ тѣмъ, что жалованье, которое онъ получалъ бы на этой должности, было бы ничтожно: „Я равнодушенъ теперь къ этому. Къ чему мнѣ это послужитъ? На квартиру да на лекарства развѣ? На двѣ вещи, равныя ничтожностью и безполезностью". Но слѣдующія тотчасъ за этими слова выдаютъ его раздраженіе: „Если къ нимъ не присоединится еще третья, вѣнчающая все, что̀ влачится на свѣтѣ" (вѣроятно—похороны).

Такимъ образомъ личныя дѣла Гоголя не устроились такъ, какъ онъ желалъ и надѣялся. Не радовали его и обстоятельства домашнихъ. Въ бытность свою въ Москвѣ онъ долженъ былъ заботиться объ устройствѣ сестеръ: уже въ то время, когда онѣ гостили у Погодина, онъ желалъ пріучить ихъ къ работѣ надъ переводами, въ надеждѣ доставить имъ этимъ впослѣдствіи средства къ существованію. Предвидя для нихъ въ будущемъ, какъ для дѣвушекъ бѣдныхъ, возможность множества неудачъ и лишеній, онъ всячески старался поставить ихъ въ такія условія, при которыхъ онѣ научились бы высоко цѣнить трудъ и довольствоваться самымъ необходимымъ. Такой суровый, трудовой образъ жизни удовлетворилъ бы и его нравственнымъ убѣжденіямъ, и практической необходимости, и его-то онъ, подробно развивая свои взгляды, рекомендуетъ въ письмѣ къ воспитательницѣ своей сестры, П. И. Раевской. Въ самомъ дѣлѣ нужда сильно давала чувствовать себя всему семейству на каждомъ шагу, и въ будущемъ разсчитывать было не на что. Такъ горячо любившая Гоголя мать сильно затруднялась пріѣздомъ на свиданье къ нему въ Москву (и могла пріѣхать къ нему благодаря займу у Данилевскаго), такъ что, не имѣя возможности послать ей денегъ, онъ писалъ ей: „Еслибы вы могли достать себѣ денегъ, хотя только на проѣздъ въ Москву! Тутъ бы какънибудь и на проѣздъ отсюда я бы добылъ. Мнѣ, признаться, хотѣлось бы, чтобы вы увидѣли Москву" и проч. Наставленія сестрамъ были у Гоголя всегда одинаковы и свидѣтельствовали о ясно сложившейся программѣ: онъ заботится о ихъ здоровьѣ, предписываетъ имъ ежедневныя прогулки, и о работѣ, которая спасала бы ихъ отъ нужды и отъ праздности.

XXVII.

Выѣхавъ изъ Москвы, Гоголь тотчасъ же почувствовалъ себя перенесеннымъ въ родную сферу: несмотря на дружескія отношенія съ Аксаковыми и Погодиными, онъ, стремясь въ любимый Римъ, вспоминалъ съ особеннымъ удовольствіемъ о предстоящей встрѣчѣ съ оставленными въ немъ пріятелями, и притомъ не только съ Ивановымъ, но также съ Моллеромъ, Іорданомъ и другими, изъ которыхъ съ большинствомъ онъ былъ гораздо менѣе близокъ, нежели съ московскими друзьями. Какъ вырвавшійся изъ темницы узникъ,—употребляя его же сравненіе, сказанное въ другой разъ по сходному случаю,—онъ летѣлъ мыслью въ Римъ и съ восторгомъ писалъ Иванову: „Господи Боже мой, сколько лѣтъ я васъ не видѣлъ, il carissimo signor Alessandro! Что вы подѣлываете? въ Римѣ ли вы? Что дѣлаетъ ваша Famosa (т.-е. я разумѣю—картина)“ и проч. О Россіи онъ отзывается нѣсколько легкомысленно: „Я былъ и въ Россіи, и чортъ знаетъ гдѣ“. О Моллерѣ, Іорданѣ и другихъ онъ разспрашиваетъ, какъ о самыхъ близкихъ, дорогихъ людяхъ.

По дорогѣ мысль о Римѣ мелькала Гоголю манящей издали, свѣтлой путеводной звѣздой. „Теперь я сижу въ Вѣнѣ—писалъ онъ Иванову въ цитированномъ выше письмѣ,—пью воды, а въ концѣ августа, или въ началѣ сентября буду въ Римѣ, увижу васъ, побредемъ къ Фалькону ѣсть bacchio arrosto или girato и осушимъ фольету asciuto, и настанетъ вновь моя райская жизнь“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Гоголь льстилъ себя отрадной надеждой на предстоящее въ Римѣ свиданіе съ сильно полюбившимся ему молодымъ Константиномъ Аксаковымъ, котораго онъ называлъ тогда „юношей, полнымъ всякой благодати“.

Еще въ Варшавѣ Гоголь почувствовалъ, по его выраженію, „побужденіе душевное“ написать такъ много для него сдѣлавшему и питавшему къ нему такую сердечную дружбу, С. Т. Аксакову. Это „побужденіе душевное“ есть снова признакъ ясно проглядывающаго будущаго мистическаго настроенія, на этотъ разъ, однако, еще не замѣченнаго послѣднимъ. (Ср. такія же „душевныя побужденія“ въ позднѣйшихъ письмахъ къ Смирновой и Вѣльгорскимъ). Во всякомъ случаѣ въ этомъ письмѣ слышится самое теплое чувство и потребность подѣлиться приливомъ счастья. Всю дорогу Гоголь оставался въ самомъ свѣтломъ настроеніи, чему много способствовали и случайныя удачи путешествія, доходившія на этотъ разъ до того, что, по словамъ Гоголя,

„лучше доѣхать невозможно. Даже погода была хороша! у мѣста дождь, у мѣста солнце“ или: „Вѣна приняла меня царскимъ образомъ“. Къ счастью и величайшему удовольствію Гоголя, уже въ Вѣнѣ многое напоминало ему о близости столь горячо любимой Италіи: при немъ прибыла туда итальянская труппа оперныхъ артистовъ, о которыхъ Гоголь въ своемъ восторженномъ увлеченіи говорилъ, что „это была опера чудная, невиданная“. Даже въ знойномъ іюльскомъ воздухѣ онъ не безъ наслажденія привѣтствовалъ донесшійся изъ его второй родины „хвостикъ широкка“.

Но излишній экстазъ потрясающимъ образомъ повліялъ на здоровье Гоголя и расшаталъ его и безъ того надорванные нервы: въ Вѣнѣ, вмѣсто того, чтобы поправляться отъ пользованія водами, онъ слегъ и могъ вскорѣ сколько-нибудь стать на ноги благодаря заботамъ и попеченіямъ о немъ случайно встрѣченнаго имъ въ этомъ городѣ Н. П. Боткина, что было тѣмъ счастливѣе для него, что спутникъ его Пановъ еще въ половинѣ іюля оставилъ его, условившись съѣхаться съ нимъ вмѣстѣ въ Венеціи. Только-что Гоголь оправился, онъ поѣхалъ въ Италію, надѣясь путешествіемъ возстановить пошатнувшееся здоровье. Въ Венеціи онъ въ самомъ дѣлѣ встрѣтился съ Пановымъ и здѣсь онъ могъ возобновить свои литературныя занятія. Еще въ началѣ лѣта, въ Вѣнѣ, онъ продолжалъ упорно работать надъ созданіемъ задуманной имъ малороссійской комедіи, усердно собирая для нея матеріалъ и изучая для этой цѣли сборники малороссійскихъ пѣсенъ; теперь онъ занялся приготовленіемъ обѣщанной М. С. Щепкину для его бенефиса переводной пьесы одного изъ любимыхъ его итальянскихъ комическихъ писателей, Джордано Жиро: „Дядька въ затруднительномъ положеніи“ (L'ajo nell'imbarazzo).

Изъ Венеціи, т.-е. изъ перваго пункта, въ которомъ Гоголь почувствовалъ себя нѣсколько оправившимся, онъ послалъ письма болѣе близкимъ своимъ друзьямъ: Погодину, котораго спрашивалъ о его семействѣ, и О. С. Аксаковой (за отсутствіемъ изъ Москвы Сергѣя Тимоѳеевича). Наконецъ Гоголь снова въ Римѣ. Но только-что исполнилась его мечта, какъ его на самыхъ же первыхъ порахъ поразила еще болѣе серьезная и тяжелая болѣзнь, нежели перенесенная имъ въ Вѣнѣ. Сверхъ всякаго ожиданія онъ долженъ былъ со страхомъ и скорбью удостовѣриться, что „ни Римъ, ни небо, ни то, что такъ было причаровало его, ничуть не имѣютъ теперь на него вліянія“. Въ это время у него даже серьезно являлась временами мысль провести какъ можно

долѣе въ спасительной для него дорогѣ и даже ѣхать съ этой цѣлью курьеромъ въ Камчатку. Еще въ Вѣнѣ онъ въ первый разъ пережилъ такъ часто послѣ овладѣвавшій имъ ужасъ близкой, какъ ему казалось, смерти, и это на всю жизнь оставило въ немъ неизгладимое впечатлѣніе. Онъ уже составилъ тогда „тощее духовное завѣщаніе, чтобы хотя долги были выплачены немедленно послѣ смерти". Когда Гоголь, почувствовавъ необычайный приливъ силъ, слишкомъ горячо принялся вдругъ за давно оставленную работу, тяжкій недугъ свалилъ его, и лихорадочное напряженіе пагубно отозвалось на слабомъ уже организмѣ. Поѣздка въ Италію сначала, повидимому, помогла ему, но зато вскорѣ онъ слегъ окончательно и не вставалъ съ постели уже около двухъ мѣсяцевъ. Подъ вліяніемъ этого стеченія несчастныхъ обстоятельствъ Гоголь былъ вынужденъ просить друзей о мѣстѣ при Кривцовѣ. Непріятность усиливалась еще тѣмъ, что вмѣсто уплаты прежнихъ долговъ Гоголь не могъ обойтись безъ новаго займа у Панова въ количествѣ тысячи рублей. Но надо припомнить, что онъ былъ на краю гроба, и внезапная болѣзнь опрокинула вверхъ дномъ всѣ его намѣренія и ожиданія. Словомъ, ни одна изъ его розовыхъ надеждъ не исполнилась, но удары судьбы обрушивались на его голову очень исправно.

Все это способствовало усиленію въ Гоголѣ рокового мистицизма, который съ этого времени сталъ замѣчать и С. Т. Аксаковъ, совершенно раздѣлявшій убѣжденіе Гоголя, что „много чуднаго совершилось съ нимъ послѣ ихъ разлуки". Теперь Гоголь все болѣе утрачивалъ послѣдніе слѣды жизнерадостнаго настроенія, угасаніе котораго замѣчалъ довольно ясно и гостившій у него въ 1841 г. П. В. Анненковъ. Онъ все глубже уходилъ въ свой внутренній міръ; и тутъ-то у него зародилась мысль создать нѣчто необычайное въ послѣднихъ томахъ „Мертвыхъ Душъ". Онъ уже усвоилъ взглядъ на первый томъ, только какъ на крыльцо къ величественному зданію, а свое выздоровленіе приписывалъ прямо „дивной силѣ Бога, воскресившаго его". Матеріальное положеніе его уже больше не тревожитъ: онъ привыкаетъ къ постояннымъ невзгодамъ и смотритъ на нихъ такъ: „Я такъ покоенъ, что даже не думаю вовсе о томъ, что у меня ни копѣйки денегъ. Живу кое-какъ въ долгъ. Мнѣ теперь все трынъ-трава. Если только мое свѣжее состояніе продолжится до весны или лѣта, то, можетъ быть, мнѣ удастся еще приготовить что-нибудь къ печати кромѣ перваго тома „Мертвыхъ Душъ". Теперь ему нужна была дорога *даже изъ Рима*.

5 марта 1841 г. Гоголь снова писалъ Аксакову, что для него „нужно сдѣлать заемъ“. Но для объясненія послѣдняго обстоятельства необходимо принять въ соображеніе, что онъ готовилъ къ печати „Ревизора“ въ исправленномъ видѣ и „Мертвыя Души“. Но онъ „питаетъ надежду скоро все выплатить“. „Въ началѣ 1842 г.,—обѣщаетъ онъ,—выплатится мною все, потому что уже одно то, которое уже у меня готово и которое, если дастъ Богъ, напечатаю въ концѣ текущаго года, уже достаточно для уплаты“. Подъ вліяніемъ этихъ свѣтлыхъ надеждъ, совершенно обновленный, снова принялся онъ за работу, предаваясь въ то же время мистическому утѣшенію, что всѣ посланныя ему несчастія были ему на благо. Это видно, напр., изъ слѣдующихъ словъ письма къ Аксакову: „Я радъ всему, всему, что̀ ни случается со мною въ жизни, и какъ погляжу я только, къ какимъ чуднымъ пользамъ и благу вело меня то, что̀ называютъ въ свѣтѣ неудачами, то растроганная душа моя не находитъ словъ благодарить Невидимую Руку, ведущую меня“. Замѣтимъ здѣсь, что С. Т. Аксакову казалось ново такое настроеніе Гоголя. Но мы уже имѣли случай, основываясь на несомнѣнныхъ данныхъ, указать, что еще въ 1836 г. подобные взгляды высказывались Гоголемъ въ письмѣ къ Жуковскому. Теперь мистическое настроеніе Гоголя проявлялось, правда, ужъ слишкомъ замѣтно, напр. въ утвержденіи, что во всемъ, что̀ съ нимъ случалось, „ясно видна святая воля Бога: подобныя вещи не приходятъ отъ человѣка, никогда не выдумать ему такого сюжета“. Теперь Гоголь получаетъ убѣжденіе, что „и пріѣздъ въ Москву, и нынѣшнее путешествіе въ Россію,—все было благо“. О себѣ Гоголь говорилъ: „Меня теперь нужно лелѣять не для меня, нѣтъ! Друзья сдѣлаютъ небезполезное дѣло! Они привезутъ съ собой глиняную вазу; конечно, эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится, но въ этой вазѣ теперь заключено сокровище“. Во время этого нравственнаго экстаза Гоголь написалъ первое обличительное письмо своему другу Данилевскому, упрекая его за „жизнь невозмущенно-праздно протекшую въ пресмыканіяхъ по великолѣпнымъ парижскимъ кафе“, въ которыхъ онъ часто самъ бывалъ вмѣстѣ съ Данилевскимъ; Аксаковыхъ упрекалъ заочно за то, что, потерявъ сына, они предались отчаянію, забывъ, что „всякую минуту мы должны благодарить за то, что̀ остается“; въ письмѣ къ матери вызывался заступить сиротѣ-племяннику мѣсто отца; о мѣстѣ при Кривцовѣ говорилъ уже съ полнѣйшимъ презрѣніемъ...

Наконецъ, окончивъ работу надъ первымъ томомъ „Мертвыхъ Душъ“, Гоголь двинулся въ Москву уже въ сентябрѣ 1841 г. Но, не передавая здѣсь содержанія прекрасныхъ воспоминаній о Гоголѣ Анненкова о совмѣстной жизни ихъ въ Римѣ въ 1841 г., обратимся къ извлеченію нѣкоторыхъ біографическихъ данныхъ изъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“.

В. Шенровъ.

ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗІИ

ПОВѢСТЬ.

XV *).

У современнаго русскаго человѣка въ душѣ столько накопилось больныхъ мѣстъ, что онъ не только спорить,—даже просто разговаривать, не раздражаясь, не можетъ. Прежній отвлеченный и спокойный споръ отошелъ въ область преданій; прежде люди мирно и дружелюбно бесѣдовали о гегелевской тріадѣ, о кантовскомъ „Ding an und für sich“, и, проговоривъ иногда цѣлую ночь напролетъ, расходились вполнѣ довольные другъ другомъ. Теперь не то; теперь не спорятъ, а бранятся или каются, и достаточно иногда четверти часа, чтобы люди разошлись другъ съ другомъ врагами и навсегда. Жизнь стала такъ страшно сложна и столько требованій предъявлено отъ нея даже простому среднему человѣку, что заниматься мирнымъ рѣшеніемъ отвлеченныхъ вопросовъ стало некогда. Прежде человѣкъ просиживалъ всю свою жизнь въ кабинетѣ, занимаясь изученіемъ какого-нибудь уголка собственной души, и былъ спокоенъ въ полной увѣренности, что онъ дѣлаетъ дѣло. Теперь въ кабинетъ уйти трудно, потому что каждую минуту передъ тобой встанетъ грозный вопросъ: „а что ты сдѣлалъ для общества и кто ты такой?“ Вотъ почему современный русскій человѣкъ всегда взволнованъ, всегда на сторожѣ, и измученъ до того, что до него дотронуться нельзя—сейчасъ закричитъ отъ боли. Онъ сознаетъ, что ему надо много дѣла дѣ-

*) См. выше: августъ, стр. 528.

лать, что отъ него ждутъ этого дѣла, и хотя не дѣлаетъ пока ничего, но стыдится и мучается, что не дѣлаетъ.

Орѣшниковъ все еще спорилъ съ Потесинымъ и не только спорилъ, но даже почти разругался. Потесинскій цинизмъ выводилъ его изъ себя, а Потесинъ, зная всѣ его слабыя струнки, нарочно задѣвалъ ихъ и задѣвалъ грубо, злобно. Орѣшниковъ любилъ людей и вѣрилъ въ нихъ, а Потесинъ рисовалъ предъ нимъ самыя отвратительныя картины человѣческой неблагодарности, несправедливости, продажности; Орѣшниковъ по натурѣ былъ поэтъ и эстетикъ (отчего въ глубинѣ души стыдился и страдалъ), а Потесинъ съ умысломъ выбиралъ самыя грубыя выраженія, самыя грязныя краски, на что былъ великій мастеръ. Наконецъ это вывело Орѣшникова изъ себя, и споръ принялъ довольно острый характеръ, такъ что даже Татьяна Аристарховна, любившая всякіе словесные турниры, немножко струхнула и рѣшила скорѣе подавать ужинъ.

Сначала спорящихъ слушали, и Крынкинъ съ своей стороны ввертывалъ то одно, то другое словечко, хотя ничью сторону не держалъ; онъ никогда не держалъ ничью сторону, а всегда умѣлъ какъ-то оставаться въ сторонѣ,—но потомъ всѣмъ это надоѣло. Тутъ пріѣхалъ музыкальный критикъ, и Крынкинъ принялся ухаживать за его хорошенькой женой; потомъ на минутку заѣхалъ Дятловъ и былъ очень встревоженъ извѣстіемъ о болѣзни Хотынцева—это извѣстіе сообщалось каждому новому гостю и непремѣнно съ сенсаціоннымъ оттѣнкомъ: „слышали? Хотынцевъ боленъ“!..

— Въ такомъ случаѣ я сейчасъ ѣду туда. Можетъ быть, нужно что-нибудь, — сказалъ Дятловъ, торопливо со всѣми прощаясь.

— Куда вы?—шутливо крикнулъ ему вслѣдъ Крынкинъ.—Все равно, отъ смерти не убѣжите!

— Да я-то отъ смерти не бѣгаю; это она отъ меня бѣгаетъ,—горько усмѣхнулся Дятловъ, уходя.

Передъ самымъ ужиномъ явились Пыхтѣевъ съ Васильковымъ; они и прежде были неразлучны, а теперь, когда Васильковъ окончательно рѣшилъ купить „Арлекинъ“, Пыхтѣевъ уже совсѣмъ не отставалъ отъ него. Теперь они прямо пріѣхали изъ Александринки, гдѣ дебютировала какая-то провинціальная актриса и провалилась. Ее освистали, и Пыхтѣевъ съ своимъ скернымъ хихиканьемъ разсказывалъ, что она безобразно стара для сцены, что по всему лицу у нея прыщи, глаза косятъ—и никакой фигуры... При этомъ прибавлялось еще что-то на ухо другъ другу, и муж-

чины громко смѣялись. Объ игрѣ не было сказано ни слова, такъ что можно было подумать, что актриса дебютировала красотой, и освистали ее именно за то, что у нея не было „никакой фигуры". Васильковъ, впрочемъ, мало принималъ участія въ разговорѣ и, кажется, больше интересовался тѣмъ, что происходитъ въ кухнѣ и скоро ли будутъ накрывать на столъ. Къ нему подсѣла одна изъ Минервъ.

— Слышали, Хотынцевъ опасно боленъ?

— Нѣтъ-съ,—равнодушно сказалъ Васильковъ.—А развѣ боленъ? Да мнѣ, пожалуй, все равно если и помретъ; вѣдь въ „Арлекинѣ" онъ сотрудничать, чай, не станетъ!—заключилъ онъ со смѣхомъ и насторожился,—ему показалось, что въ кухнѣ застучали посудой.

— А составъ сотрудниковъ останется у васъ прежній?

— А не знаю-съ, тамъ видно будетъ. А что-съ?

— Да вотъ я могла бы, если хотите, кое-что вамъ доставлять...—робко и вся покраснѣвъ, проговорила Минерва.—Я... вы, можетъ быть, слышали, работала въ „Стрѣлкѣ"... могу каррикатуры рисовать... мелочи... стишки... Тамъ мною довольны были.

— Ладно, посмотримъ, — небрежно отвѣчалъ Васильковъ, но вдругъ его жирное лицо оживилось, и онъ, захлопавъ тихонько руками, какъ Хлестаковъ, пропѣлъ: „несутъ, несутъ!" Въ столовую съ грудой тарелокъ входила горничная.

Минерва вздохнула и съ гримасой отошла отъ Василькова. „Обжора этакій! — пробормотала она про себя. — Только и думаетъ объ ѣдѣ... и какого важнаго барина изъ себя ломаетъ! А давно ли вмѣстѣ въ греческой кухмистерской обѣдали... да и то еще заплатить нечѣмъ было. Противный".

Двѣ другія Минервы, все время зорко слѣдившія за дипломатическими похожденіями своей товарки, замѣтивъ на ея лицѣ разочарованіе, переглянулись и усмѣхнулись.

— Ужъ навѣрное къ Василькову съ услугами подъѣзжала!—сказала одна.

— Отказалъ, должно быть!—прибавила другая.

— Такъ и надо. Ужасно безсовѣстная; только и думаетъ о томъ, чтобы работу у кого-нибудь перебить. Вы слышали, мнѣ Х. обѣщалъ переводъ достать по десяти рублей листъ. И что же оказывается? Она подъѣхала къ нему, наговорила съ три короба и взяла переводъ по семи рублей! Каково?

— Да!—проговорила слушательница, а сама подумала: „Ну ужъ, матушка, ты-то хороша тоже! Ты не только по семи рублей,—

по пяти берешься переводить... да и я-то, еслибы кто-нибудь сейчасъ хоть по три рубля далъ—съ радостью согласилась бы"...

Стратагема Татьяны Аристарховны оказалась весьма удачной; съ появленіемъ ужина споръ между Потесинымъ и Орѣшниковымъ, грозившій перейти въ перебранку довольно непріятнаго свойства, прекратился. Татьяна Аристарховна посадила Орѣшникова рядомъ съ собою и старательно угощала его; Потесинъ помѣстился на другомъ концѣ стола съ Пыхтѣевымъ, Васильковымъ и Крынкинымъ, и у нихъ было довольно шумно. Потесинъ былъ возбужденъ споромъ и вообще въ ударѣ; остроты, шуточки, пародіи, иногда весьма двусмысленнаго свойства, такъ и сыпались съ его языка. Пыхтѣевъ воспользовался этимъ настроеніемъ Потесина и исподтишка сталъ его выспрашивать—какого онъ мнѣнія о томъ или другомъ писателѣ. Потесинъ отвѣчалъ ему довольно мѣткими иногда, но черезъ-чуръ злобными характеристиками и авторовъ, и ихъ произведеній; нѣкоторыя опредѣленія его были такъ удачны, что всѣ смѣялись, и даже Селищевъ, котораго Потесинъ начиналъ злить своими выходками, не могъ удержаться отъ улыбки. Пыхтѣевъ былъ въ восторгѣ; онъ хихикалъ, вертѣлся, захлебывался и едва удерживался отъ искушенія вытащить записную книжку и записать особенно хлесткія словечки.

— Прелестно! Восхитительно! — восклицалъ онъ.—Я удивляюсь, Александръ Герасимовичъ, отчего вы не пишете критическихъ статей! У васъ огромный критическій талантъ... такая глубина! такая проницательность!

Наконецъ, онъ, должно быть, надоѣлъ Потесину своими дифирамбами, потому что тотъ грубо оборвалъ его.

— Я не знаю, вы то чего радуетесь? Ну, ладно, ну, всѣ эти господа плохи, да все-таки есть же дураки, которые ихъ читаютъ и хвалятъ. А вотъ васъ, я увѣренъ, такъ ни одинъ дуракъ не прочтетъ. Чего же вы пляшете, какъ бѣсъ передъ заутреней?

Бѣдняга опѣшилъ, съёжился и скромно спряталъ свой носъ въ стаканъ съ пивомъ.

Только Орѣшниковъ на всѣ выходки Потесина не улыбался, но, къ удовольствію Татьяны Аристарховны, молчалъ. Впрочемъ подъ конецъ онъ не выдержалъ и довольно громко сказалъ, обращаясь къ Татьянѣ Аристарховнѣ.

— Знаете что: я сейчасъ такъ золъ, что могу сказать о себѣ, какъ мольеровскій мизантропъ:

Tous les hommes me sont à tel point odieux
Que je serais faché d'être sage à leurs yeux...

— Не безпокойтесь, Викторъ Сергѣичъ!—крикнулъ ему черезъ столъ Потесинъ, поймавшій его фразу. — Будьте увѣрены, что люди, которыхъ вы такъ ненавидите, на этотъ разъ окажутся настолько любезными, что не заставятъ васъ сердиться...

Татьяна Аристарховна обмерла, ожидая бури... но Орѣшниковъ только поглядѣлъ въ сторону Потесина и молча вышелъ изъ-за стола. Старушка перевела дыханіе, но подумала, что и въ самомъ дѣлѣ ея журфиксы въ послѣднее время становятся непріятны и что хорошо бы, еслибы Потесинъ какъ-нибудь самъ догадался и пересталъ бывать у нея.

Селищевъ ушелъ сейчасъ же послѣ ужина (Ганя еще до ужина простилась съ нимъ и ушла въ спальню, ссылаясь на головную боль) и тихо шелъ по Пушкинской. Ночь была теплая, совсѣмъ весенняя, и ему не хотѣлось брать извозчика и трястись цѣлый часъ по мостовой. „Лучше дойду пѣшкомъ", думалъ онъ. „Такъ тихо, славно; нѣтъ этого безпрерывнаго грохота и мельканія, мѣшающаго думать. Небо мерцаетъ; фонари уже потушены; какъ нравится мнѣ этотъ полусвѣтъ, полумракъ, не мрачный и угрожающій, какъ на картинахъ Сальватора Розы, а такой спокойный, ровный, немножко сантиментальный... И на душѣ какъ-то спокойнѣе, тише становится... всѣ порывы замираютъ, хочется мечтать, вспоминать"...

Но ни мечтать, ни вспоминать Селищеву не пришлось, сзади послышались торопливые, хотя нѣсколько неровные шаги, пыхтѣнье, и рядомъ съ художникомъ выросла плотная фигура Потесина.

— Это вы, Иванъ Александровичъ? Догналъ-таки я васъ! А я, знаете, удралъ оттуда, отъ Аристарховны-то,—надоѣли они мнѣ всѣ, какъ горькая рѣдька!

— Вѣроятно такъ же, какъ и вы имъ,—сказалъ Селищевъ несовсѣмъ ласково.

— Вѣроятно! Это правда!—Потесинъ засмѣялся.—Насолилъ я имъ таки сегодня, и особенно этому идіоту Орѣшникову. Слышали, даже въ мизантропію ударился. Я очень доволенъ...

— И что у васъ за страсть, Александръ Герасимовичъ, вѣчно со всѣми ссориться и браниться? Откуда въ васъ такая злость? Мнѣ думается, что для васъ тотъ день потерянъ, въ который вы кому-нибудь непріятности не сдѣлаете.

— Ха-ха-ха! Это вы вѣрно сказали!—засмѣялся-было Потесинъ, но вдругъ задумался...—А впрочемъ нѣтъ, это неправда.

Вѣдь я не злой, совсѣмъ, ни капельки не злой. И знаете что̀, мнѣ вотъ сейчасъ даже жаль ихъ всѣхъ стало... въ особенности эту фіалочку, Ганю... она заплакала, кажется, бѣдняжка, да?

Заплаканное личико Гани вспомнилось Селищеву, и сердце его вздрогнуло отъ нѣжности и любви.

— Да, это уже совсѣмъ грубо вышло, — сказалъ онъ, помолчавъ и стараясь скрыть свое волненіе.

— Разозлили они меня очень. Только и слышишь: „Хотынцевъ, Хотынцевъ, Хотынцевъ! Хотынцевъ сказалъ то-то! Хотынцевъ чихнулъ!“ Надоѣло это мнѣ!—начиная опять раздражаться, крикнулъ Потесинъ.

Селищевъ пожалъ плечами и оглянулся вокругъ, ища извозчика. Въ душѣ его была цѣлая поэма, а тутъ эти дрязги, дрязги... Потесинъ замѣтилъ непріятное впечатлѣніе, произведенное его словами.

— Ну, ну, не буду!—сказалъ онъ смягченнымъ тономъ.— Вижу, что вы сердитесь и хотите отъ меня бѣжать. Не буду больше.

— Да нѣтъ, пора уже домой,—возразилъ Селищевъ.

— Домой? Что вы, батенька! Въ такую ночь? А еще художникъ! Вѣдь вы посмотрите, ночь-то какая, небо, звѣзды... ну впрочемъ звѣздъ-то нѣтъ, это я совралъ, но все-таки вѣдь хорошо. Вы подумайте только, что вѣдь эта ночь уже больше не повторится, никогда, никогда не повторится въ вашей жизни.

„Вотъ оттого-то я и хочу остаться одинъ“,—подумалъ Селищевъ, но не сказалъ, а Потесинъ продолжалъ какимъ-то несвойственнымъ ему восторженнымъ голосомъ.

— И знаете, въ такую ночь начинаешь особенно жалѣть о своемъ одиночествѣ. Никого около тебя нѣтъ,—ни жены, ни любовницы, ни сестры, ни друга... а хочется говорить, открывать душу... Некому! У меня была одна знакомая барыня и не глупая барыня, хотя, какъ всѣ женщины, немножко сантиментальная. Такъ она говорила, что человѣкъ, не имѣющій друзей—или геній, или безсердечный эгоистъ. А у васъ, Иванъ Александровичъ, у васъ есть друзья?—неожиданно спросилъ онъ.

— Нѣтъ,—съ досадой сказалъ Селищевъ, недовольный интимнымъ оборотомъ разговора.

Потесинъ засмѣялся и какъ-то особенно посмотрѣлъ на художника.

— У меня тоже. Не правда ли, это странно? Кажется, между нами нѣтъ ничего общаго, а между тѣмъ ни у васъ, ни у меня

нѣтъ друзей. Кто же мы съ вами? Геніи или эгоисты, по остроумному опредѣленію моей знакомой?

— Не знаю, никогда не задавался этимъ вопросомъ.

— А это интересно! „Познай самого себя“!—сказалъ древній мудрецъ. Но я думаю, лучше мы съ вами отнесемъ свое одиночество на счетъ своей геніальности. Какъ-то оно пріятнѣе, не правда ли? Все-таки эгоизмъ—вещь нехорошая, потому что нѣтъ человѣка, который бы не обидѣлся, когда его назовутъ эгоистомъ. А вѣдь въ сущности каждый человѣкъ эгоистъ, не правда ли? Но мы съ вами не эгоисты, конечно, т.-е. если и эгоисты, то самые маленькіе. И замѣтьте,—ограниченные люди всегда имѣютъ множество друзей. Вотъ, напримѣръ, Орѣшниковъ или Татьяна Аристарховна... да много примѣровъ!

— Ну, это вы преувеличиваете,—возразилъ Селищевъ.—У геніальныхъ людей тоже были друзья...

— Поклонники, а не друзья!—перебилъ Потесинъ.—И притомъ, главнымъ образомъ, женщины. А вы развѣ вѣрите въ дружбу между женщиной и мужчиной?

— Вѣрю,—сказалъ Селищевъ и сказалъ неправду; онъ тоже отрицалъ дружбу женщины и мужчины, но ему не хотѣлось соглашаться съ Потесинымъ, который становился ему все болѣе и болѣе непріятенъ, и на зло ему онъ готовъ былъ утверждать что угодно.

— Неужели? — воскликнулъ Потесинъ въ изумленіи.—Это странно; я думалъ, что вы большой знатокъ женской психологіи... у васъ вѣдь столько романовъ было...

Селищевъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Ну, ну, не буду,—усмѣхаясь себѣ въ бороду, сказалъ Потесинъ.—Экой вы недотрога! А дружбы между женщиной и мужчиной все-таки быть не можетъ, это я утверждаю. Вѣрною рабой женщина можетъ быть, но другомъ—никогда!

— Это почему же?

— Да потому, что женщина и мужчина никогда не поймутъ другъ друга. Это вѣчные антагонисты; это платоновскія „половинки“, но половинки, обреченныя на вѣчное разъединеніе.

— Ну ужъ это совсѣмъ метафизика какая-то!—махнувъ рукой, произнесъ Потесинъ.

— Для васъ, конечно, метафизика. Вы, художники, видите только однѣ формы и краски; душа для васъ не существуетъ. Вся ваша психологія не идетъ дальше хорошенькой ножки или прелестнаго носика какой-нибудь Венеры Милосской...

Тутъ уже Селищевъ не могъ удержаться отъ улыбки.

— Богъ знаетъ, что вы говорите, Александръ Герасимовичъ. И что съ вами сдѣлалось, совсѣмъ это на васъ не похоже. Гдѣ ваша „трезвая правда"? Вѣдь вы въ идеализмъ ударились!

Они вышли на набережную. Здѣсь было еще свѣтлѣе; странное сіяніе разливалось надъ Невою, и въ этомъ сіяніи, какъ призракъ, темнѣлъ силуэтъ Петропавловской крѣпости. А по обѣ стороны сіяющей Невы недвижно и безмолвно тянулась цѣпь спящихъ дворцовъ и зданій. Послышался унылый перезвонъ курантовъ, и часы пробили четыре.

— Да-съ, идеализмъ, идеализмъ! — повторилъ Потесинъ и вздохнулъ. — Нѣтъ, батенька, это не идеализмъ, — это скука и полное одиночество. Несчастные, несчастные мы съ вами люди..

— Почему несчастные?

— Да вотъ именно потому, что сами никого не любимъ и насъ никто не любитъ. Вы только подумайте, какая нелѣпость происходитъ: въ кои-то вѣки захотѣлось душу отвести—и не съ кѣмъ. Одинъ, одинъ, какъ перстъ... и вотъ неизвѣстно для чего идемъ мы съ вами... а что между нами общаго? Ничего. Да не только общаго, а я знаю, что вы меня просто терпѣть не можете...

— Какъ и вы меня тоже, вѣроятно?—со смѣхомъ перебилъ его Селищевъ.

— Не знаю-съ... вамъ со стороны виднѣе,—проворчалъ Потесинъ угрюмо.—Но во всякомъ случаѣ все-таки въ высшей степени нелѣпо... ночью, вмѣсто того, чтобы спать себѣ въ теплой постели, тащиться Богъ знаетъ зачѣмъ по улицамъ, съ человѣкомъ, которому до тебя нѣтъ никакого дѣла, да еще сантиментальничать à la Орѣшниковъ... и это въ сорокъ слишкомъ лѣтъ! Тьфу ты, чортъ, да что это въ самомъ дѣлѣ такое? Ночь ли это такая глупая, или я выпилъ лишнее, или съ ума сошелъ — не понимаю...

Призрачная ночь сіяла, сіяла въ своихъ каменныхъ берегахъ Нева, сіяло небо, а они все шли, и ихъ шаги гулко отдавались на той сторонѣ, точно мимо дворцовъ шелъ кто-то невидимый. Вдругъ Потесинъ остановился и громко расхохотался,—и вмѣстѣ съ нимъ такъ же громко захохотало и эхо. Селищевъ даже вздрогнулъ.

— А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ безуміе! — сказалъ Потесинъ совсѣмъ другимъ, обычнымъ своимъ бравирующимъ тономъ.—Что я тутъ несъ — и о женщинахъ, и о дружбѣ, и о душѣ, точно семинаристъ. Этакая чушь!.. Должно быть у Аристарховны сегодня пиво съ кукельваномъ было. Пустяки все это, Иванъ Алек-

сандровичъ,—и дружба пустяки, и гармонія душъ—ерунда; никакой гармоніи нѣтъ, а есть только жизнь,—жизнь пестрая, бурная, шумная, безобразная и прекрасная, въ одно и то же время. Ну, и что же? Ну, и надо, значитъ, жить... жить, изо всѣхъ силъ жить...

Послѣднія слова Потесинъ почти прорычалъ и, не сказавъ даже „прощайте", повернулъ назадъ. Селищевъ нѣсколько минутъ глядѣлъ ему вслѣдъ, потомъ усмѣхнулся и пошелъ дальше, а скоро и совсѣмъ позабылъ о Потесинѣ.

XVI.

Нѣсколько дней послѣ этой ночи Селищевъ не выходилъ изъ своей мастерской. На него, какъ онъ выражался, „налетѣло", и онъ на время отрѣшился отъ всего, — никого не принималъ, не читалъ газетъ, не распечатывалъ писемъ, вполнѣ отдавшись работѣ. Его „весна пришла", и онъ жадно ловилъ минуты творческаго забытья. Вся мастерская была завалена эскизами, набросанными и на картонѣ красками, углемъ, карандашомъ, и на полотнѣ, и на клочкахъ бумаги. И съ этихъ клочковъ, разбросанныхъ повсюду, глядѣло все одно и то же личико, — эта прекрасная „Весна"... и художникъ не жалѣлъ фантазіи и красокъ, чтобы разубрать и разодѣть ее въ самыя причудливыя одежды. То она улыбалась ему, вся въ бѣломъ, вся въ цвѣтахъ, точно невѣста; то на ней было темное, длинное платье монахини, а глаза свѣтились экстазомъ молитвы; то, наконецъ, она съ шаловливо-разметанными кудрями, со смѣхомъ въ каждой жилкѣ загорѣлаго личика, неслась кому-то на встрѣчу, и вѣтеръ развѣвалъ ея одежды, и цвѣты сыпались на нее съ деревьевъ. Но ни однимъ эскизомъ Селищевъ не былъ доволенъ,—до сихъ поръ онъ никакъ не могъ уловить самаго характернаго выраженія Гани,—выраженія тревоги и ожиданія, которое такъ поразило его въ первый разъ, когда онъ ее увидѣлъ. И онъ писалъ, поправлялъ, искалъ безъ устали.

Въ короткіе промежутки отдыха, когда Селищевъ уходилъ къ себѣ за драпировку и ложился на кушетку, ему приходило въ голову одѣться и бѣжать на Пушкинскую. Иногда это желаніе до того сильно овладѣвало имъ, что Селищевъ звалъ слугу и приказывалъ подать пальто. Но тутъ же какая-нибудь новая мысль приходила ему въ голову, — онъ бѣжалъ назадъ, въ мастерскую, и опять принимался за кисть или карандашъ... а тамъ

незамѣтно подходила ночь, зажигались и тухли фонари, гремѣла и затихала улица, и заря заставала Селищева за работой, блѣднаго, усталаго, но счастливаго пережитыми ощущеніями. Некогда было идти на Пушкинскую... да и зачѣмъ? — думалъ, улыбаясь, Селищевъ. Развѣ *она* не здѣсь, не съ нимъ, въ его мастерской, каждый часъ, каждую минуту? Развѣ онъ не можетъ по своему желанію вызвать ее, упасть предъ нею на колѣни, молиться на нее, цѣловать ея руки, говорить съ нею обо всемъ, обо всемъ?.. И образъ живой Гани,—Гани съ Пушкинской,— блѣднѣлъ и стушевывался предъ этой призрачной мечтой художника, поселившейся въ его мастерской и по его желанію воплощавшейся въ самыя разнообразныя формы.

Но къ концу недѣли Селищевъ почувствовалъ, что усталъ. Лихорадка его стала ослабѣвать; промежутки отдыха становились длиннѣе, кисть работала лѣнивѣе, и иногда по цѣлымъ часамъ приходилось стоять предъ полотномъ, не находя той краски, которая была нужна. Селищеву захотѣлось воздуха, солнца, людей.

Солнце уже садилось, когда онъ вышелъ изъ своей мастерской на набережную. Было ясно, но не ярко; дулъ легкій вѣтеръ, и на Невѣ съ плескомъ подымались и падали пѣнистыя волны. Селищевъ чувствовалъ себя легко и весело, какъ всегда послѣ работы, и ему вспоминалось, какъ, бывало, въ молодости, онъ въ такія минуты бѣсился, какъ школьникъ, выпущенный на каникулы, ѣхалъ за городъ, бѣгалъ по знакомымъ или просто устроивалъ въ „Золотомъ Якорѣ“ шумную товарищескую пирушку. Ну, а теперь куда? — думалъ онъ при этихъ воспоминаніяхъ, и не могъ удержаться отъ улыбки. Воспоминанія его размолодили, и ему все нравилось, — и уличный шумъ, и плескъ Невы, и острый вечерній холодокъ, пробиравшійся сквозь пальто... Отдыхъ и свобода! Давно уже онъ не испытывалъ ничего подобнаго, и какъ это хорошо — жить и чувствовать, что живешь... Личико Гани мелькнуло передъ нимъ... Къ ней, къ ней, конечно, туда, на Пушкинскую.

Онъ пошелъ скорѣе, но, не доходя до сфинксовъ, вдругъ остановился изумленный. У подножія одного изъ нихъ, облокотившись на парапетъ и задумчиво глядя внизъ, стояла Ганя. „Она здѣсь... и одна!“ — подумалъ Селищевъ, подходя къ ней.— „Какъ это могло случиться... и не брежу ли я?“ —Агаѳья Михайловна! — сказалъ онъ громко.

Ганя сильно вздрогнула отъ неожиданности и обернулась. Лицо ея облилось румянцемъ, а въ глазахъ выразилась искренняя и нескрываемая радость.

— Здравствуйте,—сказала она просто, протягивая ему руку.

— Вотъ не ожидалъ встрѣтить васъ здѣсь, — проговорилъ Селищевъ, и самъ думалъ въ эту минуту:— „Какъ это странно!.. неужели это для меня?“

— А я часто здѣсь бываю,—отвѣчала Ганя съ дѣтской откровенностью.—Мнѣ такъ нравятся эти сфинксы и видъ отсюда... а потомъ, вообще, здѣсь какъ-то просторнѣе, чѣмъ въ городѣ.

Но Селищеву не понравился ни этотъ отвѣтъ, ни радость, которую обнаруживала Ганя при встрѣчѣ съ нимъ; что-то непріятное, холодное, даже враждебное, поднялось въ его душѣ. Ему припомнилось множество вотъ такихъ же „случайныхъ“ встрѣчъ, подъ видомъ прогулки, визита къ знакомымъ и т. д.; припомнились разныя уловки, хитрости, выдумки, къ которымъ прибѣгали нѣкогда всѣ влюбленныя въ него барышни и барыни, чтобы увидѣть его и говорить съ нимъ... и все это показалось ему теперь такимъ старымъ, избитымъ, такимъ пошлымъ и мелкимъ, что всякое удовольствіе видѣть Ганю исчезло, и онъ совершенно равнодушно взглянулъ на ея милое оживленное лицо.

— Такъ вы часто здѣсь гуляете?—разсѣянно спросилъ онъ, и странно улыбнулся.—Жаль, что я не зналъ... я бы чаще выходилъ изъ своей мастерской, чтобы видѣть васъ.

Это была совсѣмъ уже пошлость, и Селищевъ чувствовалъ это, но ему было досадно на себя, на Ганю, и онъ не сдерживалъ этой досады. Ганя, впрочемъ, ничего не замѣтила.

— А вы все время работали? — спросила она все такъ же весело.

— Да, писалъ.

— *Ту* картину?— продолжала Ганя съ засіявшими отъ радости глазами.

„Что это,—наивность или кокетство?“—подумалъ Селищевъ и, невольно заглядѣвшись на Ганю, уже не такъ сухо отвѣчалъ: — да!

— Какъ я рада! Какъ тетя будетъ рада!—воскликнула Ганя.

Это восклицаніе тронуло и увлекло Селищева; въ немъ была неподдѣльная искренность и дѣтскій восторгъ, совсѣмъ непохожіе на истерическую требовательность тѣхъ, прежнихъ, воспоминаніе о которыхъ обдавало его холодомъ и скукой. „Нѣтъ, она совсѣмъ не такая“,—думалъ онъ, поддаваясь снова очарованію молодости и весны.

— Вы рады за меня!—произнесъ онъ, впадая въ задушевный тонъ. — Спасибо вамъ за это; на мою долю такъ рѣдко выпадаетъ человѣческое участіе.

— А можетъ быть, вы только не замѣчаете его? — робко возразила Ганя.

— Ну, нѣтъ, его нельзя не замѣтить, если оно выражается такъ, какъ у васъ сейчасъ. По бо́льшей части мнѣ приходится имѣть дѣло съ похвалой, съ лестью, съ фальшивымъ восторгомъ предъ моими картинами, но не съ теплымъ участіемъ ко мнѣ лично, какъ къ человѣку. Это грустная участь многихъ художниковъ, писателей, поэтовъ... ихъ часто любятъ и ласкаютъ не за нихъ самихъ, а за ихъ славу, за тотъ маленькій ореолъ, который ихъ окружаетъ.

— Мнѣ кажется, вы преувеличиваете.

— О, нѣтъ, къ сожалѣнію... все это я слишкомъ хорошо пережилъ и испыталъ. Люди мелочны и тщеславны, — имъ непремѣнно нуженъ ярлыкъ, нужна позолота. Будь ты бѣденъ, неизвѣстенъ, нечиновенъ — и хотя въ груди твоей будетъ золотое сердце, твоя жизнь пройдетъ незамѣтно для толпы. А между тѣмъ одно такое сердце для человѣчества больше значитъ, чѣмъ десятокъ прославленныхъ картинъ и стиховъ.

— Но все-таки художниковъ и поэтовъ любятъ не только за славу, а за тѣ идеи, которыя они выражаютъ въ своихъ картинахъ и стихахъ. Иногда совсѣмъ не знаешь писателя, а любишь его... любишь за его книжку, за то, что когда читаешь ее, самъ дѣлаешься лучше.

— Ну, Агаѳья Михайловна, это бываетъ только въ ранней юности. Юность способна и на безкорыстную дружбу, и на самоотверженную любовь, потому что она не выходила еще на житейское торжище, гдѣ всему свое мѣсто и своя цѣна. А потомъ... потомъ начнется тоже самое, — ярлыки, оцѣнка не по достоинству, а по требованію моды, погоня за тѣмъ, что́ блеститъ поярче... Вы думаете, вѣроятно, что я избалованъ, поэтому такъ и говорю? Нѣтъ, я золъ, я обозленъ, и именно тѣмъ, что когда я былъ бѣденъ и больше всего нуждался въ участіи и любви, меня не замѣчали; а когда у меня было все — и слава, и деньги, — тутъ на меня со всѣхъ сторонъ посыпались и рукопожатія, и ухаживанія, и восторги, и... Справедливо ли это?

Ганя не понимала этой внезапной вспышки злости, но ей было жаль Селищева, и она не сказала того, что́ думала. А она думала, что еще болѣе несправедливо требовать отъ людей любви и участія, когда самъ ничего еще не сдѣлалъ для нихъ.

— И вѣдь все это ложь и ложь! — продолжалъ Селищевъ. — Вамъ привѣтливо улыбаются, пожимаютъ руку, дѣлаютъ видъ, что ужасно рады васъ видѣть, а на самомъ дѣлѣ что́? Подъ этими

улыбками скрывается полнѣйшее равнодушіе или, что̀ еще хуже, зависть; въ пожатіяхъ руки вы не чувствуете теплоты, въ радостныхъ восклицаніяхъ не слышится настоящей радости. Ложь и ложь... вотъ что̀ встрѣчаешь на каждомъ шагу. Тяжело такъ жить... и прожить цѣлую жизнь... а жизнь-то вѣдь уходитъ! Оглянешься назадъ, — тамъ темно, одиноко, холодно; будущее... въ него и глядѣть даже не хочется. Что̀ же дѣлать?

Сначала Селищевъ немножко рисовался, но потомъ увлекся и говорилъ уже искренно, хотя и много преувеличивалъ. Люди съ большимъ воображеніемъ всегда склонны къ преувеличенію. Онъ забылъ, что самъ оттолкнулъ отъ себя не одно льнувшее къ нему сердце, забылъ тѣ слезы, которыя лились когда-то изъ-за него и за него, — онъ помнилъ только собственныя обиды и разочарованія, и теперь обвинялъ весь свѣтъ за свое одиночество и несчастія. А несчастіе было въ немъ самомъ...

— Да, тяжело, тяжело, тяжело! — повторилъ Селищевъ съ какимъ-то ожесточеніемъ, и голосъ его вдругъ задрожалъ отъ страшной жалости къ самому себѣ.—А когда конецъ всему этому?— Богъ знаетъ... Я знаю, что *эта* картина—моя послѣдняя... тамъ, дальше, начнется медленное умираніе, угасаніе, — одинокое, отвратительное... охъ! (онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ отъ охватившаго его ужаса)... И хоть бы гдѣ-нибудь былъ уголокъ, въ которомъ бы помнили немножко обо мнѣ, пожалѣли бы, вздохнули, а когда я умру,—поплакали бы... не какъ о „знаменитомъ художникѣ“—этихъ слезъ много прольютъ на страницахъ разныхъ газетъ и газетишекъ,—а какъ объ Иванѣ Александровичѣ Селищевѣ, несчастномъ, больномъ, одинокомъ человѣкѣ, который, можетъ быть, былъ виноватъ въ чемъ-нибудь, но зато вѣдь и страдалъ много...

— А, можетъ быть, и есть такой уголокъ?—проговорила Ганя, не глядя на Селищева, потому что глаза ея были давно полны слезъ.

— Есть? — спросилъ Селищевъ тихо, и передъ глазами его точно туманъ разостлался.—Есть, говорите вы... гдѣ же? — повторилъ онъ еще тише, наклоняясь къ Ганѣ и заглядывая въ ея лицо.

Ганя молчала. Тогда Селищевъ взялъ ея руку, лежавшую на парапетѣ и слегка дрожавшую, и тихо поцѣловалъ.

Поцѣловалъ—и опомнился: „Что̀ я дѣлаю?“—подумалъ онъ съ испугомъ, и ему даже холодно стало.—„Вѣдь это почти признаніе въ любви... а люблю ли я ее?“—Онъ взглянулъ на Ганю, —она стояла все въ той же позѣ, глядя внизъ на Неву. —

„Дѣвочка... ребенокъ... что общаго между мной и ею? Нѣтъ, нѣтъ, надо провѣрить, продумать... а все-таки какъ она хороша теперь, въ своемъ волненіи... Поняла ли она?“

Голова его опять закружилась, но онъ сейчасъ же овладѣлъ собою и, снявъ шляпу, повернулся лицомъ къ вѣтру. Вѣтеръ его освѣжилъ „Фу, какая глупость!“ — сказалъ онъ про себя— „Старая исторія... и каждый разъ одна и та же. Слезы, слезы... отчего такъ жгутъ и волнуютъ эти женскія слезы? Можетъ быть оттого, что въ каждой ихъ слезинкѣ больше любви, чѣмъ въ тысячѣ нашихъ клятвъ и увѣреній“...

Они долго молчали. Мутныя волны приходили, разбивались о гранитъ, и на ихъ мѣсто приходили новыя, — въ этомъ вѣчномъ движеніи и плескѣ было что-то безпокойное и безотрадное. Для чего вся эта бѣготня, плескъ и брызги? А волны все-таки прибѣгали снова и съ непостижимымъ упорствомъ разбивали свои груди у подножія сфинксовъ, которые съ насмѣшкой глядѣли на ихъ безсмысленную суматоху.

— А что, вѣдь сыро становится, Агаѳья Михайловна,—заговорилъ Селищемъ совсѣмъ уже спокойно. — Смотрите, не простудитесь. Что скажетъ тогда ваша тетушка?

— Я пойду сейчасъ домой.

— Не проводить ли васъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, благодарю васъ! Я поѣду на конкѣ...

Они пошли къ Николаевскому мосту и всю дорогу молчали. Ганя все еще никакъ не могла придти въ себя отъ неожиданнаго поцѣлуя Селищева, а Селищевъ чувствовалъ себя неловко, и ему хотѣлось бы вернуть все происшедшее назадъ.

— Агаѳья Михайловна!—сказалъ онъ, когда они уже подходили къ мосту. — Вы простите меня за то, что я увлекся и наговорилъ вамъ много лишняго о себѣ. И въ сущности виноваты въ этомъ вы, — уже шутливо добавилъ онъ.

— Чѣмъ?—произнесла Ганя машинально, думая совсѣмъ о другомъ.

— Своимъ участіемъ ко мнѣ. Мы, художники, народъ впечатлительный и любимъ поговорить о себѣ и о своихъ чувствахъ. А вы были такъ внимательны ко мнѣ, такъ добры, что я забылъ всякую мѣру и, кажется, вамъ надоѣлъ. Простите же еще разъ.

Онъ говорилъ еще что-то, все въ томъ же шутливо-развязномъ тонѣ, но когда Ганя на прощанье подала ему свою холодную руку и взглянула на него еще невысохшими отъ слезъ глазами—сердце его сладко заныло, и онъ чуть-было не вошелъ за нею въ вагонъ. На мгновеніе ему показались безсмысленны

и нелѣпы всѣ его тревоги и страхи... захотѣлось очертя голову отдаться страсти, какъ бывало... но онъ удержался и, еще разъ снявъ шляпу передъ стоявшей на площадкѣ Ганей и машинально проговоривъ „до завтра“, пошелъ назадъ по набережной.

Здѣсь, около сфинксовъ, онъ опять остановился и задумался. Онъ возстановилъ въ своей памяти всю разыгравшуюся здѣсь сцену, и это припоминаніе доставило ему болѣзненное удовольствіе. „Ганя, Ганя“...—прошепталъ онъ, и ему казалось, что онъ еще видитъ ее передъ собою. Да, хорошо любить и быть любимымъ,—но любитъ ли онъ и любятъ ли его? Можетъ быть, съ ея стороны это дѣтское увлеченіе, дѣтская вспышка воображенія, а онъ... Боже мой, онъ столько пережилъ, что уже врядъ ли способенъ „отдать жизнь за жизнь“, какъ говорятъ поэты. И притомъ зачѣмъ такъ спѣшить? Вѣдь хорошо только ожиданіе любви и счастья, хороши эти тревожные часы, когда ждешь встрѣчи, волнуешься, боишься, ревнуешь, когда еще не сказано послѣдняго слова и не знаешь, что̀ тебя ждетъ. А потомъ... потомъ наступаетъ холодъ, скука, разочарованіе... Ахъ, уже это было тысячу разъ и надоѣло, надоѣло...

Селищевъ съ гримасой повелъ плечами и зѣвнулъ. Ему стало холодно, и онъ почувствовалъ, что усталъ. Но въ мастерскую ему не хотѣлось возвращаться сегодня, и онъ рѣшилъ пойти къ одному знакомому художнику, который любилъ выпить и у котораго всегда водился запасъ хорошаго вина. Все равно, ужъ отдыхать, такъ отдыхать! А потомъ опять на цѣлую недѣлю запереться и во что бы то ни стало докончить начатый эскизъ. И, думая о своей картинѣ, Селищевъ пошелъ къ товарищу. Сфинксы, улыбаясь, смотрѣли ему вслѣдъ.

XVII

Вернувшись домой, Ганя узнала, что Татьяна Аристарховна уѣхала на вечеръ къ одной своей знакомой, оставивъ на письменномъ столѣ записку, въ которой сообщала Ганѣ адресъ и приглашала ее пріѣхать туда же. Но Ганя не поѣхала; ее никуда не тянуло, хотѣлось остаться совсѣмъ одной... она почти рада была, что тетки нѣтъ дома. Отказавшись отъ чаю, который ей услужливо предложила Юлія Павловна (она все еще никакъ не могла пристроиться), Ганя взяла первую попавшуюся книгу и ушла въ кабинетъ Татьяны Аристарховны. Здѣсь она прилегла на кушетку, закрыла глаза и сейчасъ же перенеслась на берегъ Невы... Чудилось ей, что волны тревожно плещутся внизу и свѣжій

вѣтеръ обвѣваетъ лицо и холодныя тѣни сфинксовъ ложатся на гранитъ. И какъ все это случилось? Какъ могла она такъ ясно высказать, что она его любитъ? Боже мой, какъ это стыдно, и все-таки... какъ хорошо! Ну, что же, ну любитъ,—развѣ это дурно? Да, пожалуй, дурно, потому что она страшно счастлива... стыдно быть такой счастливой. А онъ? Счастливъ ли онъ такъ же, какъ она?

И Ганя припоминала выраженіе его лица, звукъ его голоса... потомъ вспомнила его поцѣлуй и покраснѣла до того, что ей стало жарко. Она не могла больше лежать на одномъ мѣстѣ, встала, отворила окно, вдохнула всей грудью свѣжаго ночного воздуха и подошла къ портрету Писарева, насмѣшливо смотрѣвшему на нее со стѣны. Но она не видѣла его насмѣшливой улыбки; сквозь его черты, казалось ей, выступали другія черты... глаза, *его* глаза улыбались ей съ любовью и лаской, какъ тамъ, на набережной. „Живи, живи, мой милый, будь счастливъ; ты не одинъ, ты не забытъ“... прошептала Ганя въ жаркомъ порывѣ и, быстро оглянувшись по сторонамъ, съ румянцемъ на щекахъ, поцѣловала свою руку, ту руку, которую цѣловалъ Селищевъ.

Послышался звонокъ; пріѣхала Татьяна Аристарховна.

— Ты еще не спишь?—сказала она, входя въ кабинетъ и торопливо закуривая папиросу.—Что же ты не пріѣхала,—я вѣдь тебѣ писала тутъ.

— Не хотѣлось, — разсѣянно отвѣчала Ганя, перелистывая книгу.

— Ну и отлично сдѣлала, откровенно говоря. Ничего не потеряла,—скучища была смертная!—Татьяна Аристарховна съ наслажденіемъ затянулась и прошлась по комнатѣ.—Представь себѣ, вхожу—въ одной комнатѣ въ винтъ играютъ. „Пасъ! Разъ! Шлемъ большой, шлемъ маленькій“... какой-то „ренонсъ“,—ужасно весело! Точь-въ-точь у чиновника на именинахъ! Въ другой комнатѣ сидитъ съ Минервами Пыхтѣевъ и анекдоты изъ жизни императора Павла Петровича разсказываетъ. Ну, совсѣмъ военный писарь! Мнѣ даже тошно сдѣлалось. Я—въ третью комнату; нахожу, наконецъ, хозяйку. „Что это, говорю, ты у себя такую подлость завела?“—„Что такое?“—„Да эти карты“... Покраснѣла, съёжилась, оглядывается. „Нельзя, говоритъ, это все-таки объединяетъ“... Кого, спрашивается? А тутъ сидитъ какой-то толстый, претолстый, золотая цѣпь во весь животъ, и говоритъ: „Теперь, говоритъ, нельзя не играть, потому что карты помогаютъ забываться“... Каково? Отъ чего забываться? Отъ лѣни?

Отъ глупости? Отъ холопства? Разругалась со всѣми тамъ и уѣхала!

Разгнѣванная Татьяна Аристарховна бросила окуровъ въ печку и опять забѣгала.

— Нѣтъ, нѣтъ, скучно жить становится, умирать надо! (Когда старушка была сильно огорчена, она всегда заговаривала о смерти.) „Пасъ! Разъ!“ Тьфу! И это писатели, писательницы... Боже мой, Боже мой! Неужели не о чемъ стало думать и говорить? Да, чувствуешь, что и самъ опошляешься, мельчаешь, начинаешь дѣлать уступки... Вотъ онъ не сталъ бы уступать!—неожиданно прибавила она, останавливаясь предъ портретомъ Писарева и утирая выступившія слезы:—Эхъ, Дмитрій Иванычъ, скучно, голубчикъ...

Она отошла и подсѣла къ Ганѣ.

— Ну, а ты что тутъ дѣлала? Куда ходила?

— Гуляла на набережной,—сказала Ганя, краснѣя.—Селищева видѣла...

— А! Ну, что онъ? Отчего давно не былъ?

— Говоритъ, что началъ картину.

— Ну и слава Богу! Я очень рада за него. А то совсѣмъ онъ какимъ-то старикомъ сдѣлался. Ужъ и времена нынѣче,—на всѣхъ какая-то собачья старость напала! Ты подумай только!—вспомнила она вдругъ и опять заволновалась. — Этотъ идіотъ Пыхтѣевъ мнѣ говоритъ давеча: „Ваши, говоритъ, шестидесятые годы — ерунда! Вы, говоритъ, испортили поступательный ходъ русской исторіи“... Слышишь, Ганя, слова-то какія? „Поступательный“!—„А Писаревы, говоритъ, ваши, да Добролюбовы, да еще тамъ прочіе—это, говоритъ, просто были Соловьи-Разбойники, а вовсе не руководители общественнаго сознанія“... Такъ у меня даже въ глазахъ позеленѣло, какъ онъ это сказалъ... чуть-чуть удержалась, чтобы не побить его.

Ганя не выдержала и разсмѣялась.

— Тетя, милая, неужели побить хотѣли?

— Ей-Богу, едва удержалась!—принимая самый воинственный видъ, сказала Татьяна Аристарховна.—А ужъ прогоню непремѣнно. Боже мой, два часа! какъ поздно! Надо спать. Жаль вечера, даромъ пропалъ. Однѣхъ глупостей сколько наслушалась. А ты еще читать будешь?

— Нѣтъ, тетя, я тоже устала, спать хочу.

— Такъ тушить свѣчку? Ну, покойной ночи, спи, видѣть тебѣ сто Лилъ, цѣловать того, кто милъ. А кто тебѣ милъ, Ганя?

— Я не знаю,—солгала Ганя и покраснѣла впотьмахъ.

— Глупенькая!—Татьяна Аристарховна помолчала, но черезъ минуту не вытерпѣла.—Соловьи-Разбойники! Даже и не остроумно! И навѣрное не самъ выдумалъ, а укралъ гдѣ-нибудь... да гдѣ? Конечно, у Потесина. Ну, тотъ хоть уменъ, а вѣдь Пыхтѣевъ-то что такое? Двухкопѣечникъ, стишонки какіе-то глупые кропаетъ по двѣ копѣйки за строчку въ кабацкой газеткѣ—и туда же, осмѣливается говорить о Писаревѣ, о Добролюбовѣ... Самъ двухъ словъ связать не съумѣетъ,—вообрази, у него есть риѳма „ухо“ и „черему́ха“! Какъ это тебѣ нравится, а?

Ганя не отвѣчала, и Татьяна Аристарховна, наконецъ, угомонилась. Скоро съ ея постели послышалось мирное и сладкое похрапыванье, но Ганя долго еще не могла заснуть и только на разсвѣтѣ забылась тревожнымъ сномъ.

Разбудилъ ее знакомый гулъ и грохотъ улицы, который такъ волновалъ ее въ первые дни ея пребыванія въ Петербургѣ и къ которому теперь она уже привыкла. Открывъ глаза, она сейчасъ же вспомнила все вчерашнее, и радостное волненіе овладѣло ею. Она почувствовала, что спать больше уже не можетъ, и быстро стала одѣваться. Голова ея отъ безсонной ночи немножко кружилась, сердце слегка замирало, руки отъ волненія дрожали. Мимоходомъ она заглянула на себя въ зеркало, и ей стало стыдно... такое сіяющее лицо было у нея.

Одѣвшись, она захватила съ собою книгу и тихонько, черезъ кухню, спустилась внизъ, въ Пушкинскій садикъ. Утро было свѣжее; ночью, должно быть, морозило, потому что тротуары въ тѣни были мокры, а съ деревьевъ на землю падали тяжелыя капли. Воробьи весело скакали по распускающимся вѣткамъ сирени и кружились надъ памятникомъ, который тоже былъ покрытъ влагой и блестѣлъ. Ганя сѣла на скамейку; мимо нея шли люди, и она думала о томъ, кто они такіе, какъ живутъ, счастливы ли они, или несчастны. И мысли объ этихъ людяхъ странно переплетались съ мыслями о собственной жизни, о своемъ счастьѣ, о своемъ будущемъ. Вотъ прошла бѣдная, озабоченная женщина съ корзиной на плечахъ — должно быть, прачка... И Ганя представляетъ себѣ ея бѣдную жизнь, ея убогую комнатку гдѣ-нибудь въ подвалѣ, ея блѣдныхъ дѣтей... и ей вспоминаются Некрасовскія слова: „уведи меня въ станъ погибающихъ за великое дѣло любви“... А *онъ*? Думалъ ли онъ когда-нибудь объ этомъ? Какъ бы ей хотѣлось разспросить его обо всемъ... о томъ, какъ онъ жилъ до встрѣчи съ нею, что думалъ, о чемъ мечталъ, отчего такъ несчастенъ. Его много об-

манывали... но зато какъ она будетъ любить его! Онъ придетъ сегодня... обѣщалъ придти,—она ему это скажетъ. Неужели онъ и ей не повѣритъ? Ганѣ вдругъ стало грустно и страшно, но мимо пронлелся горбатый старичокъ, разбитый параличемъ, и она задумалась о другомъ. Ей вспомнился отецъ и взгрустнулось немножко о немъ и такъ захотѣлось, чтобы онъ былъ здѣсь теперь. Она немножко забыла о немъ въ послѣднее время и давно ему не писала... сегодня вечеромъ напишетъ непремѣнно. Добрый, милый отецъ... какъ онъ радъ будетъ ея счастью. Да, хорошо жить, если есть кого любить и за кого радоваться.

Длинная тѣнь пересѣкла желтую дорожку и остановилась около Гани. Она вздрогнула и подняла глаза—передъ нею, улыбаясь и протягивая ей руку, стоялъ Талыгинъ. Подъ мышкой у него былъ огромный свертокъ.

— Ранняя вы птица, однако! Куда это такую рань?—спросилъ онъ.

— Я всегда такъ рано встаю; на хуторѣ еще привыкла.

— Это хорошо. У насъ поговорка есть: кто рано встаетъ, тотъ въ царство небесное пойдетъ. Конечно, это наши мужички для утѣшенія собственнаго выдумали, а все-таки поговорка хорошая. Фу, да и усталъ же я!—съ Васильевскаго Острова пѣшкомъ притащился; когда разбогатѣю, непремѣнно на конкѣ буду ѣздить...

Онъ снялъ фуражку и вытеръ рукавомъ свой вспотѣвшій лобъ, потомъ положилъ свертокъ на скамью и сѣлъ рядомъ съ Ганей.

— А вы что это читаете? Батюшки, Писарева! Вотъ старина какая! что это вамъ вздумалось? Нынче вѣдь эти старики не въ модѣ; молодежь любитъ больше Эмиля Золя почитывать. А вы какъ насчетъ Эмиля Золя?

— Мнѣ Писаревъ больше нравится, — возразила Ганя, нѣсколько задѣтая шутливымъ тономъ Талыгина.

Талыгинъ разсмѣялся, очень довольный, что Ганя разсердилась. Онъ любилъ немножко вышучивать и подзадоривать людей и увѣрялъ, что это самый лучшій способъ узнавать ихъ характеры и убѣжденія. И, несмотря на всѣ эти хитрости, никто такъ часто не ошибался въ людяхъ, какъ онъ; но это не мѣшало ему въ глубинѣ души считать себя большимъ психологомъ и сердцевѣдцемъ.

— Ну, ну, вѣдь я пошутилъ!—сказалъ онъ добродушно.— Читайте себѣ на здоровье,—славный старичина, этотъ Писаревъ. Помните, онъ сказалъ: „иллюзіи разрушаются, факты остаются!“

И вотъ кстати вамъ фактъ: пріѣхала тутъ одна барыня изъ очень, очень дальнихъ мѣстъ, ну, устроиться еще не успѣла, денегъ ни копѣйки, на улицу не въ чемъ показаться, да еще съ ребенкомъ... Такъ вотъ не найдется ли у васъ чего-нибудь лишняго изъ бѣлья и платья для нея?

— Мое годится?—спросила Ганя живо.

— Вы какъ будто повыше ростомъ будете,—сказалъ Талыгинъ, поглядѣвъ на Ганю. — А впрочемъ, ничего, годится. Съ міру по ниткѣ, голому рубашка—знаете?

— Такъ пойдемте сейчасъ ко мнѣ, я вамъ отдамъ.

Талыгинъ посмотрѣлъ сначала на свертокъ, потомъ на солнце и покачалъ головой.

— Нѣтъ, сейчасъ не могу, некогда. А вы лучше сами сегодня къ ней ступайте, я вамъ адресъ дамъ. Она теперь у меня въ комнатѣ поселилась. Вы съ ней поласковѣе, а то она совсѣмъ больная... тамъ, знаете, драмы, драмы... Ну, да что, сами увидите, и вѣдь вы, женщины, умѣете это,—подойти и обласкать. Одинъ мой знакомый называетъ васъ „хирургами человѣческой души“. Оно нескладно, а, пожалуй, вѣрно... ну, впрочемъ, все это иллюзіи и „бабизмъ“.

— Что это значитъ „бабизмъ“?—смѣясь, спросила Ганя.

Талыгинъ ей объяснилъ, и они оба долго смѣялись, глядя другъ на друга, какъ два школьника, вспомнившіе знакомое смѣшное словечко. Имъ было хорошо вмѣстѣ и не хотѣлось расходиться, но солнце было уже высоко и роса на деревьяхъ давно просохла.

— Такъ пойдете?—сказалъ Талыгинъ уже серьезно.

— Непремѣнно.

— Ну, спасибо. Постойте, еще одно—у Хотынцевыхъ были?

— Нѣтъ, съ тѣхъ поръ не была,—краснѣя, отвѣчала Ганя.

— Ай, ай, ай! Вотъ это нехорошо!—укоризненно проговорилъ Талыгинъ. — Ступайте сегодня; она, бѣдная, сильно горюетъ. На дняхъ былъ тамъ профессоръ, выслушивалъ Николая Николаевича; говоритъ, ничего, можетъ быть, вынесетъ, а все-таки очень плохо ему. А пока „ауфъ видерзеенъ“, какъ говорятъ нѣмцы.

Онъ потрясъ ея руку и пошелъ изъ садика, а Ганя вернулась домой. Ею овладѣло нетерпѣніе и безпокойство; хотѣлось какъ можно скорѣе пойти и на Васильевскій, исполнить порученіе Талыгина, и къ Хотынцевымъ, предъ которыми она чувствовала себя виноватой. Упреки Талыгина огорчили ее и напомнили, что вѣдь цѣлую недѣлю она только и дѣлала, что ду-

мала о Селищевѣ, о себѣ, о своей любви. Какая она гадкая эгоистка!..

Татьяна Аристарховна уже встала и сидѣла съ газетой въ рукахъ за утреннимъ чаемъ. Судя по ея лицу, она хорошо выспалась и была въ духѣ; отъ ея вчерашняго мрачнаго настроенія не было ни слѣда. По своей экспансивности она неспособна была ни долго сердиться, ни долго хандрить, и ея настроеніе мѣнялось такъ же часто, какъ и впечатлѣнія. Юлія Павловна сидѣла тутъ же съ своимъ испуганнымъ лицомъ и аккуратно свернутою косичкой.

— Кухарка... студентъ... студентъ... студентъ... двадцать-три студента!—читала Татьяна Аристарховна, просматривая объявленія.—Нѣтъ, Юлія Павловна, опять ничего нѣтъ!

— Нѣтъ?—какъ эхо повторила Юлія Павловна, и лицо ея приняло еще болѣе убитое выраженіе.

— Нѣтъ. Да что вы волнуетесь? Развѣ надоѣло вамъ у меня?.. А, Агаѳья Михайловна, вы начинаете эмансипироваться и назначаете какимъ-то молодымъ людямъ свиданія подъ сѣнью Пушкинскаго памятника. Что, покраснѣла? Плутовка этакая! Мы все видѣли и все знаемъ, а впрочемъ ничего не знаемъ и хотимъ, чтобы ты разсказала.

Ганя разсказала о встрѣчѣ съ Талыгинымъ и о его просьбѣ. Татьяна Аристарховна сейчасъ же заволновалась и послала Юлію Павловну собрать бѣлье и платье, потомъ рѣшила написать Орѣшникову и немедленно звать его къ себѣ для совѣщанія, какъ бы устроить пріѣзжую.

„Какая она добрая!“—думала Ганя, съ любовью глядя на тетку.

Вдругъ раздался звонокъ и горничная объявила, что пріѣхалъ Пыхтѣевъ и желаетъ видѣть хозяйку. Татьяна Аристарховна смутилась, покраснѣла и, нерѣшительно взглянувъ на Ганю, сказала:—Ну что же... пусть его войдетъ!

— Тетя, вѣдь вы не хотѣли?..—укоризненно сказала Ганя.

— Не могу, Ганя,—шептала Татьяна Аристарховна, разгоняя папиросный дымъ своимъ носовымъ платкомъ.—Ей-Богу, не могу... Ну Богъ съ нимъ, жалкій онъ; можетъ быть, ему поѣсть сегодня негдѣ, вотъ онъ и прибѣжалъ... какъ же я его прогоню?..

Пыхтѣевъ вошелъ съ своимъ обычнымъ развязнымъ видомъ и, расшаркавшись передъ дамами, немедленно занялъ мѣсто за чайнымъ столомъ и жадно накинулся на предложенный ему чай и хлѣбъ, точно онъ и въ самомъ дѣлѣ пришелъ только затѣмъ,

чтобы поѣсть. Начался безсмысленный разговоръ о вчерашнемъ вечерѣ и о томъ, какая была скука; при этомъ Пыхтѣевъ о каждомъ изъ гостей разсказалъ самую пошлую сплетню, и Татьяна Аристарховна, какъ ни въ чемъ не бывало, смѣялась. Ганѣ стало противно, и она въ эту минуту совсѣмъ уже не такъ сильно любила тетку, какъ давеча. Наконецъ она не выдержала и встала.

— Тетя, я ухожу,—сказала она сухо.

— Ахъ, да, да, иди, голубчикъ! — торопливо проговорила Татьяна Аристарховна и снова повернулась къ Пыхтѣеву, который такъ же жадно, какъ давеча на сухари и булки, смотрѣлъ теперь на Ганю.—Ну, такъ что вы начали разсказывать, а?..

Пыхтѣевъ продолжалъ прерванный разсказъ объ одномъ писателѣ, который будто бы только тогда и можетъ писать, когда пропьетъ съ себя всю одежду до рубашки, такъ что ему не въ чемъ выйти на улицу; когда же у него заводятся деньги, онъ не беретъ пера въ руки и до того разучивается писать въ это время, что свою фамилію не умѣетъ подписать.

„И все лжетъ!—думала Ганя съ отвращеніемъ.—Все клевещетъ и выдумываетъ! И какъ это тетя можетъ слушать его, да еще смѣяться! Неужели ее интересуетъ эта пошлость... не понимаю“...

Она поспѣшно одѣлась, взяла узелокъ съ вещами и ушла. На улицѣ ея непріятное настроеніе разсѣялось; проѣзжая по набережной, мимо сфинксовъ, она вспомнила вчерашній вечеръ, и сердце ея забилось радостно и тревожно. А вотъ и *его* квартира... занавѣсы въ мастерской спущены... вѣроятно, всю ночь проработалъ и теперь спитъ. И Ганя почувствовала такой бурный приливъ любви, что ей захотѣлось остановиться у этого подъѣзда, взбѣжать по лѣстницѣ, распахнуть *его* дверь и явиться передъ нимъ, какъ *та* на его картинѣ. Боже, какъ онъ былъ бы радъ и счастливъ...

Извозчикъ подвезъ ее къ огромному дому на седьмой линіи. Талыгинская квартира оказалась на дворѣ, въ пятомъ этажѣ, по довольно грязноватой лѣстницѣ. На звонокъ дверь отворила молоденькая горничная,—очевидно, уже достаточно хорошо знакомая съ привычками Талыгина, потому что на вопросъ Гани, здѣсь ли живетъ Талыгинъ?—она весело отвѣчала:

— Здѣсь, пожалуйте! Ихъ хоть и нѣтъ дома, да это все равно, посидите; тамъ барыня чай кушаютъ.

И не находя, повидимому, ничего страннаго въ томъ, что въ комнатѣ у Талыгина сидитъ и кушаетъ чай какая-то незна-

комая барыня, а къ ней пришла другая незнакомая, дѣвочка чрезъ темный коридорчикъ провела Ганю въ комнату и постучала въ затворенную дверь.

— Войдите!—отозвался женскій голосъ.

Ганя вошла въ узенькую длинную комнату съ однимъ окномъ, у котораго стоялъ столъ, заваленный книгами и тетрадями. У стѣны стоялъ другой столъ съ самоваромъ и посудой; въ углу кровать; на ней, разметавшись, спала дѣвочка лѣтъ трехъ-четырехъ съ бѣлокурою кудрявою головкой.

По комнатѣ, въ узенькомъ пространствѣ между столомъ и кроватью, ходила взадъ и впередъ маленькая женщина съ черными, какъ смоль, волосами, заплетенными въ одну косу, съ блѣднымъ, худымъ лицомъ и большими странными глазами, поражавшими своимъ необычайнымъ выраженіемъ. Казалось, эта женщина видѣла что-то такое ужасное въ своей жизни, чего никогда уже больше не могла забыть... и весь этотъ пережитый ужасъ такъ и застылъ на-вѣки въ ея черныхъ, тусклыхъ, неподвижныхъ глазахъ. Одѣта она была въ сильно поношенное, полинялое ситцевое платье, съ протертыми на локтяхъ рукавами, а на стѣнѣ висѣло что-то въ родѣ крестьянскаго дубленаго полушубка; больше никакого имущества не было.

Ганя подала ей руку и, нѣсколько смущенная, отрекомендовалась.

— Роза Абрамовна Грицай,—лаконически сказала женщина и опять, какъ маятникъ, заходила по комнатѣ.

Ганя сѣла у стола, не зная, что дѣлать и говорить. Эта женщина поразила ее и своими странными глазами, и движеніями, напоминавшими размѣренныя и, повидимому, цѣлесообразныя, но совершенно безсознательныя движенія автомата. Наконецъ, Ганя рѣшилась заговорить.

— Меня прислалъ къ вамъ Талыгинъ. Онъ говорилъ, что вамъ нужно бѣлье и платье,—вотъ я принесла.

— А, хорошо! Спасибо,—отвѣчала Грицай, продолжая свою автоматическую прогулку.

— Вы посмотрите... можетъ быть, чего-нибудь недостаетъ. Я принесу.

— Хорошо, отлично...—она прошлась, увидѣла, что спавшая дѣвочка повернулась, при чемъ одна изъ ея худенькихъ ножекъ высунулась изъ-подъ плэда, накрыла ее и обратилась къ Ганѣ.— Это вотъ моя дочка, Нина. Одна осталась... а трое было. Вы дѣтей любите?

— Люблю.

— Хорошо.—Она улыбнулась какою-то болѣзненною улыбкой и взглянула на Ганю.—Какъ васъ зовутъ? Я забыла. Пейте чай и не обращайте на меня вниманія, что я такая. Я такъ далеко жила... совсѣмъ отъ людей отвыкла.

— Вы недавно вернулись?

— Вчера только. 8 лѣтъ не была въ Петербургѣ... отвыкла. Знакомыхъ никого не нашла. Все измѣнилось,—и люди не тѣ... и улицы не тѣ. Я ходила, ходила,—слава Богу, вотъ Талыгинъ попался и пріютилъ. А то бы пришлось либо на улицѣ, либо въ участкѣ ночевать. Еслибы одной—все равно... а Ниночку вотъ жалко.

Она опять улыбнулась своей больной улыбкой, отъ которой сердце сжималось, и, подойдя къ Ниночкѣ, стала ее укрывать, приговаривая: „одна осталась... жалко... одна!“

— А мужъ вашъ?—спросила Ганя неосторожно.

При этомъ вопросѣ Роза Абрамовна вся какъ-то съёжилась, точно ее больно ударили.

— Онъ тамъ остался... въ Сибири...—проговорила она и вдругъ засмѣялась.—Что я говорю... ну да, конечно, остался... умеръ. Онъ застрѣлился, вы знаете?

Она посмотрѣла на Ганю... Ганя молчала. Ей стало какъ-то холодно и страшно и отъ этого взгляда, и отъ этихъ словъ.

Прошло нѣсколько тоскливыхъ минутъ. Роза Абрамовна молча ходила; ребенокъ все такъ же крѣпко спалъ. Ганя встала и начала прощаться. Она чувствовала, что если еще пробудетъ здѣсь нѣсколько минутъ, то непремѣнно расплачется. Очевидно, предъ нею была безнадежно и навсегда искалѣченная жизнь.

XVIII.

Серафима Александровна сидѣла за швейной машиной, когда Ганя пріѣхала къ нимъ. Передъ ней лежала груда дѣтскаго бѣлья; все это надо было перечинить и перешить, но Серафима Александровна плохо работала. На умѣ у нея было не то... и за тѣ нѣсколько дней, въ которые Ганя ее не видѣла, она сильно измѣнилась и осунулась. Подъ глазами у нея лежали синіе круги, щеки впали, губы пересохли. Но она все еще бодрилась.

— Долгонько васъ не было,—сказала она, пожимая Ганину руку.—Весело живется?

— Простите,—проговорила Ганя вмѣсто отвѣта.—Я виновата передъ вами.

— Э, полно вамъ! Это такъ естественно, что вамъ хочется жить. Молодость любитъ солнце, тепло, цвѣты... развѣ можно отъ нея требовать, чтобы она надѣла на себя вериги и замуровала себя въ пещеру? Это было бы глупо.

— Не въ пещеру,—возразила Ганя, и ей вспомнились глаза и улыбка Розы Абрамовны Грицай.—Въ пещерѣ нечего дѣлать. Но вѣдь можно же думать и не объ одномъ себѣ; вѣдь живешь не одинъ... и солнце не для тебя одного свѣтитъ.

— Но зато вѣдь каждый за себя только и грѣется!—рѣзко засмѣялась Серафима Александровна.—Если на васъ надѣта шуба, а на мнѣ нѣтъ, то вѣдь отъ вашей шубы мнѣ теплѣе не будетъ!

— А если я ее сниму и отдамъ вамъ?

— Ну вамъ будетъ холодно, а не мнѣ, только и всего. Да что это вы, изъ какихъ добродѣтельныхъ прописей все это? Ужъ не Талыгинъ ли заразилъ васъ своимъ „бабизмомъ“?

— Нѣтъ, это не Талыгинъ и не прописи,—грустно сказала Ганя и разсказала Хотынцевой о своемъ визитѣ къ Грицай. Серафима Александровна заинтересовалась.

— Грицай?—проговорила она задумчиво.—Я помню что-то... говорили о нихъ. Онъ русскій, она—еврейка. Она пошла за нимъ... тутъ, говорятъ, была цѣлая исторія. Конечно, alte Geschichte,—новаго ничего не бываетъ на свѣтѣ,—родители, деньги, богатые женихи и т. д. Такъ онъ застрѣлился? И она, вы говорите, совсѣмъ больна и разбита? Я бы хотѣла ее видѣть,—закончила она рѣзко и угрюмо.

Нѣкоторое сходство судьбы этой женщины съ ея собственною судьбою поразило ее, и ей захотѣлось посмотрѣть, какъ она, эта женщина, переноситъ свое горе?

— А все-таки все это „бабизмъ“ и иллюзіи!—сказала она, помолчавъ, съ горечью.—Изъ-за иллюзій разбито столько жизней... жаль. И шубу съ себя сняли, и все-таки никому не тепло, не правда ли?

Ганя хотѣла возражать, но дверь изъ передней тихо отворилась и вошелъ Орѣшниковъ. Поискавъ, гдѣ бы положить свою огромную шляпу, онъ сунулъ ее, наконецъ, за шкафъ и, подойдя къ Серафимѣ Александровнѣ, шопотомъ спросилъ:—Ну что?

— Да все то же,—нахмурившись, отвѣчала Хотынцева.—Ночью плохо спалъ, все кашлялъ, жаръ былъ сильный. Теперь заснулъ.

— Профессоръ былъ?

— Нѣтъ еще, да зачѣмъ? Колокольцевъ говоритъ, что пока ничего, все идетъ какъ слѣдуетъ. Что ужъ онъ подъ этимъ под-

разумѣваетъ, не знаю...—она остановилась и, покусавъ губы, словно стараясь заглушить какую-то внутреннюю боль, прибавила почти спокойно:—Да что! Я ничему не вѣрю. Все это одни слова... развѣ я не вижу и не понимаю? И къ чему скрывать?—я уже ко всему приготовилась.

Она схватила какой-то лоскутъ и стала его торопливо сшивать съ другимъ. Изъ кабинета послышался сначала стонъ, потомъ кашель и голосъ Хотынцева: „Сима!"

— Проснулся,—сказала Серафима Александровна, уходя.

— Что за женщина!—сказалъ ей вслѣдъ Орѣшниковъ и завертѣлся по комнатѣ.—Озлобленная, жесткая, но какая сильная, какой типъ! Помните, у Шекспира...

Онъ только-что собрался декламировать, какъ вошла Серафима Александровна.

— Пойдемте къ нему,—проговорила она, собирая свою работу.—Хочетъ васъ видѣть.

Николай Николаевичъ лежалъ на постели, одѣтый одѣяломъ и пледомъ. У него начинался уже жаръ, потому что на щекахъ выступили яркія пятна, а глаза лихорадочно блестѣли. Но онъ былъ оживленъ и веселъ.

— Ну вотъ спасибо, что пришли!—заговорилъ онъ торопливо, какъ всегда говорятъ въ жару.—Такъ скучно лежать одному въ постели—и цѣлый день! Говорить не велятъ, читать только газеты можно. Ну что тамъ въ газетахъ интереснаго? Кого-нибудь конка задавила, король Гумбертъ куда-то поѣхалъ... Ну, а что ваша газета, Орѣшниковъ?

— Да ничего еще неизвѣстно. Справки, говорятъ, все собираютъ.

— Вотъ заживемъ мы съ вами, когда разрѣшатъ. Вы мнѣ поручите внутренній отдѣлъ, Дятлова пригласимъ литературное обозрѣніе вести; Митринъ тоже безъ работы сидить, а помните, какія рецензіи онъ въ нашемъ журналѣ писалъ? Прелесть!

— Да, заживемъ!—какъ-то неестественно улыбаясь, подтвердилъ Орѣшниковъ, сильно притихшій.—Только бы разрѣшили.

— А я сейчасъ спалъ и какіе сны видѣлъ...,—неожиданно перешелъ Хотынцевъ.—Сима, знаешь, какой сонъ? Лежу я будто въ своемъ садикѣ и готовлюсь къ экзамену, по исторіи. И небо надо мною такое свѣтлое, ясное, деревья шумятъ и гдѣ-то въ казармахъ горнистъ зарю играетъ. А мнѣ въ голову совсѣмъ исторія не лѣзетъ и все эти стихи изъ Мюссе вспоминаются:

Когда я умру, надо мной,
Посадите вы иву, друзья!
Плакучая ива, прикрой
Ты своими вѣтвями меня...

Орѣшниковъ, вы знаете это? Впрочемъ, васъ надо спрашивать, чего вы не знаете. А я люблю Мюссе! Вотъ Сима не любитъ, да и вообще она стиховъ не любитъ.

— Нѣтъ, люблю, Гюго люблю,—возразила Серафима Александровна и, положивъ руку на пылающій лобъ мужа, сказала: —А ты черезчуръ много говоришь,—отдохни.

— Напротивъ, я теперь отдыхаю, Сима. Надоѣло мнѣ лежать и молчать... да и зачѣмъ молчать? Черезчуръ много приходилось молчать въ своей жизни... но странно, почему именно теперь вспомнились мнѣ эти стихи? „Когда я умру,—надо мной...“— повторилъ онъ медленно, какъ будто прислушиваясь и вдумываясь въ каждое слово стихотворенія.

— Ну что же тутъ удивительнаго?—сказала опять Серафима Александровна.—Мало ли что приходитъ въ голову... иной разъ цѣлый день твердишь какую-нибудь безсмысленную фразу неизвѣстно зачѣмъ. Со мной это часто бываетъ.

— Да...—проговорилъ Николай Николаевичъ и улыбнулся.— А вы, господа, что сдѣлаете, когда я умру? Придете съ вѣночками на мою могилу?

— Что это вы о смерти, Николай Николаевичъ?—дрожащимъ голосомъ произнесъ наконецъ Орѣшниковъ.—Это малодушіе.

— Зачѣмъ малодушіе? Это естественно, что когда человѣкъ боленъ, онъ начинаетъ думать о смерти. Да я и не хочу совсѣмъ умирать; я еще не кончилъ своего романа, да и многаго еще не сдѣлалъ...—Онъ помолчалъ въ раздумьѣ, потомъ сказалъ съ блестящими глазами:—Смерти я не боюсь, Викторъ Сергѣичъ,—что смерть! Она не страшна, когда все сдѣлано, что могъ сдѣлать, когда силъ больше нѣтъ ни на что. Обидно умирать, ничего не сдѣлавъ или сдѣлавъ очень мало... а силъ-то, силъ-то въ тебѣ еще такъ много!.. И чувствуешь, какъ онѣ въ тебѣ кипятъ и рвутся, и не задавили ихъ ни вологодскіе морозы, ни нужда, ни копѣечные разсчеты. О, какъ еще много я хочу сказать... Неужели даромъ я столько мучился и столько лѣтъ копилъ въ себѣ весь этотъ огонь и ядъ? Нѣтъ... я еще не умру... я хочу, чтобы и другіе пережили со мною мои муки... Ахъ, Викторъ Сергѣичъ, какой это восторгъ, какое наслажденіе заставить невѣдомую тебѣ толпу чувствовать за-одно съ тобою, любить то,

что ты любишь, смѣяться и плакать надъ тѣмъ, надъ чѣмъ смѣешься и плачешь самъ. Какая это огромная и страшная власть... но зато какая и отвѣтственность!

— Ну, у насъ не очень много заботятся объ этой отвѣтственности!—проговорилъ Орѣшниковъ.—Только бы печатныхъ листовъ побольше вышло, а что тамъ написано,—это наплевать: бумага все терпитъ.

— Да, она терпѣлива, да и читатель терпѣливъ; но вѣдь есть и другая поговорка: что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Не поймутъ теперь—поймутъ потомъ; все будетъ взвѣшено, оцѣнено по достоинству. Призадумаешься объ этомъ... по крайней мѣрѣ я много думалъ. Вотъ въ этомъ самомъ „гробу“,—Хотынцевъ съ печальной улыбкой обвелъ глазами свою комнату,—сколько сомнѣній и страховъ за будущее, за судьбу своихъ произведеній было пережито... Я представлялъ себѣ своего читателя... своего ученика и судью въ одно и то же время. Я старался проникнуть въ его душу, слить свою мысль съ его мыслью, и мнѣ становилось страшно за себя, за свою идею, которую я отдавалъ ему. И знаете что? Когда я сомнѣвался и робѣлъ, я начиналъ думать и писать хуже, блѣднѣе, слабѣе... и наоборотъ, въ минуты увѣренности въ себѣ я чувствовалъ силы необычайныя... мысль была страшно ясна и опредѣленна, пріобрѣтала размахъ и мощь... въ эти минуты мнѣ казалось, что я—геній...

Онъ замолчалъ и задумался, припоминая. Слабая улыбка мелькала на его губахъ.

— Я понимаю это,—проговорилъ Орѣшниковъ, увлеченный словами Хотынцева и даже позабывшій въ эту минуту, что говоритъ съ больнымъ.—Это такъ и должно быть. Если писатель боится толпы и подчиняется ей—онъ никогда не будетъ геніемъ. Геній долженъ гнуть и подчинять себѣ толпу... онъ выше ея, и она должна идти за нимъ, а не онъ за нею. „Ты царь,—живи одинъ“.

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!—перебилъ его Хотынцевъ и даже приподнялся на подушкахъ.—Это не такъ. Геній не можетъ быть одинъ... онъ живетъ съ толпою и для толпы. Иначе его жизнь безсмысленна и безцѣльна. Вы думаете, Гёте, Шекспиръ, Шиллеръ писали и мыслили только для собственнаго удовольствія? Нѣтъ! Я убѣжденъ, что каждый изъ нихъ думалъ объ этомъ маленькомъ „нѣкто“, объ этомъ таинственномъ читателѣ, который тамъ гдѣ-то пьетъ „сокъ его нервъ и кровь его сердца“, и... кто знаетъ? можетъ быть, даже самъ олимпіецъ Гёте испытывалъ

нѣкоторый трепетъ при мысли, что надъ его трудами, надъ частью его души произноситъ свой судъ какой-нибудь честный бюргеръ съ очками на носу и за кружкой хорошаго пива. Я повторяю: писатель не можетъ быть одинъ и „самъ себѣ довлѣти". Онъ можетъ презирать толпу, бранить ее, проклинать ее, но все-таки онъ безъ толпы—ничто!—Толпа его родила, ею онъ живетъ и ради нея работаетъ. Онъ съ нею органически связанъ и уйти отъ нея никуда не можетъ: она всосетъ его въ себя, растворитъ въ себѣ его мысли и чувства, разобьетъ его на тысячи кусковъ и раздѣлитъ между тысячами и тысячами...

— Нечего сказать, величественно!—съ иронiей воскликнулъ Орѣшниковъ и попробовалъ было побѣгать по комнатѣ, но скоро угомонился, потому что бѣгать было рѣшительно невозможно.— Писатель и его творенiя, растворенные въ массѣ, какъ капля какого-нибудь вещества въ океанѣ! Сомнѣваюсь, чтобы идея въ такой гомеопатической дозѣ воздѣйствовала даже на самые воспрiимчивые умы. Нѣтъ, картина, нарисованная вами, мнѣ не нравится; она, правда, красива, но... въ то же время мизерна.

— Что же дѣлать? А между тѣмъ это такъ... Впрочемъ, я съ своей стороны не нахожу здѣсь ничего мизернаго. Напротивъ, жить вѣчно хотя бы только одной частичкой своей души въ тысячахъ невѣдомыхъ для тебя человѣческихъ существъ, будить въ нихъ благородные порывы, волновать и тревожить ихъ, уже переставъ существовать, какъ „я",—развѣ это мизерно? Вѣдь это безсмертiе! Это—великая тайна... и я желалъ бы этого для себя...

Онъ уже давно сидѣлъ на своей постели, облокотясь на подушки, и его никто не останавливалъ. Всѣ заслушались его словъ и заглядѣлись на его одушевленное лицо,—онъ давно такъ не говорилъ и вообще, даже здоровый, не любилъ говорить о себѣ и о своей работѣ. И теперь, точно чувствуя близкую смерть, онъ спѣшилъ высказаться, со всѣми подѣлиться своими мыслями. Когда-то онъ одиноко передумалъ обо всемъ этомъ и тамъ, подъ вологодскими соснами, и здѣсь, въ узкомъ, полутемномъ „гробу"... а теперь эти мысли тѣснились въ его мозгу, осаждали его и рвались наружу. Онъ чувствовалъ непреодолимую потребность говорить.

— Сима!—сказалъ онъ вдругъ, перебивая самъ себя.—Дай мнѣ—вонъ тамъ на столѣ лежитъ тетрадь... Вотъ!—онъ взялъ обѣими руками толстую тетрадь и съ сiяющей улыбкой сталъ ее перелистывать.—Это—трудъ моей жизни, это—часть моей души... Но работа еще не кончена... здѣсь всего 97 страницъ.

Я началъ ее еще тамъ, а здѣсь писалъ урывками, въ промежуткахъ между ежедневною, насущною работой. Ахъ, какъ мнѣ хочется писать, писать, писать... И я вѣрю, что не умру до тѣхъ поръ, пока не кончу этого... иначе это было бы несправедливо, жестоко. Здѣсь—весь я, вся цѣль моей жизни, для которой я, можетъ быть, и явился на свѣтъ,—и вдругъ умереть, не достигнувъ этой цѣли!

Онъ съ грустью глядѣлъ на тетрадь, не замѣчая, что всѣ какъ-то странно притихли. Серафима Александровна стояла у окна; Орѣшниковъ внимательно разсматривалъ пуговицу на своемъ жилетѣ; Ганя сидѣла, не шелохнувшись, точно окаменѣла, и слушала, слушала... Но еслибы Хотынцевъ захотѣлъ взглянуть на всѣхъ нихъ попристальнѣе,—онъ увидѣлъ бы, что ихъ глаза полны слезъ...

— Въ эти дни,—продолжалъ, между тѣмъ, больной,—въ эти дни я много думалъ и разбиралъ себя. Трудно быть своимъ собственнымъ читателемъ и критикомъ... это все равно, что самому себѣ дѣлать операцію. Больно и страшно. Приходится вновь переживать всѣ тѣ сомнѣнія и недовольство, которыя мучили тебя, когда писалъ. Бѣлыя нитки, неловкія фразы, неясно высказанныя мысли—все это лѣзетъ тебѣ въ глаза съ отвратительной назойливостью, напоминаетъ тебѣ мучительныя минуты, проведенныя за чистою страницей, и думаешь,—отчего въ головѣ все было такъ ярко и стройно, и отчего блѣдно и ничтожно вышло на бумагѣ? Да, мучительная вещь... но я попробовалъ продѣлать надъ собою эту операцію. Я пропускалъ мелочи,—хотя мнѣ это было трудно,—я старался проникнуть въ самую глубь своихъ произведеній. Я пишу грубо, рѣзко, зло; я не щажу нервовъ своихъ читателей, — меня самого подчасъ коробило въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и я думалъ: зачѣмъ такъ обнажать скрытыя язвы, —это черезчуръ жестоко, это похоже на злость: на-те, молъ, смотрите и мучайтесь! И достигнетъ ли цѣли это? не вызоветъ ли вмѣсто сочувствія къ страданію отвращеніе? Хотынцевъ помолчалъ нѣсколько, размышляя, потомъ воскликнулъ горячо:—Но вѣдь я писалъ не для нѣжныхъ и чувствительныхъ сердецъ, умѣющихъ любить и сострадать! И пусть они считаютъ меня злымъ и безжалостнымъ, — отъ этого они не станутъ хуже. Я писалъ для жестокихъ и обросшихъ жиромъ; я хотѣлъ проникнуть сквозь толстый слой эгоизма и равнодушія, добраться до живого мѣста и заставить ихъ задрожать отъ боли. И это, кажется, мнѣ удалось,—мой крикъ побезпокоилъ ихъ—меня заставили молчать... Но я не успокоюсь! Я закричу еще разъ—и крикъ мой будетъ

ужасенъ... только бы мнѣ собраться съ силами. О, еслибы вы знали, сколько скопилось здѣсь боли и негодованія!..—крикнулъ онъ, ударяя рукою по тетради.—Только бы кончить... Боже, только бы еще нѣсколько дней, нѣсколько недѣль...

Онъ вдругъ замолчалъ, какъ бы пораженный... и упавшимъ голосомъ проговорилъ:

— Нѣтъ... я не кончу этого... не кончу, да... я чувствую...

Тетрадь выпала изъ его рукъ, и онъ въ изнеможеніи опустился на подушки. Послѣ лихорадочной вспышки наступила реакція,—лицо его осунулось, щеки поблѣднѣли, глаза стали тусклы и безучастны.

— Сима, пить...—прошепталъ онъ слабо.

Серафима Александровна подала ему стаканъ. Онъ выпилъ нѣсколько глотковъ и отвернулся.

— Вотъ видишь, какъ ты усталъ...—проговорила Серафима Александровна съ упрекомъ.—Зачѣмъ было такъ много говорить!

Хотынцевъ махнулъ рукой. Ганя и Орѣшниковъ вышли.

— Нѣтъ, онъ не будетъ живъ!—зашепталъ Орѣшниковъ, когда они были уже въ другой комнатѣ.—Не будетъ,—я убѣдился... Это самоуглубленіе, эта ясность мысли... нѣтъ, это ужасно, ужасно, я не могу, я задохнусь, у меня голова треснуть хочетъ...

Онъ побѣжалъ-было изъ комнаты, но въ передней вспомнилъ, что забылъ шляпу, вернулся, отыскалъ шляпу и ушелъ, не простившись. Его большая голова дѣйствительно готова была лопнуть, — такой хаосъ былъ въ ней. И онъ бѣжалъ, бѣжалъ впередъ, самъ не зная, куда и зачѣмъ, и опомнился только на Литейномъ мосту, лицомъ къ лицу съ какимъ-то незнакомымъ господиномъ, весьма сердитымъ.

— Вы что толкаетесь, милостивый государь?—грозно говорилъ ему сердитый господинъ.—Какъ вы смѣете толкаться?

— Все это ерунда!—сказалъ Орѣшниковъ, глядя на сердитаго господина.—Все ерунда!

— Какъ такъ ерунда? Что такое ерунда? Я васъ въ участокъ отправлю! Я не позволю!..

— Все, все ерунда!—повторилъ Орѣшниковъ и вдругъ горько заплакалъ. Сердитый господинъ растерялся, забормоталъ что-то безсвязное, потомъ засвисталъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ свой путь. А Орѣшниковъ, прислонившись грудью къ перилamъ, все плакалъ, и стоявшій въ отдаленіи городовой съ изумленіемъ смотрѣлъ на страннаго господина, подумывая, не отправить ли его въ самомъ дѣлѣ въ участокъ.

— Скорѣй, скорѣй!—говорила Ганя извозчику, который неторопливо везъ ее по Знаменской.—Пожалуйста, поскорѣе,—вѣдь уже поздно!

Послѣ тяжелыхъ впечатлѣній дня, послѣ надрывающихъ душу сценъ у Хотынцевыхъ, Ганѣ хотѣлось поскорѣе домой, отдохнуть, успокоиться, а главное—увидѣть Селищева. Вѣдь онъ обѣщалъ придти; онъ сказалъ: „до завтра“... Сейчасъ она увидитъ его и разскажетъ ему все, что пережила и перечувствовала сегодня. Съ нимъ ей не такъ тяжело будетъ; съ нимъ она чувствуетъ себя счастливой.

— Скорѣе, скорѣе!

Она почти бѣгомъ взбѣжала наверхъ и съ сильно бьющимся сердцемъ позвонила. Что это? Передняя не освѣщена, въ комнатахъ тишина и сумракъ... его нѣтъ!

— Тетя дома? — упавшимъ голосомъ спросила Ганя горничную.

— Дома, въ своей комнатѣ.

— И никого не было?

— Никого... да, бишь, заходилъ Викторъ Сергѣичъ давеча. А больше никого не было.

У Гани похолодѣли руки.

На встрѣчу ей вышла Татьяна Аристарховна.

— Здравствуй, голубчикъ. Ну что у Хотынцевыхъ? Плохо? Орѣшниковъ часа два тому назадъ забѣгалъ,—просто не знаю, что съ нимъ сдѣлалось. Рыдаетъ,—такъ и заливается, и ничего отъ него не добьешься. Твердитъ одно: „все ерунда! все!“—Да что такое, спрашиваю. „Жизнь—ерунда, смерть—ерунда“... Богъ знаетъ, что такое. И газета, говорю, тоже ерунда?—„И газета ерунда“. Ну я и разговаривать не стала; вижу, человѣкъ совсѣмъ рехнулся. Да и ты что-то разстроена, дружокъ,—поблѣднѣла, руки холодныя. Чаю не хочешь ли?

Ганя отказалась. Ей поскорѣе хотѣлось уйти куда-нибудь, остаться одной, лечь въ постель и укрыться съ головой. А тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ души, назойливо копошился вопросъ: „Отчего? Отчего онъ не пришелъ?“

— А знаешь, зачѣмъ давеча ко мнѣ Пыхтѣевъ-то приходилъ?—говорила Татьяна Аристарховна.—Представь себѣ, денегъ взаймы просилъ... хотѣла-было отказать, да поглядѣла на него,—такой онъ жалконькій, тощій, голодный, точно собачонка,—дала! Богъ съ нимъ, думаю, пусть!

Ганя ничего не отвѣчала и не спрашивала. Душа ея все больше и больше разбаливалась, и все громче, громче раздавался

вопросъ: „отчего?“—Это была ея первая дѣвичья обида, первое личное горе.

XIX.

— Баринъ дома?

— Дома, только никого не приказывали принимать. Они очень заняты.

— И отлично, пусть себѣ занимается. А ты все-таки поди и скажи, что его желаютъ видѣть. Понялъ?

— Какъ вамъ будетъ угодно, а я докладывать не смѣю.

— Фу ты, вотъ Церберъ-то! Ну, да ладно, убирайся къ чорту,—я безъ тебя доложусь...

И Потесинъ — разговоръ происходилъ между имъ и слугой Селищева—оттолкнулъ растерявшагося малаго отъ двери мастерской и сталъ неистово въ нее стучаться. Слуга отошелъ и, сложивъ руки, съ отчаяніемъ смотрѣлъ на барина, а изъ передней выглядывали смѣющіяся лица Крынкина и Пыхтѣева. Всѣ трое были одѣты совсѣмъ по лѣтнему и всѣ трое—немного навеселѣ.

На стукъ дверь, наконецъ, пріотворилась, и на порогѣ появился разгнѣванный Селищевъ.

— Это что такое? Кто это здѣсь ломится? А, это вы...

— Что это, батенька, это даже невѣжливо! Порядочные люди пришли къ вамъ съ визитомъ, а вы двери на запоръ, да еще ругаетесь. Это неблагородно!

— Извините, господа, но я ей Богу ужасно занятъ,—едва скрывая свое недовольство, сказалъ Селищевъ.

— Пустяки! Дѣло не волкъ, какъ говорится, въ лѣсъ не убѣжитъ. И притомъ въ такой день—занятъ!

— Да какой-такой сегодня день?

— О, Господи, онъ даже и не знаетъ! Замуровался въ своей неприступной цитадели, какъ Симеонъ-Столпникъ, и не видитъ ничего. Да вы поглядите-ка въ окно-то,—солнце сіяетъ, деревья распускаются, люди идутъ, ѣдутъ, бѣгутъ... 1-ое мая сегодня, батенька, 1-ое мая!

— 1-ое мая! — задумчиво проговорилъ Селищевъ.—А вѣдь въ самомъ дѣлѣ... я совсѣмъ забылъ...

Онъ отошелъ отъ двери,—Потесинъ послѣдовалъ за нимъ.

— Господа, идемъ, идемъ!—пригласилъ онъ своихъ спутниковъ.

Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля!
Вотъ Парфенисъ и Леона...

запѣлъ онъ.—Такъ вотъ оно, ваше ателье! Прелестно, прелестно...

Онъ безцеремонно подошелъ къ мольберту и ахнулъ.

— Боже! Господа, посмотрите, посмотрите!..

Крынкинъ и Пыхтѣевъ бросились смотрѣть. Селищевъ очнулся и съ легкой краской смущенія и досады на лицѣ повернулъ мольбертъ къ стѣнѣ.

— Прелесть, восторгъ! Такъ вотъ вы надъ чѣмъ сидите дни и ночи? Вотъ кому посвящаете свое вдохновеніе? Да что вы прячете, Иванъ Александровичъ,—дайте же намъ налюбоваться...

И прежде чѣмъ Селищевъ могъ что-либо предпринять, Потесинъ снова передвинулъ полотно къ свѣту. Всѣ трое обступили картину. Вся въ зелени и цвѣтахъ на нихъ, какъ живая, глядѣла Ганя. Весенней свѣжестью и чистотою юности вѣяло отъ этой бѣлокурой головки, а глаза, эти большіе, дѣтскіе глаза, казалось, спрашивали и ждали отвѣта на свой вопросъ. Выраженіе ожиданія и тревоги было передано изумительно вѣрно... Потесинъ и его спутники долго молчали, какъ очарованные. Крынкинъ надѣлъ пенсне и искренно восхищался,—эстетикъ и поклонникъ женской красоты заговорилъ въ немъ; Пыхтѣевъ въ душѣ по обыкновенію злился и завидовалъ, но на лицѣ изобразилъ восторгъ и въ то же время думалъ о завтрашней своей замѣткѣ въ газетѣ: „Вчера мы имѣли случай посѣтить мастерскую нашего знаменитаго С...“ и т. д.

— Хорошо, хорошо!—заговорилъ, наконецъ, Потесинъ, заходя то съ одной, то съ другой стороны и заглядывая въ руку, изъ которой онъ сдѣлалъ подобіе трубки.—Браво, Иванъ Александровичъ! Фіалкой такъ и пахнетъ... ну не даромъ же вы здѣсь корпите. Честь вамъ и слава! Преклоняюсь!

— Глаза какіе!—шепталъ Крынкинъ.—Вы взгляните,—они блестятъ... и даже рѣсницы какъ будто вздрагиваютъ...

— А сочность-то...—прибавилъ Пыхтѣевъ, но на него никто не обратилъ вниманія, и онъ пошелъ оглядывать мастерскую, въ которой былъ въ первый разъ.

Досада Селищева на непрошенныхъ и не совсѣмъ пріятныхъ гостей стала проходить. Самолюбіе художника было польщено, и сознаніе, что картина его дѣйствительно хороша, пробудилось въ немъ. Онъ стоялъ поодаль и молча слушалъ похвалы и восторженныя восклицанія посѣтителей, а съ полотна на него смотрѣли глаза Гани, — глаза, въ которые онъ вдохнулъ жизнь и свѣтъ.

Между тѣмъ гости уже устали восхищаться, первое впечатлѣніе прошло, и они начали разбирать недостатки. Это ужъ

такъ водится; въ глубинѣ души каждаго человѣка сидитъ свой маленькій Мефистофель, который всегда готовъ осмѣять самые высокіе порывы и разрушить самыя свѣтлыя мечты. Человѣку вдругъ точно стыдно становится за свой восторгъ... и чѣмъ сильнѣе было увлеченіе, тѣмъ злѣе и безпощаднѣе онъ разрушаетъ то, чѣмъ увлекся. Отъ этого, можетъ быть, на свѣтѣ такъ мало идеалистовъ и такъ рѣдки люди, способные на подвигъ.

Потесинъ находилъ, что головка хороша, но все-таки черезъчуръ идеализирована; Крынкинъ съ нимъ согласился и со смѣхомъ прибавилъ, что живая женщина во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ нарисованная. Тутъ они пустились въ нѣкоторыя немножко откровенныя подробности и довольно безцеремонно стали разбирать женскую красоту вообще, а красоту Гани въ частности. Селищева этотъ разговоръ покоробилъ, особенно послѣ восторженныхъ отзывовъ. Его точно въ холодную воду окунули. „Этакій народъ!—думалъ онъ.—Не могутъ женскаго личика увидѣть безъ того, чтобы не сказать пошлости! Какъ тяжело быть художникомъ, а главное,—быть поставленнымъ въ необходимость выставлять свои работы для толпы. Счастливы старинные художники,—ихъ произведенія хранились въ храмахъ и дворцахъ, куда толпа не проникала. Толпа все опошляетъ и грязнитъ; она дика, а съ нею и самъ дичаешь; всюду она оставляетъ слѣды своихъ грязныхъ ногъ и своихъ низкихъ мыслей“...

Глаза Гани смотрѣли на него съ упрекомъ и, казалось, спрашивали: „зачѣмъ же ты *меня* отдалъ этой толпѣ?“ Селищевъ порывисто схватилъ покрывало и закрылъ картину.

— Это вы на выставку готовите?—подобострастно спросилъ его Пыхтѣевъ.

— Нѣтъ, это просто эскизъ,—сухо отвѣчалъ Селищевъ.

— Господи! — воскликнулъ вдругъ Потесинъ, взглянувъ на часы.—Зашли мы къ вамъ, да и забыли, зачѣмъ пришли, а вѣдь насъ тамъ на улицѣ шестимѣстное ландо дожидается. Понимаете ли вы, Иванъ Александровичъ,—шестимѣстное ландо! И вы въ немъ поѣдете.

— Куда это?

— Ну вотъ тебѣ, куда? За городъ, конечно, на Острова, въ Аркадію, мало ли! 1-ое мая! Праздникъ весны, праздникъ Любви и Дѣвы... Тамъ въ какой-нибудь ресторанчикъ заѣдемъ, будемъ пить, пѣть и „вольною пятою о землю ударять“. Ну, одѣвайтесь же и ѣдемъ!

— А въ самомъ дѣлѣ, я немножко засидѣлся,—нерѣшительно сказалъ Селищевъ.

— Ѣдемте!—съ улыбкой проговорилъ Крынкинъ.—Неужели вамъ не надоѣло? Мнѣ, по крайней мѣрѣ, до того по временамъ надоѣдаетъ мое писательство, что одинъ видъ пера и чернилъ вызываетъ во мнѣ бѣшенство.

— Ну еще бы, вы по 365 романовъ въ годъ пишете,—откуда вы ихъ только берете?! Теперь, вообразите, пишетъ романъ изъ мексиканской жизни, а самъ въ Мексикѣ никогда и не былъ!

— Ничего, сойдетъ!—добродушно махнувъ рукой, произнесъ Крынкинъ.—Да что же подѣлаешь: издательница дамскаго журнала Христомъ-Богомъ проситъ, напиши я ей романъ. Ну и пишу.

— Э, пустяки! Конечно, сойдетъ! Ѣдемте же! Главное—шестимѣстное ландо!

И попѣвая хриповатымъ баритономъ: „добрый Вакховъ даръ—вино!“—Потесинъ пошелъ къ дверямъ.

У подъѣзда дѣйствительно стояло помѣстительное ландо, хотя и пожилыхъ лѣтъ, но все-таки ландо, запряженное парою тѣхъ особенныхъ, неуклюжихъ, длинноногихъ петербургскихъ лошадей, которыя съ одинаковымъ философскимъ спокойствіемъ сегодня торжественно плетутся за похоронной процессіей, завтра участвуютъ въ свадебномъ поѣздѣ, а послѣ-завтра своей тяжелой рысью повезутъ за городъ какую-нибудь безобразно-пьяную компанію, которая непремѣнно гдѣ-нибудь наскандалитъ, передерется и на этихъ же лошадяхъ, подъ надзоромъ городового, будетъ доставлена въ ближайшій участокъ для составленія протокола. На козлахъ сидѣлъ довольно приличный кучеръ въ голубомъ кушакѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ.

— Каково?—воскликнулъ съ комическою торжественностью Потесинъ, указывая на ландо.—Каковы кони, какова колесница и автомедонъ? Не стыдно и на Стрѣлку поѣхать!

„Автомедонъ“ съ оттѣнкомъ презрѣнія смотрѣлъ на „господъ“, выжидая, когда они усядутся. По внѣшнему виду онъ уже рѣшилъ, что это „сочинители“, а сочинители, какъ онъ зналъ по опыту, народъ хотя и хорошій, но на водку немного даютъ, поэтому не стоитъ для нихъ и стараться очень. И когда они усѣлись, онъ небрежно тряхнулъ голубыми возжами, и ландо загремѣло по мостовой.

День былъ чудесный, не яркій, но теплый и тихій, что рѣдко бываетъ въ Петербургѣ. По небу ползли легкія кудрявыя облачка; солнце то выглядывало изъ-за нихъ, то снова пряталось. Деревья еще не распустились, но стояли уже, покрытыя почками, и въ воздухѣ разливался пряный ароматъ тополя. Улицы были запру-

жены народомъ; у конокъ происходила давка; по Невѣ взадъ и впередъ, оглушительно свистя, сновали крошечные финляндскіе пароходики съ живымъ грузомъ. На нихъ пестрѣли разноцвѣтныя дамскія шляпки, красные и голубые зонтики; трехцвѣтные флаги трепетали на мачтахъ. И все это стремилось и спѣшило за городъ, чтобы „на зеленой травкѣ“ отпраздновать лучшій и первый весенній праздникъ.

— Смотрите, какая жизнь, какое движеніе! — восклицалъ Потесинъ, обращаясь къ Селищеву.—А вы въ такой день хотѣли просидѣть въ четырехъ стѣнахъ? Да еще сердились на насъ, что мы вамъ помѣшали? Сознайтесь теперь, что мы хорошо сдѣлали, вытащивъ васъ „изъ міра грёзъ“!..

Селищевъ соглашался. Разряженная толпа, яркіе цвѣта, непрерывное движеніе и гулъ подѣйствовали на него возбуждающе. Онъ оживился, пристально всматривался въ встрѣчавшихся женщинъ, смѣялся и даже началъ подпѣвать Потесину, который былъ веселъ необычайно и сыпалъ остротами и шансонетками.

Прокатившись по Островамъ, нанюхавшись смолистыхъ ароматовъ распускающихся деревьевъ, налюбовавшись на экипажи и лошадей аристократовъ и кокотокъ, компанія, наконецъ, проголодалась, и Потесинъ приказалъ автомедону везти ихъ въ Аркадію. При словѣ „Аркадія“ автомедонъ нѣсколько оживился и съ необычайной энергіей принялся нахлестывать своихъ длинноногихъ одровъ. Одры, впрочемъ, нисколько не удивились и тою же тяжелой рысью помчали ландо въ Новую Деревню.

Когда они пріѣхали, ресторанъ былъ уже переполненъ кутящей публикой. Въ общей залѣ безъ перерыва гудѣлъ колоссальный органъ, слышался звонъ посуды; голоса и крики сливались съ плескомъ фонтана, скрывавшагося среди поблекшихъ тропическихъ растеній. Тяжелый запахъ кушаній, вина и табачнаго дыма шибалъ въ носъ и былъ особенно непріятенъ послѣ вынесенныхъ ароматовъ лѣса. Но Потесинъ съ удовольствіемъ потянулъ въ себя этотъ трактирный запахъ и весело сказалъ: „Ну вотъ, мы и въ Аркадіи!“

На встрѣчу имъ съ салфеткой подъ мышкой и съ вопросительнымъ взоромъ подбѣжалъ лакей. Потесинъ потребовалъ отдѣльный кабинетъ, и ихъ ввели въ довольно грязную комнату съ красными засаленными обоями, съ красными бархатными диванами и креслами и съ огромнымъ зеркаломъ въ золоченой рамѣ, на которомъ алмазомъ было нацарапано: „судьба—индѣйка, жизнь—копѣйка, ну, такъ и пей-ка!“ Чѣмъ-то безпутнымъ, кабацкимъ вѣяло отъ всего этого, начиная съ креселъ, диванова и обой и

кончая зеркаломъ съ вырѣзаннымъ на немъ безшабашнымъ девизомъ. Окно комнаты выходило въ крошечный чахлый садикъ, гдѣ въ ядовитыхъ испареніяхъ кухни и кабака печально увядали низенькія березки и липы.

Оживленное настроеніе Селищева, навѣянное на него улицей, весеннимъ теплomъ и прогулкой, разсѣялось, и въ то время, какъ Потесинъ, развалясь на диванѣ, заказывалъ лакею обѣдъ, онъ отошелъ къ окну, отворилъ его и, глядя на деревья, задумался.

— Несчастныя созданія!—проговорилъ онъ, наконецъ, вслухъ.

— Кто это?—отозвался Потесинъ.

— А вотъ эти деревья. Какія они чахлыя, больныя! Не правда ли, ихъ существованіе очень похоже на наше съ вами?... т.-е., я хочу сказать, вообще на существованіе всѣхъ петербургскихъ обывателей. Такое же блѣдное, безрадостное.

— О, Господи!—воскликнулъ Потесинъ, зѣвая.—И какъ это вамъ, батенька, не надоѣстъ „гамлетничать“? Ей-Богу! Въ кото вѣки вышелъ человѣкъ на свѣтъ Божій,—свѣтло, тепло, музыка гремитъ, пробки щелкаютъ, сейчасъ хорошенькая закусочка явится, а онъ ноетъ и блажитъ. Ну, чего вамъ надо, скажите? Чего недостаетъ?

— А скажите, что у меня есть? — вопросомъ отвѣтилъ Селищевъ.

— У васъ-то? Да все, чего человѣку нужно,—слава, деньги, любовь... А творчество? А міръ идей и образовъ, въ который вы можете уходить, когда дѣйствительность надоѣстъ? Развѣ это не счастье?

— Міръ идей... — повторилъ Селищевъ задумчиво. — Да, я счастливъ, когда ухожу въ него, когда работаю. Но вѣдь эта горячка проходитъ, и что же остается тогда? Вы говорите—слава? Въ чемъ она? Въ томъ, что о тебѣ въ газетахъ пишутъ,—такой-то и такой-то вчера всталъ съ постели лѣвой ногой и получилъ насморкъ... Или какая-нибудь княжна Зизи скажетъ княжнѣ Мими: „ахъ, какой Селищевъ душка, какія онъ картины пишетъ, и какъ хорошо умѣетъ себѣ галстухъ повязывать!“ Вотъ наша слава. Деньги? Но вѣдь это давно извѣстно, что еще никогда и никого деньги не сдѣлали счастливымъ...

— Н-ну!—проговорили почти въ одинъ голосъ и Потесинъ, и Крынкинъ, а Пыхтѣевъ поглядѣлъ по очереди на всѣхъ и подхихикнулъ.

— Да, деньги не дѣлаютъ человѣка счастливымъ, — повторилъ Селищевъ, — и о нихъ думаешь только тогда, когда ихъ нѣтъ. Любовь же...—онъ помолчалъ, глядя въ окно на обнажен-

ныя деревья, и докончилъ торопливо:—что въ ней, когда самъ-то, самъ любить не можешь!

— Вотъ въ чемъ дѣло!—воскликнулъ Потесинъ, смѣясь.

— Да!—продолжалъ Селищевъ серьезно.—Мы—я говорю о себѣ, и о васъ, и вотъ о нихъ, и о сотнѣ такихъ же,—мы любить не можемъ и не умѣемъ. Я, конечно, не говорю о мимолетныхъ вспышкахъ страсти, обо всѣхъ этихъ „увлеченіяхъ", которыя мы называемъ любовью, — *такъ* мы, пожалуй, любимъ. Но развѣ это любовь? Это развратъ, распущенность, что хотите, но не любовь. Нѣтъ, я говорю о такой любви, которая бы нравственно возвысила васъ, наполнила бы вашу жизнь, сдѣлала бы васъ чище, благороднѣе... Вотъ это любовь! Чтобы вы забыли свое „я" и готовы были на всевозможныя жертвы... это любовь!

Потесинъ иронически улыбался, а Крынкинъ махнулъ рукой и отошелъ къ столу, на которомъ была уже приготовлена закуска. Пыхтѣевъ послѣдовалъ за нимъ.

— Ну, Иванъ Александровичъ, это вы уже въ сантиментализмъ какой-то ударились!—сказалъ Потесинъ.—И сердитесь вы на меня или нѣтъ, а я скажу, что это даже старчествомъ отзывается. Излюбился человѣкъ, завялъ, засохъ,—вотъ и мечтаетъ о какой-то чистой любви, о жертвахъ, о томъ, о семъ. А какія тамъ жертвы, когда въ самомъ-то весь огонь потухъ?

— Можетъ быть, вы и правы,—произнесъ Селищевъ, и горькая нота зазвучала въ его голосѣ.—Можетъ быть, это старчество... но вѣдь человѣку-то не легче отъ этого. Вѣдь это отсутствіе любви, настоящей человѣческой любви, а не кошачьяго разврата,—это сознаніе, что прожилъ жизнь грязно, безпутно, глупо,—вѣдь это мучаетъ, томитъ, жить не даетъ! Понимаете,—жить, работать! Вотъ отчего раньше времени засыхаешь и потухаешь по вашему выраженію.

— Знаете что,—сказалъ Потесинъ, помолчавъ.—Вы, Иванъ Александровичъ, мечтатель pur sang и живете воображеніемъ. Оттого вы и засохли. Воображеніе съѣло въ васъ душу и сердце, и всѣ человѣческіе порывы. Вотъ для жизни-то въ васъ ничего и не осталось. Вы человѣкъ отпѣтый.

— Неужели отпѣтый? — спросилъ Селищевъ, принужденно улыбаясь.

— Отпѣтый! Жить совсѣмъ не можете и не умѣете, — все мечты, мечты, мечты! Пойдемте-ка, выпьемъ и закусимъ.

— Постойте, ну, а вы? Неужели вы вполнѣ довольны и никогда никакой червякъ васъ не грызетъ? И неужели васъ не возмущаетъ по временамъ вотъ хоть эта кабацкая обстановка,

эти грязныя стѣны, этотъ гвалтъ и шумъ, и не хочется вамъ чего-нибудь другого, хорошаго?

— Да чего же? Нѣтъ, я доволенъ. Жизнь—штука хорошая, и все существующее если и не разумно, то прекрасно,—даже и этотъ кабакъ. Гдѣ жизнь, тамъ и красота...

— Теорія доктора Панглосса... Ну, а помните, тогда ночью, на Невѣ?

Потесинъ сморщился и замахалъ рукой.

— Э, ерунда! Пьянъ былъ и расчувствовался. Да теперь даже и не помню ничего.

„Врешь, помнишь!“ подумалъ Селищевъ и сказалъ вслухъ: —А знаете, хотя это и непріятно говорить, но я съ того вечера или, лучше, ночи, почувствовалъ къ вамъ симпатію.

— И отлично. Пойдемте же, выпьемъ! Предоставимъ міровую скорбь Хотынцевымъ и К^0, а сами будемъ buvons, chantons et aimons!

„Aimons!“—подумалъ опять Селищевъ, и ему вдругъ стало до того противно, что захотѣлось даже уйти. Чистый и свѣтлый образъ Гани мелькнулъ передъ нимъ... она вспомнилась ему такъ, какъ стояла тогда, подъ сфинксами, со слезами на рѣсницахъ и съ полнымъ любви взглядомъ. „Вѣдь любитъ же она тебя, любитъ!“—точно прокричалъ кто-то у него на душѣ. „Уйти, уйти отсюда, изъ этой грязи, бѣжать къ ней, прильнуть къ ея ногамъ...“—съ мучительно-страстной нѣжностью думалъ Селищевъ... и не ушелъ.

— Ну, что же вы, Иванъ Александровичъ? Выпьемте!

„А и въ самомъ дѣлѣ развѣ выпить и... напиться?!“ Селищевъ подошелъ къ столу, за которымъ уже закусывали Крынкинъ и Пыхтѣевъ. Пыхтѣевъ ѣлъ жадно и пробовалъ со всѣхъ тарелокъ: видно было, что въ обыкновенное время онъ плохо и неизысканно питается, а теперь хочетъ себя вознаградить за невольный постъ. Крынкинъ, напротивъ, ничего не ѣлъ, нюхалъ каждый кусочекъ и, морщась, кидалъ его обратно.

Потесинъ съ Селищевымъ выпили водки. Селищевъ пилъ очень мало и рѣдко, и выпитая водка сразу бросилась ему въ голову. Онъ почувствовалъ приливъ душевной теплоты, и обстановка показалась ему уже не такой гадкой. Послѣ второй рюмки онъ довольно дружелюбно бесѣдовалъ съ Пыхтѣевымъ, который разспрашивалъ его о новой картинѣ и льстилъ ему самымъ безсовѣстнымъ образомъ. И хотя Селищевъ сознавалъ, что это лесть, но лесть эта доставляла ему странное удовольствіе. Онъ выпилъ еще разъ съ Пыхтѣевымъ, провозгласившимъ тостъ за успѣхъ

его картины, и, кажется, они съ нимъ даже поцѣловались. Тутъ на нѣкоторое время въ головѣ Селищева все какъ-то перепуталось, и былъ моментъ, когда онъ даже пересталъ сознавать себя. Когда же сознаніе снова къ нему вернулось, попойка была уже въ полномъ разгарѣ. Потесинъ, весь красный, въ разстегнутомъ сюртукѣ, лежалъ на диванѣ, пилъ зельтерскую воду съ коньякомъ и спорилъ съ Крынкинымъ, который доказывалъ ему, что писать стихи совсѣмъ нетрудно и что онъ, Крынкинъ, если угодно, сейчасъ же напишетъ, да и не только напишетъ, а и напечатаетъ. Пыхтѣевъ съ какимъ-то, неизвѣстно откуда взявшимся господиномъ,—какъ оказалось послѣ, чиновникомъ изъ контроля, нечаянно попавшимъ въ ихъ номеръ, да такъ тамъ и оставшимся, —съ чувствомъ пѣли „Ночи безумныя". Было душно и страшно накурено; на скомканной скатерти краснѣли лужи вина; изъ общей залы доносились звуки органа; березки и липы грустно шуршали за окномъ. „Боже, какое безобразіе... и зачѣмъ это?"— пронеслось въ просвѣтлѣвшемъ мозгу Селищева, но сейчасъ же ему снова налили вина, онъ выпилъ и вступилъ въ споръ съ Крынкинымъ. Затѣмъ онъ помнитъ, что Крынкинъ сидѣлъ и что-то писалъ, а онъ спорилъ уже не съ Крынкинымъ, а съ чиновникомъ изъ контроля, потомъ произошелъ какой-то шумъ, и кого-то вытолкали, наконецъ наступила опять темнота... Очнулся онъ уже на воздухѣ, въ ландо. Чиновника изъ контроля уже не было, и они всѣ куда-то ѣхали, причемъ Потесинъ, особенно отчетливо выговаривая слова, объяснялъ что-то извозчику, а тотъ съ почтительнымъ презрѣніемъ въ голосѣ говорилъ: „слушаю-съ!" И свѣтлая, такая же пьяная, ночь безстыдно глядѣла въ ихъ пьяныя лица.

XX.

Въ то самое время, какъ въ Аркадіи происходила эта оргія, отъ Хотынцевыхъ выходилъ профессоръ. Онъ былъ озабоченъ и имѣлъ тотъ натянутый видъ, который бываетъ у докторовъ, выходящихъ отъ безнадежныхъ больныхъ. Видно, что у самого на душѣ скверно, а все-таки старается показать, что, молъ, ничего... еще никакой опасности нѣтъ. Серафима Александровна, вышедшая посвѣтить ему въ переднюю, была страшно блѣдна, и свѣчка въ ея рукѣ такъ дрожала, что стеаринъ падалъ на полъ и пачкалъ ея платье.

— Ну... что же вы скажете мнѣ, профессоръ? — спросила она, видимо стараясь овладѣть собою.

Профессоръ никакъ не могъ справиться съ калошами и молчалъ.

— Я васъ прошу, профессоръ, сказать мнѣ откровенно,— еще тверже сказала Хотынцева. — Я и сама вижу, что дѣло очень плохо, но, можетъ быть, вы... — она сильно вдохнула въ себя воздухъ и докончила совсѣмъ твердо: — я уже ко всему приготовилась.

Профессоръ взглянулъ на нее и бросилъ свои калоши.

— Да, — началъ онъ, нѣсколько запинаясь. — Я долженъ вамъ сказать, что болѣзнь за эти дни сдѣлала страшные успѣхи. Я даже и не ожидалъ. У Николая Николаевича такая нервная и воспріимчивая организація, что ужасно трудно вести борьбу. Но...

— Пожалуйста безъ „но", профессоръ!—перебила его Серафима Александровна жестко. — Я сказала уже вамъ, что я готова ко всему. Говорите правду: есть надежда или нѣтъ?

— Я и хочу сказать...—продолжалъ-было профессоръ тѣмъ же дѣланнымъ тономъ, но вдругъ отшвырнулъ калоши въ сторону, сунулъ шапку и перчатки на стулъ и, взявъ Серафиму Александровну за обѣ руки, проговорилъ задушевно:—Голубушка моя... да, придется вамъ перенести это ужасное горе... Мнѣ это страшно тяжело говорить... страшно тяжело, но...

— И *это* скоро?—опять вобравъ въ себя воздуху, спросила Хотынцева.

— Нѣсколько дней... недѣлю, можетъ быть... будьте же помужественнѣй! Вѣдь вы, кажется, кормите, — Колокольцевъ мнѣ говорилъ... Такъ хоть ради ребенка... Впрочемъ, что тамъ,—вы, кажется, не изъ кисейныхъ женщинъ... Ну, прощайте же, голубушка! Если что понадобится, пришлите Колокольцева,—я всегда готовъ...

Онъ кое-какъ нахлобучилъ на себя шапку и, позабывъ о калошахъ и перчаткахъ, вышелъ. Серафима Александровна машинально заперла за нимъ двери, вернулась въ столовую и со свѣчой въ рукѣ остановилась посреди комнаты. Вокругъ нея все какъ будто странно измѣнилось,—и стѣны, и мебель, и она сама точно не та уже, да и жизнь вся вдругъ перевернулась, переломилась пополамъ. Надежды нѣтъ... Еще день, два... нѣсколько дней... и *его* здѣсь уже не будетъ. Никогда не будетъ, *никогда*!!

Она нѣсколько разъ прошептала это страшное слово, какъ бы стараясь вникнуть въ его смыслъ, понять его, и дико оглядѣлась кругомъ. Нѣтъ, все по прежнему, ничто не измѣнилось. Вотъ лампа, при свѣтѣ которой они провели вмѣстѣ много счастливыхъ, тихихъ вечеровъ. Вотъ его портретъ на стѣнѣ... это было такъ недавно, что онъ ходилъ сниматься, и былъ еще такъ ве-

селъ, такъ много шутилъ и острилъ надъ своимъ потертымъ сюртукомъ, давно уже просившимся въ отставку... Да, все по прежнему, все на своихъ мѣстахъ, и въ то же время—все смотритъ какъ-то иначе, по новому... Отчего? Оттого, что его не будетъ.

Серафима Александровна, наконецъ, вникла въ это страшное слово, и отчаянная, безумная тоска, которую не опишешь, которая не похожа ни на что, ни на какую боль, — стиснула ея сердце. Она поставила свѣчку на окно, сѣла на стулъ и, молча, стала кусать свои руки.

Изъ кабинетика послышался слабый стонъ и вслѣдъ затѣмъ долгій и удушливый кашель. Серафима Александровна быстро встала и пошла къ мужу.

Николай Николаевичъ сидѣлъ и, держась за грудь, старался откашляться. Около него на столикѣ, подъ зеленымъ абажуромъ, горѣла лампа. Въ комнатѣ было душно и сильно пахло лекарствами, хотя окно было отворено и легкій вѣтерокъ тихонько трепалъ синюю стору. Плачущіе звуки віолончели доносились со двора.

Наконецъ Николай Николаевичъ откашлялся и весь въ поту упалъ на подушку.

— Ушелъ?—проговорилъ онъ, переводя дыханіе.

— Да.

— Сядь здѣсь, Сима... положи мнѣ руку на лобъ. Какія у тебя руки холодныя... отчего это? Ну, скажи мнѣ, что онъ сказалъ? Скоро ли я встану?

Серафима Александровна отвѣчала не сразу. Страшно обманывать близкаго человѣка въ его предсмертный часъ и, съ улыбкой глядя ему въ глаза, лгать, въ то время, какъ на сердцѣ ужасъ и смерть.

— Онъ ничего не говорилъ особеннаго. Нужно еще полежать.

— Лежать, все лежать? —съ раздраженіемъ въ голосѣ воскликнулъ Хотынцевъ.—Отчего онъ не скажетъ опредѣленно? Неужели болѣзнь затянется надолго? Какъ это скучно!

— Не волнуйся, Коля. Тебѣ вредно уставать, опять кашлять будешь.

— Ахъ, да вѣдь надоѣло! Что-нибудь одно: или выздоровѣть, или...—онъ помолчалъ и, взявъ руку Серафимы Александровны, произнесъ другимъ тономъ:—Прости меня, Сима... я злюсь и самъ не знаю, что говорю. Только тебя волную. Дѣти спятъ?

— Давно.

— А что это? Віолончель? Отвори, Сима, окно, я хочу слу-

шать. Какіе прелестные звуки... Боже мой, я совсѣмъ забылъ,— вѣдь сегодня первое мая! Помнишь, Сима, какъ мы съ тобою когда-то въ этотъ день ходили въ лѣсъ и рвали черемуху? Помнишь?

Еще бы не помнить! Серафима Александровна хорошо помнила этотъ день, потому что Николай Николаевичъ въ первый разъ сказалъ ей тогда, что онъ ее любитъ. Но отвѣчать она ничего не могла,—слезы сдавили ей горло, и она только молча сжала руку мужа.—А вѣтерокъ колыхалъ занавѣску, и за окномъ все такъ же плакала віолончель.

— Да... хорошо было тогда!—продолжалъ Хотынцевъ.— Помнишь наше первое знакомство на этой вечеринкѣ у Даниловыхъ? Я помню, мнѣ ужасно не хотѣлось туда идти... я тосковалъ, мучился, терзался. Все мнѣ было противно въ этомъ глухомъ сѣверномъ городишкѣ:—и люди, и дома, и сѣрое небо, и сонная, тихая жизнь. Это послѣ Петербурга-то, послѣ лихорадочной дѣятельности! Какая это ужасная, ненормальная вещь, и какъ это озлобляетъ, калѣчитъ людей, когда ихъ внезапно отрываютъ отъ всего родного, привычнаго, отъ любимаго дѣла, отъ общества, и бросаютъ Богъ знаетъ куда, въ чуждую среду... Да, впрочемъ, я не объ этомъ. Я началъ вспоминать, какъ мы съ тобою познакомились... Я сидѣлъ дома, въ своей холодной, темной комнатѣ... и Богъ знаетъ, что на душѣ было... А тутъ приходитъ Журавлевъ и зоветъ на вечеринку. Весело, говоритъ, будетъ, выпьемъ, потанцуемъ, барышни будутъ. Какія тамъ, думаю, барышни? И вдругъ вижу, сидитъ въ уголку гимназистка, съ такими умными сѣрыми глазками, и смотритъ на все такъ серьезно, серьезно и немножко насмѣшливо... Это была ты, Симочка, помнишь? И какая ты была смѣшная и вмѣстѣ съ тѣмъ милая въ своемъ коричневомъ платьицѣ, съ растрепанными вихрами, когда я къ тебѣ подошелъ и пригласилъ танцовать, а ты мнѣ такъ сердито отвѣтила: „извините, я танцовать не умѣю“... Помнишь?

— Помню...

— Да... Вѣдь глупо это, кажется,—такая мелочь, а между тѣмъ никогда, никогда не забудешь ни этого вечера, ни оплывшихъ стеариновыхъ свѣчекъ, ни топота танцующихъ, ни барышенъ въ розовыхъ и голубыхъ ситцевыхъ платьяхъ, ни кавалеровъ съ красными и потными отъ усердія лицами... И всегда будешь вспоминать... А вѣдь что тутъ особеннаго? Да только то, что тутъ на тебя въ первый разъ взглянули тѣ глазки, которые потомъ станутъ для тебя дороже всего на свѣтѣ и всю жизнь будутъ

тебѣ свѣтить... Ахъ, Симочка, отчего все это такъ сладко и вмѣстѣ съ тѣмъ грустно вспоминать? Можетъ быть, оттого, что это никогда уже больше не повторится... Будутъ, конечно, хорошія минуты, но лучше—никогда... А тамъ, въ будущемъ, ждетъ разлука... вѣчная! Это мысль ужасная, Симочка... я боюсь даже думать о томъ, что мы съ тобою когда-нибудь разстанемся.

Онъ помолчалъ и прислушался. Віолончель стала слышнѣе.

— Нѣтъ, Сима, закрой окно, не могу я больше... Это не віолончель; это человѣкъ плачетъ и жалуется. Сима, какъ мнѣ жаль тебя!

— Меня?

— Да, тебя, тебя... и себя, пожалуй, но больше тебя. Я вотъ вспомнилъ тебя дѣвочкой... какая ты была свѣжая, какъ ты хотѣла жить... Помнишь, какъ мы съ тобой мечтали вмѣстѣ выйти „на бой, на трудъ... за обойденнаго, за угнетеннаго“... Это началось послѣ того вечера съ розовыми и голубыми барышнями... встрѣчи, прогулки, бесѣды, споры. Помнишь, какъ ты со мною спорила и увѣряла, что я черезчуръ идеально смотрю на жизнь? Ты говорила, что такіе люди, какъ я, никогда ничего не сдѣлаютъ для жизни, потому что у нихъ черезчуръ нѣжныя и чувствительныя души, которыя не вынесутъ житейской грязи и толчковъ. И мнѣ ужасно нравилось, когда ты, смѣло встряхивая своими вихрами, восклицала: „Чтобы работать, надо закалиться! Кто черезчуръ много жалѣетъ, тотъ никогда не сдѣлаетъ ничего реальнаго. Надо не страдать и не мучиться за людей, а помогать имъ; а то весь изстрадаешься и обезсилѣешь“... Да, Симочка, ты правду говорила... вотъ я чувствую теперь, что ничего, ничего не сдѣлалъ для людей и силъ у меня больше нѣтъ...

— Это неправда, Коля...— глухо проговорила Серафима Александровна.

— Ну, ну, я не буду говорить объ этомъ... Да и не о томъ я началъ. Мнѣ тебя жаль, Симочка,—что я тебѣ далъ? Гдѣ то огромное дѣло, на которое я тебя звалъ? Все это были одни „слова, слова“... Вся твоя жизнь проходитъ въ кухнѣ, въ мелочахъ, за стиркой, стряпней, въ копѣечныхъ разсчетахъ. Ахъ, Сима, Сима, какъ мнѣ это больно... я въ этомъ виноватъ!

— И это неправда. Не знаю, о какомъ огромномъ дѣлѣ ты говоришь. Да, когда мы съ тобою мечтали тамъ, подъ черемухой, можетъ быть, и мерещилось что-нибудь огромное... но вѣдь мы тогда были черезчуръ молоды и опьянены весною и любовью. Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ... и въ эти годы я ни разу ни о чемъ не пожалѣла, ни въ чемъ не раскаявалась. Я была счастлива,

Коля... и если ты въ чемъ виноватъ, такъ именно въ томъ, что черезчуръ много счастія далъ мнѣ одной. А этотъ трудъ, эти мелочи, о которыхъ ты говоришь... охъ, Коля, такъ что же такое жизнь-то, какъ не трудъ?..

— Спасибо тебѣ, Сима... Дай мнѣ поцѣловать твою руку... какая она жесткая, загрубѣлая, исцарапанная!... Нѣтъ, я эгоистъ, Сима, все-таки эгоистъ! Я взялъ на свою долю лучшее; я жилъ въ какомъ-то особомъ мірѣ, созданномъ собственнымъ воображеніемъ, а ты въ это время вела мелкую, но мучительную борьбу съ житейской пошлостью. Я увлекался и творилъ, а ты мыла, стряпала, бѣгала въ лавочку. Для меня — идеи, образы, вдохновеніе; для тебя — дворники, лавочники, прачки, гроши. Сима, прости меня,—я часто забывалъ тебя.

— Коля, Коля, оставь это, не мучай меня!—почти простонала Серафима Александровна, склоняясь къ нему на подушку. Николай Николаевичъ притянулъ ея голову къ себѣ и сталъ цѣловать, все повторяя: „прости меня, прости“... Хотынцева не могла больше выносить этой пытки,—она вырвалась отъ мужа, выбѣжала изъ кабинета въ дѣтскую спальню и тамъ, уткнувшись головой въ подушки, разразилась беззвучными рыданіями.

Николай Николаевичъ остался одинъ и задумался. Бѣдная, бѣдная Сима!.. Да, жизнь ее сильно измучила. Она стала раздражительна, ожесточилась, огрубѣла. Въ ея отношеніяхъ къ людямъ явилась какая-то подозрительность, недовѣрчивость и злая иронія. А между тѣмъ по натурѣ она добра до того, что готова отдать съ себя послѣднее, чему и были примѣры. И нечего закрывать глаза, — во всемъ этомъ виноватъ онъ. Онъ не могъ жить безъ литературы и ради этого сидѣлъ въ Петербургѣ, отказывался отъ всякой другой работы, голодалъ и холодалъ вмѣстѣ съ семьей. А что онъ сдѣлалъ? Искупитъ ли его работа его вину передъ женой и дѣтьми? Есть два сорта людей: одни—отмѣченные и предназначенные жить и работать для человѣчества; другіе—маленькіе, обыкновенные, живущіе только для себя и для своей семьи. Можетъ быть, и онъ принадлежитъ къ послѣднимъ... а между тѣмъ онъ ничего не сдѣлалъ для семьи, воображая, что призванъ совершить великое и оставить міру „вѣчную страницу“. Гдѣ же эта „вѣчная страница“, написана ли она? Или весь его трудъ, всѣ его думы, образы и мечты погибнутъ безслѣдно? Вотъ онъ боленъ... опасно боленъ, что бы тамъ ни говорили профессора... Онъ можетъ умереть... можетъ быть, даже умираетъ... Надо обо всемъ этомъ подумать, хорошенько подумать...

При мысли о смерти, о близкой смерти Николай Николаевичъ весь вздрогнулъ и похолодѣлъ. „Смерть, смерть!..“—прошепталъ онъ, и ему вдругъ ясно представилось, какъ онъ будетъ умирать. Дрожь ужаса поползла по его спинѣ.—Такъ скоро... можетъ быть, завтра... сегодня... можетъ быть, даже черезъ нѣсколько часовъ. Раньше Хотынцевъ никогда не думалъ о смерти, даже когда былъ боленъ тифомъ, но теперь эта мысль его приковала къ себѣ. И ему показалось страшно несправедливымъ, отвратительнымъ, безобразнымъ, что онъ долженъ умереть, когда еще такъ молодъ и ничего не сдѣлалъ, ничего не кончилъ... Отъ охватившаго его волненія ему стало нестерпимо дурно, и онъ, задыхаясь, хрипя, обливаясь потомъ, вскочилъ съ постели.

— Сима, Сима!—хрипло закричалъ онъ.

— Что съ тобою, Коля? Что ты?—спросила Серафима Александровна, торопливо входя.

Онъ стоялъ весь блѣдный, какъ мертвецъ, шатаясь и едва держась за спинку кровати. Дикій, безсмысленный ужасъ свѣтился въ его глазахъ.

— Сима, я умираю... Скажи правду,—я умираю?

Она уложила его, укрыла и успокоила ласковыми словами. Мало-по-малу онъ пришелъ въ себя, взглядъ его просвѣтлѣлъ и онъ, держа руку жены въ своихъ холодныхъ, влажныхъ рукахъ, забылся...

...Нѣтъ, онъ еще живъ, онъ не умретъ. Онъ долженъ кончить свой романъ. Вотъ онъ сидитъ за своимъ письменнымъ столомъ, у раскрытаго окна, и передъ нимъ его большая тетрадь. Перо такъ и бѣгаетъ по бумагѣ, строчка за строчкой ложится, и мысли кипятъ въ мозгу. Давно, давно онъ такъ весело не работалъ! Скорѣй, скорѣй!—надо спѣшить... онъ даже задыхается отъ нетерпѣнья. Но вотъ кто-то тихо подошелъ сзади и сталъ за стуломъ. „Сима, не мѣшай!“ говоритъ Николай Николаевичъ, не отрываясь отъ работы. Въ отвѣтъ послышался тихій смѣхъ. Ахъ, да! Николай Николаевичъ знаетъ, кто это. Это Марининъ, его герой, его излюбленное дѣтище, созданное имъ самимъ. Онъ родился и выросъ въ его мозгу; онъ съ нимъ всегда и вездѣ, онъ вмѣстѣ съ нимъ плачетъ и смѣется, радуется и страдаетъ. Онъ странный; онъ ненавидитъ человѣчество и въ то же время страстно его любитъ. Онъ бранитъ его, проклинаетъ, обвиняетъ его, какъ самый строгій, безпощадный судья—и въ то же время отдаетъ ему свою жизнь, свое счастье, все, все! Онъ любилъ—и ушелъ отъ любимой женщины, потому что около нея забывалъ на время

объ отвратительномъ, злomъ, несчастномъ и больномъ человѣчествѣ. Онъ былъ поэтъ, эстетикъ, писалъ прелестные стихи—и оставилъ поэзію, потому что ея звуки заглушали для него ревъ и стоны, ея краски закрывали язвы и рубища, ея ароматъ опьянялъ и заставлялъ забывать о смрадѣ и духотѣ подваловъ. И въ концѣ концовъ онъ сдѣлалъ еще хуже... чтобы освободить человѣчество отъ рабства, онъ самъ надѣлъ на себя цѣпи. Странный человѣкъ!

...Вотъ онъ теперь стоитъ и смѣется, зло смѣется. Цѣпи на немъ звякаютъ. Хотынцеву становится досадно. — Что ты смѣешься?—говоритъ онъ, оборачиваясь.—Надъ тобою... что ты дѣлаешь,—говоритъ Марининъ.—Что я дѣлаю? — въ изумленіи спрашиваетъ Хотынцевъ. — А вотъ посмотри!—Марининъ перевертываетъ листы тетради, и Николай Николаевичъ видитъ, какъ на его глазахъ строчки блѣднѣютъ и исчезаютъ. Онъ въ отчаяніи схватываетъ тетрадь и начинаетъ ее быстро перелистывать. Ничего! Все пусто,—однѣ бѣлыя страницы! Холодный потъ выступаетъ на лбу Хотынцева.—Вотъ тебѣ „вѣчная страница"!—шепчетъ Марининъ и смѣется.—Ничего не будетъ, все позабудется, все исчезнетъ. Для чего, для кого ты пишешь, мучаешься, обливаешься потомъ? Для кого я ношу эти цѣпи, которыя натерли мнѣ на ногахъ страшныя язвы? — Для кого? — спрашиваетъ Хотынцевъ, холодѣя.—Открой окно, послушай!—Окно отворено... что это? Нѣтъ, это уже не віолончель... Это какой-то вой, гамъ, скрежетъ, злобные вопли и отчаянные стоны, свалка, грызня, рычанье звѣриное... — Слышишь?—спрашиваетъ Марининъ и опять смѣется, но на глазахъ его уже блестятъ слезы.—Вотъ для кого я ношу свои цѣпи, вотъ для кого ты проводишь безсонныя ночи съ перомъ въ рукахъ. Но слышатъ ли они насъ? Поймутъ ли? О, проклятые! Стоютъ ли они нашихъ слезъ и нашей крови...—Марининъ силится сорвать съ себя цѣпи, и проклятія сыплются съ его поблѣднѣвшихъ губъ.—Ты лжешь!—кричитъ ему Хотынцевъ.—Уйди, я не хочу тебя слушать. Вѣдь ты не существуешь; я тебя выдумалъ, ты—мечта, ты—созданіе моего воображенія. Уйди!—Онъ схватываетъ снова свою тетрадь и снова пишетъ, пишетъ, но строчки блѣднѣютъ и исчезаютъ, и передъ глазами остаются бѣлыя страницы.

— Сима, Сима!—кричитъ Николай Николаевичъ, вскакивая и озираясь.

— Что, Коля?

— Прогони его, пожалуйста, отсюда... Я не могу слышать его смѣха. Пусть онъ уйдетъ!

— Успокойся, Коля, онъ уже ушелъ. На, выпей воды,— вотъ такъ! Ну, теперь хорошо?

Она наклоняется надъ нимъ и ласкаетъ его пылающій лобъ и шепчетъ ласковыя слова. А на сердцѣ холодъ и смерть, и безъ конца тянется блѣдная весенняя ночь...

В. Дмитріева.

ИППОЛИТЪ ТЭНЪ

ВЪ

ИСТОРІИ ЯКОБИНЦЕВЪ

Essayons de décrire cette histoire, de la rattacher à cette méthode et cette méthode à ce genre d'esprit.

Слова Тэна.

I.

Смерть Тэна, весною 1893 года, совпала съ столѣтней годовщиной тѣхъ достопамятныхъ и потрясающихъ событій, которымъ былъ посвященъ выдающійся отдѣлъ его знаменитаго историческаго труда—его исторія *якобинцевъ*. Тѣмъ болѣе было бы кстати именно теперь остановиться на разсказанныхъ въ упомянутомъ сочиненіи событіяхъ, что въ изображеніи ихъ съ особенною яркостью отразился какъ научный методъ, такъ и нравственная личность мыслителя, нынѣ завершившаго свой плодотворный жизненный подвигъ. Притомъ, интересъ вопросовъ, разрѣшенныхъ или возбужденныхъ Тэномъ въ исторіи якобинцевъ, далеко выходитъ за предѣлы минувшей исторической эпохи или даннаго государства. Вопросы о задачѣ государства и нравственныхъ предѣлахъ его права, о значеніи индивидуума въ общественномъ организмѣ, объ автономіи общественныхъ органовъ и т. п., около которыхъ вращается соціологія Тэна—вопросы важные. Они разрѣшаются по условіямъ мѣста и времени, а иногда и случайнымъ обстоятельствамъ, но для отчетливаго сужденія о цѣлесообразномъ рѣшеніи ихъ необходимо теоретическое и историческое знакомство съ ними.

Великимъ отличіемъ и славою нашего вѣка нужно признать стремленіе къ бо́льшей *научности*. Это стремленіе выразилось не только въ усовершенствованіи научныхъ пріемовъ въ разныхъ областяхъ, не только въ быстромъ накопленіи большого запаса научныхъ данныхъ, но и въ бо́льшей потребности и бо́льшей оцѣнки *истины*, *научнымъ* образомъ добытой или доказанной. Это стремленіе къ бо́льшей научности различнымъ способомъ проявлялось у разныхъ народовъ, но вездѣ оно болѣе или менѣе привело къ извѣстному преобладанію естественныхъ наукъ—къ извѣстному примѣненію естественно-научныхъ пріемовъ въ области наукъ духовныхъ. Причина этого очевидна. Здѣсь было всего легче наблюдать надъ фактами, изолировать и научнымъ образомъ устанавливать ихъ; здѣсь, благодаря возможности провѣрки или опыта, легче всего было вывести изъ фактовъ лежащій въ ихъ основаніи законъ. Поэтому здѣсь примѣненіе научнаго метода быстро увѣнчалось успѣхомъ и привело къ изумительному расширенію знаній, и здѣсь впервые прочно установился безусловный для всѣхъ авторитетъ истины, научнымъ способомъ доказанной. Наконецъ, здѣсь доступная и наглядная сторона научной аргументаціи естественно преобладала надъ менѣе доступной и очевидной стороной ея—дедукціей. Особенно характерно проявилось это, отразившееся на естественныя науки стремленіе къ научности во Франціи, вслѣдствіе того, что оно встрѣтилось тамъ съ противоположнымъ умственнымъ теченіемъ, вытекавшимъ изъ національнаго духа французовъ и усвоеннаго ими способа воспитанія. Это, свойственное національному духу, направленіе достигло своего высшаго торжества въ *раціонализмѣ*, господствовавшемъ въ XVII и XVIII вѣкахъ. Оно заключалось въ исключительномъ преобладаніи дедуктивнаго метода, въ способѣ выводить истину изъ представленій отвлеченнаго разума, въ изобиліи общихъ понятій (idées générales), въ страстной вѣрѣ въ авторитетъ истины, безошибочно *демонстрированной*, т.-е. выведенной изъ общаго начала путемъ логическихъ разсужденій.

Вліяніе естественныхъ наукъ на умственную жизнь Франціи проявилось еще въ XVIII вѣкѣ — и весьма характерно для господствовавшаго тогда раціонализма—съ одной стороны въ сенсуализмѣ Кондильяка и матеріализмѣ Гольбаха, которые соединяли исходную естественно-научную точку зрѣнія съ догматическими пріемами раціонализма, а съ другой стороны—въ литературныхъ утопіяхъ Руссо о естественномъ состояніи и возвращеніи человѣка къ природѣ.

Переломъ въ раціонализмѣ въ сторону естественно-научнаго

метода произошелъ во Франціи въ началѣ нынѣшняго вѣка въ лицѣ Огюста Конта, который присвоилъ своей оригинальной доктринѣ названіе, общепринятое для обозначенія естественно-научнаго метода, названіе позитивизма, т.-е. положительнаго міровоззрѣнія. На почвѣ позитивизма, въ болѣе общемъ смыслѣ *стремленія* къ научности, опирающейся на методъ естественныхъ наукъ, нужно искать и культурное значеніе Тэна.

Насколько онъ былъ далекъ отъ Контовскаго позитивизма, объ этомъ свидѣтельствуетъ его высокая оцѣнка Гегеля и вообще нѣмецкой метафизической философіи, а также его признаніе метафизической основы закона причинности. При этомъ, однако, онъ является проводникомъ направленія, имѣвшаго цѣлью замѣнить *раціонализмъ наукою*. Ему принадлежитъ идея различенія и противоположенія въ культурной исторіи Франціи научнаго капитала (l'acquit scientifique) классическому *духу* (l'esprit classique). Въ противоположеніи этихъ двухъ понятій и направленій выяснилось ему его собственное призваніе, и съ юношескимъ пыломъ онъ началъ свою литературно-ученую дѣятельность съ полемики противъ устарѣлаго направленія. Еще въ 1852 году—24-хъ лѣтъ—онъ въ своихъ „Philosophes classiques" бросилъ перчатку *классическимъ* (по духу) философамъ и психологамъ Франціи въ XIX вѣкѣ и формулировалъ начала новой философіи, основанной на научномъ методѣ. Два года спустя, въ разборѣ Тита Ливія, Тэнъ изобразилъ типъ историка-оратора и противопоставилъ ему программу новой, научной исторіографіи.

Съ тѣхъ поръ, выяснивъ себѣ свою задачу, Тэнъ неотступно въ теченіе 40 лѣтъ работалъ надъ ней, примѣняя свой научный методъ къ одной области за другою, къ литературной и художественной критикѣ, къ исторіи литературы и искусства, къ эстетикѣ и морали, къ психологіи и исторіографіи. Вездѣ Тэнъ былъ настоящимъ піонеромъ—открывалъ новый путь и самъ слѣдовалъ по немъ.

Научный методъ Тэна—онъ называлъ его методомъ *научнаго анализа*—весьма простъ. Тэнъ самъ объяснилъ его въ краткихъ и мѣткихъ формулахъ. Онъ состоитъ изъ трехъ элементовъ, изъ такъ сказать трехъ шаговъ къ научной истинѣ. Первый шагъ на этомъ пути заключается въ *анализѣ* установившихся, принятыхъ въ общій оборотъ, *понятій* и въ сведеніи ихъ на *факты* или взаимныя отношенія фактовъ. Подъ такимъ анализомъ, напр., понятіе органической *функціи* оказывается „группою фактовъ", содѣйствующихъ общей цѣли; понятіе *индивидуума*—опредѣленной системой взаимно зависящихъ другъ отъ друга фактовъ. То,

что въ этомъ отношеніи происходитъ въ области наукъ физическихъ, должно быть проведено и въ области наукъ нравственныхъ. Тогда эти науки освободятся отъ всякаго мистическаго и метафизическаго элемента. Это, по выраженію Тэна, „не малое дѣло и это доброе дѣло". Такимъ образомъ, въ психологіи Тэна исчезло, въ силу анализа, понятіе *я* и превратилось въ вереницу психическихъ впечатлѣній и событій—une file d'événements. Второй шагъ научнаго метода заключается въ анализѣ самихъ фактовъ ради *размноженія* ихъ. Издали фактъ казался единымъ; разсмотрѣнный вблизи, онъ дробится и размножается. Въ этой замѣнѣ одного общаго, неопредѣленнаго факта многими точными фактами состоитъ настоящій прогрессъ положительныхъ наукъ; „вся ихъ работа и весь ихъ успѣхъ за триста лѣтъ заключается въ превращеніи крупныхъ массъ, представляющихся внѣшнему опыту, въ точный и обстоятельный *каталогъ* фактовъ, каждый день все болѣе разлагаемыхъ и многочисленныхъ". Въ наукахъ нравственныхъ, какъ и въ наукахъ физическихъ, прогрессъ состоитъ въ примѣненіи такого анализа, усиліе котораго направлено къ размноженію фактовъ, подразумѣваемыхъ подъ извѣстнымъ терминомъ: Tout l'effort de l'analyse est de multiplier les faits que désigne un nom.

Но все это лишь первые шаги по пути научнаго метода; не сдѣлавъ перваго изъ нихъ, анализа общихъ понятій и разложенія ихъ на факты, изслѣдователь пускается въ погоню за метафизическими сущностями; безъ второго шага—анализа фактовъ—изслѣдованіе остановится и не пойдетъ дальше. Все это, впрочемъ, лишь начало науки, которое должно имѣть продолженіе. Этотъ послѣдній шагъ заключается въ *синтезѣ*, въ подведеніи каждой группы фактовъ подъ ихъ причину. Эта причина сама не что иное какъ *фактъ*: это фактъ, изъ котораго можно вывести природу, отношеніе и измѣненія другихъ фактовъ — такъ сказать, *господствующій* надъ другими фактъ. Устанавливая, такимъ образомъ, господствующіе факты и причины, изслѣдователь выясняетъ *законъ* явленія. И, восходя отъ производныхъ законовъ къ болѣе общимъ, изслѣдователь найдетъ единую формулу—творческій законъ (loi génératrice), „изъ котораго чрезъ цѣлую систему прогрессивныхъ выводовъ выльется вся организованная масса фактовъ".

Мы уже разсматривали на страницахъ этого журнала примѣненіе метода Тэна къ критикѣ, къ исторіи литературы и искусства и къ психологіи, которымъ были посвящены первыя сочиненія и изслѣдованія его. Теперешняя наша задача состоитъ

въ томъ, чтобы прослѣдить методъ Тэна въ его исторіи якобинцевъ. Въ этомъ вопросѣ, какъ и вообще въ исторіи революціи, примѣненіе метода Тэна должно было ознаменовать собою совершенный переворотъ въ цѣляхъ и способахъ исторіографіи. Въ этомъ случаѣ Тэнъ болѣе чѣмъ когда-либо имѣлъ основаніе считать предшествующую ему исторіографію *ораторскою*. Помимо того, что *классическій духъ* вообще велъ къ ораторству въ исторіографіи, не было предмета, который такъ напрашивался на ораторское отношеніе къ нему со стороны историка, какъ „великая революція"; никогда не соединялось столько побужденій для французскаго историка впадать въ ораторскій тонъ — величавость и слава самого событія, энтузіазмъ современниковъ, всеобщая важность разрѣшавшихся тогда вопросовъ, трагическая судьба многочисленныхъ жертвъ и самихъ палачей, патріотическая гордость по причинѣ блестящихъ побѣдъ революціонной Франціи надъ старой Европой! Къ этому нужно прибавить, что революціонныя событія какъ бы естественнымъ образомъ склоняли историка излагать ихъ ораторскими пріемами, такъ какъ они сами были порожденіемъ классическаго, ораторскаго духа XVIII вѣка. И дѣйствительно всѣ выдающіяся изложенія исторіи революціи до Тэна должны быть причислены къ „ораторскому жанру", всѣ они имѣли цѣлью „прославленіе" кого-нибудь или чего-нибудь, всѣ старались достигнуть своей цѣли ораторскими способами, возбужденіемъ энтузіазма у читателей и сочувственнымъ паѳосомъ. Такъ исторія Тьера была апологіей патріотическихъ якобинцевъ, спасшихъ Францію отъ иноземныхъ враговъ и внутренняго безпорядка; такъ исторія Мишлé была сочувственной элегіей надъ либеральной, гуманитарной республикой и ея подвижниками; такъ обстоятельная, обставленная ученымъ аппаратомъ исторія Луи Блана была изображеніемъ вождей террора и въ особенности Робеспьера въ качествѣ проводниковъ и мучениковъ филантропическаго соціализма.

„Научный методъ" нашелъ себѣ, такимъ образомъ, въ исторіи революціи обширное поле примѣненія. Первымъ требованіемъ этого метода былъ анализъ *понятій* и *обозначеній*, сведеніе ихъ на факты (les faits que désigne un nom). Имя якобинца, напр., получило въ глазахъ французской и иностранной публики опредѣленное значеніе, которое сложилось, по замѣчанію Тэна, между 1825—1830 годами; для однихъ якобинцы отождествлялись съ патріотами, для другихъ—съ филантропами; и тѣ, и другіе признавали между ними не мало геніальныхъ людей. Тэнъ поставилъ себѣ цѣлью анализировать это понятіе, „раскрывъ

факты", которые оно въ себѣ заключало. Онъ для этого сбросилъ съ себя обаяніе легенды, окружавшей это имя; онъ подошелъ къ нему какъ „искатель истины, текстовъ и доказательствъ", какъ „натуралистъ въ области духа", какъ любитель „нравственной зоологіи". Это разложеніе понятія якобинца на входящія въ его составъ „данныя" было только частью болѣе общаго пріема. Ни въ чемъ такъ не обнаруживается вліяніе философскаго, раціоналистическаго духа на революціи, какъ въ „деклараціи правъ человѣка и гражданина", съ которой учредительное собраніе начало свою законодательную дѣятельность. Эта декларація, поставленная во главѣ предполагаемыхъ преобразованій, показываетъ, что для законодателей 1789 года понятія человѣка и гражданина были тождественны, что эти законодатели не дѣлали никакого различія между своими соотечественниками и всѣми прочими людьми и что они, опредѣляя права людей вообще, исходили изъ понятія о человѣкѣ какъ о разумномъ существѣ. Это понятіе человѣка, которое для раціоналиста является чѣмъ-то готовымъ и замкнутымъ, у Тэна, согласно его методу, подвергается *анализу* и раскрывается, чтобы обнаружить лежащія въ его основаніи реальныя данныя. Антропологія и физіологія устанавливаютъ, что человѣкъ „по своей природѣ и физическому строенію — плотоядное существо" и что этотъ первоначальный складъ въ немъ сохранился. Этнографія и исторія устанавливаютъ прирожденныя и пріобрѣтенныя свойства той породы людей, которымъ присвоено имя французовъ и которые были дѣятелями событій, разсматриваемыхъ Тэномъ. Исторія, между прочимъ, показываетъ, что у французовъ въ теченіе пятисотъ лѣтъ всегда почти было близкое къ абсолютизму правительство, что, будучи тщеславны и общительны, французы не привыкли къ самостоятельности въ своихъ мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ; что, будучи по природѣ теоретиками и насмѣшниками, они худо пишутъ и еще хуже умѣютъ уважать законы; что, будучи живы и опрометчивы, они увлекаются энтузіазмомъ или опасеніемъ слишкомъ быстро, слишкомъ сильно и некстати, какъ въ своихъ резолюціяхъ, такъ и въ своихъ революціяхъ.

Но тутъ мы вступаемъ въ область психологіи, и отсюда уже видно, какое значеніе должна была получить психологія въ глазахъ историка Тэна. Предметъ исторіи — „живой человѣкъ", т.-е., другими словами, „душа человѣка", его душевный складъ, его представленія и его страсти. Ибо здѣсь кроется причина его дѣйствій, т.-е. тѣхъ фактовъ, съ которыми имѣетъ дѣло историкъ. Какъ бы ни были разнообразны внѣшнія причины, вызывающія

человѣческія дѣйствія, какъ бы ни было сильно вліяніе обстоятельствъ, всѣ эти причины должны пройти черезъ душу человѣка, т.-е. принять психическій характеръ, и такимъ образомъ онѣ входятъ въ область психологіи; съ другой стороны, дѣйствія человѣка немедленно отражаются на психическомъ строѣ его самого и другихъ, оставляютъ въ немъ слѣды и служатъ зародышами другихъ психическихъ явленій и новыхъ дѣйствій. Такимъ образомъ, исторія становится проблемой психологіи.

Вообще весь первый шагъ *аналитическаго* метода Тэна есть психологическое изслѣдованіе: *раскрыть факты*, обозначенные извѣстнымъ понятіемъ или названіемъ (que désigne un nom), можно только психологическимъ путемъ. Обратимся теперь къ второму шагу или пріему этого метода. Формула его опредѣленія заимствована изъ области естественныхъ наукъ. Ихъ громадный успѣхъ обусловливался тѣмъ, что вслѣдствіе усовершенствованныхъ способовъ наблюденія—химическаго анализа или примѣненія микроскопа—простой, повидимому, фактъ разлагается и за нимъ раскрывается иногда цѣлый новый міръ другихъ фактовъ. Примѣненіе подобнаго способа *размноженія* фактовъ было особенно цѣлесообразно и плодотворно въ исторіи якобинцевъ. Прежніе, ораторскіе историки слишкомъ пренебрегали этой стороной дѣла; они видѣли въ революціи лишь происходившее въ Парижѣ ораторское состязаніе лицъ и партій; если они выходили изъ Парижа, то лишь для того, чтобы изобразить побѣды революціонныхъ батальоновъ надъ вандейцами или надъ войсками европейской коалиціи. Такое пренебреженіе фактическимъ матеріаломъ столько же соотвѣтствовало духу этихъ историковъ, сколько цѣлямъ ихъ исторіографіи. Это были ораторы, т.-е. болѣе или менѣе искренніе, но всегда горячіе апологеты извѣстныхъ идей и идеаловъ и ихъ историческихъ подвижниковъ; такіе историки не могли имѣть охоты и времени для скучной для нихъ и терпѣливой работы надъ неизданнымъ историческимъ матеріаломъ. Притомъ, такъ какъ они ставили себѣ задачей слѣдить за развитіемъ и проявленіемъ революціонныхъ принциповъ, то они находили весь нужный для нихъ матеріалъ въ шумныхъ засѣданіяхъ конвента, въ патетическихъ рѣчахъ его членовъ и клубныхъ ораторовъ, въ крикахъ и уличныхъ демонстраціяхъ парижской толпы—а весь этотъ матеріалъ давно былъ собранъ и удобно расположенъ на страницахъ Монитёра и напечатанныхъ мемуаровъ. Совсѣмъ иное мы находимъ у Тэна. Ему нужна была не ораторская правда, а реальная истина; рѣчи революціонныхъ вождей служили ему лишь матеріаломъ для психологическихъ

наблюденій. Ему нужны были факты, о которыхъ не говорятъ въ парадныхъ рѣчахъ и партійныхъ памфлетахъ, факты обыденной жизни, выражающіеся въ цифрахъ, указывающіе на благоденствіе или бѣдственное положеніе людей, живущихъ подъ извѣстнымъ режимомъ, факты, свидѣтельствующіе о благотворности или зловредности этого порядка. Ему нужно было знать, какъ чувствовала и что испытывала та масса французскаго народа, которая не выражала этихъ чувствъ въ рѣчахъ. Исторіографія Тэна не хотѣла служить эхомъ парижскихъ ораторовъ и не могла довольствоваться залами конвента, якобинскаго клуба и парижской коммуны—поприщемъ его исторіографіи должна была служить вся Франція. Но для этого былъ нуженъ совершенно новый и обширный матеріалъ, и Тэнъ посвятилъ много лѣтъ усидчивому изученію громаднаго документальнаго матеріала въ національномъ архивѣ, въ архивахъ департаментовъ, въ провинціальныхъ изданіяхъ и спеціальныхъ изслѣдованіяхъ. И благодаря этому труду, *факты* ринулись со всѣхъ сторонъ на историческую сцену, какъ будто прорвавъ долго задерживавшія ихъ плотины. Но они ринулись не нестройной массой, а сгруппированные и разсортированные для большей наглядности и убѣдительности искусной рукой логическаго систематика и талантливаго художника. Отличительная способность Тэна — логическая послѣдовательность—обусловливаетъ собою замѣчательную архитектонику въ расположеніи громаднаго матеріала въ исторіи якобинцевъ. Факты построены въ параграфы, въ главы и въ книги—какъ роты батальона и полки на смотру. Каждая группа фактовъ стоитъ подъ своимъ знаменемъ, издали виднымъ,—доказываетъ какой-нибудь господствующій фактъ; и цѣлая группа такихъ господствующихъ фактовъ ведетъ неизбѣжно къ дальнѣйшему общему выводу, который составляетъ содержаніе и заключеніе книги. А чтобы читателя не утомляла эта вереница фактовъ, неумолимо идущихъ въ одномъ направленіи, на помощь къ систематику является художникъ и неожиданно прерываетъ томительность работы, возлагаемой на память и логику читателя—мѣткимъ, остающимся навсегда словомъ, поразительной метафорой или блестящей красками картиной. Но достигъ ли художникъ цѣли, удалось ли ему скрасить для читателя безконечный, однообразный прибой фактовъ—этотъ вопросъ будетъ рѣшенъ каждымъ читателемъ лично для себя, смотря по своему интересу къ реальной и фактической истинѣ, къ своей способности любоваться и убѣждаться логикой и степенью своей привязанности къ легендѣ, разрушаемой Тэномъ.

Но обширный матеріалъ, собранный Тэномъ, имѣлъ цѣлью не одно только обличеніе якобинской легенды, а долженъ былъ служить основаніемъ для третьяго пріема *научнаго* метода. Этотъ третій пріемъ имѣлъ, какъ мы видѣли, въ отличіе отъ первыхъ двухъ, не аналитическій, а синтетическій характеръ. Онъ долженъ былъ связывать факты, чтобы выводить изъ нихъ *законы*. Здѣсь мы, по поводу Тэна, касаемся крупнаго различія между XVIII и XIX вѣками и направленіемъ ихъ представителей. Раціоналистическая философія XVIII-го вѣка и руководимое ими общественное мнѣніе исходили отъ отвлеченныхъ идей и принциповъ, которые выводились изъ разума. Французская революція, какъ бы ни была велика въ ней роль интересовъ и страстей, разыгралась подъ знаменемъ идей: историки революціи преимущественно интересовались борьбой идей и съ ихъ точки зрѣнія оцѣнивали людей и факты. XIX вѣкъ постепенно замѣнялъ поклоненіе отвлеченнымъ идеямъ и принципамъ поклоненіемъ *знанію*: вмѣсто того, чтобы спрашивать, что должно господствовать въ жизни, онъ спрашивалъ, какъ произошла эта жизнь и каковы условія ея существованія и преуспѣянія. Отъ культурныхъ *идей* вниманіе такимъ образомъ переносилось на культурные *законы*, т.-е. законы, обусловливавшіе собою развитіе культуры въ прошломъ и обезпечивающіе его въ настоящемъ и будущемъ. Уже *историческая* школа въ началѣ XIX вѣка пошла по этому пути. Эта потребность установить законы общественнаго развитія и благоденствія породила особенное спеціальное направленіе, которому было присвоено названіе *соціологіи*. И Тэнъ съ молодыхъ лѣтъ, среди борьбы вокругъ него противоположныхъ политическихъ идеаловъ, почувствовалъ необходимость *научной* почвы для своихъ убѣжденій и дѣйствій въ качествѣ члена извѣстнаго общества и гражданина. Исторія должна была доставить ему эту научную почву и онъ искалъ въ ней соціальныхъ законовъ. Это стремленіе вызвало въ немъ новый контрастъ по отношенію къ эпохѣ, которой онъ сдѣлался историкомъ. Идеи 1789 г. въ его глазахъ поблекли, а самые пріемы дѣйствій, которые были навѣяны этими идеями, подверглись критикѣ съ точки зрѣнія ихъ практической и общественной цѣлесообразности. Историческимъ подвигомъ учредительнаго собранія была конституція 1791 года, т.-е. преобразованіе всего государственнаго и общественнаго порядка Франціи. Дѣло это было для тогдашнихъ законодателей сравнительно легкое: нужно было лишь послѣдовательно примѣнять къ Франціи политическія теоріи, установившіяся въ философіи XVIII-го вѣка. Тэнъ же встрѣчаетъ это дѣло съ недоумѣ-

ніемъ и недовѣріемъ; вникнувъ въ историческую жизнь народа и усвоивъ себѣ *простую*, но важную своими послѣдствіями *истину*, что „человѣческое общество, въ особенности современное (moderne), есть обширное и сложное дѣло"—онъ пораженъ мыслью о трудностяхъ его преобразованія: „Если есть на свѣтѣ дѣло трудное, то это конституція, особенно полная. Замѣнить старыя рамки, въ которыхъ жила великая нація, другими, приноровленными къ ней и прочными, приложить механизмъ изъ ста тысячъ колесъ къ жизни двадцати-шести милліоновъ людей и устроить его такъ гармонично, приладить его такъ хорошо, такъ кстати, съ такой вѣрной оцѣнкою ихъ потребностей и ихъ способностей, чтобы они вошли въ него какъ бы сами собою и двигались въ немъ безъ толчковъ и чтобы ихъ новая, импровизированная дѣятельность могла сейчасъ же совершаться съ легкостью издавней сноровки!—такое предпріятіе изумительно и, по всей вѣроятности, превышаетъ силы человѣческаго духа".

Еще болѣе обширное примѣненіе нашелъ себѣ методъ Тэна въ исторіи якобинцевъ. Якобинцы являлись самыми преданными и послѣдовательными приверженцами либеральныхъ принциповъ 1789 года. Анализъ понятій долженъ былъ провѣрить это положеніе: этотъ анализъ установилъ, что принципы якобинцевъ были непосредственнымъ выводомъ изъ политической догматики Руссо и ставили ихъ въ полное противорѣчіе съ самими собою и съ господствовавшей идеей переворота 1789 года. Якобинцы были первымъ проявленіемъ въ французской исторіи того чисто политическаго типа, который Токвиль, 60 лѣтъ спустя, призналъ уже за обыкновенное явленіе французской жизни и опредѣлилъ въ лицѣ Маррата (Marrast), одного изъ главныхъ дѣятелей 1848 года, слѣдующимъ образомъ: онъ принадлежалъ къ заурядному типу (à la race ordinaire) французскихъ революціонеровъ, которые подъ свободою народа всегда понимали деспотизмъ, проявляемый во имя народа [1]).

Политическій анализъ долженъ былъ объяснить, какъ произошла эта перемѣна фронта и какъ сложился этотъ новый политическій *типъ*, который представляли собою якобинцы. Затѣмъ другой пріемъ Тэна—*размноженіе* фактовъ—нашелъ себѣ обширное поприще въ исторіи якобинцевъ, такъ какъ нужно было раскрыть характеръ и послѣдствія ихъ дѣятельности по всей территоріи Франціи и во всѣхъ областяхъ народной жизни. Необозримый матеріалъ, собранный Тэномъ, далъ ему возможность испол-

[1]) Souvenirs de A. de Tocqueville, 1893, p. 268.

нить третью свою задачу: провѣрить государственную и общественную дѣятельность якобинцевъ съ точки зрѣнія соціологическихъ законовъ и опредѣлить степень плодотворности или зловредности разсматриваемаго явленія въ интересахъ культуры и благоденствія человѣческаго. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ Тэнъ далеко отступилъ отъ господствовавшихъ въ французской исторіографіи взглядовъ, и исторія якобинцевъ получила поэтому у него новое и очень рѣзкое освѣщеніе. Изъ этихъ замѣчаній видно, что наша задача будетъ заключать въ себѣ слѣдующія части: разсмотрѣть методъ Тэна въ исторіи якобинцевъ—какъ разработку фактическаго матеріала, такъ и психологическое его освѣщеніе, и во-вторыхъ—соціологію Тэна по отношенію къ анализу политической дѣятельности якобинцевъ.

Интересно, вмѣстѣ съ тѣмъ, прослѣдить за самымъ возникновеніемъ исторіографіи Тэна, т.-е. за тѣмъ, какъ постепенно у него самого сложилось сознаніе своеобразныхъ, свойственныхъ ему, пріемовъ исторіографіи и цѣлесообразности ихъ. Это сознаніе выяснилось для него самого при критическомъ разборѣ произведеній другихъ историковъ, и сопоставленіе высказанныхъ по этому поводу сужденій Тэна проливаетъ интересный свѣтъ на его собственную дѣятельность. Уже въ первомъ критическомъ изслѣдованіи въ области исторіографіи, сдѣланномъ молодымъ Тэномъ въ „Опытѣ надъ Титомъ Ливіемъ“, обрисовывается сквозь критическія замѣчанія его представленіе о новой (moderne) научной исторіографіи. Не касаясь здѣсь этого вопроса, мы обратимся къ сужденіямъ Тэна о нѣкоторыхъ современныхъ ему историкахъ, которыя помогутъ намъ схватить характерныя черты его собственнаго ученаго и художественнаго творчества въ исторіи якобинцевъ.

Три историка привлекаютъ къ себѣ въ этомъ отношеніи наше вниманіе: Гизо, Мишлé и Маколей. Посвятивъ каждому изъ нихъ особое критическое изслѣдованіе (essai), Тэнъ вмѣстѣ съ тѣмъ характеризовалъ въ нихъ и три различныхъ направленія въ исторіографіи: въ лицѣ Гизо—*политическую* исторіографію, въ лицѣ Мишлé—*вдохновеніе*, а въ лицѣ Маколея—*ораторство* въ исторіографіи; въ противоположность этимъ тремъ направленіямъ въ рецензіяхъ Тэна обрисовывается предъ нами *четвертое*, то, котораго онъ самъ держался—направленіе *научное*.

Наилучшимъ введеніемъ въ изученію исторіи якобинской революціи Тэна можетъ послужить его разборъ сочиненія Гизо объ англійской или *пуританской* революціи. Въ мастерской рецен-

зіи, написанной за четверть вѣка до исторіи якобинцевъ, Тэнъ, можно сказать, уже вполнѣ отчетливо набросалъ очертанія и опредѣлилъ колоритъ своего будущаго труда, о которомъ онъ тогда едва ли думалъ. Два обстоятельства придаютъ этой рецензіи особое значеніе для читателей исторіи якобинства: аналогія сюжетовъ и различіе, почти можно сказать — противоположность, въ индивидуальности историковъ. Аналогичность предмета ограничивается не однимъ названіемъ, указывающимъ на общій характеръ совершившагося переворота; обѣ революціи были *поворотными* кризисами въ исторіи Англіи и Франціи, обѣ обильны поразительно сходными, иногда тождественными, событіями; главная же аналогія заключается въ томъ, что движущей силой въ обоихъ случаяхъ были фанатики, представляющіе собою характеръ *секты*, въ душѣ которыхъ нужно искать разгадку совершонныхъ ими событій. На эту психологическую сторону вопроса Тэнъ съ самаго начала обратилъ свое вниманіе, заявивъ, что „какъ необходимо сдѣлать психологическій анализъ пуританина, чтобы понять англійскую революцію 1649 года, такъ нужна психологія якобинца, чтобы понять революцію 1789 года во Франціи“ [1]). Отсюда понятно, что мнѣніе Тэна о томъ, слѣдовало ли Гизо писать исторію пуританъ, послужитъ намъ указаніемъ на то, какія требованія онъ тогда предъявлялъ къ исторіи якобинцевъ, и еслибы потомъ оказалось, что Тэнъ не остался вѣренъ программѣ, носившейся передъ нимъ въ началѣ его исторической дѣятельности, то эти отступленія укажутъ намъ, въ чемъ измѣнился его взглядъ подъ вліяніемъ жизненнаго опыта, и дадутъ намъ матеріалъ для психологіи самого автора. Съ другой стороны, рецензія Тэна на Гизо раскрываетъ предъ нами глубокое различіе индивидуальности этихъ двухъ историковъ. Однако молодой критикъ, имѣвшій по своей натурѣ и по своимъ научнымъ принципамъ столь мало общаго съ авторомъ разбираемой имъ книги, не только отнесся съ искренней почтительностью къ его заслугамъ, но и самыя возраженія свои облекъ въ формы утонченной, рыцарской вѣжливости. Рецензія Тэна представляетъ собой поразительный даже въ французской литературѣ образчикъ критической правды, высказанной въ формѣ почти безусловной похвалы.

„Существуютъ два мнѣнія насчетъ таланта г. Гизо,—такъ начинаетъ свою рецензію Тэнъ:—я сейчасъ изложу, въ чемъ заключается первое; самъ я держусь второго“. И затѣмъ, подъ

[1]) De l'Intelligence, p. 21.

видомъ мнѣнія „противниковъ“ Гизо, Тэнъ мѣтко изображаетъ то, чего недостаетъ историку англійской революціи. Опредѣливъ такимъ образомъ слабую сторону сочиненія Гизо, Тэнъ во второй половинѣ своей статьи оцѣниваетъ тѣ достоинства историка, которыми обусловливается значеніе его труда.

„У Гизо,—говорятъ его противники,—нѣтъ любознательности. У него нѣтъ интереса къ подробностямъ, къ *сырымъ* (crus) и мелочнымъ фактамъ. Онъ обходитъ молчаніемъ характерныя (distinctives) и пикантныя обстоятельства, которыя придаютъ разсказу рельефность и колоритъ. Онъ—ни біографъ, ни лѣтописецъ, ни живописецъ нравовъ, ни собиратель анекдотовъ. Онъ знакомъ съ парламентомъ, съ полемъ сраженія, съ площадью, но—не знаетъ кухни, алькова, столовой и будуара. Онъ иногда близко подходитъ къ описываемому событію, но не *входитъ* въ него“. Для поясненія своей мысли Тэнъ сравниваетъ разсказъ Гизо о возвращеніи Карла II въ Англію съ описаніемъ этого событія однимъ очевидцемъ. Въ этомъ описаніи читатель живо *видитъ* предъ собою сцену встрѣчи короля населеніемъ; у Гизо онъ ея не видитъ. Тэнъ беретъ разсказъ Гизо о судѣ парламента надъ Джемсомъ Нейлеромъ, фанатикомъ, близкимъ къ умопомѣшательству, воображавшимъ, что въ немъ воплотился Христосъ —и, сопоставивъ простой, дѣловой разсказъ Гизо съ отрывкомъ изъ дневника одного очевидца, восклицаетъ: „Смотрите, какія драгоцѣнныя подробности Гизо опускаетъ; это значитъ охотно и сознательно (de gaieté de coeur) пренебрегать патологіей революціи. Вотъ почему въ пуританахъ Гизо нѣтъ жизни. Нигдѣ онъ не показываетъ намъ эти стада фанатиковъ, сорвавшихся съ цѣпей изъ дома умалишенныхъ (Bedlams déchainés), которые представляли собою слабую и смѣшную сторону революціи и вмѣстѣ съ тѣмъ ея силу“. Тэнъ приводитъ отъ себя различныя характерныя проявленія тогдашняго религіознаго фанатизма и говоритъ: „Такіе *припадки*—не что иное, какъ симптомы великаго умственнаго недуга, который вызвалъ наружу и погубилъ англійскую революцію. Гизо избѣгаетъ этихъ мелочныхъ подробностей скандалёзной правды. Однако онѣ-то составляютъ *отличіе* этой эпохи отъ другихъ, опредѣляютъ видъ и степень господствовавшихъ въ ней страстей, своей обыденностью (familiarité) порождаютъ иллюзію дѣйствительности и своею яркостью возбуждаютъ интересъ. Нелѣпость, фанатизмъ, необузданность, всѣ подобныя нравственныя качества представляютъ собою *силы*. Никакое сужденіе, въ формѣ ли похвалы или укора, никакая общая фраза не даетъ намъ ихъ мѣры. Одни только мелкіе и голые *факты*

выражаютъ собою количественное опредѣленіе ихъ. Кто ихъ опускаетъ, тотъ въ состояніи дать намъ только неопредѣленную и приблизительную оцѣнку ихъ. Но въ природѣ всѣ величины—опредѣленнаго размѣра, и произведеніе искусства можетъ произвести на насъ впечатлѣніе лишь тогда, когда поступаетъ сходно съ природою. Пренебрегая фактами какъ указателями *силъ*, Гизо жертвуетъ личностью и чрезъ это лишаетъ себя власти надъ читателемъ; его разсказъ страдаетъ недостаткомъ опредѣленности и поразительности; его повѣствованіе недостаточно передаетъ дѣйствительную исторію и недостаточно популярно. Читая его, не чувствуешь себя въ Англіи".

Изъ этихъ замѣчаній мы можемъ заключить, что если Тэнъ возьмется за исторію якобинской революціи, то на первомъ планѣ у него будетъ стоять изображеніе фанатизма во всей его патологической уродливости, что историкъ будетъ „проявлять" припадки и симптомы современнаго психологическаго недуга въ безконечномъ рядѣ документальныхъ фактовъ и реалистическихъ подробностей, не избѣгая „скандалёзной правды"; что, приближаясь по методу къ естествоиспытателю, историкъ будетъ *мѣрить* и *взвѣшивать* проявленіе въ фактахъ изображаемой имъ психической *силы*, чтобы точно опредѣлить ея размѣръ и ея результаты.

Вмѣстѣ съ любознательностью, Гизо, по словамъ Тэна, подавляетъ въ себѣ еще и *страсть*. Оттого его книга написана въ одномъ тонѣ и въ одномъ стилѣ. „Всегда холодный и серьезный, онъ какъ будто поднимается надъ исторіей и разсматриваетъ событія, не перечувствовавши ихъ. У него нѣтъ ни рѣзкихъ выраженій, ни страстныхъ обвиненій, ни горячихъ похвалъ, ни пронизывающей иронія. Онъ не проникаетъ въ души, онъ не принимаетъ участія ни въ радостяхъ, ни въ горѣ, ни въ ожесточенной ненависти, ни въ восторженной преданности, ни въ движеніяхъ сердца, онъ не отдается своему дѣлу, онъ—не *художникъ*".

Прочитавъ эти слова, читатель знаетъ, что значитъ для Тэна быть художникомъ въ исторіи: это значитъ проникнуться страстью, которою дышатъ лица и событія въ картинѣ прошлаго, отдаться имъ и съ ихъ помощью воскресить прошлое къ жизни. Не довольствуясь указаніемъ общаго правила, Тэнъ самъ хватается за кисть и дорисовываетъ стоящее передъ нимъ полотно. Сопутствуя Кромвелю въ его завоеваніи Ирландіи, Гизо опредѣляетъ количество и качество людей, подвергшихся избіенію, и это все. „А между тѣмъ,—восклицаетъ Тэнъ,—какое поразительное зрѣлище

представляютъ эти избіенія (quels beaux massacres)! какой случай, чтобы дать почувствовать читателямъ холодную ярость, которая подталкивала мечи фанатиковъ!" И Тэнъ изображаетъ предъ нами страшную картину ночного нападенія на Дрогеду; мы видимъ съ нимъ наяву мрачныхъ пикёровъ Кромвеля, наканунѣ приготовившихся постомъ, псалмопѣніемъ и „смертоноснымъ чтеніемъ" Ветхаго завѣта и потому жаждущимъ исполнить кровавый завѣтъ Самуила и Давида—не щадить *нечестивыхъ*. Мы ощущаемъ „чадъ и увлеченіе бойни; мы слышимъ глухой крикъ, который въ минуту приступа вырывается изъ груди пуританъ".

Гизо,—заключаетъ Тэнъ,—пренебрегаетъ такимъ захватывающимъ душу зрѣлищемъ; онъ не дерзаетъ ощущать такія дикія страсти; удовлетворяя *политиковъ*, онъ анализируетъ для нихъ письма Кромвеля; живописцамъ же и психологамъ онъ отказываетъ въ изображеніи картины, которая представляла бы для *нихъ* интересъ. Подобнымъ же образомъ Гизо отказывается переживать мирныя и человѣчныя движенія души! Тэнъ приводитъ изъ его книги описаніе въѣзда Карла II въ Лондонъ, ту страницу, „въ которой наиболѣе жизни": даетъ ли намъ, однако, эта страница возможность переживать пламенное вожделѣніе и безумную радость, съ которыми англійскій народъ призвалъ и принялъ Стюартовъ? Вмѣсто психологической картины мы находимъ въ приведенномъ отрывкѣ лишь внѣшнія подробности церемоніальнаго шествія! „Гдѣ же здѣсь,—спрашиваетъ Тэнъ,—*чувства* уличной толпы? кто объяснитъ мнѣ причины ея ликованія? Я хочу видѣть ту страсть, которая произвела это событіе, ниспровергла десять правительствъ, побѣдила *побѣдителей* и пустилась искать бѣглеца, нищаго, изгоя, сына казненнаго отца, чтобы посадить его высоко надъ всѣми и принести къ его подножію всѣ гарантіи общественной свободы—среди почтительнаго восторга трехъ народовъ".

Переходя отъ критики все болѣе и болѣе къ дидактикѣ, Тэнъ съ юношескимъ пыломъ излагаетъ цѣлый рядъ правилъ для историковъ, и мы повторимъ его слова, чтобы дать читателямъ возможность самимъ судить, насколько онъ, 25 лѣтъ спустя, слѣдовалъ своимъ совѣтамъ. „Гизо,—говоритъ онъ,—забываетъ, что самый сильный талантъ заключается въ сочувствіи (sympathie), что великія событія состоятъ не во внѣшнихъ дѣйствіяхъ человѣка, а во внутреннихъ движеніяхъ души, что проницательность въ психологіи обусловливается собственной взволнованностью (émotion), что читатель замѣчаетъ нравственные толчки (secousses) совершающіеся въ исторіи только тогда, когда самъ ихъ въ себѣ испытываетъ, что историкъ долженъ становиться по очереди то

пуританиномъ, то роялистомъ, для того, чтобы изобразить пуританъ и роялистовъ, что сердце не менѣе, чѣмъ разумъ, является дѣятелемъ въ исторіи, и что тотъ, кто хочетъ изображать человѣческую жизнь, столь разнообразную и сложную, долженъ заставить свой талантъ принимать „всякіе аллюры“ и всевозможные тоны. Недостаточно быть серьезнымъ и солиднымъ; три четверти фактовъ ускользнутъ отъ этой манеры повѣствованія. Въ исторіи существуютъ и забавныя происшествія, и кулинарные факты, сцены бойни и тюрьмы, комедіи, фарсы, оды, драмы и трагедіи. Поэтому необходимо, чтобы историкъ умѣлъ быть поочередно забавнымъ, возвышеннымъ, тривіальнымъ и грознымъ. Онъ долженъ вмѣщать въ себѣ нѣсколькихъ поэтовъ различныхъ оттѣнковъ; Гизо же представляетъ собою лишь *одного прозаика*“. Тэнъ приходитъ къ заключенію, что „устраненіемъ нравоописательныхъ фактовъ и отсутствіемъ любознательности Гизо укоротилъ исторію; устраненіемъ страстей и отсутствіемъ симпатіи онъ ослабилъ свой талантъ“.

Такъ разсуждалъ Тэнъ въ смыслѣ „противниковъ“ Гизо, разсуждая притомъ лучше ихъ всѣхъ; послѣ того онъ перешелъ на точку зрѣнія, которую называлъ *своею*, и однимъ ударомъ отразилъ всѣ нападки на Гизо. Вся суть дѣла въ томъ, что Гизо—*государственный* человѣкъ и потому написалъ *политическое* сочиненіе; онъ мыслитель—и потому написалъ философскую исторію. Предметомъ своего труда онъ избралъ англійскую революцію, т.-е. исторію паденія пяти или шести преемственныхъ правительствъ и окончательное установленіе въ Англіи политической свободы. Это—сюжетъ *политическій* и, „чтобы удачно исполнить задачу, нужно имѣть въ виду только ее“. „Точный умъ не перемѣшиваетъ жанровъ“. Задавшись политической цѣлью, Гизо все сводитъ къ ней и пользуется матеріаломъ, насколько это нужно для его цѣли. Онъ касается нравовъ тамъ, гдѣ они имѣютъ политическое значеніе; объясняетъ происхожденіе и догмы сектъ, тогда, когда изъ религіозныхъ онѣ становятся политическими. Если онъ въ процессѣ Нейлера опустилъ черты, характерныя для фанатика, то это было сдѣлано имъ потому, что онъ пишетъ не исторію фанатиковъ, а приводитъ самый процессъ лишь для того, чтобы указать ошибку, которую сдѣлалъ парламентъ, превысивъ свою власть, и хитрость Кромвеля, который воспользовался этимъ случаемъ противъ парламента.

Такъ какъ мы имѣемъ здѣсь въ виду характеристику не Гизо, а самого Тэна, то не станемъ слѣдить далѣе за его защитой по-

литическаго *жанра* въ исторіи, а поспѣшимъ къ общему выводу, характеризующему его собственный *жанръ*.

Передавъ впечатлѣніе, которое производитъ мастерской разсказъ Гизо о политической комедіи, разъигранной Кромвелемъ, когда онъ потребовалъ для себя короны и отказался отъ нея, Тэнъ замѣчаетъ, что эта маленькая сцена, которая, можетъ быть, покажется вялой при бѣгломъ чтеніи, для внимательнаго читателя заключаетъ въ себѣ живую драму: „это—дипломатія въ дѣйствіи". Гизо здѣсь съ искусствомъ соединяетъ знаніе, интересъ сочетаетъ съ правдою. Въ данномъ вопросѣ онъ спеціалистъ, и это для всякаго очевидно. Чтобы писать исторію химіи, нужно имѣть руку, привычную орудовать химическими веществами; чтобы писать исторію политики, нужно имѣть навыкъ въ государственныхъ дѣлахъ. Литераторъ-психологъ, художникъ находится внѣ своей сферы, когда судитъ о договорѣ, о посольствѣ, о парламентскомъ маневрѣ, о дѣйствіяхъ какого-нибудь закона. Онъ можетъ рѣшать подобные вопросы только ощупью или по опрометчивому вдохновенію, или же на основаніи мнѣнія другихъ; если его сужденіе оригинально, оно не можетъ имѣть вѣса; если оно имѣетъ вѣсъ, оно не принадлежитъ ему. „Къ Гизо же мы въ этомъ случаѣ имѣемъ довѣріе, и мы скоро убѣждаемся, что *должны* имѣть довѣріе". Для примѣра Тэнъ указываетъ на изображеніе взаимныхъ отношеній Мазарина и Кромвеля въ книгѣ Гизо: „какъ великій игрокъ въ шахматы, Гизо здѣсь объясняетъ, восхищаясь ею, игру двухъ знаменитыхъ шахматныхъ игроковъ".

Тэнъ приходитъ къ выводу, что если видѣть въ книгѣ Гизо политическое сочиненіе, то въ ней окажется все, чего въ ней недоставало съ прежней точки зрѣнія—„и рельефное изображеніе существенныхъ обстоятельствъ, и характерныя слова, и документальныя выраженія, и сцена романа, правда, серьезнаго". Но сверхъ всего этого у Гизо можно найти изложеніе причинъ и объясненіе нравственныхъ переворотовъ, указаніе ошибокъ и искусства вождей, а также наклонностей массы, колебаній общественнаго мнѣнія и воли народовъ—„такъ что по прочтеніи книги никто не откажется признать необходимыми какъ самую революцію, такъ и послѣдовавшую за нею реставрацію".

Этимъ призваніемъ къ политической исторіи обусловливается у Гизо и господствующій тонъ, и свойственный ему одному (unique) слогъ. „Писатель,—говоритъ Тэнъ,—не выбираетъ себѣ слога, но получаетъ его отъ фактовъ, съ которыми имѣетъ дѣло. Его слогъ серьезенъ, если факты серьезны. Хотите вы быть живописцемъ нравовъ, интересуетесь вы тѣмъ, какъ измѣнялись чувства,—вамъ

придется посѣщать харчевни, гауптвахты, церкви, изучать страсти, проявившіяся въ 1648 году, и измѣрять ихъ силу. Вы въ этомъ случаѣ невольно утрачиваете серьезность и начинаете ощущать внутреннее возбужденіе. Сдѣлавшись любознательнымъ наблюдателемъ и психологомъ, вы отмѣчаете съ насмѣшкой или съ негодованіемъ странности, безуміе, энергію чувствъ... Вы предаетесь увлеченію—vous vous livrez à la verve. Вы въ состояніи смѣяться надъ Кромвелемъ или испытывать нервныя конвульсіи съ Буніаномъ. Вы какъ будто сидите въ театрѣ, и Кромвель для васъ актеръ, на котораго случай или его природа возложили обязанность на вашихъ глазахъ изобразить игру психическаго механизма въ человѣкѣ. Сочувствуете ли вы ему или вы его освищете, все равно; придетъ смерть и актера за ноги увлекутъ со сцены, чтобы очистить мѣсто для другихъ трагедій или комедій. Но если вы становитесь политическимъ историкомъ, для васъ въ одно мгновеніе все измѣняется. Тогда вы видите въ событіяхъ лишь общія направленія, великіе перевороты, которые подрываютъ или упрочиваютъ благоденствіе и свободу цѣлаго народа... Вы становитесь съ Кромвелемъ во главѣ дѣлъ; на такомъ посту нельзя поддаваться волненіямъ (émotions) и нѣтъ досуга смѣяться. Вы принуждены безпрестанно взвѣшивать событія, оцѣнивать людей,—и для такого дѣла вамъ нужно ваше хладнокровіе и все ваше вниманіе“... Таковъ именно Гизо. Всегда владѣя собой, онъ подвигается впередъ ровной, мѣрной и твердой поступью, приноравливая свой слогъ къ предмету, обнаруживая собою политика, какъ въ выборѣ событій, такъ и въ самомъ построеніи фразы, оставаясь всегда строгимъ и серьезнымъ (austère). Если Маколей,—заключаетъ Тэнъ,—описываетъ событія какъ ораторъ, т.-е. такъ, какъ ихъ трактуютъ на судѣ (comme on les plaide), Гизо пишетъ о дѣлахъ какъ государственный дѣятель, такъ, какъ ихъ создаютъ.

Однако не всякій государственный человѣкъ въ состояніи писать исторію. Гизо сталъ историкомъ, потому что обладалъ еще другимъ свойствомъ—онъ былъ философомъ. Философія исторіи была первой его наклонностью и первымъ его занятіемъ. Тэнъ объясняетъ, что философія исторіи Гизо заключалась не въ „импровизаціи величественной теоріи“, но „въ медленномъ и полномъ собираніи безчисленныхъ подробностей, осмотрительной и постоянной классификаціи ихъ, въ методическомъ извлеченіи изъ нихъ высокихъ идей, обставленныхъ доказательствами, въ усердной провѣркѣ всѣхъ общихъ взглядовъ“. Итакъ, помимо перваго свойства, необходимаго историку—умѣнья и терпѣнія собирать полностью всѣ факты, Гизо обладаетъ и вторымъ—искусствомъ привести эти

факты въ стройный порядокъ посредствомъ обобщенія ихъ философскою мыслью. Ибо порядокъ ихъ,—говоритъ Тэнъ,—даетъ фактамъ силу. „Когда факты, всѣ однородные между собою, безъ перерыва и съ возростающей силой движенія, бьютъ насъ все по одному и тому же мѣсту, мы подаемся подъ ихъ давленіемъ и ихъ напоромъ и насъ уноситъ потокъ, въ которомъ они слились. Ненарушимый порядокъ поддерживаетъ всѣ части такой исторіи. Каждая страница заканчивается общей мыслью; каждая глава или параграфъ соединяютъ свои страницы въ единый выводъ; каждый томъ оставляетъ опредѣленное впечатлѣніе, и мы испытываемъ благородное и чистое удовольствіе наблюдать, какъ разрозненные факты превращаются непринужденно и лишь подъ вліяніемъ своего взаимнаго сродства въ плотную ткань прочныхъ сужденій".

Философская мысль даетъ не только группировку фактовъ и раскрываетъ ихъ общее значеніе, такъ что „каждое слово представляетъ собою цѣлую главу", но и придаетъ величавость самому повѣствованію. Общія идеи подобны престолу, съ котораго философъ, возвысившись надъ другими людьми, спокойнымъ взоромъ смотритъ на грядущія передъ нимъ событія. Онъ подчиняетъ ихъ законамъ; онъ является ихъ властелиномъ. Онъ дѣлаетъ болѣе: выходя изъ круга частной исторіи, которую излагаетъ, онъ объемлетъ исторію въ ея совокупности, хотя бы и не велъ о ней рѣчи. Онъ извлекаетъ изъ событій поученія для всѣхъ людей и становится *моралистомъ* въ промежутки двухъ описываемыхъ имъ фактовъ".

Философскій духъ Гизо налагаетъ свою печать и на его слогъ. Разбирая этотъ слогъ, Тэнъ восклицаетъ, что въ наше время нельзя найти слога и духа такого *закала*. Чтобы найти нѣчто подобное, нужно обратиться ко временамъ Ѳукидида или Макіавелли. Приведя читателю нѣсколько образцовъ „фразъ, увлекающихъ сразу и не дающихъ критикамъ времени очнуться", Тэнъ заключаетъ: „это какое-то протяжное и страстное пѣніе. Правда, это поэзія *философская*, да еще протестантская; пусть такъ; страсть лишь выиграетъ, если она, какъ въ данномъ случаѣ, проникла сквозь двойную броню логики и вѣры".

Говорятъ,—заканчиваетъ Тэнъ,—что Гизо не любознателенъ, что онъ не художникъ,—можетъ быть. „Но онъ политикъ и философъ, а въ исторіи политической и философской всего выше *эти* свойства".

Прочитавши эту критику исторіи *пуританъ*, мы будемъ въ состояніи угадать, какъ Тэнъ сталъ бы писать исторію якобин-

цевъ. Не будучи спеціальнымъ политикомъ и „не имѣя навыка въ государственныхъ дѣлахъ“, Тэнъ не написалъ бы политической исторіи якобинства и оставилъ бы въ сторонѣ войны, дипломатію, парламентскіе маневры и законодательство. Его способности и наклонности увлекли бы его въ противоположную сторону. Будучи психологомъ и художникомъ, онъ предпочелъ бы политической исторіи культурную, нравоописательную и живописующую—анализъ чувствъ и страстей. Онъ обнаружилъ бы полную *любознательность* и сталъ бы повсюду производить свои наблюденія—въ клубѣ и на площади, въ салонѣ, въ якобинскомъ кабачкѣ; онъ спѣшилъ бы туда, гдѣ острыя и рѣзкія проявленія чувствъ даютъ психологу наиболѣе обильный матеріалъ. Поэтому онъ бы особенно интересовался патологическими элементами общества, тѣми случаями, гдѣ сила эмоціи приводитъ къ безумію и помѣшательству... Какъ современный психологъ, исходящій отъ физіологіи, онъ старался бы проникнуть до самыхъ первичныхъ ощущеній и похотей человѣка. Онъ сталъ бы употреблять въ дѣло микроскопъ, который въ интересахъ наблюдателя *преувеличиваетъ* явленія, и какъ натуралистъ не брезгалъ бы ни одной гадиной. Онъ не устранилъ бы страстей изъ исторіи и далъ бы читателямъ *осязать* холодное и острое желѣзо въ окровавленныхъ рукахъ фанатиковъ. Поэтому языкъ его не былъ бы однообразенъ и ровенъ. Мы услышали бы у него слова и обороты рѣчи, употреблявшіеся на гауптвахтѣ бунтующей національной гвардіи и въ засѣданіяхъ безграмотныхъ клубныхъ тирановъ. Его рѣчь была бы полна бойкихъ словъ, необузданныхъ обвиненій и пронизывающей ироніи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ бы и *философомъ*,—въ томъ смыслѣ, какъ онъ его опредѣлилъ. Медленное и полное собираніе безчисленныхъ подробностей переходило бы у него въ осмотрительную классификацію и методично завершалось бы общей идеей, обстоятельно доказанной. Несчетные однообразные факты безъ перерыва и съ возростающей силой движенія стали бы бить читателя по одному мѣсту, чтобы поразить его своею убѣдительностью. Каждая страница оканчивалась бы общей идеей, каждая глава и каждый отдѣльный ея параграфъ смыкались бы въ одномъ общемъ выводѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Тэнъ сталъ бы выводить читателя изъ круга мѣстной и національной исторіи на высоту, съ которой виднѣется общая судьба человѣчества; онъ извлекалъ бы изъ событій уроки, поучительные для всѣхъ людей, и сталъ бы великимъ учителемъ-моралистомъ среди двухъ революцій—раціоналистической и соціалистической, или демократической и якобинской.

Таковымъ Тэнъ въ дѣйствительности и оказался, когда много лѣтъ спустя послѣ критики на исторію пуританъ взялся за исторію якобинцевъ. Но не во всемъ онъ остался вѣренъ начертаннымъ имъ правиламъ исторіографіи.. Онъ не сдѣлался политикомъ по профессіи; демократическій строй его времени былъ для этого неблагопріятенъ; даже еслибы онъ этого и пожелалъ, для Тэна не нашлось бы мѣста ни въ палатѣ депутатовъ, ни даже въ генеральномъ совѣтѣ его департамента или въ парижскомъ муниципалитетѣ. Но пережитыя имъ событія и обширная задача, за которую онъ взялся—объяснить „происхожденіе современной Франціи“ выдвинула политическій интересъ и для него на первый планъ. Тогда и онъ сталъ видѣть въ событіяхъ „общее ихъ направленіе, великіе перевороты, которые подрываютъ или упрочиваютъ благоденствіе и свободу народовъ“. Это передвиженіе центра тяжести въ исторіи якобинцевъ привело къ перемѣщенію жанровъ въ исторіографіи, противъ котораго предостерегалъ Тэнъ въ своей критикѣ. И такъ какъ Тэнъ при этомъ оставлялъ въ сторонѣ „дипломатію, войны, борьбу партій въ парламентѣ и законодательство“, то политическій элементъ, внесенный имъ въ исторію якобинцевъ, получилъ еще болѣе теоретическую дидактическую окраску. Вмѣстѣ съ тѣмъ историкъ, сдѣлавшись политикомъ и моралистомъ, былъ принужденъ отступить отъ самаго коренного правила своей критики. Онъ лишился возможности „поочередно становиться пуританиномъ и роялистомъ“—изъ живописца-психолога онъ сдѣлался *судьею*.

Отъ критики строгаго и величаваго Гизо перейдемъ къ увлекающемуся и симпатичному Мишлé. Всякій читатель, знакомый съ сочиненіемъ Мишлé о французской революціи, узнавъ, что Тэнъ писалъ о Мишлé, возьмется, конечно, съ сильнымъ любопытствомъ за его статью. Нельзя вообразить себѣ большаго контраста, какъ изображеніе французской революціи у этихъ двухъ писателей, а чѣмъ рѣзче контрастъ, тѣмъ поучительнѣе можетъ быть критическая оцѣнка одного писателя другимъ. Къ сожалѣнію Тэнъ не коснулся исторіи революціи Мишле. Его статья вызвана тремя появившимися въ 1855—1856 г. книгами Мишлé—о „Возрожденіи“, о „Реформѣ“ и лирической поэмой въ прозѣ „Птица“. Тѣмъ не менѣе замѣчанія Тэна заключаютъ въ себѣ не мало характернаго не только для Мишлé, но и для самого критика его и будущаго историка якобинцевъ. Въ чрезвычайно оригинальной формѣ выразилъ Тэнъ свое сужденіе о Мишлé, и наблю-

деніе надъ частнымъ фактомъ послужило ему исходной точкой для установленія общаго принципа критики. Кантъ, какъ извѣстно, утверждалъ, что наши представленія частью обусловливаются самими предметами, частью же свойствомъ нашего ума, что внѣшніе предметы, поражая нашъ умъ, встрѣчаютъ въ немъ присущую ему форму пониманія; вслѣдствіе этого полученный нами извнѣ образъ измѣняется, и наша правда не есть соотвѣтствующая внѣшней реальности или настоящая правда. Это ученіе,—говоритъ Тэнъ,—въ философіи является гипотезой, но въ критикѣ должно считаться основнымъ правиломъ. „Наши свойства управляютъ нами, наши способности вводятъ насъ въ заблужденіе или научаютъ насъ; основное строеніе нашего *я* подсказываетъ намъ наши ошибки и наши открытія. Анализировать умъ—значитъ вкратцѣ опредѣлить впередъ его открытія и его заблужденія".

По своему обычаю, при анализѣ личности, отыскивать въ ней *господствующее* свойство, налагающее свою печать на лицо и всѣ его произведенія, Тэнъ признаетъ основнымъ свойствомъ Мишлé чуткое *воображеніе*. Въ силу этого воображенія онъ живо ощущаетъ чувства и страсти, какъ отдѣльныхъ людей, такъ и цѣлыхъ эпохъ; онъ съ легкостью становится современникомъ давно промелькнувшихъ людей и цивилизацій; ихъ чувства мгновенно переходятъ къ нему; его душа трепещетъ и звучитъ подобно лирѣ при звукѣ всякой страсти и всякаго горя; онъ вбираетъ въ себя чувства, которыя, повидимому, навсегда исчезли и схоронены въ пыли старыхъ книгъ.

Тэнъ опредѣляетъ свойство, которымъ обладаетъ Мишлé, воображеніемъ *сердца* и отличаетъ его отъ другого рода воображенія, болѣе свойственнаго живописцамъ, чѣмъ поэтамъ, руководящагося болѣе глазомъ, чѣмъ сердцемъ, и потому представляющаго предметы рельефно и живописно, съ точными формами и живыми красками. Въ силу свойственнаго *ему* воображенія, Мишлé видитъ въ формахъ и краскахъ только затаенную душу и страсть, которой онѣ служатъ внѣшнимъ выраженіемъ; онъ даетъ просторъ своему воображенію не для того, чтобы *видѣть* и описывать, а чтобы *чувствовать*; его великій даръ заключается въ способности воспринимать эмоцію (d'être ému).

Эта способность развита у него до крайности, до болѣзненной чувствительности. „Толчки, которые мы едва ощущаемъ, заставляютъ его вскрикивать. Иные скажутъ, пожалуй, что онъ вскрикиваетъ по привычкѣ и по принципу (de parti pris)". Вслѣдствіе такой воспріимчивости всякое ощущеніе дѣйствуетъ на него какъ очевидная истина и овладѣваетъ его убѣжденіемъ. Оттого

онъ не знаетъ сомнѣній. „Экзальтированная чувствительность даетъ ему краснорѣчіе, инстинктъ исторической правды, психологическій смыслъ, способность воскрешать прошлое къ жизни. Но также неизбѣжно налагаетъ она на него необходимость принимать сомнительныя гипотезы за несомнѣнныя истины, преображать факты въ восклицанія, общія идеи—въ аллегоріи, преувеличивать и искажать выраженія и обороты своей рѣчи". Воображеніе сердца есть источникъ поэзіи. Оттого исторія Мишлé заимствуетъ свою форму у поэтическихъ произведеній. Авторъ вступаетъ съ историческими лицами въ разговоръ, онъ слышитъ ихъ отвѣты; діалогъ и драма ежеминутно прорываются въ его повѣствованіи; восклицанія, диѳирамбъ, проклятія, личныя признанія, увѣщанія—кишатъ въ разсказѣ и превращаютъ его въ лирическую поэму.

Языкъ историка возвышается до паѳоса галлюцинаціи и наводитъ сомнѣніе на читателя. А языку соотвѣтствуетъ методъ... Читатель не можетъ не придти въ недоумѣніе, когда видитъ, какъ мелкій фактъ возводится въ символъ цивилизаціи, отдѣльный человѣкъ—въ представителя цѣлой эпохи, какъ идеи воплощаются въ лицахъ, лица теряютъ свой реальный образъ и становятся историческими памятниками; факты превращаются въ идеи, а идеи въ факты. Тэнъ признаетъ, что *симпатія* Мишлé къ тому, что онъ описываетъ, становится для него источникомъ таланта; но талантъ при этихъ условіяхъ ведетъ къ поэзіи, а не къ наукѣ. Онъ признаетъ, что страстность Мишлé заразительна, что она передается читателю, заставляя его страдать и увлекая его. Однако эта страстность не ведетъ къ истинѣ. Отмѣтимъ здѣсь съ особеннымъ вниманіемъ то, что Тэнъ говоритъ о „необузданныхъ" (violentes) выраженіяхъ Мишлé. Страстность, обратившаяся въ болѣзнь, „ведетъ къ привычкѣ приносить въ жертву *точное* выраженіе выраженію сильному (violente)"; а какъ скоро писатель начинаетъ принимать *необузданность* своихъ выраженій за признакъ художественности (le violent devient le beau), онъ уже не ставитъ предѣловъ этому свойству впадаетъ въ реторику и даже становится смѣшонъ".

Отъ анализа личныхъ свойствъ историка Тэнъ переходитъ къ общему взгляду на исторію. Исторіи, основанной на вдохновеніи, онъ противополагаетъ исторію *доказательную*, на подобіе Маколеевской исторіи Англіи: „Я не стану говорить о цитатахъ и ссылкахъ, которыя отъ времени до времени появляются подъ страницей, чтобы оправдать наиболѣе поразительные факты и дать читателю средства для провѣрки текста; я имѣю въ виду

порядокъ идей и слога; факты, правильно сгруппированные по разрядамъ; всѣ эти разряды, естественно расположенные около господствующей идеи; каждый изъ фактовъ снабженъ объясненіями, поддержанъ другими и невидимой, но прочной связью сцѣпленъ съ цѣлымъ; всѣ движенія страсти мотивированы разсужденіями и фактами; полное отсутствіе декламаціи, преувеличеній и гипотезъ; общія идеи установлены такъ же твердо, какъ и частные факты; повсюду разумъ, здравый смыслъ, критика и логика,—таковы основанія, на которыхъ зиждется довѣріе читателей и авторитетъ историковъ. Когда кто-нибудь на протяженіи восьми томовъ, на каждой страницѣ и въ каждой строкѣ, въ вопросахъ всякаго рода, на тысячѣ фактовъ, на безконечныхъ подробностяхъ, доказываетъ, что онъ осмотрителенъ, что онъ идетъ впередъ лишь съ документами въ рукахъ, что онъ вѣрно ихъ истолковываетъ, что его сужденіе никогда не колеблется, что страсть никогда его не увлекаетъ,—тогда насъ оставляетъ наше недовѣріе, мы принимаемъ всѣ итоги его изысканій, мы усвоиваемъ себѣ его воззрѣніе и каждый изъ насъ говоритъ, наконецъ, въ свою очередь: я вѣрю".

„Должны ли мы,—спрашиваетъ послѣ этого Тэнъ,—вѣрить Мишлé? Что касается меня, то, на основаніи опыта, я отвѣчаю: *да*; ибо когда изучаешь документы эпохи, которую онъ изучалъ, испытываешь чувство, подобное его чувству, и находишь, что въ концѣ концовъ выводы его угадывающаго лиризма почти такъ же точны, какъ и тѣ, которые добыты терпѣливымъ анализомъ и медленнымъ обобщеніемъ". Тэнъ находитъ только, что такая провѣрка убѣдительна лишь для того, кто ее самъ произвелъ, и лишь по отношенію къ той части, которая провѣрена; публика же не можетъ относиться съ довѣріемъ къ сочиненіямъ, которыя подаютъ поводъ къ самымъ справедливымъ и основательнымъ сомнѣніямъ. Публика видитъ живые образы, но не знаетъ, воскрешены ли они, или только изобрѣтены. „Авторъ говоритъ какъ пророкъ, а въ дѣлѣ исторіи пророкамъ не вѣрятъ".

Несмотря на сдѣланныя Тэномъ оговорки, его отзывъ о *достовѣрности* историческихъ вдохновеній Мишлé можетъ нѣсколько удивить читателя и показаться противорѣчіемъ. Но это лишь оборотъ утонченно-вѣжливой критики, которая хотѣла пощадить обще-любимаго историка; притомъ Тэнъ не столько имѣлъ въ виду осудить полную увлеченія манеру Мишлé, сколько оттѣнить на этомъ фонѣ другую, болѣе точную и научную. И нужно сказать, что онъ съ замѣчательной ясностью противопоставилъ исторіографіи *инстинктъ* тотъ методъ анализа и индукціи, котораго онъ

сдѣлался первымъ блестящимъ представителемъ. Мишлé, какъ историкъ—это „страстное вдохновеніе, крайняя и поэтическая чувствительность, способность открывать чувства, волновавшія прошлое, переживать ихъ, узнавать другія существа, преобразуясь въ нихъ. Для него наука и исторія—не дѣло анализа, а дѣло инстинкта. Вмѣсто того, чтобъ устанавливать факты одинъ за другимъ, съ осмотрительностью идти шагъ за шагомъ, доказывая каждое положеніе, создавать правильныя классификаціи, медленно выводить общіе законы, опредѣлять ихъ сухими формулами, провѣрять ихъ двадцать разъ съ сомнѣніями скептика, тщательно исправлять всякое выраженіе, чтобъ достигнуть совершенной точности,—вмѣсто всего этого Мишлé необузданно врывается въ исторію, съ криками гнѣва или восторга, угадываетъ характеръ по одному слову, судитъ человѣка по одному портрету; онъ изображаетъ своихъ лицъ какъ ихъ пламенный другъ или врагъ, руководится симпатіями или злобой, замѣняетъ критику поэтическимъ экстазомъ и сквозь страстные порывы проникаетъ къ истинѣ. Другіе отстраняютъ страсть, какъ покрывало, застилающее истину—онъ хватается за нее, какъ за свѣточъ; другіе отвергаютъ инстинктъ, какъ слабость; онъ отдается ему, какъ силѣ; другіе избѣгаютъ диѳирамба, какъ обмана; онъ вдохновляется имъ, какъ средствомъ откровенія".

Существенное различіе между этими двумя методами писать исторію основано на томъ, что они принадлежатъ двумъ различнымъ взглядамъ на исторію. „Исторія, правда, искусство, но она также и наука; она требуетъ отъ писателя вдохновенія, но она требуетъ также размышленія; ея орудіями должны служить осторожная критика и осмотрительное обобщеніе; нужно, чтобы ея картины были такъ же жизненны, какъ въ поэзіи, но необходимо притомъ, чтобы языкъ ея былъ такъ же точенъ, ея группировка фактовъ такъ же мѣтка, ея законы такъ же доказаны и ея индукціи такъ же вѣрны, какъ въ естественной исторіи".

Выводъ тотъ, что историкъ, оставаясь художникомъ, не долженъ забывать, что исторія—наука, и въ этомъ отношеніи долженъ быть *натуралистомъ*. Но развѣ Мишлé не натуралистъ? развѣ естественныя науки не поглощали его вниманія? онъ написалъ цѣлыя книги о *птицахъ*, о *насѣкомыхъ*, о *рыбахъ*, о *горахъ* и о *морѣ*? Но именно эти труды Мишлé могутъ показать намъ, что *натурализмъ*, котораго требуетъ Тэнъ, заключается не столько въ предметѣ изученія, сколько въ методѣ. Тэнъ, ссылаясь на признанія самого Мишлé, говоритъ, что этотъ авторъ многочисленныхъ книгъ по естественной исторіи случайно сдѣлался

натуралистомъ. Живя въ деревнѣ, посвящая свое время уходу за больной женой, онъ сталъ всматриваться въ окружающую ихъ природу, прислушиваться къ соловью, который пѣлъ надъ ихъ головой. Однако эта случайность, на которую указываетъ Тэнъ, заключалась тутъ только въ поводѣ для Мишлé взяться за перо для описанія жизни природы. Натуралистомъ въ томъ смыслѣ, какъ онъ это понималъ, Мишле былъ уже гораздо раньше въ „Исторіи Франціи“ и въ книгѣ о „Народѣ“. Дѣло въ томъ, что, становясь натуралистомъ, онъ не переставалъ быть тѣмъ, чѣмъ былъ по природѣ—*мечтательнымъ филантропомъ*. Въ политикѣ его задушевная мысль состояла въ томъ, какъ бы поднять темныя массы народа, его окружавшаго, какъ поднять дикарей темныхъ материковъ и все человѣчество на ту высоту просвѣщенія, поэзіи и любви, въ которой онъ виталъ; ту же идею онъ внесъ въ природу; вся его орнитологія проникнута мечтой о томъ, какъ защитить преслѣдуемыя всѣми породы птицъ, какъ ради этого въ птицѣ раскрыть для человѣка *душу*, доказать, что въ этомъ легкомъ, мимолетномъ явленіи живетъ *личность*, которая испытываетъ вожделѣнія и страданія? Желая дать намъ понять таинственную жизнь безчисленныхъ породъ, составляющихъ безконечную лѣстницу природы, Мишлé всюду чуетъ душу человѣка, всюду слышитъ человѣческое горе и радость; въ своемъ поэтическомъ антропоморфизмѣ онъ не останавливается передъ неодушевленной природой; у него и камень, покрытый мхомъ, и кристаллъ, и дремучій лѣсъ, и одинокая снѣжная вершина Альпъ, и грозный океанъ съ своимъ бурнымъ приливомъ—все живетъ жизнью человѣка и, какъ онъ, чувствуетъ и любитъ трепетной душою. Въ результатѣ получается поэтическій пантеизмъ, мистическій сонъ, въ которомъ вся міровая жизнь „представляется непрерывной *таинственной невидимой свободой*“.

Въ сущности и Тэнъ исходитъ отъ пантеизма, и хотя онъ облекаетъ свои пантеистическія убѣжденія въ не менѣе поэтическіе образы, чѣмъ Мишлé, его пантеизмъ, однако, представляетъ противоположныя черты. Въ основаніи его лежитъ не вдохновленный инстинктъ (intuition), а логическій анализъ; онъ сводитъ жизнь природы не на поэтическую метафору, а на научный процессъ; онъ не вноситъ человѣка въ природу, чтобы объяснить нашимъ сознаніемъ ея безсознательную жизнь, а, напротивъ, въ человѣкѣ изучаетъ физическую природу, чтобы наблюденіемъ надъ ея безсознательными или механическими процессами объяснить его сознаніе и душу. Не даромъ Мишлé, описавъ всевозможныя области природы, избѣгнулъ той, которая всего ближе стоитъ къ

человѣку—области животнаго; мечтательному филантропу, который идеализировалъ человѣка, и не только человѣка, какъ духовное существо, а человѣка конкретнаго, хотя бы въ образѣ дикаря,—было пріятно видѣть отраженіе души человѣка въ птицѣ, поднимающейся подъ небеса, но онъ сторонился отъ слишкомъ реальныхъ и не поддающихся поэзіи аналогій съ человѣкомъ, которыя представляетъ царство табунныхъ животныхъ или хищныхъ и кровожадныхъ звѣрей. Тэнъ, напротивъ, любитъ изъ этой именно области заимствовать свои поразительныя аналогіи, когда, напр., изображаетъ натискъ варваровъ на античный культурный міръ или жестокіе инстинкты, пробуждающіеся въ разъяренной толпѣ людей при видѣ беззащитной жертвы.

Это различіе между натурализмомъ Мишлé и Тэномъ находится въ связи съ различіемъ ихъ художественнаго таланта. Художественность Мишлé питается преимущественно его „воображеніемъ сердца", его поэтическимъ идеализмомъ; онъ, однако, не даромъ былъ современникомъ французскихъ романтиковъ и живописцевъ-реалистовъ; онъ не даромъ любилъ всматриваться въ природу и особенно въ ея элементарные процессы. Потому, оставаясь мечтателемъ въ идеалахъ, онъ въ формахъ и колоритѣ впадалъ иногда въ самый крайній реализмъ. Справедливо говоритъ о немъ Тэнъ, что онъ „рѣшается брать самые грубые (crus) тоны, роется въ грязи страстныхъ выраженій, извлекаетъ изъ медицины и простонароднаго языка подробности, которыя поражаютъ и ужасаютъ, и все это покрываетъ блестящими метафорами, бросающими какъ бы пурпуровый отливъ на всѣ гадости (souillures), имъ раскрытыя". Здѣсь не мѣсто приводить въ доказательство примѣры изъ твореній Мишлé, а достаточно опредѣлить общее впечатлѣніе, которое производитъ реализмъ живописца Мишлé. Оставляя въ сторонѣ историческіе портреты, гдѣ суть дѣла въ сходствѣ и въ правдѣ, хотя бы она была безобразна,—можно сказать, что реализмъ въ живописи Мишлé поражаетъ и часто даже отталкиваетъ своимъ контрастомъ съ паѳосомъ и чувствительностью его идеализма. Мишлé походитъ въ этихъ случаяхъ на живописца, который сталъ бы изображать въ самыхъ реальныхъ формахъ и сочныхъ краскахъ ангеловъ и демоновъ, привидѣнія и легендарные образы.

Мы впослѣдствіи укажемъ, какимъ живописцемъ является Тэнъ и какъ его реализмъ гармонируетъ съ его натурализмомъ; намъ нельзя, однако, оставить обоихъ историковъ, не познакомивъ читателя съ заключительной оцѣнкой Мишлé, сдѣланной Тэномъ. Она даетъ образцовую въ своей сжатости характери-

стику перваго и доказываетъ замѣчательную способность второго оцѣнивать талантъ и направленіе, ему чуждые.

Указавши на странности сравненій, образовъ и слога Мишлé, на его „экзальтацію факира, чувствительность нервной женщины, привычку думать вслухъ и слишкомъ громко", Тэнъ спрашиваетъ: „Слѣдуетъ ли осуждать эти излишества? Они искупаются достоинствами (les beautés) писателя, и безъ нихъ не было бы и этихъ достоинствъ — его геніальность заключается въ его страстности. А помимо того, этотъ складъ ума представляетъ собою *типъ*; онъ имѣетъ право на существованіе, какъ и всякій другой; что было бы безсмысленно въ другомъ, то имѣетъ смыслъ въ этомъ случаѣ. Всякій типъ хорошъ, какъ онъ есть—въ мірѣ мыслей, какъ и въ мірѣ животной жизни. Его идеалъ и его законъ заключаются въ томъ, чтобы проявить себя въ полномъ своемъ развитіи, и если у кого-либо духовный складъ развился въ полномъ объемѣ, такъ это у Мишлé. Никто не будетъ ставить въ упрекъ цаплѣ ея длинныя, хрупкія ноги, ея тощее тѣло, ея созерцательную и неподвижную позу... Она выражаетъ собою „идею" природы, и дѣло натуралиста понять ее, а не насмѣхаться надъ нею. Критикъ есть такой натуралистъ душевнаго міра. Онъ мирится со всѣми его формами, не осуждаетъ ни одной и всѣ ихъ изображаетъ; онъ того мнѣнія, что страстное воображеніе —такая же законная и прекрасная сила, какъ метафизическая способность и ораторская мощь; вмѣсто того, чтобъ яростно разрывать ее, онъ ее осторожно различаетъ; онъ ставитъ ее въ одинъ музей съ другими и на одну доску съ ними; глядя на нее, онъ любуется разнообразіемъ природы; онъ не требуетъ отъ нея, чтобы она ослабила себя, подчинилась вліянію противоположныхъ свойствъ, становилась благоразумною и осторожною; ему нравятся даже ея безразсудства и промахи. Болѣе того: въ силу долгаго наблюденія, онъ преображается въ нее; по привычкѣ объяснять ея дѣйствія и признавать ихъ послѣдовательность, онъ невольно самъ ей подражаетъ. Жоффруа Сентъ-Илеръ говорилъ, что когда онъ въ Египтѣ лежалъ на пескѣ на берегу Нила, онъ чувствовалъ въ себѣ инстинкты крокодила. Анализируя страстное воображеніе, критикъ до того входитъ въ его видѣнія и его страсть, что находитъ эту страсть и эти видѣнія натуральными. Если онъ берется судить его, то не для того, чтобы найти его прекраснымъ или отталкивающимъ, а чтобы показать, пригодно ли или непригодно оно для извѣстной цѣли. Натуралистъ скажетъ, что цапля создана, чтобы жить въ болотѣ, и не могла бы жить на сухой равнинѣ. Критикъ думаетъ, что страстная чувствительность, при-

мѣненная къ философіи и исторіи, должна открыть высокія истины, надѣлать много ошибокъ, выставить много рискованныхъ гипотезъ, мало доказать и многое преувеличить; но, примѣненная къ области искусства, она создаетъ самые живые характеры, самыя потрясающія драмы, самый увлекательный слогъ, самые наглядные пейзажи; что она пламеннымъ дуновеніемъ вдохнетъ жизнь въ косныя существа; что, разгуливая отъ полюса до экватора, отъ Америки къ Азіи, она пробудитъ въ нашемъ мозгу фантасмагорію лучезарныхъ видѣній, полная творческой силы, пылкая, порывистая, всеобъемлющая, подобная великой природѣ, которая въ бушующей жизни тропиковъ проявляется во всей своей мощи и блескѣ. Говорятъ, что теперь во Франціи три поэта; Мишлé— четвертый, и его проза въ художественности и въ талантѣ достойна ихъ стиховъ" [1]).

Отъ представителя историческаго лиризма обратимся къ историку-*оратору*, къ Маколею. Статья Тэна о Маколеѣ можетъ служить образцомъ умѣнья уловить въ литературномъ произведеніи отраженіе извѣстной *расы* и культуры и воспользоваться свойствами и направленіемъ писателя для характеристики народа и эпохи, которымъ онъ принадлежитъ. Но эта сторона дѣла лежитъ внѣ рамокъ нашей теперешней задачи.

Анализируя Маколея какъ писателя, Тэнъ характеризуетъ его со всѣхъ сторонъ—изображаетъ его взглядъ на вещи и способъ разсуждать (comme raisonneur), его ученость, свойства его ума, напр. его „юморъ" (l'homme d'esprit) и его поэтическій талантъ (напомнимъ здѣсь, что Маколей пытался возсоздать въ поэтической формѣ тѣ *былины*, изъ которыхъ, по гипотезѣ Нибура, возникла первоначальная римская исторія). Но намъ нѣтъ надобности останавливаться на этихъ свойствахъ Маколея, тѣмъ болѣе, что всѣ они блѣднѣютъ, въ оцѣнкѣ Тэна, передъ главнымъ свойствомъ, которое французскій критикъ раскрываетъ въ англійскомъ историкѣ — его *ораторской* способности и наклонности.

Въ чемъ же заключается это свойство? Показывая намъ его проявленіе у Маколея, Тэнъ даетъ намъ возможность составить себѣ о немъ общее понятіе. *Ораторство*, во-первыхъ, заключаетъ въ себѣ *даръ убѣждать* и *доказывать* (prouver). Это свойство прежде всего поражаетъ въ Маколеѣ. „Онъ доказываетъ все, что говоритъ, съ удивительною силою и авторитетомъ. Слѣдуя за

---

[1]) Написано при жизни Мюссé, Ламартина и Виктора Гюго.

нимъ, можно быть почти увѣреннымъ въ томъ, что не впадешь въ заблужденіе. Если онъ приводитъ чье-нибудь свидѣтельство, то начинаетъ съ того, что взвѣшиваетъ правдивость и разумѣніе авторовъ, на которыхъ ссылается, и исправляетъ ошибки, сдѣланныя ими по оплошности или пристрастію. Если онъ произноситъ сужденіе, то опирается на самые достовѣрные факты, на самые ясные принципы, на самые простые и послѣдовательные доводы. Онъ никогда не теряется въ отступленіяхъ, а всегда имѣетъ передъ глазами свою цѣль; онъ идетъ къ ней самымъ вѣрнымъ и прямымъ путемъ. Если онъ возвышается до общихъ соображеній, то поднимается къ нимъ шагъ за шагомъ по всѣмъ ступенямъ обобщенія, не опуская ни одной; ежеминутно онъ изслѣдуетъ (sonde) свою почву; онъ ничего не прибавляетъ къ фактамъ, ничего не убавляетъ; онъ старается цѣною всѣхъ предосторожностей и всевозможныхъ изслѣдованій дойти до точной истины; онъ обладаетъ значительнымъ числомъ философскихъ идей всякаго рода, но его ученость такой же высокой пробы, какъ и его философія; та и другая даютъ монету, достойную быть въ ходу среди всѣхъ мыслящихъ людей. Чувствуешь, что онъ ничему не вѣритъ безъ основанія, что еслибы вы усомнились въ одномъ изъ фактовъ, имъ приводимыхъ, или въ одномъ изъ мнѣній, имъ предлагаемыхъ, вы бы тотчасъ наткнулись на цѣлую массу подлинныхъ документовъ и на сомкнутый батальонъ убѣдительныхъ доводовъ"...

Этотъ даръ убѣждать усиленъ даромъ *развивать* (développer) и выяснять предметъ. „Маколей вноситъ свѣтъ въ невнимательные умы, какъ вноситъ убѣжденіе въ умы непокорные. Невозможно его не понять; онъ подходитъ къ своему предмету со всѣхъ концовъ, онъ переворачиваетъ его со всѣхъ сторонъ; онъ какъ будто занимается отдѣльно съ каждымъ изъ своихъ читателей и старается сдѣлаться ему понятнымъ; онъ соизмѣряетъ силу каждаго ума и подыскиваетъ для каждаго подходящій способъ изложенія; онъ всѣхъ насъ беретъ за руку и поочередно ведетъ къ намѣченной имъ цѣли. Онъ отправляется отъ самыхъ простыхъ данныхъ, онъ сходитъ на уровень нашего ума; онъ избавляетъ насъ отъ непріятности малѣйшаго усилія и затѣмъ ведетъ насъ за собою; по пути онъ намъ вездѣ равняетъ дорогу; мы поднимаемся понемногу, не замѣчая подъема, и стоимъ, наконецъ, на высотѣ, совершивши переходъ такъ же удобно, какъ по равнинѣ".

„Если предметъ теменъ, онъ не довольствуется первымъ объясненіемъ, а даетъ намъ другое и третье; онъ въ изобиліи расто-

чаетъ свѣтъ, принося его со всѣхъ сторонъ, заимствуя его изъ всѣхъ областей исторіи, и что̀ удивительно—онъ никогда не бываетъ слишкомъ длиненъ. Читая его, чувствуешь себя какъ бы дома, сознаешь себя способнымъ понимать, жалѣешь, что такъ долго принималъ полумракъ за свѣтъ, и радуешься, что онъ обдаетъ васъ, наконецъ, такими обильными волнами; точный слогъ, антитеза идей, симметрическое построеніе, искусно противопоставленные параграфы, энергически выраженные итоги, правильное слѣдованіе мыслей, частыя сравненія, прекрасное сочетаніе цѣлаго—*нѣтъ ни одной идеи, ни одной фразы въ его сочиненіяхъ, въ которыхъ не проявлялись бы ярко даръ и потребность выяснять, составляющіе существенное свойство оратора* (le prorpe de l'orateur)".

„Маколей—членъ парламента и, какъ идетъ молва, говоритъ такъ хорошо, что его слушаютъ просто ради удовольствія его слышать. Привычка трибуны, можетъ быть, является причиною этой несравнимой ясности. Чтобы убѣдить большое собраніе, нужно обращаться ко всѣмъ его членамъ; чтобы удержать вниманіе людей разсѣянныхъ и утомленныхъ, нужно избѣгать для нихъ всякаго утомленія. Говорить публично—значитъ *популяризировать* идеи; это значитъ совлекать истину съ высоты, на которой она обитаетъ среди немногихъ мыслителей, чтобъ заставить ее сойти въ толпу; это значитъ поставить ее на одинъ уровень съ обыденными умами, которые безъ этого посредничества видѣли бы ее лишь издали и высоко надъ собою. Поэтому когда великіе ораторы соглашаются писать, они становятся самыми могучими изъ писателей; они дѣлаютъ философію популярною; они поднимаютъ умы всѣхъ на цѣлый этажъ, и какъ бы повышаютъ разумѣніе человѣческаго рода.

„Если съ даромъ убѣждать и выяснять соединяется желаніе ими пользоваться, то это порождаетъ страстность (on arrive à la véhémence). Эти сжатыя и частыя разсужденія, идущія къ одной цѣли, эти повторенные удары логики, ежеминутно одинъ за другимъ сокрушающіе противника, придаютъ языку пылъ и страсть. Рѣдко краснорѣчіе было такъ увлекательно, какъ у Маколея. Онъ полонъ ораторскаго одушевленія (il a le souffle oratoire); въ каждомъ оборотѣ его рѣчи есть своя жизнь; чувствуешь, что онъ хочетъ управлять умами, что его раздражаетъ сопротивленіе, что, развивая свои доводы, онъ борется. Въ его сочиненіяхъ разсужденіе (la discussion) всегда охватываетъ и уноситъ читателя. Сравнивая способъ изложенія Маколея въ его ровномъ и прямолинейномъ движеніи и возростающей силѣ съ теченіемъ

громадныхъ потоковъ Америки, Тэнъ говоритъ: „это обиліе мыслей, идей и объясненій фактовъ, этотъ громадный грузъ историческаго знанія, уносимые впередъ внутреннею страстью, уничтожаютъ на своемъ пути всѣ возраженія, прибавляя къ порыву краснорѣчія непреоборимую силу своей массы и своего вѣса". „Можно сказать, что исторія Якова II есть рѣчь въ двухъ томахъ, произнесенная безъ передышки и безъ ослабленія голоса. Видишь, какъ начинается гнетъ и неудовольствіе, какъ они растутъ и расширяются, какъ приверженцы Якова его покидаютъ одинъ за другимъ, какъ идея революціи возникаетъ во всѣхъ сердцахъ и укрѣпляется, какъ начинается приготовленіе, какъ развязка приближается, становится неизбѣжною, затѣмъ сразу разражается надъ ослѣпленнымъ и несправедливымъ монархомъ, сметаетъ его престолъ и его родъ съ силою предусмотрѣнной и роковой бури. Истинное краснорѣчіе—то, которое, такимъ образомъ, завершаетъ разсужденія порывомъ чувства, единствомъ страсти воспроизводитъ единство событій, движеніе и сцѣпленіе фактовъ передаетъ вновь движеніемъ и сцѣпленіемъ идей. Оно есть истинное подражаніе природѣ; болѣе полное, чѣмъ чистый анализъ, оно даетъ жизнь; его порывъ и страстность входятъ въ составъ науки и правды".

Какого вопроса ни касался бы Маколей, политико-экономическаго, нравственнаго, философскаго, литературнаго, историческаго, онъ пристращается къ своему предмету. Потокъ, уносящій явленія, возбуждаетъ въ немъ, какъ только онъ его завидитъ, другой потокъ, уносящій его мысли. „Онъ не излагаетъ только свое мнѣніе, но отстаиваетъ его (il la plaide). Его мысль—дѣйствующая сила; она навязывается слушателю, сопровождаемая такой длинной вереницей доказательствъ, охватываетъ его такимъ очевиднымъ и законнымъ авторитетомъ, такимъ могучимъ порывомъ, что никто не думаетъ сопротивляться ей и она покоряетъ сердце своею страстностью, въ то время какъ своею очевидностью она покоряетъ разумъ". Въ силу изображеннаго здѣсь ораторскаго свойства, Маколей обладаетъ въ высшей степени талантомъ *адвоката. Безподобнымъ адвокатомъ* онъ и является въ своей литературной дѣятельности. Слово „адвокатъ" нужно понимать здѣсь въ англійскомъ смыслѣ—въ Англіи на обязанности адвоката лежитъ не только защита, но и обвиненіе противной стороны. Главнымъ свойствомъ отличнаго адвоката должна быть способность понять и усвоить себѣ дѣло всякаго кліента, войти, такъ сказать, въ его душу. Великіе писатели романовъ обладаютъ такимъ свойствомъ; они усвоиваютъ себѣ душу своихъ героевъ такъ, что

воспроизводятъ ихъ чувства, помыслы и языкъ. „Съ различнымъ талантомъ Маколей обладаетъ той же мощью: безконечно число дѣлъ, защитникомъ которыхъ онъ выступалъ (il plaide un nombre infini de causes), и каждымъ изъ этихъ дѣлъ онъ обладаетъ въ такомъ же полномъ объемѣ, какъ и его кліентъ. У него готовъ отвѣтъ на всякое возраженіе, въ запасѣ—разъясненіе по всякому темному пункту, доводы для всякаго суда; въ его распоряженіи безконечное число *средствъ*, и онъ располагаетъ ими всѣми и всегда, при всякой *неожиданности* (incident) и всякомъ оборотѣ процесса".

„Можно думать, что онъ въ одномъ лицѣ—вигъ, тори, пуританинъ, членъ тайнаго совѣта, посолъ. Ни одинъ изъ пламенныхъ виговъ или торіевъ, опытныхъ и привычныхъ въ дѣлахъ, которые поднимались въ палатѣ и приводили ее въ волненіе своими рѣчами, не обладалъ такими многочисленными, такими точными и стройными данными, не зналъ лучше Маколея сильную и слабую сторону своего дѣла, не былъ полнѣе знакомъ съ интригами, злобою и колебаніями партій, съ интересами частныхъ лицъ и публики, съ *шансами* борьбы".

Ораторскій и адвокатскій талантъ проявляются у Маколея даже въ ошибкахъ, въ которыя увлекаетъ его этотъ талантъ; въ силу привычки развивать мысль, онъ удлиняетъ изложеніе. Не разъ его объясненія представляютъ общее мѣсто. Онъ доказываетъ то, съ чѣмъ весь міръ согласенъ; онъ выясняетъ то, что само собою ясно. „Иное разсужденіе его, напр. о необходимости реакцій, представляется разглагольствованіемъ хорошаго ученика; иное, хотя оно превосходно и ново, можетъ быть только одинъ разъ прочтено съ удовольствіемъ; во второй разъ оно кажется слишкомъ вѣрнымъ: читатель все понялъ съ перваго раза и скучаетъ".

Но съ другой стороны ораторскій и адвокатскій талантъ восполняютъ у Маколея свойства, которыми онъ не обладаетъ. „Онъ не поэтъ, подобно Мишлé; онъ не философъ, подобно Гизо; онъ не художникъ: когда онъ рисуетъ картину, онъ всегда думаетъ о томъ, чтобы что-нибудь доказать; онъ вставляетъ диссертацію въ самыя трогательныя мѣста повѣствованія; у него нѣтъ ни граціозности, ни легкости, ни живости, ни тонкости. Онъ не философъ, но онъ въ такомъ совершенствѣ обладаетъ всѣми ораторскими средствами, собираетъ и группируетъ столько фактовъ, располагаетъ ими съ такою легкостью и силою, что ему удается возсоздать всю ткань историческихъ событій, не распустивъ нитей и не выронивъ ни одной нити. Поэтъ призываетъ къ жизни

то, что умерло; философъ формулируетъ творческіе законы; ораторъ вѣдаетъ, излагаетъ и защищаетъ процессы. Поэтъ воскрешаетъ души къ жизни, философъ создаетъ систему, ораторъ возстановляетъ цѣпь доводовъ; но всѣ трое идутъ разными путями къ той же цѣли, и ораторъ, подобно своимъ соперникамъ, и иными средствами, чѣмъ его соперники, воспроизводитъ въ своемъ трудѣ единство и сложность жизни".

Посмотримъ теперь, послѣ этой нѣсколько ораторской и не лишенной противорѣчій характеристики,—въ чемъ именно проявляются ораторское свойство и адвокатская наклонность Маколея въ его историческихъ трудахъ? Они налагаютъ свою печать на его повѣствованіе и даже на описанія. Маколей вездѣ заботится болѣе о томъ, чтобы внушить читателю извѣстное *сужденіе*, чѣмъ представить ему картину. Онъ всегда и вездѣ остается ораторомъ и моралистомъ: нѣтъ лучшаго средства, — замѣчаетъ при этомъ Тэнъ,—чтобы заинтересовать англійскаго читателя. „Онъ хочетъ, чтобы у насъ составилось извѣстное представленіе о нравственномъ характерѣ описываемаго имъ дѣйствія, чтобы мы приписали это дѣйствіе настоящимъ его виновникамъ, и чтобы на каждаго изъ нихъ выпала именно его доля отвѣтственности, и не болѣе. Въ поясненіе и доказательство этой мысли Тэнъ анализируетъ одинъ эпизодъ изъ исторіи Англіи Маколея, его разсказъ объ экспедиціи шотландскаго отряда для избіенія разбойничьяго клана Макъ-Яна, не присягнувшаго Вильгельму III. Въ заключеніе Тэнъ замѣчаетъ: „Эти точныя подробности, эти картины придаютъ исторіи живость и жизнь романа. И однако историкъ остается ораторомъ, потому что онъ подобралъ всѣ эти факты для того, чтобы ярко освѣтить вѣроломство убійцъ и ужасъ рѣзни, и онъ воспользуется ими впослѣдствіи, чтобы потребовать со всею мощью страсти и логики наказанія виновныхъ".

Но не въ однихъ эпизодическихъ разсказахъ, не въ одномъ только слогѣ и въ его изображеніяхъ проявляются у Маколея ораторство и навыкъ адвоката — они придаютъ у него исторіи вообще *характеръ судебнаго процесса*. Съ большимъ мастерствомъ проводитъ Тэнъ эту мысль по поводу страницъ, посвященныхъ Маколеемъ первой англійской революціи. Здѣсь вся мысль его направлена къ тому, чтобы привлечь къ суду и покарать тѣхъ, кто нарушилъ права общества, кто ненавидѣлъ національное дѣло или измѣнилъ ему, кто покушался на свободу. „Маколей говоритъ здѣсь не какъ историкъ, а какъ современникъ"; онъ говоритъ, какъ будто дѣло идетъ о его чести и жизни, какъ будто онъ защищаетъ самого себя (plaide pour lui-même), какъ будто онъ членъ Долгаго

парламента и слышитъ за дверьми мушкеты и сабли солдатъ, посланныхъ арестовать Пима и Гемпдена. „Гизо разсказалъ ту же исторію; но вы узнаете въ его книгѣ спокойное сужденіе философа и безпристрастное волненіе артиста. Онъ не осуждаетъ (condamne) дѣйствій Страффорда и Карла—онъ ихъ объясняетъ: съ этой минуты вы усматриваете въ борьбѣ короля и парламента лишь борьбу двухъ политическихъ доктринъ; вы перестаете принимать участіе въ судьбѣ того или другого, но интересуетесь обѣими сторонами; вы становитесь зрителемъ драмы и перестаете быть судьями уголовнаго процесса. У Маколея же предъ вашими глазами производится судебное слѣдствіе, онъ самъ является одной изъ сторонъ; его повѣствованіе есть дознаніе (réquisitoire), самое увлекательное, самое безпощадное и наиболѣе обставленное доводами, какое когда-либо было написано. Онъ одобряетъ приговоръ надъ Страффордомъ, онъ почитаетъ Кромвеля и преклоняется предъ нимъ; онъ возвеличиваетъ характеръ пуританъ; онъ прославляетъ Гемпдена наравнѣ съ Вашингтономъ; у него нѣтъ словъ достаточно пренебрежительныхъ и оскорбительныхъ для Лода — и что всего ужаснѣе, это то, что каждый изъ его приговоровъ оправдывается цитатами, авторитетами, историческими прецедентами и убѣдительными доказательствами".

Несмотря на такое благосклонное и мѣстами панегирическое изображеніе *ораторскаго* направленія Маколея въ литературной критикѣ и въ исторіографіи, сочувствіе Тэна не на его сторонѣ. Онъ противополагаетъ ему и ставитъ много выше его другое направленіе, которое можно назвать *научнымъ*. Тэнъ выставляетъ на видъ, что это направленіе преобладаетъ во Франціи въ противоположность *морализующему*, господствующему въ Англіи; но такое обозначеніе отчасти обусловливается скромностью Тэна, который не хотѣлъ приписать себѣ лично научнаго направленія. Характеризуя его, онъ однако въ сущности изображаетъ свое собственное, и страница, посвященная этому вопросу, въ высшей степени любопытна и назидательна для таланта и направленія Тэна. Можно сказать, что главный интересъ его статьи о Маколеѣ сосредоточивается на этой страницѣ, по крайней мѣрѣ по отношенію къ нашей задачѣ. „Когда мы,—говоритъ Тэнъ,—(во Франціи) пытаемся разсказать жизнь или изобразить характеръ человѣка, мы предпочитаемъ смотрѣть на него какъ на простой предметъ живописи или науки; мы думаемъ лишь о томъ, чтобы изложить различныя чувства его сердца, связь его идей и необходимость его дѣйствій; мы не судимъ его (ne le jugeons pas), а хотимъ лишь воплотить его предъ нашими глазами и сдѣлать его понят-

нимъ нашему разумѣнію. Нами руководитъ лишь любознательность и ничто иное (nous sommes des curieux et rien de plus). Пусть Петръ или Павелъ окажется подлецомъ, что намъ до этого, это касалось лишь его современниковъ; они страдали отъ его пороковъ и имъ ничего не оставалось, какъ презирать и осуждать его. Теперь мы ушли изъ-подъ его власти, и наша злоба исчезла вмѣстѣ съ опасностью. На такомъ далекомъ разстояніи и въ исторической перспективѣ, я вижу въ немъ лишь психологическій механизмъ (une machine spirituelle), снабженный извѣстными пружинами, пущенный въ дѣйствіе первоначальнымъ двигателемъ, задерживаемый (heurté) извѣстными обстоятельствами; я высчитываю результатъ его двигательныхъ силъ, я чувствую вмѣстѣ съ нимъ толчки отъ встрѣчаемыхъ препятствій, я вижу напередъ *кривую* его движенія, и не чувствую къ нему ни антипатіи, ни отвращенія; я оставляю эти чувства за порогомъ исторіи, и испытываю лишь весьма глубокое и чистое удовольствіе созерцать дѣйствіе человѣческой души по опредѣленному закону, въ данной средѣ, со всѣмъ разнообразіемъ человѣческихъ страстей, со всею послѣдовательностью и связью, которую внутренній строй человѣка налагаетъ на внѣшнее проявленіе его страстей".

Вотъ, можно сказать, образцовая въ своей логичности и безусловности, научная *исповѣдь* молодого Тэна, пытавшагося превратить исторіографію, какъ и психологію, эстетику и литературную критику, однимъ словомъ, всю область духовной жизни человѣка въ царство точной науки, столь же безошибочной и неподлежащей сомнѣніямъ и разногласіямъ, какъ и область опытныхъ наукъ. Приведенная сейчасъ исповѣдь, устраняющая изъ исторіографіи всякую нравственную оцѣнку, совершенно согласна съ высказаннымъ въ то время принципомъ Тэна, что добродѣтель и порокъ—такіе же естественные продукты, какъ купоросъ и сахаръ. Но мы уже здѣсь усматриваемъ слабое мѣсто этой исповѣди; мы можемъ отмѣтить брешь, чрезъ который проникнутъ въ „научную" исторіографію нравственная оцѣнка и даже отвращеніе и злоба, когда молодой критикъ исторіи пуританъ сдѣлается историкомъ якобинцевъ. Его олимпійское спокойствіе, его равнодушіе къ тому, были ли Петръ или Павелъ негодяями, основывались на томъ, что время избавило его отъ нихъ, что ихъ пороки перестали быть для него опасными. Но если онъ убѣдится, что онъ и все современное общество продолжаютъ страдать отъ послѣдствій ихъ страстей, ложныхъ принциповъ и преступленій, то не придется ли ему измѣнить свою историческую мѣрку, свою точку зрѣнія на нихъ?

Въ статьѣ Тэна о Маколеѣ мы открываемъ еще другой пунктъ, съ котораго должна была измѣниться историческая перспектива его по отношенію къ якобинцамъ. По своему критическому методу Тэнъ не только изображаетъ ораторское направленіе въ исторіи Маколея, но старается объяснить его, раскрывъ его корни и причины. Читатель помнитъ указаніе Тэна на дѣятельность Маколея какъ парламентскаго оратора; въ другихъ мѣстахъ онъ отмѣчаетъ обычаи англійскихъ судовъ и прессы, располагающіе къ морализующему ораторству. На первомъ же планѣ стоитъ въ этомъ отношеніи національный духъ Англіи, представителемъ котораго выставляется Маколей. Одной изъ главныхъ чертъ этого національнаго духа является отсутствіе философскаго интереса—„безусловное пренебреженіе къ отвлеченному мышленію (spéculation) и безусловная наклонность къ практикѣ". Единственная область философіи, которая можетъ процвѣтать въ странѣ при такихъ условіяхъ, это—этика, такъ какъ она имѣетъ чисто практическое значеніе. Этика потому всегда составляла главный предметъ философскихъ занятій въ Англіи, какъ и въ Римѣ. Другая причина, почему нравственная точка зрѣнія и оцѣнка играютъ всегда такую роль въ сужденіяхъ англійскаго общества и писателей, это—сильное вліяніе религіи въ Англіи. Вотъ почему и Маколей является новымъ образчикомъ господствующей національной наклонности: „его біографіи не столько портреты, сколько нравственные приговоры; онъ прерываетъ свое повѣствованіе, чтобы обсудить поступокъ, имъ описанный; онъ разсматриваетъ его съ точки зрѣнія юриста и моралиста, съ точки зрѣнія положительнаго закона и естественнаго права; онъ принимаетъ въ разсчетъ, въ интересахъ подсудимаго, состояніе общественнаго мнѣнія, примѣры, его окружавшіе, принципы, которыхъ онъ держался, воспитаніе, имъ полученное. Онъ основываетъ свое мнѣніе на аналогіяхъ, почерпаемыхъ имъ изъ обыденной жизни, изъ исторіи всѣхъ народовъ, изъ законодательства всѣхъ странъ; онъ приводитъ столько доказательствъ, такіе несомнѣнные факты и такіе убѣдительные выводы, что могъ бы служить образцомъ для лучшаго адвоката, и когда онъ наконецъ произноситъ свой приговоръ, то слышишь какъ будто заключительное слово предсѣдателя окружного суда".

„Подобнымъ образомъ, если онъ анализируетъ какую-нибудь литературу, напр. эпохи англійской реставраціи, онъ передъ читателемъ образуетъ нѣчто въ родѣ суда присяжныхъ, чтобы ее судить. Онъ ее вызываетъ къ суду и читаетъ ей обвинительный актъ; онъ потомъ даетъ слово ея защитникамъ, которые

пытаются оправдать ея легкомысліе и неприличность, наконецъ онъ самъ беретъ слово и доказываетъ, что изложенные доводы не могутъ быть примѣнены къ данному случаю, что подсудимые писатели умышленно и успѣшно старались развратить нравы и т. д. Еслибы я,—говоритъ въ заключеніе Тэнъ,—дерзнулъ, подобно Маколею, прибѣгнуть къ религіозному сравненію, я бы сказалъ, что его критика походитъ на страшный судъ, гдѣ различіе талантовъ, характеровъ, общественнаго положенія и званій исчезнетъ передъ соображеніемъ добродѣтельности и порочности, гдѣ не будетъ художниковъ, а будутъ лишь праведные и грѣшные".

Читатель исторіи якобинцевъ, можетъ быть, найдетъ, что сужденія автора этого труда иногда напоминаютъ подобный страшный судъ, хотя по другимъ мотивамъ и съ другой точки зрѣнія, чѣмъ у автора „Исторіи Англіи". Однако, мы можемъ отмѣтить у этихъ двухъ писателей, столь различныхъ по своей индивидуальности и по національному духу, также и общую точку соприкосновенія.

Тэнъ замѣчаетъ далѣе, что англійскіе (этическіе) пріемы сужденія Маколея умѣряются его пламенной любовью къ *справедливости*. Выясняя эту мысль, Тэнъ приходитъ къ другому выводу: „эта любовь къ справедливости,—говоритъ онъ,—становится у него страстью, когда рѣчь заходитъ о *политической свободѣ*; вотъ гдѣ его чувствительное мѣсто, и когда его коснешься, то хватаешь его за сердце". И по этому поводу, объясняя причину любви Маколея къ свободѣ, Тэнъ говоритъ о ней съ такой симпатіей и пониманіемъ, что становится очевиднымъ значеніе, которое она имѣла и для молодого критика, не желавшаго выходить изъ предѣловъ точной науки и понятія психологическаго *механизма*. Превосходную страницу Тэна о культурномъ и облагораживающемъ человѣка вліяніи свободы нельзя перечитывать безъ сочувствія и умиленія, особенно въ наши дни, когда многіе утратили не только желаніе этого блага для себя, но и пониманіе его значенія для другихъ вѣковъ и поясовъ. „Маколей,—говоритъ Тэнъ,—любитъ политическую свободу изъ интереса, потому что она составляетъ единственное обезпеченіе имущества, благоденствія и жизни частныхъ лицъ; онъ любитъ ее изъ гордости, потому что ею обусловливается чувство чести въ человѣкѣ; онъ любитъ ее изъ патріотизма, потому что она составляетъ наслѣдіе, завѣщанное предшествующими поколѣніями, потому что въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ цѣлый рядъ благородныхъ людей и великихъ людей защищали ее противъ всѣхъ нападокъ и спа-

сали ее отъ всѣхъ опасностей, потому что она составляетъ силу и славу Англіи, потому что она научаетъ гражданъ самихъ хотѣть и думать, увеличиваетъ ихъ достоинство и разумѣніе, потому что, обезпечивая внутренній миръ и безпрерывный прогрессъ, она гарантируетъ страну отъ кровавыхъ переворотовъ и отъ спокойнаго гніенія (décadence). Всѣ эти блага постоянно передъ его глазами, и кто нападаетъ на эту свободу, служащую имъ основаніемъ, становится тотчасъ его врагомъ. Онъ не можетъ спокойно видѣть угнетеніе человѣка; всякое покушеніе на волю человѣка задѣваетъ его какъ личное оскорбленіе. На всякомъ шагу у него тогда вырываются слова, полныя горечи, и пошлыя вожденія льстецовъ, которыхъ онъ встрѣчаетъ, вызываютъ на его устахъ сарказмы, тѣмъ болѣе рѣзкіе, чѣмъ болѣе они заслужены".

Этотъ гимнъ свободѣ даетъ намъ ключъ къ исторической перспективѣ въ исторіи якобинцевъ, тѣмъ болѣе, что тамъ шла рѣчь о свободѣ не только политической, но и о свободѣ общественной, и о свободѣ совѣсти и науки.

Мы можемъ знакомиться съ Тэномъ какъ съ будущимъ историкомъ не по однѣмъ только его статьямъ объ историкахъ. За тотъ періодъ своей жизни, къ которому относятся разсмотрѣнныя нами три характеристики Тэна, онъ не былъ еще историкомъ въ полномъ смыслѣ этого слова; его областью была литературная критика, основанная на психологіи; въ самой исторіи онъ интересовался не столько политикой, сколько культурой, не столько строеніемъ государства, сколько идеями и страстями общества. Поэтому и учителями его и образцами были не историки его времени—Гизо, Мишлé или Тьеръ, а два знаменитыхъ романиста: Стендаль и Бальзакъ, у которыхъ онъ находилъ глубокое знаніе и пониманіе человѣческаго сердца. Бальзака Тэнъ въ этомъ отношеніи постоянно сопоставляетъ съ Шекспиромъ; его романы онъ признаетъ неисчерпаемой сокровищницей психологическихъ наблюденій. Наряду съ Шекспиромъ и Сенъ-Симономъ [1]),—говоритъ Тэнъ,—Бальзакъ представляетъ самый обширный архивъ *документовъ*, т.-е. непосредственныхъ наблюденій надъ человѣческой природой, которыя онъ предоставилъ въ наше распоряженіе. Тэнъ причисляетъ Бальзака, вмѣстѣ съ Стендалемъ,

[1]) Сенъ-Симонъ, о которомъ Тэнъ также писалъ, имѣлъ несомнѣнно на него сильное вліяніе, но это вліяніе болѣе обнаруживается въ характеристикѣ „Стараго Порядка", чѣмъ въ исторіи якобинцевъ.

Сентъ-Бёвомъ, Гизо и Ренаномъ, къ писателямъ и мыслителямъ, всего болѣе способствовавшимъ къ познанію человѣческой природы и общества [1]).

Въ замѣчательномъ этюдѣ Тэна о Бальзакѣ мы поэтому можемъ изучать не одного Бальзака, но и самого Тэна. Этотъ этюдъ познакомитъ насъ съ воззрѣніемъ Тэна на психическую природу человѣка и съ нимъ самимъ, съ замѣчательнымъ сочетаніемъ въ немъ *ученаго* и *художника*, жажды реальной фактической правды и способности живописно изображать ее.

Возражая Мишлé, Тэнъ заявлялъ, что историку не слѣдуетъ быть только художникомъ, но что онъ долженъ быть прежде всего *ученымъ*, а какъ ученый—онъ долженъ быть натуралистомъ. Говоря о Бальзакѣ, онъ опредѣляетъ намъ, что значитъ быть натуралистомъ въ изображеніи человѣка и человѣческаго общества: „въ глазахъ натуралиста человѣкъ не представляетъ собою независимое, разумное существо высшаго порядка, здравое само по себѣ, способное однимъ порывомъ достигнуть истины и добродѣтели; это—простая *сила*, такого же порядка, какъ и другія силы, получающая отъ обстоятельствъ свою степень энергіи и свое направленіе. Натуралистъ любитъ эту силу ради ея самой,—вотъ почему онъ любитъ ее на всѣхъ ступеняхъ ея развитія, во всѣхъ проявленіяхъ, онъ доволенъ, лишь бы только видѣлъ ее въ дѣйствіи. Онъ будетъ анатомировать съ такимъ же интересомъ министра, какъ и его швейцара. Для него не существуетъ грязи. Онъ знаетъ въ природѣ только силы и орудуетъ ими; въ этомъ его удовольствіе, онъ не имѣетъ другого. Онъ не говоритъ: „какое прекрасное зрѣлище!“ но: „какой отличный предметъ изслѣдованія!“ *Прекрасны* для него только существа интересныя и важныя для науки, способныя рельефно обнаружить въ себѣ какой-нибудь замѣчательный типъ, какое-нибудь странное уродство, навести на открытіе обширныхъ и новыхъ законовъ. О чистотѣ и граціи онъ не помышляетъ; въ его глазахъ жаба стоитъ бабочки, летучая мышь интересуетъ его болѣе, чѣмъ соловей. Если у васъ изящный вкусъ, не раскрывайте его книги; онъ описываетъ вещи, какъ онѣ есть, т.-е. очень некрасивыя, безъ обиняковъ, безъ пощады, безъ прикрасъ; если же онъ прикраситъ свой предметъ, то особеннымъ способомъ: такъ какъ онъ любитъ силы природы и любитъ только ихъ,—то онъ выставляетъ иногда на показъ тѣ уродства, тѣ болѣзни и ту грандіозную чудовищность, которыя ими вызываются въ жизни, когда

[1]) Письмо Тэна въ „Journal des Débats“, 1887.

изслѣдователь увеличитъ силу ихъ дѣйствія. У натуралиста нѣтъ идеала!"

Сказавъ, что Бальзакъ еще болѣе лишенъ идеала, чѣмъ любой натуралистъ, Тэнъ показываетъ намъ его, какъ онъ напряженно и упорно роется „въ своемъ навозѣ"—своими грязными руками анатома. „Онъ торжествуетъ, когда приходится изображать подлость; ему хорошо среди всего *низкаго*; онъ живетъ въ немъ безъ отвращенія; вездѣ, гдѣ оказывается какое-нибудь уродство, какая-нибудь язва, Бальзакъ тутъ и исполняетъ свое ремесло физіолога; никто не описывалъ такъ искусно нравственное уродство и горе, и многіе хвалятъ его за это, говоря, что въ этомъ и заключается вся суть человѣческаго существованія. Есть, правда, и добродѣтельные люди у Бальзака, но они не герои, какъ у поэтовъ и моралистовъ. Натуралистъ смотритъ на нихъ иначе; для него воля имѣетъ причину; если человѣкъ идетъ, то это потому, что его что-то толкаетъ впередъ; какая-то пружина стала дѣйствовать въ этомъ автоматѣ. Для натуралиста добродѣтель—продуктъ, какъ вино или уксусъ, продуктъ, конечно, прекрасный, который слѣдуетъ имѣть при себѣ въ большихъ запасахъ, но продуктъ, фабрикуемый извѣстнымъ способомъ, какъ и всѣ другіе. И добродѣтели не что иное, какъ видоизмѣненіе или дальнѣйшее развитіе какой-нибудь страсти или привычки; появленію ихъ часто содѣйствуютъ пороки: гордость, тщеславіе и предразсудки; такъ вонючія вещества могутъ служить для фабрикаціи самыхъ драгоцѣнныхъ благовоній".

Съ точки зрѣнія натурализма,—замѣчаетъ на это Тэнъ,—противъ этого нечего возразить; пусть натуралистъ набираетъ цѣлый музей ядовитыхъ гадинъ, которыя ползаютъ или прячутся въ нѣдрѣ человѣческаго общества, и наводитъ на нихъ сконцентрированный свѣтъ своего увеличительнаго стекла; пусть онъ *препарируетъ* своимъ „печальнымъ анатомическимъ способомъ" и самыя добродѣтельныя существа и покажетъ, что всѣ ихъ добродѣтели проистекаютъ лишь изъ предразсудковъ, изъ какой-нибудь маніи, разсчета или прямо изъ пороковъ. „Не слѣдуетъ ли, однако, опомниться противъ такого отношенія къ дѣлу—съ точки зрѣнія нравственности и правды? Пересчитывая всякое заиканіе въ рѣчи, всѣ бородавки и подергиванія въ лицѣ, встрѣчающіяся у добраго человѣка также, какъ и у дурного, Бальзакъ сводитъ его съ неба на землю, дѣлаетъ его реальнымъ, но уменьшаетъ его; онъ уменьшаетъ его еще другимъ способомъ: онъ никогда не указываетъ иныхъ, болѣе благородныхъ источниковъ добродѣтели и именно самыхъ чистыхъ, напр. величія въ образѣ мысли, какъ у Марка Аврелія, или тон-

кости души, которою обладала герцогиня Клевская [1]). Пускай натуралистъ насъ разочаровываетъ, мы готовы съ этимъ примириться; но если писатель-художникъ изгоняетъ изъ міра возвышенность и тонкость чувства, мы возмущаемся и мы возражаемъ ему, что онъ уничтожаетъ эти чувства въ другихъ, вѣроятно, потому, что не находитъ ихъ въ самомъ себѣ".

Отмѣтимъ здѣсь, что этими словами Тэнъ проводитъ рѣзкую черту между *натуралистомъ* и творческимъ художникомъ: первый воленъ составлять свой музей изъ чего хочетъ; второй же, если подберетъ изъ человѣческаго общества только галерею курьёзовъ и уродствъ, погрѣшитъ противъ истины; онъ покажетъ не всю истину и этимъ исказитъ ее. Тэнъ, впрочемъ, лишь мимоходомъ и какъ бы не отъ себя бросаетъ эти замѣчанія. Съ гораздо большимъ вниманіемъ и усердіемъ онъ старается защитить натуралистическіе пріемы Бальзака. Оправданіемъ Бальзака въ глазахъ Тэна служатъ его искусство и его міровоззрѣніе.

Сила искусства обнаруживается у Бальзака въ томъ, что оно заставляетъ насъ забыть нравственную оцѣнку предмета и восторгаться появившимся предъ нами художественнымъ творчествомъ... Художникъ у него такъ глубоко проникъ въ существо своихъ сюжетовъ, такъ твердо установилъ и уравновѣсилъ движущія ихъ пружины, представилъ нравъ своихъ героевъ до такой степени слѣдствіемъ необходимости, а дѣйствія ихъ въ такой послѣдовательности, что, чувствуя къ нимъ отвращеніе, въ то же время восхищаешься ими, и воображеніе, которое хотѣло бы отвернуться отъ нихъ, не можетъ съ ними разстаться. Возможно ли, однако, восхищаться изображеніемъ безумія и преступленія? Какъ заставить насъ отнестись съ сочувствіемъ къ описанію хищныхъ животныхъ и поступковъ психопатовъ? „Пусть,—отвѣчаетъ на это Тэнъ,—пусть этотъ психическій механизмъ, который представляетъ собою изображенное художникомъ лицо, все разрываетъ вокругъ себя и сокрушаетъ, я объ этомъ не думаю; я вижу только геометрически правильную слаженность его стальныхъ колесъ, страшно оскаленныя зубья сцѣпленій механизма, неудержимую стремительность маховика, исчезающаго предо мною въ быстротѣ своего движенія, мрачный отблескъ желѣза, который свѣтится и визжитъ подъ ударами;—художникъ побѣдилъ меня, ослѣпилъ, увлекъ, и я ничего болѣе не желаю и не могу, какъ восторгаться его твореніемъ".

---

[1]) Героиня романа XVII вѣка, г-жи Лафайетъ, о которомъ Тэнъ написалъ блестящій этюдъ.

Тэнъ проводитъ передъ глазами читателя цѣлый рядъ второстепенныхъ лицъ изъ романовъ Бальзака и съ особеннымъ мастерствомъ, въ своей сжатости производящимъ болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ самые оригиналы Бальзака, изображаетъ „три великіе типа“ порочности: Бридо, Гранде́ и барона Гюло д'Эрви. „Остановимся на этомъ, — восклицаетъ онъ:—эти три портрета даютъ намъ понятіе о другихъ. Бальзакъ, подобно Шекспиру, изображалъ негодяевъ всѣхъ сортовъ: негодяевъ большого свѣта и „богемы“, негодяевъ тюрьмы и тайной полиціи, банка и политики. Какъ Шекспиръ, онъ изображалъ мономановъ всякаго рода: подвижниковъ распутства и скупости, честолюбія и науки, отцовскаго чувства и половой любви. Простите одному то, что̀ вы прощаете другому. Мы здѣсь не въ мірѣ практической жизни и нравственности, но въ области жизни воображаемой и идеальной. Эти личности выставлены какъ зрѣлище, а не какъ образцы. Никто не предлагаетъ вамъ одобрять и слѣдовать ихъ примѣру; вамъ предлагаютъ только смотрѣть и восхищаться искусствомъ изображенія. На прогулкѣ я предпочитаю встрѣтиться съ бараномъ, чѣмъ со львомъ; но за рѣшеткой я буду съ большимъ удовольствіемъ глядѣть на льва, чѣмъ на барана. Искусство и есть именно такого рода рѣшетка; избавляя меня отъ ужаса, оно поддерживаетъ во мнѣ интересъ. Благодаря ему, мы можемъ безъ страданій и опасеній разсматривать великія страсти, катастрофы сердца, титаническую борьбу, всю смуту и всѣ усилія человѣческой натуры, выведенной изъ себя безпощадной борьбой и необузданными желаніями. И конечно, въ такомъ способѣ наблюденія, появившаяся предъ нами душевная *сила* насъ захватываетъ и увлекаетъ. Такое зрѣлище насъ возвышаетъ надъ собой; мы выходимъ изъ пошлости, въ которую насъ погружаютъ мелочности нашихъ способностей и робость нашихъ инстинктовъ. Душа наша исполняется новой силы и отъ самаго созерцанія зрѣлища, и отъ реакціи, которую оно производитъ“.

Но искусство художника находится въ зависимости отъ его міровоззрѣнія, его философіи, какъ говоритъ Тэнъ. „Если вы всего болѣе цѣните разумъ въ человѣкѣ, главную роль у васъ будетъ играть разумъ, и вы будете изображать великодушіе и добродѣтель. Если ваше вниманіе будетъ поглощено наружными формами „человѣческаго механизма“,—вашимъ идеаломъ будетъ тѣло, и вы будете изображать роскошную плоть и сильные мускулы. Если вы считаете чувствительность важнѣйшей стороной человѣка, вы будете видѣть красоту только въ живыхъ ощущеніяхъ, и вы будете изображать приступы слезъ и нѣжныя чувства. Такъ пи-

сали Корнель, Рубенсъ, Диккенсъ. Однимъ словомъ, вашъ взглядъ на природу человѣка опредѣлитъ вашу эстетическую теорію; ваше представленіе объ идеальномъ человѣкѣ сложится подъ вліяніемъ вашего мнѣнія о человѣкѣ реальномъ; ваша философія будетъ руководить вашимъ искусствомъ. Такимъ образомъ и философія Бальзака давала направленіе его художественному таланту. Онъ смотрѣлъ на человѣка какъ на *силу*; его идеаломъ и стала *сила*. Онъ освободилъ ее отъ всѣхъ стѣсненій; онъ изображалъ ее въ ея полномъ объемѣ, на просторѣ, независимо отъ разсудка, который не позволяетъ ей наносить себѣ вредъ, равнодушной къ справедливости, которая не позволяетъ ей вредить другимъ; онъ увеличилъ ее, онъ питалъ и развивалъ ее и выставлялъ на первый планъ, какъ героиню и владычицу въ мономанахъ и преступникахъ... Какъ Лукрецій описалъ чуму въ Аѳинахъ и чуму сдѣлалъ своей героиней, такъ Бальзакъ написалъ эпопею торжествующихъ страстей".

Отличительный признакъ выдающагося ума составляютъ его общія идеи (les vues d'ensemble). Безъ нихъ ученый только ремесленникъ, а художникъ только потѣшникъ (amuseur). Философскимъ воззрѣніемъ ихъ на предметъ обусловливается высокое мѣсто, которое Амперъ занимаетъ въ физикѣ, Жоффруа Сентъ-Илеръ въ зоологіи, Гизо въ исторіи; отъ него же зависитъ и значеніе Бальзака въ романѣ.

„Что такое міръ и какія имъ управляютъ силы? Въ глазахъ натуралиста Бальзака — это страсти и интересы. Культура (politesse) ихъ украшаетъ, лицемѣріе ихъ маскируетъ, наивность (niaiseries) ихъ прикрываетъ прекрасными именами; но въ сущности, изъ десяти дѣйствій девять эгоистичныхъ. И тутъ нѣтъ ничего удивительнаго; ибо въ великой мірской сутолокѣ всякій предоставленъ самому себѣ; животное только и думаетъ о пищѣ и самозащитѣ, а животное продолжаетъ жить (persiste) и въ человѣкѣ съ тою разницей, что кругъ пониманія человѣка обширнѣе, и потому какъ его потребности, такъ и опасности, которымъ онъ подвергается, значительнѣе. Вотъ почему для Бальзака общество есть борьба интересовъ, въ которой торжествуетъ сила, руководимая хитростью, въ которой страсть глухо и неудержимо прорываетъ плотины, и общепринятая мораль заключается въ кажущемся уваженіи приличій и закона. Этотъ печальный и опасный взглядъ на вещи становится еще болѣе таковымъ оттого, что Бальзакъ дѣлаетъ своихъ преступниковъ геніальными людьми, что, представляя теорію происхожденія преступленій, онъ невольно дѣлаетъ преступленіе интереснымъ и извинительнымъ; что

высокія и тонкія чувства онъ изображаетъ посредственно, а удивительно изображаетъ чувства грубыя и низкія и отъ времени до времени, увлекаемый своимъ предметомъ, разсѣваетъ максимы, противные общественному миру и, можетъ быть, даже тревожные (alarmantes) для человѣчества".

Все яснѣе и рельефнѣе обрисовывается предъ нами на фонѣ Бальзаковскаго натурализма самъ Тэнъ, и мы подходимъ къ выдающемуся мѣсту, которое наглядно показываетъ разстояніе, ихъ раздѣляющее. Дѣло въ томъ, что критикъ Бальзака былъ не просто натуралистомъ-патологомъ, собирателемъ курьёзовъ психической жизни и нравственныхъ уродствъ, но философомъ исторіи, которому съ высоты его науки человѣчество представлялось совершенно иначе. „Горькой философіи Бальзака, — говоритъ Тэнъ,—недостаетъ ея естественнаго противовѣса—исторіи, которую онъ плохо зналъ; онъ забывалъ, что если въ человѣкѣ теперь много преступнаго и жалкаго, то въ прежнемъ человѣкѣ этого было еще больше; что увеличившійся опытъ уменьшилъ безуміе воображенія, ослѣпленіе суевѣрія, силу страстей, дикость нравовъ, суровость страданій, и что каждый вѣкъ увеличиваетъ нашу науку и нашу силу, нашу умѣренность и нашу безопасность. Чтобы философствовать о человѣкѣ, недостаточно точнаго наблюденія, но нужно еще, чтобы оно было полно и закончено, и изображеніе настоящаго всегда невѣрно безъ пониманія прошлаго".

Тэнъ указываетъ на то, какъ обманчивы всѣ слова, въ которыя мы облекаемъ наши сужденія о настоящемъ; какъ много условнаго въ выраженіи: міръ дуренъ или хорошъ. Въ сущности это только значитъ, что онъ дуренъ или хорошъ сравнительно съ тѣмъ или другимъ его состояніемъ, или же съ тѣмъ идеаломъ благоденствія и справедливости, который мы носимъ въ своемъ сердцѣ. На самомъ дѣлѣ, если взять во вниманіе естественную и животную жизнь, необузданную игру и разноголосицу воображеній и желаній, необходимое столкновеніе вещей и воли, нужно удивляться, какъ много еще справедливости и счастья сохраняется среди этого вихря, и прославлять благородство человѣческой натуры, которая въ борьбѣ съ столькими слѣпыми и разнузданными силами поддерживаетъ и высвобождаетъ разумъ и добродѣтель.

Такое трезвое сужденіе о современномъ обществѣ, основанное на знаніи исторіи, на психологическомъ анализѣ и статистическомъ разсчетѣ нравственныхъ силъ и дѣйствій, необходимо не только въ интересѣ морали, но и политики. Каждый долженъ

выяснить себѣ преобладающія наклонности и способности своего народа, чтобы знать, какія силы руководятъ жизнью его отечества и какія политическія формы для нихъ необходимы. „Иначе вы будете, подобно Руссо и Де-Местру, судить по отвлеченнымъ теоріямъ и по страстнымъ впечатлѣніямъ и требовать универсальной республики или универсальнаго деспотизма, подъ вліяніемъ той же оптической иллюзіи, которая ввела въ заблужденіе Бальзака".

Дѣйствительно, и у него нравственное міровоззрѣніе обусловливало политику. Какъ и всѣ, имѣющіе дурное мнѣніе о человѣкѣ, Бальзакъ былъ приверженцемъ абсолютизма. Когда видишь въ обществѣ только эгоистическія и враждующія страсти, то ищешь всемогущей руки, чтобы ихъ сокрушить и подавить. Такимъ теоретикомъ деспотизма былъ Гоббсъ въ исходѣ англійской революціи; гораздо болѣе удивительно рѣшительное нерасположеніе Бальзака ко всему, чѣмъ гордилось французское общество во время самой счастливой поры для либерализма и культуры— въ дни іюльской монархіи. Бальзакъ не только ненавидѣлъ демократическое строеніе общества, но по всякому поводу разражался дикими нападками противъ современной ему системы конституціонной монархіи. Онъ жалѣлъ, что Карлу X не удался задуманный имъ политическій переворотъ, сожалѣлъ объ исчезновеніи привилегій и маіоратовъ, видѣлъ великую язву въ статьяхъ гражданскаго уложенія (Code civile), требовавшихъ равенства при наслѣдованіи, проклиналъ свободу печати, газеты называлъ „складомъ яда" и требовалъ передачи школъ духовенству.

Конечно,—замѣчаетъ на это Тэнъ,—съ помощью жандарма съ одной стороны и страхомъ ада съ другой можно сильно вліять на людей, но злые умы стали бы, пожалуй, доказывать, какъ тщетна надежда этими средствами побороть человѣческіе пороки. Пессимизму Бальзака Тэнъ противопоставляетъ свой юношескій оптимизмъ, особенно понятный на фонѣ Наполеоновскаго режима. Онъ говоритъ, что свободная печать и палаты хотя и бываютъ поприщемъ честолюбиваго соперничества и органами эгоистическихъ интересовъ, однако даютъ возможность всякому меньшинству возвысить голосъ противъ всякаго притѣсненія, а въ великія минуты общественное мнѣніе силою ихъ вліянія приводится къ сознанію правды и справедливости. Если человѣкъ и пороченъ, то его пороки могутъ служить уздой для его же пороковъ; такъ сословная гордость въ Англіи, здраво понимаемый эгоизмъ въ Соединенныхъ Штатахъ поддерживаютъ миръ и общественное благоденствіе лучше, чѣмъ церковный и политиче-

скій абсолютизмъ. Тэнъ прибавляетъ, что умный политикъ не станетъ сопротивляться непоборимымъ наклонностямъ; что духъ тщеславія и справедливости требуетъ во Франціи равенства въ соціальныхъ отношеніяхъ и при дѣлежѣ наслѣдства; что увеличеніе благосостоянія, досуга и просвѣщенія внѣдряютъ въ ней науку и заботу объ общественныхъ интересахъ; однимъ словомъ, что не слѣдуетъ тушить пламя, а лишь умѣрять его и прилагать его съ пользой къ дѣлу.

Мы привели политическую исповѣдь молодого Тэна, чтобы дать читателю возможность сравнить ее съ выводами, къ которымъ пришелъ историкъ якобинцевъ. Такой же бодрый, увѣренный въ будущемъ духъ, такое же довольство Франціей, какою ее пересоздала революція, высказываются и въ критической статьѣ Тэна, направленной противъ тенденціозныхъ сочиненій и бонапартиста Тролона, и англомана Монталамбера. Въ замѣчательно зрѣломъ, вѣрномъ и законченномъ очеркѣ историческаго развитія французскаго народа Тэнъ побѣдоносно разрушаетъ всякую аналогію между состояніемъ Франціи и императорскимъ Римомъ—Римомъ упадка—и показываетъ, почему Франція не выработала у себя англійскихъ учрежденій и не можетъ промѣнять на аристократическій бытъ Англіи свой демократическій режимъ.

Если читатель непосредственно сопоставитъ этюдъ Тэна о Бальзакѣ съ его исторіей якобинцевъ, онъ будетъ прежде всего пораженъ глубокой аналогіей между направленіемъ, изображеннымъ въ его этюдѣ, и тѣмъ, которое господствуетъ въ его историческомъ трудѣ. Для читателя будетъ очевиднымъ несомнѣнное вліяніе, которое имѣлъ *натуралистическій романъ* во Франціи на ея исторіографію въ лицѣ Тэна, подобно тому, какъ историческій романъ Вальтеръ-Скота передъ этимъ отразился на трудахъ Огюстена Тьерри. Не даромъ молодой критикъ съ такимъ пыломъ и пониманіемъ углубился въ изученіе таланта и произведеній привлекавшаго его къ себѣ романиста. Онъ чувствовалъ въ немъ родственную своему таланту и натурѣ струю; натуралистическій романъ Бальзака удовлетворялъ его научному инстинкту, его страстной потребности реальной, неподдѣльной, *подлинной* правды, не затемненной ораторскими пріемами и морализующей тенденціей. Эта жажда *подлинной* правды побуждала его—въ этомъ отношеніи онъ былъ сыномъ своего вѣка—ставить въ исторіографіи на первый планъ *документъ* и требовать, чтобы главный предварительный трудъ историка былъ посвященъ

добыванію документовъ, собиранію ихъ отовсюду въ возможномъ количествѣ и извлеченію изъ нихъ, насколько возможно, сырой, документальной правды.

Этой же потребности шелъ на встрѣчу натуралистическій романъ; своимъ психологическимъ анализомъ всевозможныхъ чувствъ и страстей всевозможныхъ типовъ и классовъ людей онъ создалъ понятіе *человѣческаго документа*, которое мы такъ часто встрѣчаемъ въ современной французской литературѣ. Безъ этой двойной документальной правды—*фактической*, извлеченной изъ архивовъ, и *психической*, добытой путемъ психологическаго анализа и изображенія—стало немыслимо для Тэна писать исторію, и его исторія якобинцевъ явилась плодомъ взаимодѣйствія въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ этихъ двухъ направленій. Архивъ и мемуары съ ихъ безчисленными фактическими подробностями служили ему средствомъ возсоздать тѣ *человѣческіе документы*, тѣ психологическіе типы и особи, которые составляли предметъ его историческаго изображенія. При этомъ онъ всецѣло руководился тѣмъ направленіемъ, которое онъ такъ живо изобразилъ. Возсоздавая предъ нашими глазами лабораторію романиста Бальзака, онъ напередъ изобразилъ намъ свой историческій кабинетъ. И онъ также *анатомировалъ* и *препарировалъ* свои сюжеты, не брезгая никѣмъ, собирая „цѣлую галерею курьёзовъ и нравственныхъ уродствъ“, отъ крупныхъ типовъ сходя къ мелкимъ субъектамъ, къ провинціальнымъ коммиссарамъ въ родѣ Дартигуаша, къ темнымъ засѣдателямъ революціонныхъ секцій,—считая интереснымъ всякаго якобинца, способнаго обнаружить собою какое-нибудь особенно „странное уродство“. Подобно тому какъ Бальзакъ написалъ „эпопею торжествующихъ страстей“, изображая проявленіе ихъ на полномъ просторѣ „въ мономанахъ и преступникахъ“, сочиненіе Тэна представляетъ собою эпопею фанатическихъ доктринъ въ ихъ безусловномъ владычествѣ надъ человѣкомъ и обществомъ, въ ихъ роковомъ вліяніи на „педантическіе умы“ и на натуры тщеславныя или порочныя.

Не довольствуясь этимъ, Тэнъ, подобно Бальзаку, наводитъ на предметы своихъ наблюденій „сконцентрированный свѣтъ своего историческаго микроскопа“; выставляя на показъ всѣ общественныя бѣдствія, всѣ страданія народной массы и отдѣльныхъ жертвъ якобинской политики, всѣ чудовищныя послѣдствія системы террора, Тэнъ *увеличилъ* нравственныя уродства и безумныя страсти виновниковъ этой системы.

При этомъ онъ такъ увлекался своей задачей, что не внималъ совѣтамъ, которые самъ же давалъ въ своей критикѣ Баль-

зака: указывая у изображаемыхъ имъ дѣятелей и во всей ихъ партіи только низкіе и фанатическіе мотивы, онъ *уменьшилъ* предметъ своего изображенія; изгнавъ изъ описаннаго имъ міра всѣ возвышенныя чувства и всякій идеализмъ, онъ далъ поводъ къ упреку, что „погрѣшилъ противъ истины тѣмъ, что показалъ не всю истину".

Въ результатѣ и онъ создалъ книгу, которая не всѣмъ можетъ быть по вкусу, которую можно совѣтовать „не раскрывать" не только приверженцамъ революціоннаго романтизма, но и всѣмъ, кому необходимо въ исторіи, какъ и на сценѣ театра, зрѣлище возвышенныхъ и благородныхъ чувствъ и кто не выноситъ „описанія вещей, какъ онѣ есть, т.-е. очень некрасивыхъ, безъ обиняковъ, безъ пощады и безъ прикрасъ".

Несмотря, однако, на всѣ эти черты натуралистическаго метода, исторія якобинцевъ далеко выступаетъ изъ области чистаго натурализма. Причина та, что Тэнъ, слѣдуя натуралистическимъ пріемамъ при описаніи предмета, *относится* къ нему не какъ натуралистъ.

„Въ глазахъ натуралиста человѣкъ, какъ и всякое другое, наблюдаемое имъ явленіе, есть простая *сила*". Натуралистъ—говоря словами Тэна—любитъ эту силу ради ея самой и потому любитъ ее на всѣхъ ступеняхъ ея развитія, во всѣхъ ея проявленіяхъ; онъ *доволенъ* лишь бы видѣть ее въ дѣйствіи. Бальзакъ вполнѣ усвоилъ себѣ эту натуралистическую точку зрѣнія: описывая уродства и болѣзни психическаго міра, торжество страстей, преимущественно низкихъ, онъ самъ „торжествуетъ, когда приходится изображать подлость; ему хорошо среди всего низкаго, онъ живетъ въ немъ безъ отвращенія". Этой симпатіи между натуралистомъ и изображаемымъ имъ явленіемъ совершенно нѣтъ у автора исторіи якобинцевъ. Онъ водитъ читателя по своей галереѣ уродствъ и курьёзовъ не съ любознательнымъ интересомъ собирателя музея, а съ горькимъ сарказмомъ цензора и съ неумолимымъ приговоромъ судьи.

Отчего это произошло? Оттого, что онъ оставилъ за собою сферу искусства, „заставляющаго насъ забыть нравственную оцѣнку предмета". Тэнъ оправдывалъ натуралистическое увлеченіе Бальзака своими сюжетами тѣмъ, что оно относилось къ области жизни воображаемой и идеальной, а не къ міру практической жизни и нравственности. Обращаясь къ *этому* міру, Тэнъ призналъ неприложимымъ къ нему невозмутимое спокойствіе натуралиста или увлеченіе художника предметомъ своего творчества. Къ этому присоединилось значительное измѣненіе въ политиче-

скихъ воззрѣніяхъ Тэна. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ противополагалъ нравственному пессимизму Бальзака свою, основанную на философіи исторіи, вѣру въ нравственный и общественный прогрессъ и съ такимъ бодрымъ, юношескимъ оптимизмомъ, съ такими иллюзіями молодости отстаивалъ противъ нападокъ Бальзака установившійся въ его отечествѣ строй,—съ тѣхъ поръ этотъ „демократическій централизованный строй“ сталъ предметомъ его наблюденій; онъ сталъ призадумываться надъ его недостатками, надъ причинами его возникновенія и надъ его послѣдствіями. Изъ этихъ размышленій и разысканій зародился планъ его главнаго жизненнаго труда: „Происхожденіе современной Франціи“; отсюда же и основная мысль его исторіи якобинцевъ.

В. Герье.

ЗАЛОЖНИКЪ

— „The Bondman", by Hall Caine *).

Предисловіе автора.

Нашъ разсказъ (или „сага", т.-е. преданіе старины, какъ его понимаютъ исландцы) начинается въ 1800 году, когда Исландія, одновременно съ Ирландіей, утратила послѣдніе внѣшніе признаки своей былой національной независимости. Историческіе факты послужили мнѣ только фономъ для обыкновенныхъ, общечеловѣческихъ страстей,—и я спѣшу предупредить объ этомъ читателя, во избѣжаніе съ его стороны укоровъ въ извращеніи или неточности нѣкоторыхъ историческихъ данныхъ. Я даже считалъ разумнѣе не придерживаться строгаго хронологическаго порядка въ исторіи,—до или послѣ вышеупомянутаго, 1800 года; я вполнѣ сознаю, что изобразилъ Исландію, можетъ быть, менѣе культурной страною, нежели она дѣйствительно была въ ту эпоху, но врядъ ли посѣтуютъ на меня за это исландцы, которые въ моемъ изображеніи узнаютъ многія добрыя и прекрасныя черты своихъ природныхъ нравовъ и обычаевъ, способныхъ вдохновить

---

*) Англійскій писатель Холлъ Кэнъ, какъ романистъ и горячій поборникъ нравственныхъ началъ, наиболѣе рельефно проявилъ свое дарованіе въ романахъ: „The Scapegoat", „The Deemster", „The Shadow of a Crime" и, наконецъ, „The Bondman". Послѣдній можно считать выразителемъ его направленія, а богатство фантазіи, соединенное съ тонкой наблюдательностью, придаетъ еще болѣе яркости его образамъ. Прошлое мало-извѣстнаго острова Мэна, лежащаго въ Ирландскомъ морѣ, уже не разъ вдохновляло Кэна: The Deemster" (какъ показываетъ и самое названіе)—исторія судьи на этомъ островѣ, а дѣйствіе романа „The Bondman" происходитъ частью въ Исландіи, частью на остр. Мэнѣ.—*Прим. перев.*

людей даже и въ то отдаленное время. Не особенно важному возмущенію къ Рейкіавикѣ я старался, по возможности, придать характеръ болѣе серьезнаго и сознательнаго народнаго движенія. Что же касается хронологическихъ источниковъ, въ которыхъ я почерпалъ свѣденія, необходимыя для второстепенной части моей книги, то я весьма обязанъ многимъ исландскимъ и англійскимъ трудамъ, а лично я пользовался (съ полной признательностью) любезными указаніями Г. Іона А. Хьялталина, изъ Медрувеллира (Herra Jon A. Hjaltalin, of Mödruvellir). Прошу только не приписывать *ему мои* неточности или ошибки, которыхъ, я думаю, найдется не мало. Что же касается описаній мѣстности и ея обитателей, то я не могу сослаться ни на чей авторитетъ, кромѣ моей собственной наблюдательности.

Хауторнсъ, Кесункъ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Стефенъ Орри.

„Мнѣ отмщеніе, Я воздамъ"...
Римл. XII, 19.

I.

Іоргенъ Іоргенсонъ былъ генералъ-губернаторомъ Исландіи. Датчанинъ, родомъ изъ Копенгагена, онъ выросъ на палубѣ англійскаго торговаго судна; впослѣдствіи онъ служилъ, въ качествѣ офицера, на датскомъ крейсерѣ, во время союза Франціи съ Даніей противъ Англіи. Непостоянный, грубый и практичный отъ природы, Іоргенъ былъ справедливый и честный малый, потому что считалъ это для себя выгоднымъ. Его великодушіе играло роль тонкой политики; а совѣсти своей (которая и безъ того была не изъ лучшихъ) онъ не очень-то позволялъ собой распоряжаться. Однажды, въ числѣ другихъ приключеній, ему пришлось побывать въ Рейкіавикѣ, а кстати и познакомиться съ семьею одного великобританскаго торговца, у котораго была собственная верфь въ Ливерпулѣ. На одномъ изъ его судовъ и отплылъ Іоргенъ оттуда въ Рейкіавикъ, а изъ Рейкіавика уже вернулся съ тяжелымъ грузомъ исландской лавы. Въ то время

эта исландская столица имѣла жалкій, бѣдный и голодный видъ; обитателямъ ея по вкусу пришелся датскій товаръ—соль, и довольный этимъ обмѣномъ, Іоргенъ вскорѣ опять завернулъ въ Рейкіавикъ. Но на этотъ разъ онъ былъ ужъ не одинъ: съ нимъ была молодая жена,—дочь почтеннаго валлійца, къ которому уже больше не вернулось его торговое судно,—приданое молодой невѣсты. Между тѣмъ Іоргенъ кое-что прослышалъ о неладахъ датчанъ и англичанъ; онъ полетѣлъ на всѣхъ парусахъ въ Копенгагенъ и тамъ съумѣлъ убѣдить правительство назначить его,—какъ человѣка толковаго и знакомаго съ англійскими дѣлами,—генералъ-губернаторомъ Исландіи, такъ какъ этотъ постъ былъ въ то время незанятъ. Ему положили жалованья 400 фунтовъ въ годъ и онъ торжественно вошелъ въ гавань Рейкіавика подъ исландскимъ флагомъ (бѣлый соколъ на синемъ полѣ)—флагомъ древнихъ викинговъ. Въ то время Іоргенъ былъ еще молодъ и силенъ душою и тѣломъ; но и съ годами сердце его не измѣнилось: оно было твердо и непреклонно. Честолюбіе рисовало ему заманчивыя картины будущей славы его потомства... Но увы! судьба обманула его, пославъ ему, вмѣсто сыновей, одну единственную дочь. Не смутился и тутъ сильный духомъ правитель Исландіи: онъ рѣшилъ и съ помощью дочери достигнуть для своихъ внуковъ власти и почестей, выдавъ ее за датскаго посла, графа Троллопа—богача и вельможу, у котораго были дома въ Рейкіавикѣ и въ датской столицѣ.

Графъ былъ высокій, сухощавый, морщинистый господинъ въ безукоризненно-напудренномъ парикѣ, усердный дамскій поклонникъ и любезникъ, несмотря на то, что ему кончался пятый десятокъ. Дочь Іоргена, Рахиль, кроткая, любящая и прекрасная лицомъ и душою, была постоянна во всемъ и всегда: какъ въ любви, такъ и въ ненависти. Ей шелъ двадцать первый годъ и уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ она лишилась матери.

Намѣренія ея отца не были тайной ни для будущаго жениха, ни для нея самой. Подмѣтивъ, къ чему клонитъ почтенный генералъ-губернаторъ, Троллопъ самодовольно усмѣхнулся себѣ въ бороду, а Рахили было все равно, за кого ни идти, если ужъ непремѣнно необходимо выйти замужъ; она также не протестовала, хоть и относилась къ графу довольно равнодушно.

Такъ дѣло шло понемногу до самаго того мѣсяца, когда наступаетъ двухнедѣльное великое національное торжество исландскаго населенія; когда губернаторъ, и епископъ, и главный ораторъ, защитникъ и шерифы сходятся у подножія бывшей такъ-называемой „Горы закона“ въ долину Тингвеллира, куда

спѣшитъ также весь народъ. Тамъ громогласно читаются статьи старыхъ законовъ и прибавляются къ нимъ новыя; тамъ воздвигается судбище, обсуждаются дѣла и караются по заслугамъ виновные; тамъ молодежь забавляется ухаживаньемъ, мирится и ссорится, нерѣдко доходя до драки; тамъ съ увлеченіемъ ведутся скачки, кулачный или палочный бой, стрѣльба въ цѣль и тому подобныя развлеченія, подчасъ не на шутку опасныя. Графъ Троллопъ также былъ приглашенъ губернаторомъ на это древнее празднество и вмѣстѣ съ нимъ и съ его дочерью Рахилью присутствовалъ на состязаніи борцовъ, на третій день торжества.

Особенно отличался мускулистый ирландецъ, Патриксенъ, котораго никто не могъ одолѣть и которому единогласно народный восторгъ присудилъ достойную награду,—серебряный поясъ. Стономъ стоялъ шумъ и говоръ; палатки, раскинутыя въ долинѣ, на это время опустѣли: всѣ ихъ обитатели толпились у арены.

Однако не всѣ присутствующіе увлекались зрѣлищемъ ловкаго и смѣлаго единоборства. Въ ближайшихъ отъ губернаторской ложи рядахъ грубыхъ лавокъ виднѣлась сильная, рослая фигура безмолвнаго и безучастнаго зрителя. Онъ сидѣлъ, облокотясь рукой на колѣни, опустивъ на нее свою красиво-очерченную, молодую голову. Шапки на немъ не было и слѣда, а на плечахъ висѣли какіе-то обтрепанные лохмотья, напоминавшіе собою матросскую куртку. Солнце жгло нестерпимо; было жарко и душно, и онъ разстегнулъ на груди шерстяную, матросскую рубаху. Но ни его грудь, покрытая волосами, ни обнаженныя чуть не до плеча руки не производили непріятнаго впечатлѣнія своей наготою: всѣ его члены, всѣ мускулы дышали такой сильной и мужественной красотою, что невольно остановили на себѣ взоры Рахили, оглядывавшей толпу.

Бой кончился и, при восторженномъ шумѣ зрителей, Патриксенъ приблизился къ трибунѣ, чтобы изъ рукъ дочери губернатора получить ожидаемую награду. Машинально, все еще смотря въ ту сторону, гдѣ молча сидѣлъ угрюмый и задумчивый богатырь, Рахиль подала побѣдителю поясъ и сама застегнула серебряную пряжку. Молодцовато пошелъ обратно награжденный силачъ и громко потребовалъ вина, чтобы угостить друзей и самому промочить горло. Затѣмъ тутъ же началъ снова вызывать на бой смѣльчаковъ; но никто не рѣшался. Вдругъ онъ встрѣтилъ на себѣ взглядъ сѣрыхъ, какъ сталь, большихъ глазъ незнакомца.

— Ага! Его-то мнѣ и не хватало!—задорно проговорилъ Патриксенъ и мигомъ загребъ его въ свои медвѣжьи объятія,

упершись своей рыжей головою въ грудь незнакомца такъ сильно, что даже весь побагровѣлъ отъ усилія вышибить его съ мѣста. Но молодой, свѣтлорусый красавецъ не шелохнулся: ноги его будто вросли въ землю.

Пьяная ватага, шедшая по пятамъ за героемъ дня, подняла шумъ: всѣмъ хотѣлось перекричать другъ друга; каждый хотѣлъ довнаться, почему такой силачъ до сихъ поръ не вмѣшивался въ состязаніе, гдѣ, пожалуй, одолѣлъ бы и самого Патриксена? Возмущенный дерзостью такого предположенія, Патриксенъ не на шутку разозлился и прокричалъ въ отвѣтъ, что онъ не мѣшаетъ новичку попытать счастья—отбить у него поясъ, и предлагаетъ ему разстегнуть его.

Въ одинъ прыжокъ незнакомецъ очутился на ногахъ, и тутъ только замѣтили любопытные, что онъ не владѣлъ правой (очевидно сломанной) рукой, перевязанной платкомъ ниже локтя. Не смущаясь, однако, такимъ важнымъ неудобствомъ, молодой силачъ лѣвой рукой крѣпко обвилъ и сдавилъ противника выше пояса. Первый ударъ достался Патриксену, и онъ самоувѣренно воспользовался этимъ правомъ, разсчитывая черезъ минуту—много, двѣ!—видѣть противника у своихъ ногъ. Но тотъ стоялъ неподвижно, какъ будто сильный и ловко разсчитанный ударъ достался не ему; затѣмъ, быстро вытянувъ впередъ одну ногу, чтобы разъединить ноги противника, колѣнкой другой ноги онъ оперся ему въ грудь и, изо всей силы навалившись на него всѣмъ своимъ тѣломъ, хватилъ его головой въ подбородокъ. Тѣмъ временемъ и лѣвая рука его не дремала, сдавливая ребра противника, какъ въ желѣзныхъ тискахъ. Съ болѣзненнымъ, неудержимымъ стенаньемъ, повалился навзничь герой дня, и земляки поспѣшили къ нему на помощь, громко угрожая смѣльчаку свернуть ему шею. Смѣльчакъ, съ той же серьезностью въ лицѣ, которая все время не оставляла его, выпустилъ изъ рукъ побѣжденнаго и мѣрнымъ шагомъ пошелъ прочь.

Между тѣмъ дочь губернатора, съ лихорадочнымъ любопытствомъ слѣдившая за движеніями красавца, уже успокоенно улыбалась и въ волненіи обратилась къ отцу съ вопросомъ: не достойнѣе ли этотъ силачъ высшей награды, нежели получившій ее сначала? Іоргенсонъ отвѣчалъ, что теперь это уже праздный вопросъ, такъ какъ другого пояса выдавать нѣтъ въ обычаѣ. Тогда Рахиль кивкомъ головы подозвала къ себѣ незнакомца, сняла свое коралловое ожерелье и, вся зардѣвшись, надѣла его на бѣдную сломанную руку героя.

— Твое имя?—спросила она.

— Стернъ,—былъ отвѣтъ.
— Чей сынъ?
— Оррисенъ (сынъ Орри), а зовутъ меня Стефенъ Орри.
— Какое твое ремесло?
— Я матросъ: служу въ Стоппенѣ у Снэфелля Іокулля.

Тѣмъ временемъ Патриксенъ успѣлъ подняться на ноги и нѣсколько очнуться. Шатаясь, какъ пьяный, подошелъ онъ къ трибунѣ и, разстегнувъ свой серебряный поясъ, швырнулъ его къ ногамъ побѣдителя.

— На его!—хрипло и злобно прокричалъ онъ и пошелъ обратно въ толпу, ругаясь и поводя мутными, еще налитыми кровью глазами. Лицо его было темно и какъ канаты вздулись жилы на шеѣ и на лбу.

Къ полночи все затихло вокругъ долины и у палатокъ потухли огни. Въ домикѣ пастора, въ селеньѣ Тингвеллиръ, была тишина. Самъ пасторъ съ семьею, оказавшій гостепріимство генералъ-губернатору съ дочерью и его близкимъ, также давно уже отошелъ ко сну.

Позади строеній, у калитки въ садъ, несмотря на поздній часъ, кто-то шептался. То была дочь губернатора, Рахиль, и Стефенъ Орри; онъ упрашивалъ ее взять обратно поясъ, чтобы не возбуждать зависти и злобы родственниковъ и близкихъ побѣжденнаго борца. Но дѣвушка смѣялась надъ его страхомъ, и насмѣшками принудила оставить поясъ у себя. Вдругъ тихій шорохъ заставилъ вздрогнуть храбреца, и серебристый смѣхъ дѣвушки снова звонко раскатился въ ночной, темной тиши. Она не могла себѣ представить, чтобы человѣкъ, одолѣвшій знаменитаго борца, могъ чего-либо пугаться...

На утро весь Тингвеллиръ былъ встревоженъ извѣстіемъ, что Патриксенъ найденъ мертвымъ на плотинѣ, которая вела отъ церкви къ дому пастора. Народъ толпами спѣшилъ туда и останавливался въ ужасѣ надъ почернѣвшимъ, окоченѣлымъ трупомъ силача-героя. Неподвижно раскрытые глаза мертвеца, казалось, все еще были полны той злобы, съ которой онъ крикнулъ Стефену, швырнувъ ему поясъ:—На его!

Несчастнаго подняли, повернули на бокъ: у него была переломлена шея на затылкѣ.

Наскоро созвали судъ, произвели слѣдствіе, но ничего не узнали. Подозрѣніе пало на Стефена Орри; но уликъ не было, а онъ самъ пропалъ, словно въ воду канулъ.

Патриксена опустили въ могилу, и празднества продолжались своимъ чередомъ. Наконецъ, и они прошли; всѣ собрались въ обратный путь.

Длинной вереницей потянулись по большой дорогѣ экипажи, повозки и верховые. Позади Іоргенсона съ дочерью, шагахъ въ тридцати отъ ихъ экипажа, на косматомъ коренастомъ пони ѣхалъ Стефенъ, а за нимъ слѣдомъ—братъ убитаго борца, Патриксенъ. Ихъ путь лежалъ въ столицу Исландіи, Рейкіавикъ.

Миновали іюль и августъ; миновало еще много холодныхъ и теплыхъ мѣсяцевъ, а свадьба Рахили все еще не могла состояться. Молодая дѣвушка сначала откладывала свое рѣшеніе, а затѣмъ и самый срокъ свадьбы. Три раза поддавался ея рѣшенію отецъ, но на четвертый потерялъ терпѣніе, и какъ онъ ни сердился на слова своего будущаго зятя, который намекнулъ ему на существованіе соперника, а пришлось и ему призадуматься: какая причина могла мѣшать знатной дѣвушкѣ выйти за богатаго и знатнаго сановника? Троллопъ опредѣленно „намекнулъ“ на то, что соперникъ его—жалкій бѣднякъ и что этотъ бѣднякъ, по всей вѣроятности, не кто иной, какъ силачъ и красавецъ—Стефенъ Орри...

Тяжелый дубовый столъ застоналъ подъ ударомъ мощнаго кулака Іоргенсона, но старикъ все-таки не хотѣлъ согласиться со своимъ другомъ.

Въ эту минуту графа вызвали. Онъ вышелъ и тотчасъ же вернулся, чтобы спросить старика, увѣренъ ли онъ, что дочь его дома? Это окончательно взорвало Іоргенсона: онъ рѣзко отвѣтилъ графу, вступившись за больную дочь, и стремглавъ бросился къ ней въ комнату. Но ея тамъ не было. Графъ шелъ за нимъ по пятамъ и позвалъ старика съ собою.

Іоргенъ молча, опустивъ голову, послѣдовалъ за нимъ.

За домомъ разстилалась лужайка, еще занесенная снѣгомъ. Тамъ, въ сторонѣ отъ дома, виднѣлись двѣ человѣческія фигуры: онѣ стояли обнявшись. Набѣжавшее облачко разсѣялось, и мѣсяцъ освѣтилъ Рахиль и матроса Стефена.

Какъ раненый дикій звѣрь заревѣлъ Іоргенсонъ и бросился между ними, сильно ударивъ въ грудь дерзкаго матроса.

Рахиль упала въ снѣгъ на колѣни и, рыдая, молила отца о прощеніи.

— Прочь, негодная! Нѣтъ въ тебѣ ни капли моей крови! Не дочь ты мнѣ больше—ты мнѣ чужая! Уходите отсюда и будьте оба прокляты... на вѣки!..

Дрожа отъ ужаса, Рахиль ладонями зажала себѣ уши, чтобы

не слышать ужасныхъ словъ любимаго отца; но еще не успѣли они замереть въ тихомъ морозномъ воздухѣ, какъ она безъ чувствъ упала на снѣгъ.

Осторожно поднялъ ее богатырь Стефенъ и понесъ прочь, какъ ребенка, на своихъ сильныхъ рукахъ.

II.

Дочь губернатора и матросъ Орри изъ Стоппена были обвѣнчаны, а лютеранскій пасторъ, вѣнчавшій ихъ, еще многіе годы спустя, вспоминалъ объ этомъ событіи: его убрали изъ столицы и перевели въ самый отдаленный и бѣдный изъ всѣхъ исландскихъ приходовъ, въ Гримсэ—уединенный островъ, въ семи датскихъ миляхъ отъ береговъ Исландіи.

Замужняя жизнь мало принесла отрады Рахили.

Она думала, что мужъ увезетъ ее къ себѣ и тамъ надѣялась отдохнуть душою отъ всей окружающей обстановки, еще больше растравлявшей горькую для нея разлуку съ отцомъ. Но Стефенъ отговаривался тѣмъ, что здѣсь онъ скорѣе найдетъ себѣ работу, а между тѣмъ по цѣлымъ днямъ сидѣлъ безъ дѣла и видимо не тяготился этимъ. Разъ только случилось ему провожать компанію англичанъ на гейзеры; но, проживъ заработанныя деньги, онъ попрежнему то слонялся по верфямъ, то молча сидѣлъ дома, боясь встрѣтиться глазами съ женою, которой (онъ самъ сознавалъ) не такъ бы пришлось бѣдствовать, выйди она за другого.

Однажды, на ея слова, онъ сухо возразилъ, что бѣдность еще не велика бѣда, если есть у кого богатый отецъ. Рахиль что-то больно кольнуло въ сердце; она умолкла, низко опустивъ голову. Черезъ нѣсколько времени мужъ опять повторилъ свое замѣчаніе и уже прямо посовѣтовалъ ей обратиться за помощью къ отцу: „онъ увидитъ, какъ ты бѣдна, и проститъ“. Гордость молодой женщины возмутилась:

— Скорѣе умру безъ корки хлѣба и безъ капли воды, чѣмъ опозорю порогъ отцовскаго дома!..—воскликнула она.

Но и негодованіе жены не послужило лѣнивому богатырю на пользу. Онъ по прежнему ничего не дѣлалъ, и еслибы не нѣкоторый стыдъ передъ нею, какъ существомъ выше его, онъ бы вполнѣ былъ доволенъ и счастливъ. Его геройская побѣда надъ силачомъ Патриксеномъ стала всѣмъ извѣстна; эта извѣстность льстила ему и, такъ сказать, кормила его: всякій считалъ для себя честью раздѣлить ѣду и питье съ такимъ славнымъ бойцомъ.

Понемногу Стефенъ сталъ поговаривать и о томъ, какъ жаль, что мать его не здѣсь, и что хорошо бы она сдѣлала, еслибы переселилась къ нимъ на житье—въ это отдаленное и бѣдное предмѣстье Рейкіавика: вѣдь она тамъ, въ Стоппенѣ, недурно промышляла сушеной и вяленой рыбой. Рахиль не противорѣчила ему и отчасти надѣялась на вліяніе старухи, какъ единственнаго родного ему человѣка, чтобы расшевелить, понудить его къ работѣ. Но, къ сожалѣнію, ея надежды не оправдались. Старуха — дѣйствительно, усердная работница — потворствовала сыну, считая за счастье трудиться для него, и, вдобавокъ, нещадно ревновала его къ молодой и красивой женѣ, „бѣлоручкѣ“. Этимъ словомъ она безпрестанно корила невѣстку, которая ничего не могла и не умѣла заработать.

Часъ отъ часу бѣдной женщинѣ жилось тяжелѣе, и она очень рада была, когда мужъ какъ-то разъ признался ей, что онъ бы и самъ не прочь работать на морѣ, тѣмъ болѣе, что судно пустяки стоитъ купить—какихъ-нибудь шестьдесятъ кронъ. Тогда онъ будетъ самъ себѣ господинъ и работать будетъ отраднѣе; бѣда только въ томъ, что шестидесяти кронъ неоткуда взять,—ну, и сиди себѣ безъ дѣла, бей баклуши!

Обрадованная болѣе оживленнымъ тономъ мужа, Рахиль слушала его съ замираніемъ сердца; а Стефенъ продолжалъ разсказывать, что и сейчасъ есть на верфи хорошее подержанное англійское судно, которое навѣрное отдадутъ за эту цѣну,—онъ ужъ справлялся.

Рахиль, не долго думая, надѣла на голову „хуфу“ (домашнюю шапочку съ кисточкой), накинула сверху свой полотняный головной уборъ и ушла изъ дому подъ какимъ-то предлогомъ.

Она знала, куда ей пойти за деньгами, и шла не колеблясь. Въ то самое утро, сидя у окна, она слышала разговоръ прохожихъ дѣвушекъ о какомъ-то жидѣ, который не жалѣетъ денегъ за хорошіе волосы и ежедневно поджидаетъ женщинъ и дѣвушекъ подъ навѣсами морскихъ складовъ. И въ самомъ дѣлѣ: еще издали замѣтила она кучку дѣвушекъ, окружавшихъ щедраго покупателя-жида. Въ воздухѣ мелькали его большія блестящія ножницы и звенѣли серебряныя деньги.

На минуту Рахиль испугалась и застыдилась: ей стало жутко смѣшаться съ толпою, сравняться съ этими несчастными простолюдинками, и она пошла прочь. Но зоркій глазъ еврея уже успѣлъ замѣтить ее, и онъ окликнулъ „прекрасную“ обладательницу „прекрасныхъ“ волосъ.

Она и сама знала, что и цвѣтъ, и обиліе ея свѣтлыхъ, вол-

нистыхъ волосъ замѣчательны; надежда получить за нихъ хорошую цѣну заставила ее вернуться.

Жидъ съ перваго же слова далъ ей пятьдесятъ кронъ, но она рѣшительно потребовала шестьдесятъ, и тому пришлось согласиться, хоть и „себѣ въ убытокъ", какъ онъ увѣрялъ.

— Скорѣе, скорѣе! — торопила его бѣдная Рахиль, боясь, какъ бы храбрость не оставила ее въ рѣшительную минуту.

Но вотъ—готово: дѣло сдѣлано! Дрожащей рукою зажала она горсть блестящихъ звонкихъ монетъ и съ пылающимъ отъ стыда и отъ радости смущеннымъ лицомъ поспѣшила домой.

— На,—сказала она мужу: — купи то судно, про которое ты говорилъ, и не будемъ никому одолжаться.

Стефенъ не выказалъ особенной радости, едва пробормоталъ нѣсколько словъ и, взявъ деньги, пошелъ переговорить съ хозяиномъ англійскаго судна.

Только-что онъ ушелъ, какъ вернулась мать его съ мѣшкомъ рыбы, и Рахиль не могла не подѣлиться съ нею своими надеждами; но старуха приняла эту вѣсть хладнокровно и равнодушно усѣлась за обѣдъ.

Съ нетерпѣніемъ поджидала мужа бѣдная женщина, но пришелъ и миновалъ вечеръ, настала ночь, а его все не было. Старуха тихонько злорадно посмѣивалась и подъ конецъ улеглась спать; но Рахили было не до сна.

Далеко за-полночь вернулся Стефенъ... пьяный и со всего размаху хлопнулъ дверью. У Рахили замерло сердце отъ ужаса, а старуха проснулась и разсмѣялась.

Пьянымъ языкомъ Стефенъ залепеталъ что-то безсвязное; но когда онъ бросился на колѣни передъ женою и со слезами сталъ каяться въ своемъ безпутствѣ, несчастная разобрала, что онъ былъ въ игорномъ домѣ, чтобы выиграть вдвое на ея шестьдесятъ кронъ; что онъ проигралъ пятьдесятъ, а на остальныя десять, съ горя, напился.

— Значитъ, все, все пропало!—отчаянно вскричала Рахиль.

— Что жъ тутъ такого? — злорадствовала старуха. — Такъ тебѣ и надо! Знаемъ мы васъ, бѣлоручекъ, прелестницъ! Небось думала, что теперь мой сынъ будетъ больше тобой дорожить, чѣмъ матерью? Ошиблась въ разсчетѣ, голубушка! И твои хваленые волосы, на которые ты хотѣла, какъ на удочку, поймать его, и тѣ не помогли!

Лицо Рахили, сначала блѣдное, какъ у мертвеца, запылало; глаза ея, казалось, хотѣли уничтожить своимъ огнемъ гадкую старушонку.

— Ахъ, ты, жалкая, негодная женщина!—вскричала она:— Я ненавижу, я презираю тебя и твою злобу... слышишь ли: презираю, и готова растоптать тебя какъ гадину!

И, слово за слово, полился цѣлый потокъ неудержимой брани, въ которой, наконецъ, прорвалось все, накипѣвшее на душѣ у бѣдной Рахили за долгое время. Старуха не возражала ей, но только повторяла сыну:

— Полюбуйся, сынокъ, полюбуйся, какъ честитъ твою мать, —вспоившую, вскормившую тебя старую старуху,—жена, которую ты себѣ выбралъ и ввелъ въ свой домъ, чтобы она меня, *меня* унижала!

Старуха била себя въ грудь и заливалась притворными слезами. Стефенъ, пошатываясь, не зналъ, что̀ дѣлать, на чью сторону стать, и, наконецъ, разгоряченный виномъ и злобой матери, ея слезами, размахнулся и... ударилъ жену въ лицо.

Рахиль зашаталась и, вдругъ умолкнувъ на минуту, обратилась къ мужу:

— А, такъ ты меня бьешь? Что жъ, бей, пожалуй, но помни, какъ умеръ Патриксенъ!

Съ нечеловѣческимъ воплемъ рванулся впередъ Стефенъ Орри, распахнулъ дверь и выбѣжалъ вонъ изъ дому.

III.

Въ ту же ночь, вслѣдствіе ужасныхъ потрясеній, Рахиль слегла и въ ужасныхъ мукахъ преждевременно родила ребенка, который даже не порадовалъ ее на первыхъ порахъ, хоть это и былъ ея первенецъ, мальчикъ. Какъ ни жаль ей было безпомощнаго, плачущаго малютки, она какъ будто сердилась на него за безсердечіе его отца.

На второй день вернулась пропадавшая изъ дому старуха и принесла невеселую вѣсть.

— Онъ уѣхалъ, уѣхалъ на англійскомъ суднѣ! Онъ погибъ для меня на вѣкъ!

И, наклонясь къ больной такъ, что почти касалась ея своимъ судорожнымъ, морщинистымъ лицомъ, старуха сжала кулаки и, потрясая ими въ воздухѣ, злобно прокричала:

— Сына за сына! Какъ изъ-за тебя меня бросилъ мой сынъ, такъ пусть и твой броситъ тебя!

Казалось, малютка готовъ былъ оправдать это зловѣщее предсказаніе—до того быстро оставляли силы его слабенькое тѣльце.

Въ горечи и злобѣ на мужа, на свою безъисходную нищету, Рахиль было-подумала лишить его жизни, какъ это встарину разрѣшалось бѣднѣйшимъ изъ бѣдняковъ, но не рѣшалась. Пока она раздумывала объ этомъ, крошка такъ жалобно запищалъ, что на этотъ разъ его жалоба нашла себѣ отголосокъ въ ея материнскихъ чувствахъ и она со слезами прижала малютку къ своей груди. Межъ тѣмъ вернулась со священникомъ добрая старушка-сосѣдка, которая, изъ состраданія къ бѣдной родильницѣ, ухаживала за нею. Старичокъ-пасторъ взялъ младенца изъ рукъ матери и спросилъ, какъ его назвать.

Но молодая женщина молчала.

Тогда пасторъ спросилъ сосѣдку, какъ звали отца ребенка.

— Стефенъ Орри,—отвѣчала та.

— Ну, такъ пусть же онъ будетъ Стефенъ Стефенсонъ,— проговорилъ старикъ и омочилъ свои пальцы святой водою.

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо!—закричала Рахиль.

— Ей отъ него не сладко пришлось, бѣдняжкѣ,—прошептала пастору на ухо сосѣдка.—Лучше ужъ назвать въ честь ея отца,—Іоргеномъ.

— Ну, пусть будетъ младенецъ Іоргенъ Іоргенсонъ,—согласился добродушный старикъ, но его перебилъ крикъ больной:

— Нѣтъ, нѣтъ! Ни за что на свѣтѣ! У меня, какъ и у него, нѣтъ отца! Если суждено ему умереть и предстать къ престолу Всевышняго, пусть на немъ не будетъ позорнаго клейма; если жъ онъ будетъ живъ, пусть люди знаютъ его подъ его собственнымъ именемъ, а не подъ именемъ другого. Назовите его... назовите—Язономъ.

— Боже, спаси и помилуй! Да вѣдь это не христіанское имя!—ужаснулся пасторъ.

— Да развѣ есть, голубка моя, такое прозвище у людей? Суда-то, я знаю, что зовутся частенько „Язонъ“,—увѣщевала ее сосѣдка.

Но пасторъ, какъ ни было ему странно такое желаніе молодой женщины, все-такъ окрестилъ ребенка Язономъ, и съ той поры малютка сталъ крѣпнуть и расти, какъ здоровый.

Однажды, когда Рахиль кормила сына и (какъ ни ужасно было ея положеніе) впервые испытывала радости материнства, къ ней вошла свекровь и объявила, что не намѣрена дольше терпѣть у себя въ домѣ невѣстку и ея „щенка“.

— Вонъ, негодная! И чтобъ никогда больше нога твоя не была у меня на порогѣ!

Къ счастію для Рахили епископъ Петерсенъ, нѣкогда облаго-

дѣтельствованный ея матерью и ея бывшій духовникъ, въ тотъ же вечеръ, потихоньку отъ властей (изъ боязни передъ губернаторомъ), зашелъ провѣдать больную и предложилъ ей для житья небольшой домикъ, пожертвованный кѣмъ-то церковному округу.

Бѣдная женщина съ радостью приняла это предложеніе и понемногу свыклась съ своей грустной долей. Хоть и бѣдна была ея лачуга, хотя вокругъ,—на берегу, въ самомъ концѣ рейкіавикскихъ предмѣстій,—были такіе же или еще худшіе домишки, домишки, гдѣ, по сосѣдству съ грудами досокъ, сѣтей или каменнаго угля, жили такіе же труженики и бѣдняки, какъ она сама,—Рахиль чувствовала себя еще не особенно несчастной. У нея были теперь и радости, и надежды: ея мальчикъ выросталъ сильнымъ и красивымъ ребенкомъ, готовымъ оправдать ея самыя завѣтныя мечты. Нерѣдко, заглядѣвшись на него, соннаго, раскинувшагося на пескѣ у ея ногъ, Рахиль улыбалась, мысленно рисуя себѣ картину, какъ она садится на корабль со своимъ, уже взрослымъ, сыномъ и они отплываютъ въ Англію, — въ милую, далекую Англію, родину ея кроткой и любящей матери... О мужѣ она старалась не думать, рѣшивъ разъ навсегда, что ему нѣтъ даже основанія вернуться, чтобы попасть подъ ножъ брата посрамленнаго и убитаго Патриксена. Всякое воспоминаніе о немъ было ей тяжело, особенно когда люди говорили, любуясь рослымъ и красивымъ мальчикомъ:

— Онъ вылитый отецъ!

Съ невольнымъ содроганьемъ подмѣчала Рахиль иногда, какъ загорался злобный огонекъ въ глазахъ Язона, когда онъ выходилъ изъ себя; но тотчасъ же задатки материнской любви и кротости брали въ немъ верхъ надъ отцовскимъ темпераментомъ, и ребенокъ ласково жался къ матери, гладилъ ей руки, въ знакъ примиренія и покорности.

Годы шли; ребенокъ превратился въ сильнаго, ловкаго юношу, усерднаго работника, и Рахиль уже надѣялась на скорое осуществленіе своей мечты. Въ это время прошелъ слухъ о томъ, что братъ Патриксена умеръ,—и Рахиль подумала, что теперь мужъ ея безбоязненно можетъ вернуться на родину, къ своей семьѣ. Но о немъ по прежнему не было ни слуху, ни духу.

Однажды братъ Патриксена, — который на самомъ дѣлѣ оказался живъ и здоровъ,—вернулся къ своимъ и зашелъ къ женѣ Орри. Онъ принесъ ей вѣсточку о мужѣ. Стефенъ жилъ уже много лѣтъ на островѣ Мэнѣ, женился вторично, но овдовѣлъ и остался съ малолѣтнимъ сыномъ на рукахъ.

Неожиданная тяжкая вѣсть больно отозвалась на душѣ бѣд-

ной женщины: здоровье ея, и безъ того ослабѣвшее отъ трудовъ и лишеній, окончательно пошатнулось и она больше не вставала съ постели, до конца дней своихъ. А конецъ приближался скорыми и вѣрными шагами.

Порой, когда Язонъ, возвратившись съ ловли или съ работы, подходилъ къ ней и садился у ея ногъ, она находила еще въ себѣ силы улыбнуться ему, счастливая его присутствіемъ. Онъ же сидѣлъ молча, широко-раскрытыми глазами тревожно и пытливо слѣдя за неумолимымъ ходомъ разрушенія человѣческой жизни. Смерть была для него непонятна, немыслима: онъ самъ былъ такъ полонъ жизни и силы!

Когда матери стало совсѣмъ плохо, Язонъ побѣжалъ за пастоpомъ. Пріобщивъ задыхавшуюся больную, старикъ хотѣлъ дать знать ея отцу, губернатору; но умирающая не позволила. Тогда онъ прочелъ ей нѣсколько молитвъ, надтреснутымъ голосомъ пропѣлъ нѣсколько псалмовъ и, сдѣлавъ, такимъ образомъ, для нея все, что было въ его силахъ, спокойно усѣлся поодаль, разложивъ на колѣняхъ свой пестрый платокъ и приготовивъ себѣ понюшку табаку.

Больная затихла. Но вотъ она чуть шевельнулась и тихо подозвала сына.

— Ты здѣсь, Язонъ?—и какъ только онъ нагнулся къ ней, торопливо, но ясно зашептала:—нагнись, дитя, ближе... еще... вотъ такъ... Слушай. Я не боюсь оставить тебя сиротою: ты смѣлый, сильный мальчикъ; ты почти мужчина. Такимъ на свѣтѣ живется легко. Свѣтъ жестокъ только къ тѣмъ, кто слабѣе, кто не осилитъ его. Онъ грозенъ для бѣдныхъ, слабыхъ женщинъ, которыхъ судьба—быть подъ ярмомъ мужа... мужчины, для беззащитныхъ безпомощныхъ женщинъ, которыя попадаютъ въ рабство къ безсердечнымъ мужчинамъ!

Собравъ послѣднія силы, Рахиль разсказала сыну всю свою жизнь, свою любовь и преданность мужу, свои бѣдствія и надежды.

— Я всѣмъ, всѣмъ пожертвовала для него, а онъ... За него меня проклялъ отецъ: я все снесла, все простила, а онъ—ударилъ... онъ бросилъ меня!.. Ближе, ближе нагнись и... слушай! Ты пойдешь въ матросы, побываешь въ разныхъ земляхъ. Можетъ быть, и найдешь ты отца; тогда вспомни, что претерпѣла за него твоя мать, вспомни все, что она тебѣ говорила. Если же ты никогда и нигдѣ не встрѣтишься съ нимъ,—можетъ быть, когда-нибудь увидишься съ его сыномъ и тогда вспомни, что вынесла за него твоя мать. Слышишь, дитя мое? Слышишь? Ясно ли я говорю? Понялъ ли ты меня?..—нетерпѣливо, въ

предсмертной одышкѣ, лепетала Рахиль, но Язонъ молчалъ: горло ему сдавило.

— Прощай, мой хорошій, родной мой! Прощай!.. До свиданья!..—въ послѣдній разъ, все слабѣе и слабѣе раздались материнскія слова; впалую грудь приподнялъ еще одинъ, глубокій вздохъ, и къ Язону на руки поникло блѣдное, безжизненное лицо умершей.

Какъ ошеломленный, безъ движенья, безъ слезинки, стоялъ надъ нею осиротѣлый мальчикъ. Въ ушахъ у него еще стоялъ тихій, какъ отдаленное жужжанье, смутный шумъ ея послѣднихъ рѣчей. Той, которая была для него всѣмъ на свѣтѣ, не стало; онъ одинокъ,—онъ сирота!

Добрякъ пасторъ подошелъ и ласково положилъ ему руку на плечо:

— Пойдемъ, дитя мое, пойдемъ отсюда!—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, постойте!—и, какъ во снѣ, хриплымъ голосомъ Язонъ проговорилъ:—это онъ,—отецъ ее убилъ!

— Полно, полно! Какъ можно...

— Да онъ же, онъ уморилъ ее! И не въ одинъ день или часъ, а за всѣ эти ужасныя двадцать лѣтъ!—еще громче настаивалъ юноша, не слушая старика.—Слушайте же вы мою клятву!—продолжалъ онъ, все еще поддерживая охладѣвшую голову покойной.—Клянусь, что весь свѣтъ обойду, а найду его и убью!.. Да! А если его не найду и встрѣчусь съ его сыномъ, то и сына убью, чтобы отомстить отцу!

— Молчи, молчи! Не богохульствуй!—умолялъ старикъ.

— Да, отомщу! И да поможетъ мнѣ Богъ!

— Одумайся, сынъ мой! Кто мы такіе, чтобы указывать пути Провидѣнью? Его святая воля; Онъ одинъ имѣетъ право мстить, посылать возмездіе!

Но Язонъ уже ничего не видѣлъ и не слышалъ; его застывшее отъ ужаса, но любящее сердце дрогнуло; грудь надрывалась отъ накопившихся слезъ и онъ, рыдая, упалъ на постель, прильнувъ къ дорогому для него безжизненному тѣлу.

Дочь губернатора опустили въ могилу въ участкѣ кладбища, гдѣ хоронили бѣдныхъ. Это было на Пасхѣ, ровно девятнадцать лѣтъ спустя послѣ того, какъ Стефенъ Орри бросилъ свою жену на произволъ судьбы.

На слѣдующее же утро Язонъ записался въ матросы на

ирландской шкунѣ, съ правомъ высадки въ Уайтхавенѣ (въ Кумберлэндѣ) и въ Рамсэѣ, на островѣ Мэнѣ.

IV.

Когда-то, давнымъ давно, этотъ небольшой островокъ былъ особымъ, хоть и крохотнымъ королевствомъ, съ настоящимъ монархическимъ строемъ правленія. Но въ 1765 году послѣдній изъ его королей уступилъ его за деньги англійскому правительству, которое тогда же назначило сына бывшаго короля генералъ-губернаторомъ Мэна. Цѣлыхъ полсотни лѣтъ управлялъ новый повелитель этимъ клочкомъ земли, затерянным въ водахъ Ирландскаго моря, и однажды, въ теченіе своего мирнаго и довольнотаки небрежнаго управленія, призадумался о томъ: не назначить ли себѣ помощника и замѣстителя,—словомъ, вице-губернатора? (Надо замѣтить, что почтенный герцогъ Джонъ Этольскій, больше всего на свѣтѣ любилъ свою собственную свободу, которой подчасъ мѣшали дѣла управленія; а отлучиться хоть на время отъ своихъ тяжкихъ обязанностей было бы такъ пріятно!..). Но вотъ вопросъ: кому поручить этотъ важный постъ? Гдѣ найти человѣка, на котораго можно бы вполнѣ положиться?

Ни одному изъ явившихся на выборы кандидатовъ (а было ихъ двадцать-шесть человѣкъ!) не оказалъ губернаторъ предпочтенія. Въ душѣ онъ уже рѣшилъ свой выборъ въ пользу немолодого, но всѣми въ народѣ уважаемаго фермера, нѣкоего Адама Фэрбрезера,—человѣка простого, честнаго и богобоязненнаго. Въ юности пылкій и необузданный Адамъ бѣжалъ изъ отцовскаго дома, чтобы пойти въ матросы, попалъ въ плѣнъ къ арабамъ и около двухъ лѣтъ провелъ въ рабствѣ. Однако ему удалось бѣжать и онъ вернулся на родину уже возмужалымъ,—скромнымъ, воздержнымъ, кроткимъ и трудолюбивымъ.

Длинное, неопредѣленнаго характера, простое строеніе—таково было первое впечатлѣніе, которое произвело жилище фермера и его многочисленной семьи на герцога, пожелавшаго лично отправиться къ нему. Подъѣзжая къ фермѣ, герцогъ еще издали заслышалъ звонъ большого колокола, въ который звонилъ самъ хозяинъ, созывая семью къ обѣду. Это былъ полный, но бодрый и довольно осанистый человѣкъ среднихъ лѣтъ, съ такимъ яснымъ, честнымъ и добрымъ взглядомъ на полномъ, но отнюдь не вялымъ лицѣ, что герцогъ невольно назвалъ его мысленно „ангельскимъ“.

Адамъ поклонился герцогу и безъ малѣйшаго смущенія первый протянулъ ему руку. Съ достоинствомъ, какъ равный равному, помогъ онъ герцогу сойти съ лошади и, между разговоромъ, повелъ ее въ стойло, задалъ ей корму и спустилъ подпруги. Герцогъ, слушая его, шелъ за нимъ слѣдомъ, и только послѣ этого они оба пошли къ дому, куда должны были собраться всѣ домашніе, работавшіе на каменистой, неблагодарной землѣ, составлявшей все достояніе Адама и его шестерыхъ сыновей. Онъ самъ, его жена, сыновья, работники и работницы вошли въ просторную, глубокую кухню-столовую и усѣлись за длинный дубовый столъ. Хозяинъ указалъ герцогу мѣсто рядомъ съ собою, прочиталъ молитву, и всѣ молча принялись за ѣду. Герцогу забавна казалась эта новая для него обстановка, и онъ съ любопытствомъ обводилъ взглядомъ ряды рослыхъ, загорѣлыхъ работниковъ съ засученными по-локоть рукавами и работницъ съ приподнятыми у пояса юбками. Сіятельный гость любовался самообладаніемъ и простотою, съ которой принялъ хозяинъ его посѣщеніе. Съ достоинствомъ принца крови, Адамъ спокойно сидѣлъ во главѣ своего стола и ни однимъ лишнимъ блюдомъ не счелъ нужнымъ скрасить незатѣйливый составъ своего обычнаго обѣда; и это также пришлось по душѣ герцогу.

По окончаніи обѣда, послѣдовала снова краткая молитва, и всѣ разошлись по своимъ дѣламъ. Гость и хозяинъ остались одни.

Придвинувъ къ огню старинныя кресла, они спокойно усѣлись и занялись тихой бесѣдой.

— А вамъ здѣсь, въ уединеніи, повидимому, преуютно живется, м-ръ Фэрбрезеръ,—началъ герцогъ.—Но, все-таки, неужели вамъ никогда, со времени вашего возвращенія на родину, не хотѣлось устроиться какъ-нибудь такъ, чтобы имѣть побольше власти... да, пожалуй, и выгоды?

— Что касается власти,— отвѣчалъ Адамъ:—я замѣтилъ, что ея названіе и она сама, въ дѣйствительности, рѣдко встрѣчаются.

„Наблюдателенъ, какъ государственный человѣкъ", подумалъ про себя гость.

— Что же касается выгоды,—продолжалъ хозяинъ,—я пришелъ къ заключенію, что съ тѣхъ поръ, какъ свѣтъ стоитъ, на деньги не польстился ни одинъ счастливый человѣкъ...

„Разсудителенъ, какъ судья", подумалъ герцогъ.

— А я считаю себя вполнѣ счастливымъ,—заключилъ Адамъ.

„Но безкорыстнѣе всякаго судьи", заключилъ также (про себя) сіятельный губернаторъ, и объяснилъ цѣль своего посѣщенія.

— Пожалуйста, подумайте и не заставьте меня вернуться ни съ чѣмъ!—умоляющимъ тономъ уговаривалъ онъ умолкшаго фермера.—Постъ, который я вамъ предлагаю, можетъ занимать только честный человѣкъ: только это качество для него необходимо, и потому-то я никого, кромѣ васъ, не могу на него назначить. Скажите же: вы согласны?

— Нѣтъ!—коротко и рѣзко отвѣчалъ Адамъ.

„Такого-то мнѣ и надо!“ рѣшилъ еще разъ мысленно герцогъ и уѣхалъ.

Полгода спустя вышло Адаму Фэрбреверу предписаніе быть мэромъ вице-губернаторомъ на жалованье 500 фунтовъ въ годъ.

Однажды, когда сѣверное лѣто 17... года было въ полномъ разгарѣ, „Королевичъ Георгъ“,—англійское судно, на которомъ прибылъ въ Мэнъ герцогъ Іоркскій, бросило якорь у береговъ Рамсея. Генералъ-губернаторъ, герцогъ Этольскій, и всѣ ближайшіе, подчиненные ему сановники съ должнымъ почетомъ встрѣтили и привѣтствовали высокаго гостя. Съ наступленіемъ ночи, судно снялось съ якоря и продолжало свой путь; но въ городѣ долго еще горѣли праздничные костры и смоляныя бочки, раздавались звуки музыки и шумнаго веселья. Шинки и трактиры, все было переполнено молодымъ и старымъ людомъ; всѣ пѣли, плясали и пили.

Въ толпѣ, гомонившей на улицѣ, никто и не замѣтилъ бы молчаливаго, угрюмаго прохожаго, еслибы не его богатырскій ростъ и не его странная, бѣдная одежда: ноги его не были босы, но онъ шелъ въ однихъ чулкахъ, безъ сапогъ; на его свѣтлорусой гривѣ торчала жалкая войлочная шляпенка, безъ полей, и на плечахъ—какое-то шерстяное сѣрое подобіе матросской куртки. Глаза его блуждали и сверкали, какъ у хищной птицы. Толпа передъ нимъ разступалась; звонкій смѣхъ дѣвушекъ обрывался при взглядѣ на чужеземца. Онъ шелъ себѣ впередъ, своими мѣрными, богатырскими шагами и, наконецъ, исчезъ въ темнотѣ. О немъ забыли и думать.

Танцы и смѣхъ пошли своимъ чередомъ; но часа два спустя, когда въ толпу ворвались четыре здоровенныхъ вооруженныхъ матроса и стали торопливо разспрашивать, не видалъ ли кто бѣглаго съ англійскаго судна, странно-одѣтаго, косматаго богатыря,—всѣ припомнили, что дѣйствительно онъ проходилъ мимо, но куда дѣлся потомъ, въ которую сторону пошелъ,—никто не могъ сказать.

Тѣмъ временемъ бѣглецъ уже былъ далеко-далеко за предмѣстьями Рамсея. Усталый, измученный тревогой, онъ едва волочилъ ноги и, только завидя вдали огонекъ, изъ послѣднихъ силъ прибавилъ шагу. Свѣтъ былъ только въ одномъ изъ оконъ большого длиннаго дома, и усталый богатырь осторожно заглянулъ въ него прежде, чѣмъ рѣшиться попросить гостепріимства. Въ большой комнатѣ, освѣщенной яркимъ пламенемъ камина, не было никого, кромѣ пожилого полнаго господина съ такимъ яснымъ и кроткимъ лицомъ, что бѣглецъ не задумался постучаться.

Этотъ добрякъ былъ вице-губернаторъ Фэрбрезеръ, любившій иногда, послѣ дневныхъ обязанностей и тревогъ, провести ночь подъ своимъ роднымъ кровомъ, гдѣ онъ оставилъ хозяйничать своихъ старшихъ сыновей. Проводивъ царственнаго гостя, Адамъ не остался пировать съ властями по отплытіи королевскаго судна, а тихонько ушелъ и поспѣшилъ за-городъ, на свою милую ферму, чтобы тамъ отдохнуть отъ треволненій оффиціальнаго дня.

Сидя передъ огнемъ, онъ съ наслажденіемъ покуривалъ трубку и въ полудремотѣ предавался своимъ горестнымъ и радостнымъ воспоминаніямъ, причемъ мысли его почему-то особенно останавливались на ужасахъ алжирской неволи, кандаловъ и непосильной работы подъ бичемъ досмотрщиковъ.

Въ домѣ все было тихо. Молодежь—хозяева и работники—пировала въ городѣ, а слуга и старуха-тетка, управлявшая хозяйствомъ, давнымъ-давно спали крѣпкимъ сномъ.

Вдругъ Адаму показалось, что кто-то осторожно стукнулъ въ окно. Онъ поднялъ голову. Стукъ повторился, и вице губернаторъ замѣтилъ, что изъ-за стекла на него глядитъ чье-то изможденное лицо. Онъ всталъ, пошелъ отворить и позвалъ прохожаго.

— Войдите!

Прохожій вошелъ и, не сразу освоившись съ яркимъ свѣтомъ камина, заслонилъ рукою глаза; затѣмъ молча приподнялъ рукавъ и показалъ потертыя, растравленныя кандалами, полосы на рукѣ.

Ласковымъ жестомъ правитель пригласилъ несчастнаго сѣсть отдохнуть, привѣтливо заговорилъ съ нимъ, но тотъ скорѣе по догадкѣ понялъ его, потому что сѣлъ къ столу, бормоча что-то совсѣмъ безсвязное на языкѣ, непонятномъ для Адама. Очевидно, онъ былъ чужестранецъ; но кто такой и откуда?..

По счастію, на шкапу стояла модель корабля, и Адамъ указалъ на нее незнакомцу. Тотъ утвердительно кивнулъ головой.

— Матросъ, ну, а націи — какой? Шотландецъ? — продолжалъ Адамъ.—Или норвежецъ?.. Шведъ?

Незнакомецъ только отрицательно качалъ головой и, наконецъ, съ трудомъ произнесъ:

— Ис... ландія!...

Итакъ, онъ исландецъ. Есть ли у него жена, дѣти?... И Адамъ пояснилъ свой вопросъ, указавъ на плохіе портреты своей жены въ юности и своего старшаго сына.

Бѣглецъ смутился, но скоро овладѣлъ собой и кивнулъ отрицательно. Тогда Адамъ взялъ большую старинную библію, тщательно покрытую зеленымъ коленкоровымъ чехломъ, и указалъ незнакомцу на ея первый бѣлый листъ; тамъ стояло его собственное имя, фамилія, годъ и день рожденія. Вопросительно взглянувъ на незнакомца, онъ указалъ пальцемъ на эту надпись, потомъ на себя, потомъ — на него. Но незнакомецъ насупился и не захотѣлъ больше отвѣчать, и только жадными взорами впился въ остатки ужина, еще не убраннаго со стола. Фэрбрезеръ поспѣшилъ привѣтливо предложить ему поѣсть, и когда бѣднягa утолилъ свой голодъ, повелъ его, по его желанію, въ конюшню, гдѣ тотъ и заснулъ въ одинъ мигъ, какъ убитый.

Едва успѣлъ Адамъ вернуться на свое мѣсто у камина, какъ вернулись съ праздника его домашніе, шумно бесѣдуя о минувшихъ событіяхъ дня. Задумавшійся надъ потухавшимъ огнемъ, отецъ вдругъ сталъ прислушиваться къ разсказамъ сыновей о какомъ-то бѣглецѣ, котораго ищутъ матросы, и даже вмѣшался въ разговоръ, разспрашивая о немъ.

— А, онъ ростомъ богатырь, косматый, уже сидѣлъ въ кандалахъ? Такъ онъ, значитъ, воръ, грабитель?

— Нѣтъ: убилъ тамъ кого-то.

Въ эту минуту послышался стукъ тяжелыхъ шаговъ, и въ комнату вошли матросы, выслѣдившіе, наконецъ, бѣглеца. Пока ихъ допрашивалъ старшій сынъ Фэрбрезера: что имъ надо въ такую пору?—отецъ уже выпустилъ изъ зубовъ свою трубку и заснулъ, даже прихрапывалъ немножко.

— Его превосходительство почиваютъ!—шопотомъ проговорилъ одинъ изъ вновь прибывшихъ и сталъ извиняться; но дѣти его сказали, что онъ только-что говорилъ съ ними, и тихо окликнули его:

— Отецъ!.. Отецъ!..

Адамъ не сразу проснулся и, потягиваясь, позѣвывая, отвѣчалъ на разспросы, что никого не видалъ. Затѣмъ голова его снова свѣсилась на плечо, и онъ поддался дремотѣ. Матросы рѣшились просить разрѣшенія переночевать хоть въ конюшнѣ, чтобы поутру уйти дальше на развѣдки, никого не безпокоя; но

хозяинъ дома спросонья,—однако, довольно ясно, — предложилъ имъ лечь на кухнѣ, извиняясь, что не можетъ ихъ размѣстить поудобнѣе. Матросы поблагодарили и откланялись; всѣ домашніе также пошли на покой.

Едва затворилась за ними дверь, какъ сонъ у вице-губернатора какъ рукой сняло. Онъ посидѣлъ, задумавшись и прислушиваясь, пока все въ домѣ затихнетъ, и почти бѣгомъ бросился въ конюшню. Тамъ онъ разбудилъ бѣглеца, и когда тотъ очнулся, повелъ его, крадучись, къ окнамъ кухни, за которыми виднѣлись синія куртки спавшихъ матросовъ. Молча показалъ онъ на нихъ и на большую дорогу. Бѣглецъ понялъ все и въ злобѣ схватился за кинжалъ, горящими глазами впившись въ матросовъ; но Адамъ только взялъ его за руку и молча посмотрѣлъ ему въ глаза. Незнакомецъ потупилъ свой злобный взглядъ.

Еще минута, и его уже не было подлѣ Адама: онъ исчезъ, какъ и пришелъ—внезапно.

Ночь миновала. На разсвѣтѣ розыски матросовъ оказались все такъ же неудачны, и въ полдень ихъ англійскій бригъ вышелъ въ море.

Въ то же утро Лиза Киллэ, извѣстная по всему острову безпутная женщина, вышла изъ своей лачуги и пошла на берегъ, гдѣ стояла у берега ея лодка. Каково же было ея удивленіе, когда она увидала, что на днѣ свернулся и спитъ, какъ убитый, человѣкъ богатырскаго роста, но бѣдно одѣтый. Она разбудила его и повела съ собой въ свою лачугу.

Такимъ образомъ бѣглецу и бѣдняку Стефену Орри судьба привела ночью бѣжать изъ самаго достойнаго, самаго лучшаго дома на всемъ островѣ Мэнѣ, а днемъ войти въ самый недостойный и позорный.

V.

Всего мѣсяцъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ Стефенъ оставилъ родину и свою семью, а между тѣмъ за этотъ краткій срокъ жизнь его успѣла совершенно перевернуться. Съ первыхъ же дней службы на англійскомъ бригѣ ему стало доставаться за его несообразительность и нерадивость; но особенно злился на него тщедушный и маленькій ростомъ боцманъ, которому тяжело было съ нимъ объясняться. Наконецъ, частыя и строгія наказанія такъ раздражили Стефена, что онъ въ бѣшенствѣ ударилъ

кулакомъ злополучнаго боцмана такъ, что тотъ свалился за бортъ. Четыре недѣли продержали виновнаго въ кандалахъ, на хлѣбѣ и на водѣ, да и тѣ отпускались ему лишь черезъ день. Наконецъ, изъ состраданія, товарищи помогли ему бѣжать, и онъ очутился на волѣ.

Какъ это случилось, что онъ, презирая пріютившую его Лизу Киллэ, все-таки на ней женился (вѣнчались они, какъ слѣдуетъ, въ церкви, и даже съ поѣзжанами—знакомыми невѣсты), вѣроятно, онъ и самъ затруднился бы сказать. Какъ бы то ни было, они зажили вмѣстѣ въ убогой лачугѣ пустыннаго селенья Портъ-и-Веллина, какъ и всякіе другіе супруги, — то въ дружбѣ, то въ ссорѣ. Но вскорѣ Лиза, обрадовавшись даровому работнику, всѣ обязанности взвалила на мужа, а сама, подъ прикрытіемъ своего званія замужней женщины, опять принялась кутить и бездѣльничать. Стефенъ сначала работалъ, но мало-помалу и самъ облѣнился, сталъ пить. Въ это время родился ребенокъ, и отецъ сталъ надѣяться, что заботы материнства обуздаютъ, наконецъ, его безпорядочную подругу. Однако Лиза не очень-то принимала къ сердцу свои обязанности и потребности малютки: онъ даже былъ ей въ тягость. Нерѣдко, въ ея отсутствіе, или когда она спала, изнуренная пьянствомъ, Стефенъ самъ нянчилъ ребенка, унималъ его жалобный или настойчивый крикъ. И тогда, чувствуя, какъ безпомощно положеніе заброшеннаго крошки, онъ еще горячѣе ласкалъ сына и невольно вспоминалъ о томъ ребенкѣ, котораго онъ бросилъ тамъ, за моремъ, еще до его появленія на свѣтъ божій, бросилъ его на рукахъ у слабой женщины, которая и сама, какъ ребенокъ, нуждалась въ опорѣ. Онъ всей душой привязался къ ребенку; сталъ меньше пить и больше работать, преслѣдуя неотступную мечту скопить денегъ и, вмѣстѣ съ Михаиломъ (такъ звали малютку), уѣхать отъ женщины, которая стала ему ненавистна. Наконецъ, деньги готовы; съ ребенкомъ на рукахъ, бывшій матросъ спѣшитъ въ гавань, гдѣ ужъ готово къ отплытію на родину ирландское судно.

— А пропускъ? — спрашиваетъ капитанъ своего будущаго пассажира.

Пропуска у Стефена не было, да онъ и не зналъ, что онъ необходимъ.

— Торопитесь!.. Лучше всего вамъ обратиться прямо къ полиціймейстеру: онъ тотчасъ выдастъ!

Стефенъ поспѣшилъ туда.

— Хорошо, за этимъ дѣло не станетъ,—добродушно согла-

сился полиціймейстеръ. — Но гдѣ же ваша жена? Или вы, чего добраго, хотите навязать эту обузу своему приходу?

Объ этомъ-то и не подумалъ богатырь Орри, связанный по рукамъ и ногамъ узами, которыхъ ничья власть не могла порвать.

Понуря голову, шелъ онъ обратно въ ненавистную ему лачугу, гдѣ денно и нощно творилось достойное возмездіе за его грѣхи. Да! Тѣ самыя цѣпи, которыя онъ противозаконно и самовольно порвалъ со своею первой женою, теперь тяжкимъ гнетомъ легли на него со второю! По дѣломъ ему, по дѣломъ!..

Единственной отрадой удрученнаго справедливою карой судьбы, печальнаго отца былъ его весельчакъ, его „Кудрявчикъ“. И въ самомъ дѣлѣ, какъ на диво, росъ въ нищетѣ и въ грязи такой ясноокій, прекрасный ребенокъ, съ такими золотистыми, пышными кудрями, что солнечные лучи, казалось, съ особою любовью отражались въ нихъ. Мальчикъ вносилъ свѣтъ и движенье и прелесть беззаботнаго дѣтскаго веселья въ темную убогую лачугу, въ которой отцу его было свѣтло и легко, когда его Кудрявчикъ въ ней рѣзвился, и тяжело и мрачно, когда онъ спалъ, когда скрывался подъ густыми рѣсницами малютки ясный блескъ его большихъ голубыхъ глазъ. Чѣмъ больше сближался со своимъ Кудрявчикомъ отецъ, тѣмъ больше отдалялась отъ него мать, окончательно погрязшая въ самой безпорядочной жизни. Отцовскія заботы замѣняли ее у колыбели малютки, который подросталъ и хорошѣлъ съ каждымъ днемъ. Самъ грубый и неотесанный, Стефенъ не желалъ, чтобы его сынъ оставался невѣждою; онъ ревниво оберегалъ свое сокровище,—скопленныя на неудавшееся бѣгство и хитро спрятанныя деньги. Этотъ небольшой капиталъ долженъ былъ пойти на будущее образованіе Михаила Орри, а пока Стефенъ самъ училъ его чему и какъ умѣлъ. Онъ говорилъ съ сыномъ по-исландски, пѣлъ ему псалмы, училъ его любить Бога и молиться Ему. Живой, смѣтливый, говорливый, Кудрявчикъ помогалъ отцу нести бремя его тяжкой, безъисходной жизни. Какъ живительно дѣйствовала на угрюмаго богатыря милая, серебристая, какъ колокольчикъ, болтовня мальчика, когда сѣрое небо, низко нависшее надъ утихшимъ моремъ, казалось, хмурилось на все окружающее, будто желая помѣшать рыбной ловлѣ, на которую выѣхалъ Стефенъ съ сыномъ въ своей старой-престарой, заплатанной лодкѣ!..

Однажды они зашли далеко въ море и съ этой цѣлью еще на зарѣ вышли изъ дому.

На душѣ у Стефена было особенно тяжко: наканунѣ онъ

хотѣлъ отложить еще немного денегъ, но увидалъ, что его тайникъ пустъ,—и понялъ, почему сосѣди видѣли въ этотъ день Лизу въ трактирѣ. Все пропало! Всѣ его труды, мечты и надежды,—все исчезло: осталось только какое-то тупое, животное отчаяніе.

Молча сидѣлъ въ лодкѣ понурый богатырь, побороть котораго могло только горе; его молчаливость сначала передалась и ребенку. Мало-по-малу онъ, однако, увлекся посторонними впечатлѣніями и голосокъ его зазвенѣлъ, какъ обыкновенно. Все ему нужно было знать (еще бы! ему шелъ уже пятый годъ!), все его интересовало: и солнце, которое опускалось и поднималось на небѣ, и стаи крикливыхъ птицъ, и измѣненія въ днѣ и ночи... А она,—облачная и угрюмая,—была уже недалеко. Глазки Кудрявчика заволокло дремотой.

— Ложись себѣ, милый; ты ужъ и то совсѣмъ спишь!

— Нѣтъ, нѣтъ!—возмутился мальчикъ.—Мнѣ совсѣмъ спать не хочется... ни чуточки!

Въ ту же минуту глазки его закрылись, головка поникла. Вдругъ онъ встрепенулся и открылъ глаза:

— А вѣдь я еще не молился!—проговорилъ онъ, и тотчасъ же полусоннымъ голоскомъ сталъ напѣвать свою молитву-псаломъ:

Во снѣ ль, на яву—мы всегда
Въ Божіихъ вѣщихъ рукахъ.
Въ мракѣ ночномъ,—и тогда
Молитва у насъ на устахъ.

Слова родного Стефену исландскаго нарѣчія какъ-то особенно трогательно звучали въ его дѣтскомъ лепетѣ, и отецъ, слушая безсознательную мольбу сына къ Всемогущему Творцу, невольно чувствовалъ давно неиспытанное душевное умиленіе...

Поздно ночью шелъ съ берега домой усталый рыболовъ и бережно несъ на рукахъ соннаго малютку, какъ вдругъ его остановили сосѣди, говоря, что о немъ разспрашивалъ какой-то чужой человѣкъ, узналъ, гдѣ онъ живетъ; но что никто его потомъ ужъ не встрѣчалъ. Недоброе предчувствіе овладѣло Стефеномъ; онъ прибавилъ шагу.

Дверь въ его лачугу стояла настежъ. На полу валялась зарѣзанная Лиза, а на бѣлой стѣнѣ, у нея въ головахъ, было крупно написано углемъ:

„Такъ отомщенъ Патриксенъ!“

„С. Патриксенъ“.

„Отомщенъ?“ О, нѣтъ! Не человѣку дано карать человѣка: возмездіе—дѣло рукъ Божіихъ...

VI.

Три дня спустя, еще до разсвѣта, поднялся Стефенъ, усердно умылся, почище одѣлся, особенно старательно умылъ и одѣлъ сына; затѣмъ, подкрѣпившись самъ и его накормивъ наскоро, чѣмъ Богъ послалъ, взялъ на-руки малютку и вышелъ изъ своей лачуги на большую дорогу. До самыхъ сумерекъ пришлось ему идти по солнопеку, глотать пыль, поднимавшуюся тончайшими клубами при малѣйшемъ вѣтеркѣ. Только на полдорогѣ остановился онъ ненадолго, чтобы купить кусокъ ячменнаго пирога, который онъ переломилъ пополамъ, и отдалъ Кудрявчику его половину, а свою—сунулъ себѣ въ карманъ.

Двадцать шесть миль сдѣлалъ въ тотъ день Стефенъ Орри съ ребенкомъ на рукахъ и, наконецъ, уже подъ вечеръ постучался у воротъ губернаторскаго дома въ Рамсеѣ.

Отворившій ему слуга, въ гороховой съ краснымъ ливреѣ, тщательно выбритый и напудренный, спросилъ, кто онъ такой, и удивленно окинулъ глазами его богатырскій ростъ, бѣдное, нищенское платье и полусоннаго ребенка, прижавшагося къ его широкой груди. Стефенъ отвѣтилъ толково на всѣ вопросы, промолчавъ только о цѣли своего прихода. Господина вице-губернатора нельзя было тревожить: они изволили обѣдать.

Стефенъ молча спустилъ съ рукъ ребенка, сѣлъ на скамейку у входа на крыльцо и далъ Кудрявчику вторую половину пирога. Крошка бодро и терпѣливо, какъ взрослый, перенесъ всѣ трудности пути, не жалуясь ни на его безконечность, ни на голодъ или жажду, которую еще больше возбуждали зной и пыль.

Кудрявчикъ усердно жевалъ свой подсохшій пирогъ, но вдругъ до него долетѣли серебристые раскаты звонкаго дѣтскаго смѣха; онъ остановился, съ видимымъ удовольствіемъ прислушиваясь къ нему, и не донесъ до рта послѣдній кусокъ своего незатѣйливаго „гостинца“. Милое личико его освѣтилось улыбкой, а на лицѣ отца легла унылая тѣнь.

— А что, мой Кудрявчикъ, хотѣлось бы тебѣ жить въ такомъ домѣ?—спросилъ онъ беззвучнымъ голосомъ.

— О, да, папни... съ тобою!

Въ эту минуту слуга вышелъ на крыльцо зажечь фонарь.

— Это еще что? Чего вы тутъ до сихъ поръ торчите?—спросилъ онъ не особенно ласково.

— Я жду, когда можно будетъ повидать губернатора,—спокойно проговорилъ Орри.

Слуга пошелъ доложить барину, что его непремѣнно хочетъ видѣть какой-то оборванецъ, который и говоритъ Богъ вѣсть на какомъ непонятномъ языкѣ.

Адамъ Фэрбрезеръ все еще сидѣлъ за столомъ, окруженный клубами дыма, который вился надъ нимъ и надъ его старой пріятельницей—трубкой. Жена сидѣла съ вязаньемъ поодаль отъ него, чтобы дымъ не мѣшалъ ей и не ѣлъ глаза. По приказанію вице-губернатора, слуга ввелъ назойливаго посѣтителя прямо въ столовую.

— Войдите, Стефенъ Орри!—привѣтливо произнесъ хозяинъ дома, и его слова отразились на лицѣ грубаго матроса, которое приняло болѣе мягкое выраженіе.

— Я пришелъ... дать вамъ... кое-что...—началъ Орри, съ усиліемъ выговаривая и немилосердно коверкая англійскія слова.

Жена губернатора съ удивленіемъ и любопытствомъ взглянула на обтрепаннаго бѣднява.

— Вотъ все... что есть... у меня! Больше ничего... ничего не могу. Больше мнѣ нечего отдать!—продолжалъ тотъ, держа за руку сына и какъ бы указывая на него.

— Но что же именно?—старался Адамъ помочь ему объясниться.

— А вотъ: ребенокъ!—и Стефенъ передалъ своего мальчика съ рукъ на руки Адаму Фэрбрезеру.

Не видя, какъ поражена его необычайнымъ поступкомъ жена губернатора, Стефенъ, задыхаясь отъ волненія, не замѣчая, что слезы застилаютъ ему глаза, торопливымъ и страстнымъ шопотомъ принялся разсказывать исторію всей своей жизни, своихъ надеждъ и ихъ погибели; сказалъ, что жена его умерла, что онъ самъ пойдетъ теперь на работу,—какъ и прежде, ловить сельдей; что онъ долженъ кормить ребенка этимъ жалкимъ трудомъ и по неволѣ бросать его, въ это время, на произволъ судьбы; что кромѣ него, Адама Фэрбрезера, ему нѣкому поручить ребенка,—ни въ кого другого онъ такъ не вѣритъ, что онъ отдаетъ ему сына заимообразно, на время, а можетъ быть и... навсегда.

— И вотъ... — хрипло заключилъ онъ: — я говорилъ себѣ: „Губернаторъ—добрый... онъ спасъ меня тогда, давнымъ давно... Отдамъ ему... свое дитя!“...

Онъ низко опустилъ голову и мялъ въ рукахъ свою засаленную шляпу. Молчаніе прервала жена Адама.

— Ну, скажите, пожалуйста: слыхано ли когда что-либо подобное?

Плохо соображая и не понимая, къ чему клонятся ея слова, Стефенъ только растерянно и робко взглянулъ на нее.

— Что жъ, диковинка у насъ на островѣ дѣти, что-ли?— продолжала она.

— Онъ все... все мое достоянiе, сударыня!—пробормоталъ бѣдняга своимъ смущеннымъ, ломанымъ языкомъ.

— Господи! Да такъ намъ со всего прихода нанесутъ дѣтей! —воскликнула она раздраженно.

Губы богатыря задрожали:

— Но я-то... я люблю его больше всего на свѣтѣ!..

— Ну, такъ я была бы вамъ благодарна, еслибы вы его и оставили у себя!

Все, все, что̀ угодно могло придти въ голову Стефену, только не это!.. Какихъ трудовъ, какихъ мукъ ему стоило убѣдить себя въ необходимости разстаться съ сыномъ для его же пользы; не видѣть его золотистой головки и яснаго личика, не слышать его звонкой болтовни и милаго, беззаботнаго смѣха; не одѣвать, не кормить его; не забавлять, не носить его на плечѣ въ припрыжку; не раздѣвать его и не читать съ нимъ нараспѣвъ молитвы!.. И за все это время ни разу не приходило ему въ голову считать своего мальчика обузой, считать крошки хлѣба, которыя нужны для его пропитанiя.

Что-то больно заныло у него въ груди и жгло, и давило горло. Съ минуту постоялъ бѣднякъ въ раздумьѣ и молча протянулъ руку, чтобы взять сына обратно; но Адамъ ласково обнялъ ребенка, стоявшаго у его колѣнъ, и обратился къ женѣ:

— Руѳь, мы оставимъ ребенка у себя: нашей Грибѣ будетъ веселѣе.

— Своихъ-то, видно, вамъ мало!—заворчала она.

— Нѣтъ, не мало; но еслибъ ихъ было вдвое больше, и то я былъ бы счастливъ. Да и ты также не тяготилась бы ими.

Глаза Адама подернулись слезами: онъ вспомнилъ дошедшiе до островитянъ смутные слухи о первомъ бракѣ богатыря Стефена и еще нѣжнѣе прижалъ къ себѣ малютку.

— Да, мой другъ: мы оставимъ его у себя!—мягко, но рѣшительно подтвердилъ онъ; и женѣ его, которой тоже пришла на память исторiя Стефена и его первой жены, не оставалось больше ничего, какъ промолчать и уйти къ себѣ.

Не успѣла за ней затвориться дверь, какъ выраженiе благодарности и восторга разлилось по лицу бѣдняка-матроса. Въ нѣмомъ смущенiи онъ смотрѣлъ то на эту дверь, то на Адама, который усадилъ Кудрявчика къ себѣ на колѣни и тихо, ласково

спросилъ, какъ его зовутъ? Не задумываясь, бойкій мальчуганъ отвѣчалъ:

— Кудрявчикъ!

— Онъ крещенъ Михаиломъ; это я прозвалъ его Кудрявчикомъ,—сказалъ отецъ.—Ему уже пятый годъ.

— Онъ однихъ лѣтъ съ моей крошкой,—замѣтилъ Адамъ и приказалъ привести свою дочь.

Черные волосы малютки Грибы волнистыми прядями разметались у нея по плечамъ и казались еще чернѣе отъ бѣлоснѣжной длинной ночной рубашки, въ которой она прибѣжала къ отцу, смѣясь тому, что босыя ножки ея забавно шлепали по полу; смѣялись и ея блестящіе глазки, и смуглыя румяныя щечки.

Съ минуту посмотрѣли дѣти другъ на друга, какъ звѣрки, которые въ первый разъ видятъ другъ друга. Затѣмъ Кудрявчикъ, повидимому, вспомнивъ, что его, когда онъ ходилъ босикомъ, брали на руки и заставляли надѣть башмаки, подбѣжалъ къ хорошенькой босоножкѣ, обхватилъ ручонками и приподнялъ ее, чтобы посадить на стулъ, какъ маленькую; но не выдержалъ, и оба свалились на полъ, при полномъ недоумѣніи со стороны мальчика и негодованіи со стороны дѣвочки. Однако послѣдняя скоро преложила гнѣвъ на милость и протянула ему куклу, которую тотъ взялъ сначала со страхомъ: такой диковинки онъ еще отъ роду не видывалъ! Щебеча что-то несвязное, будто птички, дѣти живо освоились другъ съ другомъ, благодаря любезности молодой хозяйки. Она то-и-дѣло исчезала въ темномъ углу большой столовой и каждый разъ возвращалась оттуда съ чѣмъ-нибудь особенно интереснымъ: то съ книгой съ картинками, то съ рисовальной дощечкой, то съ приборомъ для куклы.

Комната оживилась, наполнилась суетней и лепетомъ, бѣготней и смѣхомъ новыхъ друзей, углубившихся въ свой свѣтлый и пестрый дѣтскій міръ.

Стефенъ Орри долго смотрѣлъ на ихъ игры, насколько ему позволяли его отуманенные глаза; долго боролся со своей душевной мукой и, наконецъ, обратился къ хозяину дома:

— Ну, пора мнѣ потихоньку уйти.

И они тихо вышли изъ комнаты. Дѣти, занятыя игрушками, и не замѣтили, что остались одни.

Часа два спустя, замѣтивъ, что его папши нѣтъ подлѣ него, Кудрявчикъ покричалъ и поплакалъ, но скоро утѣшился ласками своего новаго друга и уснулъ, положа свою золотистую головку на подушку рядомъ съ черными волосами, обрамлявшими хоро-

шенькое личико Грибы. Между ними сладко почивала любимая большая кукла дѣвочки.

А въ это время въ темнотѣ, подъ окнами губернаторскаго дома нерѣшительными шагами ходилъ бѣдно одѣтый человѣкъ, гнувшійся какъ бы подъ тяжестью своего богатырскаго роста. Трудно ему было оставить свое единственное любимое дитя, свою радость, свое сокровище; но онъ, наконецъ, ушелъ, оставилъ его... на многіе, долгіе годы!..

VII.

Не для одного только Стефена имѣла важное значеніе перемѣна въ жизни малютки Михаила Кудрявчика: его усыновленіе повлекло за собою большія перемѣны въ семейныхъ условіяхъ Адама Фэрбрезера.

Двадцать четыре года прожилъ онъ со своей женою, женщиной рѣзкой и своевольной, въ наружномъ согласіи, умѣя уступать ей въ мелочахъ и мириться съ шероховатостями ея довольно сухого нрава. Ея энергіи онъ былъ отчасти обязанъ тѣмъ, что былъ избранъ въ вице-губернаторы; она съумѣла отчасти убѣдить его, что это даже полезно для его же дѣтей, и онъ подчинился необходимости оставить свое любимое независимое занятіе—земледѣліе. Руѳь также иногда поступалась кое-какими мелочами, чтобы не нарушать домашняго мира, но такого безобразія, такого потворства лѣнтяямъ и гнуснымъ бабамъ, какъ усыновленіе ребенка изъ этой среды, зараженной порокомъ,—она не могла и не хотѣла снести! Внутренняя рознь между Адамомъ и его женою обозначилась теперь рѣзко и опредѣленно и уже не проходила до конца ихъ жизни.

Между тѣмъ малютка Кудрявчикъ сжился съ новой обстановкой и въ одинъ годъ измѣнился къ лучшему до неузнаваемости. Онъ расцвѣлъ, оживился; счастливое выраженіе не сходило съ его свѣжаго, чрезвычайно привлекательнаго личика; онъ съ утра до вечера прыгалъ по всему дому и щебеталъ, какъ птичка; его ласка очаровывала всѣхъ, и даже враждебно настроенная м-ссъ Фэрбрезеръ не могла оставаться совершенно равнодушной къ ней.

Прошелъ еще годъ, прошелъ и другой. Дѣти подростали, и уже съ такого нѣжнаго возраста стала замѣтна разница въ ихъ нравахъ и наклонностяхъ. Гриба была женщиной въ миніатюрѣ: быстрая, требовательная, тщеславная и впечатлительная. Михаилъ,

мальчикъ положительнаго и самоотверженнаго характера, былъ кротокъ и терпѣливъ; но иногда у него, какъ у настоящаго мужчины, прорывались вспышки неудержимаго гнѣва.

Минулъ еще годъ — и маленькимъ друзьямъ пришлось разстаться. Герцогиня, однажды на прогулкѣ, обратила вниманіе на смуглую красавицу-дѣвочку, гонявшуюся за бабочками на лугу, при дорогѣ. Она заглядѣлась на здоровое, оживленное личико Грибы, на ея быстрыя движенія, полныя силы и веселья, и ей пришло на умъ, что эта малютка была бы хорошей и полезной подругой ея собственной крошкѣ, блѣдненькой, хилой и вялой въ своихъ одиновихъ играхъ и забавахъ. И въ самомъ дѣлѣ: не пара же восьмилѣтней герцогинѣ ея старушка-гувернантка!

Нѣсколько дней спустя, герцогиня Этольская посѣтила губернаторскій домъ; она особенно обласкала Грибу и подарила ей чудную свѣтлую шляпу съ пышнымъ и длиннымъ перомъ. И въ этотъ разъ (какъ прежде самому герцогу) Адамъ наотрѣзъ отвѣчалъ отказомъ на предложеніе герцогини увезти къ себѣ его малютку-дочь. Но, какъ и тогда, практическія соображенія и увѣщанія жены сдѣлали свое дѣло. Скрѣпя сердце, онъ далъ свое согласіе; но что̀ испытывало его бѣдное сердце, когда онъ говорилъ объ этомъ съ дочерью, и передать трудно!

— А что, дѣточка моя, Гриба, очень бы ты хотѣла видѣть Лондонъ?—спросилъ онъ дѣвочку, которая вся ликовала отъ восторга.

— А развѣ я тамъ все, все увижу? И экипажи, и верховыхъ съ амазонками, и дѣвочекъ, разодѣтыхъ въ шолкъ и въ бархатѣ?

— Пожалуй, что и увидишь.

— О!—только и могла всплеснуть руками восьмилѣтняя дѣвица, все еще не оправившаяся отъ восхищенія имѣть новую шляпу съ большимъ перомъ!

Темные глазки малютки засверкали отъ радости, а въ глазахъ отца отразилась глубокая печаль.

— Но вѣдь ты знаешь, Гриба: туда съ тобой нельзя никому: ни Михаилу, ни папѣ, ни мамѣ...

Губки дѣвочки сжались; она недовольно нахмурилась... но не надолго: какъ весенняя тучка, промчалась минутная грусть по ея оживленному личику, и оно, какъ ясное солнышко, все засіяло на встрѣчу будущимъ удовольствіямъ.

— Ступай, моя дѣточка, бѣгать! — грустнымъ голосомъ сказалъ ей отецъ, и Гриба, легкомысленная, какъ настоящее дитя,

поспѣшила воспользоваться этимъ разрѣшеніемъ, чтобы бѣжать подѣлиться съ Михаиломъ своей важной новостью.

За послѣднее время Кудрявчикъ свелъ дружбу со старикомъ-перевозчикомъ О' Киллэ, который иногда давалъ ему для прогулки своего осла. Кудрявчикъ какъ разъ собрался учить уму-разуму этого почтеннаго четвероногаго и, съ этой цѣлью, для большаго удобства, усѣлся на него безъ сѣдла. Засучивъ рукава, снявъ сапоги и чулки, Кудрявчикъ закинулъ ихъ на веревочкѣ себѣ за спину и у самаго моста гналъ своего осла въ воду; но старикъ-оселъ упрямился, мальчикъ сердился...

Въ эту критическую минуту явилась Гриба, сіяющая, въ новой шляпѣ. Торопливо и сбивчиво она сообщила своему другу, что уѣзжаетъ туда, въ столицу, гдѣ все, все такъ чудесно,—гдѣ она увидитъ и нарядныхъ дѣвочекъ, и экипажи, и амазонокъ... и такую „кучу“ всего хорошаго!

Лицо мальчика, сначала выражавшее только любопытство, вытянулось, и онъ молча слѣдилъ глазами за движеніями своей любимой подруги, когда она, поглощенная новыми для нея интересами, вытягивала впередъ шейку, чтобы въ водѣ увидѣть на себѣ свою чудную шляпу и длинное пушистое перо.

— Да, да; и я тоже буду ходить въ бархатѣ и въ шелку; буду носить чудныя новыя шляпки, все съ перьями, и кучу, кучу всего такого чудеснаго!—восторгалась она.—И... ну, не говорила ли я тебѣ, что ужъ когда-нибудь да явится за мною фея?

— Нашла тоже о чемъ говорить, глупенькая!—перебилъ ее Кудрявчикъ.

— Кто это? Я-то глупенькая?! Нѣтъ, неправда: я не глупенькая и я уѣзжаю, а ты вотъ и умный, да остаешься! И теперь у меня будутъ подруги дѣвочки, и я „съ ними“ буду играть, а не съ „мальчишками“!.. Вотъ тебѣ!..

— Очень мнѣ нужно!.. Глупая!.. Убирайся куда хочешь!—не выдержалъ мальчикъ и, въ волненіи, чтобы скрыть свое горе, принялся немилосердно погонять своего злополучнаго осла.

Теперь-то, совершенно неожиданно для себя, и добился Михаилъ, чего хотѣлъ: испуганный градомъ палочныхъ ударовъ, оселъ, какъ бѣшеный, бросился въ воду, но до того стремительно, что мальчикъ потерялъ равновѣсіе и свалился. Выкарабкался Кудрявчикъ изъ воды благополучно, но съ его волосъ и съ платья текли холодные ручьи. На берегу стояла поблѣднѣвшая, остепенившаяся Гриба, и мальчикъ съ горделивымъ кивкомъ головы презрительно прокричалъ ей:

— Ну, глупая! Неужто ты думала, что я утонулъ? Ну?

чего-жъ ты стоишь, не уходишь? Ступай, если собралась уѣзжать!

Какъ ни хороша была шляпа съ перомъ, но и она не могла отвлечь вниманіе дѣвочки отъ такого оскорбительнаго равнодушія. Она надула губки и, опустивъ головку, проговорила какъ-то скороговоркой:

— Ну, и уѣду, и уѣду: тебѣ-то что за дѣло, если тебѣ это все равно?

— Кто жъ тебѣ сказалъ, что мнѣ все равно? Развѣ я тебѣ говорю, что мнѣ все равно?

Но Гриба настаивала на своемъ.

— Еслибъ ты уѣзжалъ отъ меня, я бы такъ плакала, такъ плакала!..—и усиленно моргая, чтобы сдержать готовыя хлынуть слезы, дѣвочка бѣгомъ бросилась прочь.

— Я не такой дуракъ, чтобъ заливаться слезами!—крикнулъ Михаилъ ей въ догонку, но ея ужъ и слѣдъ простылъ.

Тогда ему стало немножко стыдно за свою напускную грубость и онъ крикнулъ погромче:

— Гриба!.. Гриба!..

Но Гриба не возвращалась. Мальчикъ напрягъ всѣ свои силы и еще крикнулъ:

— Гриба!.. Гриба!..

Но дѣвочка такъ и не вернулась. А черезъ полчаса она уже сидѣла въ коляскѣ, рядомъ съ герцогиней, и безутѣшно рыдала:

— Кудрявчикъ! Кудрявчикъ!.. О, милый!..

VIII.

На этотъ разъ м-ссъ Фэрбрезеръ ошиблась въ разсчетѣ: никакой выгоды для семьи не оказало присутствіе Грибы въ домѣ герцогини Этольской, — даже наоборотъ: оно имѣло совершенно неожиданныя и непріятныя для нея (супруги вице-губернатора!..) послѣдствія. Адамъ тосковалъ и совсѣмъ бы изнемогъ въ разлукѣ со своей любимицей-дочкой, еслибъ не любовь и участіе къ нему его пріемнаго сына:—„этого подкидыша, сына негодяйки и лѣнтяя!“—восклицала про себя м-ссъ Фэрбрезеръ.

Подростая, Михаилъ развивался душевно и умственно подъ благотворнымъ вліяніемъ своего пріемнаго отца и друга. Его ласки, его помощь и нѣжная заботливость утѣшали печальнаго старика. Ни съ кѣмъ, кромѣ своего Кудрявчика, не могъ онъ

лучше отвести душу въ разговорахъ о дочкѣ; никто не исполнялъ такъ хорошо его порученій, не понималъ съ полуслова. Учась отлично въ училищѣ, Михаилъ успѣвалъ во всемъ быть усернымъ и дѣльнымъ помощникомъ своему названному отцу; всѣ знали, что на него можно было положиться; онъ же самъ всю свою потребность любви и привязанности перенесъ на добраго и умнаго старика, которому семья (какъ онъ самъ все болѣе и болѣе убѣждался) мало приносила утѣшеній. Сыновья его—всѣ шестеро, безъ исключенія—были здоровенные, рослые и такіе же черствые душой люди, какъ и ихъ мать. Всѣ они не взлюбили Михаила за его несходство съ ними и любовь къ нему отца; когда же мать, выйдя изъ себя, заявила, что уйдетъ изъ дому вмѣстѣ съ сыновьями, Адамъ и не сталъ ихъ удерживать, предоставивъ имъ, съ обычнымъ для него самопожертвованіемъ, все свое имущество и землю при фермѣ.

— Не грустно ли подумать, что всѣ минувшіе годы, когда мы съ тобою несли вмѣстѣ бремя трудовъ на пользу нашей семьи, какъ будто и не существовали, не оставили по себѣ добраго воспоминанія и силы привычки? Ты была мнѣ вѣрной женою и много радостей видѣли мы съ тобою вмѣстѣ. Неужели все это должно пойти прахомъ? — такъ говорилъ удрученный старикъ.

Но м-ссъ Фэрбрезеръ не хотѣла оставаться подъ однимъ кровомъ съ „безчеловѣчнымъ отцомъ, которому подобранный въ грязи мальчишка дороже, чѣмъ своя плоть и кровь“, и уѣхала изъ губернаторскаго дома вмѣстѣ со своими сыновьями. Старикъ Адамъ остался одинъ съ Михаиломъ.

Ни на минуту не раскаявался онъ въ томъ, что такъ дорого заплатилъ за свою привязанность къ одинокому ребенку; но теперь чаще прежняго возвращались его мысли къ дочери, и онъ кончилъ тѣмъ, что вызвалъ ее къ себѣ письмомъ. Но прошло два-три дня и нетерпѣніе его возросло до того, что онъ и самъ отправился за нею.

Замѣстителя его, Михаила (въ то время уже юношу лѣтъ восемнадцати), вызвали въ сѣверный округъ острова по дѣламъ, и прошло еще нѣсколько дней, пока онъ могъ вернуться домой. Дорогой ему пришлось передумать невеселыя думы. Онъ чувствовалъ, онъ считалъ несправедливымъ со своей стороны быть причиной семейнаго разлада для человѣка, которому онъ былъ всѣмъ обязанъ, за котораго онъ готовъ бы жизнь отдать. Да! Нѣтъ иного исхода: чего бы ни стоило это рѣшеніе, а надо удалиться, возвратить семьѣ ея утраченный миръ!..

Такъ и рѣшилъ Кудрявчикъ, подъѣзжая къ губернаторскому дому. Вдругъ онъ осадилъ свою лошадь, которая и безъ того уже плелась шагомъ: ему показалось, что за изгородью идетъ оживленный разговоръ. Повинуясь инстинктивному любопытству, онъ двинулъ лошадь ближе къ калиткѣ и, приподнявшись на стременахъ, увидалъ одного изъ собесѣдниковъ: это былъ его старый пріятель и желанный гость—перевозчикъ О'Киллэ; другого скрывали густыя вѣтви кустовъ.

— Каковъ онъ изъ себя? — повторилъ старикъ чей-то вопросъ. — Да таковъ, что только бы смотрѣть на него да радоваться,—Господь съ нимъ! И статенъ онъ, и красивъ, и уменъ такъ, что и сказать нельзя: разумнѣе иного старика, право! Нѣтъ въ мірѣ, кто бы съ нимъ сравнялся, — развѣ только ты сама, голубка моя! А ужъ и хороша же ты выросла, моя барышня! Краше солнышка, яснѣе зари утренней!

Въ эту минуту послышался шорохъ вѣтвей, и у ногъ Михаила вдругъ разрослась по дорогѣ чья-то длинная тѣнь. Онъ тихо дернулъ поводья. Добрый конекъ шагомъ двинулся въ путь, но Кудрявчикъ, не глядя впередъ, опустивъ поводья, ѣхалъ, не заботясь о томъ, куда привезетъ его лошадь: онъ чувствовалъ только, что рядомъ съ нимъ, по краю дороги идетъ кто-то дорогой и близкій, на котораго онъ не смѣлъ поднять глаза.

„Она!.. Гриба!..“ въ радостномъ смущеньѣ думалъ онъ, спрыгнувъ съ сѣдла и пожимая ея протянутую руку. Оба были скорѣе испуганы, нежели обрадованы въ этотъ мигъ, когда увидали, какъ оба измѣнились: Гриба, малютка Гриба была взрослая стройная дѣвушка, а Михаилъ — по годамъ еще юноша —рослый и серьезный мужчина. Только кудри его по прежнему отливали на солнцѣ, какъ золото.

— Ты, кажется, радовался, когда я уѣзжала?—лукаво начала молодая дѣвушка:—такъ, можетъ быть, и не радъ, что я вернулась? — и, чтобы скрыть свое волненье, она тихо засмѣялась.

Кудрявчикъ, и самъ смущенный, ничего не нашелся отвѣтить и невольно, идя рядомъ съ нею, вторилъ ея тихому смѣху. Счастливые, рука-объ-руку подходили они къ крыльцу родного дома, а старикъ-отецъ увидѣлъ ихъ изъ окна и прошепталъ:

— О, Боже! Пошли, чтобы теперь насталъ конецъ всѣмъ нашимъ разлукамъ и горестямъ, чтобы ничто больше насъ не разъединяло!

Нѣсколько дней спустя Адамъ позвалъ къ себѣ въ кабинетъ своего любимца. Онъ былъ не одинъ. Высокій, широкоплечій

чужестранецъ, неказисто одѣтый, съ морщинистымъ, хоть и не старымъ лицомъ, порывисто всталъ и протянулъ руки впередъ, будто желая обнять вошедшаго; но вдругъ, окинувъ его быстрымъ взглядомъ, застыдился, опустилъ руки и отступилъ назадъ.

— Вотъ вашъ сынъ, Стефенъ Орри!—говорилъ между тѣмъ вице-губернаторъ, обращаясь къ незнакомцу, и договорилъ, поясняя поблѣднѣвшему, какъ смерть, юношѣ: — Михаилъ, вотъ твой отецъ! Онъ пріѣхалъ за тобой, чтобы отвезти тебя на родину...

Голосъ старика дрогнулъ и умолкъ.

Въ тишинѣ раздался неровный, грубый, едва понятный лепетъ богатыря-Стефена. Онъ говорилъ сбивчиво, но цѣль его появленія можно было, все-таки, понять изъ его словъ: онъ хотѣлъ помѣстить сына въ гимназію, въ Рейкіавикѣ, чтобы тамъ онъ закончилъ свое образованіе подъ руководствомъ епископа—человѣка умнаго и ученаго, заслужившаго всеобщую любовь и уваженіе; въ деньгахъ на это дѣло онъ не нуждается: слава Богу, ихъ у него довольно. Теперь онъ, Стефенъ, пойдетъ къ себѣ, въ свой старый домишко въ Портъ-и-Веллинѣ, и тамъ хотѣлъ бы еще разъ до отъѣзда повидаться съ сыномъ, чтобы сообщить ему нѣчто важное. Ирландскій бригъ уходитъ въ Рейкіавикъ въ будущую субботу.

Съ этими словами Стефенъ Орри неуклюже поклонился и вышелъ, шаркая тяжелыми сапогами.

Долго молчали старикъ и юноша, удрученные случившимся. Все существо Михаила возмутилось противъ несправедливости судьбы. Какъ? По какому праву долженъ онъ бросить человѣка, который любилъ, воспиталъ его, и бросить какъ разъ въ то время, когда онъ болѣе всего нуждается въ его помощи и заботахъ, въ его теплой, сыновней привязанности? Какое право имѣетъ тотъ,—его отецъ,—распоряжаться его жизнью, когда не онъ охранялъ ее, предоставивъ эту естественную обязанность чужимъ людямъ? Что далъ онъ сыну, кромѣ стыда за прошлое родителей? Ужъ не за это ли онъ требуетъ отъ него такой жертвы?..

Негодованіе душило юношу: онъ открыто возмутился, считая повиновеніе обиднымъ для своей чести. Старику Адаму отрадно было видѣть, какъ привязано къ нему его любимое дитя; но, скрѣпя сердце, онъ исполнялъ свою обязанность безпристрастнаго наставника и тихо уговаривалъ его:

— Онъ—твой отецъ, дитя!.. Онъ—твой отецъ!..

Не въ силахъ подъискать подходящія увѣщанія, не въ си-

лахъ думать, старикъ отвернулся лицомъ къ окну и только повторялъ все одни и тѣ же слова:—Онъ твой отецъ, дитя!..—и до того настойчиво повторялась эта фраза, что она невольно привлекла вниманіе Михаила. Онъ задумался, не зная, чему приписать это кажущееся желаніе своего друга и пріемнаго отца. Ужъ не значитъ ли это, что теперь, когда Гриба съ нимъ, старикъ не будетъ въ немъ нуждаться, и потому не особенно будетъ огорченъ его отъѣздомъ?

— Хорошо... я поѣду... если вамъ угодно...—съ трудомъ произнесъ Михаилъ, и тутъ только заговорилъ старикъ, въ то время, какъ душа въ немъ разрывалась отъ нѣжности и горя, отъ необходимости ему, какъ честному человѣку и отцу, вступиться передъ сыномъ за другого отца.

— Послушай, дитя мое, что я тебѣ скажу,—началъ онъ и разсказалъ ему все, что зналъ о жизни и страданіяхъ бѣднякабогатыря, Стефена Орри. Разсказалъ, какъ этотъ грубый и несчастный человѣкъ няньчилъ и холилъ съ колыбели своего златокудраго малютку-сына; какъ онъ трудился и по грошамъ копилъ деньги, чтобы увезти его отъ безсердечной и вѣчно пьяной матери, когда замѣтилъ, что она знать не хочетъ своего ребенка; какъ это не удалось ему и какъ потомъ пропали крѣпко спрятанныя, завѣтныя деньги, предназначенныя на его воспитаніе; какъ ему, бѣдняку Стефену, хотѣлось сдѣлать изъ сына человѣка и какъ онъ, съ этой цѣлью, додумался до того, чтобы разстаться съ нимъ, отдать его въ чужія руки; какъ это ему было тяжко и какъ онъ не „бросилъ“, а по необходимости, изъ желанія ему же добра, разстался съ сыномъ, своимъ единственнымъ сокровищемъ на свѣтѣ!..

Говоря задушевно и краснорѣчиво въ пользу злополучнаго бѣдняка, Адамъ самъ, такъ сказать, бичевалъ свое собственное сердце, въ тайной надеждѣ, что его мальчикъ все-таки не поддастся его увѣщаніямъ и опять скажетъ:

— Нѣтъ, все равно, не поѣду! — и останется съ нимъ навсегда.

Но бѣдный старикъ видѣлъ, какъ сверкали глаза юноши, какъ онъ поминутно мѣнялся въ лицѣ, и съ глубокой грустью выслушалъ рѣшеніе Михаила, въ которомъ слышались горделивая нѣжность и сожалѣніе:

— Да, я согласенъ: для такого отца я пошелъ бы хоть на край свѣта!

Съ этой минуты Адамъ Фэрбрезеръ старался затаить въ себѣ

свою душевную боль и принималъ на себя не только бодрый, но даже безпечный и веселый видъ.

Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ казался въ то достопамятное утро, когда Кудрявчикъ простился съ Грибой и собрался сѣсть на лошадь, чтобы отправиться въ Портъ-и-Веллинъ.

— Постой-ка, и я съ тобой! — воскликнулъ онъ, какъ бы радуясь своей выдумкѣ.—Дай провожу тебя до Балласаллы.—И они не спѣша поѣхали рядомъ.

Всю дорогу старикъ много говорилъ и даже посмѣивался своимъ радужнымъ мечтамъ: побывать въ Рейкіавикѣ, чтобы повидаться со своимъ Кудрявчикомъ. Но Кудрявчику такъ же, какъ и бѣдному старику, было въ душѣ не до смѣха, хоть оба и думали, что обманываютъ другъ друга своею бодростью.

Но вотъ и Балласалла.

— Послушай, дитя мое, ты еще до отъѣзда своего переговоришь съ отцомъ и, вѣроятно, узнаешь еще много такого, что касается твоего отъѣзда, но все-таки главное его желаніе, чтобы ты воспитывался въ исландской гимназіи. Помни это, а также не забывай и того, что есть у нашихъ мэнскихъ островитянъ пословица: „для богатаго ученье прикраса, а для бѣднякa—богатство". Есть и еще другая, въ которой говорится, что „плохо платить впередъ или вовсе не платить"... Такъ вотъ, чтобы тебѣ не пришлось испытать на себѣ ни того, ни другого, возьми-ка припрячь эту бумажонку,—и онъ подалъ Михаилу бумажку въ 50 фунтовъ.

— А затѣмъ, мой мальчикъ, да благословитъ тебя Богъ!

Старикъ спѣшилъ поскорѣе покончить прощанье, но Михаилъ остановилъ его за рукавъ и растроганнымъ голосомъ попросилъ:

— Благословите меня и *ее*!

Не стараясь больше скрыть свои слезы, Адамъ обнялъ своего любимца и тихій вѣтерокъ смѣшалъ сѣдые волосы старика съ золотистыми кудрями юноши.

IX.

По смерти жены Стефенъ Орри заколотилъ дверь своей лачуги и только теперь, четырнадцать лѣтъ спустя, отперъ ее и цѣлыхъ три дня усердно чистилъ, топилъ и провѣтривалъ, чтобы сыну не противно было очутиться подъ роднымъ, убогимъ кровомъ.

Завидя Михаила, Стефенъ снялъ шапку, подержалъ ему стремена и поклонился, инстинктивно называя его „сударь".

— Зовите меня Михаиломъ,—сказалъ юноша, и они вошли въ бѣдный домишко, такой же мрачный, тѣсный и сырой, какъ и во времена дѣтства Кудрявчика.

Самъ Орри также производилъ тяжелое впечатлѣніе. Его огрубѣлое, морщинистое лицо было покрыто рубцами; руки были безцвѣтны и исцарапаны; отъ косматой головы и старой одежды несло запахомъ крѣпкаго табаку и морского ила.

— Мнѣ надо вамъ кое-что сказать,—началъ съ трудомъ богатырь.—Только поймете ли? Я вѣдь такъ и не выучился говорить по-англійски.—И вдругъ, подъ вліяніемъ внезапной мысли, онъ проговорилъ нѣсколько словъ на своемъ родномъ исландскомъ языкѣ.

Еще минута, и грубый великанъ зарыдалъ, какъ ребенокъ: онъ увидалъ, что Михаилъ его понялъ. И на Михаила въ свою очередь какъ будто повѣяло при этихъ звукахъ чѣмъ-то давно забытымъ.

— Пожалуйста, зовите меня Михаиломъ! Вѣдь я вашъ сынъ, —сказалъ онъ, и бесѣда ихъ пошла своимъ чередомъ, причемъ отецъ говорилъ по-исландски, а сынъ—по-англійски.

— Не добрымъ я былъ для тебя отцомъ, — началъ свою исповѣдь Орри:—я будто забросилъ тебя. Но мнѣ хотѣлось, чтобы изъ тебя вышелъ человѣкъ лучше меня,—грубаго, неученаго!—и мнѣ не хотѣлось показываться тебѣ на глаза, чтобы не заставлять сына краснѣть за отца. А ужъ какъ отецъ, порой, стремился всей душой, всѣми помыслами къ своему дорогому мальчику! Какъ ему хотѣлось обнять его, какъ бывало въ дѣтствѣ!..

— Отецъ, отецъ! Послушай...—взволнованно перебилъ его Михаилъ.

— И вотъ, сынъ мой, наконецъ, дождался я часа, когда ты уѣдешь ко мнѣ, на родину. Я опять долженъ разстаться съ тобою: *мнѣ* тамъ не мѣсто. Есть тамъ не мало людей, которые меня знаютъ; есть и такіе, передъ которыми я глубоко виноватъ. Такъ вотъ, чтобъ загладить мою вину, ты и ѣдешь теперь туда... Слушай, дитя мое: тамъ есть женщина, которая безъ вины пострадала изъ любви ко мнѣ, а я... я ничѣмъ не вознаградилъ ее за это... Я бросилъ ее!..

И Стефенъ разсказалъ сыну все, все, съ той минуты, какъ онъ сталъ знаменитымъ побѣдителемъ борца Патриксена; разсказалъ, какъ проклялъ Іоргенсонъ свою любимую единственную дочь; какъ онъ самъ, Стефенъ, мучилъ ее и за то терпѣлъ муку отъ своей второй жены; и какъ, наконецъ, Богъ, милосердый и всевѣдущій, направилъ руку мстителя,—брата Патриксена,—

развязавъ нерасторжимыя брачныя узы, связывавшія и его самого, и ребенка.

Въ волненіи, чувствуя то негодованіе, то глубокую жалость къ несчастному силачу, много согрѣшившему, но и много выстрадавшему, Михаилъ жадно вслушивался въ его нервную рѣчь.

— Теперь она, Рахиль, если и жива, то постарѣла, удручена горемъ, нуждается въ участіи и поддержкѣ. Мнѣ подлѣ нея не мѣсто; но ты, Михаилъ... согласенъ ли ты замѣнить ей меня? Обѣщай же мнѣ, обѣщай!..

Но Михаилъ молчалъ, погруженный въ тяжелое раздумье.

— Знаешь, я много лѣтъ подъ рядъ, живя въ разлукѣ съ тобой, въ минуты раскаянія стремился душой загладить свое прошлое, но чувствовалъ себя недостойнымъ вернуться къ ней,— къ бѣдной, обиженной, оскорбленной женѣ и матери: мнѣ стыдно было той грязи, въ которую я опустился потомъ!.. И тогда, въ своихъ мечтахъ, я представлялъ себѣ, какъ ты, выросши и возмужавъ, разыщешь ее, мою Рахиль (или ея дитя, если ея ужъ не будетъ на свѣтѣ), и утѣшишь, успокоишь ее на старости лѣтъ... Богу угодно было спасти меня и тебя отъ мести убійцы... и тутъ-то, стоя надъ трупомъ той, которая была всю жизнь для меня наказаніемъ и позоромъ, я... я далъ обѣтъ, что ты—чистый и честный—вернешься къ ней... къ несчастной Рахили!

Михаилъ опустилъ голову и закрылъ лицо руками.

— Сынъ мой! Дитя мое! Скажи же: сдержишь ли ты мое обѣщаніе?

— Да! сдержу!—вскричалъ вдругъ юноша, и отъ этой твердой рѣшимости вдругъ пропали вся его гордость, всѣ его сомнѣнія. Сердце его было полно жалости къ великому грѣшнику, такъ долго и безутѣшно терпѣвшему за свои тяжкіе проступки.

— Гдѣ же она? Въ Рейкіавикѣ?.. Все равно, я найду ее, хотя бы пришлось для того исходить полъ-міра; а не найду ея— разъищу ея сына и буду ему братомъ изъ любви къ тебѣ, къ моему отцу!

— О, сынъ мой, дитя мое!.. — только и могъ проговорить Стефенъ Орри.

Въ эту минуту ему показалось, что бремя невзгодъ и лишеній, которое онъ несъ за минувшія двадцать лѣтъ, было легко и отрадно.

X.

Теперь Михаилу оставалось только въ послѣдній разъ попрощаться со своимъ пріемнымъ отцомъ и съ его семьею; но семья эта, ликовавшая по случаю его отъѣзда, все-таки не хотѣла видѣть его, и даже Грибѣ запрещено было проститься со своимъ другомъ дѣтства. Но на что безсиленъ умъ мужчины, того всегда достигнетъ женская уловка: Гриба ухитрилась дать знать Кудрявчику, что будетъ ждать его вечеромъ, наканунѣ отъѣзда, у поворота на мостъ, подъ прикрытіемъ живой изгороди, окружавшей ферму и ея службы. Молодая дѣвушка еще продолжала гостить у матери и братьевъ.

Вечеромъ, когда стемнѣло, Кудрявчикъ ужъ поджидалъ ее подъ сѣнью кустовъ, нависшихъ надъ изгородью. Его удивило, какъ беззаботно Гриба напѣвала, спускаясь съ досчатаго моста; удивило его и то, что она слегка вскрикнула,—будто забыла, что сама просила его придти. Бѣдный юноша былъ еще настолько неопытенъ, что не понималъ этихъ маленькихъ хитростей, этого невольнаго женскаго кокетства. Она стояла передъ нимъ высокая, стройная и полная дѣвственной прелести. Простота ея наряда не уменьшала ея красоты. Лица ея не было видно: въ сумеркахъ оно совсѣмъ исчезало въ глубинѣ бѣлаго, какъ снѣгъ, платочка, повязаннаго „кибиточкой“, которымъ она хотѣла защититься отъ пыли. Легкій вѣтерокъ игралъ чернымъ локономъ, который шаловливо выбился изъ-подъ импровизированной шляпы и тихо билъ ее по лицу.

— Итакъ, ты уѣзжаешь, —начала она, стоя рядомъ съ Кудрявчикомъ.—А мнѣ все что-то не вѣрилось...

— Но почему же?..

— Да такъ... не знаю... Впрочемъ, я думаю, и въ Исландіи найдется не мало барышенъ; впрочемъ, какія тамъ барышни? Ужъ, вѣрно, неважныя.

— Нѣтъ, отчего ты такъ думаешь? Я слышалъ, что есть такія красавицы! И мѣстность тамъ красивая, и люди...

— Ну, ужъ и люди! Воображаю! Настоящей барышнѣ нужно и общество, и люди получше исландскихъ...

— Значитъ, ты недолго пробудешь здѣсь и вернешься въ Лондонъ?

— Ну, нѣтъ: это дѣло другое! Здѣсь у меня отецъ... и родная ферма... А на фермѣ здоровенные братцы, на которыхъ

пріятно смотрѣть, когда они вернутся съ поля и съ аппетитомъ поглощаютъ все, что̀ имъ ни поставятъ на столъ.

— А тебя они совсѣмъ безъ меня избалуютъ... Если же и не они, такъ кто-нибудь... другой.

Черные глазки пытливо глянули на него изъ-подъ бѣлаго платочка и грудь дѣвушки порывисто поднялась разъ-другой, но серебристый голосокъ зазвучалъ все такъ же безпечно и шутливо:

— Но если тамъ столько красавицъ, вѣдь и ты тоже женишься?

— Можетъ быть,—былъ короткій отвѣтъ; и въ тихомъ воздухѣ слышался только трескъ сухой вѣточки, которую на мелкіе кусочки ломала дѣвушка.

— Ну, прощай; пора! меня могутъ спохватиться,—проговорила она холодно.

— Я провожу тебя до дому,—предложилъ Михаилъ.—Смотри, какъ темно!

— Нѣтъ, нѣтъ, ради Бога! Они готовы убить тебя!

— Велика важность!.. Кажется, встань они всѣ четверо въ рядъ съ ножами въ рукахъ, и то я не побоюсь проложить тебѣ дорогу!—съ жаромъ сказалъ юноша, и Гриба гордой улыбкой окинула его рослую, сильную фигуру, энергичный поворотъ головы и красивый, едва видный въ темнотѣ, профиль.

Тихо дошли они рядомъ до калитки.

— Прощай, пора!—повторила Гриба, но уже привѣтливо и невыразимо нѣжно.

— Гриба!

— Ну, что̀ тебѣ? Говори только тише, чтобы они не слыхали!—прошептала молодая дѣвушка и прижалась поближе къ другу.

— Скажи, какъ ты думаешь? Если я долго-долго тамъ пробуду, будемъ ли мы помнить другъ друга, или совсѣмъ забудемъ?

— Ахъ ты глупый, глупый!—засмѣялась дѣвушка:—ужъ если не забудемъ, такъ, конечно, будемъ помнить!

— Полно, не смѣйся! Обѣщай мнѣ... — и Михаилъ что-то прошепталъ ей на ухо.

Гриба прыгнула въ сторону и звонко засмѣялась, но онъ догналъ ее и, тяжело дыша, повторялъ, держа за руку:

— Обѣщай же, обѣщай, что дождешься меня.

— Ну, хорошо, хорошо. Я обѣщаю, что никто, кромѣ тебя, не будетъ баловать меня. Доволенъ? Ну, прощай же!

— Постой! Дай мнѣ хоть что-нибудь на память въ знакъ того, что ты согласна!

По нѣжному запаху нарцисовъ Гриба угадала, что они близко. Она протянула руку и сорвала два пахучихъ бѣлыхъ цвѣтка: одинъ отдала Михаилу, а другой спрятала у себя на груди.

— Прощай, прощай!—чуть слышно проговорила она.

— Прощай!—повторилъ онъ и, стремительно обвивъ ея станъ одной рукою, другой приподнялъ ея милое личико и поцѣловалъ прямо въ пухлыя губки.

Гриба снова тихо и звонко засмѣялась, убѣгая отъ него, а онъ только успѣлъ крикнуть ей во слѣдъ:

— Не забудь!

За калиткой, недалеко отъ дома, молодая дѣвушка встрѣтила старшаго брата.

— Люди ужъ давно вернулись съ работы и скотъ успѣли загнать, а нашей дѣвочки все еще нѣтъ! Гдѣ она пропадаетъ?—еще издали донесся до нея его густой басистый голосъ.

— Вотъ она! Вотъ бѣглянка!—закричала она въ отвѣтъ:—Я шла потихоньку, не спѣша: такой чудный вечеръ! А сейчасъ замѣшкалась у калитки. Такой у нея неуклюжій затворъ: ужъ я билась, билась, пока затворила!

На слѣдующій день, когда лодка Стефена Орри подъѣзжала къ ирландскому бригу, на которомъ долженъ былъ отплыть его сынъ, Михаилу показалось, что отецъ что-то хочетъ ему сказать, но не рѣшается, перебрасываясь лишь изрѣдка нѣсколькими, совершенно посторонними замѣчаніями. Но вотъ бригъ уже совсѣмъ близко. Стефенъ рѣшился. Опустивъ руку въ карманъ, онъ вынулъ мѣшокъ съ деньгами и передалъ сыну.

— Вотъ онѣ: возьми!

— Не надо,—рѣзко проговорилъ юноша и отдернулъ руку; но затѣмъ, желая загладить грубость своего отказа, прибавилъ:—Благодарю, но съ меня, право, довольно и того, что мнѣ далъ м-ръ Фэрбрезеръ: тамъ 50 фунтовъ.

— Ну, да, онъ, вѣрно, затѣмъ и далъ тебѣ эти деньги, чтобы ты не трогалъ моихъ,—угрюмо пробормоталъ Стефенъ.

Михаилу стало жаль отца.

— Сколько у тебя тамъ, отецъ?—спросилъ онъ, указывая головой на мѣшокъ.

— Двѣсти фунтовъ.

— И ты ихъ копилъ цѣлыхъ четырнадцать лѣтъ, чтобы мнѣ было на что уѣхать въ Исландію?

— Да, дитя.

— А сколько у тебя осталось?

Отецъ смутился.

— Ну, не знаю хорошенько. Съ меня хватитъ.

— Но сколько именно? Немного? Или... ничего ровно?

Стефенъ молчалъ.

— А, вотъ видишь: ты себѣ ничего не оставилъ...—проговорилъ сынъ, и краска залила его лобъ и щеки.—Отецъ!—началъ онъ снова:—Я согласенъ, я беру эти деньги. Давай ихъ сюда!.. Ну, а затѣмъ скажи мнѣ: ты вѣришь, что я съумѣю истратить ихъ разумно... по совѣсти?

— Конечно, мой мальчикъ.

— Такъ возьми же ихъ обратно, трать ихъ и не старайся больше добывать... Хорошо?

Стефенъ не хотѣлъ брать; но сынъ настоялъ на своемъ.

— Вспомни, отецъ, свое обѣщаніе: вся твоя жизнь теперь принадлежитъ мнѣ,—ты самъ же сказалъ,—и я по совѣсти... (слышишь: „по совѣсти!“) распоряжаюсь ею. Бери и не забывай меня; а я тоже не забуду своихъ обѣщаній.

На палубѣ брига отецъ и сынъ простились молча, безъ словъ; волненіе ихъ душило.

Къ вечеру стало свѣжѣть, и Стефенъ не успѣлъ еще сдѣлать и полдороги до-дому, какъ тучи сгустились; налетѣлъ шквалъ; волны играли лодкой, какъ щепкой.

Въ эту минуту опасности не о себѣ подумалъ Стефенъ: ему пришло въ голову, какъ бы хорошо было, еслибы шкуна, которая шла къ нему на встрѣчу, и которую онъ ясно различалъ вдали при блескѣ молніи, разбилась о подводныя скалы. Но врядъ ли это случится: береговой огонь, повѣшенный у самаго берега, надъ водою, свѣтитъ далеко и шкуна идетъ прямо, по безопасному пути. А жаль: было бы тогда чѣмъ поживиться! Вотъ, еслибы фонарь погасъ—другое дѣло... Недолго думая, Стефенъ сталъ держать къ берегу и скоро подошелъ къ нему совсѣмъ близко. Одинъ, два удара весломъ—и фонарь разбитъ; огонь захлеснуло волной, задуло вѣтромъ... Ахъ, да не все ли равно? Дѣло сдѣлано, все въ порядкѣ.

Съ замираніемъ сердца Орри сталъ слѣдить за ходомъ шкуны, не могъ спокойно усидѣть на мѣстѣ, то-и-дѣло вскакивая на ноги, чтобы лучше видѣть. Вдругъ что-то упало къ его ногамъ. Онъ поднялъ... мѣшокъ съ деньгами и ему вспомнилось обѣщаніе, данное сыну: больше не „добывать“. Жутко стало ему; такъ жутко, что онъ вдругъ пожалѣлъ о своемъ поступкѣ и по-

желалъ,—да, пожелалъ отъ души,—чтобы ничего не случилось. Онъ молилъ Бога, чтобы шкуна миновала рифы; но она неслась по чернымъ волнамъ быстрѣе молніи. Что было силы, Орри налегъ на весла, направляясь въ разрѣзъ, прямо къ шкунѣ, чтобы крикнуть, остановить ее во-время,—чтобы спасти отъ гибели людей—мужей, братьевъ, отцовъ—отъ того самаго, чего онъ такъ страстно, такъ жестоко желалъ и для нихъ готовилъ. Поровнявшись съ гигантскимъ остовомъ шкуны, онъ крикнулъ. Его не слыхали. Онъ крикнулъ еще разъ, стоя, словно желѣзное изваянье, на узкой скамьѣ, на которой только-что сидѣлъ съ веслами въ рукахъ,—крикнулъ напрягши всѣ свои послѣднія силы... Но бригъ отнесло вѣтромъ и на палубѣ никто не разслышалъ его мощнаго, нечеловѣчески-отчаяннаго вопля.

Шкуна летѣла прямо на рифъ.

XI.

Въ тотъ моментъ, когда береговой огонь (замѣнявшій современные благоустроенные маяки) погасъ, вахтенный не сразу обратилъ на это вниманіе; но затѣмъ онъ замѣтилъ не одинъ, а два огня, которые довершили погибель шкуны. Одинъ свѣтился въ лачугѣ Стефена, который нарочно зажегъ его передъ отъѣздомъ, чтобы видѣть его еще издали. Другой—горѣлъ въ домикѣ троихъ холостыхъ стариковъ, которые споконъ вѣку жили неразлучно, работая за своимъ ткацкимъ станкомъ; теперь же, когда старшій изъ нихъ одряхлѣлъ, работали только двое, а третій хлопоталъ по хозяйству: чинилъ платье и стряпалъ.

Въ тотъ вечеръ, когда ревѣла буря, братья Данни и Джемми Кьюлэ еще сидѣли за работой, когда имъ почудился, со стороны рифовъ, человѣческій крикъ; затѣмъ еще и еще, въ перемежку съ порывами вѣтра и грохотомъ волнъ.

Старики побѣднѣли и переглянулись.

— А вѣдь это люди кричатъ,—замѣтили они другъ другу.

— Да, да: ужъ не судно ли сѣло на рифы? Чего добраго, въ такую непогоду!..

— А выйдемъ-ка, поглядимъ!..—и слабые, безпомощные старики вышли на берегъ, съ содроганіемъ прислушиваясь къ воплямъ вѣтра и человѣческихъ голосовъ, напрягая зрѣніе.

— Боже мой, Боже мой! Да тамъ и въ самомъ дѣлѣ люди гибнутъ!—воскликнулъ одинъ изъ нихъ помоложе:—Идемъ скорѣе за помощью на ферму, созовемъ братьевъ Фэрбрезеръ и ихъ ра-

ботниковъ... Скорѣе, скорѣе!..—и заторопились („бѣгать“ бѣдняги давно ужъ разучились) на ферму.

Первыми добѣжали до берега старшіе братья Фэрбрезеры, а за ними гурьбою валилъ народъ; но помощь уже опоздала.

Пока они собирались и были на пути къ мѣсту крушенія, потерпѣвшіе уже вышли на берегъ, спасшись, по счастью, всѣ до одного; но судно наскочило на подводные камни и быстро разрушалось подъ напоромъ волнъ. Эшеръ Фэрбрезеръ пригласилъ потерпѣвшихъ къ себѣ на ферму, и они уже собрались уходить, какъ имъ вслѣдъ съ моря долетѣлъ отчаянный крикъ. Всѣ остановились.

— Тамъ кто-то остался!—воскликнула Гриба.

— Нѣтъ, мы всѣ здѣсь, на-лицо,—отвѣчалъ шкиперъ злополучнаго судна; и въ ту же минуту крикъ повторился.

— Это въ сторонѣ, по направленію къ Портъ-и-Веллину: идемъ туда!—сказалъ старшій Фэрбрезеръ, и всѣ двинулись въ путь, вдоль по берегу.

Не доходя этой деревушки, кто-то замѣтилъ на берегу сухую опрокинутую лодку, и братья Фэрбрезеры поспѣшили спустить ее на воду.

— Напрасно, друзья, напрасно!—раздались голоса:—все равно, до него не добраться!..

И въ самомъ дѣлѣ, волны порывисто и неровно хлестали и заливали лодку водою; буря не унималась, и въ одну минуту лодка очутилась снова на берегу, подброшенная вверхъ, какъ щепка.

— Боже мой! Неужели такъ и погибнетъ человѣкъ у насъ на глазахъ?—вскричала Гриба, всплеснувъ руками.—Неужели никто не найдется, чтобы попытать счастья?.. Помогите ему! Помогите!..

Толпа раздвинулась и впередъ выступилъ молодой человѣкъ, спокойно сказавшій:

— Да, онъ слишкомъ близко отъ берега, чтобы погибнуть!

— Благослови васъ Богъ!—вся въ слезахъ промолвила Гриба и, въ страстномъ порывѣ, бросилась къ нему, обняла и поцѣловала.

Быстро и крѣпко затянувъ на себѣ длинный канатъ вокругъ пояса, Язонъ (такъ звали незнакомца) бросилъ его свободный конецъ братьямъ Фэрбрезеръ и мигомъ очутился въ волнахъ бушующаго прибоя.

Утопающій, вѣроятно, замѣтилъ, что къ нему спѣшили на помощь, потому что крикъ его прекратился.

Гриба въ ужасѣ закрыла лицо руками.

— Каковъ смѣльчакъ!—съ восторгомъ говорили въ толпѣ.

— А кто онъ? Откуда?

— Онъ родомъ исландецъ,—пояснилъ старикъ-матросъ, Дэви Керрьюишъ, большой пріятель Язона, котораго, впрочемъ, любили и всѣ остальные товарищи-матросы.

Между тѣмъ сильными нырками и толчками Язонъ отбивался отъ грозныхъ валовъ и вскорѣ добрался до погибающаго. Обхвативъ его, какъ умѣлъ крѣпче, молодой матросъ двинулся въ обратный путь.

На берегу его привѣтствовалъ взрывъ восторга, а онъ бережно опустилъ утопленника на землю. Тотъ лежалъ безъ движенія.

— Кажется, готовъ!—проговорилъ Язонъ.—Подайте-ка фонарь!

— Постойте! Лучше понесемъ его прямо туда на огонекъ: это вѣдь свѣтится окно въ лачугѣ Стефена Орри.

— Хорошо! Поднимай... вотъ такъ!.. Живѣе!..

— Ну, и здоровъ же малый, нечего сказать! Тяжеленный!..

— А гдѣ самъ хозяинъ, самъ Орри? Или его нѣтъ дома, что онъ не пришелъ сюда, вмѣстѣ съ нами? Кто же намъ отопретъ?

— Да ужъ идите себѣ впередъ! Говорю вамъ, что ужъ съ недѣлю, какъ онъ опять засѣлъ въ своей берлогѣ,—перебилъ Нэри Кро, сосѣдъ Стефена.

Наконецъ, дошли, постучались, но отвѣта не было. Кричали, чтобы разбудить нелюбезнаго хозяина, но все напрасно.

— Ну, значитъ, его дома нѣтъ: ломайте дверь!—догадался кто-то.

Дверь вышибли и при свѣтѣ огня, еще горѣвшаго у окна, утопленника положили на полъ.

— Великій Боже! да это самъ Стефенъ Орри!..

XII.

Всѣхъ пріютили на фермѣ; всѣхъ обсушили, переодѣли, накормили, и унылое настроеніе смѣнилось отраднымъ сознаніемъ, что если и погибла шкуна, то люди благополучно избѣжали смерти.

Поддаваясь своему юношески-впечатлительному темпераменту, развеселился и Язонъ, не спуская восторженныхъ взглядовъ съ оживленной молодой и хлѣбосольной хозяйки дома.

Вдругъ дверь отворилась и на порогѣ показался старикъ-сосѣдъ Стефена, усталый, взволнованный: онъ пришелъ за Язономъ.

— Пойдемте скорѣе: онъ очнулся и непремѣнно хочетъ васъ видѣть.

— Сейчасъ иду,—проговорилъ Язонъ и взялся за шапку.

— И я съ вами!—подхватила Гриба, проворно кутаясь въ большой теплый платокъ.

Долго шли они молча.

— А кто онъ такой, этотъ Орри?—тихо спросилъ Язонъ.

— Да, говорятъ, контрабандистъ, а можетъ быть, и еще того хуже. Жены его давно уже нѣтъ въ живыхъ и онъ всегда жилъ въ одиночествѣ, въ разлукѣ даже со своимъ сыномъ, который сегодня уѣхалъ въ Исландію.

— Въ Исландію?!

— Да: это родина Орри; и ваша, кажется, также? Сынъ его здѣсь на островѣ и родился, а воспиталъ его мой отецъ. Вы очень, очень напоминаете мнѣ его.

— А какъ его звали?—вдругъ останавливаясь посреди дороги, спросилъ Язонъ.

— Кого? Сына Орри? Михаиломъ; въ дѣтствѣ его звали „Кудрявчикомъ“ за его золотистыя кудри.

Язонъ глубоко вздохнулъ и молча продолжалъ идти рядомъ съ нею. Вскорѣ показались лачуги Портъ-и-Веллина.

— Тсс!—прошепталъ старикъ-сосѣдъ, успѣвшій забѣжать впередъ и отворить дверь въ домишко Стефена Орри.—Онъ близокъ къ концу. Слышите, какъ ужасно бредитъ?

Несчастный громко бормоталъ и выкрикивалъ что-то несвязное, метался въ сильномъ жару, бился головой и руками объ стѣну. Въ ногахъ у него стоялъ на колѣняхъ Кэнъ Уэдъ, сосѣдъ-методистъ, и чѣмъ громче кричалъ умирающій, чѣмъ онъ сильнѣе метался, тѣмъ громче выкрикивалъ свои воззванія и и мольбы колѣнопреклоненный фанатикъ.

— Приведи его, Боже, къ Твоему покаянію! Водвори его въ радости Твоего искупленія! Адова власть заполонила его, бѣсовскія силы одолѣли его... Вонъ, вонъ какъ бѣсы терзаютъ его слабую плоть!.. Воспрянь духомъ, бѣдный грѣшникъ, и ты спасешься! Мы не допустимъ до тебя сатану...

Гриба тихо подошла къ умирающему, а Язонъ съ изумленіемъ смотрѣлъ на все творившееся передъ нимъ.

Молодая дѣвушка поправила подушки и поудобнѣе положила на нихъ голову умирающаго, омочила ему пересохшія губы виномъ, приложила свою нѣжную холодную руку къ его пылавшему лбу. Мало-по-малу несчастный утихъ и впалъ въ забытье. Полежавъ немного спокойно, онъ открылъ глаза и хотѣлъ заго-

ворить,—но не могъ: методисты не дали ему сказать ни полслова. Увидя, что онъ очнулся, Кэнъ скрипучимъ фальшивымъ голосомъ затянулъ какой-то побѣдный гимнъ, который тотчасъ же подхватили и остальные, пришедшіе вмѣстѣ съ нимъ „обращать душу грѣшника на путь истинный". Долго и безпорядочно пѣли они и, наконецъ, утомившись, умолкли.

— Пришелъ? — слабымъ голосомъ спросилъ тогда Стефенъ Орри.

— Да,—отвѣтила Гриба:—вотъ онъ!

Язонъ подошелъ къ постели умирающаго, который попросилъ остальныхъ удалиться,—всѣхъ, кромѣ Грибы. Но тутъ поднялся единодушный ревъ: крики и грозныя увѣщанія—подумать о душѣ, отбросить всякое попеченіе обо всемъ земномъ—такъ и стояли въ воздухѣ.

— Часъ пробилъ! Часъ насталъ! Покайся и молись!...

— Поздно! Поздно!..—лепеталъ умирающій:—молитвы ужъ не помогутъ!

— Для Бога никогда не поздно спасать свою заблудшую овцу!..—кричалъ неистово Кэнъ.

— Пусть я и грѣшникъ, только бы не трусъ, испугавшійся достойной кары!—стоналъ несчастный.—Пощадите! Оставьте меня въ покоѣ!

Но методисты продолжали шумѣть; Кэнъ, желая убѣдить сосѣда, началъ разсказывать исторію своего собственнаго обращенія...

— Какъ вы можете мучить умирающаго?—простоналъ Орри, и Гриба вѣжливо, но энергично выпроводила назойливыхъ „спасителей душъ". Какъ нѣжная голубка въ стаѣ коршуновъ, ходила молодая дѣвушка отъ одного къ другому, однихъ увѣщевая, другихъ ободряя ласковымъ словомъ...

Очутившись на дворѣ, методисты и тамъ затянули какой-то гимнъ, и подъ его удалявшіеся звуки Орри подозвалъ къ себѣ Язона, затѣмъ онъ просилъ его достать платье, а изъ него—мѣшокъ съ деньгами.

— Возьмите его себѣ, онъ вашъ теперь,—проговорилъ онъ. —Я берегъ эти деньги для сына; но онъ не захотѣлъ ихъ взять...—Онѣ стоили мнѣ четырнадцати лѣтъ моей жизни... Но вы... вы ихъ заслужили.

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Не возьму!—возразилъ Язонъ.

— Что жъ, у васъ есть свои?

— Да... Нѣтъ... У меня и не было никогда ни гроша...

— Такъ берите же ихъ и да благословитъ васъ Богъ!

— Хорошо; но я сберегу ихъ для вашего же сына и передамъ ему, когда встрѣчусь съ нимъ. Вѣдь онъ въ Исландіи? Я самъ родомъ оттуда.

— Отецъ вашъ долженъ гордиться вами,—замѣтилъ дрожащимъ голосомъ растроганный Стефенъ.—Кто онъ такой?

— Не знаю; сколько помнится, у меня никогда и не было отца,—угрюмо отвѣчалъ Язонъ.

— Живъ онъ еще или умеръ?... Или совсѣмъ бросилъ вашу мать?

— Кажется.

— Негодяй!.. Впрочемъ, не мнѣ судить другихъ... А ваше имя?—тяжело дыша, спросилъ умирающій и напряженно выжидалъ отвѣта.

— Язонъ!

Облегченно вздохнувъ, Стефенъ Орри откинулся на подушки.

— Да! не странно ли, что у *такого* отца могъ вырости *такой* сынъ?.. — вслухъ подумалъ онъ.—Дитя мое, прости мнѣ: я виноватъ предъ тобою!—вдругъ громко раздался его голосъ, и онъ взглянулъ на Язона.

— Но въ чемъ же? Что это значитъ?—допытывался юноша, но старикъ только повторялъ:

— Все равно, все равно, скажи же: прощаешь?.. Пусть Богъ мнѣ проститъ мои прегрѣшенья!.. У тебя все равно, что нѣтъ отца, — такъ будь же мнѣ сыномъ. Позволь мнѣ считать тебя своимъ сыномъ и, какъ сынъ, оставь мои деньги у себя... обѣщай, что не отдашь *ему*... Онъ не захочетъ ихъ взять!

— Но почему же?..

— Оставь, не спрашивай! Не мучь, не мучь несчастнаго на краю гроба!..

— Если вамъ угодно, я готовъ оставить эти деньги у себя! —успокоилъ его Язонъ.

— Ну и слава Богу!.. Слава Богу!..—Послѣ минутнаго молчанія умирающій заговорилъ замѣтно слабѣющимъ голосомъ:— И скоро... скоро ты вернешься на родину?

— Когда покончу все, что мнѣ надо сдѣлать...

— А что такое? — спросила Гриба.

Но Язонъ ей не отвѣтилъ. Онъ вслушивался въ безсвязный лепетъ умирающаго, который опять началъ бредить, и глубокая жалость овладѣла юношей. Стефенъ говорилъ что-то о минувшихъ годахъ, о какомъ-то малюткѣ-сынѣ, который любилъ его тогда, „хоть и не носитъ его имени", а зовутъ его Михаиломъ... Кудрявчикомъ...; то онъ какъ будто прислушивался къ отвѣтамъ

ребенка, то убаюкивалъ его, то училъ молитвамъ нараспѣвъ, то порывисто обнималъ и прижималъ къ груди пустое пространство, будто держа на рукахъ балованное, любимое дитя...

Язонъ прислушивался и мѣнялся въ лицѣ, не сводя глазъ съ несчастнаго Орри.

— Нѣтъ, еще не совсѣмъ дурной человѣкъ тотъ, кто умѣлъ такъ любить! — проговорилъ Язонъ и прибавилъ: — А должно быть отрадно тому, кого отецъ такъ любитъ!

— Да, онъ и въ разлукѣ съ сыномъ все думалъ о немъ,— замѣтила Гриба: а ушелъ онъ отсюда по смерти жены: ее убилъ изъ мести одинъ изъ враговъ ея мужа, Патриксенъ.

— Что?! Патриксенъ?

— Да. Это было четырнадцать лѣтъ тому назадъ, и съ того времени вдовецъ поселился одинъ въ Портъ-Эринѣ.

— А далеко туда?

— Миль тридцать. Да вамъ зачѣмъ же туда?

— Тамъ жилъ и мой отецъ: я вѣдь его ищу...

— Какъ, того, что бросилъ вашу мать, свою жену?

— Вотъ потому-то я и ищу его!

Въ эту минуту бредъ умирающаго усилился, онъ торопливо заговорилъ на какомъ-то странномъ языкѣ. Язонъ вздрогнулъ и спросилъ Грибу:

— Онъ исландецъ?.: Какъ его имя?

Вдругъ онъ увидѣлъ, что молодая дѣвушка поблѣднѣла, и въ глазахъ ея прочелъ, что она угадала его мысли.

— О, Боже!.. — воскликнула она, но ея крикъ прервалъ шумъ торопливыхъ шаговъ: за нею пришелъ братъ и, какъ ни упрашивала она, ее увели домой. Только Язонъ остался при умирающемъ одинъ, и ему все чудился полный испуга взглядъ молодой дѣвушки, когда ее уводили: какъ будто ей было страшно оставить его наединѣ съ умирающимъ.

Язонъ былъ удивленъ, подавленъ всѣмъ случившимся. Волею судьбы, тотъ, кого онъ искалъ, неожиданно очутился въ его власти. Теперь не трудно привести въ исполненіе обѣщаніе, которое онъ далъ матери на ея смертномъ одрѣ. Да! долго-жданная кара должна совершиться надъ преступникомъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!..

Какъ странно! Что это,—трусость или усталость беретъ свое? Руки дрожатъ; сердце то замираетъ, то бьется въ порывѣ какой-то непонятной нѣжности; слова умирающаго и его дѣтскій лепетъ живо встаютъ передъ умственными очами юноши... Но

нѣтъ! Пора ободриться и смѣло совершить дѣло Божескаго правосудія надъ злодѣемъ!

Озлобленный, рѣшительный, подошелъ Язонъ къ постели отца; но въ эту минуту громко и отчаянно раздался вопль умирающаго:

— Рахиль!.. Рахиль!..

Стефенъ Орри, безсознательно, въ бреду, вложилъ въ этотъ крикъ всѣ чувства, которыя мучили, томили его въ долгіе минувшіе годы.

— Рахиль!.. Рахиль!..

Въ этомъ крикѣ было и отчаяніе смерти безъ раскаянія, и ужасъ душевныхъ страданій, и укоры совѣсти въ содѣянномъ злѣ, и мольбы о прощеніи... Не контрабандистъ, не безсердечный негодяй молилъ о пощадѣ, а истомленный, раскаянный грѣшникъ, душа котораго была открыта всевѣдущему, всемогущему Творцу.

Кто, какъ не Богъ, привелъ его, слабаго юношу, къ желанной цѣли и отдалъ въ его руки... умирающаго? Но самъ ли Богъ судилъ, чтобы задуманная людьми месть осталась въ Его святой власти?..

Такъ думалъ Язонъ, слыша имя своей матери, которое то съ глубокой нѣжностью, то съ мольбою призывалъ его отецъ на смертномъ одрѣ.

Бредъ прекратился. Стефенъ тихо и покорно, какъ дитя, несмотря на свой богатырскій ростъ, лежалъ на подушкахъ и слабая улыбка играла у него на губахъ.

— Мнѣ казалось, что я нашелъ ее,—просто сказалъ онъ:— мою бѣдную молодую жену, передъ которой я такъ согрѣшилъ!

— Пожалуйста, успокойтесь... Лежите смирно! — пробормоталъ хриплымъ голосомъ молодой человѣкъ, чтобъ только что-нибудь ему сказать.

Но Орри не унимался:

— Ахъ, да: вѣдь вы ничего не знаете!.. Какой я глупый! И потомъ съ нею былъ еще кто-то: ея сынъ... мое дитя! И у него было такое ясное, знакомое лицо... Да, это былъ ты, мой мальчикъ! И мнѣ казалось, что ты и въ самомъ дѣлѣ... мой милый, милый сынъ!..

Не въ силахъ удержать рыданій, Язонъ упалъ у ногъ отца и вдругъ воскликнулъ:

— О, отецъ! Отецъ!.. Я — твой сынъ!

Но Орри только улыбнулся, и кротко проговорилъ:

— Ахъ, да! Помню, помню нашъ уговоръ. Спасибо тебѣ, сынъ мой!.. Благослови тебя Богъ!..

Такъ кончилъ жизнь богатырь Стефенъ Орри.

XIII.

Четыре года миновало съ тѣхъ поръ, какъ Язонъ потерпѣлъ крушеніе у береговъ Мэна и поселился въ Портъ-и Веллинѣ, въ лачугѣ контрабандиста. Не особенно трудолюбивый отъ природы, юноша мирно велъ свою полу-дикую жизнь, проводя время то за рыбной ловлей, то съ ружьемъ за плечами, то просто лежа на спинѣ на мягкомъ мху, слѣдя глазами за быстрыми тучками или за дрожащими звѣздами далекаго неба.

Единственно, гдѣ онъ бывалъ и гдѣ его любили, это было на фермѣ, въ семействѣ Адама Фэрбрезера; тамъ всегда ему были рады и принимали, какъ родного. Старикъ Адамъ, отъ котораго у Грибы не было тайнъ, зналъ, что Язонъ — братъ его любимца Михаила, и былъ съ нимъ особенно ласковъ, хотя и говорилъ ей тогда:

— Онъ не такъ нѣженъ и не такъ привѣтливъ, какъ мой дорогой Кудрявчикъ; но онъ славный малый, смѣлый и себѣ на умѣ. Сердце у него доброе, но натура страстная, порывистая: онъ въ обиду не дастся!..

Хоть и не очень часто бывалъ на фермѣ Язонъ, но дружба его съ молодой дѣвушкой все крѣпла. Красивый и статный, по строенію тѣла и по лицу онъ напоминалъ брата, но одичалая угрюмость въ его обхожденіи еще болѣе дополняла его сходство съ отцомъ. Одѣтый всегда грубо, по охотничьи, съ развѣвающеюся по вѣтру свѣтлой гривой волнистыхъ волосъ, онъ былъ воплощеніемъ богатырской силы и здоровья. Какъ ни ласково и сочувственно относилась къ нему Гриба, но ей и въ голову не приходило, чтобы это чувство могло замѣнить въ ея сердцѣ любовь къ Михаилу; да и вообще мало къ тому было повода, пока Гриба оставалась у отца въ Рамсеѣ, въ губернаторскомъ домѣ. Старикъ за послѣдніе четыре года сильно нуждался въ ея обществѣ и въ ея поддержкѣ. Семейныя дѣла его серьезно запутывались и не мало тревожили Грибу.

Послѣ того, какъ мать уѣхала съ сыновьями отъ мужа и взяла въ свои руки бразды правленія на фермѣ, дѣти стали возмущаться ея разсчетливостью, раздражались тѣмъ, что она не давала имъ тратить безъ разбора доходы съ имѣнья. Это породило между ними непріязненныя отношенія; они стали укорять мать въ скупости и, наконецъ, пошли жаловаться на нее отцу; жалоба, какъ и водится, закончилась просьбою дать денегъ. Сначала они просили робко, не надѣясь на успѣхъ; но затѣмъ, разъ получивъ просимое, становились все смѣлѣе и требовательнѣе.

Въ то же время, на бѣду, подоспѣлъ повсемѣстный неурожай, и не только поселянамъ, но и господамъ пришлось плохо. Адамъ Фэрбрезеръ помогалъ, чѣмъ могъ, отъ ввѣреннаго ему управленія и отъ себя самого. Двери губернаторскаго дома, его амбаровъ и житницъ были широко открыты для бѣдныхъ, всѣхъ безъ разбора.

Гриба пробовала уговаривать отца ограничить хотя бы безпрерывную выдачу денегъ сыновьямъ, которые, дѣйствительно, бездѣльничали и брали ихъ „за свою работу“ на фермѣ, а работы этой не дѣлали. Но отецъ кротко возражалъ на это:

— Если я хочу придти на помощь всему населенію, почему же отказывать въ ней своей семьѣ?.. И наконецъ,—шутя добавлялъ старикъ,—развѣ мы тѣмъ самымъ не собираемъ себѣ сокровищъ на небесахъ?

Но шутки его звучали натянуто, и сердце молодой дѣвушки сжималось отъ страха, отъ предчувствія бѣды, разоренія!

Бѣдствовалъ и несчастный народъ.

Высшая духовная власть острова Мэна, епископъ содорскій и мэнскій, для котораго главной статьей дохода были подати съ его епархій, одинъ, изо всѣхъ властей, оставался безучастенъ къ нуждамъ голоднаго населенія. Мало того: зная бѣдственное положеніе народа и отчаяваясь что-либо получить въ этомъ году, онъ поспѣшилъ запродать свое право нѣкоему богатому шотландцу-фактору, который конечно, ужъ не будетъ церемониться съ непокорными.

Когда слухи объ этомъ дошли до вице-губернатора, онъ глубоко возмутился и поспѣшилъ вступиться передъ епископомъ за народъ, за бѣдный, безпомощный, несчастный людъ, который возмущался втихомолку, но не смѣлъ возмутиться открыто. Фэрбрезеръ просилъ епископа употребить всю свою силу, всѣ старанія къ огражденію отъ насилія беззащитныхъ бѣдняковъ. Епископъ отвѣтилъ губернатору письменно, коротко и сухо, просьбою и со-

вѣтомъ „не мѣшаться не въ свое дѣло“: гражданское вѣдомство не имѣетъ никакого отношенія къ духовному.

— Но мое дѣло заботиться о благосостояніи ввѣреннаго мнѣ населенія!—горячо возразилъ губернаторъ.—И, пока я живъ, пока я занимаю это мѣсто, я буду исполнять свой долгъ.

Между тѣмъ взысканіе податей и недоимокъ шло своимъ чередомъ и ужъ назначенъ былъ день, когда должна была состояться первая опись крестьянскаго имущества.

Прослышавъ объ этомъ, губернаторъ рѣшилъ присутствовать лично при этой расправѣ, какъ ни отговаривала, какъ ни умоляла его дочь. Тогда, видя, что его не переспоришь, она послала къ братьямъ—просить ихъ сопровождать старика отца; но братья отвѣтили, что это ихъ не касается и что для огражденія его особы отъ дерзкихъ нападеній есть мѣстныя войска. Если же онъ неправъ, то и войско ему не поможетъ.

Когди О' Киллэ принесъ этотъ отвѣтъ сыновей старику Адаму, онъ наткнулся въ кухнѣ на Язона, который, по обыкновенію, пришелъ забросить туда только-что застрѣленную птицу и, освѣдомившись о здоровьѣ губернатора, собирался идти дальше. Услыхавъ, въ чемъ дѣло, онъ не задумываясь предложилъ, что пойдетъ со старикомъ на деревню, гдѣ должна была происходить опись.

— О, спасибо!.. спасибо! — воскликнула Гриба и окинула Язона такимъ горделивымъ, горячимъ взглядомъ, что этотъ взглядъ, казалось, освѣтилъ ему всю душу, весь міръ.

Наконецъ пришелъ и роковой день.

Когда Адамъ и его спутникъ подошли къ деревнѣ, тамъ уже кучками толпился народъ, въ ожиданіи рѣшительнаго момента. При видѣ губернатора, котораго всѣ любили, раздался восторженный крикъ.

Судья, какъ представитель власти, отдалъ приказъ выводить скотъ изъ хлѣвовъ, чтобы скорѣе покончить съ этимъ непріятнымъ дѣломъ. Но полицейскіе и шага не успѣли сдѣлать: старикъ-губернаторъ остановилъ грознымъ окрикомъ:

— Стой!.. — и принялся уговаривать судью снять арестъ съ имущества крестьянъ, такъ какъ продажа съ молотка все равно не состоится: не пойдутъ же свои односельчане, которые и сами голодаютъ, вырывать у своихъ послѣдній кусокъ хлѣба!

Въ эту минуту представитель епископа гнѣвно подступилъ къ губернатору и, чуть не валя его съ ногъ своими рѣзкими

тѣлодвиженіями, сталъ громко выговаривать ему за то, что онъ самъ, правитель страны, не соблюдаетъ законовъ, учитъ народъ бунтовать; что если онъ заупрямится, на него найдется судъ и расправа,—его самого вызовутъ въ судъ!

Такая дерзость возмутила народъ. Въ толпѣ прошелъ грозный ропотъ; послышались проклятія, угрозы; судья и полицейскіе схватились за оружіе,—но уже было поздно: ихъ сдавили и валили съ ногъ.

Въ общей свалкѣ сшибли и самого губернатора; но на помощь къ нему подоспѣлъ Язонъ, богатырскими взмахами своихъ сильныхъ рукъ и ногъ проложившій себѣ дорогу. Какъ ребенка, поднялъ онъ старика и помогъ ему окончательно придти въ себя. А толпа съ ревомъ и грознымъ визгомъ продолжала гнать убѣгавшихъ со всѣхъ ногъ полицейскихъ.

Въ свалкѣ пострадалъ серьезно одинъ только Язонъ, у котораго была глубоко разсѣчена правая бровь. Но онъ только смѣялся надъ этимъ *пустякомъ*, хоть кровь такъ и лила, не переставая.

— А знаешь ли, мнѣ сдается, что мы еще поплатимся за этотъ день?—проговорилъ задумчиво Адамъ.

Однако и на это Язонъ только засмѣялся.

Завидя издали бѣлую повязку на лбу Язона, Гриба чуть не лишилась чувствъ, но живо подавила въ себѣ волненіе, чтобы спокойно и ловко перевязать ему рану. Чувствуя на своемъ лицѣ прикосновеніе ея нѣжныхъ рукъ, молодой человѣкъ подумалъ, какъ охотно онъ готовъ опять все снова вытерпѣть, лишь бы только она снова ухаживала за нимъ.

— Язонъ!—вдругъ, нѣжно склонясь къ нему, прошептала дѣвушка.—Какъ ты долженъ гордиться!

— Гордиться? Я? Почему же?

— А потому.... потому, что я горжусь тобою!

Невыразимое волненіе душило ее; грудь высоко подымалась, губы дрожали какъ въ лихорадкѣ, а щеки пылали. У Язона закружилась голова отъ внезапнаго прилива счастья, и онъ, не владѣя больше собой, порывисто обнялъ молодую дѣвушку и поцѣловалъ прямо въ дрожавшія губы. Она вырвалась отъ него, отскочила въ сторону и тихо, на цыпочкахъ, вышла вонъ изъ комнаты; но и это не нарушило свѣтлаго настроенія Язона: по ея улыбкѣ онъ зналъ,—онъ былъ увѣренъ, что она не сердится на него.

Адамъ былъ правъ. Этотъ роковой день больно на немъ ото-

звался; но ударъ постигъ его вовсе не съ той стороны, откуда его ожидали. Герцогъ Этольскій, номинальный губернаторъ Мэна, жилъ обыкновенно въ Лондонѣ. Теперь же, зная, какія трудныя времена наступаютъ для острова, зная также, что трудно будетъ улаживать дѣла заглазно и, главное, желая избавиться отъ заботъ правленія, продалъ свои права англійскому правительству—какъ это сдѣлалъ его отецъ, но только взялъ за эту сдѣлку въ шесть разъ дороже. Затѣмъ онъ извѣстилъ вице-губернатора, что онъ увольняется, „за ненадобностью", съ полу-годовымъ окладомъ жалованья въ видѣ награды.

Тяжело отозвалась эта нежданная невзгода на бѣдномъ старикѣ, прослужившемъ вѣрой и правдой своему народу и начальству цѣлыхъ два десятка лѣтъ.

Но предаваться отчаянью было некогда. Губернаторскій домъ и вся его обстановка принадлежали правительству; слѣдовательно, ихъ надо было возможно скорѣе очистить и предоставить въ распоряженіе новаго губернатора. Но хлѣбъ на губернаторскихъ поляхъ еще принадлежалъ ему и надо было поскорѣе его продать. По желанію Адама, хлѣбъ былъ проданъ съ публичнаго торга, который привлекъ массу народа. Большинство, какъ ни было добродушно настроено, не преминуло позлословить; перепадали и такія слова, что не мудрено, дескать, и прогорѣть, если не умѣлъ деньги беречь: сѣялъ себѣ сквозь пальцы, да еще и удивляется, куда онѣ дѣлись?..

Цѣлый день въ мирномъ губернаторскомъ домѣ стоялъ безпорядочный гвалтъ жадной и любопытной толпы. Адамъ съ дочерью ушелъ въ самую отдаленную комнату, чтобы ничего не видать и не слышать.

Когда торгъ окончился и все утихло, въ уныломъ губернаторскомъ домѣ стало такъ ужасно мрачно, такъ пусто!.. И Гриба, и отецъ ея пріуныли; но старикъ, котораго дочь молча обняла и горячо поцѣловала, первый сколько-нибудь прибодрился и занялся съ дочерью счетами. Результатомъ ихъ оказалось, за вычетомъ всякихъ платежей и долговъ, жалкая сумма въ 15 фунт., —все достояніе бывшаго губернатора.

На слѣдующее утро, когда они собрались оставить навсегда губернаторскій домъ, къ нимъ толпами пришли бѣдняки, которымъ старикъ дѣлалъ столько добра. Они ничего не просили и сами были бы готовы подѣлиться съ нимъ всѣмъ, что у нихъ было; но они сами голодали и пришли къ своему правителю и другу, чтобы только этимъ выразить ему свое сочувствіе.

Когда толпа, молча, угрюмо разошлась по домамъ и когда пыль, поднятая на дорогѣ, улеглась, какъ бы желая изгладить всѣ слѣды происшедшаго, старикъ Адамъ обратился къ дочери:

— Ну, дитя мое! Теперь и намъ пора!.. Только куда жъ мы съ тобою пойдемъ? Больше нѣкуда, какъ домой, на ферму... Идемъ же скорѣе!..

И рука объ руку, тихо, но бодро побрели по большой дорогѣ старикъ-отецъ и его любимое дитя.

А. Б—г—.

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ МАТЕРІАЛИЗМЪ

ВЪ

ИСТОРІИ

X *).

Въ 1888 и 1890 гг. появились въ Лейпцигѣ двѣ книжки Павла Вейзенгрюна подъ заглавіями: „Законы развитія человѣчества“ и „Разные способы пониманія исторіи“ [1]). Первая изъ этихъ книжекъ, являющаяся первымъ систематическимъ (хотя крайне несистематичнымъ) изложеніемъ экономическаго матеріализма [2]), послужила поводомъ П. Ѳ. Николаеву для написанія статьи подъ названіемъ: „Одна изъ гипотезъ о сущности историческаго процесса“, статьи, появившейся сначала въ „Русской Мысли“, а потомъ вошедшей въ составъ книги „Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ“ (1892) и также представляющей изъ себя попытку систематизаціи экономическаго матеріализма. Съ этой точки зрѣнія работы обоихъ авторовъ заслуживаютъ быть включенными въ нашъ обзоръ, тѣмъ болѣе, что и Вейзенгрюнъ, и г. Николаевъ (весьма основательно порицающій Вейзенгрюна за самоувѣренность и бездоказательность), собственно

*) См. выше: августъ, стр. 588.

[1]) Paul Weisengrün, Die Entwickelungsgesetze der Menschheit; Verschiedene Geschichtsauffassungen. О нихъ см. мою статью въ „Юрид. Вѣстн.“ за 1891 г.

[2]) Такъ ее характеризуетъ и Бернгеймъ, коему, повидимому, вторая книжка оставалась неизвѣстной. Къ сожалѣнію, мы не имѣли въ рукахъ соч. Lafargue, Le matérialisme économique de Charles Marx, которое было (1886) переведено и по-нѣмецки (Der wirthschaftliche Materialismus nach den Anschauungen von Karl Marx).

говоря, вносятъ въ защищаемый ими экономическій матеріализмъ такія поправки, измѣненія и дополненія, что подрываютъ его основы, причемъ любопытно еще, что вторая книжка Вейзенгрюна, бывшая неизвѣстной г. Николаеву, когда онъ писалъ свою статью, сравнительно съ первою представляетъ еще бо́льшее уклоненіе отъ чистаго „матеріализма“. Въ обѣихъ книжкахъ Вейзенгрюна собственно теоретическаго обоснованія экономическаго матеріализма нѣтъ; въ обѣихъ мы находимъ лишь простое сопоставленіе этого направленія съ другими концепціями, очеркъ его генезиса, изложеніе его теоремъ и, наконецъ, примѣненіе основной точки зрѣнія къ всемірной исторіи. Разсматривая разныя исторіологическія воззрѣнія нашего времени, Вейзенгрюнъ ставитъ имъ въ вину то, что въ нихъ вообще „принципъ поддержки жизни не играетъ самостоятельной роли“, т.-е. что ими экономическія отношенія „или оставляются въ пренебреженіи, или объясняются изъ какихъ-либо другихъ факторовъ“ (?). Всѣмъ этимъ воззрѣніямъ онъ противополагаетъ теорію, которая прежде всего обращается къ анализу экономическихъ отношеній, всегда выдвигаетъ ихъ на первый планъ и объясняетъ изъ нихъ умственныя движенія, измѣненія въ нравахъ, фазисы религіи. Весьма рѣзко ставя вопросъ, „происходитъ ли развитіе человѣчества болѣе на чисто интеллектуальной или же, наоборотъ, на чисто экономической основѣ“, и объявляя себя приверженцемъ экономическаго матеріализма, онъ опредѣляетъ его какъ теорію, которая кладетъ въ основу исторіи народное хозяйство и сводитъ къ нему все остальное содержаніе общественной жизни лишь въ качествѣ совокупности разныхъ сосуществующихъ элементовъ. Однимъ словомъ, Вейзенгрюнъ вполнѣ присоединяется къ воззрѣнію Маркса и Энгельса. „Это, — говоритъ онъ,—экономическій основной процессъ. Юридическіе, политическіе, религіозные, философскіе, литературные моменты развиваются рядомъ съ нимъ и по отношенію къ главному экономическому движенію образуютъ движенія побочныя“. Доказательства правильности такого пониманія сущности историческаго процесса авторъ замѣняетъ изслѣдованіемъ его генезиса: по его представленію, экономическій матеріализмъ былъ бы немыслимъ безъ діалектическаго метода Гегеля, но настоящій зародышъ новаго направленія (во второй особенно книжкѣ) онъ усматриваетъ въ сочиненіяхъ французскихъ утопическихъ соціалистовъ и у Родбертуса. Есть еще одно ученіе, съ коимъ Вейзенгрюнъ пытается связать экономическій матеріализмъ. Именно онъ постоянно указываетъ на Марксово пониманіе среды, какъ на базисъ всего экономическаго матеріализма: по Марксу, человѣкъ окруженъ средою

двоякаго рода, естественной и искусственной, причемъ вторая для исторіи важнѣе первой. Искусственная среда выступаетъ главнымъ образомъ въ своемъ матеріальномъ дѣйствіи. Исторія не должна особенно заниматься психическими дѣйствіями въ ихъ соціальной формѣ; она должна заниматься объясненіемъ политическихъ и юридическихъ движеній, равно какъ движеній философскихъ и религіозныхъ, и объяснять ихъ изъ экономической, матеріальной основы. Тѣснѣе еще связанъ экономическій матеріализмъ съ идеей классовой борьбы, сущность коей заключается въ томъ, что съ извѣстнаго момента человѣчество дѣлится на двѣ большія группы: одна экономически господствуетъ, другая матеріально подчинена первой, какими бы она правами сама ни обладала. Каждая эпоха, далѣе, развиваетъ новыя матеріальныя силы, и всегда возникаетъ борьба между ними, этими силами, и болѣе ранними формами производства. Все это совершается постепенно, возникая органически изъ данныхъ отношеній. Духовная производительность идетъ за матеріальной, и господствующія идеи времени суть только идеи господствующаго класса, новые же способы производства создаютъ и новыя идеи. Даже снявъ съ экономическаго матеріализма его соціалистическую оболочку, Вейзенгрюнъ высказываетъ ту мысль, что исторія подтверждаетъ основной его тезисъ (о главенствѣ экономическихъ условій) достаточными примѣрами, и съ этой стороны тезисъ кажется ему „почти непоколебимымъ“. Хотя Вейзенгрюнъ и считаетъ возможнымъ обосновать экономическій матеріализмъ и внѣ теоріи о классовой борьбѣ, но онъ держится того мнѣнія, что эта борьба представляетъ изъ себя красную нить исторіи. При всемъ томъ, однако, онъ чувствуетъ недостаточность теоретической разработки защищаемаго имъ воззрѣнія на исторію. Уже въ первомъ сочиненіи онъ пополняетъ поэтому кое-какіе пробѣлы экономическаго матеріализма, а во второмъ уже прямо указываетъ на недостатки теоріи въ томъ видѣ, какъ она существуетъ. Онъ не скрываетъ, напр., всей трудности опредѣлить „отношеніе различныхъ формъ соціальнаго движенія къ экономическому содержанію“, хотя и не затрудняется на основаніи однихъ частныхъ примѣровъ формулировать „соціологическіе законы“, въ родѣ того, что „всѣ политическіе, религіозные, юридическіе, философскіе и литературные элементы относятся къ экономическимъ какъ форма къ содержанію“, или что „соціальная форма развивается позже соціальнаго содержанія“, или, наконецъ, что „соціальная форма переживаетъ соціальное содержаніе“. По его словамъ, экономическій матеріализмъ вовсе не отрицаетъ вліянія другихъ элементовъ, при-

давая имъ, впрочемъ, значеніе элементовъ вторичныхъ и второстепенныхъ, и лишь упускаетъ изъ виду, что эти элементы, отдѣляясь отъ экономическаго основного движенія, соединяются между собою, расширяются и усиливаются, приходятъ въ болѣе быстрое движеніе, получаютъ при этомъ свои собственныя формы движенія и изъ элементовъ надстройки превращаются въ основы иныхъ стадій развитія. Во всемъ этомъ, собственно говоря, интересно лишь то, что такой горячій послѣдователь доктрины, какимъ является Вейзенгрюнъ, выступаетъ съ указаніемъ въ ней существеннаго пробѣла. Экономическій матеріализмъ,—говоритъ онъ,—и не могъ придти къ сознанію необходимости развить далѣе эти основоположенія. Обративъ все свое вниманіе на экономическій фундаментъ, впервые имъ понятый, направленіе это не могло принять въ разсчетъ всѣхъ явленій. „Мы,—продолжаетъ онъ,—весьма естественно, какъ и представители этого направленія, приписываемъ самое важное значеніе экономическому фундаменту, но на этомъ не останавливаемся, а объясняемъ діалектическимъ способомъ процессъ развитія въ его совокупности и начертываемъ новый рядъ развитія". Пониманіе развитія, какое онъ находитъ, напр., у Энгельса, кажется ему даже просто механическимъ, и потому онъ прямо указываетъ на необходимость „нѣкоторыхъ добавленій и измѣненій, которыя, впрочемъ,—оговаривается онъ,—не должны противорѣчить основному принципу этого способа объясненія". По вопросу о томъ, дѣйствительно ли такъ развиваются изъ матеріальныхъ основъ юридическіе, политическіе и другіе элементы, какъ объ этомъ учитъ экономическій матеріализмъ, онъ во второмъ сочиненіи высказываетъ уже прямо нѣкоторое сомнѣніе. „Я того мнѣнія,—говоритъ онъ,—что Марксъ упустилъ изъ виду важный моментъ. Существуетъ нѣкоторый болѣе постоянный элементъ, нежели вѣчно измѣняющіяся матеріальныя условія. И общія психическія свойства человѣка измѣняются и вмѣстѣ съ тѣмъ исправляются въ силу идущаго впередъ экономическаго движенія. Иначе чувствуютъ грекъ и римлянинъ, иначе—современный французъ и итальянецъ, но перемѣны въ области чувствованій, обусловленныя не только экономическими, но и психическими измѣненіями, въ свою очередь оказываютъ хотя и ограниченное дѣйствіе на матеріальное движеніе. Это — маленькая реакція психическихъ факторовъ на соціальный элементъ въ исторіи, повидимому, не принимавшаяся Марксомъ въ разсчетъ. Въ свою очередь этотъ пробѣлъ можно не принимать въ разсчетъ при изслѣдованіи формъ, какія можетъ получать механизмъ производства. Но разъ я долженъ объяснить изъ матеріальныхъ элемен-

товъ элементы политическіе или эстетическіе, я, конечно, долженъ обращать вниманіе на эти общечеловѣческіе, хоть и измѣняющіеся, но все-таки болѣе постоянные элементы". Вейзенгрюнъ рѣшается даже заявить, что гдѣ у Маркса увлеченіе, тамъ у его послѣдователей является уже просто каррикатура.

Еще опредѣленнѣе въ томъ же смыслѣ высказывается г. Николаевъ.

Задачею своей статьи г. Николаевъ прямо ставитъ—„изложеніе развитія, которому можетъ подлежать гипотеза экономическаго матеріализма", сторонникомъ коего самъ себя и признаетъ, хотя, какъ мы увидимъ, во многомъ отъ него и отступаетъ. Всѣ историческія явленія, по его словамъ, раздѣляются на двѣ категоріи: одни,—говоритъ онъ,—„относятся къ области психологіи, личной и массовой, другія—къ области экономики" (нужды и средства), но,—замѣчаетъ онъ еще,—соціологическія изслѣдованія не привели къ открытію одной общей причины историческаго процесса потому, что въ нихъ не было предложено какой-либо гипотезы, которая могла бы считаться „нормальнымъ понятіемъ" историческаго процесса, причемъ подъ „нормальнымъ понятіемъ" какой-либо области явленій онъ разумѣетъ „такое явленіе, которое, будучи постояннымъ въ данномъ процессѣ, въ то время, когда всѣ другія явленія не только измѣняются, но и появляются, и исчезаютъ, потому самому составляетъ, вѣроятно, причину всѣхъ этихъ измѣняющихся въ процессѣ эволюціи явленій и причину самого процесса". Такимъ нормальнымъ,—прибавляетъ онъ еще,—понятіемъ не долженъ быть непремѣнно одинъ какой-нибудь историческій или соціологическій факторъ. „Самый процессъ,—говоритъ онъ,—настолько сложенъ, что естественно предполагать, что сложно и измѣнчиво его нормальное понятіе, т.-е., что какой-нибудь историческій факторъ играетъ роль причины въ извѣстный, болѣе или менѣе продолжительный, періодъ процесса, въ слѣдующій же періодъ можетъ уступить свою руководящую роль какому-нибудь другому фактору". Такимъ „нормальнымъ понятіемъ" для пережитыхъ и переживаемыхъ фазисовъ историческаго процесса г. Николаевъ считаетъ классовую борьбу на экономической почвѣ, и съ этой-то стороны экономическій матеріализмъ является для него наиболѣе вѣроятною историко-философской теоріей. Онъ, однако, не прибавляетъ никакихъ новыхъ соображеній, которыя подкрѣпляли бы основную мысль теоріи, и признается, что сама теорія крайне невыработана. По его мнѣнію, причина того, что гипотеза „экономическаго матеріализма" не дождалась ни „великой книги", ни даже ряда основательныхъ изслѣдованій, лежитъ въ

партійномъ способѣ происхожденія гипотезы, хотя послѣднее обстоятельство онъ считаетъ, какъ было упомянуто раньше, простою случайностью: „гипотеза,—говоритъ онъ,—могла появиться съ такимъ же удобствомъ въ рядахъ другой партіи и еще лучше внѣ партій. И въ самомъ дѣлѣ,—продолжаетъ онъ,—совсѣмъ не нужно быть марксистомъ или даже просто соціалистомъ, чтобы принять эту гипотезу экономическаго матеріализма совершенно независимо отъ убѣжденій соціальныхъ и политическихъ партій". Г. Николаевъ даже подчеркиваетъ неразработанность основоположеній „экономическаго матеріализма", возвращаясь къ этому въ разныхъ мѣстахъ своей статьи. Этому соотвѣтствуетъ и незначительность литературы экономическаго матеріализма, какъ такового. „Весь литературный багажъ гипотезы" г. Николаевъ сводитъ къ очень ограниченному числу сочиненій, занося въ ихъ списокъ и такія, которыя на нашъ взглядъ попали туда безъ особаго на то права. Правымъ оказывается г. Николаевъ и тогда, когда не соглашается съ Энгельсомъ, по мнѣнію котораго гипотеза экономическаго матеріализма проникла въ широкіе круги со все ростущею скоростью; „гипотеза,—вполнѣ основательно говоритъ онъ,—не только не имѣетъ такой массы приверженцевъ, какъ полагаетъ Энгельсъ, но она мало извѣстна даже въ наукѣ. Если,—прибавляетъ онъ,—мы сопоставимъ съ ея извѣстностью ту быстроту, съ которою распространяются другія научныя гипотезы, то разница выйдетъ поразительная": при этомъ онъ указываетъ на дарвинизмъ, изъ примѣненій коего къ одной соціологіи можно было бы составить цѣлую библіотеку. Подобно Вейзенгрюну, г. Николаевъ приписываетъ важное значеніе понятію среды (которая будто бы есть непремѣнно среда экономическая); но когда самъ пытается точнѣе опредѣлить содержаніе этого понятія, то сходитъ съ почвы чисто экономическаго пониманія и приближается къ психологическому пониманію критикуемаго имъ Тэна. Въ одномъ мѣстѣ онъ мимоходомъ опредѣляетъ искусственную среду, какъ ее понимаетъ экономическій матеріализмъ, именно въ смыслѣ „разныхъ классовъ и ихъ подраздѣленій, и, конечно, не просто грубыхъ интересовъ классовъ, ихъ матеріальной борьбы, а болѣе высокихъ чертъ, убѣжденій, нравовъ, обычаевъ, склада натуры,—однимъ словомъ, духа этихъ классовъ". Мало того, защищая гипотезу экономическаго матеріализма отъ того odium'a, который можетъ быть возбужденъ терминомъ, — г. Николаевъ говоритъ, что „изъ самой сущности гипотезы можно сдѣлать тотъ выводъ, что интеллектуальныя слѣдствія экономической основы выдѣляются изъ нея и ведутъ до значительной степени самостоятельное су-

ществованіе, дѣлаясь сами важными историческими факторами. Творцы гипотезы,—продолжаетъ онъ,—не успѣли или не съумѣли сдѣлать такого вывода, но это не потому, конечно, чтобы его нельзя было сдѣлать, а потому, что у гипотезы не было „великой" книги или просто многихъ изслѣдованій. А если можно сдѣлать подобный выводъ, то по идеальности гипотеза не уступаетъ какой угодно другой научной гипотезѣ". Итакъ, самъ защитникъ экономическаго матеріализма нашелъ необходимымъ внести идеальность въ доктрину, которая прямо и основывала себя на замѣнѣ идеализма матеріализмомъ. „Какъ въ первой части историческаго процесса,—разсуждаетъ еще г. Николаевъ,—изъ господствующихъ семейныхъ отношеній выдѣляются отношенія экономическія, и притомъ чѣмъ дальше идетъ процессъ, тѣмъ сильнѣе, пока они не сдѣлаются столь сильными, что сами становятся во второй части процесса господствующими, такъ и во второй части историческаго процесса при господствѣ экономическихъ отношеній сначала только сосуществуютъ интеллектуальныя и политическія отношенія, но потомъ они начинаютъ выдѣляться изъ господствующихъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ они должны дѣлаться сильнѣе и самостоятельнѣе, такъ что возможно предвидѣть эпоху ихъ конечнаго торжества и ихъ господства, по крайней мѣрѣ, господства интеллектуальныхъ отношеній при сосуществованіи политическихъ". Г. Николаевъ высказываетъ даже нѣсколько историческихъ соображеній въ доказательство того, что его „предположеніе о выдѣленіи изъ экономическаго фундамента политической и интеллектуальной надстроекъ для самостоятельной жизни не такъ ужъ гадательно, какъ можетъ представиться это сначала", и что „сущность третьей части историческаго процесса, имѣющей цѣлью производство интеллектуальныхъ условій дальнѣйшаго существованія человѣческаго общества, не такъ ужъ утопична". Въ доказательство вѣрности своей мысли онъ приводитъ еще то соображеніе, что „новѣйшая и позднѣйшая исторія развитія послѣдняго фазиса экономическихъ отношеній отличается особенно быстрымъ ускореніемъ процесса знаній и политическихъ идей", которое само пророчитъ „будущее выдѣленіе интеллектуальныхъ элементовъ надстройки въ самостоятельное существованіе". „Можетъ показаться,—чувствуетъ самъ г. Николаевъ,—что именно предъидущія разсужденія вполнѣ уничтожаютъ гипотезу. Что же это за основа, если выдѣлявшіеся изъ нея элементы могутъ вытѣснить ее и стать сами основами? На это отвѣтимъ, что существуетъ аналогія съ вытѣсненіемъ семейныхъ отношеній первой части историческаго процесса, какъ его „нормальнаго понятія", и экономическими

отношеніями („нормальнымъ понятіемъ"), основой второй части историческаго процесса, съ происходящимъ теперь, по нашему мнѣнію, процессомъ. Значитъ ли это, однако, что эти семейныя отношенія не были тогда основою? Конечно, не значитъ. А значитъ только то, что въ такомъ діалектическомъ, вѣчно текущемъ процессѣ, какъ историческій, основа можетъ измѣняться". Но въ такомъ случаѣ,—могли бы спросить уже мы,—можетъ ли теорія историческаго процесса быть построена на исключительно экономическомъ принципѣ, разъ въ разныя времена у этого процесса разныя основы и въ одинъ и тотъ же моментъ „сосуществуютъ" съ нею разные факторы? По мнѣнію самого г. Николаева, „нѣтъ причины считать невозможнымъ измѣненіе процесса эволюціи экономическихъ фазисовъ", т.-е. въ томъ смыслѣ, чтобы „ранѣе развившіяся интеллектуальныя отношенія оказали вліяніе на измѣненіе процесса эволюціи экономическихъ отношеній". Далѣе, г. Николаевъ считаетъ классовую борьбу только частью „нормальнаго понятія" историческаго процесса, ибо „было время, когда ея не существовало, и, вѣроятно, будетъ время, когда она существовать не будетъ: и Марксъ, и Энгельсъ—оба признаютъ это". Наконецъ, затрогивая слегка вопросъ о роли личности въ исторіи, авторъ разсматриваемой статьи находитъ, что экономическій матеріализмъ „не только не устраняетъ изъ исторіи роли личности, но включаетъ признаніе этой роли". „И въ самомъ дѣлѣ, это—такъ,—разсуждаетъ онъ:—интеллектуальный элементъ всецѣло принадлежитъ и воплощается въ человѣческихъ личностяхъ, и потому гипотеза должна признать, или вѣрнѣе сказать, при самой ея сущности непосредственно вытекаетъ, что роль личности есть ростущая общественная функція",—и онъ думаетъ, что „въ вопросѣ о роли личности въ исторіи все дѣло въ томъ, въ какую эпоху историческаго процесса и при какомъ развитіи экономическихъ основъ опредѣляется роль личности". Экономическій матеріализмъ,—дополняетъ онъ свою мысль,—съ большею или меньшею опредѣленностью уясняетъ этотъ вопросъ, ибо „онъ долженъ признать роль личности въ процессѣ ростущею функціей". „Это, по словамъ самого г. Николаева, собственно все, что̀ можетъ сказать гипотеза экономическаго матеріализма, какъ гипотеза историческая. Дальнѣйшее же уясненіе вопроса о роли личности относится къ области психологіи, а не исторіи, и въ исторію можетъ войти только какъ матеріалъ для ея построеній". Послѣднее замѣчаніе г. Николаева прямо указываетъ на то, что съ одной экономіей, безъ психологіи, теорія исторіи обойтись не можетъ.

И Вейзенгрюнъ, и г. Николаевъ задумали до нѣкоторой степени теоретически обосновать экономическій матеріализмъ, который обоимъ имъ показался сначала наиболѣе вѣрной исторической теоріей, но самая эта задача привела ихъ обоихъ къ признанію недостаточности одного экономизма. Вмѣсто того, однако, чтобы признать этотъ выводъ во всемъ его значеніи, они вздумали пополнять и исправлять доктрину, внося въ нее такія понятія, устраненіе коихъ только и могло привести къ возникновенію самой доктрины. Желая остаться экономическими матеріалистами, они въ то же время разрушаютъ экономическій матеріализмъ, хотя и робко заявляя права психическаго, т.-е. духовнаго и идейнаго начала въ исторіи. Сами защитники экономическаго матеріализма тѣмъ самымъ признали его односторонность, да иначе и быть не можетъ: если только не принимать доктрину на вѣру, не пытаясь искать для нея доказательствъ, остается либо обосновывать ее, не закрывая глаза на ея пробѣлы, что̀ неминуемо повлечетъ за собою понравки и дополненія, въ сущности разрушающія всю теорію, либо обосновывать ее, не взирая ни на какія фактическія противорѣчія и логическія несообразности, что̀ тоже должно вести къ разрушенію всей теоріи, такъ какъ въ подобномъ случаѣ конечнымъ результатомъ такого доказыванія будетъ именно убійственная reductio ad absurdum. Сочиненіе Лоріа: „Les bases économiques de la constitution sociale“, и представляетъ изъ себя именно своего рода reductionem ad absurdum той историко-философской концепціи, по которой вся исторія объясняется лишь экономически.

XI.

Первое изданіе книги Лоріа (въ болѣе краткомъ изложеніи, по-итальянски и подъ заглавіемъ: „La teoria economica della costituzione politica“) появилось еще въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ и не замедлило обратить на себя вниманіе какъ на родинѣ автора, такъ и за границей (русскую публику познакомилъ съ нею г. Герценштейнъ въ „Русской Мысли“ за 1887 г.). У Лоріа явились критики, которые между прочимъ стали доказывать, что авторъ „Экономической теоріи политическаго строя“, сводя все въ исторіи къ чисто экономической основѣ, погрѣшилъ противъ истины, забывъ другіе факторы исторической эволюціи. Подобныя возраженія не убѣдили Лоріа въ ошибочности его основного взгляда, и успѣхъ книги, который онъ самъ объясняетъ

не научными качествами, а чисто публицистическою стороною своего труда, побудилъ автора переработать свою теорію, изложить ее въ болѣе подробномъ видѣ и издать на французскомъ языкѣ, какъ болѣе распространенномъ, чѣмъ итальянскій. Въ результатѣ и получилась книга въ 430 страницъ подъ заглавіемъ: „Экономическія основы общественнаго строя", вышедшая въ свѣтъ въ 1893 г. и равнымъ образомъ сразу обратившая на себя вниманіе [1]). Съ нашей точки зрѣнія она заслуживаетъ этого вниманія вотъ почему. Во-первыхъ, по объему она превосходитъ въ сущности небольшія статьи Вейзенгрюна и г. Николаева: это—первый обширный трудъ, посвященный теоріи экономическаго матеріализма, и уже тѣмъ самымъ способенъ возбудить интересъ. Во-вторыхъ, и Вейзенгрюнъ, и г. Николаевъ не столько доказываютъ, сколько излагаютъ доктрину экономическаго матеріализма, тогда какъ книга Лоріа посвящена цѣликомъ именно теоретическому обоснованію основныхъ положеній всего направленія. Въ-третьихъ, и Вейзенгрюнъ, и г. Николаевъ, попробовавъ дать дальнѣйшее развитіе этимъ основнымъ положеніямъ, оказались вынужденными сойти съ исключительной точки зрѣнія экономическаго матеріализма, защитниками коего сами себя признали, и сдѣлать весьма существенныя уступки въ пользу психологическаго идеализма, безусловно отвергнутаго родоначальниками разсматриваемаго ученія, тогда какъ Лоріа выступаетъ весьма послѣдовательнымъ сторонникомъ доктрины, стремясь обосновать экономически, напр., существованіе въ обществѣ такихъ элементовъ культуры, какъ религія и мораль, доводя свои соображенія до абсурда, чѣмъ, конечно, оказалъ плохую услугу защищаемому ученію. Замѣтимъ кстати, что Лоріа пытается доказать многія изъ своихъ частныхъ положеній историческими примѣрами, но это—самая слабая сторона книги: итальянскій соціологъ своими историческими объясненіями обнаружилъ только крайнюю недостаточность своего историческаго образованія—и въ смыслѣ знанія и пониманія фактовъ, и въ смыслѣ желанія пользоваться историческимъ матеріализмомъ для полученія общихъ выводовъ; но на этой сторонѣ книги мы не останавливаемся, такъ какъ сдѣлали это въ другомъ мѣстѣ.

Лоріа раздѣляетъ основныя воззрѣнія Маркса на сущность историческаго процесса: и для него всѣ культурныя и соціальныя явленія въ исторической жизни человѣчества имѣютъ исклю-

[1]) См. статью В. А. Гольцева въ ноябрьской книжкѣ „Русской Мысли" за 1893 г.

чительно экономическую основу, и для него также главное содержаніе исторіи заключается въ классовой борьбѣ на экономической почвѣ,—задача всей его книги и состоитъ въ обоснованіи такого пониманія исторіи. Въ области политической экономіи Лоріа, однако, не только не послѣдователь Маркса, но даже его антагонистъ по многимъ существеннымъ пунктамъ,—еще одно доказательство того, что экономическій матеріализмъ мыслимъ и безъ принятія экономическаго ученія Маркса, которое, повторяемъ, съ другой стороны принимается писателями, не раздѣляющими стремленія выводить всю исторію человѣчества изъ экономическихъ отношеній. По теоріи Лоріа, и мораль, и право, и государство суть соціальные продукты капиталистической собственности, при чемъ подъ капиталистическимъ строемъ онъ понимаетъ не то, что Марксъ, ибо подъ это понятіе онъ подводитъ и такія явленія, какъ античное рабство и средневѣковое крѣпостничество. Марксъ и Энгельсъ говорили вообще объ экономической основѣ элементовъ культуры и соціальной организаціи, но Лоріа еще болѣе съузилъ такое пониманіе исторіи. Общество вообще рисуется у него какъ рѣзко раздѣленное на буржуазію и пролетаріатъ, при чемъ мораль, право и государство вообще являются не чѣмъ инымъ, какъ продуктами стремленія капиталистической собственности обезпечить себя отъ посягательствъ на нее со стороны неимущихъ,—взглядъ слишкомъ парадоксальный для того, чтобы ставить его въ вину всему экономическому матеріализму съ Марксомъ во главѣ, хотя зато этотъ взглядъ является болѣе опредѣленнымъ, чѣмъ слишкомъ общая идея Маркса, неминуемо требующая поправокъ, въ психологическомъ (идеалистическомъ) смыслѣ, лишь только возникаетъ потребность общую абстрактную формулу, такъ сказать, *реализировать* въ частныхъ и болѣе конкретныхъ тезисахъ. Лоріа договаривается даже до того, что признаетъ чуть не единственнымъ двигателемъ исторіи грубый эгоизмъ капиталистическаго класса. Этотъ классъ въ представленіи Лоріа не только злоупотребляетъ моралью, правомъ и государствомъ, имѣющими для своего существованія особыя основанія; но именно создаетъ эти „установленія“ съ единственною цѣлью охранить свое имущество отъ расхищенія. Для итальянскаго экономиста, утверждающаго, что только его точка зрѣнія способна обновить этику, юриспруденцію и политику, какъ науки, и дать единственно прочное основаніе для соціологіи, вся мораль сводится къ двумъ моисеевымъ заповѣдямъ: „не укради“ и „не пожелай жены искренняго твоего“ и т. д.; все право состоитъ въ одной репрессіи посягательствъ на собственность; вся задача

государства заключается въ томъ, чтобы обезпечить спокойное существованіе капиталистическаго класса. Такая точка зрѣнія прилична памфлету, цѣль котораго дѣйствовать на страсти, а не ученому трактату, написанному ради выясненія объективной истины передъ пытливою мыслью, стремящеюся постигнуть сущность исторіи.

Не разбирая здѣсь вообще идеи и пріемы Лоріа, мы остановимся только на двухъ пунктахъ, особенно для насъ важныхъ. Авторъ „Экономическихъ основъ соціальнаго строя" дѣлаетъ въ своей книгѣ попытку сведенія къ экономической основѣ между прочимъ всей духовной культуры, т.-е. религіи, морали, литературы и т. п. Если такіе предубѣжденные въ пользу экономическаго матеріализма люди, какъ Вейзенгрюнъ и г. Николаевъ, должны были придти къ мысли о необходимости внесенія въ свою теорію начала, отвергнутаго ея родоначальниками, то всякій непредубѣжденный читатель пойметъ, что, только искажая сущность проявленій духовной жизни человѣка и съ явными натяжками, можно доказывать тезисъ Лоріа. Оно такъ и вышло, и это—первое, на что мы хотимъ обратить вниманіе, а другое вотъ что. Стоя на указанной точкѣ зрѣнія, авторъ „Экономическихъ основъ соціальнаго строя" долженъ былъ бы, конечно, проводить ее во всѣхъ подробностяхъ при объясненіи собственно политическихъ явленій, но на самомъ дѣлѣ онъ категорически заявляетъ, что установить прямое соотношеніе между политическими и экономическими формами нѣтъ никакой возможности; и хотя, собственно говоря, Лоріа съ помощью обычныхъ у него натяжекъ и могъ бы это сдѣлать и даже съ нѣсколько бо́льшимъ успѣхомъ, чѣмъ по отношенію къ установленію зависимости морали отъ экономіи, тѣмъ не менѣе своимъ признаніемъ онъ самъ подрываетъ свою теорію, ибо разъ политическія формы не находятся въ прямой зависимости отъ формъ экономическихъ, для объясненія первыхъ недостаточно прибѣгать лишь къ однѣмъ этимъ экономическимъ формамъ. На этихъ-то двухъ пунктахъ теоріи Лоріа мы и остановимся.

Двѣ трети книги Лоріа посвящены разсмотрѣнію экономическихъ основъ политическаго строя, тогда какъ экономическимъ основамъ морали отведена едва одна седьмая часть всего труда. Зависимость соціальной стороны исторіи отъ экономики понятнѣе, чѣмъ зависимость отъ нея стороны культурной, и тотъ, кто желалъ бы доказать, что *вся* исторія объясняется *одной* экономической основой, долженъ былъ бы болѣе всего посвятить времени и труда тому, чтобы доказать происхожденіе духовной

культуры изъ экономическихъ отношеній. Лоріа поступаетъ какъ разъ наоборотъ, менѣе всего занявшись именно обоснованіемъ морали (съ религіей, литературой и искусствомъ) на экономическомъ началѣ. Онъ чувствуетъ, однако, что есть что-то неладное въ общихъ его соображеніяхъ, но онъ отдѣлывается отъ всѣхъ сомнѣній и возраженій, дѣлая диверсію въ сторону ненормальностей современнаго экономическаго строя. „По правдѣ сказать,—замѣчаетъ онъ самъ,—тотъ фактъ, что самыя разнообразныя проявленія (manifestations) общественной жизни сводятся къ одному инстинкту, къ одному мотиву, лишь къ одной изъ всѣхъ человѣческихъ страстей, съ перваго взгляда можетъ показаться несовмѣстимымъ съ многочисленностью страстей и чувствъ, господствующихъ надъ человѣкомъ; съ перваго взгляда можетъ показаться даже ни съ чѣмъ несообразнымъ, чтобы безчисленныя человѣческія чувствованія, за исключеніемъ только одного, т.-е. за исключеніемъ стремленія къ богатству, выступали только въ роли нѣмыхъ персонажей и почти какъ бы лишь статистовъ въ перипетіяхъ соціальной драмы; но это кажущееся (?) противорѣчіе тотчасъ же будетъ устранено, лишь только мы представимъ себѣ искусственный и насильственный характеръ капиталистической собственности“. Это, дѣйствительно, диверсія въ сторону ненормальностей капиталистическаго строя, но отнюдь не научная аргументація, не возраженіе на вопросъ о томъ, какъ же выводить изъ экономическихъ отношеній всѣ проявленія исторической жизни, которыя мы привыкли (и, разумѣется, не безъ основанія) выводить изъ духовныхъ стремленій человѣка. Лоріа убѣжденъ или, по крайней мѣрѣ, представляетъ себя убѣжденнымъ въ томъ, что вѣрованія и идеи извѣстной эпохи возникаютъ непосредственно на данной экономической почвѣ; но совершенно такъ же, какъ Вейзенгрюнъ и г. Николаевъ, указывая на зависимость вѣрованій и идей эпохи отъ соціальной среды, онъ думаетъ, что тѣмъ самымъ онъ доказываетъ зависимость ихъ именно отъ экономики,—словно соціальная среда, на самомъ дѣлѣ состоящая не изъ однихъ фактическихъ отношеній между людьми, но и изъ того, что эти люди думаютъ, что и какъ чувствуютъ, чего желаютъ и къ чему стремятся, и совокупность данныхъ экономическихъ отношеній суть понятія, взаимно одно другимъ прикрывающіяся, словно соціальная среда есть только среда экономическая, словно въ составъ этой среды не входитъ еще все то, что выростаетъ на почвѣ психическаго взаимодѣйствія между членами общества, не входятъ продукты духовныхъ стремленій человѣка, не входятъ господствующіе въ обществѣ отвѣты на

интеллектуальные, моральные, эстетическіе запросы и требованія человѣка. Лоріа совершенно игнорируетъ эти запросы и требованія и объясняетъ сложное явленіе религіи и морали тѣмъ, что изолированный трудъ или принудительное объединеніе труда (le travail non associé ou associé coactivement) порождаютъ чувство зависимости человѣка отъ природы, изъ которой онъ извлекаетъ средства къ существованію, и что религіозный страхъ есть хорошая для извѣстной ступени сдержка противъ посягательствъ на чужую собственность. Другими словами, въ возникновеніи религіи Лоріа не допускаетъ ни малѣйшаго участія ни того поэтическаго творчества, которое выразилось въ миѳологіи, ни тѣхъ интеллектуальныхъ запросовъ, какіе возбуждались желаніемъ человѣка (не ради, конечно, экономическихъ какихъ-либо цѣлей) узнать, что̀ такое міръ, гдѣ его начало и конецъ, существуетъ ли что-либо выше его и внѣ его, что̀ такое человѣкъ и каково его назначеніе, что̀ мыслитъ, чувствуетъ и стремится въ человѣкѣ и что̀ дѣлается съ этимъ мыслящимъ, чувствующимъ и стремящимся началомъ по смерти человѣка. Для Лоріа вся религія—въ одномъ магическомъ воздѣйствіи на природу, замѣняющемъ техническія средства заставлять ее давать человѣку все, что̀ идетъ на потребу его тѣла; но кто понимаетъ, что религіозное творчество возникло на почвѣ и извѣстныхъ стремленій ума, и кто не забываетъ той роли, какую имѣетъ религія, какъ совокупность извѣстныхъ убѣжденій, не имѣющихъ никакого прямого отношенія къ удовлетворенію тѣлесныхъ потребностей, тотъ, конечно, признаетъ, что взглядъ Лоріа на значеніе религіознаго элемента въ культурно-соціальной исторіи не имѣетъ подъ собою научныхъ основаній. Понятно, что съ такой точки зрѣнія Лоріа не въ состояніи былъ надлежащимъ образомъ представить себѣ происхожденіе и историческую роль христіанства, которое у него почему-то пріурочено къ экономической формѣ крѣпостничества (какъ античное язычество поставлено въ прямую связь съ рабствомъ) и вводится въ исторію, какъ религія съ опредѣленной капиталистической функціей застращивать загробными муками людей, покушающихся на капиталистическую собственность. Вообще, замѣтимъ еще, Лоріа свои историческія соображенія основываетъ не на данныхъ исторической науки, анализирующей каждое сложное явленіе, чтобы выяснить его возникновеніе, а на желаніи во что бы то ни стало, даже въ явномъ противорѣчіи съ фактами исторіи и выводами науки, подогнать каждое такое явленіе къ своей предвзятой мысли,—черта, свойственная всѣмъ, которые трудный путь *историческаго изслѣдованія* обхо-

дять, чтобы идти по болѣе легкой дорогѣ чисто *апріорнаго построенія*.—И мораль Лоріа понимаетъ столь же своеобразно: для него въ морали нѣтъ ничего, что находитъ объясненіе въ безкорыстныхъ стремленіяхъ человѣка, въ стремленіи къ самосовершенствованію, въ чувствѣ долга, въ симпатіи или альтруизмѣ, въ уваженіи къ чужому праву, въ признаніи и за другими равнаго человѣческаго достоинства, т.-е. для Лоріа въ морали нѣтъ ничего, что выростаетъ на почвѣ индивидуальной и коллективной духовной жизни, и вотъ вся мораль сводится у него къ трусливой заботѣ собственниковъ оградить себя отъ возможныхъ со стороны неимущихъ—воровства, грабежа, расхищенія, экспропріаціи! При *такомъ* взглядѣ на религію и мораль и при совершенно произвольномъ отношеніи къ историческимъ фактамъ [1]), конечно, изъ экономіи можно вывести все, что угодно, хотя бы даже объясненіе того, почему великіе революціонеры девятидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка занимались эротической поэзіей (стр. 60).

Тотъ же пріемъ искаженій существа дѣла и натяжекъ мы встрѣчаемъ и въ тѣхъ отдѣлахъ книги Лоріа, которые посвящены разсмотрѣнію экономическихъ основъ права и политики, хотя по существу дѣла здѣсь гораздо больше вѣрныхъ мыслей, —но, напр., авторъ упускаетъ изъ вида, что право ограждаетъ не только собственность, но и личность, и что государство возникло на почвѣ междуплеменной и международной борьбы, и въ своемъ историческомъ развитіи оно также мѣняло, то съуживало, то расширяло (въ разныхъ отношеніяхъ) свои задачи въ зависимости не только отъ тѣхъ или другихъ матеріальныхъ интересовъ, но и отъ моральныхъ идей. Въ отдѣлѣ о государствѣ Лоріа исходитъ изъ старой мысли о зависимости властованія отъ обладанія собственностью; но если и раньше никому не удавалось установить прямую связь между опредѣленными политическими формами и опредѣленными системами собственности, то Лоріа даже считаетъ и совсѣмъ невозможнымъ это сдѣлать, тѣмъ самымъ открывая возможность искать для политическихъ формъ основанія не въ одномъ экономическомъ началѣ, что подрываетъ, собственно говоря, теорію самого Лоріа. „Хотя,—говоритъ онъ,—и замѣчается нормальное соотношеніе между формою дохода и формою власти, это соотношеніе, однако, не до такой степени неизбѣжно, чтобы исключить возможность экономической формы, которая существо-

[1]) По Лоріа, Христосъ пострадалъ за свой протестъ противъ собственности, какъ пострадали за то же, по его словамъ, и Сократъ, и Савонарола!

вала бы отдѣльно отъ соотвѣтствующей формы политической": такъ какъ „государственное устройство есть только надстройка (superstructure), послѣднее и самое поверхностное произведеніе экономическихъ отношеній", то эти послѣднія и могутъ измѣниться, не вызывая измѣненій въ политической структурѣ, ибо,— поясняетъ Лоріа,—„подобно тому, какъ одна и та же шляпа можетъ придтись по головѣ генія и кретина, одни и тѣ же политическія отношенія могутъ придтись къ самымъ различнымъ экономическимъ формамъ". Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ еще такъ: „переходъ одной формы правленія въ другую, болѣе либеральную или болѣе деспотическую, не есть результатъ измѣненія въ устройствѣ собственности. Въ самыхъ разнообразныхъ формахъ собственности,—продолжаетъ Лоріа, — встрѣчаются поочередно и политическая свобода, и самый полный абсолютизмъ", и т. д. Правда, Лоріа думаетъ спасти свое общее положеніе, поставивъ форму правленія въ зависимость не отъ устройства собственности, а отъ формы дохода, но тутъ начинаются снова произвольныя построенія яко-бы соціологическихъ законовъ и самыя очевидныя натяжки, причемъ Лоріа не останавливается передъ настоящимъ сочиненіемъ исторіи, напр., выдумавъ для объясненія перехода второй французской республики въ имперію Наполеона III небывалый въ исторіи Франціи періодъ, когда, будто бы, въ этой странѣ экономическое и политическое господство принадлежало мелкимъ собственникамъ. Но Лоріа ничего не стоило сочинить и развитіе вольнонаемнаго труда въ Австріи, Пруссіи и Россіи XVIII-го в., чтобы объяснить въ духѣ своей теоріи паденіе крѣпостнической Польши!

Сказаннаго, полагаемъ, достаточно, чтобы судить о томъ, насколько важнаго союзника нашелъ экономическій матеріализмъ въ лицѣ Лоріа: если, дѣйствительно, гдѣ-либо и совершилась reductio ad absurdum основной мысли этого исторіологическаго направленія, то именно въ разсмотрѣнныхъ „Экономическихъ основахъ соціальнаго строя".

XII.

Мы уже неоднократно повторяли, что спеціальная литература экономическаго матеріализма крайне скудна. Нужно замѣтить, что авторы, писавшіе въ духѣ этого направленія, нерѣдко причисляютъ къ нему труды, которые были задуманы и написаны совсѣмъ не въ смыслѣ экономическаго матеріализма. Напр., г. Ни-

колаевъ относитъ къ числу сочиненій, написанныхъ съ этой точки зрѣнія, такіе труды, какъ разсмотрѣнную нами книгу Роджерса (The economic interpretation of history), сочиненіе Джиббинса по промышленной исторіи Англіи (Industrial history of England), хотя послѣднее къ дѣлу не относится, „Культурную исторію человѣчества" Липперта, самъ же замѣчая, что этотъ писатель (и Летурно), „какъ можно судить по отдѣльнымъ ихъ выраженіямъ и по общему характеру ихъ изслѣдованій, или совсѣмъ незнакомы съ гипотезой, или не проникли въ ея сущность" [1]), и т. п. Вейзенгрюнъ въ первой своей книжкѣ (1888) утверждалъ, что „единственными представителями этой теоріи въ тѣсномъ смыслѣ слова" являются лишь Марксъ, Энгельсъ и Морганъ, и только во второй книжкѣ замѣтно желаніе нѣсколько расширить эти узкія рамки. Лишь съ натяжками можно вслѣдъ за Лоріа указать въ числѣ представителей теоріи—Гумпловича и де-Греефа, и т. п. Въ Германіи экономическій матеріализмъ пропагандировался главнымъ образомъ въ журнальныхъ статьяхъ и брошюрахъ. Особенно въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отмѣтить „Unsere Zeit", гдѣ работаетъ Каутцки, авторъ нѣсколькихъ историческихъ работъ въ духѣ экономическаго матеріализма, хотя эти работы представляютъ не теоретическое обоснованіе доктрины, а ея примѣненіе къ разсмотрѣнію дѣйствительной исторіи [2]). Каутцки—писатель, несомнѣнно, талантливый, и ему никоимъ образомъ нельзя отказать въ знаніи исторіи и умѣніи научно пользоваться ея матеріаломъ; а такъ какъ онъ интересуется исключительно тѣми историческими явленіями, которыя дѣйствительно объясняются классовою борьбою на экономической почвѣ, то въ общемъ его историческія работы не могутъ вызывать противъ себя такой критики, съ какою необходимо отнестись къ книгѣ Лоріа, хотя въ частности и у Каутцки мы находимъ натяжки, объясняющіяся желаніемъ его свести къ экономическому началу факты, имѣющіе въ сущности другую основу. Укажемъ, напр., на его очень хорошую брошюру „Die Klassengegensätze von 1789" [3]), которую можно рекомендовать, какъ ясное и толковое изображеніе соціальнаго

---

[1]) Въ указанной книгѣ г. Николаева: „Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ", помѣщена и статья его о книгѣ Липперта („Новая попытка органическаго построенія исторіи человѣческой культуры"). Въ сущности, однако, Липпертъ очень близокъ къ экономическому матеріализму.

[2]) Одной изъ первыхъ его работъ (1885) была статья: „Die Entstehung des Christenthums", гдѣ проводится та мысль, что христіанство было создано матеріальными факторами, и прежде всего обѣднѣніемъ народа.

[3]) Была переведена по-русски въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ" за 1889 г.

строя Франціи передъ революціей и во время самой революціи. Кто хочетъ, однако, познакомиться съ тѣмъ, къ какимъ натяжкамъ приходилось Каутски прибѣгать при объясненіи *всей* исторіи изъ одной экономіи, тому лучше всего заглянуть въ историческое введеніе къ его книгѣ о „Томасѣ Морусѣ и его Утопіи", посвященное философскому обзору „вѣка гуманизма и реформаціи" [1]). Не разсматривая подробно всего построенія авторомъ этого важнаго періода новой европейской исторіи, мы приведемъ лишь примѣры такого рода историческаго объясненія, которое не выдерживаетъ строгой критики, и именно потому, что авторъ подъискиваетъ иногда для разсматриваемыхъ имъ явленій неподходящія экономическія основанія, когда эти явленія, наоборотъ, подлежатъ чисто культурному объясненію.

Гуманизмъ и реформація создали цѣлый переворотъ въ общемъ міросозерцаніи западно-европейскихъ народовъ, и съ этой стороны ихъ главнымъ образомъ сначала и изучали историки, выдвигавшіе на первый планъ культурную точку зрѣнія, что было вполнѣ законно, насколько гуманизмъ, протестантизмъ и сектантство были движеніями, совершавшимися прежде всего въ духовной сферѣ. Въ самомъ дѣлѣ, возрожденіе и реформація были результатомъ, съ одной стороны, разложенія средневѣкового католическаго міросозерцанія съ его схоластической философіей, бывшею въ услуженіи у теологіи, съ его аскетической моралью, съ его теократической политикой, а съ другой стороны оба названныя историческія явленія были результатомъ большаго духовнаго развитія личности, обнаружившей стремленіе къ выработкѣ самостоятельнаго міросозерцанія въ большемъ соотвѣтствіи съ требованіями ея духовной и физической природы и болѣе свѣтскаго характера. Исторія духовной культуры новаго времени, исторія религіи, философіи, морали, литературы, искусства, науки и политической мысли послѣднихъ пяти столѣтій имѣетъ своимъ исходнымъ пунктомъ эпоху гуманизма и реформаціи, когда болѣе развитое личное сознаніе, не удовлетворяясь средневѣковыми схоластическими, аскетическими и теократическими воззрѣніями, стало искать новыхъ путей въ области интеллектуальной и моральной жизни, обратившись прежде всего къ классической литературѣ и къ Библіи, изученіе коихъ и произвело сильное вліяніе на духовную культуру этой эпохи. Между прочимъ подъ вліяніемъ

[1]) *Karl Kautsky.* Thomas More und seine Utopie (Mit einer historischen Einleitung). Stuttgart. 1890. Введеніе (стр. 1—101), о коемъ идетъ рѣчь, было также переведено по-русски, какъ самостоятельная статья, и помѣщено также въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ".

новыхъ потребностей личности и тѣхъ политическихъ идей (или политическихъ примѣровъ), которые гуманистами и реформаторами были найдены у классиковъ и въ св. писаніи, стали складываться новыя политическія воззрѣнія, и они, нужно замѣтить, изъ чисто культурнаго своего состоянія, какъ извѣстныхъ элементовъ новаго міросозерцанія, перешли, такъ сказать, и въ самое соціальное бытіе, поскольку стали оказывать вліяніе на фактическія отношенія государства и общества. Такъ представляется дѣло, разъ мы становимся на точку зрѣнія культурной исторіи; но одной этой точки зрѣнія, разумѣется, недостаточно. Культурное развитіе совершается въ извѣстной соціальной средѣ, которая есть не только среда чисто духовная, но и экономическая, благодаря чему культурные факты не могутъ получать одно чисто духовное объясненіе безъ всякаго отношенія къ экономическимъ условіямъ, равно какъ и экономическіе факты не могутъ быть поняты внѣ связи съ тою духовною средою (знаніями, вѣрованіями, настроеніями, содержаніемъ моральныхъ воззрѣній и стремленій), въ которой эти факты совершаются. Одновременно съ измѣненіями въ сферѣ духовной культуры происходятъ измѣненія и въ области соціально-экономическихъ отношеній, и хотя по общему правилу культурныя измѣненія непосредственно обусловливаются культурными же причинами, а соціально-экономическія—соціально-экономическими же, тѣмъ не менѣе между обоими рядами измѣненій происходитъ постоянное взаимодѣйствіе. Въ эпоху гуманизма и реформаціи происходили весьма важныя перемѣны и въ экономическомъ быту, которыя не могли не отразиться на культурномъ движеніи, какъ и послѣднее не могло не отразиться на соціальной сторонѣ исторіи, но, конечно, изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы экономическія измѣненія были непосредственнымъ источникомъ измѣненій культурныхъ, чтобы новыя формы религіи, новыя стремленія въ области морали, новыя философскія идеи, новыя явленія въ области литературы и искусства или новые научные интересы были прямымъ порожденіемъ новыхъ экономическихъ отношеній: утверждать это было бы столь же неосновательно, какъ утверждать и обратное, т.-е. чтобы новыя явленія въ экономическомъ быту были результатомъ новыхъ религіозныхъ, философскихъ, моральныхъ, эстетическихъ, научныхъ и политическихъ идей безъ всякаго основанія въ предъидущихъ фактахъ чисто экономическаго свойства. Въ каждомъ отдѣльномъ явленіи только спеціальный историческій анализъ въ состояніи выяснить, гдѣ его основная причина и каковы побочныя условія, содѣйствовавшія его возникновенію. Напр., въ исто-

ріографіи реформаціи (кромѣ политической точки зрѣнія, самой ранней вообще въ исторической литературѣ) преобладала прежде культурная точка зрѣнія, т.-е. на первый планъ выдвигались чисто интеллектуальныя и моральныя причины и слѣдствія движенія, но мало-по-малу сдѣлались предметомъ изученія и экономическія отношенія, содѣйствовавшія реформаціи или бывшія ея результатами (напр., стремленіе свѣтскихъ сословій поживиться церковной собственностью передъ началомъ реформаціи и ея секуляризація, совершившаяся благодаря реформаціи). Культурное изученіе гуманизма и реформаціи касалось только одной стороны жизни того времени, и оно должно было быть дополнено изученіемъ экономическихъ отношеній эпохи, составляющихъ другую сторону, что было важно не только вслѣдствіе интересности предмета самого по себѣ, но и въ смыслѣ лучшаго освѣщенія и чисто культурнаго процесса посредствомъ указанія на вліянія, коимъ онъ подвергался со стороны соціально-экономическихъ отношеній.

Работа Каутски интересна именно какъ попытка освѣщенія „вѣка гуманизма и реформаціи“ съ соціально-экономической точки зрѣнія. Насколько цѣлью автора было изобразить хозяйственныя и классовыя отношенія того времени сами по себѣ и ихъ вліяніе на явленія, давшія названіе „вѣку“, настолько за работой нужно признать большія достоинства; но въ томъ-то и дѣло, что Каутски стремится объяснить *все* въ избранной имъ эпохѣ съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма, а потому, говоря о многихъ явленіяхъ чисто культурнаго свойства, даетъ имъ совершенно натянутыя объясненія, вмѣсто того, чтобы руководствоваться данными научнаго анализа, заключающимися въ сочиненіяхъ историковъ, которые стремились именно объяснить то или другое явленіе, а не доказать ту или другую историко-философскую точку зрѣнія. Напр., Каутски приходится, конечно, говорить о средневѣковомъ католицизмѣ, дѣлающемъ церковь господствующею силою въ тогдашнемъ обществѣ, но онъ причину этой силы видитъ не въ культурномъ состояніи общества, не въ теологическомъ, аскетическомъ и теократическомъ міросозерцаніи, въ немъ господствовавшемъ, не въ монополіи образованія и моральнаго вліянія, принадлежавшей духовенству, и т. п., а исключительно въ экономической мощи церкви, въ ея крупномъ землевладѣніи, которое, конечно, играло важную роль въ исторіи католицизма, но не было исключительной основою этой роли. Равнымъ образомъ „необходимость церкви не только для отдѣльнаго лица и семьи, но и для государства“ создавала не одно

„экономическое развитіе“, какъ думаетъ Каутски, но и многія другія причины, заслуживающія быть включенными въ число историческихъ факторовъ. Равнымъ образомъ, если Италія, Испанія и Франція остались католическими странами, то это объясняется весьма сложными причинами, особенными для каждой отдѣльной страны, причинами, которыя и стремится открыть научный анализъ посредствомъ изслѣдованія внутренняго состоянія этихъ странъ въ отношеніяхъ національномъ, религіозномъ, интеллектуальномъ (въ смыслѣ степени образованности и характера умственныхъ стремленій), моральномъ, политическомъ и соціально-экономическомъ,—но разсматриваемому автору, повидимому, до всего этого нѣтъ дѣла и онъ приписываетъ то, что названныя страны остались католическими, ихъ высшему экономическому развитію, забывая, что католическими странами остались, напр., Польша и Венгрія, бывшія въ экономическомъ отношеніи наиболѣе отсталыми во всемъ католическомъ мірѣ. Главное, однако, то, что такое объясненіе остается бездоказаннымъ и мало вразумительнымъ.

То же можно сказать и о другомъ объясненіи Каутски. Еще къ разсмотрѣнію католицизма, съ его церковнымъ землевладѣніемъ, и реформаціи, съ ея секуляризаціей собственности духовенства и монастырей, можно (и, конечно, должно) привлекать экономическія соображенія (разумѣется, отнюдь не ограничиваясь ими одними), но вотъ передъ нами чисто культурное движеніе гуманизма—и какъ же относится къ нему Каутски? „Новый способъ производства, — такъ начинаетъ онъ главу о гуманизмѣ, —требовалъ также новыхъ формъ мысли и произвелъ новое идейное содержаніе. Содержаніе духовной жизни измѣнилось быстрѣе его формъ: послѣднія долго еще оставались церковными, соотвѣтствующими феодальному способу производства, между тѣмъ какъ мышленіе все болѣе и болѣе подвергалось вліянію товарнаго производства (immer mehr von der Waarenproduktion beeinflusst wurde) и принимало свѣтскій характеръ“. Тутъ, что ни слово, то поводъ для постановки вопросительнаго знака! И вотъ гуманизмъ, бывшій не чѣмъ инымъ, какъ стремленіемъ личности построить себѣ новое міросозерцаніе, которое болѣе соотвѣтствовало бы ея духовнымъ и тѣлеснымъ потребностямъ, задавленнымъ философіею и моралью средневѣкового католицизма, является у Каутски какимъ-то продуктомъ новаго способа производства товаровъ! Сказать это было, конечно, легко, но повѣрить сказанному могутъ только тѣ, которые ищутъ готовыхъ (хотя бы и невразумительныхъ) формулъ, не требуя науч-

ныхъ доказательствъ. Проф. М. С. Корелинъ въ своемъ трудѣ о „Раннемъ итальянскомъ гуманизмѣ и его исторіографіи“ (см. стр. 1057—1058) уже отмѣтилъ взглядъ Каутски, какъ „единственную попытку объясненія гуманизма съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма“, и указалъ какъ на ненаучность пріемовъ автора разбираемой статьи (которую проф. Корелинъ зналъ лишь по переводу въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“), такъ и на отсутствіе у него „сколько-нибудь обстоятельныхъ свѣденій объ эпохѣ Возрожденія“. Послѣднее замѣчаніе едва-ли вообще вѣрно, а книжка о Томасѣ Морусѣ, введеніемъ въ которую служитъ статья о вѣкѣ гуманизма и реформаціи, доказываетъ далѣе, что съ однимъ отдѣломъ этой эпохи Каутски даже очень хорошо знакомъ; но дѣйствительно, на человѣка, научно *понимающаго*, что такое гуманизмъ, объясненія Каутски должны производить такое впечатлѣніе, что является подозрѣніе: да *зналъ* ли авторъ предметъ, о коемъ взялся говорить? Встрѣчаясь съ натянутыми историческими объясненіями, основанными не на данныхъ научнаго изслѣдованія, а на желаніи *все* объяснить съ *одной* предвзятой (и обыкновенно теоретически не обоснованной) точки зрѣнія, всегда вспоминаешь слѣдующія слова одного изъ самыхъ крупныхъ историковъ XIX-го вѣка (Гизо): „Ничто такъ не искажаетъ исторію, какъ логика: когда умъ человѣческій останавливается на какой-либо идеѣ, онъ извлекаетъ изъ нея всѣ возможныя послѣдствія, заставляетъ ее произвести все то, что въ дѣйствительности она могла бы произвести, и потомъ представляетъ ее себѣ въ исторіи въ сопровожденіи всего этого“.

Мы взяли статью Каутски, какъ образчикъ приложенія экономическаго матеріализма къ разсмотрѣнію крупной исторической эпохи. Насколько авторъ изобразилъ намъ *соціально-экономическую жизнь* эпохи гуманизма и реформаціи, мы можемъ отнестись къ его работѣ съ величайшимъ сочувствіемъ, распространяемымъ нами и вообще на все *экономическое направленіе исторической науки*, коему не одинъ Каутски обязанъ *болѣе полнымъ понятіемъ* объ этой важной эпохѣ; но насколько онъ примѣнилъ точку зрѣнія *экономическаго матеріализма, какъ историко-философской теоріи*, къ объясненію не одной соціально-экономической, но и *духовно-культурной жизни* эпохи, его *пониманіе* этой жизни мы должны признать *невѣрнымъ*. На примѣрѣ историческихъ соображеній Каутски мы такимъ образомъ можемъ познакомиться и съ сильными, и съ слабыми сторонами экономическаго матеріализма, тѣмъ болѣе, что Каутски—человѣкъ знающій (не чета Лоріа въ этомъ отношеніи), хотя и доказывающій своимъ непо-

ниманіемъ нѣкоторыхъ вещей, что предвзятая точка зрѣнія парализуетъ самыя знанія человѣка, заставляя его говорить вещи, на основаніи коихъ его легко счесть за совершенно незнающаго.

XIII.

Каутски, какъ историкъ, сколько мнѣ извѣстно, самый видный представитель экономическаго матеріализма, примыкающій къ Марксу. Остальные послѣдователи доктрины суть большею частью публицисты, работающіе, между прочимъ, для изданія Макса Шиппеля, выходящаго въ свѣтъ отдѣльными брошюрами съ 1890 г. подъ заглавіемъ „Berliner Arbeiter-Bibliotek". Изданіе это—марксистское, и одна изъ брошюръ первой серіи („Die Marx'sche Werththeorie", von Paul Fischer) прямо написана въ качествѣ общаго введенія въ изученіе Маркса (Zur Einführung in das Studium von Marx). Среди этихъ брошюръ есть и историческія, и всѣ онѣ написаны съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма, какъ это и значится на заголовкѣ одной изъ нихъ, посвященной рабочему движенію· (Die Arbeiterbewegung im Lichte der materialistischen Geschichtsauffassung). Авторъ этой брошюры, Гергардъ Краузе, написалъ и отдѣльную брошюру (двѣнадцатый нумеръ второй серіи) о развитіи пониманія исторіи до Карла Маркса (Die Entwickelung der Geschichtsauffassung bis auf Karl Marx). Это небольшая статья, въ 46 страницъ, изъ коихъ первыя тридцать посвящены изложенію историко-философскихъ воззрѣній, господствовавшихъ до возникновенія экономическаго матеріализма, и лишь послѣднія 16 страницъ заняты передачею „матеріалистическаго пониманія исторіи у Карла Маркса".

Въ началѣ этой брошюры мы находимъ страстное нападеніе на „призванныхъ" представителей исторической науки, причемъ послѣдніе для автора отождествляются съ Трейтшке и Зибелемъ, за нѣмецко-патріотическія и иныя идеи коихъ, конечно, не можетъ отвѣтствовать *вся* историческая наука. Въ своемъ полемическомъ увлеченіи Краузе обвиняетъ всѣхъ „университетскихъ историковъ" (die Geschichtsschreiber der Universitäten) въ томъ, что, будучи неспособными понимать массовыя движенія и измѣненія соціальнаго и культурнаго свойства, они полагаютъ всю свою задачу въ томъ, чтобы основывать пониманіе исторіи на дипломатическихъ документахъ (Aktenstücke der Diplomaten) и выводить событія психологическимъ путемъ изъ духовныхъ по-

двиговъ высокоодаренныхъ государей и министровъ,—на службѣ коихъ находятся сами,—вмѣсто того, чтобы разсматривать исторію, какъ слѣдствіе органическихъ измѣненій, совершающихся въ обществѣ. Что такіе историки есть,—конечно, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, но совершенно напрасно думаетъ Краузе, будто впервые Марксъ формулировалъ, въ чемъ должна заключаться задача исторіи, какъ науки. „Съ матеріалистическимъ пониманіемъ исторіи, провозглашеннымъ Марксомъ, — говоритъ Краузе,—кончается историческая литература (ist der Abschluss der Geschichts*beschreibung*) и начинается историческая наука (Geschichtswissenschaft)". Въ этомъ отношеніи Краузе сравниваетъ Маркса съ Дарвиномъ, приписывая первому, между прочимъ, и ниспроверженіе идеализма Гегеля, который, какъ извѣстно, былъ ниспровергнутъ съ „трона мысли" не Марксомъ.

„Марксъ, — говоритъ Краузе, — съ помощью историческаго опыта, статистики, доказалъ, что законы историческаго движенія (die Bewegungsgesetze der Geschichte) должны объясняться не изъ надземныхъ сферъ, равно какъ не изъ мозга отдѣльныхъ лицъ, но изъ матеріальныхъ основъ человѣческаго общества". Оставивъ въ сторонѣ теологическую философію исторіи, разрушеніе которой началось не съ Маркса, мы должны замѣтить, что если нельзя объяснить исторію „изъ мозга *отдѣльныхъ* лицъ", то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы ея объясненіе заключалось лишь въ одной матеріальной жизни *всего* общества, ибо есть еще духовная жизнь (=мозгъ) цѣлаго общества, возникающая на почвѣ психическаго взаимодѣйствія между отдѣльными лицами, какъ матеріальная (экономическая) жизнь общества возникаетъ на почвѣ хозяйственнаго между ними взаимодѣйствія, причемъ, конечно, трудъ *отдѣльнаго* человѣка столь же мало способенъ объяснить исторію, какъ и мысль отдѣльнаго человѣка. Подъ этими отдѣльными лицами Краузе разумѣетъ великихъ людей, но опять-таки идея органическаго развитія исторіи, лишающая великихъ людей той рѣшающей роли, какую имъ приписывало болѣе раннее историческое міросозерцаніе, установлена была впервые не Марксомъ, какъ думаетъ Краузе, а многими другими писателями еще первой половины XIX-го вѣка. Полемическая цѣль Краузе видна изъ того, что по этому поводу онъ распространяется довольно много о Бисмаркѣ, будто бы совершившемъ объединеніе Германіи, которое, конечно, произведено было не однимъ желѣзнымъ канцлеромъ: въ серіи брошюръ, къ коей принадлежитъ сочиненіе Краузе, есть даже спеціальный историческій очеркъ подъ заглавіемъ „Миѳъ объ основаніи германской импе-

ріи". Заслуга Карла Маркса, по Краузе, сводится къ новому методу изслѣдованія, дающаго ключъ къ пониманію исторіи: матеріалистическое направленіе „проникаетъ въ самое нутро господствующихъ классовъ всѣхъ временъ, изслѣдуетъ условія ихъ матеріальнаго существованія, ихъ способъ производства, степень ихъ развитія, словомъ—весь ихъ матеріальный міръ и выростающій изъ него міръ идеальный (und aus jener herausgewachsene ideale Welt) и тѣмъ самымъ объясняетъ отношеніе господствующихъ классовъ къ государственной власти". Собственно говоря, такая задача историческаго изслѣдованія опять-таки не есть спеціально марксистская, и только одно выведеніе идеальнаго міра изъ матеріальнаго можетъ быть признано исключительнымъ достояніемъ экономическаго матеріализма. Почему при извѣстныхъ условіяхъ въ государствѣ устанавливается чисто личное правленіе, позволяющее одному великому человѣку играть по видимости рѣшающую роль, на этотъ вопросъ давался вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ и раньше экономическаго матеріализма, который, по представленію Краузе, будто бы впервые формулировалъ этотъ отвѣтъ.

Краузе *излагаетъ* далѣе сущность общихъ историко-теоретическихъ воззрѣній Маркса и Энгельса, *не доказывая* ихъ безусловной вѣрности ни однимъ новымъ аргументомъ, замѣчая только, что они позволяютъ намъ видѣть „всю исторію прошлаго въ совершенно новомъ свѣтѣ", хотя это обстоятельство не доказываетъ еще, что новый свѣтъ вполнѣ объясняетъ намъ природу исторіи. Вѣрная сторона исторической философіи Маркса, заключающаяся въ примѣненіи идеи развитія къ обществу, есть не спеціальная особенность экономическаго матеріализма, а общая черта всего мышленія XIX в., отличающая и идеалистическую философію (Гегель), и философію реалистическую, и мысль консервативную и даже реакціонную (Жозефъ де-Местръ, Савиньи), и мысль либеральную и прогрессивную. Наконецъ, Краузе видитъ въ матеріалистическомъ пониманіи исторіи *оправданіе* современнаго рабочаго движенія, но это движеніе, конечно, *вызвано* не тѣмъ или другимъ теоретическимъ пониманіемъ исторіи, а самою исторической жизнью, болѣе широкою, чѣмъ ея пониманіе, и высшую свою *санкцію* получаетъ въ тѣхъ моральныхъ идеяхъ, которыя являются однимъ изъ результатовъ культурнаго развитія общества. Сведеніе всей исторіи къ экономической основѣ само по себѣ не обусловливаетъ еще собою тѣхъ требованій, которыя написаны на знамени рабочаго движенія, ибо оно легко можетъ соединяться съ представленіемъ объ экономическомъ господствѣ

однихъ классовъ общества надъ другими, какъ вѣчномъ и непреложномъ законѣ всякаго общежитія (идея „Очерка соціологіи" Гумпловича). Поэтому логически изъ матеріалистическаго пониманія исторіи самого по себѣ вовсе еще не можетъ вытекать и увѣренность въ неминуемой побѣдѣ рабочаго класса, какъ думаетъ Краузе, ибо экономическій матеріализмъ, какъ таковой, ничего не предсказываетъ, поскольку сведеніе исторіи къ экономической основѣ еще не рѣшаетъ вопроса о томъ, въ какія формы отольется общество грядущихъ временъ; и побѣду, о которой говоритъ Краузе, пророчитъ у Маркса не это сведеніе, а примѣненіе имъ къ экономическому процессу формулы Гегеля, въ силу коей, говоря коротко, сначала происходитъ экспропріація массы, а потомъ должна произойти экспропріація экспропріировавшихъ, причемъ эта формула дѣйствительно разработана Марксомъ въ подробностяхъ, но лишь по отношенію къ одной экономической сторонѣ исторіи и главнымъ образомъ лишь для капиталистической эпохи въ жизни западно-европейскихъ странъ. Мы утверждаемъ поэтому, что соціальная демократія, для требованій и надеждъ которой нѣкоторые ея представители думаютъ найти научное основаніе въ исторической теоріи экономическаго матеріализма, могла бы съ одинаковымъ успѣхомъ существовать и добиваться своихъ цѣлей и безъ этой историко-философской основы, подобно тому какъ и ученіе о томъ, что въ исторіи все должно объясняться экономически, отнюдь не влечетъ за собою признанія тѣхъ или иныхъ соціальныхъ требованій.

Между тѣмъ нѣкоторые нѣмецкіе писатели дѣлаютъ изъ экономическаго матеріализма своего рода историческую философію соціальной демократіи въ своемъ отечествѣ, и Краузе (равно какъ Каутски) принадлежитъ именно къ числу такихъ писателей. Отъ соединенія своего съ стремленіями этой политической партіи экономическій матеріализмъ въ качествѣ научной теоріи ничего не выигрываетъ, какъ не выигрываетъ ничего и соціальная демократія въ своихъ практическихъ задачахъ отъ союза съ матеріалистическимъ объясненіемъ исторіи. Если, однако, есть люди, которые держатся этой теоріи не потому, что считаютъ ее достаточно *обоснованной*, а потому, что признаютъ ее *необходимой для оправданія* своихъ требованій, то этимъ, быть можетъ, они оказываютъ услугу теоріи, какъ своего рода боевому лозунгу, содѣйствуя ея распространенію, но не оказываютъ услуги той же теоріи, какъ ученію, имѣющему цѣлью выяснить объективную сущность историческаго процесса, каковы бы ни были наши идеальныя представленія о грядущихъ формахъ общественной жизни.

Популяризація экономическаго матеріализма въ Германіи за послѣднее время и получила такой именно характеръ, что цѣлью ея ставится не столько сообщеніе извѣстнаго пониманія исторіи, сколько внушеніе извѣстныхъ требованій отъ общественнаго устройства. Брошюра Краузе относится именно къ подобнаго рода литературѣ, и именно поэтому-то мы на ней и остановились, какъ на образчикѣ такого рода произведеній, написанныхъ въ духѣ экономическаго матеріализма, какого мы еще до сихъ поръ не касались [1]). Марксисты, къ числу коихъ принадлежитъ Краузе, повидимому, полагаютъ, что эта *общая историко-философская* точка зрѣнія такъ тѣсно связана съ *спеціальнымъ историко-экономическимъ* ученіемъ Маркса, лежащимъ въ основѣ ихъ общественныхъ стремленій, какъ связаны между собою посылка и выводъ изъ него, и потому не столько желаютъ теоретически обосновать ея научную истинность, сколько оправдать необходимость такой точки зрѣнія для достиженія извѣстныхъ практическихъ цѣлей въ жизни. На самомъ дѣлѣ, однако, такой связи между историко-философскимъ и историко-экономическимъ ученіемъ Маркса не существуетъ, и послѣднее, повторяемъ, можетъ быть принято для *экономической исторіи*, хотя бы при этомъ и не было признано, что *вся культурная и соціальная исторія* объяснима изъ однихъ экономическихъ началъ.

Какіе же общіе выводы могутъ быть сдѣланы на основаніи всего сказаннаго въ настоящей статьѣ?

Возникновеніе экономическаго направленія въ исторической наукѣ объясняется, во-первыхъ, естественнымъ сближеніемъ между двумя науками, т.-е. исторіей и политической экономіей, причемъ сближеніе это выразилось и въ образованіи исторической школы, и въ политической экономіи, а во-вторыхъ, объясняется и тѣмъ преобладаніемъ, какое получили экономическія отношенія въ самой исторической жизни XIX в., выдвинувшей на первый планъ соціальный вопросъ. Это научное движеніе имѣетъ въ высшей степени важное значеніе для исторической науки, благодаря тому, что историко-экономическія изслѣдованія не только стали пополнять существенные пробѣлы, въ ней имѣвшіеся, но пролили новый свѣтъ на явленія, которыя и раньше были изслѣдованы съ политической и культурной точки зрѣнія. Вслѣдствіе того, что

[1]) Къ той же категоріи по всей видимости принадлежитъ „Le matérialisme économique de Charles Marx“ Лафарга, такъ какъ нѣмецкій переводъ этой статьи помѣщенъ въ „socialdmeokratische Bibliothek“.

историческая наука обратила вниманіе на экономическую жизнь, и общія историко-философскія воззрѣнія должны были подвергнуться переработкѣ. Преобладающей основою историческихъ теорій было то, что̀ мы краткости ради можемъ назвать психологическимъ идеализмомъ, который заключалъ въ себѣ только одну половину истины. Въ силу естественнаго увлеченія экономизмомъ, какъ новымъ направленіемъ, уже приведшимъ къ важнымъ результатамъ и обѣщающимъ еще болѣе дать въ будущемъ, и въ силу весьма естественной реакціи противъ чисто психологической и идеалистической концепціи, оказавшейся несостоятельною въ стремленіи своемъ объяснить *всю* исторію, въ области историко-философскихъ воззрѣній возникло направленіе, сводящее всю исторію къ экономической и матеріальной основѣ. Разсуждая a priori, нельзя не признать, что экономическій матеріализмъ и родственныя ему направленія исторіологической мысли страдаютъ такою же односторонностью: истина заключается лишь въ сочетаніи обѣихъ точекъ зрѣнія, поскольку человѣкъ живетъ удовлетвореніемъ не однѣхъ матеріальныхъ, но и духовныхъ потребностей. Другую слабую сторону экономическаго матеріализма составляетъ его необоснованность въ теоретическомъ отношеніи. Его родоначальники выразили его основныя положенія въ формѣ аксіомъ, а сторонники направленія стали лишь популяризировать эти положенія, либо прилагать ихъ къ разсмотрѣнію дѣйствительной исторіи. Главное затрудненіе, съ коимъ встрѣчается мысль при попыткѣ обоснованія экономическаго матеріализма, заключается въ томъ, чтобы объяснить изъ экономіи духовную культуру (мораль, религію, философію, науку, миѳологію, поэзію, искусство и т. п.): сказать, что вся духовная культура имѣетъ непосредственнымъ своимъ основаніемъ чисто хозяйственныя отношенія общества, конечно, легко, но нужно еще доказать это и объяснить, какимъ образомъ экономія порождаетъ указанные элементы культуры. И вотъ когда мы встрѣчаемся съ попытками такого объясненія, то имѣемъ дѣло лишь съ натяжками (книга Лоріа, соображенія Каутски); но чуть сторонники экономическаго матеріализма являются болѣе озабоченными тѣмъ, чтобы *найти научную истину*, нежели тѣмъ, чтобы *утвердить принятый на вѣру догматъ*, они оказываются вынужденными дѣлать поправки въ этомъ ученіи, по существу дѣла отрицающія его исходную точку зрѣнія (Вейзенгрюнъ, г. Николаевъ). Экономическій матеріализмъ, конечно, сдѣлаетъ свой идейный вкладъ въ научную теорію историческаго процесса: относительная истинность его тенденціи не подлежитъ спору, и нужно только желать, чтобы его представители побольше думали о тео-

ретической обосновкѣ своего ученія и чтобы вмѣстѣ съ этимъ историки-экономисты дѣлали побольше теоретическихъ выводовъ изъ своихъ изслѣдованій; ибо чѣмъ доказательнѣе будетъ то или другое положеніе, тѣмъ охотнѣе оно будетъ принято теоретиками историческаго процесса для дальнѣйшихъ историко-философскихъ выводовъ. До сихъ поръ экономическій матеріализмъ отличался крайнимъ догматизмомъ, но путь, коимъ добывается научная истина, есть путь критическаго изслѣдованія. Не имѣя ни малѣйшихъ основаній предпочитать экономическому матеріализму психологическій идеализмъ, мы сочувствуемъ одинаково обоимъ направленіямъ, поскольку каждое освѣщаетъ намъ одну изъ сторонъ истины, которая вообще многосторонняя, и желаемъ, чтобы каждое направленіе, не стремясь деспотически выяснить другое, работало надъ выясненіемъ этой истины, внося въ свою работу побольше критики и остерегаясь догматизма, какъ вещи въ научномъ дѣлѣ наиболѣе опасной.

Н. Карѣевъ.

ИСПРАВЛЕНІЕ КНИГЪ

и

НАЧАЛО РАСКОЛА

Вопросъ объ исправленіи церковныхъ книгъ, такъ много занимавшій русскихъ людей XVI и XVII вѣка, относится, собственно говоря, къ исторіи церкви, какъ къ ней же относится возникновеніе и судьба раскола; но оба эти факта извѣстными своими сторонами принадлежатъ и исторіи литературы. Во-первыхъ, исторія исправленія книгъ доставляетъ множество характерныхъ свидѣтельствъ о состояніи стараго русскаго просвѣщенія и, слѣдовательно, литературныхъ средствъ; во-вторыхъ, съ нимъ связана извѣстная литература, хотя почти исключительно занятая спеціально церковными вопросами, но иногда расширяющаяся до цѣлой картины нравовъ и вѣка.

Эти церковные факты мы должны предположить извѣстными и остановимся лишь на нѣсколькихъ явленіяхъ тогдашней письменности, гдѣ заключаются данныя для опредѣленія тогдашняго міровоззрѣнія, какъ въ народныхъ массахъ, по крайней мѣрѣ грамотныхъ массахъ, такъ и въ наиболѣе просвѣщенномъ кругу. Тѣ „итоги“ московской старины, о которыхъ мы говорили въ послѣдній разъ, уже заключали въ себѣ основу, на которой развивалось міровоззрѣніе XVII вѣка; или, собственно говоря, не развивалось, потому что все свое достоинство оно полагало не въ какомъ-либо развитіи, а напротивъ, въ неподвижномъ храненіи старины, въ доведеніи ея преданій до послѣдняго предѣла. Дѣйствительно, XVII вѣкъ, въ лицѣ настоящихъ хранителей этого

преданія, именно гордился его неизмѣнностью, отвергалъ все новое, что̀ въ какомъ-либо отношеніи ему противорѣчило, жилъ въ той старинѣ, какая была доступна его знанію и воспоминанію—въ старинѣ Геннадія и Іосифа Волоцкаго, Стоглава и Домостроя; и если уже въ XVI вѣкѣ неподвижность религіозная, бытовая, образовательная становилась идеаломъ, то теперь этотъ идеалъ считался самымъ существомъ національной жизни, условіемъ ея церковнаго превосходства и даже условіемъ политическаго могущества. Какъ мы видѣли, уже въ XVI вѣкѣ образовались сполна отличительныя свойства этой старины: безграничное національное самомнѣніе и упорное храненіе преданія, при низменномъ уровнѣ просвѣщенія, который отразился наконецъ крайнимъ, почти исключительнымъ господствомъ обрядоваго суевѣрія. Чрезвычайныя потрясенія, испытанныя русскою жизнью въ концѣ XVI и началѣ XVII вѣка, ни въ чемъ не измѣнили ея основного теченія. Смутное время повело, повидимому, къ полному разстройству государственнаго порядка; но рядъ самозванцевъ указывалъ, что для народа была авторитетомъ только царская власть; даже самая неясная тѣнь мнимой царственности способна была собирать приверженцевъ; по окончаніи смутъ царская власть зародилась во всемъ своемъ старомъ объемѣ. Даже болѣе: необычайно выросъ и другой авторитетъ, который шелъ нераздѣльно и рядомъ съ царской властью—авторитетъ церковный, когда, съ конца XVI вѣка, основана была московская патріархія. Мы видѣли ранѣе, что русскіе люди давно уже возъимѣли недовѣріе къ восточнымъ патріархіямъ, особливо константинопольской: флорентинская унія, за которую схватилась-было падающая Византія и которую рѣшительно отвергли въ Москвѣ, была первымъ свидѣтельствомъ о слабости православія на востокѣ и осталась надолго обвиненіемъ противъ константинопольской патріархіи. Взятіе Константинополя турками еще утвердило русскихъ людей въ этомъ мнѣніи: Москва дѣйствительно оставалась единственнымъ свободнымъ православнымъ царствомъ, и къ ней уже вскорѣ стали обращаться за милостыней самые крупные восточные іерархи и представители знаменитѣйшихъ обителей, жалуясь на притѣсненія отъ невѣрныхъ,—изъ чего было выведено заключеніе, что подъ игомъ невѣрныхъ не могла сохраниться и чистота самой вѣры. Іерархическая зависимость русской церкви отъ Константинополя прекратилась уже давно; теперь полная автономія русской церкви была установлена основаніемъ патріархіи въ самой Москвѣ: здѣсь являлся свой собственный авто-

ритетъ той силы, какую представляли нѣкогда патріархи вселенскіе. Русское царство становилось наконецъ третьимъ Римомъ.

Гордость церковная была удовлетворена: русскій патріархъ былъ единственный свободный церковный властитель во всемъ православномъ мірѣ; матеріальное покровительство, которое оказывала Москва угнетеннымъ восточнымъ церквамъ, только усиливало эту гордость, потому что и сами представители послѣднихъ, приходя въ Москву за милостыней, возвеличивали не только царское могущество, но и московское благочестіе. Рядомъ съ этимъ возростала до крайнихъ предѣловъ старинная черта русскихъ религіозныхъ понятій—крайняя религіозная нетерпимость. Съ первыхъ вѣковъ русской церкви эта нетерпимость воспитывалась византійскими наставниками въ видахъ устранить всякую возможность сближенія русской церкви съ западомъ и возможность вліянія здѣсь католицизма; наставленія встрѣтили благодарную почву, и съ древнѣйшихъ временъ и до послѣдней минуты въ русской письменности неизмѣнно повторялись обличенія „латины", которая ужъ съ XI вѣка считалась не только еретической, но и прямо „поганой". Упадокъ просвѣщенія, все большее распространеніе слѣпой вѣры въ обрядъ, если можно, еще увеличили эту вражду къ латинству, а вмѣстѣ и ко всѣмъ не-православнымъ исповѣданіямъ. Русскіе люди считали себя единственными представителями истиннаго христіанства, и это, какъ мы имѣли уже случай видѣть, съ своей стороны возстановляло ихъ противъ всего латинскаго, въ концѣ концовъ и противъ всякаго знанія, которое могло бы придти изъ этого источника. Указанія на западную науку, на достоинство нѣкоторыхъ западныхъ монашескихъ учрежденій послужили однимъ изъ тяжкихъ укоровъ противъ Максима Грека.

Удовлетворена была и національно-политическая гордость. Со временъ Ивана III Москва одерживала цѣлый рядъ политическихъ успѣховъ. Москва окончательно объединила удѣлы и русскій народъ сталъ единымъ великимъ народомъ; великокняжество стало царствомъ. Старые враги уничтожены были въ двухъ главныхъ своихъ гнѣздахъ, и нѣкогда страшные татарскіе цари, князья, мурзы стали покорными подданными и служилыми людьми московскаго царя. Москва стремилась возвратить русскія земли, которыя, въ составѣ литовскаго княжества, все больше подпадали польской власти и латинству; но въ особенности ея владычество расширялось на востокъ, гдѣ быстро была занята Сибирь, и даже на юго-востокъ, гдѣ покровительства ея искали христіанскія племена Кавказа. Это громадное распространеніе территоріи,—хотя

на востокѣ оно обнимало земли только мало населенныя и полудикія,—наполняло русскихъ людей высокимъ представленіемъ о могуществѣ московскаго царства и при тѣсномъ горизонтѣ свѣденій все больше утверждало ихъ въ національномъ высокомнѣніи и исключительности.

При этихъ условіяхъ внутренняя жизнь какъ будто могла быть установлена окончательно на тѣхъ началахъ, которыя выработались уже къ половинѣ XVI вѣка, ко временамъ Стоглава и Домостроя. Какъ дальше увидимъ, уже въ то время можно было однако замѣтить, что въ русской жизни оказывались крупные недостатки, которымъ не могли помочь эти какъ будто прочно установленныя начала. Широкое развитіе государства все больше приближало русскую политическую жизнь къ западному сосѣдству, порождало новыя потребности, заставляло нуждаться въ научномъ знаніи и искусствахъ, для которыхъ въ самой русской жизни не было никакой почвы и за ними волей-неволей приходилось обращаться къ тѣмъ самымъ иноземцамъ, которые издавна были ославлены погаными. Это исканіе иноземной помощи уже явно начинается въ XV вѣкѣ, все больше и больше усиливается въ теченіе XVI и XVII столѣтій, когда наконецъ должно было быть признано и узаконено оффиціально, когда въ самой Москвѣ была населена иноземцами цѣлая Нѣмецкая слобода, когда иноземцы становились командирами въ московскомъ войскѣ. Необходимость чужой помощи и именно чужой *науки* была, наконецъ, почувствована и въ другой области, въ области самыхъ драгоцѣнныхъ представленій народа—его религіозныхъ вѣрованій.

Какъ ни были русскіе люди глубоко убѣждены въ своемъ церковномъ превосходствѣ надъ всѣми другими народами, не исключая и самихъ грековъ, отъ которыхъ было получено крещеніе и вся церковная письменность; какъ ни сіяло русское благочестіе, мы видѣли еще съ конца XV вѣка печальное сознаніе самихъ передовыхъ людей московской іерархіи въ крайнихъ недостаткахъ религіозной жизни: въ народной массѣ рядомъ съ ученіями церкви и съ христіанскимъ обрядомъ сохранялись „еллинскіе“ обычаи и превратное суевѣріе, а въ служителяхъ церкви крайнее невѣжество, мѣшавшее, наконецъ, самому исполненію церковнаго служенія; къ этому прибавились, въ довершеніе всего, злыя ереси, которыя, начиная отъ стригольниковъ конца XIV вѣка, тянулись почти непрерывно до половины XVI столѣтія,—приводя въ негодованіе и наконецъ въ ожесточеніе благочестивыхъ ревнителей и оставаясь для нихъ совер-

шенно непонятными относительно ихъ происхожденія; но ереси могли быть истреблены такъ или иначе—казнями, заточеніями, страхомъ; по крайней мѣрѣ онѣ стали бояться проявлять свое существованіе. Но всегда оставалось на-лицо другое бѣдствіе церковной жизни—господство темнаго суевѣрія и порча книгъ невѣжественными писцами. Послѣ архіепископа Геннадія въ концѣ XV вѣка на эти недостатки церковной жизни обратилъ вниманіе въ половинѣ XVI вѣка цѣлый соборъ русскихъ іерарховъ,—онъ осуждалъ, обличалъ, грозилъ казнями, но мѣры его остались безплодны. Въ сущности самый соборъ стоялъ на уровнѣ того же стараго бытового преданія и не сдѣлалъ того единственнаго, что могло рано или поздно, въ той или другой мѣрѣ помочь этимъ недостаткамъ—не позаботился объ основаніи какой-либо правильной школы; онъ только оффиціально установилъ фактъ, который и позднѣе продолжалъ существовать въ томъ же самомъ видѣ, только еще усиливаясь, такъ что потребовалъ наконецъ новыхъ усиленныхъ заботъ. Стоглавый соборъ указалъ на необходимость исправленія церковныхъ книгъ, но ни мало не указалъ, какъ этого достигнуть: онъ повелѣвалъ списывать книги „съ добрыхъ переводовъ", приказывалъ за этимъ смотрѣть протопопамъ, запрещалъ продавать неисправныя книги; но, во-первыхъ, немыслимо было услѣдить за всякимъ переписываніемъ книги, а во-вторыхъ, некому было разыскать и опредѣлить настоящіе „добрые переводы". Для устраненія неправильнаго списыванія книгъ, въ Москвѣ была наконецъ основана типографія, какъ спеціальное церковно-государственное учрежденіе: единственнымъ его дѣломъ должно было быть изданіе церковныхъ книгъ. Но и это простое дѣло показалось въ старой Москвѣ сомнительнымъ и зловреднымъ: первая типографія была разрушена фанатической толпой. Въ концѣ концовъ печатаніе книгъ установилось, и здѣсь начались новыя заботы.

Въ прежнее время ошибка въ книгѣ могла считаться частной единичной ошибкой; теперь, когда книга выходила изъ церковно-государственной типографіи, подъ надзоромъ высшей церковной власти, текстъ книги получалъ высшее утвержденіе; но это утвержденіе получала и каждая ошибка въ этомъ текстѣ. Очевидно, надо было обратить вниманіе на характеръ этого текста, поручить дѣло опытнымъ людямъ, которые могли бы выбрать „добрые переводы" и исправно ихъ напечатать. Опытныхъ людей думали найти въ наличномъ составѣ тогдашняго духовенства,—изъ него и взяты были такъ-называемые справщики печатнаго двора, т.-е. по нынѣшнему главные редакторы изданій;

но при указанномъ положеніи вещей достигнуть правильнаго текста было дѣло очень трудное, и во всякомъ случаѣ непосильное для тогдашнихъ справщиковъ. Въ самомъ дѣлѣ, какой текстъ церковной книги надо было считать „добрымъ переводомъ“ и положить въ основаніе изданія? Едва ли можно было найти двѣ рукописи совершенно сходныя, не представлявшія болѣе или менѣе значительныхъ варіантовъ; большинство было преисполнено этими варіантами, т.-е. въ сущности ошибками на той и другой сторонѣ. Рукописи древнія, менѣе подвергавшіяся порчѣ, представляли забытыя особенности правописанія и языка, и также могли быть несвободны отъ ошибокъ. Какой критерій должно было принять для выбора „добраго перевода“? Естественно было бы предположить, что основаніемъ для выбора должно было послужить сличеніе русскихъ рукописей съ ихъ греческими оригиналами; но и къ этой мысли пришли не вдругъ (мы увидимъ дальше, что потребовалось около *ста лѣтъ*, чтобы убѣдиться въ этой мысли), тѣмъ болѣе, что не легко, а иногда и невозможно было найти человѣка, достаточно владѣвшаго и греческимъ и славянскимъ языкомъ. Наконецъ, еслибы такой человѣкъ нашелся и предпринялъ исправленіе текста—не только по греческимъ рукописямъ, но хотя бы по здравому сличенію рукописей славянскихъ — онъ подвергался большой опасности: исправленія были безусловно необходимы, но иногда они могли коснуться какого-либо ошибочнаго чтенія, къ которому уже привыкли, которое въ силу давности стало считаться необходимой принадлежностью въ текстѣ писанія или богослужебной книги, даже „догматомъ“. Дѣйствительно, такъ это впослѣдствіи и бывало. Крайнее убожество знаній (при которомъ, напр., знаніе кѣмъ-либо „грамматикіи“, какъ рѣдкость, даже заносилось въ лѣтопись) приводило именно къ тому преувеличенію внѣшности, которое заставляло, наконецъ, дорожить въ книгѣ не смысломъ, а буквой. Выше мы упоминали, какъ „философы“ XV-го вѣка спорили о способѣ пѣнія: „Господи помилуй“ (это записалъ лѣтописецъ); какъ тогда же поднятъ былъ знаменитый вопросъ о сугубой аллилуіи, которая была принята Стоглавымъ соборомъ, а потомъ причинила не мало хлопотъ въ XVII столѣтіи; какъ въ первой половинѣ XVI-го вѣка одного изъ сотрудниковъ Максима Грека „объялъ ужасъ“, когда тотъ при исправленіи книги велѣлъ зачеркнуть двѣ или три строки неправильнаго текста — несчастный ученикъ не рѣшился уничтожить, по его мнѣнію, великій „догматъ“; нѣсколько ошибокъ въ переводахъ Максима Грека (объяснявшаго, что онъ еще недостаточно владѣлъ тогда славянскимъ языкомъ) послужили къ

обвиненію его въ ереси и къ нѣсколькимъ десяткамъ лѣтъ заточенія... Положеніе вещей не измѣнилось и теперь къ половинѣ XVII-го вѣка; быть можетъ, оно еще обострилось, потому что со временъ Максима Грека прибавилось еще сто лѣтъ невѣжества и вѣры въ букву.

Читатель найдетъ у историковъ церкви подробности о ходѣ этого исправленія книгъ, которое, начавшись впервые при Максимѣ Грекѣ, заняло церковную власть въ особенности послѣ Стоглаваго собора, велось во второй половинѣ XVI-го и въ теченіе XVII-го вѣка, сопровождалось великими треволненіями и даже настоящими бѣдствіями для его исполнителей, и завершилось, наконецъ, необычайнымъ и характернымъ явленіемъ: удаленіемъ отъ господствующей церкви цѣлой огромной части русскаго народа, желавшей хранить старыя преданія, или расколомъ.

Исторія исправленія книгъ представляетъ не мало фактовъ и смѣшныхъ—по невѣжеству исправителей, и прискорбныхъ, когда болѣе разумные справщики навлекали на себя суровыя гоненія по невѣжеству судей. Такова была, напримѣръ, печальная исторія троицкаго игумена Діонисія, которому въ началѣ царствованія Михаила Ѳедоровича поручено было исправленіе книгъ вмѣстѣ съ другими старцами того же монастыря, Арсеніемъ Глухимъ и Антоніемъ Крыловымъ, и священникомъ Иваномъ Насѣдкой. Арсеній и Антоній знали по-гречески, и къ исправленію одной изъ книгъ, Требника, привлечено было до двадцати списковъ, въ томъ числѣ пять греческихъ. При исправленіи было найдено и исправлено много ошибокъ, и черезъ полтора года работы справщики представили свой трудъ митрополиту крутицкому Іонѣ, управлявшему церковью въ между-патріаршество. Это былъ человѣкъ недальняго образованія, нетвердаго характера, не расположенный къ исправителямъ, потому что это дѣло было поручено Діонисію безъ совѣта съ митрополитомъ; къ тому же противъ Діонисія было и московское духовенство, недовольное тѣмъ, что исправленіе поручено было не кому-либо изъ его среды; противъ него были и сами монахи монастыря, раздраженные ревностію Діонисія въ исполненіи монастырскаго устава. Кончилось тѣмъ, что Діонисій съ его сотрудниками были преданы суду на соборѣ изъ московскаго духовенства (въ 1618 году). Исправленія найдены были неправильными и еретическими. Между прочимъ, въ водосвятной молитвѣ („освяти воду сію Духомъ Твоимъ святымъ“) исправители выбросили неправильно прибавленное слово: „и огнемъ“; сдѣлали исправленія въ молитвахъ, гдѣ упоминалось о святой Троицѣ. На исправителей взведены

были по всему этому тяжкія обвиненія: противъ Діонисія и сотрудниковъ говорили, что они „имя св. Троицы маранотъ и Духа святого не исповѣдуютъ, яко огнь есть“. Раздраженный и вмѣстѣ невѣжественный соборъ, не слушая оправданія Діонисія, сурово осудилъ его. Діонисій былъ отлученъ отъ церкви, заключенъ въ новоспасскій монастырь, гдѣ его томили въ дыму, били, морили голодомъ, заставляли класть по тысячѣ поклоновъ въ день; въ праздники его водили къ митрополиту на смиреніе въ цѣпяхъ и рубищѣ, и когда митрополитъ послѣ обѣдни сидѣлъ съ властями за столомъ, Діонисія держали на дворѣ среди ругательствъ и побоевъ черни, сбѣгавшейся смотрѣть на еретика, который хотѣлъ выводить огонь изъ міра—гнусное зрѣлище, рисующее нравы и бездонное невѣжество времени. Арсеній Глухой заключенъ былъ въ цѣпяхъ на кирилловскомъ подворьѣ; Иванъ Насѣдка, „лукавая лисица“, по отзыву Арсенія, избѣжалъ осужденія, вѣроятно сваливъ вину на другихъ, хотя также былъ отлученъ отъ церкви и отъ священнослуженія. Потребовалось потомъ вмѣшательство вселенскихъ патріарховъ, чтобы подтвердить сдѣланное Діонисіемъ исправленіе безсмыслицы въ водосвятной молитвѣ. Въ 1619 году находился въ Москвѣ іерусалимскій патріархъ Ѳеофанъ, прибывшій за милостынею и вскорѣ участвовавшій въ поставленіи возвратившагося тогда изъ польскаго плѣна Филарета патріархомъ. Услышавъ въ Москвѣ толки о недавнемъ дѣлѣ, повидимому еще до прибытія Филарета, Ѳеофанъ говорилъ царю о невинности справщиковъ: по крайней мѣрѣ Діонисій былъ освобожденъ изъ заключенія еще до прибытія Филарета и участвовалъ въ его встрѣчѣ вмѣстѣ со своимъ судьей, митрополитомъ Іоною. Когда Филаретъ сдѣлался патріархомъ, Ѳеофанъ посовѣтовалъ ему пересмотрѣть дѣло объ осужденныхъ справщикахъ. Вѣроятно Ѳеофанъ былъ слишкомъ возмущенъ этимъ дѣломъ и настоятельно говорилъ о немъ, потому что уже черезъ недѣлю послѣ поставленія Филарета оба патріарха велѣли митрополиту Іонѣ представить дѣло Діонисія на соборъ, но уже не изъ одного московскаго духовенства, но всѣхъ русскихъ іерарховъ съ другими духовными лицами, въ присутствіи обоихъ патріарховъ и самого царя. Діонисій стоялъ на отвѣтѣ больше восьми часовъ и опровергъ всѣ возраженія своихъ обвинителей, которые были посрамлены вмѣстѣ съ крутицкимъ митрополитомъ. Самъ царь прославлялъ Діонисія; патріархъ и весь освященный соборъ привѣтствовали невиннаго страдальца; онъ съ честію и со многими дарами отпущенъ былъ въ лавру, гдѣ вскорѣ имѣлъ радость принимать своего заступника, патріарха Ѳеофана. Діонисій сдѣлалъ ему торжественную

встрѣчу; патріархъ совершилъ литургію въ троицкомъ соборѣ, присутствовалъ за братскою трапезой и со слезами радости видѣлъ обитель, потерпѣвшую столько бѣдъ въ смутное время и спасенную Божіей милостію и пожелалъ видѣть всѣхъ иноковъ, которые съ оружіемъ въ рукахъ защищали тогда обитель, цѣловалъ и благословилъ ихъ. „Передъ отъѣздомъ изъ лавры, помолившись у мощей преп. Сергія, Ѳеофанъ снялъ съ себя клобукъ, положилъ его у ногъ великаго чудотворца, потомъ поцѣловалъ и съ молитвою возложилъ на главу архимандрита Діонисія, завѣщавъ, чтобы какъ Діонисій, такъ и преемники его носили этотъ клобукъ на благословеніе отъ іерусалимскаго патріарха, а братіи повелѣлъ записать объ этомъ на память будущимъ родамъ“ [1]). Арсеній Глухой былъ не только освобожденъ изъ своего заточенія, но сдѣланъ справщикомъ, и много лѣтъ потрудился потомъ на печатномъ дворѣ. Патріархъ Филаретъ не рѣшился, однако, исключить изъ книгъ прибавленной безсмыслицы до полученія отвѣта отъ другихъ вселенскихъ патріарховъ; только на поляхъ дѣлалось замѣчаніе: „быти сему глаголанію до патріаршего указу“, пока, наконецъ, получены были уже въ 1625 году грамоты патріарховъ александрійскаго и іерусалимскаго, и греческіе списки водосвятной молитвы. Патріархи осудили эту прибавку, подробно объяснили ея нелѣпость, выразивъ недоумѣніе, „како отъ древняго ли обычая, или отъ неуковъ и неписменныхъ мужей и неискусныхъ, множицею книги любодѣйствующихъ, удержася и случися сей прилогъ“. Тогда только патріархъ Филаретъ велѣлъ вычеркнуть изъ требниковъ эту прибавку съ тѣмъ, чтобы впредь она никогда не читалась въ молитвѣ на Богоявленіе.

Урокъ былъ данъ: доморощенныя толкованія, на основаніи которыхъ принимались соборныя опредѣленія, какъ тѣ, которыя обрушились на Діонисія, оказались негодными; очевидно, къ дѣлу исправленія надо было относиться осторожнѣе, — но все-таки урокъ послужилъ мало, потому что уровень познаній у московскихъ протопоповъ остался тотъ же самый. Никакой правильной школы все еще не было. Арсеній Глухой, не стерпѣвъ обвиненій, взведенныхъ на него вмѣстѣ съ Діонисіемъ, писалъ въ негодованіи боярину Салтыкову и любимцу митрополита Іоны, протопопу Ивану Лукьянову, о невѣжествѣ честныхъ протопоповъ и

[1]) О судьбѣ Діонисія см. Макарія, „Исторія русской церкви“, т. X—XI; тамъ же о книжной полемикѣ за и противъ прибавки „и огнемъ“. Въ трудѣ митр. Макарія приводится вообще множество указаній изъ матеріала рукописнаго; въ исторіи исправленія книгъ, въ послѣднихъ томахъ сочиненія, приводится также много свѣденій, впервые взятыхъ изъ архивныхъ документовъ.

самихъ властей, которые ничего не понимаютъ въ книгахъ, которые не знаютъ „ни православія, ни кривославія, божественныя писанія по чернилу проходятъ, разума же въ нихъ пе нудятся свѣдѣти... Есть иные и таковы, которые на насъ ересь взвели, а сами едва и азбуку знаютъ, а что восемь частей слова разумѣть, роды, числа, времена и лица, званія и залоги, то имъ и на разумъ не всхаживало, священная философія и въ рукахъ не бывала". Но такъ бывало и послѣ, хотя церковная власть старалась дѣйствовать въ исправленіи книгъ осмотрительнѣе прежняго. Въ 1633 году пришлось исправить еще одну оплошность прежняго времени: патріархъ Филаретъ приказалъ отобрать изъ всѣхъ церквей и монастырей Россіи церковный Уставъ, напечатанный въ 1610 году и бывшій въ употребленіи при самомъ Филаретѣ; всѣ экземпляры Устава патріархъ велѣлъ прислать въ Москву для сожженія, на томъ основаніи, что „тѣ уставы печаталъ воръ, бражникъ, троицкаго Сергіева монастыря крылошанинъ, чернецъ Логинъ, безъ благословенія святѣйшаго Ермогена, патріарха московскаго и всея Русіи, и всего священнаго собора, и многія въ тѣхъ уставѣхъ статьи напечатаны не по апостольскому и не по отеческому преданію, своимъ самовольствомъ", — но нѣсколько экземпляровъ этого Устава уцѣлѣло и въ предисловіи къ книгѣ прямо сказано, что она была благословлена и „свидѣтельствована" патріархомъ Ермогеномъ.

При патріархѣ Іоасафѣ (1634—1640), преемникѣ Филарета, несмотря на краткость его правленія, напечатано было церковныхъ книгъ гораздо больше, чѣмъ во времена его предшественника, въ особенности потому, что большое число книгъ только перепечатывалось съ изданій временъ Филарета, причемъ вновь не пересматривались; отчасти расширились и средства типографіи, такъ что вмѣсто семи становъ, какіе были при Филаретѣ въ 1620 году, было при Іоасафѣ уже двѣнадцать. Иногда, впрочемъ, въ новыхъ изданіяхъ измѣнялись или исключались нѣкоторыя статьи, находившіяся въ изданіяхъ прежнихъ: такъ, между прочимъ, въ Филаретовскомъ Требникѣ 1623 года помѣщенъ особый „чинъ погребенію священническому"; въ изданіи 1639 года этотъ чинъ отмѣненъ, такъ какъ будто бы составленъ былъ „отъ еретика Еремея, попа болгарскаго", который былъ здѣсь, конечно, не причемъ. Изъ лицъ, трудившихся за это время надъ печатаніемъ книгъ, особенно извѣстенъ Василій Ѳедоровъ Бурцевъ, подъячій патріаршаго двора, обыкновенно ставившій свое имя на своихъ изданіяхъ. На книгахъ отмѣчалось, что онѣ печатались по повелѣнію царя Михаила Ѳедоровича и благослове-

нію патріарха Іоасафа, но нигдѣ не указано, чтобы онѣ были „свидѣтельствованы“ патріархомъ. По смерти Іоасафа, до поставленія Іосифа, забота о печатаніи книгъ выразилась тѣмъ, что въ 1641 году для выбора новыхъ справщиковъ были вытребованы изъ всѣхъ русскихъ монастырей въ Москву „старцы добрые и черные попы и дьяконы, житіемъ воздержательны и крѣпкожительны и грамотѣ горазди“; но по давнему обычаю „гораздымъ грамотѣ“ считался всякій начетчикъ въ родѣ тѣхъ, которые искажали книги въ прежнее время.

Въ 1642 году патріархомъ поставленъ былъ Іосифъ. Это былъ послѣдній патріархъ, котораго признавали потомъ приверженцы „старой вѣры“ или „древляго благочестія“: по ихъ убѣжденію, эта вѣра и благочестіе кончились въ русскомъ царствѣ съ патріархомъ Іосифомъ, и при Никонѣ и послѣ него сохранились только въ ихъ средѣ.

Исторія раскола, начавшагося съ этой поры, исполнена недоразумѣніями съ обѣихъ сторонъ. Позднѣйшему старообрядчеству казалось и еще кажется, что истинная вѣра и правильный обрядъ нарушены только Никономъ, а до него хранились нерушимо въ старыхъ книгахъ и въ старомъ церковномъ чинѣ; между тѣмъ исторія церковныхъ книгъ и церковнаго чина указываетъ и до Никона цѣлый рядъ перемѣнъ, а также и неправильностей, для исправленія которыхъ требовалось вмѣшательство самихъ вселенскихъ патріарховъ. Никонъ въ сущности продолжалъ дѣло, начатое гораздо раньше, только понялъ его въ извѣстныхъ отношеніяхъ нѣсколько шире и правильнѣе... Съ другой стороны преслѣдованіе, обрушившееся на приверженцевъ старой вѣры, было своего рода недоразумѣніемъ: они, въ объемѣ ихъ понятій, были дѣйствительно убѣждены, что охраняютъ старую вѣру и во многихъ случаяхъ въ самомъ дѣлѣ охраняли ее въ тѣхъ формахъ, къ какимъ русское благочестіе привыкало въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ. Въ объемѣ своихъ понятій они были правы, когда въ подтвержденіе своихъ мнѣній и своихъ обрядовъ могли ссылаться на древнія книги, на соборныя постановленія, какъ постановленія Стоглава, на легенды, въ свое время не опровергаемыя или даже принятыя оффиціально церковною властію, на вѣковую практику церковнаго чина; наконецъ, когда въ духѣ вѣка ссылались на множество почитаемыхъ церковью святыхъ, которые спасались и увѣнчались святостію по старымъ книгамъ и по старому обряду,—ихъ доказательства бывали совсѣмъ похожи на тѣ, какія приводились нѣкогда московскими ревнителями противъ Максима Грека. Никто въ свое время не по-

мышлялъ просвѣтить эту массу болѣе здравымъ разумѣніемъ нравственнаго содержанія вѣры; все, напротивъ, клонилось къ тому, чтобы утвердить эту массу во внѣшнемъ обрядовомъ благочестіи, внушить ей слѣпую вѣру въ букву и даже пріучить къ превратному толкованію этой буквы, къ смѣшенію внѣшняго, не всегда неизмѣннаго, обряда съ догматомъ, хотя бы изъ-за этого терялась, наконецъ, самая сущность христіанскаго ученія, нравственное совершенствованіе и любовь къ ближнему. Насъ поражаетъ темнота, въ которой бродили приверженцы старой вѣры въ моментъ разрыва, ихъ необузданный фанатизмъ, узкое пониманіе и догмата и церковнаго чина,—но не приготовляли ли къ этому старые ревнители благочестія, какъ Іосифъ Волоцкій и его ученики, какъ судьи Максима Грека, или, еще незадолго передъ тѣмъ, судьи троицкаго архимандрита Діонисія, или, наконецъ, какъ самъ Никонъ?...

Патріархъ Іосифъ въ дѣлѣ исправленія книгъ продолжалъ въ сущности пріемы своихъ предшественниковъ. Какъ скажемъ далѣе, онъ, по выяснившимся наконецъ потребностямъ дѣла, а частію возбуждаемый Никономъ (тогда митрополитомъ новгородскимъ), находилъ нужнымъ расширить исправленіе книгъ при посредствѣ новыхъ источниковъ, которые обезпечивали бы ихъ правильность: здѣсь были первые начатки того труда, который привелъ наконецъ къ правильной постановкѣ дѣла; но въ то же время сказались и слѣды прежняго порядка вещей... „Главнымъ дѣломъ во дни патріарха Іосифа,—читаемъ у историка церкви,—по которому патріаршествованіе его доселѣ остается памятнымъ въ нашей церкви, было печатаніе книгъ. Оно совершалось и теперь точно такъ же, какъ при прежнихъ патріархахъ, на основаніи однихъ славянскихъ списковъ, безъ сличенія съ греческими; только теперь число неисправностей и погрѣшностей въ книгахъ, по малограмотности или небрежности справщиковъ, гораздо болѣе увеличилось, а что всего важнѣе — теперь преимущественно внесены въ печатныя книги тѣ роковыя мнѣнія и погрѣшности, которыя вскорѣ сдѣлались основами и отличительными вѣрованіями русскаго раскола“ [1]).

Замѣтимъ вообще, что книги, выходившія изъ московскаго печатнаго двора, съ самаго его основанія и до этихъ поръ, были исключительно книги богослужебнаго и церковно-поучительнаго содержанія: почти ничего другого древняя русская типографія не знала. Исключеніе составляли двѣ, три книги учебнаго ха-

[1]) Макарій, „Исторія русской церкви“, XI, стр. 118 и далѣе.

рактера: азбука, напечатанная Бурцевымъ; учебная псалтирь и часословъ, долго служившій учебную службу въ старомъ русскомъ воспитаніи, и по которому учился еще Митрофанушка Фонъ-Визина; въ 1648 году вышла первая славянская грамматика, гдѣ въ предисловіи она указывалась, какъ „первая отъ седмихъ наукъ свободныхъ, въ наученіе православнымъ, паче же дѣтемъ сущимъ, ею же и къ прочимъ, аще кто восхощетъ, яко дверію, благолѣпотнѣ и безтруднѣ, возшествіе сотворитъ“ (перепечатка Смотрицкаго). Все остальное были: книги священнаго писанія, толкованія къ нимъ, книги богослужебныя, писанія отцовъ церкви, сочиненія полемическія (особенно противъ латинянъ, а также „люторовъ“ и „калвиновъ“), житія святыхъ и службы имъ и т. п. Вообще книги, печатанныя при патріархѣ Іосифѣ, отчасти сходны съ изданіями временъ патріарховъ Іова, Филарета, Іоасафа, но частію различаются отъ нихъ, и, напр., въ служебникѣ Іосифовскаго изданія введены нѣкоторыя подробности, которыхъ въ прежнихъ служебникахъ нѣтъ [1]). Теперь, какъ и прежде, книги печатались по благословенію патріарха и только Служебникъ 1651 года изданъ по благословенію всего освященнаго собора.

Кромѣ повторенія прежнихъ изданій, при Іосифѣ издано было и нѣсколько новыхъ сочиненій и между прочимъ два сборника, которые впослѣдствіи пріобрѣли большой почетъ въ расколѣ. Однимъ изъ нихъ была такъ называемая „Кириллова книга“, 1644, которую, какъ сказано въ послѣсловіи, царь Михаилъ Ѳедоровичъ велѣлъ „отъ св. писаній учинити на еретики и на раскольники нашея православныя христіанскія вѣры, на римляны и латыни, на лютори же и калвини... и пустити ю во всю свою русскую землю всякому православному христіанину, хотящему ея прочитати, и божественные догматы вѣдѣти, и та еретическая уста заграждати“. Кирилловой она названа по первой ея статьѣ подъ заглавіемъ: „Книга иже во святыхъ отца нашего Кирилла, архіепископа іерусалимскаго, на осмый вѣкъ“. Эта „книга“ представляетъ собственно одно изъ словъ Кирилла іерусалимскаго, но не въ подлинномъ видѣ, а въ распространеніи и толкованіи Стефана Зизанія: напечатанное въ этомъ видѣ на польскомъ и западно-русскомъ языкѣ въ Вильнѣ, 1596, оно перепечатано въ Москвѣ въ славяно-русскомъ изложеніи, и здѣсь въ толкованіяхъ Зизанія доказывалось, что кончина міра и второе пришествіе

[1]) Подробнѣе объ этомъ см. въ „Опытѣ сличенія церковныхъ чинопослѣдованій, по изложенію церковно-богослужебныхъ книгъ московской печати, изданныхъ первыми пятью россійскими патріархами“, іеромонаха Филарета, въ журналѣ „Братское Слово“, 1875, и отдѣльно.

должны произойти въ восьмомъ вѣкѣ [1]), который уже насталъ, и что антихристъ пришелъ уже на землю и царствуетъ въ лицѣ римскаго папы. Затѣмъ въ этомъ сборникѣ помѣщено еще много статей, заимствованныхъ изъ разныхъ книгъ печатныхъ и рукописныхъ противъ еретиковъ и раскольниковъ, изъ сочиненій московскихъ, а также кіевскихъ и западно-русскихъ (по тогдашнему „литовскихъ“), напр., изъ Захарія Копыстенскаго и изъ острожскихъ изданій. Другой сборникъ есть „Книга о вѣрѣ“, 1648, въ которой опять собраны извлеченія изъ разныхъ западно-русскихъ сочиненій, направленныхъ противъ всякихъ иновѣрцевъ и особенно противъ латинянъ и уніатовъ. Книга составлена была игуменомъ кіевскаго михайловскаго монастыря Наѳанаиломъ и по просьбѣ царскаго духовника, протопопа Стефана Вонифатьева, была прислана имъ въ Москву, гдѣ она опять переложена была на славяно-русскій языкъ. „Такимъ образомъ оказывается, что двѣ весьма важныя книги, напечатанныя въ Москвѣ при патріархѣ Іосифѣ и доселѣ наиболѣе уважаемыя нашими раскольниками, Книга Кириллова и Книга о вѣрѣ, не суть произведенія московскія, а составленныя почти исключительно изъ сочиненій западно-русской церкви“ [2]). Этотъ фактъ любопытенъ тѣмъ, что тогдашняя Москва для важныхъ трудовъ, какими считались обѣ книги, не могла воспользоваться познаніями своихъ ученыхъ протопоповъ и должна была обращаться къ Кіеву и западной Россіи, къ которымъ уже патріархъ Филаретъ сталъ относиться съ большимъ недовѣріемъ, опасаясь, чтобы черезъ нихъ не пришли какія-нибудь латинскія заблужденія. Было опять недоразумѣніемъ и со стороны старообрядчества особое почтеніе къ этимъ книгамъ, такъ какъ въ своей крайней исключительности, считая только свою старую вѣру истинной, оно заподозрѣвало православіе самихъ грековъ, а также Малой и Западной Россіи,— между тѣмъ въ обѣихъ этихъ книгахъ оно пользовалось не московскимъ, а. западно-русскимъ трудомъ.

Однимъ изъ главныхъ дѣятелей при печатаніи книгъ во времена Іосифа былъ ключарь Успенскаго собора Иванъ, потомъ въ монашествѣ іеромонахъ Іосифъ, Насѣдка, протопопъ черниговскаго собора Михаилъ Роговъ, составитель „Кирилловой книги“, далѣе одинъ архимандритъ, протопопъ, старцы и три свѣтскихъ лица; но несправедливо мнѣніе, повторяемое и до сихъ поръ [3]), будто бы

---

[1]) Т.-е. въ восьмомъ тысячелѣтіи отъ сотворенія міра.

[2]) Макарій, XI, стр. 124.

[3]) См., напр., „Протопопъ Аввакумъ, его жизнь и дѣятельность. Біографическій

въ числѣ справщиковъ во времена патріарха Іосифа были позднѣйшіе расколоучители протопопъ Аввакумъ, Никита Пустосвятъ и др. Имена всѣхъ справщиковъ извѣстны по сохранившимся документамъ печатнаго двора, и эти лица тамъ не упоминаются, хотя, при посредствѣ вліятельнаго царскаго духовника, возможно было косвенное и частное вмѣшательство Аввакума [1]). Что касается до свойства іосифовскихъ справщиковъ, они вообще мало отличались отъ своихъ предшественниковъ. „Къ сожалѣнію,—говоритъ пр. Макарій,—эти справщики, можетъ быть, и лучшіе грамотеи и начетчики своего времени, были недостаточно подготовлены къ своему дѣлу и, при всемъ усердіи исправлять книги, наполнили ихъ, при печатаніи, множествомъ ошибокъ, въ которыхъ и сами сознавались, прося себѣ прощенія. Еще болѣе прискорбно, что они, можетъ быть, и подъ давленіемъ другихъ, болѣе сильныхъ лицъ, пользовавшихся довѣріемъ престарѣлаго патріарха, привнесли въ печатныя книги нѣсколько неправыхъ мнѣній, послужившихъ впослѣдствіи поводомъ къ расколу, каково особенно мнѣніе о двуперстіи для крестнаго знаменія". Это мнѣніе о двуперстіи (какъ крестятся донынѣ старообрядцы) появилось между русскими книжниками, какъ думаютъ, не раньше второй половины XV-го вѣка, но такъ распространилось, что на Стоглавомъ соборѣ было уже постановлено, какъ обязательный для всѣхъ догматъ; между тѣмъ есть свидѣтельства, что болѣе старое троеперстіе также еще употреблялось въ Россіи до сороковыхъ годовъ XVII-го вѣка. До патріарха Іосифа ученіе о двуперстіи было помѣщено въ книгахъ только однажды [2]), но при немъ это ученіе было помѣщено уже во многихъ книгахъ, особенно въ Псалтыри, маломъ катихизисѣ, въ Кирилловой книгѣ, Книгѣ о вѣрѣ и чрезвычайно распространилось. Подобнымъ образомъ при Іосифѣ повторено было и старое предписаніе Стоглаваго собора о двойной аллилуіи.

Между тѣмъ въ вопросѣ исправленія книгъ и другихъ церковныхъ дѣлахъ начинаютъ сказываться, на первый разъ слабо, потомъ сильнѣе и замѣтнѣе новые взгляды. Москва долго не хотѣла сознаваться въ недостаткѣ своихъ образовательныхъ средствъ; но ей стали наконецъ указывать со стороны на необходимость ихъ увеличенія. Еще въ 1640 году знаменитый кіевскій митрополитъ Петръ Могила писалъ царю Михаилу Ѳедоровичу о необходимости завести ученіе грамоты греческой и сла-

очеркъ" В. А. Макотина. Спб. 1893, стр. 42: „съ пріѣздомъ (въ Москву) Аввакума и онъ былъ включенъ въ число справщиковъ печатнаго двора".

[1]) Ср. Макарія, тамъ же, XI, стр. 126.

[2]) Въ большомъ катихизисѣ Лаврентія Зизанія, 1627.

винской и, если царю будетъ угодно, обѣщалъ прислать въ Москву старцевъ и учителей; царь не воспользовался предложеніемъ. Въ 1645 году греческій митрополитъ Ѳеофанъ, посланный отъ константинопольскаго патріарха Парѳенія, жалуясь на всякія утѣсненія греческой церкви на востокѣ, просилъ царя основать греческую типографію въ Москвѣ и вызвать греческаго учителя, который преподавалъ бы философію и богословіе. Изъ этого, по словамъ митрополита, получилась бы обоюдная польза: для грековъ печатались бы книги безъ поврежденій (какія вносили въ греческія книги латиняне и лютеране, смущая православныхъ) по древнимъ харатейнымъ спискамъ, какихъ много на святой Аѳонской горѣ; у русскихъ подготовились бы знающіе люди, которые стали бы переводить эти неповрежденныя греческія книги или исправлять по нимъ переведенныя прежде. Но изъ этой просьбы опять ничего не вышло. На возвратномъ пути изъ Москвы, уже по вступленіи на престолъ царя Алексѣя, митрополитъ Ѳеофанъ встрѣтилъ въ Кіевѣ архимандрита великой константинопольской церкви Венедикта, „премудраго учителя“, у котораго и самъ онъ нѣкогда учился (и котораго теперь желалъ пригласить Петръ Могила въ свое училище для преподаванія эллинскаго языка). Венедиктъ по обычаю ѣхалъ въ Москву, гдѣ бывалъ еще и раньше, за милостынею; но Ѳеофанъ тотчасъ написалъ о немъ царю Алексѣю, какъ о человѣкѣ, вполнѣ способномъ завести въ Москвѣ ученіе и греческую типографію, и самого Венедикта убѣдилъ отправиться въ Москву, гдѣ его примутъ „для ученія и печати“. Венедиктъ послѣдовалъ совѣту, подалъ челобитныя въ посольскій приказъ, предлагая свои услуги и прося отвѣта, причемъ прибавлялъ, что „другіе даютъ здѣсь совѣтъ противный [1]), думая, что они великіе мудрецы и ученые“. Быть можетъ, это послѣднее замѣчаніе въ Москвѣ не понравилось, и Венедикту дали на его челобитную такое наставленіе: таланты даются отъ Бога, никто не долженъ самъ себя величать учителемъ и богословомъ, а только принимать такую похвалу изъ чужихъ устъ; св. Павелъ, потрудившійся болѣе всѣхъ апостоловъ и высоко парившій въ богословіи, считалъ себя меньшимъ изъ всѣхъ ихъ; особенно же при патріархѣ неприлично и крайне дерзко младшему по сану называть себя учителемъ и богословомъ; надобно помнить, какъ Господь обличалъ книжниковъ и фарисеевъ, которые любили величать себя учителями... Въ Москвѣ какъ будто еще не знали, что учительство есть самая

[1]) Т.-е. московскіе люди не хотятъ имѣть училищъ.

обыкновенная профессія преподаванія, что „учители“ бываютъ и должны быть вездѣ, гдѣ есть школы. Венедикту отказали.

Между тѣмъ въ самой Москвѣ признали наконецъ необходимость имѣть для церковнаго дѣла ученыхъ людей, и въ 1649 году царь Алексѣй Михайловичъ писалъ къ преемнику Петра Могилы, кіевскому митрополиту Сильвестру Коссову, съ просьбой прислать въ Москву двухъ старцевъ учителей, извѣстныхъ своимъ знаніемъ греческаго и латинскаго языка: причиной этого вызова было то, что въ Москвѣ задумали сдѣлать изданіе Библіи и хотѣли исправить ее не по однимъ славянскимъ спискамъ, какъ прежде, а сличивъ съ греческимъ текстомъ, чего московскіе справщики сдѣлать не могли. Кіевскій митрополитъ поспѣшилъ послать въ Москву двухъ учителей кіево-братскаго училища, Арсенія Сатановскаго и Епифанія Славеницкаго, „на службу царскому величеству избранныхъ“. Въ особенности послѣдній оказалъ потомъ большія заслуги своими обширными трудами въ Москвѣ. Съ другой стороны еще до посылки къ кіевскому митрополиту, одинъ изъ любимцевъ царя, молодой постельничій Ѳедоръ Михайловичъ Ртищевъ съ позволенія царя и по благословенію патріарха устроилъ въ двухъ верстахъ отъ Москвы особаго рода монастырь, въ который въ томъ же 1649 году вызвалъ изъ разныхъ кіевскихъ монастырей „иноковъ, изящныхъ въ ученіи грамматики словенской и греческой, даже до риторики и философіи, хотящимъ тому ученію внимати“: ихъ собралось здѣсь до тридцати человѣкъ. Вызванные ученые старцы тотчасъ начали обученіе для желающихъ, и въ числѣ первыхъ учениковъ былъ самъ Ртищевъ. Въ первый разъ кіевская наука бросила корень въ Москвѣ. Не ограничиваясь обученіемъ, кіевляне приняли вскорѣ участіе и въ исправленіи книгъ. Кіевская наука была въ Москвѣ дѣломъ неслыханнымъ и производила различное впечатлѣніе: одни отнеслись къ ней съ полнымъ сочувствіемъ и желали отправляться въ самый Кіевъ для болѣе широкаго образованія; другіе, вѣрные старому обычаю, заподозрили въ ней нѣчто зловредное и опасное. Уже въ слѣдующемъ году появились доносы, доведенные до самого царя; шли тревожные толки, пересказанные на допросѣ; напримѣръ: „учится у кіевлянъ Ѳедоръ Ртищевъ греческой граматѣ, а въ той граматѣ и еретичество есть; а бояринъ-де Борисъ Ивановичъ (Морозовъ) держитъ отца духовнаго для прилики людской, а еретичество-де знаетъ и держитъ...; кто по латыни научится, тотъ-де съ праваго пути совратится“; двое учениковъ при содѣйствіи Ртищева отправились въ Кіевъ—„поѣхали они доучиваться у старцевъ-кіевлянъ по латыни, и какъ выучатся и будутъ назадъ, то отъ нихъ будутъ ве-

ликія хлопоты; надобно ихъ до Кіева не допустить и воротить назадъ"; духовника этихъ учениковъ убѣждали еще раньше, чтобы онъ отговорилъ ихъ: „не отпускай Бога ради, Богъ на твоей душѣ этого взыщетъ". Говорили, наконецъ, что кіевскіе старцы ни во что ставятъ благочестивыхъ протопоповъ Ивана и Стефана, т.-е. Неронова и царскаго духовника Вонифатьева, имѣвшихъ тогда великое значеніе въ московскомъ духовенствѣ и даже „имѣвшихъ дерзновеніе къ самодержцу"... Наконецъ, въ томъ же 1649 году, прибылъ въ Москву съ большою свитой іерусалимскій патріархъ Паисій. Онъ бывалъ уже раньше въ Москвѣ для сборовъ на гробъ Господень, бывши еще только игуменомъ; теперь онъ опять пріѣхалъ за милостынею и при этомъ просилъ царя освободить святыя мѣста Іерусалима отъ власти агарянъ и еретиковъ. Паисій принятъ былъ царемъ очень милостиво и получилъ богатую милостыню. Въ Москвѣ онъ остался недолго, но успѣлъ замѣтить не мало отличій въ церковномъ чинѣ отъ обычаевъ восточной церкви, находилъ даже неправильныя нововведенія и не скрывалъ своихъ мнѣній, которыя сильно подѣйствовали на самого царя и на патріарха Іосифа. Для разрѣшенія недоумѣній рѣшено было послать изъ Москвы своего надежнаго человѣка на востокъ для изученія тамошняго церковнаго чина: для этого порученія выбранъ былъ строитель богоявленскаго монастыря въ Кремлѣ, принадлежавшаго Троицкой лаврѣ, старецъ Арсеній Сухановъ. Въ томъ же 1649 году онъ выѣхалъ вмѣстѣ съ патріархомъ Паисіемъ.

Біографія русскихъ дѣятелей стараго времени, какъ мы имѣли уже случай замѣчать, почти всегда остается неизвѣстна или ограничивается одними неопредѣленными указаніями: историческое лицо всего чаще является на сцену прямо, и передъ нами остается закрыта предшествующая судьба, выработавшая его характеръ. Такъ и здѣсь: Арсеній Сухановъ, труды котораго пріобрѣли большую роль въ церковномъ броженіи XVII-го вѣка, является на сцену вдругъ, когда ему дается важное церковное порученіе. Новѣйшій біографъ его [1]) старался путемъ сложныхъ соображеній возстановить его раннюю біографію, выводитъ его изъ служилаго сословія, именно изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ тульскаго края;

[1]) См.: „Арсеній Сухановъ", изслѣдованіе Сергѣя Бѣлокурова, въ „Чтеніяхъ" моск. Общества исторіи и древностей, 1891, кн. первая и вторая, и отдѣльно. Это—чрезвычайно обстоятельное изслѣдованіе по архивнымъ документамъ и по всей наличной литературѣ.

но ни время его рожденія, ни обстоятельства его постриженія въ монашество (въ коломенскомъ Голутвиномъ монастырѣ) остаются совершенно неизвѣстны. Въ этомъ монастырѣ онъ, вѣроятно, прошелъ первыя ступени монашеской іерархіи, а затѣмъ первое хронологическое указаніе о немъ относится къ 1633 году, когда онъ былъ назначенъ архидіакономъ московскаго патріарха. Главной обязанностью архидіакона было исправленіе должности перваго діакона при архіерейскомъ богослуженіи; кромѣ того, онъ завѣдывалъ патріаршей „ризной казной“ и, повидимому, былъ также личнымъ секретаремъ патріарха; по крайней мѣрѣ Олеарій (бывавшій въ Москвѣ именно около этихъ годовъ) замѣчаетъ, что въ Москвѣ при патріархѣ состоитъ одинъ архидіаконъ, „котораго онъ держитъ какъ бы канцлеромъ и своей правой рукой“,—но архидіакономъ Арсеній Сухановъ пробылъ недолго. Ближайшихъ свѣденій о дѣятельности Арсенія за это время опять никакихъ нѣтъ; біографъ нашелъ рукописи, принадлежавшія Суханову или имъ писанныя, изъ которыхъ видны его книжныя занятія: это былъ видимо хорошій начетчикъ въ духѣ того времени, близко знакомый съ тогдашнимъ запасомъ церковной литературы, въ періодъ до исправленія [1]); Сухановъ, между прочимъ, записывалъ принадлежность ему книгъ латинскими буквами [2]); впрочемъ, въ латинскомъ языкѣ, кажется, не шелъ дальше умѣнія писать латинскими буквами. Но въ это время онъ, повидимому, изучилъ достаточно греческій языкъ, что вѣроятно и побудило потомъ давать ему церковныя порученія на востокѣ [3]). Въ 1634 году Сухановъ, повидимому, оставилъ должность архидіакона и поселился въ Чудовомъ монастырѣ, гдѣ состоялъ въ числѣ „черныхъ діаконовъ“. Онъ оставался, однако, на виду, потому что вскорѣ вмѣстѣ съ другими лицами отправленъ былъ въ посольство въ Грузію (Кахетію), къ царю Теймуразу. Грузія еще съ XVI-го вѣка искала помощи московскаго государства, и тѣснимая съ одной стороны Турціей, а съ другой стороны Персіей, становилась въ вассальныя отношенія къ Москвѣ. Эти отношенія, по отдаленности страны, оставались, конечно, очень неопредѣленными, но не разъ происходилъ обмѣнъ посольствами, и въ та-

---

[1]) Въ этихъ рукописяхъ, напр., встрѣчается сугубая аллилуія и подобныя черты позднѣйшей „старой вѣры“.

[2]) Напр., „kniha archidiacona Arsenia“, „stala sebie 3 rubli“; онъ умѣлъ написать: anno Domini.

[3]) Впослѣдствіи упоминается въ документахъ его племянникъ подъ именемъ „гречанина“, кажется потому, что Арсеній посылалъ его въ Молдавію учиться греческому языку.

комъ посольствѣ изъ Москвы, въ 1637—1640 году, принялъ участіе Арсеній. Посольство, во главѣ котораго стоялъ князь Волконскій, должно было выяснить политическій вопросъ о подданствѣ—„роспросить про все и розвѣдати всякими мѣрами подлинно: какова ихъ земля, и сколь просторна, на сколькихъ верстахъ, и сколько въ ней городовъ, и сколь людна, и каковы люди, и какія въ ней узорочья и любятъ ли Теймураза царя землею". А съ другой стороны духовные члены посольства, по словамъ Суханова, посланы были „для разсмотрѣнія Иверскаго царства народа вѣры, какъ они вѣруютъ и нѣтъ ли у нихъ какихъ прибылыхъ статей иныхъ вѣръ, да будетъ у нихъ есть что несправчиво, и намъ велѣно имъ о томъ говорить, чтобы они въ томъ исправилися". Замѣтимъ, что и самъ царь Теймуразъ, жалуясь на беззащитность Грузіи, писалъ царю Михаилу Ѳедоровичу: „яко ты еси глава всѣмъ царемъ и государемъ, нынѣ же отъ сего дни предаю тебѣ Иверскую землю и св. церкви и св. Ризу Христову, да будеши соблюдати до второго пришествія Господа нашего Іисуса Христа, яко же самъ Господь рече своими усты: могутъ силніи безсильныхъ тяготу носити"... Теймуразъ просилъ, между прочимъ, прислать посла „добра и досужа", чтобы „осмотрѣти наши мѣста и крестьянство и св. церкви и всю Иверскую землю и великую церковь, нарицаемую Схето [1]), гдѣ есть положена Риза Христова и донынѣ пребываетъ, и да будетъ вѣрно самодержавствію твоему истинно" и т. д. Нашимъ духовнымъ посламъ дѣйствительно внушено было обратить особенное вниманіе на грузинскія святыни; они должны были допрашивать: „какая та святыня, отъ кольких *лютъ* тутъ пребываетъ и откуда взята"; относительно же Ризы Христовой въ соборной церкви въ Схето послы обязаны были собрать самыя вѣрныя и точныя свѣденія. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ духовнаго посольства былъ архимандритъ Іосифъ; роль Суханова была второстепенная, но, вѣроятно, значительная доля труда лежала и на немъ, какъ, между прочимъ, и веденіе „статейнаго списка", т.-е. отчета о дѣйствіяхъ посольства. Не останавливаясь на подробностяхъ, довольно сказать, что духовные послы нашли въ грузинскихъ церковныхъ обычаяхъ много особенностей и, главное, неисправностей. Архимандритъ Іосифъ относится одинаково и къ важному и къ маловажному, и о самомъ неважномъ замѣчаетъ, что это „чюже святой соборной апостольской церкви". „Онъ,—говоритъ біографъ Суханова,—излагаетъ свои рѣчи дидактическимъ, положительнымъ

[1]) Мцхетъ.

тономъ, нигдѣ ничего не говоря о томъ, почему нужно поступать такъ, а не иначе, почему именно грузины поступаютъ неправильно и почему правильно будетъ дѣлать такъ, какъ онъ говоритъ. На такой характеръ рѣчей, вѣроятно, вліяло и то обстоятельство, что его собесѣдники грузины ко всѣмъ его различнымъ обличеніямъ и указаніямъ относились вполнѣ безразлично" [1])... Сначала грузины ссылались на то, что получили христіанскую вѣру гораздо раньше русскихъ, что такъ повелось у нихъ издстари, т.-е. что русскимъ нечего было бы ихъ учить; но теперь, повидимому, они перестали возражать, чтобы не раздражать русскихъ и не повредить политическому дѣлу.

Любопытно для характеристики времени, что замѣчанія русскихъ духовныхъ пословъ относительно грузинской церкви касались почти исключительно одной обрядовой внѣшности. Сухановъ, по возвращеніи изъ Кахетіи, утверждалъ въ своей челобитной, что они грузинамъ „показали, какъ у насъ россійскаго царства греческаго закона вѣры *церковныя догматы* и чинъ держать", но изъ бесѣдъ, записанныхъ въ статейномъ спискѣ, очевидно, что „догматами" наши послы считали именно обрядъ [2]). Но особенно важно то, что московскія церковныя власти (какъ это и поняли наши послы въ Грузіи) видимо уже считали себя спеціальнымъ авторитетомъ въ рѣшеніи вопроса о подлинной чистотѣ православія. Съ этимъ убѣжденіемъ Арсеній Сухановъ совершилъ и свои дальнѣйшія странствія на греческій и палестинскій Востокъ.

Что дѣлалъ Сухановъ въ Москвѣ по возвращеніи изъ Грузіи, опять неизвѣстно. Въ 1649 году, когда совершилась его вторая посылка, онъ называется строителемъ богоявленскаго монастыря, принадлежавшаго въ Кремлѣ Троицкой лаврѣ. Это было положеніе довольно видное, и что Сухановъ считался большимъ знатокомъ церковнаго чина, свидѣтельствуетъ данное ему теперь порученіе, которое онъ исполнялъ уже самостоятельно. Какъ мы упомянули, Сухановъ отправился на востокъ съ патріархомъ Паисіемъ: ему было поручено собраніе свѣденій о восточныхъ церквахъ, или, по его словамъ, „описаніе святыхъ мѣстъ и греческихъ церковныхъ чиновъ".

Посылка Суханова вызвана была вопросомъ, который для тогдашняго общества, поглощеннаго церковными интересами, былъ животрепещущимъ. Мы не разъ говорили о томъ, какъ еще съ конца XV-го вѣка, а тѣмъ болѣе въ XVI столѣтіи, вмѣстѣ съ

---

[1]) Бѣлокуровъ, стр. 149.

[2]) Тамъ же, стр. 151.

возрастаніемъ московскаго великокняжества и царства, все сильнѣе укрѣплялось и распространялось въ умахъ русскихъ людей представленіе о Москвѣ, какъ третьемъ Римѣ, какъ центрѣ православнаго міра. Теперь это представленіе достигало своего апогея. Въ Москву все чаще приходили представители восточныхъ церквей и сами восточные патріархи съ просьбами о милостынѣ и даже съ призывами къ изгнанію агарянъ; далекія, почти недоступныя тогда, страны, какъ Грузія, заявляли о своемъ желаніи отдаться подъ покровительство и даже власть московскаго царя. Признательность за милостыню, нерѣдко богатую, заставляла представителей восточныхъ церквей восхвалять благочестіе русскаго народа, и это еще лишній разъ поддерживало убѣжденіе русскихъ людей въ первенствѣ русскаго православія... Рядомъ съ этимъ все болѣе распространялось представленіе объ упадкѣ православія въ самой Греціи и на всемъ востокѣ. Греческая церковь оказала уже свою слабость во время флорентинской уніи и причиной паденія Константинополя считали у насъ именно отступленіе отъ православія греческихъ царя и патріарха. Полагали, что подъ турецкимъ игомъ окончательно затерялась у грековъ чистота вѣры. Когда оказывалось, что греческіе іерархи, бывавшіе въ Москвѣ, находили въ порядкахъ русской церкви нѣкоторыя неправильности, то наиболѣе упорные приверженцы русской церковной старины готовы были заподозрить авторитетъ самихъ греческихъ іерарховъ, и впослѣдствіи расколъ дѣйствительно отвергъ этотъ авторитетъ... Сами русскіе іерархи продолжали сноситься съ представителями восточной церкви, оказывали имъ полное уваженіе, когда тѣ бывали въ Москвѣ; эти восточные патріархи утверждали русское патріаршество; но въ массѣ продолжалось недовѣріе къ чистотѣ восточной вѣры и обряда. Являлся, наконецъ, вопросъ о дѣйствительномъ положеніи вещей на православномъ Востокѣ, и къ половинѣ XVII-го вѣка упомянутому недовѣрію противопоставленъ былъ взглядъ, что греческая церковь, напротивъ, ни въ чемъ не нарушаетъ установленія Спасителя и апостоловъ, преданій св. отцовъ и правилъ семи вселенскихъ соборовъ, что она ихъ „не нарушаетъ, ни отмѣняетъ, и въ малѣйшей части не отступаетъ, не прибавливая, и отъимая что“.

Этотъ опредѣленный взглядъ составился въ особомъ кружкѣ лицъ, въ которомъ были царскій духовникъ Вонифатьевъ, Ѳедоръ Михайловичъ Ртищевъ, Никонъ (тогда еще новоспасскій архимандритъ въ Москвѣ), протопопъ Иванъ Нероновъ (будущій старообрядецъ) и нѣсколько другихъ лицъ [1]). Названныя лица пользо-

[1]) Бѣлокуровъ, стр. 169 и далѣе.

вались любовью и уваженіемъ самого царя и имѣли большое вліяніе на церковныя дѣла. Ихъ вліянію принадлежало, напр., уничтоженіе многогласія и такъ называемаго хомоваго или „раздѣльнонарѣчнаго“ пѣнія, уродливо растягивавшаго слова, въ церковномъ богослуженіи [1]). Противъ многогласія высказывался уже Стоглавъ; но оно удержалось и дошло наконецъ до безобразной крайности. Многіе возмущались этимъ обычаемъ, искажавшимъ богослуженіе; Ртищевъ напрасно обращался съ этимъ вопросомъ къ патріарху; Вонифатьевъ, Нероновъ, Никонъ тщетно старались дѣйствовать на московское духовенство. Наконецъ Никонъ, сдѣлавшись новгородскимъ митрополитомъ, строго запретилъ въ новгородскихъ церквахъ многогласіе и, „на славу прибравъ клиросы предивными пѣвчими и гласы преизбранными“, устроилъ по кіевскому и греческому обычаю „пѣніе одушевленное, паче органа бездушнаго“. Такого пѣнія не было ни у кого кромѣ Никона, и когда царь услышалъ этихъ пѣвчихъ, съ которыми Никонъ пріѣзжалъ въ Москву, тотчасъ завелъ такое пѣніе и въ своей придворной церкви. Самъ царь сталъ теперь хлопотать объ устраненіи стараго обычая, царю содѣйствовалъ Никонъ, „а святѣйшій Іосифъ, патріархъ московскій, — разсказываетъ біографъ Никона, Шушеринъ, — за обыкновенность, тому доброму порядку пререкословіе творяше и никакоже хотя оное древнее неблагочиніе на благочиніе премѣнити“. Московскій патріархъ считалъ этотъ вопросъ столь важнымъ, что опасался рѣшить его самъ и обратился за рѣшеніемъ его и другихъ церковныхъ вопросовъ къ константинопольскому патріарху и собору. По отвѣту изъ Константинополя вопросъ былъ наконецъ рѣшенъ — противъ многогласія и противъ порченнаго пѣнія [2]).

Мы остановились на этомъ эпизодѣ потому, что онъ чрезвы-

---

[1]) „Церковныя службы, какъ положено совершать ихъ по уставу, казались длинными и утомительными; а между тѣмъ опускать что-либо изъ предписаннаго уставомъ считали тяжкимъ грѣхомъ. И вотъ, чтобы сократить службы и выполнить всѣ требованія устава, придумали и мало-по-малу привыкли отправлять службы разомъ многими голосами: одинъ читалъ, другой въ то же время пѣлъ, третій говорилъ эктеніи, четвертый возгласы и проч. И изъ всего выходила такая путаница звуковъ, что почти ничего нельзя было понять“. Макарій, XI, стр. 167 и далѣе.

[2]) По поводу этихъ вопросовъ къ константинопольскому патріарху, касавшихся вообще многихъ элементарныхъ и мелочныхъ предметовъ церковнаго порядка, нашъ историкъ церкви съ изумленіемъ замѣчаетъ: „Читая эти вопросы нашего патріарха Іосифа, за рѣшеніемъ которыхъ обращался онъ къ константинопольской каѳедрѣ, невольно подумаешь: вотъ что́ считалъ онъ „великими церковными потребами“; вотъ чего не умѣлъ или не осмѣливался рѣшить онъ самъ съ одними русскими святителями и всѣмъ освященнымъ соборомъ“. Макарій, тамъ же, стр. 173.

чайно характерно рисуетъ состояніе понятій въ средѣ московскаго духовенства, которое, конечно, было руководящимъ для массы. Повидимому, преобразованіе было такъ просто, такъ очевидно перемѣняло неблагочиніе на благочиніе и могло только содѣйствовать благочестію; но такъ упорна была приверженность къ старинѣ, что распоряженіе о единогласіи все-таки встрѣтило въ средѣ духовенства ожесточенныхъ противниковъ. Одинъ попъ говорилъ: „заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное пѣніе; бѣса имате въ себѣ, всѣ ханжи, и протопопъ благовѣщенскій (Вонифатьевъ) такой же ханжа". Другой попъ, Савва, кричалъ въ тіунской избѣ самого патріарха: „мнѣ къ выбору, который выборъ о единогласіи, руки не прикладывать; напередъ бы велѣли руки прикладывать о единогласіи бояромъ и окольничимъ, любо ли имъ будетъ единогласіе". Когда Саввѣ и его товарищамъ замѣтили, что они презираютъ уставъ святыхъ отецъ, повелѣніе государя и святительское благословеніе, они отвѣчали: „намъ хотя умереть, а къ выбору о единогласіи рукъ не прикладывать". Говорили еще другіе, „чтобъ имъ съ казанскимъ протопопомъ (Нероновымъ, ревновавшимъ о единогласіи) въ единогласномъ пѣніи дали жеребей (!), и будетъ ево вѣра права, и они и всѣ учнутъ пѣть и говорить (единогласно)". Это нежеланіе понимать какой-нибудь резонъ, этотъ слѣпой фанатизмъ, когда дѣло касалось стараго, хотя бы неразумнаго обычая, очевидно, представляли готовый матеріалъ для раскола: еще задолго до его вспышки, это были готовые друзья и послѣдователи протопопа Аввакума.

Упомянутыя лица, принявшія участіе въ этомъ преобразованіи богослуженія, подняли вопросъ и о греческой церкви. По ихъ старанію и особливо по старанію Вонифатьева издана была упомянутая „Книга о вѣрѣ". Раньше мы упоминали, что она пользовалась потомъ большимъ уваженіемъ у старообрядцевъ, потому что въ ней подтверждались нѣкоторыя любимыя ихъ обрядовыя подробности; но, съ другой стороны, въ ней именно утверждался авторитетъ греческой церкви, который впослѣдствіи старообрядцы упорно отвергали, и книга составилась главнымъ образомъ изъ сочиненій западно-русскихъ писателей, православіе которыхъ вообще заподозрѣвалось старыми московскими людьми, а впослѣдствіи и расколомъ. „Книга о вѣрѣ", вопреки тогдашнему мнѣнію о паденіи греческаго благочестія, категорически утверждала [1]), что греки неизмѣнно сохранили благочестіе, и что русскимъ слѣдуетъ во всемъ слушаться всѣхъ восточныхъ патріар-

[1]) См. обзоръ ея содержанія у Бѣлокурова, стр. 178 и далѣе.

ховъ. Константинопольскій патріархъ былъ верховнымъ пастыремъ русской церкви. Іерусалимская церковь „мати есть по всей вселеннѣй православныхъ церквей, понеже отъ Іеросалима евангеліе, апостолы и проповѣдь, крещеніе и вѣра изыде, оттуда и христіанство насадися и возрасте". Особая милость Божія къ церкви іерусалимской доказывалась священнымъ писаніемъ, отцами церкви и выписками изъ древнихъ писателей; указывалось при этомъ, какъ эта благодать, покоившаяся на церкви іерусалимской, подтверждалась каждогодно чудеснымъ появленіемъ божественнаго свѣта у гроба Господня въ великую субботу. По словамъ св. Кирилла александрійскаго указывается, что кто не присоединяется къ іерусалимской церкви, тотъ лишается и душевнаго спасенія: „иже церкве Сіонскія общенія удаляются, врази божіи бываютъ, а бѣсомъ други". Книга опровергаетъ и то превратное мнѣніе, будто бы чистота вѣры упала отъ турецкаго насилія. Отъ начала міра церковь претерпѣваетъ гоненія, но ея никогда не одолѣютъ ни врата адовы, ни турецкая неволя. Сколько было мучителей и еретиковъ, которые воевали церковь, но никто изъ нихъ не одолѣлъ, сами они погибли, а церковь осталась въ цѣлости. Какъ люди божіи въ египетской работѣ не отпали отъ вѣры, какъ первые христіане въ триста лѣтъ тяжкой неволи не погубили вѣры, такъ и въ нынѣшнее время христіане соблюдаютъ православную вѣру въ неволѣ турецкой: „Ничесо же бо турцы отъ вѣры и отъ церковныхъ чиновъ отъимаютъ, точію дань грошовую; а о дѣлахъ духовныхъ и о благоговѣинствѣ ни мало належатъ и не вступаютъ въ то". Книга опровергаетъ и то мнѣніе, будто бы флорентинская унія повредила чистотѣ древняго греческаго православія: во Флоренціи былъ не соборъ, а простой „съѣздъ", и во всякомъ случаѣ унія грековъ съ латинянами не была заключена. Греки и послѣ флорентинскаго собора сохранили ту же вѣру, и мы должны ихъ слушаться: „русійскому народу патріарха вселенскаго, архіепископа константинопольскаго, слушати и ему подлежати и повиноватися въ дѣйствахъ и въ науцѣ духовной есть польза и пріобрѣтеніе веліе спасительное и вѣчное".

По этой постановкѣ вопроса, столь рѣзко противорѣчившей ходячимъ мнѣніямъ, и вообще по новости книги среди обычной, почти исключительно богослужебной, литературы, она видимо произвела сильное впечатлѣніе: въ теченіе двухъ съ небольшимъ мѣсяцевъ было продано около 850 экземпляровъ, больше двухъ третей всего изданія [1]).

[1]) Эта цифра въ сохранившейся приходо-расходной книгѣ московскаго печатнаго двора, въ библіотекѣ московской синодальной типографіи.

Когда прибылъ въ Москву упомянутый іерусалимскій патріархъ Паисій, его по обычаю разспрашивали въ посольскомъ приказѣ и съ особенною подробностью—о томъ чудесномъ схожденіи свѣта на гробѣ Господнемъ, о чемъ говорила „Книга о вѣрѣ". Очевидно, этотъ разспросъ былъ въ связи съ появленіемъ книги и долго спустя, на московскомъ соборѣ 1666 года, русскіе архіереи прежде всего опять поставили вопросъ—православны ли восточные патріархи, живя подъ властью великаго гонителя имени христіанскаго, и праведны ли и достовѣрны греческія книги, по которымъ патріархи совершаютъ богослуженіе?

Изъ сказаннаго становится понятна посылка Арсенія Суханова. Онъ посланъ былъ по государеву указу и по благословенію патріарха Іосифа; но судя по тому, что впослѣдствіи всѣ свои отписки, статейный списокъ и „Проскинитарій", заключавшій подробный отчетъ объ его поѣздкѣ на Востокъ, онъ представлялъ въ посольскій приказъ и исполнялъ другія его порученія, онъ посланъ былъ свѣтской властью, которая, впрочемъ, была столько же заинтересована церковными вопросами. Между прочимъ самъ царь при отъѣздѣ поручалъ ему „провѣдать на крѣпко" про мощи св. великомученицы Екатерины; въ Каирѣ, вѣроятно, по полученному приказанію Сухановъ купилъ „въ государеву аптеку 130 золотниковъ амбрагрыза" [1]), а въ Царь-градѣ „всякія книги греческія и русскія и листы чертежныя розныхъ земель и тетрати всякія". Какъ мы сказали, Сухановъ выѣхалъ изъ Москвы вмѣстѣ съ патріархомъ Паисіемъ (10-го іюня, 1649); съ нимъ же отправилось и еще нѣсколько спутниковъ, между прочимъ діаконъ Троицкой лавры Іона Маленькій (впослѣдствіи отъ него отдѣлившійся), который составилъ потомъ описаніе своего путешествія: „Повѣсть и сказаніе о похожденіи въ Іерусалимъ и въ Царь-градъ". Не доѣзжая Молдавіи, Паисій остановился по своимъ дѣламъ въ Шаргородѣ, а Арсеній поѣхалъ дальше съ патріаршимъ архимандритомъ и торговыми греками въ Яссы. Здѣсь Арсеній прожилъ почти два года: причиной задержки было то, что кромѣ своего церковнаго порученія, онъ долженъ былъ заняться и другими дѣлами, а именно, онъ получилъ здѣсь свѣденія о пребываніи въ Молдавіи самозванца Тимошки Анкудинова и для сообщенія этихъ свѣденій вернулся въ Москву: были у него и порученія въ Москву отъ патріарха Паисія, также прибывшаго тогда въ Яссы. Еще раньше онъ сообщалъ въ Москву извѣстія о политическихъ дѣлахъ на югѣ, молдавскихъ, казацкихъ, турецкихъ

[1]) Ambre grise, ambra grisea.

(онъ писалъ напр.: „нынѣ турского сила изнемогаетъ, потому что вениційяне одолѣваютъ; говорятъ всѣ христіане, чтобъ имъ то видѣть, чтобы Царемъ-градомъ овладѣти царю Алексѣю“). Возвращаясь назадъ въ Яссы, Сухановъ получилъ изъ посольскаго приказа нѣсколько новыхъ порученій опять политическаго свойства, и по дорогѣ въ Кіевъ въ первый разъ услышалъ объ одномъ дѣлѣ, о которомъ послѣ собралъ свѣденія отъ игумена сербскаго монастыря въ Молдавіи, приписнаго къ Зографскому монастырю на Аѳонѣ, а также и отъ другихъ лицъ. Оказывалось, что на Аѳонѣ незадолго передъ тѣмъ сожжены были православныя книги московской печати. Получивъ эти свѣденія, Сухановъ сообщилъ ихъ патріарху Паисію, который осудилъ поступокъ аѳонскихъ монаховъ; нашлись люди, которые были свидѣтелями этого событія и хотѣли-было отвергать его, но въ концѣ концовъ дѣло подтвердилось несомнѣнно. Вкратцѣ произошло слѣдующее. Въ братствѣ Зографскаго монастыря былъ одинъ старецъ сербинъ, по имени Дамаскинъ, житіемъ святой и во всемъ искусный, имѣвшій у себя книги московской печати и крестившійся крестнымъ знаменемъ „по-московски“, т.-е. двумя перстами, какъ тогда было принято въ Москвѣ и какъ этому учила Кириллова книга; старецъ сербинъ училъ и другихъ этому сложенію перстовъ. Узнавъ объ этомъ, аѳонскіе старцы греки собрались со всѣхъ монастырей и призвали сербина на судъ; старецъ не отрекся отъ своего ученія и въ доказательство его сослался на московскія печатныя книги, а также на старую сербскую рукописную книгу, гдѣ ученіе о двуперстіи было изложено одинаково съ московскимъ: „все сошлось слово въ слово“. Греки воспылали великою яростью, объявили московскія книги еретическими, хотѣли-было сжечь самого старца вмѣстѣ съ книгами, но взамѣнъ того „всякимъ жестокимъ смиреніемъ смиряли и безчестили“ старца, заставили его дать клятву, что не будетъ больше такъ креститься, и наконецъ сожгли книги. Упомянутый игуменъ сербскаго монастыря разсказалъ притомъ Суханову цѣлую исторію о гордости грековъ и ихъ ненависти къ славянамъ, сербамъ и болгарамъ: въ древности, когда славяне принимали христіанство, греки не хотѣли допустить перевода писанія на славянскій языкъ; они не позволяли этого и св. Кириллу, и онъ получилъ разрѣшеніе на это только отъ благочестиваго папы Адріана, за что греки хотѣли даже убить св. Кирилла, и онъ, спасая жизнь, долженъ былъ уйти къ „дальнимъ славянамъ, что нынѣ живутъ подъ цесаремъ“. Греки и донынѣ ненавидятъ славянъ за то, что у нихъ есть свои книги и есть свои архіепископы, митрополиты, епископы и попы; „а грекамъ-де хочетца,

чтобы все они у славянъ владычествовали. И тоѣ ради гордости греки и царство свое потеряли; въ церковь-де они на конѣхъ ѣздили, и причастіе, сидя на конѣхъ, пріимали". И старецъ Дамаскинъ былъ человѣкъ замѣчательный. Сухановъ записываетъ разсказъ патріаршаго старца Амфилохія, который былъ на Аѳонѣ, гдѣ тамъ жгли „государевы книги". „Старецъ же Анфилохій патріарху сказывалъ, что другово-де такова старца у нихъ во всей горѣ Аѳонской нѣту, брада-де у него до самой земли, якожъ у Макарія великаго, а носитъ-де ея въ мѣшечекъ склавъ и тотъ мѣшечекъ съ бородою привязываетъ къ поясу, а имя ему Дамаскинъ; мужъ-де духовенъ и грамотѣ учонъ, и то-де греки сдѣлали отъ ненависти, что тотъ старецъ отъ многихъ почитаемъ, а сербинъ онъ, а не грекъ. Греки де хотятъ, чтобъ всѣми онѣ владѣли" [1]).

Понятно, что это извѣстіе должно было произвести на Суханова не совсѣмъ благопріятное впечатлѣніе: оно должно было поднять въ немъ то недовѣріе къ грекамъ, которое было еще сильно у русскихъ благочестивыхъ людей и которому хотѣли противодѣйствовать „Книгой о вѣрѣ". Живя въ Яссахъ при патріархѣ Паисіи, онъ постоянно встрѣчался съ греческимъ духовенствомъ, и между ними уже вскорѣ должны были начаться бесѣды о вѣрѣ или, собственно говоря, объ обрядахъ. Результатомъ этихъ бесѣдъ было сочиненіе Суханова, извѣстное подъ названіемъ „Преній съ греками о вѣрѣ" и имѣвшее свою оригинальную судьбу.

Дѣло въ томъ, что въ этихъ „Преніяхъ" Сухановъ является самымъ ревностнымъ приверженцемъ тѣхъ обрядовъ, которые, какъ мы упоминали, были ко временамъ патріарха Іосифа во всеобщемъ употребленіи у русскихъ людей, хотя въ сущности были нововведеніемъ и не были одобряемы наѣзжавшими въ Москву восточными іерархами, какъ двуперстіе, сугубая аллилуія и. т. п. Арсеній, какъ видно по всему, раздѣлялъ обычныя тогда представленія о первенствѣ московскаго благочестія и объ утратѣ чистоты православія греками. При первой вспышкѣ раскола „Пренія" Арсенія Суханова оказались для старообрядцевъ сильнымъ аргументомъ въ пользу ихъ мнѣній [1]). „Пренія" были въ рукахъ у одного изъ главныхъ противниковъ Никона, протопопа Неронова; на нихъ ссылался діаконъ Ѳедоръ на московскомъ соборѣ 1666 года; повидимому, зналъ ихъ протопопъ Аввакумъ; позднѣе, показаніями Суханова пользовались братья Денисовы въ „Помор-

[1]) Православный Палестинскій Сборникъ, т. VII, вып. 3-й. Спб. 1889, стр. 328, 343.
[2]) См. исторію ихъ у Бѣлокурова, стр. 3 и далѣе.

скихъ Отвѣтахъ". Съ тѣхъ поръ „Пренія" и „Проскинитарій" Суханова были для старообрядцевъ обычнымъ авторитетомъ, который, наконецъ, сталъ очень смущать ихъ православныхъ обличителей. Такъ, когда въ XVIII столѣтіи „убогіе и уничиженные чернораменскихъ лѣсовъ скитожительствующіе иноки и бѣльцы" предложили, между прочимъ, игумену Питириму вопросъ, пріемлетъ ли онъ Проскинитарій Суханова, Питиримъ отвѣчалъ уклончиво; архіепископъ тверской Ѳеофилактъ въ своемъ „Обличеніи неправды раскольническія" отозвался, наконецъ, о Суханові очень сурово: онъ причислилъ его къ самимъ „раскольщикамъ", называлъ его „вѣроятія недостойнымъ, невѣжей, не токмо греческаго, но и россійскаго чиноположенія мало или ничтоже вѣдущимъ". Но Арсеній, былъ, однако, оффиціальнымъ посланцемъ московскихъ властей еще до раскола, и у новѣйшихъ историковъ церковной литературы (начиная съ митрополита Евгенія) стало составляться мнѣніе, что, съ одной стороны, въ сочиненіяхъ Суханова находится много лжей, а съ другой—что его „Пренія" были поддѣланы раскольниками, которые внесли въ нихъ свои добавленія, или даже что Пренія совсѣмъ не принадлежатъ Суханову. Этотъ послѣдній выводъ уже сдѣланъ былъ митрополитомъ Евгеніемъ, повторенъ былъ Сахаровымъ, архіепископомъ воронежскимъ Игнатіемъ въ его „Исторіи о расколахъ въ церкви россійской" (1849), даже новѣйшими изслѣдователями раскола—Н. И. Субботинымъ, А. А. Ржевскимъ и Н. И. Ивановскимъ; къ числу противниковъ подлинности „Преній" принадлежалъ и Костомаровъ, —хотя уже Соловьевъ, называя Суханова „ревностнымъ старовѣромъ", указалъ въ греческихъ дѣлахъ московскаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ подлинникъ статейнаго списка Суханова 1649—1650 года и вмѣстѣ его „Преній" съ греками [1]); затѣмъ полная подлинность „Преній" была указана Е. Е. Голубинскимъ и пр. Макаріемъ [2]) и, наконецъ, Статейный списокъ и Пренія съ греками о вѣрѣ были изданы въ 1883 году г. Бѣлокуровымъ [3]).

Первой причиной этого историческаго недоразумѣнія было то, что долго оставалась нераскрытой фактическая подлинность „Преній" по архивнымъ документамъ, которые въ прежнее время были мало или совсѣмъ не доступны; затѣмъ историки, отвергавшіе принадлежность „Преній" Суханову, не умѣли примирить ихъ со-

[1]) Исторія, т. XI. Москва, 1861.
[2]) Исторія русской церкви, т. XI.
[3]) Христіанское Чтеніе, 1883, № 11—12.

держанія съ оффиціальнымъ положеніемъ Суханова, который былъ исполнителемъ порученій самого царя и патріарха. Но это видимое разнорѣчіе объясняется просто: Сухановъ былъ воспитанъ въ тѣхъ самыхъ представленіяхъ, которыя впослѣдствіи, послѣ преобразованій Іосифа и Никона, стали старообрядствомъ, а въ ту минуту были общимъ убѣжденіемъ почти всей массы духовенства и самого народа. Двуперстіе было утверждено Стоглавомъ и недавно передъ тѣмъ Кирилловой книгой; недовѣрчивое отношеніе къ греческому православію было долго державшимся убѣжденіемъ благочестивыхъ людей, пока попыталась опровергнуть его „Книга о вѣрѣ“, и. т. д. Словомъ, въ данную минуту Сухановъ держался общепринятыхъ понятій; съ позднѣйшей точки зрѣнія онъ могъ быть справедливо названъ „ревностнымъ старовѣромъ“.

Когда Сухановъ проживалъ въ „Волохахъ“ и „Мутьянехъ“, именно въ Терговищѣ, съ патріархомъ Паисіемъ, который медлилъ своимъ отъѣздомъ въ Іерусалимъ, онъ повелъ съ греками свои Пренія. „Свѣденія объ этихъ Преніяхъ,—говоритъ его біографъ,—мы получаемъ изъ записи о нихъ, сдѣланной самимъ Сухановымъ; поэтому очень можетъ быть, что мы знаемъ ихъ не совсѣмъ такъ, какъ онѣ на самомъ дѣлѣ происходили; возможно, что многаго Арсеніемъ и не было говорено во время преній, а прибавлено имъ послѣ, при записываніи ихъ, равно какъ весьма вѣроятно, что и греки, собесѣдники Суханова, не были такими безотвѣтными, какими изображаетъ ихъ онъ“—подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ разсказовъ о сожженіи на Аѳонѣ государевыхъ книгъ. „Во всякомъ случаѣ, мы не имѣемъ никакого другого источника, которымъ могли бы провѣрять разсказъ Суханова о преніяхъ, и потому принуждены излагать ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ изображаетъ ихъ онъ самъ“ [1]).

Подробности ихъ читатель можетъ найти въ изданномъ нынѣ текстѣ Преній и въ біографіи Суханова; мы укажемъ только ихъ общій складъ и пріемы. Пренія (начавшіяся 24-го апрѣля 1650 и происходившія въ нѣсколько пріемовъ) прежде всего произошли по поводу крестнаго знаменія. Греки осуждали двуперстіе (нашелся только одинъ, извѣстный впослѣдствіи Паисій Лигаридъ, тогда „дидаскалъ“, который поддержалъ Арсенія); Сухановъ ссылался на Максима Грека и авторитетъ „писаній“. Когда ему указывали на объясненія извѣстнаго у грековъ ученаго богослова, иподіакона Дамаскина, Сухановъ отвѣчалъ, что на Руси не знаютъ

[1]) Бѣлокуровъ, стр. 210—211.

ни его, ни его сочиненій [1]). Когда на вопросъ Арсенія греки говорили, что троеперстіе принято ими изначала, Сухановъ отвѣтилъ, что и русскіе приняли двуперстіе изначала, и самъ спрашивалъ ихъ, чѣмъ они лучше русскихъ? Его взглядъ на этотъ предметъ былъ именно почти всеобщимъ взглядомъ московскихъ людей того времени. Когда греки указывали, что русскіе приняли вѣру отъ нихъ, Сухановъ изложилъ цѣлую теорію, которая должна была опровергнуть ихъ притязанія. Русскіе приняли вѣру вовсе не отъ грековъ, а отъ апостола Андрея; а если даже отъ грековъ, то отъ тѣхъ, которые непорочно сохраняли истинную вѣру, а не отъ нынѣшнихъ грековъ, которые не соблюдаютъ правилъ св. апостоловъ: въ крещеніи покропляются или обливаются, а не погружаются, своихъ книгъ и науки не имѣютъ, а принимаютъ ихъ отъ нѣмцевъ [2]). На замѣчаніе грековъ, что они приняли крещеніе отъ Христа, апостола Іакова, брата Господня, и другихъ апостоловъ, Сухановъ возражалъ, что это неправда, что греки живутъ въ Греціи и Македоніи подлѣ Бѣлаго моря, а Христосъ и апостолъ Іаковъ были въ Іерусалимѣ, гдѣ грековъ совсѣмъ не было, а были тамъ въ то время жиды и арапы; а крещеніе греки приняли уже по Вознесеніи Христа отъ апостола Андрея, который, бывши въ Царьградѣ, крестилъ ихъ, а потомъ прошелъ къ русскимъ и ихъ крестилъ. Далѣе Сухановъ просилъ патріарха Паисія велѣть кому-нибудь изъ своихъ архимандритовъ „посидѣть съ нимъ и поговорить о лѣтописцѣ, почему лѣта отъ Рождества Христова въ русскихъ книгахъ не сходятся съ греческими“ [3]). Патріархъ предложилъ Арсенію побесѣдовать съ нимъ самимъ, но Арсеній уклонился, отговариваясь опасеніемъ „на гнѣвъ привесть патріарха, если рѣчь въ задоръ пойдетъ“; онъ отказался говорить и съ учеными людьми, которыхъ назвалъ ему патріархъ, говоря, что „тѣ люди—науки высокой“; онъ не умѣетъ съ ними говорить о правдѣ, такъ какъ они стараются только о томъ, какъ бы „перетягать“ своего противника и „многословесіемъ своимъ затмить истину“,... „и наука у нихъ такова езуитская“; они обучены латинской наукѣ, а въ ней много лукавства бываетъ, а истину съ лукавствомъ сыскать не мочно. Патріархъ сказалъ, что

---

[1]) Позднѣе слово этого Дамаскина о крестномъ знаменіи помѣщено было во „Скрижали“, изданной патріархомъ Никономъ, о которой далѣе.

[2]) Припомнимъ, что сами греки, убѣждая царя Алексѣя основать въ Москвѣ греческую типографію, упоминали о порчѣ ихъ книгъ нѣмцами—разумѣя, напр., венеціанскія и другія изданія, въ которыя проникали католическія поправки.

[3]) Было два счета лѣтъ отъ сотворенія міра до Рождества Христова: 5508 и 5500.

надо объ этомъ важномъ вопросѣ посовѣтоваться со всѣми патріархами и что ошибка въ упомянутой хронологіи, вѣроятно, съ русской стороны; но Арсеній опять стоялъ на своемъ, на непогрѣшимости русскихъ. И четыре патріарха могутъ погрѣшить: апостолы Іуда и Петръ, хотя и были апостолы, все-таки погрѣшили, а Петръ даже трижды отрекся отъ Христа; въ Александріи и Римѣ было много ересей; ради ереси погибло и греческое царство, да и теперь еще у грековъ „ереси много водится"—они патріарховъ своихъ давятъ, а иныхъ въ воду сажаютъ, и теперь у нихъ въ Царьградѣ четыре патріарха. На замѣчаніе патріарха, что вѣра идетъ отъ Сіона и что было добраго, вышло отъ грековъ, такъ что корень и источникъ всѣмъ въ вѣрѣ—греки, Сухановъ опять привелъ цѣлую филиппику: русскіе и держатъ ту вѣру, которая вышла отъ Сіона, а греки ея не держатся; они неправильно исполняютъ крещеніе; апостолы заповѣдали не молиться съ еретиками, а греки молятся вмѣстѣ съ армянами, римлянами, арапами въ одной церкви. Дальше, ни одно евангеліе не написано грекомъ; Маркъ написалъ евангеліе къ римлянамъ—„и то знатно", что римляне приняли благовѣстіе прежде грековъ; только черезъ тридцать два года евангелія были переведены на греческій языкъ, и на немъ было написано евангеліе Іоанна — отсюда „знатно", что не греки—источникомъ всѣмъ. Если и были нѣкогда греки источникомъ всѣмъ, а теперь онъ пересохъ: гдѣ имъ напоять весь свѣтъ своимъ источникомъ? Нѣкоторые изъ нихъ сами пьютъ изъ бусурманскаго источника. „Господь нашъ Іисусъ Христосъ—источникъ вѣры, а не греки. Турецкій царь и ближе насъ, русскихъ, къ вамъ живетъ, да вы не можете его напоить своимъ источникомъ и привести къ вѣрѣ". Чѣмъ дальше, тѣмъ больше пренія разгорячались, и Сухановъ шелъ все дальше въ своихъ обличеніяхъ. У греческаго дидаскала онъ увидалъ греческую книгу, печатанную въ Венеціи (грамматику), гдѣ символъ вѣры былъ помѣщенъ по латинскому чтенію; Арсеній вознегодовалъ, что здѣсь помѣщена самая главная римская ересь. „Эти-то книги вамъ нужно бы было жечь, а не московскія книги. У насъ государь—царь благочестивый, ереси никакой не любитъ и въ его государевой землѣ нѣтъ ереси; книги правятъ у насъ избранные люди, а надъ этими людьми надзираютъ митрополиты, архимандриты и протопопы, кому государь укажетъ, и о всякомъ дѣлѣ докладываютъ государя и патріарха". Сухановъ продолжалъ говорить о высокомъ состояніи русскаго православія и о низменномъ положеніи грековъ: у насъ на Москвѣ у одного епископа бываетъ до пятисотъ церквей, а у митрополита новгородскаго до

двухъ тысячъ; а то, что за патріархъ, что одна церковь во всей епархіи? Когда греки стали говорить противъ перекрещиванія христіанскихъ иновѣрцевъ, уже крещенныхъ, Сухановъ возразилъ, что и грековъ въ Москвѣ не перекрещиваютъ только потому, что не знаютъ, что они обливаются, а не погружаются, а когда узнаютъ, то безъ перекрещиванія и въ церковь не пустятъ. Услышавъ, что патріахъ Паисій хочетъ списаться съ другими патріархами объ этомъ предметѣ и потомъ, согласясь съ ними, писать объ этомъ въ Москву, нашъ старецъ замѣтилъ, что если они будутъ писать „не добро", то ихъ въ Москвѣ не послушаютъ [1]); онъ говорилъ даже прямо, что русскіе могутъ откинуть вселенскихъ патріарховъ, какъ и папу, если они будутъ не православны (подразумѣвается: неправославны на тогдашній московскій образецъ). Вы, греки,—говорилъ онъ,—ничего не можете дѣлать безъ своихъ четырехъ патріарховъ, потому что въ Царьградѣ былъ „единъ подъ сонцомъ" благочестивый царь, который и „учинилъ" четырехъ патріарховъ, да папу „въ первыхъ". Теперь все старое величіе православія перешло въ Москву, и Арсеній объясняетъ: на Москвѣ теперь „единъ царь благочестивый", онъ „устроилъ" у себя вмѣсто папы патріарха, а вмѣсто четырехъ патріарховъ—четырехъ митрополитовъ, „и на томъ можно безъ четырехъ патріарховъ вашихъ править законъ божій, занеже нынѣ у насъ глава православія, царь благочестивый". Возвращаясь опять къ тому, что греки напрасно похваляются, будто русскіе приняли крещеніе отъ нихъ, Арсеній и въ настоящее время не признаетъ за ними ни права учительства, ни достоинства православія, снова припоминая обливательное крещеніе и т. п. „А все то вамъ прилнуло отъ римлянъ, занеже еллинскаго ученія и штанбъ [2]) у себя не имате, и книги вамъ печатаютъ въ Венеціи и Англіи, и еллинскому писанію ходите учиться въ Римъ и Венецію". Что было у нихъ добраго, все перешло въ Москву, а именно: у русскихъ есть царь благочестивый, а у грековъ нѣтъ; у русскихъ много монастырей, иноковъ, мощей и святыни, а у грековъ „только слѣдъ остался", что когда-то были; почесть и величаніе, подобающія константинопольскому патріарху по опредѣленію второго вселенскаго собора, есть теперь только у московскаго патріарха, а въ Константинополѣ ихъ совсѣмъ нѣтъ. Чтобы довершить изображеніе величанія московскаго патріарха, Сухановъ разсказалъ

[1]) Впослѣдствіи, однако, въ Москвѣ перекрещиваніе было отмѣнено и надъ крещенными иновѣрцами при переходѣ въ православіе совершали только миропомазаніе.

[2]) Т.-е. типографій; отъ итальянскаго stampa.

грекамъ неизвѣстную имъ русскую апокрифическую исторію о бѣломъ клобукѣ. Наконецъ, онъ довелъ до послѣдняго предѣла свои укоризны грекамъ: они наказаны за свою гордость; царство ихъ отдано бусурманамъ, сами они должны обращаться въ бусурманство; церкви обращены въ мечети; своихъ патріарховъ они сами удавливаютъ и сажаютъ въ воду.

Таковъ былъ выводъ. Въ обличеніяхъ греческаго православія ничего не осталось отъ его авторитета; русское православіе стоитъ превыше всего, и русскіе могутъ не обращать никакого вниманія на наставленія и „зазиранія“ грековъ...

До отъѣзда въ Іерусалимъ, Суханову пришлось еще разъ съѣздить въ Москву по дѣлу о самозванцѣ Тимошкѣ, по дѣламъ патріарха, а также и съ извѣстіями о малорусскихъ дѣлахъ, такъ какъ по дорогѣ онъ провелъ также нѣсколько дней у Богдана Хмельницкаго. Въ Москвѣ Сухановъ подалъ въ посольскій приказъ статейный списокъ о своемъ пути, съ приложеніемъ и тѣхъ преній о вѣрѣ, которыя мы излагали. Повидимому и кромѣ этого онъ сообщалъ нѣчто о грекахъ, между прочимъ и о самомъ патріархѣ Паисіи, для нихъ не весьма благопріятное, потому что когда, года черезъ два, Паисій отправлялъ своихъ посланцевъ въ Москву, то въ своей грамотѣ къ царицѣ Маріѣ Ильинишнѣ просилъ ее не вѣрить злоязычнымъ людямъ, которые на него клеветали, и особливо Арсеній, о которомъ онъ всячески заботился и который, однако, оказался неблагодарнымъ Іудой, достойнымъ, чтобы подъ нимъ разверзлась земля и поглотила его, какъ нѣкогда Даѳана и Авирона. „Но,—прибавлялъ патріархъ,—божественное правосудіе отомститъ какъ ему, такъ и всякому другому злому; какъ солнце не можетъ спрятаться, хотя его лучи облаками и закрываются на нѣкоторое время, такъ и правда обнаруживается и дѣлается извѣстной со временемъ“. Какія „пустыя слова“ говорилъ Арсеній въ Москвѣ, неизвѣстно; впослѣдствіи упоминается только, что онъ осуждалъ Паисія между прочимъ за то, что онъ въ посту употреблялъ сахаръ, который, по мнѣнію Арсенія, есть вещь скоромная—и бѣдный патріархъ воздерживался потомъ отъ сахара, чтобы не раздражать москвичей; могло быть, что было говорено и другое подобное тому, что Арсеній вообще осуждалъ въ греческихъ обычаяхъ, и особенно онъ могъ сообщать весьма непріятныя Паисію извѣстія о враждебныхъ отношеніяхъ послѣдняго къ константинопольскому патріарху Парѳенію (объ этомъ скажемъ далѣе).

Прибывши во второй разъ въ Москву, Арсеній, повидимому, считалъ свое порученіе оконченнымъ; но власти полагали, что

доставленныя имъ свѣденія ещё недостаточны, и въ началѣ 1651 года ему велѣно было опять отправиться на востокъ, именно въ Іерусалимъ—съ патріархомъ Паисіемъ или, если тотъ будетъ медлить, одному. Арсеній выѣхалъ изъ Москвы 24 февраля, и дальше изъ Яссъ дѣйствительно отправился одинъ; путешествіе было не легко, между прочимъ по страху отъ турокъ: плывя по Дунаю, Сухановъ, по совѣту корабельнаго начальника, надѣлъ даже чалму и сѣлъ, „по-турски подгобавъ ноги". Въ Константинополѣ Сухановъ долженъ былъ передать царскую грамоту патріарху Парѳенію, но уже не засталъ его въ живыхъ. Подъ великой тайной Суханову разсказали, что патріархъ Паисій, вмѣстѣ съ государями волошскимъ и мутьянскимъ, подкупили турокъ, чтобы сослать Парѳенія, такъ какъ онъ былъ не любъ этимъ государямъ (потому что выбранъ былъ безъ ихъ воли), и когда патріархъ былъ дѣйствительно взятъ приставомъ и посаженъ въ судно, въ которое вмѣстѣ съ нимъ сѣли и довѣренные люди его враговъ, то здѣсь гречинъ Михалаки зарѣзалъ патріарха и тѣло его было выброшено въ море. И кромѣ того, Арсеній наслышался объ іерусалимскихъ старцахъ какъ о людяхъ лихихъ... Осмотрѣвъ Константинополь, Арсеній сѣлъ на „христіанскій" корабль, который долженъ былъ довезти его въ Египетъ. Греческій архимандритъ Амфилохій, который былъ его руководителемъ въ Царьградѣ, вручилъ его передъ образомъ пресвятой Богородицы „корабельному господину", также греку, чтобы тотъ „отдалъ Суханова здравымъ" въ Решитѣ (Розеттѣ) синайскимъ старцамъ или старцамъ патріарха александрійскаго. Въ половинѣ августа Арсеній былъ въ Александріи и оттуда отправился, по его словамъ, въ „Мисирь арапскимъ языкомъ, Египетъ по-грецку, Каиръ полатинѣ",—здѣсь онъ былъ принятъ весьма дружелюбно синайскимъ архіепископомъ и александрійскимъ патріархомъ Іоанникіемъ. „Слава тебѣ, Господи,—говорили ему,—что отъ такой дальней страны видимъ тебя здѣ пришедша; а прежде-де сего отъ Москвы никто здѣ не бывалъ, но токмо-де при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ посолъ былъ". Арсеній предложилъ александрійскому патріарху длинный рядъ вопросовъ, которые онъ, вѣроятно, долженъ былъ предложить собственно патріарху константинопольскому: вопросы были почти исключительно церковно-обрядоваго характера, часто очень мелочные, но которымъ въ Москвѣ, очевидно, придавали большое значеніе, потому что потомъ они были еще разъ предлагаемы восточнымъ патріархамъ. Между прочимъ, Арсеній спросилъ патріарха объ аллилуіи—патріархъ сказалъ, что ее надо говорить *три раза*; спросилъ о крещеніи—патріархъ ска-

залъ, что по нуждѣ допускается крещеніе обливаніемъ и покропленіемъ. Въ началѣ октября Арсеній былъ въ Іерусалимѣ, гдѣ пробылъ съ небольшимъ полгода. Въ концѣ апрѣля 1652 г. онъ отправился въ обратный путь въ Москву; нѣсколько спустя выѣхалъ изъ Іерусалима Іона Маленькій, который прибылъ однако въ Москву гораздо ранѣе (въ ноябрѣ 1652), между тѣмъ какъ Сухановъ употребилъ на возвратное путешествіе почти цѣлый годъ, потому что ѣхалъ сухимъ путемъ черезъ Малую Азію, Арменію, Кизылбашскую землю (т.-е. Персію) и Кавказъ. На Кавказѣ онъ, между прочимъ, собралъ свѣденія о ризѣ Христовой, находившейся въ монастырской церкви въ Цхето [1]), и часть которой была доставлена въ Москву, въ 1625 году, отъ персидскаго шаха Аббаса. Въ Москву онъ прибылъ въ іюнѣ 1653 года. Въ Москвѣ онъ, повидимому, доканчивалъ, а кое-гдѣ и передѣлывалъ, описаніе своего путешествія, и въ концѣ іюля подалъ въ посольскій приказъ свой статейный списокъ; другой экземпляръ онъ подалъ Никону, который, тѣмъ временемъ, былъ уже избранъ патріархомъ. Это и былъ извѣстный „Проскинитарій“, обширное сочиненіе, которое было подробнымъ отчетомъ объ его путешествіи. „Проскинитарій“ дѣлится на три части: первая есть статейный списокъ, отчетъ о поѣздкѣ; вторая посвящена исключительно описанію святыхъ мѣстъ; третья, Тактиконъ или Чиновникъ, заключаетъ описаніе греческихъ церковныхъ чиновъ, т.-е. богослужебнаго обряда.

„Проскинитарій“ написанъ совсѣмъ въ другомъ тонѣ, чѣмъ Пренія съ греками: хотя Арсенію приходилось опять встрѣчаться съ тѣми же чертами греческаго церковнаго быта, которыя прежде вызывали у него такія горячія обличенія, здѣсь онъ просто сообщаетъ факты, описываетъ видѣнное, сообщаетъ отвѣты грековъ обыкновенно безъ всякихъ замѣчаній съ своей стороны. Біографъ Суханова, сопоставляя его Пренія съ греками съ „Книгою о вѣрѣ“, замѣчаетъ, что первыя можно считать какъ бы отвѣтомъ на „Книгу о вѣрѣ“ [2]): въ обоихъ сочиненіяхъ совершенно противоположно рѣшается вопросъ о благочестіи грековъ, и отправка Суханова на востокъ для изученія греческихъ „чиновъ“ какъ будто имѣла цѣлью провѣрить утвержденія той „Книги“, что греки ни въ чемъ не отступили отъ установленій Спасителя, апостоловъ, св. отецъ и семи вселенскихъ соборовъ: Сухановъ, какъ мы видѣли, пришелъ къ совершенно противо-

[1]) Бѣлокуровъ, стр. 242 и др., 246, 308—315.
[2]) Мцхетъ.

положному заключенію—что греческое благочестіе испорчено, и что русскимъ не слѣдуетъ обращать никакого вниманія на вселенскихъ патріарховъ. Повидимому, „Пренія“ произвели въ Москвѣ не совсѣмъ благопріятное впечатлѣніе и показались излишествомъ. По крайней мѣрѣ, при отъѣздѣ Суханова въ Іерусалимъ, думный дьякъ посольскаго приказа Волошениновъ сказалъ ему отъ имени царя Алексѣя Михайловича такія напутственныя слова: „чтобы онъ, будучи въ греческихъ странахъ, помня часъ смертный, писалъ правду, безъ прикладу“, т.-е. безъ преувеличеній, да и безъ собственныхъ разсужденій. Сухановъ составилъ свой отчетъ дѣйствительно безъ прикладу, весьма обстоятельно описывалъ святыя мѣста, но тѣмъ не менѣе онъ выставлялъ всѣ подробности греческаго церковнаго быта, какъ онѣ были, указывая всѣ разногласія греческаго обряда съ московскимъ и „не прикрывая наготы слабости человѣческой“, которую онъ долженъ былъ бы прикрыть по мнѣнію одного изъ его позднѣйшихъ обличителей. „Нагота слабости человѣческой“, какую приходилось видѣть Суханову, во многихъ случаяхъ была дѣйствительно жестокая: ему не однажды приходилось указывать въ палестинскихъ обычаяхъ не только недостатокъ благочинія, но и грязный цинизмъ среди самой святыни,—такъ что и „Проскинитарій“ вмѣстѣ съ Преніями о вѣрѣ послужилъ потомъ для старообрядцевъ аргументомъ въ защиту ихъ мнѣній. Но въ Москвѣ свѣденія, собранныя Арсеніемъ о греческомъ благочестіи, не оказали вліянія на рѣшеніе этого вопроса: при Никонѣ вопросъ былъ уже окончательно рѣшенъ въ пользу грековъ. Трудъ Суханова послужилъ въ другомъ отношеніи: его данными руководился Никонъ въ построеніи „Новаго Іерусалима“; быть можетъ даже, точность описаній Суханова навела Никона на мысль о построеніи подобія Іерусалима и его святыхъ мѣстъ; сильную зависимость отъ „Проскинитарія“ указываютъ и въ церковномъ уставѣ Воскресенскаго монастыря, „рекомаго Новаго Іерусалима“ [1]).

[1]) Первый опытъ изданія Проскинитарія сдѣланъ былъ Сахаровымъ, въ „Сказаніяхъ русскаго народа“, т. II. Спб. 1849; но издана только часть, притомъ съ пропусками и большими ошибками.

— „Проскинитарій“. Хожденіе строителя старца Арсенія Суханова въ 7157 г. во Іерусалимъ и въ прочія святыя мѣста, для описанія святыхъ мѣстъ и греческихъ церковныхъ чиновъ. Казань, 1880 (въ приложеніяхъ къ „Православному Собесѣднику“). Изданіе приготовлено Н. И. Ивановскимъ, также какъ и второе изданіе Проскинитарія въ „Православномъ Палестинскомъ Сборникѣ“, т. VII, вып. 3-й (или выпускъ 21-й цѣлаго изданія), Спб. 1889, гдѣ прибавлены противъ казанскаго изданія „Пренія о вѣрѣ“, по упомянутому выше тексту г. Бѣлокурова, съ новыми варіантами. Оба изданія Проскинитарія не вполнѣ удовлетворительны, такъ какъ

Сухановъ недолго пробылъ въ Москвѣ. Въ томъ же 1653 году онъ посланъ былъ патріархомъ Никономъ на Аѳонъ за греческими и также славянскими рукописями. Съ послѣднихъ лѣтъ патріаршества Іосифа при исправленіи церковныхъ книгъ стали уже обращаться къ сравненію съ греческими подлинниками, и доказательства въ пользу этого пріема были приведены въ предисловіи къ изданной въ Москвѣ грамматикѣ Мелетія Смотрицкаго, 1648. Съ 1649, въ Москвѣ трудился уже „мудрѣйшій іеромонахъ Епифаній“ (Славеницкій), котораго вызвали изъ Кіева именно какъ знатока греческаго языка, и въ изданіяхъ послѣднихъ годовъ патріарха Іосифа замѣтно уже не однажды вліяніе греческихъ подлинниковъ, въ книгахъ и рукописяхъ. Но рукописей въ Москвѣ было мало и за ними-то былъ посланъ Сухановъ на Аѳонъ. Конечно, на Аѳонъ была послана и достаточная милостыня, которая, вѣроятно, способствовала ревности монаховъ въ исполненіи московскихъ желаній. Арсеній вернулся съ богатымъ запасомъ, а именно, онъ вывезъ до 500 греческихъ рукописей и нѣсколько славянскихъ. Эти греческія рукописи почти сполна сохранились и донынѣ въ московской синодальной библіотекѣ (бывшей патріаршей) и въ библіотекѣ Воскресенскаго монастыря. Главная масса ихъ состоитъ, конечно, изъ книгъ церковныхъ, сочиненій богословскихъ и богослужебныхъ, но есть и значительное число книгъ (58) свѣтскаго содержанія — сочиненій грамматическихъ и риторическихъ и произведеній классическихъ писателей (Гомеръ, Гезіодъ, Софоклъ, Эсхилъ, Демосѳенъ, Плутархъ, Ѳукидидъ): эти послѣднія рукописи назначались, вѣроятно, для греко-латинской школы, учрежденной тогда въ Москвѣ подъ руководствомъ Арсенія Грека. Біографъ Суханова находитъ, что привезенныя имъ рукописи лишь въ небольшой степени могли послужить тому дѣлу исправленія, для котораго онѣ были назначены: по уходѣ Никона съ патріаршества, бо́льшая часть книгъ была отдана ему, а на печатномъ дворѣ остались и могли быть употреблены въ дѣло только 48 рукописей.

По возвращеніи съ Аѳона Арсеній былъ назначенъ келаремъ Троицко-Сергіева монастыря: это высокое положеніе было наградой за его труды. Въ началѣ 1660-хъ годовъ мы видимъ его начальникомъ печатнаго двора, причемъ онъ, повидимому, принималъ извѣстное участіе и въ самомъ исправленіи книгъ, въ которомъ имѣло мѣсто и сличеніе съ греческими подлинниками.

г. Ивановскій дѣлалъ измѣненія и пропуски въ текстѣ безъ указанія ихъ, что въ научномъ изданіи непозволительно; эти неточности отмѣчены въ книгѣ г. Бѣлокурова.

Повидимому, Сухановъ измѣнилъ свои взгляды съ тѣхъ поръ, какъ велъ свои пренія съ греками, и не сталъ союзникомъ приверженцевъ старой вѣры, которые пользовались теперь его Проскинитаріемъ. Онъ умеръ въ 1668 году.

Въ обычныхъ представленіяхъ, Никонъ считается главнымъ дѣятелемъ той реформы, которая, въ видѣ исправленія книгъ и церковнаго обряда, видоизмѣнила прежній характеръ церковнаго быта и произвела разрывъ между большинствомъ, принявшимъ эти преобразованія, и меньшинствомъ, оставшимся при „старой вѣрѣ". Въ глазахъ раскола, именно и только Никонъ былъ виновникомъ нарушенія древняго благочестія, и потому послѣдователи господствующей церкви стали „никоніанами". Исторія въ общемъ выводѣ подтверждаетъ это представленіе, потому что Никонъ выказалъ наибольшую ревность къ дѣлу исправленія, и какъ личный характеръ, крутой, непреклонный, властолюбивый, стремившійся къ господству церковнаго авторитета, естественно сосредоточивалъ на себѣ удивленіе или ненависть современниковъ и вниманіе исторіи. Но въ дѣйствительности, среди сложныхъ фактовъ историческаго хода вещей, Никонъ не имѣлъ этого исключительнаго значенія. Вопросъ о церковномъ исправленіи начался гораздо раньше. Инстинктивное чувство какого-то церковнаго непорядка было еще во времена Стоглава. Когда затѣмъ понята была необходимость исправленія книгъ съ какимъ-либо критическимъ основаніемъ, съ отыскиваніемъ „добрыхъ переводовъ", тогда уже намѣченъ былъ путь, которымъ дѣло пошло впослѣдствіи: „добрыхъ переводовъ" стали искать въ старыхъ „харатейныхъ" рукописяхъ, начали справляться у вселенскихъ патріарховъ, патріархи надоумили наконецъ обратиться къ греческимъ рукописямъ,—и какъ скоро греческіе источники были привлечены къ дѣлу, необходимо должна была произойти та катастрофа, которая выразилась церковными волненіями и расколомъ. Но къ греческимъ рукописямъ обратились еще при патріархѣ Іосифѣ, какъ еще при немъ началось и исправленіе обряда. Мы видѣли, что взрывы недовольства со стороны упорнѣйшихъ приверженцевъ старины начались еще въ то время, какъ было, напр., по поводу отмѣны многогласія.

Въ то же время, еще до патріаршества Никона, была уже ясно почувствована необходимость выяснить вопросъ объ авторитетѣ греческой церкви, который, какъ мы видѣли, сталъ колебаться въ умахъ московскихъ людей еще съ XV-го вѣка, съ флорентин-

скаго собора и съ паденія Константинополя, а къ половинѣ XVII-го столѣтія былъ уже поколебленъ такъ, что многіе дошли до его полнаго отрицанія. Въ видахъ возстановленія его была издана „Книга о вѣрѣ". Для провѣрки фактическаго положенія вселенской церкви былъ посланъ Суховъ на востокъ, и мы видѣли, что его первыя впечатлѣнія, съ его свѣжими московскими мнѣніями, были совершенно противъ грековъ. Въ сущности расколъ былъ уже готовъ, когда Суховъ представилъ свои Пренія съ греками (1650) въ посольскій приказъ: Суховъ былъ уже „ревностный старовѣръ", но онъ былъ и оффиціальный посланецъ московскихъ властей. Съ другой стороны „Книга о вѣрѣ" задумана была въ кружкѣ лицъ, близкихъ къ самому царю и заинтересованныхъ церковными вопросами, гдѣ былъ и Никонъ, и протопопъ Нероновъ, а главнымъ исполнителемъ изданія былъ царскій духовникъ Вонифатьевъ, которому другомъ былъ не только Нероновъ, но и протопопъ Аввакумъ. Такъ странно сплетались личныя отношенія людей, которые уже вскорѣ стояли въ двухъ противоположныхъ лагеряхъ злѣйшими, непримиримыми врагами. Возставши на Никона, старовѣры забывали, что еще недавно стояли съ нимъ на одной почвѣ; противополагая его книгамъ книги патріарха Іосифа, они забывали, что исправленія по греческимъ образцамъ начались еще при Іосифѣ, что Никонъ не началъ, а только продолжалъ дѣло исправленія. Собственно говоря, раздоръ крылся уже гораздо ранѣе и вспыхнулъ позднѣе только потому, что лишь тогда приверженцы старины замѣтили, куда клонится дѣло, а крутыя, даже жестокія мѣры Никона противъ ослушниковъ довершили убѣжденіе, что старая вѣра гибнетъ. Этому смутному положенію вещей содѣйствовала нерѣшительность самого царя. Онъ до того колебался между двумя теченіями, что никакъ не могъ рѣшить между двумя противоположностями: Никонъ былъ его „собинный другъ", а въ то же время царь, а также и царица, чрезвычайно почитали протопопа Аввакума даже и въ то время, когда онъ заявилъ себя врагомъ церковной власти; когда Нероновъ бѣжалъ изъ ссылки, куда послалъ его Никонъ, Нероновъ остановился въ Москвѣ прямо у царскаго духовника; царь узналъ объ этомъ и скрывалъ это отъ Никона... Впослѣдствіи Аввакумъ въ своихъ ужасныхъ ссылкахъ все еще надѣялся на „Михайловича-свѣта", какъ онъ называлъ царя... Покровительствуя, насколько было возможно, хранителямъ „старой вѣры", царь въ то же время оказывалъ великое уваженіе и богато дарилъ пріѣзжавшихъ въ Москву восточныхъ іерар-

ховъ, которые въ русскомъ церковномъ вопросѣ могли быть и бывали только на сторонѣ Никона и противъ „старой вѣры".

Вопросъ, требовавшій рѣшенія, былъ очень трудный—не по существу исправленія книгъ, котораго въ концѣ концовъ можно было достигнуть сличеніемъ старославянскихъ и греческихъ текстовъ, но по обстоятельствамъ времени, по настроенію большой доли духовенства и народной массы. Цѣлые вѣка утверждалось убѣжденіе въ превосходствѣ русскаго православія и въ полномъ упадкѣ греческаго благочестія. Пренія съ греками Суханова указываютъ, до какихъ размѣровъ развилось это убѣжденіе. Та среда, въ которой предстояло дѣйствовать Никону, была впередъ враждебна ко всякому измѣненію старины: слѣпая вѣра въ букву и внѣшній обрядъ, отожествленіе этой буквы и обряда съ „догматомъ" и самою сущностью вѣры, становились едва одолимымъ препятствіемъ для какого-нибудь исправленія; отсутствіе самыхъ элементарныхъ познаній не допускало возможности объясненія. Не легко представить себѣ, къ чему могла бы, наконецъ, придти эта „старая вѣра", предоставленная себѣ самой: отвергая авторитетъ вселенской церкви, она должна была бы отдѣлиться отъ нея и остановиться на той формѣ вѣры, какая признавалась въ данную минуту — съ господствомъ испорченныхъ книгъ, съ фанатизмомъ обряда, съ ненавистью ко всякому знанію, когда все-таки единственный запасъ книжныхъ свѣденій заимствованъ былъ изъ тѣхъ же переводныхъ греческихъ книгъ. Если вспомнить, какими вопросами заняты были русскіе іерархи тѣхъ временъ и съ какими они обращались къ вселенскимъ патріархамъ, то можно себѣ представить уровень религіозныхъ понятій. Въ концѣ концовъ, при помощи заѣзжихъ ученыхъ людей, при объясненіяхъ вселенскихъ патріарховъ, іерархи могли кое-какъ выбраться изъ дебрей своего незнанія; отвергнувъ и эту помощь, „старая вѣра" превратилась бы въ фанатическую секту, невозможную для историческаго народа, потому что она не хотѣла допустить никакого историческаго движенія. Поэтому и былъ такъ страшенъ тотъ взрывъ религіозной ненависти, который выразился расколомъ. Никонъ, несомнѣнно человѣкъ сильнаго ума, лучше своихъ предшественниковъ видѣлъ необходимость преобразованія и понималъ необходимость союза съ церковью вселенской, въ составѣ которой существовала до тѣхъ поръ русская церковь и отъ которой она почерпала свои жизненныя силы. Онъ принялъ тѣ убѣжденія, какія развивала „Книга о вѣрѣ"; онъ не смутился извѣстіями о внѣшнемъ упадкѣ восточныхъ церквей, объ испорченности восточныхъ нравовъ, — глубокіе недостатки восточнаго церковнаго

быта не подлежали сомнѣнію, но въ этихъ церквахъ хранилось преданіе древнихъ ученій, въ нихъ дѣйствовали нѣкогда величайшіе учители восточнаго православія, въ библіотекахъ востока сберегліись самыя писанія этихъ учителей. Многократный, вѣковой опытъ свидѣтельствовалъ, что и донынѣ вселенскіе патріархи могутъ дать правильныя и мудрыя указанія о предметахъ вѣры и обряда; и по всему смыслу церковныхъ постановленій слѣдовало, что лучшимъ средствомъ разрѣшенія недоумѣній, исправленія недостатковъ, долженъ быть совѣтъ съ восточными іерархами и ихъ соборомъ. Павелъ Алепскій, сынъ и архидіаконъ патріарха антіохійскаго Макарія, разсказывая о московскомъ соборѣ 1655 года, ясно указываетъ настроеніе того времени, наканунѣ открытаго раскола. „Никонъ, любя все греческое, съ жаромъ принялся за церковныя исправленія и говорилъ на соборѣ присутствовавшимъ архіереямъ, настоятелямъ монастырей и пресвитерамъ: „я самъ русскій, и сынъ русскаго, но моя вѣра и убѣжденія греческія". На это нѣкоторые изъ членовъ высшаго духовенства съ покорностью отвѣчали: „вѣра, дарованная намъ Христомъ, ея обряды и таинства,—все это пришло къ намъ съ востока". Но другіе, — такъ какъ во всякомъ народѣ бываютъ люди упрямые и непокорные, — молчали, скрывая свое неудовольствіе, и говорили въ самихъ себѣ: „не хотимъ дѣлать измѣненій ни въ нашихъ книгахъ, ни въ нашихъ обрядахъ и церемоніяхъ, принятыхъ нами изстари". Только эти недовольные не имѣли смѣлости говорить открыто, зная, какъ трудно выдержать гнѣвъ патріарха". Если разъ сознана была необходимость исправленія, не оставалось другого пути, какъ обратиться къ греческимъ источникамъ: Никонъ былъ достаточно уменъ, чтобы увидѣть ошибки, иногда дѣйствительно крайне грубыя, и чтобы понять справедливость „зазираній", какія слышалъ отъ восточныхъ іерарховъ.

Одинъ изъ новѣйшихъ историковъ Никона [1]) въ нѣсколькихъ случаяхъ указываетъ упомянутое историческое недоразумѣніе, приписывающее Никону всю сущность дѣла исправленія и вину возникновенія раскола. Онъ указываетъ, что начало реформы въ греческомъ духѣ положено было еще при патріархѣ Іосифѣ; что

[1]) Макарій, „Исторія русской церкви", т. XII (и начало XIII-го тома). Спб., 1883—послѣдній трудъ автора, изданный уже послѣ его смерти и опять составленный въ большой степени по неизданнымъ архивнымъ источникамъ. Къ сожалѣнію, въ настоящую минуту мы не могли воспользоваться изслѣдованіемъ Н. Ѳ. Каптерева: „Патріархъ Никонъ и его противники въ дѣлѣ исправленія церковныхъ обрядовъ". Вып. I. Москва, 1887.

восточные патріархи не однажды подтверждали принятыя Никономъ мѣры и въ нѣкоторыхъ случаяхъ были главными виновниками распоряженій, которыя современная молва и исторія приписывали ему,—а вселенскихъ патріарховъ, какъ мы видѣли, почиталъ и поддерживалъ царь Алексѣй. Въ 1655 году былъ изданъ „Служебникъ“ и въ томъ же году напечатана знаменитая „Скрижаль“, по греческой книгѣ, присланной за два года передъ тѣмъ отъ вселенскаго патріарха Паисія и переведенной однимъ изъ справщиковъ, Арсеніемъ Грекомъ, съ прибавленіемъ статей о крестномъ знаменіи (противъ двуперстія) и о символѣ вѣры. Этой „Скрижали“ Никонъ не хотѣлъ, однако, выпускать въ свѣтъ раньше, чѣмъ она была бы разсмотрѣна и одобрена соборомъ. На этомъ соборѣ, продолжавшемся съ 23-го апрѣля до 2-го іюня, Никонъ, уже заручившись одобреніемъ вселенскихъ патріарховъ [1]), изложилъ подробно все дѣло; соборъ русскихъ архіереевъ, послѣ подробнаго разсмотрѣнія „Скрижали“, утвердилъ ее своими подписями, и Никонъ, добавивъ „Скрижаль“ одобреніями патріарховъ и сказаніемъ о самомъ соборѣ, съ изложеніемъ и своей рѣчи, велѣлъ выпустить книгу въ свѣтъ. Между прочимъ, соборъ изрекъ проклятіе на „неповинующихся церкви“ послѣдователей двуперстія... Но раньше собора Никонъ устроилъ особаго рода манифестацію: 12-го февраля, въ день памяти св. Мелетія антіохійскаго и вмѣстѣ святителя московскаго Алексѣя, на праздничной заутрени въ Чудовомъ монастырѣ, въ присутствіи царя, властей и множества народа, прочитано было изъ пролога сказаніе о св. Мелетіи антіохійскомъ, — въ которомъ именно находили защиту двуперстія, — и Никонъ во всеуслышаніе спросилъ патріарха Макарія, какъ надо понимать это сказаніе? Макарій объяснилъ, что сказаніе именно подтверждаетъ правильность троеперстія, а двуперстіе назвалъ армянскимъ обычаемъ. Затѣмъ манифестація повторилась въ недѣлю православія, 24 февраля. „Собрались въ Успенскій соборъ на торжество всѣ находившіеся въ Москвѣ архіереи съ знатнѣйшимъ духовенствомъ, царь со всѣмъ своимъ синклитомъ и безчисленное множество народа. Въ то время, когда начался обрядъ православія, и церковь, ублажая своихъ вѣрныхъ чадъ, изрекала проклятіе сопротивнымъ, два патріарха, антіохійскій Макарій и сербскій Гавріилъ, и митрополитъ никейскій Григорій, стали предъ царемъ

[1]) Въ то время находились въ Москвѣ антіохійскій патріархъ Макарій, сербскій патріархъ Гавріилъ, а также никейскій митрополитъ Григорій и молдавскій—Гедеонъ.

и его синклитомъ, предъ всѣмъ освященнымъ соборомъ и народомъ,—и Макарій, сложивъ три первые великіе перста во образъ св. Троицы и показывая ихъ, воскликнулъ: „сими тремя первыми великими персты всякому православному христіанину подобаетъ изображати на лицѣ своемъ крестное изображеніе; а иже кто по Ѳеодоритову писанію и ложному преданію творитъ, той проклятъ есть". То же проклятіе повторили, вслѣдъ за Макаріемъ, сербскій патріархъ Гавріилъ и никейскій митрополитъ Григорій. Вотъ кѣмъ и когда изречена первая анаѳема на упорныхъ послѣдователей двуперстія. Она изречена не Никономъ, не русскими архіереями, а тремя іерархами—представителями востока" [1]). Русскій соборъ уже послѣ только подтвердилъ это проклятіе.

Однимъ изъ злѣйшихъ враговъ Никона былъ протопопъ Нероновъ, подвергшійся наконецъ проклятію на соборѣ 18-го мая, 1656 г. (опять въ присутствіи антіохійскаго патріарха Макарія) за непокореніе церкви [2]); потомъ онъ какъ будто одумался, не хотѣлъ „творить раздора со вселенскими патріархами", но все-таки не могъ сносить суровости Никона. Наконецъ, однажды онъ самъ явился къ Никону, когда тотъ шелъ въ церковь, и между ними произошла странная сцена, когда Нероновъ (въ монашествѣ онъ назывался Григоріемъ) обличалъ Никона за его несправедливости и жестокость, указывалъ на примѣръ Христа, и Никонъ смиренно, снося всѣ укоры, говорилъ наконецъ: „прости, старецъ Григорій, не могу терпѣть". Наконецъ, при вмѣшательствѣ царя Никонъ въ соборной церкви за литургіей приказалъ ввести старца Григорія, со слезами прочелъ разрѣшительныя молитвы, старецъ Григорій причастился святыхъ даровъ изъ рукъ Никона, и въ тотъ же день патріархъ, „за радость мира", устроилъ у себя трапезу, за которую посадилъ Григорія выше всѣхъ московскихъ протопоповъ, а послѣ трапезы, одаривъ Григорія, отпустилъ съ миромъ. Старецъ Григорій, однако, не умирился, и когда однажды онъ сталъ говорить Никону о старыхъ служебникахъ, до-Никоновскихъ, которыхъ держался, то Никонъ отвѣчалъ: „обои-де добры (т.-е. и прежде напечатанные, и новоисправленные),—все-де равно, по коимъ хощешь, по тѣмъ и служишь". Григорій сказалъ: „я старыхъ-де добрыхъ и держуся", и, принявъ отъ патріарха благословеніе, вышелъ. „Вотъ когда

[1]) Макарій, т. XII, стр. 189—190.

[2]) Тамъ же, стр. 214. „Съ этого собора, — говоритъ пр. Макарій, — началось дѣйствительное отдѣленіе русскихъ раскольниковъ отъ православной церкви, начался русскій расколъ".

началось единовѣріе въ русской церкви!“—замѣчаетъ пр. Макарій“ [1]).

Объясняя и оправдывая дѣятельность Никона въ общемъ ея обзорѣ, пр. Макарій высказываетъ увѣренность, что еслибы служеніе Никона продолжилось, то начавшійся при немъ расколъ мало-по-малу прекратился бы, и на его мѣсто водворилось бы, такъ называемое нынѣ, единовѣріе [2]). „Къ крайнему сожалѣнію,— прибавляетъ онъ, — по удаленіи Никона съ каѳедры обстоятельства совершенно измѣнились. Проповѣдники раскола нашли себѣ, въ наступившій періодъ между-патріаршества, сильное покровительство; начали рѣзко нападать на церковь и ея іерархію, возбуждать противъ нея народъ, и своею возмутительною дѣятельностію вынудили церковную власть употребить противъ нихъ каноническія мѣры. И тогда-то вновь возникъ, образовался и утвердился тотъ русскій расколъ, который существуетъ доселѣ, и который, слѣдовательно, въ строгомъ смыслѣ, получилъ свое начало не при Никонѣ, а уже послѣ него“.

Въ исторіи очень трудно загадывать, и въ данномъ случаѣ раздоръ заходилъ уже такъ далеко, и возникалъ въ сущности такъ давно, что едва ли могъ быть устраненъ такъ легко— однимъ единовѣрческимъ признаніемъ старыхъ книгъ. Этотъ самый старецъ Григорій послѣ „примиренія“ съ Никономъ говорилъ царю, который привѣтливо обратился къ нему, встрѣтивъ его однажды въ церкви: „доколѣ, государь, тебѣ терпѣть такого врага божія? Смутилъ всю землю русскую и твою царскую честь попралъ, и уже твоей власти не слышать,—отъ него врага всѣмъ страхъ“. Царь какъ будто устыдился и отошелъ, ничего ему не отвѣтивъ... Едва ли чѣмъ-нибудь можно было примирить протопопа Аввакума.

Въ дѣлѣ исправленія книгъ встрѣтилось два давно возникшихъ противоположныхъ начала, которыя теперь нашли только поводъ вырваться наружу: на одной сторонѣ—слѣпая, фанатическая приверженность къ старинѣ, не допускавшая никакой перемѣны; на другой — первые зачатки критики; на одной сторонѣ—готовность ради этой старины даже разорвать всякую связь со вселенской церковью, въ предположеніи, что московское православіе само по себѣ стоитъ превыше всего; на

---

[1]) Тамъ же, XII, стр. 218.

[2]) Тамъ же, XII, стр. 221—227.

другой сторонѣ было пониманіе, что догматическая и историческая связь со вселенской церковью необходима и что противоположная постановка дѣла окончилась бы узкимъ сектаторствомъ, неспособнымъ, по крайней скудости его образовательныхъ средствъ, построить что-либо органическое — приходилось бы въ сущности основывать особую русскую церковь, враждебную грекамъ, на идеяхъ протопопа Аввакума. Притомъ фанатизмъ протопопа Аввакума простирался не только на церковные вопросы, но и на все, въ чемъ видѣлось ему вмѣшательство чего-либо иноземнаго: осыпая ругательствами Никоновы преобразованія, Аввакумъ называлъ его вѣру не только римской, но даже нѣмецкой. Едва ли сомнительно, что эта тенденція во всякомъ случаѣ прорвалась бы и мимо книгъ по любому другому поводу, когда со второй половины XVII-го столѣтія въ русскую жизнь все болѣе и болѣе замѣтно проникало вліяніе чужихъ нравовъ и образованія. Предшественники раскола уже возставали, напр., противъ тѣхъ вліяній, какія начинали приходить съ малорусскаго юга. Не должно забывать, что за Аввакумомъ и его друзьями стояла огромная масса приверженцевъ, одного съ нимъ настроенія, присутствіе которой, безъ сомнѣнія, поднимало и ихъ собственную энергію. Прибавимъ, наконецъ, что этотъ разладъ происходилъ на почвѣ не только малой умственной развитости, но и жестокихъ нравовъ. Если можно думать, что взрывъ раскола въ значительной мѣрѣ произошелъ отъ слишкомъ крутыхъ мѣръ Никона [1]), то и другая сторона не уступала ему въ грубой суровости. Изъ его противниковъ едва ли кто способенъ былъ къ тому примирительному настроенію, какое показалъ Никонъ въ упомянутой встрѣчѣ со старцемъ Григоріемъ. Грубые нравы, воспитанные давней стариной, прошедшіе черезъ эпоху Грознаго и междуцарствіе, стали обычной чертой всего быта; власть дѣлалась насиліемъ, вѣра—фанатизмомъ. Въ громадномъ большинствѣ самихъ церковныхъ учителей отсутствіе школы вело къ грубому преувеличенію буквы и обряда, дѣлало невозможнымъ правильное сужденіе въ самыхъ простыхъ церковныхъ вопросахъ. Иностранцы XVI—XVII вѣка не разъ отмѣчали неспособность русскихъ людей понять и вынести противорѣчіе, отвѣчать на него логически; крайняя нетерпимость выражалась въ необузданной формѣ, и разногласіе переходило въ непримиримую вражду; противорѣчіе тотчасъ возводилось въ ересь, и съ обѣихъ сторонъ призывались

[1]) Ср., напр., исчисленіе „мученій“ отъ Никона въ Аввакумовой „Книгѣ на крестоборную ересь“ (Субботинъ, V, стр. 261 и дал.).

суровыя постановленія церковныхъ уставовъ, проклятія и казни. Съ этимъ картина религіознаго спора въ XVII-мъ вѣкѣ (на почвѣ грамматическихъ ошибокъ въ текстѣ церковныхъ книгъ!) была готова. Но церковныя клятвы произвели не то дѣйствіе, какого отъ нихъ ожидали...

Протопопъ Аввакумъ былъ самымъ характернымъ лицомъ въ этомъ первомъ періодѣ раскола. Не будемъ передавать его біографіи, не однажды разсказанной [1]); довольно сказать, что это былъ самый рѣшительный и неукротимый изъ всѣхъ противниковъ Никона, больше всѣхъ содѣйствовавшій установленію и развитію раскола. По несокрушимой силѣ характера это былъ своего рода эпическій богатырь, выносившій самыя тяжкія испытанія—тюрьмы, ссылки, истязанія, но всегда непреклонный и всегда готовый на ту же проповѣдь. Сначала протопопъ въ Юрьевцѣ, потомъ дѣйствовавшій въ Москвѣ въ кругу вліятельныхъ московскихъ протопоповъ, своимъ благочестіемъ внушавшій уваженіе самому царю и особенно почитаемый царицей, онъ за упорное сопротивленіе Никону рано попалъ въ ссылку, сначала въ Тобольскъ, потомъ въ далекую Даурію, гдѣ долженъ былъ выносить мучительскія гоненія воеводы. Послѣ отреченія Никона отъ патріаршества Аввакумъ былъ возвращенъ въ Москву, но остался здѣсь не долго: новая упорная борьба съ господствующей церковью повлекла за собой ссылку въ Мезень; затѣмъ онъ привлеченъ былъ къ отвѣту на соборѣ 1666—1667 года, на соборѣ былъ преданъ проклятію и снова заключенъ въ пустозерскій острогъ, откуда продолжалъ сношенія съ своими приверженцами, возбуждая ихъ къ сохраненію старой вѣры и проклиная „никоніанъ“. Долго томился онъ въ ужасной земляной тюрьмѣ: давно умеръ

[1]) Выше мы указали новѣйшую біографію его, составленную г. Мякотинымъ. Здѣсь весьма вѣрно и рельефно указано значеніе его дѣятельности въ средѣ тогдашнихъ религіозныхъ и общественныхъ отношеній (ср. стр. 126, 142, 146, 152 и д.); можно только пожалѣть, что популярная цѣль изданія не дозволила автору подробнѣе изложить предметъ и дать болѣе свѣденій о книжныхъ трудахъ Аввакума. См. также статью объ Аввакумѣ въ „Критико-біографическомъ Словарѣ“ г. Венгерова, т. I, Спб. 1886; въ ст. А. Бороздина въ „Христ. Чтеніи“, 1888, № 5—6; библіографическія указанія у А. Пругавина, „Расколъ—сектантство“, М. 1887; и основныя историческія данныя въ многотомномъ изданіи Н. И. Субботина: „Матеріялы для исторіи раскола за первое время его существованія, издан. братствомъ св. Петра митрополита“,—особливо т. V („Историко- и догматико-полемическія сочиненія первыхъ расколоучителей. Часть вторая. Сочиненія бывшаго юрьевецкаго протопопа Аввакума Петрова“). М. 1879. Наконецъ, общія сочиненія по исторіи русской церкви пр. Макарія, Доброклонскаго; „Исторія русскаго раскола“ (учебникъ), К. Плотникова. Спб. 1891—92, и пр.

Никонъ, умеръ и царь Алексѣй, на склонность котораго къ „истинной“ вѣрѣ онъ долго надѣялся и только подъ конецъ пересталъ надѣяться [1]). Наконецъ въ 1681 году онъ отправилъ посланіе къ царю Ѳедору Алексѣевичу; онъ просилъ о милости, но измученный долгими страданіями говорилъ также съ великимъ раздраженіемъ о своихъ врагахъ и съ укорами противъ памяти самого царя Алексѣя [2]). Времена, однако, были другія, и „за великія на царскій домъ хулы“ приказано было сжечь Аввакума и его товарищей по заключенію. Казнь была совершена 1 апрѣля 1681 года въ Пустозерскѣ.

Въ своихъ религіозныхъ понятіяхъ Аввакумъ былъ яркимъ олицетвореніемъ представленій и нравовъ массы. Его благочестіе строго соблюдало всю обрядовую сторону вѣры; онъ готовъ былъ на всякое истязаніе изъ-за буквы и обряда, но благочестіе самъ готовъ былъ внушать не только поученіемъ, но и мучительствомъ. Одну грѣшницу, которую ему прислали „подъ началъ“, онъ исправлялъ тѣмъ, что три дня держалъ ее въ подпольѣ, на голодѣ и холодѣ, потомъ поставилъ „на поклоны“ и велѣлъ бить шелепомъ, и т. п. „Духовное“ поученіе видимо принимало у него тѣ исправительныя формы, съ помощью шелепа, какія господствовали въ быту. Когда ему приходилось говорить о тѣхъ врагахъ, которые, по его мнѣнію, испортили русское православіе, не было мѣры его фанатической свирѣпости. Восточные патріархи „Христа распяли въ русской землѣ“; они—костельники, прелагатаи, шиши антихристовы, богоборцы; для Никона онъ не находитъ достаточно ругательныхъ выраженій своей ненависти. Онъ, безъ сомнѣнія, буквально понималъ свои слова, когда говорилъ въ одномъ изъ своихъ посланій: „Воли мнѣ нѣтъ, да силы, перерѣзалъ бы, что Илья Пророкъ, студныхъ и мерзкихъ жеребцовъ всѣхъ, что собакъ“. Ему вспоминается Грозный: „какъ бы добрый царь, повѣсилъ бы его (Никона) на высокое древо... миленькой царь Иванъ Васильевичъ скоро бы указъ сдѣлалъ такой собакѣ“. Въ послѣднемъ посланіи къ Ѳедору Алексѣевичу онъ говоритъ опять техническими выраженіями бойни: „а что, царь-государь,

[1]) Въ посланіи „къ нѣкоему Іоанну“ Аввакумъ пишетъ: „Исперва царь, до соборища того, будто и не ево дѣло, а волю Никону всю далъ, вору“. И тамъ же: „Царь Алексѣй девять лѣтъ добро жилъ, въ постѣ и въ молитвѣ и въ милости... Егда же любленье сотвориша, яко Пилатъ и Иродъ, тогда и Христа распяша: Никонъ побѣждать началъ, а Алексѣй пособлять испоттиха. Тако бысть исперва. Азъ самовидѣцъ сему“.

[2]) Онъ писалъ, что царь Алексѣй сидитъ въ аду: „Богъ судитъ между мною и царемъ Алексѣемъ. Въ мукахъ онъ сидитъ,—*слышалъ я отъ Спаса:* то ему за свою правду“.

какъ бы ты мнѣ далъ волю, я бы ихъ (никоніанъ), что Илья Пророкъ, всѣхъ *перепласталъ* во единъ день. Не осквернилъ бы рукъ своихъ, но и освятилъ, чаю". Когда онъ услышалъ о первыхъ самосожженіяхъ послѣдователей старой вѣры, онъ порадовался: „русаки бѣдные... полками въ огонь дерзаютъ за Христа Сына Божія—свѣта. Мудры б..... дѣти греки, да съ варваромъ турскимъ съ одново блюда патріархи кушаютъ раѳленые курки [2]). Русачки же миленькіе не такъ,—въ огонь лѣзетъ, а благовѣрія не предастъ!"... „Да помнишь ли?—пишетъ Аввакумъ въ другомъ посланіи:—три отроки въ пещи огненной въ Вавилонѣ; Навходоносоръ глядитъ: ано Сынъ Божій четвертый съ ними! Въ пещи гуляютъ отроки самъ-четвертъ съ Богомъ! Небось,—не покинетъ и васъ Сынъ Божій. Дерзайте всенадежнымъ упованіемъ. Таки размахавъ, да и въ пламя! На вось, діаволъ, еже мое тѣло; до души моей дѣла тебѣ нѣтъ!" [2])...

Являясь въ своихъ понятіяхъ представителемъ народной массы, протопопъ Аввакумъ могъ стать и замѣчательнымъ писателемъ въ этомъ народномъ тонѣ. Его автобіографія, многочисленныя посланія, съ какими онъ обращался къ царю и особенно къ своимъ единомышленникамъ, даже его церковныя поученія, чрезвычайно характерны, какъ по содержанію, въ которомъ отпечатлѣлась народная „старая" вѣра, такъ и по стилю и языку. Тамъ, гдѣ онъ говоритъ о церковномъ вѣроученіи, его рѣчь повторяетъ обычныя книжныя славянскія формы, но вездѣ, гдѣ онъ касается непосредственной жизни, гдѣ онъ разсказываетъ о своей судьбѣ, гдѣ бесѣдуетъ съ своими друзьями и поучаетъ ихъ, его стиль становится живымъ, реальнымъ, наглядымъ, его рѣчь представляетъ богатство свѣжаго народнаго языка, какимъ мы встрѣчаемъ его въ непосредственныхъ созданіяхъ народа, въ пѣснѣ и пословицѣ; не однажды онъ поразитъ современнаго читателя инымъ грубымъ, даже циническимъ выраженіемъ, но старина не боялась этихъ выраженій, потому что еще не отвыкла называть вещи собственными именами. Этотъ стиль и этотъ языкъ указываютъ, между

[1]) Взято у Арсенія Суханова.

[2]) Аввакумъ находилъ нѣмецкій обычай даже въ наименованіи св. Николая Чудотворца: „Охъ, охъ, бѣдная Русь! Чего-то тебѣ захотѣлось нѣмецкихъ поступковъ и обычаевъ! А Николѣ Чудотворцу дали имя нѣмецкое: Николай. Въ Нѣмцахъ нѣмчинъ былъ Николай, а при апостолѣхъ еретикъ былъ Николай; а во святыхъ нѣтъ нигдѣ Николая. Только суть стало съ ними Никола чудотворецъ терпитъ; а мы немощни: хотя бы одному кобелю голову-ту назадъ рожею заворотилъ, да пускай по Москвѣ такъ походилъ! Что петь дѣлать?"... (Тотъ единственный нѣмчинъ Николай, который ему былъ извѣстенъ, былъ вѣроятно Николай, прелестникъ и звѣздочетецъ, котораго обличали Максимъ Грекъ и старецъ Филоѳей).

прочимъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими явленіями тогдашней „письменности“, чѣмъ могла бы стать еще въ то время русская литература, еслибы издавна не была—также извѣстнымъ образомъ—оторвана отъ народной почвы, и вмѣстѣ съ тѣмъ не была осуждена на слишкомъ тѣсный умственный горизонтъ.

Сочиненія, какъ и вся дѣятельность Аввакума, и съ нимъ его сотоварищей, представляютъ собой въ высокой степени характерный историческій моментъ. Въ одномъ изъ своихъ посланій, говоря о погибели старой вѣры, на мѣстѣ которой, по его убѣжденію, явилась мерзость запустѣнія и антихристова прелесть, Аввакумъ восклицаетъ: „послѣдняя Русь здѣ“. Его чувство было темнымъ, стихійнымъ историческимъ предвидѣніемъ. Дѣйствительно, старая Русь дошла въ этомъ направленіи до своего послѣдняго предѣла.

А. Пыпинъ.

ПОЗЕМЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ

III *).

Чѣмъ хуже ведутся дѣла въ дворянскихъ имѣніяхъ, тѣмъ сильнѣе возростаетъ требовательность владѣльцевъ и тѣмъ громче и настойчивѣе заявляютъ они о своихъ великихъ заслугахъ предъ отечествомъ. Оживились толки о необходимости будто бы сосредоточенія мѣстной власти въ рукахъ запутавшихся хозяевъ-помѣщиковъ, для пріученія крестьянъ къ аккуратности и трудолюбію; въ то же время все чаще появляются оригинальные проекты, имѣющіе цѣлью избавить дворянъ-землевладѣльцевъ отъ сдѣланныхъ ими долговъ и обезпечить матеріальное положеніе привилегированнаго класса на новыхъ незыблемыхъ началахъ, не въ примѣръ другимъ классамъ русскаго населенія. Возникла уже цѣлая особая литература по вопросу о томъ, какъ должно распорядиться государственное казначейство для снабженія помѣщиковъ новыми запасами кредитныхъ билетовъ безъ ущерба для поземельныхъ правъ и интересовъ дворянства. Что казна обязана снабдить хорошихъ людей соотвѣтственными капиталами изъ средствъ, собираемыхъ главнымъ образомъ съ низшихъ и бѣднѣйшихъ слоевъ народа,—въ этомъ, повидимому, нисколько не сомнѣваются наши современные Маниловы; сомнѣнія и споры касаются лишь практическихъ способовъ осуществленія завѣтныхъ мечтаній. Одни возлагаютъ всѣ свои надежды на правительство и откровенно требуютъ новыхъ пособій и привилегій; другіе отводятъ мѣсто и принципамъ взаимной сословной поддержки и самопомощи. Нѣкоторые изъ этихъ проектовъ ужъ слишкомъ наивны, чтобы

[1]) См. выше: августъ, стр. 810.

заслуживать серьезнаго разбора; но они любопытны, какъ знаменіе времени и какъ образчики своеобразнаго пониманія задачъ наступившей будто бы дворянской эры.

Въ брошюрѣ г. Хр. Трусевича, вышедшей два года тому назадъ [1]), высказываются еще нѣкоторыя благоразумныя мысли, свидѣтельствующія объ осторожности и дипломатичности автора. Составивъ свой проектъ „дворянскаго сельскохозяйственнаго кредита", г. Трусевичъ считалъ нужнымъ оговориться, что „не слѣдуетъ и невозможно предоставлять кредитъ сразу всѣмъ, каждому и на все, кто что пожелаетъ"; онъ не забываетъ объ ограниченности государственныхъ средствъ и задается даже такими вопросами: „не поберечь ли финансовые рессурсы? Не пожалѣть ли и бѣднаго земледѣльца?" Новыя формы кредита должны имѣть производительную цѣль—улучшеніе сельскаго хозяйства, а потому „приходится ограничить право кредита извѣстными земледѣльческими классами". Какіе же это земледѣльческіе классы, наиболѣе нуждающіеся въ производительномъ кредитѣ? Конечно, не духовенство и не купечество. „Духовенство, — говоритъ авторъ, — вовсе не интересуется земледѣліемъ, хотя оно и само имѣетъ всѣ необходимыя средства" (къ тому, чтобы интересоваться земледѣліемъ?); „если же оно и занимается пчеловодствомъ и другими сельскими промыслами, то, кажется, слѣдуетъ строго различать земледѣліе отъ промысловъ,—иначе мы не только спутаемъ сельскохозяйственный и промысловый кредиты, но можемъ, пожалуй, дойти и до третьяго (?) милліарда земельнаго долга". Что касается купечества, то по отношеніямъ своимъ къ землѣ оно распадается на двѣ группы: „одна состоитъ изъ дѣйствительно передовыхъ, образцовыхъ хозяевъ,—но эти люди въ нашемъ кредитѣ не нуждаются, такъ какъ они сами дѣлаютъ милліонные торговые обороты, а сельское хозяйство для нихъ есть соединеніе пріятнаго съ весьма полезнымъ; другая же группа купцовъ (они же мѣщане и крестьяне, по мѣрѣ силъ и возможности)—это настоящіе мытари земли русской, которые притомъ сегодня земледѣльцы, завтра лѣсные торговцы, а послѣ-завтра мануфактуристы, и для которыхъ, какъ и для кулаковъ всякаго рода, придумывать еще кредитъ показалось автору дѣломъ неподходящимъ".

Отстранивъ сельское духовенство и землевладѣльцевъ-купцовъ, которые оказываются почему-то заодно и мѣщанами и крестьянами, г. Хр. Трусевичъ замѣчательно просто обходитъ и всю массу на-

[1]) „По вопросу о дворянскомъ сельскохозяйственномъ кредитѣ". Хр. Трусевича Спб., 1892.

шихъ сельскихъ обывателей. Въ принципѣ земледѣльческій кредитъ нуженъ и крестьянству, но на практикѣ онъ долженъ составлять исключительную привилегію помѣщиковъ. Этотъ скачокъ мысли дѣлается съ поразительною развязностью, безъ всякихъ церемоній. „Земледѣльческій кредитъ,—поясняетъ авторъ,—долженъ имѣть въ виду земледѣльца, плотью и кровью, исторіею и жизнью связаннаго съ землею, крестьянина и дворянина-помѣщика, видящихъ въ землѣ свою единственную кормилицу и въ прошломъ, и въ настоящемъ, и въ будущемъ, а въ ея цѣлости и преуспѣяніи—цѣлость и преуспѣяніе своего потомства. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, т.-е. ограниченности средствъ, недостатка персонала, неподготовленности крестьянъ и требованій разума (?), открыть кредитъ на первое время, пока, практически возможно и необходимо только для дворянъ-землевладѣльцевъ". Итакъ, земледѣльцемъ, живущимъ единственно съ земли и связаннымъ съ нею „плотью и кровью, исторіею и жизнью", является вовсе не крестьянинъ, а дворянинъ, проводящій иногда лѣто въ деревнѣ для отдыха отъ городскихъ и столичныхъ занятій. Эти труженики-дворяне, старательно воздѣлывающіе свою землю въ вакаціонное отъ службы время, представляютъ собою главный оплотъ нашего земледѣлія и потому имѣютъ особенныя права на пользованіе всевозможнымъ кредитомъ,—а крестьянскій земледѣльческій трудъ служитъ только обычною декораціею, которая, конечно, нужна лишь для цѣльности и полноты картины.

Г. Трусевичъ дѣлаетъ видъ, что не знаетъ о существованіи ростовщическаго кредита для крестьянъ; ему кажется, что кредитъ былъ бы новостью для „невѣжественныхъ" сельскихъ обывателей и что лучше оставить ихъ въ счастливомъ невѣденіи благъ и опасностей льготнаго кредита. Автору „не хотѣлось сдѣлать извѣданную уже (когда?) ошибку—открыть многомилліонный кредитъ сразу, всѣмъ, ex abrupto; ему казалось рискованнымъ предложить 90% всего населенія, бѣднаго и невѣжественнаго въ своей массѣ, брать деньги въ долгъ, на что кому угодно (?);—онъ предпочелъ лучше идти постепенно, хоть медленно, да вѣрно,—ему казалось вѣрнѣе сдѣлать первоначально опытъ кредита (и безъ того крупный), ввѣривъ его лицамъ, болѣе другихъ подготовленнымъ къ самому кредиту и къ введенію болѣе раціональнаго хозяйства, требующаго не только дѣятельности организатора, но и самостоятельной дѣятельности и пониманія самого хозяина;—ему казалось, наконецъ, что дворянское имѣніе есть единственная, естественно-историческая земледѣльческая станція, которая, будучи достойна довѣрія крестьянъ, распространенная во множествѣ

среди крестьянскихъ обществъ и связанная съ ними искони общехозяйственными интересами, дѣйствительно могла бы быть свѣточемъ хозяйственнаго знанія,—и вотъ когда учителя сами будутъ на высотѣ своего призванія, когда свѣтъ отъ нихъ разольется по селамъ и деревнямъ, когда эти учителя, будучи земскими гласными, по опыту и на дѣлѣ докажутъ, что они могутъ быть руководителями и хозяйства и кредита,—тогда постепенный переходъ сельскохозяйственнаго кредита изъ міра дворянскаго въ міръ крестьянскій будетъ вполнѣ естественъ и весьма легокъ". Значитъ, надо дать кредитъ людямъ для того, чтобы они впослѣдствіи показали себя достойными этого кредита, а другіе должны ждать, пока первые не окажутся на высотѣ своего призванія и не заслужатъ для нихъ снисхожденія своими добродѣтелями. Богъ знаетъ что̀ такое!—Въ дѣйствительности г. Хр. Трусевичъ даже не потрудился замаскировать истинный смыслъ своихъ вожделѣній. Въ первой статьѣ выработаннаго имъ проекта сказано ясно: „Всѣ дворяне-землевладѣльцы, *какъ таковые*, могутъ пользоваться сельскохозяйственнымъ кредитомъ для увеличенія доходности ихъ собственныхъ имѣній". Отъ помѣщика не требуется, чтобы онъ былъ хозяиномъ; достаточно только, чтобы онъ былъ дворяниномъ. Крестьяне, какъ таковые, лишаются доступа къ сельскохозяйственному кредиту, хотя бы они владѣли на личномъ правѣ обширными участками земли и образцово вели свое хозяйство; о кредитѣ сельскимъ обществамъ нечего и говорить.

Гораздо дальше г. Трусевича идетъ „помѣщикъ пензенской губерніи", г. В. Лиліенфельдъ, въ изданномъ имъ недавно „маленькомъ изслѣдованіи" [1]). Г. Лиліенфельдъ заявляетъ себя большимъ патріотомъ и благонамѣреннѣйшимъ консерваторомъ въ духѣ „Гражданина". Онъ надѣется, что его мысли „получатъ надлежащую почву" у современнаго читателя, „у всякаго честнаго человѣка, у русскаго поземельнаго дворянина, у истинныхъ патріотовъ широкой и необъятной (!) Россіи, людей, дорожащихъ исторіей своего отечества, заслугами и жертвами своихъ предковъ, и способныхъ воздать каждому по справедливости и по заслугамъ". Онъ сообщаетъ кстати, что твердо вѣритъ „въ божественный Промыслъ и въ милость обожаемаго Государя нашего", и онъ убѣжденъ, что эта вѣра—присущая, конечно, и крестьянству—должна принести желанныя блага однимъ только потомственнымъ дворянамъ. Г. Лиліенфельдъ полагаетъ, что у насъ существуютъ ка-

[1]) „Какъ предупредить дворянское землевладѣніе отъ неминуемой гибели?" В. К. Лиліенфельда. Спб., 1894.

кіе-то „псевдо-либералы", относящіеся враждебно къ благотворному вмѣшательству правительства въ экономическую жизнь страны; очевидно, всѣ свои свѣденія о нашихъ либералахъ онъ заимствовалъ изъ газеты „Гражданинъ". Онъ стоитъ за государственное вмѣшательство, ибо вмѣшательство возможно лишь въ пользу интересовъ потомственнаго земельнаго дворянства. Г. Лиліенфельдъ приплетаетъ къ дѣлу—какъ говорится, ни къ селу, ни къ городу,—и анархизмъ, и „всѣ (!!) новѣйшія теоріи запада", и убійство Карно, получившее еще особенно трагическій смыслъ оттого, что оно совершилось „почти наканунѣ" появленія въ печати „нашего (г. Лиліенфельда) труда". Все, совершающееся въ мірѣ, должно вести къ доказательству той великой идеи, что необходимо доставить новыя денежныя средства нашимъ захудалымъ дворянамъ-землевладѣльцамъ.

„Что бы тамъ наши псевдо-либералы ни говорили,—разсуждаетъ смѣлый „пензенскій помѣщикъ", воспитанный на статьяхъ „Гражданина",—какія бы прекрасныя мысли и фразы они ни высказывали въ защиту такъ-называемыхъ манчестерскихъ теорій (т.-е. теорій полной свободы капитала, труда, спроса, предложенія и пр., игнорируя все остальное), мы тѣмъ не менѣе глубоко убѣждены, что единственнымъ надежнымъ оплотомъ и помощникомъ правительства—(чтобы ?) въ корнѣ уничтожить и задушить у насъ всѣ новѣйшія теоріи запада, весь ужасъ ученія анархистовъ (на западѣ ?) и т. д.,—являются спасенное отъ разоренія россійское потомственное земельное дворянство и сытый русскій крестьянинъ. Предупредить вскорѣ наступающее безповоротное, неминуемое разореніе перваго класса и рядомъ благодѣтельныхъ правительственныхъ мѣръ улучшить благосостояніе второго класса,—вотъ главнѣйшія задачи нашего правительства. Эти задачи гораздо важнѣе, чѣмъ постройки рельсовыхъ путей, открытіе портовъ, выкупъ желѣзныхъ дорогъ и много другихъ очень хорошихъ мѣръ,—но тѣмъ не менѣе не угрожающихъ такою опасностью, еслибы ихъ теперь не было,—какъ мѣра упорядоченія землевладѣнія".

Оставляя въ сторонѣ своеобразный стиль автора, находящійся въ систематическомъ разладѣ съ грамматикою, мы отмѣтимъ только выдвигаемую и здѣсь, какъ и у г. Трусевича, фигуру „сытаго русскаго крестьянина"; эта фигура показывается только мелькомъ въ началѣ брошюры и затѣмъ исчезаетъ до послѣдней страницы, гдѣ она опять выскакиваетъ какъ маріонетка, но уже въ крайне печальномъ видѣ. Нельзя обойтись безъ мужика, когда рѣчь идетъ о земледѣліи, и наши дворянскіе реформаторы не стѣсняются говорить о крестьянинѣ въ такомъ тонѣ, точно онъ существуетъ

исключительно для пользы помѣщиковъ. У г. Лиліенфельда, какъ и у г. Трусевича, истиннымъ „труженикомъ земли“ выставляется привилегированный землевладѣлецъ, удѣляющій часть своихъ досуговъ распоряженіямъ по сельскому хозяйству, а 70 милліоновъ крестьянъ заняты лишь уклоненіемъ отъ работы, неисполненіемъ своихъ обязательствъ предъ помѣщикомъ, пьянствомъ и полною разнузданностью. Извѣстно, что всѣ вообще дворяне-владѣльцы, какъ таковые, отличаются неизмѣнною аккуратностью въ исполненіи своихъ обязательствъ, думаютъ лишь о полезномъ трудѣ, вина не пьютъ, въ карты не играютъ, не предаются никакимъ излишествамъ и довольствуются самыми умѣренными доходами съ своихъ имѣній, лишь бы сохранить землю для потомства и не причинять ущерба общимъ интересамъ отечества. Эта трогательная идиллія должна внушить „каждому честному человѣку“ глубокое сочувствіе къ незаслуженнымъ бѣдствіямъ земельнаго дворянства и рѣшительное отвращеніе къ крестьянской беззаботности и лѣни. Если помѣщики плохо справляются съ своимъ хозяйствомъ и пропускаютъ сроки платежей по банковскому долгу, то въ этомъ виновата прежде всего „испорченность нравовъ нашего крестьянина, не признающаго никакихъ обязательствъ и бросающаго зачастую работу въ самый разгаръ полевой дѣятельности, несмотря на полученіе задатковъ“ и т. д. Радикальныя тутъ нужны мѣропріятія, и именно такія, которыя, несмотря ни на что, дали бы „искренно преданнымъ землѣ дворянамъ, любящимъ свое пепелище, ухаживающимъ за нимъ (а таковы вѣдь, по условію, всѣ вообще привилегированные владѣльцы!) возможность безбѣднаго и независимаго существованія“.

Г. Лиліенфельдъ находитъ, что назначеніе заложенныхъ имѣній въ продажу не по суммѣ предварительной оцѣнки, а по цифрѣ банковскаго долга, не могущаго превышать 75% стоимости, совершенно напрасно разоряетъ владѣльцевъ и является безспорно несправедливымъ „въ отношеніи русскаго поземельнаго дворянина, честнаго, благороднаго труженика земли, главной опоры престола и правительства, элемента, дающаго лучшихъ людей своихъ для службы царю и отечеству“. Этотъ дворянинъ-опора, дворянинъ-элементъ мало объясняетъ, однако, сущность поземельнаго кредита, а между тѣмъ послѣдній дѣйствительно основанъ на ошибочномъ пониманіи свойствъ землевладѣнія, какъ мы не разъ указывали на страницахъ „Вѣстника Европы“ [1]).

[1]) См., напр, статью о „Поземельномъ вопросѣ въ Европѣ и Россіи“, 1885, мартъ и апрѣль.

Не было бы надобности прибѣгать къ реторическимъ прикрасамъ, еслибы вопросъ былъ ясенъ самому автору; но въ томъ-то и дѣло, что большинство пишущихъ и составляющихъ проекты о земледѣльческомъ кризисѣ не считаетъ даже нужнымъ ознакомиться съ предметомъ, имѣющимъ свою довольно значительную литературу не только на западѣ, но отчасти и у насъ. Такъ и г. Лиліенфельдъ безпомощно путается въ своихъ доводахъ и впадаетъ на каждомъ шагу въ забавнѣйшія противорѣчія, по отсутствію необходимыхъ знаній и логической послѣдовательности въ мысляхъ.

Черезъ нѣсколько строкъ послѣ ходульной фразы о „благородномъ труженикѣ земли“ г. Лиліенфельдъ уже забываетъ о своемъ исходномъ положеніи и пускается въ сбивчивыя „историческія“ разъясненія по поводу того факта, что этотъ „труженикъ земли“ отвыкъ отъ земли и отсталъ отъ сельскаго хозяйства. Произошло это отдѣленіе дворянъ отъ земледѣлія, по мнѣнію автора, еще при Петрѣ Великомъ, который „отозвалъ земельныхъ (?) бояръ отъ земли“, а боярскихъ дѣтей отсылалъ на „ученіе моднымъ наукамъ“ (т.-е. модной еще понынѣ ариѳметикѣ и разнымъ столь же моднымъ техническимъ искусствамъ). Подъ вліяніемъ подобныхъ правительственныхъ распоряженій, русское поземельное дворянство вынуждено было, будто бы, промѣнять земледѣльческій трудъ на государственную службу и сдѣлаться противъ воли „опорою“ правительства,—такъ что авторъ незамѣтно самъ же открещивается отъ великихъ историческихъ заслугъ своего сословія и сваливаетъ отвѣтственность за нихъ всецѣло на принудительныя мѣры государственной власти. Дворяне,—говоритъ онъ,—не виноваты, что ихъ заставляли служить въ городахъ и столицахъ, вмѣсто того, чтобы давать имъ хозяйничать въ помѣстьяхъ. Авторъ даже не знаетъ, что помѣстья давались именно за службу и подъ условіемъ службы, взамѣнъ денежнаго жалованья, и что самое крѣпостное право вызывалось и оправдывалось служебною повинностью помѣщиковъ. Во всякомъ случаѣ, дворяне не могли быть „тружениками земли“, потому что они обязаны были трудиться на другихъ поприщахъ, въ силу „мѣропріятій“ правительства.

„Виновата ли деревня въ томъ,—продолжаетъ г. Лиліенфельдъ,—что, благодаря этимъ мѣропріятіямъ, лучшія и интеллигентнѣйшія силы русскаго дворянства начали тяготѣть и до сихъ поръ тяготѣютъ къ столицамъ, *совершенно отошли отъ земли* и о деревнѣ часто имѣютъ такое же понятіе, какое большинство русскихъ (имѣетъ) о сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ? Виновата ли земля (?) въ томъ, что послѣ прохожденія общаго

образовательнаго курса, нашъ дворянинъ ищетъ дѣятельности не въ деревнѣ, а иногда совершенно безполезно всю свою жизнь проводитъ въ разныхъ канцеляріяхъ, отдѣльныхъ частяхъ и вообще учрежденіяхъ, ничего общаго съ землею не имѣющихъ, такъ какъ эта деревня, до послѣднихъ дней нашихъ, почти ничѣмъ привлечь его не можетъ? Наконецъ, виноватъ ли дворянинъ въ томъ, что въ силу изстари установившихся предразсудковъ онъ, дворянинъ, непремѣнно долженъ былъ начать свою карьеру службою и уже потомъ, изрядно поплатившись карманомъ (?), здоровьемъ и энергіею, почти разслабленный, разочарованный, ѣдетъ въ деревню, гдѣ онъ, почти чужой, ни къ чему рукъ въ большинствѣ приложить не можетъ, такъ какъ воспитанъ и вскормленъ въ иномъ, столичномъ духѣ".

Такимъ образомъ, вмѣсто истиннаго „труженика земли" мы имѣемъ предъ собою подневольнаго чиновника, совершенно чуждаго землѣ; вдобавокъ этотъ „разслабленный" канцелярскою службою дворянинъ не только не получаетъ за свои труды соотвѣтственнаго вознагражденія, пенсій, арендъ и т. п., но еще изрядно приплачиваетъ изъ своего кармана на пользу общую или на представительство. Одна фантазія смѣняется другою, еще болѣе странною, и въ результатѣ остается только неизмѣнное утвержденіе автора, что дворянинъ—кто бы онъ ни былъ и что бы ни дѣлалъ—абсолютно ни въ чемъ не виноватъ,—не виноватъ ни въ своихъ заслугахъ, ни въ своихъ грѣхахъ и упущеніяхъ. Не поздоровится отъ такихъ защитниковъ, какъ г. Лиліенфельдъ!

Совершенно иная мѣрка прилагается къ крестьянамъ, которые вообще рисуются какими-то извергами рода человѣческаго,—точно дѣло идетъ объ отверженной низшей расѣ, не имѣющей ничего общаго съ великимъ и славнымъ россійскимъ народомъ. Мимоходомъ авторъ называетъ крестьянство „главнымъ элементомъ земли"; но этотъ „главный элементъ" есть для него только стадо животныхъ, прѣзрѣнный рабочій скотъ, притомъ негодный и вѣчно бунтующій противъ добродѣтельнаго земельнаго труженика-помѣщика-чиновника. Г. Лиліенфельдъ „почтительно" спрашиваетъ: „виноватъ ли нашъ землевладѣлецъ-дворянинъ въ томъ, что крестьянинъ сдѣлался пьяницей, развратнымъ, что онъ не признаетъ болѣе стариковъ, что подчасъ онъ и поджигатель, и убійца и т. п.? Что же можетъ сдѣлать земельный дворянинъ, за отсутствіемъ власти (все еще мало властей!), для того, чтобы крестьянинъ добросовѣстно исполнялъ принятыя на себя обязательства?" Конечно, изображаемый авторомъ дворянинъ тутъ не при чемъ, ибо

онъ даже не живетъ на мѣстѣ, а если живетъ, то не можетъ оказывать полезное нравственное вліяніе на крестьянъ, будучи слишкомъ занятъ своими собственными добродѣтелями и извлеченіемъ матеріальныхъ выгодъ изъ мужицкой нужды и рабочей силы. „Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,—разсказываетъ г. Лиліенфельдъ,—дошло до того, что нерѣдко, опасаясь за свое существованіе, которое весьма часто далеко не безопасно въ деревнѣ, дворянинъ предпочитаетъ бѣжать изъ своего гнѣзда, бросаетъ все на произволъ судьбы и продаетъ свое имущество первому попавшемуся кулаку". Каковы малодушные! Авторъ спѣшитъ, впрочемъ, оговориться, что гдѣ дѣйствуютъ энергическіе земскіе начальники, „тамъ относительно царитъ благодать", а гдѣ этого нѣтъ, тамъ плохо приходится владѣльцамъ. „Попробуй помѣщикъ, несмотря на всѣ свои милости (?) и льготы крестьянину, даже въ наше трудное время, когда всѣ мысли должны быть направлены только къ одной цѣли—какъ бы скорѣе собрать необходимую сумму для внесенія процентовъ въ банкъ и уплаты земельныхъ повинностей,—потребовать въ свою очередь отъ крестьянина строгаго и законнаго исполненія принятыхъ имъ обязательствъ! Рано или поздно, если не всегда жизнью (хорошо еще, что не всегда!), то имуществомъ онъ, помѣщикъ, навѣрное поплатится".

Этотъ ужасный крестьянинъ, преслѣдующій, какъ кошмаръ, воображеніе почтеннаго г. Лиліенфельда, нуждается очевидно въ суровой опекѣ, безъ всякаго послабленія и пощады, — ибо во всемъ виноватъ онъ, мужикъ, источникъ всѣхъ бѣдствій и огорченій безотвѣтственнаго русскаго дворянина-земельнаго труженика-разслабленнаго чиновника-помѣщика. Что крестьянину тоже нужны нѣкоторыя матеріальныя облегченія, что ему тоже надо жить, а не только исполнять повинности и отвѣчать за нихъ своей шкурой, что слѣдуетъ позаботиться объ освобожденіи его отъ тьмы невѣжества, объ открытіи ему доступа къ образованію и просвѣщенію,—объ этомъ не подумалъ авторъ въ своемъ христіанскомъ смиреніи; онъ полагаетъ какъ будто, что и христіанскія чувства обязательны лишь для крестьянъ, и притомъ исключительно въ интересахъ привилегированнаго владѣльца. Необходимо,—говоритъ онъ,—„прежде всего поднять религіозно-нравственныя чувства крестьянина, заставить его уважать старость (тоже крестьянъ и, слѣдовательно, пьяницъ и пр., иногда даже сидѣвшихъ въ тюрьмѣ, по увѣренію автора въ другомъ мѣстѣ брошюры), слушаться стариковъ своихъ, вселить имъ убѣжденіе, что только тотъ крестьянинъ, который добросовѣстно исполняетъ принятыя на себя обязательства предъ помѣщикомъ (только предъ помѣщикомъ!), *не-*

рѣдко являющимся крестьянину истиннымъ благодѣтелемъ и въ благодарность отъ него получающимъ полную разнузданность,—можетъ разсчитывать когда-нибудь (?) на царскую милость и въ правѣ считаться истиннымъ слугою Царя и отечества". Новая теорія,—что исполненіе работъ для владѣльца есть служба Царю и отечеству! Автору представляется, что въ отношеніяхъ между помѣщикомъ и крестьяниномъ обязательства лежатъ только на послѣднемъ, что первый имѣетъ только одни права и никакихъ обязанностей, что помѣщикъ можетъ искать рабочую силу за безцѣнокъ, содержать работниковъ въ свиномъ хлѣвѣ или даже оставлять ихъ ночевать подъ открытымъ небомъ и кормить ихъ тухлятиною, и за все это крестьяне должны быть только благодарны. Отъ хорошаго, добросовѣстнаго хозяина нанявшіеся крестьяне не уйдутъ съ задатками, а бѣгаютъ только отъ людей, которые сами никакихъ обязательствъ за собою не признаютъ. Кто ловитъ крестьянскую голь для пріобрѣтенія дешевыхъ или почти даровыхъ работниковъ, тотъ напрасно будетъ взывать къ властямъ о содѣйствіи; а кто цѣнитъ рабочую силу по справедливости и обращается съ крестьянами по-человѣчески, тотъ не имѣетъ поводовъ безпокоиться за безопасность своего существованія въ деревнѣ. Для настоящаго, дѣльнаго и честнаго хозяина всѣ ужасы, описанные г. Лиліенфельдомъ, суть только ребяческія выдумки, плоды больной фантазіи, а между тѣмъ эти выдумки составляютъ нѣчто весьма реальное для владѣльцевъ, привыкшихъ смотрѣть на мужика какъ на безправное „быдло".

Было время, когда Катковъ жестоко нападалъ на польскихъ помѣщиковъ западнаго края за это отношеніе къ крестьянству какъ къ рабочему скоту, а теперь усердные продолжатели и послѣдователи Каткова сами относятся къ русскому крестьянину не иначе какъ къ „быдлу", приписывая такой же взглядъ и нашему помѣщичьему дворянству. Мы не сомнѣваемся, что идеи г. Лиліенфельда и его единомышленниковъ, пишущихъ въ „Гражданинѣ" и „Московскихъ Вѣдомостяхъ", суть только личныя воззрѣнія немногихъ господъ, далеко не составляющихъ большинства среди дворянъ-землевладѣльцевъ. Но эти немногіе господа говорятъ и хлопочутъ отъ имени всѣхъ, а большинство молчитъ, позволяя имъ выдавать себя за истинныхъ представителей дворянскаго сословія, выразителей его современныхъ нуждъ и стремленій.

Въ чемъ же заключаются главнѣйшія нужды нашего дворянскаго землевладѣнія, по идеямъ г. Лиліенфельда и подобныхъ ему публицистовъ? Первымъ дѣломъ, разумѣется, надо освободить вла-

дѣльцевъ отъ заключенныхъ ими долговыхъ обязательствъ, такъ какъ вынуждать исполненіе какихъ-либо обязательствъ можно и должно только относительно невѣжественныхъ крестьянъ. Освободившись отъ уплаты долговъ, процентовъ и недоимокъ, помѣщики сразу превратятся въ превосходныхъ хозяевъ и быстро приведутъ свои имѣнія въ образцовый видъ. За это ручается честное слово „истиннаго дворянина", г. В. Лиліенфельда. „Всѣ эти дворяне—увѣряетъ г. Лиліенфельдъ,—при надлежащей помощи и своевременной поддержкѣ, могли бы отлично продолжать вести дѣла своего хозяйства, еслибы были избавлены отъ чрезмѣрной обузы платежей процентовъ, пени, штрафовъ и пр., какъ въ дворянскій, такъ и въ другіе банки. Отнимите у нихъ эту заботу, и вы увидите, что они всѣ дѣла поведутъ прекрасно, въ особенности же теперь, послѣ горькихъ уроковъ тяжелаго и неурожайнаго времени!" Авторъ предлагаетъ какъ будто сдѣлать опытъ, уничтожить всѣ дворянскіе долги, а потомъ „мы увидимъ"; если же окажется не то, что ожидалось, то можно начать опять съ начала—дождаться накопленія новыхъ долговъ и затѣмъ упразднить ихъ снова, пока наконецъ помѣщичье дворянство не достигнетъ желаннаго процвѣтанія.

Такой проектъ былъ бы слишкомъ простъ и для г. Лиліенфельда, и авторъ не рѣшается предложить его прямо, при всей его заманчивости. Онъ придумалъ другой, болѣе окольный путь для достиженія того же результата. „Не подлежитъ сомнѣнію,—говоритъ онъ,—что помощь этимъ истиннымъ труженикамъ земли (какими опять оказываются разслабленные чиновники, оторванные отъ земли) должна составить главную задачу правительства". Если не будутъ приняты мѣры, то обществу и государству грозитъ невиданное еще бѣдствіе—дворянскій голодъ.

„Что можетъ быть страшнѣе голода интеллигента-труженика, землевладѣльца-дворянина?—восклицаетъ г. Лиліенфельдъ.—Если голодъ крестьянина два года тому назадъ расшевелилъ наши сердца, расшевелилъ всю Россію и возбудилъ въ ней лучшія христіанскія чувства, если для утоленія голода крестьянина державная рука нашего обожаемаго Монарха не остановилась предъ необходимостью почти безвозвратно дать крестьянамъ около 150 милліоновъ рублей государственнаго сбереженія, не считая громадныхъ суммъ деньгами и продуктами, поступившими добровольными пожертвованіями, — то неужели Россія остановится теперь предъ чѣмъ-нибудь для поддержанія лучшихъ сыновъ ея земли, дающихъ ей воиновъ, чиновниковъ, научныхъ свѣтилъ, администрацію и т. п."—Ясно, что ни предъ чѣмъ нельзя остановиться,

когда дѣло идетъ о голодѣ дворянъ-землевладѣльцевъ; — однако, авторъ не предлагаетъ снабдить ихъ хлѣбомъ, даровыми обѣдами и ссудами на обсѣмененіе полей. Утолить голодъ помѣщиковъ не такъ легко, какъ насытить проголодавшагося мужика. Для удовлетворенія голодающихъ дворянъ необходимо устроить такъ, чтобы долги ихъ были погашены и чтобы наиболѣе цѣнныя части имѣній остались за владѣльцами; сверхъ того, казна должна дать наличныя деньги за лѣсные участки, которые теперь не приносятъ дохода. Тогда помѣщики будутъ имѣть въ рукахъ и землю, и капиталы, что и требовалось доказать; а нужныя для этого сотни милліоновъ могутъ быть доставлены экспедиціей заготовленія государственныхъ бумагъ.

Комбинація, придуманная г. Лиліенфельдомъ, кажется на первый взглядъ довольно скромною и цѣлесообразною. Вмѣсто назначенія продажи съ публичнаго торга для покрытія недоимокъ по банковому долгу, „правительство пріобрѣтаетъ отъ дворянина его заложенное имѣніе по той самой оцѣнкѣ, по которой оно (т.-е. собственно дворянскій банкъ) выдало ему ссуду, т.-е., иными словами, оставляетъ за собою такую часть земли, лѣсовъ, угодій и пр., сколько окажется нужнымъ для полнаго разсчета съ дворянскимъ банкомъ“. Эти земли „объявляются собственностью правительства и поступаютъ въ вѣденіе министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ. Свободная часть, безъ всякаго лежащаго на ней долга, возвращается владѣльцу, причемъ, само собою разумѣется, ему оставляются всѣ усадебныя постройки, инвентарь, скотъ и т. д. Во избѣжаніе же повторенія новаго залога, перешедшая такимъ образомъ владѣльцу земля объявляется неприкосновенною (заповѣднымъ имѣніемъ)“, и т. д. Такъ какъ теперь поставлены уже нѣкоторыя границы прежнему истребленію лѣсовъ, то помѣщикамъ выгоднѣе всего сбыть свои лѣсныя дачи казнѣ за хорошую цѣну. Прежде, какъ откровенно поясняетъ авторъ, „если въ имѣніяхъ былъ неурожай, или хлѣбъ въ низкой цѣнѣ, или вообще если для чего-нибудь нужны были деньги и въ имѣніяхъ имѣлся лѣсъ, послѣдній продавали на срубъ, на вырученныя деньги оборачивались, а находившаяся подъ нимъ земля обращалась въ пашню“. А теперь, „смотришь, въ иномъ имѣніи богатства необъятныя, а трогать ихъ нельзя, далѣе извѣстной нормы рубить не смѣй“. Поэтому, при отобраніи отъ дворянъ части ихъ земель для разсчета съ дворянскимъ банкомъ, государство должно прежде всего пріобрѣсть въ собственность лѣсныя пространства заложенныхъ имѣній, по добровольной оцѣнкѣ (примѣрно по 400 р. за десятину земли съ старымъ лѣсомъ). Затѣмъ, если нѣтъ лѣса или

цѣнность его недостаточна для покрытія долга, то прежде всего надо брать земли, находящіяся въ небольшомъ разстояніи отъ усадьбы, и во всякомъ случаѣ, какъ сказано выше, „весь живой и мертвый инвентарь имѣнія, усадебныя постройки, фабрики, мельницы и т. п., слѣдуетъ по возможности оставлять владѣльцу". Словомъ, за долги, доходящіе до 75% стоимости имѣнія, отойдутъ къ казнѣ только пустоши, лѣса и наименѣе доходные участки пахатныхъ и другихъ земель, а все остальное будетъ сохранено за помѣщиками, уже безъ всякихъ долговыхъ обязательствъ и платежей. Вдобавокъ, полученныя для покрытія долговъ земли можно отдать въ долгосрочную аренду тѣмъ же заемщикамъ-дворянамъ, за самую низкую арендную плату, такъ что владѣльцы въ сущности останутся тѣ же; а если прежній владѣлецъ не пожелаетъ или не будетъ въ состояніи заняться хозяйствомъ, то земля можетъ быть отдана окрестнымъ крестьянамъ, которые,—какъ справедливо говоритъ на этотъ разъ авторъ,—„конечно, съ радостью воспользуются предложеніемъ казны, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ не только казна ничего не потеряетъ на оставшейся за нею землѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ разрѣшенъ жгучій вопросъ о малоземельности нашего крестьянина". Другого выхода нѣтъ: приходится или уменьшить банковскій процентъ до возможнаго минимума, „никакъ не болѣе 3% въ годъ вмѣстѣ съ погашеніемъ", или же „пріобрѣсти всѣ имѣнія въ казну, по намѣченной программѣ, оставивъ каждому лучше немногое, но зато чистое, безъ долговъ, безъ обязательствъ и закладныхъ". Новые выпуски кредитныхъ билетовъ разрѣшатъ-де весь этотъ вопросъ безъ особенныхъ затрудненій; авторъ предполагаетъ даже, что эти новые выпуски могутъ быть обезпечены помѣщичьими землями, перешедшими въ казну. Чтобы изъять изъ обращенія всѣ займы дворянскаго банка, кромѣ выигрышныхъ, потребовалось бы примѣрно 500 милліоновъ рублей. „Такъ какъ на такую же сумму правительство пріобрѣтаетъ разныхъ земель, лѣсовъ, угодій и пр., то кто же помѣшаетъ выпустить на эту же сумму кредитныхъ билетовъ, гарантируя выпускъ ихъ спеціальнымъ фондомъ въ видѣ означенной недвижимой собственности государства?" Въ дѣйствительности, помѣшаетъ сдѣлать это здравый смыслъ, подкрѣпляемый общеизвѣстными историческими примѣрами. Бумажныя деньги нельзя смѣшивать съ ипотечными, закладными листами, допускающими реализацію путемъ продажи заложенныхъ имѣній; казна не будетъ вѣдь обмѣнивать новые кредитные билеты на поземельные участки по какимъ-нибудь другимъ основаніямъ, чѣмъ вообще при продажѣ казенныхъ земель въ частныя руки, и слѣдовательно спе-

ціальное земельное обезпеченіе ничего не прибавитъ къ тому, что и безъ того значится на каждомъ кредитномъ билетѣ,—что они „обезпечиваются всѣмъ достояніемъ государства“. Избавившись такимъ или инымъ способомъ отъ долговъ, помѣщики будутъ опять нуждаться въ оборотныхъ средствахъ, и опять-таки, по проекту г. Лиліенфельда, государственный банкъ долженъ будетъ выдавать деньги за 4% годовыхъ, подъ обезпеченіе половины урожая, рогатаго скота и т. д.; зато слѣдуетъ объявить государственною собственностью „всѣ естественныя богатства, находящіяся въ нѣдрахъ земли, какъ отошедшей въ казну, такъ и оставшейся въ пользу владѣльца“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, хозяйничанье въ деревнѣ будетъ чѣмъ-то въ родѣ „государственной службы“, за которую полагаются „почетныя награды“ по представленіямъ предводителей дворянства. Продажу нынѣшнихъ помѣщичьихъ имѣній „лицамъ недворянскаго происхожденія“ (и крестьянамъ и сельскимъ обществамъ?) надо „безусловно воспретить“. Отставнымъ чиновникамъ и военнымъ, какъ и вообще дворянамъ, правительство должно оказать содѣйствіе въ пріобрѣтеніи имѣній, если послѣднія „пріобрѣтаются ими съ цѣлью провести остатокъ дней своихъ въ деревнѣ и расходовать тамъ назначенныя имъ пенсіи“. Г. Лиліенфельдъ совѣтуетъ также ограничить дальнѣйшій кредитъ помѣщикамъ изъ земельныхъ банковъ, „во избѣжаніе новой чрезмѣрной задолженности означенныхъ имѣній, а слѣдовательно, необходимости государству вновь явиться на спасеніе будущихъ или настоящихъ заемщиковъ этихъ банковъ“.

Все это необходимо, по мнѣнію автора, для предотвращенія великихъ бѣдъ въ настоящемъ и будущемъ: „дворянство погибаетъ,—говоритъ онъ,—спасите его, вы (т.-е. правительство) это можете,—платимый процентъ за землю и всѣ лежащіе на ней налоги невыносимы и оправдаться теперь не могутъ!“ Ежегодный процентъ (до $5^1/_2$ съ погашеніемъ), „выбираемый теперь дворянскимъ земельнымъ банкомъ, „долженъ считаться чрезмѣрнымъ, даже для земли „лихвеннымъ“, всецѣло направленнымъ или къ полному разоренію землевладѣльца, или въ лучшемъ случаѣ къ стремленію держать его въ постоянной кабалѣ у правительства, не дать ему, какъ говорится, свободно вздохнуть, и заставитъ его всю свою дѣятельность только направить къ одной цѣли—какъ бы не разориться, какъ бы только уплатить банку, какъ бы не попасть подъ молотокъ“. Если возгласы о спасеніи не помогутъ, то „истинный, благородный труженикъ земли“ будетъ „что только можно, тащить теперь же съ земли, не заботиться о будущемъ, и ко дню перехода его имѣнія земельному

кулаку или, послѣ неудачныхъ торговъ, казнѣ, заложенное имѣніе будетъ въ самомъ печальномъ состояніи и должно будетъ напоминать собою времена наиболѣе хищническаго хозяйничанья". Истинный труженикъ земли „высосетъ изъ земли что возможно, и со словами: „après nous le déluge", раскланяется и навсегда простится съ деревней, бывшей его кормилицей". Поступятъ такъ помѣщики потому, что „дворянство нашего отечества всегда играло выдающуюся роль, ему Россія многимъ обязана, лучшіе сыны его клали животъ свой для благосостоянія Россіи, а слѣдовательно эта Россія, изъ чувства простой признательности, не можетъ быть теперь хладнокровной зрительницей, какъ лучшія силы ея, въ неравной борьбѣ за существованіе, должны неминуемо погибнуть". Нельзя же допустить, чтобы „на оплотъ русскаго престола, т.-е. на армію россійскихъ земельныхъ дворянъ, не нашли возможнымъ понести хотя бы самыя ничтожныя жертвы". А если, паче чаянія, правительство не исполнитъ этихъ желаній и не послушается этихъ настойчивыхъ призывовъ, то помѣщичье дворянство отомститъ неблагодарному отечеству опустошеніемъ земель, пожалованныхъ когда-то за службу. Такъ выходитъ по логикѣ г. Лиліенфельда.

IV.

Даже изъ разсужденій и признаній такихъ ярыхъ защитниковъ сословныхъ интересовъ, какъ г. Лиліенфельдъ, можно видѣть, что въ общемъ дворяне-землевладѣльцы далеко не выполняютъ своего назначенія и не въ состояніи выполнять его при существующихъ условіяхъ. Правда, большинство помѣщиковъ, соблазнившихся благодѣяніями земельнаго кредита, находится въ незавидномъ и отчасти даже въ трагическомъ положеніи,—и не всегда по своей винѣ; но суммы, взятыя въ долгъ, прожиты владѣльцами большею частью на личныя и семейныя ихъ надобности, безъ всякаго отношенія къ общественнымъ и сельскохозяйственнымъ интересамъ, и потому крайне страннымъ кажется тотъ приподнятый тонъ, въ какомъ говорится объ обязанности государства помочь заемщикамъ земельныхъ банковъ и принести для нихъ новыя жертвы изъ общенародныхъ средствъ.

Быть можетъ, для землевладѣнія слишкомъ обременительны и высоки пятипроцентные взносы за занятые капиталы; но гдѣ могли бы владѣльцы получить деньги за столь умѣренные проценты, какъ взимаемые дворянскимъ банкомъ? Не будь этого

банка, имъ пришлось бы по прежнему платить 8% и 10%, а теперь оказывается, что и 5½%, съ погашеніемъ, есть „лихвенный" ростъ, ведущій къ разоренію. Что же должны сказать землевладѣльцы другихъ сословій, которымъ недоступенъ другой кредитъ, кромѣ восьми- или десяти-процентнаго? Почему не вспомнить тогда о крестьянахъ, которымъ приходится уплачивать и 60%, и даже больше, по своимъ долговымъ обязательствамъ? Неужели государственная власть должна заботиться объ исключительно-дешевомъ кредитѣ для однихъ помѣщиковъ, оставивъ главную массу сельскаго населенія безъ всякаго иного кредита, кромѣ ростовщическаго? Справедливость требовала бы, чтобы, по крайней мѣрѣ, крестьянству дана была возможность платить за долги тотъ процентъ, о разорительности котораго такъ громко вопіютъ гг. Лиліенфельды и ихъ единомышленники въ печати. Разумѣется, удобнѣе платить 3%, чѣмъ 6%, и еще пріятнѣе ничего не платить, какъ вполнѣ резонно доказываетъ г. Лиліенфельдъ; но въ такомъ случаѣ не слѣдовало дѣлать непосильные долги и растрачивать занятыя деньги непроизводительно. Государство нисколько не обязано отвѣчать за неразсчетливость помѣщиковъ, и если оно поддерживаетъ дворянское землевладѣніе, то только въ виду предполагаемой и возможной роли его въ общественно-культурной жизни страны. Оправдываютъ ли, однако, привилегированные владѣльцы тѣ предположенія и ожиданія, которыя связывались съ ихъ дѣятельностью въ теоріи, въ принципѣ? Въ этомъ позволительно усомниться, и основательность такого сомнѣнія подтверждается самими представителями и защитниками дворянскихъ интересовъ.

Трудно винить помѣщиковъ въ томъ, что они уходятъ изъ деревни при первой возможности, что они бросаютъ свои имѣнія на произволъ судьбы, что они предпочитаютъ жить въ городахъ и столицахъ и отказываются отъ роли просвѣтителей и руководителей мѣстнаго населенія. Для образованнаго человѣка, имѣющаго нѣкоторыя умственныя потребности и привыкшаго къ извѣстнымъ культурнымъ условіямъ быта, является истиннымъ самоотверженіемъ постоянное пребываніе въ современной русской деревнѣ, въ качествѣ сельскаго хозяина, когда нерѣдко на сотни верстъ кругомъ нѣтъ подходящей школы для его дѣтей, нѣтъ библіотеки, нѣтъ врача, нѣтъ даже правильныхъ почтовыхъ сообщеній, и на каждомъ шагу даютъ себя чувствовать тяжелыя отрицательныя стороны народнаго существованія и хозяйства. Подростаютъ дѣти, и для воспитанія ихъ нужно переѣхать въ городъ, гдѣ есть учебное заведеніе, или надо разстаться съ

дѣтьми, довѣривъ ихъ чужимъ людямъ за извѣстную плату; и въ томъ и въ другомъ случаѣ требуются усиленные расходы, а съ переселеніемъ владѣльца съ семьею въ городъ, хозяйство неизбѣжно разстроивается и приходитъ въ упадокъ. На эти безспорные житейскіе факты много разъ указывалось въ нашей журналистикѣ, и значеніе ихъ едва ли можетъ быть ослаблено частными усиліями отдѣльныхъ лицъ. Въ нашей современной деревнѣ нѣтъ той атмосферы, которая поддерживала бы энергію и бодрость духа, и въ то же время для темной крестьянской массы было бы чрезвычайно важно и благотворно присутствіе на мѣстѣ такихъ просвѣщенныхъ, преданныхъ народу дѣятелей, какими могли бы быть представители помѣщичьяго дворянства. Но нельзя требовать отъ землевладѣльцевъ самоотверженія, и только немногія свѣтлыя личности могутъ рѣшиться отдать свои силы на непосредственную службу народу гдѣ-нибудь въ сельской глуши, вдали отъ культурныхъ центровъ, въ сторонѣ отъ обычныхъ путей къ карьерѣ, къ служебнымъ и общественнымъ успѣхамъ. Тѣмъ болѣе достойна уваженія и признательности скромная дѣятельность людей, зарывшихся въ деревню не только для завѣдыванія своимъ собственнымъ хозяйствомъ и для увеличенія его доходности, но и для посильной пользы крестьянству, для возможнаго вліянія и воздѣйствія на всю обстановку мѣстнаго быта. Въ этомъ отношеніи особенно много можетъ сдѣлать женщина, самоотверженная и человѣколюбивая отъ природы, и имена нѣкоторыхъ помѣщицъ, случайно попавшія въ печать, даютъ ручательство въ томъ, что лучшія нравственныя чувства не заглохнутъ въ нашемъ образованномъ классѣ, подъ давленіемъ односторонникъ матеріальныхъ заботъ. Хорошіе и дѣльные люди, живущіе въ своихъ имѣніяхъ, устроиваютъ и поправляютъ свои дѣла безъ помощи искусственныхъ льготъ и пособій; они не кричатъ: „спасите, дворянство погибаетъ“, а трудятся по мѣрѣ возможности надъ улучшеніемъ и усовершенствованіемъ своего хозяйства; они не жалуются на тяжесть платежей дворянскому банку и не требуютъ никакихъ денежныхъ жертвъ отъ правительства, ибо видятъ окружающую крестьянскую бѣдность, которая дѣйствительно вопіетъ объ облегченіи отъ разнообразныхъ повинностей и ростовщическихъ путъ. Рядомъ съ общею бѣднотою и великими нуждами окрестнаго населенія, всякій добросовѣстный помѣщикъ долженъ сознавать для себя невозможность настаивать на новыхъ спеціальныхъ мѣрахъ въ пользу имущественныхъ интересовъ только своего сословія. „Истинные труженики земли“, какіе бываютъ, конечно, и между дворянами-землевла-

дѣльцами, должны отрекаться отъ всякой солидарности съ новѣйшими самозванными ходатаями, выступающими отъ ихъ имени въ печати.

Одни финансовыя и бюрократическія мѣропріятія не поднимутъ помѣщичьяго класса и не упрочатъ дворянскаго землевладѣнія. Землевладѣлецъ можетъ разсчитывать на процвѣтаніе своего имѣнія, если онъ опытный, подготовленный къ своему дѣлу хозяинъ и можетъ всецѣло посвятить себя сельско-хозяйственной дѣятельности; а много ли найдется у насъ помѣщиковъ, которые удовлетворяли бы этимъ двумъ существеннымъ условіямъ? Наше дворянство соединяетъ въ себѣ двѣ различныя и несовмѣстимыя функціи: оно есть служилое, чиновничье сословіе, тѣсно связанное съ жизнью административныхъ центровъ—городовъ и столицъ, и въ то же время оно есть классъ землевладѣльческій, связанный съ интересами деревни и сельскаго крестьянства. Какъ служилое сословіе, дворянство оторвано отъ своихъ имѣній и по неволѣ смотритъ на нихъ исключительно какъ на источникъ матеріальныхъ средствъ и доходовъ, независимо отъ всякихъ заботъ о земледѣліи и сельскомъ хозяйствѣ. Для того, чтобы дворянство сдѣлалось сельско-хозяйственнымъ классомъ, оно должно перестать быть служилымъ; а такая перемѣна характера цѣлаго сословія невозможна уже потому, что нѣтъ другихъ общественныхъ классовъ, которые способны были бы въ близкомъ будущемъ замѣнить дворянство въ его роли разсадника интеллигентныхъ силъ, необходимыхъ для служебной и общественной дѣятельности. Превращеніе дворянъ-землевладѣльцевъ въ настоящихъ сельскихъ хозяевъ будетъ долго еще встрѣчаться лишь въ видѣ единичныхъ фактовъ, исключеній изъ общаго правила,—ибо съ одной стороны работа въ деревнѣ мало заманчива и не даетъ пищи ни честолюбію, ни страсти къ удовольствіямъ и развлеченіямъ, а съ другой—спросъ на образованныхъ людей въ разныхъ сферахъ государственной службы слишкомъ слабо удовлетворяется еще другими сословіями, кромѣ дворянства. А военные и гражданскіе чины, при всѣхъ своихъ заслугахъ и достоинствахъ, никакъ не могутъ въ то же время представлять собою интересы земледѣлія, и потому послѣдніе неминуемо страдаютъ и остаются въ загонѣ. Землевладѣніе существуетъ и какъ будто поддерживается; но оно отдѣляется отъ сельскаго хозяйства, теряетъ жизнь и смыслъ, становится формою безъ содержанія и рано или поздно перестаетъ давать то единственное, что интересуетъ владѣльца,—денежный доходъ. Запущенное земледѣліе неизбѣжно отражается на доходности землевладѣнія, а

истребленіе природныхъ богатствъ, сопровождаемое временными выгодами, приводитъ къ ликвидаціи, которую можно отсрочить, но не устранить. При такомъ ходѣ поземельныхъ дѣлъ имѣетъ нѣкоторое разумное основаніе проектъ передачи заложенныхъ имѣній въ казну, которая могла бы отъ себя раздавать участки въ долгосрочную аренду нуждающимся въ землѣ крестьянамъ и сельскимъ обществамъ. Выкупъ частно-владѣльческихъ лѣсовъ, въ видѣ общей мѣры, а не только относительно заложенныхъ въ банкахъ земель, имѣлъ бы несомнѣнно большое государственное значеніе и вполнѣ оправдывался бы самою исторіею нашего лѣсного законодательства, которое только послѣ многихъ колебаній отказалось отъ стараго естественнаго принципа принадлежности всѣхъ вообще лѣсовъ государству; но, разумѣется, цѣнность лѣса для выкупа должна опредѣляться нормою годовой доходности, а не стоимостью дерева на срубъ, какъ предлагаетъ г. Лиліенфельдъ, — ибо лѣса не предназначены къ сплошному уничтоженію.

Двѣ черты непріятно поражаютъ въ новѣйшей quasi-дворянской литературѣ: настойчивыя напоминанія о заслугахъ дворянства, какъ „опоры отечества“, и явно непріязненное отношеніе къ крестьянству. Въ обществѣ не принято, чтобы люди сами превозносили себя громогласно, и то же самое примѣнимо и къ представителямъ извѣстныхъ сословій; иногда эти похвальбы просто не имѣютъ смысла и повторяются съ чужихъ словъ, по устарѣлымъ заграничнымъ шаблонамъ,—что особенно странно со стороны публицистовъ, выдающихъ себя за выразителей самобытныхъ русскихъ идей и презрительно отзывающихся обо „всѣхъ ученіяхъ запада“. Выраженіе, что дворянство есть опора престола и отечества, могло употребляться въ видѣ особенной любезности или комплимента дворянамъ; но оно само по себѣ несомнѣнно заимствовано у западно-европейскихъ государствъ, гдѣ власть должна была опираться на военную аристократію для подчиненія покоренныхъ народовъ. Когда между народомъ и властью существовалъ антагонизмъ, отчасти въ силу національныхъ различій, то высшій военный классъ былъ дѣйствительно главною опорою власти; но у насъ государство не нуждалось и не нуждается въ содѣйствіи одного сословія, чтобы держать въ повиновеніи другіе классы русскаго населенія, и весь народъ одинаково служилъ и служитъ опорою отечества. Притомъ заявлять государственной власти прямо, что данное сословіе есть ея главная опора,—крайне неловко и обидно, какъ по отношенію къ государству, такъ и относительно всего остальнаго народа; а

когда люди постоянно повторяютъ правительству: „мы — ваша главная опора“,—то это даже смѣшно, ибо говорящіе въ такомъ тонѣ первые отреклись бы отъ смысла своихъ словъ, еслибы поразмыслили надъ ними немного. Столь же нелѣпы традиціонныя фразы о жертвахъ для славы и величія отечества, такъ какъ и до введенія общей воинской повинности всѣ сословія одинаково проливали свою кровь на войнѣ, и, конечно, въ составѣ русской арміи было всегда несравненно больше крестьянъ, чѣмъ дворянъ, и первыхъ больше погибало за отечество, чѣмъ послѣднихъ.

Что же касается непріязни къ „мужику“, то она не имѣетъ у насъ никакой исторической почвы и является лишь отголоскомъ прежнихъ заграничныхъ дворянскихъ вѣяній, основанныхъ на разницѣ происхожденія между благородными и низшими классами на западѣ. У насъ нѣтъ этой разницы происхожденія, какъ не было и рыцарства; наши дворяне большею частью вышли изъ народа путемъ службы, и первые военно-политическіе дѣятели, призывавшіе варяговъ или позднѣе окружавшіе князей, были несомнѣнные крестьяне, начиная съ миѳическаго Гостомысла. Наши дворянскіе патріоты, будучи потомками не феодаловъ, а скромныхъ служилыхъ людей, не имѣютъ повода смотрѣть на крестьянство какъ на что-то низшее и чуждое по происхожденію; независимо отъ этого, они должны были бы помнить, что при общемъ характерѣ нашего народнаго хозяйства дворянское землевладѣніе не можетъ прочно держаться и обрекаетъ себя на полное безсиліе при системѣ недоброжелательства и вражды къ многомилліонной массѣ земледѣльческаго населенія.

Л. Слонимскій.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 сентября 1894 г.

Бракосочетаніе Е. И. В. Вел. Кн. Ксеніи Александровны.—Гласность процесса у насъ и во Франціи.—Судъ присяжныхъ и французскій законъ объ анархистахъ. — Присяга присяжныхъ засѣдателей.—Дальнѣйшее распространеніе новыхъ судебно-административныхъ порядковъ.—Нѣчто о законности.—Сельскіе рабочіе. — Льготы по образованію при отбываніи воинской повинности.

25-го минувшаго іюля состоялось бракосочетаніе старшей дочери Государя Императора Е. И. В. Вел. Кн. Ксеніи Александровны съ Е. И. В. Вел. Кн. Александромъ Михаиловичемъ. Это радостное событіе ознаменовано учрежденіемъ въ С.-Петербургѣ новаго женскаго учебно-воспитательнаго заведенія—Ксеніевскаго института. Дочери небогатыхъ дворянъ, по словамъ Высочайшаго указа, будутъ получать здѣсь „законченное общее образованіе и пріобрѣтать, подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, тѣ практическія свѣденія, которыя, дѣлая женщину полезною въ собственной семьѣ, даютъ, при современномъ спросѣ на женскій трудъ, не осчастливленнымъ семейною жизнью честный заработокъ". Новый институтъ имѣетъ быть открытъ на 350 полусиротъ съ тѣмъ, чтобы изъ этого комплекта 175 вакансій были безплатными, а на остальныя принимались воспитанницы за плату по 250 рублей въ годъ.

Въ избыткѣ усердія, далеко не всегда разумнаго, или хотя бы только благоразумнаго, наша реакціонная печать забываетъ, сплошь и рядомъ, основное условіе полемики: *знаніе* предмета, о которомъ идетъ рѣчь—и впадаетъ, поэтому, въ крайне смѣшныя ошибки. Съ какимъ злорадствомъ, напримѣръ, „Московскія Вѣдомости" поспѣшили противопоставить нашему іюльскому внутреннему обозрѣнію состоявшійся нѣсколькими днями позже французскій законъ объ

анархистахъ, какъ ударъ, нанесенный нашимъ „либеральнымъ теоріямъ“ о судебной гласности! Еслибы легкомысленная газета потрудилась заглянуть въ текстъ новеллы, о которой мы тогда говорили, она воздержалась бы отъ ликованій, всецѣло упадающихъ на ея голову. Что утверждали мы два мѣсяца тому назадъ? Что гласность, провозглашенная судебными уставами, прямо поколеблена *закономъ 1887 г.*, такъ какъ „принципъ гласности остается неприкосновеннымъ и непоколебимымъ лишь до тѣхъ поръ, пока устраненіе ея возможно *только въ случаяхъ, закономъ предусмотрѣнныхъ и только по опредѣленію суда*“. Тамъ,—продолжали мы,—„гдѣ закрытіе дверей засѣданія зависитъ отъ судебной администраціи, ничѣмъ въ этомъ отношеніи не стѣсненной, т.-е. дѣйствующей по усмотрѣнію, гласность является только *фактомъ*, могущимъ быть или не быть, но не *правомъ*, твердо установленнымъ и обезпеченнымъ“. Уязвлять насъ примѣромъ французской республики московская газета могла бы развѣ тогда, еслибы новый французскій законъ соединялъ въ себѣ обѣ черты, признаваемыя нами несовмѣстными съ *принципомъ* гласности. На самомъ дѣлѣ ему одинаково чужды и та, и другая. Онъ предусматриваетъ съ достаточною точностью случаи возможнаго *ограниченія* гласности (въ дѣлахъ объ анархистахъ, т.-е. о преступленіяхъ, совершенныхъ подъ вліяніемъ и во имя анархической доктрины) и предоставляетъ примѣненіе (или непримѣненіе) этого *ограниченія* исключительно суду. Русскій законъ 12 февраля 1887 г. отличается, наоборотъ, недостаткомъ опредѣленности въ установленіи поводовъ къ *устраненію* гласности („огражденіе достоинства государственной власти, охраненіе общественнаго порядка или обезпеченіе правильнаго хода судебныхъ дѣйствій“) и облекаетъ правомъ *устранять* ее не только судъ, разсматривающій дѣло по существу, но и *министра юстиціи*, уполномочивая его руководствоваться при этомъ дошедшими до него свѣденіями. Мы не даромъ подчеркнули слова *ограниченіе* и *устраненіе*: они раскрываютъ еще одно существенно важное различіе между обоими законами. Французскій законъ допускаетъ только запрещеніе *печатать*, въ части или цѣломъ, отчетъ о судебномъ засѣданіи; русскій законъ допускаетъ (а иногда даже *требуетъ*) *безусловное* устраненіе гласности, т.-е. производство дѣла при закрытыхъ дверяхъ, совершенно уничтожающее всѣ гарантіи, сопряженныя съ публичностью процесса. „Негласное разбирательство, — говорили мы семь лѣтъ тому назадъ, подробно разбирая законъ 12 февраля 1887 г. [1]),—представляетъ лично для судей безспорныя удобства, къ которымъ очень легко привыкнуть и

[1]) См. Внутреннее Обозрѣніе въ № 4 „Вѣстника Европы“ за 1887 г.

пристраститься: оно допускаетъ гораздо бо́льшую долю небрежности и торопливости, оно позволяетъ относиться гораздо безцеремоннѣе и къ сторонамъ, и даже къ самимъ присяжнымъ. При множествѣ дѣлъ, соблазнъ быстраго окончанія ихъ весьма великъ—и нельзя быть увѣреннымъ въ томъ, что противъ него всегда устоитъ большинство судей... Распущенность, поощряемая безгласностью, опасна не для однихъ только судей. Подъ ея вліяніемъ обвинитель и защитникъ могутъ отнестись къ дѣлу спустя рукава, свидѣтель и экспертъ могутъ отступить отъ истины, дать волю своему пристрастію въ пользу или противъ обвиняемаго". Французскій законъ подобными опасностями не угрожаетъ: *публичность разбирательства* онъ оставляетъ неприкосновенной. Не говоримъ уже о полнѣйшемъ несходствѣ обстоятельствъ, при которыхъ изданы оба закона. Французскій законъ состоялся въ критическую минуту народной жизни, при глубокомъ возбужденіи общественнаго мнѣнія послѣ цѣлаго ряда преступленій, противъ которыхъ оказались безсильными обычныя карательныя и предупредительныя мѣры; русскій законъ составленъ и утвержденъ среди невозмутимой тишины, при совершенно нормальныхъ условіяхъ. Французскій законъ имѣетъ характеръ боевой, временной мѣры, хотя дѣйствіе его и не ограничено прямо и опредѣленно извѣстнымъ срокомъ; русскій законъ является принципіальной „поправкой" къ одному изъ основныхъ положеній судебной реформы. Читая статью „Московскихъ Вѣдомостей", можно подумать, что законъ 1887 г. былъ направленъ исключительно или преимущественно къ отмѣнѣ гласности при производствѣ политическихъ процессовъ. На практикѣ, однако, въ процессахъ этого рода гласность допускалась у насъ лишь съ большими ограниченіями, даже тогда, когда двери засѣданія закрывались только по закону при разсмотрѣніи дѣлъ объ оскорбленіи Величества. При закрытыхъ дверяхъ производился процессъ 1866 г.; не всѣ части такъ называемаго „нечаевскаго" процесса (1871) были оглашены въ печати; почти ничего не было напечатано о процессѣ ста девяносто восьми (1877). Въ послѣдній разъ отчетъ о судебномъ засѣданіи по политическому дѣлу появился въ печати, если мы не ошибаемся, въ мартѣ 1881 г. Законъ 1887 г. ничего въ этомъ отношеніи не измѣнилъ—а только о немъ и шла рѣчь въ нашемъ іюльскомъ обозрѣніи. Само собою разумѣется, что, высоко цѣня судебную гласность, мы желали бы примѣненія ея и къ политическимъ процессамъ, съ немногими ограниченіями, касающимися, притомъ, лишь печатанія судебныхъ отчетовъ; но мы очень хорошо знаемъ, что въ настоящее время это желаніе неосуществимо, и именно потому говорили, два мѣсяца тому назадъ, только объ отмѣнѣ закона 1887 г. Все сказанное нами сохраняетъ свою силу и

теперь, послѣ изданія французскаго закона объ анархистахъ. Мы продолжаемъ думать, что право администраціи устранять, когда угодно и почему угодно, публичность судебнаго разбирательства безусловно несовмѣстно съ правомъ „знать, что дѣлается въ судѣ и какъ творится правосудіе"—правомъ, которое г. министръ юстиціи торжественно призналъ за русскимъ обществомъ.

На разрѣшеніе „публицистовъ *Вѣстника Европы*" московская газета предлагаетъ еще другой вопросъ: какъ совмѣстить изъятіе дѣлъ объ анархистахъ изъ вѣденія суда присяжныхъ съ высокимъ мнѣніемъ объ этой формѣ суда, какого держится большинство нашей печати? И здѣсь, прежде всего, „Московскія Вѣдомости" обнаруживаютъ незнаніе предмета спора. Онѣ считаютъ перемѣну подсудности, введенную закономъ объ анархистахъ, „изъятіемъ изъ общаго порядка уголовнаго судопроизводства", тогда какъ на самомъ дѣлѣ она представляется скорѣе возвращеніемъ къ общему порядку. Суду присяжныхъ подсудны, вообще говоря, только дѣла о *преступленіяхъ* (въ тѣсномъ смыслѣ слова), т.-е. о наиболѣе важныхъ нарушеніяхъ уголовнаго закона, а дѣла о *проступкахъ* подвѣдомственны суду коронному. Во Франціи исключеніе изъ этого правила составляли, по временамъ, *проступки* печати, которые, въ силу чисто политическихъ соображеній, пріурочивались то къ вѣдомству суда присяжныхъ, то къ вѣдомству суда исправительной полиціи. На нашихъ глазахъ совершился теперь одинъ изъ многихъ поворотовъ этого рода—и совершился, притомъ, въ рамкѣ гораздо болѣе тѣсной, чѣмъ нѣкоторые изъ предъидущихъ, распространяясь не на всѣ проступки печати вообще, а только на проступки, совершенные анархистами. Принципіальнаго вопроса о достоинствѣ суда присяжныхъ эта частная мѣра касается столь же мало, какъ и другіе законы—временъ реставраціи, іюльской монархіи, второй имперіи,—подводившіе печать подъ дѣйствіе общихъ правилъ о подсудности проступковъ. Каждый разъ, когда казалось необходимымъ усилить общественную охрану, проступки печати подчинялись, въ тѣхъ или иныхъ предѣлахъ, суду исправительной полиціи; каждый разъ, когда брала верхъ забота объ общественной свободѣ, они передавались, вопреки основнымъ началамъ уголовной подсудности, вѣденію суда присяжныхъ. Изъ этихъ законодательныхъ колебаній можно вывести только одно заключеніе, примѣнимое, вдобавокъ, въ одной лишь Франціи: въ дѣлахъ печати строгость репрессіи легче достигается со стороны суда короннаго, чѣмъ со стороны суда присяжныхъ. *Абсолютнымъ* недостаткомъ французскаго суда присяжныхъ эту особенность его, очевидно, назвать нельзя; неудобная въ однихъ случаяхъ, она, наоборотъ, чрезвычайно драгоцѣнна въ другихъ. Все зависитъ отъ свойства проступковъ и отъ условій, при которыхъ при-

ходится дѣйствовать суду. Въ мирное время, при нормальныхъ обстоятельствахъ, предпочтеніе можетъ быть дано одной формѣ суда по дѣламъ печати, въ критическія, опасныя минуты—другой. Въ совершенно иномъ видѣ представляется общій вопросъ о судѣ присяжныхъ. *Преступленія*, ему подсудныя, не имѣютъ того условнаго, относительнаго характера, какимъ отличаются обыкновенно проступки печати: граница наказуемости передвигается здѣсь не такъ легко и не такъ часто, самый составъ преступленій гораздо опредѣленнѣе и яснѣе, оцѣнка ихъ возбуждаетъ гораздо меньше сомнѣній и споровъ. Насколько измѣнчивыми, въ продолженіе послѣдняго столѣтія, были французскіе законы о проступкахъ печати, настолько устойчивымъ и прочнымъ было и продолжаетъ быть, для огромнаго большинства французовъ и для французскаго законодательства, то общее начало въ силу котораго *преступленія* подвѣдомственны суду присяжныхъ. Ничего другого не отстаивала и не отстаиваетъ и русская „либеральная“ пресса, для которой желаннымъ шагомъ впередъ былъ бы всякій вообще *судъ* по дѣламъ печати, хотя бы и не имѣющій ничего общаго съ судомъ присяжныхъ.

Въ измѣненіи подсудности, установленномъ французскимъ закономъ объ анархистахъ, „Московскія Вѣдомости“ не прочь „почерпнуть аргументъ въ пользу справедливости наименованія суда присяжныхъ *судомъ улицы*“. Нужно ли объяснять, въ виду всего сказаннаго выше, что новый аргументъ столь же несостоятеленъ, какъ и старая тема? Не *судомъ улицы* является, въ глазахъ французскаго народа, то учрежденіе, которому онъ по прежнему поручаетъ рѣшеніе важнѣйшихъ уголовныхъ дѣлъ, не исключая и государственныхъ. Въ арсеналѣ французскихъ законовъ нашлось бы, можетъ быть, постановленіе, въ силу котораго убійца президента республики могъ бы быть преданъ верховному суду сената, т.-е. политическаго судилища; о такомъ способѣ суда не возникало, однако, и вопроса, и Казеріо приговоренъ къ смерти судомъ присяжныхъ, какъ были приговорены имъ раньше къ тому же наказанію Равашоль, Вальянъ, Анри... Утверждать, безъ оговорки, что судъ присяжныхъ *строже всякаго другого*, конечно, нельзя, и московская газета совершенно напрасно приписываетъ такое утвержденіе большинству русской печати; но столь же ошибочно предполагать, что онъ снисходительнѣе всякаго другого. Все зависитъ здѣсь съ одной стороны—отъ свойства преступленій, съ другой—отъ способа производства предварительнаго и судебнаго слѣдствія и вообще отъ матеріала, предлагаемаго на разрѣшеніе присяжныхъ. Есть категоріи дѣлъ, въ которыхъ присяжные строже коронныхъ судей; есть другія, въ которыхъ наблюдается обратное отношеніе; въ общемъ выводѣ процентъ обвинитель-

ныхъ приговоровъ въ коронныхъ судахъ у насъ въ Россіи только немногимъ выше, чѣмъ въ судѣ присяжныхъ. Все это давно раскрыто уголовною статистикою, которую и на Страстномъ бульварѣ едва ли рѣшатся объявить выдумкою „либераловъ"... Статья „Московскихъ Вѣдомостей" доказываетъ, такимъ образомъ, лишь одно: существованіе у насъ и въ настоящее время *принципіальныхъ* враговъ судебной гласности и суда присяжныхъ—враговъ, богатыхъ, къ счастію, только ожесточеніемъ и злобой.

Кстати о судѣ присяжныхъ. На основаніи устава уголовнаго судопроизводства присяжные засѣдатели должны присягать по каждому отдѣльному дѣлу, по которому они входятъ въ составъ присутствія; передъ началомъ каждаго дѣла предсѣдатель долженъ объяснять имъ ихъ права, обязанности и отвѣтственности. На практикѣ такое объясненіе предлагалось, обыкновенно, только одинъ разъ, при слушаніи дѣла, съ котораго начиналась новая сессія, т.-е. вступалъ въ дѣйствіе новый ихъ составъ,—а по всѣмъ остальнымъ дѣламъ предсѣдатель ограничивался ссылкой на прежде данныя разъясненія; но постановленіе о присягѣ соблюдалось строго, и одному и тому же присяжному приходилось повторять одно и то же клятвенное обѣщаніе по нѣскольку разъ не только въ продолженіе одной и той же сессіи, но даже въ продолженіе одного и того же дня. Само собою разумѣется, что это уменьшало значеніе и торжественность присяги, обращая ее въ скучную и утомительную формальность. На основаніи новаго закона (3 іюня), присяжные будутъ приводимы къ присягѣ только однажды, въ началѣ каждаго новаго періода засѣданій, по всѣмъ дѣламъ, предстоящимъ къ рѣшенію въ продолженіе этого періода, и тогда же будутъ выслушивать объясненіе предсѣдателемъ ихъ правъ, обязанностей и отвѣтственности, повторяемое въ такомъ лишь случаѣ, если явится вновь присяжный засѣдатель, не находившійся на-лицо при открытіи сессіи. Остается только удивляться, что эта перемѣна къ лучшему, столь легкая и простая, осуществлена лишь по прошествіи двадцати восьми лѣтъ со времени введенія въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ. Такова судьба нашихъ важнѣйшихъ законодательныхъ актовъ: отступленія отъ ихъ коренныхъ началъ совершаются съ необыкновенною поспѣшностью, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ какого-нибудь отдѣльнаго событія (припомнимъ хотя бы законъ 9 мая 1878 г.—о замѣнѣ суда присяжныхъ, по нѣкоторымъ категоріямъ дѣлъ, судомъ сословныхъ представителей,—поводомъ къ которому послужилъ оправдательный приговоръ, состоявшійся 31 марта того же года), а усовершенствованія въ подробностяхъ, ничего существеннаго не отмѣняющія и не колеблющія, заставляютъ себя ждать по цѣлымъ десятилѣтіямъ. Нужно

надѣяться, что какъ избытку натиска и быстроты, такъ и избытку нерѣшительности и медленности положитъ конецъ систематическій пересмотръ „узаконеній о судебной части“... Противъ одной общей присяги, замѣняющей рядъ клятвенныхъ обѣщаній по отдѣльнымъ дѣламъ, приводилось, обыкновенно, только одно возраженіе: необходимость присутствія, при принесеніи присяги, обвинителя и обвиняемаго по дѣлу, по которому она приносится. Безспорно, обвинителю и обвиняемому важно знать, что присяга была принесена, т.-е. что присяжные засѣдатели торжественно обѣщали судить „по сущей правдѣ и убѣжденію совѣсти“; но это знаніе возможно и безъ бытности на судѣ въ моментъ принесенія присяги. Достаточнымъ обезпеченіемъ его служитъ постановленіе новаго закона, по которому о принятіи присяжными засѣдателями присяги (и объ объясненіи имъ предсѣдателемъ ихъ правъ, обязанностей и отвѣтственности) составляется особый протоколъ, открытый, въ канцеляріи суда, для всѣхъ подсудимыхъ, защитниковъ и частныхъ обвинителей (слѣдовало бы, кажется, прибавить къ нимъ еще гражданскихъ истцовъ, существенно заинтересованныхъ въ точномъ соблюденіи всѣхъ процессуальныхъ правилъ, а также повѣренныхъ гражданскихъ истцовъ и частныхъ обвинителей)... Установленіе одной общей присяги повлекло за собою соотвѣтствующее измѣненіе самой формы клятвеннаго обѣщанія. Нельзя не пожалѣть, что изъ нея не исключено, при этомъ случаѣ, слово: *клянусь*, часто, какъ извѣстно, смущающее совѣсть присяжныхъ. Дѣйствительность и нравственная сила присяги, конечно, нимало бы не уменьшилась, еслибы изъ двухъ словъ, которыми она начинается: *обѣщаюсь* и *клянусь*, удержано было только первое, и оно же повторялось бы присягающимъ при цѣлованіи креста и евангелія.

Въ нынѣшнемъ году заканчивается осуществленіе мѣстной судебно-административной реформы, въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ она была предначертана закономъ 12-го іюля 1889 г.: новыя учрежденія вводятся въ губерніяхъ уфимской, оренбургской, астраханской и олонецкой. Сдѣланъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, первый шагъ къ дальнѣйшему расширенію сферы дѣйствій этихъ учрежденій: съ 1-го октября земскіе начальники будутъ существовать и въ ставропольской губерніи, первоначально не принадлежавшей къ числу тѣхъ, которыхъ должно было коснуться преобразованіе. Предполагается, далѣе, распространить его и на другія мѣстности—Область войска донского, Сибирь, Туркестанъ, Западный край. Изъ возможности примѣнить новое судебно-административное устройство, съ нѣкоторыми только приспособленіями и видоизмѣненіями, ко всѣмъ составнымъ частямъ импе-

ріи, систематическіе поклонники этого устройства выводятъ какое-то особенное его превосходство надъ всѣми остальными. „Изъ всѣхъ типовъ должностныхъ лицъ (осуществляющихъ, на мѣстѣ, задачи государственной власти), какъ въ прошломъ, такъ и въ настоящемъ, типъ земскаго начальника,—восторженно восклицаютъ „Московскія Вѣдомости“,—является наиболѣе совершеннымъ и наиболѣе эластичнымъ въ примѣненіи къ мѣстнымъ условіямъ, безъ утраты своихъ существенныхъ чертъ; онъ какъ будто нарочно созданъ для всякаго уголка Россіи, съ ея разноплеменнымъ населеніемъ и до крайности разнообразными природными условіями“. При сколько-нибудь спокойномъ отношеніи къ вопросу выводъ получается совершенно иной. Нѣтъ такой должности, которую нельзя было бы, однимъ почеркомъ пера, ввести на всемъ пространствѣ Россіи; вся трудность заключается въ созданіи условій, соотвѣтствующихъ должности. *Типичный* земскій начальникъ—не только администраторъ и судья, но и мѣстный дворянинъ-землевладѣлецъ. Въ этой послѣдней чертѣ—его существенная, главная особенность; гдѣ ея нѣтъ, тамъ можетъ быть рѣчь только о сходствѣ названія и функцій, но не о сходствѣ *типа*. Повсемѣстно примѣнимой, въ той же степени, какъ и должность земскаго начальника, давно уже оказалась, далѣе, должность мирового судьи. Съ приспособленіями и видоизмѣненіями отнюдь не бо́льшими, чѣмъ допускаемыя теперь по отношенію къ земскимъ начальникамъ, мировые судьи существовали (и отчасти существуютъ и до сихъ поръ) въ центральныхъ губерніяхъ Европейской Россіи, на сѣверныхъ и восточныхъ ея окраинахъ, на Кавказѣ и въ Туркестанѣ, въ сѣверо-западномъ и юго-западномъ, привислянскомъ и прибалтійскомъ краѣ; ихъ не было только въ Сибири—но если они возможны въ архангельской губерніи, то нѣтъ, очевидно, причины считать ихъ невозможными въ губерніяхъ тобольской или иркутской. Монополія „общепримѣнимости“, слѣдовательно, можетъ быть приписываема узаконеніямъ о земскихъ начальникахъ только по недомыслію: панегирикъ, въ данномъ случаѣ, производитъ впечатлѣніе настоящаго coup d'épée dans l'eau.

Столь же несостоятельна и другая попытка московской газеты—обратить завершеніе судебно-административной реформы въ доказательство внутренняго ея достоинства. „Зловѣщія карканья и предсказанія о неосуществимости преобразованія,—читаемъ мы въ № 193 „Московскихъ Вѣдомостей“,—оказались столь же лживыми, какъ и большая часть того, что пишется, а главное *говорится*, многочисленными его противниками. Великое дѣло внесенія порядка и законности въ жизнь нашей народной массы тихо, безшумно, безъ приторныхъ фразъ и поддѣльныхъ эффектовъ неуклонно осуществляется

и развивается, полагая основаніе одному изъ самобытнѣйшихъ институтовъ нашего государственнаго права. Общія основы учрежденія земскихъ начальниковъ столь удачны и вѣрны по отношенію къ исторіи и бытовымъ чертамъ нашего народа, что, насколько обнимаетъ взоръ, обращенный къ будущему, они въ примѣненіи къ потребностямъ времени могутъ подвергаться лишь внѣшнимъ и частнымъ измѣненіямъ, оставаясь незыблемыми въ главныхъ чертахъ и по существу". Мы желали бы знать, во-первыхъ, кто и когда предсказывалъ *неосуществимость* преобразованія, предпринятаго въ 1889 г.? Его противники—въ печати вовсе не особенно многочисленные—старались показать его *нецѣлесообразность*, его несоотвѣтствіе требованіямъ справедливости и истиннымъ интересамъ народа; но никто изъ нихъ, кажется, не сомнѣвался въ *возможности* довести его до конца и примѣнить его „отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды". Выражалась, правда, надежда, что опытъ, произведенный въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, повлечетъ за собою существенное измѣненіе новаго закона—но не въ виду его неисполнимости, а въ виду усмотрѣнныхъ на практикѣ его недостатковъ. Изъ того, что недостатковъ не усмотрѣно, еще не слѣдуетъ, что ихъ нѣтъ. Взоръ московской газеты, „обращаемый къ будущему", не видитъ, въ сущности, ничего другого, кромѣ одной стороны настоящаго, разсматриваемой, притомъ, сквозь ярко-розовыя очки. Насколько „удачны и вѣрны по отношенію къ исторіи" общія основы учрежденія земскихъ начальниковъ—это вопросъ, для рѣшенія котораго пока еще только собираются данныя adhuc sub judice lis est. Увѣреніе, что этотъ процессъ происходитъ „тихо, безшумно, безъ приторныхъ фразъ и поддѣльныхъ эффектовъ", опровергается всего лучше самою статьею московской газеты... Затѣмъ другой вопросъ: гдѣ и когда появлялись, на страницахъ „либеральныхъ" газетъ и журналовъ, *лживыя* сообщенія о дѣятельности земскихъ начальниковъ? *Лживость* предполагаетъ *намѣренное* отступленіе отъ истины—а мы не помнимъ даже ни одного случая, гдѣ было бы доказано хотя бы ненамѣренное искаженіе ея. *Факты*, на основаніи которыхъ дѣлались заключенія о способѣ примѣненія новаго закона, оставались, сколько намъ извѣстно, никѣмъ неоспоренными. Весьма часто они черпались изъ источниковъ оффиціальныхъ или пристрастныхъ къ новому учрежденію. Вотъ, напримѣръ, что записано въ „Дневникѣ" кн. Мещерскаго („Гражданинъ", № 206): „Слышалъ я объ одномъ земскомъ начальникѣ въ лужскомъ уѣздѣ (с.-петербургской губерніи), который по всѣмъ почти искамъ извѣстнаго рода помѣщиковъ-сутягъ на крестьянъ рѣшаетъ въ пользу первыхъ, и по всѣмъ искамъ крестьянъ противъ нихъ отказываетъ какъ бы по принципу, создавши въ своей мѣстности

уголокъ, гдѣ царитъ какого-то новаго сорта droit du seigneur". Въ томъ же дневникѣ приведено извлеченіе изъ письма одного крестьянина зеньковскаго уѣзда (полтавской губерніи), по словамъ котораго мѣстный волостной старшина, пользуясь бездѣйствіемъ земскаго начальника, вскрываетъ денежныя письма, полученныя на имя крестьянъ, и присвоиваетъ себѣ, если адресатъ—лицо безгласное, вложенныя въ нихъ деньги, а жалующемуся грозитъ арестомъ или розгами... Изъ ревизіоннаго отчета смоленскаго губернатора видно, что земскіе начальники 5-го участка гжатскаго уѣзда и 4-го участка краснинскаго уѣзда *никогда* не допускаютъ замѣны тѣлеснаго наказанія другою карательною мѣрой, разрѣшая исполненіе наказанія даже безъ наведенія справокъ о лѣтахъ, прежней судимости, семейномъ положеніи и вообще нравственныхъ качествахъ осужденнаго—и одинъ изъ нихъ прямо заявляетъ, что дѣйствуетъ такимъ образомъ *по принципу* [1]) (où les principes vont-ils se nicher!). Встрѣчаясь съ подобными фактами, сторонники новыхъ судебно-административныхъ порядковъ ссылаются обыкновенно на извѣстную поговорку: „въ семьѣ не безъ урода". Признавая, что въ этой поговоркѣ есть значительная доля правды, мы думаемъ, однако, что многое зависитъ и отъ „семьи". Въ средѣ учрежденія, призваннаго къ жизни преимущественно въ интересахъ одного сословія и наполняемаго исключительно изъ его рядовъ, не можетъ не встрѣчаться тенденціозное рѣшеніе судебныхъ дѣлъ въ пользу помѣщиковъ и противъ крестьянъ. Волостные старшины, разсматриваемые какъ непосредственные сотрудники земскихъ начальниковъ въ обузданіи крестьянства, не могутъ не выходить иногда за предѣлы своей дискреціонной власти. Тѣлесное наказаніе, превозносимое на всѣ лады реакціонною печатью и зависящее, въ концѣ концовъ, отъ усмотрѣнія земскихъ начальниковъ, не можетъ не быть возводимо нѣкоторыми изъ нихъ на степень instrumentum regni, на степень „мечей правосудія" [2]), спасительному дѣйствію которыхъ долженъ быть предоставленъ возможно бо́льшій просторъ.

Чрезвычайно характеристичны разсужденія „Московскихъ Вѣдомостей" по поводу упомянутаго нами ревизіоннаго отчета смоленскаго губернатора. Рядомъ съ земскими начальниками, никогда, *по принципу*, не допускающими *замѣны* тѣлеснаго наказанія, ревизія обнаружила *въ тѣхъ же уѣздахъ* (въ 3-мъ участкѣ гжатскаго и въ

[1]) См. „Биржев. Вѣдомости" № 165 и „Москов. Вѣдом." № 200.

[2]) Это выраженіе было примѣнено И. С. Аксаковымъ, лѣтъ десять тому назадъ, къ остзейскимъ порядкамъ. Какою горечью переполнилось бы его сердце, еслибы онъ могъ предвидѣть, что „мечи правосудія", изъятые изъ рукъ нѣмецкихъ бароновъ, перейдутъ въ руки русскихъ дворянъ!

1-мъ—краснинскаго), земскихъ начальниковъ, никогда, также по принципу, не допускающихъ *исполненія* этого наказанія. Незаконнымъ ревизія признала только образъ дѣйствій систематическихъ приверженцевъ розги; она нашла, что „въ законѣ проведенъ принципъ совершенно противоположный, т.-е. допущена, во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ, замѣна тѣлеснаго наказанія". „Московскія Вѣдомости" стремятся возстановить равновѣсіе, утверждая, что столь же неправиленъ и образъ дѣйствій принципіальныхъ противниковъ тѣлеснаго наказанія. Въ обоихъ случаяхъ онѣ находятъ „игнорированіе" закона, выражающееся въ томъ, что цѣлыя категоріи дѣлъ разрѣшаются не по существу, а на основаніи „заранѣе произвольно составленныхъ стереотипныхъ рѣшеній", о чемъ „земскіе начальники и не стѣсняются заявлять оффиціально" [1]). Ревизорамъ московская газета ставитъ въ вину, что они также отдаютъ предпочтеніе *принципу* передъ *закономъ*, вспоминая о послѣднемъ только тогда, „когда это можетъ оказаться полезнымъ для примѣненія излюбленнаго принципа". Намъ кажется, что *незаконнымъ*, строго говоря, образъ дѣйствія земскихъ начальниковъ не можетъ быть названъ ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что земскіе начальники обоихъ противоположныхъ направленій умолчали бы

[1]) Въ книгѣ постановленій земскаго начальника 8-го участка гжатскаго уѣзда записаны слѣдующія соображенія: „Если осужденный не проситъ о замѣнѣ тѣлеснаго наказанія, значитъ, оно для него не имѣетъ значенія высшей мѣры наказанія, какимъ должно быть по закону и, слѣдовательно, намѣреніе суда подвергнуть виновнаго тягчайшему наказанію не будетъ достигнуто въ случаѣ разрѣшенія исполнить это наказаніе—почему приходится замѣнять тѣлесное наказаніе строгимъ арестомъ. Если осужденный проситъ о замѣнѣ тѣлеснаго наказанія, то стало быть оно ему страшно, но страхъ позора исчезаетъ послѣ первой порки, а тогда уже высшая степень наказанія станетъ для этого субъекта низшею, а связанная съ наказаніемъ совершенная потеря чести и стыда сдѣлаетъ примѣненіе къ нему всякаго другого наказанія столь же безполезною мѣрой для исправленія... Обстановка всѣхъ случаевъ, гдѣ приходится разрѣшать вопросъ о примѣненіи тѣлеснаго наказанія, такова, что примѣненія его быть не можетъ". „Московскія Вѣдомости" видятъ во всемъ этомъ „умозаключенія весьма сомнительной убѣдительности, гораздо болѣе умѣстныя на страницахъ газетнаго фельетона, чѣмъ въ постановленіи должностного лица". Этому отзыву московской газеты интересно противопоставить оффиціальное заключеніе ревизіи: „Отсутствіе жалобъ на распущенность населенія, полный порядокъ въ участкѣ, видимое уваженіе къ суду и власти и строгая дисциплина въ отношеніи населенія къ должностнымъ лицамъ, наконецъ, ничуть не бо́льшее, чѣмъ въ другихъ участкахъ, число случаевъ повторенія проступковъ—все это показываетъ, что совершенное непримѣненіе въ 8-мъ участкѣ гжатскаго уѣзда тѣлеснаго наказанія ни въ какомъ отношеніи не повредило дѣлу упорядоченія жизни крестьянскаго населенія, задача котораго, напротивъ, въ этомъ участкѣ является вообще наиболѣе достигнутою". Болѣе краснорѣчиваго аргумента въ пользу отмѣны тѣлесныхъ наказаній нельзя себѣ и представить.

въ своихъ постановленіяхъ—а также и въ объясненіяхъ, данныхъ при ревизіи,— о *принципѣ*, которымъ они руководствуются при разрѣшеніи вопроса о замѣнѣ тѣлеснаго наказанія; представимъ себѣ, что каждое отдѣльное опредѣленіе о замѣнѣ тѣлеснаго наказанія—или, наоборотъ, объ отказѣ въ замѣнѣ — было бы мотивировано чисто-фактическими соображеніями, примѣнительно къ обстоятельствамъ каждаго отдѣльнаго случая. О *незаконности* каждаго подобнаго опредѣленія не могло бы быть и рѣчи—а слѣдовательно нельзя было бы признать незаконной и всю ихъ совокупность, сколько бы ихъ ни было. Свойства *суммы* обусловливаются свойствами *слагаемыхъ*; признака, котораго нѣтъ ни въ одномъ изъ послѣднихъ, не можетъ быть и въ первой. Допустимъ теперь, что мотивировка опредѣленія была бы такова: „находя тѣлесное наказаніе подходящимъ (или не подходящимъ) къ обстоятельствамъ даннаго случая и къ личности подсудимаго, я постановилъ“ и т. д. Можно ли было бы признать такую мотивировку недостаточною или незаконною, хотя бы она повторялась буквально во *всѣхъ* опредѣленіяхъ данной категоріи? Нѣтъ, потому что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ проявленіемъ дискреціонной, ничѣмъ не ограниченной власти земскаго начальника. А между тѣмъ, есть ли какое-нибудь существенное различіе между опредѣленіями, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, и опредѣленіями, въ которыхъ раскрытъ руководящій принципъ земскаго начальника? Очевидно—нѣтъ. Законность опредѣленія не можетъ зависѣть отъ бо́льшей или меньшей откровенности его мотивовъ. Конечно, ревизующая власть можетъ *замѣтить* земскому начальнику, что онъ слишкомъ широко, въ томъ или другомъ смыслѣ, пользуется своею дискреціонною властью [1])—но усмотрѣть въ такомъ пользованіи нѣчто незаконное или противозаконное она въ занимающихъ насъ случаяхъ не въ правѣ. Факты, обнаруженные смоленскою ревизіею, безспорно поразительны (хотя и не новы: припомнимъ, что такая же рѣзкая разница въ отношеніи земскихъ начальниковъ къ вопросу о тѣлесномъ наказаніи замѣчается и въ тверской губерніи)—но значеніе ихъ заключается вовсе не въ томъ, въ чемъ его видитъ московская газета. Они свидѣтельствуютъ не о необходимости болѣе точнаго соблюденія закона, а о необходимости его измѣненія. Явно ненормаленъ порядокъ вещей, при которомъ въ двухъ сосѣднихъ земскихъ участкахъ,

[1]) Признавая *возможность* такого замѣчанія, мы далеки отъ мысли, чтобы оно всегда было *безвредно*. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ положеніе земскаго начальника, которому поставлено на видъ отсутствіе отказовъ въ замѣнѣ тѣлеснаго наказанія. Если онъ дорожитъ своею должностью, ему придется утвердить хоть нѣсколько приговоровъ о тѣлесномъ наказаніи, хотя бы между ними, по его убѣжденію, и не было ни одного правильнаго!

поставленныхъ въ совершенно одинаковыя условія, возможно одновременное существованіе двухъ діаметрально-противоположныхъ карательныхъ системъ. Ненормально наказаніе, примѣненіе или непримѣненіе котораго зависитъ отъ такой случайной причины, какъ личный взглядъ земскаго начальника. Предоставивъ земскому начальнику право замѣны тѣлеснаго наказанія, законъ призналъ этимъ самымъ, что исполненіе его, во многихъ случаяхъ, было бы вопіющею несправедливостью — но остановился на полъ-дорогѣ и не создалъ прочной гарантіи противъ опасности, имъ же самимъ предусмотрѣнной. Отличительная черта тѣлеснаго наказанія заключается именно въ томъ, что для одного оно почти нечувствительно, для другого—до крайности тяжело, иногда равносильно смертному приговору. Опредѣлить, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, его значеніе не можетъ заранѣе ни одинъ земскій начальникъ, даже коротко знакомый съ населеніемъ своего участка. Единственное средство предупредить не только злоупотребленія, но и ошибки, единственный логическій выводъ изъ предпосылокъ, допущенныхъ самимъ законодателемъ—это совершенное исключеніе тѣлесныхъ наказаній изъ числа карательныхъ мѣръ, налагаемыхъ приговорами волостныхъ судовъ. Палліативомъ, далеко не достаточнымъ, могло бы служить предоставленіе самому осужденному, по примѣру остзейскаго края, права *требовать* замѣны тѣлеснаго наказанія.

Благородное негодованіе „Московскихъ Вѣдомостей“ противъ земскаго начальника, осмѣлившагося не допускать въ своемъ участкѣ тѣлесныхъ наказаній, такъ велико, желаніе ихъ предотвратить повтореніе подобныхъ ужасовъ такъ сильно, что онѣ, въ стремленіи къ этой цѣли, не отступаютъ даже передъ восхваленіемъ и защитой... *законности!* До крайности странное впечатлѣніе производятъ, на страницахъ реакціонной газеты, слѣдующія строки: „какъ далеки еще мы отъ того благоговѣйнаго уваженія къ закону и законности, которое составляетъ лучшее качество гражданъ и лучшій залогъ общественнаго спокойствія и порядка. Не говоря уже про частныхъ лицъ и частныя отношенія, даже органы правительственной власти нашъ и рядомъ являютъ у насъ примѣръ игнорированія закона или преднамѣреннаго его кривотолкованія. Учрежденія, созданныя послѣднею мѣстною реформой, казалось бы, не могли выбрать лучшаго девиза для своей дѣятельности, чѣмъ провозглашенную еще покойнымъ тому назадъ просвѣщеннымъ государственнымъ дѣятелемъ (гр. П. Д. Киселевымъ) *законность*. Между тѣмъ, къ сожалѣнію, нѣкоторыя изъ мѣстныхъ начальствъ являются въ этомъ отношеніи не вполнѣ безупречными и стоящими далеко не на той высотѣ отношенія къ основѣ всякой общественности и государственности, какой

можно было бы отъ нихъ ожидать". Если забыть, что все это служитъ предисловіемъ къ діатрибѣ противъ „незаконнаго" недопущенія тѣлесныхъ наказаній, то нельзя не признать, что на этотъ разъ московская газета обмолвилась нѣсколькими безспорно вѣрными положеніями. Пожелаемъ, хотя и безъ надежды на успѣхъ, чтобы она памятовала о нихъ и въ другихъ случаяхъ, когда они для нея менѣе удобны. Нашу вѣру въ искренность новоявленныхъ рыцарей законности подрываетъ, между прочимъ, ссылка ихъ на гр. Киселева, который, въ 1843 г., провозгласилъ *законность* одною. изъ основъ преобразованія, призвавшаго къ жизни министерство государственныхъ имуществъ. Какъ бы хороши ни были намѣренія перваго министра государственныхъ имуществъ, въ его вѣдомствѣ законность процвѣтала тогда столь же мало, какъ и во всѣхъ другихъ, и московская газета можетъ, не впадая въ противорѣчіе сама съ собою, рекомендовать новымъ судебно-административнымъ учрежденіямъ подражаніе блаженной памяти окружнымъ начальникамъ. Оффиціальная законность сороковыхъ годовъ—девизъ, вполнѣ достойный „Московскихъ Вѣдомостей"...

Смоленская ревизія свидѣтельствуетъ о томъ, что высшія губернскія власти стараются иногда сдерживать увлеченія земскихъ начальниковъ, „принципіально" муштрующихъ крестьянское населеніе. Къ сожалѣнію, это можно сказать далеко не о всѣхъ губернскихъ присутствіяхъ. Одно изъ нихъ, напримѣръ—какъ видно изъ опредѣленія прав. сената, состоявшагося еще въ 1892 г., но распубликованнаго только недавно, — установило совершенно неправильную практику по дѣламъ о неявкѣ или самовольномъ уходѣ сельскихъ рабочихъ, признавъ, что наниматель, не желающій возвращенія рабочаго, въ правѣ преслѣдовать его за неявку или самовольный уходъ въ уголовномъ порядкѣ, по ст. 51-й уст. о наказ. налаг. мир. суд. Прав. сенатъ разъяснилъ, что такое преслѣдованіе возможно лишь со стороны полиціи, въ случаѣ неисполненія рабочимъ ея требованія о возвращеніи къ нанимателю, а наниматель въ правѣ либо просить полицію о предъявленіи такого требованія, либо искать вознагражденія за убытки въ порядкѣ гражданскомъ. Нельзя не пожалѣть, что опредѣленія губернскихъ присутствій такъ рѣдко подвергаются контролю прав. сената. Чѣмъ меньше гарантій новые судебно-административные порядки предоставляютъ массѣ населенія, чѣмъ больше они разсчитаны на охрану привилегированнаго меньшинства, тѣмъ важнѣе наблюденіе за тѣмъ, чтобы примѣненіе закона не шло еще дальше его буквы — а такое наблюденіе можетъ быть дѣйствительнымъ только въ рукахъ сената. Тенденціозно-распространительное толкованіе правилъ о сельскихъ рабочихъ тѣмъ болѣе

вѣроятно—и тѣмъ болѣе опасно,—что многимъ они все еще кажутся недостаточно строгими по отношенію къ рабочимъ, недостаточно оберегающими интересы землевладѣльцевъ. Несмотря на правила 1886 г. о наймѣ сельскихъ рабочихъ, несмотря на положеніе о земскихъ начальникахъ, реакціонная печать все еще твердитъ о „несовершенствѣ законовъ, регулирующихъ вольнонаемный земледѣльческій трудъ", о „несоотвѣтствіи ихъ нашимъ бытовымъ условіямъ", о „слабости" установленной ими „репрессіи" [1]). Чтобы „дисциплинировать" нашъ вольнонаемный земледѣльческій трудъ, „тяжелый и грубый, какъ тяжела и груба вся сельская жизнь", необходимо „оградить договоры о наймѣ взысканіями болѣе суровыми, отвѣтственностью болѣе серьезною, чѣмъ существующія нынѣ *игрушечныя наказанія*" (игрушечнымъ наказаніемъ признается, между прочимъ, мѣсячный арестъ, на томъ основаніи, что въ какомъ-то арестномъ домѣ, по мнѣнію какого-то должностного лица, „арестанты содержатся лучше пансіонерокъ иныхъ институтовъ"!). Не трудно понять, что разумѣется здѣсь подъ именемъ „взысканій болѣе суровыхъ". Нашъ сельскій бытъ, съ точки зрѣнія этихъ ревнителей палки, еще недостаточно „тяжелъ" и „грубъ"; нужно увеличить его тяжесть и грубость возможно частымъ употребленіемъ ожесточающихъ и загрубляющихъ тѣлесныхъ наказаній... По истинѣ позорнымъ пятномъ ложатся на наше время такія рѣчи, беззастѣнчиво и упорно повторяемыя во всеуслышаніе и не остающіяся безъ сочувственнаго отклика въ дѣйствительной жизни.

Восемь лѣтъ тому назадъ значительно уменьшены льготы по образованію при отбываніи воинской повинности. Теперь готовится, повидимому, новый шагъ въ томъ же направленіи. Коммиссія, учрежденная при министерствѣ народнаго просвѣщенія подъ предсѣдательствомъ г. Георгіевскаго, выработала по этому предмету слѣдующія предположенія: 1) уничтоженіе вольноопредѣляющихся второго разряда, въ число которыхъ могли поступать до сихъ поръ, по выдержаніи довольно легкаго экзамена, окончившіе курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 3-го разряда; 2) увеличеніе срока службы для льготныхъ перваго разряда (т.-е. окончившихъ курсъ въ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ или прошедшихъ первые шесть классовъ гимназіи или реальнаго училища), если они отправляютъ повинность по жребію, съ двухъ до трехъ лѣтъ, т.-е. уравненіе ихъ съ окончившими курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 3-го разряда; 3) сокращеніе отсрочекъ, предоставляемыхъ для окончанія образованія, такъ чтобы

[1]) См. передовую статью въ № 197 „Московскихъ Вѣдомостей".

онѣ, за немногими исключеніями (для готовящихся къ учительству и профессурѣ, для воспитанниковъ духовныхъ академій), не шли далѣе двадцатипятилѣтняго возраста; 4) немедленный, по окончаніи средняго образованія, призывъ къ отправленію воинской повинности всѣхъ тѣхъ, кто выходитъ изъ средняго учебнаго заведенія по достиженіи призывного возраста или въ годъ достиженія его, съ предоставленіемъ всѣмъ остальнымъ на выборъ или тотчасъ же вступить въ военную службу, или сначала окончить высшее образованіе.

Всего менѣе спорной представляется первая изъ этихъ мѣръ, такъ какъ учрежденіе вольноопредѣляющихся второго разряда было вызвано, въ свое время, недостаткомъ офицеровъ, теперь устраненнымъ, а образовательный уровень этой группы весьма невысокъ. Вторая мѣра направлена къ тому, чтобы увеличить число вольноопредѣляющихся перваго разряда, а слѣдовательно, и число офицеровъ запаса; предполагается, что чѣмъ больше разница между сроками службы вольноопредѣляющихся (одинъ годъ) и отправляющихъ повинность по жребію (три года), тѣмъ сильнѣе будетъ наплывъ въ первую изъ этихъ категорій. Намъ кажется, что той же самой цѣли можно было бы достигнуть другимъ путемъ—сокращеніемъ срока службы вольноопредѣляющихся, напр., до 6 или 9 мѣсяцевъ (до 1886 г. они служили только три мѣсяца). Допустимъ, однако, что этому препятствуютъ техническія требованія военнаго дѣла; все-таки нельзя признать справедливымъ удлиненіе срока службы, мотивируемое не недостаточностью прежняго срока, а желаніемъ оказать нравственное давленіе на молодыхъ людей, въ моментъ выбора ими одного изъ двухъ способовъ отбыванія воинской повинности. Въ самомъ дѣлѣ, изъ соображеній коммиссіи не видно, чтобы двухъ лѣтъ было мало для военнаго обученія молодыхъ людей, получившихъ высшее или среднее образованіе; съ гораздо бо́льшимъ правомъ можно предположить, что это срокъ слишкомъ длинный, такъ какъ для вольноопредѣляющихся, обладающихъ тѣмъ же образовательнымъ цензомъ, признается достаточнымъ періодъ времени вдвое болѣе короткій. Молодой человѣкъ, восемь или двѣнадцать лѣтъ проведшій на школьной скамьѣ и безъ того уже крайне поздно вступающій въ жизнь, не долженъ быть обрекаемъ на тотъ же срокъ военной службы, который требуется, напримѣръ, отъ бывшаго ученика городского училища, несравненно меньше учившагося и окончившаго курсъ задолго до достиженія призывного возраста. Замѣтимъ, притомъ, что осуществленіе мѣры, проектируемой коммиссіею, обрушилось бы всей своей тяжестью на наиболѣе нуждающихся молодыхъ людей, не имѣющихъ возможности обмундировать и содержать себя, во время военной службы, на собственный счетъ—между тѣмъ какъ именно

имъ необходимо какъ можно скорѣе стать на ноги, найти занятія, дающія средства къ жизни.

Столь же несправедливой и нецѣлесообразной кажется намъ третья мѣра, предлагаемая коммиссіей—сокращеніе отсрочекъ. Кто оканчиваетъ курсъ средняго учебнаго заведенія на двадцать первомъ году отъ роду, тотъ будетъ имѣть впереди, до истеченія отсрочки, только четыре года, т.-е. будетъ лишенъ возможности остаться на одинъ лишній годъ въ университетѣ, отсрочить на одинъ годъ государственный экзаменъ и поступить на медицинскій факультетъ университета или въ одно изъ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній, гдѣ полный курсъ ученья продолжается пять лѣтъ [1]). Что въ такомъ сокращеніи отсрочекъ нѣтъ особенной надобности—это доказывается лучше всего исключеніемъ, проектируемымъ для воспитанниковъ духовныхъ академій. И въ самомъ дѣлѣ, единственное соображеніе, приводимое въ пользу сокращенія отсрочекъ, заключается въ томъ, что онѣ уменьшаютъ время пребыванія въ запасѣ и установляютъ, такимъ образомъ, неравномѣрное распредѣленіе тягостей военной службы. Но вѣдь безъ нѣкоторой неравномѣрности немыслима, вообще, никакая льгота; неравномѣрность, которую влечетъ за собою сокращеніе срока пребыванія въ запасѣ, гораздо менѣе чувствительна, чѣмъ, напримѣръ, неравномѣрность, обусловливаемая правами вольноопредѣляющихся. Для значительнаго большинства лицъ, получившихъ высшее образованіе, сокращеніе срока пребыванія въ запасѣ не имѣетъ, притомъ, большого значенія, потому что они еще ранѣе истеченія этого срока достигаютъ должностей, освобождающихъ отъ призыва. Вольноопредѣляющіеся перваго разряда числятся въ запасѣ 12 лѣтъ; почти столько же (десять лѣтъ—при отбываніи воинской повинности по жребію, одиннадцать—при отбываніи ея въ качествѣ вольноопредѣляющагося) приходится пробыть въ запасѣ и тѣмъ, кто пользовался отсрочкой до 27 лѣтъ. Еслибы, наконецъ, уравненіе числа лѣтъ пребыванія въ запасѣ было признано необходимымъ, оно можетъ быть достигнуто, съ меньшимъ неудобствомъ, назначеніемъ для лицъ, пользовавшихся отсрочкой, болѣе поздняго возраста исключенія изъ запаса... Что касается до послѣдняго предположенія коммиссіи, то *обязательность* немедленнаго вступленія въ военную службу, если окончаніе средняго образованія совпадаетъ съ достиженіемъ призывного возраста, сопряжена, какъ намъ кажется, съ серьезными неудобствами. Продолжительный перерывъ въ занятіяхъ отобьетъ у многихъ охоту продолжать ученіе и

[1]) Эта сторона вопроса освѣщена какъ нельзя лучше въ передовой статьѣ № 215 „Русскихъ Вѣдомостей“.

уменьшитъ число лицъ, получающихъ высшее образованіе. Если учащійся получаетъ средства къ жизни отъ родителей, заработывающихъ ихъ, въ свою очередь, личнымъ трудомъ, то для обѣихъ сторонъ чрезвычайно важно скорѣйшее окончаніе ученія; замедленіе его на нѣсколько лѣтъ весьма часто будетъ равносильно преждевременному его прекращенію. Отбывъ воинскую повинность, молодой человѣкъ можетъ очутиться безъ всякой поддержки; нужда можетъ заставить его обратиться тотчасъ же къ какой-нибудь практической дѣятельности, несовмѣстной съ продолженіемъ образованія. Есть, конечно, случаи, когда кратковременная военная служба, въ промежутокъ времени между гимназіей и университетомъ, можетъ дать полезный отдыхъ переутомленному уму и привести къ укрѣпленію организма—но вѣдь и въ настоящее время ничто не мѣшаетъ сначала отбыть воинскую повинность, потомъ продолжать образованіе; не нужно только возводить этотъ порядокъ на степень общаго правила. Гораздо цѣлесообразнѣе было бы возвратиться къ прежнему, семилѣтнему гимназическому курсу и предоставить желающимъ,—какъ это, кажется, и до сихъ поръ допускается въ Германіи,—соединять службу въ качествѣ вольноопредѣляющагося съ посѣщеніемъ университета или другого высшаго учебнаго заведенія.

Есть еще одна перемѣна въ льготахъ по отбыванію воинской повинности, которую сама коммиссія предлагаетъ неохотно и условно. Въ настоящее время учителя учебныхъ заведеній 3-го и 4-го разрядовъ (между прочимъ, слѣдовательно, и учителя народныхъ школъ) освобождаются, наравнѣ съ учителями высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, отъ дѣйствительной военной службы и прямо зачисляются въ запасъ, подъ условіемъ пятилѣтнихъ непрерывныхъ преподавательскихъ занятій. Такихъ лицъ, имѣющихъ званіе запаснаго нижняго чина, но незнакомыхъ ни съ одною отраслью военнаго дѣла, въ настоящее время числится до 14.000 человѣкъ. Въ виду этого возникло предположеніе привлекать учителей учебныхъ заведеній 3-го и 4-го разрядовъ на годъ дѣйствительной службы въ войска, для ознакомленія ихъ съ военною службою, необходимою для запаснаго воинскаго чина, и перечислять ихъ затѣмъ въ запасъ арміи на 17 лѣтъ, въ случаѣ возвращенія къ учительскимъ занятіямъ на пятилѣтній срокъ; въ случаѣ же оставленія ими учительской службы до истеченія пяти лѣтъ—привлекать ихъ вновь къ дѣйствительной службѣ въ рядахъ арміи для дослуженія общаго срока. При обсужденіи этого вопроса коммиссія нашла, что различными статьями устава о воинской повинности устанавливаются разныя льготы при отбываніи воинской повинности: по семейному положенію, по тѣлеснымъ недостаткамъ, по вынутому жеребью, по разнымъ должностямъ,

и т. п.; освобождаются также отъ активнаго исполненія воинской повинности лица, посвящающія себя духовному званію, и слѣдовательно на предоставленіе льготы народнымъ учителямъ нельзя смотрѣть какъ на особую аномалію; нельзя также смотрѣть съ укоризною и на тѣхъ лицъ, которыхъ привлекаютъ къ занятію учительскихъ мѣстъ въ училищахъ 3-го и 4-го разрядовъ, между прочимъ, и льготы по воинской повинности, предоставленныя этимъ должностямъ, такъ какъ льготами по воинской повинности всѣ дорожатъ, и желаніе сократить для себя тяжесть воинской повинности однимъ изъ указанныхъ для того способовъ нельзя считать за уклоненіе отъ исполненія долга. Освобожденіе учителей отъ активнаго исполненія воинской повинности, при условіи пятилѣтнихъ непрерывныхъ учительскихъ занятій, служитъ значительнымъ подспорьемъ для замѣщенія учительскихъ вакансій въ училищахъ 3-го и 4-го разрядовъ, такъ какъ при тѣхъ скудныхъ матеріальныхъ средствахъ, которыя отпускаются для вознагражденія этихъ учителей, безъ льготы по воинской повинности, трудно было бы привлечь достаточное число лицъ на учительскія должности, и народной школѣ былъ бы нанесенъ тяжелый и непоправимый ударъ. Исходя изъ этихъ основаній, коммиссія признала, что осуществленіе вышеупомянутаго предположенія, *если такое мѣропріятіе безусловно необходимо для военнаго дѣла*, возможно только съ разными изъятіями и смягченіями. Мы не станемъ перечислять ихъ, такъ какъ между разсужденіями коммиссіи и ея окончательнымъ выводомъ существуетъ, по нашему убѣжденію, несомнѣнное принципіальное противорѣчіе. Въ вопросахъ о льготахъ по образованію рѣшающій голосъ долженъ принадлежать соображеніямъ общегосударственнымъ, а не технически-военнымъ. Ущербъ, который можетъ понести армія отъ вступленія въ ряды милліоннаго запаса нѣсколькихъ тысячъ людей, не подготовленныхъ къ военной службѣ, ничтоженъ въ сравненіи съ тѣмъ, который можетъ понести народъ—а косвенно, слѣдовательно, и армія—отъ уменьшенія числа желающихъ быть народными учителями и отъ пониженія нравственнаго и умственнаго ихъ уровня. Разъ, что нынѣ дѣйствующая льгота признается существенно-полезной для народной школы, никакихъ сомнѣній относительно необходимости сохранить ее быть не должно и не можетъ.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го сентября 1894 г.

Современные международные вопросы.—Недавнія событія и перемѣны въ Сербіи.—Политическія дѣла Болгаріи.—Стамбуловскій режимъ и его послѣдствія.—Болгарское общественное мнѣніе.—Школьное дѣло и печать въ княжествѣ.—Вопросъ о русско-болгарскомъ сближеніи.—Странныя требованія нѣкоторыхъ газетъ.—Японско-китайская война и ея значеніе.

Въ Европѣ отвыкли уже отъ заботъ и волненій по внѣшней политикѣ съ тѣхъ поръ, какъ знаменитый изобрѣтатель дипломатическихъ комбинацій удалился на отдыхъ въ Фридрихсруэ. Международные вопросы перестали возбуждать тревогу въ общественномъ мнѣніи; тройственный союзъ не служитъ болѣе предметомъ постоянныхъ толковъ, и никто не усматриваетъ коварной иноземной интриги въ томъ, что́ совершается гдѣ-нибудь на Балканскомъ полуостровѣ. Даже ближайшій союзникъ и единомышленникъ князя Бисмарка, Криспи, сдѣлался какъ будто другимъ человѣкомъ: онъ всецѣло занялся внутренними дѣлами Италіи, отыскиваетъ способы сокращенія военныхъ и государственныхъ расходовъ, признаетъ необходимость крупныхъ экономическихъ и общественныхъ реформъ, и отрекается отъ прежней погони за внѣшними успѣхами и эффектами. Однако дипломатамъ не приходится пребывать въ бездѣйствіи, и особенно въ послѣднее время у нихъ было очень много серьезной и хлопотливой работы. Событія въ Сербіи и Болгаріи требовали обсужденія и контроля, въ виду возможныхъ случайностей и конфликтовъ; споры изъ-за территорій въ Африкѣ значительно обострились вслѣдствіе неправильно заключеннаго Англіей договора съ государствомъ Конго, причемъ предъявлены были формальные протесты со стороны Франціи и Англіи; наконецъ, на дальнемъ азіатскомъ востокѣ произошли замѣшательства, затрогивавшія интересы всѣхъ великихъ морскихъ державъ, въ томъ числѣ и Россіи. Общественное мнѣніе отнеслось къ этимъ неожиданно возникшимъ задачамъ и вопросамъ вполнѣ спокойно,—во всякомъ случаѣ, гораздо спокойнѣе, чѣмъ принято было относиться къ подобнымъ дѣламъ еще недавно. Духъ взаимнаго подзадориванья и недоброжелательства какъ будто ослабѣлъ и потерялъ почву, несмотря на усердныя старанія нѣкоторой части печати.

Пребываніе экс-короля Милана въ Сербіи не измѣнило, повидимому, отношеній нашей дипломатіи къ королю Александру и не вызвало вообще какого-нибудь замѣтнаго поворота въ политической жизни страны. Распоряжаются ли въ королевствѣ такъ-называемые радикалы, либералы или „напредняки“,—это въ сущности безразлично для массы сербскаго народа, ибо названія сербскихъ политическихъ партій суть только пустыя клички, не имѣющія соотвѣтственнаго реальнаго смысла, и все зависитъ отъ личныхъ качествъ и добросовѣстности отдѣльныхъ лицъ, поставленныхъ во главѣ управленія. При Ристичѣ господствовали оффиціально либералы; но это былъ чисто реакціонный режимъ, основанный на произволѣ и насиліи, и тогдашніе министры Авакумовичъ и Рибарацъ дѣйствовали такъ безцеремонно, что заслужили репутацію „палочниковъ“ и возбудили противъ себя негодованіе въ лучшей части сербскаго общества. Съ удаленіемъ Ристича и его сподвижниковъ, восторжествовала мнимо-радикальная партія, имѣвшая за себя большинство крестьянскаго населенія; но и радикальные дѣятели мало заботились о возстановленіи законности и не руководствовались въ своихъ дѣйствіяхъ ни радикальными, ни либеральными принципами, ограничиваясь главнымъ образомъ преслѣдованіемъ своихъ партійныхъ цѣлей и интересовъ. Преданіе бывшихъ министровъ суду разгорячило политическія страсти, безъ особенной надобности и пользы; это былъ судъ одной партіи надъ другою, и подсудимые получили даже возможность разсчитывать на забвеніе своихъ дѣйствительныхъ грѣховъ и на созданіе себѣ нѣкоторой популярности въ народѣ. Радикалы не стѣснялись прибѣгать къ сомнительнымъ средствамъ для привлеченія избирателей на свою сторону; плательщикамъ податей дѣлались льготы, недоимки слагались или взыскивались строго, смотря по тому, въ какомъ смыслѣ подавались голоса на выборахъ. Юный король опять очутился въ центрѣ лихорадочной и безцѣльной борьбы, и чтобы выйти изъ запутаннаго положенія, онъ рѣшилъ обратиться къ содѣйствію своего отца, проживавшаго остатки добытыхъ отъ Сербіи „отступныхъ“ денегъ въ Парижѣ. Миланъ откликнулся на зовъ своего сына; конституція 1888 года, дарованная народу бывшимъ королемъ передъ своимъ отреченіемъ, была отмѣнена, какъ слишкомъ либеральная, и возстановленъ въ силѣ старый уставъ, выработанный Ристичемъ еще въ эпоху вассальной зависимости отъ Турціи. Образовалось переходное министерство дипломата Симича, которое затѣмъ уступило мѣсто кабинету Николаевича, человѣка энергическаго и безпринципнаго, бывшаго профессора бѣлградской главной школы. Снова взяли верхъ либералы и напредняки, а на радикаловъ воздвигнуто гоненіе. Новые министры поставили на своемъ знамени безу-

словную преданность дому Обреновичей; но такъ какъ и радикальная партія, съ Пашичемъ во главѣ, не давала повода сомнѣваться въ своихъ династическихъ чувствахъ и продолжаетъ заявлять о своей вѣрности королю Александру, то этотъ существенный пунктъ правительственной программы не имѣетъ, очевидно, практическаго значенія. По желанію короля и его совѣтниковъ, народная скупщина возстановила Милана въ его правахъ, какъ отца короля и члена царствующей фамиліи, хотя за отказъ отъ этихъ правъ была въ свое время потребована и уплачена весьма значительная для Сербіи сумма. Возвращеніе эксъ-короля связывалось съ оживленіемъ австрофильскихъ тенденцій и усиленіемъ прямого вліянія Австро-Венгріи на сербскія дѣла; говорили о секретномъ договорѣ, которому истекаетъ срокъ, и о подтвержденіи котораго хлопочетъ будто бы вѣнская дипломатія. Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ объяснялось самое призваніе Милана въ Бѣлградъ. Сущность договора заключается въ допущеніи австрійской военной оккупаціи для защиты династіи Обреновичей, въ случаѣ какихъ-либо внутреннихъ замѣшательствъ, за что Сербія съ своей стороны обѣщаетъ Австро-Венгріи важныя политическія уступки. Но этотъ трактатъ, заключенный графомъ Кальноки подъ несомнѣннымъ вліяніемъ политики князя Бисмарка, едва ли имѣетъ шансы возобновленія въ настоящее время, въ виду болѣе сдержаннаго и миролюбиваго направленія австрійской дипломатіи. Вѣнскій кабинетъ не можетъ обнаруживать прежнюю предпріимчивость, ибо не чувствуетъ за собою надежной активной опоры въ Берлинѣ, и то, что при бывшемъ германскомъ канцлерѣ признавалось вполнѣ естественнымъ и цѣлесообразнымъ, кажется уже рискованнымъ и ненужнымъ при измѣнившемся общемъ характерѣ международныхъ отношеній. Притомъ для Австро-Венгріи поддержаніе династіи Обреновичей при помощи оккупаціи имѣло политическій смыслъ, когда полновластнымъ королемъ былъ Миланъ, открытый врагъ Россіи и вѣрнѣйшій выразитель австрофильства въ Сербіи; но съ отреченіемъ его отъ престола этотъ мотивъ отпадаетъ, ибо король Александръ пользуется оффиціальными симпатіями и въ Россіи, и надѣяться на его преданность Австріи въ будущемъ нѣтъ никакого основанія. Въ общемъ предполагаемое торжество австрійскаго вліянія ничѣмъ пока не проявилось въ Бѣлградѣ, какъ не замѣчалось раньше и господство русскаго вліянія, при радикальныхъ министрахъ. Наша дипломатія соблюдаетъ одинаковую пассивность теперь, какъ и прежде, и она не понизила своего дружескаго тона въ сношеніяхъ съ сербскимъ правительствомъ, не взирая на всѣ происшедшія въ Сербіи политическія перемѣны. Внѣшнимъ, формальнымъ доказательствомъ этой неизмѣнности русско-сербскихъ отноше-

ній является, между прочимъ, тотъ фактъ, что представителемъ королевства при нашемъ дворѣ остается прежній посланникъ, г. Алимпій Васильевичъ.

Такимъ образомъ, глубокомысленныя дипломатическія догадки и соображенія, вызванныя на первыхъ порахъ новѣйшими сербскими событіями, падаютъ сами собою, и перемѣнчивая политика короля Александра можетъ интересовать насъ исключительно съ точки зрѣнія внутреннихъ дѣлъ Сербіи, которыхъ она только и касается. Король праздновалъ свое совершеннолѣтіе 2 (14) августа, и слѣдовательно, самовольныя рѣшенія и дѣйствія его, принятыя до этого срока, покрываются уже законнымъ авторитетомъ королевской власти; онъ можетъ дѣлать теперь сознательный выборъ между дѣятелями различныхъ партій, и нынѣшнее министерство Николаевича есть въ сущности первое законное министерство со времени принудительной отставки Ристича. Будетъ ли примѣняться старый конституціонный уставъ 1868 года, или опять возстановится въ силѣ конституція 1888 года, сочиненная Миланомъ,—это въ концѣ концовъ скорѣе теоретическій, чѣмъ практическій споръ, такъ какъ при обоихъ уставахъ дѣлалось много беззаконій и несправедливостей; а для сербскаго народа, едва вышедшаго изъ основъ простого сельскаго быта, былъ бы вполнѣ достаточенъ и порядокъ, существовавшій до 1888 г., еслибы только онъ не нарушался произволомъ властей и безцѣльною борьбою партій. Уваженіе къ законности не утвердилось еще въ правящихъ сербскихъ кружкахъ, и это составляетъ главнѣйшій недостатокъ политической жизни современной Сербіи. Другая характерная черта сербскихъ дѣятелей—слишкомъ слабое развитіе, а иногда совершенное отсутствіе сознанія общественныхъ и народныхъ интересовъ, какъ единственныхъ регуляторовъ политическихъ стремленій и усилій. Оттого партійные счеты и раздоры оказываются какими-то безсодержательными, безъидейными, построенными на игрѣ личныхъ честолюбій, и громкія заграничныя названія и слова, употребляемыя представителями партій, производятъ впечатлѣніе обманчивыхъ вывѣсокъ, за которыми нѣтъ ничего серьезнаго. Мы можемъ, какъ посторонніе наблюдатели, съ любопытствомъ слѣдить за ходомъ внутреннихъ дѣлъ сербскаго королевства; но, повторяемъ, эти дѣла не имѣютъ связи съ вопросами внѣшней политики и едва ли способны послужить матеріаломъ для какихъ-либо дипломатическихъ пререканій и затрудненій.

Нѣсколько иной характеръ носятъ на себѣ послѣднія событія въ Болгаріи. Правительство этой страны находится въ такомъ положеніи, что даетъ поводъ къ международной натянутости въ силу са-

маго факта своего существованія, независимо отъ какихъ-либо провинностей съ своей стороны. Принцъ Фердинандъ, праздновавшій въ началѣ августа семилѣтіе своего княженія, оффиціально еще не признанъ княземъ великими европейскими державами, какъ того требуетъ берлинскій трактатъ, и вдобавокъ еще со временъ покойнаго принца Баттенберга, возведеннаго на княжескій престолъ Россіею, установился полный разрывъ между русскою дипломатіею и Болгаріею. Этотъ разрывъ далъ готовую политическую программу смѣлому и энергическому болгарскому дѣятелю, соединявшему безстрѣнчивые восточные пріемы съ ловкостью парламентскаго оратора и министра.

Стамбуловъ съ наибольшею силою воплощалъ собою идею вражды и недовѣрія ко всему русскому, и на этой почвѣ онъ съ несомнѣннымъ успѣхомъ распоряжался судьбами княжества въ теченіе цѣлыхъ восьми лѣтъ, пользуясь нескрываемымъ сочувствіемъ и поддержкою главныхъ западно-европейскихъ кабинетовъ. Поставивъ княземъ принца Кобургскаго и продолжая править страною отъ его имени, въ качествѣ его перваго министра, онъ былъ фактическимъ диктаторомъ Болгаріи и употреблялъ свою власть для безпощаднаго подавленія оппозиціи. Отдѣльныя попытки военныхъ возстаній и заговоровъ служили какъ будто оправданіемъ его суровыхъ мѣръ, направленныхъ къ искорененію двухъ великихъ опасностей — вмѣшательства арміи въ политику и призывовъ къ междоусобіямъ въ разсчетѣ на иноземное покровительство и содѣйствіе. Нельзя отрицать, что удачное сверженіе князя Александра при помощи военной силы породило въ болгарскомъ войскѣ особый политическій духъ, не обѣщавшій ничего хорошаго въ будущемъ; полковники и офицеры, разъ испытавъ легкость военныхъ „пронунсіаменто“, почувствовали бы себя истинными хозяевами и распорядителями страны, и Болгарія сдѣлалась бы жертвою насильственныхъ переворотовъ и кровопролитій, въ которыхъ погибла бы независимость княжества. Жестокое управленіе Стамбулова уничтожило въ самомъ зародышѣ эту наклонность къ военнымъ заговорамъ; представители арміи отреклись отъ участія въ политикѣ, и всякія частныя возстанія прекратились, несмотря на тяжесть правительственнаго гнета и произвола.

Владычество Стамбулова продолжалось и послѣ того, какъ достигнуты были политическія цѣли, которыми оно оправдывалось въ глазахъ консервативныхъ болгаръ и иностранныхъ дипломатовъ. Всесильный министръ съумѣлъ завязать дружескія отношенія съ Портою, и ему удалось заручиться серьезными дипломатическими побѣдами въ Константинополѣ, такъ что исключительное положеніе его получило санкцію и со стороны турецкаго султана. Между тѣмъ мир-

ное населеніе Болгаріи привыкло уже къ мысли о существованіи законнаго князя въ лицѣ принца Фердинанда, и крутыя мѣропріятія и насилія Стамбулова оставались чѣмъ-то непонятнымъ и безпричиннымъ. Самая вражда къ Россіи, вытекавшая изъ боязни русскаго вмѣшательства и русской опеки, потеряла съ годами свою убѣдительную силу, и крайняя преувеличенность этой вражды и этой боязни была очевидна для всѣхъ искреннихъ приверженцевъ болгарской независимости. Большинство болгарскихъ патріотовъ чувствовало также ненормальность и неудобство дальнѣйшаго отчужденія Болгаріи отъ могущественной державы-освободительницы, не по какимъ-либо сантиментальнымъ, нравственнымъ мотивамъ, а по весьма реальнымъ политическимъ побужденіямъ и разсчетамъ. Пока во главѣ управленія стоялъ Стамбуловъ, до тѣхъ поръ не могло быть и рѣчи о примиреніи или сближеніи болгарскаго княжества съ Россіею. Стамбуловъ палъ, и тотчасъ поднялись оживленные толки о дружескихъ чувствахъ болгаръ относительно русскихъ и о возможности политическаго компромисса, который возстановитъ старыя связи безъ ущерба для полной самостоятельности Болгаріи.

Павшаго министра обвиняли въ тираніи, въ установленіи „палочной“ системы управленія и въ многочисленныхъ злоупотребленіяхъ, даже прямо преступленіяхъ, — и софійскіе граждане, недавно еще устроивавшіе ему овваціи, встрѣчаютъ его теперь угрозами и высказываютъ рѣшимость расправиться съ нимъ по своему, безъ всякой пощады. Стамбуловъ, лишенный власти и слѣдовательно уже безвредный для обывателей, нуждается въ полицейской охранѣ своей личности отъ патріотовъ, которые прежде молчаливо переносили его „терроръ“ или, быть можетъ, громко превозносили его заслуги. Бывшіе его сотрудники и приверженцы рѣшительно осуждаютъ его дѣятельность; самъ принцъ Фердинандъ, такъ долго покрывавшій всѣ его подвиги своимъ именемъ князя, открещивается отъ него заднимъ числомъ и пытается снять съ себя отвѣтственность за грѣхи его управленія. На него обрушивается, какъ говорятъ, народное негодованіе; но гдѣ было это негодованіе, когда „тиранъ“ пользовался всею полнотою своего „самозваннаго“ правительственнаго авторитета? Почему протесты противъ его беззаконій становятся столь рѣзкими и всеобщими лишь послѣ того, какъ исчезла необходимость протестовъ? При условіяхъ болгарской жизни народное раздраженіе имѣло бы всегда доступъ къ личности ненавистнаго министра, и оно не ожидало бы его отставки, чтобы съ должною ясностью и силою выступить наружу. Стамбуловъ жилъ и дѣйствовалъ не вдали отъ общества, а открыто, не стѣсняясь;—онъ принималъ свои незаконныя мѣры съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ цинизма или, какъ говорятъ, „нахальства“,

—и однако болгарская публика не возмущалась или скрывала свои чувства про себя. Софійскіе и прочіе недовольные обыватели молчали,—они заговорили только послѣ его паденія. Раздраженная публика, толпа, едва ли остановилась бы передъ страхомъ какихъ-то „палочниковъ", взятыхъ изъ ея же рядовъ; еще меньше поводовъ бояться имѣли отдѣльныя лица, проникнутыя жаждою мести или желаніемъ по крайней мѣрѣ высказать ему публично всю правду, дать волю своимъ взволнованнымъ чувствамъ и опозорить „тирана" въ глазахъ страны. Все-таки созывалось иногда народное собраніе, и каковы бы ни были порядки или безпорядки при выборахъ, въ число представителей могли вѣдь случайно пробраться и люди честные, несогласные одобрять преступныя дѣйствія „отвѣтственныхъ" министровъ. Наконецъ, существовалъ номинально болгарскій князь, человѣкъ культурный, получившій западно-европейское образованіе, воспитанный въ традиціяхъ французской общественной свободы; къ этому оффиціальному носителю княжеской власти могли обращаться съ своими жалобами и протестами всѣ униженные и оскорбленные Стамбуловымъ, всѣ оставшіяся на свободѣ жертвы его произвола и деспотизма, всѣ родственники и заступники пострадавшихъ отъ его вопіющихъ насилій. Что же думалъ и дѣлалъ принцъ Фердинандъ въ продолженіе тѣхъ семи лѣтъ, когда подъ его фирмою безпрепятственно творились всѣ безобразія Стамбуловскаго режима? Какъ могъ онъ считать себя княземъ и стремиться къ основанію болгарской династіи при подобныхъ невозможныхъ условіяхъ? Если бывшій премьеръ былъ въ самомъ дѣлѣ такимъ, какимъ изображаютъ его газетные корреспонденты, то оставалось бы заключить, что и большинство „политическихъ" дѣятелей и патріотовъ Болгаріи, съ княземъ во главѣ,—нисколько не лучше Стамбулова. Хорошъ былъ министръ, но хороши и союзники и единомышленники его, отрекшіеся теперь отъ своего вождя,—хороши и обыватели, признававшіе его вчера великимъ государственнымъ мужемъ, а сегодня готовые растерзать его, когда онъ обреченъ на безсиліе. Невольно является мысль, что нынѣшнее запоздалое негодованіе по поводу его восьмилѣтней „тиранской" дѣятельности столь же искусственно и такъ же мало заслуживаетъ довѣрія, какъ и тѣ овацiи и восторженныя встрѣчи, которыя дѣлались ему по разнымъ случаямъ, въ бытность его первымъ министромъ „князя" Фердинанда.

Вѣроятно, общественное мнѣніе существовало и выражалось въ тѣхъ или другихъ формахъ въ Болгаріи и при господствѣ Стамбулова, насколько можно судить, напримѣръ, по свѣденіямъ, сообщаемымъ однимъ изъ непримиримыхъ враговъ „тирана", болгарскимъ эмигрантомъ г. А. Людскановымъ, въ послѣднемъ „Сборникѣ" нашего

„славянскаго общества". Въ соединенной Болгаріи, при трехмилліонномъ населеніи, выходило 55 періодическихъ изданій, въ томъ числѣ 11 научно-литературныхъ, 3 юридическихъ, 3 военныхъ, 3 педагогическихъ, 2 нравственно-религіозныхъ, 2 торговыхъ и 2 соціалистическихъ. Газетъ издавалось 27,— изъ нихъ 9 правительственныхъ, 8 оппозиціонныхъ, 4 оппозиціонно-соціалистическихъ, 3 духовно-политическихъ и 3 спеціально-македонскихъ. Газета „Свободно Слово", служащая теперь органомъ министерства Стоилова, выходила еще при Стамбуловѣ и велась въ откровенно-враждебномъ ему духѣ; того же или еще болѣе рѣзкаго направленія держались и другія газеты, о которыхъ теперь упоминается иногда въ нашей печати: „Черно Море", „Напредъ", „Народна Воля", „Прогрессъ", „Борба" и др.

Осуждая дѣйствія правительства, особенно въ области государственныхъ финансовъ, эти оппозиціонныя газеты указывали на факты, которые сами по себѣ не заключали въ себѣ ничего ужаснаго. Вотъ какъ изображало, напр., „Свободно Слово" финансовое состояніе Болгаріи, въ ноябрѣ „минувшаго" года (1893 или 1892?): „Можно положительно сказать, что наше финансовое положеніе никакъ не лучше финансоваго положенія, напримѣръ, Сербіи. Дефициты нашихъ бюджетовъ прибавляются и увеличиваются изъ года въ годъ, и никакія средства не въ состояніи ихъ устранить или покрыть. Напротивъ, нахальное и безконтрольное хозяйничанье доходами страны увеличиваетъ еще больше эти дефициты. Нѣтъ статьи бюджета, которая не была бы покрыта и увеличена резервнымъ фондомъ или сверхсмѣтнымъ кредитомъ. Такъ, напримѣръ, постройка желѣзной дороги Софія-Перникъ съ торговъ обходится въ 4 милліона франковъ, а правительство расходуетъ на ея постройку хозяйственнымъ образомъ 7 милл. франковъ. Покупаются нѣкоторые матеріалы для народной обороны, и платится за нихъ черезчуръ дорого подъ тѣмъ только условіемъ, чтобы они были самаго лучшаго качества; однако, послѣ принятія ихъ и послѣ дѣйствительнаго осмотра ихъ уже въ нашихъ складахъ констатируется (правительствомъ?) ихъ полная негодность. Вотъ какъ мы пришли къ настоящему шаткому положенію нашихъ финансовъ, вслѣдствіе чего бюджетъ государства не можетъ быть и не будетъ уравновѣшенъ на многіе годы. Нашъ бюджетъ всегда представляется уравновѣшеннымъ, но свѣдущіе люди никогда не могли быть обмануты этимъ фиктивнымъ балансомъ... Разсказывали и говорятъ, что правительство намѣрено сдѣлать сбереженія, сократить расходы. Мы не вѣримъ этимъ слухамъ. Уменьшеніе жалованья какому-нибудь секретарю или уничтоженіе должности какого-нибудь писца не даютъ еще никакой особой экономіи. Дефициты появились не вслѣдствіе установленія извѣстныхъ окладовъ чиновникамъ, а

вслѣдствіе безвастѣнчиваго мотовства казенныхъ денегъ на дѣла или совсѣмъ ненужныя, или же по меньшей мѣрѣ излишнія, не по средствамъ Болгаріи... Для того, чтобы уменьшить эти дефициты, надо прежде всего измѣнить систему расходовъ, т.-е. подчинить управленіе Стамбулова контролю. Если самъ болгарскій народъ не съумѣлъ это сдѣлать, то несомнѣнно, рано или поздно, возьмутъ на себя эту миссію тѣ, которые ему ссудили деньги (т.-е. иностранные кредиторы, вѣнскій „Лендербанкъ“ и другіе). Вотъ то близкое будущее, которое намъ предвѣщаетъ наше настоящее финансовое положеніе и котораго не могли избѣгнуть ни Египетъ, ни Сербія, а теперь и Греція“.

Въ томъ же смыслѣ высказывались, по словамъ г. Людсканова, и другія оппозиціонныя болгарскія газеты. Издающаяся въ Филиппополѣ „Балканска Зора“ жаловалась на „крайне неравномѣрное распредѣленіе податной тягости“, которая „исключительно ложится на крестьянина-земледѣльца“; газета вычисляла, что крестьянинъ отдаетъ $18^1/_2\%$ всей своей прибыли (крайне льготное обложеніе по нашимъ понятіямъ!), и потому настоятельно требовала „немедленной реформы“. Газеты „Новини“ и „Пловдивъ“ доказывали необходимость сокращенія штата чиновниковъ, уменьшенія ихъ окладовъ и пенсій; „Прогрессъ“ находилъ, что уменьшеніе на половину численности войска составляетъ первую и самую неотложную реформу, и т. п. Въ общемъ, „нахальное хозяйничанье“ не идетъ далѣе обычныхъ финансовыхъ явленій, повторяющихся и въ Сербіи, еще сильнѣе въ Греціи и въ другихъ странахъ, гдѣ вообще не принято говорить о „нахальствѣ“ въ финансовомъ управленіи.

Зато болгарская оппозиція ничего не имѣетъ сказать противъ другой, не менѣе важной стороны правительственной дѣятельности, —противъ возростающихъ расходовъ на народное образованіе. Какъ видно изъ статистическаго очерка г. Бендерева въ упомянутомъ сборникѣ славянскаго общества, Болгарія имѣетъ, кромѣ одной „высшей школы“ съ 3 факультетами, 27 среднихъ и спеціальныхъ учебныхъ заведеній, 192 народныхъ или такъ-называемыхъ классныхъ общинныхъ прогимназій (съ курсомъ до 5 классовъ) и 4.193 общинныхъ же начальныхъ школъ. Однѣхъ послѣднихъ приходится по 1,33 на каждую тысячу жителей. Число учащихся въ начальныхъ и классныхъ школахъ—болѣе 280 тысячъ. Бюджетъ министерства народнаго просвѣщенія достигаетъ 6.750.000 фр., что составляетъ около $^1/_{12}$ доли всего государственнаго бюджета (у насъ—около $^1/_{45}$). Г. Бендеревъ приводитъ изъ отчета англійскаго консула въ Софіи „весьма лестное для Болгаріи сравненіе“, изъ котораго оказывается, что болгарское княжество стоитъ впереди всѣхъ балканскихъ государствъ по успѣхамъ народнаго образованія: въ Болгаріи почти вдвое

больше школъ и учащихся, чѣмъ въ Румыніи и Греціи, въ восемь разъ больше, чѣмъ въ Сербіи, а процентъ учащихся на тысячу жителей почти вчетверо выше, чѣмъ въ Румыніи и Сербіи. И это развитіе школьнаго дѣла продолжалось спокойно во все время Стамбуловскаго владычества.

Общественное мнѣніе въ Болгаріи не оставалось совершенно безгласнымъ и безсильнымъ, хотя въ концѣ концовъ, по тѣмъ или другимъ причинамъ, оно мирилось съ правительствомъ „тирана". Г. Людсканов разсказываетъ, что въ минувшемъ году, послѣ неправильно произведенныхъ выборовъ, доставившихъ министерскимъ кандидатамъ обычное подавляющее большинство въ народномъ собраніи и въ общинныхъ совѣтахъ, оппозиція пыталась поколебать положеніе Стамбулова, но получила отъ него энергическій отпоръ. „Руководимые газетою „Свободно Слово", которая могла увидѣть свѣтъ, благодаря лишь покровительству князя, многіе изъ потерпѣвшихъ на выборахъ, какъ въ народное собраніе, такъ и въ городскіе общинные совѣты, стали обращаться съ жалобами къ принцу Фердинанду и просить его о смѣщеніи болгарскаго премьера. Стали ходить упорные слухи о намѣреніи принца Фердинанда стряхнуть съ себя опеку Стамбулова, который позволяетъ себѣ контролировать даже княжескую корреспонденцію. Тогда появился въ оффиціозной „Свободѣ" рядъ статей, отрицающихъ право князя выбирать себѣ совѣтниковъ и открыто угрожающихъ послѣднему низложеніемъ и междоусобіемъ. Князь стушевался. Начались преслѣдованія противъ всѣхъ осмѣлившихся жаловаться. Съ цѣлью оформить всѣ эти новые аресты, ссылки, истязанія, и въ то же самое время запугать князя, выдумали новое покушеніе на жизнь Кобургскаго принца, которое будто бы замышлялъ какой-то болгарскій эмигрантъ, бывшій офицеръ Ивановъ, пріѣхавшій изъ Россіи. Съ тою же цѣлью продѣланъ былъ и слѣдующій парламентскій фокусъ. Въ формѣ интерпелляціи, предводитель „лѣвой", Пешевъ, восхваляя патріотическую дѣятельность Стамбулова, выразилъ желаніе, чтобы первый совѣтникъ князя и впредь имѣлъ полное довѣріе страны, что́ возможно лишь въ томъ случаѣ, если болгарскій премьеръ откажется отъ примѣненія мѣръ, не одобряемыхъ закономъ. Въ своемъ отвѣтѣ Стамбуловъ, не отвергая, что болгарскіе граждане дѣйствительно высылаются изъ мѣста жительства безъ суда, а другіе заключаются въ тюрьмы, заявилъ ex cathedra, что, нисколько не стѣсняясь законами страны, онъ будетъ примѣнять строжайшія мѣры противъ всѣхъ вредныхъ элементовъ населенія, „даже противъ тѣхъ, которые только подозрѣваются въ неблагонадежности". Свою рѣчь Стамбуловъ закончилъ словами: „мы не только должны препятствовать размноженію враговъ въ отечествѣ,

но и истреблять ихъ, отрекаясь отъ всякой сантиментальности". За исключеніемъ двухъ, всѣ депутаты вотировали полное довѣріе своему шефу. Эта рѣчь, — заключаетъ г. Людскановъ, — довольно ясно и краснорѣчиво изображаетъ нравственный обликъ лицъ, стоящихъ у кормила правленія Болгаріи, а также и безправный режимъ, господствующій въ странѣ, и не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ" („Славянское Обозрѣніе", годъ второй 1894, стр. 349—50). Дѣйствительно, заявленія Стамбулова, одобренныя „всѣми депутатами, кромѣ двухъ" (а депутатовъ въ народномъ собраніи числится 162 человѣка), должны быть признаны весьма откровенными и безцеремонными; но по существу они не представляютъ ничего оригинальнаго, кажутся даже просто выписанными изъ статей „Гражданина" или „Московскихъ Вѣдомостей". Рѣшимость строго преслѣдовать вредные элементы, придумывать мѣры противъ лицъ, подозрѣваемыхъ въ неблагонадежности, и истреблять вообще враговъ отечества, не стѣсняясь законами,—такая рѣшимость свойственна многимъ патріотамъ, не бывавшимъ вовсе въ Болгаріи; а что̀ разумѣть подъ вредными элементами, кого причислить къ неблагонадежнымъ и врагамъ отечества—на это нѣтъ общихъ правилъ, и, конечно, взгляды Стамбулова по этому предмету могли расходиться съ идеями нашихъ патріотическихъ газетъ, несмотря на солидарность въ основныхъ принципахъ практической политики.

Какъ бы то ни было, съ паденіемъ Стамбулова вопросъ объ отношеніяхъ Россіи къ Болгаріи рѣшительно сталъ на очередь и далъ поводъ къ новому „обмѣну мыслей" между болгарскими дѣятелями и нашими отечественными публицистами, при внимательномъ участіи заграничныхъ и особенно австрійскихъ газетъ. Въ Болгаріи руссофильское направленіе внезапно овладѣло умами даже завзятыхъ противниковъ Россіи, какими не безъ основанія считались нѣкоторые изъ нынѣшнихъ правителей и прежде всего самъ принцъ Фердинандъ; болгарскіе патріоты безъ различія партій оказались проникнутыми горячимъ стремленіемъ къ русской дружбѣ и русскому покровительству. На первыхъ порахъ замѣчалась съ нашей стороны нѣкоторая склонность къ снисхожденію: самая распространенная изъ нашихъ газетъ, называвшая принца Кобургскаго не иначе, какъ самозванцемъ, лже-княземъ и т. п., вдругъ перемѣнила тонъ и обратилась къ тому же принцу, какъ къ правителю Болгаріи, за разрѣшеніемъ послать корреспондента въ Софію. Но иллюзія продолжалась недолго, и вскорѣ въ той же газетѣ опять появились старыя, quasi-дипломатическія разсужденія о необходимости для болгаръ безусловно подчиниться берлинскому трактату и отречься отъ принца Фердинанда, чтобы получить право надѣяться на снисходительность

Россіи. Наши газетные патріоты вообще отнеслись къ Болгаріи такъ, точно она у нихъ должна просить прощенія; они выказали готовность быть великодушными, но только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы предварительно были выполнены разныя ихъ требованія и предположенія, болѣе или менѣе фантастическія. Руссофильскіе порывы болгаръ быстро охладѣли подъ вліяніемъ неожиданнаго пріема, встрѣченнаго ими въ нашей печати, и болгарскіе министры вынуждены были даже протестовать противъ приписываемаго имъ намѣренія принести серьезныя политическія жертвы ради русскаго сближенія. Такъ какъ въ отвѣтъ на изліянія болгарскихъ чувствъ у насъ почему-то заговорили о нарушеніи берлинскаго трактата и о незаконности избранія принца Фердинанда, то вопросъ опять попалъ въ прежній заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода.

Напоминая въ сотый и тысячный разъ о берлинскомъ трактатѣ, нарушенномъ Болгаріею, наши газетные блюстители международной законности, кажется, забываютъ, что этотъ трактатъ во многомъ противорѣчитъ интересамъ и выгодамъ Россіи, и что мы не имѣемъ поэтому ни надобности, ни повода хлопотать о точномъ соблюденіи его болгарскимъ княжествомъ. Трактатъ несомнѣнно нарушенъ самовольнымъ объединеніемъ Болгаріи съ Восточною Румеліею, совершившимся еще при князѣ Александрѣ; но не смѣшно ли съ нашей стороны требовать отъ болгаръ, чтобы они отказались отъ удачно исполненной идеи объединенія, намѣченной нами же въ санъ-стефанскомъ договорѣ,—чтобы они обратно отдали Восточную Румелію туркамъ, изъ уваженія къ враждебному намъ берлинскому трактату? Столь же странно предлагать болгарамъ, чтобы они добровольно вновь подвергли себя продолжительному и опасному внутреннему кризису, сопряженному съ отысканіемъ и утвержденіемъ новаго князя,—когда у нихъ уже есть готовый, вполнѣ приличный „князь“, безспорно признанный самимъ болгарскимъ народомъ и молчаливо признаваемый большинствомъ западно-европейскихъ кабинетовъ. Кобургская династія, связанная родствомъ съ важнѣйшими царствующими домами въ Европѣ, вполнѣ удовлетворяетъ патріотическое честолюбіе болгаръ, и навязывать послѣднимъ какія-то новыя и никому ненужныя династическія заботы не имѣло бы цѣли. Цѣлыхъ семь лѣтъ княженія принца Фердинанда тоже нельзя вычеркнуть изъ новѣйшей исторіи Болгаріи, и съ этимъ существующимъ фактомъ надо по неволѣ считаться. Что касается симпатій и влеченій къ той или другой державѣ, то мы видѣли на примѣрѣ принца Баттенберга, что близкое родство и обязательныя отношенія къ данному государству вовсе не обезпечиваютъ прочныхъ политическихъ связей. Выборъ перваго князя сдѣланъ былъ Россіею, и однако это не значитъ, что

выборъ былъ удаченъ съ точки зрѣнія русскихъ интересовъ. Обстоятельства могутъ и чуждаго намъ принца сдѣлать вѣрнымъ другомъ и союзникомъ Россіи, и такія же обстоятельства могутъ превратить и своего человѣка въ скрытаго противника и врага. Въ сущности, трудно понять, почему у насъ предъявляютъ къ Болгаріи какія-то особенныя требованія, о которыхъ нѣтъ и рѣчи, напр. относительно Сербіи;—а между тѣмъ дѣло идетъ просто о возстановленіи оффиціальныхъ дипломатическихъ отношеній съ княжествомъ, безъ всякихъ дальнѣйшихъ плановъ и выводовъ. Возстановленіе этихъ отношеній было бы столь же важно и желательно для насъ, какъ и для Болгаріи, и казалось бы, что для этого необходимаго предварительнаго компромисса не слѣдовало ставить никакихъ спеціальныхъ условій. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться современнымъ настроеніемъ и положить конецъ безцѣльному формальному разрыву, крайне неудобному для обѣихъ сторонъ, наши патріоты продолжаютъ повторять нелѣпыя фразы о какихъ-то посторонникъ и обидныхъ для Болгаріи вопросахъ. Портить отношенія легко; но зачѣмъ отталкивать возможныхъ друзей и заставлять ихъ снова искать поддержки въ другомъ мѣстѣ? Было бы очень жаль, еслибы и на этотъ разъ примирительнымъ стремленіямъ и усиліямъ болгаръ было противопоставлено холодное—„non possumus“.

На дальнемъ азіатскомъ востокѣ разыгралась война: сравнительно маленькая Японія напала на огромный, неподвижный Китай. Поводы къ столкновенію напоминаютъ отчасти австро-прусскіе споры шестидесятыхъ годовъ, когда австрійцы и пруссаки взялись совмѣстно устроивать шлезвигъ-голштинскія дѣла, въ качествѣ союзниковъ, и въ заключеніе вступили между собою въ войну изъ-за „устроиваемой“ области. Правительства Китая и Японіи пожелали одновременно умиротворить Корею и облагодѣтельствовать ее какими-то реформами, въ виду недавнихъ замѣшательствъ на этомъ злополучномъ полуостровѣ. Китай имѣетъ право вмѣшиваться потому, что Корея находится отъ него въ вассальной зависимости; а Японія заявляетъ свои особыя права, основываясь на старинныхъ отношеніяхъ, подтвержденныхъ самимъ Китаемъ въ договорѣ 1885 года. Въ силу этого японско-китайскаго соглашенія, обѣ державы могутъ посылать свои войска въ Корею для возстановленія въ ней порядка въ случаѣ надобности. Японцы нашли нужнымъ принять эту мѣру въ данномъ случаѣ, предложивъ вмѣстѣ съ тѣмъ приступить къ надлежащему преобразованію внутренняго управленія Кореи; китайская дипломатія возражала, отрицая право Японіи на такое вмѣшательство и не при-

знавая также необходимости подобныхъ мѣропріятій. Хотя корейскій король первый обратился къ Китаю за помощью и этимъ возбудилъ соперничество со стороны Японіи, но вскорѣ онъ очутился еще въ болѣе безпомощномъ положеніи, благодаря явившимся на подмогу друзьямъ; внутреннія смуты успѣли прекратиться, а вслѣдъ за японскими войсками пришли китайскія, подъ предлогомъ водворенія мира, и началась обычная исторія такихъ усиленныхъ хлопотъ о мирѣ: миротворцы подрались, и возникло настоящее систематическое кровопролитіе, называемое войною. Прекращать этотъ новый безпорядокъ уже некому, и великимъ европейскимъ державамъ остается только слѣдить за ходомъ возникшей борьбы, наблюдать, какъ японцы топятъ китайцевъ и какъ послѣдніе рѣжутъ японцевъ, по правиламъ ли военнаго искусства или безъ всякихъ правилъ.

Корея прежде всего должна будетъ поплатиться за побѣду той или другой стороны; и корейцы несомнѣнно выиграютъ, если освободятся отъ туземныхъ угнетателей и перейдутъ подъ власть болѣе культурной Японіи,—тогда какъ торжество китайцевъ было бы великимъ бѣдствіемъ для корейскаго населенія. Въ то же время окончательная побѣда японцевъ принесла бы огромную пользу всей восточной Азіи, встряхнувъ застывшій и какъ бы окаменѣлый политическій организмъ Китая. Сотни милліоновъ человѣческихъ существъ обречены на жалкое, безнадежное прозябаніе, подъ подавляющимъ гнетомъ китайскаго владычества, и конечно, открытіе этимъ народамъ доступа къ новой жизни посредствомъ расторженія „небесной имперіи“ на нѣсколько самостоятельныхъ государствъ и областей—было бы величайшимъ историческимъ событіемъ, наступленіе котораго въ высшей степени желательно со всевозможныхъ точекъ зрѣнія.

Китай съ его безчисленными массами крѣпкихъ и выносливыхъ обитателей представляется иногда страшною угрозою для Европы въ будущемъ, и заблаговременное устраненіе этого кошмара было бы большимъ успокоеніемъ для европейскихъ націй. Наиболѣе благотворно отразилось бы распаденіе Китая на нашихъ азіатскихъ владѣніяхъ и интересахъ; мы освободились бы отъ необходимости держать значительныя военныя силы вдоль нашихъ границъ въ Азіи; и на развалинахъ имперіи, служащей воплощеніемъ застоя, возникла бы новая жизнь, которая бы открыла болѣе свѣтлыя перспективы для всѣхъ сосѣднихъ территорій и областей. Избавившись отъ грандіознаго китайскаго сфинкса, пугающаго до сихъ поръ воображеніе культурныхъ народовъ, Азія несомнѣнно ожила бы во всѣхъ отношеніяхъ.

Что же дѣлаютъ представители просвѣщенныхъ націй, чтобы облегчить эту великую культурную задачу? Сознаютъ ли они по

крайней мѣрѣ значеніе и смыслъ событій, происходящихъ теперь на дальнемъ азіатскомъ востокѣ? Къ сожалѣнію, такого пониманія не видно у людей, готовыхъ помогать Китаю оружіемъ и деньгами, устроивающихъ для него крупные внѣшніе займы на военныя надобности, снабжающихъ китайскую армію усовершенство анными пушками и обучающихъ ее европейскимъ военнымъ пріемамъ. Англійскіе коммерческіе корабли, подъ командою европейцевъ, берутся перевозить китайскихъ солдатъ и китайское оружіе, для борьбы противъ японцевъ, а потомъ англичане еще протестуютъ, когда эти корабли подвергаются обычнымъ случайностямъ военнаго положенія. Этотъ индифферентизмъ въ распространеніи и усиленіи новѣйшихъ военныхъ средствъ среди какихъ угодно народовъ, не исключая и дикарей, составляетъ одну изъ непріятныхъ особенностей современной международной практики, а присутствіе нѣмецкихъ военныхъ инструкторовъ гдѣ-нибудь въ Китаѣ свидѣтельствуетъ лишь о равнодушіи къ вопросамъ, выходящимъ за предѣлы реальныхъ житейскихъ задачъ и вопросовъ. Нужно желать, чтобы это равнодушіе и этотъ индифферентизмъ не принесли неожиданно горькихъ плодовъ въ будущемъ.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го сентября 1894.

— Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ шести томахъ. Съ портретомъ автора и статьей Евгенія Соловьева (автора біографіи Писарева). Шесть томовъ. Спб. 1894. Изданіе Ф. Павленкова.

— Д. И. Писаревъ, его жизнь и литературная дѣятельность. Біографическій очеркъ Евгенія Соловьева. Съ портретомъ Д. И. Писарева, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ. 2-е изданіе, дополненное многими неизданными письмами. (Жизнь замѣчательныхъ людей. Біографическая библіотека Ф. Павленкова.) Спб. 1894.

Настоящее изданіе сочиненій Писарева является послѣ долгаго промежутка со времени предъидущаго; если не ошибаемся, этотъ писатель былъ довольно долго изъятъ изъ литературнаго обращенія. О подобныхъ изъятіяхъ нельзя не пожалѣть. Если ими хотѣли устранить изъ литературы извѣстное направленіе мысли, предполагаемое дурнымъ, то разсчетъ, какъ въ данномъ случаѣ, оказывается невѣрнымъ: извѣстное направленіе общественной мысли не исчерпывается однимъ писателемъ или даже нѣсколькими писателями. Оно принадлежитъ духу времени, а духъ времени прежде всего проявляется, во-первыхъ, фактами жизни, которыхъ устранить нельзя, а во-вторыхъ, содержаніемъ литературы другихъ народовъ, устранить вліяніе которыхъ оказалось бы дѣломъ совершенно немыслимымъ. Между тѣмъ вредъ изъятій не подлежитъ сомнѣнію: писатель есть во всякомъ случаѣ порожденіе общества; а тѣмъ болѣе писатель талантливый, съ ясно выраженнымъ складомъ стремленій, высказываетъ нерѣдко глубокія, исторически выросшія движенія общественной мысли, и нарушить и затруднить выраженіе этой мысли (если не прервать его) значитъ несомнѣнно повредить этому обществу. И безъ того небогатая умственнымъ содержаніемъ, общественная мысль подвергается случайностямъ, которыя не даютъ установиться прочному и здравому сознанію. Въ естественномъ порядкѣ вещей,

каждое время даетъ извѣстную ступень въ развитіи этой мысли: то, что въ ней было недоразвившагося, преувеличеннаго, рѣзкаго, иногда такъ-называемаго „вреднаго", само собою видоизмѣняется, и его крайности отпадаютъ естественнымъ процессомъ столкновенія мнѣній,—и самый этотъ процессъ становится пріобрѣтеніемъ, опытомъ, и между тѣмъ сохраняется тотъ запасъ побужденій, которыя были, безъ сомнѣнія, не чѣмъ инымъ, какъ исканіемъ истины. Изъятіе писателя изъ обращенія, какъ вообще стѣсненіе литературы въ области нравственныхъ и общественныхъ вопросовъ, есть ударъ этому исканію истины. Литературы великихъ европейскихъ народовъ давно не знаютъ уже этой внѣшней преграды своему развитію; въ скромныхъ размѣрахъ нашей литературы онѣ задерживаютъ ея даже элементарные опыты. Нѣтъ сомнѣнія, что за послѣднее время эти ненормальныя условія именно много содѣйствовали установленію того низменнаго уровня, на которомъ стоитъ наибольшая доля не только нашей нынѣшней публицистики, т.-е. литературы общественныхъ вопросовъ, но даже и поэтическое „творчество".

Писаревъ, собственно говоря, давно уже отошелъ въ исторію. Писатель, посвящающій свои труды текущимъ вопросамъ общественности и литературы, вообще скоро отходитъ въ исторію, потому что въ замѣнъ волновавшихъ его вопросовъ быстро накопляются новые, требующіе рѣшенія, привлекающіе на себя вниманіе; факты общественной и народной жизни, раскрывающіе все новыя стороны этой жизни, тѣмъ больше отодвигаютъ старое содержаніе литературы, и въ настоящее время представляется очень страннымъ, что такой писатель, какъ Писаревъ, могъ подвергаться гоненію. И это послѣднее только еще разъ свидѣтельствуетъ о томъ, какъ еще невелики размѣры нашей литературы и общественнаго образованія, если требовались особенныя мѣры для устраненія того вліянія, какое за нимъ предполагалось: въ самомъ дѣлѣ, эти размѣры очень невелики и по внѣшнему объему литературы, и по объему содержанія, какое было для нея доступно. Когда Писаревъ началъ свою дѣятельность, онъ былъ юношей лѣтъ двадцати, не болѣе, еще не покинувшій университетской скамьи, юноша даровитый, исполненный живыми идеальными стремленіями, очень скоро популярный по тому увлеченію, съ какимъ онъ отдавался своимъ идеаламъ и которое подкупало его читателей, въ особенности такихъ же юношей, какъ онъ. Въ своемъ одушевленіи онъ скоро успѣлъ наговорить вещей, которыя показались его судіямъ непозволительною и зловредною ересью. Во-первыхъ, онъ отрицалъ чистое искусство; въ погонѣ за общественнымъ содержаніемъ литературы, онъ отвергалъ неприкосновенные до тѣхъ поръ авторитеты нашей литературы, и на первомъ планѣ са-

мого Пушкина: въ статьѣ, надѣлавшей много шуму, онъ насмѣялся надъ „Евгеніемъ Онѣгинымъ“ и надъ тѣми, кто имъ восторгался; величайшій поэтъ русской литературы былъ для него только „маленькій и миленькій Пушкинъ“, прекраснѣйшій стилистъ, въ чемъ и была вся его заслуга; всего важнѣе въ литературѣ была непосредственная польза, какую она можетъ принести обществу, и въ данную минуту всего больше пользы должны были оказать изученіе экономической науки и естествознанія, потому что первая могла разъяснить первостепенный реальный вопросъ для общества и народа — вопросъ о бѣдности, мѣшающей человѣчеству существовать нормально, а второе должно было освободить умы отъ превратныхъ понятій, не допускающихъ здраваго отношенія къ жизни; онъ отвергалъ всякую метафизику и отвлеченную философію, какъ лишенныя реальнаго содержанія, и относился враждебно къ той спеціальной наукѣ, которая не хочетъ приблизиться къ массѣ и создаетъ „монополію знанія“, по его мнѣнію, самую вредную изъ всѣхъ монополій. Соотвѣтственно этимъ и подобнымъ основаніямъ своихъ взглядовъ, Писаревъ рѣзко судилъ о современной литературѣ и, напримѣръ, на первыя произведенія Салтыкова, тотчасъ создавшія этому писателю большую популярность, отозвался совѣтомъ, чтобы сатирикъ занялся лучше составленіемъ популярныхъ книжекъ по естественнымъ наукамъ. За Писаревымъ нашлось не мало и другихъ подобныхъ ересей, и въ извѣстныхъ кругахъ ему составлена была репутація писателя вреднаго... Во всякомъ случаѣ этотъ „вредъ“ могъ бы считаться значительно устраненнымъ тою полемикой, которая съ самаго начала направлена была противъ его мнѣній. Въ концѣ концовъ его ужасались и нападали на него гораздо больше, чѣмъ бы требовалось.

Авторъ вводной статьи къ настоящему изданію Писарева дѣлаетъ нѣсколько справедливыхъ замѣчаній о томъ, какъ слѣдуетъ понимать не только Писарева, но и другихъ дѣятелей литературы того времени и вообще шестидесятые года. Можно не согласиться съ удивленіемъ автора тому, что эти годы еще не нашли до сихъ поръ спокойной исторической оцѣнки: это, напротивъ, нисколько не удивительно. Шестидесятые года, повидимому, уже достаточно далеки отъ насъ; но въ нашей литературѣ историческая давность, которая открывала бы просторъ для безпристрастнаго изображенія событій и лицъ, принимается гораздо шире, чѣмъ это бываетъ въ другихъ литературахъ: ни мало не удивительно, что шестидесятые года еще закрыты для нашего историческаго изученія, если мы вспомнимъ, что у насъ до сихъ поръ нѣтъ исторіи предшествовавшаго имъ періода, что историческая давность въ сущности не наступила даже

для конца XVIII-го вѣка. До извѣстной степени, конечно, опредѣленіе шестидесятыхъ годовъ было бы возможно уже и теперь, и (за нѣкоторыми исключеніями) справедливы слова г. Евг. Соловьева: „Казалось бы, къ чему особенно путать въ этомъ вопросѣ? Взгляды любого изъ дѣятелей этой эпохи просты, изложены они ясно и рѣзко, выводы изъ нихъ сдѣланы или легко могутъ быть сдѣланы, предшествующія событія мы знаемъ, послѣдующія одинаково никакой таинственности изъ себя не представляютъ. Особенно грандіознаго, великаго, такого, что̀ было бы трудно понять, въ шестидесятые годы не дѣлалось и не говорилось. И это-то странное неумѣніе оцѣнить такое въ сущности простое и искреннее движеніе, какъ движеніе шестидесятыхъ годовъ, является очень нехорошимъ знакомъ и говоритъ, что мы *не хотимъ* знать истины". Мы сказали объ „исключеніяхъ", потому что многіе факты изъ того времени именно еще остаются недосказанными или не могли быть досказаны. Далѣе, авторъ справедливо замѣчаетъ, что странно представлять движеніе шестидесятыхъ годовъ будто бы произвольно вторгнувшимся въ мирную русскую жизнь, когда, напротивъ, основные вопросы, которыми было поглощено то время, были затронуты гораздо раньше. Вопросъ *объ освобожденіи крестьянъ* хотя не былъ рѣшенъ, но былъ поднятъ въ царствованіе Николая; *эмансипація личности* возникаетъ съ начала столѣтія; *народническое движеніе* стало созрѣвать еще съ сороковыхъ годовъ. „*Гражданскую* струю трудно было бы не видѣть въ стихахъ Некрасова, появившихся до „навожденія", въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго, особенно тѣхъ, которыя относятся къ 1846—48 гг., и во всемъ, что̀ вышло изъ-подъ пера автора: „Кто виноватъ?". *Реализмъ* искусства выдуманъ опять-таки не Добролюбовымъ и не Писаревымъ, чистое искусство было похоронено уже Бѣлинскимъ, а краса нашего реализма, гр. Л. Толстой, выступилъ съ своимъ „Дѣтствомъ" въ 1852 г. (въ „Современникѣ"). *Обличительная литература* не сходила со сцены во все время царствованія Николая"...

Была, однако, громадная разница сравнительно съ прежнимъ въ томъ, что прежде настоятельные вопросы русской жизни, какъ освобожденіе крестьянъ, судебная реформа и т. п., были совершенно недоступны для печати, а теперь они стали открытымъ (хотя все еще не сполна) общественнымъ интересомъ, и высказанные вслухъ создавали невиданное прежде возбужденіе,—и изъ этого возбужденія, которое не обошлось безъ нѣкоторыхъ увлеченій, реакціонная доля общества сдѣлала преступленіе шестидесятыхъ годовъ, крайне преувеличивъ эти увлеченія и наконецъ обвинивъ само правительство тѣхъ временъ въ легкомысленной погонѣ за реформами. Но что эти

реформы и новыя стремленія общества были законны и естественны, это доказывается уже ихъ связью съ предъидущимъ періодомъ, которую указываетъ нашъ авторъ и которая несомнѣнна. Въ характерѣ литературной дѣятельности шестидесятыхъ годовъ г. Евг. Соловьевъ отмѣчаетъ опять довольно вѣрно и другую сторону. Шестидесятые годы были въ особенности рабочіе годы. „Психологія торопливаго труда, труда одушевленнаго во имя вполнѣ ясно сознанной цѣли, по вполнѣ опредѣленной программѣ, и притомъ неотложнаго—такова психологія шестидесятыхъ годовъ. Другой нечего и искать. И если кому не нравится, какъ люди работаютъ молоткомъ и топоромъ, тому нечего читать шестидесятниковъ, а слѣдуетъ обратиться къ другой эпохѣ, когда играютъ на лирѣ и воспѣваютъ мечтательную луну". Если взглянуть безпристрастно на то время и откинувъ „легенду о нигилистахъ",—говоритъ авторъ,—„передъ вами оживетъ цѣлое поколѣніе, если хотите, не совсѣмъ „уклюжее", не совсѣмъ изящное, совершенно не созерцательное,—поколѣніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа ликвидаціи крѣпостного права и крѣпостныхъ отношеній вообще. Вѣдь и Левъ Толстой былъ тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишекъ въ яснополянской школѣ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему желѣзную дорогу, нѣтъ дѣла до того, что ему придется срубить вѣковой дубъ, подъ сѣнью котораго еще вчера цѣловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ и остановитъ журчанье ручейка. Съ этой точки зрѣнія шестидесятники относились къ красотѣ и чистому искусству. То и другое они замѣнили „обществомъ", общественными вопросами, отвѣтственностью человѣка передъ себѣ подобными и т. д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы, Петрарку и Пушкина, Тассо и Гоголя, зато надо было вырѣшить и не принципіально, а подробно и практически, вопросъ о нормѣ надѣла, присяжныхъ и т. д. Всю эту черную утомительную работу они сдѣлали, и вдругъ отъ насъ видятъ одну черную неблагодарность. За что? За то, что были въ поту и съ мозолями на рукахъ, а современные поэты, подобно Мюссе, не могутъ писать иначе какъ въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ полубутылкой клико передъ собой?"...

Работа, особливо торопливая и черная, всегда развиваетъ въ человѣкѣ извѣстнаго рода ригоризмъ,—продолжаетъ авторъ.—„Сосредоточенный, внимательный работникъ всегда кажется дилеттанту и ограниченнымъ, и узкимъ потому, что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота полюбоваться на мечтательную луну, погрустить о роковой тайнѣ бытія

и пр. Этотъ рабочій, трудовой ригоризмъ очень характеренъ для шестидесятыхъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева, а второстепенные дѣятели доводили его до крайности"...

Авторъ находитъ, что многія „ошибки" шестидесятыхъ годовъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи, могутъ, вѣроятно, оказаться очень простительными, и беретъ въ примѣръ тогдашнее увлеченіе естественными науками. Мы далеки отъ этого увлеченія—„и еще дальше отъ попытокъ и стремленія перестроить жизнь на научномъ основаніи. Л. Толстой, напр., прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можетъ. Каждый его шагъ, каждое соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаютъ его, что единственная опора труда, это—знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ".

Была, однако, еще болѣе частная и близкая причина этого и другихъ увлеченій, о которой не упоминаетъ г. Евг. Соловьевъ. Шестидесятые годы дали возможность нѣсколько расширить кругъ предметовъ, доступныхъ для литературы, и въ числѣ этихъ предметовъ явились теперь вопросы естествознанія, на которыхъ передъ тѣмъ лежало строгое запрещеніе. Литература спѣшила пополнять пробѣлы, остававшіеся отъ прежняго времени, какъ спѣшила пополнять ихъ и по другимъ вопросамъ, особливо нравственно-общественнымъ. Казалось вообще, что для русскаго общества наступаетъ если не новый періодъ его гражданскаго бытія (наиболѣе ревностные дѣятели тѣхъ годовъ очень недовѣрчиво относились къ „неслышной поступи" нашего прогресса), то по крайней мѣрѣ возможность внести новыя идеи въ его умственное и нравственное воспитаніе. Отсюда, кромѣ практическихъ вопросовъ бытового преобразованія, возникали въ то время горячо проповѣдуемые вопросы о нравственныхъ принципахъ общества. Разъясненію этихъ вопросовъ и хотѣлъ въ особенности посвятить свои труды Писаревъ.

Онъ былъ вообще однимъ изъ самыхъ характерныхъ писателей, въ которыхъ отразилось настроеніе шестидесятыхъ готовъ и именно въ молодомъ поколѣніи. Онъ выступилъ на литературное поприще въ самомъ разгарѣ тогдашняго общественнаго возбужденія; когда другіе писатели того времени, дѣйствовавшіе въ томъ же направленіи общественныхъ интересовъ, были нѣсколько или значительно старше его и такимъ образомъ видѣли русскую жизнь въ совсѣмъ иныхъ формахъ, Писаревъ вступилъ въ жизнь и въ литературу именно въ такой моментъ, когда старое, какъ ему казалось, должно окончательно отойти въ прошедшее; оно оставило только новыя поколѣнія непри-

готовленными къ задачамъ, которыя предстояли имъ въ новомъ періодѣ общественнаго развитія. Новыя поколѣнія нуждались въ этомъ воспитаніи; надо было разъяснить имъ основныя идеи, въ духѣ которыхъ должно трудиться на благо своего общества. Писаревъ отдался проповѣди новаго идеала, отдался съ тѣмъ юношескимъ увлеченіемъ, которое обыкновенно приступаетъ къ вопросамъ и рѣшаетъ ихъ прямо и категорически; это увлеченіе бывало нерѣдко настоящимъ юношескимъ задоромъ, который вѣритъ въ свои силы, не хочетъ знать препятствій, но вмѣстѣ съ тѣмъ отдаетъ дѣлу всю свою душу. Дѣйствительно, надо удивляться этому богатому запасу юношескаго мужества, когда мы вспомнимъ, что, кончивъ жизнь не болѣе какъ въ двадцать семь лѣтъ, Писаревъ больше четырехъ лѣтъ этой короткой жизни, когда онъ только-что началъ свое литературное поприще, провелъ въ заключеніи въ крѣпости (за участіе, какое онъ принялъ въ одномъ тогдашнемъ тайномъ изданіи). Именно въ эти годы были написаны его самыя одушевленныя произведенія, которыя быстро составили его славу въ средѣ молодыхъ читателей. Онъ забывалъ свою обстановку, онъ жилъ своимъ энтузіазмомъ и успѣхъ поддерживалъ его въ неутомимой и быстрой работѣ. „Успѣхъ его статей превзошелъ самыя смѣлыя и нетерпѣливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнѣйшая его біографія обращается въ постоянное литературное горѣніе. Писаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для внимательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово; весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадетъ даромъ, а найдетъ себѣ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцѣ". Въ біографіи его мы читаемъ: „Во время пятилѣтняго заключенія въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны его души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ „Наша университетская наука", „Реалисты", „Романъ кисейной дѣвушки", „Промахи незрѣлой мысли"— гдѣ же тутъ хотя бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ-лѣтняго литератора не было ни на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что̀ съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность

положенія—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ—не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той же работой, съ такими же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ „Русскомъ Словѣ".

При томъ первоначальномъ настроеніи, о которомъ мы упоминали, при тѣхъ необычайныхъ условіяхъ, въ какихъ шла его работа, при цѣломъ характерѣ молодого писателя,—идеалиста, убѣжденнаго въ правотѣ своихъ воззрѣній и стремившагося служить ими обществу,—наконецъ, при живомъ дарованіи, становятся понятны свойства его дѣятельности. Она отличается извѣстной отвлеченностью, —хотя онъ считалъ себя именно положительнымъ „реалистомъ": онъ стремился найти самыя общія основы личной и общественной жизни и нравственности и находилъ ихъ въ условіяхъ личности и въ условіяхъ труда; цѣль человѣческаго общества, для достиженія его матеріальнаго и нравственнаго благосостоянія, должна заключаться въ освобожденіи личности и труда; для того и другого прежде и выше всего необходимо просвѣщеніе, и это просвѣщеніе должно поставить на первомъ планѣ прямую, непосредственную пользу — обогащеніе ума реальнымъ знаніемъ. Отсюда исходили всѣ тѣ частные вопросы, на которыхъ онъ останавливался и на которые давалъ категорическія рѣшенія; отсюда его отрицаніе метафизики, отрицаніе такъ называемаго чистаго искусства: искусство имѣетъ единственный смыслъ въ служеніи обществу; такъ называемое чистое искусство есть только забава и эпикурейство для людей чуждыхъ труду и общественному интересу; отсюда его настоянія на необходимости изученія естественныхъ наукъ, потому что онѣ даютъ реальное объясненіе жизни, и на необходимости изученій экономическихъ, потому что они объясняютъ прошедшую судьбу и искомыя условія нормальнаго труда.

Останавливаясь однажды на коренной задачѣ общественной науки—достиженіи человѣческаго благосостоянія, Писаревъ ставитъ вопросъ о томъ, что́ должны дѣлать люди, которые берутся быть руководителями общественнаго самосознанія, и отвѣчаетъ слѣдующими указаніями. Во-первыхъ: когда теоретическое рѣшеніе соціальнаго вопроса еще не найдено, эти люди должны — „всѣми силами искать теоретическаго рѣшенія и всѣми силами побуждать другихъ людей къ тому же самому исканію, то-есть изображать яркими красками страданія голоднаго большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе и общественные вопросы и систематически отрицать и осмѣивать все, что́ отвлекаетъ умственныя силы образованныхъ лю-

дей отъ главной задачи. Если въ числѣ отвлекающихъ предметовъ оказывается все искусство вообще или нѣкоторыя его отрасли, то, разумѣется, такихъ поэтовъ надо встрѣчать съ распростертыми объятіями, какъ драгоцѣнныхъ и полезнѣйшихъ союзниковъ. Но читателямъ своимъ подобные поэты не доставятъ ничего, кромѣ неотразимо-мучительныхъ ощущеній, которыя окажутся очень плодотворными, но которыя не совсѣмъ справедливо называть эстетическими наслажденіями. Неужели мы дѣйствительно наслаждаемся, когда чувствуемъ у себя на лбу капли холоднаго пота, когда у насъ на щекахъ горитъ яркій румянецъ стыда, или когда мы съ безсильнымъ скрежетомъ зубовъ оплакиваемъ кровавыми слезами нашу собственную дрянность, глупость и безхарактерность?" Во-вторыхъ, если теоретическое рѣшеніе уже найдено, то люди, желающіе руководить общественное самосознаніе, должны—„постоянно разъяснять обществу съ разныхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ основныя начала разумной экономической и общественной доктрины, знакомить его такимъ образомъ съ найденнымъ теоретическимъ рѣшеніемъ и при этомъ всѣми возможными средствами усиливать притокъ новыхъ людей изъ низшихъ классовъ въ образованное общество; другими словами, надо вербовать агентовъ найденнаго разумнаго ученія и надо увеличивать массу мыслящаго пролетаріата. Роль поэзіи должна въ это время состоять, съ одной стороны, въ яркомъ изображеніи невыносимыхъ неудобствъ существующаго экономическаго хаоса, а съ другой—въ такомъ же яркомъ рисованіи того блестящаго будущаго, которое приведетъ за собою найденная разумная организація. Остальныя отрасли искусства, продолжающія развлекать общество пустыми забавами, подлежатъ по прежнему самому строгому осужденію" (Сочиненія, т. V, стр. 202—203).

Очевидно, такъ онъ хотѣлъ опредѣлить и программу своей собственной дѣятельности, и здѣсь оказалась та отвлеченность, на которую мы указывали. Дѣйствительная жизнь несравненно сложнѣе, чѣмъ онъ представлялъ ее: явленія ея нельзя свести въ такое опредѣленное положеніе, изъ котораго онъ тотчасъ извлекалъ свои заключенія. Кромѣ этой сложности явленій онъ не оцѣнивалъ и ихъ историческаго происхожденія и значенія. Отсюда тѣ односторонности, которыя нѣкогда возмущали его критиковъ и судей.

Біографъ Писарева признаетъ, что въ извѣстной статьѣ, надѣлавшей въ свое время много шуму и еще долго послѣ памятной его обличителямъ, Писаревъ неудачно выбралъ Пушкина въ образецъ враждебнаго для массы искусства; но онъ выбралъ его совершенно сознательно, какъ наиболѣе прославленнаго поэта, какъ величайшій авторитетъ у защитниковъ чистаго искусства; на немъ сильнѣе, чѣмъ

на комъ-нибудь, онъ могъ высказать свои взгляды на высокую общественную задачу искусства, которая не можетъ мириться съ поверхностнымъ эстетическимъ эпикурействомъ. Статья написана съ замѣчательнымъ одушевленіемъ, переходящимъ именно въ юношескій задоръ, и безъ сомнѣнія не лишена мѣткихъ замѣчаній,—но ограничить этимъ сужденіе о Пушкинѣ было прежде всего исторически невѣрно. Подобнымъ образомъ распространяя свои осужденія на всякое искусство, служащее эстетическимъ вкусамъ избраннаго меньшинства, Писаревъ опять невѣрно направилъ свои обличенія: искусство, какъ литература, имѣетъ свои почти неизбѣжныя или совершенно неизбѣжныя ступени развитія; достигнутые имъ результаты имѣютъ свою великую цѣну, хотя бы въ данную минуту не удовлетворяли демократическому требованію—вина была бы не въ искусствѣ, а внѣ его, въ недостаточномъ развитіи средствъ для его усвоенія.

Біографъ замѣчаетъ, что „главный штабъ" литературы относится къ Писареву нѣсколько свысока. Дѣло въ томъ, что уже въ то время были видны его крайнія преувеличенія; но въ немъ цѣнили его талантъ, его энтузіазмъ, и въ послѣднее время своей дѣятельности Писаревъ присоединился къ этому „главному штабу", когда работалъ въ „Отечественныхъ Запискахъ" временъ Некрасова и Салтыкова. Въ наше время, когда въ общественной жизни успѣло съ тѣхъ поръ совершиться столько переворотовъ, Писаревъ, повидимому, долженъ былъ устарѣть; его недостатки могутъ сильнѣе бросаться въ глаза; мы думаемъ однако, что и для настоящаго времени онъ можетъ имѣть не только историческій, но живой непосредственный интересъ. Наше время слишкомъ не похоже на шестидесятые года, часто составляетъ къ нимъ прямую противоположность: всѣ говорятъ объ апатіи современнаго общества, и совершенно справедливо,—давно общество не было такъ равнодушно къ высшимъ интересамъ литературы, искусства, науки; господствующей чертой является полная безпринципность, отсутствіе не только идеала, но даже какихъ-нибудь убѣжденій, и не въ одной только массѣ, но и въ рядахъ самой руководящей литературы. Въ этомъ упадкѣ,—о которомъ заговорили даже въ тѣхъ литературныхъ кружкахъ, которые сами служатъ образчиками этого упадка,—сочиненія Писарева являются отголоскомъ эпохи благороднаго идеализма, который, быть можетъ, отзовется въ современномъ сознаніи и въ современной совѣсти.

Біографія Писарева, написанная г. Евг. Соловьевымъ и вышедшая теперь вторымъ изданіемъ, составлена очень обстоятельно; но считаемъ немалымъ недостаткомъ ея отсутствіе библіографическихъ

указаній—весьма важныхъ для читателей, которые желали бы ближе познакомиться съ предметомъ. Съ той же любовью къ писателю шестидесятыхъ годовъ написана и вводная статья г. Соловьева къ изданію сочиненій Писарева; но историческія и публицистическія соображенія автора отличаются иногда слишкомъ бойкой огульностью и изложены иногда черезъ мѣру развязнымъ языкомъ, который не способствуетъ убѣдительности и, намъ кажется, не совсѣмъ отвѣчаетъ достоинству предмета. — Т.

— 1793—1893. Празднованіе Императорскимъ Казанскимъ университетомъ столѣтней годовщины дня рожденія Н. И. Лобачевскаго. Казань, 1894. 4°. (Съ портретомъ Лобачевскаго).

Прекрасно исполненное изданіе передаетъ подробности празднованія столѣтней годовщины рожденія Лобачевскаго 22—24 октября прошлаго года и рѣчи, произнесенныя при этомъ случаѣ ректоромъ и профессорами казанскаго университета и директоромъ реальнаго училища. Газеты говорили въ свое время объ этомъ торжествѣ, и русскимъ читателямъ—большинству, вѣроятно, впервые—стало извѣстно имя знаменитаго математика. Ученое торжество заключалось въ торжественномъ собраніи университета, гдѣ прочитана была рѣчь ректора университета, сообщавшая біографическія данныя о Лобачевскомъ, далѣе многочисленные адресы отъ ученыхъ учрежденій въ Россіи и за границей и отдѣльныхъ лицъ, и рѣчи профессоровъ, заключавшія объясненіе научныхъ заслугъ Лобачевскаго; затѣмъ памяти его посвящены были засѣданія физико-математическаго общества при казанскомъ университетѣ. Настоящее изданіе заключаетъ такимъ образомъ, кромѣ описанія торжества и привѣтственныхъ адресовъ, рѣчи: ректора университета г. Ворошилова, профессоровъ Ѳ. М. Суворова, А. В. Васильева, А. И. Смирнова и директора реальнаго училища И. А. Износкова.

Какъ мы сказали, имя Лобачевскаго внѣ Казани и внѣ круга спеціалистовъ вообще было у насъ мало извѣстно; область его трудовъ, высшіе вопросы математики и геометріи, была слишкомъ спеціальна; но изъ русскихъ ученыхъ немногіе пріобрѣтали въ наукѣ такое почетное имя, хотя слава его была запоздалая. Упомянутыя рѣчи указываютъ, что труды Лобачевскаго получили признаніе — и прежде всего въ средѣ западныхъ ученыхъ—только послѣ его смерти; быть можетъ, это напомнило или объяснило значеніе его заслуги и самимъ русскимъ ученымъ. Мы читаемъ въ предисловіи къ настоящей книгѣ, что память о Лобачевскомъ „всегда свято чти-

лась въ казанскомъ университетѣ" (онъ умеръ въ 1856), но только въ *1868* году, по иниціативѣ проф. Ковальскаго, предпринято было изданіе полнаго собранія сочиненій Лобачевскаго по геометріи, которое вышло въ свѣтъ въ *1883—1886* годахъ, т.-е. издавали эти два тома почти двадцать лѣтъ.

Труды Лобачевскаго относились къ наиболѣе труднымъ задачамъ его науки и въ свое время ихъ новость и оригинальность были мало понимаемы даже спеціалистами или понимаемы только немногими первостепенными свѣтилами науки, какъ знаменитый Гауссъ. Понятно, что для невѣжественной толпы, слышавшей, что ученые (второго разбора) не признаютъ новыхъ теорій Лобачевскаго, это было поводомъ для презрѣнныхъ глумленій, которыя доходили, кажется, и до нашего ученаго. Въ теченіе своей жизни онъ не имѣлъ утѣшенія видѣть признаніе своего замѣчательнаго труда... Тѣмъ не менѣе въ университетской средѣ чувствовалось великое превосходство его ума, а въ молодыхъ поколѣніяхъ (какъ мы знаемъ по собственнымъ воспоминаніямъ) имя Лобачевскаго было окружено величайшимъ почтеніемъ: кромѣ авторитетнаго имени въ его спеціальной наукѣ, Лобачевскій внушалъ это почтеніе какъ истинно-просвѣщенный человѣкъ и какъ прямой, достойный характеръ, который въ университетской средѣ сказывался во время многолѣтней дѣятельности Лобачевскаго въ качествѣ ректора и наконецъ помощника попечителя казанскаго округа. Въ немногихъ сочиненіяхъ Лобачевскаго внѣ его спеціальности и въ самыхъ математическихъ трудахъ можно было видѣть, что это былъ человѣкъ широкаго образованія, котораго мысль обращалась въ самыхъ широкихъ, возвышенныхъ вопросахъ человѣческаго знанія и нравственности. Юбилейныя воспоминанія о Лобачевскомъ заставили, напр., припомнить одинъ изъ его трудовъ подобнаго общаго характера, его рѣчь „О важнѣйшихъ предметахъ воспитанія", которую произнесъ онъ въ университетѣ въ 1828 году, вскорѣ послѣ того, какъ онъ по выбору товарищей назначенъ былъ ректоромъ казанскаго университета. Языкъ этой рѣчи по нынѣшнему нѣсколько тяжелъ и носитъ отпечатокъ двадцатыхъ годовъ, но во всемъ изложеніи чувствуется глубоко продуманная мысль и слова ставились не даромъ. Вотъ, напр., нѣсколько его словъ изъ этой рѣчи. Указавъ значеніе образованія, которое даетъ человѣку сознаніе въ его личной и общественной жизни, онъ продолжаетъ: „Но одно образованіе умственное не довершаетъ еще воспитанія. Человѣкъ, обогащая свой умъ познаніями, еще долженъ учиться умѣть наслаждаться жизнію. Я хочу говорить объ образованности вкуса. Жить значитъ чувствовать, наслаждаться жизнію, чувствовать непрестанно новое, которое напоминало, что мы живемъ... Ничто

такъ не стѣсняетъ потока жизни, какъ невѣжество; мертвою, прямою дорогою провожаетъ оно жизнь отъ колыбели къ могилѣ. Еще въ низкой долѣ изнурительные труды необходимости, мѣшаясь съ отдохновеніемъ, услаждаютъ умъ земледѣльца, ремесленника; но вы, *которыхъ существованіе несправедливый случай обратилъ въ тяжелый налогъ другимъ*, вы, которыхъ умъ отупѣлъ и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью. Для васъ мертва природа, чужды красоты поэзіи, лишена прелести и великолѣпія архитектура, незанимательна исторія вѣковъ. Я утѣшаюсь мыслью, что изъ нашего университета не выйдутъ подобныя произведенія растительной природы; даже не войдутъ сюда, если родились съ такимъ назначеніемъ. Не войдутъ, повторяю, потому что здѣсь продолжается любовь славы, чувство чести и внутренняго достоинства".

Профессоръ А. И. Смирновъ въ послѣднихъ словахъ своей рѣчи и на послѣдней страницѣ юбилейнаго изданія высказываетъ радость, что совершившееся чествованіе памяти нашего философа-геометра составляетъ фактъ, „свидѣтельствующій о ростѣ нашего общественнаго, скажу больше, нашего народнаго самосознанія": „участіе, которое принимаетъ въ нашемъ торжествѣ вся образованная Россія, свидѣтельствуетъ, что мы научаемся цѣнить своихъ великихъ людей, а тотъ отзвукъ, который торжество это вызвало въ другихъ образованныхъ государствахъ свѣта, есть признаніе нашей съ ними равноправности". Дѣйствительно, можно было бы очень радоваться, еслибы можно было говорить здѣсь о „народномъ" самосознаніи; къ сожалѣнію, нельзя не видѣть, что эти слова могли быть сказаны только въ порывѣ юбилейнаго возбужденія, — къ великому прискорбію, нашъ народъ не знаетъ даже именъ многихъ великихъ дѣятелей русской литературы и науки, а тѣмъ менѣе понимаетъ ихъ значеніе. Точно также почесть, отдаваемая на западѣ наиболѣе замѣчательнымъ представителямъ нашей науки, едва ли говоритъ о признаніи съ ихъ стороны нашей образовательной „равноправности", и мы сами, вспоминая настоящіе размѣры нашей науки сравнительно съ европейской, едва ли можемъ серьезно говорить объ этой равноправности. Мы вовсе не думаемъ, чтобы она была невозможна; напротивъ, мы глубоко убѣждены, что она совершенно возможна — по качествамъ національнаго ума, по примѣрамъ глубокой преданности наукѣ; но чтобы достигнута была истинная равноправность, нужно, чтобы научная работа и ея результаты не были одинокими исключеніями, а напротивъ, были органическимъ, свободнымъ трудомъ этого національнаго ума; но для этого еще слишкомъ недостаточна наша школа. Достаточно сравнить положеніе университетской науки у насъ и на западѣ, чтобы убѣдиться въ ея слишкомъ скромныхъ размѣрахъ въ

нашей высшей школѣ, не только количественно, но и качественно. Упомянутый ораторъ, говоря эти слова, имѣлъ, безъ сомнѣнія, благую цѣль—послужить интересу науки, внушая уваженіе къ ея дѣятелямъ; намъ кажется, что этому интересу лучше послужило бы не самообольщеніе пріобрѣтенными результатами, которые въ концѣ концовъ еще необширны, а указаніе на истинныя потребности нашей науки, которое не скрывало бы ея недостатковъ и объясняло бы ея великое значеніе для цѣлой національной жизни. — А. В.

— Путешествіе на Востокъ Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича 1890—91. Авторъ-издатель кн. Э. Э. Ухтомскій. Иллюстрировалъ Н. Н. Каразинъ. Части 1—3. Петербургъ—Лейпцигъ. 1893—94.

Это обширное изданіе еще не кончено, но характеръ его достаточно опредѣлился. Описанія природы и людей на Востокѣ (особенно въ Индіи, которой посвящены 2-я и 3-я части) читаются съ живымъ интересомъ. Хотя тонъ книги вообще слишкомъ восторженный, и языкъ у автора-поэта мѣстами черезъ-чуръ цвѣтистый, однако нельзя упрекнуть кн. Ухтомскаго въ отсутствіи трезвой наблюдательности. Такъ, несмотря на свое стремленіе всячески сближать Россію и Индію, онъ дѣлаетъ, между прочимъ, слѣдующее замѣчаніе: „По возвращеніи въ Европу большинству изъ насъ, безъ сомнѣнія, будетъ предлагаться довольно странный и праздный вопросъ,— любятъ ли и ждутъ ли русскихъ за Гималаями, какъ будто на это можетъ существовать какой-нибудь подходящій отвѣтъ". Народы азіатскаго Юга и Востока, справедливо поясняетъ авторъ, „никого, кромѣ себя, въ принципѣ не признаютъ и отнюдь не жаждутъ иноплеменнаго вмѣшательства въ ихъ судьбу; но рядомъ съ тѣмъ нѣтъ земель на свѣтѣ, гдѣ бы населеніе легче свыкалось съ событіями историческаго порядка и глубже преклонялось передъ совершившимся фактомъ". О правдивости автора свидѣтельствуетъ также его описаніе пресловутыхъ баядерокъ: „Подъ широкимъ навѣсомъ-шатромъ, у обѣденнаго шала, пестрою группою скучились „баядерки". Онѣ еще не поютъ, не пляшутъ, неподвижно посматриваютъ на иностранцевъ, лѣниво оправляя одежду и ожерелья; но уже отъ одного внѣшняго вида этихъ плясуній сколько получается недовѣрія къ дутымъ восторженнымъ отзывамъ туристовъ, сколько прозы, сколько разочарованія! Невзрачныя, коричневыя, неуклюже затянутыя въ тяжелую дорогую ткань, облекающую ихъ съ ногъ до головы, онѣ производятъ далеко не эстетическое впечатлѣніе... Фантазія художниковъ, рисующая ихъ воздушными, полуобнаженными видѣніями,

здѣсь на мѣстѣ теряетъ крылья, прикована къ довольно отталкивающей дѣйствительности, при дисгармоніи сопутствующей музыки (небольшого барабана и грубой скрипки), не видитъ искры огня въ медленныхъ и холодно размѣренныхъ тѣлодвиженіяхъ каждой пляшущей дѣвушки".

Въ началѣ „Путешествія" кн. Ухтомскій нерѣдко прерывалъ свою прозу звучными стихами. Жаль, что ихъ стало меньше въ послѣдующихъ частяхъ. Зато въ 3-й части авторъ не разъ возвращается къ вопросамъ высшей политики. Неизбѣжная въ данномъ случаѣ форма бѣглыхъ замѣтокъ не позволила ему, къ сожалѣнію, развить какъ слѣдуетъ свои мысли. Въ настоящемъ видѣ онѣ представляются недостаточно обоснованными и не совсѣмъ согласованными между собою. Чего собственно хочетъ авторъ для народовъ дальняго Востока? То онъ желаетъ имъ вполнѣ самостоятельнаго развитія, съ устраненіемъ вліянія не только западно-европейскаго, но и русскаго, то указываетъ на всю Азію, какъ на такую же естественную и неизбѣжную добычу россійской державы, какою нѣкогда были царства казанское и астраханское. Первый взглядъ весьма симпатиченъ и съ христіанской точки зрѣнія обязателенъ. Безъ сомнѣнія, по отношенію къ низшимъ расамъ мы должны держаться высшаго правила: *трости надломленной не сокрушать, льна курящагося не угашать*. Но и примѣняя вполнѣ добросовѣстно это правило, мы все-таки знаемъ, что независимо отъ насъ надломленная трость рано или поздно сокрушится сама собою, ленъ курящійся самъ собою угаснетъ и пережившіе остатки низшихъ расъ сами собою утратятъ свою отдѣльную индивидуальность и станутъ простымъ этнографическимъ матеріаломъ для будущаго человѣчества. Вотъ, напримѣръ, бѣдные лопари: никто ихъ не тѣснитъ и не эксплуатируетъ, а между тѣмъ этотъ интересный народецъ съ каждымъ годомъ таетъ какъ льдинка на лѣтнемъ солнцѣ. Конечно, такія громады, какъ Индія или Китай, нельзя причислять къ вымирающимъ народцамъ; но требованіе для нихъ самобытнаго развитія безъ вмѣшательства Европы все-таки основано на недоразумѣніи. При всѣхъ національныхъ отличіяхъ у историческаго прогресса есть общія условія, одинаково обязательныя для каждаго народа. Безъ науки, напримѣръ, безъ понятія о правдѣ общественной, о достоинствѣ и правахъ личности и т. д. невозможно никакое національное развитіе. Всѣ эти общія условія и формы выработаны историческою активною частью человѣчества, которая и создала всемірную культуру, ошибочно называемую европейскою или западною [1]). Между тѣмъ

[1]) Она не есть спеціально-европейская, ибо въ созданіи ея участвовали азіати

нынѣшніе народы Востока чуждаются этихъ необходимыхъ условій всякаго прогресса, ибо, по словамъ нашего автора, они не признаютъ ничего кромѣ себя самихъ. Въ особенности это должно сказать о Китаѣ, который слишкомъ самодоволенъ и самоувѣренъ, чтобы добровольно подчиниться высшимъ началамъ культуры. Въ предстоящей рано или поздно борьбѣ Россія, какъ авангардъ всемірно-христіанской цивилизаціи на Востокѣ, не имѣетъ ни возможности, ни надобности дѣйствовать изолированно или враждебно относительно прочаго христіанскаго міра. Даже помимо высшихъ принциповъ, практическая необходимость заставитъ насъ выступить противъ Китая въ тѣсномъ союзѣ съ европейскими державами, особенно съ Франціей и Англіей, коихъ владѣнія прилегаютъ къ Срединной Имперіи. Что касается до Индіи, то намъ нѣтъ ни малѣйшаго повода вытѣснять оттуда уже утвердившихся тамъ англичанъ, съ которыми и туземцы болѣе или менѣе свыклись къ собственной своей пользѣ. Діатрибы нашего автора противъ англійскаго владычества въ Индіи въ высшей степени неубѣдительны. Подобные вопросы рѣшаются не реторикой, а статистикой. То, что̀ англичане дѣлаютъ для Индіи—школы, больницы, правильные суды, пробужденіе общественнаго сознанія, выражающееся въ возникновеніи новой туземной литературы, какъ періодической, такъ и книжной—все это доказывается цифрами, съ которыми нужно считаться. Большинство индійскаго населенія находится въ бѣдности, — не въ такой ужасной, однако, какъ народныя массы въ „самостоятельномъ“ Китаѣ. Чтобы жалобы на угнетеніе Индіи англичанами имѣли какой-нибудь смыслъ, нужно доказать, что до англичанъ, при туземныхъ и при мусульманскихъ владыкахъ, положеніе народа было лучше, а этого утверждать не рѣшается и нашъ авторъ. Конечно, англійское правительство, какъ и всякое другое, эксплуатируетъ свою колонію въ свою пользу, но зато англичане и дѣлаютъ многое для Индіи, тогда какъ прежнія тамошнія правительства грабили народъ въ десять разъ больше и ничего для него не дѣлали. Анекдоты, которыми кн. Ухтомскій подкрѣпляетъ, между прочимъ, свой взглядъ, довольно забавны, но говорятъ скорѣе противъ него. Таковъ разсказъ о старухѣ-вдовѣ, которую англійскіе сборщики заподозрили въ укрывательствѣ соли, чтобы не платить налога; въ подтвержденіе они предъявили найденный ими у нея ящикъ съ какимъ-то бѣловатымъ порошкомъ. „Проклятые дьяволы!—вопила старуха:—они не только требуютъ моихъ денегъ, но еще хотятъ отнять у меня священный

(финикіяне, евреи) и африканцы (древніе египтяне); она не есть исключительно западная, ибо къ ней примкнула великая восточная страна—Россія.

прахъ моего покойнаго супруга!" Жаль, конечно, что англичане еще не отмѣнили соляного налога, но зато они уже отмѣнили обычай сожиганія вдовъ; а безъ вмѣшательства проклятыхъ дьяволовъ благочестивой вдовѣ не пришлось бы проявить похвальной привязанности къ тѣлу своего мужа: она сама волей-неволей была бы уже давно превращена въ пепелъ.

Напрасно также авторъ повторяетъ избитые упреки англичанамъ за жестокости при усмиреніи возставшихъ сипаевъ. Чтобы придать этимъ упрекамъ какое-нибудь значеніе (по отношенію собственно къ англичанамъ и къ ихъ владычеству въ Индіи), слѣдовало бы указать хоть одинъ примѣръ въ исторіи, когда подобныя возстанія укрощали безъ жестокихъ мѣръ. Совершенно непонятно, почему авторъ видитъ въ разстрѣливаньѣ изъ пушекъ что-то болѣе ужасное, чѣмъ въ разстрѣливаньѣ изъ ружья.

Несмотря на указанные недостатки въ отдѣльныхъ мѣстахъ „Путешествія", оно содержитъ въ цѣломъ много интереснаго и поучительнаго. Еще болѣе такого содержанія будетъ, вѣроятно, въ дальнѣйшихъ томахъ, когда автору придется говорить о Китаѣ и Сибири—странахъ, въ которыхъ онъ былъ уже не въ первый разъ.—Вл. С.

Въ августѣ поступили въ редакцію слѣдующія новыя книги и брошюры:

Андерсенъ. — Собраніе сочиненій въ 4-хъ томахъ. Переводъ съ датскаго подлинника А. и П. Ганзенъ. Томъ второй. Выпускъ VII. Спб. 1894. Стр. 273—400.

Баженовъ, Н. Н. — Къ вопросу о значеніи аутоинти(о)ксикаціи въ патогенезѣ нѣкоторыхъ нервныхъ симптомо-комплексовъ. Харьковъ, 1894. 89 стр.

Бальзакъ, Оноре. — Разсказы. Т. I. Фачино Кане. Полковникъ Шаберъ. Миньона. Переводъ Ел. Вл. Штейнъ. Спб. 1894 (Моя библіотека, № 97 и 98. Изданіе М. М. Ледерле и К°). XVI и 128 стр. Ц. 40 к.

Бёклей, Арабелла. — Бесѣды съ дѣтьми о природѣ. Переводъ съ двадцать пятаго англійскаго изданія (1892 г.) подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго. Съ 3 таблицами и 60 рисунками въ текстѣ. Спб. 1894. Изданіе М. М. Ледерле и К°. IV и 370 стр. Ц. 80 к., въ роск. переплетѣ 1 р. 40 к.

Битнеръ, В.—Первые обитатели Москвы. Разсказъ изъ временъ сѣдой старины. Съ 18 рисунками. Спб. 1894 (Полезная библіотека. Изданіе П. П. Сойкина). 182 стр. Ц. 50 к.

Бурцевскій, В., д-ръ.—Научныя развлеченія. По Гуду, Тиссандье, Леконту и другимъ. Съ 104 рисунками. Спб. 1894 (Полезная библіотека. Изданіе П. П. Сойкина). 125 стр. Ц. 50 к.

Валера, Жуанъ. — Иллюзіи доктора Фаустино. Переводъ съ французскаго Н. Федоровой (Моя библіотека, № 99 и 100. Изданіе М. М. Ледерле и К°). Спб. 1894. 155 стр. Ц. 40 к.

Валуева, А. П. (Мунтъ).—Авраамъ Линкольнъ (Нашему юношеству разсказы о хорошихъ людяхъ. № 13). Спб. 1894. Изданіе М. М. Ледерле и К°. Съ портретомъ и 3 рисунками. 77 стр. Ц. 20 к.

Владиміровъ, П. В.—Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, какъ человѣкъ и какъ поэтъ. Кіевъ, 1894. 30 стр.

Гинтеръ, Н. К., магистръ фармаціи.—Краткій учебникъ фармацевтической ботаники и растительной фармакогнозіи. Съ 135 рисунками. Спб. 1894. 266 стр. Ц. 1 р. 80 к.

Гринёвъ, С. А.—Повстанцы. Романъ изъ времени польскаго возстанія 1863 г. Кіевъ, 1894. 12°. 317 стр. Ц. 1 р. 50 к.

——— Скобелевъ. За Дунаемъ. Воспоминанія. Кіевъ, 1894. 92 стр. Ц. 50 к.

Громовъ, К.—Жертвы стихій. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Спб. 1895. 288 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Гутмеръ, Сара.—Дѣти. Разсказы не для дѣтей. Переводъ Л. П. Шелгуновой. (Моя библіотека, № 106 и 107. Изданіе М. М. Ледерле и К°). Спб. 1894. 231 стр. Ц. 40 к.

Данте-Алиіери.—Обновленная жизнь. Переводъ стихами съ итальянскаго А. П. Федорова, съ объяснительными примѣчаніями и вступленіемъ. Съ портретомъ автора, гравированнымъ на деревѣ Н. И. Морозовымъ. Спб. 1895. 162 стр. Ц. 1 р. 20 к.

Дилльй, Ф.—Самоучитель фотографіи. Теорія и практика фотографическаго искусства. Переводъ подъ редакціей и съ дополненіями В. Буринскаго. Съ 35 рисунками. Спб. 1894 (Полезная библіотека). 12°. 242 стр. Ц. 50 к.

Дядловъ.—Переселенцы и новыя мѣста. Путевыя замѣтки. Спб. 1894. Изданіе М. М. Ледерле и К°. 201 стр. Ц. 1 р.

Козлинина, Е. И.—Обездоленныя дѣти. Очерки изъ судебной практики. Изданіе Комитета Общества покровительства безпризорнымъ и освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія несовершеннолѣтнимъ. М. 1894. 79 стр. Ц. 60 к.

Лидовъ, А. П., профессоръ харьковскаго технологическаго института.—Руководство къ химическому изслѣдованію жировъ и восковъ. Съ 38 рисунками въ текстѣ. Харьковъ, 1894. III, II, 372 стр. Ц. 3 р.

Лилиенфельдъ, В. К.—Какъ предупредить дворянское землевладѣніе отъ неминуемой гибели? Маленькое изслѣдованіе помѣщика пензенской губерніи. Спб. 1894. Стр. 26.

Мередитъ, Д.—Эгоистъ. Романъ. Переводъ съ англійскаго З. А. Венгеровой. Спб. 1894 (Моя библіотека, № 108—112. Изданіе М. М. Ледерле и К°). VII, 552 и 7 стр. Ц. 1 р.

Мижуевъ, П. Г.—Ричардъ Кобденъ. (Нашему юношеству разсказы о хорошихъ людяхъ. № 12). Изданіе М. М. Ледерле и К°. Спб. 1894. Съ портретомъ. Ц. 20 к.

Мопассанъ, Гюи.—Монтъ-Оріоль. Романъ. Переводъ съ французскаго Л. П. Никифорова, съ предисловіемъ Л. Н. Толстого. (Изданіе „Посредника“ для интеллигентныхъ читателей. XXXI). М. 1894. 202 стр. Ц. 70 к.

Мюссе, Альфредъ.—Сынъ Тиціана. Историческій романъ съ рисунками П. Шаба. М. 1894. 16°. 127 стр.

Отоцкій, П. В.—Шиповъ Лѣсъ. Почвенно-геологическій очеркъ. (Съ почв. картою). Спб. 1894. 52 стр.

Паренъ, Г.—Астрономія въ вопросахъ и отвѣтахъ. Переводъ подъ редакціей и съ предисловіемъ проф. спб. университета С. П. фонъ-Глазенапа. Съ

20 рисунками и чертежами. Спб. 1894 (Полезная библіотека. Изданіе П. П. Сойкина). 102 стр. Ц. 50 к.

Песковъ, Ѳ. — Рыболовъ-любитель (Жизнь, ловля и разведеніе прѣсноводныхъ рыбъ). Общедоступное практическое руководство. Съ 69 рисунками (Полезная библіотека). Спб. 1894. 180 и V стр. Ц. 50 к.

Пуцилло, П. П., членъ бакинскаго окружного суда.—Пособіе къ изученію законовъ. Элементарное законовѣденіе. Баку, 1894. 295 и VII стр. Ц. 2 р.

Семивановскій, И. — Сельско-хозяйственные разсказы. I. Антонъ огуречникъ. II. Объ удобреніи золой подъ картофель. III. Ловкій косарь. Вятка, 1894. 16°. 41 стр.

Семеновъ, В. И.—Забытый путь изъ Европы въ Сибирь. Енисейская экспедиція 1893 года. Спб. 1894. Съ картой; 185 стр. Ц. 75 к.

Сиповскій, В. Д. — Сократъ и его время. — *Короленко*, В. Г.—Тѣни (фантазія). Изданіе „Посредника“ для интеллигентныхъ читателей. XXX. М. 1894. 110 стр. Ц. 35 к.

Станюковичъ, К. М. — Жертвы. Спб. 1894. Изданіе М. М. Ледерле и К°. 57, 102 и 33 стр. Ц. 1 р.

Сувестръ, Э.—Философъ на чердакѣ. Разсказъ, удостоенный премія французской академіи наукъ. Переводъ О. Н. Хмѣлевой (Библіотека нашего юношества. Выпускъ II). Изданіе М. М. Ледерле и К°. Спб. 1894. 254 стр. Ц. 60 к., въ роскошномъ переплетѣ 1 р.

Фильс, Л.—Подъ водою. (Исторія водолазнаго дѣла и подводнаго плаванія). Переводъ подъ редакціею и съ дополненіями Гр. Ф-та. Съ 22 рисунками. Спб. 1894. (Полезная библіотека. Изданіе П. П. Сойкина). 120 стр. Ц. 50 к.

Эберсъ, Георгъ, Въ пересказахъ для русскаго юношества. Л. П. Шелгуновой. Сераписъ. Спб., 1894. Изданіе М. М. Ледерле и К°. 97 стр. Ц. 50 к., въ папкѣ 65 к., въ переплетѣ 1 р.

Эртель, А. И.—Двѣ пары. Повѣсть (Изданіе „Посредника“ для интеллигентныхъ читателей, XIX). М. 1894. 136 стр. Ц. 60 к.

Ярмонкинъ, В.—Больной вопросъ. Спб. 1894. 25 стр.

Schischmanov, I. D., Dr.—Der Lenorenstoff in der bulgarischen Volkspoesie. Strassburg, Karl J. Trübner. 1894. 38 стр.

— Записка о предпріятіи Общества Эльборусъ. Краткое описаніе карачаевскаго рудоноснаго округа. Спб. 1894. Изданіе правленія Общества Эльборусъ. 75 стр. съ рисунками, картами и таблицами.

— Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Видавництво присвячене науці і письменству україньско-руского народу. Впорядкував Олександер Барвіньский. Томъ III. У Львові, 1894. 231 стр. Ціна 1 злр. 20 кр. або 2 кор. і 40 гелерів.

— Краткій обзоръ дѣятельности Педагогическаго Музея военно-учебныхъ заведеній за 1892—1893 г. (Двадцать третій обзоръ). Спб. 1893. 248 стр. Ц. 50 коп.

— Новыя Высочайше утвержденныя правила объ охотѣ, со включеніемъ новыхъ измѣненій и дополненій 6-го іюня 1894 г. Изданіе неоффиціальное. Четвертое изданіе. Спб. 1894. 16°, 8 ненумер. и 72 стр. Ц. 25 к.

— Отчетъ дирекціи херсонской общественной библіотеки за 1893 годъ. Херсонъ, 1894. 51 стр.

— Отчетъ по Главному Тюремному Управленію за 1892 годъ. Изданіе Главнаго Тюремнаго Управленія. Спб. 1894. 4°. IV и 166 стр.

— Сборникъ Саратовскаго земства. 1894. № 7, іюль. Изданіе Саратовскаго губернскаго земства. Саратовъ, 1894.

— Финансы крупнѣйшихъ русскихъ городовъ. М. 1894 (Изданіе Московскаго городского общественнаго управленія). 138 стр.

СЪ КНИГАМИ ПО ЯРМАРКАМЪ.

Письмо изъ полтавской губерніи.

Въ послѣднее время не мало составляется и печатается хорошихъ книгъ для народнаго чтенія. Читаетъ ли эти книги народъ и какіе пути существуютъ для того, чтобы онѣ дошли до него? На первый вопросъ отвѣтить довольно трудно, такъ какъ никакихъ объективныхъ данныхъ для этого мы не имѣемъ, а всякія личныя наблюденія, захватывая по необходимости ограниченный кругъ примѣровъ, не представляютъ достаточно твердой точки опоры для сколько-нибудь правильныхъ и точныхъ выводовъ. Одни говорятъ, что „Демонъ“ Лермонтова читается и покупается народомъ; а другіе будутъ утверждать, что „Демонъ“ не только не читается и не покупается, но что народъ просто открещивается отъ него, какъ открещивается вообще отъ всего, что связано съ дьявольскимъ навожденіемъ. Пока слѣдовало бы избѣгать обобщеній на этотъ счетъ и руководиться соображеніемъ, что все *удобопонятное, осмысленное и согрѣтое теплымъ добрымъ чувствомъ*, будетъ непремѣнно читаться и послужитъ на пользу народу. Такія книги, много ли, мало ли ихъ, но существуютъ, и для одного того, чтобы опытнымъ путемъ рѣшить вопросъ, станетъ ли народъ читать ихъ, необходимо, чтобы эти книги дошли до народа и чтобы народъ зналъ, гдѣ ихъ можно купить. Но дѣло не въ рѣшеніи теоретическаго вопроса, а много серьезнѣе. Дѣйствительно, хорошая книга написана и напечатана; ее легко можно достать въ Петербургѣ, Москвѣ, кое-гдѣ въ губернскихъ городахъ. Но вѣдь Петербургъ, Москва, губернскіе города—не „народъ“; не для нихъ, по крайней мѣрѣ, была писана эта хорошая книга. Она предназначалась, главнымъ образомъ, для деревенскаго рынка. Какія средства и пути для распространенія своихъ книгъ выработалъ кругъ

людей, взявшійся за составленіе и изданіе ихъ? Мы не ошибемся, сказавъ: *никакихъ*. Если Ситинъ и К° не соблаговолятъ, хорошая книга останется въ петербургскихъ и московскихъ складахъ; ее будетъ покупать культурное, полу-культурное и еще менѣе культурное общество, но до рабочаго, а въ особенности до крестьянина она не дойдетъ. Если дѣлать дѣло, хотя бы и небольшое, то слѣдуетъ дѣлать его вполнѣ.

Разъ тотъ кругъ людей, отодвигая въ сторону матеріальныя и коммерческія соображенія, берется за изготовленіе народныхъ книгъ, то онъ долженъ взяться и за распространеніе ихъ—долженъ проложить пути для своей книги въ народъ. Можетъ быть, и въ этомъ случаѣ филантропіи придется сыграть нѣкоторую роль, пока дѣло не окрѣпнетъ и не будетъ держаться собственными силами. Существуетъ же Библейское общество, которое разсылаетъ во всѣ концы своихъ разносчиковъ. Почему бы не могло организоваться у насъ общество для торговли народными книгами съ цѣлой арміей своихъ офеней? Торговля народными книгами имѣетъ, несомнѣнно, большую будущность, и эта будущность не столь уже отдаленная, какъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Филантропіи, вѣроятно, не долго пришлось бы поддерживать ее. Во всякомъ случаѣ, образованнымъ друзьямъ народа, взявшимъ на себя заботы по части созданія добропорядочной народной литературы, пора обратить, наконецъ, вниманіе и на средства распространенія этой литературы дѣйствительно среди народа. Конечно, единичныя попытки въ этомъ направленіи дѣлаются то тамъ, то здѣсь; но желательно, чтобы попытки эти были поддержаны своевременно и превратились изъ попытокъ въ дѣло. Я не имѣю въ виду предлагать какого-нибудь плана на этотъ счетъ, а хочу разсказать про одну такую попытку, представляющую, мнѣ думается, общій интересъ, именно по новизнѣ дѣла.

Двое хорошо мнѣ знакомыхъ „интеллигентовъ“, наскучивши бездѣятельной деревенской жизнью, задумали заняться книжной торговлей. Одинъ изъ нихъ—капитанъ въ отставкѣ, человѣкъ уже пожилой, живетъ въ деревнѣ на свою маленькую пенсію, дѣла не имѣетъ никакого, а между тѣмъ энергіи у него сохранилось еще много. Это, по истинѣ, мученикъ невольнаго бездѣлья; пристроиться къ какому-нибудь „занятію“ ему не удается; трудно это по нынѣшнимъ временамъ; поэтому его легко можно было склонить къ книжной торговлѣ. Съ одной стороны—развлеченіе; съ другой—надежда заработать-таки что-нибудь, по крайней мѣрѣ, оплатить собственный трудъ; съ третьей — осмысленное дѣло, что̀ въ глазахъ капитана также не

лишено было своего значенія, — всѣ эти соображенія, послѣ безконечныхъ разговоровъ, привели его, наконецъ, къ рѣшенію подать прошеніе губернатору о дозволеніи ему заняться народной книжной торговлей. Не знаю, извѣстно ли читателямъ, что къ такой торговлѣ допускаются желающіе лишь по удостовѣренію губернатора, что съ его стороны къ тому не имѣется никакихъ препятствій. Губернскіе чиновники сначала удивились: не пристало, казалось имъ, капитану, хотя бы и въ отставкѣ, заниматься такимъ дѣломъ; затѣмъ, заинтересовались и, наконецъ, одобрили и пожелали ему всякихъ успѣховъ. Но душой предпріятія являлся другой „интеллигентъ", работавшій нѣкогда у покойнаго Энгельгардта и сохраняющій до сихъ поръ традиціи, вынесенныя изъ Батищева. Сначала онъ было-вдоззрился всецѣло въ землю и сталъ пахать ее; но по разнымъ обстоятельствамъ пришлось оставить на время хозяйство. Нашъ интеллигентъ заскучалъ; къ тому же и кругъ отношеній его съ мѣстнымъ крестьянствомъ былъ тогда ограниченъ, такъ какъ все время и всѣ силы поглощало хозяйство. Какъ истый „хлѣборобъ", интеллигентъ нашъ въ началѣ чуждался составленія „бумагъ", хожденія по дѣламъ и тому подобныхъ занятій, въ которыхъ, однако, при нынѣшнемъ положеніи вещей во всякой деревнѣ чувствуется громадная потребность. Но мало-по-малу жизнь сдѣлала свое дѣло. Въ настоящее время онъ защищаетъ крестьянъ, трудится въ пользу закрытія кабаковъ, устройства потребительскаго товарищества, пріискиваетъ земли для переселенія и т. д. Благодаря этому, пользуется извѣстностью среди крестьянъ значительнаго округа. Онъ-то и склонилъ капитана заняться книжной торговлей и устроилъ, собственно, все дѣло. Такимъ образомъ, въ этомъ маленькомъ опытѣ была представлена и сторона матеріальнаго разсчета, и сторона идейной цѣли. Было рѣшено вести предпріятіе во всякомъ случаѣ такъ, чтобы оно покрывало собственные расходы, а съ другой стороны изгнать изъ своей лавки всякую „дрянь" Никольскаго рынка.

Ближайшимъ райономъ дѣятельности намѣчены были центральные уѣзды полтавской губерніи, мѣстность исключительно земледѣльческая, глухая, но густо населенная.

Крестьянское населеніе, сплошь малороссы, состоитъ, какъ и вездѣ, изъ хозяевъ зажиточныхъ и бѣдныхъ. Во всей губерніи чрезвычайно развито частное мелкое землевладѣніе: панки, полу-панки, казаки. Условія для народной книжной торговли представлялись вообще довольно благопріятныя. Одно только обстоятельство вызывало нѣкоторое сомнѣніе: не станутъ ли малороссы требовать книгъ на малорусскомъ языкѣ, какихъ въ нашей народной литературѣ очень мало? Но на нѣтъ и суда нѣтъ. Зато многочисленность культурнаго и

полу-культурнаго деревенскаго люда значительно увеличивала число возможныхъ покупателей.

Мои торговцы, нужно замѣтить, люди, располагающіе чрезвычайно скудными матеріальными средствами. Съ большимъ трудомъ каждый изъ нихъ внесъ въ общую кассу по 100 рублей. Такимъ образомъ весь ихъ первоначальный капиталъ равнялся 200 рублямъ. Городскому читателю эта цифра можетъ показаться слишкомъ ничтожной; но для деревенской книжной торговли она представляла довольно значительный капиталъ. Такъ, полтавскіе статистики, устроившіе перепись лубенской Покровской ярмарки, насчитали у двухъ книжныхъ торговцевъ товару (книгъ, картинъ и игрушекъ) всего на 150 рублей [1]). И дѣйствительно, наши торговцы по величинѣ оборотнаго капитала превосходили всѣхъ своихъ соперниковъ, какихъ только они встрѣчали на ярмаркахъ. Это отразилось не только на количествѣ и качествѣ товара, но и на внѣшней обстановкѣ. У нашихъ торговцевъ была повозка съ крытымъ верхомъ (лошадь же они обыкновенно нанимали); парусинная палатка съ вышитой надписью: книжная торговля такого-то; прилавокъ, приспособленія для сидѣнья и т. д., тогда какъ обыкновенно всю аммуницію деревенскаго торговца книгами составляютъ коробъ, въ который онъ складываетъ книги, да рядно, на которомъ онъ раскладываетъ ихъ. Всѣ эти приспособленія (повозка взята была изъ хозяйства), вмѣстѣ съ платой за свидѣтельство на право торговли, обошлись рублей въ 30. Остальныя деньги были затрачены на покупку товара. Такъ какъ наши торговцы принимались за дѣло, имъ совершенно неизвѣстное, и никто не могъ дать имъ полезныхъ совѣтовъ, а съ другой стороны они крѣпко стояли на томъ, чтобы произвести свой опытъ, по крайней мѣрѣ, безъ убытка, то сразу же было рѣшено затратить часть денегъ на покупку различныхъ мелочей, не имѣющихъ собственно никакого отношенія къ книгамъ: письменныхъ принадлежностей, перочинныхъ ножей, кошельковъ, крючковъ, иголокъ, нитокъ, колецъ, даже мыла и духовъ! Все это, начиная отъ письменныхъ принадлежностей и до мыла и духовъ включительно, должно было служить якоремъ спасенія въ случаѣ крушенія по части книгъ, а также приманкой, и поглотило около четвертой части капитала, вложеннаго въ товаръ. Остальное пошло на книги и картины. Такъ какъ торговля велась въ продолженіе четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, то часть капитала успѣла обернуться. Книжнаго товара (вмѣстѣ со взятымъ на комиссію) было пріобрѣтено за весь этотъ періодъ на 300 рублей по дѣйствительной цѣнѣ, а картинъ на 50 р. Продано же было книгъ, картинъ, пись-

[1]) См. „Опытъ изслѣдованія украинскихъ крестьянскихъ ярмарокъ“, 1892.

менныхъ принадлежностей и всякой мелочи на 270 рублей. Оставшіяся книги были куплены однимъ уѣзднымъ земствомъ, а мелочи проданы торговцамъ. Такимъ образомъ, ликвидировавъ по разнымъ независящимъ обстоятельствамъ дѣло, начатое очень недурно, мои знакомые не потерпѣли убытковъ, хотя также и не пріобрѣли ничего. Впрочемъ, едва ли и умѣстно говорить о пріобрѣтеніи, когда дѣло продолжалось всего лишь четыре мѣсяца. Судя по началу, можно смѣло утверждать, что еслибы оно не прекратилось, то въ настоящее время давало бы уже нѣкоторый доходъ. Во всякомъ случаѣ, несмотря на новизну предпріятія, въ которомъ приходилось идти положительно ощупью, и его кратковременность, оно оправдало себя вполнѣ и покрыло всѣ издержки, сопряженныя съ нимъ. Поэтому интеллигенты, ищущіе себѣ работы въ деревнѣ, не обладающіе профессіональными занятіями, но зато располагающіе нѣсколькими сотнями рублей, хорошо сдѣлали бы, если бы обратили вниманіе на это въ высшей степени полезное и во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно интересное дѣло, Конечно, оно сопряжено съ разными лишеніями, какъ въ этомъ убѣдится ниже читатель, и требуетъ добраго запаса физическихъ силъ или, вѣрнѣе сказать, способности приспособляться ко всякимъ обстоятельствамъ и легко выносить всяческія неудобства. Зато близкое соприкосновеніе съ народомъ въ области его умственныхъ интересовъ имѣетъ свою особенную прелесть.

Когда обсуждался планъ торговли, то мои знакомые предполагали искать покупателя, такъ сказать, на дому, т.-е. ѣздить по усадьбамъ, селамъ и городамъ во всякое время и предлагать свой товаръ всякому встрѣчному. Но это сразу же оказалось непрактичнымъ. Книга въ деревнѣ, особенно въ глухихъ мѣстностяхъ, такая еще рѣдкость, что покупателя пришлось бы искать, что называется, днемъ съ огнемъ; издержки по переѣздамъ и на прокормленіе не окупились бы; поэтому торговцы рѣшились на первыхъ порахъ ограничиться ярмарками. Они побывали на 14 ярмаркахъ, каждая изъ нихъ продолжалась 2—3 дня; всего ярмарочныхъ дней имъ пришлось провести въ общей сложности 35, такъ что дневная выручка опредѣляется, среднимъ образомъ, въ 8 рублей; въ иныхъ случаяхъ она поднималась до 12—13 рублей, а въ другихъ падала до 2 руб. Ѣздили на ближайшія ярмарки, иногда перекочевывали съ одной на другую; дальше 60 верстъ отъ мѣстожительства не заѣзжали. Но все-таки много времени уходило на это передвиженіе, причемъ значительную часть пути приходилось дѣлать пѣшкомъ, такъ какъ грузу, въ видѣ всякаго товара, всегда бывало достаточно для одной лошади. Въѣзжали на ярмарку заблаговременно, чтобы захватить

мѣсто поудобнѣе. Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ покрупнѣе ярмарочныя площади обыкновенно сдаются въ аренду евреямъ, и хотя существуетъ такса на мѣстѣ, устанавливаемая городской управой, но арендаторы всегда стараются взять больше. Они держатъ даже особыхъ „зубастыхъ“ агентовъ, спеціальность которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы дерзостью и рѣшительностью принуждать пріѣзжихъ торговцевъ платить больше, чѣмъ полагается. Такіе агенты пользуются своего рода извѣстностью и переѣзжаютъ съ ярмарки на ярмарку. Торговцу, съ котораго имъ не удается сорвать, они отводятъ мѣсто похуже.

Естественно, что на этой почвѣ возникаютъ всякія столкновенія, и дѣло доходитъ чуть не до драки. И также естественно, что отстаивать свои интересы и защищаться можетъ только тотъ, кто знаетъ о существованіи таксы и кто не дастъ себя въ обиду. Въ Гадячѣ нашимъ торговцамъ пришлось обратиться къ городской управѣ; но агентъ, увидавши, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, уступилъ. А въ богоспасаемомъ Миргородѣ расходившійся арендаторъ угрожалъ разнести лавку, и только полиція уняла его.

Ну, вотъ, вы, наконецъ, расположились на облюбованномъ мѣстѣ въ иконномъ, игрушечномъ или книжномъ „ряду“. Разставляете палатку. На слѣдующій день съ восходомъ солнца вы должны уже быть на ногахъ: вынимаете товаръ изъ ящиковъ и раскладываете его на импровизированномъ изъ доски прилавкѣ, съ одной стороны книги, съ другой — кошельки, ножички, серьги, кольца, даже браслеты, сіяющіе самоцвѣтными камнями и оказывающіе магическое дѣйствіе не столько на крестьянскихъ красавицъ, сколько на деревенскихъ барышенъ. Но немногое размѣщается на прилавкѣ; большую часть товара приходится держать подъ спудомъ. Картины развѣшиваете на веревочкахъ, прикалываете къ полотну палатки, вообще стараетесь выставить ихъ на видномъ мѣстѣ, такъ какъ хорошая, удобопонятная для крестьянина, картина привлекаетъ цѣлыя толпы любопытныхъ, а ихъ-то вамъ и нужно. Мало-по-малу ярмарка оживляется. Со всѣхъ сторонъ валитъ крестьянскій людъ и „срастается въ одно огромное чудовище и шевелится всѣмъ своимъ туловищемъ на площади и по тѣснымъ улицамъ, кричитъ, гогочетъ, гремитъ... Шумъ, брань, мычаніе, блеяніе, ревъ — все сливается въ одинъ нестройный говоръ. Волы, мѣшки, сѣно, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки, — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосныя рѣчи потопляютъ другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не выговорится ясно“... Такъ живописуетъ ярмарку Гоголь; такой она остается и по сей день... Появленіе „*красной свитки*“

вызвало бы и теперь такой же всеобщій переполохъ, какъ во дни оны. Вотъ развѣ только урядникъ прекратилъ бы теперь быстро всякія недоумѣнія и водворилъ бы порядокъ. Урядникъ—фигура новая, современная въ этой ярмарочной сутолокѣ, сохраняющей свой старомодный видъ.

Совершенно естественно, что книжная торговля отставного капитана всегда обращала на себя вниманіе мѣстной полиціи. Фигуры торговцевъ, ихъ рѣчь, ихъ обращеніе съ покупателемъ, вообще весь ensemble ихъ поведенія тотчасъ же бросались въ глаза каждому. „Позвольте ваше свидѣтельство на право торговли", спрашиваетъ довольно любезно становой приставъ или урядникъ и, удостовѣрившись, что „бумага" въ исправности, удаляется. Но случалось, что эти назойливыя требованія выводили изъ терпѣнія капитана, и тогда онъ обращался (если ярмарка была въ уѣздномъ городѣ) къ исправнику, возмущаясь совершенно искренно, какимъ это образомъ какой-нибудь урядникъ можетъ контролировать его, заслуженнаго капитана. Однако до осмотра книгъ дѣло не доходило ни разу. Вообще же исправники, съ которыми приходилось встрѣчаться капитану, относились благосклонно къ его торговлѣ; иногда заглядывали сами въ палатку, покупали одну-другую книжку, разспрашивали о ходѣ дѣла. Только въ одномъ случаѣ ему пришлось натолкнуться на недоброжелательное отношеніе и вступить въ пререканія.

Крестьянская масса, конечно, не замѣчаетъ, какими тамъ глазами смотритъ на торговлю исправникъ; она не замѣчаетъ, смотритъ ли онъ вообще, и не знаетъ, долженъ ли онъ смотрѣть. Но на культурной публикѣ: учителяхъ, попахъ, мелкихъ чиновникахъ и т. п., отношеніе исправника отражается извѣстнымъ образомъ: какъ только такой покупатель замѣчалъ, что исправникъ почему-либо хмурится (а въ маленькомъ уѣздномъ городѣ подобныя вещи тотчасъ же становятся извѣстными), онъ уже не подходилъ больше къ прилавку, хотя бы раньше обнаруживалъ большой интересъ къ книгамъ. Да и вообще культурные деревенскіе люди, какъ оказалось на дѣлѣ, представляютъ еще очень слабую покупательную силу по части книгъ. Покупаютъ немного учителя, попы, фельдшера (въ Полтавѣ есть земская фельдшерская школа); но что касается мелкихъ помѣщиковъ,—а ихъ тутъ не оберешься,—то ихъ книга интересуетъ, пожалуй, меньше, чѣмъ иного крестьянина, и уже, несомнѣнно, у нихъ нѣтъ такого отношенія къ книгѣ, какъ у этого послѣдняго. Газеты они еще выписываютъ: „Лучъ", „Живописное Обозрѣніе", „Нива" и т. п. ихъ вполнѣ удовлетворяютъ и насыщаютъ; для книги не остается мѣста, хотя бы даже и были лишнія деньги. Въ домѣ у нихъ сыщутся развѣ только еще учебники, если есть малолѣтнія дѣти. Мнѣ самому

приходилось наблюдать, какъ такіе панки, останавливаясь передъ палаткой въ раздумьѣ, что бы имъ купить для домашнихъ, требовали мыла или духовъ, но отнюдь не книги, хотя у капитана нашлось бы не мало такихъ книгъ, которыя для нихъ были бы и полезны, и интересны.

Въ Яновщинѣ, напримѣръ, на родинѣ Гоголя, капитанъ выставилъ на видномъ мѣстѣ портретъ и имѣвшіяся у него сочиненія великаго писателя; пришелъ поглазѣть на ярмарку и одинъ изъ родственниковъ Гоголя, но апатично прошелъ мимо палатки и направился къ рулеткѣ.

Таково большинство, масса нашихъ мелкихъ пановъ и панковъ. Я не говорю объ единичныхъ исключеніяхъ: встрѣчались и между мелкопомѣстными любители книгъ и покупали сразу на нѣсколько рублей. Для помѣщиковъ покрупнѣе у капитана не было, конечно, подходящихъ книгъ, и такіе господа рѣдко бываютъ на ярмаркахъ; но разъ имъ попадалась на глаза палатка капитана, они охотно заглядывали въ нее и покупали разныя изданія для раздачи въ деревнѣ. Такимъ образомъ, главнымъ покупателемъ, который долженъ былъ поддержать все предпріятіе, являлся крестьянинъ. Изъ его грошей слагалась выручка и съ его запросами приходилось сообразоваться, чтобы не потерпѣть убытковъ.

На бойкой ярмаркѣ торговля идетъ безпрерывно съ восхода солнца до захода, даже поѣсть бываетъ некогда, да и отойти отъ прилавка нельзя, такъ какъ народъ всегда толпится и глазѣетъ. Тутъ-то и начинаются, собственно, испытанія для „интеллигента", привыкшаго поѣсть во-время и поѣсть, какъ-никакъ, хорошо сравнительно съ тѣмъ, чѣмъ приходится питаться на ярмаркѣ. Пойдете ли вы пить чай въ балаганъ или возьмете самоваръ къ себѣ въ палатку, вы нигдѣ не можете укрыться отъ пыли и навоза, который носится тучами, сыплется на хлѣбъ, лѣзетъ въ стаканъ съ чаемъ; приходится пить не чай, а чайную настойку съ навозомъ. Ѣдите также что придется; случалось, что на ярмаркѣ нельзя было ничего достать, кромѣ бубликовъ и тарани; но чаще всего и мѣстныя торговки выносятъ борщъ въ горшкахъ, жареную баранину, поросятъ или рыбу и т. п. „Все бы это ничего,—говорилъ обыкновенно капитанъ:—борщъ забѣленъ сметаной и довольно хорошъ на вкусъ; баранина или рыба тамъ свѣжая, хотя не всегда прожаренная, какъ слѣдуетъ, — но какъ посмотришь на посуду, на руки, на эти грязные пальцы, которыми торговка макаетъ въ борщъ или беретъ мясо, — противно дѣлается и черезъ силу ѣшь все это"... Расходовали наши торговцы по рублю въ сутки на двоихъ, съ лошадью. Спать приходилось на землѣ, несмотря на погоду, а то даже и подъ открытымъ небомъ,

такъ какъ въ палаткѣ двумъ помѣститься негдѣ было. Въ дождь и ненастье больше заботились о книгахъ, чѣмъ о себѣ. Нерѣдко случалось промокать насквозь. Всѣ эти невзгоды раздражали капитана, страдавшаго застарѣлымъ ревматизмомъ, а компаньонъ его вообще не отличался здоровьемъ. Но пріѣдутъ домой, отдохнутъ, поправятся, и снова ихъ тянетъ на ярмарку. Первый же капитанъ начнетъ хлопотать и собираться: эта торговля придавала нѣкоторый смыслъ его жизни, наполняла, по крайней мѣрѣ, ее дѣломъ.

Теперь я разскажу о книгахъ, бывшихъ у нихъ въ продажѣ, и нѣкоторыхъ интересныхъ наблюденіяхъ, сдѣланныхъ ими. Книги и картины закуплены были въ Петербургѣ и Москвѣ непосредственно у различныхъ народныхъ издателей. Но дальнѣйшую выписку книгъ приходилось производить уже изъ Кіева и преимущественно изъ Харькова, такъ какъ по дальности разстоянія книги не пришли бы во-время изъ Москвы и тѣмъ болѣе изъ Петербурга. Уступка на книгахъ дѣлается разная разными издателями. Обычная скидка 25% въ торговлѣ народными изданіями была бы слишкомъ ничтожной; торговцы не стали бы покупать такихъ изданій, такъ какъ если вычесть издержки по доставкѣ, то, при грошовой цѣнности книги, на долю ихъ пришлись бы жалкіе гроши, а покупатель еще слишкомъ малочисленъ, чтобы изъ этихъ грошей могъ составиться сносный заработокъ торговца. Здѣсь уступки въ 30%, даже 40% недостаточно; нужно ее повысить, по крайней мѣрѣ до 50%. Нѣкоторые издатели такъ и дѣлаютъ. А вотъ харьковская губернская управа, напримѣръ, издававшая сочиненія Квитки-Основьяненки, дѣлала уступку только въ 10%, при большой закупкѣ—30%; но кто хоть разъ видѣлъ деревенскую книжную торговлю, тотъ пойметъ, что большія закупки подобныхъ книгъ тутъ немыслимы. Понятно, что изданія эти не могли доходить до народа, такъ какъ торговецъ не станетъ возиться съ тѣмъ, что̀ не даетъ ему никакого дохода. Итакъ, книгу, которую желаютъ распространить среди народа, надо издавать не только дешево, но и такъ, чтобы можно было сдѣлать на ней уступку торговцамъ, по крайней мѣрѣ, на 50%. Торговецъ, опрошенный полтавскими статистиками на лубенской ярмаркѣ, заявилъ, что уступку въ 30—40% онъ считаетъ малою. Къ такому же заключенію приводитъ и опытъ капитана. Нужно имѣть еще въ виду, что крестьянинъ страшно торгуется; онъ не обращаетъ вниманія на отпечатанную цѣну, отстаиваетъ съ удивительнымъ упорствомъ каждую свою копѣйку; онъ готовъ часъ, два стоять передъ палаткой въ надеждѣ, что вы уступите, а не то явится на слѣдующій день, если книга ему пришлась по вкусу, и снова невозмутимо предлагаетъ свою цѣну съ вопросомъ: „а что не подешевѣла ли те-

перь эта книга?“ Кромѣ того, глядя со стороны, вы, городской житель, просто диву даетесь той обстоятельности, съ какой крестьянинъ осматриваетъ покупаемую книгу; онъ тутъ же начинаетъ читать ее, потомъ пересчитываетъ страницы, щупаетъ бумагу, поворачиваетъ на всѣ стороны, картину вымѣряетъ и т. д. Однимъ словомъ, къ покупкѣ какой-нибудь книги въ 5 к. онъ относится съ такой же внимательностью, какъ къ какому-нибудь капитальному пріобрѣтенію для своего хозяйства.

Въ торговлѣ у капитана было до 450 различныхъ изданій; при этомъ нѣкоторыя произведенія имѣлись въ нѣсколькихъ разныхъ изданіяхъ. У того же торговца книгами, у котораго полтавскіе статистики сдѣлали перепись на лубенской ярмаркѣ, было насчитано нѣсколько меньше изданій, именно, до 400. Любопытно сравнить эти двѣ торговли по составу книгъ. Мы не можемъ распредѣлить книги по предметамъ и ограничимся лишь такими грубыми рубриками: 1) книги религіознаго содержанія, 2) учебники, 3) книги по различнымъ хозяйственнымъ, общественнымъ и т. п. вопросамъ, 4) книги на малороссійскомъ языкѣ и 5) самый главный отдѣлъ—разные разсказы, беллетристика и т. п.; сюда же отнесены и книги историческаго содержанія. Что касается книгъ религіознаго содержанія, „божественныхъ“, то въ этомъ отношеніи особеннаго различія не могло быть, такъ какъ спросъ на подобныя книги отличается опредѣленнымъ установившимся характеромъ, и выбирать тутъ собственно не изъ чего. У капитана мы насчитали 94 названія, а у лубенскаго торговца ихъ было 117; все это преимущественно житія разныхъ святыхъ; но на ряду съ этимъ у капитана былъ довольно значительный выборъ евангелій, была даже библія и не было вовсе книгъ объ антихристѣ и т. п., хотя ихъ, какъ оказалось, крестьяне спрашивали. Затѣмъ, учебниковъ, какъ у одного, такъ и у другого торговца было самое ограниченное число; у капитана—8 названій, у лубенскаго торговца—11; это преимущественно азбуки и книги для первоначальнаго чтенія. По части, такъ сказать, общеполезныхъ книгъ наблюдается уже весьма значительное различіе: у лубенскаго торговца отмѣчены лишь три книги о вредѣ пьянства, одна о пчеловодствѣ и одна по уходу за дѣтьми, и того 5 названій; у капитана же хотя тоже было довольно скудно по части такихъ книгъ, но все же мы насчитали 31 названіе. Здѣсь уже рѣзко сказалось вліяніе интеллигентнаго торговца на подборъ книгъ. У капитана можно было найти не только книги противъ пьянства (кстати замѣтить, лучшія и въ большемъ выборѣ, чѣмъ у лубенскаго торговца), но и книжку о податяхъ, о дифтеритѣ, сифилисѣ и т. п.; въ особенности же было обращено вниманіе на подборъ книгъ по сельскому хозяйству, такъ что зи-

ство даже пригласило нашихъ торговцевъ открыть торговлю этими книгами на бывшей въ с. Камышнѣ сельско-хозяйственной выставкѣ. Правда, книгъ по сельскому хозяйству въ народной литературѣ очень немного, но все же наши торговцы собрали 15 названій, а на выставкѣ они торговали, конечно, и болѣе дорогими изданіями Девріена. Чтобы подобрать эти книги, нужно уже знаніе и интересъ къ дѣлу. Простому книжному торговцу этого, конечно, не сдѣлать. А между тѣмъ спросъ на нѣкоторыя изъ книгъ этого рода, какъ мы скажемъ ниже, несомнѣнно существуетъ или, по крайней мѣрѣ, можетъ быть вызванъ. Но вліяніе интеллигентнаго руководительства рѣзче всего сказалось на подборѣ книгъ по части разсказовъ, по части того, что чаще всего понимаютъ подъ „чтеніемъ для народа“. Здѣсь мы вступаемъ въ необозримое море, къ сожалѣнію чрезвычайно мутное, всевозможнаго рода произведеній, написанныхъ на никольскомъ жаргонѣ и наполненныхъ празднословіемъ и сквернословіемъ. Обыкновенному торговцу до этого дѣла мало: онъ беретъ то, что̀ суетъ ему въ коробъ никольскій издатель и что̀ народъ, не знающій еще о существованіи другихъ доступныхъ ему книгъ, по неволѣ будетъ покупать. Мои же знакомые торговцы отнеслись къ этимъ книгамъ съ большимъ разборомъ, и, несмотря на это, они могли предложить покупателямъ болѣе разнообразный выборъ, чѣмъ лубенскій торговецъ; у нихъ было 216 названій (изданій), тогда какъ у послѣдняго —только 192. А какая разница по качеству книгъ! Въ палаткѣ капитана вы могли найти въ народныхъ или вообще доступныхъ по цѣнѣ изданіяхъ произведенія Толстого, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Достоевскаго, Крылова, Грибоѣдова, Фонъ-Визина, Успенскаго, Короленко, Гаршина, Станюковича, Потапенко, Эртеля, Лѣскова, Засодимскаго, Виктора Гюго, Жоржъ-Зандъ, Диккенса, Флобера, Мильтона, Ожешки, Сенкевича и другихъ, т.-е. все лучшее, что̀ издано въ послѣдніе годы для народа. И тщетно вы спрашивали бы: „Страшнаго мавра“ или „Фармазона Богатыря“, или „Гуака рыцаря“, или „Въ пасти крокодила“, или „Домовой проказитъ“, или... но мы не въ состояніи перечислить здѣсь всѣхъ прелестей нашихъ народныхъ изданій. Довольно сказать, что вся эта непотребная литература была рѣшительно изгнана изъ палатки капитана, тогда какъ въ спискѣ книгъ лубенскаго торговца онѣ всѣ имѣются и, напротивъ, лишь изрѣдка мелькаютъ имена Пушкина, Толстого, Диккенса, Лѣскова, Засодимскаго, и только. Очевидно, лучшія народныя изданія послѣднихъ годовъ неизвѣстны еще лубенскому торговцу, не дошли еще до него; какимъ же образомъ они могли бы стать извѣстными, дойти до народа? Любопытно при этомъ, что изъ ста слишкомъ изданій, изгнанныхъ изъ лавки капитана и значащихся

въ спискѣ лубенскаго торговца, покупатели спрашивали лишь слѣдующія немногія: „Повѣсть объ англійскомъ милордѣ“, „Гуакъ рыцарь“, „О храбромъ прапорщикѣ Портупеѣ“, т.-е. лишь тѣ, которыя получили уже въ народѣ громадное распространеніе. Но опытъ моихъ знакомыхъ несомнѣнно доказалъ, что бороться со всѣми этими изданіями вовсе ужъ не такъ трудно, разъ только за дѣло берется человѣкъ, понимающій толкъ въ народныхъ изданіяхъ и умѣющій обращаться съ своеобразнымъ деревенскимъ покупателемъ.

Малорусскія книги представляли особенный интересъ въ районѣ торговли капитана; но, какъ извѣстно, число такихъ книгъ не велико, и потому въ этомъ отношеніи, какъ по количеству, такъ и по выбору изданій, не могло быть особенной разницы между капитаномъ и лубенскимъ торговцемъ. У обоихъ ихъ мы насчитали по 35—40 названій; все это произведенія Гоголя, Шевченко, Котляревскаго, Левицкаго, Чайченко, Старицкаго и нѣкоторыхъ другихъ; у капитана были, между прочимъ, и произведенія Квитки-Основьяненки.

Такъ какъ потребности и вкусы народнаго читателя представляютъ еще terra incognita для интеллигентныхъ людей, то наши торговцы не могли предварительно разсчитать, какое число экземпляровъ приблизительно потребуется имъ того или другого изданія, и закупали собственно наугадъ. Не мало было книгъ всего лишь по одному экземпляру; но были запасы и въ сто экземпляровъ, большей же частью—въ 5, 10 и 20 экземпляровъ. Торговля разсчитывалась не на одинъ годъ, и потому капитанъ не особенно стѣснялся закупать: то, что̀ не пошло въ настоящемъ году, могло пойти въ будущемъ; что̀ не пошло въ данной мѣстности, могло пойти въ другой; наконецъ, нѣкоторый балластъ—неизбѣжное дѣло во всякомъ предпріятіи подобнаго рода; но если книги были подобраны съ знаніемъ и любовью, обдуманно, то можно быть совершенно спокойнымъ, что всѣ онѣ будутъ, въ концѣ концовъ, такъ или иначе пущены въ массу.

Наши торговцы, съ первыхъ же шаговъ, увидѣли, что они вывезли на рынокъ много новаго товара, о существованіи котораго покупатель даже и не подозрѣвалъ. Нужно было принять какія-либо мѣры и такъ или иначе познакомить его съ этимъ товаромъ. Наиболѣе подходящимъ (а можетъ быть, и единственнымъ) средствомъ оказалось чтеніе книги вслухъ. Достаточно бывало только начать читать громко, чтобы передъ палаткою собралась цѣлая толпа. Если книга нравилась, если она прошибла до слезъ, вызвала неудержимый хохотъ, отвѣтила на какой-либо запросъ несложной деревенской жизни, она непремѣнно находила себѣ покупателя. Съ книгой начинали знакомиться. Конечно, новую книгу приходилось читать не

разъ и не въ одномъ мѣстѣ. Первые шаги всегда бываютъ трудны. Но добрая слава о книгѣ переходитъ отъ человѣка къ человѣку, и вотъ, наконецъ, покупатель ужъ самъ начинаетъ спрашивать ее. Такіе случаи бывали даже и въ кратковременной практикѣ капитана. Однажды въ самой толпѣ выискался какой-то оригиналъ, попросившій книжки и отправившійся читать ее вслухъ на ярмарочную площадь. Для народа въ этомъ нѣтъ ничего страннаго. Онъ привыкъ и любитъ слушать слѣпцовъ-нищихъ, не только поющихъ духовныя и историческія пѣсни, но читающихъ также акаѳисты разнымъ святымъ. Конечно, сухой книги и сухого чтенія не станутъ слушать.

Изъ книгъ *религіознаго* содержанія хорошо шли житія святыхъ, троицкіе листки, молитвенники. Житія, кромѣ нѣкоторыхъ излюбленныхъ въ той мѣстности, какъ-то житіе Пантелеймона, Тихона Задонскаго и нѣкоторыхъ другихъ, крестьянинъ спрашиваетъ обыкновенно тѣхъ святыхъ, имя которыхъ онъ носитъ самъ или кто-либо изъ его семейныхъ. Подъ видомъ житія пошелъ и „Юліанъ Милостивый“; но предварительно онъ былъ читанъ и произвелъ сильное впечатлѣніе. Молитвенники требовали полные, хотя они стоили дороже. Вообще на книги духовнаго содержанія спросъ можно считать вполнѣ опредѣлившимся и установившимся, конечно, въ рамкахъ тѣхъ изданій, какія у насъ вообще имѣются,—хотя и тутъ нашимъ торговцамъ приходилось не разъ становиться втупикъ. „Дайте мнѣ ту книжку, гдѣ про сердце пишутъ“, требуетъ покупатель. Вы непремѣнно подумаете, что это что-либо по анатоміи, а оказывается далеко не то: у васъ спрашиваютъ духовно-назидательную книгу, носящую заглавіе: „Внутреннее состояніе человѣческаго сердца“. Или вы предлагаете покупателю житіе великомученицы Варвары или Екатерины, а стоящій подлѣ него крестьянинъ замѣчаетъ: „зачѣмъ покупаешь это? Не хорошо, если въ хатѣ будетъ великое мученье“. Третій кричитъ: „зачѣмъ вы мнѣ даете адъ, пускай онъ идетъ назадъ!..“

Къ книгамъ по *сельскому хозяйству* крестьяне относились нѣсколько скептически: „Паны потому и разорились,—говорили они,—что все дѣлали по книжкамъ“. Себя же они считаютъ знатоками и нерѣдко, прочитавши книжку, дѣлаютъ разныя замѣчанія. Въ книгѣ „Лошадь въ крестьянскомъ хозяйствѣ“ не разсказано-де, какъ слѣдуетъ, о леченіи лошади; въ книгахъ о пчеловодствѣ не указывается одного способа противъ воровства пчелъ, именно колдовства, и т. д. Хорошо шли книги по садоводству и пчеловодству. На одной изъ ярмарокъ выискался азартный любитель-садоводъ, затратившій сразу три рубля на покупку книгъ по садоводству. Обыкновенно же

крестьяне ищутъ въ такихъ книгахъ больше какихъ-либо таинственныхъ указаній и совѣтовъ относительно ухода и т. п. Интересно также, что въ то время какъ книги относительно хлѣбопашества не шли совсѣмъ, сами крестьяне спрашиваютъ книгъ о разведеніи лѣсовъ. Видно, и тутъ оправдывается пословица: „что́ у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ“... Хлѣбъ у насъ ростетъ хорошій, а лѣсовъ нѣтъ...

На *медицинскія* книжки былъ спросъ, хотя и небольшой. Случалось, что крестьяне подходили и сами спрашивали: „нѣтъ ли у васъ такой книжки, гдѣ разсказывается про воду, про воздухъ, про пищу; слышали мы, что такая книжка есть“. Но такихъ книгъ, какъ извѣстно, очень мало. Семейные крестьяне охотно покупали „Совѣты матерямъ“, узнавши, что въ этой книжкѣ разсказывается, какъ слѣдуетъ ухаживать за дѣтьми, унимать плачущихъ ребятъ и т. д. „А, такую книжку мнѣ и нужно“, отвѣчалъ нерѣдко чадолюбивый отецъ. Книги о сифилисѣ шли, но болѣвшіе этой болѣзнью стѣснялись спрашивать ихъ, мялись нѣкоторое время, и продавцамъ нужно было догадываться, чего ищетъ покупатель. Большой успѣхъ имѣли книги противъ пьянства. Нужно замѣтить, что въ нашей округѣ теперь мода на общества трезвости. Въ с. Федункахъ староста даже благодарилъ нашихъ торговцевъ за то, что они хорошія книги продавали, убѣдившія народъ постановить приговоръ о закрытіи кабаковъ. Всякая книга о пьянствѣ, по мнѣнію крестьянъ, хороша, если она выясняетъ, какой *грѣхъ* въ этомъ порокѣ. Между прочимъ, случилось какъ-то прочесть громко „Смерть пьяницы“; изъ толпы тотчасъ же послышались возраженія: „развѣ отъ пьянства бываетъ смерть; она сама приходитъ“. На ряду съ этимъ спрашивали, нѣтъ ли книжки о томъ, какой грѣхъ въ куреніи.

Историческія книги шли совсѣмъ плохо. У народа, несомнѣнно, очень смутное представленіе даже о собственной исторіи: такъ, старая книжка Павловича: „Освобожденіе Малороссіи отъ польской неволи“ тоже не шла. Здѣшній народъ забылъ уже объ этой кровавой эпохѣ, и богомольцы съ удивленіемъ останавливаются передъ памятникомъ Богдана Хмельницкаго въ Кіевѣ: „що воно таке?“... Любопытно, однако, что нѣкоторые крестьяне требовали *полной* исторіи. Едва ли можно допустить, чтобы у нихъ было какое-либо опредѣленное представленіе о полнотѣ. Вѣрнѣе (какъ въ этомъ можно было убѣдиться и на другихъ случаяхъ), среди крестьянъ начинаетъ уже распространяться сознаніе о передѣлкахъ, являющихся сплошь и рядомъ въ видѣ недозволительной фальсификаціи, и они требуютъ полной, т.-е. настоящей исторіи, соглашаясь заплатить дороже. Замѣтимъ здѣсь, что хотя покупатель-крестьянинъ торгуется отчаянно,

но разъ онъ убѣдился, что дорогая книга дѣйствительно лучше дешевой, онъ не жалѣетъ денегъ. Это—одно изъ самыхъ свѣтлыхъ наблюденій моихъ знакомыхъ торговцевъ. Если оно имѣетъ не случайный и только мѣстный характеръ, то дѣйствительно хорошей, серьезной книгѣ, хотя бы сравнительно и дорогой, нечего бояться конкурренціи дешевыхъ изданій Никольскаго рынка. Возьмите, напримѣръ, прекрасную книжку „Разсказы о землѣ и небѣ“ (на малорусскомъ языкѣ: „Розмова про небо та землю“); крестьяне не только покупали ее, но сами спрашивали, приговаривая иногда: „э, такой книжки вѣрно нѣтъ другой“.

Изъ произведеній нашихъ извѣстныхъ *писателей* оказались уже извѣстными крестьянамъ и усиленно спрашивались ими сочиненія *Толстого*, *Гоголя* и *Шевченко*. Разсказъ: „Чѣмъ люди живы“ извѣстенъ въ народѣ подъ названіемъ: „Про сапожника“; „Богъ правду видитъ да не скоро скажетъ“—подъ названіемъ: „Про купца Аксенова“; если въ толпѣ случался крестьянинъ, уже читавшій эту книжку, то онъ непремѣнно замѣчалъ: „это хорошая книжка“; „Гдѣ любовь, тамъ и Богъ“ спрашивалась подъ названіемъ: „про Божью любовь“, „Кавказскій плѣнникъ“—„про Жилина“ и т. д. Однимъ словомъ, народъ, какъ всегда, упрощаетъ и передѣлываетъ названія, какъ ему понятнѣе и какъ проще. Поэтому нерѣдко нужно знать содержаніе книги, чтобы догадаться, что̀ именно спрашивается. Нѣкоторые изъ разсказовъ Толстого оказались еще неизвѣстными. Такъ, относительно „Двухъ стариковъ“ съ недоумѣніемъ спрашивали, что оно за два старика? Сказку про „Ивана-дурака“ также не знали. Спрашивали обыкновенно сказку про „царевича Ивана-дурака“. Но, прослушавши чтеніе, обыкновенно одобряли и покупали. Въ сказкѣ объ Иванѣ-дуракѣ нравилось въ особенности, что дуракъ, занимающійся земледѣліемъ, оказывается всегда побѣдителемъ. Вообще разсказы Толстого имѣли прекрасный сбытъ, такъ какъ ихъ покупали и крестьяне, и священники, и учителя, и вообще всякій культурный людъ деревни. Слѣдующихъ же изданій „Посредника“: „Паскаль“, „Діогенъ“, „Маркъ Аврелій“, „Александръ Македонскій“ и др., крестьяне вовсе не знаютъ, и для того, чтобы они получили ходъ, ихъ нужно еще усиленно пропагандировать. Имя *Гоголя* въ описываемой мной округѣ достаточно извѣстно среди грамотнаго населенія; поэтому такія произведенія, какъ „Тарасъ Бульба“, „Сорочинская Ярмарка“, „Вій“ и др., шли хорошо. „Тараса Бульбу“ узнавали на картинѣ; покупатели изъ крестьянъ изъявляли обыкновенно желаніе пріобрѣсти книгу про „Бульбу“ на малорусскомъ языкѣ; но она стоитъ слишкомъ дорого, 75 к., т.-е въ три раза дороже, чѣмъ на общелитературномъ языкѣ. Такая сумма для крестьянина — цѣлый

капиталъ, и онъ, естественно, затрудняется потратить ее на покупку одной книги и притомъ не духовнаго содержанія. Съ неудовольствіемъ крестьянинъ кладетъ обратно на прилавокъ родного „Тараса“ и беретъ двадцатипяти-копѣечнаго. *Пушкинъ* шелъ совсѣмъ плохо. Даже „Полтавой“ крестьяне полтавской губерніи, видимо, совсѣмъ не интересовались. А между тѣмъ съ Пушкинымъ ихъ знакомятъ даже въ школѣ. Въ лавкѣ капитана было экземпляровъ 200 разныхъ произведеній и разныхъ изданій Пушкина, и изъ нихъ около $^2/_3$ остались нераспроданными. Лучше всего шла „Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ“, и то нужно было пропагандировать ее. Замѣчателенъ еще тотъ фактъ, что интеллигенція также мало покупала Пушкина. Да не подумаетъ читатель, что теперь въ каждомъ помѣщичьемъ домѣ можно найти если не полное, то вообще собраніе сочиненій великаго русскаго поэта,—далеко нѣтъ: собранія сочиненій нѣтъ и отдѣльныхъ сочиненій не желаютъ покупать. Еще меньшей извѣстностью и любовью среди деревенскихъ читателей пользуется *Лермонтовъ*. Прошло уже полвѣка со дня смерти поэта, а въ деревнѣ приходится пропагандировать его какъ новичка. Была читана громко, между прочимъ, „Пѣсня про купца Калашникова“ и понравилась; но языкъ казался для слушателей не совсѣмъ понятнымъ. *Достоевскій* (отдѣльныя книжечки) оказался пріятной новинкой для панковъ, но крестьяне вовсе не покупали. Случалось, впрочемъ, что кто-либо заинтересуется заглавіемъ: „Честный воръ“, и съ удивленіемъ спроситъ: „скажите пожалуйста, что оно такое за честный воръ?“ и, послѣ надлежащаго разъясненія, купитъ. *Гл. Успенскаго* крестьяне вовсе не знаютъ и не покупали, да и по своему языку онъ оказывается для нихъ малопонятнымъ; культурные же люди кое-что спрашивали. Любопытную участь имѣли разсказы *Короленко*: „Убивецъ“ и „Лѣсъ шумитъ“. Конечно, имя Короленко также неизвѣстно среди крестьянскихъ читателей, но достаточно было прочесть тотъ или другой разсказъ, какъ немедленно же находились покупатели и книжка быстро распродавалась. Чтеніе разсказа: „Лѣсъ шумитъ“ произвелъ цѣлый фуроръ; тотчасъ же по окончаніи чтенія протянулось нѣсколько рукъ къ прилавку; мало того, слава о немъ распространилась и въ сосѣднихъ селеніяхъ, гдѣ на ярмаркахъ эта книга также имѣла хорошій сбытъ. Слушая разсказъ о томъ, какъ жилось при крѣпостномъ правѣ, старики поддакивали: „да, такъ, именно такъ все было,—говорили они,—а теперь вотъ поразскажешь молодымъ, такъ они не вѣрятъ“... Одинъ только конецъ ихъ смущалъ; крестьяне его не понимали. *Гаршина*, *Лѣскова*, *Потапенко*, *Эртеля*, *Немировича-Данченко* деревенская читающая публика не знаетъ и

не покупаетъ; впрочемъ, панковъ интересовалъ *Потапенко*, и они спрашивали нѣкоторые его разсказы.

Съ другой стороны, такіе, напримѣръ, разсказы-передѣлки, какъ „Мученики", Шатобріана, „Гуинпленъ", Виктора Гюго, прослушанные, производили впечатлѣніе, трогали сердца, и этого было совершенно достаточно, чтобы книга получила ходъ. Отмѣчу еще двѣ книги: „Робинзонъ" и „Потерянный рай"; обѣ онѣ имѣютъ значительный спросъ и обѣ легко могутъ стать чисто народными книгами; желательно только, чтобы онѣ были изданы лучше и дешевле. „Робинзона" спрашиваютъ подъ видомъ „житія" и, что особенно замѣчательно, нерѣдко допрашиваютъ, нѣтъ ли полнаго изданія; всѣ,—и малый, и великій,—интересуются въ подробности знать, какъ Робинзонъ плелъ корзины, шилъ платье, однимъ словомъ, какъ онъ устроивалъ свой обиходъ. Что касается „Потеряннаго рая" (спрашиваютъ прямо „про рай"), то эта книга настолько извѣстна, что ею запасается почти каждый деревенскій книгопродавецъ. *Малорусскія* книги мѣстные крестьяне покупаютъ весьма охотно и обыкновенно опредѣленно спрашиваютъ, какую именно книгу нужно; попадались иногда и такіе любители, которые спрашивали, нѣтъ ли вообще какихъ книгъ на малорусскомъ языкѣ, почему ихъ такъ мало, почему онѣ дороги и т. д. Вообще спросъ на малорусскія книги въ данной мѣстности больше, чѣмъ спросъ на общерусскія, но для удовлетворенія этого большого спроса существуетъ, къ сожалѣнію, неизмѣримо меньшая литература; къ тому же еще въ этой небольшой литературѣ нѣкоторыя изданія (произведенія Квитки-Основьяненки, Гоголя и др.) недоступны для народа, о чемъ приходится очень и очень пожалѣть. *Шевченко* и *Котляревскій* пользуются широкой извѣстностью между читателями-крестьянами; но изъ произведеній украинскаго поэта доступна для народа лишь весьма незначительная часть. Малорусскія книги охотно покупаютъ какъ крестьяне, такъ и весь вообще культурный деревенскій людъ.

Въ заключеніе, да позволено будетъ мнѣ высказать нѣсколько общихъ соображеній. Какъ ни кратковременна была торговля капитана, но она съ несомнѣнностью убѣждаетъ въ слѣдующемъ:

1) Тотъ мусоръ, которымъ столичные издатели снабжаютъ обыкновенно деревенскій рынокъ подъ видомъ народныхъ книгъ, не засорилъ еще ума и сердца народнаго.

2) Народъ отзывается и отзовется на всякую хорошую (что означаетъ преимущественно возвышенную, трогательную) и удобопонятную для него книгу, а также на всякую дѣйствительно полезную; конечно, это происходитъ не сразу.

3) Такихъ книгъ за послѣдніе годы стало появляться не мало, но онѣ остаются неизвѣстными народу.

4) Кто же долженъ и кто можетъ, при настоящемъ положеніи вещей, взяться за проведеніе этихъ новыхъ хорошихъ книгъ въ народную массу? Конечно, это—прямое дѣло того русскаго интеллигента, который ищетъ осмысленнаго дѣла въ деревнѣ и почему-либо не желаетъ или не можетъ идти по протореннымъ уже теперь дорогамъ учительства, фельдшерства и т. д. Подумайте только, вѣдь народъ испытываетъ настоящій умственный голодъ, и разные торгаши предлагаютъ ему камень, въ лучшемъ случаѣ фальсифицированные продукты жалкихъ писакъ!

Когда у насъ обнаружился физіологическій, такъ сказать, голодъ, то вся интеллигенція всполошилась и объявила крестовый походъ. Можетъ ли она относиться спокойно къ тому умственному голоду, который испытываютъ многія сотни тысячъ людей, ею же обученныхъ грамотѣ? Можетъ ли онъ относиться спокойно къ тому, какъ глохнетъ и замираетъ мысль, не получающая надлежащаго питанія, какъ забываются даже самые начатки образованія, грамотность? Зрѣлище физіологическаго голода—ужасно. Зрѣлище умственнаго голода не такъ бросается въ глаза и не такъ бьетъ по нервамъ; но въ сущности оно такъ же ужасно по своимъ послѣдствіямъ. Интеллигенція наша не осталась пассивной зрительницей этого умственнаго голода народа. Она сдѣлала уже первый шагъ къ удовлетворенію его надлежащей пищей; она создала кое-какіе запасы этой пищи. Конечно, таковъ и долженъ былъ быть ея первый шагъ. Но на этомъ нельзя остановиться. Пока запасы эти хранятся въ городскихъ складахъ, они какъ бы не существуютъ для народа. Необходимо доставить ихъ на деревенскій рынокъ. Мало того,—и это, пожалуй, самое главное,—необходимо *показать* народу эту надлежащую пищу, необходимо обратить вниманіе его на эти новыя книги. Кто же, повторяю, можетъ взяться въ настоящее время за такое дѣло? Конечно, не тѣ торгаши, которые и сами не умѣютъ отличить камень отъ хлѣба. Пока народъ не узнаетъ этихъ новыхъ хорошихъ книгъ и не станетъ самъ спрашивать ихъ, до тѣхъ поръ народной книжной торговлей должны заниматься люди, понимающіе смыслъ и толкъ въ народныхъ книгахъ. Настоящей замѣткой своей я хотѣлъ бы обратить вниманіе интеллигентныхъ народолюбцевъ на дѣло интересное и въ высокой степени плодотворное. Если находятся люди, дающіе матеріальныя средства на изданіе хорошихъ народныхъ книгъ, то, естественно, должны найтись и такіе, которые не пожалѣютъ дать средства на организацію распространенія этихъ книгъ. Тѣмъ болѣе, что, какъ видно изъ разсказаннаго мною опыта, на это

дѣло не потребуется особенно большихъ капиталовъ, и самое дѣло, при извѣстной осторожности, не представляетъ никакого риска. По двѣсти рублей на повозку достаточно, а нѣсколько десятковъ повозокъ могли бы охватить своей торговлей районъ въ нѣсколько губерній, что̀ для начала было бы совершенно достаточно. Отъ лица же интеллигентныхъ торговцевъ бѣгутъ, какъ показалъ опытъ капитана, торгаши, руководимые Никольскими и иными рыночными издателями. Слѣдовательно, и конкурренція не страшна.

В. Яковенко.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Paul Ginisty. L'Année Littéraire. Paris, 1894. Стр. 279.

Въ теченіе уже девяти лѣтъ Поль Жинисти, талантливый французскій журналистъ, издаетъ свои литературные ежегодники, отмѣчающіе всѣ болѣе или менѣе выдающіяся литературныя явленія за годъ. Его отчеты не отличаются полнотой или глубиной критическихъ обобщеній, но они интересны, главнымъ образомъ, своей непосредственностью: написанные подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только-что прочитанныхъ книгъ, они болѣе или менѣе вѣрно отражаютъ атмосферу, въ которой создаются литературныя теченія и воспитывается вкусъ общества. Оцѣнка различныхъ книгъ, сущность которыхъ передана и разобрана самымъ краткимъ образомъ, вноситъ свою долю въ общую характеристику даннаго періода; собранныя же въ одно цѣлое, эти бѣглыя журнальныя замѣтки составляютъ цѣнный матеріалъ для историка литературы и представляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ интересную книгу для всякаго, кто слѣдитъ за капризнымъ ходомъ развитія литературныхъ идей во Франціи.

Послѣдняя книжка „Année Littéraire“ представляетъ сводъ литературной дѣятельности Франціи за 1893 г. Въ предисловіи, написанномъ Анри Гуссэ, намѣчается основная черта этого періода—пристрастіе къ историческимъ сюжетамъ во всѣхъ областяхъ литературы, и въ особенности къ одному историческому моменту—къ исторіи Наполеона I. Самый фактъ „моды на Наполеона“ неоспоримъ. Автору приходится говорить о двѣнадцати книгахъ, посвященныхъ или самому Наполеону, или кому-нибудь изъ его семьи; всѣ онѣ вышли въ теченіе одного года и представляютъ собой ме-

муары, воспоминанія и т. д., освѣщающія жизнь Наполеона самымъ полнымъ и иногда противорѣчивымъ образомъ; кромѣ того въ другихъ отдѣлахъ „Année Littéraire“ говорится объ изслѣдованіяхъ, косвенно касающихся Наполеона, о драмѣ Сарду („Madame Sans Gêne“), выводящей на сцену императора и т. д.

Анри Гуссэ объясняетъ это неожиданное тяготѣніе къ историческому прошлому тѣмъ, что французскій романъ уже давно сталъ примѣнять научные пріемы въ своемъ построеніи, основываться на постоянномъ изученіи и накопленіи фактовъ и, такимъ образомъ, переходить отъ правдоподобнаго къ истинному; воспитанные на этихъ пріемахъ, писатели естественно могли перейти къ прямому изученію дѣйствительности, столь же полной самыхъ сложныхъ психическихъ проблемъ, какъ самая богатая фантазія романиста. Это довольно остроумное объясненіе едва ли, однако, справедливо; научный романъ, построенный на собираніи petits papiers, уже отжилъ или во всякомъ случаѣ отживаетъ свой вѣкъ и привелъ не къ обращенію къ исторіи героевъ и политической жизни разныхъ государствъ, а къ развитію психологическаго и, въ послѣднее время, даже крайне идеалистическаго романа, доходящаго до мистицизма. Но существованіе подобнаго настроенія въ художественномъ творчествѣ ничуть не идетъ въ разрѣзъ съ возрожденіемъ интереса къ историческимъ вопросамъ; напротивъ, чѣмъ выше и отвлеченнѣе становятся метафизическія грезы поэтовъ, чѣмъ сложнѣе и исключительнѣе становятся анализы „современной души“ въ романахъ новѣйшихъ писателей, тѣмъ больше чувствуется потребность въ противовѣсѣ; поэтому въ отмѣчаемомъ Жинисти изобиліи историческихъ изслѣдованій и мемуаровъ можно видѣть естественную реакцію отвлеченности идейныхъ теченій времени.

Изъ историческихъ книгъ, посвященныхъ Наполеону, Жинисти отмѣчаетъ нѣсколько наиболѣе остановившихъ на себѣ вниманіе публики и печати. Одна изъ этихъ книгъ, „Napoléon et les femmes“ Фредерика Массона, имѣла большой успѣхъ, благодаря обилію анекдотическихъ матеріаловъ. Цѣлью автора этой книги было показать, какую большую роль женщины играли въ жизни Наполеона, и насколько по качествамъ своего сердца онъ былъ достоинъ любви, которой его окружали. Приходится, однако, согласиться съ Жинисти, что вторая часть тезиса Массона далеко не согласуется съ многочисленными романтическими эпизодами, подробнѣйшимъ образомъ разсказанными въ книгѣ; въ нихъ деспотичный и иногда грубый до цинизма императоръ менѣе всего обнаруживаетъ „нѣжно любящую душу“, которую приписываетъ ему его біографъ. Еще больше шума, чѣмъ „Napoléon et les femmes“ Массона, произвела при своемъ появленіи книга Артура Леви: „Napoléon intime“; она обратила на

себя вниманіе парадоксальностью основного положенія автора: онъ рисуетъ Наполеона миролюбивымъ, кроткимъ буржуа, прощающимъ обиды, неспособнымъ причинить страданія кому бы то ни было. Очень курьёзно передана въ книгѣ А. Леви исторія брака Наполеона съ Жозефиной и развода съ ней; императоръ является въ ней чисто страдательнымъ лицомъ, точно также какъ въ своихъ отношеніяхъ съ Люсьеномъ. Если Наполеонъ и принуждаетъ брата къ разводу съ любимой женой, то онъ дѣлаетъ это, по утвержденію адвоката-біографа, страдая душевно, съ скорбью жертвуя своими братскими чувствами ради высшихъ политическихъ соображеній. Такими и подобными голословными протестами противъ столь явныхъ фактовъ, какъ безцеремонное вмѣшательство императора въ семейныя дѣла своей родни, Артуру Леви не удается, конечно, измѣнить существующее представленіе о Наполеонѣ; не удается также ему доказать миролюбивости императора и превратить, такимъ образомъ, историческую фигуру полководца, соединявшаго въ себѣ геніальность съ чудовищными слабостями и пороками, въ средняго добродѣтельнаго отца семейства и добросовѣстнаго исполнителя гражданскаго долга.

Гораздо интереснѣе этихъ двухъ книгъ, имѣвшихъ главнымъ образомъ un succès de scandale, сочиненіе барона Ларрэ о матери Наполеона („Madame Mère", par le baron Larrey). Жинисти подробно останавливается на обстоятельномъ и добросовѣстномъ изслѣдованіи Ларрэ, вносящемъ свѣтъ въ запутанную семейную исторію Наполеона. Баронъ Ларрэ имѣлъ случай видѣть мать императора незадолго до ея смерти (въ 1834 г.); онъ обнародовалъ тогда лишь свои медицинскія наблюденія надъ ея болѣзнью и затѣмъ занялся документальнымъ изученіемъ отношеній матери и сына. Послѣ пятидесяти лѣтъ, прожитыхъ среди бонапартистскихъ вліяній, и собравши массу новаго матеріала, онъ выступилъ въ качествѣ біографа „Корсиканской Ніобеи", какъ называетъ Кардуччи эту удивительную женщину, напоминающую знаменитыхъ матронъ римской республики. По свѣденіямъ, сообщаемымъ Ларрэ, видно, какъ рѣзко выдѣлялась Летиція Бонапарте среди остальныхъ родственниковъ императора; всѣ они спѣшили воспользоваться сказочнымъ величіемъ Наполеона для устройства своихъ личныхъ дѣлъ, и при первыхъ признакахъ грозящей катастрофы каждый старался обезпечить себѣ выходъ, спастись во-время съ уцѣлѣвшими остатками прежняго благополучія. Летиція одна не участвуетъ въ этомъ повальномъ, циническомъ „sauve qui peut" и съ горечью пишетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ этой эпохи: „мои дѣти и племянники сами не понимаютъ, какъ безконечно низко они пали". Несчастія Наполеона превращаютъ Летицію въ героическую мать, предпочитающую, чтобы сынъ ея лучше погибъ среди какой-нибудь грандіозной катастрофы, чѣмъ медленно

угасалъ въ безславномъ изгнаніи. Она раздѣляла его изгнаніе на о-вѣ Эльбѣ, и послѣ Ватерлоо добивалась позволенія отправиться на Св. Елену. Не добившись разрѣшенія, она не останавливается ни передъ чѣмъ, чтобы добиться облегченія участи сына, забрасываетъ письмами всѣхъ правителей европейскихъ державъ, краснорѣчиво доказывая, „что политическія преслѣдованія должны имѣть границы, и что потомство, дающее безсмертіе, выше всего ставитъ великодушіе побѣдителей". Она обращается къ Меттерниху за поддержкой, и вмѣстѣ съ тѣмъ, оставаясь прежде всего матерью въ эти трагическіе дни, она помнитъ о мелочахъ, хлопочетъ объ отправленіи хорошаго повара на Св. Елену, добивается замѣны англійскаго врача Наполеона корсиканцемъ Антомархи. Непримиримость и презрѣніе Летиціи по отношенію къ измѣнившимъ Наполеону лицамъ лучше всего рисуется въ передаваемомъ барономъ Ларрэ разсказѣ о визитѣ Маріи-Луизы къ своей бывшей тещѣ. Летиція не приняла бывшей жены своего сына, иронически заявляя ея посланному, „что онъ оскорбляетъ ея невѣстку, предполагая, что она разъѣзжаетъ по свѣту вмѣсто того, чтобы находиться подлѣ своего мученика мужа на о-вѣ Св. Елены. Женщина, о которой вы говорите, — прибавила она, — несомнѣнно авантюристка, принявшая ея имя". До самой смерти Наполеона она всецѣло преисполнена мыслью о немъ, и этой напряженностью материнскихъ чувствъ объясняется, быть можетъ, передаваемое біографомъ Летиціи семейное преданіе о томъ, что въ моментъ смерти императора во дворецъ матери въ Римѣ явился человѣкъ, удивительно похожій на Наполеона: придя къ Летиціи, человѣкъ этотъ объявилъ ей, что сынъ ея „избавился отъ страданій и счастливъ", и что она увидитъ его, сдѣлавшись, однако, до того свидѣтельницей многихъ перемѣнъ и гражданскихъ войнъ во Франціи. Исторія ея безплодныхъ хлопотъ о томъ, чтобы получить прахъ изгнанника, заботы о томъ, чтобы сохранить чувство семейной чести въ нравственно павшихъ членахъ семьи, тяжкая утрата внука, наполняютъ печальную старость женщины, которой принадлежитъ почетное мѣсто въ галереѣ матерей великихъ людей.

Оставляя область героическаго прошлаго, оживленнаго болѣе или менѣе талантливымъ перомъ современныхъ историковъ, Жинисти переходитъ къ области художественнаго творчества. Ее нельзя назвать безплодной за обозрѣваемый критикомъ періодъ; всѣ обычныя звѣзды литературнаго горизонта внесли свой обычный годовой вкладъ; имена Золя, Леметра, Марселя Прево, Барреса, Рода, Катулла Мендеса, и т. д., и т. д., украшаютъ сборникъ Жинисти. Но значитъ ли это, что хоть кто-либо изъ нихъ прибавилъ новую блестящую страницу къ своему прежнему творчеству или внесъ какую-нибудь оригинальную ноту въ современную литературу? Просмотрѣвъ краткіе,

но очень полно резюмирующіе сущность книгъ, отзывы Жинисти, мы убѣждаемся, что едва ли одинъ изъ теперешнихъ романистовъ выросъ на вершокъ за истекшій годъ. „Docteur Pascal“ Золя, по всеобщему мнѣнію критики, одна изъ слабыхъ вещей Ругонъ-Маккаровской серіи, и восторги Жинисти по поводу отдѣльныхъ сценъ романа нельзя отнести къ общему замыслу и исполненію „Доктора Паскаля“. Точно также остроумная философская сказка Леметра, „Les Rois“, хотя и обнаруживаетъ обычный діалектическій блескъ даровитаго писателя, не даетъ основанія предположить, что беллетристика Леметра затмитъ его критическіе этюды. Еще менѣе замѣчательны другія новинки сезона, въ родѣ „Automne d'une femme“ Марселя Прево, успѣвшаго со времени появленія этого романа вполнѣ показать, чего стоитъ его показной идеализмъ; двѣ серіи недавно вышедшихъ „Lettres de femmes“ написаны совершенно въ тонѣ „Journal Amusant“ и „Gil Blas“ и изучаютъ душевную жизнь современной парижанки съ столь же высокой точки зрѣнія, какъ карикатуристы названныхъ газетъ.

Въ числѣ приводимыхъ Жинисти книгъ есть нѣсколько, менѣе замѣченныхъ авторитетной критикой, чѣмъ произведенія признанныхъ корифеевъ текущей литературы, но очень цѣнныхъ для характеристики новыхъ настроеній, ожидающихъ лишь достаточно талантливыхъ представителей, чтобы громко заявить о себѣ. Одна изъ этихъ книгъ, въ которой несомнѣнно „бьется пульсъ времени“, есть „Вальберъ“ Теодора Визевы (Wyzeva). Написанная нѣсколько въ духѣ „Confessions“ Руссо, она не поражаетъ ни оригинальностью мысли, ни выходящей изъ ряда талантливостью изложенія; интересъ же ея заключается въ томъ, что авторъ, воспитанный на эстетическихъ идеалахъ новаго поколѣнія, является вполнѣ выразителемъ чувствъ современнаго человѣка съ его порывами къ новой „религіи души“. Визева рисуетъ въ своемъ разсудочномъ героѣ чрезмѣрную склонность къ самоанализу, убивающую всякую способность къ непосредственнымъ чувствамъ, къ жизненнымъ ощущеніямъ, и проповѣдуетъ возвратъ къ естественности, къ безхитростному пользованію жизнью. Остерегаться яда разрушительной мысли, замыкающей человѣка въ безплодномъ созерцаніи своего „я“ и его интеллектуальныхъ функцій, и жить въ другихъ и ради другихъ, во имя любви и состраданія — вотъ къ чему сводится „ново-христіанское“ ученіе Визевы. Конечно, не въ этомъ искусственномъ, навѣянномъ „толстоизмомъ“, концѣ—сущность „Вальбера“, а въ тревожномъ протестѣ противъ крайностей научно-психологическихъ ученій, приводящихъ къ сухому эгоизму и эготизму, и въ стремленіи побороть разсудочность альтруизмомъ.

Жинисти говоритъ вкратцѣ еще объ одной книгѣ, носящей от-

печатокъ новыхъ эстетическихъ вкусовъ; это—изданный Стефаномъ Маллармэ „Ватекъ“ Бекфорда. Какъ извѣстно, книга эта написана была еще въ концѣ прошлаго вѣка эксцентрикомъ англичаниномъ, предшественникомъ лорда Брумммеля въ исторіи дэндизма, и для большей оригинальности написана была по-французски. Долго забытая среди смутъ революціи, она впослѣдствіи переведена была на англійскій языкъ и пріобрѣла въ Англіи громадную извѣстность; французскій же оригиналъ былъ долго затерянъ и теперь впервые изданъ Маллармэ; поэтъ конца XIX вѣка увидѣлъ родственное себѣ настроеніе въ насмѣшливомъ скептикѣ вольтеровской эпохи, страстно жаждущемъ рѣдкихъ эстетическихъ ощущеній и живущемъ въ мірѣ фантастическихъ грезъ, ничѣмъ не напоминающихъ пошлую дѣйствительность.

II.

Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Tome septième, 1885—1888. Paris 1894. Стр. 328.

Седьмымъ томикомъ своего „дневника“ Эдмонъ-де-Гонкуръ доводитъ разсказъ о своей литературной и общественной жизни и объ испытанныхъ имъ впечатлѣніяхъ, такъ сказать, до вчерашняго дня. Событія, которыхъ онъ касается, еще вполнѣ памятны, слишкомъ памятны каждому читателю; благодаря этому, книга производитъ нѣкоторымъ образомъ впечатлѣніе устарѣлой газеты, интересъ которой изсякъ вмѣстѣ съ свѣжестью сообщаемыхъ ею извѣстій, не замѣнившись, однако, привлекательностью историческаго документа, говорящаго о забытомъ или малоизвѣстномъ прошломъ.

Передача событій дня имѣетъ непосредственный интересъ новости, переживаемой читателемъ какъ нѣчто его близко касающееся; въ рукахъ же историка, разсказывающаго о тѣхъ же самыхъ событіяхъ, успѣвшихъ вполнѣ выясниться и опредѣлиться въ своихъ результатахъ, интересъ сосредоточивается, конечно, на синтезирующей мысли, выдвигающей общечеловѣческій смыслъ и значеніе передаваемыхъ событій. Но Гонкуръ слишкомъ близко стоитъ къ описываемому имъ времени, чтобы быть исторіографомъ sine ira et studio; говоря о людяхъ и о происшествіяхъ, которыми еще такъ недавно полна была французская печать, онъ не можетъ стать на точку зрѣнія историка, отличающаго существенное отъ случайнаго въ быстрой смѣнѣ интересовъ дня; онъ самъ заинтересованъ въ „безконечно-маломъ“ среди занимающихъ и волнующихъ общество вопросовъ: шумъ, поднимаемый вокругъ постановки новой пьесы, его захватываетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ идейное броженіе общества, выборы президента, судьбы республики; характеристикѣ какого-нибудь

директора театра онъ посвящаетъ несравненно больше усилій своей „écriture-artiste“, чѣмъ портретамъ общественныхъ дѣятелей и ученыхъ, съ которыми онъ достаточно близко сталкивался для полнаго изученія; но эти преходящіе вопросы дня успѣли утратить свой интересъ за нѣсколько истекшихъ съ тѣхъ поръ лѣтъ, и поглощенный ими Гонкуръ ставитъ себя часто въ положеніе газетнаго хроникера, тщетно старающагося подогрѣть интересъ къ исчерпаннымъ, надоѣвшимъ вопросамъ и происшествіямъ.

Но несмотря на нѣсколько газетный характеръ передачи недавняго прошлаго, послѣдняя книжка Гонкура представляетъ интересное дополненіе къ предъидущимъ томамъ, принадлежащимъ мастерскому перу обоихъ братьевъ. Въ этой книжкѣ, начатой 2 декабря 1852 г., дневникъ доводится однимъ изъ сотрудниковъ до другой исторической даты — до года празднованія столѣтней годовщины французской революціи. Почти сорокъ послѣднихъ лѣтъ жизни Парижа, разсказанные самыми тонкими и впечатлительными наблюдателями современности, знавшими всѣхъ и все, составляющее нервъ жизни въ столицѣ міра,—какъ много обѣщаетъ этотъ полный фактовъ, портретовъ, эстетическихъ и философскихъ мыслей дневникъ для историка нашего времени! Принимая во вниманіе заслуги Гонкуровъ, какъ проницательныхъ и художественныхъ историковъ восемнадцатаго вѣка, какъ тонкихъ психологовъ-реалистовъ, подсмотрѣвшихъ всѣ больныя стороны „истерическаго вѣка“, можно предположить, что ихъ дневникъ долженъ сдѣлаться столь же драгоцѣннымъ и полнымъ источникомъ исторіи нашей эпохи, какъ записки Сенъ-Симона для исторіи вѣка Людовика XIV.

Что сами авторы задавались цѣлью стать историками пережитой ими эпохи во всѣхъ ея сложныхъ проявленіяхъ, прямо явствуетъ изъ предисловія Эдмона Гонкура къ изданію первыхъ томовъ: „Мы стремились,—пишетъ онъ,—возсоздать передъ потомствомъ нашихъ современниковъ въ портретахъ, сдѣланныхъ съ натуры, воскресить ихъ посредствомъ живого колорита стенографированнаго разговора, подмѣченнаго характернаго жеста,—всѣхъ этихъ мелочей, въ которыхъ сказывается жизнь страстей человѣка, и для этого мы отразили картину лихорадочнаго состоянія, которое составляетъ сущность парижской жизни“. Теперь задуманный планъ осуществленъ, и въ семитомномъ дневникѣ переданы потомству не только совмѣстныя наблюденія и впечатлѣнія обоихъ братьевъ, но и все, что̀ видѣлъ и чувствовалъ старшій изъ Гонкуровъ въ долгіе годы послѣ смерти младшаго брата; но насъ ожидаетъ большое разочарованіе, если мы вздумаемъ искать въ этомъ монументальномъ трудѣ осуществленія намѣченнаго плана, внутренней исторіи французскаго общества второй половины вѣка. Самое поверхностное чтеніе „дневника“ пока-

зываетъ, что „Сенъ-Симонъ XIX вѣка“, какъ одинъ критикъ назвалъ Гонкуровъ, какъ-то проглядѣлъ окружающую общественную жизнь, будучи всецѣло занятъ судьбою каждой, написанной имъ однимъ, или въ сотрудничествѣ съ братомъ, строчки, своими чувствами, ощущеніями, огорченіями, неудачами, честолюбивыми замыслами и т. д. Этотъ широко задуманный дневникъ есть въ сущности только пространная автобіографія, и во всѣхъ семи томахъ вопросы общественной жизни намѣчены по газетному образцу, т.-е. въ видѣ извѣстій, интересныхъ только своей новизной; вся разнообразная жизнь Парижа, съ ея ежеминутными неожиданностями, съ вѣчно мѣняющимися героями минуты, превращается въ эффектный фонъ, на которомъ выдѣляется предметъ главнаго, всепоглощающаго интереса: борьба Гонкуровъ за новыя литературныя идеи противъ коаліціи всѣхъ элементовъ общества, которое ихъ злоумышленно замалчиваетъ и преслѣдуетъ. Антагонизмъ между Гонкурами и „обществомъ“ начался съ перваго дня ихъ литературнаго дебюта: ихъ первый романъ: „En 18...“, вышелъ 2-го декабря 1852, и въ то время, когда весь смыслъ жизни сосредоточился для нихъ въ книжныхъ лавкахъ, гдѣ красовались объявленія съ ихъ именемъ, Парижъ и вся Франція, какъ бы сговорившись противъ выступающихъ молодыхъ романистовъ, ушли въ политическіе интересы, вызванные послѣдствіями coup d'état. Пропасть между артистическими потребностями братьевъ и настроеніемъ общества все болѣе и болѣе увеличивается съ годами, и говоря о людяхъ и событіяхъ, среди которыхъ течетъ ихъ жизнь, Гонкуры сами, быть можетъ, не замѣчая этого, рисуютъ только отношенія этихъ людей и событій къ своимъ литературнымъ произведеніямъ. Постановка „Henriette Maréchal“ въ Théâtre Français и связанный съ этимъ скандалъ въ парижской печати наполняютъ собой для Гонкуровъ исторію шестидесятыхъ годовъ, и весь контингентъ замѣчательныхъ людей того времени рисуется сквозь призму ихъ взглядовъ на реализмъ и натурализмъ въ драмѣ. По мѣрѣ того, какъ не встрѣчающіе почти ни у кого поддержки Гонкуры все болѣе и болѣе углубляются въ свое исключительное изученіе „жизни предметовъ“, въ свой культъ живописныхъ деталей, слога, который приближалъ бы литературное творчество къ живописи, является все болѣе и болѣе пунктовъ разногласія между романистами и публикой. Неуспѣхъ каждаго новаго романа, каждой драмы, превращается въ историческое событіе, свидѣтельствующее о варварствѣ Франціи, и мемуары о жизни общества превращаются мало-по-малу въ сплошную обвинительную рѣчь противъ господствующихъ буржуазныхъ вкусовъ въ искусствѣ, доведшихъ одного изъ братьевъ до преждевременной смерти, а другого—до одинокой старости, удрученной разными нервными недугами. Вспоминая иногда

среди своихъ литературныхъ треволненій о взятой на себя роли исторіографовъ, Гонкуры разнообразятъ свой дневникъ разными анекдотами литературнаго и общественнаго характера; источникомъ этихъ анекдотовъ являются обыкновенно знаменитые обѣды у Мабли, на которыхъ собирались писатели, политическіе дѣятели, ученые и артисты, и всѣ говорили по-товарищески, безъ всякихъ стѣсненій. Что многое изъ этихъ затрапезныхъ разговоровъ совершенно не подлежало огласкѣ, ничуть не стѣсняло Гонкуровъ, а они заняты были исключительно погоней за „petits papiers“ и возвели въ теорію замѣну творческой фантазіи фотографированіемъ окружающей дѣйствительности. По возвращеніи домой они „добросовѣстно“ заносили въ свои записки слышанные ими отзывы, вырвавшіеся подъ впечатлѣніемъ минуты, парадоксы, признанія, анекдоты, и потомъ помѣщали въ дневникъ эти стенографированные документы съ точными указаніями, когда и кѣмъ произнесена была та или другая фраза. Конечно, эти случайные разговоры всего менѣе рисуютъ истинный характеръ изображаемыхъ людей и нерѣдко являются прямо карикатурами на нихъ, хотя Гонкуры и называютъ свои нескромныя сплетни правдивой исторіей общества. Во всѣхъ ихъ очеркахъ выдающихся людей времени господствуетъ стремленіе выдвинуть мелочную, незрачную сторону, но это имъ кажется не результатомъ односторонности ихъ наблюденій, а непосредственной, неприкрашенной только истиной; между тѣмъ едва ли кто-либо согласится, что необыкновенно большой аппетитъ Теофиля Готьé является исчерпывающей характеристикой поэта или т. п. Для Гонкуровъ же эти портреты и разсказы, повторяющіе подробности обѣдовъ у Мабли, нужны нѣкоторымъ образомъ для очистки совѣсти; ими они отдаютъ долгъ бытописательному назначенію своего дневника и могутъ съ удвоеннымъ одушевленіемъ углубиться въ подробный анализъ своихъ неудачъ, несправедливости публики, интригъ директоровъ театровъ и печати и т. д.

Седьмой томъ дневника не отличается въ этомъ отношеніи отъ прочихъ: изъ всего, что волновало Францію между 1885 и 1888 г., Гонкуръ замѣтилъ и отмѣтилъ только то, о чемъ упоминали посѣтители разныхъ литературныхъ и политическихъ обѣдовъ. Замѣтка Гебрара о Гамбеттѣ, какъ объ идеальномъ президентѣ палаты, благодаря его актерской натурѣ; слова Ренана о необходимости обученія „гражданской морали“, замѣняющей католическіе катехизисы; замѣчаніе Додэ о холодно-практической жилкѣ теперешней литературной молодежи; бѣглое упоминаніе о смерти Валлеса; анекдотъ о Крымской войнѣ, о Луи Бланѣ и его умѣніи доставать интересные историческіе документы—вотъ приблизительно все, что вынесъ Гонкуръ изъ своего наблюденія надъ жизнью Парижа. Даже всепогло-

щающая тема буланжизма, которую, казалось бы, не могъ оставить безъ вниманія бытописатель восьмидесятыхъ годовъ, почти совсѣмъ не затронута Гонкуромъ; онъ передаетъ только слова Фрейсинэ о томъ, что иностранные министры не довѣряютъ Франціи благодаря постоянной смѣнѣ министерствъ и шуму, поднимаемому вокругъ имени военнаго министра Буланже. Это равнодушіе къ настроеніямъ и интересамъ общества простирается не только на вопросы политическіе,—столь же поверхностно и равнодушно упоминаетъ онъ о происшествіяхъ общественнаго и даже чисто литературнаго характера. Вотъ, напр., все, что находитъ сказать Гонкуръ о смерти и національныхъ похоронахъ Гюго. „Эта ярмарка мнѣ противна,—читаемъ мы подъ 1-го іюня 1885 г.,—и я очень радъ, что нездоровье избавляетъ меня отъ обязанности принимать участіе въ ней. Мнѣ все время кажется, что парижское населеніе, лишенное народныхъ празднествъ благодаря республикѣ, замѣнило процессіи карнавала похоронами Гюго". Ничего, кромѣ этого довольно страннаго чувства досады, выраженнаго въ словахъ дневника, не вызвала у Гонкура смерть одного изъ самыхъ замѣчательныхъ людей вѣка.

Но зато, когда дѣло идетъ о людяхъ, такъ или иначе причастныхъ къ литературнымъ успѣхамъ Гонкуровъ, мы находимъ въ дневникѣ очень обстоятельные отзывы о нихъ и очень подробныя характеристики. Такъ, напр., Гонкуръ не ограничивается простымъ упоминаніемъ о книжкѣ Павловскаго о Тургеневѣ, а входитъ въ подробное объясненіе причинъ, вызвавшихъ у русскаго романиста осужденіе романовъ Гонкуровъ. Изъ этого объясненія Тургеневъ выходитъ „писателемъ, слава котораго преувеличена", „пейзажистомъ, умѣющимъ воспроизводить жизнь лѣса, но мелочнымъ наблюдателемъ жизни, не имѣющимъ достаточно смѣлости". Не довольствуясь этой критикой, внушенной чтеніемъ воспоминаній Павловскаго, Гонкуръ еще разъ возвращается къ тому же предмету въ другомъ мѣстѣ дневника: Тургеневъ,—говоритъ онъ,—не оцѣнилъ ихъ по достоинству, потому что онъ не былъ въ состояніи понять ихъ чисто парижской черты: ироніи. „Иностранцы и провинціалы,—заканчиваетъ Гонкуръ съ неподражаемымъ, въ самомъ дѣлѣ чисто парижскимъ самомнѣніемъ,—теряются передъ этимъ чисто парижскимъ даромъ, и чувствуютъ антипатію къ людямъ, слова которыхъ скрываютъ какія-то непонятныя для непосвященныхъ, таинственныя насмѣшки". Замѣчанія о другихъ современныхъ писателяхъ и артистахъ, не вооружившихъ противъ себя авторскаго самолюбія Гонкура, отличаются больше всего своей краткостью и поверхностностью. Выставка картинъ Бастьена-Лепажа, создавшаго новое теченіе во французскомъ искусствѣ, упомянута въ нѣсколькихъ строчкахъ, да и то посвященныхъ не новому пониманію искусства, а фигурѣ русской студентки,

которую онъ видѣлъ на выставкѣ. Другая злоба дня, Дрюмонъ съ его кампаніей противъ финансистовъ-евреевъ, ближе интересуетъ Гонкура вслѣдствіе пріятельскихъ отношеній съ Дрюмономъ; но по тону, которымъ Гонкуръ отъ времени до времени говоритъ объ антисемитской пропагандѣ своего пріятеля, видно, что весь этотъ вопросъ въ сущности совершенно для него безразличенъ и что онъ слишкомъ занятъ своими литературными дѣлами, чтобы задуматься надъ тѣмъ, кто правъ во всей этой исторіи.

Но, далеко неудовлетворительный въ качествѣ историческаго документа, дневникъ Гонкура имѣетъ совершенно спеціальный интересъ, близко связанный съ общественной исторіей нашего времени. Гонкуры не смогли воспроизвести жизнь своей эпохи, но они отразили съ исчерпывающей полнотой свою собственную внутреннюю жизнь; сами же они представляютъ очень любопытный типъ, сложившійся именно въ описываемую ими эпоху и составляющій одну изъ ея характерныхъ сторонъ. Во Франціи послѣднихъ десятилѣтій литература заняла первенствующее положеніе въ обществѣ; это создало своеобразный типъ „литератора“, человѣка, разсматривающаго окружающую жизнь, текущія событія, людей, философскія настроенія и идеи общества, исключительно какъ источникъ художественнаго творчества, какъ инертный матеріалъ, получающій значеніе и смыслъ только въ рукахъ романиста, поэта или критика. Конечно, во всѣ времена геніальные мыслители и художники имѣли громадное вліяніе на общество, руководили его духовными интересами и сами были предметомъ всеобщаго поклоненія, но ореолъ ихъ славы не распространялся на самую профессію писательства. Теперь же, подъ вліяніемъ все болѣе и болѣе разростающагося вліянія литературы и журналистики на всѣ отрасли общественной жизни, образовалась (особенно во Франціи) особая аристократія пера, самымъ искреннимъ образомъ считающая себя центромъ французской жизни и съ нѣсколько наивнымъ благоговѣніемъ относящаяся къ тончайшимъ оттѣнкамъ своихъ настроеній, къ мелкимъ подробностямъ своей личной жизни, какъ будто бы это были драгоцѣннѣйшіе документы, которые нужно самымъ тщательнымъ образомъ сохранить для потомства. Самымъ яркимъ воплощеніемъ этого типа являются братья Гонкуры, всецѣло замкнутые въ всепоглощающемъ культѣ своего таланта, живущіе только впечатлѣніями, питающими ихъ творчество, ревниво отстаивающіе свою писательскую независимость отъ разныхъ внѣшнихъ препятствій, въ родѣ дружескихъ или семейныхъ связей, общественныхъ интересовъ, словомъ—всего, что могло оторвать ихъ отъ постояннаго самосозерцанія и самопочитанія. Гонкуры—жрецы своего писательскаго таланта, которому они поклоняются какъ всесильному

божеству, и ихъ дневникъ является исповѣдью жизни, посвященной единственному поглощающему ихъ культу.

Съ этой точки зрѣнія, т.-е. какъ отраженіе крайностей, до которыхъ можетъ дойти „эгоизмъ“ современнаго „литератора“ pur sang, дневникъ Гонкуровъ имѣетъ интересъ единственнаго въ своемъ родѣ документа. Послѣдній томъ еще сильнѣе подчеркиваетъ основную ноту прежнихъ томовъ; тамъ рѣчь шла все-таки о двухъ вмѣстѣ работающихъ, страдающихъ и радующихся людяхъ, сквозь разсказъ о происхожденіи и о судьбѣ каждой написанной ими книги свѣтился общечеловѣческій интересъ; глубокая дружба, объединявшая братьевъ, вносила въ ихъ міросозерцаніе и въ ихъ отношенія къ людямъ какую-то сердечную альтруистическую нотку. Теперь же прошло уже болѣе двадцати лѣтъ послѣ смерти Жюля Гонкура; въ одной изъ предъидущихъ книжекъ дневника оставшійся въ живыхъ старшій братъ успѣлъ разсказать въ мельчайшихъ подробностяхъ все, что онъ выстрадалъ при потерѣ единственнаго и въ самомъ дѣлѣ глубоко любимаго друга и брата; живая скорбь исчезла среди стараній художника передать въ наиболѣе полной и совершенной формѣ свои ощущенія, и Эдмонъ Гонкуръ всецѣло углубился въ свое собственное „я“, отмѣчая всѣ его внутреннія побужденія и внѣшніе интересы, защищая его отъ враговъ, дѣйствительныхъ и воображаемыхъ, и жадно упиваясь каждымъ словомъ сочувствія, каждымъ комплиментомъ. Дневникъ его пріобрѣтаетъ, благодаря этому, мелочной характеръ въ послѣднемъ томѣ. Литературная дѣятельность Гонкура за послѣдніе годы не отмѣчена ни однимъ новымъ произведеніемъ, но зато онъ всецѣло поглощенъ передѣлкой для сцены нѣкоторыхъ изъ своихъ романовъ: „Renée Mauperin“ поставлена была въ театрѣ Одеона въ 1885, „Germinie Lacerteux“— въ 1888, и судьба этихъ двухъ пьесъ, перипетіи ихъ постановки, занимаютъ добрую половину книги. Гонкуръ священнодѣйствуетъ, говоря о своихъ волненіяхъ по поводу постановки пьесъ, объ актрисахъ, въ рукахъ которыхъ великая тайна успѣха пьесы, о публикѣ, о томъ, чѣмъ публика должна была бы быть, какъ печать должна была бы относиться къ натуралистической драмѣ и какъ она относится, объ интригахъ, врагахъ и т. д. И эти жалобы на публику, не умѣющую цѣнить истинные таланты, на критику, намѣренно замалчивающую смѣлыхъ новаторовъ, смѣняются старческими жалобами на недомоганіе, плохое пищевареніе, скуку одиночества лѣтомъ, когда всѣ знакомые разъѣхались, и подобными подробностями жизни стараго холостяка. Чтобы не поддаваться припадкамъ хандры, Гонкуръ ищетъ утѣшенія въ двухъ главныхъ источникахъ радости, существующихъ для него въ жизни; въ удовольствіяхъ коллекціонерства и въ мел-

комъ удовлетвореніи своей passion-maitresse, авторскаго самолюбія; онъ любовно описываетъ разные „bibelots“ своихъ коллекцій, записываетъ свои desiderata по части рѣдкихъ изданій и гравюръ, и отъ времени до времени заноситъ въ дневникъ комплименты, сдѣланные ему кѣмъ-нибудь изъ начинающихъ писателей, „изъ молодыхъ“, которыхъ онъ при случаѣ не прочь, однако, задѣть и обличить въ бездарности, узкой практичности и т. д. Въ этой погонѣ за похвалой и комплиментами Гонкуръ доходитъ уже прямо до смѣшного, серьезно повторяя со словъ какого-то Берендсена, будто бы „въ Даніи, Ботніи (!?) и другихъ странахъ у Балтійскаго моря“ ни одинъ образованный человѣкъ не ложится спать, не прочтя предварительно страницы изъ „La Faustin“ или „Chérie“.

Такимъ рисуется типъ самопоклоняющагося литератора въ лицѣ автора „дневника“, Гонкура. Впечатлѣніе, которое производитъ послѣдній томъ „дневника“, въ сущности очень грустное; человѣкъ, всецѣло поглощенный не столько своимъ творчествомъ, сколько погоней за признаніемъ современниковъ, неминуемо осужденъ на постоянныя разочарованія, страданія самолюбія и т. д. Гонкуры не имѣютъ основанія жаловаться,—ихъ талантъ получилъ широкое признаніе со стороны критики и публики; но это ихъ не удовлетворяло. Нервные, какъ истеричныя барышни, взвинчивающіе свою впечатлительность до болѣзненности, чуткіе къ каждому слову неодобренія, они жаждутъ всемірнаго поклоненія, считаютъ свою литературную миссію центральнымъ фактомъ духовной жизни Франціи и безконечно терзаются, видя, что интересы общества не направлены всецѣло въ сторону ихъ романовъ и драмъ. Страдающее самолюбіе настраиваетъ ихъ враждебно противъ окружающей жизни, превращаетъ нарисованные ими портреты современниковъ въ карикатуры, ихъ самоанализы—въ обвинительныя рѣчи противъ общества.

„Дневникъ“ Гонкура отражаетъ очень полно всю эту печальную сторону литературнаго подвижничества, и этотъ психологическій интересъ затемняетъ значеніе отдѣльныхъ эстетическихъ разсужденій, попадающихся кое-гдѣ въ книгѣ. Гонкуръ воздвигъ памятникъ современному парижскому „homme des lettres“ со всѣми его слабостями, смѣшными и печальными сторонами, на ряду съ его беззавѣтнымъ культомъ искусства, и какъ бы опасаясь показаться единственнымъ представителемъ этого типа, онъ обрисовывалъ въ послѣднемъ томѣ другого подобнаго себѣ жреца литературнаго эгоизма—своего собрата и близкаго друга, Альфонса Додэ.—З. В.

НЕКРОЛОГЪ.

Евгеній Исаковичъ Утинъ.

† 9-го августа 1894.

Неожиданная, преждевременная смерть Е. И. Утина глубоко поразила всѣхъ его знавшихъ—но особенно чувствительна она для „Вѣстника Европы", постояннымъ, ближайшимъ сотрудникомъ котораго онъ былъ почти тридцать лѣтъ и съ редакціею котораго его соединяла тѣсная дружеская связь.

Е. И. Утинъ родился въ Петербургѣ, 3 ноября 1843 г.; на его развитіе имѣлъ большое вліяніе старшій братъ его, профессоръ здѣшняго университета, Борисъ Исаковичъ († 1872), близкій другъ Кавелина, человѣкъ разносторонне образованный, идеалистъ, соединявшій сердечную доброту съ величайшимъ нравственнымъ ригоризмомъ, одинъ изъ лучшихъ представителей слишкомъ скоро миновавшей эпохи. Студенческія волненія 1861 г. и вслѣдъ за тѣмъ выходъ Б. И. Утина, вмѣстѣ съ Кавелинымъ и другими товарищами, изъ числа профессоровъ с.-петербургскаго университета, отразились и на Е. И.: онъ былъ однимъ изъ массы студентовъ, заключенныхъ тогда въ крѣпость за участіе въ юношескихъ безпорядкахъ. Это не помѣшало ему, однако, окончить послѣ курсъ по юридическому факультету, послѣ чего онъ нѣсколько лѣтъ провелъ за границей, наблюдая политическую жизнь Франціи, Германіи, Италіи и полагая основаніе той обширной начитанности, на которой, какъ на прочномъ фундаментѣ, построены всѣ его литературные труды и адвокатскія рѣчи. Когда въ 1866 г. началъ выходить „Вѣстникъ Европы", Е. И. помѣстилъ въ немъ рядъ статей о французскомъ театрѣ и нѣсколько лѣтъ велъ иностранное обозрѣніе, горячо принимая сторону Франціи въ ея борьбѣ съ Германіей, особенно послѣ паденія второй имперіи. Его влекло на театръ событій, чтобы лично изучить положеніе дорогихъ ему побѣжденныхъ. Какъ только прекратились военныя дѣйствія, онъ поспѣшилъ во Францію, былъ въ Бордо, когда тамъ засѣдало національное собраніе, и описалъ свои впечатлѣнія въ живыхъ, интересныхъ письмахъ, также появившихся на страницахъ „Вѣстника Европы". Такую же поѣздку, съ аналогичною цѣлью, онъ предпринялъ, шесть лѣтъ спустя, въ Румынію и Болгарію, во время восточ-

ной войны 1877 года. „Письма о Болгаріи", въ которыхъ изложено не только видѣнное и слышанное, но и передуманное и перечувствованное имъ во время этой поѣздки, не потеряли своего значенія и до сихъ поръ [1]); въ нихъ можно найти ключъ ко многимъ позднѣйшимъ событіямъ за Дунаемъ и за Балканами.

Съ 1870 г. Е. И., недолго числившійся кандидатомъ на судебныя должности, сталъ заниматься адвокатурой, сначала въ качествѣ помощника присяжнаго повѣреннаго, потомъ (съ 1873 г.)—въ качествѣ присяжнаго повѣреннаго. Уже въ 1871 г. онъ обращаетъ на себя вниманіе въ такъ-называемомъ нечаевскомъ процессѣ [2]), хотя ему приходилось говорить рядомъ со всѣми лучшими адвокатами того времени. Скоро онъ занимаетъ мѣсто въ ихъ рядахъ и къ славѣ защитника по дѣламъ уголовнымъ присоединяетъ репутацію хорошаго знатока гражданскихъ дѣлъ. Онъ выступаетъ въ крупныхъ процессахъ не только въ Петербургѣ, но и въ провинціи, часто принимая на себя защиту исключительно съ цѣлью помочь несправедливо преслѣдуемому и обвиняемому. Въ самые первые годы его адвокатской дѣятельности мы видимъ его то въ Харьковѣ, то въ Великихъ-Лукахъ, то въ Вильнѣ, то въ Екатеринбургѣ—и до конца жизни онъ остается однимъ изъ тѣхъ немногихъ адвокатовъ, извѣстность которыхъ не пріурочена къ мѣсту ихъ постояннаго жительства. Однимъ изъ послѣднихъ уголовныхъ дѣлъ, въ которыхъ участвовалъ Е. И., былъ въ высшей степени интересный процессъ черниговскихъ раскольниковъ, обвинявшихся въ сокрытіи имущества (онъ разсматривался въ Кіевѣ и окончился оправданіемъ подсудимыхъ); однимъ изъ послѣднихъ гражданскихъ дѣлъ—еще неоконченный процессъ смоленскаго губернскаго земства (въ Смоленскѣ и Москвѣ), отъ исхода котораго зависитъ возможность значительнаго расширенія земской дѣятельности (интересы земства защищалъ вмѣстѣ съ Е. И. Утинымъ В. Д. Спасовичъ). Даже враги Е. И.—а у него ихъ было немало, особенно въ печати—никогда не пытались набросить тѣнь на его адвокатскую добросовѣстность, въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова; никто не упрекалъ его въ неразборчивомъ выборѣ дѣлъ или средствъ защиты. Онъ бралъ на себя только тѣ дѣла, въ правотѣ которыхъ былъ вполнѣ увѣренъ. Строгій къ самому себѣ, онъ былъ строгъ и къ другимъ; въ совѣтѣ присяжныхъ повѣренныхъ, членомъ котораго онъ одно время состоялъ, въ адвокатскихъ общихъ собраніяхъ, въ кото-

[1]) Напечатанныя сначала въ „Вѣстникѣ Европы", „Письма о Болгаріи" вышли затѣмъ въ свѣтъ отдѣльною книгою (1879). Двукратная попытка издать такимъ же образомъ письма о Франціи разбилась о непреодолимыя препятствія.

[2]) Изъ позднѣйшихъ политическихъ процессовъ немного найдется такихъ, въ которыхъ Е. И. Утинъ не игралъ бы болѣе или менѣе видной роли.

рыхъ онъ принималъ самое горячее и дѣятельное участіе, онъ всегда возставалъ противъ снисходительности къ нарушеніямъ адвокатскаго долга, справедливо находя, что она несовмѣстна съ призваніемъ и достоинствомъ присяжной адвокатуры. Интересы сословія были для него какъ нельзя болѣе дороги—и его товарищи это понимали, постоянно призывая его къ участію въ разработкѣ общихъ корпоративныхъ вопросовъ. Въ борьбѣ, возгоравшейся иногда по этому поводу, Е. И. находилъ хоть нѣкоторое примѣненіе для тѣхъ силъ, которыя онъ чувствовалъ въ себѣ, и которыя, при другихъ условіяхъ, обезпечили бы за нимъ выдающееся мѣсто въ публичной жизни.

Адвокатская дѣятельность, безпрестанно отвлекающая отъ кабинетнаго труда, утомительная, разстроивающая нервы, нелегко совмѣстима съ литературными занятіями; но Е. И. слишкомъ ихъ любилъ, чтобы оставить ихъ совершенно. По временамъ онъ писалъ довольно много и успѣлъ окончить—помимо упомянутыхъ нами путевыхъ писемъ—нѣсколько крупныхъ работъ, изъ области исторіи, политики и критики. Отдѣльной книгой напечатана только одна ихъ серія: „Вильгельмъ I и Бисмаркъ“ [1]) (1892); между тѣмъ этого заслуживали бы многія другія—напр. статьи о Бёрне, о рѣчахъ Тьера, о Гамбеттѣ, о „Журналѣ“ Гонкуровъ, рядъ этюдовъ о русскихъ писателяхъ (Салтыковѣ, Островскомъ, Гл. Успенскомъ, Рѣшетниковѣ и др.). Съ особенною силой талантъ Е. И. выражался въ небольшихъ публицистическихъ статьяхъ (подписанныхъ, большею частью, французскими буквами E. O.), посвященныхъ текущимъ вопросамъ дня—напр. заключенію Н. А. Неклюдова (въ качествѣ оберъ-прокурора угол. касс. д-та сената), по дѣлу Мельницкихъ, или книгѣ проф. Сергѣевскаго о наказаніяхъ по русскимъ законамъ XVII-го вѣка. Мечтая о новыхъ обширныхъ трудахъ, Е. И. около десяти лѣтъ собиралъ матеріалы для изслѣдованія о французскихъ салонахъ XVIII-го вѣка; въ послѣднее время онъ готовилъ статью о Меттернихѣ. Весьма можетъ быть, что въ его бумагахъ найдутся цѣльные отрывки, совершенно подготовленные для печати. Къ главнымъ его журнальнымъ работамъ, если онѣ будутъ изданы въ видѣ сборника, слѣдовало бы присоединить лучшія его адвокатскія рѣчи [2]).

---

[1]) Одна изъ статей, вошедшихъ въ составъ этой книги (о Бисмаркѣ), появилась первоначально въ „Энциклопедическомъ Словарѣ“ Брокгауза и Ефрона (т. III), другія—въ „Вѣстникѣ Европы“.

[2]) Вотъ списокъ трудовъ Е. И. Утина въ „Вѣстникѣ Европы“:

1866 г.: 1) Корреспонденція изъ южной Италіи; 2) Корреспонденція изъ Венеціи.

1867 „ : 1) Современная Франція; 2) Всемірная выставка въ Парижѣ.

1868 „ : 1) Ожье и реализмъ современной драмы; 2) Начало театральнаго сезона въ Петербургѣ; 3) Новая комедія Островскаго: „На всякаго

Какъ писатель и какъ ораторъ, Е. И. Утинъ отличался прежде всего тщательнымъ изученіемъ каждаго избраннаго имъ предмета. Къ статьѣ, какъ и къ рѣчи, онъ приступалъ не иначе, какъ во всеоружіи, не пренебрегая ни одною изъ сторонъ своей задачи, заранѣе предусматривая возраженія, готовясь къ отпору на каждомъ пунктѣ занятой позиціи. Какъ бы хорошо онъ ни зналъ дѣло, ему всегда казалось, что нужно знать его еще лучше; работать надъ нимъ онъ переставалъ только тогда, когда наступалъ моментъ разсмотрѣнія его въ судѣ—и начиналъ работу вновь, если слушаніе дѣла откладывалось до другого дня, или оно переходило въ другую инстанцію. Въ статьи, какъ и въ рѣчи, онъ вносилъ всю пылкость своей натуры и всю стойкость своихъ убѣжденій. Онъ увлекался самъ и именно потому умѣлъ увлекать читателей и слушателей. Въ молодые годы его горячность легко могла бить черезъ край, но скоро онъ научился владѣть собою, даже отдаваясь порывамъ страстнаго чувства. Чуткій къ красотѣ формы, онъ заботился объ изяществѣ рѣчи, письменной и устной, и часто достигалъ того, не впадая въ изысканность и вычурность. Онъ остался вѣренъ идеаламъ своей молодости и до конца былъ человѣкомъ „шестидесятыхъ годовъ“, приверженцемъ движенія и свободы; онъ могъ сказать о себѣ, какъ А. М. Жемчужниковъ, что „зла и мрака торжество“ волнуетъ его „ненавистью страстной“... Укажемъ, въ заключеніе, на одну черту характера Е. И.: необыкновенную искренность. Онъ никогда не затруднялся сказать правду въ

мудреца довольно простоты“ (подпись: Т. В.); 4) Драматическое искусство во Франціи.

1869 „: 1) Художественная выставка 1869 г.; 2) Современныя условія русской сцены; 3) Современные мудрецы; 4) Литературные споры новаго времени; 5) Задача новѣйшей литературы.

1870 „: 1) Политическая литература въ Германіи: Людвигъ Бёрне; 2) Франція и Пруссія; 3) Французская сатира до Рабле.

1871 „: Франція и французы послѣ войны.

1872 „: Англія въ книгѣ Тэна.

1873 „: Практическая философія XIX вѣка.

1877 „: Болгарія во время войны.

1878 „: 1) Болгарія во время войны (окончаніе); 2) Въ Болгаріи.

1879 „: Въ Болгаріи (окончаніе).

1880 „: Конституціонализмъ и А. Тьеръ.

1881 „: 1) Сатира Щедрина; 2) Конституціонализмъ и А. Тьеръ (окончаніе); 3) Литература и народъ; 4) Очерки современной литературы.

1882 „: Глѣбъ Успенскій.

1888 „: 1) Императоръ Вильгельмъ I; 2) Ходъ назадъ.

1889 „: Восемнадцать лѣтъ спустя.

1890 „: Интимная литература—Journal des Goncourt.

1892 „: Гамбетта.

глаза, какъ бы она ни была непріятна для слушателя. Онъ не любилъ уклончивыхъ сужденій, неопредѣленныхъ отвѣтовъ на прямые вопросы; если ему не нравилась статья или рѣчь даже пріятеля, онъ высказывалъ ему это совершенно открыто, подробно мотивируя свое мнѣніе. Тѣмъ болѣе дорогъ, зато, бывалъ его сочувственный отзывъ. Если его что-нибудь возмущало, онъ громко выражалъ свое негодованіе, не заботясь о послѣдствіяхъ такой откровенности. Этимъ объясняются, быть можетъ, нѣкоторыя тяжелыя минуты его жизни...

К. Арсеньевъ.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 сентября 1894 г.

Наступилъ ли „добрый часъ“ общей, дружной работы всѣхъ видовъ начальной школы?—Еще объ офицерскихъ дуэляхъ.—Процессъ Баготурова.—Городское самоуправленіе въ пермской губерніи.—Литературный фондъ.—Журналы и газеты.

Въ предъидущей книжкѣ нашего журнала напечатана замѣтка г. Горбова, вызванная извѣстнымъ постановленіемъ московскаго губернскаго земскаго собранія по вопросу о церковно-приходскихъ и земскихъ школахъ. Она заканчивается слѣдующими словами: „между духовнымъ вѣдомствомъ и земствомъ *не должно быть* болѣе антагонизма въ дѣлѣ народнаго образованія: они оба заботятся о школѣ одного и того же типа—церковной по духу и органически связанной съ приходской общиной... Недоразумѣнія, продолжающіяся десять лѣтъ, окончены... Мѣсто недоразумѣній и пререканій *должна* заступить единодушная работа въ опредѣленно-отмежеванныхъ границахъ. Въ добрый часъ!“ Выводы г. Горбова о томъ, что *должно* быть или не быть—безусловно справедливы; но не столь вѣрно онъ установилъ то, что̀ есть. „Добрый часъ“, имъ привѣтствуемый, къ сожалѣнію, еще не наступилъ; недоразумѣнія и пререканія еще не окончены. Въ печати, свѣтской и духовной—да й не только въ печати,—все еще продолжаются безплодныя и безсильныя попытки доказать абсолютное превосходство церковно-приходской школы. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ продолжается рядъ передовыхъ статей, написанныхъ на эту тему; ее же разработываетъ г. Миропольскій въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ“; она же звучитъ въ рѣчахъ, произносимыхъ на кіевскомъ церковно-школьномъ съѣздѣ. *Никто*, кромѣ духовенства, не въ состояніи выполнить задачъ начальной школы; *никакіе* учителя-міряне не могутъ внушить дѣтямъ любви къ церкви и богослуженію такъ, какъ можетъ это сдѣлать *каждый* приходскій священникъ; передача начальныхъ школъ въ руки духовнаго вѣдомства—*дѣло неизбѣжное и необходимое*. Со всѣми этими тезисами мы встрѣчались уже неоднократно; давно знакомы намъ и доводы, приводимые въ ихъ пользу — доводы, между которыми немаловажную роль играетъ указаніе на „антиправительственную и антирелигіозную пропаганду“ путемъ народной школы. Если случаевъ обнаруженія такой пропаганды было немного (вѣрнѣе было бы сказать, что ихъ не было почти вовсе), то и для этого у „Московскихъ Вѣдомостей“ имѣется на-лицо готовое объясненіе: „при нашихъ пространствахъ

и рѣдкости населенія, учитель въ теченіе многихъ мѣсяцевъ остается лицомъ къ лицу лишь съ своими учениками и контроль надъ направленіемъ преподаванія весьма затруднителенъ". Предоставляя самимъ читателямъ оцѣнить нравственное достоинство этой инсинуаціи, мы ограничимся только однимъ замѣчаніемъ: въ самыхъ захолустныхъ школахъ ученики земскихъ школъ „остаются лицомъ къ лицу" не съ однимъ только учителемъ, но и съ *законоучителемъ* —за исключеніемъ развѣ тѣхъ случаевъ, когда послѣдній вовсе не исполняетъ своихъ обязанностей... Въ систематическомъ игнорированіи той связи, которая существуетъ или, по крайней мѣрѣ, должна и можетъ существовать между духовенствомъ и свѣтской школой, заключается, вообще говоря, самая слабая сторона аргументаціи нашихъ противниковъ — настолько слабая, что она бросается въ глаза даже людямъ ихъ лагеря, отличающимся отъ нихъ только большею добросовѣстностью.

Чрезвычайно характеристична, съ этой точки зрѣнія, замѣтка г. Новикова (сотрудника „Русскаго Обозрѣнія" и „Московскихъ Вѣдомостей"), напечатанная въ № 165 „Московскихъ Вѣдомостей". Усомнившись въ точности данныхъ, приведенныхъ, въ той же газетѣ, съ цѣлью превознесенія церковныхъ и униженія земскихъ школъ тульской губерніи, г. Новиковъ восклицаетъ: „если все описанное корреспондентомъ вѣрно, то что же дѣлаютъ инспектора и директоръ народныхъ училищъ? Что дѣлаютъ предводители дворянства и училищные совѣты? *Что дѣлаютъ законоучители и духовныя власти, которымъ порученъ надзоръ за преподаваніемъ закона Божія и въ земскихъ школахъ*? Это, по истинѣ, argument sans réplique—и московская газета, отстаивая противъ г. Новикова достовѣрность своей тульской корреспонденціи, тщательно воздерживается отъ отвѣта на его вопросы. Еслибы *каждый* приходскій священникъ умѣлъ внушить обучаемымъ имъ дѣтямъ любовь къ церкви и богослуженію, то что могло бы помѣшать примѣненію этого умѣнья въ земскихъ школахъ? Неужели необходимымъ его условіемъ служитъ *начальствованіе* надъ школой?... Въ 1893 г.,—разсказываетъ г. Новиковъ,—„преосвященный тамбовскій Іеронимъ, объѣзжая епархію, посѣтилъ, въ числѣ другихъ, уѣзды тамбовскій и козловскій. Хотя время было лѣтнее, но всѣ учителя къ этому времени были вызваны въ свои школы и со своими учениками являлись встрѣчать владыку. На пути своего маршрута всѣ школы, и церковныя, и земскія, посѣтилъ онъ и, смѣю увѣрить, не съ меньшимъ благоговѣніемъ встрѣчали его въ земскихъ школахъ, чѣмъ въ церковныхъ; не съ меньшею любовію относился и владыка къ дѣтямъ земскихъ школъ. Одинъ священникъ, указывая на двѣ группы дѣтей, сказалъ: „это

земскіе ученики, а это наши"; „что́ это значитъ?" отвѣтилъ владыка: „нѣтъ земскихъ и нашихъ дѣтей, всѣ наши". И всѣхъ одинаково благословлялъ онъ, всѣмъ раздавалъ крестики и книжки. Что пѣніе поставлено хорошо, доказывается массовымъ поступленіемъ земскихъ учителей въ дьяконы, многихъ—по приглашенію самого владыки,—думаю, съ цѣлію поднятія церковнаго пѣнія въ церковно-приходскихъ школахъ. Что обученіе чтенію и пѣнію въ церкви стоитъ въ земскихъ школахъ не ниже чѣмъ въ церковно-приходскихъ, видно изъ того, что ученикамъ первыхъ, такъ же какъ и послѣднихъ, разрѣшено, съ благословенія священника, облачаться въ стихари при богослуженіи". Московская газета, печатая замѣтку г. Новикова, старается дать сообщаемымъ имъ фактамъ характеръ исключенія, обусловливаемаго, притомъ, вліяніемъ школъ самого г. Новикова. Оказывается, однако, что совершенно аналогичныя явленія существуютъ въ томъ самомъ крапивенскомъ уѣздѣ тульской губерніи, къ которому относилась удивившая г. Новикова корреспонденція „Московскихъ Вѣдомостей". Обобщая нѣсколько отдѣльныхъ фактовъ, корреспондентъ московской газеты увѣрялъ, что въ селахъ, гдѣ имѣется земская школа, преосвященнаго тульскаго, при объѣздѣ епархіи, „не окружали дѣти, не слышалось дѣтскаго пѣнія, дѣти не подходили къ преосвященному за благословеніемъ, книжками и крестиками, и на вопросъ владыки: гдѣ же дѣти, ему угрюмо отвѣчали: здѣсь земская школа". Этимъ увѣреніямъ штатный смотритель крапивенскаго уѣзднаго училища, г. Звѣревъ—соединяющій, повидимому, съ должностью смотрителя званіе члена уѣзднаго училищнаго совѣта (со стороны министерства народнаго просвѣщенія) —противопоставилъ свѣденія, почерпнутыя изъ „Тульскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", т.-е. прошедшія черезъ руки самого тульскаго преосвященнаго. Въ селѣ Потемкинѣ преосвященный остался доволенъ и пѣніемъ, и чтеніемъ учениковъ земской школы, а также ихъ отвѣтами на его вопросы, и раздавалъ дѣтямъ крестики и книжки; то же самое повторилось и въ селѣ Жердевѣ. Безъименный корреспондентъ московской газеты не успокоился, однако, и послѣ отвѣта г. Звѣрева. Ссылку г. Звѣрева на встрѣчу преосвященнаго въ Потемкинѣ и Жердевѣ онъ опровергаетъ тѣмъ, что „означенные случаи не исключаютъ многихъ другихъ противоположнаго характера",—не замѣчая, что буквально то же самое можно сказать и о случаяхъ, имъ приводимыхъ. Со стороны защитниковъ земской школы рѣчь идетъ совсѣмъ не о томъ, чтобы отстоять превосходство ея, во всемъ, вездѣ и всегда, передъ школой церковно-приходской. Имъ нужно только доказать, что нѣтъ такихъ педагогическихъ результатовъ, которыхъ земская школа наравнѣ съ церковной не могла

бы достигнуть и не достигала бы на самомъ дѣлѣ; все зависитъ отъ условій, болѣе или менѣе благопріятныхъ. Неблагодарная и некрасивая задача очерненія одного вида школъ, ad majorem gloriam другого, ставится только врагами земской школы; только они стремятся къ единообразію и единоначалію въ области начальной школы, къ прекращенію той общей „единодушной работы", дальше которой не идутъ желанія искреннихъ друзей начальной школы. „Дѣла такъ много",—говорятъ они,—„что его хватитъ на всѣхъ; чѣмъ больше дорогъ, ведущихъ къ цѣли, тѣмъ лучше, и спорить о сравнительномъ ихъ достоинствѣ по меньшей мѣрѣ излишне". „Дѣла дѣйствительно много",—возражаютъ другіе,—„но все же оно должно дѣлаться только извѣстными руками и на извѣстный ладъ, хотя бы (это не высказывается, но подразумѣвается) значительная часть его и оставалась вслѣдствіе того несдѣланною". Нужно надѣяться, что побѣда останется, въ концѣ концовъ, не на сторонѣ узкаго и ограниченнаго взгляда на народное образованіе—но въ настоящее время онъ, очевидно, еще не побѣжденъ и не считаетъ себя побѣжденнымъ.

Замѣтка г. Новикова — только одно изъ многихъ выраженій все болѣе и болѣе распространяющагося мнѣнія, съ особеннымъ авторитетомъ высказаннаго московскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ: „церковно-приходская школа, по своей основной задачѣ, по духу и направленію преподаванія, не отличается существеннымъ образомъ отъ земской школы". Къ тому же заключенію, напримѣръ, приводятъ интересныя статьи кн. Долгорукова о школахъ богородицкаго уѣзда (тульской губерніи), появившіяся недавно въ „Книжкахъ Недѣли". Отсюда вытекаетъ сама собою необходимость удовлетворенія земскихъ ходатайствъ, направленныхъ къ уравненію земства съ духовенствомъ во всемъ, относящемся къ школамъ грамоты. Это—единственное средство къ устраненію пререканій, возникающихъ на почвѣ извѣстнаго циркуляра оберъ-прокурора св. синода. Что земство, въ большинствѣ случаевъ, отказываетъ въ пособіи школамъ, находящимся внѣ его вѣденія и контроля—это вполнѣ естественно и неизбѣжно: степень интереса къ дѣлу всегда и вездѣ соотвѣтствуетъ степени активнаго участія въ немъ. Готовность и способность свою помочь развитію школъ грамоты земство успѣло доказать съ достаточною ясностью въ короткій промежутокъ времени между циркуляромъ бар. Николаи и правилами 13-го іюня 1884 г. Стоитъ только возстановить тогдашнія условія—и прерванное движеніе возобновится съ новою силой.

Разбирая, два мѣсяца тому назадъ, новыя правила объ офицерскихъ дуэляхъ, мы замѣтили, между прочимъ, что предварительное

обсужденіе вопроса о дуэли цѣлесообразнѣе было бы предоставить не офицерскому суду, а посредникамъ, добровольно избраннымъ сторонами. Въ фактахъ, подтверждающихъ это мнѣніе, уже теперь нѣтъ недостатка. Еще въ іюнѣ мѣсяцѣ, вслѣдъ за изданіемъ правилъ, въ Бобруйскѣ состоялась дуэль между двумя офицерами 158-го пѣхотнаго Кутаисскаго полка, П. и У., при слѣдующихъ обстоятельствахъ: во время полкового праздника, однимъ изъ офицеровъ былъ предложенъ тостъ за какого-то военнаго. П. въ тостѣ участія почему-то не принялъ; тогда У., подойдя къ П. и поднеся кулакъ къ лицу, сказалъ: „я тебѣ покажу". П. счелъ себя оскорбленнымъ и запротестовалъ. Затѣмъ, на слѣдующій день они, въ присутствіи товарищей, примирились, но нѣкоторые изъ офицеровъ не были согласны съ этимъ и рѣшили довести дѣло до офицерскаго суда; послѣднимъ была рѣшена дуэль между ними на пистолетахъ. Сначала дистанція была назначена на 15 шаговъ, но при первомъ выстрѣлѣ противники сдѣлали промахъ; тогда дистанція была уменьшена и вторымъ выстрѣломъ П. тяжко раненъ [1]). Не ясно ли, что товарищи, при которыхъ первоначально состоялось примиреніе, были именно посредниками, достаточно авторитетными въ глазахъ обѣихъ сторонъ, и что поединокъ сдѣлался неизбѣжнымъ лишь вслѣдствіе обращенія дѣла къ формальному разбору въ офицерскомъ судѣ? Можно ли признать нормальнымъ такой порядокъ, въ силу котораго два товарища, совершенно примиренные и забывшіе случайную ссору, ставятся лицомъ къ лицу съ оружіемъ въ рукахъ, угрожая другъ другу увѣчьемъ или смертью? А уменьшеніе, послѣ перваго выстрѣла, дистанціи, безъ того уже весьма небольшой — уменьшеніе, имѣвшее послѣдствіемъ тяжкое пораненіе одного изъ дуэлистовъ? Неужели данный случай принадлежалъ къ числу тѣхъ, гдѣ непремѣнно должна быть пролита кровь и пасть очистительная жертва? Не ясно ли, что дуэлисты хотѣли во что бы то ни стало избѣгнуть подозрѣнія въ „стараніи соблюсти лишь одну форму" — подозрѣнія, которое они могли навлечь на себя въ силу извѣстнаго приказа военнаго министра?..

Не менѣе характеристиченъ другой случай, сообщенный „Крымскимъ Вѣстникомъ". Въ Керчи, на танцовальномъ вечерѣ въ коммерческомъ клубѣ, поручикъ П., будучи дирижеромъ танцевъ, занялъ для кадрили два стула и вышелъ изъ залы. Когда онъ вернулся въ залъ, мѣста эти оказались занятыми одною изъ танцую-

[1]) Дальше въ „Минскомъ Листкѣ" сообщались еще другія данныя о дуэли, которыхъ мы не приводимъ, потому что онѣ вызвали возраженіе со стороны командира полка (не отрицающаго ни самаго факта дуэли, ни поводовъ къ ней, ни постановленія офицерскаго суда).

щихъ паръ, въ которой кавалеромъ былъ молодой человѣкъ изъ невоенныхъ, г. М. Поручикъ П. попросилъ г. М. уступить мѣсто и приказать принести себѣ другіе стулья; г. М. заявилъ, что это мѣсто было имъ занято гораздо раньше, и потому онъ его никому не уступитъ. Не желая доводить дѣло до ссоры, г. П. вышелъ изъ залы, чтобы заявить объ этомъ случаѣ дирекціи клуба. Всѣ танцовавшіе въ этотъ вечеръ офицеры вышли изъ залы и послали заявить старшинамъ собранія, что если г. М. не будетъ немедленно удаленъ изъ числа членовъ собранія, то они принуждены будутъ прекратить свои посѣщенія. Дирекція клуба, не имѣя достаточныхъ основаній исключить своего сочлена, просьбы гг. офицеровъ не уважила, и они немедленно оставили клубъ. Между тѣмъ этотъ случай довели до свѣденія командира полка, который передалъ дѣло на разсмотрѣніе суда общества офицеровъ, причемъ заявлено было, что г. М. назвалъ поручика П. „невѣжей“. На судѣ г. П. заявилъ, что никакихъ оскорбленій отъ г. М. онъ не слыхалъ, и точно также г. М. отрицалъ это обстоятельство. Другіе офицеры утверждали, что фактъ оскорбленія былъ на-лицо, и потому судъ постановилъ предложить г. П. вызвать г. М. на дуэль или подать въ отставку. Г. П. заявилъ, что вызывать на дуэль человѣка, совершенно не умѣющаго обращаться съ оружіемъ, который, кромѣ того, былъ его давнишнимъ пріятелемъ, онъ не считаетъ для себя возможнымъ, тѣмъ болѣе, что отъ г. М. никакого оскорбленія онъ не слыхалъ, а если оно и было, то г. М. отказывается отъ своихъ словъ. Поэтому г. П. предпочелъ выйти въ отставку, чѣмъ идти на убійство. Такимъ образомъ,—прибавляетъ „Крымскій Вѣстникъ“,—„дуэль не состоялась, но молодому офицеру, у котораго впереди цѣлая жизнь и карьера, пришлось оставить службу изъ-за простого недоразумѣнія, которое въ другое время осталось бы безъ всякихъ послѣдствій“. И здѣсь исходъ дѣла былъ бы, по всей вѣроятности, совершенно другой, еслибы вмѣсто формальнаго разбирательства въ офицерскомъ судѣ оно было подвергнуто дружескому обсужденію посредниковъ. Послѣднимъ трудно было бы не признать, что оскорбленіе, отрицаемое обѣими сторонами, является какъ бы вовсе несуществующимъ; что оскорбительное слово, если оно и было сказано, но не было услышано, пріобрѣтаетъ характеръ обиды заочной, или, другими словами, вовсе теряетъ характеръ обиды, въ особенности когда отъ него отрекается обидчикъ; что недоразумѣніе, происшедшее между П. и М., не имѣетъ, такимъ образомъ, серьезнаго значенія, тѣмъ болѣе, что они были давнишними пріятелями. Образъ дѣйствій г. П., особенно въ виду неумѣнья г. М. обращаться съ оружіемъ, заслуживаетъ не порицанія, а похвалы; рѣшившись отказаться отъ дуэли, хотя бы это стоило ему

служебной карьеры, онъ выказалъ настоящее гражданское мужество... Предупредить повтореніе подобныхъ случаевъ можетъ только пересмотръ или, по меньшей мѣрѣ, другое толкованіе и примѣненіе правилъ объ офицерскихъ дуэляхъ.

Военно-окружной судъ въ Баку произнесъ недавно смертный приговоръ надъ мѣщаниномъ Баготуровымъ, убившимъ гимназистку Гласбергъ. Преступленіе Баготурова, по своимъ мотивамъ и всей своей обстановкѣ, безспорно принадлежитъ къ числу самыхъ тяжкихъ, и все-таки нельзя не признать, вмѣстѣ съ подсудимымъ, что преступныя дѣянія, столь же или еще болѣе возмутительныя, далеко не всегда изъемлются изъ вѣденія общаго суда и дѣйствія общихъ уголовныхъ законовъ. Въ самомъ дѣлѣ, отступленіе отъ обычной подсудности и обычнаго процессуальнаго порядка неизбѣжно заключаетъ въ себѣ элементъ случайности, несовмѣстимый съ требованіями справедливости и права. Преступленія одинаковаго свойства, совершенныя при одинаковыхъ условіяхъ, подлежатъ преслѣдованію и наказанію на основаніи одинаковыхъ началъ, заранѣе установленныхъ и заранѣе всѣмъ извѣстныхъ. Примѣненіе, помимо войны, законовъ военнаго времени возможно, съ этой точки зрѣнія, только тогда, когда данная мѣстность объявлена на военномъ положеніи, и только къ преступленіямъ, послѣ того совершеннымъ, если, притомъ, они принадлежатъ къ извѣстнымъ категоріямъ преступныхъ дѣяній, перечисленнымъ въ законѣ или въ объявленіи о военномъ положеніи. По законодательству всѣхъ культурныхъ странъ, уголовный законъ, усугубляющій наказаніе, не имѣетъ обратнаго дѣйствія. Почему? Именно потому, что никто не долженъ нести за свои дѣйствія отвѣтственность въ бо̀льшей мѣрѣ, чѣмъ та, которую онъ могъ и обязанъ былъ предвидѣть. Если уголовная кара, назначенная закономъ за то или другое преступленіе, признается недостаточно тяжкой, ничто не мѣшаетъ измѣнить законъ, сдѣлать его болѣе строгимъ, но лишь *на будущее время* и для *всѣхъ* преступныхъ дѣяній извѣстнаго рода. Можно находить, что единственное наказаніе, соотвѣтствующее заранѣе обдуманному убійству (при отсутствіи уменьшающихъ вину обстоятельствъ)—смертная казнь [1]), но тогда нужно открыто послѣдовать примѣру большинства западно-европейскихъ государствъ и прямо включить смертную казнь въ число наказаній, назначаемыхъ за убійство. Только этимъ путемъ возможно избѣжать непослѣдовательности, на которую указалъ Баготуровъ и вмѣстѣ съ тѣмъ устранить неудобства, всегда сопряженныя съ про-

---

[1]) Спѣшимъ оговориться, что мы не раздѣляемъ этого мнѣнія.

тиворѣчіемъ между словомъ и дѣломъ. Цѣлый рядъ писателей, еще съ половины прошлаго вѣка, прославляли мудрость и гуманность русскаго законодательства, исключившаго смертную казнь изъ числа наказаній за обыкновенныя (не-политическія) преступленія. До шестидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія эти похвалы находили печальное опроверженіе въ фактическомъ существованіи у насъ смертной казни, и притомъ квалифицированной—медленной, мучительной: наказаніе кнутомъ, плетьми, шпицрутенами оканчивалось сплошь и рядомъ смертью наказуемыхъ или наказанныхъ [1]). Теперь такимъ же опроверженіемъ является смертная казнь, опредѣляемая приговорами военно-окружныхъ судовъ не только за преступленія массовыя (напр. холерные безпорядки), но и за преступленія единичныя, почему-либо обратившія на себя особое вниманіе и вызвавшія особенную строгость. Есть еще одно соображеніе, говорящее противъ подобныхъ изъятій изъ общаго порядка. Мы замѣтили уже, что смертная казнь назначается обыкновенно за предумышленное убійство, при отсутствіи обстоятельствъ, уменьшающихъ вину. Общій судъ, разсматривающій дѣло объ убійствѣ, ничѣмъ не стѣсненъ въ признаніи или непризнаніи такихъ обстоятельствъ; дѣло поступаетъ на его разсмотрѣніе вовсе не для того, чтобы былъ постановленъ именно смертный приговоръ. Въ иномъ положеніи оказывается военно-окружной судъ, вся raison d'être котораго въ дѣлахъ вообще ему неподвѣдомственныхъ—заключается именно въ томъ, что онъ, и только онъ, въ правѣ присудить обвиняемаго къ смертной казни. Постановить другой приговоръ, болѣе мягкій, значитъ какъ бы признать, что не было основанія къ передачѣ дѣла на разсмотрѣніе военнаго суда [2]). Само собою разумѣется, что военный судъ можетъ и не постановить смертнаго приговора (мы даже помнимъ одинъ подобный случай: въ 1868 г. рядовой Сомряковъ, преданный суду за сопротивленіе караулу, по законамъ военнаго времени, былъ приговоренъ с.-петербургскимъ военно-окружнымъ судомъ не къ смертной казни, а къ безсрочной каторжной работѣ)—но это явленіе совершенно исключительное и крайне рѣдкое. Конечно, смертные приговоры, постановленные военно-окружнымъ судомъ, приводятся въ исполненіе далеко не всегда—но все сказанное нами сохраняетъ силу и при исполненіи лишь нѣкоторыхъ изъ нихъ. Казненъ ли Баготуровъ—этого мы не знаемъ.

---

[1]) См., напримѣръ, свѣденія о наказаніи, въ 1881 г., участниковъ бунта въ новгородскихъ военныхъ поселеніяхъ, приведенныя въ Литерат. Обозрѣніи № 6 нашего журнала.

[2]) Бо́льшей свободой дѣйствій военный судъ пользуется тогда, когда въ дѣлѣ нѣсколько обвиняемыхъ, такъ что цѣль передачи его въ военный судъ можетъ быть достигнута присужденіемъ къ смерти одного или нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Новыми положеніями городовымъ и земскимъ право протеста противъ постановленій городскихъ думъ и земскихъ собраній, „явно нарушающихъ“ интересы мѣстнаго населенія, предоставлено губернаторомъ какъ *дополненіе* къ праву протеста противъ постановленій, несогласныхъ съ закономъ. На практикѣ, однако, первое изъ этихъ правъ можетъ заслонить собою второе. Обсуждая постановленія думъ и земскихъ собраній съ точки зрѣнія внутренней ихъ цѣлесообразности, губернаторъ можетъ упустить изъ виду вопросъ о ихъ формальной правильности и оставить безъ протеста постановленіе незаконное, если оно кажется ему полезнымъ. Насъ наводитъ на эту мысль слѣдующее обстоятельство. 30-го января нынѣшняго года въ кунгурской (пермской губерніи) городской думѣ обсуждался вопросъ о назначеніи квартирныхъ денегъ уѣздному исправнику, въ размѣрѣ 400 рублей. Одинъ изъ гласныхъ заявилъ, что, согласно Высочайше утвержденному мнѣнію государственнаго совѣта 4-го мая 1889 г., расходъ на наемъ квартиры уѣзднаго исправника отнесенъ на средства земства (и поставленъ, прибавимъ отъ себя, въ строго опредѣленныя рамки, въ зависимости отъ разряда, къ которому отнесенъ городъ по отбыванію квартирной повинности), а губернаторамъ вмѣнено въ обязанность протестовать противъ постановленій городскихъ и земскихъ учрежденій по предмету назначенія чиновникамъ полиціи неустановленныхъ закономъ выдачъ. Возраженіемъ на это заявленіе послужило только указаніе на то, что расходъ на квартиру исправника и въ прежніе годы былъ вносимъ въ городскую смѣту (какъ будто закононарушеніе, нѣсколько разъ повторенное, перестаетъ быть закононарушеніемъ!). При закрытой баллотировкѣ за ассигновку было подано десять голосовъ, противъ ассигновки—также десять. На слѣдующій день баллотировка была повторена, на томъ основаніи, что при равенствѣ голосовъ вопросъ остается, будто бы, нерѣшеннымъ—и на этотъ разъ ассигновка была принята большинствомъ 14 голосовъ противъ 8. Въ незаконности этого постановленія не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, какъ въ виду явнаго нарушенія правилъ 4-го мая 1889 г., такъ и потому, что раздѣленіе голосовъ поровну всегда признается равносильнымъ непринятію баллотируемаго предложенія. Между тѣмъ, по дошедшимъ до насъ свѣденіямъ, постановленіе 31-го января осталось неопротестованнымъ и приведено въ исполненіе. Нужно надѣяться, что дѣйствіе закона будетъ возстановлено въ будущемъ году, или самою думой, или учрежденіями, которыя имѣютъ право—а слѣдовательно и *обязанность* контроля надъ законностью ея постановленій. Законъ 4-го мая 1889 г. состоялся именно въ виду тѣхъ неудобствъ, съ которыми были сопряжены *соглашенія* о добавочномъ вознагражденіи

инвеституру на званіе писателя,—фондъ процвѣтаетъ и дѣлаетъ что хочетъ, застраховавъ себя отъ главной непріятности—быть строго проконтролированнымъ". Въ чемъ же, однако, выражается это „застрахованіе"? Комитетъ литературнаго фонда представляетъ ежегодно подробный отчетъ о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ министру народнаго просвѣщенія, поименно называя всѣхъ, кто обращался къ нему за помощью и точно указывая форму и размѣры оказанныхъ пособій. Отъ „контроля", руководимаго праздным или недоброжелательнымъ любопытствомъ, постановленія комитета дѣйствительно ограждены, потому что помощь фонда, на основаніи его устава, должна оставаться въ тайнѣ; но контролю серьезному и честному они подвергаются со стороны ревизіонной коммиссіи, составъ которой зависитъ всецѣло отъ членовъ общества. Пора было бы затвердить разъ навсегда хотя бы эти элементарныя черты устройства фонда и не вносить въ нападенія на него слишкомъ явныхъ отступленій отъ истины.

Возраженіе „Новостей" (№ 201) на замѣчанія, сдѣланныя нами въ іюльской хроникѣ по поводу нѣкоторыхъ нежелательныхъ привычекъ нашей ежедневной прессы, озаглавлено такъ: „Журналъ о газетѣ". Этому заглавію соотвѣтствуетъ, отчасти, и содержаніе статьи. Читая ее, можно подумать, что мы ополчились противъ газетъ вообще—и ополчились противъ нихъ, притомъ, подъ вліяніемъ личнаго чувства, какъ противъ соперниковъ журнала. „Между ежемѣсячнымъ журналомъ, подвигающимся по своему житейскому пути съ медленностью черепахи и осужденнымъ, въ силу этого, вмѣсто свѣжаго матеріала довольствоваться консервами, и ежедневной газетой существовалъ,—по мнѣнію „Новостей",—и будетъ существовать антагонизмъ... Пикквикъ (такъ называетъ насъ фельетонистъ „Новостей", вѣроятно забывая, что основатель пикквикскаго клуба—одно изъ самыхъ симпатичныхъ лицъ, созданныхъ Диккенсомъ) ратуетъ за журналъ противъ газеты, противъ надвигающагося великана, завтрашняго побѣдителя, который грозитъ опрокинуть эти толстые, жирные журналы, начиненные компилятивной трухой и неудобоваримымъ беллетристическимъ балластомъ... Газета давно уже объявила войну журналу, и, какъ видите, Пикквикъ принялъ вызовъ... Будущее, во всякомъ случаѣ, принадлежитъ газетѣ". Все это не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія къ нашей замѣткѣ. Газета, въ нашихъ глазахъ, не врагъ журнала, а естественный его союзникъ; назначеніе ихъ одно и то же; различны, до извѣстной степени, только ихъ пути и пріемы. Если насъ возмущаютъ нѣкоторыя черты современныхъ газетныхъ нравовъ (свойственныхъ, впрочемъ, далеко не всѣмъ

газетамъ), то именно потому, что онѣ несовмѣстны „съ служеніемъ инымъ, болѣе высокимъ цѣлямъ", которыя мы признаемъ, такимъ образомъ, вполнѣ доступными для газеты. „Антагонизмъ" между газетами и журналами—чистѣйшее недоразумѣніе. Значеніе газетъ можетъ рости—и дѣйствительно ростетъ—нисколько не уменьшая вліяніе журнала. Нигдѣ, конечно, газета не пользуется такою силой, какъ въ Англіи — и однако рядомъ съ старыми журналами (Edinburgh Review, Quarterly Review, Westminster Review) здѣсь появляются новые (Contemporary Review, Fortnightly Review и др.), находятъ обширный кругъ читателей, занимаютъ видное мѣсто въ умственной жизни страны. Во Франціи журналы никогда не играли особенно выдающейся роли, но „Revue des deux Mondes", вступивъ во второе пятидесятилѣтіе своего существованія, по прежнему пользуется успѣхомъ и ни въ чемъ не уступаетъ газетамъ и журналамъ аналогичнаго характера и направленія. Германія—также обѣтованное царство для журналовъ, но современное положеніе ихъ и тамъ не хуже, чѣмъ около половины нашего столѣтія, хотя нѣмецкія газеты съ тѣхъ поръ много выиграли въ числѣ, объемѣ и распространенности. И русскіе журналы стоятъ теперь такъ же твердо, какъ въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, когда у насъ только-что начинала крѣпнуть и развиваться ежедневная пресса. Безспорно, ни одинъ изъ нихъ не имѣетъ того авторитета, который принадлежалъ въ сороковыхъ годахъ „Отечественнымъ Записками", въ концѣ пятидесятыхъ годовъ — „Русскому Вѣстнику", въ началѣ шестидесятыхъ — „Современнику"; но развѣ этотъ авторитетъ перешелъ къ газетамъ? Развѣ вліяніе особаго рода, которымъ пользовались „Московскія Вѣдомости" въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ и въ послѣдніе годы жизни Каткова, обусловливалось тѣмъ, что онѣ издаются ежедневно? Съ одной стороны — крупные критическіе или публицистическіе таланты, съ другой—внѣшняя обстановка, мѣшавшая обсужденію вопросовъ дня и сосредоточивавшая весь интересъ на такъ называемыхъ идейныхъ спорахъ: вотъ въ чемъ слѣдуетъ искать разгадку громадной нравственной силы, которою обладалъ, въ свое время, то одинъ, то другой изъ нашихъ „толстыхъ" журналовъ... Заглядывать далеко въ будущее мы не беремся; для насъ очевидно только одно —что никуда не годится пріемъ угадыванья, употребляемый нашимъ противникомъ. Конечно, журналамъ, „начиненнымъ компилятивной трухой и неудобоваримымъ беллетристическимъ балластомъ", не выдержать борьбы не только съ „великаномъ", „надвигающимся" на нихъ въ образѣ газеты, но и просто съ равнодушіемъ публики. Зачѣмъ же, однако, такой тенденціозный подборъ терминовъ сравненія? Съ газетой-великаномъ слѣдовало бы сопоставить и журналъ болѣе

или менѣе исполинскій, т.-е. богатый содержаніемъ, исполненный жизненной силы: предусмотрѣть исходъ борьбы, завязавшейся при такихъ условіяхъ, было бы совсѣмъ не легко... Повторяемъ, впрочемъ, еще разъ: въ борьбѣ между журналомъ и газетой нѣтъ рѣшительно никакой надобности; мѣста довольно для нихъ обоихъ. Пускай они видоизмѣняются и совершенствуются, сообразно съ новыми условіями и запросами жизни—но пускай они находятъ въ самихъ себѣ силу противостоять мелкимъ и фальшивымъ требованіямъ моды. „Человѣкъ, —говорятъ „Новости“,— все сильнѣе и сильнѣе стремится жить днемъ, захватить какъ можно больше впечатлѣній и поскорѣе смѣнить ихъ на новыя“. Это стремленіе слишкомъ ненормально, слишкомъ болѣзненно, чтобы быть продолжительнымъ и общимъ; но чѣмъ дальше въ глубь и въ ширь распространяется его власть, тѣмъ менѣе извинительно потворство, тѣмъ болѣе необходимо противодѣйствіе ему. Предположить, что окончательная побѣда суждена газетамъ американско-французскаго типа, гоняющимся за шумомъ, трескомъ и дешевыми эффектами, бьющимъ на нервы читателей, разсчитывающимъ на самыя низкія формы любопытства—значило бы отчаяться въ будущности нашего общества.

Рядомъ съ попыткой приписать намъ защитительную рѣчь pro domo sua,—т.-е. за журналъ противъ газеты,—„Новости“ пускаютъ въ ходъ еще другой полемическій пріемъ: онѣ стараются доказать, что мы отвергаемъ всѣ отличительныя черты газеты, все то, чѣмъ она существуетъ и безъ чего существовать не можетъ. „Газета, — говоритъ нашъ противникъ,—живетъ только тѣмъ, что̀ приноситъ день. Ея вѣкъ кратокъ, но онъ долженъ отразить все, чѣмъ богата въ данную минуту государственная и общественная жизнь. Велика ли газета, мала ли, издается для интеллигентовъ или для черни—это все равно: *газета обязана быть зеркаломъ*“—а мы не хотимъ понять, что именно въ этомъ заключается назначеніе газеты. На самомъ дѣлѣ мы лучшаго мнѣнія о газетѣ, чѣмъ ея слишкомъ усердный поклонникъ. Если понимать подъ именемъ газеты отдѣльный газетный листъ, то вѣкъ его дѣйствительно кратокъ (хотя кое-что изъ его содержанія и можетъ уцѣлѣть на многіе годы: припомнимъ, сколько цѣнныхъ книгъ составилось изъ газетныхъ статей); но *совокупность этихъ листовъ* образуетъ цѣлое, которое, въ лучшихъ случаяхъ, живетъ далеко не однимъ тѣмъ, „что̀ приноситъ день“. Сила газеты, достойной своего призванія, коренится именно въ *постоянныхъ* ея элементахъ, не зависящихъ отъ злобы дня. Конечно, рядомъ съ ними она должна давать мѣсто случайному, преходящему, интересному только въ данную минуту—но мы этого никогда и не отрицали; намъ совершенно чужда мысль „поразить репортерство въ

самомъ широкомъ его развитіи, отъ хроникера до интервью включительно". Мы желали бы только одного: чтобы репортерскіе отчеты не наполнялись массой никому не нужныхъ мелочей и чтобы они не противорѣчили основнымъ требованіямъ такта, порядочности и деликатности. Вся суть нашей замѣтки заключалась въ протестѣ противъ преждевременныхъ, легкомысленныхъ сообщеній, основанныхъ на сплетняхъ и пересудахъ и изливающихъ потоки грязи на прошедшее людей, которыхъ уже безъ того постигла печальная участь. Противъ всего сказаннаго нами о *содержаніи* обвиненій, взведенныхъ репортерами или хроникерами „Новостей" на убитаго Довнара, на убитую Чарнецкую, нашъ оппонентъ не возражаетъ ни слова; полемика его направлена почти исключительно противъ того, чего мы вовсе не говорили. Единственный аргументъ, прямо относящійся къ поставленному нами вопросу, формулированъ такъ: „и никогда не поймутъ Пикквики, что если фактъ, по существу своему, интересенъ, то въ немъ интересна и малѣйшая деталь". Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что вмѣстѣ съ нами этого не понимаютъ и никогда не поймутъ весьма многіе. Какъ! потому что убита, съ цѣлью ограбленія, пожилая дѣвица, интереснымъ становится вопросъ, согласилась ли бы она, на старости лѣтъ, выйти замужъ, вопросъ о количествѣ кусковъ сахара, которые она употребляла, вопросъ о какомъ-то старомъ платьѣ, въ присвоеніи котораго она кого-то обвиняла? Быть можетъ, это интересно для салопницъ, готовыхъ обсуждать въ теченіе цѣлыхъ часовъ заурядиѣйшую уличную сцену, спорить о томъ, въ лѣвую или въ правую щеку былъ нанесенъ ударъ во время драки—но вѣдь не изъ салопницъ состоитъ публика большой газеты... Даже самый *фактъ* убійства, въ родѣ упомянутаго нами выше, *интересенъ* далеко не всегда; онъ *важенъ*, какъ важно все, касающееся жизни человѣка, но это еще не значитъ, что онъ заслуживаетъ *общаго* вниманія и обсужденія coram populo. Допустимъ, наконецъ, что въ томъ или другомъ случаѣ интересны малѣйшія детали происшествія: для *оглашенія* ихъ этого мало—нужно еще, чтобы оно не нарушало положенія лицъ, безъ того уже тяжело пострадавшихъ, не вскрывало передъ праздными любопытствомъ сокровенныя стороны частной жизни. Что же сказать, затѣмъ, о сообщеніяхъ не только нескромныхъ, но и невѣрныхъ? „Если при тѣхъ условіяхъ, въ какія поставлено у насъ (да отчасти и за границей) газетное дѣло,—говоритъ фельетонистъ „Новостей",—среди массы вполнѣ достовѣрныхъ сообщеній проскользнетъ нѣсколько ошибочныхъ, на это рѣшительно нечего роптать". Да, если ошибка касается факта, подлежащаго оглашенію, и со стороны репортера сдѣлано было, притомъ, все возможное для установленія истины; но

не о такихъ ошибкахъ у насъ шла рѣчь. Мы возставали противъ ошибокъ, относящихся къ интимнымъ *причинамъ* событія и зависящихъ отъ поспѣшнаго воспроизведенія пустой болтовни, непровѣренныхъ слуховъ и догадокъ.

Еще одно, послѣднее замѣчаніе. Что требованія, предъявляемыя нами къ газетѣ, нимало не идутъ въ разрѣзъ съ ея призваніемъ — это всего лучше доказывается тѣмъ, что и у насъ въ Россіи, и въ западной Европѣ существуютъ и пользуются широкимъ успѣхомъ ежедневныя изданія, вполнѣ соотвѣтствующія этимъ требованіямъ. Уже этимъ однимъ опровергается странное увѣреніе „Новостей", что мы протестуемъ противъ „широкой огласки" фактовъ или даже... противъ гласности!..

P. S. Наша хроника была уже закончена, когда мы прочли въ газетахъ слѣдующее сообщеніе: „министерство народнаго просвѣщенія признало необходимымъ сдѣлать дополненіе къ дѣйствующему уставу общества вспомоществованія нуждающимся ученымъ и литераторамъ въ томъ смыслѣ, чтобы въ числѣ членовъ комитета непремѣнно участвовали въ засѣданіяхъ комитета не менѣе двухъ редакторовъ періодическихъ изданій и представитель отъ министерства, на котораго возлагается провѣрка дѣйствій комитета по выясненію правъ и нуждъ просителя, обращающагося къ литературному фонду". Сообщеніе это кажется намъ мало вѣроятнымъ. Въ продолженіе тридцатипятилѣтняго существованія литературнаго фонда былъ, если мы не ошибаемся, только одинъ случай (въ семидесятыхъ годахъ), когда министерство народнаго просвѣщенія, ежегодно разсматривающее отчеты фонда, нашло основаніе сомнѣваться въ правильности его дѣйствій и даже отказало ему въ обычной субсидіи. Сомнѣнія эти были, однако, устранены и къ назначенію субсидіи не встрѣтилось, затѣмъ, никакихъ препятствій. Трудно допустить, поэтому, чтобы внезапно открылась необходимость въ усугубленіи контроля, о недостаточности котораго говорилъ до сихъ поръ только одинъ „Гражданинъ". Опасаться усиленной провѣрки своихъ дѣйствій литературному фонду нѣтъ, впрочемъ, никакой причины, лишь бы только провѣрка не обращалась въ вмѣшательство и мнѣніе одного должностного лица не цѣнилось выше мнѣнія двѣнадцати представителей общества.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Бесѣды съ дѣтьми о пригодѣ, Арабеллы Бёрклей. Переводъ съ 25-го англійскаго изданія (1892), подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго. Съ 3 таблицами и 60 рисунками въ текстѣ. Спб., 1894. Изд. М. М. Леперле и К°. Стр. 370. Ц. 80 к.

Бесѣды миссъ Арабеллы Бёрклей сообщаютъ юнымъ читателямъ полезныя естественно-научныя свѣденія въ живой разговорной и отчасти поэтической формѣ, чѣмъ и объясняется значительный успѣхъ книги, выдержавшей въ Англіи 25 изданій въ сравнительно короткій срокъ. Сочиненіе миссъ Бёрклей, какъ справедливо замѣчаетъ г. Коропчевскій въ предисловіи, „проникнуто любовью къ природѣ и любовью къ дѣтямъ, искреннимъ желаніемъ раскрыть предъ ними то, что природа можетъ дать уму и чувству даже юнаго наблюдателя, научить его смотрѣть внимательнымъ, открытымъ взглядомъ на окружающій міръ". Авторъ имѣетъ въ виду „дѣтей того возраста, которыя еще хорошо помнятъ сказки, слышанныя или читанныя въ раннемъ дѣтствѣ"; соединеніе этого сказочнаго, волшебнаго элемента съ реальнымъ научнымъ объясненіемъ явленій придаетъ „бесѣдамъ" особый интересъ. Русскій переводъ книги очень хорошъ и внѣшность изданія весьма изящна.

Исторія германскаго народа, Карла Лампрехта. Томъ первый. Части I и II. Переводъ съ нѣмец. П. Николаева. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва 1894. Стр. 608. Ц. 4 р.

Сочиненіе профессора марбургскаго университета Карла Лампрехта, не оконченное еще въ оригиналѣ, имѣетъ цѣлью изобразить послѣдовательное историческое развитіе Германіи съ точки зрѣнія современныхъ національныхъ понятій и идеаловъ нѣмецкаго общества. Авторъ, какъ сказано въ предисловіи, „дѣлаетъ попытку уяснить взаимодѣйствіе матеріальныхъ и духовныхъ силъ развитія въ исторіи Германіи и взложить общее развитіе основъ и ступеней прогресса какъ въ матеріальной, такъ и въ духовной культурѣ страны". Въ дѣйствительности, „духовныя силы" и „ступени прогресса" понимаются авторомъ преимущественно въ смыслѣ общественно-политическомъ, а элементамъ культурнаго и соціально-экономическаго быта удѣляется сравнительно мало мѣста, при чемъ имъ дается отчасти односторонне субъективное освѣщеніе. Вступительный очеркъ развитія нѣмецкаго національнаго сознанія проникнутъ обычнымъ нѣмецко-патріотическимъ духомъ; автору представляется, что вся предшествующая исторія германскаго народа логически вела къ подвигамъ Бисмарка и Мольтке, и что торжество прусскаго милитаризма осуществило завѣтныя мечты нѣмецкой націи. Въ прошломъ столѣтіи, когда за нѣмцами упрочилась репутація націи поэтовъ и мыслителей, „казалось, что нація какъ будто удовлетворялась сознаніемъ духовнаго единства, и что идеалъ единаго государства дремлетъ въ глубокихъ тайникахъ нѣмецкой души". Но такъ только казалось. „Поэзія, созданная войнами за освобожденіе и молодой Германіей, съ одной стороны,—говоритъ далѣе проф. Лампрехтъ,—наука историческая и наука права и народнаго хозяйства съ другой стороны,—все указывало на опредѣленную будущность для націи. Мы, современники, были свидѣтелями того, какъ сначала будущность эта рисовалась еще въ видѣ мечты, затѣмъ какъ она осуществилась въ дѣйствительности и какъ, наконецъ, застилавшая ее завѣса была разорвана громомъ сраженій трехъ великихъ войнъ. Всѣ эти историческія условія и событія сдѣлали насъ гражданами, членами одного національнаго цѣлаго, какимъ не была наша родина въ теченіе всѣхъ предшествовавшихъ вѣковъ". Подъ вліяніемъ этого основного политическаго взгляда предположенная авторомъ исторія германскаго народа превращается отчасти въ исторію нѣмецкой государственности, а чисто-субъективный тонъ многихъ разсужденій и выводовъ подрываетъ довѣріе къ ихъ научной основательности и точности. Достоинствомъ книги слѣдуетъ считать легкость и живость изложенія. Въ вышедшемъ первомъ томѣ разсмотрѣны событія до половины XII вѣка. Первыя двѣ книги посвящены обзору до-историческихъ и до-христіанскихъ временъ, объясненію семейно-родовыхъ, общественныхъ и духовныхъ отношеній первобытной эпохи; содержаніе остальныхъ пяти книгъ обнимаетъ общественно-политическую исторію страны отъ завоеваній Цезаря до окончанія второго крестоваго похода.

Рѣчь государственнаго обвинителя въ уголовномъ судѣ. Этюдъ А. Левенстима. Спб., 1894. Стр. VI + 118. Ц. 1 р.

Этюдъ г. Левенстима представляетъ собою краткое и въ то же время довольно полное и обстоятельное руководство для составленія прокурорскихъ рѣчей. Для лицъ, начинающихъ свою службу по судебному вѣдомству или въ рядахъ прокурорскаго надзора, эта книжка будетъ несомнѣнно полезна, такъ какъ въ ней читатели найдутъ практическія указанія относительно способовъ приготовленія обдуманныхъ и хорошихъ рѣчей, „отрывки и примѣры изъ произведеній образцовыхъ ораторовъ, отвѣты на цѣлый рядъ вопросовъ, которые ежедневно возбуждаются во время судебныхъ преній, и ссылки на литературу предмета". Въ своемъ изложеніи авторъ пользуется не только русскою, но и обширною иностранною литературою по вопросамъ судебнаго краснорѣчія.

Законы о судопроизводствѣ и взысканіяхъ гражданскихъ, съ разъясненіями по рѣшеніямъ гражданскаго кассаціоннаго и судебныхъ департаментовъ и общихъ собраній прав. сената, и пр. Составилъ М. П. Шафиръ, состоящій за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ сенатѣ. Спб., 1893. Стр. 600. Ц. 3 р. 60 к.

Старое судопроизводство примѣняется еще въ значительной части имперіи—въ Сибири, Туркестанскомъ краѣ, степныхъ областяхъ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ не только азіатской, но и европейской Россіи. Сверхъ того, нѣкоторые отдѣлы законовъ, относящихся къ дореформенному судебному строю, имѣютъ до сихъ поръ повсемѣстную обязательную силу. Поэтому сборникъ, составленный г. Шафиромъ, долженъ удовлетворить несомнѣнно существующую потребность нѣкоторой части нашей публики. Въ концѣ книги, въ видѣ приложеній, напечатаны извлеченія изъ Положеній объ управленіи Туркестанскаго края и степныхъ областей, а также дополнительныя узаконенія, вышедшія въ 1893 г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1894 г.

(Двадцать-девятый годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

— выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
	Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала . . . . 15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 85 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкою . . . . . 16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес. . . 17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границей, въ госуд. почтов. союза . . . . 10 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкою и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе. — Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ: въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года: въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается—**безъ повышенія годовой цѣны подписки.**

☛ **Съ перваго сентября открывается подписка на послѣднюю четверть 1894 г.** ☚

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ *Петербургѣ*: 1) въ Конторѣ журнала, на Вас. Остр., 5 лин., 28; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера на Неж. просп., 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій просп., 20, у Полицейскаго моста (бывшій Мелье и К°), и Н. Фену и К°, Невскій просп., 42;—въ *Москвѣ*: 1) въ книжн. магаз. Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасникова, на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи.—*Иногородные* и *иностранные*—обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Спб., Галерная, 20; и 2) лично —въ Контору журнала.—Тамъ же принимаются

ИЗВѢЩЕНІЯ и ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Примѣчаніе.—1) *Почтовый адресса* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фамилію съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства и съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожительствѣ подписчика.—2) *Перемѣна адресса* должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адресса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородные, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., и иногородные, переходя въ городскіе—40 коп.—3) *Жалобы* на неисправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, *не позже* какъ по полученіи слѣдующей книги журнала.—4) *Билеты* на полученіе журнала высылаются Конторою только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ М. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:
Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., 5 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., Академ. пер., 7.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

COLLEGE
OCT 31 1894

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ

ЛИТЕРАТУРЫ.

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 10.

ОКТЯБРЬ, 1894.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 5 лин., 28.

КНИГА 10-я. — ОКТЯБРЬ, 1894.

Стр.

I.—Н. В. ГОГОЛЬ.—Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г.—XVIII-XXXIV.—Окончаніе.—**В. И. Шенрока** 453

II.—ЛЕНОЧКА.—Повѣсть.—VIII-XIV.—Окончаніе.—**Д. Ц—ва** 480

III.—ИППОЛИТЪ ТЭНЪ въ исторіи якобинцевъ.—II.—**В. И. Герье** 525

IV.—РАБОЧІЙ ВОПРОСЪ въ С.-Американскихъ Штатахъ.—**П. Тверского** 570

V.—ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗІИ.—Повѣсть.—XXI-XXV.—**В. Дмитріевой** 618

VI.—РОССІЯ И АНГЛІЯ въ началѣ XIX-го столѣтія.—I-III.—**О. О. Мартенса** . . 658

VII.—ЗАЛОЖНИКЪ.—The Bondman, by Hall Caine.—Книга II: XIV-XXI.—**А. Б-г-** 699

VIII.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—I. Предъ грозой.—II. Опять...—III. Гдѣ?—**Вл. Мартова** 738

IX.—ПОСЛѢДНІЯ ВРЕМЕНА МОСКОВСКОЙ РОССІИ.—I. Отношеніе къ народному образованію.—Кіевская школа.—Симеонъ Полоцкій.—**А. Н. Пыпина** 741

X.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—Изъ Хозе-Марія де-Эредіа.—Средневѣковые сонеты.—Изъ венгерскихъ поэтовъ.—**О. Михайловой** 790

XI.—ХРОНИКА.—Подать и недоимка.—**П. Голубева** 795

XII.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Задачи „отдѣла мѣстныхъ учрежденій“ въ комиссіи для пересмотра законоположеній по судебной части.—Различные способы объединенія „мѣстной юстиціи“ и разграниченія вѣдомствъ министерства юстиціи и министерства внутреннихъ дѣлъ.—Совмѣстима ли должность земскаго начальника съ другими званіями?—Земскіе начальники и крестьянское хозяйство.—Новый законъ о надзорѣ за страховыми учрежденіями . 818

XIII.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Японскія побѣды и ихъ значеніе.—Самобытныя черты китайскаго могущества.—Военные опыты для европейцевъ.—Политическія особенности Японіи.—Западно-европейскія дѣла: смерть графа Парижскаго, рѣчи князя Бисмарка 839

XIV.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Переселенцы и новыя мѣста, путевыя замѣтки, Дѣдлова.—Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Фонвизина, Н. С. Тихонравова.—С. М. Соловьевъ, его жизнь и ученo-литературная дѣятельность, П. В. Безобразова.—Т.—Славянское Обозрѣніе. Сборникъ статей по славяновѣдѣнію, и. р. И. С. Пальмова.—Что дѣлаютъ дворяне и что имъ слѣдовало бы дѣлать?—**Л. С.**—Новыя книги и брошюры 851

XV.—ОБЪЯСНЕНІЕ.—Былъ ли В. И. Григоровичъ въ Римѣ въ 1840-41 гг.?—**П.** . 879

XVI.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. Weiss, Le drame historique et le drame passionnel.—II. Annie Besant. An autobiography.—**З. В.** . . 875

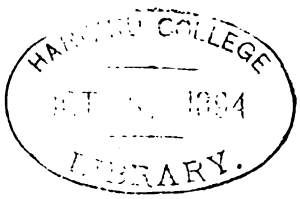
XVII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—„Балтійствующая зловредная сила“, „послѣдній оплотъ польщизны“ и финляндскія праздничныя рѣчи, какъ объектъ усердія не по разуму.—Модная эпидемія.—Процессъ Горемыкина.—Еще два слова о судебной гласности.—Погребеніе Е. И. Утина и надгробное слово В. Д. Спасовича 889

XVIII.—ИЗВѢЩЕНІЯ.—Отъ Спб. Комитета Грамотности 905

XIX.—БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Рыболовство и законодательство, П. И. Вешнякова.—Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 8-е изд. Н. С. Таганцева.—Изъ эпохи великихъ реформъ, 5-е изд. Гр. Джаншіева.—Упковскій, А. М., и освобожденіе крестьянъ, его же.—Настольный энциклопедическій словарь, вып. 79 и 80.

XX.—ОБЪЯВЛЕНІЯ—I-XVI стр.

Подписка на второе полугодіе и послѣднюю четверть года въ 1894 г.
(См. подробное объявленіе о подпискѣ на послѣдней страницѣ обертки.)



Н. В. ГОГОЛЬ

Пять лѣтъ жизни за границей

1836 — 1841 гг.

Окончаніе.

XXVIII *).

Внѣшнія обстоятельства жизни Гоголя не могли не оказать сильнаго вліянія именно въ этотъ періодъ заграничныхъ странствованій нашего писателя и на его внутренній, интимный міръ, отразившійся до извѣстной степени также на великомъ его созданіи. Въ началѣ этого періода Гоголь еще не замкнулся исключительно въ тѣсный кругъ немногихъ избранныхъ людей, не предавался однимъ религіознымъ интересамъ и прежняя чуткость къ впечатлѣніямъ окружающей дѣйствительности еще не покинула его. Любимымъ повѣреннымъ завѣтныхъ творческихъ думъ Гоголя послѣ смерти Пушкина сдѣлался Жуковскій. Изъ писемъ къ нему и изъ „Авторской Исповѣди“ мы узнаемъ, что планъ „Мертвыхъ Душъ“ создавался постепенно, и самая цѣль произведенія не сразу выяснилась для автора. Въ „Авторской Исповѣди“ Гоголь разсказываетъ о передачѣ ему Пушкинымъ сюжета „Мертвыхъ Душъ“. „Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дѣло серьезно. Онъ уже давно склонялъ меня приняться за большое сочиненіе и, наконецъ, одинъ разъ, послѣ того, какъ

*) См. выше: сентябрь, стр. 55.

я ему прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но которое, однакожъ, поразило его больше всего прежде мной читаннаго, онъ мнѣ сказалъ: „Какъ, съ этой способностью угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставлять его вдругъ всего, какъ живого, съ этой способностью не приняться за большое сочиненіе! Это просто грѣхъ“. Подъ небольшой сценой разумѣлся, конечно, одинъ изъ драматическихъ „кусочковъ“, которыми вообще сильно интересовался Пушкинъ. „Мертвыя Души“ вскорѣ послѣ этого были начаты, и отрывки изъ нихъ уже были знакомы Пушкину въ первоначальномъ наброскѣ еще въ 1835 г. Чтеніе первыхъ главъ, какъ извѣстно, навело Пушкина на тяжелое раздумье, и онъ, охотникъ до смѣха, по окончаніи чтенія произнесъ голосомъ тоски: „Боже, какъ грустна наша Россія!“

Этотъ первоначальный набросокъ былъ потомъ переработанъ Гоголемъ и значительно смягченъ въ отношеніи удручающаго колорита. Уже тогда началась въ Гоголѣ реакція противъ безпощаднаго анализа; онъ боялся производимаго его поэмой тягостнаго впечатлѣнія, и хотя старался всѣми силами оправдывать наиболѣе свойственный ему способъ художественнаго изображенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣлалъ уступки предполагаемому впечатлѣнію читателя. „Еслибы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего въ началѣ для меня самого,—говорилъ Гоголь однажды:—онъ бы точно содрогнулся“. Нельзя не пожалѣть объ утратѣ первоначальнаго наброска: это обстоятельство лишаетъ насъ возможности судить вѣрнѣе о томъ, въ какомъ именно направленіи измѣнилась разработка сюжета „Мертвыхъ Душъ“ на первыхъ же шагахъ творческаго труда автора.

Открыто заявленное самимъ Гоголемъ отсутствіе въ началѣ опредѣленнаго плана для новаго произведенія даетъ право предполагать уже въ этомъ періодѣ работы возможность крупныхъ перемѣнъ. Особенно любопытно признаніе Гоголя, что на первыхъ порахъ онъ не давалъ себѣ отчета, „что̀ такое именно долженъ быть самый герой“. Итакъ, даже типъ Чичикова сложился позднѣе и, вѣроятно, не былъ еще извѣстенъ Пушкину въ своемъ позднѣйшемъ начертаніи, которое потребовало многихъ дальнѣйшихъ наблюденій автора, или, вѣрнѣе,—если принять во вниманіе начавшееся вскорѣ продолжительное отсутствіе его изъ Россіи—внимательнаго обдумыванія и капитальной переработки давно накопившагося матеріала. Затѣмъ въ Вевé Гоголь съ большимъ успѣхомъ воскрешалъ въ своемъ воображеніи готовые, давно сложившіеся образы, такъ что ему казалось, что онъ находится въ Россіи: „передо мною все наше, наши помѣщики, наши чинов-

ники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словомъ, вся православная Русь",—или все то, прибавимъ отъ себя, что̀ составило потомъ содержаніе перваго тома „Мертвыхъ Душъ". Въ томъ же письмѣ онъ говорилъ уже, что обдумалъ весь планъ произведенія, хотя и просилъ сообщить, „не представится ли какихъ-нибудь казусовъ, могущихъ случиться при покупкѣ мертвыхъ душъ". Но это относилось уже къ обогащенію сюжета, такъ какъ Гоголь вообще всегда нуждался во внѣшней фабулѣ, въ которую могъ зато легко вложить самое богатое содержаніе изъ своего обширнаго запаса тонкихъ и мѣткихъ наблюденій. Эти „казусы" такъ же были необходимы Гоголю во время его работы надъ первой частью „Мертвыхъ Душъ" и болѣе ранними произведеніями, какъ впослѣдствіи для второй части ему понадобились самыя разнообразныя свѣденія, съ просьбою о доставленіи которыхъ онъ обращался уже не только къ друзьямъ и знакомымъ, но и ко всей грамотной Россіи. Отчасти уже во второмъ томѣ Гоголь бралъ впервые вымышленные имъ самимъ случаи и лица, и старался насильно подчинить этимъ призракамъ работу своего воображенія. Въ половинѣ 1838 г. Гоголь уже говорилъ: „огромно, велико мое твореніе, и не скоро конецъ его". Но и кромѣ того, по словамъ его, „еще одинъ Левіаѳанъ затѣвается". Этотъ неосуществившійся Левіаѳанъ, безъ сомнѣнія, является уже явнымъ предвѣстникомъ той ложной дороги, на которую вскорѣ вступилъ Гоголь. Задатки мистицизма въ полной силѣ сказались также въ непосредственно слѣдующихъ строкахъ: „священная дрожь пробираетъ меня заранѣе, какъ подумаю о немъ; слышу кое-что изъ него... божественныя вкушу минуты... но... теперь я погруженъ весь въ „Мертвыя Души". Такимъ образомъ, этотъ священный трепетъ не былъ ли нѣкоторымъ образомъ „началомъ конца"? Мысль о Левіаѳанѣ нигдѣ не повторяется больше, и вѣроятно проектъ о немъ былъ поглощенъ впослѣдствіи предположеніями о послѣднихъ томахъ „Мертвыхъ Душъ", но отголосокъ этой мысли ясно слышится въ извѣстныхъ словахъ VII главы, гдѣ Гоголь высказываетъ надежду, что настанетъ наконецъ, хотя, можетъ быть, и не скоро, то время, „когда инымъ ключемъ грозная вьюга вдохновенія подымется изъ облаченной въ священный ужасъ и блистаніе главы, и почуютъ, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей". Профессоръ Н. С. Тихонравовъ въ примѣчаніи къ этому мѣсту напоминаетъ извѣстные стихи Пушкина:

И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Это сопоставленіе, осторожно и безъ дальнѣйшихъ выводовъ приведенное покойнымъ ученымъ, наводитъ на мысль о возможности въ данномъ случаѣ реминисценціи со стороны Гоголя, весьма вѣроятной при его глубокомъ уваженіи къ поэтическому слову Пушкина и прекрасной, художественной простотѣ и выразительности заключающагося въ приведенныхъ стихахъ образа. Гоголь былъ настолько проникнутъ обаяніемъ поэзіи и еще болѣе личности Пушкина, съ такимъ благоговѣніемъ чтилъ его завѣты и память о немъ, что совпаденіе указанныхъ выраженій въ самомъ дѣлѣ едва ли могло быть случайнымъ, тѣмъ болѣе, что стихи Пушкина чрезвычайно подходили къ настроенію одного изъ искреннѣйшихъ его почитателей. Тѣмъ не менѣе „Левіаѳанъ“ погубилъ Гоголя, потому что въ умѣ послѣдняго уже носилась какая-то необъятная задача, и онъ началъ ставить своему таланту и человѣческому слову вообще такія грандіозныя цѣли, съ которыми не только не могъ совладѣть самъ, но которыя вообще едва ли могутъ быть осуществлены. Онъ, подъ обаяніемъ величественной мечты, хотѣлъ, какъ видно, превзойти самого себя, заговорить небывалымъ и неслыханнымъ языкомъ, создать нѣчто безпримѣрно-высокое и этимъ фантастически-великимъ изображеніемъ привести читателей въ какой-то необычайный смущенный трепетъ. Отсюда гибель его таланта. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ лирическихъ отступленіяхъ перваго тома Гоголь въ предѣлахъ возможнаго прекрасно достигъ своей цѣли, но едва ли можно себѣ представить обѣщанное „лирическое теченіе“ цѣлой поэмы, или, правильнѣе сказать, всего романа. Къ счастью, имѣя намѣреніе въ „Мертвыхъ Душахъ“ изобразить русскаго человѣка со всѣми его достоинствами и недостатками, Гоголь рѣшилъ первую часть, уже начатую въ духѣ его прежнихъ произведеній, посвятить изображенію ничтожныхъ людей, но это недоразумѣніе сказалось нѣсколько позднѣе: конечно, Гоголь уже заднимъ числомъ придумалъ впослѣдствіи объясненіе этой будто бы первоначальной цѣли.

„Вслѣдствіе уже давно принятаго плана „Мертвыхъ Душъ“,—писалъ Гоголь неизвѣстному лицу,—для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные“... „Эти ничтожные люди,—продолжалъ онъ,—однако, ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты“. Гоголю стало, конечно, лишь впослѣдствіи казаться, какъ это онъ выразилъ въ томъ же только-что цитированномъ письмѣ, что „по мѣрѣ того,

какъ ему стали открываться его недостатки, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось желаніе избавиться отъ нихъ", и что онъ былъ наведенъ „необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ на то, чтобы передавать ихъ героямъ своихъ произведеній". Изъ словъ этого письма выходитъ, какъ будто это душевное событіе совершилось еще въ Петербургѣ, до отъѣзда за границу, и подъ нимъ надо разумѣть (если это только дѣйствительно душевное событіе было, а не есть плодъ разстроеннаго воображенія), развѣ только неудачу „Ревизора", но и въ томъ случаѣ при сопоставленіи этого факта съ тѣмъ временемъ, когда могъ Пушкинъ слышать чтеніе первыхъ главъ поэмы, получается явная хронологическая несообразность. Кажется, никакихъ душевныхъ событій и высшихъ внушеній въ ту пору еще не было, и лишь зародышъ ихъ коренился во всегдашней наклонности Гоголя къ мистицизму, а въ первый разъ ясно обнаружился въ приведенныхъ строкахъ о Левіаѳанѣ. Сверхъ того, по словамъ С. Т. Аксакова, всегда правдиво передававшаго свои воспоминанія, Гоголь лично говорилъ ему, что началъ писать „Мертвыя Души" только какъ любопытный и забавный анекдотъ и лишь впослѣдствіи началъ думать о колоссальномъ созданіи, и это объясненіе дѣйствительно согласно съ фактами. Намъ кажется даже, что *къ словамъ Гоголя въ началѣ второй главы*,—что обо всемъ, что занимало мысли Чичикова, „читатель узнаетъ постепенно и въ свое время, если только будетъ имѣть терпѣніе прочесть предлагаемую повѣсть",—*едва ли не при одномъ изъ позднѣйшихъ исправленій были добавлены слова*: „очень длинную, имѣющую послѣ раздвинуться шире и просторнѣе, по мѣрѣ приближенія къ концу, вѣнчающему дѣло". Во всякомъ случаѣ, эти слова вмѣстѣ съ выше приведенными имѣютъ весьма близкое отношеніе къ позднѣйшему взгляду на первый томъ „Мертвыхъ Душъ", какъ только „на крыльцо ко дворцу, который въ немъ, Гоголѣ, строился".

XXIX.

За границей передъ умственнымъ взоромъ Гоголя съ особеннымъ наслажденіемъ рисовалась надолго оставленная, но горячо любимая родина. „Теперь передо мной чужбина, вокругъ меня чужбина,—писалъ онъ Погодину,—но въ сердцѣ моемъ Русь, одна только Русь". Даже въ Италіи, при всемъ страстномъ обожаніи страны, Гоголь не могъ освободиться отъ тоски по родинѣ, и въ то же время, когда онъ говорилъ, что нѣтъ лучшей участи,

какъ умереть въ Римѣ, и что „цѣлой верстой здѣсь человѣкъ ближе къ Богу“,—въ это же почти время онъ говорилъ любимѣйшему изъ своихъ друзей: „Что сказать тебѣ вообще объ Италіи? Мнѣ кажется, какъ будто бы я заѣхалъ въ старинныя малороссійскія помѣщикамъ. Такія дряхлыя двери у домовъ, со множествомъ безполезныхъ дыръ, марающія платья мѣломъ; старинные подсвѣчники и лампы въ родѣ церковныхъ, все на старинный манеръ“. Такимъ образомъ, въ самомъ Римѣ Гоголя плѣняло, между прочимъ, и замѣчаемое имъ сходство между Италіей и Малороссіей. По свидѣтельству Анненкова, во время его совмѣстной жизни съ Гоголемъ въ Италіи, мысль послѣдняго „о Россіи, вмѣстѣ съ мыслью о Римѣ, была живѣйшей частью его существованія. Съ страстной тоской вспоминалъ Гоголь на чужбинѣ и о лихой русской ѣздѣ на тройкахъ, и о любимомъ имъ хорѣ народныхъ пѣсенъ. Это отразилось и на второй части „Мертвыхъ Душъ“, гдѣ Гоголь изображаетъ, какъ Пѣтухъ, „встрепенувшись, пригаркивалъ, поддавая, гдѣ не хватало у хора силы, и самъ Чичиковъ почувствовалъ, что онъ русскій“. Въ первомъ томѣ Гоголь также съ любовью изображаетъ артистическое увлеченіе пѣвчихъ. Гоголю живо представилось, по поводу одного изъ его описаній, „какъ хрипитъ пѣвческій контробасъ, когда концертъ въ полномъ разливѣ, тенора поднимаются на цыпочки отъ сильнаго желанія вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову“ и проч. Гоголю всегда нравилось обаяніе широкой удали и мощнаго душевнаго движенія, когда, забываясь въ порывѣ внезапно охватившаго восторга, человѣкъ становится на время поэтомъ и отрѣшается отъ будничной прозы. Самъ онъ въ счастливыя минуты способенъ былъ даже въ началѣ сороковыхъ годовъ, а въ рѣдкихъ случаяхъ и позднѣе, отдаваться всею душой взрывамъ какой-то неудержимой радости, особенно при звукахъ какой-нибудь разгульной малороссійской пѣсни. Такъ, проходя однажды съ Анненковымъ въ Римѣ по глухому переулку, онъ до того воодушевился, что „наконецъ пустился просто въ плясъ и сталъ вывертывать зонтикомъ на воздухѣ такія штуки, что не далѣе двухъ минутъ ручка зонтика осталась у него въ рукахъ, а остальное полетѣло въ сторону“.

Гоголь любилъ испытывать и изображать такое состояніе, которое не поддается холодному прозаическому слову и можетъ быть угадано лишь по намекамъ, какъ тѣ рѣчи, которыхъ—

Значенье
Темно иль ничтожно,

но которымъ—

Безъ волненья
Внимать невозможно.

Такое состояніе было имъ предс.авлено въ первый разъ въ концѣ „Сорочинской ярмарки“. Оно же изображается не разъ въ „Тарасѣ Бульбѣ“ и въ „Мертвыхъ Душахъ“, но всего лучше изображено, въ V главѣ первой части, въ прекрасномъ лирическомъ отступленіи по поводу встрѣчи Чичикова съ губернаторской дочкой. Во второй части „Мертвыхъ Душъ“ мы находимъ такое же описаніе въ воспоминаніяхъ Тентетникова объ Уленькѣ („Иногда случается человѣку во снѣ увидѣть что-то подобное, и съ тѣхъ поръ онъ уже во всю жизнь грезитъ этимъ сновидѣньемъ“ и проч.) и даже въ описаніи впечатлѣнія, произведеннаго хороводами на Селифана, „когда, взявшись обѣими руками за бѣлыя руки, медленно двигался онъ съ ними въ хороводѣ, или же выходилъ на нихъ стѣной, въ ряду другихъ парней, и, выходя также стѣной на встрѣчу имъ, громко выпѣвали усмѣхаясь горластыя дѣвки: „Бояре, покажите жениха!“ И погасалъ рдѣющій вечеръ, и тихо померкала вокругъ окольность, и разлававшійся далеко за рѣкой возвращался грустнымъ назадъ отголосокъ напѣва,—не зналъ онъ и самъ тогда, что̀ съ нимъ дѣлалось“. Впрочемъ во второмъ томѣ не разъ встрѣчаются повторенія прежнихъ мыслей и образовъ, представляющія большею частью слабые намеки на былыя яркія картины, что̀ ясно свидѣтельствуетъ объ упадкѣ его таланта, исключая возможность предположенія о его возрожденіи. Такъ, по поводу увлеченія Тентетникова Гоголь совершенно повторяетъ мысли, уже выраженныя прежде, но въ чрезвычайно блѣдномъ и вяломъ подражаніи. Заканчивая лирическое отступленіе въ V главѣ первой части „Мертвыхъ Душъ“, онъ говорилъ: „Попадись на ту пору вмѣсто Чичикова какой-нибудь двадцатилѣтній юноша—гусаръ ли онъ, студентъ ли онъ, или просто только-что начавшій жизненное поприще,—и Боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило въ немъ! Долго бы стоялъ онъ безчувственно на одномъ мѣстѣ, вперивши безсмысленно очи въ даль, позабывъ и дорогу, и всѣ ожидающіе впереди выговоры и распеканія за промедленіе, позабывъ и себя, и службу, и міръ, и все, что̀ ни есть въ мірѣ“. Здѣсь по связи представленія въ воображеніи вновь озарилась яркимъ свѣтомъ картина, мелькнувшая передъ нимъ еще въ ранней юности: припомнимъ, что еще въ наброскѣ „Страшная рука“ Гоголь стремился передать невыразимое обаяніе, произведенное незнакомой женщиной на молодого

студента; что съ разными варіаціями та же идея повторилась въ „Невскомъ Проспектѣ“ и особенно въ „Тарасѣ Бульбѣ“, поэмѣ, представляющей своимъ лиризмомъ явленіе, находящееся въ органической связи съ позднѣйшимъ уже неудавшимся лиризмомъ послѣднихъ томовъ „Мертвыхъ Душъ“. Насколько ярко обрисовано въ большинствѣ случаевъ это любимое Гоголемъ восторженное настроеніе въ прежнихъ произведеніяхъ, какъ по поводу вызывавшей его юной женской красоты, такъ и по поводу воинственнаго увлеченія въ пылу битвы, настолько вяло оно передано въ воспоминаніяхъ Тентетникова объ Уленькѣ, гдѣ сказано только, что послѣ того, какъ человѣку случится увидѣть что-то необычайное, „дѣйствительность пропадаетъ для него навсегда, и онъ уже рѣшительно ни на что не годится“. Все, что въ юности было озарено въ глазахъ Гоголя какимъ-то чуднымъ сіяніемъ, является теперь обыденнымъ и прозаическимъ. Приведемъ примѣръ. Не помнящая себя въ боевомъ пылу, безумная храбрость, опоэтизированная въ Андріи,—въ „Мертвыхъ Душахъ“ снова изображена мимоходомъ въ лицѣ отчаяннаго поручика, но храбрость эта, хотя и представлена сочувственно, получила здѣсь не особенно лестное опредѣленіе. Такъ, Гоголь говоритъ о храбромъ поручикѣ: „Его взбалмошная храбрость уже пріобрѣла такую извѣстность, что дается нарочный приказъ держать его за руки во время горячихъ дѣлъ. Но поручикъ уже почувствовалъ бранный задоръ, все пошло кругомъ въ головѣ его: передъ нимъ носится Суворовъ“ и проч.

XXX.

Способность къ сильнымъ порывамъ энтузіазма Гоголь считалъ принадлежностью преимущественно высоко имъ цѣнимой славянской натуры. Къ сожалѣнію, изображеніе ея получило впослѣдствіи ложное направленіе. Слова Гоголя въ „Тарасѣ Бульбѣ“ о томъ, что славянская порода передъ другими—что море передъ мелководными рѣками, послужили отчасти программой для позднѣйшихъ попытокъ неумѣреннаго и односторонняго возвеличенія русской народности. Не лишено значенія здѣсь то, что всѣ указанныя черты наиболѣе ярко проявлялись именно въ исправленной редакціи „Тараса Бульбы“, надъ которымъ Гоголь работалъ уже въ Римѣ въ 1838 году, когда подъ вліяніемъ указанныхъ выше причинъ имъ сильно завладѣло желаніе изобразить „русскаго человѣка“, „настоящую русскую душу“ и „рус-

ское чувство", и также поставить на пьедесталъ русскаго человѣка,—стремленіе, отчасти сближающее его съ славянофилами, съ которыми, впрочемъ, Гоголь въ другихъ вопросахъ не соглашался и въ самомъ дѣлѣ имѣлъ мало общаго. Любопытно, напримѣръ, что въ первоначальной редакціи нѣтъ той извѣстной рѣчи Тараса, изъ которой взяты всѣ вышеприведенныя выраженія, также какъ нѣтъ и слѣдующихъ словъ казаковъ, сказанныхъ по поводу мѣткаго слова Демида Поповича: „Ну ужъ Поповичъ! ужъ коли кому закрутитъ слово, такъ только ну... Да ужъ и не сказали казаки, что̀ такое *ну*". Все это мѣсто создалось въ связи съ концомъ VI главы „Мертвыхъ Душъ" и приблизительно въ одно и то же время съ ней; въ послѣдней находимъ такія же размышленія по поводу бойкаго русскаго словца, прибавленнаго мужикомъ, объяснявшимъ Чичикову дорогу къ Плюшкину, къ названію: „заплатанный". Но особенно въ духѣ и тонѣ VIII и IX главъ исправленной редакціи „Тараса Бульбы" написаны заключительныя строки V главы первой части „Мертвыхъ Душъ"; „Сердцевѣденіемъ и мудрымъ познаніемъ жизни отзовется слово британца; легкимъ щеголемъ блеснетъ и разлетится недолговѣчное слово француза; затѣйливо придумаетъ свое, не всякому доступное, умнохудощавое слово нѣмецъ; но нѣтъ слова, которое было бы такъ замашисто, бойко, такъ вырвалось бы изъ-подъ самаго сердца, тамъ бы кипѣло и живо трепетало, какъ мѣтко сказанное русское слово". Но пока это были только намеки на предполагаемое Гоголемъ въ послѣднихъ томахъ „Мертвыхъ Душъ" изображеніе достоинствъ и лучшихъ сторонъ русскаго человѣка. Невольно возникаетъ вопросъ: не смѣшивалъ ли Гоголь возможность съ дѣйствительностью, представляя богатые задатки русской натуры уже принесшими въ своемъ полномъ расцвѣтѣ блестящіе плоды?

Что̀ же представляла на самомъ дѣлѣ современная Гоголю жизнь и какою являлась ему природа русскаго человѣка не въ праздничную минуту высокаго воодушевленія,—мы видимъ изъ его произведеній, въ которыхъ онъ, противъ воли, даетъ намъ часто очень неутѣшительные отвѣты на поставленные вопросы, несмотря на то, что нерѣдко онъ желалъ бы дать перевѣсъ патріотической идеализаціи надъ безпристрастнымъ анализомъ. У него нерѣдки такія натяжки, напримѣръ, въ слѣдующихъ словахъ: „Такъ какъ русскій человѣкъ въ рѣшительныя минуты найдется, что̀ дѣлать, не вдаваясь въ дальнія разсужденія, то поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, Селифанъ пустился вскачь, мало помышляя о томъ, куда приведетъ взятая дорога". Но вѣдь это

та самая черта, которую писатель, менѣе склонный къ ложной идеализаціи въ данномъ направленіи, едва ли не вѣрнѣе представилъ не въ особенно привлекательномъ видѣ. Лермонтовъ, разсказывая въ „Героѣ нашего времени“ подобный случай и сходное разсужденіе возницы, говорившаго: „И, баринъ! Богъ дастъ не хуже доѣдемъ; вѣдь намъ не впервые!“ иронически замѣчаетъ: „И онъ былъ правъ: мы точно могли бы не доѣхать, однакожъ все-таки доѣхали!“... „Русскій возница,—продолжаетъ далѣе Гоголь,—имѣетъ доброе чутье вмѣсто глазъ; отъ этого случается, что онъ, зажмуря глаза, катаетъ иногда во весь духъ и всегда куда-нибудь да пріѣзжаетъ“. Здѣсь уже пристрастно-сочувственное отношеніе къ національному недостатку какъ-то странно сливается съ самой грустной ироніей. Еще справедливѣе можно отнести сказанное къ замѣчаніямъ Гоголя: „русскій человѣкъ не любитъ сознаваться передъ другимъ, что виноватъ“; „Чичиковъ задумался такъ, какъ задумывается всякій русскій, какихъ бы то ни былъ лѣтъ, чина и состоянія, когда замыслитъ о разгулѣ широкой жизни“;—и, наконецъ, къ сочувственному лирическому отступленію въ концѣ VIII главы по поводу того, что значитъ у русскаго народа почесываніе въ затылкѣ. Во всемъ этомъ видна горячая, безпредѣльная любовь Гоголя къ родной странѣ, видна иногда болѣзненная потребность любящаго человѣка гордиться даже слабыми сторонами и недостатками предмета его любви. Но любовь эта соединялась нерѣдко съ глубокой задушевной скорбью, когда онъ говорилъ, напримѣръ, по поводу Ноздрева: „И что всего страннѣе, что можетъ только на одной Руси случиться, онъ черезъ нѣсколько времени уже встрѣчался опять съ тѣми пріятелями, которые его тузили, и встрѣчался, какъ ни въ чемъ не бывало, и онъ ничего, и они ничего“. Тяжело было Гоголю признавать въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ превосходство надъ русскими другихъ націй. Такъ устами Собакевича онъ съ досадой называетъ нѣмецкую натуру „жидкокостной“; но не выдерживаетъ послѣдовательно взятаго тона и въ другомъ мѣстѣ, размышляя о купленныхъ Чичиковымъ умершихъ крестьянахъ, одного изъ нихъ, являясь вновь юмористомъ, заставляетъ высказать желаніе разбогатѣть не такъ, какъ нѣмецъ, что изъ копѣйки тянется, а вдругъ, и потомъ, изобразивъ его неудачу, заставляетъ его приговаривать: „Нѣтъ, плохо на свѣтѣ! нѣтъ житья русскому человѣку: все нѣмцы мѣшаютъ“. Представляя въ дальнѣйшемъ развитіи своей невеселой думы печальный разсчетъ съ жизнью заблудившагося и запутавшагося крестьянина, поэтъ съ глубокой тоской и задушевнымъ сочувствіемъ оканчиваетъ свое размыш-

леніе словами: „Эхъ, русскій народецъ! не любитъ умирать своей смертью“. Это уже не смѣхъ сквозь слезы, это прямо вырвавшійся изъ души глубоко-прочувствованный, отчаянный крикъ нестерпимаго страданія уже не за отдѣльную личность, а за одинъ изъ очень распространенныхъ народныхъ недостатковъ. Невольно вспоминается здѣсь слово одного иностраннаго автора, сказавшаго о Гоголѣ: „Er jubelt und verzweifelt in einem Athem, er stellt sich zu seinem Volke, wie die Mutter zu ihrem missrathenen und doch heiss geliebten Kinde“. Но на ряду съ этимъ грустнымъ раздумьемъ у Гоголя часто замѣчается и сильная идеализація русскаго народа на счетъ другихъ націй; напримѣръ, „Чичиковъ показалъ терпѣнье, передъ которымъ ничто деревянное терпѣніе нѣмца, заключенное уже въ медленномъ, лѣнивомъ обращеніи крови его“. Съ другой стороны, Гоголь иногда приписываетъ русскому народу также недостатки, далеко не ему только принадлежащіе. Таково его замѣчаніе о томъ, что „на Руси, если не угнались кой въ чемъ другомъ за иностранцами, то далеко перегнали ихъ въ умѣньѣ обращаться. Пересчитать нельзя всѣхъ оттѣнковъ и тонкостей нашего обращенія. У насъ есть такіе мудрецы, которые съ помѣщикомъ, имѣющимъ двѣсти душъ, будутъ говорить совсѣмъ иначе, нежели съ тѣмъ, у котораго ихъ триста“, и проч.

XXXI.

Внимательно всматриваясь въ содержаніе первой части „Мертвыхъ Душъ“, можно указать нѣкоторыя, не лишенныя интереса, наблюденія, начиная съ подробностей, относящихся къ состоянію здоровья и душевнаго настроенія автора. Далѣе, въ поэмѣ не одинъ разъ отразились отношенія Гоголя къ окружающему обществу и даже къ отдѣльнымъ личностямъ, съ которыми ему приходилось сталкиваться въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Само собой разумѣется, что нерѣдко и болѣе раннія впечатлѣнія находили себѣ мѣсто въ его изображеніяхъ. Въ обоихъ послѣднихъ случаяхъ, въ силу природнаго сатирическаго склада ума автора, ярче и замѣтнѣе выступаютъ обыкновенно отрицательныя черты а, можетъ быть, ихъ *почти исключительно* слѣдуетъ искать въ первой части „Мертвыхъ Душъ“. Начнемъ нашъ обзоръ съ болѣе общихъ важныхъ сторонъ и постараемся потомъ собрать другія, второстепенныя, разсѣянныя въ разныхъ мѣстахъ поэмы, біографическія черты.

Прежде всего необходимо отмѣтить преобладающее въ поэмѣ грустное настроеніе, неоднократно проявляющееся въ раздумьѣ автора, возбуждаемомъ въ немъ характеристикой почти каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ. Это настроеніе происходило отъ возраста, болѣзненнаго состоянія и грустной картины современной русской жизни и вообще горькаго жизненнаго опыта Гоголя. Въ одномъ письмѣ къ Данилевскому, Гоголь уже сознавался: „Мы приближаемся съ тобою (высшія силы, какая это тоска!) къ тѣмъ лѣтамъ, когда уходятъ на дно глубже наши живыя впечатлѣнія, и когда наши ослабѣвающія силы, увы! часто не въ силахъ вызвать ихъ наружу такъ же легко, какъ онѣ прежде всплывали сами наружу". И вотъ вмѣсто идеалиста Пискарева передъ нимъ носится пошлый образъ Чичикова, который подъ впечатлѣніемъ молодой, прекрасной женщины чувствуетъ себя уже не поэтомъ, а только „чѣмъ-то въ родѣ молодого человѣка, почти гусаромъ". Теперь уже только въ видѣ отдаленнаго воспоминанія въ воображеніи Гоголя мелькаетъ „замечтавшійся двадцатилѣтній юноша, который, возвращаясь изъ театра, несетъ въ головѣ испанскую улицу, ночь, чудный женскій образъ съ гитарой и кудрями, находится въ небесахъ и заѣхалъ къ Шиллеру въ гости". Пора поэзіи для него миновала, розы молодости доцвѣтали; однѣ только красоты Италіи на нѣкоторое время еще продолжали сохранять надъ нимъ свое чудное обаяніе. На жизнь Гоголь начиналъ смотрѣть уже глазами человѣка, безвозвратно потерявшаго ея лучшіе дары. Теперь у него часто вырываются стоны глубокой, неутѣшной скорби; такъ говоритъ онъ: „На свѣтѣ дивно устроено: веселье мигомъ обратится въ печальное, если только долго застоишься надъ нимъ, и тогда Богъ знаетъ что̀ взбредетъ въ голову". Онъ содрогается передъ безпощадной жестокостью жизни, часто безжалостно сокрушающей лучшіе задатки человѣческой натуры: „грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдаетъ назадъ и обратно! Могила милосерднѣе ея, на могилѣ напишется: „Здѣсь погребенъ человѣкъ"; но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости". Ко всему сказанному надо прибавить, что такъ какъ и здоровье Гоголя все больше приходило въ разстройство, то вмѣстѣ съ тѣмъ, по естественной силѣ вещей, у него пробуждается усиленное вниманіе къ этому важнѣйшему и уже утраченному навсегда благу. По воспоминаніямъ Данилевскаго, княжны Репниной и другихъ близкихъ Гоголю лицъ, по частымъ и вполнѣ серьезнымъ упоминаніямъ въ перепискѣ объ обѣдахъ въ разныхъ кафе, называемыхъ въ шутку „храмами" (по

важности совершаемыхъ въ нихъ „жертвоприношеній"), по подробному изображенію ихъ въ повѣсти „Римъ", мы достаточно узнаемъ о томъ, какое значеніе въ жизни Гоголя съ половины тридцатыхъ годовъ получили прозаическія отправленія желудка, мучившія его до того, что онъ страдалъ отъ нихъ самъ и отравлялъ спокойствіе окружающихъ. По мѣткому выраженію княжны Репниной, она и ея домашніе одно время „жили въ его желудкѣ". Въ одномъ письмѣ къ Данилевскому онъ въ такихъ выраженіяхъ признавался въ этомъ: „Болѣзненное мое расположеніе рѣшительно мѣшаетъ мнѣ заниматься. Я ничего не дѣлаю и не знаю, что дѣлать со временемъ. Я бы могъ теперь проводить время весело, но я отсталъ отъ всего, и самимъ моимъ знакомымъ скучно со мною, и мнѣ тоже не о чемъ говорить съ ними. Въ брюхѣ, кажется, сидитъ какой-то діаволъ, который рѣшительно мѣшаетъ всему". Вскорѣ онъ писалъ опять: „Слышишь, видишь, какъ все вызываетъ на жизнь, и между тѣмъ у тебя въ брюхѣ сидитъ діаволъ. О, Римъ! прекрасный Римъ!" Въ послѣднихъ словахъ прекрасно выразилось одно изъ главныхъ несчастій жизни Гоголя, т.-е. утраченная имъ способность подъ гнетомъ болѣзни артистически наслаждаться жизнью. Считаемъ не лишнимъ указать на это въ виду тяжкихъ и суровыхъ обвиненій, которыя часто сыпались на голову Гоголя и теперь продолжаютъ тревожить его память. Между тѣмъ, если вспомнить всю горечь неудачно-сложившейся жизни, и эти тоскливыя сумерки преждевременнаго ранняго ея угасанія; если вспомнить болѣе чѣмъ десятилѣтнюю упорную борьбу съ безпощаднымъ процессомъ разрушенія и временами сознаваемое роковое несоотвѣтствіе между взятой на себя колоссальной задачей и невозможностью исполнить ее, то трудно сказать, найдется ли не только въ русской, но и во всемірной литературѣ еще писатель, личная судьба котораго была бы такъ безпредѣльно несчастна.

Въ ужасномъ увяданіи Гоголя въ послѣднее десятилѣтіе его жизни, по нашему мнѣнію, нисколько не менѣе трагизма, нежели въ его эффектномъ, сильно дѣйствующемъ на воображеніе истребленіи трудовъ многихъ лѣтъ въ порывѣ отчаянія, охватившаго его въ предсмертный часъ. Мученическій образъ нѣкогда величайшаго писателя, смутно сознающаго постоянное разложеніе и не имѣющаго рѣшимости сознаться въ этомъ самому себѣ, могъ бы послужить благодарнымъ предметомъ для небольшого, но глубокаго поэтическаго созданія. Но, возвращаясь къ предмету нашей рѣчи, замѣтимъ, что въ виду сказаннаго едва ли можно видѣть случайность въ частомъ и нѣсколько завистливомъ изо-

браженіи аппетита Ноздрева, Собакевича, Пѣтуха, а также сна тѣхъ людей, „которые не вѣдаютъ ни геморроя, ни блохъ, ни слишкомъ сильныхъ умственныхъ способностей“. Напротивъ, о Гоголѣ Анненковъ разсказываетъ, что онъ часто страдалъ въ Римѣ безсонницей. Анненковъ замѣтилъ его „причуду — проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диванѣ и не ложась въ постель. Поводомъ къ такому образу жизни, по словамъ Анненкова, могла быть, во-первыхъ, опасная болѣзнь, недавно имъ выдержанная и сильно напугавшая его, а во-вторыхъ, боязнь обморока и замиранія, которымъ онъ, какъ говорятъ, дѣйствительно былъ подверженъ“. Слова, сказанныя въ началѣ IV главы объ аппетитѣ Чичикова — „авторъ долженъ сознаться, что весьма завидуетъ аппетиту и желудку такого рода людей“, — должны быть понимаемы совершенно въ буквальномъ смыслѣ. „Эти господа,—продолжаетъ Гоголь,—пользуются завиднымъ даяніемъ Неба! Не одинъ господинъ большой руки пожертвовалъ бы сію минуту половиною душъ крестьянъ и половиною имѣній, заложенныхъ и незаложенныхъ, со всѣми улучшеніями на иностранную и русскую ногу, съ тѣмъ только, чтобы имѣть такой желудокъ, какой имѣетъ господинъ средней руки; но то бѣда, что ни за какія деньги, ниже имѣнія съ улучшеніями и безъ улучшеній, нельзя пріобрѣсть такого желудка, какой бываетъ у господина средней руки“.

Изъ вкусовъ и наклонностей Гоголя во время первыхъ годовъ его жизни за границей, какъ мы видѣли, особое вниманіе обращаютъ на себя его увлеченія природой и прекрасными видами, живописью и музыкой, причемъ наслажденія послѣдней онъ дѣлилъ обыкновенно съ Данилевскимъ, когда они вдвоемъ посѣщали оперныя представленія въ Парижѣ,—а наслажденія живописью—съ Жуковскимъ (въ Римѣ). Объ увлеченіяхъ его природой мы достаточно говорили выше; приведемъ здѣсь лишь слѣдующій разсказъ Анненкова о „длинныхъ часахъ нѣмого созерцанія, какому предавался онъ въ Римѣ“... „На дачѣ княгини З. Волконской, упиравшейся въ старый римскій водопроводъ, который служилъ ей террасой, онъ ложился спиной на аркаду богатыхъ, какъ онъ называлъ, древнихъ римлянъ, и по полусуткамъ смотрѣлъ въ голубое небо, на мертвую и великолѣпную римскую Кампанью. Такъ точно было и въ Тиволи, въ густой растительности, окружавшей его каскателли: онъ садился гдѣ-нибудь въ чащѣ, упиралъ зоркіе, неподвижные глаза въ темную зелень, купами сбѣгавшую по скаламъ, и оставался недвижимъ цѣлые часы, съ воспаленными щеками“. Что касается живописи, то по всегдаш-

нему взгляду Гоголя настоящій живописецъ долженъ избѣгать „грубо ощутительной правильности“, предпочитая ей причудливыя и безпорядочныя, но тѣмъ не менѣе изящныя формы. Этотъ взглядъ инстинктивно сложился у него еще въ дѣтствѣ, какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ въ статьѣ о поэзіи Пушкина; онъ же повторяется и въ „Мертвыхъ Душахъ“, гдѣ о Ноздревѣ сказано, что, „держа въ рукѣ чубукъ и прихлебывая изъ чашки, онъ былъ очень хорошъ для живописца, не любящаго страхъ господъ прилизанныхъ и завитыхъ подобно цирульнымъ вывѣскамъ, или выстриженныхъ подъ гребенку“. Сходную мысль находимъ также въ повѣсти: „О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, въ словахъ: „мѣстами (виднѣлось) изломанное колесо, или обручъ отъ брички, или валяющійся мальчишка въ запачканной рубашкѣ: картина, которую любятъ живописцы“. Жуковскому Гоголь по отъѣздѣ его изъ Рима также писалъ: „Всякая развалина, колонна, кустъ, ободранный мальчишка, кажется, воютъ къ вамъ и просятъ красокъ“ и проч. Наконецъ подобное описаніе вошло и въ написанную около того же времени повѣсть „Римъ“. „Тутъ самая нищета являлась въ какомъ-то свѣтломъ видѣ, беззаботная, незнакомая съ терзаньемъ и слезами, безпечно и живописно протягивавшая руку; видны были картинные полки монаховъ, переходившіе улицы въ длинныхъ бѣлыхъ или черныхъ одеждахъ“, и пр. Оперныя впечатлѣнія Гоголя отразились особенно въ одномъ сравненіи, въ которомъ онъ говоритъ, что „Маниловъ, обвороженный фразою, отъ удовольствія только потряхивалъ головою, погрузясь въ такое положеніе, въ какомъ находится любитель музыки, когда пѣвица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, которая не въ мочь и птичьему горлу“. Изъ переписки съ Данилевскимъ и изъ разсказовъ послѣдняго о безпрестанныхъ шуткахъ Гоголя по поводу его меломаніи можно съ нѣкоторой вѣроятностью заключить, что въ приведенномъ сравненіи Гоголь долженъ былъ припоминать, между прочимъ, и своего неизмѣннаго спутника при посѣщеніяхъ оперныхъ представленій, совершенно отдававшагося музыкальнымъ впечатлѣніямъ. Ему Гоголь однажды писалъ, желая чѣмъ-нибудь побудить къ нѣкоторой аккуратности въ перепискѣ, что если онъ исполнитъ его требованіе, то и желудокъ его будетъ лучше варить, и „Рубини лучше пѣть, Гризи будетъ въ пятьсотъ разъ привлекательнѣе“. Въ другомъ письмѣ, соблазняя своего пріятеля скорѣе пріѣхать къ нему въ Римъ и насладиться Рафаэлемъ, Гоголь увѣрялъ его, что онъ будетъ стоять передъ нимъ „такъ же безмолвный и обращенный весь въ глаза, какъ сиживалъ нѣкогда

передъ Гризи". Мы особенно основываемся въ этомъ и нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ указаніяхъ на признаніи самого Гоголя въ третьемъ письмѣ по поводу „Мертвыхъ Душъ" (въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями"), что „въ нихъ собраны черты близкихъ и коротко извѣстныхъ ему людей, а также и многихъ другихъ, обратившихъ на себя чѣмъ-нибудь его вниманіе". Гоголь говоритъ въ этомъ письмѣ къ неизвѣстному лицу: „Тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои". Далѣе постараемся привести въ подтвержденіе этихъ словъ нѣсколько угаданныхъ или предполагаемыхъ нами случаевъ и примѣровъ, но раньше обратимся къ возможно послѣдовательной характеристикѣ отношеній Гоголя къ той средѣ, въ которой онъ вращался во второй половинѣ 30-хъ годовъ.

XXXII.

Русское аристократическое общество, окружавшее Гоголя за границей, часто внушало ему не совсѣмъ благопріятное о себѣ мнѣніе; привязываясь до извѣстной степени къ отдѣльнымъ личностямъ вслѣдствіе постоянныхъ сношеній съ ними, онъ сохранялъ постоянное критическое отношеніе къ цѣлому кругу. Нигдѣ въ письмахъ онъ не выказываетъ ничего подобнаго, хотя много говоритъ невыгоднаго о неправившихся ему представителяхъ другихъ слоевъ общества, напримѣръ о жившихъ въ Римѣ русскихъ артистахъ. Но не надо забывать, что Гоголь былъ всегда крайне остороженъ по природѣ и дорожилъ установившимися отношеніями. Любопытно, что въ прежнихъ произведеніяхъ онъ почти совсѣмъ не касался этого круга; напротивъ, въ „Мертвыхъ Душахъ" онъ говоритъ о немъ не разъ и всегда съ ироніей. Еще въ „Портретѣ" выразилось его отрицательное и во многомъ справедливое отношеніе къ нѣкоторымъ представителямъ высшаго общества; это отношеніе не измѣнилось и тогда, когда самъ Гоголь въ значительной степени жилъ въ немъ. Въ концѣ VIII главы онъ такъ характеризуетъ свѣтскаго человѣка: „Послѣ разговора съ нимъ — просто ничего: всего онъ наговоритъ, всего коснется слегка, все скажетъ, что̀ понадергалъ изъ книжекъ: пестро, краснo, а въ головѣ хоть бы что-нибудь изъ того вынесъ; и видишь потомъ, какъ даже разговоръ съ простымъ купцомъ, знающимъ одно свое дѣло, но знающимъ его твердо и опытно, лучше всѣхъ этихъ побрякушекъ". Въ этихъ словахъ мы находимъ вполнѣ удовлетворительное объясненіе извѣстной особенности характера Гоголя,

предпочитавшаго бесѣду съ дѣльными спеціалистами бесѣдѣ съ блестяще, но поверхностно образованными людьми изъ свѣтскаго или даже литературнаго круга. Особенность эта была отмѣчена, между прочимъ, въ воспоминаніяхъ Л. И. Арнольди. Но указанное мнѣніе Гоголя о свѣтскихъ людяхъ высшаго общества, допускало, конечно, и исключенія; такъ, по словамъ того же Арнольди, Гоголь слѣдующимъ образомъ отзывался впослѣдствіи объ Иванѣ Васильевичѣ Капнистѣ, бывшемъ московскомъ губернаторѣ: „Какъ свѣтскій человѣкъ, какъ человѣкъ практическій и ничего не смыслящій въ литературѣ, онъ иногда, разумѣется, говоритъ вздоръ, но зато въ другой разъ сдѣлаетъ такое замѣчаніе, которымъ я могу воспользоваться. Мнѣ именно полезно читать такимъ умнымъ нелитературнымъ судьямъ". Больше всего Гоголь осуждалъ суетность великосвѣтскаго тщеславія. Говоря о безвкусіи картинъ въ гостинницѣ, гдѣ остановился Чичиковъ, онъ иронически замѣчаетъ: „Подобная игра природы, впрочемъ, случается на разныхъ историческихъ картинахъ, неизвѣстно въ какое время, откуда и кѣмъ привезенныхъ къ намъ въ Россію, иной разъ даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими ихъ въ Италіи, по совѣту везшихъ ихъ курьеровъ". Эта мысль представляетъ очевидное повтореніе начала второй части повѣсти „Портретъ", гдѣ Гоголь также говоритъ объ одномъ изъ „богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженые въ зефиры и амуры, *невинно прослыли меценатами* и простодушно издержали для этого милліоны". Свѣтскія дамы казались Гоголю пустыми и исковерканными нелѣпымъ воспитаніемъ. „Откуда возьмется у нихъ надутость и чопорность; станетъ ворочаться по вытверженнымъ наставленіямъ, станетъ ломать голову, съ кѣмъ и какъ, и сколько нужно говорить, какъ на кого смотрѣть; всякую минуту будетъ бояться, чтобы не сказать больше, чѣмъ нужно, запутается, наконецъ, сама, и кончится тѣмъ, что станетъ наконецъ врать всю жизнь, и выйдетъ просто чортъ знаетъ что". Но больше всего Гоголь осуждалъ слѣпое пристрастіе высшаго общества къ французскому языку въ ущербъ своему, родному: „Отъ нихъ первыхъ,—говорилъ онъ,—не услышишь ни одного порядочнаго русскаго слова, а французскими, нѣмецкими и англійскими они, пожалуй, надѣлятъ въ такомъ количествѣ, что и не захочешь. А въ русскомъ ничѣмъ не надѣлятъ, развѣ изъ патріотизма выстроятъ для себя на дачѣ избу въ русскомъ вкусѣ". Въ послѣднемъ отношеніи не безгрѣшна была и другъ его А. О. Смирнова, чѣмъ она такъ возмущала И. С. Аксакова. Пустота и пошлая мелочность свѣтскихъ дамъ вообще

нерѣдко подвергаются безпощадному осмѣянію въ первой части „Мертвыхъ Душъ“. При этомъ многое можетъ быть, конечно, съ одинаковымъ правомъ отнесено не только къ провинціальнымъ, но и къ столичнымъ дамамъ высшаго круга, какъ, напр., слѣдующее язвительное замѣчаніе: „У нѣкоторыхъ дамъ есть маленькая слабость: если онѣ замѣтятъ у себя что-нибудь особенно хорошее — лобъ ли, ротъ ли, руки ли, то уже думаютъ, что лучшая часть лица такъ первая и бросится всѣмъ въ глаза“, и проч. Надъ дамами же Гоголь, при другомъ случаѣ, глумится еще язвительнѣе, говоря о нихъ, что, желая облагородить русскій языкъ, онѣ выбросили почти половину словъ изъ лексикона, но на французскомъ не стѣсняются употреблять слова и выраженія гораздо болѣе сомнительнаго качества. Въ перепискѣ Гоголя съ А. О. Смирновой слово „свѣтскій“ вездѣ имѣетъ самое невыгодное и пренебрежительное значеніе, хотя и здѣсь изъ отдѣльныхъ личностей затрогиваются только такія, недолюбливаемыя обоими корреспондентами, какъ графъ В. А. Соллогубъ. Но въ періодъ „Выбранныхъ Мѣстъ“ Гоголь иногда переставалъ стѣсняться съ своими корреспондентами, какъ, напр., съ гр. А. П. Толстымъ и съ тѣмъ неизвѣстнымъ лицомъ, которому въ третьемъ письмѣ по поводу „Мертвыхъ Душъ“ онъ безъ всякихъ церемоній и, возражая на одну досадную для него мысль, прямо заявляетъ: „только въ глупой, свѣтской башкѣ могла образоваться такая глупая мысль“; или: „оставьте въ сторону дрянные ваши зубы, которые не стоютъ гроша. Душа лучше зубовъ и всего на свѣтѣ“.

XXXIII.

Трудно, конечно, прослѣдить процессъ постепенной переработки въ художественныя сравненія и поэтическіе образы отразившихся въ разныхъ мѣстахъ „Мертвыхъ Душъ“ личныхъ впечатлѣній автора, особенно въ связи съ вызвавшими ихъ причинами, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ внимательное наблюденіе можетъ подмѣтить или хотя бы только предположить ихъ безъ опасенія ошибки. По свидѣтельству покойнаго Данилевскаго, многіе изъ Гоголевскихъ типовъ создавались подъ впечатлѣніями, произведенными первоначально кѣмъ-либо изъ его знакомыхъ; самъ Гоголь, какъ мы видѣли, также ясно признавалъ это. Онъ утверждалъ, между прочимъ, что многія собственныя черты его были приписаны героямъ его произведеній. Въ самомъ дѣлѣ, въ основаніе сюжета „Шинель“, кромѣ случая, разсказаннаго П. В. Анненк-

ковымъ о потерѣ съ большими пожертвованіями пріобрѣтеннаго ружья, могли лечь и собственныя воспоминанія Гоголя о томъ, какъ онъ „цѣлую зиму отхваталъ въ лѣтней шинели". Такимъ образомъ, страданія отъ холода, описанныя имъ въ повѣсти, были извѣданы на собственномъ опытѣ. Позднѣе онъ находилъ въ себѣ „что-то Хлестаковское". Наконецъ, Л. И. Арнольди, свидѣтельствуя о чрезмѣрной страсти Гоголя къ хорошимъ сапогамъ, которая не оставляла его даже въ то время, когда, сдѣлавшись аскетомъ, онъ совершенно отказался отъ всего не безусловно необходимаго, — не безъ основанія, вѣроятно, замѣтилъ, что въ лицѣ пріѣхавшаго изъ Рязани поручика, большого охотника до сапоговъ, Гоголь смѣялся надъ собственной слабостью („Нѣсколько разъ подходилъ онъ къ постели съ тѣмъ, чтобы ихъ скинуть и лечь, но никакъ не могъ: сапоги были точно хорошо сшиты, и долго еще поднималъ онъ ногу и осматривалъ бойко и на диво стаченный каблукъ"). Замѣчаніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что разсказъ Гоголя о поручикѣ является нисколько не связаннымъ органически съ предшествующимъ изложеніемъ и, несомнѣнно, представляетъ собою совершенно отдѣльное наблюденіе, только пришедшееся здѣсь кстати. „Кто повѣритъ,—заключаетъ свой разсказъ Арнольди, — что этотъ страстный охотникъ до сапоговъ не кто иной, какъ Гоголь?" Подобно Пѣтуху, Гоголь любилъ по цѣлымъ часамъ толковать съ поваромъ о кулебякѣ; подобно Чичикову, имѣлъ страстишку къ пріобрѣтенію чернильницъ, вазочекъ, прессъ-папье, любилъ разговаривать съ половыми. Изображеніе „возникшей до высокой степени пустоты" встрѣчалось въ „Повѣсти объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ" и проч.

Слова, примѣненныя Гоголемъ въ VII главѣ „Мертвыхъ Душъ" къ характеристикѣ суда современнаго общества, которое отнимаетъ у писателя сердце и душу и придаетъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, были сказаны первоначально Погодину въ письмѣ отъ 17-го октября 1840 г. „Ты хотѣлъ разомъ отнять у меня и глубину чувствъ, и душу, и сердце, и назначить мнѣ мѣсто даже ниже самыхъ обыкновеннѣйшихъ людей" (т. V, стр. 416). Еще одинъ примѣръ находимъ въ воспоминаніяхъ и очеркахъ Анненкова: „Въ самомъ Альбано, на одной изъ вечернихъ прогулокъ, кто-то сказалъ, что около шести часовъ вечера передній всѣхъ провинціальныхъ домовъ въ Россіи наполняются угаромъ отъ самовара, который кипитъ на крыльцѣ, и что само крыльцо представляетъ оживленную картину: подбѣжитъ дѣвочка или мальчикъ, прильнетъ къ трубѣ, освѣтится пламенемъ раздуваемыхъ углей и скроется. Гоголь остановился на ходу, точно

кто-нибудь придержалъ его. „Боже мой, да какъ же я это пропустилъ", сказалъ онъ съ наивнымъ недоумѣніемъ: „а вотъ пропустилъ же, пропустилъ, пропустилъ", говорилъ онъ, шагая впередъ и какъ будто попрекая себя" (т. I, стр. 210).

Наконецъ, Гоголь въ самомъ дѣлѣ нерѣдко во время своей творческой работы пользовался не только типическими обобщеніями, но принималъ во вниманіе также единичные примѣры и случаи; неопровержимымъ доказательствомъ тому можетъ послужить слѣдующее небольшое сравненіе. Говоря о безнадежной безтолковости Коробочки, Гоголь, какъ извѣстно, прибавляетъ: „Впрочемъ Чичиковъ напрасно сердился; иной и почтенный, и государственный даже человѣкъ, а на дѣлѣ выходитъ совершенная Коробочка". Такой Коробочкой былъ въ его глазахъ нѣкто Анатолій Николаевичъ Демидовъ, совершавшій въ сопровожденіи секретаря Строева ученыя экспедиціи. Гоголь такъ пишетъ далѣе о „почтенномъ и государственномъ человѣкѣ": „Какъ зарубилъ что себѣ въ голову, то ужъ ничѣмъ его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводовъ, ясныхъ какъ день, все отскакиваетъ отъ него, какъ резиновый мячъ отъ стѣны". Совершенно тѣ же слова читаемъ въ письмѣ Гоголя къ Погодину, отъ 3-го мая 1839 г., о Демидовѣ, котораго онъ просилъ объ извѣстномъ ученомъ Колларѣ: „Ничего я до сихъ поръ не сдѣлалъ для Коллара. Видѣлся наконецъ съ Демидовымъ; но лучше бы не сдѣлалъ этого. Чудакъ страшный. Его останавливаетъ что бы ты думалъ? Что скажетъ государь! Что мы переманиваемъ австрійскаго подданнаго... Изъ-за этого могутъ произойти непріятности между двумя правительствами. *Мои убѣжденія были похожи на резиновый мячикъ, которымъ, сколько ни бей въ стѣну, онъ отъ нея только что отскакиваетъ.* Словомъ, это меня разсердило, и я не пошелъ къ нему на обѣдъ, на который онъ приглашалъ меня на другой день".

Конечно, такія же впечатлѣнія Гоголь могъ выносить и въ нѣкоторыхъ иныхъ подобныхъ случаяхъ, но въ виду поразительнаго совпаденія не только выраженій поэмы и цитированнаго письма, но и времени, къ которому оба относятся, едва ли можетъ остаться тѣнь сомнѣнія въ томъ, что въ приведенныхъ строкахъ Гоголь не могъ, между прочимъ, не имѣть въ виду и названнаго Демидова, къ которому онъ получилъ, послѣ разговора о Колларѣ, такое отвращеніе, что не хотѣлъ никогда больше говорить съ нимъ. Когда впослѣдствіи другъ Гоголя, Данилевскій, искалъ, послѣ смерти своей матери, какого-нибудь мѣста и просилъ Гоголя обратиться къ Демидову, то Гоголь, вообще усердно хлопотавшій за друга, совершенно отрекся отъ знакомства съ Де-

мидовымъ и отвѣтилъ такъ: „Ты пишешь, не имѣю ли какихъ путей пристроить къ Демидову. Рѣшительно никакихъ. Слышно о немъ, что онъ что-то въ родѣ с..... и больше ничего; а впрочемъ я объ этомъ не могу судить, не видавши и не зная его". Далѣе, въ извѣстномъ лирическомъ отступленіи, сдѣланномъ по поводу Коробочки о великосвѣтской дамѣ, занятой тѣмъ, какой политическій переворотъ готовится во Франціи, и какое направленіе принялъ модный католицизмъ, — помимо типическаго обобщенія позволительно предполагать и результатъ наблюденій надъ такими личностями, какъ извѣстная княгиня Зинаида Александровна Волконская, сильно преданная католицизму, и съ которой Гоголь особенно часто встрѣчался именно во время работъ его надъ первымъ томомъ „Мертвыхъ Душъ". Частыя встрѣчи въ Римѣ и внѣшнія дружескія отношенія къ послѣдней при постоянной осторожности Гоголя и потребности въ знакомствахъ съ соотечественниками, кажется, не могутъ ослабить нашего заключенія въ виду неизмѣнной наклонности нашего писателя къ юмору. Также не имѣетъ здѣсь большого значенія и благопріятный отзывъ о княгинѣ въ одномъ изъ писемъ Гоголя къ матери, которой онъ сообщалъ однажды: „княгиня Зинаида Волконская, въ которой я всегда питалъ дружбу и уваженіе и которая услаждала мое времяпребываніе въ Римѣ, уѣхала".

Наконецъ, есть еще одинъ, уже несомнѣнный примѣръ изображенія опредѣленной личности въ VI главѣ „Мертвыхъ Душъ", въ характеристикѣ помѣщика, живущаго, въ противоположность Плюшкину, во всю ширину русской удали и барства, въ которомъ нельзя не узнать такъ близко знакомаго Гоголю въ дѣтствѣ Д. Пр. Трощинскаго, такъ какъ многіе изъ указанныхъ авторомъ признаковъ могутъ быть отнесены только къ одной и притомъ исключительной личности, и даже въ тѣ времена они были, безъ сомнѣнія, большой рѣдкостью. Вотъ это описаніе: „Небывалый проѣзжій остановится съ изумленіемъ при видѣ его жилища, недоумѣвая, какой владѣтельный принцъ очутился внезапно среди маленькихъ, темныхъ владѣльцевъ: дворцами глядятъ его бѣлые, каменные дома, съ безчисленнымъ множествомъ трубъ, бельведеровъ, флюгеровъ, окруженные стадомъ флигелей и всякими помѣщеніями для пріѣзжихъ гостей. Чего нѣтъ у него? театры, балы, всю ночь сіяетъ убранный огнями и плошками, оглашенный громомъ музыки садъ. Полгуберніи разодѣто и весело гуляетъ подъ деревьями" [1]) и проч.

[1]) Одна изъ такихъ прогулокъ Трощинскаго съ гостями въ саду была ознаме-

Въ началѣ второго тома „Мертвыхъ Душъ“ также отразились личныя воспоминанія Гоголя о времени его ученія въ „Гимназіи Высшихъ Наукъ“, особенно по выходѣ директора Орлая: „Хуже всего было то, что потерялось уваженіе къ начальству и власти. Развратъ завелся уже вовсе не дѣтскій: завелись такія дѣла, что нужно было многихъ выключить и выгнать. Въ два года узнать нельзя было заведенія“. То же самое было въ Нѣжинѣ при Гоголѣ, когда самъ глава заведенія долженъ былъ признавать въ оффиціальныхъ бумагахъ существованіе „непристойныхъ поступковъ и вообще крайней распущенности, доходившей до того, что нельзя было скрывать отъ высшаго начальства множества соблазнительныхъ происшествій, которыхъ и предупредить невозможно“, и о которыхъ можно узнать изъ названнаго оффиціальнаго донесенія, напечатаннаго въ статьѣ проф. Лавровскаго: „Гимназія Высшихъ Наукъ“. Вѣроятно также личности педагоговъ Александра Петровича и Ѳедора Ивановича имѣютъ извѣстное отношеніе къ кому-либо изъ тогдашнихъ начальниковъ и преподавателей Гоголя, а въ непосредственно слѣдующемъ за его характеристикой сравненіи съ врачомъ едва ли Гоголь не вспоминалъ о греффенбергскомъ докторѣ Присницѣ, который такъ же, какъ и приведенный въ примѣръ врачъ у Гоголя, не обращалъ вниманія на припадки и сыпи. Затѣмъ, по свидѣтельству Погодина, въ личности Костанжогло отразились нѣкоторыя черты богатаго откупщика Бенардаки [1]). Въ Муразовѣ нѣкоторые узнавали родственника Лермонтова, Столыпина [2]). Въ профессорѣ, забрасывавшемъ „новыми взглядами и новыми точками воззрѣній“, видѣли злобный намекъ на профессорскую дѣятельность Грановскаго, а въ недоучившемся рѣзкаго направленія студентѣ—Бѣлинскаго. Что̀ касается до указываемаго проф. Владиміровымъ

нована напугавшей всѣхъ шуткою отца Гоголя, повѣсившаго на какомъ-то деревѣ платье домашняго шута Трощинскаго, выжившаго изъ ума о. Варѳоломея, надъ которымъ всѣ домашніе и гости безсовѣстно глумились, припечатывая его бороду къ столу и проч. Увидя висящее на деревѣ платье его, многіе подумали, что несчастный съ отчаянія рѣшилъ покончить съ собой, и успокоились только тогда, когда увидали сзади важно шагавшаго самого невольнаго виновника испуга, изумленнаго не менѣе другихъ. Любопытны поэтому слѣдующія слова въ описаніи Гоголя: „И никому не является дикое и грозящее въ семъ насильственномъ освѣщеніи, когда театрально выскакиваетъ изъ древесной чащи озаренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь“ (Сочиненія Гоголя, т. III, стр. 117—118). Въ черновой редакціи „Мертвыхъ Душъ“ всего этого описанія нѣтъ, и вмѣсто помѣщика рѣчь идетъ о гусарѣ-гулякѣ, вмѣсто котораго позднѣе вставлено описаніе обстановки Трощинскаго.

[1]) „Русскій Архивъ“, 1865 г., стр. 895.

[2]) См. Сочиненія М. Ю. Лермонтова, изд. В. Ѳ. Рихтера, т. VI, стр. 245.

отношенія типа Плюшкина къ типу купца Груздева въ романѣ Калашникова: „Дочь купца Жолобова", 1831 (см. „Историч. и народно-бытовые сюжеты въ поэзіи М. Ю. Лермонтова", стр. 8), то, по нашему мнѣнію, это сходство довольно спорное, ибо только безпорядокъ въ горницѣ Груздева напоминаетъ комнату Плюшкина, но тамъ же упоминаются въ числѣ сваленныхъ предметовъ множество цибиковъ съ чаемъ и проч., что̀ указываетъ, можетъ быть, больше на безпорядочность, нежели на скупость; но указаніе во всякомъ случаѣ крайне любопытное. Не желая, во избѣжаніе произвольныхъ догадокъ, углубляться далѣе въ область личныхъ указаній, ограничимся приведенными примѣрами, достаточными, по нашему мнѣнію, для фактическаго подтвержденія и иллюстраціи вліянія на трудъ Гоголя его отношеній и разнородныхъ впечатлѣній жизни. Другими примѣрами намъ послужатъ взятые уже исключительно изъ болѣе ранней эпохи жизни автора и по своему содержанію не представляющіе ничего рѣзкаго или щекотливаго.

XXXIV.

Дѣтскія воспоминанія Гоголя лучше всего переданы имъ въ извѣстномъ задушевномъ лирическомъ отступленіи, въ началѣ VI главы „Мертвыхъ Душъ". Кромѣ того, они отразились въ другихъ мѣстахъ, напр. въ описаніи недоумѣнія школьника, внезапно пробужденнаго всунутой ему въ носъ бумажкой, называемой „гусаромъ" [1]); но особенно—во многихъ описаніяхъ помѣщичьихъ усадьбъ, при приближеніи къ которымъ взоры путника неизмѣнно встрѣчаютъ у Гоголя находящійся посреди сада прудъ, какъ это бывало въ дѣйствительности съ самимъ авторомъ при въѣздѣ въ родную Васильевку. Въ дѣтскомъ воображеніи Гоголя ярко напечатлѣлись на всю жизнь всѣ подробности обстановки, представлявшейся ему обыкновенно при возвращеніи подъ родительскій кровъ, до изображенія яростной атаки подъѣзжающаго экипажа стаей деревенскихъ собакъ и картины ловли крестьянами раковъ въ прудѣ,—картины, особенно настойчиво всплывавшей въ воображеніи Гоголя въ соотвѣтствующихъ описаніяхъ, и потому даже повтореніе этихъ малѣйшихъ подробностей едва ли слѣ-

[1]) Такое же воспоминаніе есть въ одномъ письмѣ къ Жуковскому, написанномъ тотчасъ по отъѣздѣ послѣдняго изъ Рима: осиротѣвшій Гоголь сравниваетъ свое состояніе съ положеніемъ наказаннаго школьника, который завидуетъ своимъ играющимъ на свободѣ товарищамъ („Русскій Архивъ" 1871 г., 4—5, 960, 929).

дуетъ разсматривать, какъ простую случайность. Одну изъ такихъ картинъ въ наиболѣе цѣльномъ видѣ мы находимъ еще въ повѣсти: „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка". Особенность описанія въ этой повѣсти сравнительно съ другими лишь та, что въ ней изображается въѣздъ помѣщика въ собственную усадьбу и вполнѣ естественное въ такихъ случаяхъ чувство сильной радости при встрѣчѣ съ близкими людьми и предметами. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ имѣетъ большое сходство лишь съ описаніемъ возвращенія въ собственную деревню Тентетникова. Вотъ это мѣсто: „На третій день приближался онъ къ своему хутору. Тутъ почувствовалъ онъ, что сердце въ немъ сильно забилось; по мѣрѣ того, какъ жидъ гналъ своихъ клячъ на гору, показывался внизу рядъ вербъ. Живо и ярко блестѣлъ сквозь нихъ прудъ и дышалъ свѣжестью. Здѣсь когда-то онъ купался, въ этомъ самомъ прудѣ когда-то съ ребятишками брелъ по шею въ водѣ за раками". Останавливаясь пока на этихъ строкахъ, напомнимъ другія сходныя описанія, напр. въ „Страницѣ": Путешественникъ поѣхалъ въ ту сторону, гдѣ на косогорѣ синѣли сады, и, по мѣрѣ приближенія, становились бѣлѣе разбросанныя хаты. Посреди хутора, надъ прудомъ, находилась вся закрытая вишневыми и сливными деревьями свѣтлица" и проч., въ „Майской Ночи": „Тихи и покойны эти пруды, *холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заключенъ въ темно-зеленыя стѣны садовъ. Дѣвственныя чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ*" и проч. Въ первой части „Мертвыхъ Душъ" снова находимъ дважды описанія видовъ, постепенно открывающихся путникамъ при въѣздѣ въ деревни Манилова и Пѣтуха, причемъ въ томъ и другомъ случаѣ изображается и находящійся посреди сада прудъ, и даже ловля въ немъ раковъ, происходящая въ самый моментъ пріѣзда Чичикова.

Продолжаемъ далѣе нашу выписку изъ той же повѣсти объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ: „Кибитка въѣхала на греблю, и Иванъ Ѳедоровичъ увидѣлъ тотъ же самый старинный домикъ, покрытый очеретомъ, тѣ же самыя яблони, по которымъ онъ когда-то украдкою лазилъ"... „Хуторъ какъ будто ушелъ въ землю, только видны были подъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ домика да вершины деревьевъ, по сучьямъ которыхъ они лазили, какъ бѣлки"... „Только-что въѣхалъ онъ на дворъ, какъ сбѣжались со всѣхъ сторонъ собаки всѣхъ сортовъ: бурыя, черныя, сѣрыя, пѣгія. Нѣкоторыя съ лаемъ кидались подъ ноги лошадямъ"... „Заливающіяся со всѣхъ сторонъ собаки прыгали передъ

лошадью такъ высоко, что, казалось, хотѣли увусить ее за морду; другія бѣжали сзади, замѣтивъ, что ось вымазана саломъ; одна, стоя возлѣ кухни и накрывъ лапою пасть, заливалась во все горло; другая лаяла издали и бѣгала взадъ и впередъ, помахивая хвостомъ и какъ бы приговаривая: „посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человѣкъ“. Такое же описаніе повторяется при въѣздѣ Чичикова въ деревню Коробочки. Наконецъ, какъ въ повѣсти о Шпонькѣ, такъ и въ другихъ названныхъ описаніяхъ находимъ изображеніе однихъ и тѣхъ же домашнихъ животныхъ и птицъ, встрѣчающихся путнику при въѣздѣ въ деревню; такъ, въ „Остраницѣ“ также упоминаются излюбленныя Гоголемъ очеретяныя крыши, полощущіяся утки, тѣ же неизмѣнныя яблони (въ другихъ описаніяхъ, впрочемъ, замѣняемыя черешнями), а въ „Остраницѣ“ и въ описаніи усадьбы Тентетникова всему этому еще предшествуетъ описаніе рѣки. Такимъ образомъ всѣ названные отрывки имѣютъ между собой не одну точку соприкосновенія; въ нѣкоторыхъ другихъ повторяется описаніе косогора и проч.

Далѣе, дѣтскія воспоминанія Гоголя несомнѣнно отразились въ описаніи похожаго на арбузъ экипажа Коробочки, сходнаго съ страннымъ экипажемъ Пульхеріи Ивановны, въ описаніи неискусно сдѣланныхъ деревенскихъ портретовъ и множества другихъ мелкихъ подробностей, всего ярче изображенныхъ въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“. Неудовлетворительныя объясненія приказчика Пульхеріи Ивановны чрезвычайно похожи на отвѣты приказчика Манилову и еще болѣе Тентетникову. Напротивъ, въ подробномъ описаніи присутственныхъ мѣстъ въ отрывкѣ, начинающемся словами: „Гдѣ не бываетъ наслажденій? Живутъ они и въ Петербургѣ, несмотря на суровую, сумрачную его наружность“ — отразились уже впечатлѣнія жизни Гоголя въ періодъ его департаментской службы (также какъ отчасти и раньше въ „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“) и вообще первыхъ лѣтъ его жизни въ Петербургѣ. При описаніи канцелярской обстановки и обычныхъ въ присутственныхъ мѣстахъ дѣловыхъ и посторонннихъ разговоровъ также нерѣдко попадаются черты, уже не разъ встрѣчавшіяся съ небольшой разницей въ прежнихъ произведеніяхъ Гоголя; такъ, безучастный дѣловой видъ и неторопливость чиновника газетной экспедиціи въ повѣсти „Носъ“ и старика-чиновника въ VII главѣ „Мертвыхъ Душъ“ также чрезвычайно сходны, особенно въ моментъ начала разговора одного изъ нихъ съ Чичиковымъ, другого—съ маіоромъ Ковалевымъ. Какъ въ „Шинели“ писаря въ прихожей настойчиво добивались, „за какимъ дѣломъ

и какая надобность привела къ частному Акакію Акакіевича, и что̀ такое случилось", такъ рѣшительно то же самое повторяется и съ Чичиковымъ и Маниловымъ, когда два чиновника юныхъ лѣтъ замѣтили имъ: „Скажите прежде, что̀ купили и въ какую цѣну, такъ и мы вамъ скажемъ; а такъ нельзя знать". Наконецъ, въ описаніи бала въ VIII главѣ съ небольшими перемѣнами повторена не одна черта, уже воспроизведенная въ повѣсти „Невскій Проспектъ". Чичиковъ, подобно Пискареву, также съ трудомъ пробирается черезъ толпу къ предмету поклоненія, причемъ въ описаніи губернаторской дочки еще одинъ разъ промелькнули нравившіяся Гоголю съ юности очертанія „простого платьица, легко и ловко обхватившаго во всѣхъ мѣстахъ молоденькіе, стройные члены, которые обозначались въ какихъ-то чистыхъ линіяхъ" (См., напр., въ „Остраницѣ": „Дѣвушка лѣтъ восемнадцати стала спускаться къ греблѣ. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали станъ ея, такъ что формы ея были какъ будто отлиты" и проч.). Неловкость Чичикова въ ухаживаніи за губернаторской дочкой снова вызываютъ автора на тѣ же размышленія, которыя однажды уже были имъ высказаны по поводу поручика Пирогова, счастливо умѣвшаго своей непритязательной болтовней занимать дѣвицъ: „для чего нужно большое искусство, или, лучше сказать, совсѣмъ не имѣть никакого искусства. Нужно говорить такъ, чтобы не было ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смѣшно, чтобы во всемъ была та мелочь, которую такъ любятъ женщины". Замѣтимъ мимоходомъ, что самому Гоголю, какъ свидѣтельствуетъ С. Т. Аксаковъ, рѣшительно не давалось это искусство. Гоголь не любилъ также баловъ и находилъ ихъ неудачнымъ и неприличнымъ русскому характеру заимствованіемъ у французовъ.

Кромѣ указанныхъ слѣдовъ личныхъ впечатлѣній Гоголя, во всей поэмѣ разсѣяно множество отдѣльныхъ, мѣтко схваченныхъ, наблюденій, не вошедшихъ въ общую картину, но введенныхъ въ разныхъ мѣстахъ въ разсказъ въ видѣ сравненій. Поэтому мы особенно часто встрѣчаемъ въ „Мертвыхъ Душахъ" длинныя, обстоятельно распространенныя уподобленія, которыя въ большинствѣ случаевъ составляютъ совершенно самостоятельные, художественные образы. Таково, напр., въ первой главѣ раздѣленіе чиновниковъ на толстыхъ и тоненькихъ, сравненіе мелькавшихъ во множествѣ на губернаторской вечеринкѣ черныхъ фраковъ съ воздушными эскадронами мухъ, разсаживающихся на рафинадѣ и сгоняемыхъ старухой-ключницей; описаніе пѣвчихъ и бѣглая, сдѣланная мимоходомъ, характеристика правителя канцеляріи, во

второй главѣ, неравной борьбѣ съ волнами утопающаго—въ шестой главѣ; растерянности Чичикова при встрѣчѣ съ губернаторской дочкой на балу—растерянности, похожей на состояніе человѣка, вспомнившаго дорогой о какомъ-то сдѣланномъ по забывчивости упущеніи,—въ восьмой главѣ; наконецъ описаніе барина-охотника, настигающаго зайца,—въ девятой, и проч. Множество другихъ сравненій въ „Мертвыхъ Душахъ“ отмѣчено Шевыревымъ въ его критической статьѣ о нихъ. По поводу этихъ сравненій Шевыревъ вѣрно указалъ на случайное отношеніе ихъ къ главному разсказу: „Въ фантазіи нашего поэта,—говоритъ онъ,—есть русская щедрость или чивость (sic), доходящая до расточительности,—свойство, выраженное у насъ старинной пословицей: „все, что̀ ни есть въ печи, то на столъ мечи“ („Москвитянинъ“, 1842 г., т. VIII, 374 стр.).

Вотъ все, что̀ даетъ для изученія жизни самого Гоголя первый томъ „Мертвыхъ Душъ“.

Влад. Шенрокъ.

ЛЕНОЧКА

ПОВѢСТЬ.

Окончаніе.

VIII *).

То, на что надѣялась Марья Петровна, оправдалось отчасти: нѣсколько лѣтъ усиленной экономіи позволили привести хозяйство въ порядокъ; конечно, до возможности переселиться въ Петербургъ съ дочерью было еще далеко, но, по крайней мѣрѣ, не было надобности отказывать себѣ въ самомъ необходимомъ.

Одно смущало теперь Марью Петровну: какъ быть съ Леночкой? отпускать ее одну на „противные" курсы Марьѣ Петровнѣ не хотѣлось, а самой ѣхать нельзя; поэтому ее очень обрадовало письмо тети Лизы, подтверждавшее приглашеніе Зины. „Только бы Леночка согласилась",—думала она, осторожно заводя съ ней разговоръ.

Но, къ удивленію ея, Леночка почти не протестовала. Въ душѣ она рѣшила, что надо ѣхать въ Петербургъ во что бы то ни стало, хотя бы и къ тетѣ Лизѣ, но не ради высшихъ курсовъ, а для того, чтобы готовиться на сцену. Конечно, говорить объ этомъ никому нельзя, даже Вѣрѣ, которая навела ее на эту мысль.

Какъ ни хорошо ей было въ деревнѣ, Леночка съ нетерпѣніемъ стала ждать дня отъѣзда. Мысль, что она скоро увидитъ

---

*) См. выше: сент., стр. 5.

ту сцену, на которой, можетъ быть, ей и самой суждено появиться, теперь не давала ей покоя. До сихъ поръ она почти не знала театра; въ институтѣ ихъ возили нѣсколько разъ въ оперу и въ балетъ, но „Аскольдова Могила“ и „Дочь Фараона“ были не то, о чемъ она мечтала. Въ началѣ сентября, подъѣзжая къ Петербургу, она невольно сравнивала этотъ пріѣздъ со своими первыми впечатлѣніями. Какая разница! Теперь все самое тяжелое и скучное уже сдѣлано; конечно, планы ея совсѣмъ измѣнились, но трудъ не пропалъ даромъ: она окончательно знаетъ — зачѣмъ и куда она ѣдетъ.

На вокзалѣ Зина ее не встрѣтила,—она была не совсѣмъ здорова.

Но когда Леночка вошла въ ихъ бывшую классную,—громадный смирнскій коверъ, на которомъ совсѣмъ не было слышно шаговъ, піанино, низкая мебель и столы, заставленные фотографіями, такъ же мало напоминали прежнюю обстановку, какъ блѣдная молодая дѣвушка, вставшая ей на встрѣчу, мало напоминала прежнюю Зину.

Зато въ уборной и въ спальнѣ почти ничего не перемѣнилось, и Леночкѣ показалось, какъ будто она совсѣмъ не уѣзжала отсюда.

— Послушай, Зина,—сказала она, останавливаясь передъ знакомымъ зеркаломъ:—а мнѣ не принесутъ сейчасъ короткаго платья отъ м-мъ Валери?

Зина засмѣялась.

День прошелъ въ суетѣ, въ раскладкѣ вещей и въ общихъ разговорахъ; но какъ только вечерній чай былъ конченъ, обѣ онѣ ушли, подъ предлогомъ, что Лена устала; спать онѣ, однако, не ложились и расположились у догорающаго камина.

— Ты знаешь,—сказала Зина:—мама хотѣла приготовить твою спальню особо, но я рѣшила, что спать мы будемъ вмѣстѣ. Не правда ли такъ лучше? Днемъ такая суета, что и говорить некогда; а заниматься ты можешь у себя; тамъ тебѣ никто не помѣшаетъ. Ты по прежнему на курсы собираешься?

— Да, я думаю,—нерѣшительно отвѣтила Леночка, перелистывая альбомъ съ фотографіями, и поспѣшила перемѣнить разговоръ.

— А какіе твои планы? — мы такъ давно съ тобою не видались!..

— Не знаю. Зиму мы остаемся здѣсь; мама хочетъ, чтобъ я выѣзжала...

— Это кто?—спросила Лена, разсматривая фотографію ка-

кого-то молодого человѣка, точно соскочившаго съ модной картинки.

— Неужели ты его не узнала? Это Боря. Мы почти не видаемъ его. Онъ не выдержалъ экзамена въ университетѣ и поступилъ теперь въ правовѣденіе.

— И ты не плачешь о немъ?

— Да, жаль его. Ему такъ этого не хотѣлось. Я знаю, ты его не любишь, но онъ въ сущности премилый мальчикъ, хотя послѣднее время дѣйствительно избаловался немного.

— Ты собиралась когда-то замужъ за этого мальчика.

— Я? мало ли за кого собираешься въ пятнадцать лѣтъ!

— Но ты писала мнѣ, что онъ еще этой весной дѣлалъ тебѣ предложеніе,—ты отказала ему?

— Нѣтъ, онъ тогда былъ такъ взволнованъ, что я не сказала ни да, ни нѣтъ.

— А теперь?

— Теперь, я думаю, онъ и самъ понимаетъ, что это невозможно.

— Ты думаешь?

— Да; впрочемъ я еще не видала его съ тѣхъ поръ, какъ онъ поступилъ въ училище.

Леночка была очень довольна, что все это такъ устроилось, но не по злорадству; ее лично теперь уже не могъ ни разсердить, ни заинтересовать этотъ мальчикъ, но она опасалась, что Зина продолжаетъ быть къ нему неравнодушной.

Дня черезъ два послѣ ея пріѣзда, Боря явился, наконецъ, въ своемъ новомъ мундирѣ. Тети Лизы не было дома, и онъ вошелъ съ мрачнымъ видомъ, въ надеждѣ застать Зину одну. Присутствіе Леночки оказалось для него непріятнымъ сюрпризомъ.

Она хотѣла уйти, но Зина удержала ее.

— Куда ты? У насъ нѣтъ секретовъ.

Боря не ожидалъ этого и горько усмѣхнулся.

— Souvent femme varie...—пробурчалъ онъ себѣ подъ носъ.

— Что?—спросила Зина.

— Ничего. Какіе же у насъ теперь могутъ быть секреты?! Надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что *вы* будете счастливы.

Зина не знала, что отвѣчать.

„Чего онъ ломается?“—думала Леночка; разговоръ не клеился, и всѣмъ троимъ было неловко.

— Напишите мнѣ что-нибудь,—сказала, наконецъ, Зина, подавая ему альбомъ.

Боря взялъ перо и нахмурился. Потомъ рѣшительнымъ по-

черкомъ, такъ что чернило брызнуло, онъ быстро написалъ нѣсколько строкъ.

— Прочтите.

Боря мрачно продекламировалъ:

—Такъ двѣ волны несутся дружно
Свободной, вольною четой;
Въ пустынѣ моря голубой
Ихъ гонитъ вмѣстѣ вѣтеръ южный,
Но ихъ разгонитъ гдѣ-нибудь
Утеса каменная грудь.

Опять наступило молчаніе, и имъ опять стало неловко.

— Леночка, напиши и ты.

Леночка повернула страничку и не задумываясь стала писать.

— Покажи, что ты написала!—и, пробѣжавъ стихи, Зина хотѣла скорѣе закрыть альбомъ, но и Боря успѣлъ уже прочесть:

Вянетъ листъ. Проходитъ лѣто.
Иней серебрится.
Юнкеръ Шмидтъ изъ пистолета
Хочетъ застрѣлиться.

Онъ вспыхнулъ. Какъ! и эта деревенская дѣвочка, эта институтка, которую онъ такъ удачно дразнилъ бывало, начинаетъ уже смѣяться надъ нимъ? Но всего обиднѣе было то, что Зина не разсердилась, а спокойно закрыла альбомъ и положила его на прежнее мѣсто.

Не желая показать, что онъ обидѣлся, онъ просидѣлъ еще нѣсколько минутъ, но говорилъ уже только о посторонникъ предметахъ.

Съ этого дня онъ почти не являлся къ нимъ и заходилъ только съ оффиціальными визитами, да иногда бывалъ на музыкальныхъ вечерахъ тети Лизы. Зина, которая сначала жалѣла его, убѣдившись, что онъ на нее дуется, съ своей стороны не особенно горевала, тѣмъ болѣе, что у нея скоро нашлись другіе, болѣе взрослые поклонники; скучать ей было некогда. Дни были слишкомъ наполнены; даже тогда, когда не было базаровъ, вечеровъ или спектаклей, приходилось готовиться къ нимъ.

Леночка наотрѣзъ отказалась ѣздить на вечера, но зато не только не пропускала ни одного представленія оперы, гдѣ была абонирована тетя Лиза, но пользовалась каждымъ случаемъ, чтобъ попасть въ театръ съ миссъ Блэкъ или съ кѣмъ-нибудь изъ знакомыхъ.

Она такъ увлекалась дѣйствіемъ на сценѣ, что ничего не видѣла и не слышала вокругъ себя.

И тетѣ Лизѣ иногда не легко было заставить ее придти въ себя, отвѣтить на вопросъ или поздороваться съ входившими въ ложу; а заставить ее уѣхать прежде конца было почти невозможно.

Вернувшись домой, Леночка иногда по цѣлымъ днямъ оставалась подъ впечатлѣніемъ видѣннаго, и даже ночью ей снилось—то Офелія съ блуждающимъ взглядомъ, то Мефистофель со своей гитарой и пѣсней, прерываемой злобнымъ смѣхомъ, то Карменъ, то Іоанна д'Аркъ. Иногда ей казалось, что и Карменъ, и Іоанна д'Аркъ—это она сама; ей чудилось, что она слышитъ свой голосъ, только не было ни занавѣса, ни ложъ, ни кулисъ, а она была въ настоящемъ полѣ и въ настоящемъ лагерѣ. Она слышала громъ орудій, топотъ и крики, и неслась на просторѣ; сердце ея билось, она просыпалась въ восторгѣ и въ страхѣ и долго не могла успокоиться.

У тети Лизы на вечерахъ бывали многіе изъ артистовъ, и Леночка съ благоговѣніемъ смотрѣла на нихъ. Что за бѣда, что эти Неверы, Раули, Эльзы и Маргариты въ дѣйствительности мало походили на то, чѣмъ они были на сценѣ,—стоило имъ уйти отсюда, стоило опять подняться занавѣсу, и они опять превратятся въ настоящихъ Неверовъ, Гамлетовъ и Маргаритъ, и въ сущности не тамъ, а тутъ они играютъ разъ навсегда затверженную и неинтересную роль.

Она читала все, что могла найти о театрѣ, и все болѣе соглашалась съ Вѣрой, что значеніе театра выше всякой науки. Самая атмосфера театра производила на нее опьяняющее впечатлѣніе; она не могла бы сказать, что она больше любитъ: оперу или драму? Сама она рѣшила быть пѣвицей, но главнымъ образомъ потому, что у нея былъ голосъ, и что изъ разговоровъ, которые ей приходилось слышать, она вывела заключеніе, что въ оперѣ ей легче будетъ дойти до первыхъ ролей. Объ успѣхѣ она почти не думала; ее привлекалъ не столько этотъ успѣхъ, сколько самое исполненіе, возможность сдѣлаться совсѣмъ другимъ лицомъ, жить другою, полною, яркою жизнью и заставлять жить ею тысячи зрителей. Менѣе всего цѣнила она комедію. Сама она иногда смѣялась до слезъ, но у нея не было охоты вызывать этотъ смѣхъ въ другихъ, особенно въ большой публикѣ. Она не могла себѣ представить, что могло бы быть пріятно—находиться въ положеніи лица, надъ которымъ смѣются даже тогда, когда оно нарочно вызываетъ этотъ смѣхъ,—а нравственное, воспита-

тельное значеніе комедіи мало интересовало ее. Ее манило только то, что̀ дѣйствовало на нее непосредственно.

Она знала, что надо учиться, и одно время думала даже о консерваторіи, но, убѣдившись, что тамъ въ программѣ множество предметовъ, не имѣющихъ прямого отношенія къ театру и для нея неинтересныхъ, она рѣшилась ограничиться частными уроками. Зато дома занималась прилежно, не какъ любительница, и успѣхи ея оказались настолько быстрыми, что, благодаря ея учительницѣ, уже стали говорить о ней, хотя при гостяхъ она никогда еще не пѣла.

Такъ прошла почти вся зима.

IX.

Сезонъ приближался къ концу. У тети Лизы назначенъ былъ послѣдній музыкальный вечеръ, а такъ какъ на вечерахъ этихъ бывалъ весь Петербургъ, то приготовленія къ нему были въ полномъ разгарѣ: обсуждалась программа, велись переговоры съ артистами и разсылались приглашенія.

Леночка на этотъ разъ была въ особомъ волненіи. Она знала, что ее опять будутъ просить пѣть. Какъ ей быть? Тогда за нее отказалась тетя Лиза, и теперь, вѣроятно, будетъ то же самое; но если къ тетѣ Лизѣ слишкомъ пристанутъ, все-таки ей самой... Но почему? Вѣдь въ сущности ей хотѣлось бы пѣть; конечно, будетъ страшно, надо же однако когда-нибудь начать. И ей представлялось уже, какъ тетя Лиза устраняется отъ этого вопроса, предоставляя ей самой дѣлать, какъ знаетъ. Ее обступаютъ, упрашиваютъ, и она, наконецъ, соглашается. Но что̀ она будетъ пѣть—это важный вопросъ. Надо скорѣе что-нибудь приготовить.

Въ залѣ почти темно; скоро позовутъ обѣдать, но она не можетъ дожидаться; она зажигаетъ свѣчи на рояли и, выбравъ „Ночи безумныя“, начинаетъ разучивать ихъ съ такимъ увлеченіемъ, что тетя Лиза выходитъ изъ гостиной.

— Что̀ съ тобой, Лена? къ чему такой избытокъ чувства? вѣдь ты не цыганка!

Лена встаетъ немного сконфуженная и рѣшаетъ отложить приготовленія до завтра, когда тетя Лиза уѣдетъ съ визитами; но думать ни о чемъ другомъ она больше не можетъ.

Неужели черезъ три дня она въ самомъ дѣлѣ будетъ пѣть въ этой залѣ, и весь Петербургъ будетъ знать ее, будутъ говорить о ней, будутъ завидовать?

Наконецъ, наступилъ знаменательный день. Леночка съ утра была точно въ лихорадкѣ, такъ что Зина даже замѣтила это:

— Что ты такъ волнуешься? можно подумать, что тебѣ самой надо пѣть.

Сейчасъ же послѣ обѣда Леночка принялась за свой туалетъ. Она пробовала то одно платье, то другое, и все казалось ей не то. Надо, чтобы просто было, безъ претензіи—и въ то же время красиво. Наконецъ, она остановилась на бѣломъ газовомъ: „Положительно недурно", — думала она, разглядывая себя въ зеркалѣ и поправляя ленту, которой перехвачены были волосы, кольцами спускавшіеся на полуобнаженныя плечи.

„Только не выйдетъ ли черезъ-чуръ à l'enfant? Ну, да все равно, никто не приметъ за дѣвочку, а разыгрывать старуху мнѣ нѣзачѣмъ",—и, еще разъ осмотрѣвшись и оправивши платье, она вышла.

Гостиная была уже почти полна. Тутъ были и военные въ блестящихъ мундирахъ, и старички въ черныхъ фракахъ со звѣздами, и пажи, и лицеисты. Всѣ они, въ отдѣльности взятые, мало интересовали Леночку, но это была публика.

Неподалеку отъ двери стоялъ худощавый господинъ съ выразительнымъ лицомъ и длинными волосами. Онъ что-то разсказывалъ, и нѣсколько дамъ его слушали.

— Ты знаешь Залѣсскаго?—спросила Зина.—Хочешь, я тебя познакомлю?

Лена знала его только по репутаціи. Залѣсскій былъ присяжный повѣренный и литераторъ. Тетя Лиза, вообще не любившая адвокатовъ и не допускавшая ихъ въ свою гостиную, дѣлала въ его пользу исключеніе; во-первыхъ, потому что, прежде чѣмъ сдѣлаться присяжнымъ повѣреннымъ, онъ служилъ въ министерствѣ и бывалъ уже въ обществѣ; во-вторыхъ, потому что онъ пользовался репутаціей человѣка очень образованнаго и остроумнаго. По временамъ, когда общій разговоръ падалъ, онъ умѣлъ оживить и заинтересовать общество; собственно разговаривать онъ былъ не мастеръ, зато умѣлъ говорить, когда другіе молчали.

Не успѣла Зина представить его Леночкѣ, какъ одна изъ дамъ, его слушавшихъ, обратилась къ Ленѣ съ вопросомъ:

— Что же вы намъ сегодня споете?

— Я? Ничего. Я только надѣюсь васъ слышать.

— Это само собой! Мнѣ ваша учительница столько говорила про васъ,—мы съ ней большія пріятельницы, она вѣдь мнѣ

тоже давала когда-то уроки. Нѣтъ, сегодня вы намъ непремѣнно что-нибудь споете.

— Но, право, я не пою; я учусь только.

— Да, я это тоже очень долго говорила, только мнѣ давно вѣрить перестали.

Мими Гриневой было уже за-тридцать. Она давно пѣла во всѣхъ благотворительныхъ концертахъ, но на видъ ей нельзя было дать и двадцати. Небольшая, стройная и живая, одѣтая почти такъ же, какъ Леночка, она держала себя почти дѣвочкой.

— Нѣтъ, это невозможно,—повторила Леночка, желая только, чтобы ее опровергли.

— А пѣть вы все-таки будете,—коротко отвѣтила ея собесѣдница.

Несмотря, однако, на это категорическое заявленіе, первая половина вечера не принесла разъясненія вопроса, будетъ или не будетъ пѣть Леночка.

Она была въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи. Среди этой толпы полузнакомыхъ лицъ у нея не было почти никого близкаго. Неужели Петя не пріѣдетъ? Она сама писала приглашеніе. Но онъ былъ уже въ дверяхъ, и она обрадовалась ему такъ, какъ не обрадовалась бы въ деревнѣ.

— Что вы такъ опоздали?

— Еслибы не ваша приписка на приглашеніи, ни за что бы не пріѣхалъ. Сами знаете, я дикій. Въ Петербургѣ безъ году недѣлю и почти никого не знаю.

Леночка хотѣла уже увести его въ сторону и поговорить съ нимъ, но вдругъ услышала свое имя и обернулась.

— За что вы хотите ее мучить?—говорила тетя Лиза.

— А вы развѣ не хотите меня мучить? — отвѣчала Мими Гринева.

— Это совсѣмъ другое дѣло.

— Почему же другое? Я согласна пѣть только, если мадмоазель Эленъ тоже будетъ пѣть... Какъ это говорится: долгъ пріятенъ платежомъ.

Дальше Леночка не разслышала, но Мими Гринева рѣшительно подошла къ ней.

— Рѣшено. Графиня васъ выдала; теперь мы васъ такъ не отпустимъ. Нѣтъ, нѣтъ, и не пробуйте отговариваться, все равно не удастся,—и она повлекла ее въ залу выбирать ноты.

— Нѣтъ, пожалуйста, не надо!—отговаривалась Леночка и теперь уже готова была убѣжать въ самомъ дѣлѣ.

— Да чего вы боитесь? теперь всѣ „большіе“ спѣли, а съ насъ не взыщутъ: мы—любительницы.

— Ну, хорошо, только немного подождите.

— Пожалуй, только вы отъ меня не убѣгите.

Леночка, впрочемъ, и не думала отъ нея бѣжать, и еслибы ей въ это время не было такъ жутко, она бы гордилась своей новой подругой, которая ни на шагъ отъ нея не отходила.

— Ну, теперь пора начинать,—сказала она.

— Спойте вы сначала,—просила Леночка, чувствуя, что она слишкомъ волнуется, и желая выиграть время.

— А вы потомъ не обманете?

— Я никогда не обманываю.

Мими Гринева пѣла легко и граціозно, ничего не подчеркивая; голосъ у нея былъ не сильный, но пріятный и гибкій, и она прекрасно владѣла имъ, какъ будто нарочно избѣгая яркихъ эффектовъ.

— Charmant, délicieux, admirable!—послышалось, когда она кончила.

— Ну, теперь ваша очередь.

Леночка подошла къ роялю. Она чувствовала, что руки ея холодѣютъ и сердце стучитъ такъ, что духъ захватываетъ.—„Что же это будетъ? что же это будетъ?“—думала она.

Аккомпаніаторъ оглянулся; она машинально кивнула головой и первые аккорды раздались.

Къ ужасу тети Лизы, она выбрала арію изъ „Карменъ“.

Въ первую минуту Леночкѣ показалось, что ее не слыхать, и она чуть-было не растерялась совсѣмъ, но сдѣлала надъ собой усиліе и овладѣла собой; голосъ зазвучалъ увѣреннѣе, и слова: „Prends garde, prends garde à toi!“ прозвучали такой страстной угрозой, что въ залѣ послышался сдержанный шопотъ.

Леночку окружили. Ее поздравляли, просили ее пѣть еще.

Только между дамами успѣхъ ея былъ не такъ полонъ.

— Quel aplomb, cette petite!—слышалось между ними.

— Bientôt les bébés vont nous chanter „la belle Hélène“!

Зато мужчины были снисходительнѣе.

— Это настоящая артистка!

— Такъ молода и столько огня!

— Голосъ замѣчательный.

Леночка стояла не то счастливая, не то готовая расплакаться. Ей хотѣлось бы скорѣй убѣжать и остаться одной, но это было невозможно.

Гринева выражала ей свой восторгъ, хотя была съ ней уже гораздо болѣе сдержанна, чѣмъ въ началѣ вечера.

— Вы *настоящая* артистка!— повторяла она, почему-то подчеркивая это прилагательное.

Залѣсскій говорилъ, что у нея священный огонь, и что она не въ правѣ зарывать свой талантъ.

Потомъ слышались французскіе возгласы: „charmant, très joli, delicieux!"

И потомъ опять: „Вы это изумительно спѣли, я даже не ожидалъ"...

Наконецъ, ей удалось вырваться, и она очутилась у себя въ комнатѣ. Тамъ было почти темно, только лучъ мѣсяца прокрадывался сквозь опущенныя драпри и бросалъ на паркетъ узкую свѣтлую полосу. Леночка не зажгла огня и опустилась въ кресло у письменнаго стола.

Ну, вотъ она и дебютировала; нѣтъ больше прежней Леночки, теперь она—совсѣмъ другая.

Она такъ ждала этой минуты, но ей казалось, что это будетъ совсѣмъ не такъ; она не могла бы сказать, какъ именно, но только совсѣмъ, совсѣмъ иначе. Можетъ быть, теперь такъ вышло, потому что это все-таки не настоящій дебютъ,—думала она, вставая и подходя къ окну.

„Какъ здѣсь душно! Какъ хорошо было бы очутиться сейчасъ тамъ, въ этой морозной, сверкающей ночи!"

Въ сосѣдней комнатѣ, отведенной мужчинамъ для куренья, слышались голоса.

— А очень, очень недурно это она спѣла, и съ огонькомъ!

— Да, только выборъ страненъ немножко; не знаю, какъ графиня позволила.

— Она, кажется, и не знала.

— А вы замѣтили Залѣсскаго: онъ не прочь пріударить за ней.

— Ну его совсѣмъ! вотъ человѣкъ, который самъ себя выдумалъ, а наши дамы повѣрили и носятся съ нимъ, какъ съ писаной торбой.

— Тише, не онъ ли? Легокъ на поминѣ.

— Вотъ вы гдѣ, господа, подъ впечатлѣніемъ восходящаго свѣтила!

— Нѣтъ, просто курить страхъ захотѣлось. А я васъ еще не поздравилъ.

— Съ чѣмъ это?

— Съ кассаціонной жалобой по дѣлу Хрюкановича; прямо спасли отъ каторги.

— А признайтесь, все-таки препротивный старикашка.

— Не смѣю спорить.

— Я иногда завидую вашему хладнокровію; васъ никогда не тошнитъ отъ вашихъ кліентовъ?

— Что же дѣлать, раздѣленіе труда: негодованье — дѣло прокурора; и потомъ, еслибы мы защищали только святыхъ, не много бы дѣлъ у насъ было.

— Ну, между святостью-то и Хрюкановичемъ или барономъ Гольдбергомъ, котораго вы недавно выручили, есть еще порядочный просторъ.

Но Залѣсскій предпочелъ перемѣнить разговоръ:

— А знаете, изъ этой дѣвочки можетъ выйти прокъ.

— Изъ какой дѣвочки? Изъ той, которую просвѣтилъ Гольдбергъ?

— Дался вамъ этотъ Гольдбергъ! Я говорю про сегодняшнюю Карменъ.

— Однако, пойдемте, пора и честь знать; тамъ, кажется, еще тройки затѣваются, а я до этого не охотникъ...

Леночка продолжала стоять у окна, прижавшись лбомъ къ холодному стеклу; только когда затворилась дверь въ сосѣднюю комнату и въ коридорѣ послышались удаляющіеся шаги, она очнулась и тоже вышла.

Она окончательно пришла въ себя только тогда, когда очутилась на тройкѣ, и морозный воздухъ обдалъ ея разгоряченное лицо, а тройка помчалась, по временамъ обдавая ее снѣжной пылью.

Въ деревнѣ, у Сохансвихъ, они, бывало, часто катались такъ, но это было совсѣмъ не то; сани летѣли такъ же быстро, но, казалось, какъ будто они не двигаются среди необозримой снѣжной равнины, только мѣрно покачивается спина коренной среди скачущихъ пристяжныхъ, только снѣгъ свиститъ подъ полозьями, да отъ времени до времени мимо проносятся былинки полыни или комъ земли, не засыпанный снѣгомъ, точно брошенные на встрѣчу невидимой рукой, а сани какъ будто не двигаются — и неподвижно мерцаютъ звѣзды, и неподвижно чернѣетъ лѣсъ на краю горизонта, и, кажется, можно совсѣмъ забыться и утонуть въ этомъ холодномъ, неподвижномъ и безпредѣльномъ, сверкающемъ морѣ.

А тутъ совсѣмъ другое дѣло: бубенчики звенятъ какъ-то суетливо; то-и-дѣло мелькаютъ фонари, экипажи и ярко освѣ-

щенныя окна; то-и-дѣло слышится отрывистый окрикъ ямщика: „Правѣй, правѣй держи! Берегись, эй! берегись!“—и прохожіе, забросанные снѣжною пылью, оборачиваются на нихъ не то съ досадой, не то съ завистью,—только налѣво неподвижной серебряной лентой стелется Нева, окаймленная огненными линіями фонарей.

— Посмотрите, какъ хорошо!—вырвалось у Леночки.

— Да, хорошо. Свѣтъ, молодость и красота! — проговорилъ Залѣсскій, но самъ почувствовалъ, что это не то, и снова наступило молчаніе.

Но вотъ они и по ту сторону Невы. Дома становятся ниже, прохожіе попадаются рѣже, деревья чаще, окна не такъ ярко освѣщены. Впереди только свѣтится подъѣздъ загороднаго ресторана.

— Какъ жаль, что нельзя зайти!—говоритъ Боря, все время хранившій молчаніе.

И Леночка чувствуетъ вдругъ, что ей ужасно хочется заглянуть туда.

— Почему нельзя?

— Потому что васъ не пустятъ.

— Меня не пустятъ? Кто это? Хотите, пойдемъ?!

— Леночка, что съ тобой, не дѣлай вздору!—пытается ее уговорить Зина.

Но успокоить ее было уже трудно.

— Что жъ, велите остановиться, или боитесь?

Боря привсталъ:—Остановись у подъѣзда!—крикнулъ онъ ямщику, и тотъ сталъ сдерживать лошадей.

Компанія, выходившая изъ ресторана и не совсѣмъ твердая на ногахъ, остановилась посмотрѣть на подъѣзжающихъ.

— Лена, ради Бога!—говорила перепуганная Зина.

Но Залѣсскій успѣлъ уже крикнуть: „пошелъ!“—и сани опять помчались, къ удивленью разочарованныхъ зрителей и швейцара, собиравшагося уже отстегнуть полость.

Скоро они нагнали остальныя тройки.

Боря былъ обиженъ такой безцеремонной отмѣной его распоряженія и на обратномъ пути не сказалъ ни слова; Леночка была почти довольна и обратила все въ шутку.

Когда они вернулись домой, у подъѣзда стояли еще двѣ, три запоздалыя кареты.

— Я не пойду туда,—сказала Лена и прошла прямо къ себѣ.

Когда она вошла въ спальню, тишина поразила ее. Угли тлѣли въ каминѣ. На столѣ возлѣ ея постели зажжена была ма-

ленькая лампа подъ розовымъ кружевнымъ абажуромъ—все это было какъ всегда и ко всему этому она успѣла привыкнуть за послѣднее время. Ей начинало казаться, что окружавшая ее толпа, и комплименты, и быстро скачущая тройка, и окна ярко освѣщеннаго ресторана,—все это она видѣла только во снѣ. Всего этого она давно ожидала, и въ то же время все это было такъ неожиданно и такъ не похоже на то, что она себѣ представляла.

И невольно въ головѣ ея уже мелькала мысль: „такъ вотъ что такое успѣхъ! неужели только?!“

Но приходъ Зины нарушилъ ея размышленія.

— Ты знаешь, мама очень недовольна, что ты пѣла изъ „Карменъ“.

— Отчего же она не сказала?

— Она никакъ не ожидала, что ты выберешь именно это. Многимъ это не понравилось.

— На всѣхъ не угодишь. Ничего не понимаютъ, а тоже толкуютъ о музыкѣ!—съ досадой сказала Леночка.

— Не понимаю, изъ-за чего ты такъ волнуешься; предоставь каждому говорить и думать по-своему.

— Попугаи тоже говорятъ, но неизвѣстно, что они думаютъ.

Зина не возражала и, улегшись въ постель, сейчасъ же погасила свѣчу.

X.

Недовольство тетей Лизой и всѣми „этими дамами“ вдругъ оживило въ Леночкѣ ослабѣвшую за послѣднее время любовь къ наукѣ и презрѣнье къ „свѣту“.

На слѣдующее утро она рѣшила отправиться съ миссъ Блэкъ въ Публичную Библіотеку. У нея мелькнула-было мысль ѣхать одной, но изъ-за этого не стоило затѣвать новую исторію; къ тому же она чувствовала себя не совсѣмъ ловко среди чужихъ людей, между которыми у нея не было ни души знакомой; поэтому она отправилась по обыкновенію съ миссъ Блэкъ, которая захватила, какъ всегда, томикъ Таухница, предпочитая имѣть готовую книжку, чѣмъ дожидаться ее отъ библіотекаря.

Черезъ четверть часа карета остановилась противъ памятника Екатерины.

Швейцаръ отворилъ двери, и сторожъ, который уже зналъ ихъ, принялъ съ поклономъ ихъ шубы.

Въ сѣромъ шерстяномъ платьѣ, перетянутомъ кожанымъ поясомъ, съ гладко зачесанными волосами, Леночку нельзя было при-

нять за курсистку, но она была непохожа и на выѣзжающую барышню, которую неизвѣстно для чего привезли осматривать залы Публичной Библіотеки.

Онѣ медленно поднимались по лѣстницѣ, когда Леночка увидала передъ собой неуклюжую фигуру съ длинными волосами и истрепаннымъ портфелемъ подъ мышкой.

Не успѣла она узнать своего бывшаго учителя, какъ Аристархъ Николаевичъ, съ обычной усмѣшкой, протянулъ ей руку.

— Вотъ неожиданная встрѣча! Особенно здѣсь.

Леночка остановилась. Миссъ Блэкъ посмотрѣла на него искоса и, поднявшись наверхъ, стала дожидаться.

— Почему же неожиданная? Мнѣ кажется, что я скорѣе могла бы удивиться, что вы здѣсь. Развѣ вы оставили московскій университетъ?

— Нѣтъ, напротивъ, даже остался на томъ же курсѣ;— учрежденіе хорошее, только начальство такое...

— Какъ же вы здѣсь?

— По своимъ дѣлишкамъ, да жена моя,—разумѣется, гражданская,—собралась лекцію читать.

— А вы женились?

— Почти.

— Не понимаю.

— И не надо.

— Какъ хотите.—И Леночка собиралась уже пройти дальше, но Аристархъ Николаевичъ остановилъ ее.

— Постойте, постойте, куда вы такъ спѣшите? Это ваша гувернантка?

— Какой вздоръ!—И въ то же время Леночка къ досадѣ своей почувствовала, что краснѣетъ.—Она просто живетъ у моей тетки.

— Живетъ у вашей тетки и ходитъ за вами?.. Въ половинѣ восьмого заѣду за вами.

— Я буду ждать васъ,—и Леночка подошла къ миссъ Блэкъ, которая съ недоумѣніемъ смотрѣла на нее.

— Это мой бывшій учитель.

Миссъ Блэкъ съ еще бо̀льшимъ неодобреніемъ посмотрѣла на Аристарха Николаевича.

Сказавъ ему—заѣхать за ней, Леночка почувствовала, что сдѣлала глупость.

Ѣхать съ нимъ, вечеромъ, въ какой-то неизвѣстный кружокъ, было не только неприлично съ точки зрѣнія тети Лизы и „этихъ дамъ", но и для нея самой не совсѣмъ пріятно. Въ сущности изби-

рательныя права женщинъ, особенно теперь, мало бы ее интересовали. А Рыжову можно было бы увидать какъ-нибудь иначе. Но теперь разсуждать вообще было бы уже поздно.

Она записала заглавіе какого то сочиненія, передала библіотекарю и стала дожидаться.

Леночка давно приняла за правило не раскаяваться въ томъ, что сдѣлано. Поэтому и теперь она старалась убѣдить себя, что это даже лучше будетъ: по крайней мѣрѣ сразу опредѣлятся ея отношенія къ тетѣ Лизѣ. „Я уже не дѣвочка и, слава Богу, не дочь ея,—думала она съ раздраженіемъ.—Пѣть у нея, пожалуй, никогда больше не буду, но не позволю вмѣшиваться въ то, что касается меня одной". Конечно, у Леночки вертѣлось на языкѣ сказать Аристарху Николаевичу: „она ходитъ не за мной, а за Зиной",—но она удержалась и только спросила:

— Какое вамъ до этого дѣло?

— Никакого. Только я хотѣлъ предложить вамъ билетъ на лекцію жены моей... т.-е. г-жи Рыжовой.

— Рыжовой? Устиньи Петровны?—и Леночкѣ вдругъ ужасно захотѣлось взглянуть на этого феникса, который, самъ того не зная, былъ одною изъ причинъ ея поступленія въ институтъ.

— Отчего же? я пріѣду. Что стоитъ билетъ?—спросила она, вынимая портъ-монэ.

Аристархъ Николаевичъ засмѣялся.

— Что стоитъ?! а не спросили—о чемъ читаютъ!

Леночка сконфузилась.

— Объ избирательныхъ правахъ женщины. А стоитъ—это ничего не стоитъ, потому что кружокъ частный и пускаютъ только знакомыхъ.—Хотите два билета?

— Это зачѣмъ?

А для этой барыни, которая живетъ у вашей тетушки.

Леночка пожала плечами; она не хотѣла сердиться.

— Нѣтъ, безъ шутокъ, вы однѣ, пожалуй, и не разыщете; я бы самъ заѣхалъ за вами, да меня, чего добраго, и не допустятъ въ ваши хоромы.

— Пріѣзжайте и скажите, чтобы васъ прямо ко мнѣ провели.—И она дала адресъ.—А теперь мнѣ пора, до свиданья!—„Такъ лучше,—подумала она:—по крайней мѣрѣ все будетъ ясно; а жить у нея подъ опекой, какъ будто мнѣ въ самомъ дѣлѣ нужна гувернантка, я не намѣрена".

Успокоившись на этомъ и ничего не прочитавъ, она вернулась домой.

Тетя Лиза пріѣхала только къ обѣду и, поздоровавшись съ Леночкой, ничего не сказала о вчерашнемъ.

„Было бы глупо начинать самой объясненіе, — думала Леночка;—потомъ, когда вернусь съ лекціи; это даже къ лучшему. Дѣло будетъ сдѣлано, а потомъ она можетъ сердиться сколько угодно".

Однако этотъ планъ тоже не удался. Не успѣли онѣ усѣсться за столъ, какъ тетя Лиза спросила:

— Ты, конечно, съ Зиной въ театрѣ сегодня?

— Нѣтъ, Зина мнѣ ничего не говорила.

— Да, я забыла тебѣ сказать, тетя Маша звала насъ: идутъ „Гугеноты".

— Очень жаль, что мнѣ нельзя сегодня.

— Отчего нельзя?

— Я сегодня должна быть на одной лекціи.

— На лекціи вечеромъ?—спросила тетя Лиза.

— Да, въ восемь часовъ.

— Съ кѣмъ же ты поѣдешь? Миссъ Блэкъ должна будетъ проводить Зину.

— Мнѣ никого не надо.

Чувствуя, что рѣшительный моментъ приближается, и въ то же время не желая ставить вопросъ ребромъ, она прибавила:

— Меня интересуетъ и лекція, и та, которая будетъ читать.

— Это дама?

— Жена моего бывшаго учителя.

— О чемъ же она будетъ читать?

— Объ избирательныхъ правахъ женщинъ.

— Какое тебѣ до нихъ дѣло?

— Просто интересно.

— Неужели интереснѣе „Гугенотовъ"?—спросила Зина.

— Какъ кому!—съ досадой отозвалась Леночка, которой и самой теперь жаль было, что такъ некстати встрѣтила Аристарха Николаевича.

— Интересно или нѣтъ, во всякомъ случаѣ это не резонъ отправляться вечеромъ, одной, неизвѣстно куда,—замѣтила тетя Лиза въ видѣ заключенія.

Лена замолчала. Продолженіе спора очевидно ни къ чему не повело бы, и она рѣшила безъ разговоровъ сдѣлать по-своему.

Сказавъ Зинѣ, что въ театръ она ни въ какомъ случаѣ не поѣдетъ, она сейчасъ же послѣ обѣда ушла къ себѣ.

Черезъ четверть часа она услышала шумъ отъѣзжающей кареты. Надо одѣться и предупредить швейцара—не вышло бы ка-

кой-нибудь путаницы съ Аристархомъ Николаевичемъ. Она встала, чтобы пройти въ уборную, но въ дверяхъ столкнулась съ тетей Лизой.

— Лена, ты серьезно хочешь отправляться одна на эту лекцію?

— Да, ma tante, я обѣщала быть непремѣнно.

— Можно послать сказать, что ты не можешь быть.

— Зачѣмъ это? Напротивъ, за мной даже заѣдутъ.

— Заѣдутъ? Кто это?

— Мой бывшій учитель, о которомъ я вамъ говорила.

— И ты съ нимъ вдвоемъ отправишься на эту лекцію?

— Что-жъ тутъ особеннаго?

— Это просто невозможно, я не могу на это согласиться.

Но Леночка разошлась. Ей самой хотѣлось разсердить тетю Лизу, хотѣлось посмотрѣть, какъ она сердится,—она никогда еще не видала.

— А мнѣ очень жаль,—сказала она, глядя ей прямо въ глаза, — что я не могу согласиться съ вами. У каждаго свое мнѣніе.

Но тетя Лиза не разсердилась и даже не удивилась, а только улыбнулась и пожала плечами.

Леночкѣ стало неловко; она отошла къ столу, дѣлая видъ, что отыскиваетъ что-то, но вдругъ услышала, что дверь затворилась и ключъ щелкнулъ въ замкѣ.

— Не можетъ быть!—и она бросилась къ двери, но она дѣйствительно была заперта.

Леночка была поражена. Этого она не ожидала! Какъ, ее, въ восемнадцать лѣтъ, безъ разговоровъ, запираютъ, какъ непослушную дѣвочку, пока она не перестанетъ капризничать!?—И по какому праву?

Она опустилась въ кресло и закрыла лицо руками.—Нѣтъ, это черезъ-чуръ; этого она никогда не забудетъ и не проститъ. Ей было такъ горько и такъ обидно, что она расплакалась, какъ давно уже не плакала.

Послышался звонокъ и какіе-то переговоры. Навѣрно Аристархъ Николаевичъ!—она вскочила и опять безсильно опустилась въ кресло: не стучаться же ей, чтобы ее выпустили! Она припоминала всѣ свои обиды и удивлялась, какъ она могла такъ долго переносить это.

Но теперь довольно; она съумѣетъ устроить свою жизнь безъ непрошенныхъ опекуновъ. Она хочетъ и можетъ жить по-своему.

Мало-по-малу волненіе ея улеглось, и она стала думать спокойнѣе.

Пробило девять часовъ, и замокъ щелкнулъ опять.

„Отперли!“—мелькнуло у нея въ головѣ, и она хотѣла уже подойти къ двери, но остановилась. „Какъ это глупо! Будто я обрадовалась, что надо мной сжалились и выпустили, наконецъ. Нѣтъ, я уйду, но только все обдумавъ, чтобы уже не возвращаться больше сюда“.

Время тянулось. Наконецъ, дверь отворилась и вошла Зина. По ея лицу Леночка догадалась, что она знаетъ уже о томъ, что случилось.

XI.

Тетя Лиза телеграфировала Марьѣ Петровнѣ и ночью получила отвѣтъ, но, прочитавъ его, только пожала плечами.

Леночка почти не спала, боясь только того, какъ бы ее опять не заперли.

Не было еще восьми часовъ, когда она наскоро одѣлась и, стараясь никого не разбудить, вышла въ прихожую и тихо спустилась по лѣстницѣ.

Швейцаръ, подметавшій полъ, немного удивился, но почтительно отворилъ передъ ней дверь, и она очутилась на набережной.

— Прикажете подавать, барышня?—окликнулъ ее извозчикъ на прихрамывающей лошади.

Леночка сѣла.

— Куда ѣхать?

— Прямо.

Наканунѣ она ни на что не рѣшилась и почти не думала объ этомъ. Ей казалось главное уѣхать, а тамъ видно будетъ и все само собой устроится.

Теперь она вдругъ замѣтила, что это совсѣмъ не такъ просто. Уѣхать оказалось не трудно, но что потомъ?

Вернуться домой къ мама, бросить все, о чемъ она мечтала? Но можетъ быть она сама скоро пріѣдетъ,—это было бы самое лучшее; пока надо найти квартиру, нумеръ какой-нибудь и дожидаться; только сама она этого не съумѣетъ, она даже никогда не бывала въ нумерахъ; надо попросить. Кого? Знакомыхъ у нея много, но все это знакомые тети Лизы и къ нимъ нельзя обратиться.—Соханскій! Петя!—вдругъ вспомнила она и, обрадовавшись, крикнула извозчику:

— Васильевскій Островъ, Десятая линія!

Они поплелись неровной рысью. Извозчикъ остановился, наконецъ, передъ большимъ четырехъ-этажнымъ домомъ, нѣсколько напоминавшимъ казарму и совсѣмъ не похожимъ на тѣ дома, гдѣ Леночкѣ приходилось бывать на набережной или на Сергіевской.

Дворникъ сметалъ снѣгъ съ тротуара. Она спросила его, тутъ ли живетъ господинъ Соханскій?

— Третій этажъ, первая дверь на правой рукѣ,—отвѣчалъ тотъ, продолжая мести.

Леночка стала медленно подниматься по лѣстницѣ. Сердце ея стучало. Ей было неловко. Какъ онъ удивится! Надо будетъ все объяснить ему. Какъ бы не сталъ еще уговаривать вернуться къ тетѣ Лизѣ? Застанетъ она его непремѣнно. На службу еще рано, да онъ и не изъ рьяныхъ чиновниковъ, хотя и новичокъ.

Она позвонила. Отвѣта не было.

Она позвонила еще разъ. Послышались шаги, и дверь отворилась.

— Войдите!—послышался голосъ.

Это былъ самъ хозяинъ, въ халатѣ и туфляхъ. Увидавъ ее, онъ былъ такъ пораженъ, что забылъ объ этомъ и спросилъ только:

— Какъ... это вы? Что случилось?—но, вспомнивъ о своемъ туалетѣ, бросился въ сосѣднюю комнату и захлопнулъ за собою дверь. Но потомъ опять пріотворилъ ее и, высунувъ всклокоченную голову, крикнулъ оттуда:

— Пройдите, пожалуйста, направо, въ мой кабинетъ! я сію минуту...

Какъ ни взволнована и ни сконфужена была сама Леночка, она не могла не засмѣяться.

Войдя въ кабинетъ, она бѣглымъ взглядомъ окинула комнату, гдѣ все показалось ей опрятно и уютно. Какъ же онъ говорилъ, что живетъ студентомъ; она совсѣмъ не такъ представляла себѣ студенческую обстановку.

Она подошла къ столу, и ей среди фотографій бросилась въ глаза ея собственная, которую она недавно посылала Вѣрѣ.

Но за дверью послышались шаги Пети, и она поспѣшила отойти отъ стола.

— Какъ вы меня напугали! Скажите пожалуйста, что случилось?

— Вотъ какъ вы своихъ гостей принимаете!—съ улыбкой отвѣчала она.

— Ну, слава Богу, вы смѣетесь: стало быть, ничего серьезнаго нѣтъ.

— Какъ для кого!—и Леночка въ двухъ словахъ разсказала ему, что поссорилась съ тетей Лизой и болѣе къ ней не вернется.

— Что же вы будете дѣлать?

— Я отчасти на васъ разсчитываю.

— Конечно. Все, что хотите. Вы хотите, чтобы я проводилъ васъ домой къ Марьѣ Петровнѣ?

— И не думаю. Я хочу, чтобы вы помогли мнѣ здѣсь устроиться.

Онъ задумался.

— Это будетъ очень трудно; одной вамъ жить невозможно.

— Это почему?

— Потому что гдѣ-нибудь въ нумерахъ, въ ваши годы...

— Предоставьте тетѣ Лизѣ говорить о моихъ годахъ и о моей неопытности.

— Ахъ, не сердитесь, пожалуйста! вѣдь я все готовъ сдѣлать для васъ, но не знаю, имѣю ли я право...

— Въ такомъ случаѣ извините, что безпокоила васъ,—и Леночка встала, разсерженная.

— Постойте, есть одно простое средство.

— Какое?

— Сейчасъ я вамъ скажу.—Онъ всталъ, прошелся по комнатѣ и вдругъ остановился передъ ней.

Леночка съ удивленіемъ смотрѣла на него.

— Нѣтъ, теперь нельзя... это было бы нечестно... простите, я говорю глупости...—и, круто повернувъ, онъ отошелъ къ окну.

— Такъ вы хотите, чтобъ я помогъ вамъ отыскать квартиру? Есть у васъ деньги?

— Есть,—нерѣшительно сказала она и вынула портъ-моне, гдѣ оказалось пять рублей и мелочь.

Онъ подошелъ къ столу и вынулъ портфель.

— Вотъ, пока возьмите у меня.

— Это зачѣмъ? Я не хочу.

— Въ такомъ случаѣ поѣдемте назадъ къ графинѣ.

— Хорошо, давайте, спасибо.

— Тутъ недалеко есть нумера, довольно приличные, француженка одна содержитъ, хотя, конечно... ну да что говорить...

Черезъ полчаса они поднимались по лѣстницѣ и входили въ коридоръ, гдѣ слегка пахло кухней.

— Вамъ большой нумеръ надо?—спросила хозяйка, выходя изъ своей комнаты, гдѣ была занята какой-то стряпней.

— Нѣтъ, небольшой.

— Дочь моя сейчасъ вамъ покажетъ. Alice!—крикнула хозяйка, но отвѣта не послѣдовало.—Я сейчасъ проведу васъ сама.—И оправивши свой туалетъ, она спросила:

— Двѣ постели?

Леночка удивленно посмотрѣла на нее.

— Одна,—отвѣтилъ за нее Петя, краснѣя.

— Вотъ тутъ, къ вечеру очистится нумеръ девятый; господинъ одинъ уѣзжаетъ. Можно посмотрѣть, теперь его нѣтъ дома.

Но господинъ оказался дома и даже не одинъ, а съ какой-то молодой дѣвушкой, вѣроятно дочерью хозяйки, потому что она только крикнула:

— Alice!—и поспѣшно захлопнула дверь.

Это не помѣшало ей, однако, сейчасъ же показать другой нумеръ, который дѣйствительно оказался свободенъ.

Комната была тѣсная, но чистая,—конечно, для меблированныхъ комнатъ.

Но Леночкѣ было все равно; ей хотѣлось только гдѣ-нибудь устроиться поскорѣе и знать, что она у себя и не вернется уже въ этотъ противный домъ на набережной.

— А видъ у васъ съ вами?—спросилъ Петя, когда хозяйка вышла.

— Какой видъ?

— Ваши документы, свидѣтельство, аттестатъ...

— Они остались въ моихъ вещахъ; а развѣ они нужны?

— Конечно, нужны; безъ этого вы двухъ дней не можете пробыть на квартирѣ: полиція потребуетъ.

Леночка испугалась. Неужели это возможно—и она ушла тайкомъ только для того, чтобы ее вернули назадъ, какъ тѣхъ двухъ мальчиковъ, которые собрались въ Америку и про которыхъ недавно писали въ газетахъ!

Петя старался ее успокоить, хотя и самъ былъ далеко не увѣренъ, что вся эта исторія кончится благополучно.

— Дайте мнѣ записку; я скажу, что вы уѣхали къ Марьѣ Петровнѣ и поручили мнѣ доставить вамъ ваши вещи.

Леночка покачала головой:—не повѣрятъ. Но написала, однако, записку, и Петя уѣхалъ, чтобы попытаться выручить вещи и видъ.

Къ удивленію его, это оказалось совсѣмъ не трудно, такъ какъ тетя Лиза повѣрила или сдѣлала видъ, что повѣрила его разсказу.

Леночка, какъ въ лихорадкѣ, все время ожидала его возвра-

щенія. Отдадутъ ей вещи и видъ, главное—видъ? А если не отдадутъ, какъ тогда быть?

Когда онъ наконецъ вернулся, она набросилась на него:

— Ну что? привезли? Отчего вы такъ поздно?

— У васъ ничего не было готово, провозились съ укладкой. Теперь привезутъ, я думаю, скоро; я послалъ за ними коммиссіонера.

У Леночки гора съ плечъ свалилась.

— Спасибо вамъ, большое спасибо; никогда я этого не забуду.

— Не за что, пока... Какъ знать, утро вечера мудренѣе.

Когда онъ ушелъ, Леночка задумалась. Что онъ хотѣлъ сказать? Какой онъ странный! особенно сегодня. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ?.. А эта фотографія на его столѣ? Очень похоже.

Она была удивлена своему открытію, но не могла бы сказать—обрадовало ли оно ее, или огорчило?

Онъ любитъ ее—это не могло ей не быть пріятно, но это было такъ сложно, особенно теперь. Да, онъ правъ, это было бы нечестно, только не съ его, а съ ея стороны: онъ очень милый, но она его не любитъ, по крайней мѣрѣ такъ, какъ, говорятъ, надо любить. И теперь, развѣ хорошо, что́ она дѣлаетъ; она будетъ съ нимъ видѣться, часто принимать отъ него услуги, даже деньги... опять эти деньги! до сегодняшняго дня она почти не думала о нихъ. Она вспомнила, какъ этой зимой въ первый разъ получила денежный конвертъ отъ матери.

Тетя Лиза спросила: не поручитъ ли она миссъ Блэкъ хранить деньги и расплачиваться за нее. „Зачѣмъ?“—спросила она.—„А потому, что это такъ некрасиво: молодая дѣвушка пересчитывающая грязныя ассигнаціи“. И она согласилась, находя, что на этотъ разъ тетя Лиза права. А теперь, какъ нужны были бы ей эти деньги, а она не знала даже, осталось ли что-нибудь или все давно израсходовано.

Несмотря на это, убѣдившись, что ее никто не преслѣдуетъ, она стала гораздо спокойнѣе и почувствовала даже, что съ утра ничего не ѣла,—ей некогда было подумать объ этомъ.

Она спросила обѣдъ; но когда подали разогрѣтые пирожки и супъ неопредѣленнаго цвѣта, который приходилось ѣсть не грязной, но какой-то тусклой, какъ будто помятой ложкой, она замѣтила, что ей обѣдать еще не хочется. Къ тому же привезли вещи, и хозяйка сама объявила ей объ этомъ, съ большей предупредительностью, чѣмъ прежде, и спросила: не тѣсенъ ли нумеръ?

Лена сказала, что нѣтъ; но когда внесли два большихъ сун-

дука, ей показалось, какъ будто комната съёжилась; проходить между столомъ и стѣною стало затруднительно. Она, однако, сейчасъ же принялась за разборку вещей. Ей хотѣлось скорѣе переодѣться и найти что-нибудь какъ можно проще. Вотъ ея туалетный приборъ, но поставить его некуда.

Умывальникъ совсѣмъ маленькій; она нажимаетъ педаль—вода течетъ какъ-то криво;—ужасно неловко.

Щетки и гребни придется положить на окно.

Почти весь вечеръ проходитъ въ стараніи какъ-нибудь размѣстить вещи.

Наконецъ она чувствуетъ, что устала и голодна. Чай съ калачомъ кажется ей очень вкусенъ. Постель готова, и она съ наслажденіемъ собирается протянуться и отдохнуть отъ своихъ волненій.

На минуту ее охватываетъ непріятное чувство отъ грубаго, чистаго, но плохо просушеннаго бѣлья. Однако усталость беретъ свое, и она засыпаетъ.

Она слышитъ сквозь сонъ, какъ по коридору кто-то проходитъ, посвистывая; какъ отворяются и затворяются двери. Отвуда-то слышны возгласы: „пять пикъ! пассъ! я вамъ говорилъ козырять,—только сапожники такъ играютъ!“

Наконецъ она совсѣмъ засыпаетъ, но вдругъ просыпается отъ какого-то шороха: ей кажется, что кто-то вошелъ къ ней. Но нѣтъ, вотъ на полу мелькнула полоса свѣта. Она не замѣтила двери въ сосѣдній нумеръ за шкафомъ. И вотъ опять, какъ будто надъ самымъ ея ухомъ, раздается посвистываньe, отхаркиванье, и она слышитъ стукъ снимаемой обуви.

„Какъ это противно!—думаетъ она:—неужели нельзя иначе устроиться?“

Съ этого дня начался для Леночки опытъ самостоятельной жизни. Марья Петровна не могла пріѣхать сама, но писала ей, прося вернуться въ деревню, по крайней мѣрѣ до будущей осени, если примиренье съ тетей Лизой невозможно. Пока она посылала ей деньги и Панкратьевну, которая помогла бы ей ужиться и въ крайнемъ случаѣ провела бы съ ней мѣсяцъ или два, если она непремѣнно въ этомъ году хочетъ держать экзаменъ.

Получивъ пятьсотъ рублей, Леночка перешла въ болѣе удобный нумеръ и вообразила, что теперь она обезпечена чуть ли не на много лѣтъ.

Сначала все пошло довольно гладко. Она написала, что не знаетъ еще, будетъ ли держать экзаменъ въ этомъ году, но что во всякомъ случаѣ ей необходимо остаться въ Петербургѣ нѣко-

торое время, такъ какъ она перемѣнила планы. Всѣ ей совѣтуютъ посвятить себя музыкѣ, и она намѣрена поступить въ консерваторію.

Она даже дѣйствительно заходила туда и просмотрѣла консерваторскія программы, но убѣдившись, что это дѣло неподходящее, ограничилась тѣмъ, что нашла новую учительницу, такъ какъ первая была дорога, а главное, могла бы сказать о ней что-нибудь тетѣ Лизѣ, которая не должна была знать, по крайней мѣрѣ оффиціально, что Леночка находится еще въ Петербургѣ.

Съ того дня, какъ пріѣхала Панкратьевна, все время, пока были деньги, Леночка была вполнѣ довольна своей судьбой.

Новая ея комната была чиста и даже просторна, а главное ее не мучило уже тревожное чувство полнаго одиночества. Въ сосѣднемъ нумерѣ помѣщалась Панкратьевна, которая ворчала, но все-таки ухаживала за ней. Она положительно не одобряла затѣи своей барышни.

— Пустое это вы придумали,—говорила она:—отъ родныхъ, да еще изъ какого дома уѣхать, въ трактиръ, къ француженкѣ, шлюхѣ какой-то! Ужъ кабы я на мѣстѣ Марьи Петровны была...

— Ну, довольно, довольно,—перебивала ее Леночка:—ты знаешь, я этого не люблю, а ты ничего не понимаешь.

— Вѣстимо не понимаю, да и никто не пойметъ,—продолжала ворчать Панкратьевна, уходя къ себѣ въ комнату, гдѣ почти цѣлый день шипѣлъ самоваръ, и гдѣ иногда навѣщала ее хозяйская сѣрая кошка, которая, по словамъ Панкратьевны, была много умнѣе и вѣжливѣе самой хозяйки:—кись да брысь понимаетъ по-русски!

Пока были деньги—все было хорошо. Прошелъ мѣсяцъ. Приближалась весна. Не та весна, когда дружно таетъ снѣгъ и съ каждымъ днемъ все шире становятся на поляхъ черныя проталины и все громче шумятъ ручьи и овраги,—а весна петербургская, когда ночи становятся короче и замѣняются неопредѣленными сумерками, когда дни становятся длиннѣй и длиннѣй, но кажутся еще болѣе тусклыми, когда сѣрая снѣжная масса превращается въ жидкую грязь, которой экипажи усердно окатываютъ неосторожныхъ прохожихъ.

Тетя Лиза была уже за границей.

Петя Соханскій уѣхалъ въ Москву, гдѣ отецъ его былъ очень боленъ, но гдѣ еще болѣе тревожило его положеніе сестры. Вѣра, какъ будто на практикѣ подтверждая свою теорію, влюбилась въ какого-то даже не первокласснаго актера и непре-

мѣнно вышла бы за него замужъ, еслибы онъ не былъ уже женатъ, или еслибы могъ разстаться съ женою.

Деньги, присланныя Марьей Петровной, почти вышли. За квартиру не было заплачено, а Марья Петровна писала, что дѣла идутъ плохо, и выслать больше нечего.

Леночка обѣдала уже не каждый день и питалась преимущественно чаемъ и калачами. Хозяйка молчала еще, но становилась менѣе любезна, и даже кошка ея стала рѣже навѣщать Панкратьевну, такъ какъ чай подавался безъ сливокъ.

Наконецъ явилась прачка, говоря, что если ей не заплатятъ, она стирать больше не станетъ.

Теперь Леночка была бы уже рада уѣхать, но было слишкомъ поздно.

XII.

Былъ конецъ лѣта.

Гримёръ вышелъ, и Леночка осталась одна въ своей уборной.

Сегодня ея дебютъ. Настоящій дебютъ! Ей дали, наконецъ, отвѣтственную, даже главную роль. До сихъ поръ антрепренеръ полагался, повидимому, больше на ея наружность, чѣмъ на ея искусство, а теперь она будетъ играть самого „маленькаго герцога“!

Она взглянула въ зеркало и усмѣхнулась.

— Вотъ она, великая артистка, которая собиралась исполнять только классическія произведенія!

Ей было холодно; она накинула плащъ. Въ комнатѣ пахло газомъ, мыломъ и пудрой; въ щелки прокрадывался дневной свѣтъ. Большое зеркало, гардеробъ и нѣсколько гнутыхъ стульевъ составляли все ея убранство: тутъ же разбросаны были разныя тряпки и красовались сапоги со шпорами для слѣдующаго дѣйствія.

Еще два, три мѣсяца тому назадъ, она не повѣрила бы, еслибъ ей сказали, что она будетъ пѣть въ опереткѣ.

Какъ это могло случиться? Она такъ живо помнитъ, какъ въ первый разъ баронъ Гольдбергъ, котораго она случайно встрѣтила съ Залѣсскимъ въ то время, когда обстоятельства ея были ужъ очень тяжелы, какъ онъ просилъ позволенія бывать у нея и какъ-то намекнулъ на возможность успѣха во вновь пріѣхавшей французской труппѣ, и какъ она тогда съ негодованіемъ отвергла это предложеніе.

А потомъ?

Потомъ всѣ эти хлопоты, придирки хозяйки, неудачныя старанья во что бы то ни стало достать деньги и неудачная попытка уѣхать безъ денегъ.

И наконецъ опять это выгодное предложеніе, и она согласилась.

Только Панкратьевну она отправила въ деревню и написала матери, что получила выгодный ангажементъ за границу, рѣшилась немедленно выѣхать и проситъ ее простить и не безпокоиться, если она будетъ писать рѣдко.

„Хоть бы скорѣе выходить ужъ!“ И ни души знакомой. Никого, кто бы поинтересовался, пожалѣлъ о ней.

На афишѣ вмѣсто имени — три звѣздочки, въ надеждѣ болѣе заинтересовать публику, чѣмъ неизвѣстнымъ и вымышленнымъ именемъ.

„Да, хоть бы скорѣй выходить!“ Теперь ей все равно, и ей живо представилось, какъ она въ первый разъ, почти въ такомъ же костюмѣ, смотрѣла на эту залу, — если только сарай можно назвать залою, — сквозь отверстіе въ занавѣсѣ; какъ она вдругъ ясно представила себѣ, какъ полотно, отдѣляющее ее отъ этой толпы, медленно поднимается, и всѣ эти сотни людей, которые теперь разговариваютъ, смѣются, входятъ и садятся, вдругъ оборачиваются и смотрятъ на нее.

И все это дѣйствительно было, и она не убѣжала и даже не расплакалась.

А теперь ей все равно, она привыкла. Чувство мучительнаго стыда и обиды, которое она испытала тогда, смѣнилось чувствомъ глухой апатіи, заставлявшей ее равнодушно относиться ко всему окружающему.

Старикъ Ленуаръ, любимецъ публики, взявшій ее, было, подъ свое покровительство, махнулъ на нее рукой. Онъ находилъ, что незачѣмъ ни пугать, ни слишкомъ церемониться съ поклонниками: никто вамъ за это спасибо не скажетъ, начиная съ нихъ самихъ. На то дураки и сдѣланы, чтобы умнымъ людямъ жить было легче.

Леночка не спорила и даже не возмущалась. Послѣднее время она совсѣмъ потеряла мѣрку, что хорошо и что нѣтъ. Она не слѣдовала совѣтамъ Ленуара просто потому, что всѣ они были ей слишкомъ противны, и ей было лѣнь.

— Вашъ выходъ! — и она очутилась на сценѣ.

Она пѣла почти машинально, но голосъ ея свѣжъ и силенъ, наружность еще болѣе говорила въ ея пользу. Ей апплодировали,

ее вызывали даже, за кулисами ее поздравляли, но ничего, кромѣ усталости, она не чувствовала—ей хотѣлось только скорѣе отдохнуть.

Но не успѣла она войти въ уборную, какъ постучались.

— Кто тамъ? Это вы м-сье Ленуаръ?

— Баронъ Гольдбергъ непремѣнно хочетъ васъ видѣть.

— Я слишкомъ устала.

— Это не отговорка.

— И не могу же я принять здѣсь.

— А то гдѣ же?

— Ну хорошо, мнѣ все равно.

Баронъ вошелъ. Она видѣла, что онъ ее разсматриваетъ; слышала какія-то пошлыя поздравленія и комплименты, но ей было все равно.—Только бы онъ ушелъ поскорѣй.

Однако, не успѣла за нимъ затвориться дверь, какъ опять постучались.

— Войдите,—почти машинально сказала она. Она такъ презирала и себя, и барона, и всю эту публику, которая только-что апплодировала ей; она стояла передъ зеркаломъ съ выраженіемъ такой усталости и презрѣнія, которое совсѣмъ не подходило къ ея роли.

— Войдите!—громче повторила она, не оборачиваясь.

Дверь отворилась, и ей показалось, что въ зеркалѣ она видитъ привидѣніе. Одно мгновенье она стояла съ широко открытыми глазами.

— Какъ, вы? зачѣмъ вы здѣсь? уйдите скорѣй!

Но Петя Соханскій, постарѣвшій, казалось, на десять лѣтъ, былъ уже возлѣ нея.

— Уйдите!—просила она, чувствуя, что краснѣетъ, теряется и готова расплакаться.

— Но мнѣ нужно поговорить съ вами одну минуту.

— Уйдите, уйдите, я сейчасъ сама выйду.

Не прошло и пяти минутъ, какъ они были въ саду, на скамейкѣ.

— Что съ вами?—спрашивала Лена, немного оправясь отъ своего смущенія.

— Мнѣ тяжело было это время. Пока отецъ былъ живъ, я надѣялся, что время возьметъ свое и все само собою уладится; но теперь... не знаю, чѣмъ это кончится?

— Гдѣ же теперь Вѣра?

— Въ Москвѣ.

— И вы рѣшились оставить ее?

— Я не могу ей помочь, и меня она все равно не послушается... и потомъ...

— Что потомъ?

— Потомъ у меня есть дѣло еще болѣе серьезное, для котораго я долженъ былъ сюда пріѣхать.

Леночка молчала.

— Вы меня понимаете?—добавилъ онъ.

— Нѣтъ, не понимаю.

— Я пріѣхалъ, чтобъ увезти васъ отсюда.

Она вздрогнула.

— Какъ увезти? Я понимаю васъ еще менѣе, чѣмъ прежде, —холодно сказала она.

— Ахъ, не говорите со мною такъ! Зачѣмъ, за что это?

Ей стало жаль его.

— Послушайте!—сказала она совсѣмъ иначе:—можетъ быть, я за послѣднее время слишкомъ привыкла искать въ словахъ не то, что̀ ими говорится, но я въ самомъ дѣлѣ не понимаю васъ.

— Что же тутъ понимать? Неужели вамъ самимъ не противно все это? Неужели вы сами хотите утонуть въ этой тинѣ? Что̀ же я могу еще сказать вамъ? что я люблю васъ? но вы это давно знаете...

— Довольно и этого, я это давно знаю, но, признаюсь, надѣялась, что вы мнѣ не скажете этого, особенно теперь...

— Нѣтъ, теперь, именно теперь я долженъ сказать вамъ, пока еще не поздно.

Леночка встала. Она едва сдерживала слезы. Ей казалось еще такъ недавно, что она презираетъ всѣхъ, что ничто ужъ не можетъ ее удивить, но этого она не ожидала. Какъ! неужели и онъ такой же, какъ всѣ? Отчего онъ прежде ни разу не посмѣлъ съ ней говорить такъ, какъ теперь? Неужели потому только, что она—опереточная пѣвица?

Но Петя всталъ тоже и схватилъ ее за руку.—Нѣтъ, постойте! — сказалъ онъ съ отчаянной рѣшимостью:—вы можете прогнать меня, но выслушать меня вы должны.

Леночка была поражена его голосомъ; онъ точно гипнотизировалъ ее, не допуская и возможности возраженія. Она опять опустилась на скамью.

Вы сами сказали, что знаете, что я люблю васъ; стало быть, вы не можете не понимать, зачѣмъ я сюда пріѣхалъ. Я не спрашиваю васъ, любите ли вы меня; я хочу спросить васъ только, хотите ли вы быть моей женой? съ меня и этого довольно... пока.

Леночка не отвѣчала. Она опустила голову и задумалась. Издали доносился припѣвъ какого-то хора. Молнія вспыхивала голубоватымъ, холоднымъ блескомъ, но Леночка ничего не видѣла и не слышала. Мысли ея унеслись далеко; она видѣла другую грозу, видѣла себя верхомъ, скачущую подъ проливнымъ дождемъ, слышала голосъ Пети—все это казалось ей такъ близко —вотъ, вотъ они сейчасъ въѣдутъ во дворъ, и Марья Петровна опять встрѣтитъ ихъ, а между тѣмъ это было такъ далеко, такъ невозвратимо далеко!..

— Что жъ вы молчите? да или нѣтъ?

Леночка вздрогнула, точно ее сразу разбудилъ кто-то.

— Что вы сказали? Я не слыхала.

— Какъ не слыхали?

— Ахъ, да, помню: вы спрашивали меня, хочу ли я быть вашей женой?—и она вдругъ засмѣялась неудержимымъ, почти истерическимъ смѣхомъ.

Петя испуганно смотрѣлъ на нее.

— Что съ вами? вы нездоровы? чему вы смѣетесь?

— Какъ чему смѣюсь? разумѣется, вашей шуткѣ.

— Какой шуткѣ? Елена Владиміровна, какъ вамъ не грѣхъ такъ мучить меня?

Она перестала смѣяться.

— Вы мнѣ дѣлаете предложеніе,—сказала она, отчеканивая каждое слово.

— Да, я вамъ дѣлаю предложеніе,—машинально повторилъ онъ.

— И вы понимаете, гдѣ и когда!—она опять засмѣялась.— Вы, Петръ Соханскій, серьезный и порядочный молодой человѣкъ, хотите жениться на „маленькомъ герцогѣ“?

— Да будетъ, будетъ вамъ! уйдемте скорѣе отсюда!

Леночка встала.

— Хорошо, что напомнили... Вотъ и звонокъ, я того и гляди опоздаю.—Она протянула ему руку.—А теперь, спасибо вамъ за то, что пріѣхали, но послушайтесь моего совѣта: уѣзжайте скорѣй и постарайтесь меня позабыть. Мнѣ вы, все равно, не поможете, а вамъ не такая жена нужна.—И не дожидаясь его отвѣта, она быстро ушла къ театру.

Первыя капли дождя напугали публику, и въ саду стало почти пусто, но театръ былъ полонъ. Ее уже искали въ уборной.

Леночка сбросила тальму и юбку, надѣтую сверхъ костюма, и, почти не взглянувши въ зеркало, вышла и стала за кулисами.

— Вашъ выходъ!

Почти машинально она опять очутилась передъ той же толпой, какъ въ первомъ дѣйствіи, и толпа эта казалась ей еще противнѣе. Теперь даже тогда, когда она пѣла, она не могла отдѣлаться отъ этого чувства. Ей казалось, что еслибы она его увидѣла въ залѣ, она не выдержала бы и убѣжала, какимъ бы это ни кончилось скандаломъ; но она знала, что его нѣтъ въ залѣ, знала, что онъ не захочетъ смотрѣть на нее теперь, и это давало ей силу дотянуть до конца спектакля, а тамъ она обдумаетъ свое положеніе, увидитъ, что̀ дѣлать. Одно она чувствовала, что продолжать такъ у нея не хватитъ силъ, что нервы ея слишкомъ напряжены и все это ей черезъ-чуръ противно.

Наконецъ спектакль кончился. Она поспѣшно переодѣлась и хотѣла пробраться незамѣченной, чтобы избѣгнуть новыхъ приставаній и приглашеній; но едва она вышла въ полутемную аллею, какъ увидала передъ собой Петю Соханскаго. Она не обрадовалась, не испугалась и даже не удивилась; она знала, что онъ захочетъ ее видѣть и не удовлетворится ея первымъ отвѣтомъ; но что̀ еще могла она сказать ему? Любить его такъ, какъ онъ ее любитъ, она не любила, да еслибы и любила, не могла бы пойти за него замужъ. Онъ потомъ самъ бы сталъ раскаяваться въ своемъ увлеченіи, а съ ея стороны это было бы нечестно... „Да, нечестно!“ твердила она, какъ будто споря сама съ собою.

— Вы не отвѣтили мнѣ,—сказалъ, наконецъ, Соханскій, подавая ей руку.—Я знаю, что здѣсь не мѣсто для такихъ разговоровъ, но мнѣ такъ тяжело и такъ страшно за каждую минуту, что я не могъ рѣшиться отложить нашъ разговоръ даже до завтра.

— Повѣрьте мнѣ, этотъ разговоръ ни къ чему; зачѣмъ вы хотите только мучить и себя, и меня?—добавила она, но все-таки, такъ же, какъ въ первый разъ, сѣла рядомъ съ нимъ.

Только теперь они были недалеко отъ выхода, и мимо нихъ то-и-дѣло проходили запоздалыя пары. Леночка невольно слѣдила за тѣмъ, какъ неопредѣленные силуэты становились все яснѣе и ярче по мѣрѣ того, какъ приближались къ электрическому фонарю, какъ тѣни ихъ на пескѣ съёживались, становились все чернѣе и рѣзче, пока не исчезали вдругъ, переходя на противоположную сторону, гдѣ снова начинали расти, блѣднѣть и тонуть вмѣстѣ съ фигурами въ полумракѣ аллеи.

„Что̀ я могу сказать ему?—продолжала она думать:—что я не люблю его? это будетъ ему еще больнѣе, да и самъ онъ говоритъ, что пока не проситъ даже любви моей... значитъ, онъ

хочетъ только, чтобъ я ушла отсюда. А я сама развѣ не хочу? Но если я скажу ему это, я только подолью масла въ огонь, а я не въ правѣ этого дѣлать"...

— Послушайте,—сказала она, наконецъ:—какъ мнѣ ни жаль огорчать васъ, я не могу сказать вамъ ничего, кромѣ того, что уже сказала.

— Да что же вы мнѣ сказали?—съ мучительной болью и раздраженіемъ спросилъ онъ:—что я долженъ забыть васъ? но вы знаете сами, что это нелѣпая фраза, что ни забывать, ни вспоминать по приказанію нельзя, какъ бы мы ни рады были повиноваться. Вы не хотите отвѣтить сейчасъ—хорошо, я буду ждать мѣсяцъ, годъ, два года, сколько хотите... только дайте мнѣ возможность ждать, не дрожа за каждый день и за каждую минуту.

Леночка грустно покачала головой.

— Неужели же вамъ такъ противно то, что я вамъ предлагаю, что вы даже не хотите подумать объ этомъ?

Леночка нетерпѣливо пожала плечами.

— Да поймите же наконецъ, что теперь слишкомъ поздно.

— Какъ слишкомъ поздно?—спросилъ онъ испуганно:—что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что вы не понимаете, что вы дѣлаете, что я уже не подруга вашей сестры, даже не та Леночка, которую вы знали мѣсяцъ тому назадъ; теперь—вотъ мои товарки! —сказала она, показывая на группу хористокъ, проходившихъ со смѣхомъ и оглянувшихся на нихъ. Она смутно чувствовала и видѣла по растерянному лицу Соханскаго, что говоритъ не то, совсѣмъ не то, что слѣдуетъ, но не могла остановиться.

„Что жъ, пускай думаетъ, что хочетъ; чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. По крайней мѣрѣ съ своей стороны я сдѣлаю все, что могу"...

Наступило молчаніе.

Соханскій тяжело дышалъ, опустивъ голову; вдругъ онъ выпрямился:

— Не можетъ быть, я вамъ не вѣрю; понимаете ли, не вѣрю!

Леночка вздрогнула. Эта фраза точно хлеснула и обожгла ее; конечно ей было бы гораздо горче и обиднѣе, еслибъ онъ ей повѣрилъ, но зачѣмъ онъ сказалъ это?

— Не вѣрите? — и она встала.

Въ это время послышались голоса; къ нимъ подходила группа мужчинъ, и она узнала барона.

— Не вѣрите?—повторила она: — смотрите же! — и круто повернувшись, она подошла къ барону:

— Вы звали меня ужинать; я ждала васъ, пойдемте.

Петя остался на мѣстѣ ошеломленный.

Леночка опомнилась только тогда, когда очутилась съ барономъ въ его коляскѣ. — Что она сдѣлала? для чего это? — Неужели для того только, чтобы озадачить Петю? Она взглянула на своего спутника, который говорилъ ей какіе-то банальные комплименты—и все въ немъ казалось ей противно: и его красивая, но какая-то вызывающая наружность, и его слишкомъ модный костюмъ, и его бакенбарды котлетами, и тотъ развязно-любезный тонъ, которымъ онъ говорилъ съ ней.

Коляска между тѣмъ быстро и безшумно катилась, и они подъѣзжали уже къ ресторану, у котораго она спорила съ Борей этой зимой. На минуту въ ея головѣ мелькнула мысль: входить ли?—но баронъ уже высаживалъ ее, и она почти машинально пошла за нимъ.

Они вошла въ просторную комнату, уже освѣщенную, со столомъ, накрытымъ человѣкъ на десять, но гдѣ еще никого не было. У другого столика суетились татары, таская всевозможныя закуски и бутылки, какъ будто собираясь накормить на немъ цѣлый полкъ.

— Садитесь, вы устали, вамъ надо скорѣй подкрѣпиться.

Леночка чувствовала, что она дѣйствительно устала и озябла. Дрожь пробѣгала у нея по спинѣ. Онъ налилъ ей большую рюмку мадеры; она выпила разомъ и немного согрѣлась.

Баронъ вышелъ отдать какія-то распоряженія, и она осталась одна. Изъ сосѣдняго нумера слышался какой-то рѣзкій женскій голосъ, со взвизгиваньемъ распѣвавшій какую-то пѣсенку, словъ которой нельзя было разобрать, и по временамъ взрывы пьянаго смѣха, а наверху—тоже какое-то пѣнье и топанье. Когда на мгновеніе шумъ утихалъ, слышно было, какъ въ окна барабанятъ крупныя капли дождя.

И это веселье? и это жизнь?

Вотъ то, что ей казалось такъ интересно и привлекательно еще полгода тому назадъ, а теперь оно вызывало въ ней отвращеніе.

Но думать было некогда: баронъ вернулся и съ нимъ цѣлая компанія: тутъ были двѣ пѣвицы, ея товарки, старичокъ-режиссеръ, еще какая-то „дама“ и два-три молодыхъ человѣка, которыхъ она не знала.

Начался ужинъ, и ей показалось, что онъ тянется цѣлую

вѣчность. Баронъ сидѣлъ съ ней рядомъ и усердно подливалъ ей шампанскаго. Разговоръ становился все шумнѣе и шумнѣе; все чаще слышался смѣхъ и шутки, которыхъ она не понимала и даже не слышала. Только изрѣдка отъ этихъ шутокъ и отъ этого смѣха она чувствовала какую-то неопредѣленную, почти физическую боль.

Наконецъ ужинъ кончился, и всѣ встали.

— Одну минуту!—сказалъ баронъ: — позвольте мнѣ только расплатиться; я сейчасъ провожу васъ,—и онъ еще разъ наполнилъ ея стаканъ и вышелъ, провожая остальныхъ гостей.

Леночка почувствовала облегченіе, оставшись одна. Она не подумала и не знала, слѣдовало или не слѣдовало ей оставаться? Не все ли равно? послѣ того, что уже было сегодня, не стоило думать о такихъ пустякахъ. Ей хотѣлось отдохнуть, ничего не слышать, ни о чемъ не думать; она опять опустилась на свое мѣсто и безсознательно стала слѣдить за иглами шампанскаго, которыя мелкой бисерной нитью поднимались со дна бокала и исчезали на его поверхности.

Она не замѣтила, какъ татаринъ убиралъ остальные приборы и какъ баронъ, вернувшись, опять сѣлъ рядомъ съ ней; она не отдавала себѣ отчета, долго ли она такъ просидѣла, когда вдругъ ей стало неловко, и обернувшись инстинктивно, она встрѣтила его взглядъ. Она вздрогнула, какъ отъ прикосновенія, и быстро поднялась съ мѣста.

Но онъ взялъ ее за руку:

— Постойте, куда вы такъ спѣшите? — намъ надо еще обо многомъ поговорить съ вами.

Она попробовала отнять руку, но онъ не пускалъ ее.

Вся кровь бросилась ей въ лицо.

— Пустите! какъ вы смѣете меня не пускать!

— Я не пускаю васъ, потому что вы прелестны, особенно когда сердитесь, — сказалъ онъ со спокойной усмѣшкой.

Но она вырвалась и бросилась къ двери,—дверь была заперта.

Онъ также спокойно всталъ и подошелъ къ ней съ тою же противной улыбкой:

— Не горячитесь, сядьте, будьте умной дѣвочкой и давайте разсуждать спокойно.

Передъ этимъ спокойствіемъ и этой улыбкой ей вдругъ сдѣлалось такъ страшно, что она почувствовала, какъ подгибаются ея колѣни и она готова лишиться сознанія.

Онъ сдѣлалъ еще шагъ и взялъ ее за талію; отъ этого при-

косновенія силы ея разомъ вернулись; она вырвалась и вмигъ очутилась на окнѣ!

Онъ бросился за ней, но зацѣпилъ за столъ, который съ громомъ повалился, и стаканы и бутылки, звеня, разбились въ дребезги.

Онъ едва успѣлъ удержать ее:

— Вы съумасшедшая, убьетесь до смерти! — и онъ хотѣлъ силой стащить ее съ окна, но въ коридорѣ послышались шаги и голоса:—de grâce, pas de scandal! — убѣдительно повторялъ кто-то:—они отопрутъ, сами отопрутъ!—и послышался стукъ въ дверь. Леночка спрыгнула съ окна.

— Отоприте сейчасъ, или я буду кричать!

— Хорошо, хорошо!—Баронъ подошелъ къ двери.

— Кто тамъ? что вамъ нужно? — спросилъ онъ, сдерживая бѣшенство и пріотворяя дверь, но Леночка оттолкнула его и бросилась въ коридоръ. Никто ее не удерживалъ, она никого не видала, и только слышала за собой шумъ голосовъ и на всѣ лады повторяемую фразу: — Господа, тише, пожалуйста тише, pas de scandal!

Она не помнила, какъ очутилась на извозчикѣ и какъ дала ему адресъ.

Свѣтало. Утро было холодное. Дождь продолжалъ моросить, но уже безъ грозы, мелкій и холодный. Леночка то-и-дѣло вздрагивала и отъ холода, и отъ непреодолимаго чувства отвращенія и ужаса.

— Такъ вотъ онъ, ея настоящій дебютъ? И теперь для нея нѣтъ другой жизни,—она сама ее выбрала. Но стоитъ ли жить для этого?

Извозчикъ дремалъ на козлахъ. Лошадь едва трусила по жидкой грязи. Они въѣзжали на мостъ. „Да, вотъ стоитъ только остановиться, перешагнуть черезъ эти перила, и все будетъ кончено, и не будетъ больше этого отвратительнаго щемящаго чувства“. — Но мысли ея путались.

— Только не думать, не думать, ни о чемъ не думать!— съ тоскою твердила она: — потомъ, потомъ все обдумаю.

Потомъ она почти ничего не помнила. Помнила только, что стоитъ у постели и наливаетъ въ рюмку хлоралъ, который докторъ недавно прописалъ ей отъ безсонницы, что она съ наслажденіемъ протягивается въ постели, что въ ушахъ едва-едва звенятъ какіе-то далекіе колокольчики, и она быстро и плавно начинаетъ погружаться въ какую-то беззвучную, темную бездну. Долго ли длилось это состояніе, она не знала, она потеряла со-

знаніе времени. Иногда ей казалось, что она слышитъ какіе-то голоса, видитъ какія-то фигуры, и потомъ опять все путалось, расплывалось и тонуло въ той же темной, молчаливой безднѣ.

XIII.

Наконецъ Леночка открыла глаза. Обстановка была ей знакома, но она долго не могла понять—гдѣ она.

Около ея постели сидѣла фигурка въ бѣломъ чепцѣ, очевидно сестра милосердія. Леночка хотѣла заговорить съ ней, но та увидѣла ея движеніе.

— Не надо, не надо двигаться и разговаривать! — и она поднесла ей ложку съ какой-то микстурой.

Леночка выпила и молча опять откинулась на подушки.

Такъ она была больна? Но что съ ней, гдѣ она теперь?

Дверь тихо отворилась, и она вдругъ узнала:

— Зина, ты? — тихо спросила она.

Зина обрадовалась и хотѣла подойти къ ней, но вдругъ остановилась: — Докторъ пріѣхалъ; я потомъ все объясню тебѣ.

Докторъ вошелъ, осмотрѣлъ ее, сказалъ, что опасность миновала, но надо быть еще очень осторожной: никакой усталости, никакихъ волненій и никакихъ разговоровъ. И Леночка опять осталась одна.

Теперь она знала, гдѣ она: у тети Лизы, на набережной, но это нисколько не волновало ее. Ей было все равно, даже то, какъ она попала сюда; ее интересовало только то, давно ли она здѣсь? Въ ея головѣ быстро и смутно проносились обрывки воспоминаній, но она еще не могла разобраться въ нихъ и различить, что было дѣйствительностью и что бредомъ.

Такъ прошло еще нѣсколько дней, но молодость брала свое, и силы быстро возвращались. Докторъ позволилъ ей встать. Сестры милосердія больше не было; она видѣла только Зину и миссъ Блэкъ; тетя Лиза, вернувшись изъ-за границы, проѣхала по дѣламъ прямо въ деревню. Марью Петровну ожидали со дня на день.

— Что ты написала ей?—съ тревогой спрашивала Леночка Зину.

— Почти все, что я знаю сама: что ты заболѣла въ день нашего пріѣзда въ Петербургъ, что Соханскій сообщилъ объ этомъ миссъ Блэкъ, и теперь ты у насъ, и тебѣ уже гораздо лучше.

Леночка задумалась. Такъ Соханскій первый узналъ о ея болѣзни. Зналъ ли онъ остальное? А Зина, знаетъ ли она что-нибудь? вѣдь онѣ полгода не видались! А тетя Лиза? — Послушай, Зина, теперь мнѣ лучше; спасибо тебѣ за все, но мнѣ пора домой.

Зина испугалась: — Что ты, что ты, Лена, ты едва на ногахъ можешь стоять! — и помолчавъ немного, она прибавила: — Лена, неужели ты до сихъ поръ сердишься на мамá?

Леночка грустно улыбнулась.

— Нѣтъ, милая моя, я уже не имѣю больше права ни на кого сердиться, кромѣ себя; но именно поэтому я и не могу оставаться у васъ. Я для тебя не подруга. Тетя Лиза найдетъ, что общество опереточной пѣвицы для тебя не годится, и будетъ совершенно права.

— Какой вздоръ! ты отлично знаешь, что еслибы мамà была здѣсь, она никогда не отпустила бы тебя больную, а что ты насчетъ своего театра толкуешь, — это все глупости.

Леночка была увѣрена, что это совсѣмъ не глупость, но она была еще слишкомъ слаба, чтобы спорить, и дала убѣдить себя остаться, пока не поправится, а потомъ видно будетъ.

Ей теперь дѣйствительно все равно было, что ни дѣлать, гдѣ ни быть.

Она ничего не читала, ни о чемъ не думала, и просиживала по цѣлымъ часамъ у окна, слѣдя за пароходами и за лодками, скользившими по Невѣ, или за ястребами, описывавшими надъ нею широкіе круги.

Зина напрасно пыталась нѣсколько разъ вывести ее изъ этой апатіи и наконецъ оставила ее въ покоѣ, полагаясь на время.

Только разъ Леночка какъ будто оживилась немного: пришли сказать, что Соханскій прислалъ узнать о ея здоровьѣ. Ни Зины, ни миссъ Блэкъ не было дома.

— Скажите, что гораздо лучше, что я благодарю ихъ.

Но почему онъ прислалъ узнать, а не заѣхалъ самъ? Въ первый разъ послѣ болѣзни эта мысль заняла ее. Стало быть, онъ еще въ Петербургѣ и не забываетъ ее; но отчего онъ не попытался ее увидѣть? Она была увѣрена, что онъ ее еще любитъ; можетъ быть, теперь уже не сдѣлалъ бы предложенія, а все-таки любитъ. А она? Да, она была права, что тогда сразу сказала ему всю правду. Она чувствовала и тогда, и теперь, что онъ былъ ей дорогъ, что послѣднее время онъ сталъ для нея самымъ близкимъ человѣкомъ, но это не была любовь. Для нея, несмотря на то, что онъ былъ на пять лѣтъ ея старше, онъ продолжалъ быть

милымъ, но робкимъ, конфузливымъ мальчикомъ, надъ которымъ онѣ иногда подшучивали вмѣстѣ съ Вѣрой.

Какъ только вернулась Зина, Леночка спросила ее:

— Ты ничего не знаешь о Сохансномъ?

— А что?—и Зина невольно смутилась.

Леночка замѣтила это:—Нѣтъ, ничего; только онъ присылалъ сейчасъ узнать о моемъ здоровьѣ, и я подумала, отчего онъ не заѣхалъ самъ: ужъ не боленъ ли?

— Не знаю,—нерѣшительно сказала Зина.

— Ты что-то отъ меня скрываешь.

— Нѣтъ, не скрываю, а только не знаю, надо ли это говорить теперь, тѣмъ болѣе, что можетъ быть это и неправда.

— Что такое? да говори, пожалуйста!—нетерпѣливо сказала Леночка.

— Хорошо, но мнѣ это только Боря разсказывалъ со слуховъ, за вѣрность которыхъ и самъ не ручается. Говорятъ, Сохансній раненъ.

— Раненъ?—и Леночка привстала.

— Да что ты такъ испугалась? если это и правда, такъ рана не тяжелая, миссъ Блэкъ видѣла его доктора; онъ говоритъ—ничего опаснаго.

— Хорошо, но какъ все это могло случиться?

— Опять передаю тебѣ только слухи. Онъ заѣзжалъ къ намъ въ тотъ день, когда ты заболѣла, онъ былъ тогда совсѣмъ здоровъ, но дня три спустя у него, говорятъ, была дуэль.

— Съ кѣмъ? изъ-за чего?

— Какая-то глупая исторія въ ресторанѣ съ какимъ-то барономъ.

Леночка почувствовала, что руки ея холодѣютъ.

Зина вскочила:—Какая я глупая! очень надо было говорить! я такъ и знала, что это тебя взволнуетъ.

Но Леночка успѣла уже оправиться:—Ничего, у меня только голова немножко закружилась, сейчасъ пройдетъ.

— А я думала...

— Что ты думала?—и Леночка пожала плечами. Очевидно было, что Зина ничего не знала, и Сохансній ей не сказалъ, что видѣлъ ее наканунѣ болѣзни, но дрался онъ изъ-за нея—въ этомъ не могло быть сомнѣнія. Теперь ей казалось даже, что она смутно помнитъ за собой его голосъ, когда былъ этотъ шумъ въ коридорѣ.

— И ты не знаешь, изъ-за чего вышла эта ссора?

— Не знаю; говорятъ, изъ-за пустяковъ. Но увѣряютъ, что

Соханскій совсѣмъ напрасно дрался съ этимъ барономъ, что это такой человѣкъ, съ которымъ не дерутся, онъ уже судился за какія-то грязныя исторіи, а теперь высланъ изъ Петербурга.

Леночка слушала; теперь она все понимала и видѣла, что въ этихъ слухахъ бо́льшая часть была правда.

Ее удивляло только, что не говорили о настоящей причинѣ дуэли, и что Зина и не подозрѣвала о ней. Впрочемъ Петя, конечно, не сталъ бы разсказывать, а въ интересахъ барона было умолчать о ней.

Оставшись одна, Леночка почти не могла думать ни о чемъ другомъ. Петя дрался на дуэли изъ-за нея, онъ былъ раненъ, ему въ сущности она обязана, что этотъ ужасный вечеръ не кончился еще гораздо хуже. Она старалась припомнить малѣйшія подробности своего послѣдняго разговора съ нимъ, старалась догадаться, какъ онъ могъ найти ее въ этомъ ресторанѣ, и теперь ужъ онъ являлся ей совсѣмъ не тѣмъ Петей, къ которому сама она привыкла относиться немного покровительственно.

На слѣдующее утро Леночка проснулась совсѣмъ въ другомъ настроеніи, чѣмъ всѣ эти дни, и рѣшила, что должна видѣть Петю. Она не любитъ его такъ, какъ ему хотѣлось бы; она болѣе, чѣмъ когда нибудь увѣрена, что не имѣетъ права выйти за него замужъ, зная, что не можетъ составить его счастья; но она слишкомъ многимъ ему обязана, слишкомъ уважаетъ его, онъ слишкомъ дорогъ и близокъ ей, чтобъ она могла не видать его, не сказать ему спасибо, не сказать, что она знаетъ и цѣнитъ все.

Зина не узнавала ее; прежней апатіи и слѣда не было. Но Леночкѣ не пришлось исполнить своего намѣренія: онѣ сидѣли еще за чаемъ, когда пришли доложить, что Соханскій спрашиваетъ, можетъ ли онъ видѣть Елену Владиміровну?

— Просите, — сказала Леночка, чувствуя, что краснѣетъ.

Зина сдѣлала видъ, что ничего не замѣчаетъ, но постаралась скорѣе оставить ихъ вдвоемъ и увела миссъ Блэкъ.

Наступило минутное молчаніе; имъ столько надо было сказать, что они оба не знали, съ чего начать.

Наконецъ Леночка рѣшилась:

— Вы сейчасъ сказали, что рука у васъ подвязана, потому что вы упали съ лошади, ушиблись. Вѣдь это неправда?

— Почему неправда?—спросилъ онъ въ свою очередь.

— Вы не хотите мнѣ отвѣтить?

Онъ помолчалъ.—Я не знаю, что̀ вамъ отвѣтить? если вы уже знаете то̀, о чемъ спрашиваете, то вамъ не нуженъ мой отвѣтъ;

а если нѣтъ, то все-таки не стоитъ говорить, и для меня это неловко и безполезно.

Онъ сказалъ это совершенно просто и безъ рисовки, очевидно желая скорѣе кончить этотъ разговоръ.

— Хорошо,—сказала она,—не будемъ говорить объ этомъ; но я знаю, чѣмъ я вамъ обязана, и я была бы такъ счастлива, еслибы я могла чѣмъ-нибудь вамъ доказать это.

Онъ грустно улыбнулся.

— Повѣрьте, мнѣ не нужно никакихъ доказательствъ; я просилъ бы васъ только, чтобы между нами все осталось по прежнему.

Леночку точно кольнуло что-то: она сама хотѣла этого; но зачѣмъ объ этомъ заговорилъ онъ?

— Разумѣется,—сказала она;—вы видите, что я была права тогда.

— Когда?

— Когда мы послѣдній разъ видѣлись съ вами, я говорила вамъ то же.

Онъ понялъ.

— Нѣтъ, не правы и совсѣмъ не то вы мнѣ говорили; но не будемъ вспоминать объ этомъ. Вы не хотите или не можете понять меня, и потомъ, то, что я вамъ предлагалъ, было только героическимъ средствомъ; теперь, надѣюсь, та опасность миновала, передъ вами вся жизнь, вы можете ждать и выбирать.

— Нѣтъ, жизнь моя кончена, я ничему и никому не вѣрю, почти никому,—поправилась она,—и себѣ самой меньше, чѣмъ кому бы то ни было.

— И мнѣ не вѣрите?

— Нѣтъ, вамъ я вѣрю; потому я и сказала: почти никому.

— Спасибо и за это; такъ послушайтесь меня хоть разъ: уѣзжайте отсюда скорѣе.

— Куда? Мнѣ все равно. Отъ себя не уѣдешь.

— Ахъ, не говорите этого! Можно подумать въ самомъ дѣлѣ, что вы совершили какое-нибудь преступленіе и случилось что-нибудь ужасное, непоправимое. Уѣзжайте просто въ деревню, гуляйте, варите варенье съ Марьей Петровной, катайтесь верхомъ, и вы увидите, что не пройдетъ и мѣсяца, какъ на чистомъ воздухѣ не останется и слѣда вашего театральнаго угара. А потомъ... потомъ,—прибавилъ онъ нерѣшительно, — мы, можетъ быть, увидимся съ вами, и вы мнѣ скажете, ошибся ли я?

XIV.

Черезъ недѣлю Леночка была уже въ Моховомъ. Какъ только она вышла изъ вагона и сѣла съ Марьей Петровной въ тарантасъ, она почувствовала облегченіе: здѣсь, для другихъ, по крайней мѣрѣ, она была та же барышня, та же Леночка. Конечно, отъ ея прежнихъ надеждъ и плановъ ничего не осталось, но и то уже было хорошо, что никто здѣсь не узнаетъ въ ней „маленькаго герцога", никто не заговоритъ съ ней о ея талантѣ и о ея призваніи.

Марья Петровна догадывалась, что Леночка заболѣла не спроста, винила себя во всемъ, но ни о чемъ ее не разспрашивала, боясь попасть на больное мѣсто.

Стояли послѣдніе лѣтніе дни; въ полдень солнце пекло еще, хотя ночи уже были холодныя. Въ саду и въ лѣсу липы и березы начинали уже желтѣть, выдѣляясь на неизмѣнномъ, темно-зеленомъ фонѣ сосенъ и елей.

Леночка почти каждый день выходила на балконъ и спускалась по прямой дорожкѣ къ калиткѣ, за которой, какъ море, синѣли и роптали шумныя вершины хвойнаго лѣса. Въ саду, когда налеталъ вѣтеръ, было еще что-то тревожное и суетливое: деревья гнулись и вѣтки качались и шумѣли; желтые листья поднимались, неслись по дорожкѣ и кружились въ воздухѣ; но тамъ, въ лѣсу, даже при вѣтрѣ, все было спокойно; только вершины гудѣли сильнѣе, издавая протяжные, глубокіе вздохи. Приближеніе осени чувствовалось тамъ, но въ немъ не было ничего тревожнаго, раздражающаго, а слышалась только тихая грусть. Леночкѣ казалось, что она понимаетъ эту грусть, что она чувствуетъ то же, что лѣсъ. Она знала, что она молода, что ея осень еще далеко, но она чувствовала, что то, чѣмъ она жила эти годы, ушло безвозвратно, а новой жизни передъ собой не видѣла, такъ же, какъ тѣхъ цвѣтовъ, что будутъ цвѣсть слѣдующей весной.

Это чувство тихой грусти было для нея совсѣмъ ново и не лишено прелести. Нѣсколько дней она жила имъ исключительно; она ничего не дѣлала, ничего не читала, ни разу не подошла даже къ роялю.

Но чѣмъ больше отдавалась она этому чувству, чѣмъ дальше отъ нея уходило самое недалекое прошлое, тѣмъ чаще она вспоминала Петю Соханскаго, тѣмъ чаще ловила себя на мысли о немъ. „Неужели я люблю его?—спрашивала она себя съ удивленіемъ:—вѣдь я же навѣрное знаю, что нѣтъ; отчего же я такъ

часто думаю о немъ и только о немъ одномъ? Нѣтъ, это глупо, такъ нельзя распускать себя; иначе мы оба можемъ сдѣлать глупость и потомъ всю жизнь раскаиваться въ ней.

Она рѣшила опять приняться за работу; но какая теперь могла быть у нея работа? О курсахъ она давно и думать забыла, а о сценѣ не могла вспоминать безъ ужаса. Положимъ театръ театру и пьеса пьесѣ рознь, но ее пугали кулисы, рамка, режиссеръ и товарищи,—все то, что казалось ей такъ привлекательно и заманчиво прежде. Ей часто снилось, что она опять на сценѣ, что занавѣсъ поднимается и она замираетъ отъ страха, но она боится не публики, а тамъ, этого темнаго пространства за нею; ей чудится, что тамъ должно сейчасъ произойти что-то ужасное; она бѣжитъ, прячется отъ кого-то, путается въ темныхъ коридорахъ, слышитъ, что за ней гонятся, и просыпается, задыхаясь отъ волненія.

Нѣтъ, ни за что она не поступитъ на сцену. Другое дѣло концерты... И ей представлялась ярко освѣщенная зала, сдержанные разговоры въ оркестрѣ и въ публикѣ, которая ждетъ ея выхода и встрѣчаетъ ее рукоплесканіями, а она не прячется гдѣ-то за кулисой и не выбѣгаетъ на сцену, какъ мальчикъ, а выходитъ спокойно и торжественно съ дирижеромъ. Неужели и это ушло отъ нея? Нѣтъ, только надо работать еще больше, чѣмъ для сцены. А что бы сказалъ объ этомъ Петя?.. Но, въ сущности, какое ей дѣло; а главное, какое ему до этого дѣло? И въ то же время она чувствуетъ, что это не такъ, что это даже главное. Что она сдѣлаетъ то, что онъ ей посовѣтуетъ. „Какъ это странно! —думаетъ она:—прежде я терпѣть не могла ничьихъ совѣтовъ, а теперь сама совсѣмъ разучилась хотѣть чего-нибудь. Видно, „укатали бурку крутыя горки“,—говаривалъ Аристархъ Николаевичъ“.

— Аристархъ Николаевичъ!—она вспомнила, что онъ здѣсь и служитъ гдѣ-то. Кто ей говорилъ это? Да, Панкратьевна; она отъ кого-то слышала, что онъ недавно былъ въ волостной и разбранилъ писаря; стало быть, онъ уже не въ университетѣ. Но зачѣмъ онъ попалъ сюда? вздумаетъ опять бывать у нихъ... И ей живо вспомнилась послѣдняя встрѣча съ нимъ въ Публичной Библіотекѣ. Будетъ, разумѣется, дразнить ее, что ее не пустили; но теперь это было ей совершенно все равно.

Аристархъ Николаевичъ дѣйствительно скоро пріѣхалъ. Марьи Петровны не было дома; иначе она не велѣла бы пускать этого шелопая, которому приписывали всѣ бѣдствія Леночки.

Онъ вошелъ по прежнему, покрякивая, но остриженный и одѣтый значительно приличнѣе прежняго.

— Честь имѣю кланяться и рекомендоваться! Давно не видались—можетъ быть, и позабыли меня.

— Садитесь,—сказала Леночка: — вы, я слышала, служите здѣсь?

— Да, принципалъ мой позамѣшкался тутъ, въ волостной, съ писаремъ: на счетахъ щелкаютъ, а никакъ столковаться не могутъ; вотъ я и воспользовался случаемъ бывшую ученицу свою навѣстить.

— Какой принципалъ?

— Земскій начальникъ.

— Какъ, вы служите у земскаго начальника?

— Точно такъ, письмоводителемъ состою у ихъ благородія!

— Отчего же вы оставили университетъ?

— Оттого, во-первыхъ, что жрать надо, а во-вторыхъ... ну, да это причина довольно уважительная.

— А ваша жена?

— Какая жена?

— Устинья Петровна?

— Ахъ, чортъ бы ее побралъ! я изъ-за нея два дня въ участкѣ сидѣлъ.

— Какъ такъ?

— Сунула мнѣ въ столъ какія-то бумаги и не сказала ничего, шельма, а сама тягу дала: у меня полиція обыскъ дѣлаетъ, я говорю, смотрите, господа, на здоровье, только осторожнѣе, у меня тутъ въ столѣ холерныя бактеріи въ порошкѣ берегутся. А жандармъ—цапъ эти бумаги: „это, говоритъ, по какому рецепту вы такіе порошки получаете?“ Тутъ я, правда сказать, струхнулъ немножко: думаю, въ самомъ дѣлѣ какъ бы чего-нибудь не всыпали? Ну, ничего, обошлось благополучно. Начальство только дуракомъ обругало, да велѣло на родину убираться по добру по здорову.

Леночка была теперь такъ далека отъ всего этого, что ее забавлялъ разсказъ Аристарха Николаевича. Ее интересовало и то, какъ самъ онъ, презиравшій всякія власти, обратился въ письмоводителя какого-то земскаго начальника.

— Что же вы теперь дѣлаете?

— А что дѣлаю? Протоколы пописываю, статейки подъискиваю; начальство мое на этотъ счетъ плохо; вотъ если кого-нибудь административнымъ порядкомъ за вихры оттаскать нужно—это оно можетъ.

Леночка посмотрѣла на него съ удивленьемъ.

— И вы служите съ такимъ человѣкомъ?

— Вы что это, насчетъ правъ человѣчества? Нѣтъ, это въ прежнія времена хорошо было, когда мы съ вами на курсы поступать собирались; а теперь—наплевать мнѣ на всѣ эти права, коли у меня у самого въ животѣ бурчитъ. Вотъ что я вамъ доложу, милая барышня, насчетъ всѣхъ этихъ высшихъ стремленій: ими, какъ корью, въ извѣстномъ періодѣ переболѣть надо, а потомъ все облупится, даже красноты не останется. Ну, до свиданья, однако, какъ бы не опоздать, въ другой разъ потолкуемъ подольше. А вы что, курсы-то по боку? а жениха себѣ еще не отыскали?

Леночка не разсердилась.

— Это не къ спѣху,—сказала она.

— И то правда: на какого дурня наскочишь; пожалуй, еще колотить станетъ—что за охота!

Оставшись одна, Леночка глубоко задумалась; ему тоже не повезло; сквозь весь его цинизмъ и насмѣшки проглядывало разочарованье и обида. Да, онъ только храбрится, но уже не вѣритъ въ себя, какъ прежде. А все-таки, какъ все это противно! Неужели это жизнь? Настоящая жизнь? А сама она,—ей почти двадцать лѣтъ, говорятъ: это лучшіе годы,—а развѣ она жила? Нѣтъ, только собиралась, готовилась жить, и всѣ эти приготовленія оказались ни къ чему. Она опять стояла на той же точкѣ, какъ пять лѣтъ тому назадъ, еще дѣвочкой, и снова не знала, что дѣлать. Зачѣмъ Петя не ѣдетъ такъ долго? Онъ одинъ могъ бы ей посовѣтовать что-нибудь.

И, наконецъ, онъ пріѣхалъ.

Она не ждала его. Онъ не далъ о себѣ знать и засталъ ее за чаемъ съ Марьей Петровной.

Встрѣча ихъ вышла совсѣмъ не такая, какъ она думала. Она обрадовалась ему и покраснѣла. Онъ тоже былъ взволнованъ, но разговоръ какъ-то не клеился. „Какъ глупо! зачѣмъ онъ не предупредилъ меня?“ думала Леночка.

Марья Петровна разспрашивала его о дѣлахъ, о семьѣ, стараясь избѣгать тяжелыхъ и скользкихъ предметовъ; но ихъ было черезъ-чуръ много, и разговоръ по неволѣ становился натянутымъ.

Наконецъ, Петя не выдержалъ:

— Не споете ли вы что-нибудь?—обратился онъ къ Леночкѣ.

— Хорошо,—сказала она:—только что же мнѣ спѣть вамъ?

— Выберите сами.

Она встала, подошла къ роялю и стала перебирать ноты.

Онъ поднялся вслѣдъ за нею.

— Вотъ,—сказала она, наконецъ, кладя ноты на пюпитръ,

и голосъ ея дрогнулъ. Петя, зажигая свѣчи, наклонился надъ ней и заглянулъ въ ноты; сердце его сильно забилось: это былъ романсъ Чайковскаго,—онъ зналъ его, но не слыхалъ, чтобы она его пѣла прежде. Неужели она выбрала его нарочно?

А между тѣмъ она пѣла уже:

Средь шумнаго бала случайно...

Онъ замеръ и превратился весь въ слухъ. Онъ не замѣтилъ, какъ вышла Марья Петровна, остававшаяся у самовара, и какъ они остались вдвоемъ. Онъ только слушалъ и ждалъ; главное, онъ ждалъ послѣднихъ словъ, и вотъ они, вотъ они, эти слова:

—Люблю ли тебя, я не знаю,
Но кажется мнѣ, что люблю!...

Послѣдній аккордъ замеръ, и наступило молчанье. Она закрыла рояль, но не встала.

Онъ сѣлъ рядомъ съ ней и взялъ ее за руку.

— Я-то знаю, а вы... знаете ли?

— Вы спрашиваете?

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо, не говорите теперь!—испуганно сказалъ онъ.

Она улыбнулась:

— Хорошо отложимъ это до другого раза.

Теперь она тоже знала.

Онъ поцѣловалъ ея руку и продолжалъ держать ее.

Вошла Марья Петровна.

Петя всталъ. Онъ чувствовалъ, что не въ состояніи будетъ говорить ни о чемъ постороннемъ.

Леночка поняла его и не удерживала:

— Вы устали съ дороги, отдохните хорошенько, а завтра пріѣзжайте къ намъ обѣдать.

— Бѣдный Петя, какъ мнѣ его жаль!—сказала Марья Петровна, когда онъ вышелъ.

— Отчего, мама?—и Леночка съ удивленіемъ посмотрѣла на мать.

— Какъ отчего? Онъ еще такъ молодъ, а остается одинъ съ цѣлой семьей на рукахъ; на Вѣру плохая надежда теперь.

— Да, я совсѣмъ забыла...

— Что съ тобой, Леночка?

— Ничего, мама, я немножко устала: я давно не пѣла и совсѣмъ отвыкла. Я спать пойду.

Но она заснула не скоро. Въ ушахъ у нея все звенѣло:

Люблю ли тебя, я не знаю,
Но кажется мнѣ, что люблю.

— Нѣтъ, знаю, знаю!—повторяла она, и не только это знала она: всѣ сомнѣнія разсѣялись; теперь она чувствовала, что живетъ и знаетъ, что̀ такое жизнь...

Д. Ц—въ.

ИППОЛИТЪ ТЭНЪ

ВЪ

ИСТОРІИ ЯКОБИНЦЕВЪ

II *).

Познакомившись съ критическими сужденіями Тэна о другихъ историкахъ, обратимся теперь къ его исторіи якобинцевъ—и разсмотримъ сначала методъ изложенія, т.-е. его способъ располагать и освѣщать факты, его архитектонику, его языкъ и художественность его образовъ. Самую выдающуюся черту исторіи Тэна составляетъ обиліе накопленныхъ въ ней фактовъ, нерѣдко однородныхъ и однообразныхъ, нанизанныхъ сплошными страницами. Читатель, можно сказать, тонетъ въ нихъ, какъ будто идя по песчаной дорогѣ, утомляется и ищетъ твердаго мѣста, чтобы избавиться отъ сыпучей тяжести, задерживающей его движеніе. Изъ-за этой массы фактовъ иные читатели не дочитали книги; а многіе ее недостаточно оцѣнили. И все-таки нужно сказать, что такое нагроможденіе фактовъ было въ данномъ случаѣ не только неизбѣжно, но необходимо—и составляетъ силу книги.

Оно было неизбѣжно, потому что вытекало изъ общаго научнаго метода Тэна. Этотъ методъ состоитъ, какъ мы видѣли, въ расчлененіи сложнаго явленія на его составные элементы. Въ исторіи эти составные элементы, на которыхъ все построено—*факты*. Такимъ образомъ, въ исторіи, какъ и въ точныхъ наукахъ,

*) См. выше: сент., 142 стр.

для Тэна на первый планъ должно было стать собираніе и установленіе фактовъ. О своей психологіи онъ сказалъ, что чистая философія занимаетъ въ ней лишь нѣсколько страницъ, потому что ее можно уподобить общему взгляду, который путникъ дозволяетъ себѣ на нѣсколько мгновеній бросить вокругъ себя, когда взберется на возвышенность, а то, что̀ дѣйствительно составляетъ науку, это—работа піонера. Характеризуя манеру Бальзака изображать въ своихъ романахъ лица наборомъ мелкихъ чертъ и безчисленныхъ подробностей обстановки, Тэнъ замѣчаетъ: „такая компиляція, конечно, ничего не доказываетъ; она не болѣе какъ каталогъ; перечисленіе всѣхъ пестиковъ цвѣтка никогда не вызоветъ на нашихъ глазахъ образа этого цвѣтка“; но, сдѣлавъ эту оговорку, Тэнъ заключаетъ: „однако, какая въ этомъ мощь, какую рѣзкость образа (saillie) и какую рельефность это безконечное перечисленіе мелочей придаетъ всѣмъ лицамъ Бальзака; какъ они становятся для насъ реальны; съ какою точностью и энергіей они укореняются въ нашей памяти и какъ мы вѣримъ въ ихъ существованіе! Какъ все это похоже на правду!“

Обиліе фактовъ было, кромѣ того, необходимо Тэну, чтобы произвести поворотъ въ исторіографіи революціи; только факты, выведенные сплошными рядами, были въ состояніи побѣдить укоренившуюся въ умахъ легенду. Прежніе историки, изображая *духъ* революціи, могли оставлять безъ вниманія неудобную для нихъ массу фактовъ, тѣмъ болѣе, что они рѣдко выходили въ своемъ повѣствованіи изъ предѣловъ Парижа. Не трудно было увлечь читателя живымъ разсказомъ о взятіи Бастиліи, не утомляя его памяти; но дать ему понятіе о широкомъ распространеніи крестьянскаго возстанія, выразившагося въ цѣломъ рядѣ опустошенныхъ и сожженныхъ замковъ, было невозможно безъ повторенія однообразныхъ фактовъ. Легко было дать почувствовать ужасъ террора наброскомъ нѣсколькихъ драматическихъ сценъ передъ революціоннымъ трибуналомъ; но чтобы изобразить оцѣпенѣніе и страданіе французскаго народа подъ давленіемъ террора, нужны были цифровыя и статистическія данныя, скучныя для читателя, но цѣнныя для исторіи. То, что̀ хотѣлъ написать Тэнъ и чего недоставало до него—то была *внутренняя*, соціальная исторія Франціи во время революціи.

Въ критическихъ сужденіяхъ Тэна о другихъ направленіяхъ, или *жанрахъ* въ исторіи, о политическомъ, ораторскомъ и т. п., предъ нами уже обрисовалось его собственное—по преимуществу *научное* и *документальное*. Мы видѣли, что основными пріемами научнаго метода Тэнъ считалъ „расчлененіе всякаго сложнаго

явленія на его составные элементы или *факты*", затѣмъ раздробленіе или *размноженіе* фактовъ, и наконецъ подведеніе каждой группы фактовъ подъ господствующій надъ ними фактъ или ихъ причину. Въ примѣненіи къ исторіи этотъ научный методъ долженъ былъ проявиться въ двухъ видахъ—по отношенію къ *событіямъ* и къ *людямъ*, т.-е. въ разборѣ и группировкѣ самихъ историческихъ фактовъ и въ психологическомъ анализѣ историческихъ дѣятелей.

Если, какъ мы видѣли, Тэнъ даже по отношенію къ психологическому изслѣдованію допускалъ или одобрялъ способъ изображенія предмета посредствомъ перечисленія „мелочей", то дробность изслѣдованія должна была ему, конечно, казаться еще болѣе умѣстною или неизбѣжною въ области *фактической* исторіи. И дѣйствительно, самую выдающуюся черту исторіи якобинцевъ Тэна составляетъ обиліе накопленныхъ въ ней фактовъ, нерѣдко однородныхъ и однообразныхъ, нанизанныхъ сплошными страницами.

И однако такое обиліе, нагроможденіе фактовъ было въ данномъ случаѣ необходимо и составляло силу книги—оно обусловливалось не методомъ только Тэна, но и самымъ предметомъ, имъ избраннымъ, и задачей, имъ себѣ поставленной. Только такое обиліе фактовъ, выведенныхъ сплошными рядами, было въ состояніи произвести поворотъ въ исторіографіи революціи, побѣдить укоренившуюся въ умахъ относительно ея легенду и замѣнить, по мысли Тэна, ораторское изображеніе якобинцевъ фактической правдой. Прежніе историки, изображая „величіе духа" жирондистовъ или якобинцевъ, могли оставлять безъ вниманія неудобную для нихъ массу мелкихъ фактовъ, тѣмъ болѣе, что они рѣдко выходили въ своемъ повѣствованіи изъ предѣловъ Парижа.

Впрочемъ факты, съ такимъ обиліемъ собранные Тэномъ, не представляютъ собою безжизненныя груды матеріала, терпѣливо сложеннаго архивнымъ изслѣдователемъ или компиляторомъ. У Тэна *ученый* всегда неразлученъ съ *художникомъ*, и можетъ быть самой любопытной чертой его является небывалое соединеніе въ немъ инстинктовъ ученаго, жажды полноты и документальности изслѣдованія—съ художественнымъ творчествомъ. Благодаря этому, какъ бы ни были обильны извлеченные Тэномъ изъ документовъ факты, они никогда не представляются читателю въ необработанномъ видѣ, подобно тому, какъ груда свезеннаго отовсюду строительнаго матеріала подъ руководствомъ архитектора быстро слагается въ стройное зданіе. Поэтому, описывая въ исторіи якобинцевъ *научный методъ* Тэна съ его накопленіемъ, размноженіемъ и расчлененіемъ фактовъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ постоянно имѣть пе-

редъ глазами художественную работу этого историка—его *архитектонику*, т.-е. его способность стройно располагать и группировать факты, и *художественность* его языка и образовъ, съ помощью которыхъ онъ ихъ освѣщаетъ, вноситъ въ нихъ новый смыслъ и вызываетъ у читателя живой къ нимъ интересъ.

Какъ мы уже сказали, первый и главный пріемъ научнаго метода Тэна заключается въ анализѣ, т.-е. въ *расчлененіи* сложнаго явленія, понятія или факта на его элементы, т.-е. на заключающіеся въ немъ первичные факты. Разсмотримъ примѣненіе этого пріема къ исторіи якобинцевъ и пояснимъ его нѣсколькими примѣрами.

Однимъ изъ важнѣйшихъ, по своимъ послѣдствіямъ, событій въ исторіи якобинцевъ былъ захватъ 10 авг. 1793 г. парижской думы самозваннымъ сборищемъ людей, присвоившихъ себѣ власть парижской коммуны, т.-е. городского управленія, и подчинившихъ своему вліянію тогдашнее правительство или законодательное собраніе. Объ этомъ послѣднемъ фактѣ упоминаютъ, конечно, всѣ исторіи революціи, но онъ выставляется у нихъ отвлеченно и мало говоритъ воображенію читателей, которые поэтому и не придаютъ ему особаго значенія. Посмотримъ теперь, какъ представляетъ дѣло Тэнъ, *расчленяя* его на подробности и извлекая изъ него цѣлую картину съ необозримой исторической перспективой.

Они (т.-е. члены революціонной коммуны) свели—говоритъ Тэнъ—законодательное собраніе къ роли редактора и глашатая своихъ декретовъ, и они ежедневно налагаютъ свои невѣжественныя руки на всѣ вѣдомства государства,—финансы, армію, организацію подвоза жизненныхъ припасовъ, администрацію и судъ,—рискуя поломать колеса государственной машины и остановить ея дѣйствіе. Сегодня они вызываютъ къ себѣ военнаго министра или, вмѣсто него, его товарища; завтра они въ теченіе двухъ часовъ держатъ подъ арестомъ весь штатъ его канцелярій—подъ предлогомъ поисковъ заподозрѣннаго ими типографщика. То они накладываютъ свою печать на „казначейство чрезвычайныхъ расходовъ“; то распускаютъ правительственную коммиссію „снабженія Парижа продовольствіемъ“; то вмѣшиваются въ ходъ правосудія для того, чтобы затруднить защиту подсудимыхъ или пріостановить исполненіе постановленныхъ приговоровъ. Нѣтъ ни одного принципа, закона, постановленія, приговора, учрежденія или государственнаго чиновника, которые были бы ограждены отъ ихъ произвола. И подобно тому, какъ они наложили свою руку на власть, они накладываютъ ее и на деньги. Они не только вынудили у законодательнаго собранія на „расходы по полиціи“, т.-е. на содер-

жаніе своей шайки—850.000 фр. въ мѣсяцъ, причемъ опредѣлили срокъ платежа заднимъ числомъ съ 1 янв. *1792*, такъ что получили сразу болѣе чѣмъ 6 милліоновъ; но, опоясавъ себя муниципальной лентой, они начали захватывать въ свою пользу въ „зданіяхъ, принадлежащихъ націи", т.-е. въ секвестрованныхъ ими частныхъ домахъ, все, что находилось въ нихъ цѣннаго. „Въ одномъ только изъ такихъ домовъ они забрали на 100.000 экю". У королевскаго казначея они присвоиваютъ себѣ цѣлый сундукъ съ драгоцѣнностями и цѣнными бумагами и 340.000 ливровъ деньгами. Ихъ коммиссары привезли изъ Шантильи три запряженныхъ тройками фургона, нагруженныхъ „остатками имущества герцога Конде". Они берутъ на себя „перевозку мебели изъ домовъ эмигрантовъ", а въ парижскихъ церквахъ конфискуютъ распятія, аналои, колокола, рѣшетки, т.-е. все, что было изъ бронзы или желѣза, а кромѣ того подсвѣчники, кадила, сосуды, хранилища для мощей и статуи, т.-е. „все, что было серебрянаго" какъ на алтарѣ, такъ и въ ризницахъ, и поэтому можно судить о громадности взятой ими добычи; чтобы перевезти къ нимъ серебряныя вещи изъ одной только церкви Маделены (la Ville-l'Evêque), понадобился цѣлый фургонъ, запряженный четырьмя лошадьми, и т. д.

Возьмемъ другой примѣръ: Тэну нужно сказать, что подъ вліяніемъ террора всплыли наверхъ подонки общества. Что же заключается въ этомъ фактѣ? Вспомнимъ,—говоритъ Тэнъ,—орду отверженцевъ, которыми кишѣлъ *старый порядокъ*—двойной кордонъ контрабандистовъ, т.-е. пограничныхъ и внутреннихъ контрабандистовъ и укрывателей соли на протяженіи 1.200 миль внутренней таможенной линіи,—безчисленныхъ браконьеровъ, населявшихъ лѣса съ заповѣдной охотой на пространствѣ 400 кв. миль, дезертировъ, столь многочисленныхъ, что въ восемь лѣтъ ихъ набралось до 60 000, нищихъ, которыми были переполнены рабочіе дома, тысячи разбойниковъ и бродягъ, грабившихъ по большимъ дорогамъ—весь этотъ сбродъ, преслѣдуемый полиціей, выпущенъ теперь на волю революціей и вооруженъ ею; и, въ свою очередь, „эта дичь теперь становится охотникомъ". Въ теченіе трехъ лѣтъ бродяги „съ крѣпкими кулаками" составляли ядро всѣхъ мѣстныхъ бунтовъ; теперь они образуютъ ополченіе всеобщаго бунта".

Въ Тулонѣ клубъ, властвующій абсолютнѣе любого азіатскаго деспота, набранъ изъ нищихъ, матросовъ, портовыхъ рабочихъ, солдатъ, „пришельцевъ безъ роду и племени", а президентъ его, присланный изъ Парижа—сумасбродъ самаго низкаго сорта. Въ

Реймсѣ главный руководитель—сбросившій рясу патеръ, женившійся на монахинѣ, а товарищъ его—бывшій солдатъ, едва не попавшій на висѣлицу. Въ Тулузѣ главные два демагога—башмачникъ и игравшій роли лакеевъ актеръ. Здѣсь главный коноводъ—дезертиръ, привлеченный къ суду за кражу; тамъ—поваръ или кабатчикъ; тутъ—бывшій лакей. Великій оракулъ Ліона, соперникъ Марата, бывшій комми-вояжёръ Шальé, кровожадный „деліріумъ“ котораго осложнялся болѣзненнымъ мистицизмомъ; помощники Шалье—цирюльникъ, парикмахеръ, продавецъ стараго платья, фабрикантъ горчицы, сукновальщикъ и двое рабочихъ съ муслиновой фабрики; а наступитъ время, когда власть падетъ еще ниже, когда „падшія женщины и воровки“, съ помощью „своихъ любовниковъ“, станутъ избирать женскихъ коммиссаровъ (des commissaires femelles), назначать таксу на припасы и въ теченіе трехъ дней грабить магазины“ и т. д. Такимъ образомъ, *факты* служатъ Тэну для расчлененія *фактовъ*.

Нужно, впрочемъ, сказать, что факты являются у него не только необходимымъ матеріаломъ для установленія исторической правды, но онъ *любитъ* факты, потому что умѣетъ пользоваться искусно ихъ массой, чтобы произвести сильное впечатлѣніе. Поэтому-то они у него такъ часто сыплются градомъ на читателя, врѣзываясь въ его память своими учащенными ударами. Замѣчательный образчикъ искусства, съ которымъ Тэнъ сдвигаетъ въ одинъ могучій итогъ—факты, которые обрушиваются какъ лавина, поражая воображеніе, это—его обвинительный актъ противъ жирондистовъ законодательнаго собранія, превратившихся въ безгласныхъ и безсильныхъ пособниковъ парижскихъ якобинцевъ: „Подобно плодамъ съ дерева, которое трясутъ сильной рукою, ускоренные декреты ихъ падаютъ одинъ за другимъ цѣлыми рядами (par jonchées) на руки тѣхъ, кто ихъ ожидаетъ: временное отрѣшеніе отъ власти короля, созваніе національнаго конвента, уничтоженіе всякаго ценза для избирателей и избираемыхъ, плата избирателямъ, которымъ приходится ради выборовъ перенестись съ своего мѣста жительства, предоставленіе регламента избирательныхъ собраній на произволъ самихъ избирателей, отрѣшеніе отъ власти и арестъ министровъ, возвращеніе ихъ министерскаго поста Сервану, Клавьеру и Ролану, назначеніе Дантона министромъ юстиціи, признаніе самозванной коммуны, утвержденіе Сантерра въ его новомъ званіи начальника всей національной гвардіи, передача общей полиціи парижскому муниципалитету, предоставленіе на добрую волю каждаго—права арестовать подозрительныя лица, предписаніе домовыхъ обысковъ для отобранія

оружія и пороха; переизбраніе всѣхъ мировыхъ судей Парижа, переизбраніе всѣхъ офицеровъ жандармеріи, назначеніе платы въ 30 су ежедневно марсельцамъ со дня ихъ прибытія въ Парижъ, военный судъ надъ швейцарцами, особый судъ съ быстрымъ производствомъ надъ побѣжденными 10 августа и множество другихъ декретовъ болѣе общаго значенія, а именно: уничтоженіе государственныхъ коммиссаровъ при гражданскихъ и уголовныхъ судахъ для наблюденія за исполненіемъ приговоровъ; освобожденіе всѣхъ обвиненныхъ и осужденныхъ за военную инсубординацію, за преступленія, совершенныя путемъ печати, и за грабительскій захватъ зернового хлѣба; раздѣленіе общинныхъ земель; конфискація и продажа имущества эмигрантовъ, заключеніе въ тюрьму ихъ отцовъ, матерей, женъ и дѣтей, изгнаніе и депортація въ Кайенну патеровъ, не давшихъ присяги, установленіе облегченнаго развода въ двухмѣсячный срокъ и по требованію одной стороны,— однимъ словомъ, всѣ мѣры, способныя потрясти собственность, разрушить семью, угнетать совѣсть, парализовать законъ, извратить справедливость и возвести преступленіе на степень подвига; наконецъ, передача магистратуры закона и избранія будущаго всемогущаго собранія, однимъ словомъ— всего общественнаго достоянія, въ жертву самоволію свирѣпаго меньшинства, которое, дерзнувши на все для захвата власти, готово посягнуть на все, чтобы ее сохранить“ (II, 250).

Приведенные здѣсь факты Тэнъ могъ умѣстить въ рамки одной страницы; но иногда ему приходится имѣть дѣло съ такими вереницами фактовъ, которые занимаютъ своимъ однообразнымъ потокомъ цѣлую главу. Въ такихъ случаяхъ приходится любоваться искусствомъ, съ которымъ Тэнъ старается совладать съ подавляющимъ вниманіе читателя матеріаломъ и вдохнуть въ него драматическій интересъ. Приведемъ въ примѣръ изображеніе общаго состоянія Франціи послѣ катастрофы, постигшей монархію. Послѣдовавшія за этимъ сентябрьскія убійства послужили сигналомъ. Къ подобнымъ убійствамъ и грабежамъ по всей странѣ историкъ набралъ цѣлый картонъ относящихся сюда свѣденій изъ мемуаровъ, изъ монографій и изъ національнаго архива. Но какъ передать хотя бы часть этого матеріала читателю, не утомляя его?

Тэнъ приглашаетъ его войти съ нимъ въ кабинетъ Ролана, тогдашняго министра внутреннихъ дѣлъ; на столѣ передъ министромъ лежитъ корреспонденція съ мѣстными властями за послѣднія недѣли; передъ нимъ раскрыта географическая карта Франціи, по которой министръ, перелистывая бумаги, отмѣчаетъ

движеніе революціонной анархіи. Около мужа, по своему обычаю, помѣстилась съ работою г-жа Роланъ, и супруги, вокругъ своей лампы, задумались, увидавши на дѣлѣ свирѣпаго звѣря, котораго они выпустили на Парижъ и провинціи.

Тэнъ наблюдаетъ за ними, какъ они слѣдятъ по картѣ за кровавымъ слѣдомъ, который оставляетъ повсюду торжество якобинцевъ. Ночь надвигается: министръ уже просмотрѣлъ рапорты, присланные изъ западной и сѣверной Франціи; надо спѣшить— и онъ обращается къ южнымъ департаментамъ: тамъ то же самое зрѣлище и снова тянутся передъ нимъ сцены анархіи и грубаго, жестокаго насилія; министръ дошелъ до Бургони; какъ ни наполненъ и ни помраченъ его духъ философскими фразами, чутье реальности беретъ здѣсь свое: онъ долго служилъ въ этомъ краѣ фабричнымъ инспекторомъ; всѣ мѣстныя названія ему извѣстны; на этотъ разъ предметы и формы обрисовываются живѣе въ его изсохшемъ воображеніи, и онъ начинаетъ уразумѣвать дѣйствительность сквозь слова донесенія. Въ концѣ ліонскаго „дѣла" Роланъ находитъ письмо къ себѣ отъ своего свирѣпаго товарища по министерству—Дантона, который проситъ его приказать выпустить на свободу восемь офицеровъ полка Royal Pologne, арестованныхъ и посаженныхъ въ тюрьму въ Ліонѣ. Дантонъ пишетъ, что если за ними нѣтъ вины, то было бы возмутительной несправедливостью держать ихъ дольше въ заключеніи. Но эти офицеры уже три недѣли тому назадъ убиты толпой, ворвавшейся въ тюрьму, и чиновникъ Ролана сдѣлалъ на письмѣ Дантона канцелярскую помѣтку—„дѣло прекращено" [1]). Супруги переглянулись, не сказавъ ни слова: г-жа Роланъ, можетъ быть, вспомнила, какъ въ началѣ революціи она сама требовала „головъ" и желала появленія новыхъ Деціевъ Брутовъ. Теперь ея желаніе исполнилось. И долго еще сидятъ супруги за работой и даютъ читателю возможность подробно обозрѣть вмѣстѣ съ ними ужасную картину, которую тогда представляла страна, провозглашавшая „объявленіе правъ человѣка"... „Какъ ни ограниченъ Роланъ, онъ долженъ, наконецъ, понять, что безчисленные грабежи и убійства, имъ отмѣченные—не необдуманный взрывъ страстей, не мимолетный бредъ, а манифестъ побѣдоносной партіи, начало новаго, установившагося режима". Этимъ краткимъ заключительнымъ замѣчаніемъ Тэнъ мѣтко опредѣляетъ, какой смыслъ онъ придаетъ совершившемуся якобинскому перевороту. Въ исторіографіи немного можно указать образчиковъ такой мастерской mise en scène,

[1]) Письмо Дантона извлечено Тэномъ изъ архивныхъ дѣлъ.

какъ это описаніе кабинета Ролана. Впрочемъ, этотъ терминъ слишкомъ отзывается искусственностью. Въ картинѣ, изображенной Тэномъ, правда и реальность такъ захватываютъ, что совершенно забываешь о композиціи. Читатель вспоминаетъ слова Тэна, въ этюдѣ о Бальзакѣ, о значеніи искусства, которое избавляетъ зрителя отъ ужаса, поддерживая въ немъ интересъ. Читатель зритъ здѣсь *вдали* отъ себя ужасъ террора, но чувствуетъ его *вдвойнѣ*, ибо видитъ самые факты и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ отраженіе въ совѣсти людей благонамѣренныхъ, но отчасти виновныхъ въ этихъ ужасахъ и начинающихъ сознавать свою невольную вину—а, можетъ быть, уже и предчувствовать свою собственную трагическую судьбу.

Если Тэнъ умѣетъ сливать въ одно общее потрясающее впечатлѣніе цѣлую массу однородныхъ фактовъ, то съ другой стороны онъ не менѣе искусно освѣщаетъ отдѣльные, самые мелкіе факты, такъ что они неожиданно ярко разъясняютъ читателю среду или эпоху.

Въ тяжкіе для Парижа дни, когда король находился въ заключеніи и для освобожденія его надвигалась къ столицѣ непріятельская армія, наканунѣ сентябрьскихъ убійствъ, случилось на одной изъ городскихъ площадей неважное само по себѣ событіе, которое въ описаніи Тэна озаряетъ своимъ мрачнымъ свѣтомъ приближавшуюся роковую катастрофу сентябрьскихъ убійствъ. Нѣкто Жюльенъ, по ремеслу ломовой извозчикъ, былъ за что-то приговоренъ судомъ къ 12-лѣтнему заключенію въ кандалахъ и по тогдашнему обычаю выставленъ у позорнаго столба. Выведенный, вѣроятно, изъ терпѣнія насмѣшками толпы, онъ пришелъ въ ярость и послѣ разныхъ циническихъ выходокъ закричалъ: „да здравствуетъ король, да здравствуетъ королева, да здравствуетъ Лафайеттъ, къ чорту нація!“ Толпа едва его не растерзала; его тотчасъ снова подвергли суду и гильотинировали, какъ бунтовщика, причастнаго къ мнимому заговору роялистовъ, который, какъ гласила тогда молва, былъ своевременно пресѣченъ нападеніемъ толпы на Тюльери 10-го августа.

Приведенный сейчасъ фактъ прошелъ бы незамѣченнымъ у другого историка; посмотрите, однако, какъ Тэнъ понялъ и выдвинулъ его значеніе; прочтите у него, какъ казнь Жюльена подѣйствовала на парижанъ, какую она вызвала панику въ ихъ умахъ, какъ подъ вліяніемъ страха разъигралось ихъ воображеніе. „Итакъ, заговоръ продолжается, — говорили въ толпѣ; — судъ это самъ призналъ и объявилъ это не безъ основанія. Безъ со-

мнѣнія Жюльенъ сдѣлалъ какія-либо признанія: что же онъ открылъ?" и т. д. Приводя свидѣтельства современниковъ, Тэнъ передаетъ, какіе слухи стали ходить по Парижу: „Подобно ядовитымъ грибамъ, выползшимъ изъ земли въ одну ночь, одна и та же сказка укоренилась во всѣхъ мозгахъ". Жюльенъ сказалъ, что въ тюрьмахъ всѣ думаютъ такъ же, какъ и онъ, что у арестантовъ оружіе въ изобиліи, и что ихъ выпустятъ на парижанъ, какъ скоро волонтеры выступятъ изъ города... И на слѣдующій день началась въ тюрьмахъ рѣзня заключенныхъ, руководимая коммуною!

Вообще книга Тэна изобилуетъ мелкими, но *многозначительными* фактами, подмѣченными зоркимъ глазомъ ученаго въ грудахъ печатнаго и архивнаго матеріала и разсѣянными по тексту и многочисленнымъ примѣчаніямъ. Вотъ, напр., ключъ къ отличительному факту всей революціонной эпохи 1789—94 годовъ: за это пятилѣтіе всѣ уличные бунты противъ правительства, какое бы оно ни было—монархическое или республиканское—*всегда* оканчивались успѣшно для толпы! Почему? Причину легко усмотрѣть въ слѣдующемъ донесеніи одного изъ командировъ національной гвардіи по поводу одного изъ такихъ мятежей. „Къ чему сопротивленіе, которое не принесетъ никакой пользы общему дѣлу (pour la cause publique) и можетъ его даже ухудшить?" [1]) Эти слова отлично характеризуютъ настроеніе всѣхъ тѣхъ, на комъ за это время лежала обязанность охранять общественный порядокъ. Вотъ другой фактъ, бросающій свѣтъ на раздраженіе парижскаго рабочаго, побуждавшее его принимать участіе во всѣхъ бунтахъ. Конечно, новыя политическія доктрины и страстная реторика клубныхъ ораторовъ и газетъ должны были исполнять его злобой, особенно когда къ этому присоединились безработица и вызванныя паденіемъ ассигнацій дороговизна и нужда; всѣ эти причины были уже выставлены другими историками. Тэнъ вставилъ одну новую, подмѣченную имъ, черту въ свою картину, и она стала понятнѣе своей жизненной правдой и реальностью. Тэнъ указываетъ на то, что парижскіе рабочіе, особенно тѣхъ промысловъ, которые требовали большого напряженія физическихъ силъ, привыкли до революціи по утрамъ пить кофе. Вслѣдствіе возстанія негровъ въ Санъ-Доминго и грабежа лавокъ въ Парижѣ, колоніальные товары стали недоступны по цѣнѣ; „столяръ, каменщикъ, слесарь, носильщикъ лишились своего ежедневнаго

[1]) Съ 1794 г., т.-е. съ паденія Робеспьера, по 1812 г., наоборотъ, ни одинъ бунтъ не удавался.

café-au-lait, и каждое утро они ропщутъ, думая о томъ, что наградою ихъ патріотизма явилось увеличеніе ихъ лишеній".

А вотъ случай, который даетъ понятіе о безурядицѣ, господствовавшей во время торжества якобинцевъ во всѣхъ вѣдомствахъ государственнаго управленія, и о знакомствѣ съ дѣломъ новыхъ заправилъ, которые могли управлять только потому, что на своихъ должностяхъ по большей части оставались прежніе чиновники, знатоки дѣла. Тьеръ необыкновенно восхвалялъ обширный умъ и энергію Камбона, который во время конвента стоялъ во главѣ финансоваго управленія; это другой Карно, который своими цифровыми комбинаціями сдѣлалъ возможнымъ осуществленіе плановъ военнаго администратора. Мишлé говорилъ о Камбонѣ еще съ большимъ паѳосомъ, возводя дѣятельность этого мелкаго негоціанта изъ Монпелье въ область нравственнаго героизма. Тэнъ показываетъ намъ всемогущаго якобинскаго финансиста въ канцеляріи, въ его будничной дѣятельности. Вымещая на лицахъ свою ненависть къ старому порядку, якобинцы отдали подъ судъ революціоннаго трибунала, — что̀ значило послать на вѣрную смерть—шестьдесятъ „генеральныхъ фермеровъ", т.-е. всѣхъ членовъ общества капиталистовъ, которому государство отдавало на откупъ косвенные налоги на табакъ, соль и пр. Камбонъ стоялъ тогда почти уже два года во главѣ финансоваго управленія; несмотря на это, онъ и его товарищи были такъ мало свѣдущи въ своемъ вѣдомствѣ, что присоединили къ обвинительному акту противъ 60 откупщиковъ еще 48 „главныхъ казначеевъ" *прямыхъ податей*. Къ счастью для послѣднихъ, одинъ изъ чиновниковъ казначейства, Годенъ, услышалъ на улицѣ о декретѣ, обрекавшемъ на казнь всѣхъ обвиненныхъ, и поспѣшилъ въ финансовый комитетъ объяснить, что нѣтъ ничего общаго между двумя группами лицъ, подведенными подъ общій приговоръ, что одну изъ нихъ составляли капиталисты, рисковавшіе своими деньгами въ разсчетѣ на большіе барыши, другую же—простые чиновники, которымъ государство платило жалованье въ видѣ процентной скидки съ поступавшихъ въ казначейство суммъ. „Велико было изумленіе импровизованныхъ финансистовъ!" Годену не хотятъ вѣрить, кричатъ, что онъ ошибается. Онъ настаиваетъ, повторяетъ свое объясненіе предсѣдателю Камбону, увѣряетъ своею честью въ точности своихъ словъ и предлагаетъ доказать ихъ документально; наконецъ, комитетъ убѣждается, и предсѣдатель говоритъ одному изъ членовъ: „Если это такъ, то сходи въ канцелярію (конвента) и вычеркни имена казначеевъ изъ сегодняшняго декрета".

Указанный фактъ приведенъ Тэномъ изъ общедоступныхъ мемуаровъ Годена, ставшаго при Наполеонѣ министромъ и герцогомъ Гаэты; читатель, однако, обязанъ Тэну фактами еще совершенно другого свойства, которыхъ нельзя было найти у его знаменитыхъ предшественниковъ въ исторіографіи, и которые бы и не гармонировали съ патріотическимъ паѳосомъ Тьера и съ поэтическими диѳирамбами Мишлé.

Мы припоминаемъ по этому случаю, что Тэнъ еще въ первой молодости упрекнулъ римскаго историка за то, что онъ тщательно опускалъ изъ своего повѣствованія всѣ оригинальные и документальные тексты, боясь, чтобы ихъ археологическій или простонародный характеръ не нарушилъ изящества его ораторской прозы. То же самое мы встрѣчаемъ и въ исторіографіи революціи. Ораторскіе историки этого событія даютъ читателю лишь отрывки изъ самыхъ пламенныхъ воззваній Верньо, изъ самыхъ бурныхъ импровизацій Инара, изъ самыхъ коварныхъ обвиненій Робеспьера, избѣгая всего, что могло бы представить людей и событія того времени въ пошломъ или смѣшномъ видѣ; но для исторіи культуры безграмотный языкъ иныхъ документовъ и рѣчей краснорѣчивѣе самыхъ благозвучныхъ ораторскихъ періодовъ. Изложеніе Тэна изобилуетъ такими культурными фактами и данными, которые придаютъ ему такой реальный, жизненный колоритъ. У него, напр., можно найти реторику якобинца *средней* руки, у котораго непереваренное классическое образованіе и ходульная реторика соединяются въ траги-комическомъ эффектѣ. Образчикомъ этой реторики можетъ послужить слѣдующій отрывокъ изъ рѣчи докладчика, предлагавшаго законодательному собранію проектъ закона, въ силу котораго неприсягнувшіе сорокъ тысячъ патеровъ должны были подвергнуться заключенію или изгнанію по первому постановленію мѣстныхъ властей. Чтобы провести законъ, докладчикъ слѣдующимъ образомъ старался возбудить страсти своихъ товарищей и зрителей галерей: „Я видѣлъ,—говорилъ онъ,—какъ въ нашихъ деревняхъ пламень гименея бросаетъ лишь блѣдный и тусклый свѣтъ, какъ онъ превращается въ факелъ фурій, какъ омерзительное суевѣріе возсѣдаетъ на брачномъ ложѣ, становясь между природой и супругами и задерживая самую неудержимую ихъ наклонность... О, Римъ, доволенъ ли ты? Не ты ли Сатурнъ, которому ежедневно нужны новыя *головости* (цѣльныя жертвы)?.. Прочь отъ насъ, мастера раздора; почва свободы устала носить васъ... Если вы хотѣли дышать воздухомъ Авентина, корабль отечества готовъ къ отплытію; я уже слышу на берегу нетерпѣливые крики матросовъ; вѣтеръ свободы уже

раздуваетъ паруса; вы отправитесь въ путь, какъ Телемакъ, искать по морю вашего отца; но вамъ не нужно страшиться ни подводныхъ скалъ *Сицилiи*, ни соблазновъ какой-нибудь *Эвхариды*".

Другой депутатъ желаетъ похвастаться тѣмъ, что онъ *изъ народа*, и, чтобы доказать это, говоритъ: „Осмѣливаюсь восхвалять предъ вами старинную знатность моего плуга! Пара воловъ служили чистыми и непорочными нотаріусами, засвидѣтельствовавшими моимъ добрымъ предкамъ ихъ родовую грамоту; ея начертанная на землѣ подлинность лучше удостовѣрена, чѣмъ посредствомъ хрупкаго пергамента"... и т. д.

А что можетъ быть знаменательнѣе для характеристики заурядnаго парижскаго якобинца, готоваго примкнуть ко всякому бунту въ полной увѣренности, что онъ спасаетъ отечество,—какъ письмо „гренадера" парижской національной гвардіи? Оно написано къ одному другу въ провинціи послѣ бунта 31-го мая и имѣетъ цѣлью оправдать насиліе, совершенное надъ жирондой. Едва ли когда-либо историческія свѣденія сослужили кому-нибудь такую плохую службу! „Развѣ можно не знать, что парижскій народъ своимъ ропотомъ и справедливыми бунтами противъ тиранніи многихъ нашихъ королей, всегда принуждалъ ихъ къ болѣе гуманнымъ чувствамъ по отношенію къ французскому народу и особенно къ населенію деревень?.. Безъ энергіи Парижа, Парижъ и Франція были бы населены лишь рабами, и прекрасная почва ея, конечно, представляла бы такой же дикій и пустынный видъ, какъ имперія турецкая или германская... Все это побудило насъ придать еще болѣе блеска нашей революціи, возстановивъ на землѣ древнюю аѳинскую республику и другія республики Греціи во всей ихъ чистотѣ" (II, 66), и т. п.

Благодаря Тэну, мы можемъ спуститься еще ниже и познакомиться съ степенью образованія и умственнымъ состояніемъ засѣдателей полицейскихъ комитетовъ, отъ которыхъ зависѣла выдача якобинскаго паспорта (carte civique), т.-е. благосостояніе, свобода и жизнь многихъ тысячъ семействъ. Характерный образчикъ языка и орѳографіи полицейскихъ комитетовъ представляетъ слѣдующее свидѣтельство, выданное женщинѣ; безграмотность этого оффиціальнаго документа можетъ быть передана лишь въ оригиналѣ: Ces opignons paroisse insipide... Il est marié cent (sans) enfants. Sa profession est fame de Paillot-Montabert, son revenu est de vivre de ses revenu, ces relation sont d'une fame nous n'y portons point d'atantion, ces opignons nous les présumons semblable à ceux de son mary... „Къ сожалѣнію,—прибав-

ляетъ Тэнъ,—я не могу изобразить здѣсь почерка: это писаніе пятилѣтняго ребенка".

Въ числѣ фактовъ, нужныхъ исторіи, одинъ изъ важнѣйшихъ разрядовъ ихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе затрудняющій историка, представляютъ собою цифры. Современная историческая наука не можетъ обойтись безъ статистики; но какъ быть съ ея числовыми данными?—если ихъ помѣстить въ приложеніи, онѣ утрачиваютъ свое значеніе; если ихъ вносить въ повѣствованіе, онѣ нарушаютъ его и надоѣдаютъ читателю. Тэнъ не боится чиселъ, онъ ищетъ ихъ; можно сказать, что онъ первый внесъ статистику въ исторію французской революціи и освѣтилъ ее столько же своими числовыми данными, сколько своими психологическими. Объяснимъ нѣсколькими примѣрами значеніе цифръ у Тэна. Онъ представилъ эпоху террора въ видѣ *завоеванія* Франціи якобинцами; захватъ власти съ ихъ стороны онъ уподобилъ завоеванію Англіи норманнами или Ирландіи пуританами Кромвеля. Это уподобленіе получаетъ рельефную наглядность благодаря статистической таблицѣ въ началѣ II тома, гдѣ Тэнъ вычисляетъ, на основаніи своихъ источниковъ, количество якобинцевъ по главнымъ городамъ Франціи наканунѣ террора. Просмотрѣвъ эту страницу цифръ, читатель убѣждается въ томъ, что „среднимъ числомъ на 15 избирателей или національныхъ гвардейцевъ, т.-е. вооруженныхъ гражданъ, приходится по одному якобинцу, и что по всей Франціи всѣ якобинцы, вмѣстѣ взятые, не достигаютъ 300.000. При такихъ условіяхъ читателю становится совершенно очевиднымъ, что переходъ власти, и притомъ абсолютной, въ руки партіи, представлявшей такое численное меньшинство, могло совершиться только путемъ *насилія*, и что долголѣтнее господство 300.000 якобинцевъ надъ милліонами взрослыхъ людей могло быть поддерживаемо лишь посредствомъ тиранніи болѣе жестокой, чѣмъ деспотизмъ азіатскихъ хановъ" (II, 62).

Въ данномъ случаѣ длинный рядъ цифръ освѣтилъ намъ самый крупный фактъ въ исторіи террора; въ слѣдующей главѣ Тэна цифрами же наглядно освѣщенъ частный, но весьма типическій фактъ, показывающій, *какъ* совершался по всей Франціи этотъ переходъ власти къ меньшинству. Марсельскіе якобинцы вздумали захватить въ свои руки столицу своего департамента, Эсъ (Aix), такъ какъ тамошнія власти были въ ихъ глазахъ слишкомъ умѣренны (II, 158). Толпа вооруженныхъ марсельцевъ врывается въ Эсъ; тамошняя директорія бѣжитъ; на ея мѣсто назначаютъ

другую, болѣе податливую. И вотъ начинаютъ говорить цифры. „Изъ новыхъ членовъ департаментскаго совѣта являются для избранія изъ своей среды, *управы*, только 12; изъ 9 избранныхъ членовъ управы только шестеро соглашаются принять избраніе; изъ этихъ 6 на засѣданіе обыкновенно приходятъ только трое, и эти трое, чтобы набрать себѣ товарищей, принуждены платить имъ деньги". Это произошло еще во время монархіи, весною 1792 г., и вопреки королевскому декрету, воспрещавшему платить жалованье членамъ директорій и муниципалитетовъ.

Въ цифрахъ же ясно отражается положеніе правительствующихъ собраній, номинально выражавшихъ волю націи, а въ дѣйствительности уступавшихъ силѣ обстоятельствъ и превращавшихся въ орудіе меньшинства.

Такъ напр., законодательное собраніе вовсе не хотѣло ниспроверженія конституціонной монархіи; еще за два дня до катастрофы, т.-е. 8 августа, оно большинствомъ двухъ третей отвергло преданіе суду Лафайетта, на чемъ настаивали жирондисты и якобинцы. Несмотря на это, монархія пала, и собраніе стало покорнымъ слугою парижской коммуны. Мы упомянули выше о томъ, какой „дождь декретовъ" былъ изданъ собраніемъ во второй половинѣ августа въ угоду якобинцамъ. Какъ это объяснить? Взглянемъ на цифры: 10 августа на вечернее засѣданіе изъ 630 членовъ собранія, подававшихъ голосъ 8 августа,—не явилось 346. „Очищеніе,—замѣчаетъ Тэнъ,—было полное, подобное тому, которое было совершено Кромвелемъ надъ Долгимъ парламентомъ". Съ этого дня законодательное собраніе, сведенное на 224 якобинцевъ и жирондистовъ, съ прибавкою 60 нейтральныхъ членовъ, напуганныхъ или податливыхъ, безъ сопротивленія слушается *улицы*;—съ его составомъ измѣнился его духъ.

То же самое происходитъ въ конвентѣ послѣ катастрофы 31 мая. „Въ теченіе четырехъ, слѣдовавшихъ за этимъ, мѣсяцевъ зала конвента на половину или на три четверти пуста; на избраніе президента собирается не болѣе 250 членовъ (всѣхъ членовъ было 745); нашлось только 200 наличныхъ голосовъ для избранія комитета общественнаго спасенія; 50 голосовъ—для назначенія судей при революціонномъ трибуналѣ; десять—для назначенія ихъ замѣстителей; не нашлось *ни одного* голоса въ пользу декрета о преданіи суду депутата Дюлора. Никто не всталъ ни за, ни противъ предложенія, и несмотря на это президентъ конвента объявилъ, что декретъ принятъ (III, 233). Цифры бываютъ у Тэна краснорѣчивѣе всякихъ словъ. Желая, напр., доказать, что выборы въ конвентъ не служили выраже-

ніемъ истиннаго настроенія избирателей, и объяснивъ обстановку, при которой совершались эти выборы, Тэнъ дѣлаетъ выводъ, что „при такомъ способѣ спрашивать народъ всеобщее голосованіе не можетъ не дать отвѣта, котораго отъ него требуютъ". Эта блѣдная формула общаго положенія дѣла получаетъ, благодаря цифрамъ, поразительную наглядность: пять сѣверо-западныхъ департаментовъ отправили въ конвентъ сплошь анти-клерикальныхъ республиканцевъ; однако эти самые департаменты стали, полгода спустя, неугасимымъ очагомъ великаго католическаго и роялистическаго возстанія. Изъ четырехъ депутатовъ, представлявшихъ департаментъ Лозеры, трое подали голосъ за казнь Людовика XVI, а шесть мѣсяцевъ спустя 30.000 крестьянъ этого департамента поднялись подъ *бѣлымъ* знаменемъ; противъ конвента въ числѣ девяти депутатовъ, присланныхъ Вандеей, было шесть цареубійцъ (régicides); Вандея же „поднялась вся какъ одинъ человѣкъ во имя короля" (II, 378).

Тэнъ охотно приводитъ такіе, выражаемые простыми цифрами, контрасты и не жалѣетъ труда, чтобы ихъ подобрать. Какую интересную, напр., политическую и психологическую проблему представляетъ маленькая табличка, терпѣливо составленная Тэномъ по старинному біографическому словарю Эймери? Извѣстно, что почти всѣ якобинцы, пережившіе революцію, занимали при имперіи государственныя должности, мѣста гражданскихъ и уголовныхъ судей, префектовъ, полиціймейстеровъ, казначеевъ и чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ. Тэнъ установилъ, какъ велико было среди служебнаго персонала имперіи—изъ бывшихъ якобинцевъ—число лицъ, подавшихъ голосъ за казнь Людовика XVI, и оказалось, что изъ 23 префектовъ 21 высказался за казнь короля; изъ 43 членовъ магистратуры 42 подали голосъ за смерть, а сорокъ третій былъ боленъ во время процесса короля; изъ имперскихъ сенаторовъ 4 были за казнь; изъ 16 членовъ законодательнаго корпуса—14; изъ 36 чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ за казнь стояло 35. Кромѣ того, среди „убійцъ" Людовика XVI мы находимъ двухъ членовъ наполеоновскаго государственнаго совѣта, четырехъ дипломатовъ и одного консула имперіи, двухъ генераловъ, двухъ главныхъ казначеевъ, „главнаго полицейскаго коммиссара", жандармскаго полковника, министра короля Жозефа, министра полиціи Наполеона и наконецъ самого архиканцлера имперіи!

Еще два слова о великомъ искусствѣ Тэна обращаться съ цифрами. Цифра вообще слишкомъ холодна, чтобы пробудить воображеніе, и потому производимое ею впечатлѣніе часто совершенно

не соотвѣтствуетъ значенію скрывающагося за ними факта, какъ напр. цифра лицъ, казненныхъ во время террора! Глазъ читателя скользитъ по этой цифрѣ, и она смущаетъ его не болѣе чѣмъ какая-нибудь другая цифра людей умершихъ отъ случайности, напр. отъ какой-нибудь эпидеміи гдѣ-то тамъ, въ другой части свѣта. Но разбивая такую цифру, приводя ее въ извѣстной обстановкѣ, Тэнъ умѣетъ возбудить воображеніе и чувство и достигаетъ сильнаго впечатлѣнія: „Сто-семьдесятъ-восемь трибуналовъ, изъ которыхъ 48 передвижныхъ, произносятъ по всей территоріи государства смертные приговоры, которые тотчасъ и на мѣстѣ приводятся въ исполненіе. Съ 16 апр. 1793 г. до 26 іюля слѣдующаго года парижскій трибуналъ сдалъ на гильотину 2.625 лицъ, а въ провинціи судьи работаютъ такъ же усердно, какъ парижскіе. Въ одномъ только маленькомъ городкѣ, въ Оранжѣ, они гильотинировали 331 лицо. Въ одномъ Аррасѣ они гильотинировали 299 мужчинъ и 93 женщины. Въ одномъ Нантѣ революціонные трибуналы и военныя коммиссіи гильотинировали и разстрѣливали среднимъ числомъ по 100 человѣкъ въ день, въ цѣломъ казнили 1.971. Въ одномъ Ліонѣ революціонная коммиссія призналась въ 1.684 казняхъ, а корреспондентъ Робеспьера, Кадильо, говоритъ о 6.000“ и т. д. Замѣчательно также, какъ Тэнъ въ другомъ мѣстѣ съ помощью цифръ съумѣлъ дать понятіе о прогрессивной градаціи и страшно ускоренномъ *темпѣ* террора. Въ одиннадцати западныхъ департаментахъ, гдѣ происходило возстаніе противъ якобинцевъ, по разсчету Тэна, погибло около полу-милліона людей; эта цифра громадна, но Тэнъ еще усиливаетъ впечатлѣніе, углубляя перспективу открывающейся передъ читателемъ картины: „Въ виду программы и принциповъ якобинской секты,—говоритъ онъ,—это не много; они могли бы убить гораздо больше. Къ несчастію, имъ недостало времени; въ продолженіе своего краткаго владычества и съ орудіями, которыя были у нихъ въ рукахъ, они сдѣлали все, что могли. Нужно принять во вниманіе постепенное и медленное сооруженіе ихъ машины... Установленные 30 марта и 6 апрѣля 1793 г. революціонные комитеты и трибуналы дѣйствовали только 17 мѣсяцевъ. Эти машины стали работать со всего размаха только съ паденія жиронды и особенно съ сентября 1793 г., значитъ въ продолженіе только 11 мѣсяцевъ. Отдѣльныя части механизма были слажены и подведены подъ дѣйствіе центральнаго двигателя только съ декабря 1794, т.-е. дѣйствовали въ продолженіе лишь восьми мѣсяцевъ. Усовершенствованная же закономъ 22 пререаля, машина работаетъ въ продолженіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ лучше

и сильнѣе прежняго, съ быстротой и энергіей, которыя ростутъ съ недѣли на недѣлю" (III, 383).

Мы видѣли, какъ Тэнъ умѣетъ овладѣвать и пользоваться громаднымъ матеріаломъ фактовъ и цифръ, впервые имъ собранныхъ въ такомъ количествѣ для имперіи якобинства. Но этотъ матеріалъ—лишь фундаментъ сооруженнаго имъ по стройному плану зданія. Въ общей композиціи своего сочиненія Тэнъ является виртуозомъ литературной архитектоники; онъ обнаруживаетъ здѣсь ту же систематичность и ту же любовь къ симметричной и логической группировкѣ матеріала, какую мы находимъ въ другихъ его трудахъ и изслѣдованіяхъ. Какъ въ его психологіи на нашихъ глазахъ группы ощущеній соединяются въ одно общее понятіе и рядъ послѣднихъ восходитъ къ понятію еще болѣе общему, такъ въ исторіи Тэна однородные факты ведутъ читателя къ общему выводу, и цѣпь такихъ выводовъ приводитъ его къ общему результату книги. Внѣшнимъ выраженіемъ этого поступательнаго движенія мысли служитъ распредѣленіе фактическаго матеріала на главы и параграфы. Каждый параграфъ заключаетъ въ себѣ рядъ фактовъ, подъ вліяніемъ которыхъ у читателя составляется извѣстное убѣжденіе; послѣдняя фраза параграфа обыкновенно представляетъ собою ясную формулу этого убѣжденія и чаще всего въ яркомъ, художественномъ образѣ. Съ другой стороны, эта заключительная фраза служитъ переходнымъ звеномъ къ слѣдующему параграфу; группа такихъ параграфовъ, связанныхъ своимъ содержаніемъ, сливаются въ одну главу, заключительная фраза которой мѣтко обрисовываетъ достигнутый результатъ; а рядъ главъ такъ же органически способствуетъ выясненію общей идеи цѣлаго тома. Какъ образцы стройности плана, особеннаго вниманія въ первомъ томѣ заслуживаютъ главы VI и XII. Въ первомъ параграфѣ VI главы мы присутствуемъ при зарожденіи провинціальнаго якобинства; оно совершается въ Марселѣ, гдѣ мѣстныя условія способствуютъ быстрому произрастанію этого историческаго явленія; сформировавшись въ Марселѣ, якобинство распространяется по всему департаменту; въ слѣдующихъ параграфахъ мы сопровождаемъ якобинское движеніе по его различнымъ этапамъ; сначала марсельскіе якобинцы захватываютъ Эсъ, затѣмъ Арль; въ Авиньонѣ движеніе достигаетъ ужасающей силы и охватываетъ весь департаментъ. Это завоеваніе якобинцами одного изъ департаментовъ представляетъ собою *типическое* явленіе; послѣдній параграфъ

шестой главы показываетъ намъ, что аналогическій процессъ совершается и во всѣхъ другихъ департаментахъ. Глава XII изображаетъ зрѣлище такого же поступательнаго возростанія якобинства въ Парижѣ отъ начало конвента до паденія жиронды. Въ общей своей связи всѣ 12 главъ перваго тома выясняютъ общую идею *якобинскаго завоеванія*; послѣдняя фраза книги (стр. 470) устанавливаетъ результатъ предшествовавшей эпохи и открываетъ перспективу на слѣдующую, развившуюся изъ этого результата. „Теперь,—говоритъ Тэнъ,—послѣ того какъ конвентъ самъ себя искалѣчилъ (изгнаніемъ жиронды), онъ окончательно подавленъ (matée) и становится правительственной *машиной* въ рукахъ политической шайки (clique); якобинское завоеваніе завершилось, и подъ давленіемъ руки побѣдителей гильотина начинаетъ дѣйствовать въ широкихъ размѣрахъ". Эти слова служатъ переходомъ къ исторіи революціоннаго правленія или „террора", которая составляетъ содержаніе второго тома исторіи якобинцевъ. Благодаря такому систематическому расположенію книги, читатель ея находится какъ бы подъ властью математической теоремы; отъ вывода къ выводу онъ невольно подвигается впередъ къ окончательному заключенію.

Въ этой неумолимой логикѣ, которую Тэнъ умѣетъ внушить фактамъ, благодаря искусному сочетанію или архитектоникѣ ихъ, проявляется лишь одна сторона его художественнаго таланта. Другая, еще болѣе поразительная, еще сильнѣе охватывающая читателя, заключается въ томъ, что онъ—первоклассный *живописецъ*. Живописностью яркихъ образовъ обладали также и многіе другіе историки, въ особенности, напр., Мишлé; но что особенно оригинально въ Тэнѣ, такъ это замѣчательное соединеніе строго логическаго ума и глубокой потребности точной фактической правды съ такимъ выдающимся талантомъ исторической живописи. Прямо можно сказать, что никакой историкъ, равный Тэну по кропотливости и терпѣливости научнаго изслѣдованія, не можетъ быть поставленъ наравнѣ съ нимъ по силѣ художественной отдѣлки научнаго матеріала. Благодаря этому художественному таланту, преобразующему на каждой страницѣ скопленіе фактовъ въ живописные образы, ученая сторона въ сочиненіи Тэна перестаетъ быть въ тягость читателю. Самый нетерпѣливый и равнодушный къ фактамъ читатель находитъ себѣ на каждомъ шагу вознагражденіе въ мастерскихъ картинахъ, которыми украшенъ этотъ музей революціонныхъ фактовъ и курьёзовъ. Тэнъ этимъ путемъ приблизился къ тому идеалу исторіографіи, который онъ начерталъ себѣ въ самомъ началѣ своей

научной дѣятельности, когда послѣ разбора знаменитыхъ образцовъ классической исторіографіи онъ высказалъ желаніе, чтобы современная исторіографія, не уступая древней въ художественности, съумѣла вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворить потребности нашего времени въ болѣе строгой научности.

Разсмотримъ теперь ближе художественный талантъ Тэна въ области исторической живописи. Онъ прежде всего проявляется въ *картинности* его повѣствованія. Самый сухой фактъ политической исторіи, самое отвлеченное представленіе изъ области государственнаго устройства превращается подъ перомъ Тэна въ конкретный образъ, понятный и интересный даже для читателя, никогда не размышлявшаго о подобныхъ предметахъ. Возьмемъ для примѣра страницу, гдѣ Тэнъ хочетъ объяснить, почему парижскимъ якобинцамъ, несмотря на ихъ малочисленность, удалось такъ прочно захватить власть надъ цѣлой Франціей. Причина заключается въ правительственной *централизаціи*, установившейся въ этой странѣ еще до революціи. Это *отвлеченное* выраженіе о централизаціи власти въ государствѣ, ничего не говорящее воображенію, немедленно уступаетъ мѣсто наглядной картинѣ: „Въ большомъ централизованномъ государствѣ тотъ, кто овладѣлъ головой, распоряжается и всѣмъ тѣломъ; въ силу того, что ими всегда руководили сверху, французы пріобрѣли привычку ожидать этого руководства. Провинціалы невольно обращаютъ свои взоры на столицу, и въ дни кризиса *они выбѣгаютъ на большую дорогу, чтобы узнать отъ курьера*, какое правительство имъ выпало на долю. Въ чьи бы руки ни попало центральное правительство, большинство населенія его принимаетъ или подчиняется ему. Ибо, во-первыхъ, большинство изолированныхъ группъ, которыя желали бы видѣть его ниспровергнутымъ, не дерзаютъ вступить съ нимъ въ борьбу—оно *кажется имъ слишкомъ* сильнымъ; благодаря застарѣлой рутинѣ, они воображаютъ, что за нимъ вдали стоитъ вся великая Франція, которая по его мановенію сокрушитъ ихъ своею массой. Во-вторыхъ, если какія-нибудь группы вздумаютъ ниспровергать его, они не въ силахъ вынести борьбу съ нимъ—*оно слишкомъ сильно для нихъ*. На самомъ дѣлѣ, они еще не организованы, а оно уже готово, благодаря послушному персоналу, ему завѣщанному падшимъ правительствомъ. Монархія или республика—*чиновникъ каждое утро является въ свою канцелярію*, чтобы направить по назначенію присланныя ему бумаги. Монархія или республика—*жандармъ каждый вечеръ дѣлаетъ свой обходъ, чтобы арестовать* людей, обозначенныхъ въ его повѣсткѣ. Лишь бы

приказъ пришелъ сверху и іерархическимъ путемъ—онъ будетъ исполненъ, и съ одного конца государства до другого машина съ своей сотней тысячъ колесъ работаетъ успѣшно подъ давленіемъ руки, захватившей рукоятку".

Въ одномъ случаѣ Тэнъ съ помощью картины дѣлаетъ осязательнымъ для читателя отвлеченное явленіе—административный порядокъ въ бюрократическомъ государствѣ; въ другихъ случаяхъ *упасшее чувство* оживаетъ передъ читателемъ, становится ему понятнымъ, захватываетъ его, благодаря тому, что Тэнъ мотивируетъ его картиной, рисуетъ впечатлѣнія и воспоминанія, вызвавшія это чувство. Такъ, напр., поступилъ Тэнъ, когда хотѣлъ объяснить, какъ подѣйствовало вторженіе прусскаго войска на массу французскаго народа, и почему миролюбивымъ населеніемъ деревень овладѣло то враждебное къ королю настроеніе, которое обезпечило торжество якобинцевъ. Освобожденные революціей, крестьяне увидали за штыками прусскихъ полковъ и шедшихъ съ ними эмигрантовъ призракъ *стараго порядка*—и историкъ въ сжатомъ раккурсѣ рисуетъ предъ нами этотъ *старый порядокъ* въ цѣломъ рядѣ образовъ, которые проносятся въ душѣ простолюдина. Вотъ часть этой картины: „имъ достаточно открыть глаза, чтобы обозрѣть обширность своего освобожденія: всѣ эти закономъ отклоненные или фактически прекратившіеся, въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ, прямые и косвенные поборы; пиво на ихъ столѣ, стоющее теперь лишь два су бутылка, вино — шесть су штофъ, барскихъ голубей и заповѣдную дичь на вертелѣ въ ихъ кухнѣ, дрова изъ государственныхъ лѣсовъ въ ихъ клѣти, обробѣвшаго жандарма, исчезновеніе полиціи, доставшуюся имъ цѣликомъ во многихъ мѣстностяхъ жатву—въ силу того, что владѣлецъ не смѣетъ требовать принадлежащей ему части, судей, избѣгающихъ штрафовать ихъ, судебныхъ приставовъ, отказывающихся наложить арестъ на ихъ имущество! Привилегіи возстановились теперь *въ ихъ пользу*; общественныя власти смиренны передъ всякимъ ихъ скопленіемъ, послушно исполняютъ каждое ихъ требованіе, пассивны или безоружны по отношенію къ каждому ихъ безчинству, оправдываютъ или попускаютъ всякое съ ихъ стороны преступленіе! Тысячи оффиціальныхъ рѣчей прославляютъ ихъ здравый смыслъ и великодушіе; ихъ блуза признана знаменемъ патріотизма; верховная власть въ государствѣ предоставлена санкюлотамъ ради ихъ достоинствъ и доблестей!" Подобными картинами, *поясняющими* историческій разсказъ и придающими повѣствованію наглядный, конкретный характеръ, изобилуетъ книга Тэна. Но еще болѣе изобилуетъ она картинами, ко-

торыя имѣютъ цѣлью *усилить* впечатлѣніе, производимое повѣствованіемъ, приковать къ нему вниманіе читателя и врѣзать въ его памяти выводъ, сдѣланный историкомъ изъ ряда фактовъ въ концѣ каждаго параграфа или главы. Средствомъ для такого усиленія впечатлѣнія, производимаго разсказомъ или описаніемъ, служитъ Тэну *аналогія* или *сравненіе*; рядомъ съ картиной, которую представляетъ описаніе, становится такимъ образомъ другая картина, ее освѣщающая; отражаясь въ аналогическомъ *образѣ*, какъ въ зеркалѣ, описанный фактъ или изображенное впечатлѣніе удвоиваются и овладѣваютъ воображеніемъ читателя. Поэтому-то Тэнъ такъ часто прибѣгаетъ къ сравненіямъ и метафорамъ и разсыпаетъ ихъ щедрой рукой чуть не на каждой страницѣ. Эти метафорическіе образы и картины являются у него постояннымъ противовѣсомъ однообразной и утомляющей массѣ фактовъ, блестящими *иллюстраціями*, на каждомъ шагу сопровождающими повѣствованіе. Здѣсь во всей силѣ проявляется животрепещущій талантъ Тэна; ему не нужно прибѣгать къ эстампамъ и гравюрамъ, онъ—самъ величайшій *иллюстраторъ* между историками-изслѣдователями.

Укажемъ для примѣра описаніе положенія и страданій арестованныхъ якобинцами патеровъ: „Эти четыреста патеровъ, скученные подъ палубою корабля на эсскомъ рейдѣ, сидящіе одинъ на другомъ, истощенные голодомъ, заѣденные вшами, задыхающіеся отъ отсутствія воздуха, окоченѣвшіе отъ холода, измученные насмѣшками и побоями, постоянными угрозами смерти,—страдаютъ болѣе чѣмъ негры въ трюмѣ, ибо капитанъ, везущій негровъ, изъ-за барыша старается сохранить въ добромъ здоровьѣ свой товаръ (sa pacotille), тогда какъ эсскій экипажъ ненавидитъ изъ религіознаго фанатизма свой грузъ поповскихъ рясъ и желалъ бы его видѣть на днѣ морскомъ". Это сравненіе съ неграми на кораблѣ торговца рабами несомнѣнно усиливаетъ непосредственное впечатлѣніе, производимое изображеніемъ участи патеровъ. Вотъ другое сравненіе, *иллюстрирующее* борьбу политическихъ партій на жизнь и на смерть и способъ политической игры, обезпечивающій побѣду. „Четыре раза, — говоритъ Тэнъ, — съ 1789 по 1794 годъ политическіе игроки усаживаются за столъ, на которомъ *ставкой* служитъ верховная власть, и четыре раза сряду *большинство*—монархисты, фёльяны, жирондисты и дантонисты—теряетъ партію. Это потому, что четыре раза сряду оно хочетъ держаться обыкновенныхъ условій игры, по крайней мѣрѣ не хочетъ нарушать какого-нибудь всѣми признаннаго правила, не желаетъ совершенно от-

речься отъ уроковъ опыта, отъ текста законовъ, отъ предписаній гуманности и отъ чувствованій сострадания. Наоборотъ, меньшинство напередъ рѣшило, что оно во всякомъ случаѣ выиграетъ игру; по его мнѣнію, оно имѣетъ на то право; если этому мѣшаютъ какія бы то ни было правила, тѣмъ хуже для этихъ правилъ... Въ рѣшительный моментъ оно приставляетъ пистолетъ ко лбу партнера и, опрокидывая столъ, кладетъ ставку себѣ въ карманъ" (II, 70).

Вотъ другое сравненіе, рельефнѣе выставляющее, какимъ способомъ побѣдители въ политической борьбѣ—якобинцы, выступившіе въ продолженіе всей этой борьбы друзьями народа и приверженцами народовластія, присвоиваютъ себѣ диктатуру и, продолжая провозглашать тѣ же принципы народной воли, подвергаютъ народъ террористическому абсолютизму. „Благодаря этому маневру, невѣжественная толпа, видя, что ей подставляютъ все ту же бутыль, думаетъ, что ее угощаютъ все тѣмъ же напиткомъ, и такъ, подъ ярлыкомъ свободы, ее заставятъ испить чашу тиранніи. Ярлыки, вывѣски и фразы шарлатанной болтовни все тѣ же: все это они расточаютъ цѣлые полгода, чтобы скрыть вкусъ своего новаго зелья; тѣмъ хуже для публики, если она потомъ разберетъ, что оно горько; рано или поздно она его все-таки проглотитъ, добровольно или насильно; ибо къ тому времени все будетъ готово, чтобы влить ей въ горло якобинскій дурманъ". Вотъ картина, иллюстрирующая способъ владычества главнаго органа якобинцевъ, комитета общественнаго спасенія. „Чтобы держать въ повиновеніи министровъ и конвентъ, у комитета двѣ руки: одною изъ нихъ, правою, онъ хватаетъ людей за шиворотъ и невзначай—это комитетъ безопасности, состоящій изъ крайнихъ монтаньяровъ и т. д.;... другою онъ беретъ ихъ за горло — это революціонный трибуналъ" (III, 64)... Владычество якобинцевъ послѣ паденія Робеспьера характеризуется слѣдующимъ *образомъ*: „Но если якобинская петля, вопреки желанію тѣхъ изъ палачей, которые уцѣлѣли въ катастрофѣ Робеспьера, постепенно ослабѣваетъ, если главная веревка, душившая жертву, порвалась въ самый моментъ, когда жертва задыхалась, остальныя веревки все еще ее обвиваютъ и жмутъ ее, только въ другихъ мѣстахъ тѣла, а нѣкоторыя изъ этихъ веревокъ, страшно натянутыя, врѣзываются въ него еще глубже".

Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ сравненіе своими конкретными образами имѣетъ цѣлью пояснить и вмѣстѣ съ тѣмъ усилить впечатлѣніе, которое хочетъ произвести историкъ. Особый разрядъ такихъ сравненій, весьма своеобразный и характерный

для Тэна, представляютъ частыя аналогіи, заимствованныя изъ жизни природы. Иногда онъ эти аналогіи заимствуетъ изъ растительнаго царства, какъ, напр., въ слѣдующемъ объясненіи происхожденія якобинцевъ: „они зародились отъ разложенія общества, какъ грибы на грядкѣ земли, подвергшейся гніенію". Но всего чаще соотвѣтствующій образъ берется Тэномъ изъ животнаго царства. Привлекая вниманіе читателя къ первымъ проявленіямъ на политической сценѣ революціонной коммуны, Тэнъ сравниваетъ ее съ *змѣей*. „Такъ,—говоритъ онъ,—нарождается къ жизни взлелѣянный жирондистами выводокъ, страшная парижская коммуна десятаго августа и сентябрьскихъ убійствъ; змѣя еще не успѣла выползти изъ гнѣзда и уже шипитъ; за двѣ недѣли до 10-го августа она начинаетъ развертывать свои кольца, а мудрые государственные люди, такъ заботливо пріютившіе и воспитавшіе ее, съ ужасомъ усматриваютъ ея плоскую и отвратительную голову".

Аналогическимъ сравненіемъ изображается за то же время образъ дѣйствія осторожнаго (cauteleux) Робеспьера, „который подталкивалъ другихъ (во время возстанія 10-го августа и сентябрьскихъ убійствъ), не давая противъ себя уликъ; онъ ничего не подписываетъ, не дѣлаетъ никакихъ распоряженій, произноситъ много рѣчей, часто даетъ совѣты, показывается вездѣ, подготовляетъ свое владычество и внезапно въ послѣднюю минуту, какъ кошка, прыгнувшая на свою жертву, старается задушить своихъ соперниковъ по власти—жирондистовъ".

Описывая силу фанатизма и дѣйствіе его на человѣка, Тэнъ прибѣгаетъ къ образу разсвирѣпѣвшаго быка. „Въ этомъ возбужденномъ состояніи,—говоритъ онъ,—человѣкъ не знаетъ препятствій, и, смотря по обстоятельствамъ, онъ поднимается надъ самимъ собою или падаетъ ниже себя; онъ расточаетъ свою кровь и кровь другихъ, онъ—герой на войнѣ и дикарь въ гражданскомъ быту; ни здѣсь, ни тамъ, никакое сопротивленіе не въ состояніи его остановить, ибо его опьяненіе удесятерило его силу, и предъ его стремительнымъ бѣшенствомъ прохожіе по улицѣ издали сторонятся, какъ передъ сорвавшимся съ привязи быкомъ (II, 68).

Къ этой метафорѣ возвращается Тэнъ, когда приступаетъ къ изображенію второстепенныхъ якобинскихъ вождей (II, 195). Каково стадо, таковы и вожди; быкамъ нужны пастухи, чтобы вести ихъ; они должны стоять выше ихъ, но лишь на одну ступень; они должны имѣть костюмъ, голосъ и манеры, свойственные ихъ промыслу, не знать ни брезгливости, ни чувствитель-

ности, они должны быть жестки по природѣ и намѣренно ожесточаться, имъ слѣдуетъ набить себѣ руку въ уловкахъ скотнаго рынка и въ пріемахъ бойни". Таковъ Сантерръ, версальскій мясникъ Лежандръ и др.

Въ описаніи авиньонскаго террора Тэнъ говоритъ: „При видѣ чудовища, имъ вскормленнаго, Авиньонъ приходитъ въ ужасъ и испускаетъ крики; но звѣрь, который знаетъ свою силу, оборачивается противъ своихъ прежнихъ покровителей, скалитъ зубы и требуетъ своего ежедневнаго корма". Болѣе продолжена подобная же метафора при описаніи безсильнаго протеста приверженцевъ закона и конституціи противъ вождей собранія, направившихъ 20 іюня толпу на дворецъ, чтобы сломить оппозицію короля и конституціоннаго большинства законодательнаго собранія. „Вообразите себѣ состязаніе между двумя людьми, изъ которыхъ одинъ разсуждаетъ здраво, другой умѣетъ только пускать фразы, но, встрѣтивъ по дорогѣ громаднаго дога, онъ приласкалъ его и привелъ съ собою какъ союзника. Для дога прекрасныя разсужденія—не что иное какъ испачканная бумага или шумъ въ воздухѣ; съ глазами, налитыми кровью и устремленными на своего временнаго господина, онъ ждетъ только знака, чтобы броситься на врага, на котораго его натравятъ; 20-го іюня онъ едва не задушилъ одного изъ нихъ и обрызгалъ его слюной; 21-го онъ опять вскочилъ, чтобы повторить свой прыжокъ; онъ не перестаетъ рычать сначала глухо, потомъ съ страшнымъ лаемъ; 25-го іюня и 14-го іюля, 21-го іюля, 3-го августа, 5-го августа, онъ снова бросается на врага и его съ трудомъ удерживаютъ. Одинъ разъ, 29-го іюля, его когти уже глубоко вцѣпились въ живое мясо. При всякомъ оборотѣ парламентскихъ преній, безоружные приверженцы конституціи видятъ предъ собою его открытую пасть; не удивительно, если они выбрасываютъ или дозволяютъ выбросить на съѣденіе догу всѣ декреты, которыхъ требуетъ жиронда" (II, 213).

Самое смѣлое и поразительное изъ сравненій Тэна—то, которымъ начинается третій томъ его исторіи революціи,—изображеніе эпохи якобинскаго террора. Основаніемъ его служитъ выписка изъ Климента Александрійскаго. „Въ Египтѣ святилища храмовъ завѣшены покрывалами, тканными золотомъ; но если вы проникаете въ глубь храма и станете тамъ искать изображеніе бога, къ вамъ выйдетъ на встрѣчу жрецъ съ важнымъ видомъ, распѣвающій гимнъ на египетскомъ языкѣ, и немного приподниметъ покрывало, чтобы показать вамъ божество! Что же представляется тогда вашимъ глазамъ? Крокодилъ, или туземная змѣя, или какое-нибудь другое опасное животное! Божество египтянъ

объявилось! это—животное, валяющееся на пурпуровомъ коврѣ!" Такое сравненіе якобинства съ кровожаднымъ крокодиломъ, котораго скрываютъ и лелѣютъ въ святилищѣ исторіи, и въ честь котораго жрецы съ таинственнымъ видомъ поютъ хвалебные гимны, —представляетъ собою девизъ книги Тэна и мѣтко обозначаетъ ея цѣль — сорвавъ покрывало, которымъ поклонники якобинства завѣшивали свой идолъ, установить истину во всей ея наготѣ.

Къ этимъ картиннымъ образамъ, которыми Тэнъ поясняетъ свое изложеніе, невольно, какъ художникъ, переводя представленія и чувства въ образы—къ этимъ сравненіямъ и метафорамъ, которыми Тэнъ придаетъ своимъ сужденіямъ большую силу и рельефность, нужно присоединить еще *историческія картины* въ собственномъ смыслѣ этого слова, въ композиціи которыхъ Тэнъ проявляетъ все свое мастерство. Мы приведемъ въ примѣръ потрясающую картину, изображающую всемогущій „комитетъ общественнаго спасенія", предъ которымъ дрожатъ министры и генералы, дрожитъ самый конвентъ, дрожитъ вся Франція; картина показываетъ намъ, какъ эти страшные деспоты обращаются въ рабовъ своего деспотизма и сами дрожатъ передъ страшнымъ привидѣніемъ гильотины, посѣщающимъ ихъ во время ночныхъ засѣданій. По своему обычаю Тэнъ, подводя читателя къ картинѣ, вручаетъ ему всѣ документы, на основаніи которыхъ онъ можетъ провѣрить художника и убѣдиться, что предъ нимъ не фантастическое изображеніе. Мы читаемъ цѣлый рядъ признаній, сдѣланныхъ самими членами комитета, переживавшими катастрофу 9 термидора. Всѣ они, несмотря на различіе своего темперамента и личнаго достоинства,—и мужественный Карно, и трусливый Барер, и дикій и вмѣстѣ преступный Билью Варенъ, и усердно работящій Пріёръ—сходятся въ своихъ показаніяхъ въ томъ, что они были деспотами отъ *страха*; что они не были увѣрены, увидятъ ли слѣдующую зарю; что они не знали наканунѣ, какое рѣшеніе постановятъ завтра; что они „отправляли на гильотину сосѣда" и товарища для того, чтобы онъ не сдѣлалъ того же самаго съ ними. „За столомъ комитета, въ продолженіе недолгихъ ночныхъ засѣданій, засѣдаетъ съ ними ихъ властелинъ, страшный образъ, *революціонная идея*, передавшая имъ власть убивать подъ условіемъ примѣнять ее ко всѣмъ безъ изъятія, не исключая ихъ самихъ. Около двухъ или трехъ часовъ ночи, утомленные работой, безъ силы мыслить и говорить, не зная, бить ли направо или налѣво, они боязливо на нее взираютъ и стараются угадать волю *идеи* въ

ея неподвижномъ взорѣ.—Кого же сразить завтра?—И всегда они слышатъ тотъ же отвѣтъ, неизмѣнно написанный на чертахъ безчувственнаго призрака: „надо убивать контръ-революціонеровъ“, —а подъ этимъ названіемъ подразумѣваются всѣ, кто дѣломъ, словомъ, мыслью или затаеннымъ чувствомъ, увлеченіемъ или апатіей, гуманностью или умѣренностью, эгоизмомъ или безпечностью, косностью, нейтральностью, равнодушіемъ—повредилъ или плохо служилъ революціи. Остается лишь вписать имена подъ этотъ страшно обширный приговоръ. Кто же впишетъ ихъ? Бильо? или же Робеспьеръ? Впишетъ ли Бильо имя Робеспьера, или Робеспьеръ—имя Бильо? или же каждый изъ обоихъ вставитъ имя другого, вмѣстѣ съ другими именами, которыя ему угодно будетъ выбрать изъ состава двухъ комитетовъ? Осселенъ, Шабо, Базиръ, Жюльенъ изъ Тулузы, Лакруа, Дантонъ—были когда-то членами комитета, и по ихъ выходѣ ихъ головы пали на гильотинѣ! А Геро де-Сешель, поддерживаемый и недавно еще почтенный одобреніемъ конвента! онъ даже еще состоялъ однимъ изъ 12 членовъ верховнаго комитета, когда приговоръ остальныхъ 11 внезапно предалъ его революціонному трибуналу для отправленія къ палачу. За кѣмъ же теперь очередь между одиннадцатью остальными? Неожиданно схваченный, при единодушныхъ рукоплесканіяхъ послушнаго конвента, онъ будетъ, по истеченіи трехдневной судебной комедіи, отвезенъ на колесницѣ на „революціонную площадь“; Сансонъ свяжетъ ему руки, и подряженные за 24 су клакёры захлопаютъ въ ладоши, а на другой день всѣ политики въ народѣ будутъ поздравлять другъ друга, увидѣвъ въ бюллетенѣ гильотинированныхъ имя великаго измѣнника. Для всего этого, для того, чтобы изъ среды халифовъ на часъ, изъ національнаго альманаха, перейти въ списки умершихъ, достаточно соглашенія между товарищами, и это соглашеніе, можетъ быть, уже состоялось. Между кѣмъ и противъ кого? Конечно, при этой мысли одиннадцать членовъ, сидящихъ вокругъ своего стола, судорожно вопрошаютъ другъ друга глазами; они высчитываютъ свои шансы и припоминаютъ слова, которыхъ не забываютъ. Нѣсколько разъ Карно говорилъ Сенъ-Жюсту: „Ты и Робеспьеръ, вы стремитесь къ диктатурѣ“. Робеспьеръ отвѣчалъ Карно: „Я выжидаю для тебя перваго пораженія арміи“. Въ другой разъ взбѣшенный Робеспьеръ закричалъ, что „комитетъ въ заговорѣ противъ него“, и, обратившись къ Бильо, прибавилъ: „я теперь знаю тебя!“ а Бильо отвѣтилъ: „И я тоже, я знаю тебя за контръ-революціонера“. И такъ, въ самомъ комитетѣ есть контръ-революціонеры и заговорщики! и какъ быть, чтобы избѣгнуть этой клички, заключающей

въ себѣ смертный приговоръ? Молча, роковой призракъ, возсѣдающій среди нихъ, Эриннія, по милости которой они царствуютъ, произрекла свой оракулъ, и всѣмъ сердцамъ онъ внятенъ: „Тѣ изъ васъ окажутся заговорщиками и контръ-революціонерами, которые не захотятъ быть палачами“ (III, 244).

Художникомъ, однако, является Тэнъ не только въ своихъ картинахъ и образахъ, но и въ своемъ *языкѣ*. Какъ онъ щедръ на факты и образы, такъ же изобрѣтателенъ и неисчерпаемъ въ эпитетахъ и сопоставленіяхъ словъ, выражающихъ малѣйшіе и тончайшіе оттѣнки мысли. Характеръ его языка соотвѣтствуетъ направленію его художественнаго таланта, стремящагося къ точности опредѣленія и къ пластичности и живописности образа. Въ области языка Тэнъ является такимъ же *новаторомъ*, какъ и въ способѣ научной и художественной обработки историческаго матеріала. Его исторія революціи представляетъ собою относительно языка такой же *поворотъ* во французской исторіографіи, какъ и его взгляды на самую революцію. Въ обоихъ случаяхъ онъ ставилъ себѣ цѣлью установить *реальную* правду, и это побудило его значительно расширить въ области языка кругъ принятыхъ книжнымъ французскимъ слогомъ выраженій и словъ и ввести въ него массу техническихъ и житейскихъ выраженій, необходимыхъ для реальности и точности описаній и изображеній. Поэтому книгу Тэна трудно читать иностранцу, обладающему лишь знаніемъ литературнаго французскаго языка. Но какъ ни велика новизна, введенная Тэномъ въ область языка, онъ является въ этомъ случаѣ продолжателемъ движенія, начавшагося до него. Это стремленіе къ реализму въ языкѣ можно прослѣдить во Франціи съ Бальзака, и мы можемъ изучить его проявленіе въ лицѣ Бальзака съ помощью самого Тэна. Выставляя на видъ отступленіе Бальзака отъ обычной до него манеры писать, Тэнъ мѣтко характеризуетъ этотъ реализмъ языка и, объясняя потребность, изъ которой вытекло новое движеніе, какъ бы наперед разъясняетъ и оправдываетъ свое собственное нововведеніе.

Изобразивъ слогъ Бальзака и собравъ противъ его манеры всѣ возраженія, которыя можетъ сдѣлать „человѣкъ со вкусомъ и воспитанный въ классическихъ преданіяхъ французской литературы“, Тэнъ влагаетъ въ уста такому критику слѣдующій общій выводъ: „когда я читаю какого-нибудь писателя, то это для меня все равно, какъ еслибъ я принялъ у себя человѣка благовоспитаннаго и умѣющаго бесѣдовать. Не таковъ Бальзакъ. Бальзакъ

говоритъ языкомъ словаря искусствъ и ремеслъ, руководства нѣмецкой философіи и энциклопедіи естественныхъ наукъ... Если наконецъ прорывается художникъ, я вижу человѣка сангвиническаго, необузданнаго, болѣзненнаго, у котораго идеи съ трудомъ вырываются, на языкѣ слишкомъ обильномъ, вымученномъ и преувеличенномъ. Подобные люди не умѣютъ бесѣдовать, и никого бы изъ нихъ я не пустилъ въ свою гостиную".—Тэнъ на это возражаетъ, что такое осужденіе предполагаетъ прежде всего, что бесѣда должна происходить въ *салонѣ*; затѣмъ онъ насъ ведетъ въ салонъ, и, объяснивъ условія, при которыхъ люди сходятся въ салонѣ, и ихъ цѣли, замѣчаетъ: „Отсюда слѣдуетъ, что надо избѣгать, особенно съ женщинами, *спеціальныхъ* терминовъ; химическіе, зоологическіе или *банковскіе* термины произвели бы въ салонѣ такое же впечатлѣніе, какъ разложенные по этажеркамъ и диванамъ реторты, или скелеты, или бухгалтерскія вѣдомости: у тѣхъ, кому все это мало понятно, страдало бы самолюбіе, а людей съ утонченными вкусами оскорбило бы это напоминаніе о трудовой работѣ и о денежной наживѣ!.. Слѣдуетъ избѣгать также въ салонѣ всякаго философскаго жаргона; ибо салонъ не школа, туда приходятъ для развлеченія... Нужно особенно избѣгать дурныхъ манеръ и слишкомъ громкихъ возгласовъ. Посѣтители гостиной—люди богатые, по крайней мѣрѣ досужіе; они образуютъ своего рода аристократію, а всякая аристократія, изъ гордости ли, изъ чванства, или изъ утонченности вкуса, съ отвращеніемъ относится ко всему, что пахнетъ кабачкомъ"... Изобразивъ обычный салонамъ языкъ, Тэнъ указываетъ на то, что салонной бесѣдѣ свойственъ и особый способъ мыслить. Бесѣдующіе въ салонахъ привыкли переходить постепенно, шагъ за шагомъ, отъ одной мысли къ другой, и потому не терпятъ рѣзкихъ скачковъ мысли. Они потому вездѣ требуютъ связныхъ переходовъ мысли и сами ихъ устанавливаютъ. „Они не любятъ, чтобы изъ разговора о банкѣ ихъ перебрасывали въ область астрономіи, или изъ дворца въ хижину. Они требуютъ, чтобы каждая мысль естественно слѣдовала за предъидущей, чтобы, поднимаясь къ общей истинѣ, собесѣдникъ подставлялъ имъ всю лѣстницу ведущихъ къ ней подчиненныхъ и второстепенныхъ истинъ... Они питаютъ отвращеніе къ необычнымъ сравненіямъ, къ насильственнымъ выраженіямъ, къ сочетаніямъ неподходящихъ другъ къ другу словъ, къ парадоксамъ, странностямъ и ухищреніямъ слога, къ неожиданнымъ порывамъ воображенія. Они хотятъ, чтобы съ ними говорили какой-то изящной алгеброй"...

„Конечно,—продолжаетъ Тэнъ,—людямъ съ направленіемъ ума,

какъ онъ слагается въ салонахъ, Бальзакъ долженъ не нравиться. Но можно на это возразить, что не всѣ люди проводятъ свою жизнь въ салонахъ, и не у всѣхъ, поэтому, умъ такого свойства. Измѣните привычки и способъ мышленія людей—и тотчасъ измѣнятся всѣ правила ихъ стилистики. Возьмите вмѣсто салона политическій клубъ: ѣдкая иронія, ожесточенныя нападки, затаенныя и злобныя страсти, здравый, но пошловатый практическій смыслъ—замѣняютъ изящество и утонченность. Подобнымъ образомъ возьмите, вмѣсто собесѣдниковъ въ салонѣ, кружокъ живописцевъ съ пылкимъ воображеніемъ—щедро разсыпаемые образы, неожиданные и громадные скачки мысли, тривіальныя, безсвязныя и яркія метафоры замѣнятъ собой мѣрныя и правильныя разсужденія. Мало того, если вы перенесете въ клубъ языкъ гостиной, васъ будутъ считать плоскимъ и неестественнымъ, и васъ назовутъ фатомъ; а если, разговаривая съ живописцемъ, вы захотите придерживаться строгаго анализа мысли, вы покажетесь скучнымъ и безцвѣтнымъ; васъ назовутъ академикомъ и болтуномъ"... „Хорошій слогъ,—заключаетъ Тэнъ,—есть искуство заставить себя слушать и заставить себя понять. Это искусство измѣняется сообразно съ перемѣной аудиторіи; оно нравится *здѣсь* именно потому, что не нравится *тамъ*; что одному темно и скучно, то для другого совершенно ясно и привлекательно. Никто не имѣетъ права навязывать другому свои удовольствія и свою природу, никто и не можетъ заимствовать у другого его удовольствія и его природу. Поэтому существуютъ безконечныя разновидности хорошаго слога; ихъ столько, сколько было вѣковъ, народовъ и великихъ умовъ. Всѣ они между собою различны. Еслибы вы стали сегодня писать на манеръ Геродота или Гомера, это сочли бы за ребячество; еслибы вы сегодня заговорили языкомъ Исаіи или Іова, отъ васъ бѣжали бы какъ отъ сумасшедшаго... А потому притязаніе прилагать къ слогу всѣхъ одну общую мѣрку такъ же дико, какъ намѣреніе свести всѣ умы къ одному типу и судить о духѣ всѣхъ вѣковъ съ одной общей точки зрѣнія."

Мы предоставили критику Бальзака такой просторъ рѣчи потому, что каждымъ почти словомъ онъ, можно сказать, защищалъ самого себя... Не даромъ Тэнъ ставилъ Бальзака такъ высоко, какъ художника и мыслителя; вліяніе знаменитаго автора „Человѣческой Комедіи" не могло пройти безслѣдно для его критика. Конечно, многое въ Бальзакѣ, какъ стилистѣ или художникѣ, Тэнъ безусловно осуждалъ, и не все, что онъ дозволялъ Бальзаку, онъ усвоилъ себѣ. Но можно сказать, что книга Тэна представляетъ собой такой же переломъ въ исторіографіи фран-

цузской революціи, какъ романъ Бальзака во французской беллетристикѣ. И Тэнъ, подобно Бальзаку, отступилъ отъ прежней академической исторіографіи, которая могла служить пищей для салоновъ, которая патетическимъ подъемомъ тона и языка давала удовлетвореніе патріотическимъ чувствамъ или радикальному идеализму современныхъ ей салоновъ. Оправдывая Бальзака за его несогласную съ обычаями салоновъ манеру писать, Тэнъ спрашиваетъ: „развѣ еще существуютъ въ наше время салоны?“—и находитъ, что если и сохранилась нѣкоторая форма салонной жизни, то мода и привычки кореннымъ образомъ измѣнились. Но еслибы и осталось за салонами ихъ прежнее значеніе, Тэнъ не могъ бы написать для нихъ свою исторію якобинства. Научный матеріалъ, имъ собранный для этого, былъ слишкомъ значителенъ, слишкомъ техниченъ, слишкомъ *грубъ*. Какъ Бальзакъ имѣлъ въ виду людей дѣловыхъ и спеціалистовъ разныхъ областей жизни, такъ Тэнъ писалъ свою исторію революціи для людей, интересующихся политическими и соціальными вопросами, наблюденіями надъ природой человѣка и надъ его образомъ дѣйствія единолично и въ толпѣ. Онъ выходитъ изъ тѣснаго круга предметовъ, обсужденіе которыхъ допущено въ обществѣ свѣтскихъ людей, и расширяетъ значительно область историка. Какой переворотъ долженъ былъ онъ произвести въ французской исторіографіи однимъ уже тѣмъ, что онъ ввелъ въ исторію площадную толпу съ ея понятіями, съ ея политической программой и съ ея языкомъ!..

При этомъ онъ научился у Бальзака „говорить о томъ, что благородно, въ изящныхъ образахъ“, а все пошлое и отвратительное изображать въ настоящемъ, т.-е. „въ отталкивающемъ видѣ“. И у прежнихъ историковъ на сценѣ появлялась толпа, бравшая Бастилію или Тюльери; но эта толпа была, подобно той, которую показываютъ зрителямъ въ оперѣ, толпа мирныхъ и добродушныхъ людей, у которыхъ самыя лохмотья артистически расположены, а дикіе жесты искусно заучены. У Тэна революціонная толпа является въ своемъ естественномъ видѣ, во всемъ своемъ историческомъ реализмѣ. Кто изъ историковъ, писавшихъ возвышеннымъ слогомъ о революціи, рѣшился бы представить читателю тотъ „народъ, который царствовалъ надъ Парижемъ“ съ послѣднихъ мѣсяцевъ 1792 года? Для изображенія этой толпы Тэнъ тщательно собиралъ отзывы современниковъ и прислушивался къ ея собственному языку; не зная же ея, нельзя понять парижскихъ событій, а слѣдовательно и французской револю-

ціи. Вотъ она, эта толпа, въ изображеніи Тэна [1]): „пять тысячъ одичалыхъ мужчинъ и двѣ тысячи безстыдныхъ женщинъ (brutes et drôlesses)—приблизительно все то, что̀ выгнала бы изъ города хорошая полиція, еслибы ей пришлось очистить столицу,—и этотъ сбродъ убѣжденъ въ своемъ правѣ и тѣмъ болѣе пылокъ въ своей революціонной вѣрѣ, что его догматъ возводитъ въ добродѣтель его пороки и превращаетъ его злодѣйства въ общественныя заслуги. Онъ въ это время представляетъ собою настоящій *верховный* народъ, и потому особенно важно угадать его сокровенную мысль. Кто хочетъ понимать событія, долженъ вникать въ тѣ невольныя ощущенія (émotion), которыя возбуждаютъ въ этой толпѣ процессъ короля, пораженіе при Нервинденѣ, переходъ Дюмурьé къ непріятелю, возстаніе Вандеи, преданіе суду Марата, арестъ Эбера и каждая изъ опасностей, которыя поочередно разражаются надъ ея головой. Свои ощущенія эти люди не заимствуютъ у другихъ, не получаютъ свыше; они не представляютъ собой довѣрчивой арміи дисциплинированныхъ солдатъ, но недовѣрчивый сбродъ временныхъ приверженцевъ своихъ вождей. Чтобы надъ ними командовать, нужно имъ повиноваться, и ихъ вожди всегда будутъ ихъ орудіями. Какъ бы популяренъ и проченъ ни казался кто-либо изъ ихъ заправилъ, онъ занимаетъ свое мѣсто на срокъ, подъ постоянной угрозой смѣны, какъ глашатай ихъ страстей и какъ поставщикъ, удовлетворяющій ихъ нуждамъ. Таковымъ былъ Петіонъ въ іюлѣ 1792 г.; таковымъ сталъ Маратъ съ сентябрьскихъ убійствъ;—судите сами, согласятся ли они завязнуть въ сѣтяхъ паутины, которую имъ выставляютъ жирондисты? Наперекоръ метафизической конституціи, которую имъ приготовляетъ эта партія, у нихъ въ головѣ совсѣмъ готовая конституція, замѣчательно простая, приноровленная къ ихъ способностямъ и инстинктамъ. Эта, въ ихъ глазахъ единственно *законная*, конституція заключается въ окончательномъ установленіи ихъ всемогущества; ибо подъ порядкомъ и справедливостью они разумѣютъ лишь свой безграничный произволъ надъ имуществомъ и жизнью другихъ; ихъ инстинктъ, близорукій и склонный къ насиліямъ, какъ у *бея*, понимаетъ только крайнія и разрушительныя мѣры, аресты, ссылку, конфискацію, казни; все это должно совершаться открыто, среди ликованій, какъ патріотическая служба, какъ священнодѣйствіе отъ имени народа—или непосредственно и въ суматохѣ собственными ихъ руками, или же методично и косвенно руками ихъ послуш-

[1]) Т. I, гл. XI, § 6.

ныхъ выборныхъ. Вся ихъ политика сводится къ этому, ничто не собьетъ ихъ съ нея; они повисли на ней всей тяжестью своихъ пороковъ, своего невѣжества и тупости. Сквозь лицемѣріе обязательныхъ народныхъ рѣчей, ихъ *единственная* идея навязывается оратору для того, чтобы онъ ее облекъ въ тираду,—законодателю, чтобы онъ формулировалъ ее въ декретѣ,—администратору, чтобы онъ ее привелъ въ исполненіе; и отъ самаго своего выступленія въ походъ до окончательной побѣды они допускаютъ только одинъ варіантъ, одно самое незначительное отступленіе отъ своей программы: въ сентябрѣ 1792 г. они говорили своими дѣйствіями: —кто думаетъ не такъ, какъ мы, будетъ убитъ, и мы возьмемъ себѣ его золото, его драгоцѣнности, его бумажникъ; въ ноябрѣ же 1793 года они провозглашаютъ путемъ своего оффиціально учрежденнаго „революціоннаго правительства“: — кто думаетъ иначе, чѣмъ мы, тотъ будетъ гильотинированъ, и мы присвоимъ себѣ его наслѣдство“.

Образчикомъ того, какъ видоизмѣняется языкъ Тэна, приноравливаясь къ своему предмету, можетъ служить страница, посвященная *добровольцамъ* 1792 года. Тэнъ не уступаетъ никому изъ патріотическихъ и ораторскихъ историковъ революціи въ теплотѣ и глубинѣ благороднаго чувства, когда онъ описываетъ, какъ въ началѣ террора лучшая часть французской націи поспѣшила подъ знамена, чтобы отстоять свое отечество отъ нашествія иноземцевъ. „Тамъ, въ лагерѣ,—говоритъ Тэнъ въ своемъ описаніи,—передъ непріятелемъ, благородныя общія идеи, обратившіяся въ рукахъ парижскихъ демагоговъ въ кровожадныхъ проститутокъ, остаются чистыми дѣвами въ воображеніи офицера и солдата. Свобода, равенство, права человѣка, наступленіе вѣка разума, всѣ эти неопредѣленные и возвышенные образы мерцаютъ передъ ихъ глазами, когда они подъ картечью взбираются на крутыя высоты Жемаппа, или когда они зимуютъ, босикомъ, въ снѣгахъ Вогезовъ. Эти образы не запятнались и не исковеркались подъ ихъ ногами, падая съ неба на землю; они не превратились въ ихъ рукахъ въ отвратительныя карикатуры... Вдали отъ революціоннаго шабаша близость опасности пробудила въ этихъ воинахъ здравый смыслъ, и они поняли различіе талантовъ и необходимость повиновенія; они смиренно несутъ свой человѣческій крестъ, страдаютъ, постятся, идутъ на встрѣчу пулямъ, сознавая свое безкорыстіе и самопожертвованіе. Они—герои и могутъ смотрѣть на себя какъ на освободителей... Когда въ націи такой благородный духъ, она будетъ спасена вопреки своимъ правителямъ, каковы бы ни были ихъ сумасброд-

ства и каковы бы ни были ихъ преступленія, ибо она выкупаетъ ихъ ничтожество своимъ мужествомъ и покрываетъ ихъ злодѣйства своими подвигами".

Но войско революціонной Франціи имѣетъ и свою изнанку, и, показывая намъ эту изнанку, Тэнъ начинаетъ говорить совершенно инымъ языкомъ. Тэнъ выясняетъ, какъ къ благороднымъ энтузіастамъ патріотизма примыкаютъ другіе недоброкачественные элементы; онъ указываетъ, что многіе изъ добровольцевъ были привлечены въ армію общей безработицей и обезпеченностью солдатскаго продовольствія, а иные набраны администраціей изъ бродячаго люда на городскихъ площадяхъ, чтобы, по выраженію современниковъ и оффиціальныхъ документовъ, *очистить* Францію. Административныя власти въ подобныхъ случаяхъ не принимали даже въ соображеніе тѣлесныхъ недостатковъ ополченцевъ и отправляли на границу не только придурковатыхъ, но „косыхъ, хромыхъ, уродливыхъ и чахлыхъ людей"... „Одни слишкомъ стары, другіе слишкомъ молоды и слабы, чтобы переносить утомленіе военной жизни, или такъ малы ростомъ, что ружье на цѣлый футъ выступаетъ надъ ихъ головой; это ополченіе кишитъ дѣтьми 16, 14 и 13 лѣтъ, между которыми выдается типическій *воришка* большихъ городовъ, хилый и чахлый, дерзкій по природѣ и бунтарь". Свое изображеніе Тэнъ заключаетъ словами: „лопатами взрывали общественный навозъ, разыскивая будущихъ обитателей тюремъ, госпиталей и работныхъ домовъ для нищихъ и бродягъ".

Вводя въ исторію площадную толпу, Тэнъ долженъ былъ изобразить и ея непосредственныхъ вожаковъ, стоявшихъ на одномъ уровнѣ съ нею—личности такого рода, какихъ не выводилъ никто изъ предшествовавшихъ Тэну историковъ, и онъ долженъ былъ приноровить къ новому сюжету и свой языкъ. Вотъ портретъ одного изъ такихъ вожаковъ черни: „это—маленькій, толстенькій, жалкаго вида старикъ, который всю жизнь пропьянствовалъ, сначала былъ обойщикомъ, потомъ разносчикомъ тайныхъ цѣлебныхъ средствъ (орвіетана), шарлатаномъ, за 4 су продававшимъ противъ боли въ почкахъ баночки съ жиромъ людей, снятыхъ съ висѣлицы, а послѣ того сталъ старшиной клакёровъ на галереѣ Конституанты; выгнанный изъ этой должности за мошенничество, онъ былъ снова водворенъ на свое мѣсто при законодательномъ собраніи и по протекціи одного изъ придворныхъ конюховъ [1]) получилъ помѣщеніе для устройства патріо-

[1]) Собраніе помѣщалось въ бывшемъ манежѣ при Тюльери.

тической кофейни у входа въ собраніе; впослѣдствіи его почтили наградою въ шестьсотъ ливровъ, снабдили національной (казенной) квартирой и назначили инспекторомъ галерей, т.-е. заправиломъ общественнаго мнѣнія".

Языкъ Тэна становится еще обильнѣе необычными въ исторіографіи словами, когда ему приходится изображать цѣлую и притомъ разнообразную массу вожаковъ парижской охлократіи. Рѣчь идетъ о революціонной парижской коммунѣ, ниспровергнувшей конституціонную монархію и произведшей сентябрьскую рѣзню. Усѣвшись въ городской думѣ, благодаря внезапному ночному натиску, эта сотня темныхъ личностей, отряженная своими единомышленниками, воображаетъ себя народнымъ представительствомъ; ниспровергнувъ одинъ изъ великихъ органовъ государственной власти (короля) и поработивъ другой (законодательное собраніе), она теперь царствуетъ въ семисотъ-тысячномъ городѣ по милости восьми или десяти-тысячъ фанатиковъ и сорви-головъ. Никогда еще никакой политическій переворотъ не бралъ людей такъ низко, чтобы такъ быстро вскинуть ихъ на такую высоту!" Продолженіе мы приведемъ въ оригиналѣ, имѣя цѣлью охарактеризовать реализмъ, который Тэнъ придалъ языку, и обиліе введенныхъ имъ въ академическій слогъ не-книжныхъ выраженій и спеціальныхъ терминовъ, заимствованныхъ имъ изъ будничной жизни и соціальной патологіи: „Des gazetiers infimes, des scribes du ruisseau, des haranguеurs de taverne, des moines ou prêtres défroqués, le rebut de la littérature, du bureau et du clergé, des menuisiers, tourneurs, épiciers, serruriers, cordonniers, simples ouvriers plusieurs sans état ni profession, politiques ambulants et aboyeurs publics, qui, comme les vendeurs d'orviétan, exploitent depuis trois ans la crédulité populaire, parmi eux nombre de gens mal famés, de probité douteuse ou d'improbité prouvée, ayant roulé dans leur jeunesse et encore tachés de leur ancienne fange, relégués par leurs vices hors de l'enceinte du travail utile, chassés à coup de pied des emplois subalternes jusque dans les métiers interlopes, rompus au saut périlleux, à conscience disloquée comme les reins d'un saltimbanque, et qui, sans la révolution, rampеraient encore dans leur boue natale en attendant Bicêtre ou le bagne auxquels ils étaient promis; se figure-t-on leur ivresse croissante à mesure qu'ils boivent à plus longs traits dans la coupe sans fond du pouvoir absolu?"

Намъ остается отмѣтить еще одно свойство Тэна, которое слышится во всѣхъ его сравненіяхъ и метафорахъ, даетъ его

картинамъ теплый колоритъ, а собранному имъ въ такомъ обилiи фактическому матеріалу — живую субъективную окраску. Мы разумѣемъ его способность подмѣчать *смѣшную* сторону вещей и людей, несообразную съ ихъ положеніемъ или назначеніемъ, и вытекающую отсюда склонность Тэна къ *иронiи* и *сарказму*. Проявляющійся въ иронiи и въ сарказмѣ способъ отношенія къ предмету діаметрально противоположенъ характеру ораторской исторіографіи, въ которой преобладаетъ паѳосъ и нерѣдко паѳосъ трагическій. И тѣмъ не менѣе тотъ самый народъ, которому въ особенности свойственны ораторскій духъ и паѳосъ, французъ — весьма чутко подмѣчаетъ все комическое, и склоненъ къ насмѣшкѣ. Ораторскій паѳосъ и иронія встрѣчаются нерѣдко даже у одного и того же изъ французскихъ писателей. Тэнъ, напр., самъ отмѣтилъ соединеніе обоихъ этихъ свойствъ въ художествѣ Мишлé: „Въ сущности,—говоритъ онъ объ этомъ историкѣ,— его художественный паѳосъ проникнутъ иронiей (railleuse); Мишлé —художникъ до мозга костей, а въ какомъ французскомъ художникѣ нѣтъ этой черты? Что бы мы ни дѣлали, мы всегда остаемся родичами Вольтера и Мольера; сарказмъ невольно у насъ появляется на языкѣ; прежде всего насъ поражаютъ смѣшныя стороны предмета". Но какая эпоха представляетъ такое обширное поприще для сарказма, когда чаще разыгрывалась трагикомедія? когда у историка бывало такъ много поводовъ къ язвительной иронiи, какъ не въ исторiи якобинства? И потому не мудрено, что близкій родичъ Вольтера и Мольера, отправляясь при томъ отъ полнаго порицанія классическаго ораторскаго духа, такъ часто примѣняетъ къ своему повѣствованію иронію. Тэну для этого не нужно никакихъ усилій; иронія сквозитъ у него сквозь простую передачу фактовъ, раскрывающихъ глубокое противорѣчіе между притязаніями лицъ и ихъ ничтожествомъ, между принципами и дѣйствительностью, между величественной фразой и преступнымъ дѣйствіемъ. Такъ напр., когда Тэнъ повѣствуетъ, какъ еще за нѣсколько дней до катастрофы, которая снесла монархію во Франціи, „одна изъ парижскихъ секцій, Моконсель, объявляетъ законодательному собранію, муниципалитету и всѣмъ гражданамъ Парижа, что она перестала признавать Людовика XVI королемъ Франціи". Предсѣдатель собранія, сдѣлавшаго такое постановленіе — портной, un maitre tailleur, и его секретарь,— приказчикъ изъ кожевеннаго склада, заключаютъ свой манифестъ тремя стихами изъ трагедіи, которые всплыли въ ихъ памяти. Или же: въ одной деревнѣ близъ Бордо національные гвардейцы, возбужденные рѣчами, сказанными въ годовщину 14-го іюля,

накидываются на трехъ патеровъ, изъ которыхъ одному 80 лѣтъ, и тащатъ ихъ къ властямъ; деревенскія власти и мировой судья принуждены, въ виду отсутствія всякаго повода къ обвиненію, признать патеровъ невиновными. Но, тѣмъ не менѣе, несчастныхъ хотятъ тащить въ Бордо; между тѣмъ наступаетъ вечеръ, толпа выходитъ изъ терпѣнія, избиваетъ плѣнниковъ и издѣвается надъ ихъ трупами. Это истязаніе трехъ патеровъ продолжалось съ 5 утра до 7 вечера, и муниципалитетъ объ этомъ зналъ; но онъ не могъ бросить своего дѣла, чтобы прійти къ нимъ на помощь; это дѣло было слишкомъ важно; онъ сажалъ дерево свободы". Или, наконецъ, когда Тэнъ изображаетъ какъ во Франціи беретъ верхъ воинственное настроеніе, и руководители ея почти объявляютъ войну одной европейской державѣ за другой. „Пройдетъ еще годъ,—заканчиваетъ Тэнъ,—и благодаря этой политикѣ, Франція будетъ имѣть непріятелемъ всю Европу, а единственнымъ союзникомъ—алжирскаго дея, образъ правленія котораго приблизительно тождественъ съ ея собственнымъ (II, 136)!" Иногда историку достаточно вставить въ свой разсказъ одно замѣчаніе, одинъ техническій или модный терминъ, чтобы пролить иронію на всю картину. Такъ, объяснивъ принципы и объяснивъ доктрину якобинцевъ, Тэнъ заключаетъ: „Въ силу того, что они спасители общества, всѣ мѣста въ государствѣ должны принадлежать имъ, и особенно важнѣйшія. Поэтому, по чувству долга и филантропіи они осаждаютъ эти мѣста; если это будетъ нужно, они ихъ возьмутъ приступомъ; они удержатъ ихъ за собою по доброй волѣ общества или посредствомъ насилія; они заставятъ родъ человѣческій проглотить ихъ панацею"—всеисцѣляющее лекарство (II, 18).

Король приказываетъ швейцарцамъ прекратить огонь, и толпа осаждавшихъ врывается во дворецъ. „Убиваютъ вооруженныхъ и невооруженныхъ швейцарцевъ, оставшихся въ королевскихъ покояхъ. Убиваютъ швейцаровъ при дверяхъ. Убиваютъ всѣхъ, кого находятъ въ дворцовой кухнѣ, отъ главнаго повара до послѣдняго поваренка. Женщины едва избѣгаютъ смерти. Г-жа Кампанъ уже повергнута на колѣни, уже занесена сабля надъ ея головой, вдругъ снизу кто-то кричитъ:—что вы тамъ дѣлаете? женщинъ не убиваютъ — „встань, мерзавка, *народъ* (la nation) милуетъ тебя". — Зато народъ набиваетъ себѣ карманы"...

Чѣмъ трагичнѣе моментъ, тѣмъ иронія историка становится язвительнѣе и нанесенный ею ударъ увѣсистѣе. Объяснивъ, какъ парижская коммуна подготовляла сентябрьскія убійства, пользуясь административнымъ аппаратомъ и старой привычкой населенія оста-

ваться пассивнымъ зрителемъ дѣйствія властей, Тэнъ замѣчаетъ: „Вотъ почему въ теченіе нѣсколькихъ долгихъ дней сряду можно было, по всѣмъ формамъ канцелярскаго дѣлопроизводства и съ правильной бухгалтеріей, безъ смѣха и суеты совершать избіеніе заключенныхъ—какъ какую-нибудь работу по дѣлу очищенія города, такъ же безнаказанно и методично, какъ, напр., вывозъ нечистотъ или избіеніе бродячихъ собакъ". А описавши затѣмъ способъ дѣйствія убійцъ въ тюрьмахъ и упрощенное дѣлопроизводство ихъ импровизованнаго суда, Тэнъ заключаетъ: „Сведенная къ такой простотѣ работа стала по плечу работникамъ; у новаго *суверена* кулаки такъ же крѣпки, какъ его умъ коротокъ, и онъ невольно приноравливалъ къ себѣ свое дѣло, понижая его до уровня своихъ способностей".

Иногда сарказмъ Тэна заостряется въ мѣткую эпиграмму, и историкъ уколомъ булавки прошпиливаетъ новую жертву для своей коллекціи курьёзовъ и уродствъ. Ему приходится разсказать (II, 101), какъ одинъ изъ депутатовъ читаетъ съ трибуны цѣлую страницу изъ „Общественнаго договора" и, между прочимъ, то мѣсто, гдѣ Руссо требуетъ смертной казни для гражданина, признавшаго публично догмы гражданской религіи и ведущаго несоотвѣтствующій имъ образъ жизни. При этомъ *другой ученый попугай* (perroquet sifflé), нѣкто г. Фалассье, вскакиваетъ съ своего мѣста и заявляетъ: „я облекаю въ билль (motion) предложеніе Жанъ-Жака Руссо и требую, чтобы оно было пущено на голоса". Эпитетъ, которымъ Тэнъ наградилъ наивныхъ законодателей, мѣтко характеризуетъ политическое пустозвонство, столь нерѣдко проявлявшееся тогда съ ораторской трибуны.

Въ другомъ случаѣ (II, 135) Тэнъ ѣдко называетъ „ораторскими марсельезами" задорныя рѣчи депутатовъ жиронды противъ Европы и ея правительствъ. Подобнымъ образомъ онъ характеризуетъ (II, 84) положеніе дѣла, созданное тиранніей комитета общественнаго спасенія — замѣчаніемъ, что комитетъ „обратилъ главный органъ государственной власти—конвентъ—въ артель клакёровъ, а второй органъ—министерство—въ толпу лакеевъ". Изображая настроеніе и образъ дѣйствія сельской администраціи, навербованной якобинцами болѣе или менѣе насильно для исполненія непріятныхъ для нея и отвѣтственныхъ обязанностей, Тэнъ говоритъ: очевидно, что „если они и везутъ на себѣ революціонную тачку, то въ родѣ того, какъ ихъ лошади—*по наряду*" (par réquisition).

Характеризуя составъ и качество членовъ законодательнаго собранія, допустившаго воцареніе якобинцевъ, Тэнъ указываетъ

на то, что 566 изъ 745 депутатовъ собранія принадлежали къ мѣстной выборной администраціи, а потому, для полученія своей должности и затѣмъ депутатскаго званія, должны были поддѣлываться подъ тонъ и настроеніе возбужденной революціей толпы.— „Депутированные въ Парижъ по выбору или попустительству клубовъ, они повезли съ собой въ столицу свою политику и свою реторику; изъ этого вышло сборище умовъ ограниченныхъ, искривленныхъ, опрометчивыхъ, напыщенныхъ и немощныхъ; въ каждомъ засѣданіи колеса двадцати вѣтряныхъ мельницъ вертятся въ пустотѣ (à vide), и съ перваго дня верховная изъ общественныхъ властей становится фабрикой нелѣпостей, школою сумасбродства и театромъ для декламацій".

Сарказмъ Тэна иногда проникнутъ глубокимъ негодованіемъ, и эпитетъ имъ придуманный образно выражаетъ собою всю страстность его приговора. Особеннаго вниманія заслуживаютъ тѣ случаи, когда эпитеты и образы Тэна получаютъ значеніе *девиза*, выражающаго собою цѣлое историческое воззрѣніе. Описывая оргіи, которымъ такъ часто предавались террористы-коммиссары конвента и заправила муниципалитетовъ или мѣстныхъ клубовъ,— оргіи, подъ вліяніемъ которыхъ постановлялись самые кровожадные декреты и производились самыя безумныя и безпощадныя истребленія жертвъ, Тэнъ заключаетъ: „Когда человѣкъ захочетъ быть живодеромъ (un bon égorgeur), онъ долженъ предварительно напиться; такъ и поступили въ Парижѣ работники сентябрьской рѣзни; а въ силу того, что *„революціонное правительство"* было организованной, продолжительной и непрерывной *сентябрщиной* (septembrisade), большинство его агентовъ принуждено много пить". Или же, когда Тэнъ изображаетъ положеніе Франціи во время якобинскаго террора: „все было поставленно вверхъ дномъ: принужденная повиноваться революціонному правительству Франціи походила на человѣка, котораго заставляли ходить на головѣ и мыслить ногами".

Иногда же иронія Тэна проявляется въ цѣлой *картинѣ*, въ которой онъ мастерски изображаетъ весь *трагизмъ* созданнаго якобинствомъ положенія. Возьмемъ, напр., изображеніе конвента во время террора: „Въ Тюльери, въ большомъ помѣщеніи театра, обращеннаго въ залу засѣданія, возсѣдаетъ всемогущій конвентъ; каждый день, среди торжественной обстановки, онъ обсуждаетъ дѣла государства; его декреты, принимаемые съ слѣпымъ повиновеніемъ, наводятъ страхъ на Францію и перевертываютъ вверхъ дномъ Европу. Издали его величіе страшно: онъ болѣе величавъ, чѣмъ сенатъ въ республиканскомъ Римѣ. Вблизи дѣло совсѣмъ

иное: неоспоримые государи, его составляющіе — рабы, живущіе въ постоянномъ пароксизмѣ страха; и не безъ основанія! — ибо нигдѣ, даже въ тюрьмѣ, нѣтъ такого принужденія и жизнь такъ мало обезпечена, какъ на ихъ скамьяхъ. Начиная съ іюня 1793 г., ихъ неприкосновенная обитель, великій оффиціальный резервуаръ, изъ котораго истекаетъ всякая законная власть, превратилась въ какой-то садокъ, въ который погружается революціонная сѣтка и безъ промаха извлекаетъ оттуда рыбъ одну за другой, по выбору или за разъ, цѣлыми дюжинами — сначала 67 жирондистскихъ депутатовъ, казненныхъ или объявленныхъ въ опалѣ; потомъ 73 членовъ правой стороны, арестованныхъ однимъ налетомъ революціонной бури и посаженныхъ въ тюрьму; затѣмъ выдающихся якобинцевъ—Осселена, арестованнаго 19 брюмера, Базира, Шабо и Делоа, преданныхъ обвиненію 24 брюмера, Фабра д'Эглантина, арестованнаго 24 нивоза, Бернарда, гильотинированнаго 3 плювіоза, Анахарзиса Клоца, гильотинированнаго 3 жерминаля, Геро-Сешеля, Филиппо, Лакруа, Камиля Демулэна и Дантона, гильотинированныхъ съ нѣсколькими другими 10 жерминаля, Симонда, гильотинированнаго 24 жерминаля, Осселена, гильотинированнаго 28 мессидора".

Здѣсь трагизмъ сосредоточенъ въ одномъ предметѣ: якобинцы конвента, установивъ терроръ, сами себя обрекли ему на жертву. Но трагизмъ проявляется еще сильнѣе тамъ, гдѣ роли палача и жертвы раздѣлены, гдѣ милліонамъ страдальцевъ противопоставлена горсть деспотовъ-эпикурейцевъ, виновныхъ въ этихъ бѣдствіяхъ. Таковъ сюжетъ большой картины, которою Тэнъ заключаетъ исторію конвента. Она слишкомъ обширна и состоитъ изъ слишкомъ многихъ детальныхъ группъ, чтобы передать ея содержаніе цѣликомъ. Мы ограничимся центральной группой, этой, можетъ быть, наиболѣе трагической картиной въ книгѣ Тэна.

Моментъ картины относится къ послѣднимъ днямъ правленія конвента, когда главный пароксизмъ террора, окончившійся паденіемъ Робеспьера, давно уже миновалъ, и послѣдствія якобинства, какъ политической и экономической системы, успѣли вполнѣ обнаружиться. Главнымъ предметомъ заботъ якобинскихъ правителей было тогда удовлетвореніе нуждамъ парижскаго населенія, особенно рабочаго, отъ доброй воли котораго зависѣла прочность ихъ власти. „Чтобы продовольствовать Парижъ въ эпоху, когда, вслѣдствіе паденія ассигнацій, хлѣбъ достигъ небывалой, баснословной цѣны, якобинское правительство систематически приносило ему въ жертву интересы страны. При старомъ порядкѣ Парижъ доставлялъ государственному казначейству доходъ въ 77 милліо-

новъ. Якобинцы, поддерживая въ Парижѣ прежнюю цѣну на хлѣбъ въ 3 су за фунтъ, въ то время какъ самому правительству онъ обходился въ 4 су ассигнаціями, тратили весною 1795 года на продовольствіе Парижа 1.200 милл. въ годъ, а 7 мѣсяцевъ спустя, въ послѣдніе дни конвента, расходъ на Парижъ составлялъ 546 милл. *въ мѣсяцъ*. Къ этой тратѣ нужно присоединить всѣ жертвы, которымъ подвергалось окрестное и провинціальное населеніе, обязанное рядомъ принудительныхъ мѣръ *поставлять* и *подвозить* хлѣбъ, нужный Парижу. Такъ *новый порядокъ* сдѣлалъ изъ Парижа чудовищный вередъ на сердцѣ Франціи, жаднаго паразита, который своими 600.000 сосцами изсушивалъ все кругомъ себя на 40 льё въ окружности, съѣдалъ въ одинъ мѣсяцъ годовой доходъ государства и оставался худъ, несмотря на всѣ жертвы казначейства, имъ истощаемаго, и несмотря на оскудѣніе провинцій, его питавшихъ". На самомъ дѣлѣ положеніе Парижа становится все ужаснѣе; уже въ продолженіе 17-ти мѣсяцевъ до паденія Робеспьера парижское населеніе было принуждено толпиться цѣлые часы у дверей хлѣбниковъ, отпускавшихъ по полицейскому свидѣтельству указанное каждому количество хлѣба. „Задолго до зари, въ холодныя зимнія ночи, тысячи матерей и женъ, плохо одѣтыя, выстроивались въ необозримые ряды передъ булочными, передъ мясными лавками или дровяными складами, и многимъ приходилось возвращаться домой съ пустыми руками или отъ изнуренія и безсилія выступать изъ рядовъ. Послѣ катастрофы Робеспьера такое положеніе дѣла продолжалось 22 мѣсяца и становилось все хуже. Зимою 1795 года ежедневная порція хлѣба была сведена на полтора фунта лицу; съ конца вентоза это количество предоставлялось лишь 324.000 рабочихъ; для всѣхъ же остальныхъ жителей было понижено до фунта; многимъ уже тогда доставалось еще меньше—полфунта или четверть. При наступленіи весны комитетъ общественнаго спасенія, въ виду истощенія своихъ запасовъ, свелъ всѣ порціи на $^1/_4$ фунта. Слѣдствіемъ этого было возстаніе рабочихъ, которое было подавлено войсками, и конвентъ, „утвердившись въ сѣдлѣ, затянулъ узду".

Парижъ былъ объявленъ въ осадномъ положеніи; выдача мяса была установлена въ $^1/_4$ ф. черезъ каждые 5 или 10 дней; хлѣбъ въ день по 4 унца ($^1/_3$ ф.) среднимъ числомъ, иногда по 5, 6, 7 или изрѣдка по 8 унцовъ; часто же выдавалось только 3, 2, $1^1/_2$ унца или даже ничего, а качество хлѣба становилось при этомъ все хуже и „зловреднѣе".

На этомъ мрачномъ фонѣ ежедневно разыгрывались самыя

потрясающія сцены голода, изнуренія, отчаянія и самоубійства. Ими наполнена картина Тэна. Бѣдственному зрѣлищу столицы соотвѣтствовало положеніе страны. Вотъ его итогъ: „Сколько народа погибло отъ нищеты? Очень вѣроятно, много болѣе милліона. Попытайтесь охватить общимъ взоромъ необычайное зрѣлище, разстилающееся на 26.000 квадр. льё, необъятное множество голодающихъ въ городахъ и селахъ, вереницу ожидающихъ подачки женщинъ во всѣхъ городахъ, въ продолженіе трехъ лѣтъ, взгляните на этотъ городъ съ 20.000 жителей, изъ которыхъ въ 23 мѣсяца двадцатая часть умираетъ въ больницѣ; взгляните на скопленіе нуждающихся у дверей благотворительныхъ заведеній, на рядъ носилокъ, въ нихъ входящихъ, рядъ гробовъ, изъ нихъ выносимыхъ, на госпиталя, лишенные своихъ имуществъ и переполненные больными, на воспитательные дома, не имѣющіе возможности вскормить брошенныхъ имъ дѣтей, на голодающихъ дѣтей, сохнущихъ въ своей колыбели съ первой недѣли жизни, блѣдныхъ и „съ сморщенными лицами, какъ у стариковъ,—на эту эпидемію голода, которая сокрушаетъ и укорачиваетъ всѣ прочія жизни, на безконечное мученіе живучей натуры, упорствующей среди страданій и не могущей погаснуть, на конечную агонію въ мансардѣ или гдѣ-нибудь въ канавѣ...

Въ этой картинѣ недостаетъ одной группы—группы правителей, которые распоряжаются всей этой нищетой; эта центральная группа какъ бы нарочно нарисована, намѣренно скомпонована великимъ художникомъ, любителемъ контрастовъ и неумолимой логики, невидимая рука котораго непрестанно начерчиваетъ новые человѣческіе образы, и угрюмая иронія котораго никогда не упуститъ случая сочетать и сопоставить во всемъ рельефѣ уродливый фарсъ съ трагизмомъ смерти. Это небольшой кружокъ якобинцевъ, пережившихъ терроръ и торжествующихъ, съумѣвшихъ пріютиться въ удобномъ мѣстѣ и желающихъ тамъ оставаться во что бы то ни стало... „Къ 10-ти часамъ утра въ павильонѣ Равенства, въ залѣ комитета общественнаго спасенія появляется его предсѣдатель, Камбасересъ: это тотъ осторожный и ловкій толстякъ, впослѣдствіи архиканцлеръ наполеоновской имперіи, который пріобрѣтетъ извѣстность своими гастрономическими изобрѣтеніями и другими странными вкусами, заимствованными у древности. Едва усѣвшись, онъ приказываетъ поставить на огонь камина объемистую кострюлю съ супомъ (pot-au-feu), на столъ „хорошаго вина и отличнаго бѣлаго хлѣба, три вещи, которыхъ, по словамъ одного изъ гостей, трудно было тогда найти въ Парижѣ". Между 12 и 2 часами подходятъ его товарищи, одинъ за другимъ, выши-

ваютъ чашку бульона, съѣдаютъ кусокъ жаркого, глотаютъ залпомъ стаканъ вина и потомъ идутъ каждый въ свою канцелярію, угождать своему кружку, помѣстить такого-то, заставить платить такого-то, обдѣлать свои собственныя дѣла,—ибо въ послѣдніе дни конвента нѣтъ болѣе общихъ дѣлъ, всѣ касаются лишь частныхъ интересовъ и имѣютъ личный характеръ... Къ 9 или 10 часамъ вечера комитетъ общественнаго спасенія снова собирается, но не для того, чтобы рѣшать важныя дѣла,—напрасно настаиваютъ на этомъ Ларевельеръ и Дону, остальные слишкомъ эгоистичны для этого или заняты; на этотъ счетъ Камбасересу предоставляютъ полную волю; что до него, онъ предпочелъ бы сидѣть смирно, не везти болѣе на себѣ общественной колесницы, но есть двѣ насущныя потребности, которымъ необходимо удовлетворить подъ страхомъ смерти.—Вѣдь пожалуй не успѣютъ,—говоритъ онъ жалобнымъ голосомъ,—напечатать за ночь ассигнаціи, которыя необходимы на завтрашніе расходы. Если это такъ пойдетъ, мы рискуемъ быть повѣшенными на фонарѣ.—Сходи-ка,—обращается предсѣдатель къ одному изъ членовъ,—въ кабинетъ Урье-Элоа и скажи ему, что такъ какъ ему поручены финансы, то мы умоляемъ его дать намъ возможность просуществовать дней 15—18; тогда вступитъ во власть директорія, которая пусть дѣлаетъ какъ знаетъ.—Но продовольствіе, хватитъ ли его на завтра? спрашиваетъ Камбасереса другой изъ членовъ...—Хе, хе, я ничего не знаю, но я пошлю за Ру, который дастъ намъ свѣденія.—Входитъ Ру, депутатъ, предсѣдательствующій въ продовольственномъ комитетѣ, бѣглый бенедиктинецъ, бывшій террористомъ въ провинціи, будущій протеже и помощникъ Фушé, вмѣстѣ съ нимъ выгнанный изъ полиціи. Это оффиціальный говорунъ, широкоплечій, толстощекій, снабженный неутомимыми легкими, и его выбрали поэтому для того, чтобы его рѣчами и шутками укрощать толпы женщинъ, приходящихъ каждый день въ Тюльери просить хлѣба.—Ну, что, Ру, въ какомъ мы положеніи относительно продовольствія?—Все то же изобиліе, гражданинъ-президентъ—два унца хлѣба на лицо, по крайней мѣрѣ для большей части кварталовъ.—Чортъ тебя возьми, ты насъ подведешь подъ ножъ съ твоимъ изобиліемъ!—Водворяется общее молчаніе; присутствующіе вѣроятно размышляютъ объ этой возможной развязкѣ. Вдругъ одинъ изъ нихъ говоритъ:—А что, президентъ, велѣлъ ли ты намъ приготовить что-нибудь въ буфетѣ? Послѣ такихъ утомительныхъ дней необходимо возстановить свои силы!..—Ну, конечно, тамъ отличный

кусокъ телятины, большое тюрбо, большое блюдо пирожнаго и еще кое-что въ этомъ родѣ...

„Веселость возстановляется, челюсти работаютъ, льется шампанское и сыплются остроты. Къ 11 часамъ или около полуночи приходятъ члены другихъ комитетовъ; пирующіе подписываютъ ихъ постановленія, не читая ихъ, по довѣрію; тѣ въ свою очередь усаживаются за столъ, и сонмъ верховныхъ животовъ предается пищеваренію, не думая болѣе о милліонахъ пустыхъ желудковъ".

Передъ захватывающей правдой этой картины какъ бы смолкаетъ всякая критика. Но не имѣетъ ли критика въ другихъ случаяхъ повода находить, что иронія Тэна чрезмѣрна, и что она отвлекаетъ читателя отъ спокойнаго, безстрастнаго обсужденія фактовъ? Не имѣетъ ли критика повода припомнить бойкія замѣчанія самого Тэна по отношенію къ другимъ писателямъ? Ставя на видъ, что „умники" въ романахъ Бальзака обладаютъ свойствами создавшаго ихъ автора, Тэнъ говоритъ о нихъ съ укоризной: „не ищите у нихъ никогда умѣренной и деликатной иронiи—этого орудія разума и хорошаго вкуса,—не ищите изящной тонкости, точности слога, спокойнаго и гордаго нрава человѣка благовоспитаннаго, увѣреннаго въ своихъ мысляхъ, въ своемъ положеніи и своихъ силахъ. Умъ этихъ лицъ бьетъ бурнымъ и илистымъ потокомъ, который выбрасываетъ въ перемежку пошлость и поэзію, слова банкирскаго жаргона и метафоры торжественной оды" и т. д. Еще рѣзче обличаетъ Тэнъ у Мишлé неумѣренность сарказма, которая ведетъ къ необузданности языка и сравненій: „этотъ напряженный языкъ, это необычное сочетаніе словъ, эта привычка приносить въ жертву *полное* выраженіе *сильному* (violente)—всѣ эти свойства наводятъ на мысль, что у писателя страсть обратилась въ болѣзнь, и что она, сознательно коверкая свой языкъ, въ состояніи невольно искажать истину"... „Эти стилистическіе фокусы (artifices),—говоритъ Тэнъ въ другомъ мѣстѣ,—вызываютъ у читателя подозрѣніе, что писатель желаетъ во что бы ни стало производить впечатлѣніе (être admiré), что онъ менѣе занятъ своимъ предметомъ, чѣмъ самимъ собою, и что онъ въ исторіи болѣе въ поискахъ за тѣмъ, что патетично и занимательно, чѣмъ за истиной".

Эти послѣднія слова могутъ служить намъ руководствомъ при разрѣшеніи поставленнаго выше вопроса,—можно ли критику Тэна обратить въ орудіе противъ него самого? Нѣтъ сомнѣнія, что Тэнъ не искалъ въ исторіи сюжетовъ ни для ораторскаго паѳоса, ни для занимательнаго повѣствованія. Мишлé—ораторъ,

одаренный поэтическимъ воображеніемъ, и онъ видитъ людей и событія въ свѣтѣ своихъ политическихъ идеаловъ. *Истина* для него—въ торжествѣ этихъ идеаловъ, и исторія поэтому должна служить ему проповѣдью ихъ. Тэнъ же подходитъ къ исторіи путемъ естественно-научнаго изысканія; полное собираніе матеріала и установленіе фактической истины—его первенствующій интересъ. Самая иронія служитъ ему средствомъ обнаружить истину. Чувство ироніи пробуждается въ человѣкѣ, къ ней способномъ, при видѣ всего *несоразмѣрнаго*, противорѣчиваго, карикатурнаго. Тамъ, гдѣ встрѣчаются эти явленія, историкъ обязанъ выставить ихъ на видъ, и иронія въ этихъ случаяхъ даже сама собою обнаруживается въ его повѣствованіи. Но держится ли иронія Тэна въ предѣлахъ объективной истины, или онъ увлекался ею, какъ и своимъ художественнымъ талантомъ, для бойкихъ метафоръ и для композиціи поражающихъ картинъ? Рѣшеніе этого вопроса обусловливается правдивостью установленнаго имъ контраста между личностью якобинцевъ и ихъ историческою ролью, между принципами, во имя которыхъ они захватили власть, и ихъ осуществленіемъ, между ихъ идеалами и истинными интересами человѣчества—однимъ словомъ, зависитъ отъ правдивости и точности *психологическаго* изображенія и *соціологической* оцѣнки якобинства у Тэна.

В. Герье.

РАБОЧІЙ ВОПРОСЪ

ВЪ

СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКИХЪ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТАХЪ

I.

Говорятъ,—когда Маколей рѣшилъ взяться за свое безсмертное сочиненіе, онъ объявилъ публично, что будетъ заниматься одинаково какъ князьями и принцами, такъ и простымъ народомъ; но, написавъ только первые нѣсколько листовъ, онъ вынужденъ былъ сознаться, что такого рода трудъ невозможенъ, такъ какъ оказалось, что простой народъ не оставилъ по себѣ никакой писанной исторіи; Маколею пришлось по неволѣ ограничиться исторіей однихъ высшихъ классовъ.

Будущему историку нельзя будетъ сказать того же о современномъ Сѣверо-Американскомъ союзѣ. Въ Америкѣ имѣется въ настоящее время обширная литература по рабочему вопросу,—литература не только частная и добровольная, но и общественная, основанная на оффиціальныхъ данныхъ и изслѣдованіяхъ. Штатъ Массачузетсъ уже въ 1869 году, слѣдовательно двадцать-пять лѣтъ тому назадъ, организовалъ спеціальное бюро для изученія и изслѣдованія рабочаго вопроса и разработки рабочей статистики; съ тѣхъ поръ одинъ штатъ за другимъ послѣдовали его примѣру, и въ теченіе семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ 27 штатовъ и территорій завели въ своихъ штатныхъ правительствахъ спеціальные департаменты съ тою же цѣлью, извѣстные подъ именемъ рабочихъ бюро (Bureau of Labour, labour and industrial statistics), а въ 1885 году и федеральное правитель-

ство должно было организовать при своемъ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ особый департаментъ, находящійся въ завѣдываніи спеціальнаго коммиссара по дѣламъ рабочихъ (Commissioner of Labour). Всѣ эти учрежденія работаютъ самостоятельно, занимаясь тѣми вопросами, которые почему-либо особенно важны въ ихъ мѣстностяхъ, дѣлаютъ ежегодно болѣе или менѣе обширные доклады своимъ законодателямъ, печатаемые въ большомъ, сравнительно, числѣ экземпляровъ и дающіе массу матеріала. Нельзя сказать, чтобы доклады эти, за исключеніемъ докладовъ коммиссаровъ штатовъ Массачузетса и Нью-Іорка и двухъ-трехъ другихъ, представляли собою что-нибудь обработанное съ теоретической, научной, философской точки зрѣнія; нѣтъ, они, какъ и громадное большинство работъ такого характера въ Америкѣ, даютъ только факты, не пытаясь обобщать ихъ и приходить къ опредѣленнымъ заключеніямъ. Правда, нѣкоторые изъ нихъ, на основаніи приводимыхъ ими фактовъ, рекомендуютъ извѣстное новое законодательство, указываютъ на недостатки или пропуски въ существующихъ статутахъ, жалуются на существующій порядокъ вещей— но все это довольно поверхностно, въ американскомъ смыслѣ понятій и слова. Почти всѣ эти доклады трактуютъ болѣе или менѣе о заработной платѣ, о положеніи рабочаго вообще, о необходимости законнаго, твердо установленнаго посредничества и арбитраціи между капиталомъ и трудомъ, о необходимости безплатныхъ правительственныхъ бюро для подъисканія работы ищущимъ ея, о фабричной инспекціи, о надзорѣ за малолѣтнимъ трудомъ; но едва ли возможно придти къ какимъ-либо общимъ выводамъ по всѣмъ этимъ вопросамъ, едва ли возможно придти къ какому-нибудь опредѣленному заключенію; каждый коммиссаръ смотритъ на вещи съ своей собственной, личной точки зрѣнія, напираетъ именно на то, что̀ ему лично кажется важнымъ и интереснымъ, и такъ какъ всѣ штаты безусловно самостоятельны въ этомъ направленіи, то получается чрезвычайно разнообразное отношеніе къ дѣлу вообще и къ частностямъ въ особенности. Правда, еще въ 1883 году, когда во всѣхъ Соединенныхъ Штатахъ существовало всего 11 бюро, была уже созвана первая національная конвенція начальниковъ этихъ бюро въ г. Колумбусѣ, въ штатѣ Охайо, и съ тѣхъ поръ конвенціи эти созывались ежегодно, исключая 1890 года, когда, по случаю федеральнаго ценза, требовавшаго помощи этихъ бюро, конвенція не собиралась; послѣдняя, девятая по счету, собиралась въ городѣ Денверѣ, въ штатѣ Колорадо, въ маѣ 1892 года. Эти конвенціи стараются систематизировать и обобщать работы отдѣльныхъ, штатныхъ

бюро—но достигаютъ этой цѣли только относительно, такъ какъ мѣстныя нужды очень различны, и бюро по необходимости должны подчиняться мѣстнымъ условіямъ. Доклады всѣхъ этихъ учрежденій, обыкновенно очень объемистые, часто въ нѣсколькихъ томахъ за одинъ годъ, представляютъ собою нѣсколько сотъ томовъ чрезвычайно цѣннаго матеріала, и я въ свое время займусь нѣкоторыми изъ нихъ въ подробности.

Другимъ чрезвычайно цѣннымъ источникомъ служатъ изданія рабочихъ или промышленныхъ союзовъ (Trade Unions). Союзы эти разрослись до гигантскихъ размѣровъ, и въ настоящее время многіе изъ нихъ представляютъ собою могучія, богатыя организаціи, съ желѣзной дисциплиной и далеко распространеннымъ вліяніемъ. Организованный трудъ съ каждымъ годомъ завоевываетъ себѣ болѣе и болѣе почетное положеніе; уже въ настоящее время большая его половина принадлежитъ къ двумъ главнымъ рабочимъ союзамъ: „Рыцарямъ труда“ (Knights of Labour) и „Американской федераціи“ труда (American federation of Labour). Первая изъ этихъ организацій много лѣтъ управлялась „великимъ мастеромъ-работникомъ“ Поудерли (Powderly); въ концѣ 1893 года его смѣнилъ Соверейнъ (Sovereign), бывшій нѣсколько лѣтъ коммиссаромъ труда въ штатѣ Эйоуэ. Эта перемѣна многозначительна, такъ какъ ясно указываетъ на ту связь, которую имѣютъ современные американскіе рабочіе союзы даже съ высшими элементами штатной интеллигенціи. Соверейнъ—простой рабочій, выдвинувшійся впередъ и почти единогласно выбранный двухмилліоннымъ населеніемъ штата Эйоуэ въ высшіе представители труда штата; онъ настолько не утратилъ связи съ рабочимъ народомъ, что не представилось никакихъ затрудненій перейти прямо изъ коммиссаровъ въ великіе мастера-работники рабочей организаціи. Литература рабочаго вопроса, созданная ремесленными союзами, чрезвычайно обширна и многосторонняя, и я, въ моемъ настоящемъ изслѣдованіи, буду часто имѣть случай къ ней обращаться. Не только сами рабочіе въ Соединенныхъ Штатахъ, но и федеральное и штатныя правительства давно уже придаютъ ей соотвѣтствующее значеніе—голосъ рабочихъ союзовъ начинаетъ приниматься въ соображеніе даже при составленіи національныхъ „платформъ“ (программъ) господствующими политическими партіями. 12-го октября 1889 года радикальная фракція рабочихъ союзовъ созвала въ Чикаго первую конвенцію труда для составленія національной политической платформы и назначенія національнаго „тикета“; во время президентской кампаніи 1892 года платформа эта была подтверждена и назначила кандидатами въ

президенты Симона Винге изъ Массачузетса и въ вице-президенты Чарльса Матчета изъ Нью-Іорка, которые и получили около 22.000 голосовъ, преимущественно въ штатѣ Нью-Іоркъ. Платформа эта, между прочимъ, требуетъ: уменьшенія числа рабочихъ часовъ сообразно усовершенствованіямъ производствъ и укороченію необходимаго для извѣстной работы времени; національзаціи путей сообщенія и сношеній; пріобрѣтенія общинами всѣхъ водопроводовъ, газовыхъ, электрическихъ и всякихъ другихъ обще-необходимыхъ учрежденій, для которыхъ требуется городская хартія; легальной инкорпораціи всѣхъ ремесленныхъ союзовъ; уничтоженія привилегій на изобрѣтенія покупкою ихъ націей у изобрѣтателей; прогрессивнаго подоходнаго налога и налога на наслѣдство; обязательнаго образованія всѣхъ дѣтей въ школьномъ возрастѣ, причемъ неимущія дѣти должны содержаться на общественный счетъ; безусловнаго права комбинаціи труда; воспрещенія труда малолѣтнихъ въ школьномъ возрастѣ; уничтоженія системы законтрактованія преступниковъ на работу; уравненія платы за женскій трудъ съ мужскимъ; безусловной отвѣтственности нанимателей за увѣчья и смерть рабочихъ и строгихъ законовъ въ смыслѣ охраны здоровья и жизни рабочихъ во всѣхъ производствахъ.

Въ политическомъ отношеніи платформа эта требуетъ уничтоженія должностей президента и вице-президента и сената Соединенныхъ Штатовъ, и замѣны ихъ исполнительнымъ совѣтомъ по выбору палаты представителей, которая совмѣщала бы въ себѣ всю федеральную законодательную власть страны; соотвѣтственнаго измѣненія штатныхъ и городскихъ конституцій и хартій; прямого и секретнаго голосованія для всѣхъ выборовъ; права голоса для всѣхъ совершеннолѣтнихъ, безъ различія цвѣта и пола; введенія принципа представительства меньшинства; допущенія смѣщенія всѣхъ, безъ исключенія, чиновниковъ по опредѣленію выбирающихъ ихъ общественныхъ единицъ; однообразія гражданскихъ и уголовныхъ законовъ для всѣхъ штатовъ союза, даровой юстиціи и уничтоженія смертной казни. Относительно политическихъ требованій этой платформы рабочіе союзы далеко еще не согласны; громадное большинство высказалось единогласно, другіе значительнымъ большинствомъ, противъ всякаго вмѣшательства въ политику. Тогда какъ извѣстная часть рабочихъ союзовъ требуетъ образованія самостоятельной политической партіи, полагая, что только такимъ путемъ возможно достиженіе экономической программы, другая думаетъ, что вмѣшательство въ политику страны только повредитъ дѣлу рабочихъ вообще, возстановитъ противъ нихъ другіе классы населенія, напримѣръ земледѣльческій, поселитъ

расколъ въ ихъ собственной средѣ и поведетъ къ ожесточенной борьбѣ, которая неизбѣжно помѣшаетъ мирному прогрессу рабочаго вопроса. Несомнѣнно, что до сихъ поръ эта послѣдняя часть составляетъ громадное большинство, такъ какъ въ 1892 году, напримѣръ, изъ числа слишкомъ милліона членовъ рабочихъ союзовъ страны вотировали рабочій тикетъ только около 2%. Къ сожалѣнію, рознь между рабочими союзами не ограничивается политикой; принципы организаціи и методы дѣйствія также составляютъ предметы существенныхъ споровъ и раздѣленія; поэтому объ организованномъ американскомъ трудѣ нельзя говорить вообще, а приходится разбирать отдѣльныя организаціи, причемъ не нужно упускать изъ виду, что организаціи эти постоянно идутъ впередъ, постоянно измѣняютъ свои конституціи и совершенствуются; не только каждый годъ, но каждый мѣсяцъ приноситъ новыя идеи, новые методы, и всякое изученіе американскаго рабочаго вопроса является неизбѣжно крайне неблагодарнымъ трудомъ, такъ какъ дѣлается устарѣлымъ чрезвычайно быстро.

II.

Американская федерація труда.

Отдѣльные рабочіе союзы завелись въ Соединенныхъ Штатахъ въ грубой формѣ еще въ началѣ текущаго столѣтія; уже въ 1803 году матросы порта Нью-Іорка устроили въ Новомъ Свѣтѣ первую стачку. Въ сороковыхъ, пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ они размножались очень быстро и охватили собою всѣ промыслы. Междоусобная война 1861—1865 вызвала, немедленно по своемъ окончаніи, во-первыхъ, чрезвычайное требованіе на трудъ, благодаря общему оживленію и расширенію промышленности и торговли; а во-вторыхъ, стремленіе къ централизаціи, къ соединенію, какъ къ средствамъ самосохраненія. Отдѣльные союзы, организованные въ разныхъ штатахъ, дѣйствовали отдѣльно и разрозненно, рѣдко достигали цѣли, и иногда, вслѣдъ за пораженіемъ, должны были распадаться; необходимость общей организаціи была очевидна, и уже въ августѣ 1866 года представители шестидесяти отдѣльныхъ рабочихъ союзовъ съѣхались въ г. Бальтиморѣ и основали національную организацію подъ именемъ національнаго рабочаго союза (National Labour Union). Этотъ союзъ поддерживался ежегодными конвенціями до 1872 года, когда, послѣ ожесточенной борьбы, фракція, требовавшая полити-

ческаго вмѣшательства, одержала верхъ и былъ назначенъ президентскій тикетъ рабочей партіи. Частію благодаря этому обстоятельству, частію же вслѣдствіе финансоваго краха 1873 года и послѣдовавшаго за нимъ общаго застоя, національный рабочій союзъ распался, и только въ ноябрѣ 1881 года, послѣ восьмилѣтняго промежутка, опять собралась конвенція представителей 107 отдѣльныхъ союзовъ въ г. Питсбургѣ и основала федерацію организованныхъ промысловыхъ и рабочихъ союзовъ Соединенныхъ Штатовъ (Federation of organized Trades and Labour Unions of the United States), издавшую пространный манифестъ ко всѣмъ рабочимъ Союза, излагавшій обширную и обстоятельную программу, съ тѣхъ поръ вошедшую цѣликомъ или въ частяхъ въ основаніе конституцій почти всѣхъ рабочихъ союзовъ въ странѣ. Тогда же былъ назначенъ особый законодательный комитетъ, который и добился впослѣдствіи (въ 1883 г.) постановленія федеральнаго конгресса объ учрежденіи особаго департамента труда. Девизомъ федераціи былъ принятъ земной шаръ, съ надписью на полюсахъ: восемь часовъ, — Labor omnia vincit. Вторая конвенція, собиравшаяся въ 1882 году, въ г. Кливелэндѣ, гарантировала индустріальную независимость отдѣльныхъ союзовъ и, въ виду тогда уже возникавшей розни между ними, опредѣлила признать, какъ единственнымъ мѣриломъ для права рабочаго принадлежать къ союзу, „способность человѣка къ работѣ“, и высказалась положительно противъ какихъ-либо политическихъ или религіозныхъ ограниченій. Третья конвенція, 1883 года, занялась главнымъ образомъ попыткою объединить всѣ рабочіе союзы страны въ одну организацію; съ этою цѣлью и вступила въ сношенія съ „Рыцарями Труда“, и тогда уже враждебному до извѣстной степени федераціи союзу. Четвертая конвенція, 1884 года, положила основаніе активной агитаціи въ пользу восьмичасового рабочаго дня; пятая—усилила эту агитацію и впервые высказалась противъ слишкомъ частаго примѣненія „бойкотовъ“, часто волновавшихъ безъ всякой нужды общественное мнѣніе и возстановлявшихъ его противъ идеи организованнаго труда вообще. Наконецъ, шестая, собиравшаяся въ 1886 году, въ городѣ Колумбусѣ, въ штатѣ Охайо,—причемъ ея делегаты представляли собою 316.469 активныхъ членовъ различныхъ союзовъ,—постановила расторгнуть существовавшую организацію и образовать новую, подъ именемъ американской федераціи труда—American federation of Labour,—организацію существующую и до настоящаго времени. Была принята новая, болѣе совершенная конституція, опредѣлявшая задачи федераціи слѣдующимъ образомъ:

„поощреніе организаціи мѣстныхъ союзовъ, болѣе тѣсное ихъ общеніе посредствомъ центральныхъ ремесленныхъ и рабочихъ союзовъ въ каждомъ городѣ, съ дальнѣйшей комбинаціей этихъ учрежденій въ штатныя, территоріальныя или провинціальныя организаціи, для удобнѣйшаго достиженія законодательныхъ мѣръ въ интересахъ рабочихъ массъ; учрежденіе національныхъ и интернаціональныхъ ремесленныхъ союзовъ, основанныхъ на строгомъ признаніи автономіи каждаго ремесла, и усиленіе и усовершенствованіе такихъ союзовъ; наконецъ, помощь и поощреніе органамъ прессы, занимающимся рабочимъ вопросомъ въ Америкѣ. Эта реорганизація чрезвычайно благотворно подѣйствовала на сближеніе ремесленныхъ союзовъ и дала федераціи громадный толчокъ впередъ; уже на слѣдующей, седьмой конвенціи 1887 г. присутствовали делегаты 2.421 союза съ 600.340 членовъ. Восьмая конвенція, 1888 г., постановила назначить 1-е мая 1890 года, какъ день, когда восьмичасовой рабочій день долженъ быть введенъ во всемъ Сѣверо-Американскомъ союзѣ, и для болѣе успѣшной агитаціи постановила собирать массъ-митинги во всѣхъ городахъ четырежды въ году, въ дни національныхъ праздниковъ, рожденія Вашингтона, объявленія независимости, и рабочаго дня 1-го мая, который тогда же было рѣшено позаимствовать у западной Европы. Девятая конвенція, 1889 года, между прочимъ, постановила: пригласить рабочія организаціи всего міра участвовать въ рабочемъ конгрессѣ всемірной выставки въ Чикаго; одобрила австрійскую систему выборовъ и необходимость однообразныхъ законовъ объ отвѣтственности нанимателей за увѣчье и смерть рабочихъ и отвергла предложеніе объ образованіи самостоятельной политической рабочей партіи. Исполнительный совѣтъ конвенціи избралъ соединенное братство плотниковъ и столяровъ Америки тѣмъ союзомъ, которому слѣдовало начать борьбу за восьмичасовой рабочій день,—и братство это, поддержанное въ своихъ требованіяхъ всей федераціей, сразу окрѣпло въ 137 городахъ союза. Десятая конвенція, 1890 года, назначила рудокопный союзъ слѣдующей за братствомъ плотниковъ организаціей относительно борьбы за восьмичасовой рабочій день—и еще разъ чрезвычайно обстоятельно высказалась по поводу стремленія различныхъ фракцій ввести политику въ дѣло федераціи, отказавшись выдать хартіи центральной рабочей федераціи города Нью-Іорка на томъ основаніи, что въ числѣ ея членовъ состоитъ американская секція соціалистической рабочей партіи. Соціальныя доктрины этой партіи совсѣмъ не были приняты въ соображеніе, и отказъ былъ мотивированъ исключительно тѣмъ, что политика

не должна входить въ кругъ дѣйствія рабочихъ или ремесленныхъ союзовъ, и что всѣ ихъ усилія должны быть направлены только къ достиженію индустріальныхъ цѣлей, чтобы не вносить раздоровъ между членами. Одиннадцатая конвенція издала цѣлую обширную программу, пересмотрѣвъ всѣ резолюціи предшествовавшихъ конвенцій, оформивъ и расширивъ ихъ по возможности; назначены были также организаторы женскаго труда и издана прокламація относительно недоразумѣній и столкновеній съ „рыцарями труда", причемъ особенно обстоятельно были изложены организаціонныя доктрины ремесленныхъ союзовъ вообще. На этой конвенціи присутствовали представители 7.024 союзовъ съ 651.200 дѣйствительными членами; кромѣ того, съ федераціей были связаны болѣе или менѣе тѣснымъ образомъ до 1.500 другихъ ремесленныхъ союзовъ, хотя и не вступившихъ въ нее формально, но согласныхъ съ нею относительно общей политики и основныхъ доктринъ. Конституція американской федераціи труда состоитъ изъ предисловія и одиннадцати статей. Предисловіе, указывая на постоянно обостряющуюся борьбу капитала съ трудомъ и невозможность, при существующихъ условіяхъ, для отдѣльнаго рабочаго добиться какихъ-либо существенныхъ успѣховъ, указываетъ на необходимость тѣсной, компактной организаціи рабочихъ не только въ мѣстные союзы, но и въ одну общую массу. Статья первая опредѣляетъ названіе федераціи; вторая—ея цѣли, уже изложенныя выше, какъ принятыя шестой конвенціей 1886 года; третья—опредѣляетъ составъ и дѣлопроизводство общихъ ежегодныхъ конвенцій; четвертая—способы выбора делегатовъ и права отдѣльныхъ союзовъ на представительство въ общихъ конвенціяхъ федераціи; пятая—опредѣляетъ выборныхъ членовъ федераціи, состоящихъ изъ президента, двухъ вице-президентовъ, секретаря и казначея, выбираемыхъ на одинъ годъ и составляющихъ исполнительный совѣтъ федераціи; шестая опредѣляетъ обязанности этихъ членовъ, седьмая—обязанности исполнительнаго совѣта, восьмая—отношеніе федераціи къ стачкамъ и ея права на наложеніе обязательныхъ взносовъ въ пользу нуждающихся союзовъ, —взносовъ, впрочемъ, не превышающихъ двухъ центовъ съ каждаго члена въ недѣлю и десяти центовъ вообще въ пользу отдѣльнаго случая; девятая—опредѣляетъ доходы федераціи, состоящіе изъ слѣдующихъ источниковъ: изъ взносовъ интернаціональныхъ и національныхъ союзовъ—по одной четверти цента съ каждаго члена въ мѣсяцъ; изъ взносовъ мѣстныхъ союзовъ—по одному центу съ каждаго члена въ мѣсяцъ, и изъ взносовъ центральныхъ городскихъ и штатныхъ союзовъ—по двадцати пяти долла-

ровъ въ годъ съ каждаго; затѣмъ условія пріема и исключенія союзовъ по случаю недоимокъ и условіе вознагражденія постоянныхъ членовъ федераціи; десятая—опредѣляетъ общія условія пріема отдѣльныхъ союзовъ въ федерацію, и одиннадцатая—условія, при которыхъ настоящая конституція можетъ быть измѣнена.

Американскую федерацію труда составляли въ теченіе 1893 г. ремесленные союзы, представляющіе собою 79 разныхъ ремеслъ и образовъ занятій. Изъ нихъ главными по числу мѣстныхъ союзовъ и по числу членовъ въ нихъ были булочники (journeymen Baker's National Union) съ 120 союзами и 13.300 членами; каменщики (International Bricklayers and Stonemason's Union) съ 230 союзами и 33.500 членами; плотники и столяры (Brotherhood of Carpenters and Joiners of America) съ 802 союзами и 84.376 членовъ; сигарочники (Cigarmakers International Union) съ 329 союзами и 27.500 членами; рудокопы (United mine workers of America) съ 260 союзами и 21.000 членами; желѣзнодорожные машинисты (Brotherhood of Locomotive Engineers) съ 504 союзами и 33.000 членами; желѣзно-дорожные кочегары (Brotherhood of Locomotive Firemen) съ 472 союзами и 26.000 членами; чугунно-литейные рабочіе (Iron moulders Union of North America) съ 278 союзами и 36.000 членами; рабочіе на стали и желѣзѣ (Amalgamated Association of Iron & Steel workers) съ 340 союзами и 45.000 членами; маляры и декораторы (Brotherhood of Painters & Decorators of America) съ 201 союзомъ и 15.000 членовъ; наборщики (International Typographical Union) съ 330 союзами и 29.000 членовъ; желѣзно-дорожная поѣздная прислуга (Grand Lodge of the Brotherhood of R. R. trainmen) съ 486 союзами и 24.000 членами; и портные (Journeymen Tailors Union of America) съ 220 союзами и 18.500 членами. Стрѣлочники, сапожники и башмачники, телеграфисты, приказчики, штукатуры, каменотесы, стекольщики, рѣзчики по дереву, цирульники и пивовары также имѣютъ около ста мѣстныхъ союзовъ каждые. Нѣкоторые изъ этихъ союзовъ пользуются значительнымъ вліяніемъ; ихъ организація очень прочна, и ихъ конституціи уже пережили періодъ преобразованій и передѣлокъ, и иностранному читателю, конечно, будетъ не безъинтересно покороче съ ними познакомиться.

Единственной, болѣе или менѣе общей чертой въ организаціи является сравнительная автономія мѣстныхъ союзовъ, образующихъ во многихъ штатахъ и большихъ городахъ штатныя и городскія федераціи для взаимной моральной и матеріальной поддержки; эти федераціи иногда, какъ, напр., въ желѣзно-дорож-

номъ дѣлѣ, не стѣсняются территоріальными границами, и обнимаютъ цѣлую систему или линію, причемъ всѣ принадлежащіе къ такой федераціи отдѣльные союзы одного и того же братства имѣютъ отдѣльную федеральную администрацію, съ извѣстными правами и обязанностями. При описаніи отдѣльныхъ братствъ мы займемся этими особенностями болѣе подробно. Дѣятельность ремесленныхъ союзовъ вообще чрезвычайно разнообразна и нерѣдко выходитъ изъ общей рутины—тѣмъ не менѣе, можно признать главными ея цѣлями слѣдующія: единеніе лицъ, занимающихся однимъ и тѣмъ же дѣломъ въ извѣстной мѣстности; укороченіе рабочаго дня; поднятіе заработной платы; установленіе правильныхъ, опредѣленныхъ отношеній съ нанимателями по всѣмъ вопросамъ посредствомъ взаимныхъ соглашеній; взаимное страхованіе въ случаѣ смерти или увѣчья; взаимная нравственная и матеріальная поддержка. Методы достиженія этихъ главныхъ цѣлей различны и до сихъ поръ служатъ главнымъ яблокомъ раздора между различными организаціями. Тогда какъ нѣкоторые чрезвычайно консервативны и никогда еще не прибѣгали къ насильственнымъ мѣрамъ, другіе болѣе радикальны и гораздо легче склоняются къ стачкамъ, бойкотамъ, и т. д. Одни полагаются на компромиссы, другіе—на насиліе; оттѣнки между ними почти безконечны, и едва ли возможно придти къ правильному заключенію, которые изъ нихъ добиваются лучшихъ и быстрѣйшихъ результатовъ. Мы лично думаемъ, что время для общихъ выводовъ еще не пришло, и что многіе, связанные съ современнымъ рабочимъ движеніемъ въ Америкѣ, вопросы, именно наиболѣе жгучіе, сопряженные съ борьбой съ капиталомъ, еще, сравнительно, далеки отъ удовлетворительнаго рѣшенія, хотя добытые уже опыты и неоцѣнимы для такого разразрѣшенія въ будущемъ. Попадаются изрѣдка и такіе случаи, когда, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ, повидимому, удачно покончены и удовлетворяютъ обѣ стороны. Зато результаты дѣятельности этихъ союзовъ по объединенію и, главное, по обезпеченію, по мѣрѣ возможности, своихъ членовъ не только весьма почтенны, но несомнѣнно заслуживаютъ серьезнаго вниманія и успѣли уже до извѣстной степени измѣнить мнѣніе даже самыхъ ярыхъ противниковъ организованнаго труда вообще.

III.

Братство плотниковъ и столяровъ.

Это братство, какъ по числу принадлежащихъ къ нему мѣстныхъ союзовъ, такъ и по общему числу членовъ несомнѣнно является самымъ значительнымъ ремесленнымъ союзомъ въ мірѣ. Уже въ 1854 году была сдѣлана первая попытка объединить плотниковъ и столяровъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ; попытка эта была повторена въ 1867 году, но только въ 1881 году, когда идея мѣстныхъ, отдѣльныхъ союзовъ пересилила всѣ другія системы организаціи, 13-ти существовавшимъ въ то время мѣстнымъ союзамъ съ 2.042 членами удалось устроить общую организацію, принявшую настоящее имя. Съ тѣхъ поръ число мѣстныхъ союзовъ быстро стало расти, и въ 1893 г. къ братству принадлежало 802 союза съ 84.376 членами; по спискамъ изъ нихъ около 63.000 in goodstanding, т.-е. правильно принятыхъ и уплатившихъ во-время всѣ слѣдовавшіе съ нихъ взносы. Такая разница между списочнымъ и дѣйствительнымъ числомъ членовъ произошла вслѣдствіе резолюцій общей конвенціи 1892 г., постановившихъ чрезвычайно строгія правила относительно аккуратности ежемѣсячныхъ взносовъ,—правила еще не вполнѣ усвоенныя многими мѣстными союзами.

Братство плотниковъ и столяровъ имѣетъ мѣстные союзы въ 724 городахъ Соединенныхъ Штатовъ; его главныя усилія въ теченіе послѣдняго десятилѣтія были направлены на укороченіе рабочаго дня, и, какъ результатъ этихъ усилій является то, что въ 1893 году члены братства работали за полную поденную плату восемь часовъ въ день въ 46 городахъ, изъ нихъ 14 въ штатѣ Иллинойсъ, 9 въ штатѣ Калифорніи и девять часовъ въ 380 штатахъ; кромѣ того, во многихъ городахъ они работаютъ десять часовъ въ день во всѣ дни недѣли, исключая субботы, когда они работаютъ 5, 6 или 8 часовъ, получая полную плату за всю недѣлю. Высчитываютъ, что это сокращеніе рабочихъ часовъ дало работу по крайней мѣрѣ 11.500 лишнихъ рабочихъ. Затѣмъ, не мало усилій было потрачено и на вопросъ о поднятіи заработной платы вообще. Плата эта вообще повышается въ Соединенныхъ Штатахъ; но плотники и столяры добились наилучшихъ результатовъ и въ этомъ отношеніи, въ теченіе прошлыхъ пяти лѣтъ успѣвъ поднять ее для членовъ своихъ союзовъ въ 531 городахъ, на сумму около пяти съ половиною милліоновъ долларовъ въ годъ.

Въ своихъ стремленіяхъ укоротить рабочій день и поднять заработную плату братство всегда старалось избѣгать по возможности всякихъ насильственныхъ мѣръ, добиваясь желаемаго въ большей части случаевъ посредствомъ приговоровъ и взаимныхъ соглашеній и уступокъ. Само собой разумѣется, что это не всегда оказывалось возможнымъ; и въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ братство прибѣгло къ стачкѣ въ 523 случаяхъ, какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.
Изъ-за увеличенія заработной платы . .	10	14	24	29
„ „ восьмичасового рабочаго дня . .	1	42	22	6
„ „ десятичасового рабочаго дня . .	63	81	107	65
„ „ болѣе короткой субботы	6	7	3.	15
Противъ уменьшенія заработной платы .	2	—	13	7
Итого	82	144	169	122

Изъ числа этихъ стачекъ 470 были выиграны рабочими, 23 проиграны и 24 окончились компромиссами. Всѣ эти стачки стоили братству около $ 140.000^{00}; около $ 12.000^{00} было назначено на нихъ изъ общаго фонда американской федераціи труда. Изъ вышеприведенной таблицы читатель и самъ можетъ усмотрѣть, что меньше чѣмъ 20% всѣхъ стачекъ произошли изъ-за вопроса о заработной платѣ; свыше 80% было результатомъ стремленій укоротить рабочій день, и такъ какъ именно это братство, какъ уже замѣчено выше, было выбрано американской федераціей труда, чтобы открыть активныя дѣйствія въ пользу восьмичасового дня, то эти цифры очевидно и являются вполнѣ естественными.

Кромѣ этихъ главныхъ, такъ сказать, цѣлей братства, оно занимается еще и слѣдующими: агитаціей противъ поштучной работы, поощреніемъ извѣстной системы ученичества въ своемъ ремеслѣ, пріисканіемъ работы для своихъ членовъ и денежной помощью имъ и ихъ семействамъ въ случаѣ увѣчья или смерти.

Общая конвенція братства собирается разъ въ два года, въ августѣ мѣсяцѣ четныхъ годовъ, и установляетъ бюджетъ на слѣдующій періодъ. При принятіи въ члены взыскивается единовременно не меньше двухъ долларовъ; затѣмъ члены должны вносить ежемѣсячно отъ тридцати пяти до пятидесяти центовъ, изъ которыхъ десять отчисляются въ пользу фонда центральной администраціи. Въ случаѣ обилія смертныхъ и несчастныхъ случаевъ иногда прибѣгаютъ къ спеціальнымъ единовременнымъ раскладкамъ; то же дѣлается въ случаѣ продолжительныхъ, упорныхъ стачекъ. Въ случаѣ смерти или увѣчья члена братство платитъ отъ

ста до четырехсотъ долларовъ; кромѣ того, отъ двадцати пяти до пятидесяти долларовъ ассигнуется на похороны. Плотничье ремесло сопряжено съ значительнымъ рискомъ; такъ въ 1890 году изъ 242 смертныхъ случаевъ 43 или 17,7% были результатомъ несчастныхъ случаевъ. Начавъ въ 1883 году съ 6 платежей на сумму 1500^{00}, братство въ 1892 году выплатило въ 620 случаяхъ всего $72.613.35; а всего со времени учрежденія фонда въ 1883 году по 1888 случаямъ было выплачено $228.863.65, или, безъ малаго, около полумилліона рублей серебромъ.

Братство издаетъ мѣсячный журналъ „The Carpenter", посвященный частью плотничному и столярному ремесламъ, а главное—дѣламъ братства вообще. Въ журналѣ этомъ печатаются всѣ отчеты исполнительныхъ совѣтовъ и разныхъ чиновъ союза, дается общее описаніе положенія дѣлъ братства и мѣстныхъ союзовъ и проводятся доктрины единенія рабочихъ вообще.

Журналъ редактируется, въ общемъ, довольно консервативно и строго держится платформъ и резолюцій, провозглашенныхъ конвенціями братства, служа, такъ сказать, ихъ распространителемъ и уяснителемъ.

Доходы и расходы братства ростутъ соотвѣтственно его распространенію. Тогда какъ за 1886—1888 они простирались всего до $78.510, въ 1888—1890 они были $167.067, а въ 1890—1892 уже $217.334. Изъ этихъ суммъ только около 10%, въ среднемъ, тратилось на администрацію братства. Расходъ членовъ на поддержаніе центральнаго учрежденія колебался между 1^{50} и 2^{00} въ годъ; его благотворительный отдѣлъ—около 0^{88}; на стачки между $0.225 и $0.88 въ годъ. Многіе мѣстные союзы за послѣднее время начинаютъ вводить въ свои конституціи принципъ страхованія здоровыхъ членовъ, выплачивая больнымъ отъ 4^{00} до 6^{00} въ недѣлю; такіе союзы отличаются особеннымъ преуспѣяніемъ и прочностью, хотя мѣсячные взносы ихъ членовъ и достигаютъ, помимо взносовъ на центральное братство, значительной, сравнительно, суммы въ одинъ долларъ въ мѣсяцъ.

Мѣстныхъ союзовъ такъ много, ихъ дѣятельность и конституціи такъ разнообразны, что нѣтъ никакой возможности говорить о нихъ иначе, какъ въ общихъ чертахъ,—но принципъ страхованій здоровья укореняется такъ быстро и такъ прочно, что о его примѣненіи, въ связи съ мѣстными союзами братства плотниковъ и столяровъ, уже можно вывести извѣстныя заключенія, тѣмъ болѣе, что эту сторону дѣятельности ремесленныхъ союзовъ вообще уже начинаютъ весьма существенно чувствовать другія взаимныя общества для застрахованія здоровья. Изъ нихъ самыя

старымъ, самымъ солиднымъ и самымъ экономнымъ образомъ управляемымъ справедливо считается „Древній орденъ соединенныхъ рабочихъ“ (Ancient Order of United Workmen), имѣвшій въ 1890 году валовой доходъ въ $ 5.117.536.00 и издержавшій на администрацію около 7,1%, или около $ 1.51 на каждаго члена, тогда какъ въ братствѣ плотниковъ и столяровъ этотъ послѣдній расходъ не превышалъ $ 0.22 на члена. Дѣла мѣстныхъ союзовъ управляются обыкновенно выборными комитетами и чинами, служащими извѣстные сроки безплатно; только постоянные секретари получаютъ незначительное вознагражденіе, и потому расходы союзовъ на администрацію сравнительно ничтожны. Тогда какъ въ частныхъ страховыхъ обществахъ, какъ напримѣръ въ вышеприведенномъ, занимающихся исключительно страхованіемъ, расходы часто достигаютъ $ 1^{50}, въ братствѣ всѣ расходы на администрацію, которыхъ только незначительная, сравнительно, часть дѣятельности состоитъ въ страхованіи, обходятся рѣдко выше той же суммы. Въ Америкѣ такая масса взаимныхъ страховыхъ обществъ, такъ рѣдко можно встрѣтить человѣка, который не былъ бы застрахованъ въ нѣсколькихъ обществахъ и отъ смерти, и отъ увѣчья, и отъ болѣзни, что общій расходъ націи на этотъ предметъ достигаетъ самыхъ грандіозныхъ размѣровъ, непонятныхъ русскому человѣку; и если ремесленные союзы, помимо всего остального, достигнутъ только того, что расходы на администрацію страхованій уменьшатся въ семь разъ, какъ, напримѣръ, они уменьшены братствомъ плотниковъ и столяровъ сравнительно съ древнимъ орденомъ соединенныхъ рабочихъ, то и въ такомъ случаѣ дѣятельность союзовъ достигаетъ огромныхъ результатовъ въ чисто финансовомъ положеніи рабочихъ.

Конституція братства плотниковъ и столяровъ представляетъ собою довольно объемистый документъ въ тридцать слишкомъ страницъ и, повторяя въ существенныхъ ея частяхъ конституцію американской федераціи труда, въ то же время гораздо обстоятельнѣе полагаетъ условія пріема членовъ, требованія отъ вновь принимаемыхъ, условія перехода изъ одного мѣстнаго союза въ другой, условія выдачи пособій и т. д. Въ ней же изложены основанія конституціи для мѣстныхъ союзовъ, то-есть тѣ ея общія черты, которыя обязательны для каждаго мѣстнаго союза, желающаго вступить въ братство.

IV.

Братство желѣзно-дорожной поѣздной прислуги.

Еще въ 1868 году былъ основанъ орденъ американскихъ желѣзно-дорожныхъ кондукторовъ, насчитывающій въ настоящее время до 255 союзовъ съ восемью тысячами членовъ, издающій свой спеціальный ежемѣсячный журналъ „Желѣзно-дорожный Кондукторъ“ и имѣющій годовой бюджетъ въ двѣсти тысячъ долларовъ. Союзъ этотъ, однако, былъ слишкомъ исключителенъ, не принимая въ свои члены никого, кромѣ дѣйствительныхъ кондукторовъ, по американскимъ желѣзно-дорожнымъ правиламъ, начальниковъ поѣздовъ, и потому въ 1883 году было организовано братство желѣзно-дорожной поѣздной прислуги, съ самаго начала отличавшееся весьма цѣлесообразной организаціей и замѣчательнымъ единствомъ, а потому и разросшееся весьма быстро до его настоящаго многочисленнаго состава. Въ предисловіи къ своей конституціи учредители братства слѣдующимъ образомъ изложили его главныя цѣли: соединеніе желѣзно-дорожной поѣздной прислуги; забота объ ея благосостояніи и охраненіе ея интересовъ, соціальныхъ, моральныхъ и интеллектуальныхъ; забота объ ея семействахъ, посредствомъ систематичныхъ пособій, столь необходимыхъ при такомъ опасномъ занятіи, какъ желѣзно-дорожное; стремленіе къ поддержанію и усиленію взаимнаго довѣрія и гармоничныхъ отношеній между членами братства и ихъ нанимателями, столь необходимыхъ для соблюденія ихъ обоюдныхъ интересовъ.

Организаторы и заправители этого братства вели его дѣла до сихъ поръ съ замѣчательнымъ тактомъ и умѣньемъ, такъ какъ оно не было замѣшано ни въ одну стачку какого бы то ни было рода—всѣ недоразумѣнія оканчивались компромиссами и взаимными уступками, не прибѣгая къ насильственнымъ мѣрамъ. Члены братства платятъ ежегодно полтора доллара каждый на поддержаніе великой ложи (Grand Lodge), т.-е. центральной администраціи, и на издержки по изданію оффиціальнаго журнала братства, которое было первымъ между рабочими союзами Америки, заведшимъ свою собственную типографію. Въ случаѣ смерти или увѣчья каждый членъ или его наслѣдники получаютъ тысячу долларовъ; въ 1891 году братство уплатило по 646 такимъ случаямъ, изъ которыхъ 76,7% было послѣдствіемъ желѣзно-дорожныхъ несчастій всякаго рода. Деньги на эти платежи собирались

до 1890 года посредствомъ раскладки, по мѣрѣ надобности, между членами братства, раскладки, которая была, впрочемъ, ограничена двумя долларами въ мѣсяцъ съ каждаго. Въ 1890 г. общая конвенція рѣшила установить, кромѣ иррегулярныхъ, смотря по надобности, раскладокъ, и постоянный запасной фондъ, посредствомъ сбора въ одинъ долларъ въ годъ съ каждаго члена братства, и фондъ этотъ къ 1894 году достигъ уже значительной суммы. Доходы братства въ 1893 году превысили полмилліона долларовъ, и со времени своего основанія они уже выплатили по несчастнымъ случаямъ свыше двухъ милліоновъ долларовъ. Братство управляется чрезвычайно экономнымъ образомъ; въ 1891 году, при общихъ расходахъ въ $ 424.821, расходы на администрацію не превышали $ 14.833, т.-е. всего около $3^1/_2{}^0/_0$, и въ этомъ случаѣ принципъ страхованія членовъ оказался давшимъ лучшіе результаты, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ не только обществѣ взаимнаго страхованія, но и ремесленномъ союзѣ Америки.

Доклады общимъ конвенціямъ великаго мастера братства, Вилькинсона, чрезвычайно поучительны и интересны. Во всей литературѣ ремесленныхъ союзовъ Соединенныхъ Штатовъ нѣтъ ничего, что бы могло превзойти ихъ по достоинству и выдержкѣ, и главное, по сущности и значенію результатовъ работы этого замѣчательнаго представителя организованнаго труда. Онъ приводитъ подробности нѣсколькихъ сотъ случаевъ столкновеній и недоразумѣній мѣстныхъ союзовъ братства съ желѣзно-дорожными компаніями—всѣ они безъ единственнаго исключенія оканчивались полюбовнымъ соглашеніемъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда были замѣшаны интересы другихъ желѣзно-дорожныхъ союзовъ. Конституція братства желѣзно-дорожной поѣздной прислуги не только точно и ясно опредѣляетъ тѣ случаи, когда мѣстный союзъ можетъ прибѣгнуть къ стачкѣ, но и тотъ путь, которому онъ долженъ въ этомъ случаѣ слѣдовать; уваженіе къ законности и ея формамъ въ Соединенныхъ Штатахъ очень велико вообще, и Вилькинсонъ не только не видитъ основанія къ тому, чтобы не уважать ихъ и въ столкновеніяхъ организованнаго труда съ нанимателями, но и напротивъ, вездѣ и всегда настаиваетъ на безусловномъ слѣдованіи установленнымъ путямъ и правиламъ. Нерѣдко мѣстные союзы, вслѣдствіе личной антипатіи вожаковъ къ извѣстному лицу, или вслѣдствіе личнаго столкновенія одного изъ ихъ членовъ, не имѣющаго никакого отношенія къ общему дѣлу организованнаго труда, дѣлаютъ промахи, объявляютъ войну нанимающимъ ихъ желѣзно-дорожнымъ компаніямъ и требуютъ помощи братства. Личное вліяніе Вилькинсона и его замѣчательное

безпристрастіе всегда до сихъ поръ устраняли подобные промахи и поддерживали общую репутацію братства. Желѣзно-дорожныя компаніи, особенно нѣкоторыя изъ нихъ, богатыя и сильныя, вообще не особенно сочувственно относятся къ организованному труду — онѣ боятся его, боятся его вліянія на дѣла ихъ корпорацій, и нерѣдко, дѣйствительно, дѣйствуютъ необдуманно и сгоряча — мы, молъ, хозяева, и никто намъ не можетъ указывать того, какъ мы должны поступать въ такомъ-то случаѣ или при такихъ-то обстоятельствахъ. Со стороны рабочихъ часто необходимы огромное самообладаніе и самая систематичная настойчивость, чтобы заставить такую администрацію опомниться и принять въ соображеніе дѣйствительное современное положеніе вещей —одинъ необдуманный шагъ можетъ повести къ самымъ неожиданнымъ, самымъ плачевнымъ для обѣихъ сторонъ результатамъ. Заслуга Вилькинсона и велика именно въ томъ отношеніи, что онъ, сдерживая своимъ достоинствомъ и своимъ глубокимъ знаніемъ человѣческой натуры вообще взрывы противныхъ сторонъ, въ теченіе самаго горячаго періода столкновенія,—затѣмъ своимъ умиротворяющимъ вліяніемъ добивается того, что онѣ дѣлаются способными относиться къ нему хладнокровнѣе, начинаютъ видѣть пагубныя послѣдствія своей неумѣренности и мало-по-малу доходятъ до соглашенія, до компромисса, казавшагося совершенно невозможнымъ всего нѣсколько дней, можетъ быть, нѣсколько часовъ передъ тѣмъ. Не мало столкновеній другихъ желѣзно-дорожныхъ союзовъ съ компаніями было улажено при помощи Вилькинсона. Желѣзно-дорожные служащіе организовались въ семь самостоятельныхъ братствъ: кондукторовъ, поѣздной прислуги, локомотивныхъ машинистовъ, локомотивныхъ кочегаровъ, телеграфистовъ (Order of Railroad Telegraphers), стрѣлочниковъ (Switchmen Mutual Aid Association) и рабочихъ въ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ (Brotherhood of Railway Shop Employees), обнимающихъ собою всѣ вмѣстѣ до 1.925 мѣстныхъ союзовъ съ 106.500 дѣйствительныхъ членовъ. Столкновеніе одного изъ союзовъ съ желѣзно-дорожной компаніей, доходящее до стачки, не можетъ быть опасно для этой послѣдней, такъ какъ въ Америкѣ не особенно трудно замѣнить какой-либо одинъ составъ служащихъ, машинистовъ или стрѣлочниковъ, напримѣръ; но если вся прислуга забастуетъ, дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ, и компанія, чтобы не остановить движенія, конечно, неминуемо дѣлается мягче и уступчивѣе. Поэтому совершенно естественно, что всѣ эти различные союзы постоянно стремятся къ единенію; до сихъ же поръ ихъ общая политика, ихъ методы были настолько различны, Со-

единенные Штаты такъ обширны и условія эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ въ разныхъ мѣстностяхъ такъ разнообразны, что всѣ попытки въ этомъ направленіи оканчивались неудачей, и союзамъ приходилось воевать въ отдѣльности и чаще быть побитыми, чѣмъ побѣждать. Но весной 1893 года пять главныхъ братствъ пришли наконецъ къ соглашенію, основанному на томъ, что мѣстные ихъ союзы на извѣстной отдѣльной желѣзно-дорожной системѣ или линіи могутъ вступать въ отдѣльную федерацію, избирать особый комитетъ, имѣющій вѣдать сообща столкновенія компаніи съ какимъ-либо отдѣльнымъ союзомъ, разсматривать ихъ и, въ случаѣ признанія требованія такого союза правильнымъ, поддерживать его всей федераціей. Были выработаны особыя правила, точно и ясно опредѣляющія какъ функціи такого комитета, такъ и тѣ случаи, которые подлежали его вѣденію,—и хотя проектъ такихъ частныхъ федерацій и встрѣтилъ сначала горячую оппозицію, онъ былъ таки принятъ значительнымъ большинствомъ, и въ теченіе 1893 года было уже нѣсколько случаевъ, когда вмѣшательство вновь учрежденныхъ комитетовъ оказалось чрезвычайно благодѣтельнымъ для обѣихъ споривших сторонъ. Первые опыты оказались очень удачными, и не подлежитъ сомнѣнію, что съ теченіемъ времени недостатки первой программы сгладятся и частныя федераціи получатъ огромное значеніе. Американскіе желѣзно-дорожные служащіе —обыкновенные люди, и, какъ люди вообще, нерѣдко страдаютъ завистью, упрямствомъ, духомъ господства; при организаціи каждой такой отдѣльной федераціи, сплачивающей воедино всѣхъ служащихъ извѣстной дороги, неизбѣжно являются личныя претензіи, личныя побужденія: одинъ союзъ требуетъ большихъ правъ и большаго представительства, смотря по своей силѣ и численности; другой—придаетъ именно своей отрасли дѣятельности особенное значеніе; третій—предъявляетъ какія-нибудь исключительныя требованія въ свою пользу и т. д. Нужно время, а главное, опытъ, для того, чтобы согласить всѣ эти разнообразныя требованія, чтобы указать ихъ дѣйствительное значеніе и выработать нѣчто такое, что соотвѣтствовало бы существеннымъ потребностямъ союзовъ,—и нѣтъ сомнѣнія, что столь обычные американскому народу вообще здравый смыслъ и духъ компромисса сдѣлаютъ со временемъ свое дѣло и придадутъ желѣзно-дорожнымъ союзамъ, посредствомъ отдѣльныхъ федерацій, новую силу и новое значеніе.

Братство желѣзно-дорожной поѣздной прислуги составило чрезвычайно интересную книгу, изданную на его счетъ, дающую условія вознагражденія желѣзно-дорожныхъ служащихъ всѣхъ болѣе

или менѣе значительныхъ желѣзныхъ дорогъ Соединенныхъ Штатовъ, и тѣ соглашенія, которыя существуютъ на многихъ изъ нихъ между управляющими и союзами,—соглашенія, имѣющія обязательную силу для обѣихъ сторонъ на извѣстный срокъ. Ничто болѣе этихъ соглашеній не можетъ дать понятія о томъ значеніи, которое уже успѣли пріобрѣсти желѣзнодорожные союзы рабочихъ, и о томъ положеніи, которое они занимаютъ въ дѣлѣ управленія дорогами вообще. Многіе изъ нихъ составляютъ контракты между всѣми служащими дороги и ея администраціей,—контракты, не только обезпечивающіе служащихъ отъ фаворитизма и личныхъ симпатій или антипатій управляющихъ, но и точно и ясно опредѣляющіе ихъ взаимныя отношенія и функціи. Управляющій не имѣетъ права ни наложить взысканія, ни разсчитать ни одного служащаго безъ выслушанія съ его стороны дѣла, и, въ случаѣ несогласія, служащій имѣетъ право жаловаться высшей инстанціи, а въ случаѣ оправданія—получаетъ плату сполна за все потерянное время. Соглашенія эти выработываются выборными представителями союзовъ и администраціей дороги, представляютъ собою очень длинные документы, подписываются обѣими сторонами и признаются федеральными и штатными судами за безспорные документы.

Жалованье желѣзно-дорожныхъ служащихъ очень разнообразно, смотря по мѣстнымъ условіямъ и продолжительности рабочаго дня. Кондукторы получаютъ до 150 долларовъ въ мѣсяцъ; тормазные до 80; стрѣлочники и прислуга на большихъ станціяхъ до 75; машинисты до 150, и кочегары обыкновенно $^2/_3$ жалованья машинистовъ. Ночная работа оплачивается выше дневной; форменная одежда и всѣ необходимыя принадлежности снабжаются компаніями безплатно. Въ дѣлѣ повышеній соблюдается старшинство службы и личныя способности; въ случаѣ вакансіи нельзя взять новаго человѣка со стороны, если есть желающіе занять мѣсто между старыми служащими, имѣющими на него право.

Соглашенія эти свято соблюдаются на практикѣ, и обѣ стороны строго слѣдятъ за этимъ. Желѣзно-дорожныя администраціи не разъ публично выражали свое уваженіе къ тому безпристрастію, съ которымъ относятся союзы къ этимъ соглашеніямъ—намъ неизвѣстно ни одного случая, когда бы союзъ проявилъ стремленіе выгородить дѣйствительно заслужившаго взысканіе или разсчета сочлена. Пьянство не выносится совсѣмъ—пьяный желѣзнодорожникъ какого-либо разряда совершенно невозможенъ въ сѣверо-американскихъ Соединенныхъ-Штатахъ, и всѣ желѣзно-дорожные союзы немедленно и навсегда исключаютъ изъ своей среды вся-

каго попавшагося въ пьянствѣ члена. Абсолютная трезвость считается необходимой для желѣзно-дорожной профессіи вообще.

V.

Братства локомотивныхъ машинистовъ и кочегаровъ.

Вѣроятно, нѣтъ на земномъ шарѣ занятія, болѣе опаснаго и въ то же время столь требующаго извѣстной выдержки характера, какъ занятіе локомотивнаго машиниста въ сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Только весьма немногія, сравнительно, желѣзныя дороги сѣверо-востока союза выстроены прочно, поддерживаются, относительно, въ отличномъ состояніи и снабжены всѣми современными приспособленіями для огражденія безопасности поѣздовъ; всѣ дороги юга и въ особенности сѣверо-запада и запада проходятъ по мало населеннымъ мѣстностямъ, нерѣдко даютъ чистый убытокъ владѣльцамъ, а потому, и по конструкціи, и по условіямъ эксплуатаціи, обыкновенно далеко не совершенны и принуждены нерѣдко экономизировать въ ущербъ безопасности. Локомотивный машинистъ часто спасаетъ и свою собственную жизнь, и жизнь сотенъ пассажировъ, только благодаря вѣрности взгляда, хладнокровію и умѣнью справляться съ обстоятельствами. Разъ онъ сѣлъ въ свой кэбъ и взялся за свои рычаги—онъ весь обращается въ сосредоточенное вниманіе; всѣ его нервы возбуждены до крайности, его глаза направлены въ одно направленіе, вся его фигура указываетъ на чрезвычайное напряженіе всей его нравственной и физической системы. Промахъ и ошибки въ локомотивномъ кэбѣ не только обходятся дорого вообще, во всѣхъ отношеніяхъ, но и обыкновенно стоютъ машинисту его собственной жизни. Благодаря всему этому, братство локомотивныхъ машинистовъ является по своему составу однимъ изъ самыхъ исключительныхъ, однимъ изъ самыхъ требовательныхъ ремесленныхъ союзовъ во всемъ мірѣ. Оно было впервые организовано въ 1863 году, существуетъ, слѣдовательно, уже тридцать лѣтъ, и его конституція, въ своемъ предисловіи, ставитъ главными цѣлями: болѣе дѣятельное общеніе локомотивныхъ машинистовъ, возвышеніе ихъ умственнаго и нравственнаго уровня и пріобрѣтеніе болѣе высшаго значенія ихъ занятію. Братство требуетъ отъ желающихъ вступить въ члены извѣстнаго образовательнаго ценза, абсолютной трезвости, всесторонняго знанія своего дѣла и безупречнаго личнаго характера. Ни одинъ ремес-

ленный союзъ не относится такъ строго къ своимъ членамъ, ни одинъ не слѣдитъ за ними такъ тщательно, какъ это братство. Извѣстны случаи исключенія изъ-за неточности, изъ-за умышленной недомолвки въ донесеніи администраціи дороги объ извѣстномъ происшествіи, объ извѣстномъ несчастномъ случаѣ. Эта строгость, это серьезное отношеніе къ своимъ обязанностямъ, извѣстны всему американскому народу, и принадлежность человѣка къ братству локомотивныхъ машинистовъ сама по себѣ даетъ ему извѣстное положеніе въ обществѣ.

Конституція братства существенно отличается отъ другихъ ей подобныхъ тѣмъ, что въ ней предусмотрѣны только мирные методы рѣшенія несогласій союзовъ съ желѣзно-дорожными компаніями; даже самое слово стачка ни разу въ ней не упоминается. Локомотивные машинисты полагаютъ, что, при исключительности и высокомъ нравственномъ характерѣ ихъ состава, они могутъ предоставить вопросъ о необходимости крутыхъ мѣръ мудрости своихъ выборныхъ вожаковъ, безъ стѣсненія ихъ напередъ разными условіями. Они дѣйствовали и дѣйствуютъ въ этомъ направленіи совершенно противоположно братству желѣзно-дорожной поѣздной прислуги, точно и ясно опредѣлившему эти условія и строго ихъ придерживающемуся; и въ этомъ-то существенномъ разногласіи и заключалась одна изъ главныхъ причинъ того, что только въ 1893 году удалось достичь возможности организаціи отдѣльныхъ федерацій, о которыхъ мы говорили подробно въ предъидущей главѣ. Такъ какъ братство желѣзно-дорожной поѣздной прислуги имѣетъ чрезвычайно пестрый личный составъ и единственнымъ условіемъ принятія въ члены ставитъ принадлежность человѣка къ профессіи,—должность тормазныхъ, составляющихъ громадное большинство членовъ этого братства, считается самой низшей ступенью лѣстницы желѣзно-дорожнаго состава, оплачивается сравнительно плохо, не требуетъ никакихъ особенныхъ познаній и пополняется безъ особеннаго разбора,—то само собой разумѣется, что отъ него и не ожидается того осторожно-серьезнаго отношенія къ дѣлу, которымъ всегда отличались локомотивные машинисты съ самаго дня основанія ихъ братства. Они боятся, что федераціи могутъ вовлечь ихъ въ борьбу безъ необходимости, только благодаря безтактности или отсутствію выдержки другихъ союзовъ; и только личному вліянію Вилькинсона и можно приписать состоявшееся соглашеніе. Члены братства платятъ два доллара въ годъ каждый на издержки центральной администраціи, за что получаютъ безплатно мѣстный журналъ (Journal of the Brotherhood of Locomotive Engineers), очень

почтенное спеціальное изданіе значительнаго размѣра. Расходы на мѣстные союзы различны, смотря по числу членовъ и мѣстнымъ условіямъ; въ среднемъ, локомотивные машинисты платятъ около $ 28^{00}$ въ годъ каждый, включая всѣ расходы, въ томъ числѣ и поддержаніе взаимной ассоціаціи застрахованія жизни, основанной еще въ 1867 году, но до 1892 года принадлежность къ ней не была обязательна для членовъ; до этого года изъ 33.000 членовъ только около 14.500 принадлежали къ ней. Общая конвенція этого года постановила сдѣлать принадлежность къ ассоціаціи каждаго члена братства обязательной, причемъ установлено три размѣра застрахованія въ 1.500, въ 3.000 и въ 4.500 долларовъ. За послѣднія пять лѣтъ братство уплатило по 896 случаямъ отъ естественной смерти и по 521 случаю смерти и абсолютныхъ увѣчій отъ несчастій во время отправленія обязанностей службы. Со времени основанія братства всего выплачена по страховому отдѣлу громадная сумма въ $ 3.778.169.61, и доходъ центральной администраціи братства достигъ $ 118.663.70 въ годъ.

Братство локомотивныхъ кочегаровъ было основано въ 1873 г. и съ самаго начала выдалось впередъ по своимъ дѣловымъ методамъ и замѣчательному порядку и систематичности своего дѣлопроизводства, а главное, денежной отчетности. Его методы и основанія послужили моделью для многихъ позднѣйшихъ ремесленныхъ союзовъ, и доброе вліяніе его выборныхъ чиновъ чувствовалось и въ общихъ конвенціяхъ американской федераціи труда, и во многихъ отдѣльныхъ случаяхъ столкновеній капитала съ организованнымъ трудомъ. Предисловіе къ конституціи братства очень характерно, и мы приведемъ его цѣликомъ: „Съ цѣлью соединенія локомотивныхъ кочегаровъ и возвышенія ихъ общественнаго, нравственнаго и умственнаго уровня, для защиты ихъ интересовъ и для увеличенія ихъ общаго благоденствія, организуется братство локомотивныхъ кочегаровъ. Такъ какъ интересы его членовъ и ихъ нанимателей одинаковы, мы сознаемъ необходимость кооперація, и главной задачей братства признается сохраненіе и упроченіе дружественныхъ отношеній между ними, основанныхъ на духѣ взаимной справедливости. Сознавая тотъ фактъ, что наше занятіе сопряжено съ безпрестанной опасностью для жизни, и что нашимъ первымъ долгомъ является забота о самихъ себѣ и нашихъ семействахъ, въ виду возможности несчастія каждый день нашей службы,—необходимость защиты нашихъ интересовъ, какъ кочегаровъ, взаимной самопомощи, трезвости, трудолюбія и честности является очевидной, и потому братство признаетъ сво-

имъ основнымъ принципомъ—motto: защита, благотворительность, трезвость и трудолюбіе".

Конституція братства заключаетъ въ себѣ чрезвычайно обстоятельныя правила относительно недоразумѣній съ желѣзно-дорожными компаніями и допускаетъ стачку только въ крайнемъ случаѣ, не иначе какъ съ разрѣшенія исполнительныхъ чиновъ центральной администраціи. Оставившій свою работу безъ разрѣшенія членъ или объявившій безъ соблюденія установленныхъ правилъ стачку мѣстный союзъ немедленно исключается изъ братства. Зато, въ случаѣ разрѣшенія, всѣ члены, участвующіе въ стачкѣ союза, получаютъ по $ 40 въ мѣсяцъ на свое содержаніе въ теченіе всей стачки, и на такой случай всѣ члены обязаны вносить ежегодно по $ 3^{00} въ особый фондъ, достигшій въ 1892 году значительной суммы въ $ 70.000^{00}. Братство издаетъ особый спеціальный журналъ, разсылаемый членамъ безплатно и стоившій въ 1892 году свыше $ 22.000^{00}. Жизнь всякаго члена обязательно застрахована въ $ 1.500^{00}; доходы центральной администраціи, гораздо болѣе централизованной, чѣмъ, напримѣръ, у машинистовъ, дошли въ 1892 г. до $ 450.000^{00}, и братствомъ выплачено со времени основанія до 1 января 1893 г. всего $ 2.273.671.25 по отдѣлу страхованія и $ 484.615.65 по отдѣлу стачекъ.

VI.

Интернаціональный типографскій союзъ Сѣверной Америки.

Ни одно ремесло не пострадало такъ существенно въ теченіе послѣдняго десятилѣтія отъ изобрѣтенія и введенія новыхъ машинъ, какъ ремесло наборщиковъ и печатниковъ. Перемѣна ручныхъ печатныхъ станковъ на паровые и ихъ постепенное усовершенствованіе настолько уэкономили человѣческій трудъ въ печатномъ дѣлѣ, что тысячи людей остались безъ работы, а недавнее изобрѣтеніе такъ-называемыхъ линотипныхъ станковъ, печатающихъ 24.000 экземпляровъ въ восемь страницъ большого формата въ какой-нибудь часъ, опять урѣзало человѣческій трудъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, на цѣлыя двѣ трети. Стереотипное печатаніе доведено до такого совершенства и дешевизны, что сдѣлалось не только возможнымъ, но и выгоднымъ даже при небольшомъ, сравнительно, числѣ экземпляровъ; электротипія, печатаніе прессами и многія другія усовершенствованія въ томъ же родѣ опять-таки значительно урѣзали требованіе на человѣческій

трудъ, а изобрѣтенныя недавно наборныя машины, чрезвычайно быстро, по мѣрѣ удешевленія захватывающія все большее и большее поле дѣятельности, вытѣсняютъ тысячи наборщиковъ и оставляютъ ихъ безъ работы. Въ своей борьбѣ съ этими благами современной цивилизаціи, мѣстные союзы наборщиковъ и печатниковъ уже въ 1851 году соединились въ одно цѣлое, и въ настоящее время ихъ союзъ считается однимъ изъ самыхъ старыхъ и самыхъ сильныхъ организацій Америки. Онъ объединяетъ наборщиковъ, печатниковъ, стереотипниковъ и электротипниковъ, переплетчиковъ, словолитчиковъ, газетныхъ репортеровъ и нѣсколько другихъ однородныхъ занятій; интересы нѣкоторыхъ изъ этихъ спеціальностей, повидимому совершенно одинаковые въ сущности, —въ практическомъ приложеніи нерѣдко не только различествуютъ между собою, но и противоположны, а потому почти съ самаго основанія общаго союза въ немъ, къ сожалѣнію, постоянно происходили болѣе или менѣе значительные внутренніе раздоры и несогласія, а нѣсколько лѣтъ тому назадъ произошелъ и положительный расколъ, причемъ около пятнадцати мѣстныхъ союзовъ печатниковъ отдѣлились и организовали особый „Интернаціональный союзъ печатниковъ“ (International Union of pressmen). Само собой разумѣется, что подобная рознь въ такомъ строгомъ и широко извѣстномъ союзѣ чрезвычайно пагубно дѣйствуетъ на дѣло ремесленныхъ союзовъ вообще; обыкновенная публика имѣетъ поводы думать, что если рабочіе одной и той же профессіи не могутъ поладить между собой по поводу своихъ собственныхъ, такъ сказать, домашнихъ дѣлъ,—нельзя ожидать отъ нихъ спокойнаго, разумнаго отношенія и къ ихъ нанимателямъ, а потому ежегодныя общія конвенціи враждующихъ организацій стремятся къ тому, чтобы посредствомъ компромиссовъ придти къ соглашенію и опять соединиться; но и до настоящей минуты это еще не удалось, такъ какъ отдѣлившаяся фракція быстро крѣпнетъ, а старый союзъ не желаетъ поступиться нѣкоторыми пунктами, въ особенности могущими дать раскольникамъ рѣшающее вліяніе въ его собственныхъ дѣлахъ—въ случаѣ объединенія.

Печатное дѣло, частію благодаря быстро слѣдующимъ одно за другимъ нововведеніямъ и изобрѣтеніямъ, а частію вообще сложности и возможности самыхъ разнообразныхъ методовъ въ самомъ дѣлѣ, представляетъ собою одно изъ тѣхъ немногихъ ремеслъ, которыя въ обыденной жизни даютъ наибольшее количество поводовъ къ недоразумѣніямъ и столкновеніямъ между нанимателями и рабочими; а потому и неудивительно, что типографскому союзу приходится чаще другихъ прибѣгать къ откры-

той борьбѣ съ капиталомъ. Конституція союза, признавая стачки вообще вредными для благосостоянія союза, тѣмъ не менѣе санкціонируетъ ихъ въ извѣстныхъ случаяхъ и обставляетъ ихъ законность строгими правилами. Мѣстный союзъ не имѣетъ права объявить стачки или бойкота безъ изслѣдованія дѣла на мѣстѣ членами центральной администраціи союза и послѣдующаго за такимъ изслѣдованіемъ разрѣшенія интернаціональнаго исполнительнаго комитета. Только при исполненіи всѣхъ требуемыхъ конституціей формальностей мѣстный союзъ можетъ разсчитывать на нравственную и финансовую помощь общей организаціи. Стачки типографскаго союза сравнительно весьма многочисленны, и изслѣдованіе ихъ причинъ доказываетъ, что онѣ преимущественно происходили по двумъ допускаемымъ конституціей пунктамъ, а именно: 1) для сопротивленія посягательствамъ на права рабочаго эгоистично-пристрастными людьми, слишкомъ сильными для того, чтобы мѣстные союзы могли съ ними справиться безъ посторонней помощи; 2) для усиленія и защиты принциповъ организованнаго труда въ печатномъ дѣлѣ. Нужно замѣтить, что типографскій союзъ раньше всѣхъ другихъ созналъ необходимость принципіальной борьбы въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Если хозяинъ типографіи нерасположенъ къ организованному труду вообще, и хотя, можетъ быть, и не существуетъ въ данный моментъ никакихъ существенныхъ разногласій между нимъ и его рабочими, тѣмъ не менѣе, одинъ неосторожный шагъ съ его стороны, даже, можетъ быть, неумышленный, можетъ вызвать стачку. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ такимъ хозяевамъ прямо ставили условіемъ sine qua non, чтобы онъ обязался не нанимать никакого труда, кромѣ союзнаго, и отказы неизмѣнно вызывали упорныя, продолжительныя стачки, иногда кончавшіяся побѣдой, иногда пораженіемъ. Дѣло въ томъ, что въ настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ, за исключеніемъ весьма немногихъ ремеслъ, въ родѣ сталелитейнаго и стекольнаго, сконцентрированныхъ въ извѣстныхъ мѣстностяхъ и легко контролируемыхъ ихъ союзами, только извѣстная часть рабочихъ принадлежитъ къ рабочимъ союзамъ. Значительная ихъ часть, по нѣкоторымъ ремесламъ болѣе половины, даже до двухъ третей, все еще изолирована и не принадлежитъ къ организаціямъ. Эти-то самостоятельные рабочіе, scabs, какъ прозвали ихъ принадлежащіе къ союзамъ, нерѣдко помогаютъ капиталу и нанимателямъ, и они-то и составляютъ самый серьезный элементъ борьбы. Если въ извѣстномъ городѣ или мѣстности ихъ много, союзамъ трудно съ ними справляться, а противящіеся организованному труду наниматели, само собой разумѣется,

всячески имъ покровительствуютъ, удерживаютъ ихъ отъ присоединенія къ союзамъ иногда даже денежной поддержкой, и на нихъ-то и основываютъ свои шансы въ борьбѣ съ союзами. Нѣкоторые наниматели прямо отказываются давать работу принадлежащимъ къ какой бы то ни было организаціи рабочимъ, и разъ одинъ изъ ихъ служащихъ вступаетъ въ такой союзъ, немедленно ему отказываютъ безъ всякихъ другихъ причинъ. Этотъ антагонизмъ особенно силенъ именно въ типографскомъ дѣлѣ, такъ какъ съ нимъ обыкновенно связано въ Америкѣ и газетное дѣло, а стачки, въ особенности неожиданныя, въ этомъ послѣднемъ особенно неудобны и разорительны для хозяевъ, такъ какъ ничто болѣе не можетъ повредить репутаціи изданія, особенно ежедневнаго, какъ неисправность выхода въ свѣтъ; задержка, даже только на одинъ часъ, часто имѣетъ самыя серьезныя послѣдствія для издателя. Поэтому всѣ газетныя конторы въ Америкѣ раздѣляются на союзныя (union offices), то-есть употребляющія только принадлежащій къ союзамъ трудъ, и на несоюзныя, довольствующіяся вольными рабочими. Типографскій союзъ, также какъ и братство желѣзно-дорожной поѣздной прислуги, давно уже ввелъ извѣстную таксу на работу своихъ членовъ, сообразно съ мѣстными условіями и, главное, съ совершенствомъ употребляемыхъ извѣстнымъ учрежденіемъ машинъ. Работа наборщиковъ и печатниковъ, въ большинствѣ случаевъ, поштучная, и таксы эти постоянно пересматриваются и передѣлываются, по мѣрѣ того, какъ совершенствуется печатное дѣло и измѣняются потребныя на извѣстную работу время и ловкость рабочаго. Союзы вступаютъ въ письменное соглашеніе съ нанимателями на основаніи этихъ таксъ и правилъ, на опредѣленное впередъ время; такимъ образомъ, союзныя типографіи, пользуясь преимуществомъ заранѣе опредѣленныхъ расходовъ, въ то же время теряютъ возможность пользоваться обстоятельствами и экономить на трудѣ; несоюзныя сохраняютъ полную свободу, зато больше подвержены случайностямъ и, въ случаяхъ присоединенія ихъ рабочихъ къ союзамъ, бываютъ нерѣдко поставлены въ очень невыгодное положеніе. Необходимо при этомъ отдать полную справедливость типографскому союзу; до сихъ поръ онъ всегда строго исполнялъ свои соглашенія, и было не мало случаевъ, когда центральная администрація заставляла мѣстные союзы возвращать излишнія заработныя деньги или платиться за неточное выполненіе писанныхъ контрактовъ.

Какъ мы уже замѣтили выше, типографскій союзъ проводитъ принципы „юніонизма“ послѣдовательнѣе и настойчивѣе, чѣмъ дру-

гіе ремесленные союзы Америки. Онъ рѣдко увлекается непосредственными, прямыми выгодами и никогда не соглашается на нихъ въ ущербъ принципу юніонизма. Въ теченіе слишкомъ сорока лѣтъ своего существованія типографскій союзъ принесъ организованному труду въ странѣ вообще огромную пользу, употребивъ на его поддержаніе и усиленіе и массу энергіи, и значительныя денежныя средства. Онъ поддерживаетъ особыхъ организаторовъ, щедро оплачиваемыхъ изъ общаго фонда, постоянно путешествующихъ по своимъ округамъ, поддерживающихъ существующіе союзы, улаживающихъ недоразумѣнія, а, главное, пропагандирующихъ принципы юніонизма, вербующихъ новыхъ членовъ и организующихъ новые союзы. Округъ этихъ организаторовъ постоянно уменьшается, и послѣдняя общая конвенція 1893 года увеличила ихъ число до 16; число членовъ союзовъ и новыхъ союзовъ ростетъ съ каждымъ годомъ, и, несмотря на нѣкоторые внутренніе раздоры, о которыхъ упоминалось выше, типографскій союзъ несомнѣнно является однимъ изъ самыхъ солидныхъ, самыхъ серьезныхъ ремесленныхъ союзовъ Америки.

По мысли издателя филадельфійской газеты „The Ledger", Чайдльса, и при помощи пожертвованнаго имъ и извѣстнымъ банкиромъ Дрекселемъ, теперь уже покойнымъ, капитала, типографскій союзъ былъ первымъ рабочимъ союзомъ Америки, учредившимъ и открывшимъ особый домъ для призрѣнія престарѣлыхъ и излеченія больныхъ своихъ членовъ. Извѣстно, что типографское дѣло вообще чрезвычайно разрушительно дѣйствуетъ на легкія; статистика смертныхъ случаевъ въ средѣ союза за много лѣтъ указываетъ, что свыше 50% естественной смертности происходитъ отъ легочныхъ болѣзней. Поэтому мѣстомъ для дома была выбрана особенно здоровая для легочныхъ болѣзней мѣстность въ штатѣ Колорадо, близъ города Колорадо-Спрингсъ, на высотѣ около 6.000 футовъ надъ поверхностью моря, съ чрезвычайно сухимъ климатомъ. Домъ этотъ устроенъ на семьдесятъ человѣкъ; содержаніе его обходится союзу около тридцати тысячъ долларовъ въ годъ, и его успѣхъ несомнѣнно вызываетъ подражанія и даетъ дѣятельности рабочихъ союзовъ новую сторону, чрезвычайно симпатичную и, конечно, вліяющую самымъ существеннымъ образомъ на лучшія стороны человѣческой натуры вообще.

Доходы центральной организаціи типографскаго союза состоятъ изъ мѣсячныхъ взносовъ всѣхъ членовъ, дошедшихъ въ 1892 г. до двадцати-пяти центовъ въ мѣсяцъ, т.-е. до трехъ долларовъ въ годъ, изъ доходовъ съ новыхъ хартій и изъ спеціальныхъ

раскладокъ, и въ 1892 году достигли $ 120.000. Изъ этой суммы 20% идетъ на издержки центральной администраціи и на изданіе выходящаго два раза въ мѣсяцъ „Типографскаго Журнала"; 30%—на расходы по стачкамъ; 30%—на погребальный фондъ, и 20%—на поддержаніе вышеописаннаго дома призрѣнія. На стачки въ 1892 году было издержано слишкомъ $ 50.000^{00}; если, при объявленіи стачки, соблюдены всѣ требованія и правила, участвующіе въ ней получаютъ изъ этого фонда по $ 7^{00} въ недѣлю на семейныхъ и по $ 5^{00} на холостыхъ членовъ. Погребальный фондъ уплачиваетъ $ 50^{00} на похороны каждаго умершаго члена. Интернаціональный типографскій союзъ не страхуетъ жизни или здоровья своихъ членовъ. Это предоставлено мѣстнымъ союзамъ. Большинство ихъ страхуетъ и то и другое; но условія и цифры очень разнообразны. Издержки членовъ на мѣстные союзы достигаютъ $ 12^{00} въ годъ, такъ что союзному печатнику приходится платить около $ 15^{00} въ годъ за право принадлежности къ союзу.

Для удобства контроля надъ своими членами и возможности вспомоществованія имъ во время путешествія и передвиженія, типографскій союзъ ввелъ карточную систему, принятую и практикуемую и многими другими рабочими союзами Америки. Наборщики и печатники не скучены, подобно стекольщикамъ или рудокопамъ, въ извѣстныхъ округахъ, а, подобно плотникамъ и машинистамъ, постоянно передвигаются съ мѣста на мѣсто. Въ Соединенныхъ Штатахъ нѣтъ города, нѣтъ деревушки, гдѣ бы не было одной или нѣсколькихъ типографій, и потому члены типографскаго союза распространены по всей территоріи Штатовъ. Уѣзжая изъ одного мѣста, членъ союза получаетъ отъ мѣстнаго союза карточку, на которой прописано его имя, нумеръ и названіе союза, и которая подписана президентомъ и секретаремъ мѣстной администраціи, съ приложеніемъ печатей мѣстнаго и интернаціональнаго союзовъ. Такая карточка служитъ доказательствомъ принадлежности члена къ союзу и его право на защиту и помощь союза по всей Америкѣ. Разъ онъ основывается въ новомъ мѣстѣ—карточка отбирается отъ него мѣстнымъ союзомъ, и онъ становится его членомъ безъ всякихъ дальнѣйшихъ формальностей и уплачиваетъ слѣдующіе съ него взносы уже этому новому союзу. Какъ мы уже не разъ имѣли случай упоминать, рабочіе союзы Америки вообще чрезвычайно требовательны къ своимъ членамъ, и пьянство, неблаговидныя продѣлки, недобросовѣстная работа, безразличное отношеніе къ отправленію принятыхъ на себя обязанностей, разъ они дока-

заны, неизмѣнно ведутъ къ исключенію. Такому исключенному члену невозможно опять попасть въ союзъ. Его имя печатается въ журналѣ союза, и онъ навсегда теряетъ всѣ свои права. Рабочіе союзы чрезвычайно чувствительны относительно репутаціи своихъ членовъ, и ихъ правила въ этомъ отношеніи гораздо строже правилъ, обыкновенно дѣйствующихъ на большихъ заводахъ и фабрикахъ и установляемыхъ самими нанимателями,—и такая строгость вполнѣ естественна, такъ какъ самымъ существеннымъ аргументомъ рабочихъ союзовъ въ пользу организованнаго труда является именно контроль ихъ надъ своими членами и, такимъ образомъ, извѣстная нравственная гарантія благонадежности и умѣлости ихъ членовъ, какъ неоспоримыя преимущества противъ вольныхъ рабочихъ.

Стремленіе къ дальнѣйшему объединенію, выразившееся въ желѣзно-дорожныхъ рабочихъ союзахъ организаціей отдѣльныхъ федерацій, не обошло и типографскаго союза. Помимо печатниковъ и наборщиковъ, въ каждой типографіи работаютъ машинисты, наблюдающіе и исправляющіе машины и завѣдующіе паровой или электрической силой, приводящей типографію въ движеніе. Эти машинисты организованы въ особые союзы, и въ теченіе 1892 г. нѣсколько стачекъ были проиграны наборщиками, потому что эти машинисты отказались ихъ поддерживать. Послѣдняя общая конвенція типографскаго союза, принимая эти факты въ соображеніе, вступила въ переговоры съ машинистами, которые и согласились на федерацію, поставивъ однако нѣкоторыя условія; одно изъ нихъ, самое существенное, заключалось въ томъ, что типографскій союзъ откажется работать на машинахъ, сдѣланныхъ въ „несоюзныхъ“ мастерскихъ, то-есть, въ сущности, объявитъ бойкотъ противъ такихъ машинъ. Это условіе вызвало необходимость болѣе подробнаго ознакомленія администраціи типографскаго союза съ машиннымъ дѣломъ и методами машиннаго союза; переговоры продолжаются, и оба союза надѣются, что ко времени открытія ихъ будущихъ общихъ конвенцій 1894 года исполнительнымъ совѣтамъ удастся придти къ удовлетворительному соглашенію и создать другую федерацію, которая совершенно объединитъ весь рабочій составъ типографій.

Другимъ шагомъ къ объединенію служитъ присоединеніе къ интернаціональному типографскому союзу бывшаго до сихъ поръ самостоятельнымъ союза нѣмецко-американскихъ печатниковъ (Deutsch-Amerikanischen Typographia). Организація эта состояла изъ 22 мѣстныхъ союзовъ съ 1.350 членами и дѣйствовала въ городахъ Нью-Іоркѣ и Чикаго, въ нѣмецкихъ мѣстностяхъ шта-

товъ Висконсина и Миннесоты. Соглашеніе состоялось на базисѣ предоставленія нѣмцамъ третьяго вице-президента союза, полной автономіи ихъ мѣстныхъ союзовъ и согласованія ихъ уставовъ и конституцій съ общей конституціей интернаціональнаго типографскаго союза по тѣмъ пунктамъ, гдѣ они другъ другу противорѣчили. Нѣмцы уже успѣли добиться восьмичасового рабочаго дня для своихъ членовъ, тогда какъ американскіе печатники и наборщики вообще работаютъ десять часовъ, такъ какъ, занятые преимущественно проведеніемъ принциповъ юніонизма, они до сихъ поръ мало обращали вниманія на вопросъ объ укороченіи рабочаго дня. Нѣмцы платятъ своимъ членамъ изъ похороннаго фонда отъ $ 50^{00}$ до 200^{00}, смотря по продолжительности времени принадлежности члена къ союзу; страхуютъ его здоровье, выплачивая по шести долларовъ въ недѣлю въ случаѣ болѣзни, и выдаютъ пособіе участвующимъ въ законной стачкѣ по семи долларовъ въ недѣлю. Если членъ, по случаю застоя дѣла, не можетъ достать работы, ему выдаютъ по шести долларовъ въ недѣлю; но подобное пособіе не можетъ превысить $ 30^{00} за одинъ разъ и $ 80^{00} въ теченіе одного года. Кромѣ того, въ случаѣ необходимости путешествія для члена по невозможности добыть работу въ извѣстномъ мѣстѣ, выдаютъ пособіе на путевыя издержки не выше двадцати долларовъ за разъ. Расходы нѣмцевъ въ теченіи 1892 года доходили до $ 22.36 на каждаго члена въ годъ.

VII.

Союзъ чугунолитейщиковъ Сѣверной Америки.

Этотъ союзъ былъ основанъ въ 1863 году Вильямомъ Сильвисомъ (William H. Sylvis), въ теченіе первыхъ шести лѣтъ его существованія бывшимъ безсмѣннымъ президентомъ союза, умершимъ исправляя эту должность и сдѣлавшимъ своей энергіей и беззавѣтной преданностью дѣлу организованнаго труда въ Америкѣ, можетъ быть, больше пользы, чѣмъ какая-либо другая отдѣльная личность. Зато чугунолитейщики почтили его память первымъ монументомъ, воздвигнутымъ организованнымъ трудомъ въ честь его дѣятелей; великолѣпный гранитный монументъ, воздвигнутый на его могилѣ въ Филадельфіи, былъ открытъ въ 1887 г., будучи сполна оплаченъ ежемѣсячными взносами основаннаго имъ союза. Съ самаго основанія своего союза чугунолитейщики обратили почти исключительное вниманіе на распро-

страненіе и признаніе принциповъ юніонизма; исторія ихъ борьбы съ нанимателями съ начала до конца полна эпизодами исключительно принципіальнаго характера. Ихъ конституція своимъ предисловіемъ даетъ весьма пространную и обстоятельную декларацію правъ рабочаго, составляя въ этомъ отношеніи выдающееся исключеніе изъ общаго характера конституціи рабочихъ союзовъ Америки, всегда краткихъ и немногословныхъ. Добиваясь этихъ правъ, добиваясь признанія авторитета союзовъ, чугунолитейщики ушли даже гораздо дальше союза наборщиковъ и печатниковъ. Во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ мѣстныя условія способствуютъ развитію чугунолитейнаго дѣла, и гдѣ, поэтому, сконцентрированы самыя значительныя заведенія этого рода въ странѣ, организація чугунолитейщиковъ чрезвычайно прочна, и ихъ требованія нанимателямъ всегда заключали въ себѣ, прежде всего, признаніе принципа юніонизма и предоставленіе ихъ союзамъ извѣстной доли авторитета въ дѣлѣ. Вкратцѣ они аргументируютъ слѣдующимъ образомъ: „То время, когда человѣкъ работалъ исключительно на самого себя, не дѣлясь ни съ кѣмъ продуктами своего труда, и работалъ своими собственными орудіями, прошло безвозвратно, благодаря, во-первыхъ, рабству среднихъ вѣковъ, во-вторыхъ—появленію новаго фактора —капитала, въ-третьихъ — изобрѣтеніямъ, сдѣлавшимъ работу собственными орудіями невозможною. Въ наше время рабочій принужденъ дѣлиться плодами своего труда съ хозяевами этихъ новыхъ орудій и капитала. Въ этомъ дѣлежѣ до сихъ поръ ему принадлежало только то, что эти хозяева заблагоразсуживали ему дать, для того, чтобы онъ имѣлъ возможность держать душу въ тѣлѣ. Такой насильственный дѣлежъ, такой захватъ хозяевами всегда и вездѣ львиной доли не долженъ продолжаться. Разъ, благодаря совокупности всѣхъ современныхъ политическихъ и экономическихъ условій, дѣлежъ неизбѣженъ, голосъ рабочаго долженъ быть принятъ въ соображеніе; онъ долженъ быть выслушанъ, и дѣлежъ этотъ не можетъ происходить долѣе безъ его собственнаго согласія относительно его части. Если хозяева, благодаря неразумной конкурренціи и перепроизводству, спускаютъ цѣну на свои изданія, для чего понижаютъ заработную плату своихъ рабочихъ, они дѣлаютъ это, не спрашивая ихъ согласія, и именно этимъ-то и вынуждаютъ ихъ къ насильственному дѣлежу. Они дѣйствуютъ силой, силой капитала и современныхъ условій. Единичный рабочій—ничто: песчинка въ морѣ, меньше песчинки. Онъ не имѣетъ абсолютно никакой возможности бороться съ этой силой. Но если соединеніе капитала и орудій

составляетъ такую силу, соединеніе рабочихъ можетъ воспроизвести таковую же съ своей стороны. Поэтому единственнымъ средствомъ къ борьбѣ является организація единицъ въ одно цѣлое. Зачатки этой организаціи и представляютъ собою современные рабочіе союзы. Поэтому важнѣе и существеннѣе всего остального принципъ юніонизма. Разъ юніонизмъ достигнутъ, все остальное окажется не только легкимъ, но и явится само собой, какъ неизбѣжное послѣдствіе, какъ насильственный дѣлежъ плодовъ труда явился неизбѣжнымъ послѣдствіемъ новыхъ условій. Разъ трудъ добьется того, что его право на голосъ въ этомъ дѣлежѣ будетъ признано, не можетъ уже быть повода къ недоразумѣніямъ—число рабочихъ часовъ, заработная плата, словомъ, всѣ остальные камни преткновенія будутъ смахнуты съ пути, такъ какъ интересы труда и хозяевъ будутъ одинаковы".

Руководствуясь этой программой, союзъ чугунолитейщиковъ упорно и энергично преслѣдовалъ свои цѣли, и къ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ успѣлъ добиться того, что многіе нанимателі признали его требованія вполнѣ и вступили съ мѣстными союзами въ формальныя письменныя соглашенія, по которымъ союзы эти, въ лицѣ особыхъ заводскихъ комитетовъ, получили право на обсужденіе всѣхъ тѣхъ вопросовъ дѣла, съ которыми рабочіе были непосредственно связаны, такъ что ни одно измѣненіе не могло быть сдѣлано безъ ихъ согласія. Само собой разумѣется, что оказались и такіе хозяева, и притомъ значительное большинство, которые и слышать не хотѣли о допущеніи какого-либо вмѣшательства рабочихъ въ ихъ личныя дѣла. Они видѣли вмѣстѣ съ тѣмъ въ требованіяхъ союза чугунолитейщиковъ только наглыя притязанія на частную собственность, и никакъ не могли допустить и мысли о томъ, чтобы кто-либо, а въ особенности ихъ собственные рабочіе, могли имѣть голосъ въ дѣлѣ. Въ теченіе 1886 года между такими заводчиками происходила особенная агитація,—такъ какъ союзъ особенно настаивалъ на своихъ требованіяхъ—и вотъ они, наконецъ, рѣшились бороться средствами самихъ рабочихъ, то-есть объединеніемъ, и образовали нѣсколько ассоціацій съ цѣлью защиты, назвавъ ихъ національными ассоціаціями защиты (напр., Stove founders national defense association); раздѣлившись, сообразно родамъ работы, на печную, машинную и т. д., эти ассоціаціи, между прочими средствами защиты, обязались: въ случаѣ стачки на какомъ-либо заводѣ, помогать ему присылкой рабочихъ, отливкой для него извѣстныхъ частей или же денежной помощью; кромѣ того, въ случаѣ необходимости, согласились закрыть единовременно всѣ свои заводы и такимъ обра-

зомъ голодомъ вынудить рабочихъ къ сдачѣ. Въ апрѣлѣ 1887 года печная ассоціація должна была прибѣгнуть къ этому послѣднему средству; но хотя эта вынужденная стачка (lock out) и стоила рабочимъ, по разсчету, около 125 тысячъ долларовъ, они вышли изъ нея побѣдителями, такъ какъ заводы плохо разсчитали количество имѣвшагося на-лицо товара и должны были пустить свои фабрики въ ходъ раньше, чѣмъ предполагали; союзъ настоялъ на всѣхъ своихъ требованіяхъ и заслужилъ всеобщее одобреніе, такъ какъ, во-первыхъ, не онъ объявилъ стачку, а, во-вторыхъ, всѣ его члены держали себя въ теченіе ея съ замѣчательной выдержкой и достоинствомъ, не позволивъ себѣ ни одного насильственнаго дѣйствія.

Могучимъ орудіемъ въ рукахъ чугунолитейщиковъ оказалось введенное ими обязательное указаніе извѣстной мѣткой, помѣщаемой на видномъ мѣстѣ, всѣхъ продуктовъ „союзныхъ“ фабрикъ. По ихъ слѣдамъ, къ тому же средству прибѣгли и многіе другіе рабочіе союзы; и въ настоящее время ни одинъ принадлежащій къ организованному труду американскій рабочій не купитъ ничего, если не найдетъ на нужной ему вещи мѣтки союза. Всѣ изданія постоянно предупреждаютъ объ этомъ, публикуя въ каждомъ нумерѣ во всеобщее свѣденіе фирмы съ мѣтками и безъ мѣтокъ; мало того, все вліяніе рабочихъ союзовъ обращено противъ этихъ „несоюзныхъ“ товаровъ. По мѣрѣ распространенія организованнаго труда, средство это дѣлается все болѣе и болѣе дѣйствительнымъ; симпатіи публики вообще всегда находятся на сторонѣ слабѣйшаго, въ данномъ случаѣ—рабочаго, и она съ удовольствіемъ исполняетъ его просьбу покупать только товары съ союзной мѣткой.

Доходы союза чугунолитейщиковъ образуются изъ ежемѣсячнаго сбора съ каждаго члена въ сорокъ центовъ. Изъ получаемыхъ такимъ образомъ суммъ 16% идетъ въ страховой сборъ, 26%—на издержки, и 58%—на фондъ стачекъ. Въ случаѣ одобренной центральной администраціей стачки семейные члены получаютъ $ 7^{00}$, холостые—$ 5^{00}$ въ недѣлю. Въ случаѣ увѣчья или смерти выдается единовременно сумма въ $ 100^{00}$. Доходы союза достигли въ 1892 году $ 132.682.55; въ томъ же году на поддержаніе стачекъ было издержано $ 85.192.12.

И чугунолитейщики, какъ и наборщики, не избѣжали раздоровъ въ своей средѣ. Союзъ состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ: печного, машиннаго, мелкой работы и посуднаго. Было не мало случаевъ, когда одинъ отдѣлъ упрекалъ центральную администрацію въ незнаніи деталей и техники отдѣла и потому въ непо-

ниманіи его потребностей. Печной отдѣлъ не разъ уже пытался отдѣлиться и образовать самостоятельный національный союзъ; дважды созывались имъ отдѣльныя конвенціи, но членамъ центральной администраціи удавалось до сихъ поръ предотвратить расколъ. Машинный отдѣлъ уже образовалъ отдѣльный союзъ, правда, не особенно значительный, такъ какъ большинство машинныхъ союзовъ предпочло остаться вѣрнымъ общему союзу чугунолитейщиковъ; тѣмъ не менѣе, расколъ совершился, и трудно предсказать, чѣмъ онъ окончится.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ мѣстные союзы чугунолитейщиковъ въ нѣкоторыхъ штатахъ соединились-было въ штатныя федераціи, думая такимъ образомъ облегчить достиженіе своихъ цѣлей. Но опытъ нѣсколькихъ лѣтъ доказалъ, что, по крайней мѣрѣ, въ чугунолитейномъ дѣлѣ, такое соединеніе не можетъ принести никакихъ существенныхъ результатовъ. Мѣстныя условія чрезвычайно различны, и обобщеніе ихъ не совпадаетъ съ политическими дѣленіями, а ограничивается извѣстными районами, не имѣющими никакого отношенія къ политическимъ границамъ; поэтому самая мысль штатныхъ федерацій была оставлена, и въ настоящее время чугунолитейщики имѣютъ только мѣстныя и одну національную организацію. Такъ какъ ихъ конституція допускаетъ въ каждомъ отдѣльномъ городѣ, какъ бы великъ онъ ни былъ, только одинъ союзъ, то у нихъ нѣтъ и городскихъ федерацій, столь обычныхъ у всѣхъ остальныхъ рабочихъ союзовъ; кромѣ того, благодаря этому правилу, ихъ мѣстные союзы въ большихъ фабричныхъ городахъ особенно сильны, богаты средствами и отличаются многочисленностью членовъ. Для удобства управленія, каждый „союзный“ заводъ имѣетъ особый заводскій комитетъ (shop committee), юрисдикція котораго точно опредѣлена конституціей, и персоналъ его выбирается изъ числа работающихъ на заводѣ членовъ союза; эти комитеты разбираютъ всѣ недоразумѣнія между отдѣльными членами и нанимателями и представляютъ собою союзъ во всѣхъ переговорахъ и соглашеніяхъ съ ними.

Союзъ чугунолитейщиковъ, развивая и укореняя принципъ юніонизма, конечно, прежде всего стремится къ тому, чтобы привлечь въ свою среду всѣхъ мастеровъ своего ремесла въ извѣстной мѣстности. Понятно, что пораженіе союза нанимателями возможно только тамъ, гдѣ его забастовавшіе по какому-либо поводу члены могутъ быть легко замѣнены не-союзными, вольными рабочими. Поэтому дѣло организаціи новыхъ союзовъ въ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ нѣтъ, и завербованіе всѣхъ вольныхъ

рабочихъ тамъ, гдѣ они уже существуютъ, ведется крайне энергично. Тѣмъ не менѣе, вездѣ и всегда будутъ рабочіе, которые не могутъ принадлежать къ союзу—нѣкоторые потому, что не вѣрятъ въ его пользу, другіе потому, что исключены изъ союза за неплатежъ взносовъ или, главнымъ образомъ, за недобросовѣстность и неблагонадежность. Союзы относятся къ такимъ вольнымъ рабочимъ, scabs, крайне нетерпимо и жестокосердо—имъ объявляется война гораздо болѣе неумолимая, чѣмъ самимъ нанимателямъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, гдѣ юніонизмъ особенно силенъ, такіе scabs положительно не могутъ найти работы по своему ремеслу; бывали случаи, что огромныя фабрики мгновенно прекращали работу, какъ только администрація нанимала одного scab. Принадлежащій къ союзу рабочій смотритъ на нихъ съ презрѣніемъ, со злобой; случаи самаго жестокаго насилія надъ ними почти неизбѣжны при всякой стачкѣ, при всякомъ столкновеніи союзовъ съ нанимателями. Съ практической точки зрѣнія, такое отношеніе къ нимъ является неизбѣжнымъ зломъ, такъ какъ именно эти-то scabs и задерживаютъ успѣхи рабочихъ союзовъ, они-то и даютъ возможность нанимателямъ успѣшно бороться съ организованнымъ трудомъ, и они-то и составляютъ самую важную проблему современнаго рабочаго движенія.

VIII.

Американскій портняжный союзъ.

Портняжное дѣло С.-А. Соедин. Штатовъ находится почти исключительно въ рукахъ предпринимателей евреевъ и сосредоточено преимущественно въ самыхъ большихъ восточныхъ приморскихъ городахъ; только въ самое послѣднее время и городъ Чикаго сталъ дѣлаться однимъ изъ его центровъ въ союзѣ и насчитываетъ уже свыше тысячи большихъ и маленькихъ мастерскихъ. Хотя и портняжная работа дѣлается все болѣе и болѣе машинной, тѣмъ не менѣе она не требуетъ еще пока громоздкихъ, сложныхъ, а главное, дорогихъ машинъ, не нуждается въ особыхъ зданіяхъ для своего производства и можетъ съ успѣхомъ идти и въ частныхъ квартирахъ; кромѣ того, исключая закройщиковъ и нѣсколькихъ другихъ спеціальностей, не требуетъ особенныхъ познаній и опыта отъ рабочихъ и, благодаря всему этому, стоитъ въ особенно неблагопріятныхъ условіяхъ. Портняжнымъ союзамъ приходится бороться со многими существенными

въ ихъ дѣлѣ препятствіями, которыя неизвѣстны другимъ ремесламъ и занятіямъ. Со времени внезапнаго усиленія польской и въ особенности русско-еврейской иммиграціи, портнымъ города Нью-Іорка, мастерскія котораго представляютъ собою чуть ли не цѣлую половину всего портняжнаго дѣла союза, приходится очень плохо. Только самые богатые да самые тароватые люди Америки носятъ платье, сшитое на заказъ—мастерскія платья на заказъ очень немногочисленны, употребляютъ только самый дорогой и искусный трудъ и не должны приниматься въ соображеніе; громадное большинство американскаго народа, можетъ быть 999%, носитъ готовое платье, изготовляемое по извѣстному шаблону и разсылаемое по всему Союзу; нѣтъ ни одного, даже самаго незначительнаго мѣстечка, гдѣ бы не было магазина готоваго платья, или отдѣла для его продажи въ такъ называемыхъ Stores of general merchandise — лавкахъ, торгующихъ всякимъ товаромъ. Это готовое платье заготовляется десятками тысячъ паръ, очень дешево, сравнительно, и на немъ-то и работаетъ главная масса портныхъ всякаго рода, и объ его-то производствѣ и приходится говорить, разсматривая портняжный союзъ. Только очень незначительная часть работы производится поденно, главнымъ образомъ—кройка, все остальное—поштучно, причемъ работа спеціализирована до-нельзя: одни стачиваютъ, другіе обметываютъ, третьи дѣлаютъ исключительно петли, четвертые нашиваютъ пуговицы, и т. д. У хозяина обыкновенно есть магазинъ готоваго платья, выходящій на улицу; а сзади, иногда въ подвалѣ, безъ свѣта, безъ воздуха, помѣщаются мастерскія, въ которыхъ набито столько народу, сколько только можно посадить, безъ всякаго вниманія къ потребностямъ человѣческаго организма. Мало этого. Какъ только у такого хозяина работа разростается и онъ, достигнувъ предѣла, не можетъ помѣстить всѣхъ необходимыхъ рабочихъ у себя, онъ начинаетъ сдавать ее особымъ съемщикамъ, которые и распредѣляютъ ее по частнымъ квартирамъ. Читателю, конечно, извѣстно, какъ ловкій, расторопный еврей умѣетъ при случаѣ пользоваться обстоятельствами и эксплуатировать своего ближняго; а въ данномъ случаѣ, особенно въ послѣднее время, благодаря постоянной многотысячной эмиграціи, голодной и холодной, зеленой, неопытной и обыкновенно готовой на все, только чтобъ какъ-нибудь пристроиться и получить какую-либо работу, —эта эксплуатація, конечно, нерѣдко доходитъ до самыхъ невозможныхъ предѣловъ. Система скучиванія рабочихъ въ задахъ магазиновъ и въ частныхъ квартирахъ, чрезвычайно выгодная для хозяевъ и пагубная для интересовъ рабочихъ вообще и для

ихъ здоровья въ особенности, получила названіе sweating system,—буквально, потной системы, и противъ ея-то употребленія въ связи съ безсовѣстной эксплуатаціей эмигрантовъ и были до сихъ поръ направлены главныя усилія портняжнаго союза. Благодаря постоянному наплыву новыхъ, невѣжественныхъ европейскихъ элементовъ въ составъ рабочихъ портняжнаго ремесла, портняжный союзъ далеко не такъ проченъ и не такъ компактенъ, какъ многіе другіе, и, борясь преимущественно противъ спеціальныхъ золъ, неизвѣстныхъ другимъ занятіямъ, онъ не успѣлъ достичь всего того, чего уже достигли, напримѣръ, плотники, желѣзнодорожники или литейщики,—но и онъ даетъ о себѣ знать весьма чувствительно, а въ самое послѣднее время, принявъ систему литейщиковъ, относительно „мѣтки“ „союзнаго“ товара, начинаетъ оказывать существенные успѣхи.

Хотя мѣстные портняжные ремесленные союзы существовали уже въ 1860 году въ нѣсколькихъ большихъ городахъ, національный союзъ не былъ организованъ до 1865 года и распался, благодаря стеченію неблагопріятныхъ обстоятельствъ, въ 1875 году; только въ 1883 былъ опять организованъ, и только съ этого года, въ сущности, и можно считать начало его настоящей дѣятельности. Его постоянный секретарь и главный дѣятель, Джонъ Леннонъ (John B. Lennon), состоитъ въ то же время казначеемъ американской федераціи труда и пользуется широкой извѣстностью и уваженіемъ. По его почину, послѣдняя общая конвенція назначила особый комитетъ для выработки цѣнъ на извѣстные сорта работы, нѣчто въ родѣ цѣнъ, установленныхъ союзомъ наборщиковъ; предполагается начать борьбу въ томъ направленіи, чтобъ заставить хозяевъ вступить въ письменныя соглашенія съ рабочими относительно цѣнъ на работу на извѣстный, впередъ опредѣленный срокъ времени. Рабочіе часы портныхъ въ общемъ очень длинны, и до сихъ поръ ничего не было сдѣлано союзомъ, чтобы достичь ихъ укороченія, главнымъ образомъ благодаря невозможности контролировать время вслѣдствіе поштучной работы на частныхъ квартирахъ.

Портняжный союзъ считаетъ въ числѣ своихъ членовъ до тысячи женщинъ, и однимъ изъ главныхъ пунктовъ своей программы ставитъ требованіе одинаковой платы для обоихъ половъ за одинаковую работу. До сихъ поръ это ему не удалось, по крайней мѣрѣ не вполнѣ. Въ Нью-Іоркѣ женщины сбиваютъ цѣну сами, по своему собственному почину; и до тѣхъ поръ, пока работа будетъ сдаваться на частныя квартиры, едва ли союзу удастся сдѣлать что-либо дѣйствительное въ этомъ направ-

ленія. Словомъ, куда ни повернись, всюду встрѣчаешься съ растлѣвающею портняжный трудъ sweating system, и потому совершенно естественно, что портняжный союзъ прежде всего и больше всего борется именно за ея уничтоженіе.

Превосходный докладъ бюро штата Иллинойса за 1892 годъ даетъ чрезвычайно мрачную картину положенія sweating system въ городѣ Чикаго, куда она проникла только въ самое послѣднее время, но гдѣ уже успѣла укрѣпиться, такъ что насчитывается уже до тысячи мастерскихъ въ частныхъ квартирахъ и предполагается, что до 30.000 рабочихъ обоего пола работаетъ въ нихъ. Докладъ этотъ самымъ настоятельнымъ образомъ требуетъ немедленнаго вмѣшательства законодателя и, съ помощью энергичной, неусыпной фабричной инспекціи, предлагаетъ ввести: 1) регистрацію всѣхъ мастерскихъ для удобства контроля; 2) безусловное запрещеніе портняжнаго ремесла на частныхъ квартирахъ; 3) установленіе minimum'a возраста дѣтскаго труда и рабочихъ часовъ для женщинъ и дѣтей; 4) снабженіе всѣхъ портняжныхъ мастерскихъ паровой силой, такъ какъ ножныя швейныя машины чрезвычайно разрушительно дѣйствуютъ на здоровье, въ особенности женщинъ; 5) особыя помѣщенія для прессовъ и глаженія, и 6) строгое соблюденіе установленій по санитарной части, въ особенности касательно вентиляціи и кубическаго объема необходимаго для каждаго человѣка воздуха въ извѣстномъ помѣщеніи.

Нельзя сказать, чтобы портняжный союзъ былъ особенно разборчивъ на средства и методы; онъ часто прибѣгаетъ къ стачкамъ и нерѣдко проигрываетъ ихъ, вслѣдствіе торопливости и несовершенства самой ихъ организаціи, равно какъ и по недостатку средствъ. За 1891 годъ портняжный союзъ устроилъ 167 стачекъ, за 1892—150; изъ нихъ одна, начавшаяся въ Нью-Іоркѣ, захватила весь союзъ и была только отчасти успѣшна. Хотя конституція союза и опредѣляетъ условія, при которыхъ стачка можетъ быть легализирована національной организаціей, мѣстные союзы нерѣдко прибѣгаютъ къ нимъ, игнорируя эти условія, и такимъ образомъ стачки эти часто не имѣютъ ни нравственной, ни финансовой поддержки національнаго союза; а такъ какъ финансы мѣстныхъ союзовъ далеко не въ блестящемъ положеніи, то и пораженія весьма нерѣдки. Нельзя, впрочемъ, не замѣтить, чтобъ и самъ союзъ не сознавалъ безтактности многихъ стачекъ, и за самое послѣднее время имъ было обращено особенное вниманіе на другой методъ борьбы—на вліяніе, по возможности, на мѣстное законодательство: были назначены особые

комитеты для разработки и проведенія необходимыхъ для искорененія зла законовъ, и работа этихъ комитетовъ была до извѣстной степени успѣшна. Затѣмъ проектируется особый арбитраціонный совѣтъ, имѣющій состоять изъ представителей хозяевъ по выбору ихъ ассоціаціи и представителей союза по выбору общей конвенціи; рабочіе соглашаются совсѣмъ оставить насильственныя мѣры въ будущемъ и предоставить разрѣшеніе всѣхъ столкновеній этому арбитраціонному совѣту, если окажется возможность придти къ соглашенію съ хозяевами по поводу его состава и функцій.

Портняжный союзъ вообще считается однимъ изъ самыхъ бѣдныхъ—весь его доходъ за 1892 годъ не превысилъ 38 тыс. долларовъ, и хотя онъ и страхуетъ своихъ членовъ въ $ 100 на случай смерти и выдаетъ по шести долларовъ въ недѣлю во время стачекъ, платежи эти не особенно аккуратны и нерѣдко задерживаются на неопредѣленное время.

IX.

Общія черты и нѣкоторыя особенности рабочихъ союзовъ.

Великія идеи, имѣющія рѣшающее вліяніе на исторію и цивилизацію человѣческаго рода, разростаются и укореняются обыкновенно весьма медленно. Человѣчество только очень рѣдко дѣлаетъ внезапные прыжки, въ родѣ прыжка, сдѣланнаго въ концѣ прошлаго столѣтія великой французской революціей, да и эти кажущіеся прыжки, по внимательномъ изученіи, обыкновенно оказываются результатомъ долгихъ, хотя и скрытыхъ процессовъ мысли. Идея современнаго американскаго движенія безспорно принадлежитъ къ числу такихъ идей, а потому и не мудрено, что она развивается сравнительно медленно. Тѣмъ не менѣе ея успѣхи поразительны. Организованный трудъ насчитываетъ въ Америкѣ въ настоящій моментъ около 1.200.000 членовъ. По послѣднему цензу, въ С.-А. Соединенныхъ Штатахъ оказалось немного болѣе 62 милліоновъ жителей обоего пола и около 12 милліоновъ избирателей, т.-е. мужчинъ старше 21 года. Изъ этого числа 73%, т.-е. около 9 милліоновъ, принадлежатъ къ земледѣльческому классу, который совсѣмъ не принимаетъ участія въ рабочемъ движеніи, составляющемъ принадлежность исключительно городского населенія; слѣдовательно, организованный трудъ составляетъ около $^2/_5$ всего городского на-

селенія Америки и внѣ всякаго сомнѣнія—значительное большинство городскихъ рабочихъ всякаго рода въ Америкѣ. Эта простая, безхитростная статистика сама по себѣ указываетъ на значеніе организованнаго труда вообще, и если принять въ соображеніе тѣ условія, при которыхъ онъ получилъ начало и развивается и борется, значеніе это неминуемо должно усилиться. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь на сторонѣ противниковъ организованнаго труда стоитъ все, или почти все, чѣмъ доселѣ управлялся міръ—богатство, образованіе, вліяніе комбинаціи этихъ двухъ великихъ факторовъ, традиціи, обычаи, вся исторія земного шара отъ его начала до нашихъ дней. Противъ него же дѣйствуютъ еще невѣжество, трусость, забитость извѣстной части въ средѣ самихъ рабочихъ, полумилліонная ежегодная европейская иммиграція, трудность согласованія безчисленныхъ самостоятельныхъ интересовъ, наконецъ неизбѣжная во всякомъ общемъ дѣлѣ рознь партій и фракцій. Если принять все это въ соображеніе, нельзя не удивляться той осторожности, тому такту, которые уже безспорно были проявляемы до сихъ поръ американскими рабочими союзами. Несомнѣнно, что были и промахи, были и крупныя ошибки, и увлеченія насильственными мѣрами, за которыя, въ концѣ концовъ, больше всѣхъ всегда платились они же сами; но какое же крупное дѣло, какой великій политико-экономическій экспериментъ обходился безъ нихъ, и когда же исключительно рабочій классъ добивался чего-либо безъ серьезныхъ пертурбацій. Вѣдь, въ сущности, современнымъ американскимъ рабочимъ союзамъ предстоитъ дать отвѣтъ на великій вопросъ: способны ли рабочіе Америки къ самоуправленію сами по себѣ, не только безъ помощи, но и при противодѣйствіи капитала? Способны ли они достичь тѣхъ же результатовъ и управиться съ своими дѣлами съ тѣмъ же успѣхомъ, какъ когда-то дѣлали это для нихъ привилегированные, богатые, образованные классы? Другими словами, способны ли американскіе рабочіе сами по себѣ къ республиканскимъ учрежденіямъ, и имѣется ли въ ихъ средѣ достаточный запасъ мудрости, знанія и терпѣнія, необходимыхъ для успѣха и прочности республиканскаго государственнаго устройства. Осторожный консервативный наблюдатель вѣроятно не рѣшится высказаться утвердительно въ томъ смыслѣ, что они уже рѣшили его съ успѣхомъ, но онъ не можетъ не замѣтить, что они, конечно, съумѣли до сихъ поръ удержаться въ предначертанныхъ ими самими границахъ и избѣжать предрекавшихся имъ Сциллы и Харибды въ формѣ увлеченія политикой, съ одной стороны, и въ формѣ крайнихъ, анархистскихъ

увлеченій—съ другой. Рабочіе союзы во всякомъ случаѣ нельзя упрекнуть въ непослѣдовательности, въ разбросанности, въ невоздержности. Они знаютъ, къ чему стремятся, и рѣдко сбиваются съ прямого пути.

Выше мы дали болѣе или менѣе подробное описаніе семи ремесленныхъ союзовъ; конституціи всѣхъ ихъ безъ исключенія допускаютъ насильственныя мѣры въ родѣ стачекъ и бойкотовъ только въ исключительныхъ случаяхъ, когда всѣ остальныя средства къ полюбовному соглашенію уже истощены, и когда всѣ условія, обставляющія легальность такой насильственной мѣры, исполнены мѣстнымъ союзомъ. Мало этого. Въ практическомъ приложеніи этихъ конституцій національныя администраціи дѣйствуютъ обыкновенно чрезвычайно консервативно и всегда въ примирительномъ духѣ. Изученіе въ подробности зародышей многихъ стачекъ, состоявшихся и не состоявшихся, т.-е. отклоненныхъ, благодаря вмѣшательству національныхъ администрацій, подробностей, которыя мы не можемъ, къ сожалѣнію, привести здѣсь, за недостаткомъ мѣста, указываютъ на то, что угрозы, дерзкіе вызовы и презрительное отношеніе къ требованіямъ противной стороны обыкновенно проявлялись хозяевами; что терпѣнія и благоразумной уступчивости оказывалось обыкновенно больше на сторонѣ рабочихъ, на сторонѣ грубой, бѣдной массы, чѣмъ на сторонѣ образованныхъ богачей. Наконецъ,—и эта черта, по нашему мнѣнію, чрезвычайно характерна,—тогда какъ ремесленные союзы всегда дѣйствовали единодушно, и намъ, послѣ подробнаго и долгаго изученія литературы вопроса и личной двѣнадцатилѣтней дѣятельности, никогда не попадалось ни одного факта измѣны общимъ интересамъ съ ихъ стороны, — ассоціаціи нанимателей очень часто распадались внезапно, благодаря трусости и открытой измѣнѣ ихъ членовъ, дрожавшихъ за свои капиталы. Такіе факты особенно противны, особенно возмутительны, и, конечно, больше всего другого способствуютъ укорененію идеи организованнаго труда. Капиталъ, въ этомъ случаѣ, помогаетъ труду и побиваетъ самъ себя чувствительнѣе, чѣмъ что-либо другое.

Американское общественное мнѣніе, давно уже санкціонировавшее общія права организованнаго труда,—давно уже прошло то время, когда на него нападали вкривь и вкось при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ,—въ то же время строго слѣдитъ за нимъ и чрезвычайно чутко относится къ его методамъ и средствамъ. Безусловно признавая право рабочихъ на стачку, оно въ то же время требуетъ съ ихъ стороны крайней осмотрительности и осторожности, и иногда отказываетъ ему въ своихъ симпатіяхъ.

Дѣятельность отдѣльныхъ національныхъ союзовъ хорошо извѣстна; они пользуются извѣстной общественной репутаціей, сообразно своему прошлому. Стачка локомотивныхъ машинистовъ, напримѣръ, имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ стачка портныхъ, и къ требованіямъ наборщиковъ относятся совсѣмъ иначе, чѣмъ къ требованіямъ желѣзно-дорожныхъ стрѣлочниковъ, въ теченіе послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ надоѣвшихъ всѣмъ своими безпричинными стачками и выходящими за дозволенные закономъ предѣлы насильственными дѣйствіями.

Благотворительная дѣятельность союзовъ, развивающаяся чрезвычайно быстро, благодаря строгости контроля и крайней экономіи управленія, пріобрѣтаетъ все большее и большее значеніе. Каковы бы ни были суммы допускаемыхъ застрахованій и недѣльныхъ платежей въ случаѣ болѣзни, каковъ бы ни былъ составъ союза и какъ бы значительны или незначительны ни были его средства, издержки управленія всегда гораздо ниже издержекъ подобныхъ имъ акціонерныхъ и основанныхъ на принципѣ взаимности учрежденій. Бюро труда штата Миннесоты, въ своемъ превосходномъ докладѣ законодателямъ за 1891—1892 года, съ которымъ намъ еще придется встрѣтиться ниже, подробно излагаетъ эту сторону дѣятельности ремесленныхъ союзовъ, даетъ обстоятельное сравненіе ея результата съ дѣятельностью самыхъ прочныхъ, самыхъ солидныхъ, самыхъ экономическихъ частныхъ страховыхъ обществъ и, безусловно доказывая громадныя преимущества союзовъ, останавливаетъ на ихъ значеніи особенное вниманіе закона и энергично требуетъ законодательной защиты ихъ интересовъ. Докладъ этотъ, указывая на безспорный успѣхъ финансоваго управленія ремесленныхъ союзовъ, успѣхъ, не омраченный ни однимъ исключеніемъ, указываетъ, что и въ этомъ, самомъ щекотливомъ, самомъ чувствительномъ вопросѣ управленіе массъ оказалось неизмѣримо выше управленія немногихъ избранныхъ.

Вышесказаннаго достаточно, чтобы охарактеризовать общую дѣятельность ремесленныхъ союзовъ; остается только прибавить, что нѣкоторымъ изъ нихъ, вслѣдствіе спеціальныхъ требованій ихъ занятій, приходится бороться противъ разныхъ спеціальныхъ невзгодъ. Такъ напримѣръ, булочники принуждены работать по ночамъ. Публика требуетъ свѣжаго горячаго хлѣба рано утромъ, къ завтраку. Чтобы удовлетворить этому требованію, приходится работать цѣлую ночь, всю недѣлю, не исключая воскресенья. Булочныхъ очень много, и онѣ въ громадномъ большинствѣ случаевъ маленькія, нанимающія только одного, рѣдко двухъ рабочихъ. Та-

кимъ рабочимъ приходится работать цѣлую ночь и каждую ночь. Союзы булочниковъ очень распространены, и стачки ихъ по этому вопросу повторяются часто и періодически, но и до сихъ поръ не привели ни къ какому результату. Публика требуетъ горячаго хлѣба, и разъ булочники не доставляютъ его—принимается печь его сама, и такимъ образомъ подрываетъ дѣло. Хозяева безсильны помочь рабочимъ, какъ бы они и сами ни желали прекращенія ночной работы,—и вотъ является неразрѣшимая на практикѣ дилемма. Единственной надеждой булочниковъ служитъ измѣненіе общественныхъ вкусовъ въ будущемъ — ни законодательство, ни стачка, ни бойкотъ, ни „союзныя мѣтки“, ничто не можетъ помочь въ данномъ случаѣ.

Нѣчто въ такомъ же родѣ мѣшаетъ и полному благополучію цирульниковъ. Извѣстная часть американскаго народа, преимущественно щеголяющая молодежь, предпочитаетъ бриться въ воскресенье утромъ. Субботній вечеръ — обыкновенно день гуляній, и проработавшій цѣлую недѣлю франтъ отказывается тратить время на бритье въ этотъ вечеръ, и въ то же время желаетъ быть презентабельнымъ и безъ некрасивой синевы въ воскресенье. Стремясь отучить его отъ этой привычки, крайне непріятной для желающаго съ своей стороны вполнѣ насладиться воскреснымъ днемъ цирульника, хозяева давно уже назначили двойную плату за воскресное бритье, но молодежь платитъ ее безропотно; и если цирульня закрывается на воскресное утро,—немедленно переходитъ совсѣмъ въ другую, а въ крайнемъ случаѣ покупаетъ бритвы и оставляетъ цирульника не у дѣлъ и безъ хлѣба. Опять-таки ни стачки, ни бойкоты, ничто иное не можетъ помочь злосчастнымъ брадобрѣямъ. Воззванія къ публикѣ какъ ихъ, такъ и булочниковъ крайне патетичны, но, къ сожалѣнію, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, не достигаютъ цѣли.

X.

Рыцари труда (Knights of labour).

Ассоціація закройщиковъ города Филадельфіи, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ существованія на общихъ основаніяхъ ремесленныхъ союзовъ, испытавъ множество превратностей, рѣшила наконецъ реорганизоваться на новыхъ началахъ, и въ ноябрѣ 1869 года ея вожаки, съ Стивенсомъ во главѣ, учредили тайное общество подъ названіемъ: „Рыцари труда“. Къ концу года общество насчи-

тывало всего 69 членовъ; но они дѣятельно пропагандировали, привлекали новыхъ адептовъ изъ рабочихъ всякаго рода, несмотря на ремесло, и изъ первоначальной общины мало-по-малу начали образовываться и выдѣляться новыя, пока наконецъ въ 1873 г. не сдѣлалось необходимымъ организовать центральное учрежденіе для общенія между отдѣльными ассамблеями, названное ассамблеей дистрикта № 1 и соединившее всѣхъ рыцарей труда въ Филадельфіи, ея окрестностяхъ и въ горныхъ округахъ штата Пенсильваніи. Организація развивалась очень быстро; образовались новые дистрикты, и вскорѣ понадобилось учрежденіе центральной ассамблеи—General Assembly — для соединенія всѣхъ дистриктныхъ ассамблей.

Основатель организаціи, вышеупомянутый Стивенсъ, имѣлъ въ виду очень опредѣленныя цѣли— онъ стремился къ такому перевоспитанію членовъ мѣстныхъ ассамблей, которое сдѣлало бы возможнымъ признаніе главнымъ основаніемъ всеобщаго братства рабочихъ и краеугольнымъ камнемъ кооперацію и ассоціацію труда, которыя вытѣснили бы конкурренцію и соперничество со стороны самихъ рабочихъ. Къ сожалѣнію, паника 1873 года отодвинула эти цѣли на самый послѣдній планъ—рыцарямъ труда пришлось прежде всего бороться за самое свое существованіе, такъ какъ вопросы о возможности, прежде всего, достать работу, а затѣмъ получить сносную заработную плату, оказались наиболѣе существенными. Эти вопросы заслонили собою все остальное въ умахъ большинства и повліяли больше всего на послѣдовавшую за 1873 годомъ политику организаціи,—политику, выразившуюся въ конституціи генеральной ассамблеи, окончательно принятой послѣ нѣсколькихъ лѣтъ препирательствъ въ генеральной конвенціи общества въ 1878 году. Эта конституція не только основательно занялась насильственными мѣрами въ борьбѣ съ капиталомъ, но и установила особый запасный фондъ для поддержанія стачекъ, давъ, кромѣ того, исполнительному совѣту право дѣлать спеціальныя раскладки по мѣрѣ надобности. Впослѣдствіи этотъ фондъ былъ переданъ въ завѣдываніе дистриктныхъ ассамблей, а въ 1881 году въ вѣденіе мѣстныхъ. Согласно современнымъ правиламъ общества, ни одна стачка не можетъ быть объявлена мѣстной ассамблеей безъ согласія ассамблеи дистрикта, и ни одна стачка не можетъ быть объявлена ассамблеей дистрикта безъ согласія генеральной ассамблеи. Въ 1886 году все общество было втянуто въ чрезвычайно разорительныя для его казначейства стачки, вслѣдствіе необузданности мѣстныхъ ассамблей, и издержало на нихъ въ те-

ченіе этого года около полумилліона долларовъ — это отрезвило многія горячія головы, и съ тѣхъ поръ правила и условія стачекъ были сдѣланы гораздо болѣе консервативными и требуютъ гораздо большей осмотрительности отъ исполнительныхъ комитетовъ. Расходъ на поддержаніе организаціи теперь только очень рѣдко превышаетъ три доллара въ годъ съ члена, и только 24 цента изъ этой суммы идетъ на поддержаніе центральной администраціи; правда, многія мѣстныя ассамблеи ввели застрахованіе разнаго рода, но оно очень незначительно, сравнительно съ ремесленными союзами вообще, и годовой расходъ членовъ нигдѣ не превышаетъ четырехъ долларовъ, включая положительно все. Общество оставалось тайнымъ до 1882 года, было извѣстно въ публикѣ только подъ именемъ общества пяти звѣздъ, да и теперь мѣстныя ассамблеи нерѣдко прибѣгаютъ къ тайнѣ относительно всѣхъ своихъ дѣйствій, тайнѣ, допускаемой генеральной конституціей.

Рыцари труда рѣзко отличаются отъ обыкновенныхъ ремесленныхъ союзовъ тѣмъ, что допускаютъ въ свои члены не только рабочихъ, занимающихся извѣстнымъ ремесломъ, но всѣ классы общества, исключая заводчиковъ и торговцевъ спиртными напитками, адвокатовъ, банкировъ, профессіональныхъ игроковъ и биржевыхъ дѣльцовъ. Они выбрали своимъ девизомъ изреченіе: „обида одного коснется всѣхъ“ (An injury to one is a concern of all).

Генеральная конституція рыцарей труда была опубликована въ первый разъ только спустя девять лѣтъ по основаніи общества, когда оно уже достигло многочисленности членовъ и сравнительной крѣпости; въ этомъ случаѣ не членовъ подбирали къ конституціи, какъ это обыкновенно бываетъ, а конституція была составлена согласно требованіямъ большинства. Это очень объемистый документъ, предшествуемый обширнымъ предисловіемъ, деклараціей принциповъ, состоящій изъ 22 пунктовъ, составляющихъ довольно обстоятельную платформу хотя бы и для отдѣльной политической партіи. Благодаря этому, рыцарямъ труда каждый годъ приходится отказываться отъ того, что они—не политическая партія. Публика очень недовѣрчиво относится къ организаціи, программа которой на цѣлыя три четверти состоитъ изъ общихъ политическихъ пунктовъ, имѣющихъ только весьма отдаленное отношеніе къ прямому дѣлу рабочихъ. Конституція мѣстныхъ ассамблей также начинается обширнымъ предисловіемъ, трактующимъ объ образовательномъ и воспитательномъ значеніи общества; ни одинъ ремесленный союзъ не напираетъ въ такой же степени на эти стороны дѣятельности, и статья 11 прямо обя-

зываетъ всякое собраніе рыцарей труда посвящать извѣстное время теоретическимъ разсужденіямъ по предметамъ, относящимся къ рабочему вопросу, говоря, между прочимъ, слѣдующее: „мѣстныя ассамблеи должны обсуждать вопросы политической экономіи въ братскомъ и искреннемъ духѣ. Только такимъ путемъ могутъ члены общества познакомиться вполнѣ съ своими гражданскими правами и съ существующими по ихъ поводу узаконеніями. Только такимъ путемъ могутъ они получить вѣрное представленіе о справедливости или несправедливости окружающихъ ихъ условій и пользоваться осмысленно принадлежащимъ имъ правомъ голоса".

Передъ послѣдней политической кампаніей, „Журналъ соединеннаго труда", оффиціальный органъ рыцарей труда, стараясь по возможности отклонить всякія подозрѣнія въ политическихъ мотивахъ, говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: „Какъ общество, мы преслѣдуемъ несравненно высшія цѣли, и наши задачи гораздо шире, чѣмъ задачи обыкновенныхъ политическихъ партій. Декларація нашихъ принциповъ хотя и говоритъ объ искомыхъ нами реформахъ, достижимыхъ только посредствомъ баллотировочнаго ящика, въ то же время выше всего ставитъ такое воспитаніе массъ, посредствомъ котораго онѣ не только могутъ увидѣть свое собственное униженное, ненормальное настоящее состояніе, но и изыскать способы къ окончательному разрѣшенію рабочей проблемы. Когда такое воспитаніе массъ будетъ достигнуто, тогда только наступитъ время приведенія въ исполненіе нашей общей программы; и мы увѣрены, что именно это и окажется конечнымъ результатомъ работы нашей организаціи. Партія, которая со временемъ возникнетъ изъ нѣдръ нашего общества, не будетъ партіей рабочихъ, или капиталистовъ, или какого-нибудь другого отдѣльнаго класса—это будетъ партія народа".

Выборные чины рыцарей труда состоятъ изъ генеральнаго мастера-работника (General Master Workman), въ сущности президента, секретаря, казначея и исполнительнаго совѣта изъ шести членовъ. Кромѣ того, существуетъ кооперативный совѣтъ изъ шести же членовъ, завѣдующій кооперативными предпріятіями общества. Хотя принципъ кооперації и считается однимъ изъ краеугольныхъ камней общества, но только въ 1883 году, съ организаціей перваго кооперативнаго совѣта, приняты были дѣйствительныя мѣры къ учрежденію кооперативныхъ заведеній всякаго рода. И до сихъ поръ принадлежность къ кооперативнымъ предпріятіямъ не обязательна для членовъ общества и зависитъ отъ усмотрѣнія мѣстныхъ ассамблей; по послѣднему докладу совѣта, въ завѣдываніи

общества состояли на кооперативныхъ началахъ одинъ банкъ, пять сельско-хозяйственныхъ ассоціацій, семь строительныхъ, пятьдесятъ одно торговое и пятьдесятъ промышленныхъ.

Рыцари труда настойчивѣе и энергичнѣе всѣхъ другихъ рабочихъ союзовъ ратуютъ противъ пьянства и имѣютъ массу противниковъ, утверждающихъ, что ихъ общество прежде всего общество трезвости, и въ своихъ стремленіяхъ къ укорененію принципа трезвости нерѣдко жертвуетъ самыми существенными вопросами. Требованія отъ членовъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно могутъ быть названы слишкомъ педантичными и даже не вполнѣ соотвѣтствующими американскимъ понятіямъ о свободѣ личности; фанатизмъ всегда вреденъ, а въ такомъ дѣлѣ, какъ объединеніе рабочихъ—и подавно.

За послѣдніе годы, особенно начиная съ 1890 г., общество рыцарей труда несомнѣнно приходитъ въ упадокъ, и число его членовъ не только перестало возростать, но и вѣроятно медленно уменьшается. Мы не могли достать точныхъ свѣденій въ этомъ отношеніи; всѣ наши розыски оказались тщетными, такъ какъ высшіе чины общества, отвѣчая на всѣ другіе вопросы, очевидно умышленно обошли вопросъ о численности. Вѣроятно, число членовъ въ настоящее время не превышаетъ двухсотъ тысячъ, изъ которыхъ около трехъ четвертей находятся въ немногихъ прибрежныхъ восточныхъ штатахъ. Раздоръ общества съ американской федераціей труда, вызванный враждебными его дѣйствіями относительно послѣдней во время устроенной ею стачки на Reading R. R., нѣсколько лѣтъ тому назадъ, былъ раздутъ такимъ же дѣйствіемъ федераціи относительно рыцарей труда, когда они, позднѣе, устроили стачку на Chicago, Burlington & Quiney R. R.; обѣ стачки были проиграны рабочими безусловно, именно благодаря враждебности этихъ двухъ организацій между собою. Въ одной изъ предъидущихъ главъ мы уже говорили о нѣсколькихъ попыткахъ къ примиренію—но эти попытки и до сихъ поръ не увѣнчались успѣхомъ. Въ 1890 году рыцари труда проиграли очень серьезную стачку на New York Central R. R., стачку, начатую безъ достаточно основательныхъ причинъ и предводимую весьма плохо; стачка эта не пользовалась общественными симпатіями, которыя, напротивъ, были почти всецѣло на сторонѣ желѣзной дороги; это чрезвычайное и рѣдкое въ Америкѣ явленіе очень вредно отозвалось на прочности организаціи и, вѣроятно, надолго остановило ея дальнѣйшее развитіе. Радикальная фракція общества приписала эту неудачу генеральному мастеру работнику

Поудерли, и съ тѣхъ поръ начались въ его средѣ внутренніе раздоры, окончившіеся въ 1893 году смѣщеніемъ Поудерли и выборомъ Соверейна, имѣющаго репутацію первокласснаго организатора, а главное, склоннаго къ болѣе радикальнымъ мѣрамъ и болѣе энергическому примѣненію принциповъ общества, чѣмъ консервативный, осторожный Поудерли.

П. Тверской.

ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗІИ

ПОВѢСТЬ.

XXI *).

Селищевъ проснулся на другой день поздно, съ страшной головной болью, и первое чувство его по пробужденіи было—страшное отвращеніе къ себѣ, къ своей жизни, къ людямъ и ко всему вчерашнему. Вчерашнее припоминалось ему въ самыхъ отвратительныхъ образахъ и краскахъ... и онъ со злобой старался отогнать отъ себя эти воспоминанія. Но больная, раздраженная мысль постоянно къ нимъ возвращалась; обезсилѣвшій мозгъ былъ переполненъ рѣзкими и грубыми впечатлѣніями и не могъ отдѣлаться отъ нихъ. Передъ глазами его то вставала пьяная противная, съ потными, прилипшими, какъ у утопленника, къ вискамъ волосами физіономія Пыхтѣева (теперь онъ вездѣ будетъ разсказывать съ самодовольной улыбкой, что они „съ Иваномъ Александровичемъ“—знаете, извѣстный Селищевъ?—вчера славно подкутили!); то презрительно и въ то же время заискивающе улыбались лакейскія лица; то слышались какіе-то безобразные выкрики,—не то пѣсни, не то ругань... Фу, какая гадость! И зачѣмъ все это, зачѣмъ онъ съ ними поѣхалъ? Что общаго между нимъ и этими людьми? И вѣдь не онъ одинъ такъ; это общая черта... Соберутся нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ—и молчатъ, и косятся другъ на друга, потому что всѣ они разные, и думаютъ, и чувствуютъ разно, и сами не знаютъ, зачѣмъ

*) См. выше: сент., стр. 93.

они собрались и что будутъ дѣлать. Что же остается? Конечно, пить. И вотъ начинаютъ пить, языки развязываются, неловкость исчезаетъ,—чего стѣсняться, когда „пьяному море по колѣно“? Происходитъ кутежъ... а на утро начинаются сожалѣнія, является досада на себя, на своихъ собутыльниковъ, на все это глупое время, которое до того разъединило, разрознило, обезличило людей, что имъ даже говорить другъ съ другомъ не о чемъ, и обязательно надо напиться, чтобы хоть безъ стыда глядѣть другъ другу въ глаза.

Селищеву опять припомнились пьяныя лица, пьяныя, безсмысленныя рѣчи, пьяные поцѣлуи неизвѣстно съ кѣмъ и для чего... Онъ даже застоналъ отъ злости и стыда. Прочь, прочь! Нѣтъ, надо вонъ изъ Петербурга, отъ этихъ обезличенныхъ, обездушенныхъ людей, отъ этого безсмысленнаго кутежа, въ которомъ нѣтъ даже веселья и красоты. Уѣхать куда-нибудь подальше, въ глушь, засѣсть въ лѣсу, чтобы кругомъ только деревья шумѣли да куковала кукушка. Теперь весна... тамъ, на югѣ, уже все зеленѣетъ, цвѣтутъ ландыши, сирень,—соловьи поютъ по ночамъ... Да, уѣхать, уѣхать и какъ можно скорѣе! Но... онъ убѣжитъ отъ людей, а убѣжитъ ли отъ самого себя? Вѣдь и туда, въ лѣсъ, въ глушь,—всюду онъ понесетъ самого себя, усталаго, преждевременно отцвѣвшаго, безъ всякаго интереса и къ личной, и къ общественной жизни. Всюду онъ принесетъ съ собою этотъ душевный холодъ и сердечную пустоту. Это только однѣ мечты... Потесинъ былъ правъ вчера. И Селищеву вспомнились его слова: „воображеніе съѣло въ васъ душу и сердце“... Правда, правда,—все это однѣ вспышки, только вспышки—ничего больше...

А Ганя?

Селищевъ всталъ, быстро одѣлся и вышелъ въ мастерскую. Яркое весеннее солнце глядѣло во всѣ огромныя окна, и мастерская была полна свѣта и тепла. Все смѣялось кругомъ, и даже Мефистофель глядѣлъ не такъ зло и презрительно. Селищевъ почти подбѣжалъ къ картинѣ и съ лихорадочной поспѣшностью отдернулъ полотно. Тѣ же чистые, прекрасные глаза смотрѣли на него. Они ждали... молили, и въ то же время они, казалось, обѣщали ему такъ много, много... И Селищевъ чувствовалъ, что подъ этимъ взглядомъ мало-по-малу душа его отогрѣвается, наполняется свѣтомъ, что вся грязь, вся нечистота и мракъ спадаютъ съ нея, какъ струпъ спадаетъ съ зажившей раны. „Ганя, Ганя!“

Былъ уже вечеръ, когда Селищевъ торопливо шелъ по Невскому, направляясь къ Зміевскимъ. Небо съ одной стороны горѣло багровымъ полыменъ, а съ другой—надвигалась огромная грозная туча. Прохожіе съ безпокойствомъ на нее поглядывали и торопились, но Селищевъ ничего не замѣчалъ. Онъ весь былъ поглощенъ тѣмъ, что должно было произойти сегодня; онъ самъ еще не зналъ, что тутъ будетъ, но душа его была полна восторгомъ и свѣтлой радостью.

Дождь, наконецъ, разразился. Невскій покрылся зонтиками; все потемнѣло подъ ливнемъ; изъ желобовъ съ шумомъ лились потоки пѣнистой воды. Все это веселило Селищева; ему казалось, что когда-то давно вотъ такъ же шумѣлъ дождь, струилась вода, кругомъ бѣжали и смѣялись люди, и было страшно хорошо и весело... .

На Пушкинской, проходя мимо знакомаго дома, онъ не утерпѣлъ и взглянулъ на окна квартиры Зміевскихъ. Одно изъ нихъ было настежь отворено, и сквозь сѣть дождя Селищеву показалось, что тамъ мелькаетъ бѣлокурая головка. Это такъ его взволновало, что онъ долженъ былъ остановиться на площадкѣ передъ дверью и переждать, пока успокоится.

Ганя дѣйствительно стояла въ гостиной у окна и смотрѣла на ливень. Она любила дождь; онъ производилъ на нее всегда возбуждающее, бодрящее впечатлѣніе. Всѣ неудачи забывались; чувствовалось, что *всѣ* можешь и ничего не боишься. А Ганѣ всѣ эти дни было очень тяжело. Съ того самаго вечера она каждый день ждала Селищева и терялась въ предположеніяхъ, стараясь объяснить себѣ его отсутствіе. То ей казалось, что онъ смѣется надъ ней, презираетъ, и она, съ краской стыда за себя и гнѣва на него, вспоминала сцену на набережной. То она думала, что Селищевъ забылъ о ней, да никогда и не интересовался ею, какъ простою провинціальной дѣвушкой, не свѣтской, незамѣтной. Но потомъ ей вспомнились его слова, его взгляды, его поцѣлуй... и она шептала: „нѣтъ, нѣтъ, этого не можетъ быть!“ Она сама любила, и ей хотѣлось вѣрить,—страшно было не вѣрить, что ее любятъ тоже. И она рѣшила, что Селищевъ заболѣлъ, рѣшила, что она пойдетъ къ нему, и въ своихъ мечтахъ уже заранѣе рисовала эту встрѣчу. Счастливъ ли онъ будетъ?

Но сегодня утромъ, весь измятый, опухшій, въ скомканной сорочкѣ и запачканномъ галстухѣ, къ нимъ явился Пыхтѣевъ и разсказалъ, что они всю ночь „пропьянствовали“ въ Аркадіи съ Крынкинымъ, Потесинымъ и Селищевымъ. Онъ съ особеннымъ смакомъ выговорилъ эти фамиліи... Селищевъ былъ правъ, пред-

ставляя себѣ, какъ Пыхтѣевъ будетъ вездѣ разсказывать о своемъ кутежѣ съ знаменитостями. Такъ и вышло; Пыхтѣевъ даже спать не ложился и успѣлъ уже побывать въ трехъ мѣстахъ и вездѣ разсказывалъ, какъ „мы“ кутили. Онъ и не подозрѣвалъ, какую бурю вызвалъ его разсказъ въ сердцѣ Гани. Ей стало такъ горько, такъ обидно, что она не вытерпѣла, ушла къ себѣ въ комнату и тамъ долго, долго плакала.

Ливень ее успокоилъ и ободрилъ. Но, услышавъ звонокъ и вслѣдъ затѣмъ знакомый голосъ, она вся поблѣднѣла и замерла. Въ первую минуту она хотѣла-было убѣжать, не выходить къ нему, даже совсѣмъ уйти изъ дома... но онъ уже входилъ. Ганя взглянула на Селищева и сразу все забыла — и обиду свою, и тоску ожиданія, и гнѣвъ противъ него. Лицо у него было моля щее; глаза сіяли мягко, нѣжно. У Гани кружилась голова.

Селищевъ замѣтилъ ея волненіе; „ждала!—подумалъ онъ, подходя къ ней. — „И похудѣла какъ... милая!“ Въ самомъ дѣлѣ Ганя похудѣла. Яркія краски, привезенныя ею съ хутора, поблѣднѣли, но красота ея отъ этого только выиграла. Глаза ея стали больше, и выраженіе тревоги и ожиданія стало въ нихъ рѣзче, опредѣленнѣе.

Они стояли другъ противъ друга блѣдные, взволнованные, полные радости и тревоги.

— Вы больны были?—спросилъ наконецъ Селищевъ, самъ не зная, зачѣмъ онъ это говоритъ.

— Я? О, нѣтъ!..

— Вы похудѣли. Но ничего... это прелестно... т.-е. конечно, не то, что вы похудѣли, а это къ вамъ идетъ... Боже, что я говорю? Нелѣпости, не правда ли?

Онъ радостно засмѣялся. Ганя, не глядя на него, тоже засмѣялась и нервно стала перелистывать какую-то, лежавшую передъ ней, книгу. Но Селищеву хотѣлось увидѣть ея глаза; онъ тихонько отнялъ у нея книгу и наклонился къ ней... какъ вдругъ въ гостиную бомбой влетѣла Татьяна Аристарховна. Она была вся красная, волосы въ безпорядкѣ, глаза сверкали; она забыла даже потушить папироску, которую курила.

— Читали? Читали?—воскликнула она, махая книжкой, которую держала въ рукѣ.—Какая гадость!.. Это возмутительно!..

— Что такое? — спросилъ Селищевъ, подходя къ ней и дѣлая попытку поздороваться.

— А вотъ извольте, прочтите!—не замѣчая протянутой руки кричала старушка, тыкая книгой журнала чуть не въ лицо Селищеву.—Полюбуйтесь, до чего дошла наша литература... И это

„нашъ общій другъ", Александръ Герасимовичъ Потесинъ! Многоуважаемый, почтеннѣйшій Александръ Герасимовичъ! Да, да! Это въ порядкѣ вещей... Мы его принимаемъ, мы ему руку жмемъ, за однимъ столомъ съ нимъ хлѣбъ-соль ѣдимъ, а онъ намъ въ лицо плюетъ, да еще и смѣется. И подѣломъ! Такъ намъ и надо, трусливымъ болтунамъ, прихвостнямъ шестидесятхъ годовъ! Мы этого и заслуживаемъ за свое безсиліе, за свое прекраснодушіе, чтобы насъ всякій ренегатъ по щекамъ хлесталъ! Ну вотъ! Вотъ и... дожили...

Послѣднія слова она проговорила чуть не рыдая. Селищевъ ничего не понималъ.

— Да что съ вами, Татьяна Аристарховна? Въ чемъ дѣло?— спросилъ онъ.

Татьяна Аристарховна протянула ему книжку, развернутую на самомъ пикантномъ мѣстѣ Потесинской статьи. Селищевъ прочелъ нѣсколько строкъ, плохо понялъ и возвратилъ журналъ назадъ. Какое ему было дѣло до Потесина и всѣхъ его статей въ эту минуту, когда душа его была полна ощущеніемъ личнаго счастья!

— Вы напрасно волнуетесь, — сказалъ онъ, улыбаясь; ему въ самомъ дѣлѣ казалось теперь все смѣшно и все такъ ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ, что въ немъ происходило.—Право, не стоитъ!

Татьяна Аристарховна вскочила, какъ ужаленная.

— Не стоитъ! — произнесла она, задыхаясь. — Ахъ, Иванъ Александровичъ, что вы говорите! Такое постыдное равнодушіе... это ужасъ! Насъ оскорбляютъ—мы молчимъ! Наши лучшіе идеалы топчутъ ногами—мы терпимъ! Кто же мы послѣ этого? Стоимъ ли мы названія людей? Нѣтъ, мы не люди! Мы просто бараны какіе-то! Мы за угломъ шепчемся, критикуемъ, а придетъ къ намъ какой-нибудь Потесинъ—мы строимъ ему улыбочки, глазки, потому что боимся, какъ бы онъ насъ не отдѣлалъ!..

Въ передней послышался звонокъ. Татьяна Аристарховна замолчала, прислушалась и затѣмъ быстро скрылась къ себѣ, крикнувъ на ходу: „если Потесинъ—не принимать!"

— Барышня, это къ вамъ,—сказала горничная, заглядывая въ гостиную.—Какой-то молодой человѣкъ.

— Такъ попросите его сюда.

— Кто это такой?—спросилъ Селищевъ, съ ревнивымъ безпокойствомъ глядя на вспыхнувшую Ганю.

— Это, должно быть, Талыгинъ... отъ Хотынцевыхъ.

— Тотъ самый студентъ, который васъ тогда провожалъ?

— Да.

Въ гостиную вошелъ Талыгинъ. Онъ былъ встревоженъ и озабоченъ. Ганя представила его Селищеву; они холодно раскланялись, сразу почувствовавъ антипатію другъ къ другу. Талыгину Селищевъ показался черезъ-чуръ изнѣженнымъ и выхоленнымъ, а Селищевъ подумалъ о Талыгинѣ: „Семинаристъ какой-то!“ Дѣйствительно, мѣшковатая, огромная фигура Талыгина казалась въ этой изящной гостиной болѣе, чѣмъ когда-либо, неуклюжей. Но характерное русское лицо молодого студента остановило на себѣ вниманіе Селищева; въ немъ заговорилъ художникъ. „Настоящій Микула Селяниновичъ!“—подумалъ онъ. — „И какія роскошныя скульптурныя формы!“

— Ну, знаете, Хотынцевъ-то умираетъ!—сказалъ Талыгинъ, обращаясь къ Ганѣ.

Ганя растерянно на него глядѣла.

— Да... Надежды никакой... не сегодня, такъ завтра. Вчера былъ профессоръ.

— А Серафима Александровна?

— Да что Серафима Александровна? Вотъ ступайте, увидите. Плакать-то она не плачетъ, а только смотрѣть на нее немножко страшно. Оставлять ее безъ людей невозможно. Для этого я и пришелъ къ вамъ. Сегодня не нужно; сегодня тамъ будутъ дежурить, а вотъ завтра вы соберитесь. Грицай, Роза Абрамовна, тоже будетъ.

— Я пойду...—вымолвила Ганя и, отвернувшись въ сторону, прослезилась.

— Ну, чего же плакать-то?—добродушно сказалъ Талыгинъ.— Я не думалъ, что вы такая плакса. А впрочемъ ничего, плачьте, о хорошихъ людяхъ не стыдно плакать. Мало ихъ у насъ... А Потесинъ-то?—воскликнулъ онъ вдругъ, и его маленькіе глазки свирѣпо засверкали.—Читали, какую подлость онъ написалъ?

— Нѣтъ, я не читала. Тетя сейчасъ говорила, — кажется, что-то очень возмутительное.

— Какое тамъ возмутительное! Въ тысячу разъ хуже! И представьте,—продолжалъ онъ, вставая во весь свой богатырскій ростъ и инстинктивно сжимая кулаки.—Какой-то услужливый другъ... и, можетъ быть, даже самъ Потесинъ—прислалъ сегодня эту книжку Николаю Николаевичу. Не знаю ужъ, какъ она попала къ нему въ руки,—не доглядѣли, должно быть,—и онъ ее прочелъ. Такъ съ нимъ даже дурно сдѣлалось... Не безчеловѣчіе ли это? Ну, еслибы я зналъ, кто этотъ мерзавецъ...

— Что бы вы сдѣлали?—вмѣшался вдругъ Селищевъ, котораго

начали раздражать и эти рѣзкія слова, и тонъ, и манеры, а главное, фамильярность Талыгина съ Ганей.

— Не знаю-съ,—дерзко отвѣчалъ Талыгинъ. — Побилъ бы, вѣроятно!

— Прекрасно!—иронически воскликнулъ Селищевъ.—Самый современный способъ дѣйствія: кулаки, площадная ругань, драка... Можно подумать, что къ намъ вернулись скиѳскія времена...

Талыгинъ взглянулъ на художника,—оба смѣрили другъ друга быстрымъ вызывающимъ взглядомъ. Селищевъ почувствовалъ, что рѣшительно не въ состояніи выносить присутствія этого „Микулушки Селяниновича", а Талыгину въ свою очередь сталъ невыносимо противенъ этотъ изящный и красивый господинъ.

— Такъ-съ, такъ-съ! — заговорилъ онъ со всею язвительностью, на которую былъ способенъ.—Это вы —вѣрно-съ! Когда подлецъ клевещетъ и плюетъ на честнаго человѣка,—это ничего; всѣ молчатъ, примиряются, а то еще и подхихикиваютъ въ душѣ, —а можетъ, молъ, онъ и правъ! А вотъ ежели честный человѣкъ осмѣлится подлеца подлецомъ назвать, — это нельзя, помилуйте, негуманно, дико, отвратительно... и закудахчутъ, заохаютъ... Терпѣть не могу я этого вылощеннаго фарисейства...

— Покорно васъ благодарю!—блѣднѣя, сказалъ Селищевъ.— Но хотя и рискую получить еще болѣе рѣзкій эпитетъ, а все-таки осмѣлюсь повторить, что не одобряю скиѳскихъ способовъ борьбы и думаю, что существуютъ болѣе благородные, болѣе совмѣстимые съ человѣческимъ достоинствомъ.

— Благородство! Человѣческое достоинство! Какъ это красиво и возвышенно, особенно когда сидишь, сложа ручки, въ сторонкѣ! Какое тутъ благородство, когда у васъ ротъ заткнутъ и руки назадъ скручены! Нѣтъ-съ, это старà пѣсня... Попробуйте благородно поступать съ звѣремъ, который на васъ бросается изъ-за угла, чѣмъ бы у васъ кончилось... Однако до свиданія, Агаѳья Михайловна...—оборвалъ онъ вдругъ и вышелъ изъ комнаты. Ганя пошла его провожать.

— Что это за франтъ у васъ? — спросилъ онъ ее уже въ передней.—Художникъ, вы говорите? Это и видно... Бѣлоручка! Запачкаться въ житейской грязи боится: некрасиво это! Не нравится онъ мнѣ.

— Не нравится?— робко и вся вспыхивая, спросила Ганя.

— Да, не люблю я такихъ вылощенныхъ. Страшный это народъ. Снаружи-то они чистенькіе, изящные, а кто ихъ знаетъ, что у нихъ тамъ внутри. Я бы ни за что не положился на этакого... Ужъ Потесины-то во всякомъ случаѣ лучше: по крайней

мѣрѣ видишь, съ кѣмъ дѣло имѣешь. А эти... они въ сторонкѣ, въ сторонкѣ! Художественныя натуры, видите ли, поэтому имъ все можно и все прощается. Только ужъ очень дорого они обходятся намъ... каждый часъ ихъ красиваго существованія стоитъ, по крайней мѣрѣ, одной человѣческой жизни. И знаете что̀,— заключилъ Талыгинъ, задержавъ Ганину руку въ своей и глядя на нее тѣмъ особеннымъ ласковымъ взглядомъ, за который его особенно любили женщины:—будь я женщиной, я бы ни за что не довѣрился этому человѣку... Ну да глупости это! Прощайте. Завтра увидимся.

Онъ ушелъ, а Ганя, смущенная и взволнованная его словами, вернулась къ Селищеву. Теперь она опять боялась Селищева и не вѣрила ему... и въ то же время она сознавала, что любитъ его и пойдетъ за нимъ, если онъ ее позоветъ, несмотря ни на что.

Селищевъ ждалъ ее, взволнованный, раздраженный и ревнующій. Когда она ушла съ Талыгинымъ, въ немъ поднялась цѣлая буря. Ему вспомнились циническіе разговоры Потесина о „развивателяхъ“, и страшная боязнь за себя, за свое счастье, боязнь потерять ее въ ту самую минуту, когда онъ чувствовалъ, что Ганя готова была пойти за нимъ,—охватила его. „Нѣтъ, не уступлю ее! Никому не уступлю...“—шепталъ онъ, отуманенный ревностью.

— Ну что, проводили? — спросилъ онъ, вставая на встрѣчу Ганѣ и улыбаясь, хотя губы его дрожали.—Какая досада, что намъ все мѣшаютъ! Я желалъ бы весь этотъ вечеръ пробыть съ вами одной, а тутъ эти разговоры, этотъ дикій господинъ... Не желалъ бы я встрѣтиться съ нимъ въ лѣсу одинъ-на-одинъ!—съ внезапнымъ раздраженіемъ прибавилъ онъ.

— Вы ошибаетесь въ немъ; Талыгинъ очень хорошій человѣкъ,—сказала Ганя задумчиво.

Селищевъ зорко взглянулъ на нее и сейчасъ же замѣтилъ, что съ нею что-то произошло.

— Ну, Богъ съ нимъ!—воскликнулъ онъ порывисто.—Я не хочу о немъ говорить, я золъ на него за то, что онъ васъ встревожилъ. Вы были совсѣмъ другая, когда я пришелъ, и я желалъ бы, чтобы вы опять стали такою.

— Мнѣ очень жаль Хотынцева,—прошептала Ганя.

— Оставьте... Не говорите объ этомъ теперь. Я не хочу сегодня. Завтра... Богъ знаетъ, что̀ будетъ завтра, но сегодня забудемте обо всемъ этомъ... Я прошу васъ...

Онъ говорилъ быстро, какъ въ бреду, съ лихорадочно свер-

кающими глазами, съ нервной дрожью въ голосѣ. Ганя взглянула на него, и голова ея закружилась. Ей стало и страшно, и стыдно, и весело... Она уже не думала ни о Талыгинѣ и его словахъ, ни объ умирающемъ Хотынцевѣ, котораго сейчасъ оплакивала,— она думала только о томъ, что̀ должно сейчасъ произойти, чувствовала только то, что въ эту минуту Селищевъ имѣетъ надъ нею громадную власть.

— Почему же сегодня?—спросила она, сама не зная, зачѣмъ это спрашиваетъ, и теряясь еще болѣе.

— Почему?—переспросилъ Селищевъ, и въ голосѣ его зазвучала нѣжность.—А помните вы, я разсказывалъ вамъ о своей картинѣ? Помните этого угрюмаго одинокаго человѣка въ полутемной комнатѣ? Помните, какъ къ нему во мракъ вдругъ ворвался солнечный лучъ и все освѣтилъ вокругъ него?

— Помню,—проговорила Ганя.

— Такъ неужели вы не догадались, что этотъ одинокій человѣкъ—я, а солнечный лучъ—вы, вы, вы?.. Неужели не догадались, что я васъ полюбилъ и что пришелъ къ вамъ сегодня для того, чтобы сказать все?

Онъ схватилъ Ганю за руки и потянулъ къ себѣ. Ганя вздрогнула и сдѣлала попытку освободиться. Страхъ ея передъ Селищевымъ возросталъ.

— А если это ошибка?—прошептала она.—Если дверь опять затворится и опять...

— Никогда! Никогда!—страстно перебилъ ее Селищевъ, и Ганя уже ничего больше не могла возражать... И страхъ, и тревога ея исчезли; она была счастлива, только счастлива, и ни о чемъ больше не думала.

XXII.

Занималось пасмурное тоскливое утро. Моросилъ мелкій дождь; сѣрое небо тяжело висѣло надъ городомъ; отъ лужъ и со дна сырыхъ, глубокихъ, какъ колодцы, дворовъ подымался туманъ и, словно крылья печальнаго ангела, скользилъ надъ домами. Въ такое утро человѣкъ обыкновенно просыпается съ головной болью, съ тяжестью на душѣ и съ самымъ безотраднымъ взглядомъ на жизнь. Все, все кажется ему отвратительнымъ, ненужнымъ, безсмысленнымъ, ничего не хочется дѣлать, никого не хочется любить.

Въ квартирѣ Хотынцевыхъ это утро начиналось особенно

печально. Серафима Александровна и Талыгинъ не спали всю ночь, по очереди дежуря у постели Николая Николаевича. Ему было совсѣмъ плохо; по временамъ пульсъ совсѣмъ падалъ. Колокольцевъ былъ два раза, и каждый разъ его подвижное лицо все больше и больше вытягивалось, а эспаньолка принимала самый печальный видъ.

Уже разсвѣло. Гдѣ-то на фабрикѣ завылъ гудокъ. Талыгинъ поставилъ самоваръ, заварилъ чай и тихонько позвалъ Серафиму Александровну.

— Что вамъ?—сказала она, выходя.

— А вотъ что, садитесь и пейте чай. Ну?—Талыгинъ налилъ ей чаю, подвинулъ стулъ и почти насильно усадилъ.—Пейте же, что это въ самомъ дѣлѣ, вы себя уморить хотите?!

Серафима Александровна отхлебнула глотокъ и отодвинула отъ себя стаканъ.

— Нѣтъ, Талыгинъ, не могу. Противно мнѣ.—Она помолчала, подумала, точно припоминая.—Право, Талыгинъ, мнѣ кажется, что съ того вечера, какъ профессоръ сказалъ мнѣ, что Коля умретъ, я совсѣмъ другая стала. Вся моя жизнь пополамъ переломилась. Того, прежняго, будто совсѣмъ никогда не было... или было, но только во снѣ. А то, что теперь...

— Да будетъ вамъ объ этомъ!—перебилъ ее Талыгинъ.

— Ахъ, нѣтъ, Талыгинъ!—съ нетерпѣніемъ произнесла Серафима Александровна.—Это ничего, что я говорю, и я совсѣмъ не волнуюсь. Я уже сказала вамъ, что я теперь другая, не прежняя. Прежде мнѣ было страшно даже подумать о томъ, что онъ умретъ... а теперь—все равно. Прежде это казалось мнѣ просто невозможнымъ; теперь я *это* знаю, я въ *этомъ* увѣрена. Онъ умретъ, а я, конечно, останусь жить... Какъ я буду жить,—не знаю, но знаю только то, что теперь ужъ никогда, никогда не будетъ для меня того свѣта, той радости, которая помогала мнѣ переносить самыя тяжкія минуты... Я—человѣкъ конченный.

Она остановилась; ея измученное лицо приняло тяжелое, мрачное выраженіе.

— Не говорите этого, Серафима Александровна!—съ жаромъ перебилъ ее Талыгинъ. Вѣдь то, что вы говорите—это смерть заживо! Вы не можете уйти отъ жизни,—это малодушіе, а вы не малодушны по натурѣ. О какомъ же концѣ вы говорите? Я увѣренъ, что вы никогда не забудете того, что переживаете теперь,—это невозможно... но вѣдь развѣ только одно „я“ существуетъ на свѣтѣ? Ваша жизнь другимъ понадобится... а развѣ въ томъ, что вы сдѣлаете для другихъ, мало свѣта и радости?

— Ахъ, милый вы мальчикъ, Талыгинъ! — проговорила Серафима Александровна, сухо засмѣявшись. — Все это въ вашихъ умныхъ книжкахъ написано, и все это я слыхала и сама когда-то повторяла. Не утѣшайте вы меня этимъ. Еслибы я любила людей, еслибы я вѣрила во что-нибудь... но вѣдь нѣтъ этого. Я не могу лгать; цѣлый міръ не можетъ замѣнить мнѣ *его* одного... Ну, что вы мнѣ скажете на это?—спросила она, подходя къ Талыгину и глядя ему въ глаза.—Отдайте мнѣ *его*, а человѣчество возьмите себѣ. Я никогда и ничѣмъ для него не пожертвую...

Талыгинъ махнулъ рукой. Въ другое время онъ поспорилъ бы съ Серафимой Александровной на свою любимую тему, но теперь у него сердце за нее надрывалось. Какое тутъ въ самомъ дѣлѣ человѣчество, когда умираетъ человѣкъ, котораго любилъ больше всего на свѣтѣ?

Изъ дѣтской тихонько выглянулъ маленькій Коля и испуганными серьезными глазами посмотрѣлъ на мать и на Талыгина.

— Ты зачѣмъ вскочилъ?—спросилъ его Талыгинъ.

— Папа умеръ?—вмѣсто отвѣта сказалъ ребенокъ.

— Что ты городишь! Вѣрно, во снѣ видѣлъ?—возразилъ Талыгинъ беря его за руку.—Ну, пойдемъ умываться, а потомъ чай пить и гулять! Маршъ!

— Такъ папа живъ еще?—продолжалъ Коля, идя за Талыгинымъ въ кухню.—Но онъ умретъ? Скажи мнѣ, Илья-Муромецъ, какъ это умираютъ?

— Ну, братъ, я этого не знаю. И никто не знаетъ, а значитъ нечего объ этомъ и говорить.

— Я видѣлъ разъ,—задумчиво говорилъ Коля, покорно подставляя свои руки подъ кранъ:—я видѣлъ, какъ везли человѣка, который умеръ. Онъ лежалъ въ серебряномъ гробу и его везли черныя лошади. И няня говорила мнѣ, что его потомъ положатъ въ яму и засыплютъ землей. Зачѣмъ это?

Талыгинъ не зналъ, что ему отвѣчать: великанъ совсѣмъ растерялся передъ этимъ маленькимъ серьезнымъ человѣчкомъ.

— Я долго думалъ объ этомъ ночью. И мнѣ не хочется умирать, Илья-Муромецъ. А тебѣ?

Послышался звонокъ и вывелъ Талыгина изъ затрудненія. Это пришла Ганя.

— Господи, какъ я радъ, что вы пришли! — встрѣтилъ ее Талыгинъ.—Тутъ меня Коля совсѣмъ замучилъ,—пристаетъ: какъ умираютъ, да зачѣмъ умираютъ! Вотъ вамъ питерскіе младенцы: отъ земли не видно, а ужъ меланхолія на умѣ. Да чортъ *ли*,

тутъ и небо-то на траурный балдахинъ похоже! Вы никакъ насквозь промокли! И это 3-мъ мая называется!

Онъ снималъ съ Гани накидку, шляпу, стряхивалъ и развѣшивалъ въ кухнѣ надъ плитой.

Ганя вошла въ столовую, и неубранный видъ комнаты, озаренной тусклымъ свѣтомъ пасмурнаго дня, подѣйствовалъ на нее непріятно. Видно было, что здѣсь застигнуты внезапно большимъ горемъ, что некогда да и незачѣмъ заботиться о порядкѣ, и на все махнули рукой. Полотенца валялись на полу; на столѣ нагромождена была немытая нѣсколько дней посуда; всюду толстыми слоями лежала пыль. Ей вдругъ вспомнился вчерашній вечеръ... ярко освѣщенная гостиная... темнозеленыя лапы араукаріи... и сладкій, сладкій поцѣлуй. Она вздрогнула и закрыла глаза, охваченная волненіемъ.

Вошла Серафима Александровна. Ганя очнулась, и при видѣ ея измученнаго лица вся вспыхнула отъ стыда за свое счастье.

— Ну, что Николай Николаевичъ?—спросила она, садясь за столъ и принимаясь мыть посуду.

— Да что? Умираетъ! — отвѣчала Серафима Александровна и опять ушла къ мужу.

Эти слова и особенно жесткій тонъ, какимъ они были сказаны, точно ножемъ по сердцу рѣзнули Ганю. Дрожь ужаса прополэла по ея тѣлу. „Какая она страшная женщина!“—подумала Ганя. „А что я думала бы и дѣлала на ея мѣстѣ?“ И она старалась представить себѣ Селищева умирающимъ... мертвымъ... Но это ей не удавалось; какъ только она закрывала глаза—передъ нею въ зеленомъ полумракѣ араукаріи вставало блѣдное, но живое, возбужденное лицо, и его глаза лихорадочно сверкали, и слышался шопотъ: „люблю, люблю“...

„Люблю!“—прошептала Ганя и вся вспыхнула. Всю жизнь, всю жизнь для него и съ нимъ, — какое счастье! И нисколько не страшно и не стыдно, ничего не жаль,—впереди такъ свѣтло, такъ много счастья, такъ много работы—для него! О чемъ же жалѣть и чего бояться? „Люблю, люблю“...

Въ кабинетѣ Николая Николаевича послышался сухой кашель и стонъ. Ганя съ испугомъ открыла глаза и оглядѣлась. Она была одна; печальныя, бѣдныя стѣны глядѣли на нее печально, по стекламъ лились потоки воды, изъ кухни доносились голоса; въ дѣтской няня напѣвала маленькому какую-то однообразную пѣсенку. „Боже мой, о чемъ я думаю, что я дѣлаю? Здѣсь горе, смерть, а я... Но что же мнѣ дѣлать, Господи? я такъ его люблю!“...

— Вотъ мы и готовы! — воскликнулъ Талыгинъ, входя съ Колей въ столовую. — Давайте, Агаѳья Михайловна, этому молодцу чаю, а потомъ онъ гулять пойдетъ. Ничего что дождь; дождя бояться нечего.

Коля молчалъ и о чемъ-то раздумывалъ, размѣшивая сахаръ въ своемъ стаканѣ. Онъ весь согнулся; его большой лобъ былъ нахмуренъ; въ углахъ губъ лежали скорбныя старческія складки.

— Вы, Агаѳья Михайловна, построже съ нимъ! — продолжалъ Талыгинъ, стараясь развеселить Колю. — Не давайте ему философствовать! Вотъ подожди, къ тебѣ нынче гостья придетъ, —славная дѣвица. Она, братъ, тебѣ поразскажетъ,—видала на своемъ вѣку виды! Кстати, Агаѳья Михайловна, я все забываю васъ поблагодарить за Розу Абрамовну.

— Устроилась она?

— Не совсѣмъ, — работы еще не нашла, а все-таки есть хоть въ чемъ на-люди выйти. А то въ какихъ-то овчинахъ пріѣхала, точно эскимоска, а нашъ Питеръ ничего безобразнаго не любитъ—первый городовой въ участокъ бы отправилъ. Мы не любимъ, когда нищета намъ глаза мозолитъ. Некрасиво какъ-то, неэстетично.

— Развѣ только некрасиво?

— Ну, и за сердце иной разъ щипнетъ. Я по себѣ знаю: какъ встрѣтится мнѣ нищій — стараюсь мимо него, закрывши глаза, пройти, а то обѣдать не стану. Противно. Ну, вотъ мы ихъ и прячемъ подальше, чтобы обѣдать не мѣшали.

„Точно на мой счетъ говоритъ,—подумала Ганя.—Вѣдь вотъ и мнѣ непріятно теперь смотрѣть на чужое горе, потому что становится стыдно за свое счастье... Но вѣдь я же не виновата... не виновата“...

— Господи, какая тоска!—проговорила она вслухъ, не будучи въ силахъ одолѣть свое волненіе.

— Что это съ вами?—спросилъ Талыгинъ, подсаживаясь къ ней ближе.

— Ахъ, не знаю я!—отвѣчала она, закрывая лицо руками. —Я совсѣмъ жизни не понимаю... ничего не понимаю... Неужели всегда такъ будетъ? Кто правый? Кто виноватый? Несчастные правы, потому что они несчастны... а счастливые страдаютъ, потому что они счастливы. Что это такое?

— Это жизнь, Агаѳья Михайловна, — сказалъ Талыгинъ, самъ взволнованный внезапной вспышкой Гани. — Она задаетъ вопросы, но сама на нихъ не отвѣчаетъ. Кто правъ, кто виноватъ, кто счастливъ и несчастливъ... на эти вопросы есть тысячи

отвѣтовъ, но ни одинъ изъ нихъ не разрѣшаетъ тайны. И что такое счастье? Одинъ счастливъ оттого, что ограбилъ своего ближняго, а другой — оттого, что отдалъ ему свою послѣднюю рубашку. А потомъ, счастливый сегодня развѣ не можетъ сдѣлаться несчастнымъ завтра?

Ганя вздрогнула. Послѣднія слова Талыгина ее поразили; ей почудилось въ нихъ что-то пророческое. Да, это правда—жизнь есть тайна и никогда, никогда никто ее не откроетъ. Но отчего же такая тоска? Отчего минутами такъ больно и такъ страшно жить?

Они не замѣтили, какъ дверь тихо отворилась и вошла маленькая женщина съ трагическими глазами. Она вела крошечную дѣвочку съ бѣлыми, какъ ленъ, кудрявыми волосами.

— А, вотъ и Роза Абрамовна!—произнесъ Талыгинъ, поднимаясь ей на встрѣчу.—И Ниночку привели? Коля, вотъ тебѣ товарищъ, встрѣчай!

— Здравствуйте,—сказала Роза Абрамовна, осматриваясь.— А гдѣ же хозяйка?

Серафима Александровна уже входила. Обѣ женщины—обѣ такія молодыя и обѣ уже измученныя, изстрадавшіяся—взглянули другъ на друга и одновременнымъ порывистымъ движеніемъ, безъ словъ, обнялись.

— Ну, вотъ и отлично!—воскликнулъ Талыгинъ, растроганный этой встрѣчей.—Теперь я спокоенъ; побѣгу, одно дѣльце обдѣлаю, а вечеркомъ зайду. А съ вами, — обратился онъ къ Ганѣ, — мы еще потолкуемъ. Только не хандрите вы, стыдно! Дѣлайте всегда свое дѣло, а тамъ будетъ видно, правы вы или виноваты.

XXIII.

„Маленькое дѣльце", о которомъ говорилъ Талыгинъ, было довольно курьёзнаго свойства: онъ шелъ къ Потесину. Прочитавъ вчера его статью, онъ пришелъ въ какое-то стихійное негодованіе, и первая мысль его была пойти и побить Потесина. Въ немъ проснулся потомокъ лѣсныхъ дикарей, привыкшихъ мстить за обиду кровью, и на мгновеніе Талыгинъ потерялъ надъ собою всякую власть. Еслибы въ эту минуту Потесинъ встрѣтился съ нимъ,—навѣрное произошло бы столкновеніе. Но мало-по-малу отуманенный мозгъ Талыгина прояснился, и ему стало стыдно даже передъ самимъ собою за свою дикую вспышку. Онъ

всегда такъ много работалъ надъ собою, такъ старался „убить въ себѣ животное“ по его выраженію,—и вдругъ „животное“ зарычало... Талыгинъ былъ огорченъ. Но хотя всякія кровожадныя намѣренія въ немъ исчезли,—статья Потесина не давала ему покоя, и сегодня ночью, сидя у постели умирающаго Хотынцева, онъ рѣшилъ идти къ Потесину и „все“ ему высказать. Что такое это „все“,—онъ и самъ еще не зналъ, но при одной мысли о томъ, какъ онъ будетъ говорить съ Потесинымъ, вся кровь бросалась ему въ голову и онъ чувствовалъ приливъ какихъ-то необычайно-могучихъ и необычайно-прекрасныхъ чувствъ. Ему казалось, что то, что онъ скажетъ Потесину, будетъ до того сильно и хорошо, что Потесинъ завтра же публично отречется отъ своей статьи и сдѣлается совсѣмъ другимъ человѣкомъ. И глядя въ блѣдное лицо Николая Николаевича, Талыгинъ шепталъ въ экстазѣ: „Вѣдь не животное же онъ, вѣдь есть же въ немъ человѣческія струны—надо только умѣть ихъ найти“...

Но, выйдя на мокрую, грязную улицу, Талыгинъ нѣсколько пришелъ въ себя, и его ночныя мечты немножко поблѣднѣли. Дождь все моросилъ; небо и въ самомъ дѣлѣ висѣло точно траурный балдахинъ. Дома, пестрые отъ исполосовавшаго ихъ дождя, мрачно хмурились; прохожіе съ зелеными, злыми лицами, кашляя и чихая отъ сырости, шлепали по лужамъ. Только конка по прежнему громыхала по рельсамъ и по прежнему надрывались измученныя, вспотѣвшія клячи. „Вотъ она, жизнь-то!—подумалъ Талыгинъ, глядя на нихъ.—Что ты тамъ ни дѣлай, какъ ни философствуй, а придетъ время, запрягутъ тебя, треснутъ кнутомъ и волоки свой возъ, хочешь—не хочешь“.... Онъ пошелъ быстрѣе, ёжась отъ дождя, который забирался ему за воротникъ. Въ головѣ становилось все смутнѣе и тяжелѣе, въ ушахъ звенѣло, чудились какіе-то похоронные напѣвы. „Нѣтъ, какая тамъ тайна! Никакой тайны нѣтъ, и что я плелъ этой Агаѳьѣ Михайловнѣ!.. Просто—подлецъ такъ и останется подлецомъ, а вотъ Хотынцевъ умретъ, и Потесинъ будетъ плясать на его могилѣ... И опять похоронные напѣвы... Фу ты, чортъ, чего я разнервничался, словно поповна! Отъ безсонницы, что-ли“...

— Стойте, Талыгинъ! Что у Хотынцевыхъ? Живъ Николай Николаевичъ?

Предъ Талыгинымъ стоялъ Орѣшниковъ, весь мокрый и лохматый, какъ пудель. Талыгинъ разсказалъ ему обо всемъ, что происходило у Хотынцевыхъ.

— А вы куда же теперь? И отчего это у васъ такой мрачный видъ?

— Голова что-то болитъ,—всю ночь не спалъ. А иду я... къ Потесину...—сказалъ Талыгинъ и покраснѣлъ. И все, что онъ думалъ сказать Потесину, вдругъ показалось ему смѣшной нелѣпостью, и онъ подумалъ, что никогда ни за что никому не разскажетъ о томъ, какъ онъ мечталъ „возродить Потесина къ новой жизни".

— Это зачѣмъ?—удивился Орѣшниковъ.

— Да такъ... хочу познакомиться. Больно онъ пишетъ хорошо...

— А... ну, я понимаю. Только лучше бы вы не ходили; не стоитъ.

— Э, батенька, это старая пѣсня!—воскликнулъ съ внезапной злостью Талыгинъ и засмѣялся.—Что стоитъ и что не стоитъ—какъ вы мнѣ на это отвѣтите? Да и никто этого не знаетъ.... Прощайте!

Онъ кивнулъ головой и торопливо удалился. Орѣшниковъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и развелъ руками. „Настоящій Илья-Муромецъ!—подумалъ онъ.—Силы такъ и просятся наружу, а выхода имъ нѣтъ... Гдѣ же ты сложишь свою головушку, вологодскій богатырь?"

Талыгинъ прежде всего зашелъ въ редакцію того журнала, гдѣ работалъ Потесинъ; ему хотѣлось говорить съ Потесинымъ на народѣ; но въ редакціи ему сказали, что Потесинъ давно уже ушелъ, и дали адресъ его квартиры. Талыгинъ, еще болѣе отуманенный, вышелъ изъ „вороньяго гнѣзда", какъ онъ назвалъ про себя редакцію, и направился на Литейный. Что-то безформенное, но сильное разгорѣлось въ его душѣ, въ виски стучало, дышать по временамъ становилось трудно.

— Здѣсь живетъ Потесинъ?—грубо спросилъ онъ швейцара, отворившаго передъ нимъ тяжелую рѣзную дверь подъѣзда.

Швейцаръ посмотрѣлъ на его потертое пальто, на широкополую шляпу и отвѣчалъ нехотя: „Здѣсь-то, здѣсь, да вамъ на что его?"

Талыгинъ, ничего не отвѣчая, сталъ подниматься по устланной ковромъ лѣстницѣ.

Потесинъ только-что позавтракалъ у Палкина и, переодѣвшись изъ сюртука въ домашній пиджачокъ, лежалъ на кушеткѣ съ газетой въ рукахъ. Его статья уже успѣла надѣлать шуму и вызвала цѣлую бурю въ либеральныхъ органахъ. Цѣлый градъ замѣтокъ, возраженій, упрековъ и негодующихъ отповѣдей посыпался на Потесина. Онъ наслаждался этой бурей и въ душѣ воображалъ себя львомъ, окруженнымъ мошками и комарами.

„Жальте, жальте!—думалъ онъ, съ улыбкой просматривая газету.—Я знаю, что вы злитесь и бѣснуетесь, потому что я попалъ вамъ не въ бровь, а въ самый глазъ, и вы чувствуете, что я правъ, а вы жалки и безсильны. У васъ даже не хватаетъ смѣлости на ренегатство, въ которомъ вы меня упрекаете, и на которое сами бы не прочь пойти, еслибы не боялись за свою истрепанную популярность. Трусы, лакеи, прихвостни! Злитесь, плюйтесь,—я надъ вами смѣюсь!“

Его веселыя мысли были прерваны слугой, который осторожно доложилъ ему, что его желаетъ видѣть „какой-то“.

— Кто такой?—съ досадой спросилъ Потесинъ.

— Кто же его знаетъ; не то студентъ, не то разсыльный—не разберешь.

— Не принимаю!

Слуга вышелъ, а Потесинъ перевернулся на другой бокъ и сталъ дочитывать газету. Но за дверьми послышался шумъ, что-то стукнуло, дверь настежъ распахнулась, и на порогѣ выросла богатырская фигура Талыгина, а изъ-за его плечей выглянула испуганная физіономія слуги и сейчасъ же исчезла, потому что Талыгинъ затворилъ дверь.

Потесинъ въ негодованіи вскочилъ и хотѣлъ-было выругаться, но взглянулъ на Талыгина, и ему стало немножко жутко. Онъ не подумалъ, а скорѣе почувствовалъ, зачѣмъ пришелъ къ нему этотъ богатырь; какое-то смутное воспоминаніе,—воспоминаніе собственной, такой далекой и такой чуждой для него теперь молодости, мелькнуло въ его мозгу... и вдругъ онъ густо, густо покраснѣлъ. И какъ всегда это бываетъ, когда краснѣешь, онъ сознавалъ, что краснѣетъ, злился на себя за это, и краснѣлъ еще больше. Талыгинъ замѣтилъ его смущеніе и невольно усмѣхнулся. Эта усмѣшка привела Потесина въ себя; въ немъ заговорило самолюбіе. „Онъ думаетъ, что я струсилъ“... мелькнуло въ его головѣ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ онъ, оправившись.

Талыгинъ молчалъ и смотрѣлъ на него съ какой-то обидной внимательностью.

— Я васъ спрашиваю, что вамъ угодно?—запальчиво повторилъ Потесинъ.—И какъ вы смѣете вламываться въ чужую квартиру, не имѣя на то ни малѣйшаго права?

— Права?—сказалъ Талыгинъ и опять усмѣхнулся.—Что вы тамъ говорите о правѣ? Кто плюетъ на всякіе нравственные законы и человѣческія права, тотъ самъ никакихъ правъ не имѣетъ.

Я вламываюсь въ чужую квартиру—это дурно, да; но вы, сударь, вламываетесь въ чужую душу—это еще хуже.

— Убирайтесь вонъ!—крикнулъ Потесинъ, теряя самообладаніе.

Крикнулъ и самъ испугался. Страхъ, чисто физическій страхъ овладѣлъ имъ, когда онъ взглянулъ на поблѣднѣвшее лицо Талыгина. Онъ весь похолодѣлъ и одну минуту ожидалъ, что Талыгинъ его просто убьетъ. Но Талыгинъ не двигался съ мѣста и по прежнему смотрѣлъ на него въ упоръ.

— Подлецъ вы!—сказалъ онъ вдругъ отчетливо, повертываясь уходить.

— Что... что такое?—перехваченнымъ, звенящимъ голосомъ произнесъ Потесинъ.

— Подлецъ,—больше ничего!—еще отчетливѣе повторилъ Талыгинъ.

Потесинъ безпомощно оглянулся кругомъ, задыхаясь отъ безсильной злобы. Еслибы у него былъ въ рукахъ револьверъ, онъ бы убилъ Талыгина.

— Постойте... не смѣйте уходить!..—крикнулъ онъ, бросаясь къ Талыгину и схватывая его за руку.—Какъ ваша фамилія?.. Я не могу этого оставить такъ... вы дадите мнѣ удовлетвореніе...

— Какое тамъ къ чорту удовлетвореніе?—сказалъ Талыгинъ, и однимъ движеніемъ отшвырнулъ отъ себя Потесина.—Все это ерунда, и на дуэли я драться съ вами не буду, а подлецомъ все-таки всегда и вездѣ назову и буду называть. Ну, и кончено...

Онъ вышелъ. Потесинъ бросился-было опять за нимъ, но сейчасъ же вернулся и принялся метаться по комнатѣ. Его душило бѣшенство, въ глазахъ ходили зеленые и красные круги, онъ искалъ, на чемъ бы вылить свою ярость...

Испуганное лицо слуги выставилось изъ-за двери.

— Вонъ! Вонъ!—изступленно закричалъ Потесинъ, топая ногами. Слуга исчезъ.

Эта послѣдняя вспышка отрезвила Потесина, и, какъ всѣ не глубоко и не сильно чувствующіе люди, онъ сразу успокоился, выпилъ воды, пригладилъ передъ зеркаломъ волосы, легъ на кушетку и сталъ раздумывать. Что такое произошло? И что это за господинъ такой? Пришелъ, выругался и ушелъ... Можетъ быть, сумасшедшій? Ну, времена, ну, нравы! Скоро писать совсѣмъ нельзя будетъ! До сихъ поръ этого съ Потесинымъ еще не случалось. Правда, въ полемикѣ приходилось и не такими еще эпитетами обмѣниваться, а гораздо покрѣпче, но вѣдь это

въ печати и, такъ сказать, освящено обычаями, а тутъ вдругъ является Богъ знаетъ кто, обзываетъ въ лицо подлецомъ, и ты долженъ молчать, потому что этотъ молодецъ трехъ аршинъ росту и словно прямо съ цѣпи сорвался. Потесинъ вдругъ вспомнилъ свой визгливый выкрикъ и покраснѣлъ. Гадость какая! конечно, онъ немного струхнулъ, но вѣдь что же подѣлаешь: онъ могъ и ударить, этотъ господинъ трехъ-аршинный! Потесинъ представилъ себѣ, какъ бы эта огромная лапа—онъ замѣтилъ эти руки—прикоснулась къ его лицу, и весь вздрогнулъ, съёжился и даже зажмурился отъ ужаса и отвращенія. Брр... нѣтъ, лучше... пуля, кинжалъ, но не кулакъ... Ага, вотъ они, либералы! Толкуютъ о свободѣ слова, о гуманности, объ уваженіи человѣческой личности, а сами подсылаютъ какого-то браво и, чувствуя свое умственное безсиліе, аргументируютъ кулаками. И что такое тамъ бормоталъ этотъ молодецъ о правѣ?.. Но все-таки хорошо, что никого не было при этомъ, хотя навѣрное этотъ мерзавецъ Антонъ подслушивалъ у дверей и завтра же разблаговѣститъ по всему городу, что его барина обозвали подлецомъ, дали плюху и т. д. Отказать ему? Впрочемъ, нѣтъ, не стоитъ. Да и если разобрать хорошенько, что тутъ такого? Это со всякимъ можетъ случиться,—особенно, если занимаешь извѣстное общественное положеніе (говорятъ, Рошфора даже били!). Да, вотъ она, свобода печати... дай *имъ* только эту свободу... А все-таки скверно вышло, очень скверно, особенно, когда онъ запищалъ, точно прибитый щенокъ. И откуда у него такой отвратительный голосъ взялся?

Потесинъ всталъ и прошелся по кабинету...

„Слышалъ Антонъ или не слышалъ?—раздумывалъ Потесинъ. —Навѣрное, слышалъ, бестія, и теперь въ душѣ считаетъ меня трусомъ. Но какой же я трусъ? И что тутъ могъ подѣлать даже самый храбрый человѣкъ передъ этими кулачищами? Гадость, гадость! Брр... Нѣтъ, пойду лучше прогуляюсь, провѣтрюсь; противно послѣ этого оставаться дома“.

Онъ съ невольнымъ отвращеніемъ оглянулся кругомъ. Стѣны, картины, мебель,—все ему напоминало о полученномъ оскорбленіи. На полу, у кушетки валялась развернутая книга журнала. Потесинъ поднялъ ее, и чувство мелкой злобы поднялось въ немъ. „А все-таки я васъ отдѣлалъ, литературные недоноски!—подумалъ онъ не безъ злорадства.—Все ваше умственное ничтожество разоблачено, и вы въ отвратительной наготѣ пригвождены къ позорному столбу. Оттого-то вы такъ и обозлились, ха, ха!“

— Эй, Антонъ! Пальто мнѣ подай.

— Слушаю-съ. Пожалуйте!

Надѣвая пальто, Потесинъ не утерпѣлъ и взглянулъ на лакея. Тотъ имѣлъ свой обычный почтительный видъ, но Потесину показалось, что въ глазахъ его на мгновеніе сверкнуло что-то наглое, вызывающее. „Скотина!“ подумалъ Потесинъ и почувствовалъ, что краснѣетъ. Но на порогѣ онъ остановился и внушительно сказалъ:

— Да, вотъ что, Антонъ. Въ другой разъ, если этакіе господа являться будутъ—въ шею ихъ гони. Чортъ ихъ знаетъ, кто они такіе,—еще стащатъ что-нибудь...

— Слушаю-съ!—повторилъ Антонъ, но глаза его опять сдѣлались наглыми и насмѣшливыми. „Не вѣритъ,—слышалъ!“ подумалъ Потесинъ, затворяя за собою дверь.

XXIV.

Длиннымъ, очень длиннымъ и тяжелымъ показался Ганѣ этотъ день, хотя дѣла было такъ много, что даже присѣсть некогда было. Прежде всего нужно было одѣть Колю и отправить его съ нянькой гулять, потомъ перемыть посуду, убрать комнаты и сбѣгать въ лавочку за провизіей для обѣда. Стряпню взяла на себя Грицай и безшумно возилась въ кухнѣ у плиты и крана. Серафима Александровна не отходила отъ больного, и тщетно Ганя и Роза Абрамовна уговаривали ее хоть на минутку лечь и заснуть—она ни за что не соглашалась и съ упорствомъ продолжала сидѣть у кровати, устремивъ впередъ неподвижный взоръ. Теперь она еще болѣе походила на Медею: что-то рѣшительное, мрачное, трагическое было въ ея глазахъ и крѣпко сжатыхъ губахъ. Впрочемъ, несмотря на это, она все видѣла, что дѣлается вокругъ, указывала, гдѣ стоитъ нужная для обѣда посуда, пеленала и кормила ребенка, даже сама скипятила на бензинкѣ бульонъ съ виномъ и напоила мужа. Ганѣ почти страшно становилось на нее глядѣть, и по временамъ ей казалось, что это передъ нею не живой человѣкъ, а ходячій мертвецъ, душа котораго, какъ ей разсказывала, бывало, старая няня, странствуетъ гдѣ-нибудь далеко по волѣ колдуна. Всѣ эти забытыя малороссійскія легенды приходили Ганѣ на память, и она съ холодомъ въ сердцѣ уходила въ кухню, къ Розѣ Абрамовнѣ.

— Это ужасно!—шептала она, прислоняясь лбомъ къ стеклу. —Я не могу ее видѣть. Она точно окаменѣла... Отчего это?

— А это бываетъ, бываетъ...—отвѣчала ей тоже шопотомъ

Роза Абрамовна, и глаза ея загорѣлись лихорадочнымъ блескомъ.— Знаете, живешь, и будто не живешь; все видишь, все слышишь, а думаешь только объ одномъ... это бываетъ! Со мною то же было, когда мужъ застрѣлился. Знаете, какъ это было? Я вамъ разскажу, если хотите.

— Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ же!—останавливала ее Ганя, вздрагивая отъ боли и жалости.—Не надо...

— Вы думаете, что мнѣ тяжело? Нѣтъ... теперь я привыкла. Я хочу разсказать. Онъ ужасно, ужасно тосковалъ послѣднее время. Я слышала, какъ онъ по ночамъ плакалъ. Вы видѣли когда-нибудь, какъ плачетъ мужчина? Это ужасъ... Конечно, я все это видѣла и понимала, но что же я могла сдѣлать? И мы оба молчали и оба плакали по ночамъ... онъ на своей кровати, я—на своей...

— Но о чемъ же?

— О чемъ?..—Роза Абрамовна усмѣхнулась.—А что, если бы васъ, зрячую, посадили въ темную комнату? Или, еслибы ваши сильныя, здоровыя руки скрутили веревками и заставили бы васъ ничего не дѣлать? Вѣдь это тоска... пытка... самая ужасная казнь изъ всѣхъ казней на свѣтѣ. Смерть что? Одинъ мигъ страданія—и все кончено. А это!.. Сидѣть въ потьмахъ, мечтать о свѣтѣ, и ничего не видѣть!.. Чувствовать въ себѣ и силы, и желаніе работать, и не быть въ состояніи пошевелить пальцемъ... Да, съума можно сойти... Вотъ онъ и сошелъ...

Она помолчала, съ лихорадочной торопливостью перебирая въ рукахъ какую-то тряпку, потомъ продолжала.

— Ахъ, да... я вѣдь хотѣла вамъ разсказать, какъ это было. Я хорошо помню все. Цѣлое утро онъ игралъ съ дѣтьми, пѣлъ имъ, разсказывалъ сказки, смѣялся... Потомъ вдругъ поблѣднѣлъ, отошелъ ко мнѣ,—я сидѣла у окна, шила,—и сказалъ: „Роза, что мы съ тобою сдѣлали для нихъ?“ Я испугалась,—сама не знаю, почему,—но мнѣ стало страшно. „Для кого?“—спросила я.— „Для дѣтей, для всѣхъ... Ничего! Я чувствую, что отживаю, умираю... Роза! Я мертвецъ и отъ меня уже нечего ждать больше. Зачѣмъ же жить? Зачѣмъ жить?“ Онъ повторилъ эти слова нѣсколько разъ... потомъ взялъ меня за руку, пожалъ крѣпко-крѣпко и ушелъ. Я бросилась за нимъ, но не дошла и до порога—раздался выстрѣлъ...

Она нѣсколько разъ всхлипнула, потомъ тяжело перевела дыханіе и замолчала.

— Не надо... не говорите больше, не надо!—воскликнула испуганная Ганя.

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, уже прошло...—какъ бы извиняясь, проговорила Грицай.—Я не буду больше... Некогда, надо стряпать... стряпать,—повторила она съ жалкой улыбкой и отошла къ плитѣ.

Ганя, совсѣмъ разстроенная, переходила опять въ столовую. Тамъ все было по прежнему. Дождь продолжалъ уныло барабанить въ окна; изрѣдка проносился вѣтеръ и громыхалъ по желѣзнымъ листамъ крыши. Маленькая Ниночка сидѣла у окна и что-то тихонько шептала съ чижикомъ, беззаботно скакавшимъ по клѣткѣ. Въ квартирѣ была тишина; только изъ спальни изрѣдка слышалось слабое покашливанье больного да осторожные шаги Серафимы Александровны.

„Гдѣ же счастье?—думала Ганя.—И зачѣмъ жить въ самомъ дѣлѣ?“

А часы, какъ нарочно, шли такъ медленно, медленно, оставляя полный просторъ безотраднымъ мыслямъ. Пришелъ съ прогулки Коля и, раздѣвшись, тихонько усѣлся въ уголку съ Ниночкой; между ними сейчасъ же завязалась вполголоса какая-то оживленная бесѣда, и до Гани долетали отдѣльныя слова и фразы. Коля разсказывалъ Ниночкѣ о какомъ-то Мурмузюкѣ, которому конка переѣхала ногу, но который все-таки замѣчательно уменъ,—такъ уменъ, что когда онъ, Коля, сказалъ ему, что папа боленъ, Мурмузюкъ заплакалъ настоящими слезами и замахалъ хвостомъ. Ниночка, въ свою очередь, тоже силилась что-то разсказать своимъ дѣтскимъ языкомъ, но у нея ничего не выходило, и она только показывала рукой въ подтвержденіе своихъ словъ и говорила самымъ убѣдительнымъ тономъ: „тамъ!“ Потомъ пріѣхалъ Колокольцевъ въ мокромъ дождевикѣ, озабоченный, осунувшійся. Онъ даже не побалагурилъ по своему обыкновенію, а прямо прошелъ въ Хотынцеву, посидѣлъ тамъ съ полчаса и вышелъ еще болѣе озабоченный и осунувшійся. Серафима Александровна слѣдовала за нимъ, глядя на него тѣмъ же остановившимся взглядомъ. Докторъ замѣтилъ, что его видъ производитъ на всѣхъ удручающее впечатлѣніе, вспомнилъ, что врачи должны имѣть всегда бодрый духъ и веселое лицо, и сдѣлалъ-было попытку поострить. Но на первомъ словѣ осѣкся, съёжился и поспѣшилъ проститься, обѣщая на ночь пріѣхать дежурить. Съ его уходомъ стало еще тоскливѣе, точно вмѣстѣ съ нимъ исчезла послѣдняя надежда. Когда ждали его,—тамъ, въ уголкѣ души, вопреки очевидности, шевелилась смутная мысль: „а можетъ быть, есть улучшеніе? Можетъ быть, не все еще пропало?“ Но онъ ничего не сказалъ, и послѣ его визита на душѣ стало еще мрачнѣе, какъ ночь ка-

жется еще темнѣе, когда мимо промелькнетъ фонарь. И опять время ползетъ медленно, медленно... Ахъ, какъ томительны эти часы, которые живые проводятъ около умирающихъ!

Часа въ четыре пришли Орѣшниковъ и Талыгинъ. Илья Муромецъ былъ красенъ какъ ракъ и смущенно улыбался, точно напроказившій школьникъ; Орѣшниковъ иронически на него поглядывалъ. На ихъ голоса вышла Серафима Александровна.

— Гдѣ это вы пропадали?—обратилась она къ Талыгину.— Коля васъ все спрашивалъ.

— А вотъ спросите-ка, спросите, гдѣ онъ былъ!—подхватилъ Орѣшниковъ.

Талыгинъ покраснѣлъ еще больше и укоризненно взглянулъ на Виктора Сергѣича.

— Ну, гдѣ былъ! Что тутъ особеннаго?—проворчалъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы его спросите! Кайтесь, Илья-Муромецъ!

— Да что такое, Талыгинъ? Говорите!

— Ругаться будете!

— Да ужъ вѣрно опять „бабизмъ“ какой-нибудь!

— Никакого „бабизма“... Просто у Потесина я былъ.

— Это зачѣмъ?

— Да такъ... Подлецомъ его обозвалъ.

— Ахъ, Талыгинъ, Талыгинъ!.. Ну какъ вамъ не стыдно, ребенокъ вы этакій! Какой смыслъ во всемъ этомъ? И что же, легче, что-ли, вамъ отъ этого?

— А ей Богу легче!—простодушно сознался Талыгинъ.—Ей Богу, точно десять пудовъ съ плечъ свалилось. Меня всѣ эти дни просто удручала мысль, что вотъ человѣкъ сдѣлалъ подлость, осмѣялъ и оплевалъ лучшіе человѣческіе идеалы, и ничего, какъ ни въ чемъ не бывало, разгуливаетъ себѣ по бѣлому свѣту и воображаетъ еще, можетъ быть, что такъ и слѣдуетъ. А теперь я спокоенъ; по крайней мѣрѣ онъ теперь знаетъ, какимъ именемъ можно назвать его поступокъ.

— А вы думаете, онъ этого не зналъ?—иронически спросилъ Орѣшниковъ.

— Можетъ быть, и не зналъ.

— Ваше воображеніе! Не безпокойтесь, Потесинъ отлично знаетъ, кто онъ такой. Я, надо вамъ сказать, батенька, не признаю ходячаго мнѣнія, что человѣкъ самъ себя не знаетъ. Это чепуха; каждый человѣкъ лучше всего знаетъ самого себя, а Потесинъ даже особенно, потому что онъ человѣкъ умный. Онъ великолѣпно сознаетъ свою гнусность, и чѣмъ больше сознаетъ, тѣмъ больше злится. Это литературный Яго. Все, что стоитъ

выше его, отравляетъ ему жизнь; я увѣренъ, что онъ просто страдаетъ оттого, что на свѣтѣ еще не вывелись честные люди и высокіе подвиги. Ему хотѣлось бы всѣхъ унизить до себя, и вотъ почему онъ бранится, насмѣхается, обливаетъ грязью, лѣзетъ изъ кожи, сочиняя свои возмутительные пасквили. А, ты чистъ, когда я грязенъ,—такъ вотъ на же тебѣ!.. А, у тебя есть какіе-то идеалы, тогда какъ у меня одни зоологическіе инстинкты,—ну вотъ тебѣ еще... А вы говорите: „не зналъ"!

— Можетъ быть, вы и правы, но все-таки подлость останется подлостью, и оставлять ее безнаказанной нельзя. Чувство справедливости требуетъ удовлетворенія.

— Да не такимъ путемъ! Не въ такихъ донъ-кихотскихъ выходкахъ!—замѣтилъ Орѣшниковъ!

— А въ чемъ же? Ужъ не въ вашей ли будущей газетѣ?—насмѣшливо спросилъ Талыгинъ.

— А хотя бы и въ газетѣ! Сила слова, батенька,—огромная сила!

— Сила-то сила, я не спорю, да пока эта сила не въ вашихъ рукахъ. Теперь говорятъ только клеветники, лгуны, пасквилянты, а вы... вы еще добудьте сначала себѣ эту силу, а потомъ мы и посмотримъ.

— А вотъ и увидите!—входя въ азартъ, воскликалъ Орѣшниковъ.

— А вотъ и посмотримъ!—вторилъ ему Талыгинъ.

— Тс-с... господа, не шумите!—остановила ихъ Роза Абрамовна, появляясь въ дверяхъ.

Спорщики мгновенно смолкли и сконфуженно посмотрѣли другъ на друга.

— Тьфу ты, чортъ! — прошепталъ Орѣшниковъ. — Этакое свинство, не могли удержаться! А все вы, Талыгинъ, — не могу я выносить вашихъ крайностей! Я еще вамъ докажу, что я правъ.

— Докажите, попробуйте! А я заранѣе предсказываю вамъ, что ничего изъ вашей газеты не выйдетъ. У насъ поговорка деревенская есть: кабы раку крылья, такъ бы онъ орломъ леталъ. Да вотъ крыльевъ-то нѣту... А потому, пойду лучше самоваръ ставить!..

— Нѣтъ, нѣтъ, постойте-ка... какъ это вы сказали: ракъ?.. Что общаго между ракомъ и нами?

— А то, что ходъ-то у васъ рачій, и никогда вы орлами не будете. Одни только у васъ порывы, кипѣнія, — и все на одномъ мѣстѣ. Оттого-то, можетъ быть, и Николай Николаевичъ помираетъ... Э, да что, лучше замолчать, а то поссоримся!

Онъ пошелъ въ кухню; Орѣшниковъ повертѣлся-повертѣлся— и отправился за нимъ. И тамъ между ними загорѣлся жаркій споръ, — характерный русскій споръ, такой же туманный, какъ петербургское небо, и такой же, какъ небо, безконечный. Кто побѣдитъ? „Мы“—или „вы“? Мечъ—или орало? Бурный натискъ —или мѣрный шагъ?..

Ганя не стала слушать спора. Она чувствовала себя страшно утомленной и собиралась домой. Голова у нея болѣла, на сердцѣ словно камень лежалъ; весь прожитый день легъ на душу тяжелыми, мрачными впечатлѣніями. Она тихонько вошла въ переднюю и тихонько одѣлась; никто не вышелъ ее провожать. Серафима Александровна сидѣла около мужа; Роза Абрамовна въ дѣтской разсказывала дѣтямъ сказку; изъ кухни вмѣстѣ съ шипѣніемъ воды доносились возгласы спорящихъ: „мы“, „вы“, „культурная борьба“, „постепеновцы“...

Дождь уже пересталъ, но было очень сыро. По небу стлались тяжелыя тучи; только на западѣ горѣла узенькая красная полоска зари. Влажный теплый воздухъ освѣжилъ и ободрилъ Ганю. Она быстро шла по мокрымъ блестящимъ тротуарамъ, обходя лужи и прислушиваясь къ отдаленному грохоту городской жизни. Проходя мимо отворенныхъ воротъ Таврическаго сада, она не утерпѣла и свернула по большой аллеѣ, усыпанной свѣжимъ желтымъ пескомъ. Деревья стояли мокрыя, унизанныя каплями, которыя при малѣйшемъ колебаніи воздуха звучно сыпались на песокъ. Почки на вѣтвяхъ разбухли отъ дождя; тополи были усыпаны сережками, и отъ нихъ шелъ смолистый, раздражающій ароматъ. А Ганя все шла и шла впередъ, въ глубь сада, и съ души ея мало-по-малу спадала тяжесть пережитыхъ впечатлѣній, смѣняясь свѣтлымъ и радостнымъ сознаніемъ молодости, весны, любви... И жизнь казалась ей теперь вовсе не такою мрачной, холодной пучиной, какъ нѣсколько времени тому назадъ. Все ей нравилось: мягкій влажный песокъ, на которомъ отчетливо отпечатывались ея слѣды, легкое хрустѣніе его подъ ногами, искристый дождь капель, съ шорохомъ падавшій ей на голову и на плечи, тишина кругомъ, полная жизни, расцвѣтанія, радостнаго ожиданія... Ганя вдругъ вскочила на мокрую скамью, притянула къ себѣ вѣтку тополя и стала обрывать съ нея липкія, пахучія почки, готовыя развернуться. Цѣлый ливень хлынулъ на нее съ дерева... Боже, какъ хорошо! какъ хочется жить, хочется любить... Зачѣмъ смерть, зачѣмъ страданія, горе, разладъ, споры?!... И „мы“, и „вы“—всѣ люди, всѣ братья, и міръ такъ прекрасенъ, и жизнь такъ зоветъ...

Ганя радостно засмѣялась, спрыгнула со скамейки и почти бѣгомъ пошла къ выходу, стараясь ступать покрѣпче, чтобы слѣды на пескѣ были глубже, и вдыхая въ себя острый, опьяняющій запахъ развертывающагося тополя.

XXV.

— Тетя дома?

— Дома, нездоровы и лежатъ въ постели. Никого не велѣли принимать.

— А кто-нибудь былъ? Или никого не было?

— Нѣтъ, былъ, — этотъ, какъ его... тьфу, позабыла!.. Толстый такой, съ палкой ходитъ.

„А... Потесинъ, должно быть“, подумала Ганя и, войдя въ гостиную, стала передъ зеркаломъ снимать шляпку. Лицо ея разгорѣлось, глаза блестѣли; никогда раньше Ганя не обращала вниманія на свою наружность, а теперь посмотрѣлась въ зеркало съ удовольствіемъ и нашла себя очень красивой. Слегка краснѣя отъ этой мысли, она взяла въ руку свою косу и перекинула ее черезъ плечо; волосы отливали серебромъ на темномъ фонѣ платья... И Ганѣ вдругъ страстно захотѣлось, чтобы сейчасъ, въ эту минуту, вошелъ *онъ* и увидѣлъ бы ее такою, какою она стояла передъ зеркаломъ—съ мерцающими глазами, съ алымъ румянцемъ на щекахъ, съ распущенною косою и счастливою улыбкой.

Въ дверяхъ гостиной появилась горничная.

— Ахъ, да, барышня, я забыла вамъ сказать,—письмо вамъ. Посыльный давеча принесъ.

— Посыльный? Отъ кого же это?

— Ничего онъ не сказалъ. Отвѣта, говоритъ, не надо. Вотъ оно, на кругленькомъ столикѣ.

Ганя торопливо, съ предчувствіемъ чего-то недобраго, схватила письмо. Почеркъ былъ незнакомый,—неровный, расплывчатый. „Отъ него!“ подумала Ганя и съ сильно бьющимся сердцемъ разорвала конвертъ.

„Простишь ли ты меня, моя свѣтлая, моя чистая, моя прекрасная Ганя? Забудешь ли когда-нибудь страшное горе, которое я тебѣ сдѣлалъ? Вчера я сошелъ съума, я былъ опьяненъ твоей молодостью и красотою, я сказалъ тебѣ: „люблю“... Это ложь, ложь, ложь... Нѣтъ любви въ моемъ холодномъ, отжившемъ сердцѣ, нѣтъ во мнѣ того, что нужно тебѣ,—юной, прекрасной...

То, что я принялъ за любовь, была вспышка воображенія; свою мечту я принялъ за дѣйствительность. Старый, сѣдой безумецъ! Прости меня, прости и не проклинай... Я обманулъ тебя, я смутилъ твою свѣтлую душу, я чуть, было, не наложилъ на тебя цѣпей, но... около тебя я позабылъ, что жизнь моя уже кончена. Ганя, голубка моя, какъ я страдаю!.. Весна моя, фіалка моя,— нѣтъ, не оживить тебѣ мертвеца... Прощай, забудь обо мнѣ и еще разъ прошу,—не проклинай!"

Ганя стояла, какъ оглушенная, ничего не понимая, чувствуя только, что въ жизни ея произошло что-ужасное, чего она никогда ни забыть, ни простить не можетъ. Она растерянно оглядѣлась по сторонамъ, словно ища, кто бы могъ объяснить ей все это, и еще разъ перечитала письмо. И мало-по-малу смыслъ этихъ жестокихъ словъ становился ей ясенъ. Ложь!.. Такъ онъ лгалъ!.. Зачѣмъ? А она была такъ довѣрчива, и такъ его любила!..

Сознаніе страшной обиды, негодованіе, стыдъ за себя, за него, за всѣхъ,—яркой краской залили ея поблѣднѣвшія передъ тѣмъ щеки. „Простить! Забыть... Никогда!" И Ганя, въ порывѣ внезапной злобы, разорвала письмо на мелкіе клочья и разбросала по полу.

— Барышня, васъ Татьяна Аристарховна къ себѣ просятъ, —сказала горничная.

— Сейчасъ...—едва вымолвила сквозь стиснутые зубы Ганя.

Горничная ушла. Ганя схватилась за голову и принялась ходить по комнатѣ, стараясь привести въ порядокъ свои мысли. Но въ головѣ было смутно; она глядѣла вокругъ и ничего не узнавала. Вотъ эти стѣны, вотъ пальмы, вотъ зеленая араукарія и окно, около котораго она вчера сидѣла съ нимъ... Все какъ будто осталось то же—и въ то же время все кажется чужимъ, незнакомымъ, страннымъ. Проходя мимо зеркала, Ганя вспомнила, какъ она нѣсколько минутъ тому назадъ любовалась собою,—и снова краска стыда и обиды залила ея лицо. Ей стали отвратительны и эти пальмы, и она сама, и вѣчный шумъ за окномъ,— шумъ, въ которомъ слышался хохотъ торжествующихъ и вопли раздавленныхъ. Все это ложь, мишура, обманъ...

Ганя подошла къ разбросаннымъ по полу клочкамъ бумаги и засмѣялась злымъ, нехорошимъ смѣхомъ. Вотъ все, что осталось отъ ея любви, надеждъ и яркихъ мечтаній. Соръ и гниль... И все на свѣтѣ—соръ и гниль... А она-то рвалась къ людямъ, хотѣла любить, быть любимой... Боже мой, за что же, за что же такъ жестоко?!

Татьяна Аристарховна, когда къ ней вошла Ганя, лежала

въ постели, укутанная одѣяломъ и съ мокрымъ полотенцемъ на головѣ. Абажуръ на лампѣ былъ низко спущенъ; въ комнатѣ разливался пріятный зеленоватый полусвѣтъ и сильно пахло валеріанкой.

— Что это ты, Ганечка, пришла и глазъ не кажешь...— начала старушка слабымъ голосомъ.—Сядь здѣсь, разскажи, гдѣ была. У Хотынцевыхъ? Плохъ Николай Николаевичъ? Ужъ прочла я давеча въ газетахъ, — закаркали вороны...

Татьяна Аристарховна заплакала и громко высморкалась.

— Боже мой, Боже мой! — продолжала она черезъ минуту. —Сколько народу привелось схоронить... и какіе все молодые, талантливые!.. Господи, да зачѣмъ намъ-то послѣ этого жить, старымъ грибамъ-то? А, Ганя?

Ганя молчала, — да врядъ ли и слышала она, что говорила ей тетка.

— Да... Могилы, могилы... Сколько ихъ? И не пересчитаешь... Вотъ ужъ правду сказалъ Некрасовъ: „у счастливаго нѣдруги мрутъ, у несчастнаго другъ умираетъ“... Да, Ганя, знаешь, вѣдь этотъ негодяй, пасквилянтъ-то, Потесинъ—приходилъ вѣдь! Вообрази нахальство! А? Натурально, я его приказала не принимать, — нахалъ этакій!

Татьяна Аристарховна даже оживилась при этомъ воспоминаніи; она была увѣрена, что поступила какъ героиня, и это ее очень утѣшало.

— Теперь кончено. Даже духъ его выкурю. Да и не только его,—всѣхъ разгоню. И Пыхтѣева, и Крынкина—до чего опошлился, — въ какой-то модный журналъ къ модными картинкамъ текстъ сочиняетъ, съ разговорами, со стихами—каково?! Одного только Виктора Орѣшникова оставлю, — славный мальчикъ! — а остальныхъ всѣхъ вонъ. Опротивѣли до бѣшенства. Вонъ мигрень нажила,—цѣлый день вчера ревѣла по милости этого негодяя, Потесина... Ганя, да что же ты молчишь, голубчикъ? Здорова ли ты?

Старушка живо приподнялась, наклонила абажуръ и, взглянувъ на Ганю, ахнула.

— Да что это съ тобой, Ганя? На тебѣ лица нѣтъ... Вотъ до чего Питеръ проклятый доводитъ,—и зачѣмъ ѣхала?! Жила бы себѣ, жила на хуторѣ, съ отцомъ. Ахъ, Господи...

— Не безпокойтесь, тетя, — съ усиліемъ проговорила Ганя, стараясь улыбнуться.—Право, я здорова... немного голова разболѣлась.

— Такъ прими скорѣе валерьяновыхъ капель и ляг въ постель. Слышишь?

Она встала, сама налила въ стаканъ воды, накапала капель и заставила Ганю выпить. Эта заботливость, эта теплая ласка и доброта тронули Ганю.

— Спасибо, тетя, тетя милая... — прошептала она, цѣлуя руки Татьяны Аристарховны. — Я тебя растревожила. Ложись, спи... все пройдетъ.

У нея мелькнула мысль—разсказать теткѣ все... Но она этого не сдѣлала; она смутно чувствовала, что не у Татьяны Аристарховны, несмотря на всю ея доброту, она найдетъ поддержку. Нѣтъ, нѣтъ, ни Татьянѣ Аристарховнѣ, никому другому она никогда, никогда не разскажетъ о своей обидѣ, о своемъ разочарованіи въ томъ, кого она полюбила... Ахъ, нѣтъ ничего тяжелѣе, ничего печальнѣе потерять вѣру въ того, кого любилъ...

Успокоенная валеріаной, Татьяна Аристарховна скоро заснула, какъ младенецъ. Даже ея миніатюрное личико съ короткими сѣдоватыми волосами, разметавшимися по подушкѣ, приняло младенческій видъ безмятежнаго спокойствія. Ганя потушила лампу и на цыпочкахъ возвратилась опять въ гостиную. Спать ей еще не хотѣлось; сидѣть въ этихъ стѣнахъ было душно, невыносимо. Что дѣлать, что дѣлать, куда уйти отъ этой тоски?

Ганѣ даже страшно стало этой тишины, этого одиночества въ ярко освященной комнатѣ. И торопливыми шагами она направилась въ переднюю и стала поспѣшно надѣвать пальто и шляпу.

— Барышня, куда это вы? — съ изумленіемъ спросила горничная, провожая ее.

— Пойду, пройдусь. Голова болитъ, — отрывисто отвѣчала Ганя, не глядя на горничную.

— Господи, да вѣдь поздно! Не проводить ли васъ?

— Нѣтъ, не надо, не надо... Я скоро... Не безпокойтесь пожалуйста...

Влажная теплая ночь обволокла Ганю на улицѣ. Отъ мокрыхъ домовъ, отъ тротуаровъ поднимался бѣловатый туманъ, сквозь который огни фонарей казались тусклыми красными пятнами. Одиннадцати часовъ еще не было, и магазины кое-гдѣ были открыты; Невскій кишѣлъ народомъ. Ганя попала въ самую густую толпу и пошла впередъ. На нее нашло странное отупѣніе; сердечная боль затихла, мысли безсвязно путались, вращались около разныхъ ничтожныхъ предметовъ, попадавшихся ей на глаза. Она заглядывала въ окна магазиновъ, всматривалась въ встрѣчныхъ, наблюдала, какъ свѣтъ электрическихъ фонарей заволакивался ту-

маномъ и растягивался длинными голубоватыми полосами. И все это ее какъ будто интересовало, останавливая на минуту ея блуждающую мысль около себя. Но вотъ Невскій кончился; вмѣсто сіяющихъ оконъ магазиновъ потянулись деревья Александровскаго сада, темныя стѣны, широкіе тротуары. И Ганя съ такимъ же интересомъ смотрѣла и на деревья, и на темныя зданія, и все шла, шла...

Вдругъ она вздрогнула, остановилась и съ испугомъ оглядѣлась вокругъ. Господи, куда это она зашла? Какое знакомое мѣсто!.. Да, черезъ-чуръ знакомое. Она стояла на набережной противъ Академіи Художествъ. Надъ нею, одѣтые въ легкую дымку тумана, высились мрачные сфинксы; внизу шумѣли и бились о гранитъ черныя волны Невы. Та сторона, точно занавѣсомъ, была задернута туманомъ, и только неровная цѣпь огней, уходящая вдаль, обозначала береговую линію. Ганя облокотилась на влажный парапетъ и заглянула внизъ; на нее пахнуло сыростью и запахомъ воды. Она содрогнулась и засмѣялась такимъ же холоднымъ и злымъ смѣхомъ, какъ давеча, когда разорвала письмо. Да, гадко, гадко... А давно ли она стояла здѣсь съ нимъ, довѣрчивая, влюбленная, радостная?.. Какъ свѣтло было у нея на душѣ тогда, сколько надеждъ, сколько любви ко всѣмъ!..

Ганя съ болью стиснула свои руки, и еслибы Селищевъ увидѣлъ ее теперь, онъ не узналъ бы въ этомъ искаженномъ отчаяніемъ лицѣ того свѣтлаго ожиданія, той беззавѣтной жажды жизни, которые поразили его при первой встрѣчѣ. Налетѣлъ ураганъ, растоптаны цвѣты, чудныя весеннія мечты развѣяны по вѣтру. Остался одинъ мракъ, мракъ кругомъ.

Ганя, тяжело дыша, оглядѣлась. А мракъ разстилался все гуще, все непроглядиѣе; все тоскливѣе шумѣли волны. И все, что пережила Ганя за послѣднее время, всѣ люди, которыхъ она встрѣтила здѣсь, всѣ ея мечты, порывы, увлеченія показались ей такими пошлыми, ничтожными, жалкими. Тамъ, у тетки, ложь, пошлость, безсмысленные разговоры, пьянство, взаимное предательство изъ-за гроша; у Хотынцевыхъ—глухая борьба, отчаяніе, нужда, придавленность. Вездѣ торжествуетъ пошлость и продажность; предатели, эгоисты ликуютъ, обжираются, празднуютъ, а тѣ, немногіе, любящіе, добрые—они одиноки, покинуты, умираютъ въ нищетѣ, обезсиленные борьбой, оклеветанные... И тотъ, котораго полюбила, кому хотѣла отдать жизнь,—и тотъ солгалъ, обманулъ... Стоитъ ли послѣ всего этого жить? И зачѣмъ она пріѣхала въ этотъ проклятый городъ! Не все ли равно было остаться

на хуторѣ, выйти замужъ за помѣщика, разводить куръ, индюшекъ, ѣсть, спать, ни о чемъ не думать...

Нѣтъ, не стоитъ жить, не надо и не хочется жить!

Со стороны Николаевскаго моста послышались звучные шаги; эхо повторяло ихъ на противоположной сторонѣ набережной. Мужской голосъ напѣвалъ заунывную пѣсенку:

Посылали Ваню отецъ съ матерью
Во чисто поле жито жати,
Ой, да не хотѣлось Ванюшѣ идти!..

Ближе, ближе... туманъ заколыхался, и изъ сѣрыхъ волнъ его вынырнула высокая фигура, окутанная пледомъ. Пѣсенка оборвалась.

— Агаѳья Михайловна!

Ганя, вся дрожа, прижалась къ граниту и растерянно смотрѣла на Талыгина.

— Агаѳья Михайловна!—повторилъ Талыгинъ, всматриваясь сквозь прозрачную мглу ночи въ блѣдное испуганное лицо Гани. Что съ вами? Зачѣмъ вы здѣсь?

Ганя хотѣла улыбнуться, но не выдержала, прислонилась лбомъ къ холодному граниту и разразилась рыданіями. Казалось, грудь ея готова была разорваться, и все тѣло судорожно вздрагивало отъ мучительныхъ и жуткихъ ощущеній. Талыгинъ молча ждалъ, когда припадокъ кончится.

Наконецъ рыданія стихли, слезы были всѣ выплаканы, судорожная дрожь прекратилась. Ганя медленно подняла голову съ парапета, разобрала спутанные волосы и тихо проговорила:

— Это ничего... все пройдетъ. Я сейчасъ... домой... вы не безпокойтесь.

Талыгинъ мягко и нѣжно взялъ ея холодную руку.

— Нѣтъ, Агаѳья Михайловна, зачѣмъ вамъ торопиться домой? Пойдемте ко мнѣ,—я здѣсь близко. Отдохните, поговоримъ... Впрочемъ, если вы не хотите...

— Нѣтъ, нѣтъ, пойдемте! — перебила его Ганя порывисто, отвѣчая крѣпкимъ пожатіемъ на его пожатіе.—Пойдемте къ вамъ... Я не хочу домой... Я хочу сказать вамъ все.

— Ну вотъ и отлично! Только не здѣсь, въ этомъ проклятомъ туманѣ, отъ котораго въ горлѣ давитъ. Теперь еще не поздно,—хозяйка у меня баба добрая, самоварчикъ намъ поставитъ...

Онъ принялся болтать всякій вздоръ, не выпуская Ганиной руки и самъ громко смѣясь надъ своей болтовней, странно раз-

дававшейся по пустыннымъ безлюднымъ улицамъ, на которыхъ только изрѣдка попадались ночные извозчики, спросонья предлагавшіе ихъ прокатить. Ганя крѣпко опиралась на руку Талыгина и молчала, по временамъ всхлипывая, какъ ребенокъ.

На звонокъ имъ отворила заспанная хозяйка съ ночной лампочкой въ рукѣ.

— Господи, баринъ!—воскликнула она, увидѣвъ Талыгина.—Вотъ ужъ пропадали-то вы,—мы ужъ тутъ чего-чего не передумали! Столько народу васъ спрашивало...

— Ну, вотъ видите, — живъ, здоровъ и невредимъ!—весело отвѣчалъ Талыгинъ, помогая Ганѣ раздѣваться.—Давайте-ка намъ самоварчикъ скорѣе, да нѣтъ ли поѣсть чего-нибудь?

— Какъ не быть,—тамъ у меня и биштекъ вамъ оставленъ, и пирогъ есть, только кушайте!

— Ну вотъ и тащите,—ѣсть до смерти хочется.

Они вошли въ знакомую Ганѣ комнатку. Талыгинъ засвѣтилъ лампу и суетился, накрывая на столъ, со звономъ разставляя посуду и переговариваясь съ хозяйкой, стоявшей у дверей и сообщавшей ему разныя мелкія домашнія новости. Эта суетня, эти хозяйственныя хлопоты, посторонніе разговоры, тихій свѣтъ лампы, уютная студенческая комнатка,—все это произвело на Ганю успокоивающее дѣйствіе. Она отошла къ окну, въ темный уголокъ, закрыла лицо руками и снова заплакала. Но это были уже не тѣ горькія, разъѣдающія слезы отчаянія и безнадежности, какъ давеча, на набережной, когда она чувствовала себя всѣми покинутой, обманутой, а міръ—полнымъ злобы и печали. Нѣтъ, теперь передъ нею снова блеснулъ свѣтъ... она была не одна... а эта угрюмая ночь, этотъ туманъ, и шумъ волнъ, и раздирающая тоска—остались тамъ гдѣ-то, далеко-далеко, на берегу Невы, у ногъ гранитныхъ и безчувственныхъ сфинксовъ.

— Агаѳья Михайловна, самоваръ на столѣ!—сказалъ Талыгинъ, подходя къ ней.—Пойдемте-ка, чайку попьемъ, согрѣемся: я весь иззябъ, да и вы тоже... дьявольская сырость!

Онъ говорилъ весело и беззаботно, но въ голосѣ его чувствовалось волненіе. Ганя молчала и не отнимала руки отъ лица. Слезы лились беззвучно и обильно; ей было и стыдно... и свѣтъ становился все ярче и ярче въ ея душѣ.

— Агаѳья Михайловна...—Талыгинъ подвинулъ стулъ, сѣлъ около Гани и взялъ ее за руку.—Зачѣмъ вы это?.. Ну, зачѣмъ?.. не надо больше, не плачьте, голубушка! — мнѣ больно на васъ смотрѣть. Я ужасный эгоистъ; я не могу видѣть горя, когда не знаю, чѣмъ помочь. Скажите мнѣ, что надо сдѣлать?

— Ничего, ничего... это скоро пройдетъ, — говорила Ганя сквозь слезы.—Все это такіе пустяки... такъ ничтожно и... такъ стыдно... Ахъ, еслибы вы знали!..

И Ганя, въ внезапномъ порывѣ, словно въ бреду, сама себя перебивая то смѣхомъ, то слезами, разсказала Талыгину исторію своей первой и такой неудачной весенней любви.

Талыгинъ слушалъ молча, опустивъ голову и нахмуривъ брови. Когда Ганя кончила, онъ всталъ и долго ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, задумавшись.

— Ну, что же?..—сказалъ онъ, наконецъ, останавливаясь передъ Ганей и взглядывая на нее своими свѣтлыми глазами.—Конечно, все это было очень тяжело, но... вѣдь это кончено теперь, да?

— Совсѣмъ и навсегда...—рѣшительно сказала Ганя.

— А еслибы вдругъ... вы опять встрѣтились съ нимъ? И еслибы онъ сталъ раскаяваться?.. умолять... звать опять съ собою— что бы вы сдѣлали?

Ганя подумала и съ загорѣвшимися глазами, съ вспыхнувшимъ румянцемъ на щекахъ, воскликнула.

— Я бы сказала ему: нѣтъ и нѣтъ!

— Ну вотъ и отлично!—сказалъ Талыгинъ и протянулъ ей руку.—Вы молодецъ, Агаѳья Михайловна!—ужъ одно то, что вы не побоялись разсказать все это безъ всякаго ложнаго стыда, съ такой безпощадной правдивостью, показываетъ, какая сильная у васъ натура. Мы еще съ вами поживемъ, поработаемъ, вотъ увидите!

— Спасибо вамъ, Талыгинъ!—горячо проговорила Ганя.—Вы меня ободряете... А не встрѣться я съ вами давеча,—не знаю, что было бы... Глядя на васъ, мнѣ опять хочется жить и любить людей.

— И будемъ жить! А благодарите вы меня напрасно,—сучьто не во мнѣ, а въ васъ самихъ. Будь на моемъ мѣстѣ Роза Абрамовна, или Серафима Александровна, или Орѣшниковъ, даже просто нищій какой-нибудь—все равно! Вамъ нуженъ былъ реагентъ, чтобы вызвать реакцію,—вотъ я случайно и явился этимъ реагентомъ... Впрочемъ, къ чорту химію! Вотъ вамъ такъ спасибо за ваше довѣріе!.. Что это вы улыбаетесь, Агаѳья Михайловна?

— Смѣшно, что мы съ вами въ благодарностяхъ другъ передъ другомъ разсыпаемся...

— Что же, это прекрасно! И что вы шутить начали—это тоже великолѣпно. Я, знаете, даже радъ, что все это такъ вышло.

Непохоже какъ-то на обыденщину, которая до смерти опротивѣла. Ну, подумайте сами, не странно ли это, не похоже ли на сонъ:— встрѣтились гдѣ-то на набережной, ночью; всѣ спятъ, а мы сидимъ, толкуемъ...

— Да, странно,—прошептала Ганя задумчиво.— Я желала бы, чтобы все это было сонъ...

— Ну и пусть будетъ сонъ!—перебилъ Талыгинъ, замѣтивъ, что его слова вызвали снова въ Ганѣ печальныя воспоминанія.— Будемъ завтра вспоминать обо всемъ этомъ, какъ о сновидѣніи, а теперь давайте сядемъ, будемъ чай пить и разговаривать. Я ужасно много хочу вамъ сказать.

Было уже утро, когда Ганя возвращалась отъ Талыгина домой. Туманъ разсѣялся, и солнце вставало надъ Петербургомъ умытое, веселое; неподвижная Нева скатертью разстилалась въ своихъ берегахъ; куполъ Исакія ослѣпительно сверкалъ въ безоблачномъ блѣдноголубомъ небѣ. На улицахъ было еще пусто и тихо; только кучки рабочихъ съ глухимъ говоромъ шли по тротуарамъ, да на набережной уже начиналась обычная жизнь. Маленькій финляндскій пароходикъ собирался отчаливать отъ пристани, и въ утреннемъ воздухѣ особенно отчетливо слышалось шипѣніе паровой машины и голоса матросовъ. Ганя быстро шла, жадно вдыхая въ себя воздухъ и съ особенной внимательностью всматриваясь во все окружающее. Эта маленькая драма, разыгравшаяся въ ея жизни, эта странная ночь, похожая на сонъ, и особенно послѣдній разговоръ съ Талыгинымъ переломили всю жизнь ея пополамъ. Все то, что было до этой ночи,—ея пріѣздъ въ Петербургъ, ея мечты, знакомство съ Селищевымъ, любовь, его письмо и ея отчаяніе—казалось ей дѣтскимъ сномъ, фантастическою сказкой, призрачной иллюзіей... Взошло солнце—и призракъ исчезъ; съ нынѣшняго дня для нея начиналась настоящая жизнь,—жизнь-трудъ, жизнь-борьба, и Ганя радостно, съ надеждой и любовью, расширявшей ея сердце, всматривалась въ загорѣлыя лица встрѣчавшихся ей рабочихъ. Да, она знаетъ теперь, что надо ей дѣлать и куда идти... И она пойдетъ, несмотря ни на что; она ничего не боится и ни передъ чѣмъ не остановится. Прощай, мечты и сны, и сумрачные призраки пробуждающейся души! Здравствуй, солнце и свѣтъ, борьба и трудъ! Впередъ, на встрѣчу къ вамъ!.. Вдругъ Ганя вздрогнула и остановилась,— глаза ея загорѣлись, на щекахъ выступилъ румянецъ. Передъ нею, неподвижно лежа на своихъ массивныхъ пьедесталахъ, вы-

сились сумрачныя фигуры сфинксовъ. Солнце грѣло ихъ гранитные бока, но отъ нихъ вѣяло холодомъ, и лица ихъ по прежнему загадочно и зловѣще улыбались. Ганя вызывающе подняла голову и взглянула на нихъ... „Смѣйтесь, смѣйтесь!—прошептала она:—я васъ не боюсь, я ничего теперь не боюсь...“ И, не оглядываясь больше назадъ, она удалилась. Сфинксы провожали ее насмѣшливымъ взглядомъ.

В. Дмитріева.

РОССІЯ и АНГЛІЯ

въ

НАЧАЛѢ XIX-го СТОЛѢТІЯ.

Съ половины XVI вѣка, когда начались сношенія между Россіею и Англіею, обѣ державы постоянно были связаны узами тѣснѣйшей дружбы и крѣпкаго союза. Обѣ державы не знали причинъ для вражды: владѣнія ихъ не соприкасались, и эксплуатація торговыхъ оборотовъ совершалась со стороны англичанъ систематическимъ и безпрепятственнымъ образомъ. Чѣмъ пассивнѣе было участіе русскаго народа въ международныхъ торговыхъ оборотахъ, чѣмъ больше предпріимчивости и умѣнья эксплуатировать чужіе, неразвитые въ экономическомъ отношеніи, народы показывали англичане, тѣмъ больше „Московія“ и Россія должны были сдѣлаться предметомъ обогащенія и эксплуатаціи для англійскаго народа.

Русскіе государи и государственные дѣятели были проникнуты убѣжденіемъ, что сама природа создала изъ Россіи и Англіи „естественныхъ друзей“.

„Самый древній союзъ,—доказывалъ въ 1745 году канцлеръ гр. Бестужевъ-Рюминъ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ,—съ королемъ великобританскимъ, ибо онъ основанъ на взаимной безопасности обѣихъ коронъ относительно Швеціи, Даніи, Пруссіи и Польши, на взаимномъ благѣ обоихъ государствъ и на торговлѣ. Англичане ежегодно продаютъ и покупаютъ здѣсь товаровъ болѣе чѣмъ на милліонъ рублей, и такъ какъ покупаютъ болѣе, чѣмъ продаютъ, то болѣе полумилліона оставляютъ здѣсь чистыми

деньгами. Петръ Великій такъ увѣренъ былъ въ необходимости постоянной дружбы съ Англіею, что и во время ссоры своей съ англійскимъ королемъ Георгомъ I, по мекленбургскимъ дѣламъ, старался соблюдать дружбу съ Англіею" [1]).

Гр. Бестужевъ-Рюминъ самъ назвалъ свой докладъ „слабѣйшимъ мнѣніемъ", которое, однако, восторжествовало и привело въ 1747 году къ заключенію новой союзной конвенціи съ Англіею" [2]).

Императрица Екатерина II также сознавала огромную пользу для Россіи союза и дружбы съ Англіею. Она также была убѣждена, что „нѣтъ натуральнѣе союза", какъ между Россіею и Англіею, и что „всякое пріобрѣтеніе Россійской имперіи и умноженіе консидераціи ея въ Европѣ не можетъ инако, какъ пріятно быть англійскому королю, равно какъ и аваншансы Англіи намъ".

Главнѣйшій совѣтникъ императрицы въ дѣлахъ внѣшней политики, гр. Н. П. Панинъ, совершенно былъ проникнутъ такими же идеями насчетъ отношеній Россіи и Англіи. Въ основаніе своего знаменитаго „сѣвернаго акорта" европейскихъ державъ гр. Панинъ положилъ тѣснѣйшій союзъ между Россіею и Англіею.

„Локальное положеніе земли,—писалъ гр. Панинъ въ 1766 г. своему другу графу Чернышеву въ Лондонѣ,—ея народа, на формѣ правленія основанный образъ мыслей и существительныя изъ земли произростаемыя силы и рессурсы опредѣляютъ несомнѣнно то самое существо, которымъ каждая земля себя почитать должна. Изслѣдывая во всѣхъ частяхъ оное, вы, мой любезный другъ, сами несомнѣнно удостовѣритесь, что какъ Англіи невозможно никогда себя главнѣйше счесть сухопутною державою, такъ и мы, напротивъ того, не потерявъ всѣхъ нашихъ авантажей, настоящую нашу въ Европѣ знатность, равно не можемъ облечься въ одни виды морской державы". Отсюда гр. Панинъ сдѣлалъ слѣдующее заключеніе: Англіи, какъ морской державѣ, нужны сухопутныя силы Россіи; Россіи же, какъ сухопутной державѣ, потребны флотъ и морскія силы Англіи.

Надо замѣтить, что такой взглядъ на взаимныя отношенія обѣихъ державъ вполнѣ раздѣлялся англійскими государственными людьми прошедшихъ вѣковъ.

„Россія и Англія,—говорилъ знаменитый Питтъ въ 1786 г. графу С. Р. Воронцову,—не будучи по естественному ихъ поло-

---

[1]) *Соловьевъ.* Исторія Россіи, т. XXII, стр. 48.—„Собраніе трактатовъ, заключенныхъ Россіею", т. X, стр. 136 и слѣд.

[2]) Наше „Собраніе трактатовъ", т. X, № 337—389.

женію никогда въ нуждѣ воевать между собою, всегда должны жить въ дружбѣ и союзѣ".

Этой системѣ взаимной и многовѣковой дружбы между Россіею и Англіею силою обстоятельствъ были нанесены, съ конца прошлаго вѣка до настоящаго времени, два сильныхъ, роковыхъ удара.

Во-первыхъ, учрежденіемъ императрицы Екатерины II союза перваго вооруженнаго нейтралитета господству Англіи надъ морями былъ положенъ точно опредѣленный предѣлъ.

Во-вторыхъ, наступательнымъ шествіемъ Россіи въ Средней Азіи поставленъ былъ вопросъ о дальнѣйшемъ исключительномъ господствѣ Англіи въ этой части азіатскаго континента и въ частности вопросъ о владычествѣ ея надъ Индіею.

Провозглашая въ 1780 году свои извѣстныя начала о правахъ нейтральной торговли, Екатерина II рѣшилась, въ случаѣ надобности, поддерживать ихъ силою и заставить англійское правительство уважать неприкосновенность не только русской нейтральной торговли, но равнымъ образомъ неприкосновенность правъ и интересовъ всякой нейтральной державы, примкнувшей къ Екатерининскимъ началамъ и основанному на нихъ союзу нейтральныхъ державъ. Англійское правительство принуждено было измѣнить инструкціи, данныя англійскимъ крейсерамъ и каперамъ. Оно должно было признаться, что вооруженный нейтралитетъ, больше чѣмъ какой-либо другой международный актъ, нарушилъ „законныя права и интересы" англійскаго народа [1]). Со времени вооруженнаго нейтралитета укрѣпилось въ англійскомъ народѣ чувство недовѣрія и недоброжелательства по отношенію къ Россіи, которое до того момента не существовало. Это положительный, несомнѣнный фактъ.

Такое чувство недовѣрія все ярче и ярче стало обнаруживаться съ конца прошлаго столѣтія въ сферѣ интересовъ, связанныхъ съ восточнымъ вопросомъ. Оно получило твердую и незыблемую почву со времени поступательнаго движенія Россіи въ Средней Азіи и приближенія ея къ англійскимъ владѣніямъ въ Индіи, то-есть съ начала шестидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія.

Вотъ почему царствованіе императрицы Екатерины II составляетъ эпоху въ международныхъ отношеніяхъ Россіи къ Англіи. Великая императрица высоко цѣнила дружбу и союзъ Англіи. Она питала глубокое уваженіе къ соціальнымъ и государственнымъ порядкамъ этого государства. Намъ извѣстно, что она съ

[1]) Сравн. „Собраніе трактатовъ", т. X, стр. 259 и слѣд.

большимъ рвеніемъ изучала эти порядки и въ особенности знаменитый трактатъ Блакстона: „Комментаріи на англійскіе законы". Еще сохранился экземпляръ этого сочиненія съ собственноручными весьма любопытными замѣчаніями императрицы.

Но въ то же время императрица была вполнѣ проникнута сознаніемъ достоинства и пользы своего народа. Провозглашая извѣстные законы права нейтралитета въ 1780 году и учреждая вооруженный союзъ европейскихъ державъ для ихъ защиты, императрица обнаружила глубокое пониманіе не только пользы русскаго мореплаванія и торговли, но также законныхъ стремленій и интересовъ другихъ народовъ.

Императоръ Павелъ I продолжалъ, въ этомъ отношеніи, традиціонную политику Россіи въ отношеніи Англіи. Къ унаслѣдованнымъ основаніямъ дружбы съ этою державою присоединилась еще съ 1789 года непримиримая ненависть императора къ французской революціи и къ ея дѣятелямъ. Павелъ I былъ убѣжденъ, что только на короля англійскаго Георга III можно было положиться въ борьбѣ, начатой имъ противъ идей французской революціи. Въ 1798 году былъ заключенъ союзный трактатъ между Россіею и Великобританію, который долженъ былъ связать неразрывными узами судьбы обоихъ народовъ.

Справедливость требуетъ признать, что императоръ Павелъ I рыцарски исполнялъ принятыя на себя, по отношенію къ Англіи, обязательства. Во исполненіе желанія англійскаго правительства русская армія, подъ начальствомъ Римскаго-Корсакова, была отправлена въ Швейцарію для защиты древнихъ порядковъ этой „интересной" страны противъ „французскихъ разбойниковъ". Въ 1799 году англійское правительство просило у императора армію въ 40—45.000 человѣкъ для совмѣстныхъ дѣйствій съ англійскими войсками въ Голландіи противъ французскихъ военныхъ силъ. И это требованіе было исполнено, несмотря на то, что уже двѣ русскія арміи дѣйствовали противъ „неистовой французской республики".

„Влекомы будучи,—писалъ Павелъ I своему посланнику въ Лондонѣ, графу С. Р. Воронцову,—онымъ (усердіемъ) и желаніемъ споспѣшествовать особенно благимъ видамъ его британскаго величества, мы, сообразуя возможности наши, тотчасъ рѣшились дать 17 баталіоновъ съ нужною артиллеріею и повелѣли министерству нашему заключить неукоснительно конвенцію съ министромъ аглицкимъ, касательно содержанія войскъ и транспортовъ, кои мы изъ вооруженной нашей эскадры удѣлить согласились".

Понятно, что король англійскій и его министры не уставали

превозносить русскаго императора какъ „спасителя Европы". Лордъ Гренвилль, бывшій въ 1799 году во главѣ англійскаго Foreign Office, доказывалъ графу Воронцову, насколько счастливо для міра, что два государства, изъ которыхъ одно сильнѣйшее на сушѣ, а другое на морѣ, связаны между собою такимъ естественнымъ союзомъ, который никогда не долженъ ни прерваться, ни ослабнуть. Эти же два государства управляются государями „одинаково добродѣтельными и другъ друга любящими и почитающими". Такимъ образомъ, по мнѣнію англійскихъ государственныхъ людей послѣднихъ годовъ прошлаго вѣка, окончательное торжество Англіи и Россіи надъ „преступною" французскою республикою не подлежало ни малѣйшему сомнѣнію.

Событія доказали прямо противоположное: французская революція въ лицѣ Наполеона I восторжествовала на всѣхъ пунктахъ.

Дружба и союзъ между Россіею и Англіею были прерваны въ 1800 году совершенно неожиданнымъ разрывомъ, который, правда, въ значительной степени объясняется вспыльчивымъ характеромъ Павла I. Но были также другія причины. Вѣроломный образъ дѣйствій Австріи заставилъ его, прежде всего, разорвать союзъ съ этою державою. Вслѣдъ затѣмъ, пораженіе, нанесенное французами арміи Римскаго-Корсакова на поляхъ швейцарскихъ, плачевный исходъ англо-русской экспедиціи въ Голландіи, подъ начальствомъ бездарнаго герцога Іоркскаго, назначеннаго командующимъ этой экспедиціи, вопреки категорическому протесту русскаго императора—все это вмѣстѣ взятое разгнѣвало Павла I настолько, что онъ приказалъ англійскому посланнику въ С.-Петербургѣ, Витворту, немедленно выѣхать изъ Россіи.

Кромѣ того, высочайшими указами былъ остановленъ платежъ русскими подданными долговъ англичанамъ и секвестръ былъ наложенъ на всѣ англійскіе суда и товары въ лавкахъ и магазинахъ.

Не касаясь теперь всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя привели къ разрыву 1800 года и къ возстановленію прежнихъ добрыхъ отношеній между Россіею и Англіею со времени вступленія Александра I на престолъ, мы въ основаніе этого очерка положимъ почти исключительно документы, извлеченные изъ архивовъ министерства иностранныхъ дѣлъ и еще не обнародованные.

I.

„Никогда,—писалъ въ маѣ 1799 года графъ Воронцовъ изъ Лондона своему правительству,—не было иностраннаго Государя столь искренно отъ всѣхъ любимаго и почитаемаго на семъ островѣ, какъ россійскій императоръ, нынѣ столь славно царствующій". Императоръ Павелъ I, съ своей стороны, продолжалъ выказывать полное довѣріе къ лондонскому кабинету и совершенную готовность поддерживать его въ борьбѣ съ Франціею.

„Желая во всѣхъ случаяхъ,—писалъ государь графу Воронцову въ Лондонъ, 17-го августа 1799 года,—подавать е. в. королю великобританскому новыя увѣренія искренней дружбы нашей, предлагаю еслибъ вслѣдствіе какихъ-либо покушеній французскаго правленія на берега Великобританіи или же Ирландіи востребовалась нужда въ умноженіи силъ, въ таковомъ случаѣ употребить всѣ мои войска, назначенныя въ голландскую экспедицію".

Императоръ Павелъ I высказывалъ также англійскому послу, кавалеру Витворту, полное свое удовольствіе по поводу его стараній поддерживать самыя близкія сношенія между Англію и Россіею.

„Усердіе,—писалъ государь 2-го ноября 1798 года къ русскому послу въ Лондонѣ,—оказуемое англинскимъ министромъ кавалеромъ Витвортомъ къ сохраненію и утвержденію дружбы и наилучшаго согласія между нами и королемъ великобританскимъ, такъ и вообще похвальное его поведеніе пріобрѣло особливое наше къ нему благоволеніе и уваженіе. Въ доказательство того мы желаемъ его почтить большимъ крестомъ ордена св. Іоанна Іерусалимскаго".

Такой дружественный характеръ сохранили взаимныя отношенія между Россіею и Англіею до конца 1799 года. Даже въ самомъ началѣ 1800 года нельзя было предвидѣть того полнаго и безповоротнаго разрыва, который случился въ маѣ 1800 года. Можно только констатировать примѣты приближающейся грозы, которой послѣдствія, однако, никто предсказать не могъ.

Когда въ Лондонѣ было получено извѣстіе о разрывѣ между Россіею и Австріею, англійское правительство сильно призадумалось [1]). По его мнѣнію, этотъ разрывъ служилъ новымъ доказательствомъ превосходной тактики французовъ, которые сѣютъ раздоръ между союзниками и потомъ въ мутной водѣ ловятъ рыбу.

[1]) См. „Собр. трактатовъ", т. II, стр. 365 и слѣд.

По мнѣнію Питта, необходимо предупредить всѣми силами соединеніе Австріи съ Франціею. Лучшее же средство слѣдующее: „нужно сдѣлать оба эти государства сосѣдними, съ цѣлью поддерживать такимъ сосѣдствомъ ту непріязненность, которая всегда существуетъ между сопредѣльными государствами". Вотъ почему англійское правительство предложило передать Австріи весь Піемонтъ [1]).

Но больше всего боялся с.-джемскій кабинетъ выхода Россіи изъ коалиціи противъ Франціи, въ то самое время, когда, по его мнѣнію, „уничтоженіе французской республики" не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Англійскій министръ иностранныхъ дѣлъ, лордъ Гренвилль, не могъ допустить мысли, чтобы императоръ Павелъ I оставилъ короля англійскаго, „который имѣетъ право на его дружбу и довѣріе", и который убѣжденъ, „что русскій императоръ его наиболѣе вѣрный другъ и союзникъ".

Императоръ Павелъ I нисколько не намѣренъ былъ, послѣ разрыва съ Австріею, сблизиться съ Франціею. Но въ то же время онъ полагалъ, что Англіи нѣтъ надобности „безконечно" воевать съ французами. Онъ доказывалъ англійскому королю, что наступило время для открытія мирныхъ переговоровъ съ Франціею. Онъ предложилъ созвать въ С.-Петербургѣ мирный конгрессъ.

По его мнѣнію, условія мира могутъ быть слѣдующія: 1) Бельгія присоединяется къ Голландіи; 2) Франція получаетъ прежнія границы; 3) status quo ante bellum возстановляется по всей Италіи; 4) то же самое въ германской имперіи; 5) прусскому королю слѣдуетъ дать удовлетвореніе на Рейнѣ, и, наконецъ, 6) „Англіи оставить за собою завоеванія ея въ обѣихъ Индіяхъ".

Къ этому изложенію мирныхъ условій императоръ прибавилъ слѣдующее опредѣленіе своего собственнаго положенія: „Мое положеніе собственно противъ Франціи таково, что, бывъ вспомогательною державою противъ ея въ теченіе сей войны, отставъ отъ союза, вхожу въ прежнее мое положеніе и не имѣю нужды трактовать съ нею безпосредственно. Признать же ее республикою буду послѣдній въ Европѣ и не прежде какъ по учиненіи сего Англіею" [2]).

Графу Воронцову высочайше повелѣно было вести переговоры съ лондонскимъ дворомъ на указанныхъ основаніяхъ. Государь былъ увѣренъ въ благополучномъ ихъ исходѣ, надѣясь на искусство своего представителя въ Лондонѣ. „Я жду успѣха,—

[1]) Депеша гр. Воронцова, отъ 18-го (29-го) октября 1799 года.

[2]) Рескриптъ къ гр. Воронцову, отъ 15-го октября 1799 года.

писалъ онъ послу,—отъ добрыхъ расположеній министерства англійскаго и усердія вашего къ пользѣ службы нашей; къ чему много послужитъ уваженіе, справедливо вами заслуженное въ той землѣ, гдѣ вы столь давно и столь благородно исправляете важную должность на васъ возложенную".

Англійское правительство не сочувствовало ни созванію мирнаго конгресса въ Петербургѣ, ни предложенію русскаго императора высказаться насчетъ условій „общаго примиренія". Оно полагало, что еще не наступило время для откровенности относительно условій будущаго мира въ особенности потому, что предложенныя императоромъ Павломъ I условія далеко не удовлетворяли Англію. Съ другой стороны, с.-джемскій кабинетъ также находилъ, что для мирнаго конгресса слѣдуетъ выбрать болѣе центральный въ Европѣ городъ, напр. Дюссельдорфъ.

Такое отрицательное отношеніе къ его предначертаніямъ должно было дѣйствовать раздражительнымъ образомъ на Павла I. Это раздраженіе еще усилилось, когда онъ получилъ извѣстіе о полной неудачѣ русско-англійской экспедиціи въ Голландіи и о плѣнѣ генерала Германа съ тысячью русскихъ офицеровъ и солдатъ. Предсказаніе государя насчетъ неспособности главнокомандующаго этой экспедиціи герцога Іоркскаго блистательнымъ образомъ подтвердилось [1]).

Между тѣмъ Англія продолжала требовать отъ Россіи свѣжихъ войскъ для войны противъ Франціи. Тогда Павелъ I, въ ноябрѣ 1799 года, объявилъ с.-джемскому кабинету, что онъ рѣшительно отказывается исполнить его желаніе. Русскимъ войскамъ, участвовавшимъ въ голландской экспедиціи, было повелѣно зиму провести на островахъ Жернсей и Гуэрнсей, а весною возвратиться въ Россію.

Въ апрѣлѣ 1800 года это рѣшеніе было подтверждено въ еще болѣе категорической формѣ. Графъ Ростопчинъ писалъ, по высочайшему повелѣнію, графу Воронцову: „что давъ уже рѣшительное повелѣніе о возвращеніи россійскихъ войскъ, въ голландской экспедиціи бывшихъ, его императорское величество не изволилъ входить ни въ какія подробности насчетъ будущихъ военныхъ дѣйствій".

Когда гр. Воронцовъ получилъ такое высочайшее повелѣніе въ Лондонѣ, полный разрывъ между Россіею и Англіею былъ уже совершившимся фактомъ. Можно думать, что одною изъ главнѣйшихъ причинъ гнѣва императора Павла I были замыслы Англіи на-

[1]) См. „Собраніе трактатовъ", т. X, стр. 429 и слѣд.

счетъ острова Мальты, захваченнаго Наполеономъ въ 1798 году. Императоръ, какъ гроссмейстеръ мальтійскаго ордена, долженъ былъ обвинять англичанъ въ оплошности, благодаря которой Наполеонъ могъ занять этотъ островъ. Но когда затѣмъ англійское правительство выражало намѣреніе отнять островъ отъ французовъ, Павелъ I опасался, что оно его не возвратитъ мальтійскому ордену.

Англійское правительство энергическимъ образомъ опровергало такое предположеніе. „Король отрекается за себя,—писалъ въ 1799 году лордъ Гренвилль послу Витворту въ Петербургѣ,—отъ всякой мысли или желанія удерживать за собою островъ Мальту какъ британское владѣніе". Англійскій посолъ подалъ гр. Ростопчину записку, въ которой онъ съ гнѣвомъ опровергаетъ „эти низкія и подлыя инсинуаціи вѣнскаго двора". Только этотъ дворъ могъ распространить такія сказки насчетъ англійскаго правительства, которое не питаетъ никакихъ „вѣроломныхъ намѣреній" насчетъ острова Мальты.

Эти постоянныя увѣренія въ безкорыстіи англійской политики вообще и въ отношеніи острова Мальты въ частности могли только укрѣпить естественную подозрительность императора Павла I. Но сначала онъ подалъ видъ, что вѣритъ въ искренность заявленій лондонскаго двора. Онъ съ удовольствіемъ принимаетъ мысль о содержаніи общаго гарнизона изъ русскихъ и англійскихъ войскъ на островѣ Мальтѣ. Въ январѣ 1799 года государь назначаетъ кн. Волконскаго командиромъ русскаго гарнизона на островѣ, на которомъ все еще находились французскія войска. Только въ сентябрѣ 1800 года Англія успѣла захватить этотъ островъ.

Однако неудовольствіе императора Павла I постоянно возростало противъ англійскаго правительства. Нескончаемыя придирки, которыя оно дѣлало при уплатѣ обѣщанныхъ субсидныхъ денегъ, серьезнымъ образомъ раздражали его, безъ того, нервный нравъ [1]). Накипѣвшее неудовольствіе прежде всего обрушилось на англійскаго посла при с.-петербургскомъ дворѣ, къ которому императоръ всегда относился съ большимъ расположеніемъ: онъ потребовалъ его отозванія изъ С.-Петербурга. Вотъ что мы читаемъ въ рескриптѣ императора на имя гр. Воронцова, отъ 1 февраля 1800 года.

„Имѣя давно уже причину быть недовольнымъ поведеніемъ

[1]) Неучтивость англійскаго посла въ Стокгольмѣ, не сдѣлавшаго русскому посланнику прощальнаго визита, окончательно раздражила императора. (См. „Бумаги гр. Н. П. Панина", изд. Брюкнеромъ, т. V, стр. 161).

кавалера Витворта въ теперешнихъ обстоятельствахъ, когда нужны миръ и согласіе, дабы избѣгнуть отъ непріятныхъ слѣдствій, какія могутъ произойти отъ пребыванія при моемъ дворѣ лживыхъ министровъ, желая, дабы кавалеръ Витортъ былъ отозванъ, о чемъ вы, сообща аглицкому министерству, требуете назначенія другого министра, и коль скоро выборъ воспослѣдуетъ, то мнѣ о семъ дайте знать. *Павелъ*".

Но императоръ Павелъ не остановился въ своемъ гнѣвѣ требовать только отозванія англійскаго посла: онъ пошелъ дальше и повелѣлъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ не выдавать послу паспортовъ для отправленія ихъ дипломатическаго курьера съ донесеніями въ Лондонъ. Всѣ настоятельныя просьбы англійскаго посла объяснить ему причину такого небывалаго распоряженія оставались безъ отвѣта. Всѣ учтивые протесты самого англійскаго правительства, доказывавшаго, что ни одно правительство не имѣетъ права лишить аккредитованныхъ при немъ иностранныхъ дипломатовъ возможности поддерживать сношенія съ своими дворами, оставались безъ результата. Императоръ остался настолько непоколебимъ, что даже самому послу, отозванія котораго онъ потребовалъ, сначала было отказано въ выдачѣ паспорта. Только черезъ нѣкоторое время лордъ Витортъ получилъ паспортъ для выѣзда изъ предѣловъ Россіи.

По отъѣздѣ посла дѣлами англійскаго посольства управлялъ повѣренный въ дѣлахъ. Ему также было отказано въ выдачѣ паспортовъ для отправленія въ Лондонъ дипломатическихъ курьеровъ. Когда англійскій повѣренный въ дѣлахъ осмѣлился протестовать противъ такого распоряженія, графъ Панинъ объявилъ ему, на словахъ, слѣдующее высочайшее повелѣніе:

„Его императорское величество, ознакомившись съ вашею запискою, мнѣ повелѣть соизволилъ объявить вамъ, что онъ не имѣетъ дать вамъ никакого объясненія, ибо государи только одному Господу Богу даютъ отчетъ о своихъ поступкахъ; что каждый монархъ—государь въ своемъ государствѣ; что его императорское величество никому не мѣшаетъ, и что такъ какъ постъ россійскаго посла въ Лондонѣ не замѣщенъ послѣ отставки графа Воронцова, е. в. король великобританскій можетъ не назначать преемника лорду Витворту".

Это заявленіе было сдѣлано англійскому повѣренному въ дѣлахъ 25-го мая 1800 года. Но наканунѣ, 24-го мая, Ростопчинъ уже имѣлъ высочайшее повелѣніе выслать этого дипломата изъ предѣловъ имперіи за то, что онъ осмѣливался оспаривать законность отказа въ выдачѣ паспортовъ дипломатическимъ курьерамъ.

Англійскій повѣренный въ дѣлахъ, вмѣстѣ со всѣмъ посольствомъ, дѣйствительно покинулъ Россію въ іюнѣ 1800 года.

Для графа Воронцова, душевно полюбившаго Англію, такой оборотъ былъ громовымъ ударомъ. Онъ старался защищать образъ дѣйствій англійскаго правительства, доказывая, что оно всегда добросовѣстнымъ образомъ исполняло принятыя на себя обязательства. Отвѣтъ на такую смѣлость не замедлилъ прибыть въ Лондонъ.

Въ высочайшемъ рескриптѣ, отъ 13-го апрѣля 1800 года было сказано слѣдующее:

„Господинъ генералъ отъ инфантеріи графъ Воронцовъ! Находя по малому числу настоящихъ дѣлъ, что присутствіе ваше въ Англіи не совсѣмъ можетъ быть нужно, позволяю вамъ употребить сіе время на исправленіе здоровья вашего; для чего и отправьтесь вы къ водамъ на континентѣ, оставя на время отсутствія вашего при великобританскомъ дворѣ повѣреннымъ въ дѣлахъ дѣйств. ст. сов. Лизакевича. *Павелъ*“.

Графъ Воронцовъ былъ озадаченъ этою монаршею немилостію. Онъ униженнымъ образомъ просилъ прощенія и, наконецъ, умолялъ государя разрѣшить ему совсѣмъ покинуть государственную службу и поселиться въ Англіи, гдѣ онъ успѣлъ акклиматизироваться. Дѣйствительно, въ іюнѣ 1800 года гр. Воронцовъ вышелъ въ отставку и поселился въ Англіи.

При такихъ обстоятельствахъ прекратились дипломатическія сношенія между Россіею и Англіею.

Гнѣвъ императора Павла I на „вѣроломную“ Англію дошелъ до крайнихъ предѣловъ, когда англичане захватили островъ Мальту. Тогда онъ повелѣлъ принять жестокія репрессивныя мѣры противъ Англіи и англичанъ въ Россіи.

Высочайшимъ указомъ, отъ 22-го ноября 1800 года, было повелѣно наложить секвестръ на всѣ англійскіе товары въ магазинахъ и лавкахъ [1]). Сверхъ того былъ пріостановленъ платежъ англичанамъ всѣхъ долговъ. Наконецъ, на основаніи высочайше утвержденнаго доклада коммерцъ-коллегіи, была учреждена ликвидаціонная коммиссія для долговыхъ между русскими и англійскими купцами разсчетовъ [2]).

---

[1]) Полное собр. законовъ, № 19660.

[2]) Полное собр. законовъ, № 19667.

II.

Восшествіе на престолъ императора Александра I совершенно измѣнило положеніе вещей.

На основаніи высочайшаго повелѣнія гр. Паленъ извѣщаетъ гр. С. Р. Воронцова, поселившагося въ Соутгамптонѣ, объ этомъ событіи письмомъ отъ 13 марта 1801 г., которое начиналось слѣдующими словами: „Внезапная кончина Е. В. Императора Павла I, послѣдовавшая отъ апоплексическаго удара въ ночь съ 11 на 12 марта, возвела на престолъ надежду и любовь народа—августѣйшаго Александра". Вновь воцарившійся государь поставилъ себѣ цѣлью возстановить прежнія дружескія отношенія съ Англіею, всегда существовавшія между обоими государствами. Графу Воронцову поручается сдѣлать такого содержанія объявленіе англійскому правительству и прибавить, что онъ самъ будетъ назначенъ императорскимъ посланникомъ, когда только будетъ извѣстно лицо, назначенное с.-джемскимъ кабинетомъ англійскимъ посланникомъ въ С.-Петербургѣ.

„Нашъ августѣйшій Государь,—продолжаетъ гр. Паленъ,—желая возстановленія добраго согласія между обоими государствами, естественно готовъ тому содѣйствовать всѣми средствами, согласными съ самою строгою справедливостью. Онъ ставитъ только одно положительное условіе, долженствующее служить основаніемъ для возстановленія прежнихъ отношеній, а именно признаніе со стороны Великобританіи началъ морской конвенціи, только-что заключенной между сѣверными державами, постановленія которой, будучи совершенно согласны съ справедливостью, никоимъ образомъ не могутъ ни нарушать интересовъ Великобританіи, ни оскорблять ея достоинство. Они только имѣютъ цѣлью обезпечить безопасность торговли и мореплаванія нейтральныхъ державъ".

Эта инструкція, отправленная къ графу Воронцову въ Англію, не могла остановить исполненія распоряженій, сдѣланныхъ англійскимъ правительствомъ до воцаренія императора Александра I. Англійскій флотъ, подъ начальствомъ адмирала Паркера, вторгся чрезъ Зундъ въ Балтійское море. Адмиралъ Нельсонъ подвергъ бомбардированію Копенгагенъ съ цѣлью заставить Данію выдать флотъ и совершилъ такимъ образомъ дѣяніе, которое, по мнѣнію многихъ писателей по международному праву, составляетъ нарушеніе самыхъ святыхъ принциповъ правды и справедливости [1]).

[1]) *Calvo.* Droit international, t. IV, p. 166.

Наконецъ самъ адмиралъ Нельсонъ явился съ эскадрою въ ревельскую гавань, съ намѣреніемъ предпринять бомбардированіе Кронштадта.

Императоръ Александръ I по справедливости былъ возмущенъ настолько же образомъ дѣйствій англійскаго флота въ отношеніи Даніи, насколько появленіемъ его въ русскихъ территоріальныхъ водахъ. Графу Воронцову было написано 2-го мая, что образъ дѣйствій англійскаго правительства противорѣчитъ „британской честности и славѣ англійскаго имени“ (à la loyauté britannique et à la gloire du nom anglais). Гр. Воронцовъ долженъ былъ категорически требовать немедленнаго удаленія англійской эскадры изъ русскихъ водъ. Исполненіе этого требованія—conditio sine qua non всѣхъ дальнѣйшихъ переговоровъ.

По высочайшему повелѣнію гр. Паленъ обратился къ адмиралу Паркеру съ торжественной декларацією, въ которой требовалъ отъ него немедленно „остановить всѣ непріязненныя дѣйствія противъ флаговъ трехъ союзныхъ державъ до тѣхъ поръ, пока онъ не получитъ новыхъ приказаній отъ своего Государя“.

Адмиралу Нельсону было сдѣлано 8-го мая 1801 года контръ-адмираломъ Чичаговымъ заявленіе въ томъ смыслѣ, что Его Императорское Величество проникнутъ самыми искренними чувствами умѣренности и законности и потому охотно соглашается принять всѣ мѣры, которыя требуются для возстановленія мира между сѣверными державами и Англіею и, въ особенности, древней дружбы между Англіею и Россіею.

О какомъ-либо сопротивленіи со стороны Кронштадта адмиралу Нельсону не могло быть рѣчи, потому что, по донесенію Чичагова, эта крѣпость находилась въ такомъ плохомъ состояніи, что ее нельзя было защищать.

Оба англійскіе адмирала своевременно получили отъ своего правительства новыя миролюбивыя инструкціи, и адмиралъ Нельсонъ поспѣшилъ удалиться изъ русскихъ территоріальныхъ водъ, заявивъ предварительно, что онъ пріѣхалъ въ Россію только для выраженія своего почтенія воцарившемуся государю! Тогда Александръ I пригласилъ его быть его гостемъ въ С.-Петербургѣ. Но Нельсонъ не принялъ приглашенія.

Такимъ образомъ было предупреждено возникновеніе непосредственныхъ военныхъ дѣйствій между Россіею и Англіею. Но необходимо было закрѣпить возстановленіе мира и прежней дружбы между обоими государствами какимъ-нибудь формальнымъ актомъ. Разрѣшеніемъ этой задачи немедленно занялся графъ Никита Петровичъ Панинъ, назначенный въ концѣ марта 1801 года на

постъ вице-канцлера россійской имперіи, послѣ опалы, которой онъ подвергался при Павлѣ I.

Графу Панину дѣлали упрекъ, что онъ „слишкомъ англичанинъ", и что онъ вѣритъ въ естественную необходимость дружбы между Россіею и Англіею. Это убѣжденіе графа Панина немедленно обнаружилось въ первой же подробной инструкціи, данной имъ графу Воронцову, назначенному императорскимъ посломъ при с.-джемскомъ дворѣ.

Эта инструкція была подписана 6-го (18-го) апрѣля 1801 года. Въ ней указывается на двѣ главныя причины разрыва между обѣими державами: 1) образъ дѣйствій Англіи въ отношеніи острова Мальты и 2) интересы нейтральныхъ державъ. Теперь, когда вновь воцарившійся государь не гроссмейстеръ мальтійскаго ордена, прекратился личный интересъ русскаго императора къ этому острову. Что касается актовъ о правахъ нейтральныхъ, то „мы,—писалъ гр. Панинъ,—менѣе другихъ въ нихъ заинтересованы, но все-таки они сдѣлались для насъ общими обязательствами, которыя мы подписали".

Поэтому графу Воронцову апрѣльская инструкція вмѣняла въ обязанность постоянно имѣть въ виду обязательства, соединяющія Россію съ сѣверными державами: 1) морскую конвенцію Россіи съ Даніею отъ 4-го (16-го) декабря 1800 г.; 2) актъ приступленія къ ней Пруссіи, и 3) въ особенности секретную конвенцію съ Швеціею, отъ 5-го (17-го) декабря 1800 года. Всѣ эти акты препровождаются къ графу Воронцову. На основаніи шведско-русской конвенціи государь обязался не снимать эмбарго съ англійскихъ судовъ и англійской собственности, застигнутыхъ въ моментъ разрыва подъ русскою территоріальною властію, „раньше чѣмъ Швеція не получитъ отъ Англіи удовлетвореніе и вознагражденіе за убытки, на которыя она имѣетъ право, въ особенности за двоекратный незаконный захватъ этою державою конвоируемыхъ шведскихъ судовъ".

Государь вполнѣ сознаетъ, что добиться отъ Англіи признанія началъ вооруженнаго нейтралитета будетъ весьма трудно. Этотъ вопросъ надо предоставить „будущимъ переговорамъ". Но государь проникнутъ настолько же уваженіемъ къ заключеннымъ трактатамъ, насколько желаніемъ „выразить должное почтеніе и сыновнюю любовь къ памяти своего августѣйшаго родителя, заявляя, что обязательства, заключенныя умершимъ государемъ, сохраняютъ свою силу". На основаніи этихъ соображеній Россія должна дѣйствовать сообща съ Пруссіею, Даніею и Швеціею во

всѣхъ мѣропріятіяхъ, имѣющихъ цѣлью возстановить доброе согласіе съ Англіею.

Но чтобы доказать искреннее свое желаніе скорѣе достигнуть этой цѣли, государь уже сдѣлалъ распоряженіе о немедленномъ освобожденіи всѣхъ англійскихъ матросовъ и вообще экипажей задержанныхъ англійскихъ судовъ. Равнымъ образомъ уже снято запрещеніе со всѣхъ англійскихъ товаровъ и капиталовъ, которые возвращены ихъ законнымъ собственникамъ. Контора же ликвидаціи закрыта. Только эмбарго на англійскія суда пока не снято. Но государь надѣется, что уваженіе Англіею законныхъ правъ его союзниковъ дастъ ему возможность вскорѣ отмѣнить и эту мѣру.

Когда же англійское правительство не отмѣнило эмбарго, наложеннаго на шведскія и датскія суда въ англійскихъ портахъ, графу Воронцову было поручено протестовать противъ сохраненія такой враждебной мѣры и объявить, что государь не намѣренъ пожертвовать своими союзниками. Онъ согласенъ вести переговоры съ Англіею безъ непосредственнаго ихъ участія, но онъ твердо рѣшился „включить ихъ интересы въ соглашеніе, которое должно быть заключено“.

Графъ Воронцовъ, лично пострадавшій весьма чувствительнымъ образомъ отъ гнѣва императора Павла I, былъ чрезвычайно обрадованъ извѣстіемъ о его кончинѣ и о восшествіи на всероссійскій престолъ Александра I. Эта радость еще увеличилась, когда онъ узналъ о высочайшемъ повелѣніи, которымъ онъ возводился въ санъ посла при с.-джемскомъ дворѣ для возстановленія прежней дружбы и союза между его родиною и Англіею —вторымъ его отечествомъ. Эта радость немного была омрачена тѣмъ обстоятельствомъ, что первая инструкція изъ С.-Петербурга была подписана графомъ Паленомъ, котораго Воронцовъ ненавидѣлъ, называя его „шведско-прусскимъ лифляндцемъ“. Но когда курьеръ принесъ ему извѣстіе о назначеніи гр. Н. П. Панина на вице-канцлерскій постъ, радость его была совершенно искренняя и безъ всякой примѣси горечи.

Гр. Воронцовъ успѣлъ въ царствованіе императора Павла I, когда гр. Панинъ нѣкоторое время управлялъ иностранными дѣлами, оцѣнить по достоинству несомнѣнныя дарованія, честность и личное къ нему расположеніе гр. Никиты Петровича. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ гр. Воронцовъ писалъ графу Панину въ іюлѣ 1800 года изъ Лондона:

„Для меня утѣшительно видѣть съ берега, что на кораблѣ „Россія“, весьма качаемомъ бурею, вы еще остаетесь въ средѣ

лицъ, старающихся править его рулемъ, и хотя васъ мало слушаетъ рулевой, я увѣренъ, что вы спасете этотъ корабль отъ неминуемой опасности, въ которой я его вижу. Онъ слишкомъ дорогъ, чтобы человѣкъ съ вашимъ талантомъ и характеромъ могъ его покинуть" [1]).

Вотъ почему назначеніе гр. Панина столь сильно обрадовало гр. Воронцова. Когда затѣмъ онъ узналъ о снятіи запрещенія съ его имѣній въ Россіи, наложеннаго императоромъ Павломъ I, и еще о другихъ матеріальныхъ наградахъ, ему пожалованныхъ вновь воцарившимся государемъ, онъ приписывалъ эти милости, прежде всего, дружескому покровительству гр. Панина. Радость гр. Воронцова по случаю совершившейся въ Россіи перемѣны замѣчательно открыто выражается въ письмѣ его къ гр. Панину отъ 3-го (15-го) апрѣля 1801 года. Говоря о царствованіи Павла I, гр. Воронцовъ не затрудняется сказать, что это царствованіе имѣло цѣлью „обратить насъ (подданныхъ) въ рабовъ-негровъ", и оно „подкапывало основы существованія Россійской Имперіи". По мнѣнію гр. Воронцова, еслибъ еще продолжалось это царствованіе, то можно было ожидать даже революціи въ Россіи, „учиненной внутри страны народною массою (sic!), и народная революція у насъ была бы самою ужасною вещью: она произвела бы тысячи Стенекъ Разиныхъ и Пугачевыхъ"...

„Вотъ та ужасная будущность,—продолжалъ гр. Воронцовъ,—которая предстояла Россіи, и которой желали наши добрые и неизмѣнные друзья—шведы и французы. Вотъ почему они такъ восторгались покойнымъ государемъ".

Очевидно, что французская революція серьезно напугала гр. Воронцова, который видѣлъ благопріятную для нея почву даже въ Россіи конца прошлаго столѣтія. Посолъ былъ увѣренъ, что новый государь все успокоитъ и измѣнитъ. Онъ желалъ, чтобъ государь былъ окруженъ совѣтомъ изъ „неподкупныхъ, дѣльныхъ и знающихъ внутреннее положеніе Россіи людей", которые обсуждали бы всѣ дѣла „безъ горячки и поспѣшности".

Такая откровенность должна была доказать графу Панину, „яко предобродѣтельному и препочтенному человѣку", что гр. Воронцовъ въ самомъ дѣлѣ „сердцемъ и душою" ему преданъ.

При таковыхъ взаимныхъ чувствахъ гр. Воронцовъ не боялся совершенно откровенно выражать свои взгляды на отношенія Россіи и Англіи и на направленіе русской политики. По убѣжденію гр. Воронцова, Россія была кругомъ виновата предъ

[1]) См. „Бумаги гр. Н. П. Панина", изд. проф. Брюкнеромъ, т. V, стр. 178.

Англіею, которая ничѣмъ не вызвала случившагося разрыва. Въ секретномъ письмѣ, отъ 6-го (18-го) мая 1801 г., гр. Воронцовъ откровенно выражаетъ гр. Панину это свое убѣжденіе. Несправедливый гнѣвъ императора Павла I дошелъ до того, что онъ даже запретилъ извѣстить с.-джемскій дворъ о рожденіи великой княжны, дочери в. к. Александра Павловича. Между тѣмъ даже прямо враждующія державы всегда извѣщаютъ другъ друга о всѣхъ семейныхъ радостяхъ и печаляхъ своихъ государей. Распоряженіемъ русскаго правительства были задержаны англійскія суда, вопреки буквальному постановленію трактатовъ, обезпечивающему, даже въ случаѣ разрыва, свободный выходъ въ море для судовъ спорящихъ другъ съ другомъ державъ. Такой образъ дѣйствій долженъ былъ въ сильнѣйшей степени возмутить англійскій народъ и правительство [1]).

Вообще нельзя не замѣтить, что гр. Воронцовъ не жалѣетъ сильныхъ красокъ, чтобы выставить въ весьма непривлекательномъ свѣтѣ политику не только Павла I въ отношеніи Англіи, но также Екатерины II. Можно даже думать, что для графа Воронцова политика Екатерины II была еще болѣе ненавистна, нежели образъ дѣйствій императора Павла I, котораго онъ не переставалъ считать больнымъ человѣкомъ. Въ особенности былъ ему ненавистенъ союзъ вооруженнаго нейтралитета, въ которомъ онъ усматривалъ великое бѣдствіе для Россіи, а не одно изъ основаній славы Екатерины II.

Графъ Воронцовъ былъ до крайности возмущенъ депешею гр. Палена отъ 13-го марта, въ которой доказывалась необходимость добиваться отъ Англіи признанія принциповъ вооруженнаго нейтралитета. Графъ совершенно не исполнилъ этого предписанія. Когда затѣмъ императоръ Александръ, въ вышеприведенномъ рескриптѣ отъ 6-го (18-го) апрѣля, также настаивалъ на защитѣ правъ нейтральныхъ народовъ изъ уваженія „къ памяти своего августѣйшаго родителя“, графъ Воронцовъ писалъ своему другу Н. Н. Новосильцову: „Я еще недоумѣваю: есть ли это насмѣшка надъ царствующимъ государемъ, или же гр. Панинъ принимаетъ меня за дурака“ [2]).

Менѣе рѣзко, но настолько же категорически высказался гр. Воронцовъ, въ донесеніи на высочайшее имя, отъ 6-го (18-го) мая 1801 г., противъ всѣхъ главнѣйшихъ положеній апрѣльскаго рескрипта и депеши. Прежде всего онъ объявляетъ,

---

[1]) Бумаги гр. Панина, т. VI, стр. 453 и слѣд.

[2]) Архивъ кн. Воронцова, т. XI, стр. 398.

что не исполнилъ полученнаго предписанія угрожать Англіи, въ случаѣ неотозванія англійскаго флота изъ Балтійскаго моря и въ особенности изъ русскихъ территоріальныхъ водъ, отказомъ заключить съ нею коммерческій трактатъ и допустить занятіе Ганновера прусскими войсками. Графъ Воронцовъ доказывалъ, что коммерческій трактатъ 1793 года былъ заключенъ по настоянію Екатерины II, которая принуждена была выпустить изъ этого акта принципы „слишкомъ знаменитаго вооруженнаго нейтралитета". Относительно же Ганновера всякая угроза была бы неумѣстна, потому что англичане совсѣмъ не интересуются судьбою Ганновера.

Память, очевидно, стала измѣнять графу Воронцову. Всѣ его донесенія съ 1786 по 1793 годъ доказываютъ, что именно англичане добивались заключенія новаго коммерческаго соглашенія съ Россіею. Самъ гр. Воронцовъ убѣдилъ императрицу Екатерину II не уступать англичанамъ, потому что трактатъ гораздо больше нуженъ англійской торговлѣ, нежели русской. Наконецъ, въ 1792 году представитель Англіи въ С.-Петербургѣ неоднократно возвращался къ этому вопросу и просилъ о заключеніи коммерческаго трактата. Пропускъ же въ актѣ 1793 года началъ вооруженнаго нейтралитета объясняется вполнѣ удовлетворительнымъ образомъ характеромъ временнаго соглашенія между обѣими державами, присущимъ акту 1793 года, который нельзя назвать коммерческимъ трактатомъ.

Не менѣе убѣдительно утвержденіе графа Воронцова, что англичане не интересуются судьбою Ганновера. Если вспомнить справедливый упрекъ, дѣлаемый англичанами своимъ королямъ изъ ганноверскаго дома, что имъ интересы Ганновера были всегда ближе къ сердцу, нежели польза самой Англіи, если имѣть въ виду огромное личное вліяніе англійскихъ королей прошлаго и начала нынѣшняго столѣтій на политику с.-джемскаго кабинета, то понятно будетъ, насколько неоснователенъ упрекъ, сдѣланный графомъ Воронцовымъ автору высочайшаго рескрипта отъ 6-го (18-го) апрѣля 1801 года.

По мнѣнію гр. Воронцова, Россія и Англія должны быть между собою связаны неразрывными узами, въ особенности послѣ возникновенія французской революціи, противъ общаго ихъ врага —Франціи, которую посолъ называетъ „колоссомъ исполинской силы". Въ виду угрожающей отсюда общей опасности, какъ можно бояться, спрашиваетъ гр. Воронцовъ, морского могущества Великобританіи? Вѣдь это могущество одно еще ставитъ границы чрезмѣрной силѣ французской націи. Если Англія потеряетъ свое

могущество на моряхъ, то его унаслѣдуетъ Франція, и тогда всемірная имперія французовъ будетъ совершившимся фактомъ.

Вообще гр. Воронцовъ не находитъ достаточно словъ, чтобы восторгаться умѣренностью и чувствомъ справедливости англичанъ. Вся же вина бывшаго разрыва исключительно на сторонѣ Россіи. Несправедливыя мѣропріятія Павла I привели къ тому, что русская торговля съ Англіею почти прекратилась. Это и понятно, если вспомнить, что въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ совершились самыя вопіющія нарушенія международнаго права и торжественныхъ трактатовъ.

„Двукратное эмбарго,—продолжаетъ графъ Воронцовъ,—захватъ книгъ въ англійскихъ конторахъ, арестъ, наложенный на ихъ имущества, задержаніе экипажей съ англійскихъ судовъ, позорный грабежъ имущества людей, высаженныхъ съ ихъ судовъ, незаконныя рѣшенія коммиссіи по такъ-называемой ликвидаціи, которыми англичане присуждались, безъ всякаго доказательства, къ уплатѣ ничѣмъ не доказанныхъ претензій; наконецъ, незаконная и насильственная продажа вещей тѣхъ же самыхъ британскихъ подданныхъ—все это безпримѣрно въ какой бы то ни было странѣ и въ какое бы то ни было время, съ тѣхъ поръ, какъ Европа вышла изъ варварскаго состоянія, въ которомъ она прозябала до XIV вѣка!“

Высказавъ такія смѣлыя сужденія (въ особенности съ точки зрѣнія исторіи международныхъ войнъ Англіи и другихъ державъ въ продолженіе XV и послѣдующихъ вѣковъ), гр. Воронцовъ вдругъ вспомнилъ, что императоръ Александръ I все-таки выражалъ чувства сыновней любви и уваженія къ „славной памяти“ почившаго родителя. Поэтому онъ немедленно прибавляетъ, что всѣ эти возмутительныя правонарушенія никакъ не могутъ быть поставлены въ вину покойному государю, но исключительно виновата „измѣна и развращенность тѣхъ самыхъ людей, которымъ этотъ государь, къ несчастію для него самого и для государства, вполнѣ довѣрялъ“.

„Поэтому, — прибавляетъ гр. Воронцовъ, — говоря о всѣхъ тѣхъ обезпечивающихъ и роковыхъ для государства мѣропріятіяхъ, я нисколько не посягаю на память о моемъ покойномъ государѣ, но я говорю только о тѣхъ вѣроломныхъ министрахъ, которые для покровительства видамъ и интересамъ нѣкоторыхъ иностранныхъ дворовъ (стокгольмскаго и копенгагенскаго), жертвовали честью и дѣйствительною пользою своего государя и отечества“.

„На этомъ основаніи,—продолжаетъ посолъ въ донесеніи на

высочайшее имя,—можно, не посягая на почтеніе, должное памяти покойнаго императора, сказать ту несомнѣнную истину, что то, что у насъ было сдѣлано, хуже всего того, что когда-либо въ Персіи или въ Марокко было совершено въ смыслѣ нарушенія международнаго права и грабежа собственности иностранцевъ, находившихся въ Россіи подъ защитою торжественныхъ трактатовъ".

Высказавъ съ такою небывалою откровенностью безпощадное осужденіе политики Павла I, гр. Воронцовъ старается, вслѣдъ за тѣмъ, доказать всю огромную пользу, которую имѣетъ для Россіи торговля съ Англіею. По его убѣжденію, „Россія не имѣетъ и никогда не будетъ имѣть коммерческаго мореплаванія по причинамъ физическимъ и нравственнымъ... Она не имѣетъ колоній; ея военный флотъ не можетъ быть больше, чѣмъ посредственной силы, и только достаточенъ для сдерживанія своей сосѣдки и вѣчнаго врага—Швеціи. Россія—континентальная держава, обладающая наисильнѣйшею и значительнѣйшею сухопутною арміею, и на европейскомъ континентѣ съ нею можетъ поспорить въ силѣ вліянія только одна держава—Франція, благодаря ея чудовищному могуществу и тщеславію". Что же касается англичанъ, „то они смотрѣли на русскихъ какъ на естественныхъ своихъ друзей, съ которыми у нихъ никогда не можетъ быть войнъ".

Гр. Воронцовъ ставитъ на видъ поведеніе Петра Великаго въ отношеніи Англіи въ 1720 году, когда произошелъ разрывъ съ нею. Тогда Петръ Великій—„этотъ настоящій основатель славы, благосостоянія и могущества Россійской Имперіи"—вѣрно понялъ пользу для Россіи торговли съ Англіею. Онъ не арестовалъ англичанъ, но обезпечилъ за ними свое покровительство и провозгласилъ свободу англійской торговли въ Балтійскомъ морѣ, несмотря на войну [1]).

Теперь же торговля съ Англіею, въ особенности послѣ 1799 года, постоянно сокращается, не взирая на „особенную любовь русскаго народа (по крайней мѣрѣ торговаго класса) къ англичанамъ". Вѣдь только купцы нѣмецкаго или финляндскаго происхожденія радовались гоненію, которое въ прошлое царствованіе обрушилось на англичанъ. Русскіе же купцы, по словамъ гр. Воронцова, помогали англичанамъ спасать свое имущество и „чувства признательности и справедливости русскаго народа еще обнаружились въ гостепріимномъ и дружескомъ пріемѣ, ко-

[1]) См. „Собраніе трактатовъ", т. X, № 880, стр. 40.

торый народъ оказывалъ несчастнымъ мореходцамъ съ англійскихъ судовъ во всѣхъ городахъ, гдѣ они были водворяемы".

„Такое дружеское расположеніе русскаго народа,—продолжаетъ посолъ,—здѣсь признается съ чувствомъ благодарности, но правительству (русскому) ужъ больше никто не довѣряетъ" (sic!).

Въ заключеніе своего любопытнаго донесенія гр. Воронцовъ проситъ прощенія государя за полную свою откровенность. „Если я ошибся, то только изъ рвенія. Мнѣ было бы легче совсѣмъ не служить, нежели, служа, скрывать истину, которую я считаю полезною для моего государя и отечества".

Трудно быть болѣе откровеннымъ въ донесеніяхъ своему правительству, чѣмъ былъ гр. Воронцовъ въ только-что приведенномъ письмѣ на высочайшее имя. Замѣчательно, что императоръ Александръ I не только не былъ недоволенъ такою рѣзкою откровенностью посла, дошедшаго до искаженія положительныхъ фактовъ и до обвиненія въ измѣнѣ дѣятелей прошлаго царствованія, но, напротивъ, государь выразилъ ему свою монаршую признательность въ чрезвычайно лестныхъ словахъ.

„Я долженъ васъ благодарить,—писалъ государь послу 8-го іюня 1801 года,—за то, что вы признали меня достойнымъ (sic) выслушивать правду, которой все должно быть открыто, но которая, къ несчастію государей, почти никогда не доходитъ до престола. Отъ вашего вѣрноподданства и патріотизма я ожидаю, что вы будете продолжать говорить мнѣ съ такою же откровенностью, и я, съ своей стороны, ничего не упущу, чтобъ доказать вамъ, какую цѣну я придаю такой откровенности и насколько я желаю, чтобъ ни одинъ изъ моихъ подданныхъ не боялся вызвать мое неудовольствіе, высказывая мнѣ откровенно то, что они признаютъ согласнымъ съ общественною пользою. Мнѣ въ особенности будетъ весьма пріятно вселить въ васъ такое довѣріе, и вы увидите изъ результатовъ переговоровъ съ лондонскимъ дворомъ довѣріе, съ которымъ я отношусь къ вамъ. Мотивы, которые вы въ состояніи оцѣнить, принудили меня включить въ эти переговоры интересы моихъ союзниковъ, насколько они согласуются съ интересами Россіи".

При свойственной графу Воронцову откровенности, одобренной съ высоты престола, и той глубочайшей любви, которую онъ питалъ къ Англіи, понятенъ будетъ весь тонъ дипломатической переписки его съ своимъ правительствомъ. Гр. Воронцовъ ни на іоту не отказывался отъ своихъ личныхъ убѣжденій и защищалъ ихъ съ энергіею и талантомъ.

Такъ мы видѣли, что онъ наотрѣзъ отказался исполнить вы-

сочайшее повелѣніе, сообщенное ему графомъ Паленомъ, о рѣшеніи государя *требовать* отъ Англіи признанія началъ Екатерининской декларацiи 1780 года. Посолъ объявилъ, что англичане признаютъ этотъ актъ „наиболѣе враждебнымъ дѣйствіемъ, которое когда-либо могло быть совершено противъ Англіи". Онъ знаетъ, что всѣ англичане ненавидятъ принципы вооруженнаго нейтралитета, потому что ими подрывались самыя основы морского могущества Англіи.

Гр. Воронцовъ вполнѣ убѣдился въ этомъ заключеніи, когда онъ, въ разговорѣ съ англійскимъ министромъ, лордомъ Гоксбэри, между прочимъ, сказалъ ему, что государь его усмотрѣлъ бы въ признаніи Англіею справедливости началъ вооруженнаго нейтралитета лучшее доказательство желанія англійскаго короля возстановить старую дружбу между Россіею и Великобританіею. Англійскій министръ взволнованнымъ голосомъ отвѣтилъ, что нѣтъ въ трехъ Соединенныхъ Королевствахъ ни одного здравомыслящаго человѣка, который согласился бы признать эти „новые (sic!) принципы", имѣющіе цѣлью „подорвать самую основу морского могущества Великобританіи". Вѣдь сама императрица Екатерина II,— доказывалъ съ несомнѣнною находчивостью лордъ Гоксбэри,—отреклась отъ этихъ принциповъ 13 лѣтъ послѣ ихъ провозглашенія, когда она заключила актъ 1793 года!? Отказалась же великая императрица отъ своего вооруженнаго нейтралитета потому, что она убѣдилась, что „Россія ничего отъ него не выиграетъ, и что вся выгода принадлежитъ Швеціи и Даніи, между тѣмъ какъ весь вредъ выпадаетъ на долю Англіи, естественнаго друга Россіи".

Шестнадцатилѣтнее пребываніе графа Воронцова въ Англіи настолько повліяло не только на его личныя симпатіи, но также на его образъ мыслей, что онъ, того не замѣчая, постоянно повторяетъ и развиваетъ взгляды англійскаго правительства на текущіе политическіе вопросы. Такъ онъ во всѣхъ отношеніяхъ раздѣлялъ взгляды англичанъ на вооруженный нейтралитетъ и знаменитую морскую конвенцію 1800 года, установившую такъ-называемый *второй* вооруженный нейтралитетъ. Графъ Воронцовъ препроводилъ, въ апрѣлѣ 1801 года, подробную записку къ гр. Панину подъ заглавіемъ: „Записка о вооруженномъ нейтралитетѣ покойной императрицы и о морской конвенціи ея сына императора Павла I".

Еслибъ эта записка не была написана собственноручно графомъ Воронцовымъ, можно было бы подумать, что она вышла изъ-подъ пера какого-нибудь англійскаго дипломата.

Гр. Воронцовъ силится всѣми доводами доказать основательность уже тогда распространенной, въ особенности англійскими усиліями, сказки о полномъ непониманіи императрицею Екатериною II акта 28-го февраля 1780 года. По мнѣнію гр. Воронцова, не гр. Никита Ивановичъ Панинъ и не датскій министръ гр. Бернсторфъ заставили императрицу издать свою знаменитую декларацію. Духовнымъ авторомъ ея является—французскій министръ гр. Вержень! „Посредствомъ вліянія Пруссіи,—разсказываетъ графъ Воронцовъ,—и происками Швеціи гр. Вержень вздумалъ провести у насъ принципы вооруженнаго нейтралитета. Покойный король шведскій сдѣлалъ у насъ объ этомъ представленіе, и такъ какъ императрица считала себя обязанною отблагодарить Англію (sic), которая во время первой турецкой войны принимала въ своихъ портахъ русскія эскадры, то она основала пресловутый нейтралитетъ, направленный противъ Англіи—*чего императрица совсѣмъ не подозрѣвала*“ (!!).

„Швеція, — продолжаетъ гр. Воронцовъ, — будетъ нашимъ вѣчнымъ врагомъ“, и въ ея пользу былъ учрежденъ вооруженный нейтралитетъ. Вспоминая о переговорахъ по поводу заключенія временнаго коммерческаго акта 1793 г., гр. Воронцовъ утверждаетъ, что „мало-по-малу Императрица убѣдилась въ томъ, что вся польза отъ этихъ принциповъ вооруженнаго нейтралитета принадлежала Швеціи, Даніи и Пруссіи, которыхъ коммерческій флотъ развивался на нашъ счетъ, безъ увеличенія нашего флота, и что мы приносимъ жертвы для защиты торговли иностранныхъ державъ, между которыми былъ естественный нашъ врагъ (Швеція), благоденствіе котораго можетъ установиться только на нашемъ ослабленіи. Такимъ образомъ навсегда былъ бы расторгнуть нашъ союзъ съ Великобританіею, которая на морѣ всегда будетъ нашею рѣшительною союзницею противъ Швеціи и Турціи (sic!)“.

„Императрица приняла,—продолжаетъ свой любопытный этюдъ гр. Воронцовъ,—благодаря совѣтамъ короля шведскаго, предложившаго отъ своего имени то, что было придумано графомъ Верженемъ, который не уставалъ писать Вераку (французскому посланнику въ С.-Петербургѣ) и печатать во всѣхъ газетахъ и журналахъ, что великая Екатерина законодательница морей. Но эта великая государыня обладала настоящимъ величіемъ: когда она убѣдилась, что эти столь прославленные принципы совершенно безполезны для Россіи и даже вредны, благодаря тѣмъ выгодамъ, которыя изъ нихъ извлекала Швеція,—*она ихъ бросила* (!?)“

Въ такомъ поступкѣ нельзя не видѣть настоящаго великодушія великой императрицы.

Но гр. Воронцовъ боится, что гр. Н. П. Панинъ, изъ чувства благоговѣнія къ памяти своего дяди, гр. Никиты Ивановича Панина, сочтетъ своимъ долгомъ поддерживать дѣло вооруженнаго нейтралитета. Иностранные министры при с.-петербургскомъ дворѣ будутъ ему постоянно доказывать, что вооруженный нейтралитетъ—„дѣло покойнаго графа Панина". Гр. Воронцовъ положительно утверждаетъ, что въ то время, когда Екатерининская декларація составлялась, кредитъ гр. Панина былъ уже „совершенно уничтоженъ", и,—прибавляетъ онъ,—находясь тогда въ С.-Петербургѣ „я видѣлъ, какъ этотъ планъ прибылъ изъ Парижа чрезъ Швецію". Вотъ почему гр. Никита Панинъ не могъ быть авторомъ этого плана. Императрица же Екатерина II, будучи предметомъ „низкой лести и возмутительнаго обмана со стороны короля шведскаго", согласилась взять на себя починъ въ дѣлѣ, отъ котораго она впослѣдствіи сама отреклась.

Наконецъ, начала вооруженнаго нейтралитета еще потому совершенно безполезны для Россіи, что она никогда не можетъ имѣть коммерческаго флота и мореплаванія. Двѣ причины объясняютъ такое положеніе: 1) въ продолженіе семи мѣсяцевъ наши порты покрыты льдомъ, и 2) русскій народъ находится въ состояніи крѣпостной зависимости. Развѣ можно думать, что помѣщикъ отпуститъ за границу своихъ крѣпостныхъ людей, которые, можетъ быть, никогда къ нему не возвратятся? Кромѣ того „нашъ народъ ненавидитъ море".

На основаніи всѣхъ этихъ соображеній гр. Воронцовъ считаетъ вполнѣ доказанною „неполитичность" вооруженнаго нейтралитета, съ точки зрѣнія интересовъ Россіи. Поэтому для него не подлежитъ сомнѣнію нравственная обязанность императорскаго правительства уничтожить всякій слѣдъ вооруженнаго нейтралитета и основанныхъ на немъ международныхъ актовъ. Если же про него (гр. Воронцова) говорятъ, что онъ „болѣе англичанинъ, чѣмъ русскій", то на это онъ можетъ отвѣтить, что онъ „русскій всѣмъ сердцемъ и всею душою". „Но,—прибавляетъ осторожно гр. Воронцовъ, — можетъ быть я пристрастенъ къ Англіи, но кто изъ порядочныхъ русскихъ, будучи, какъ я, убѣжденъ, что у моего отечества нѣтъ болѣе естественнаго друга, чѣмъ Англія, не будетъ къ ней пристрастенъ и не будетъ любить ее больше всѣхъ другихъ народовъ, послѣ своего собственнаго?"

Такова любопытнѣйшая записка гр. С. Р. Воронцова о про-

исхожденія и значеніи вооруженнаго нейтралитета, которая могла бы имѣть огромное значеніе, еслибъ она не страдала полною бездоказательностью.

Разсказъ гр. Воронцова объ извѣстномъ участіи французскаго министра гр. Верженя не подлежитъ сомнѣнію, насколько участіе это касается развитія сознанія нейтральныхъ государствъ въ неотложной необходимости положить какой-нибудь предѣлъ произволу Англіи на морѣ [1]). Но придавать нотамъ и предложеніямъ гр. Верженя или датскаго министра гр. Бернсторфа, сообщеннымъ императрицѣ Екатеринѣ II, такое значеніе, что она слѣпо подчинялась имъ и безсознательно ихъ исполняла — въ пользу этого никто, не исключая гр. Воронцова, не приводилъ никакихъ доказательствъ. Для нашего посла существовали двѣ державы, къ которымъ онъ питалъ чувства искреннѣйшей ненависти: это Франція и Швеція. Если онъ пришелъ къ убѣжденію, что именно эти державы придумали что-либо, то это должно было быть предосудительно и вредно для Россіи. Если же еще нарушались интересы обожаемой имъ Англіи, то непримиримая его враждебность была неизбѣжна. И вотъ, убѣдившись въ томъ, что король шведскій Густавъ III производилъ какое-то чарующее дѣйствіе на императрицу Екатерину II, настолько сильное, что императрица совершенно теряла способность понимать интересы своей имперіи, гр. Воронцовъ приписываетъ этому королю-волшебнику происхожденіе плана вооруженнаго нейтралитета.

Равнымъ образомъ бездоказательны утвержденія гр. Воронцова, что исключительно Швеція, Данія и Пруссія могли что-нибудь выиграть отъ вооруженнаго нейтралитета, а Россія только потерять. Въ такомъ случаѣ совершенно непонятны старанія гр. Верженя и трудно объяснимо, почему Россія, какъ нейтральная держава, не могла желать лучшей охраны правъ нейтральной торговли. Наконецъ, положительное утвержденіе гр. Воронцова, что Екатерина II сама отреклась отъ провозглашенныхъ началъ права нейтралитета, рѣшительно ничѣмъ не подтверждается.

Вообще, читая донесенія и записки гр. С. Р. Воронцова, нельзя не убѣдиться въ нѣкоторой справедливости сдѣланнаго ему упрека, что онъ „болѣе англичанинъ, нежели русскій“. Проведенныя имъ 16 лѣтъ въ Англіи явнымъ образомъ отражались не только на его чувствахъ личной симпатіи и уваженія къ этой странѣ, но также на его политическихъ убѣжденіяхъ и трезво-

[1]) См. *Fauchille.* La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780. Paris, 1893, p. 348 et suiv.

сти взгляда. Между тѣмъ только вліяніемъ взглядовъ гр. Воронцова можно объяснить, почему императоръ Александръ I подписалъ нижеслѣдующую конвенцію 1801 года, въ которой дѣйствительно содержится отреченіе Россіи отъ положительныхъ началъ вооруженнаго нейтралитета. Гр. Воронцовъ дѣйствительно отличался въ своихъ донесеніяхъ замѣчательною откровенностью, которая производила на впечатлительную натуру молодого государя сильное дѣйствіе. Посолъ исходилъ изъ того убѣжденія, что при всѣхъ дворахъ имѣется множество льстецовъ и интригановъ, но мало людей, говорящихъ правду. Вотъ почему онъ считалъ себя нравственно обязаннымъ открыто говорить правду и вызывать такимъ образомъ болѣе добросовѣстное изученіе всякаго дѣла.

Императоръ Александръ I вполнѣ поддался чарующему вліянію этой откровенности и принесъ ей въ жертву даже людей, всею душою ему преданныхъ и нисколько не менѣе честныхъ и способныхъ, чѣмъ графъ С. Р. Воронцовъ. Такою жертвою сдѣлался весьма скоро графъ Н. П. Панинъ.

Государь рѣдко въ чемъ-либо отказывалъ графу Воронцову, если не считать отказа принять предложеніе посла о назначеніи настоятеля посольской церкви въ Лондонѣ, о. Смирнова, повѣреннымъ въ дѣлахъ на случай отсутствія гр. Воронцова изъ Лондона. Императоръ Александръ I согласился съ мнѣніемъ гр. Панина, что неудобно назначить священника управляющимъ дѣлами императорскаго посольства. Этотъ отказъ вызвалъ серьезное неудовольствіе посла на гр. Панина. Однако гр. Воронцовъ все-таки, на время поѣздки своей въ Соутгамптонъ, передалъ Смирнову дѣла посольства и разрѣшилъ ему входить въ оффиціальныя сношенія съ англійскимъ Foreign Office'омъ на правахъ повѣреннаго въ дѣлахъ.

Какое огромное вліяніе имѣли взгляды гр. Воронцова на императора Александра I, вполнѣ явнымъ образомъ обнаружилось при переговорахъ гр. Панина съ вновь назначеннымъ въ С.-Петербургъ англійскимъ посломъ лордомъ Сентъ-Элленсомъ, бывшимъ уже при Екатеринѣ II представителемъ Англіи подъ именемъ Фицъ-Герберта. Инструкція, полученная гр. Панинымъ для этихъ переговоровъ, выражается въ немногихъ словахъ, сказанныхъ графомъ Панинымъ графу Воронцову послѣ доклада государю его записки о вооруженномъ нейтралитетѣ: „его императорское величество думаетъ о многихъ вещахъ какъ вы". Соглашаясь вступить съ Англіею въ отдѣльные переговоры о новомъ трактатѣ, императоръ Александръ все-таки не хотѣлъ вполнѣ

игнорировать законные интересы своихъ союзниковъ. Подъ очевиднымъ вліяніемъ гр. Воронцова государь отказался отъ первоначальной мысли не иначе, какъ *вмѣстѣ* съ Швеціею и Даніею вести переговоры съ Англіею. Но „любовь къ справедливости“ и „уваженіе къ принятымъ обязательствамъ“ не позволили ему совершенно забыть интересы его союзниковъ. Поэтому графамъ Панину и Воронцову было предписано „требовать въ пользу союзниковъ всѣ выгоды, совмѣстимыя съ интересами Великобританіи“.

Что же касается вооруженнаго нейтралитета—этого камня преткновенія при всѣхъ переговорахъ съ Англіею,—то графу Панину высочайше повелѣно было бросить его, какъ лишній балластъ, за бортъ. Въ высочайше утвержденной инструкціи графу Панину, какъ уполномоченному для переговоровъ съ лордомъ Сентъ-Эленсомъ, отъ 21-го мая 1801 года, было сказано слѣдующее:

„Англійское правительство достаточно просвѣщенно, чтобъ не понять, *что Россія не имѣетъ никакого непосредственнаго и существеннаго интереса въ сохраненіи принциповъ вооруженнаго нейтралитета*. Но было бы неполитично въ этомъ признаться, потому что англійскій посолъ въ такомъ случаѣ не замедлитъ этимъ воспользоваться для полнаго отдѣленія моихъ интересовъ отъ пользы моихъ союзниковъ и отвергнетъ тогда всякое предложеніе, направленное къ охраненію неприкосновенности правъ нейтральнаго мореплаванія“.

Въ этихъ словахъ заключается положительное отреченіе отъ великой идеи вооруженнаго нейтралитета. Но не императрица Екатерина II отъ нея отреклась, какъ полагалъ гр. С. Р. Воронцовъ. Это отреченіе было провозглашено императоромъ Александромъ I, который при вступленіи на престолъ торжественнымъ образомъ объявилъ, что онъ во всѣхъ отношеніяхъ будетъ слѣдовать по стопамъ своей великой бабки.

При такихъ обстоятельствахъ результатъ переговоровъ между графомъ Панинымъ и англійскимъ посломъ можно было предсказать съ полною достовѣрностью: была заключена извѣстная морская конвенція 1801 года (№ 405), постановленія которой были продиктованы лордомъ Сентъ-Эленсомъ [1]).

На первомъ же совѣщаніи гр. Панинъ успокоилъ посла, узнавшаго отъ гр. Воронцова о намѣреніи императорскаго пра-

[1]) *Богдановичъ*. Исторія царствованія императора Александра I, т. I, стр. 54 и слѣд.

вительства настаивать на признаніи началъ вооруженнаго нейтралитета, заявленіемъ, что государь признаетъ эти начала подлежащими нѣкоторымъ измѣненіямъ посредствомъ прямыхъ переговоровъ между петербургскимъ и с.-джемскимъ дворами. Англійскій посолъ снисходительно согласился вступить въ обсужденіе началъ 1780 года „послѣ ихъ измѣненія", чему весьма обрадовался гр. Панинъ. Въ основаніе дальнѣйшихъ переговоровъ между обоими уполномоченными были положены англійскій проектъ конвенціи, русскій контръ-проектъ и морская конвенція 1800 года, заключенная между Россіею и тремя сѣверными державами.

Весьма любопытно слѣдующее обстоятельство: возраженія лорда Сентъ-Эленса противъ вооруженнаго нейтралитета и морской конвенціи 1800 года основываются прямо на мнѣніи гр. Воронцова о выгодности этихъ актовъ исключительно для сѣверныхъ державъ и о вредѣ ихъ для Россіи. Такимъ образомъ англійскій уполномоченный могъ ссылаться на слова русскаго посла въ Лондонѣ для опроверженія русскаго уполномоченнаго и министра иностранныхъ дѣлъ. „И такъ какъ,—сказано въ протоколѣ конференціи отъ 21-го мая,—возраженія посла были высказаны въ выраженіяхъ, не оставляющихъ надежды на измѣненіе его дворомъ системы, признано излишнимъ терять время для ихъ опроверженія, и чтеніе трактата продолжалось".

Относительно же знаменитаго искаженія права блокады конвенціею 1801 года въ протоколѣ четвертаго засѣданія конференціи сказано очень лаконически: „4-й § той же (III-й) статьи не подвергся никакому измѣненію, за исключеніемъ только того, что вмѣсто „*и* близко находящимися" поставлено: „*или* близко находящимися". Извѣстно, что это незначительное измѣненіе позволило Англіи возстановить пресловутую бумажную блокаду. Гр. Панинъ, очевидно, не понялъ существеннаго различія между слѣдующими двумя опредѣленіями блокады: блокированнымъ долженъ считаться портъ, войти въ который сопряжено съ явною опасностью, вслѣдствіе стоящихъ на мѣстѣ *и* въ довольно близкомъ разстояніи кораблей,—или же: вслѣдствіе стоящихъ на мѣстѣ *или* въ довольно близкомъ разстояніи кораблей.

Весьма скоро состоялось полное соглашеніе между уполномоченными обѣихъ державъ, и 5-го (17-го) іюня была подписана морская конвенція 1801 года, положившая конецъ разрыву между Россіею и Англіею посредствомъ пожертвованія императоромъ Александромъ I одного изъ славнѣйшихъ дѣлъ царствованія Екатерины II. Въ октябрѣ того же года были еще подписаны въ Москвѣ дополнительныя статьи и декларація, имѣвшія цѣлью

обезпечить за потерпѣвшими отъ секвестра купцами право на вознагражденіе и устранить недоразумѣніе насчетъ запрещеннаго характера нейтральной торговли съ колоніями воюющихъ державъ [1]).

Нижеслѣдующая декларація была вызвана критическими замѣчаніями знаменитаго англійскаго призоваго судьи Вилліама Скотта на подписанную въ С.-Петербургѣ конвенцію. Въ ст. III конвенціи сказано: „корабли нейтральной державы могутъ ходить свободно изъ порта въ портъ и у береговъ воюющихъ націй".

В. Скоттъ доказывалъ, что англійское правительство не можетъ допустить каботажной торговли нейтральныхъ народовъ между портами воюющей державы.

Кромѣ того, въ конвенціи было забыто главное начало колоніальной системы, въ силу котораго колоніи разсматриваются какъ „приватная собственность метрополій", вслѣдствіе чего непосредственная торговля съ колоніями запрещена.

Для устраненія этихъ недоразумѣній была подписана особая декларація въ октябрѣ 1801 года.

III.

Императоръ Александръ I, препровождая къ гр. С. Р. Воронцову іюньскую конвенцію, выразилъ полное свое удовольствіе по поводу счастливаго окончанія этого дѣла и возстановленія дружескихъ сношеній съ Англіею. Гр. Воронцовъ поздравилъ гр. Панина съ благополучнымъ окончаніемъ переговоровъ съ лордомъ Эленсомъ и выразилъ полное свое одобреніе только-что заключенному международному акту. Восторженныя письма къ нему англійскихъ министровъ по поводу заключенія іюньской конвенціи, радость короля, немедленно пожаловавшаго лорда С.-Эленса въ „бароны С.-Эленсъ на островѣ Вайтѣ", восторгъ англійской публики и печати—все это не въ состояніи было возбудить подозрительности гр. Воронцова насчетъ дѣйствительнаго значенія іюньской конвенціи.

Однако настроеніе императора Александра I весьма скоро перемѣнилось. Онъ сталъ все болѣе и болѣе убѣждаться въ томъ, что іюньская конвенція несомнѣннымъ образомъ подтверждаетъ побѣду англійской политики надъ русскою и отреченіе со сто-

[1]) *Bernhardi.* Geschichte Russland's, Bd. II, S. 448 flg.

роны императорскаго правительства отъ самыхъ блестящихъ традицій Екатерининской эпохи. Государь совершенно измѣнилъ свое мнѣніе о способностяхъ своего министра иностранныхъ дѣлъ, графа Панина.

Нѣтъ сомнѣнія, что такому перевороту въ мнѣніяхъ государя значительнымъ образомъ содѣйствовали представители Швеціи и Даніи при высочайшемъ дворѣ, не перестававшіе доказывать, что морская конвенція 1800 года, подтвердившая начала вооруженнаго нейтралитета, была „эгидою торговли и независимости народовъ“. Подъ давленіемъ обстоятельствъ, обѣ сѣверныя державы принуждены были приступить къ іюньской конвенціи. Но ихъ представители въ С.-Петербургѣ, признавая гр. Панина главнымъ и исключительнымъ виновникомъ нарушенія принциповъ вооруженнаго нейтралитета, выставляли его врагомъ славныхъ преданій Екатерининскаго времени и человѣкомъ исключительно предавшимся Англіи. Это мнѣніе раздѣлялось также представителями Франціи и другихъ иностранныхъ державъ. Наконецъ, если нельзя признать справедливымъ сужденіе историковъ объ англо-русской конвенціи 1801 года, что это „одинъ изъ самыхъ позорныхъ актовъ, когда-либо подписанныхъ великою державою“ [1]), то все-таки нареканія, которыя посыпались градомъ на гр. Панина, не были лишены основанія [2]).

Но совершенно неожиданною является непримиримая вражда, съ которою гр. С. Р. Воронцовъ сталъ относиться къ гр. Н. П. Панину послѣ подписанія конвенціи 1801 года, которою посолъ долженъ былъ быть доволенъ, ибо въ ней были искажены правила вооруженнаго нейтралитета. Выше мы видѣли, съ какою ненавистью гр. Воронцовъ относился къ этому геніальному дѣлу императрицы Екатерины II. Но оказалось, что именно гр. Воронцовъ все болѣе и болѣе возстаетъ противъ гр. Панина, во всемъ осуждаетъ его политику и не останавливается даже предъ доносомъ государю, чтобъ требовать удаленія гр. Панина. Слѣдовательно, гр. Панинъ, несмотря на полную готовность руководствоваться совѣтами посла въ Лондонѣ, все-таки вызвалъ неудовольствіе и гнѣвъ его. Все, что̀ гр. Панинъ дѣлалъ послѣ іюня 1801 года, вызывало безпощадную критику гр. Воронцова, который добился, въ сентябрѣ того же года, отставки своего прежняго „добраго друга“.

Эта личная вражда отчасти отразилась на сношеніяхъ Россіи

---

[1]) *Bignon.* Histoire de France, p. 120.—*Gessner.* Le droit des neutres, p. 178.

[2]) Бумаги гр. Панина, изд. Брюкнеромъ, т. VI, стр. 100 и слѣд.

и Англіи послѣ заключенія іюньской конвенціи, и потому она заслуживаетъ вниманія.

Гр. Воронцовъ, къ мнѣніямъ котораго молодой государь питалъ полное довѣріе, былъ возмущенъ общею инструкціею, отъ 5-го іюля 1801 г., сообщенною ему изъ С.-Петербурга, для руководства. Авторомъ этого акта былъ гр. Панинъ. Въ этой инструкціи дается общая характеристика отношеній Россіи къ главнѣйшимъ европейскимъ державамъ.

„Вступивъ на престолъ,—говоритъ государь,—я увидѣлъ себя связаннымъ политическими обязательствами, изъ которыхъ иныя явнымъ образомъ нарушали интересы имперіи, а другія были несовмѣстимы съ географическимъ положеніемъ и обоюдными удобствами договаривающихся государствъ. Но, желая все-таки дать рѣдкій примѣръ уваженія къ общественной совѣсти, я призналъ своимъ тяжелымъ долгомъ исполнить эти обязательства, насколько это было въ моей власти... Вотъ почему Европа видѣла меня готовымъ поддерживать силою оружія моихъ союзниковъ въ дѣлѣ, чуждомъ моей имперіи, но сдѣлавшимся общимъ до моего воцаренія“.

„Когда Небо благословило мои усилія, направленныя къ полюбовному окончанію этихъ распрей, интересы этихъ же самыхъ державъ (Швеціи и Даніи) были уважены, во время переговоровъ, моимъ кабинетомъ, и достаточно бросить взглядъ на трактатъ (іюньскую конвенцію 1801 г.), чтобъ убѣдиться въ заботливости, съ которою я старался поддерживать права, на которыя разумнымъ образомъ могли претендовать мои союзники въ рискованномъ положеніи, созданномъ для нихъ собственною ихъ неосмотрительностью“.

Государь не входитъ въ изложеніе отношеній Россіи къ Англіи, потому что считаетъ гр. Воронцова достаточно компетентнымъ для ихъ уразумѣнія. Окончательное заключеніе, къ которому приходитъ государь въ этой инструкціи, слѣдующее: „Съ дворами вѣнскимъ, лондонскимъ и берлинскимъ общая польза и особенные интересы моей имперіи заставляютъ меня желать крѣпкаго союза“.

Гр. Воронцовъ находилъ эту инструкцію совершенно непонятною и отказался ее привести въ исполненіе. Его особенно возмутило употребленіе графомъ Панинымъ обычной фразы, когда говорится о „въ Бозѣ почившемъ государѣ“: „славной памяти“. Употребленіе этой фразы въ рескриптѣ 5-го іюля вызвало сильный гнѣвъ гр. Воронцова, потому что Панинъ ее примѣнилъ говоря о Павлѣ I.

Самъ гр. Панинъ чувствовалъ шаткость своего положенія и потому обратился къ государю съ письмомъ, отъ 13-го іюля, въ которомъ онъ старался оправдать свой образъ дѣйствій въ переговорахъ съ Англіею. Съ чувствомъ глубокаго негодованія онъ возстаетъ противъ словъ, будто бы сказанныхъ лордомъ С.-Элленсомъ, „что онъ не можетъ достаточно нахвалиться пристрастіемъ (къ Англіи), которое онъ нашелъ“ со стороны гр. Панина при переговорахъ. „Это оскорбленіе,—пишетъ государю гр. Панинъ,—въ формѣ похвалы, можетъ относиться только ко мнѣ, потому что я одинъ имѣлъ съ нимъ дѣло“. Гр. Панинъ, въ свое оправданіе, разсказываетъ весь ходъ переговоровъ, приведшихъ къ іюньской конвенціи, и упираетъ на отсутствіе въ первоначальномъ англійскомъ проектѣ всѣхъ правилъ вооруженнаго нейтралитета (sic!). Между тѣмъ „въ заключенной конвенціи эти принципы были признаны, за исключеніемъ одного, запрещающаго осмотръ конвоируемыхъ судовъ, не бывшаго въ прежней морской конвенціи“. Право осмотра, по конвенціи, взаимно, и обусловлено, что оно никогда не будетъ производиться, „когда бумаги нейтральныхъ будутъ въ порядкѣ“. Кромѣ того, „призовыя рѣшенія будутъ постановляемы на основаніи такихъ началъ справедливости, которыя предупредятъ всякое злоупотребленіе“.

Очевидно, что гр. Панинъ имѣлъ не совсѣмъ вѣрныя понятія не только о принципахъ вооруженнаго нейтралитета, но равнымъ образомъ о порядкахъ англійскаго призоваго суда. Онъ даже не замѣтилъ ловкаго искаженія англійскимъ уполномоченнымъ опредѣленія блокады, и былъ увѣренъ въ полномъ безпристрастіи англійскаго призоваго суда. Онъ повторяетъ также въ этомъ всеподданнѣйшемъ письмѣ мысль, выраженную въ инструкціи 5-го іюля, о томъ, что принципы вооруженнаго нейтралитета совершенно чужды интересамъ Россіи.

„Я охотно соглашаюсь,—пишетъ гр. Панинъ,—что датчане и шведы нашли въ конвенціи не то, чего они желали. Они безъ сомнѣнія предпочли бы продолжать обогащаться войною и увеличивать свой торговый флотъ посредствомъ мошеннической торговли. Шведы, прирожденные враги вашей имперіи, безъ сомнѣнія, находили для себя выгоднымъ продолжать пріостановку русской торговли, но, ваше величество, вашъ министръ не могъ и не долженъ быть ставить себѣ цѣлью имъ въ этомъ содѣйствовать“.

Если же его обвиняютъ въ пристрастіи къ англичанамъ, то онъ дѣйствительно былъ пристрастенъ, но не къ англичанамъ, а къ насущнымъ интересамъ своего отечества, которые онъ за-

щищалъ противъ заклятыхъ ихъ враговъ — шведовъ и датчанъ. „Если я пристрастенъ къ англичанамъ, — продолжаетъ гр. Панинъ, — въ такомъ случаѣ въ совѣтѣ вашего императорскаго величества нѣтъ ни одного человѣка, способнаго судить о людяхъ и вещахъ, потому что въ этомъ самомъ совѣтѣ, когда я три часа сряду оспаривалъ мнѣніе огромнаго большинства, требовавшаго снятія эмбарго, мнѣ давали понять, что я пристрастенъ къ шведамъ и датчанамъ. Наиболѣе выдающіеся члены этого совѣта были противъ моего мнѣнія, и я осмѣлился его поддерживать, хотя оно не сходилось съ вашимъ, государь!“

Наконецъ, гр. Панинъ умолялъ государя судить его не на основаніи темныхъ „происковъ“, но на основаніи его дѣяній.

Несмотря на письменное и словесное оправданіе своего образа дѣйствій, гр. Панинъ все болѣе убѣждался въ возростающемъ недовѣріи къ нему императора Александра. Это недовѣріе выражалось, между прочимъ, въ рѣшительномъ отказѣ государя одобрить мысль гр. Панина о гарантіи Россіи, вмѣстѣ съ Англіею, освобожденія Египта изъ-подъ власти французовъ. Извѣстно, что Наполеонъ Бонапартъ, завоевавъ Египетъ, предложилъ Англіи, во время мирныхъ переговоровъ, оставить за нею всѣ сдѣланныя ею во время войны завоеванія, подъ условіемъ признанія за Франціею права удержать за собою Египетъ. Англійское правительство,—писалъ гр. Воронцовъ въ маѣ 1801 г. изъ Лондона со словъ лорда Гоксбэри,—категорически отклонило такое предложеніе, потому что, „гарантировавъ туркамъ всѣ ихъ владѣнія, здѣсь никогда не согласятся на такое незаконное отнятіе отъ Оттоманской Порты одной изъ самыхъ лучшихъ ея провинцій“.

Англійское правительство положительнымъ образомъ подтверждало русскому послу, послѣ изгнанія французовъ изъ Египта при содѣйствіи англійскихъ войскъ, свое намѣреніе немедленно очистить эту страну,—„если только самъ великій визирь не пожелаетъ, чтобъ нѣкоторыя англійскія войска были оставлены гарнизонами въ Александріи и въ нѣкоторыхъ другихъ прибрежныхъ пунктахъ на случай новаго нашествія французовъ“.

Когда гр. Воронцовъ вручилъ англійскому королю вѣрительныя грамоты, въ качествѣ императорскаго посла, король весьма долго ему доказывалъ необходимость для Англіи и Россіи гарантировать полную неприкосновенность Оттоманской Имперіи. Гр. Панинъ одобрилъ эту мысль. Но императоръ Александръ I согласился съ мнѣніемъ противниковъ гр. Панина—графовъ А. Р.

Воронцова (брата посла въ Лондонѣ) и Кочубея — и отклонилъ англійское предложеніе.

Равнымъ образомъ отклонилъ государь другое англійское предложеніе о содержаніи русскаго гарнизона на островѣ Мальтѣ, между тѣмъ какъ въ портахъ острова будетъ англійская эскадра. Самъ гр. Воронцовъ немедленно возразилъ противъ этого предложенія, что островъ Мальта слишкомъ далекъ отъ Россіи. Онъ напомнилъ сдѣланный Россіи Англіею другой подарокъ — острова Минорки, отъ котораго императрица Екатерина II также отказалась.

Въ виду труднаго своего положенія, гр. Панинъ рѣшился обратиться къ гр. С. Р. Воронцову за совѣтомъ и помощью. Если государь былъ недоволенъ іюньскою конвенціею, то гр. Воронцовъ, напротивъ, былъ отъ нея въ полномъ восторгѣ. Вѣдь писалъ же ему посолъ, по случаю подписанія этого акта, письмо, въ которомъ онъ выражалъ свою радость о томъ, что этотъ актъ заключенъ „во время министерства такого человѣка, къ которому онъ питаетъ столь глубокое почтеніе".

Въ секретномъ письмѣ, отъ 16-го (28) іюля 1801 г., гр. Панинъ съ полною откровенностью жалуется на возростающее къ нему недовѣріе государя императора. Неудовольствіе шведскаго и датскаго министровъ іюньскою конвенціею гр. Панинъ вполнѣ понимаетъ, потому что онъ лишилъ ихъ на будущее время возможности дѣлать „торговыя спекуляціи на счетъ бѣдствій человѣчества". Только онъ не можетъ себѣ объяснить господствующую въ С.-Петербургѣ „измѣнчивость принциповъ, которая даетъ полную свободу всякимъ иностраннымъ и домашнимъ интригамъ".

„Съ каждымъ днемъ, — продолжаетъ свои откровенности гр. Панинъ, — я все болѣе убѣждаюсь въ томъ, что нашъ молодой государь сильно проникнутъ предразсудками, внушенными ему съ дѣтства этимъ злодѣемъ Лагарпомъ, и если онъ ихъ не броситъ, если онъ откажется видѣть неминуемость опасности, угрожающей всѣмъ престоламъ, то не будетъ никакой возможности установить въ Россіи ту систему (управленія), которая ей нужна".

Эти откровенности гр. Панина не только были безцѣльны, но прямо вредны для него, потому что его „добрый другъ", гр. С. Р. Воронцовъ, вдругъ сдѣлался опаснымъ и непримиримымъ его врагомъ. Онъ сталъ называть гр. Панина—этого англомана по общему убѣжденію и по іюньской конвенціи—„прусакомъ", потому что онъ будто бы только любитъ Пруссію. Трудно объяснить себѣ вполнѣ удовлетворительно эту перемѣну въ личныхъ отношеніяхъ обоихъ государственныхъ дѣятелей. Нельзя

слишкомъ серьезнымъ образомъ относиться къ гнѣву и упрекамъ гр. Воронцова противъ гр. Панина за перлюстрацію депешъ, отправленныхъ англійскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ съ русскимъ дипломатическимъ курьеромъ въ С.-Петербургъ къ лорду Элансу. Гр. Воронцовъ былъ возмущенъ этимъ обнаружившимся фактомъ и патетически заявилъ, что „какъ бы ни былъ порочень какой-нибудь англійскій статсъ-секретарь, онъ все-таки никогда не позволитъ себѣ открыть пакета, адресованнаго къ иностранному посланнику и привезеннаго англійскимъ курьеромъ. Такой поступокъ, считаемый здѣсь за самый позорящій, погубилъ бы его на всю жизнь и сдѣлалъ бы его безчестнымъ въ глазахъ всей націи, нравы которой таковы, что вскрытіе письма, врученнаго съ полнымъ довѣріемъ, вызываетъ такое же негодованіе, какъ еслибъ статсъ-секретарь укралъ вещь, данную ему на храненіе". Гр. Панинъ былъ на этотъ счетъ другого мнѣнія: онъ полагалъ, что перлюстрація всюду практикуется и что англійское правительство не имѣетъ права на премію за добродѣтель. Возраженія гр. Панина выводили изъ себя раздраженнаго носла, который не останавливался въ своей безпощадной критикѣ всякаго слова своего начальника. Съ перваго взгляда кажется, что оба сановника настолько были проникнуты общею любовью къ Англіи, общею ненавистью къ началамъ вооруженнаго нейтралитета и общею злобою къ царствованію императора Павла I, что между ними должна бы была существовать полная гармонія какъ убѣжденій, такъ и поступковъ.

На дѣлѣ оказалось совершенно противное: гр. Воронцовъ, начиная съ іюня 1801 года, сталъ все критиковать и осуждать. Кажется, что гр. Воронцовъ былъ совершенно доволенъ полнымъ отреченіемъ Россіи отъ началъ вооруженнаго нейтралитета, но оказалось, что онъ все-таки не могъ простить графу Панину первоначальнаго желанія заставить Англію признать эти начала. Гр. Воронцовъ, въ отвѣтъ на жалобы гр. Панина по поводу нареканій на него за пристрастіе къ Англіи, говоритъ: „какъ же датчане и шведы могутъ васъ обвинять въ томъ, что вы вызвали заключеніе конвенціи съ лордомъ Сентъ-Эленсомъ, если самъ государь мнѣ оказалъ честь писать, что это дѣло было кончено вслѣдствіе моихъ представленій и согласно съ ихъ содержаніемъ?" Вѣдь всѣ первоначальныя предписанія, полученныя графомъ Воронцовымъ, имѣли цѣлью заставить англичанъ принять морскую конвенцію, заключенную въ 1800 г. между Россіею и Швеціею.

Посолъ также не согласенъ съ своимъ начальникомъ насчетъ

гарантіи владѣній Оттоманской Имперіи. По его мнѣнію, Россія уже дала такую гарантію въ „трактатѣ, заключенномъ съ Портою", но онъ также не видитъ надобности въ спеціальной гарантіи. Впрочемъ, такъ какъ ему ничего не сообщаютъ о происходящихъ дипломатическихъ переговорахъ, то онъ отказывается сказать свое послѣднее слово. Этимъ недостаткомъ свѣденій гр. Воронцовъ объясняетъ не безъ ехидства, почему онъ не въ состояніи уразумѣть смысла полученной имъ общей инструкціи отъ 5-го (17-го) іюля. „Я не только не понялъ мотивовъ этого рескрипта,—пишетъ посолъ, — но и больше $^2/_3$ этого документа я совершенно не въ состояніи уразумѣть. Это можетъ быть настолько же послѣдствіе моей неспособности, насколько и отсутствія особенныхъ и предварительныхъ свѣденій насчетъ дѣлъ, о которыхъ вы, любезный графъ, ведете переговоры съ представителями иностранныхъ державъ, и равнымъ образомъ насчетъ донесеній, получаемыхъ государемъ отъ своихъ заграничныхъ представителей".

Если же гр. Панинъ боится интригъ и отвѣтственности за свою политику, то отъ него самого въ значительной степени зависитъ предупредить и то и другое. Для этой цѣли было бы весьма полезно, чтобъ онъ исходатайствовалъ у государя позволеніе вести дѣла такимъ же порядкомъ, какимъ они ведутся повсюду, т.-е. необходимо, чтобы всѣ депеши были прочитываемы въ присутствіи государя въ „совѣтѣ", и всѣ рѣшенія по текущимъ политическимъ дѣламъ принимались большинствомъ голосовъ членовъ этого совѣта. При такомъ порядкѣ прекратятся доклады государю „съ глазу на глазъ", и гр. Панинъ не будетъ вводить государя въ заблужденіе, когда самъ заблуждается. Пускай гр. Панинъ не забываетъ русской пословицы: „умъ хорошо, а два лучше", и пусть онъ самъ возьметъ на себя починъ такого коллегіальнаго обсужденія въ совѣтѣ всѣхъ политическихъ дѣлъ.

Гр. Панинъ не только не убѣдился доводами посла въ ошибочности своихъ воззрѣній, но, кромѣ того, былъ возмущенъ и тономъ, и содержаніемъ письма отъ 9-го (21-го) августа. Онъ, прежде всего, энергически протестовалъ противъ клейменія посломъ вскрытія бумагъ англійскаго посла, привезенныхъ русскимъ дипломатическимъ курьеромъ, какъ дѣла „позорнаго" и „мерзкаго". Онъ напомнилъ, что самъ лондонскій кабинетъ всегда придерживался той же практики и часто даже шелъ еще дальше. Вѣдь извѣстно, что Эллiотъ, англійскій посланникъ въ Берлинѣ, силою и посредствомъ взлома захватилъ бумаги посланника Со-

единенныхъ Американскихъ Штатовъ при русскомъ дворѣ, и лондонскій кабинетъ нисколько не осудилъ поступка своего агента. Всѣмъ извѣстно, что именно лондонскій кабинетъ тратитъ наибольшія суммы на секретные расходы, т.-е. на подкупъ служащихъ. Никто не станетъ доказывать, что болѣе нравственно подкупить служащаго въ какомъ-нибудь министерствѣ, нежели вскрывать депеши. „Для чего служитъ,—спрашиваетъ гр. Панинъ,—шифръ, если не для предохраненія себя противъ подобныхъ случаевъ?“ Наконецъ, для характеристики добросовѣстности англійскихъ дипломатовъ гр. Панинъ сообщаетъ гр. Воронцову, что лордъ Эленсъ самъ пришелъ ему объявить, что онъ никогда и ни на что не жаловался лорду Гоксбэри, и что онъ всегда въ цѣлости и во-время получалъ всѣ адресованныя ему депеши.

Стало быть лордъ Гоксбэри напрасно произвелъ весь этотъ шумъ. Но,—продолжаетъ гр. Панинъ свое отвѣтное письмо къ гр. Воронцову изъ Москвы, отъ 14-го сентября 1801 года,—гораздо серьезнѣе обвиненіе, что будто онъ былъ защитникомъ морской конвенціи 1800 года.

„Я перечитывалъ и изслѣдовалъ,—пишетъ министръ, — все, что я вамъ писалъ съ момента моего возвращенія въ министерство, но я ничего не нашелъ, что могло бы дать вамъ мысль о моемъ намѣреніи поддерживать морскую конвенцію. Это было желаніе Палена, и неполитичная его депеша, адресованная къ вамъ до занятія мною поста при новомъ государѣ, причинила мнѣ величайшія непріятности. Нужно было отказаться отъ ложнаго шага, не компрометтируя достоинство государя; съ этой точки зрѣнія нельзя было бросать союзниковъ; нужно было сблизиться съ лондонскимъ дворомъ и возстановить прежнее доброе согласіе, не подавая повода думать, что мы принуждены къ тому военными судами, угрожавшими нашимъ портамъ; наконецъ, нужно было получить отъ Англіи нѣкоторыя измѣненія въ ея требованіяхъ, чтобъ не совсѣмъ пожертвовать нейтральными. Вотъ что я старался дѣлать и вотъ что я старался вамъ объяснить въ моей перепискѣ, какъ оффиціальной, такъ и частной“.

„*Во всемъ моемъ образѣ дѣйствій*,—категорически заявляетъ гр. Панинъ,—*нѣтъ ничего, въ чемъ видно было бы желаніе сохранить начала вооруженнаго нейтралитета*. Мой взглядъ на это *совершенно безполезное для Россіи* дѣло (sic!!) всегда былъ согласенъ съ вашимъ, и только недоразумѣніемъ я могу себѣ объяснить, что вы могли думать противное“.

Гр. Панинъ, въ томъ же письмѣ, еще вторично открещивается отъ обвиненія, что онъ могъ имѣть „безразсудное намѣреніе“

принудить Англію признать начала вооруженнаго нейтралитета или содержаніе морской конвенціи 1800 г.

Онъ также защищается противъ упрека, что онъ ничего не сообщаетъ представителямъ императорскаго правительства о ходѣ переговоровъ съ иностранными державами. Онъ напоминаетъ о сообщеніи имъ графу Воронцову подробныхъ протоколовъ засѣданій конференціи, бывшей съ лордомъ Эленсомъ. Равнымъ образомъ онъ признаетъ голословнымъ упрекъ относительно неясности рескрипта-инструкціи, отъ 5-го іюля, до тѣхъ поръ, пока ему не будетъ доказано, въ чемъ эта неясность заключается.

Наконецъ, совѣты гр. Воронцова насчетъ обсужденія всѣхъ важныхъ государственныхъ дѣлъ въ совѣтѣ, коллегіальнымъ способомъ, весьма практичны, но слѣдовать имъ не въ силахъ гр. Панинъ, который самъ не членъ собираемаго государемъ совѣта.

Изъ членовъ совѣта только братъ посла, гр. А. Р. Воронцовъ, имѣетъ понятіе о политическихъ дѣлахъ. Другіе же члены или ничего въ нихъ не смыслятъ и неспособны ихъ понять, какъ фельдмаршалъ Салтыковъ, гр. Завадовскій, кн. Лопухинъ, генералъ Ламбъ и Трощинскій, или же это люди молодые, неопытные и неосторожные, какъ гр. Зубовъ, который сильно пьетъ. Самъ гр. Панинъ неоднократно предлагалъ государю обсуждать политическія дѣла въ комитетѣ, составленномъ изъ лицъ, пользующихся его полнымъ довѣріемъ. Но все осталось по старому.

Высказываясь столь откровенно, гр. Панинъ умоляетъ гр. Воронцова, въ концѣ своего секретнаго письма, никому ничего не сообщать объ этихъ подробностяхъ, если онъ не желаетъ создать ему непримиримыхъ враговъ.

Графъ Семенъ Романовичъ нисколько не былъ тронутъ безпредѣльнымъ къ нему довѣріемъ графа Никиты Петровича, но, напротивъ, все болѣе и болѣе проникался къ нему чувствами ненависти и озлобленія. Въ письмахъ къ своему брату, гр. Александру Романовичу, князю Куракину и Новосильцову [1]) посолъ подвергаетъ безпощадной критикѣ всякую фразу, всякую мысль и даже всякое внутреннее побужденіе гр. Никиты Петровича. Онъ пересталъ писать ему оффиціальныя донесенія, адресуя всѣ свои донесенія прямо на высочайшее имя; онъ не уставалъ обвинять своего начальника въ вскрытіи чужихъ писемъ — чего въ Англіи никто не дѣлаетъ; наконецъ, онъ сталъ обвинять гр. Панина, въ своихъ донесеніяхъ на высочайшее имя, не только въ

[1]) См. Архивъ князя Воронцова, томы X и XI.

неспособности, но также въ полномъ невѣжествѣ, злонамѣренности и почти въ государственной измѣнѣ.

Въ этомъ смыслѣ заслуживаютъ исключительнаго вниманія два донесенія гр. С. Р. Воронцова на высочайшее имя, отъ 27-го сентября (9-го октября) 1801 года.

„Если,—пишетъ посолъ въ первомъ донесеніи,—ваше величество читаете мои депеши, или если тѣ, которые вамъ ихъ читаютъ, читаютъ ихъ вамъ безъ пропусковъ (въ чемъ я начинаю сомнѣваться), то вы можете вспомнить, что я не переставалъ повторять, насколько унизительны для россійской имперіи и въ частности оскорбительны для вашего императорскаго величества такія коллективныя названія, какъ „три сѣверныя державы", „три сѣверные двора", какъ говорятъ о Россіи, Швеціи и Даніи. Между тѣмъ вашъ министръ и составитель вашихъ рескриптовъ не перестаетъ, государь, повторять эти названія!"

Гр. Воронцовъ затѣмъ повторяетъ свою любимую сказку о происхожденіи вооруженнаго нейтралитета благодаря совокупнымъ происканъ Франціи, Швеціи и Пруссіи, о полномъ раскаяніи императрицы Екатерины II насчетъ пользы этого дѣла для Россіи и т. д. Онъ подтверждаетъ также свое убѣжденіе, что лондонскій дворъ былъ правъ, требуя вести переговоры съ Швеціею и Даніею въ Лондонѣ, потому что такимъ образомъ „была бы устранена возможность какъ новаго обмана вашего императорскаго величества со стороны тѣхъ людей, которые противились снятію эмбарго и окончанію разногласія съ этою страною (Англіею), такъ и увлеченія васъ подписать актъ, который снова принуждалъ бы васъ къ поддержкѣ коммерческихъ и контрабандныхъ интересовъ этихъ двухъ державъ".

Гр. Воронцовъ не остановился на этихъ инсинуаціяхъ противъ ближайшаго совѣтника государя въ области внѣшней политики — графа Панина. Онъ обращаетъ серьезное вниманіе государя на новый, противъ него устроенный, подвигъ: его убѣдили дать свою ратификацію новому коммерческому трактату съ Швеціею, „въ которомъ имѣется статья, обязывающая ваше императорское величество поддерживать принципы вооруженнаго нейтралитета и морской конвенціи, отъ которыхъ вы авторитетнымъ образомъ отреклись на счастіе Россіи въ конвенціи отъ 5-го (17-го) іюня. Ваше императорское величество, въ вашей мудрости, сами признали, что польза Россіи неотложнымъ образомъ требуетъ отказа отъ этихъ началъ, столь вредныхъ для васъ, и въ поддержкѣ которыхъ вы были возмутительнымъ образомъ обмануты, благодаря коварству вашихъ сосѣдей".

Еще болѣе характеристично и небывало въ лѣтописяхъ русской дипломатіи второе донесеніе гр. С. Р. Воронцова на высочайшее имя, отъ 27-го сентября (9-го октября) 1801 года. Ссылаясь на приглашеніе государя, въ письмѣ къ нему отъ 10-го іюня, сказать, не стѣсняясь, полную правду, гр. Воронцовъ дѣйствительно не стѣсняется совершенно откровенно высказать все, что онъ думаетъ о послѣднихъ дѣлахъ русской политики. По его глубокому убѣжденію, величайшее несчастіе государей заключается въ томъ, что дѣйствительная правда рѣдко доходитъ до престола. Убѣдившись въ томъ, что государь „принялъ обычай обсуждать дѣла государственныя глазъ-на-глазъ съ однимъ человѣкомъ“ (гр. Панинымъ), къ которому онъ питаетъ полное довѣріе, считая его способнѣе всѣхъ своихъ другихъ подданныхъ, гр. Воронцовъ настаиваетъ на коллегіальномъ обсужденіи дѣлъ въ совѣтѣ, „какъ это практикуется во всѣхъ странахъ свѣта безъ малѣйшаго исключенія“. Только принятымъ порядкомъ веденія дѣлъ гр. Воронцовъ можетъ себѣ объяснить, почему онъ получилъ въ самое короткое время три рескрипта, которыхъ онъ не могъ исполнить. Только при такихъ обстоятельствахъ возможно было заключеніе новѣйшаго трактата съ Швеціею, котораго нельзя не признать „наиболѣе вреднымъ изъ всѣхъ трактатовъ, когда-либо заключенныхъ Россіею“. Въ этомъ вполнѣ виноватъ гр. Панинъ, котораго поведеніе отличается не только нерадѣніемъ, но также легкомысліемъ. „Можетъ быть,—ехидно прибавляетъ гр. Воронцовъ,—слишкомъ большое бремя дѣлъ столько же выше его физическихъ силъ, сколько оно превышаетъ его нравственныя силы, его познанія, его умственныя соображенія и его малый опытъ, и что у него нѣтъ ни средствъ, ни времени дѣлать все самому“.

Чѣмъ болѣе гр. Воронцовъ, изъ полученныхъ имъ депешъ, убѣждался во вредѣ отсутствія коллегіальнаго обсужденія, въ присутствіи государя, государственныхъ дѣлъ, тѣмъ болѣе онъ утверждался въ своей мысли о настоятельной необходимости ввести этотъ порядокъ управленія дѣлами государства.

„Я не сомнѣваюсь, государь,—продолжаетъ посолъ,—чтобы вы не видѣли, насколько опасно совѣщаться только съ однимъ человѣкомъ. Ничего нѣтъ на свѣтѣ опаснѣе, какъ подобное веденіе дѣлъ глазъ-на-глазъ съ начальниками отдѣльныхъ вѣдомствъ. Какимъ образомъ ваше императорское величество можете убѣдиться въ томъ, что они васъ не ввели въ заблужденіе умышленно или неумышленно? Какимъ образомъ вы можете знать, что они вамъ докладываютъ обо всемъ, что вамъ нужно знать? Ка-

кимъ образомъ вы можете удостовѣриться въ добросовѣстномъ исполненіи вашихъ повелѣній согласно вашимъ желаніямъ?"

„Въ натурѣ человѣка увеличивать свое собственное значеніе и власть. Отсюда мало-по-малу вытекаетъ министерскій деспотизмъ начальниковъ вѣдомствъ—что приводитъ къ олигархіи, несовмѣстной съ монархическимъ правительствомъ. И ваше величество, желая только общественной пользы и ненавидя деспотизмъ, создадите невыносимый деспотизмъ, того не замѣчая; вы сами, государь, лишите себя средствъ уразумѣть дѣла посредствомъ столкновенія различныхъ мнѣній и обсужденія, приводящаго къ разъясненію, котораго нельзя получить иначе какъ изученіемъ ихъ въ совѣтѣ". Начиная со временъ Петра Великаго, русскіе государи всегда были окружены такимъ совѣтомъ, безъ котораго нельзя управлять дѣлами государства, а въ особенности такою обширною имперіею, какъ Россія.

Въ концѣ своего любопытнаго донесенія гр. Воронцовъ честью увѣряетъ, что онъ не имѣетъ противъ гр. Панина никакихъ личныхъ жалобъ. Напротивъ, хотя онъ лично не знаетъ гр. Никиту Петровича, онъ все-таки ему всегда покровительствовалъ. Однако вездѣ, и въ особенности въ Берлинѣ, гр. Панинъ оказывался неспособнымъ къ исполненію возложенныхъ на него обязанностей. Высказываясь такимъ откровеннымъ образомъ, посолъ руководился убѣжденіемъ, что онъ служитъ не министру его величества, но исключительно своему государю и отечеству.

Съ цѣлью еще болѣе убѣдить императора Александра I въ неотложной необходимости устранить „возмутительную олигархію въ видѣ министерскаго деспотизма, который въ тысячу разъ хуже деспотизма одного только государя" [1]), гр. Воронцовъ представилъ государю подробнѣйшій критическій разборъ сочиненнаго графомъ Никитою Петровичемъ рескрипта, отъ 5-го іюня. Трудно себѣ представить болѣе озлобленную и часто несправедливую критику государственнаго акта, утвержденнаго высочайшею подписью. Достаточно привести немногіе примѣры изъ записки гр. Воронцова, уже давно обнародованной [2]).

Графъ Воронцовъ нисколько не затрудняется постоянно называть различныя мѣста въ высочайшемъ рескриптѣ: „double galimathias", „verbiage" и т. д. Если въ рескриптѣ сказано, что Австріи угрожаютъ замѣшательства и „безпорядки", то это только, по мнѣнію гр. Воронцова, доказательство „невѣроятнаго безпо-

[1]) См. письмо гр. Воронцова къ Новосильцову, отъ 18-го августа 1801 г., въ архивѣ гр. Воронцова, т. XI, стр. 405.

[2]) Архивъ кн. Воронцова, т. X, стр. 276 и слѣд.

рядка идей въ головѣ редактора рескрипта". Если въ рескриптѣ сказано о политическихъ отношеніяхъ къ Нидерландамъ, то гр. Воронцовъ усматриваетъ въ этомъ новое доказательство „невѣжества и лицемѣрія" автора рескрипта, потому что кто же въ Европѣ не знаетъ, что Голландія находится въ рукахъ французовъ? Наконецъ, гр. Воронцовъ выражаетъ пламенное желаніе, чтобы отъ всѣхъ рескриптовъ, сочиненныхъ въ послѣднее время и подписанныхъ государемъ, не осталось ни малѣйшаго слѣда ни въ одномъ архивѣ, ни въ имперіи, ни за границею. Онъ умоляетъ государя потребовать ихъ обратно для уничтоженія.

Донесенія гр. Семена Романовича Воронцова отъ 27-го сентября 1801 года и его критическая записка о рескриптѣ 5-го іюля того же года сохранились по настоящее время и навѣрное останутся любопытнѣйшими памятниками въ исторіи русской дипломатіи. Можетъ быть, для памяти гр. Воронцова было бы лучше, еслибъ императоръ Александръ I предалъ эти акты, наполненные необъяснимою личною злобою, явною несправедливостью, инсинуаціями и умышленными ошибками,—уничтоженію. Но въ такомъ случаѣ нужно было бы уничтожить также другія многочисленныя писанія гр. Воронцова къ своимъ петербургскимъ друзьямъ, въ которыхъ онъ не переставалъ называть гр. Панина, даже послѣ извѣстной ему отставки послѣдняго, „государственнымъ измѣнникомъ, которому во всякой другой странѣ отрубили бы голову".

Донесенія гр. Воронцова были получены въ С.-Петербургѣ въ послѣднихъ числахъ октября и уже не застали гр. Панина во главѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 30-го октября онъ подалъ въ отставку, и на его мѣсто былъ назначенъ гр. Кочубей, другъ С. Р. Воронцова. Послѣднія донесенія посла очевидно не могли повліять на судьбу гр. Панина въ качествѣ министра. Но они повліяли на его судьбу въ качествѣ частнаго лица, подвергая его всевозможнымъ гоненіямъ и сдѣлавъ невозможнымъ возвращеніе его на государственную службу.

Спрашивается: какъ же отнесся самъ государь къ совѣтамъ, которые были ему даны, безъ всякаго вызова, графомъ С. Р. Воронцовымъ?

Императоръ Александръ I вполнѣ одобрилъ совѣты и образъ дѣйствій посла: онъ ему пожаловалъ высшій русскій орденъ св. Андрея Первозваннаго и въ письмѣ отъ 31-го октября высказываетъ ему благодарность за откровенность, видя въ ней только доказательство истинной преданности престолу и отечеству. Этого

мало: государь даже выразилъ свое намѣреніе отнынѣ слѣдовать совѣту гр. Воронцова и обсуждать дѣла въ совѣтѣ.

Легко можно себѣ представить восторженное чувство, съ которымъ эти знаки несомнѣнной монаршей милости были приняты графомъ Семеномъ Романовичемъ. „Рѣшеніе, которое вы мнѣ объявляете, государь,—пишетъ посолъ 27-го декабря 1801 г. (8-го января 1802 г.),—отнынѣ лично присутствовать въ совѣтѣ, принесетъ необъятную пользу для государства". Теперь государь, выслушавъ при докладѣ въ совѣтѣ различныя и противорѣчивыя мнѣнія министровъ, постановитъ свои рѣшенія по убѣжденію, а не въ видѣ сюрприза. „Но кромѣ этой выгоды,—продолжаетъ посолъ,—отъ вашего, государь, присутствія въ совѣтѣ будетъ еще другая неоцѣнимая польза, заключающаяся въ томъ, что меньше чѣмъ въ два года ваше императорское величество пріобрѣтете больше опыта въ отношеніи людей и дѣлъ, и въ особенности въ отношеніи внутренняго положенія вашей обширной имперіи, нежели еслибъ вы продолжали въ теченіе сорока лѣтъ рѣшать дѣла глазъ-на-глазъ съ начальниками отдѣльныхъ вѣдомствъ".

Ѳ. Мартенсъ.

ЗАЛОЖНИКЪ

— „The Bondman", by Hall Caine *).

КНИГА II *).

Михаилъ „Кудрявчикъ".

XIV.

Лѣто было въ самомъ началѣ, но солнце уже пекло нестерпимо; было душно и жарко, несмотря на легкій вѣтерокъ, шевелившій сѣдыя пряди еще густыхъ волосъ старика.

Адамъ шелъ не торопясь, твердо ступая и опираясь на суковатую тяжелую трость; только изрѣдка можно было подмѣтить, какъ раскачивалась на ходу его тучная, но еще довольно гибкая фигура, будто желая возстановить равновѣсіе. Изъ-подъ ногъ у него взвивалась тонкимъ, чуть замѣтнымъ столбомъ, ѣдкая пыль. За нимъ слѣдомъ ѣхалъ шагомъ въ своей телѣжкѣ перевозчикъ О'Киллэ. Какъ ни простоватъ былъ бѣдняга, а понялъ инстинктивно, что творилось на душѣ у господъ, которые молча шли рука-объ-руку, „какъ простые",—и онъ принялся занимать ихъ, стараясь болтать какъ можно непринужденнѣе и веселѣе, чтобы ихъ развлечь. Грѣба съ отцомъ хоть и не перебивали старика, но ничего не слыхали о такихъ важныхъ событіяхъ, какъ, напримѣръ, забавныя продѣлки и смерть его стараго осла, — того самаго, на которомъ, бывало, ѣздилъ Кудрявчикъ, и т. п. Ничего другого не нашелъ разсказать О'Киллэ, въ душѣ удивлявшійся

*) См. выше: сент., 192 стр.

тому, что какъ ни верти, а непремѣнно разговоръ свернетъ на одну и ту же тяжелую для всѣхъ тему.

Путникамъ приходилось проходить черезъ городъ Дуглась, гдѣ многіе знали когда-то близко своего вице-губернатора. О'Киллэ предложилъ дать немного крюку и миновать городъ; однако Адамъ, видя его уловку, возразилъ, что не хочетъ разыгрывать изъ себя труса и долженъ испить всю чашу до дна, если ужъ она выпала ему на долю; но въ то же время посовѣтовалъ Грибѣ, вмѣстѣ съ О'Киллэ, свернуть въ сторону и идти окольнымъ путемъ, пока онъ самъ пройдетъ черезъ городъ. Однако Гриба и слышать объ этомъ не хотѣла, и наши путники продолжали идти большой дорогой. Тревога старика-перевозчика оказалась излишней: весь городъ былъ въ такомъ волненіи, что ихъ никто бы и не замѣтилъ. Сновали экипажи и пѣшеходы; толпы народа стояли вдоль улицъ: ожидался проѣздъ новаго генералъ-губернатора, который долженъ былъ впредь соединять въ себѣ власть прежнихъ обоихъ представителей правительства.

Въ богатой упряжи, не спѣша, везли лошади цугомъ коляску, въ которой сидѣло высокопоставленное лицо, раскланиваясь съ толпой, которая радостно его привѣтствовала.

При видѣ грубаго невниманія, съ какимъ народъ, протискиваясь впередъ, толкалъ, не замѣчая того, своего бывшаго вице-губернатора, передъ которымъ еще недавно съ раболѣпствомъ снималъ шапки,—сердце старика О'Киллэ вскипѣло злобой и негодованіемъ на грубую толпу, и онъ грозно потрясалъ въ воздухѣ кулаками.

На другой день, подходя къ своей фермѣ, старикъ Адамъ не могъ удержаться отъ волненія, выливавшагося въ немногихъ, но полныхъ грусти и смиренія словахъ. Онъ выразилъ надежду, что испытанія и униженія, которыя ему пришлось претерпѣть на своемъ вѣку, зачтутся ему на томъ свѣтѣ, и что онъ одного только проситъ теперь у Бога: даровать ему, на склонѣ дней, тихое пристанище и кусокъ хлѣба подъ этой кровлею, съ которой онъ желалъ бы уже болѣе не разставаться. У Грибы также больно защемило на сердцѣ: она предчувствовала, что ихъ ждетъ неласковая встрѣча.

Было ужъ далеко за полдень. Мужчины всѣ были въ полѣ, и миссисъ Фэрбрезеръ сама отворила калитку и пошла къ мужу на встрѣчу. Адамъ Фэрбрезеръ, насколько могъ привѣтливѣе, поздоровался съ женою, которая не отвѣтила на его поклонъ; затѣмъ вошелъ въ домъ и сѣлъ на свое старое кресло, у камина.

Миссисъ Фэрбрезеръ молча поглядывала то на него, то на дочь,

то, наконецъ, на старика О'Киллэ, который стоялъ позади, переминаясь съ ноги на ногу и почесывая въ затылкѣ. Затѣмъ, выпрямившись и принявъ холодный, пренебрежительный видъ, она проговорила, въ то время, какъ лицо ея подергивала судорога:

— Скажите пожалуйста, какой это вѣтеръ занесъ васъ сюда?

— Не вѣтеръ, Руѳь,—возразилъ Адамъ,—а горе!.. Ты, вѣрно, слышала о нашемъ несчастіи: оно уже разнеслось по всему острову. Ну, такъ вотъ видишь... Я не къ тому говорю, чтобы роптать на Бога; Онъ, всеблагій, лучше насъ знаетъ, что намъ нужнѣе. Но я-то теперь ужъ не тотъ, что прежде; ослабъ я, состарился и не въ состояніи больше работать на себя, не только что на другихъ...

Миссисъ Фэрбрезеръ нетерпѣливо топнула ногою:

— Говорите короче: чего вамъ нужно?

Адамъ изумленно вскинулъ на нее глазами и спокойнымъ тономъ произнесъ:

— Мнѣ нужно... остаться у себя дома.

— Дома?!—рѣзко прозвучалъ окрикъ его жены:—дома?! Гдѣ же именно, позвольте спросить?

— Какъ это гдѣ?..—послѣ нѣкотораго недоумѣлаго молчанья началъ Адамъ:—да гдѣ же, какъ не здѣсь? Здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, гдѣ я родился, а до меня родились здѣсь же мой дѣдъ и отецъ...

— Еще тамъ чего? Пошелъ вздоръ молоть! Да знаешь ли ты, что этихъ самыхъ стѣнъ давно и слѣдовъ бы не было, еслибъ онѣ остались въ твоихъ рукахъ? Онѣ—мои, слышишь ли: *мои*!—потому что я своими заботами, своими трудами сохранила ихъ!

— Ну да, ну да; конечно, онѣ твои,—кротко согласился старикъ,—потому что я самъ отдалъ ихъ тебѣ...

— Нѣтъ, скажи лучше, что я сама, по праву, взяла ихъ отъ тебя, чтобы онѣ, какъ и все остальное, до чего бы ты ни прикоснулся, не пошли прахомъ!..

Эти жестокія слова больно рѣзнули по сердцу старика, и онъ съ достоинствомъ выпрямился, глядя прямо въ лицо женѣ:

— Да! что, дѣйствительно, пошло у меня прахомъ, такъ это любовь и преданность женщины, которая лѣтъ сорокъ тому назадъ поклялась передъ Богомъ любить и уважать меня! — сказалъ онъ.

— Ну, пошли турусы на колесахъ!—воскликнула хозяйка дома.—Нечего сказать, хороша бы я была на своей спинѣ выносить всѣ труды и заботы, какъ бы сохранить домъ и хозяйство для такого молодца, который и свое-то добро все спустилъ!.. „Не-

счастіе"! „Несчастіе"! Нечего сказать, хорошо несчастіе, которому названье просто... твоя нерадивость!

— Что же, Руѳь, ты, значитъ, отказываешься принять меня къ себѣ въ домъ?—спросилъ Адамъ.

— Ну, да; этотъ домъ мой по праву и по закону!.. — продолжала она.

— Такъ ты не хочешь меня принять? — снова повторилъ Адамъ своимъ ровнымъ голосомъ, вставая съ кресла.

— Ты навлекъ на себя бѣду своей глупостью, своимъ безразсудствомъ и теперь хочешь еще совать носъ и въ наши дѣла...

— Руѳь! Ты не хочешь меня принять?—еще разъ проговорилъ старикъ.

— Конечно, не хочу! Ты себя довелъ до нищенства и хочешь теперь взяться за насъ... Не бывать этому никогда! Слышишь ли: никогда, пока я жива!

Наступило тяжелое молчаніе. Адамъ Фэрбрезеръ, тяжело дыша, оперся на свою суковатую палку; ему казалось, что въ тишинѣ только и были слышны порывистые, громкіе удары его сердца.

— Боже, пошли мнѣ терпѣніе и кротость! — проговорилъ онъ.—Дай мнѣ смиренно снести униженіе!.. Руѳь, послушай! Я больше не скажу тебѣ ни слова: уйду, буду бродить хоть по большой дорогѣ, но не вернусь униженно просить у тебя крова и пищи!

Но вдругъ обида горячо нахлынула ему на сердце, и злоба на оскорбившую его женщину неудержимо вырвалась наружу:

— Вонъ! Вонъ! Убирайся отсюда!..—съ крикомъ бросился онъ къ женѣ.—Боже! прости мнѣ тотъ часъ, когда я поддался лукавому, пославшему мнѣ эту женщину! Боже, прости мнѣ, что я прижималъ къ своей груди злую, недостойную!

Гриба, не спускавшая глазъ съ отца, ужаснулась при видѣ его злобнаго порыва и, повинуясь инстинктивному страху за его послѣдствія, обратилась къ матери:

— Мама, не поставь ему въ вину, прости ему эту вспышку! Пойми—онъ слабъ, удрученъ горемъ и годами, ему нужно пристанище на старости лѣтъ. Неужели же ты откажешься принять его? Я увѣрена, ему самому будетъ досадно на себя...

Умоляющій звукъ нѣжнаго голоса дочери какъ бы ошеломилъ бѣднаго отца; онъ тяжело опустился на кресло, и слезы градомъ полились у него по щекамъ.

— Мнѣ стыдно, что я плачу, дитя мое!—сказалъ онъ:—но не о себѣ я плачу. Не ради себя пришелъ я сюда, хоть мать твоя и думаетъ иначе. Она безсердечная, жестокая женщина...

Нѣтъ, нѣтъ: молчи. Я не раскаяваюсь ни въ чемъ, что ей сказалъ. Но она не плоть отъ плоти моей, не кровь отъ крови моей: сыновья придутъ, сыновья насъ разсудятъ; сыновья не дадутъ отца въ обиду, не позволятъ лишить его крова!

Въ эту минуту вернулись трое старшихъ: Эшеръ, Россъ и Терстанъ. Не разъясняя имъ ничего, отецъ въ волненіи бросился къ нимъ на встрѣчу:

— Эшеръ, вѣдь ты не позволишь?—горячо воскликнулъ онъ.

— Я не понимаю тебя, отецъ,—не кланяясь ему, отвѣчалъ его первенецъ.

— Онъ изругалъ вашу мать и проклялъ день, когда женился на ней,—торжественно и жалобно объяснила миссисъ Фэрбрезеръ, отирая слезы.

— Но вѣдь она гонитъ меня изъ дома вонъ,—изъ того самаго дома, который принадлежалъ и отцу моему, и дѣду!—возразилъ старикъ.

— Извинись передъ нею, и она согласится,—холодно проговорилъ Эшеръ.

— Извиниться?.. Великій Боже!.. Дѣти, взгляните: вѣдь я старикъ, я слабъ, я сѣдъ!..

— То-то и есть, что ты старъ и слабъ, и не слѣдъ бы тебѣ слишкомъ задирать голову; пора бы смириться,—наставительно-увѣщательнымъ тономъ произнесъ второй сынъ.

— Какъ? И вы всѣ противъ меня? Эшеръ, Терстанъ, Россъ! Дѣти мои! И вы допустите, чтобы меня выгнали изъ моего же собственнаго дома?..

Всѣ трое молча склонили голову передъ горячимъ укоромъ отца.

— Мы должны во всемъ соглашаться съ матерью,—тихо пробормоталъ старшій.

— Но вѣдь я же, *я* отдалъ вамъ все, что имѣлъ!—воскликнулъ старикъ.—Я слабъ, я ужъ не въ состояніи работать попрежнему, я бѣденъ: неужели вы не пріютите меня у себя?

— Но вѣдь и мы, отецъ, не богаты; наконецъ, не можемъ же мы не помнить, кто этому причиной! Кто, забывая о собственной семьѣ, разорился, помогая чужимъ?

— Да! Кто, какъ не ты, привязался къ подкидышу, своему возлюбленному Кудрявчику и, ради него, разошелся съ семьей?—подхватилъ съ укоризной другой сынъ.

— А чѣмъ онъ тебѣ отплатилъ? Вспомнилъ ли онъ хоть разъ о томъ, что ты есть на свѣтѣ? Написалъ ли тебѣ хоть пару строкъ за четыре года?

Гриба не выдержала. Вспыхнувъ какъ зарево, она перебила брата:

— Стыдитесь! Стыдитесь! Вы сыновья и мужчины, а напали на слабаго старика,—на отца, давшаго вамъ жизнь! И чѣмъ вы укоряете его? Добрымъ дѣломъ!.. Презрѣнные, недостойные люди!

Тѣмъ временемъ отецъ сидѣлъ, низко склонивъ свою сѣдую голову, и что-то бормоталъ потихоньку, печально, безпомощно, какъ пришибленный нежданнымъ ударомъ. Наконецъ онъ поднялъ голову и сказалъ:

— Вѣдь не ради себя я пришелъ, не ради себя, поймите: а ради нея! Ну, куда она теперь дѣнется? Что съ ней будетъ?

— А будетъ то, что она сама заслужила!—отрѣзалъ одинъ изъ братьевъ.—Ничего съ нею не будетъ! А здѣсь ей не мѣсто: работать она не привыкла, да и не по вкусу придется ей наша простая деревенская жизнь. Отправь-ка ее, по добру, по здорову, обратно въ Лондонъ, къ ея столичнымъ друзьямъ!

— Что же, и это дѣло, если ты не пожелаешь теперь же выдать ее замужъ,—обратился съ усмѣшкой другой братъ къ отцу. Мнѣ ворона на хвостѣ принесла, что кое-кто не прочь бы хоть сейчасъ идти съ нею подъ вѣнецъ. Да вотъ, подождемъ денька два-три, а тамъ и женихъ вернется: ушелъ на охоту, въ горы!

Глубоко возмущенный такимъ безцеремоннымъ отношеніемъ къ своей любимицѣ, бѣдный старикъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и, едва сдерживая свой гнѣвъ, проговорилъ:

— Руѳь! Ты ей мать: неужели ты не оставишь ее у себя, или выдашь за кого ни попало?

— Я оставлю ее у себя,—отвѣчала жена,—но подъ условіемъ, чтобы ты обязался никогда больше не видаться съ нею, ни въ чемъ ея не касаться.

— Никогда не видать ее, не слышать ея голоса? Да знаешь ли ты, безсердечная женщина, что въ ней было все мое счастье, свѣтъ очей моихъ? Знаешь ли ты, что ты не чувствовала къ своей дочери и сотой доли той любви, какою я всегда окружалъ ее?.. Пусть такъ, но помяни мое слово: Богъ накажетъ тебя, злую, холодную!..

— Берегись, не давай воли языку!—злобно проговорила миссисъ Фэрбрезеръ:—а не то вѣдь я, какъ разъ, возьму свои слова обратно!

— Ты права! Я молчу: я не долженъ лишать ее куска хлѣба! Пусть она сама рѣшитъ наше пререканье!

Пытливо и нѣжно оглянулся старикъ на дочь и продолжалъ:

— Гриба! Сокровище мое! Ты сама понимаешь, ты видишь, въ

чемъ дѣло: останешься ты у матери—будешь жить въ довольствѣ; пойдешь со мною—и будешь нуждаться. Подумай, дитя, и рѣшайся!.. Ты ни въ чемъ не повинна: за что же тебѣ нести незаслуженное наказанье! Выбирай, дорогая, но, умоляю тебя, поскорѣе! Сердце мое разрывается, на тебя глядя!..

— Ты говоришь: подумай, выбирай!—воскликнула молодая дѣвушка, и ея глаза сверкнули огнемъ гордости и горячаго чувства:—какой тутъ можетъ быть выборъ? Куда пойдетъ мой отецъ, туда и я съ нимъ пойду, хоть на край свѣта!..

Какъ молодой, бодро, сіяя всѣмъ своимъ старческимъ лицомъ, еще мокрымъ отъ слезъ, вскочилъ на ноги бѣдный старикъ, и его голосъ звучно раздался въ затихшей комнатѣ:

— Слышите? Слышите вы, всѣ, старые и малые? Смотрите: вотъ вамъ примѣръ любви и милосердія! Дитя, дитя васъ учитъ! О, Боже! Благодарю Тебя за то, что Ты мнѣ далъ это утѣшенье!.. Пойдемъ, мое дѣтище! Пойдемъ прочь отсюда: Богъ не оставитъ насъ сиротами!

Рука-объ-руку они пошли прочь; на порогѣ Адамъ оглянулся на сыновей, стоявшихъ пристыженно, какъ прибитые.

— А васъ, безчеловѣчные и непочтительные сыновья, я и знать больше не хочу: живите по прежнему, предаваясь лѣни и пьянству. Я пойду къ тому, кто хоть и не сынъ мнѣ по плоти, но сынъ по душѣ, по чувству!.. И твое время придетъ, и ты еще не разъ вспомнишь меня!—заключилъ онъ, обернувшись къ женѣ.

Гриба ласково коснулась его плеча и тихо проговорила:

— Пойдемъ, отецъ, пойдемъ!.. Прощайте вы всѣ, и дай вамъ Богъ никогда не видать того, что сегодня вытерпѣлъ вашъ отецъ!..

Очутившись за дверью своего дома, старикъ вдругъ ослабѣлъ и, шатаясь, побрелъ впередъ, всхлипывая какъ ребенокъ:

— Кудрявчикъ! Дитя мое! Скорѣй бы къ тебѣ... къ тебѣ!

Недалеко отъ фермы имъ встрѣтился Язонъ, возвращавшійся съ охоты въ горахъ. При видѣ старика-губернатора, который тихо и уныло брелъ по дорогѣ объ руку съ дочерью, уходя прочь отъ своего пепелища, Язонъ понялъ инстинктивно, въ чемъ дѣло; понялъ также, что слова излишни. Онъ молча поровнялся съ путниками и взялъ подъ-руку старика, который довѣрчиво оперся на своего сильнаго молодого друга.

Дорогой имъ было не до разговоровъ, и, дойдя до города Рамсэ, они вскорѣ разстались: отецъ съ дочерью рѣшили про-

вести ночь въ крохотной комнатѣ, которую наняли на сутки, а Язонъ ушелъ, обѣщая вернуться къ десяти часамъ вечера.

— А добрый онъ малый,—сказалъ ему вслѣдъ Адамъ:—простой и любящій, какъ дитя; но бѣда тому, кто его обманетъ. Ты-то вѣдь никогда не обманешь его... а? Гриба? А? Никогда?..

— Отецъ! Что съ тобой? Къ чему ты это говоришь? Вѣдь я же ѣду съ тобою?—встревоженно спросила молодая дѣвушка.

— Ну, да, дитя мое! Да, конечно!..—пробормоталъ отецъ; но онъ недаромъ заговорилъ съ дочерью о Язонѣ.

Всю дорогу, съ фермы до Рамсэ, онъ, не переставая, обсуждалъ самъ, про себя этотъ важный вопросъ и пришелъ къ заключенію, что для Грибы лучше, обезпеченнѣе всего остаться дома, у матери. Еслибы ей тамъ пришлось плохо, онъ зналъ, что за нее вступится Язонъ, и что на него можно вполнѣ положиться. Онъ понималъ, что, оставляя дочь одну, онъ тѣмъ самымъ даетъ скорѣйшій поводъ къ успѣшному окончанію брачнаго вопроса, который подняли братья, и къ которому, въ лицѣ Язона, и мать относилась благосклонно.

Но нечего дѣлать: чѣмъ-нибудь да надо же поступиться для блага своего ребенка!..—Такъ размышлялъ старикъ, и едва задремала молодая дѣвушка, уставшая отъ дальней дороги, какъ Адамъ поспѣшно направился къ гавани, гдѣ стояло на рейдѣ нѣсколько судовъ, уже готовыхъ къ отплытію. Одно изъ нихъ на зарѣ отправлялось въ Исландію и на немъ взялъ себѣ койку бывшій губернаторъ.

Въ десять часовъ, когда зашелъ къ нимъ Язонъ, Адамъ все разсказалъ ему, прося не уходить изъ города безъ Грибы, и быть тутъ, когда она узнаетъ, что отецъ уѣхалъ.

Здоровякъ и силачъ не могъ сдержать волненія при этомъ извѣстіи: глаза его горѣли; лицо подергивало, руки дрожали.

— Да какъ же, какъ же это? — лепеталъ онъ, и губы его тряслись, какъ въ лихорадкѣ.—Неужели нельзя иначе?

— Невозможно!—отвѣчалъ старикъ:—У Грибы ни гроша за душою, а бѣднякамъ не приходится быть разборчивыми!

— Ну, однако, есть... есть для нея возможность... не одолжаться!—порывисто вскричалъ молодой охотникъ.—Есть человѣкъ, который считалъ бы себя счастливымъ, еслибы имѣлъ право охранять ее; который почти ежедневно видѣлъ ее, и оцѣнилъ ея безграничныя достоинства; который цѣною каждой капли крови готовъ купить ея счастье; который не рѣшался, не смѣлъ высказаться...

При этихъ словахъ, лицо Адама затуманилось, и онъ проговорилъ въ смущеніи:

— Я не имѣю причины не вѣрить вамъ; но лучше не буду допрашивать, о комъ вы говорите...

Но Язонъ ужъ не могъ удержаться отъ наплыва чувствъ, которыя просились наружу.

— Знаю и понимаю, что до сихъ поръ я ничѣмъ не выказалъ себя съ хорошей стороны,—продолжалъ онъ горячо:—знаю, что приносилъ такъ же мало пользы, такъ же мало трудился, какъ любой дикій звѣрь... Но дайте мнѣ право заботиться о ней—и я обѣщаю вамъ, что никакія братскія заботы не сравнятся съ моими: никому и ничему не дамъ я ее въ обиду!..

— Ты добрый малый, Язонъ, и я вѣрю тебѣ,—сказалъ Адамъ сдавленнымъ отъ слезъ голосомъ;—хоть у меня и были относительно ея другія намѣренія, но... все-таки спасибо тебѣ! Охраняй ее: я знаю, что могу на тебя положиться!..

Полночь была уже близко. Пора была разставаться, и старикъ, сдерживая свое порывистое дыханіе, подошелъ къ тихо спавшей дочери. Изъ окна падалъ на нее мягкій лунный свѣтъ, и еще покойнѣе казалось ея сонное лицо, на которомъ играла счастливая улыбка. Гриба и во снѣ, вѣроятно, чувствовала тотъ душевный покой, который такъ безмятежно свѣтился у нея въ глазахъ, на яву... Да, да, еще разокъ взглянуть на нее и... довольно. Нѣтъ, не уйти, не оторваться отъ нея безъ поцѣлуя!

— Господь съ тобою, мое дитя, сокровище мое! Да хранитъ тебя Богъ всемогущій и всѣ святые!..—чуть слышно, дрожащими губами прошепталъ отецъ, и, съ трудомъ сдерживая рыданія, отошелъ отъ ея изголовья...

Съ разсвѣтомъ онъ былъ уже въ морѣ; а Язонъ повелъ Грибу обратно на ферму.

XV.

Хотя въ порывѣ гнѣва и поклялся Язонъ переломать ребра всѣмъ шестерымъ молодцамъ, оскорбившимъ сестру и отца, но теперь отложилъ до поры до времени это похвальное намѣреніе, памятуя свое обѣщаніе охранять Грибу; побить ихъ—значило бы прекратить всякія сношенія съ фермой, а слѣдовательно и не встрѣчаться больше съ молодой дѣвушкой, не знать, что съ нею!

Теперь у него была цѣль работать, было для кого трудиться, и онъ усердно взялся за дѣло.

Охотясь почти ежедневно, Язонъ замѣтилъ, что на рѣкѣ есть поворотъ съ такимъ быстрымъ теченіемъ, какое устраиваютъ искусственнымъ образомъ для водяной мельницы, и теперь рѣшилъ воспользоваться имъ. Сказано—сдѣлано. Мигомъ слеталъ онъ къ миссисъ Фэрбрезеръ и купилъ у нея необходимый при этомъ клочокъ земли, между береговъ которой струилось быстрое теченіе; побывалъ и у судьи, чтобы оформить право владѣнія; затѣмъ, заказалъ жернова и колеса, а самъ, съ помощью старика Дэви Керрьюиша, съ которымъ онъ за послѣднее время поселился,—принялся выводить стѣны будущей мельницы. Дэви, исполнявшій на деревнѣ обязанности кладбищенскаго сторожа и могильщика за небольшое жалованье, радъ былъ „живому“ дѣлу и, забѣгая иногда на ферму, не могъ нахвалиться умомъ и трудолюбіемъ молодого исландца. Миссисъ Фэрбрезеръ съ удовольствіемъ выслушивала эти похвалы и обращала на нихъ вниманіе своей дочери, для которой не было тайной желаніе матери выдать ее за Язона.

Гриба отшучивалась, даже смѣялась иногда звонко, по старому; но въ глубинѣ души ее брала такая тревога, что она даже задумала написать къ Кудрявчику. Ее останавливалъ только ея дѣвичій стыдъ; чтобы извинить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ, Гриба начала свое письмо съ оговорки, что пишетъ ему лишь въ тревогѣ за отца,—лишь съ цѣлью попросить дать ей знать, когда Кудрявчикъ увидится съ нимъ, когда и гдѣ устроится на житье ея старикъ-отецъ. Говорила она въ письмѣ также и о себѣ, намекала и на то, какъ ей теперь живется, и тутъ только поняла, что любитъ его, своего брата и друга,—что жизнь будетъ ей не мила, пока она не дождется отвѣта. О Язонѣ Гриба не обмолвилась ни словомъ; а между тѣмъ почти дня не проходило, чтобы мать не допрашивала ее: почему она сторонится его?

— Что онъ тебѣ сдѣлалъ?—говорила миссисъ Фэрбрезеръ.

— Ничего, мама!—былъ всегда ровный отвѣтъ.

— Ну, такъ чего жъ ты его гонишь прочь отъ себя? Чего отталкиваешь человѣка? Онъ малый недурной, да и пора, наконецъ, тебѣ смотрѣть изъ-дому вонъ. Тебѣ, вонъ, и двадцать-четвертый годъ на носу: у меня, въ твои годы, было ужъ двое дѣтей...

— Мама, да я вовсе не хочу изъ-дому вонъ; вѣдь братья почти вдвое старше меня, а не убѣждаешь же ты ихъ жениться,—мягко, полу-шутливо возражала Гриба.

Но миссисъ Фэрбрезеръ было не до шутокъ.

Всего только мѣсяцъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ она вы-

гнала мужа изъ своего дома, а уже его пророческія слова начинали сбываться. Въ одинъ прекрасный день, замѣтно осунувшаяся, какъ-то вдругъ за послѣднее время постарѣвшая, она потеряла сонъ и аппетитъ, затѣмъ схватила лихорадку, слегла и поняла, что ей уже не встать. Ужасъ охватилъ ее при мысли о необходимости разстаться съ жизнью, съ сокровищемъ, которое она съ ненасытной алчностью копила всѣми правдами и неправдами. И эти-то неправды мучили ее, хотя она и не особенно дорожила своимъ загробнымъ покоемъ: весь вѣкъ съумѣла она прожить безъ Бога, а умереть съумѣетъ и того подавно! Только одно ей казалось непріятно: унести съ собой въ могилу деньги, которыя, какъ она сама сознавала, принадлежали по праву ея должникамъ,—тѣмъ несчастнымъ, которымъ она давала на проценты скопленныя суммы. Многихъ обдѣлила она, многихъ обидѣла и теперь рѣшилась исправить свою оплошность. Только скорѣе, скорѣе! Не то будетъ поздно!..

И вотъ, созванные Грибой, стали тихонько входить въ комнату ея матери должники, недоумѣвавшіе, чего отъ нихъ хочетъ госпожа.

Блѣдное, изможденное лицо и худая шея старухи выдѣлялись особенно рѣзко на бѣлой подушкѣ. Она знакомъ подозвала къ себѣ дочь и приказала громко читать имена, помѣченныя въ ея реестрѣ.

— Керкъ Клобенъ?—прочитала Гриба.

— Онъ въ Америкѣ,—отвѣчала блѣдная, худенькая дѣвушка, его сестра:—не могъ же онъ тутъ оставаться, когда землю его продали за долги!

— А Джегэнъ?

— Умеръ на прошлой недѣлѣ,—тихо подсказалъ пасторъ, свидѣтель этой странной сцены.

Водворилось тяжелое молчаніе. Больная прерывисто дышала. Бѣдняки переминались съ ноги на ногу.

— Ну, кончайте скорѣе!—проговорила, наконецъ, миссисъ Фэрбрезеръ, и Гриба продолжала:

— Кинвигъ?..

— Ахъ, да, Кинвигъ, послушай!—заторопилась больная.—Помнишь, ты занялъ у меня 100 фунтовъ на два года по 12% годовыхъ, а между тѣмъ можно было бы взять съ тебя только 6%. Такъ вотъ тебѣ разница,—и она передала ему двѣнадцать кредитныхъ билетовъ по одному фунту.

— Миссисъ Корлетъ?—продолжала снова Гриба.

— Когда, помните, продавали за долги вашу землю, ты

просила меня оставить тебѣ материнскую постель и отцовское кресло? Но я не согласилась и отобрала ихъ отъ тебя, хоть у меня и безъ того было креселъ и кроватей довольно. Такъ вотъ, на эти деньги обратно—и да помилуетъ меня Господь Богъ!

Когда послѣдніе счеты съ должниками были покончены, миссисъ Фэрбрезеръ утомленно закрыла глаза и нѣкоторое время лежала будто въ забытьѣ. Но вотъ она тихо шевельнулась, и дочь воспользовалась удобной минутой, чтобы заговорить съ нею объ отцѣ, о примиреніи съ нимъ; но умирающая снова озлобилась и слышать не хотѣла о разрѣшеніи мужу вернуться на ферму.

Докторъ, за которымъ ѣздили въ городъ, осмотрѣлъ больную и только грустно покачалъ на нее головой; тогда миссисъ Фэрбрезеръ призвала къ себѣ сыновей и, въ промежуткахъ между приступами страданій, дала имъ свои наставленія.

— Помните, дѣти, держитесь дружно, не дѣлитесь, берегите землю: пока вы вмѣстѣ, до тѣхъ поръ и земля цѣла, и всегда васъ прокормитъ. Помните также, чтобы не вводить въ домъ женщинъ. Стоитъ только женщинѣ переступить порогъ вашего дома, и пойдутъ у васъ ссоры и неурядицы. Не забудьте еще, что рыжая телка должна скоро отелиться: ей надо непремѣнно на ночь задавать корму. Пригоните домой гусей и велите пастухамъ запереть овецъ въ загонъ. Пересчитайте, провѣрьте всю птицу и всю скотину: берегитесь деревенскаго люда,—это все воръ на ворѣ, даромъ что сосѣди. Будьте осторожны, не довѣряйтесь имъ: разъ въ недѣлю, непремѣнно, провѣряйте и птицу, и стада!..

Сыновья почтительно и твердо обѣщали ей поступать по ея желанію, и мать, замѣтно успокоенная, проговорила въ заключеніе:

— А ей,—и она указала на Грибу,—отдайте все, что слѣдуетъ ей по праву, и пусть она выйдетъ замужъ за кого пожелаетъ!..

И въ этомъ также поклялись сыновья, но не долго придерживались своей клятвы.

Не успѣлъ еще прахъ матери остыть, какъ братья принялись за ссоры и раздоры, которыхъ и безъ вмѣшательства женщины было у нихъ довольно. То Эшеръ попрекалъ Терстана, что онъ пьяница, то Терстанъ называлъ брата въ глаза и за глаза лѣнтяемъ и дармоѣдомъ. То младшіе возмущались противъ старшихъ, не желая признавать ихъ главенства надъ собою. Наконецъ, они рѣшили помириться на томъ, чтобы раздѣлить между

собой отцовское наслѣдіе, но и тутъ не обошлось безъ ссоры: почти равныя по количеству земли, фермы не могли идти въ сравненіе по ея качеству, и тому, у котораго въ надѣлѣ оказывалась лучшая земля, завидовали остальные. Братья перессорились, передрались, для чего одинъ изъ нихъ даже нарочно пошелъ на ферму къ брату; затѣмъ они по закону стали требовать другъ у друга очистить владѣнія или отдать ихъ въ опеку казнѣ; словомъ, дѣло дошло до суда присяжныхъ. На судѣ присутствовали также и Гриба, и Язонъ. Во время перерыва, когда всѣ, и судьи, и публика, разошлись позавтракать, братья угостили присяжныхъ въ ближайшемъ трактирѣ, и присяжные не могли остановиться ни на какомъ рѣшеніи. Судья горячо вознегодовалъ противъ такого безправія, но, дѣлать нечего, отпустилъ захмелѣвшихъ представителей общественной совѣсти по домамъ. Однако, въ то же засѣданіе, было присуждено, чтобы каждый изъ братьевъ давалъ сестрѣ по восьми фунтовъ ежегодно, въ вознагражденіе за удержанную ими ея часть земли.

Во время судбища, Язона бросало то въ жаръ, то въ холодъ; руки у него чесались прогуляться по затылку Эшера или по ребрамъ Терстана, и большого труда стоило ему сдержать себя, чтобы не дать волю своей злобѣ на обидчиковъ беззащитной дѣвушки. По окончаніи засѣданія, Язонъ пошелъ домой особенно большими, нервными шагами, какъ бы желая ходьбой утолить озлобленіе своего расходившагося сердца. Подъ вечеръ его невольно потянуло на ферму.

Вокругъ было тихо, и въ домѣ также. Гриба сидѣла одна, въ глубокой задумчивости, и вздрогнула, заслыша его шаги. Она чувствовала себя одинокой, безпомощной, и въ эту минуту какъ-то особенно безотрадно казалось ей ея положеніе.

— Можно войти?—раздался за полуотворенной дверью голосъ Язона.

— Конечно,—невесело, чуть слышно, отвѣтила Гриба.

Не поднимая глазъ, она увидѣла его передъ собою, и ей стало какъ-то спокойнѣе, увѣреннѣе на сердцѣ; онъ тоже, не подавая ей руки, почувствовалъ, что ему отрадно будетъ знать, что она можетъ на него положиться.

— Послушайте, Гриба!—началъ онъ довольно смѣло:—не приходило ли вамъ когда въ голову, что наша судьба какъ будто создала насъ другъ для друга? Вы одиноки, и я тоже; вы лишились своего естественнаго покровителя-отца, какъ и я. Но я мужчина, а вы женщина: вамъ труднѣе придется... Еслибъ я

смѣлъ... Еслибъ вы только позволили мнѣ... дали право заботиться о васъ...

Слезы заволокли глаза Грибы, но она усиліемъ воли остановила ихъ.

— Оставьте, уйдите!—проговорила она.—Когда-нибудь, въ другой разъ... Прощайте!..—и закрыла лицо руками, поникнувъ головою.

Она вспомнила о своемъ другѣ, Кудрявчикѣ, и рада была, что Язонъ поспѣшилъ почтительно, молча удалиться.

Ужъ не сегодня мучила ее тревога: что бы это значило, что Михаилъ не отвѣчаетъ? Ужъ сколько разъ приходила почта, а все отъ него нѣтъ отвѣта. Или онъ ужъ забылъ, забылъ ее до того, что и послѣ письма знать не хочетъ?..

Пусто и холодно было у нея на сердцѣ, и тяжело приходилось ей житье у старшаго брата, которому теперь досталась отцовская ферма. Эшеръ былъ вообще холоденъ и враждебно настроенъ, а теперь еще того болѣе онъ ожесточился съ тѣхъ поръ, какъ его обязанности по отношенію къ сестрѣ были установлены судомъ. Гриба боялась, стѣснялась его и, чувствуя всю тяготу житья въ чужомъ домѣ, избѣгала даже ѣсть его хлѣбъ, чуть не моря себя голодомъ.

Недѣли двѣ спустя, Язонъ снова зашелъ на ферму и снова засталъ Грибу одну. Она сидѣла на крылечкѣ и расчесывала свои длинныя черныя косы, печально устремивъ глаза въ сумрачную даль, гдѣ серебристый туманъ скрывалъ за собою крутые изгибы рѣки.

— Не могу я больше совладать съ собою, не могу дольше не видѣть васъ!—заговорилъ Язонъ тихо, какъ виноватый.—Простите, не осуждайте меня!..

Гриба молчала, и Язонъ ужаснулся, заглянувъ ей въ лицо: она была блѣдна какъ полотно.

— Боже мой, Гриба! Что случилось?

— Ничего ровно,—проговорила она, слабо улыбаясь, и въ глазахъ ея мелькнуло мягкое, доброе выраженіе.

— Какъ ничего? Я ясно вижу, что съ вами творится что-то недоброе. Здоровы ли вы?

— Здорова, здорова!—поспѣшила она его успокоить:—только... только... я еще ничего сегодня не ѣла.

— Только? Вы говорите—„только“?! Чортъ побери!..—и Язонъ грозно потрясъ кулакомъ по направленію къ дому.

— Тише!.. Я сама виновата; я просто не хочу никому и ничѣмъ одолжаться, даже кускомъ хлѣба.

— Послушайте, Гриба, никто еще такъ не любилъ на свѣтѣ, какъ несчастный, который ни минуты не переставалъ терзаться при мысли о вашей тяжкой долѣ. Никогда никому не отдастъ онъ своей жизни, всѣхъ своихъ силъ, кромѣ васъ.

Нѣжные, искренніе звуки его глубокаго голоса отрадно отозвались на душѣ молодой дѣвушки. Ея слезы не дали ему договорить. Онъ понялъ, что она согласна, и съ крикомъ радости обнялъ, прижалъ ее къ своей широкой груди.

— Дорогая! Жизнь моя!—шепталъ Язонъ, не помня себя отъ счастья.

— Какъ мнѣ было тяжко!.. Какъ тяжко!..—уже облегченно вздыхала Гриба, и впервые со времени ея разлуки съ отцомъ въ сердце ея проникло чувство успокоенія.

Спустя часъ, Язонъ вышелъ изъ калитки на большую дорогу, и въ воздухѣ раздались звуки его веселой, ликующей пѣсни. Вдругъ пѣснь оборвалась и вскорѣ въ сумеркахъ показалась опять у калитки его рослая фигура.

— Гриба! Гриба!—позвалъ онъ громко и весело.—Смотри, какой я олухъ: вѣдь вотъ самъ же принесъ тебѣ письмо, вѣрно отъ отца, изъ Исландіи, да и забылъ отдать!.. Читай скорѣе, голубка! Дай Богъ тебѣ побольше добрыхъ вѣстей!..

И, посмѣиваясь своей разсѣянности, Язонъ снова затянулъ свою пѣсню, которая постепенно замерла въ отдаленіи.

Гриба распечатала письмо. Оно было отъ Михаила Кудрявчика.

XVI.

„Дорогая Гриба!—писалъ онъ.—Очень мнѣ стыдно, что я такъ давно не писалъ вамъ,—твоему отцу и тебѣ. Съ моей стороны это невѣжество по отношенію къ тебѣ и неблагодарно по отношенію къ нему. Не хочу быть къ себѣ несправедливымъ и потому не стану хвастать достоинствами, которыхъ во мнѣ нѣтъ: я бы солгалъ, еслибы вздумалъ утверждать, что ни на минуту не переставалъ думать о васъ. Нѣтъ, я не такой хорошій и не такой чувствительный человѣкъ, и не хочу казаться лучшимъ, нежели въ дѣйствительности. Послѣднія четыре-пять лѣтъ для меня не прошли, а промелькнули—до того дѣятельную и разнообразную жизнь пришлось мнѣ вести. За это время, я былъ поглощенъ заботами и хлопотами (о чемъ—скажу далѣе) и не

разъ подвергался опасности совсѣмъ позабыть своихъ старыхъ друзей; но, все-таки, самыя отрадныя изъ моихъ воспоминаній были связаны съ вами, съ далекимъ временемъ моего дѣтства и юности; моя самая свѣтлая надежда была—когда-нибудь вернуться къ вамъ! Прости же мнѣ, дорогая, и выслушай отъ меня вкратцѣ исторію моего пребыванія здѣсь, въ Исландіи.

„Уѣзжалъ я туда собственно не съ цѣлью закончить свое образованіе, а исполнить дѣло милосердія, о которомъ могъ бы сказать многое, но не имѣю пока возможности. Съ самаго пріѣзда моего сюда, я познакомился, по этому же дѣлу, съ епископомъ, достойнѣйшимъ и умнѣйшимъ человѣкомъ, и чувствую себя счастливымъ, что заслужилъ его дружбу и расположеніе. Цѣль моя была разыскать одну женщину, которая много пострадала по чужой винѣ, и помочь ей въ горѣ и въ нуждѣ. Несмотря на то, что она дочь губернатора и что во всемъ Рейкіавикѣ не больше 2.000 жителей,—мнѣ пришлось добрую недѣлю употребить на эти поиски; наконецъ, я узналъ, что ея уже нѣтъ въ живыхъ и засталъ на ея могилѣ соборнаго плотника, который водрузилъ простой крестъ съ черной надписью надъ небольшимъ холмикомъ, въ разрядѣ бѣдняковъ

„Но это еще не все. Мнѣ было также поручено разузнать, что сталось съ ея сыномъ: живъ ли онъ, или умеръ, и куда дѣвался? Но мнѣ только и могли сказать, что онъ живъ и послѣ смерти матери исчезъ—никто не знаетъ куда. Между тѣмъ, пока я разузнавалъ и разспрашивалъ, волнами прибило къ берегу трупъ еще молодого человѣка, лицо котораго было уже обезображено водою до неузнаваемости; но, все-таки, нѣкоторые изъ старожиловъ, знавшихъ исчезнувшаго юношу, признали въ немъ нѣкоторые отличительные признаки сироты. Одинъ только старикъ священникъ, который напутствовалъ умирающую, не допускалъ въ ея сынѣ мысли о самоубійствѣ, но почему именно—онъ отказался сказать.

„Когда-нибудь, въ будущемъ, я скажу тебѣ, Гриба, кто меня просилъ позаботиться объ этой несчастной женщинѣ и ея сынѣ (впрочемъ, ты, вѣроятно, отчасти уже догадалась); скажу также, кто они такіе и какъ ихъ звали... Но объ этомъ послѣ. Слушай же, что со мной случилось.

„Отецъ умершей, генералъ-губернаторъ Исландіи, Іоргенъ Іоргенсонъ, оскорбленный ея бракомъ съ бѣднякомъ, знать не хотѣлъ своей дочери, которая, можетъ быть, и сама, изъ гордости, не желала отъ него помощи. На старости лѣтъ, когда губернатору тяжко показалось его одиночество, до него дошли слухи о смерти

дочери, и онъ рѣшилъ взять къ себѣ на воспитаніе своего осиротѣлаго внука. Главнымъ двигателемъ этого добраго поступка было, повидимому, не раскаяніе, а самолюбіе, такъ какъ старикъ, впослѣдствіи, и доказалъ это на дѣлѣ. Въ это время судьба насъ столкнула, и я понравился губернатору, который, узнавъ, что я сынъ Стефена Орри и братъ утонувшаго, принялъ меня къ себѣ въ домъ, какъ родного.

„Какъ это такъ случилось, что я согласился замѣнить ему его погибшаго внука,—хоть я и недовѣрчиво относился къ нему,—было бы слишкомъ долго разсказывать. Скажу только, что я исполнялъ его волю и былъ ему преданъ, какъ самый усердный, самый вѣрный слуга. Онъ не всегда ровно обращался со мной: то придирчивый и подозрительный, то простой и ласковый нравъ его ни на минуту не обманывалъ меня. Я смотрѣлъ вполнѣ ясно на свое положеніе, не заблуждаясь ни на минуту въ настоящей оцѣнкѣ его.

„За тѣ годы, что я работалъ съ нимъ и для него, я убѣдился въ черствости и эгоизмѣ этого человѣка. Повидимому, его честолюбію было необходимо, чтобы я получилъ власть надъ островомъ, вмѣсто него; а пока онъ самъ еще былъ губернаторомъ Исландіи, то настоялъ, вопреки кореннымъ исландскимъ правиламъ и законамъ, чтобы меня избрали представителемъ правительственнаго казначейства,—хоть я и не подходилъ къ этой должности по своимъ лѣтамъ и иностранному происхожденію.

За послѣдующіе три года я научился понимать людей и стойко держаться своихъ убѣжденій: меня научили этому зло и несправедливость людская къ людямъ же, къ себѣ подобнымъ! Многаго пришлось мнѣ быть безучастнымъ и безсильнымъ свидѣтелемъ; много я пережилъ, передумалъ за это время. Довольно того, что я рѣшился оставить домъ губернатора, какъ оставилъ и свою жизнь по его плану. Я зажилъ самостоятельно, окруженный кучкой друзей, которые ободряли меня, сочувствуя моимъ убѣжденіямъ. Іоргенъ Іоргенсонъ, однако, и тутъ не оставилъ меня своимъ вниманіемъ: онъ всячески старался вредить мнѣ, клеветалъ на отца моего, на мать. Затѣмъ, войдя въ сношенія съ датскимъ правительствомъ, предложилъ ему проектъ, сильно ограничивавшій и, такъ сказать, разрушавшій древне-исландскіе права и обычаи, установленные вѣками. Я сталъ во главѣ оппозиціи, и наша партія одержала верхъ. Вотъ ужъ два мѣсяца, какъ народъ возмутился, изгналъ Іоргенсона, т.-е. въ лицѣ его—недостойнаго представителя датской власти, а меня возвелъ въ санъ генералъ-губернатора Исландіи. Отнюдь не имѣлъ я въ

виду, защищая права исландскаго населенія, смѣстить старика, чтобы занять его мѣсто, и, конечно, не дѣйствовалъ бы въ такомъ духѣ, чтобы ему повредить, а самому сдѣлаться президентомъ новой республики.

„Какъ ни значительны, какъ ни удивительны происшедшія со мной, за такой краткій срокъ, перемѣны, онѣ не столько радуютъ меня, сколько радуетъ сознаніе, что моей преданностью благу народа, моимъ значеніемъ и властью надъ свободными людьми, сильными духомъ любви, есть кому гордиться; я знаю, что этотъ далекій, но близкій мнѣ по душѣ человѣкъ всегда порадуется моей радости, посочувствуетъ моему горю... Въ этомъ все мое счастье, моя дорогая!..

„Надо тебѣ замѣтить, что съ моей стороны, пожалуй, еще не такая большая заслуга, что я не превозношусь, не зазнаюсь на „высотѣ своего величія"; заботы и тревоги правленія до того одолѣваютъ меня, что мнѣ просто „некогда" думать о себѣ, о своемъ тщеславіи. Іоргенсонъ теперь въ Копенгагенѣ, и ничего не будетъ удивительнаго, если онъ побудитъ правительство принять самыя крутыя мѣры противъ непокорныхъ. Поэтому мы, т.-е. непокорные, должны озаботиться заранѣе приготовиться къ оборонѣ. Вотъ я и занятъ теперь формированіемъ національныхъ войскъ на морѣ и на сушѣ; хлопочу о томъ, чтобы удалить изъ столичной тюрьмы датскихъ колонистовъ, которыхъ пришлось усмирить военною силой. Чтобы они не сидѣли безъ дѣла, я приказалъ перевести ихъ изъ Рейкіавика на сѣрныя копи Кризувика, гдѣ ихъ труды значительно должны подвинутъ впередъ этотъ родъ промышленности, въ которомъ, по моему мнѣнію, заключается будущее богатство страны. Еслибы, однако (какъ предсказываютъ нѣкоторые дальновидные люди), все пришло къ благополучному концу, и Данія оставила бы насъ въ покоѣ, или если бъ Европа пошла противъ Даніи, а исландцы совсѣмъ стряхнули бы съ себя ея иго, то знайте, что я не забуду дорогое мнѣ пепелище и вернусь къ тѣмъ, кто, я увѣренъ, будетъ радъ жить неразлучно со своимъ другомъ и товарищемъ своихъ дѣтскихъ игръ...

„Вотъ и все, дорогая, что я могу сказать о себѣ. Что же скажешь ты, моя Гриба? Какъ здоровье отца и твое собственное? Хорошо ли живется вамъ обоимъ? Не смѣю, боюсь спросить тебя, измѣнилась ли ты сама нравственно и физически? Скажи... скажи: что ты подѣлываешь? Что новаго? Нѣтъ ли у тебя новыхъ знакомствъ... новыхъ друзей?.. Или, можетъ быть, для тебя (какъ и для меня), „старый другъ", по прежнему, „лучше новыхъ

двухъ"? Цѣлую тебя въ самыя, самыя губки, только я боюсь и, вмѣстѣ съ тѣмъ, желаю услышать твой отвѣтъ... О, Гриба"...

Тутъ письмо, видимо, было прервано и дальше шло уже болѣе крупнымъ, торопливымъ почеркомъ.

„Сейчасъ получилъ твое письмо.

„Боже мой, какое несчастіе! Отца еще нѣтъ; я послалъ узнать въ разныя стороны, чтобы получить извѣстіе о немъ прежде, чѣмъ мы съ нимъ успѣемъ свидѣться.

„Безпокоюсь я также и о тебѣ, моя голубка!.. Прости, что при этомъ письмѣ прилагаю (о, не обидься: это на всякій случай!) пятьдесятъ фунтовъ, которые мнѣ одолжилъ твой отецъ: видишь, съ моей стороны это даже не одолженіе, и ты можешь не считать себя мнѣ обязанной. Наоборотъ, я буду счастливъ, если эти деньги, хоть онѣ и деньги твоего отца, пригодятся его дочери...

„У меня часъ отъ часу больше дѣла, а я, кажется, готовъ бы не знаю что сдѣлать, лишь бы не томиться разлукой съ тобою! Отвѣть только слово, и я распоряжусь, чтобы ты могла возможно спокойнѣе и удобнѣе добраться сюда, въ Исландію, къ своему отцу и ко мнѣ!.. Отвѣть же скорѣе, скорѣе!"

Затѣмъ письмо снова обрывалось и оканчивалось впопыхахъ:

„Доставлены свѣденія изъ нѣсколькихъ береговыхъ пунктовъ, куда могъ пристать ирландскій корабль, на которомъ ѣхалъ твой отецъ.

„Никто его не видалъ; нигдѣ онъ не могъ больше высадиться. Но китоловное судно, проѣздомъ въ Рейкіавикъ, повстрѣчало обломки, повидимому, ирландской шкуны, экипажъ которой, вѣроятно, погибъ. Прошу тебя, дорогая, не грусти, не отчаявайся преждевременно. Я самъ не могу опредѣлить тебѣ своихъ чувствъ: боюсь поддаваться какъ отчаянію, что отецъ потерпѣлъ крушеніе, такъ и надеждѣ, что эти вѣсти невѣрны. Какъ бы то ни было, Гриба, моя голубка, пріѣзжай скорѣе, пріѣзжай ко мнѣ, спѣши, какъ жена къ любящему и любимому мужу и другу; вдвоемъ намъ будетъ легче и отраднѣе встрѣтить отца, если онъ живъ и вернется къ намъ, или заботиться о томъ, чтобы скорѣй напасть на его слѣдъ... Сокровище мое, счастье мое, *моя* Гриба! пріѣзжай, пріѣзжай же!.."

XVII.

Никогда еще не бывало на свѣтѣ письма, которое возбудило бы столько разнорѣчивыхъ чувствъ и стремленій, какъ письмо Михаила. Гриба до глубины души была проникнута любовью,

которою оно дышало; оно испугало ее; оно зажгло въ ней новыя, свѣтлыя надежды на лучшее будущее; оно повергло ее въ отчаяніе. Она то улыбалась, читая его; то плакала, прижимая его къ губамъ, покрывая слезами и поцѣлуями; то роняла его изъ рукъ и на минуту какъ бы вовсе забывала о его существованіи. Въ концѣ концовъ Гриба не чувствовала себя отъ радости, что можетъ хоть сейчасъ полетѣть къ нему, дорогому, любимому, увидѣть его и отца!

Но вслѣдъ затѣмъ наступили минуты разсудительности и сравнительно спокойнаго состоянія, когда ей вспомнилось, что она уже не свободна: она дала слово Язону! Если признаться ему,—это сдѣлаетъ его глубоко несчастнымъ, разобьетъ его счастье, его надежды! Но... бѣдный Михаилъ! Развѣ не слышится въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ, его страстный, любовный голосъ?.. Язонъ былъ ей дорогъ, она полюбила его за любовь къ ней; но Кудрявчика, своего друга и товарища, она любила за него самого.

Что теперь дѣлать? Боже мой! что дѣлать, какъ быть?

Уѣхать и разбить сердце доброму, преданному человѣку, или пожертвовать для него своимъ чувствомъ,—остаться?

„О, зачѣмъ, зачѣмъ не пришло это ужасное письмо днемъ, нѣтъ, даже часомъ раньше? Зачѣмъ допустила судьба такое отчаянное, безвыходное положеніе любящихъ, искреннихъ людей? Есть ли на свѣтѣ другая женщина, которая принесла бы столько горя тѣмъ, кто ее любитъ?“

Такъ думала бѣдная дѣвушка и всю ночь провела въ тревожной, мучительной безсонницѣ. Съ разсвѣтомъ, она уже была на ногахъ и распахнула настежъ окно. Вмѣстѣ съ веселымъ, серебристымъ щебетаньемъ пташекъ до нея донеслась издали беззаботная пѣснь, разливавшаяся особенно радостно въ розоватомъ, свѣжемъ утреннемъ воздухѣ.

Гриба прислушалась. Это пѣлъ Язонъ, счастливый, беззаботный Язонъ! Онъ, вѣроятно, провелъ ночь въ горахъ на охотѣ и теперь шелъ къ ней со своей добычей. Что она скажетъ, какъ встрѣтитъ его? Какъ рѣшится разбить его счастье?..

Гриба отодвинулась въ уголокъ у окна и закрыла глаза, закрыла уши руками, чтобы какъ можно больше отдалить отъ себя ужасную, неизбѣжную минуту, когда онъ увидитъ ее, окликнетъ ее подъ самымъ окномъ.

„Вѣрно спитъ еще... дорогая!“—думалъ Язонъ, подходя къ дому.—Гриба!.. А Гриба!..—осторожно окликнулъ онъ, поровнявшись съ окномъ:—Гриба! Ты спишь?

Молодая дѣвушка не могла не взглянуть на него украдкой, и сердце у нея защемило отъ жалости къ рослому, сильному богатырю, фигура котораго особенно выгодно выдѣлялась на общемъ фонѣ незатѣйливой, но полной жизни, деревенской картины. Съ ружьемъ за плечами, онъ стоялъ стройно и горделиво, какъ изваяніе, но лицо его сіяло, добродушная, счастливая усмѣшка подергивала его красивыя, довольно крупныя губы, а бѣлые зубы сверкали на солнцѣ. За поясомъ у него болтались застрѣленныя пичужки, и кровь тихо сочилась изъ ихъ пушистой грудки.

Онъ такъ пристально, такъ жадно и любовно смотрѣлъ въ окно, что Гриба застыдилась и, вся зардѣвшись отъ волненія, показалась въ темномъ пространствѣ окна, щурясь отъ сильнаго свѣта и оттого еще болѣе краснѣя.

— А!..—чуть слышно скорѣе вздохнулъ, нежели крикнулъ Язонъ и сдѣлалъ видъ, что цѣлуетъ ее, хотя разстояніе все равно бы ему помѣшало. И это тоже показалось ему особенно смѣшно и пріятно; онъ засмѣялся тихо и радостно, какъ смѣялись, не переставая, его глаза.

— Вотъ вамъ! Не хотите ли дичи?—проговорилъ онъ, помахивая въ воздухѣ бѣдными птицами.

— Значитъ, вы всю ночь не ложились?—спросила Гриба.

— Э, пустяки! Не спать всю ночь для меня дѣло привычное. Но сегодня... что это была за ночь! Это была не ночь, а блаженство! Счастливѣйшая ночь въ моей жизни! Каждая звѣздочка только для меня и свѣтила; каждый порывъ вѣтерка только мнѣ одному нашептывалъ дивныя вѣсти; каждая пташка щебетала только о томъ, какъ я счастливъ... О, Боже! какъ счастливъ!

Гриба молчала и только тихо отвернулась отъ него въ смущеніи; но Язонъ ничего не замѣтилъ: его тянуло говорить, говорить, не смолкая.

— А утромъ-то, утромъ!.. Утромъ и солнце прежде всего мнѣ улыбнулось; рѣчка для меня, журча, погнала быстрѣе свои шумливыя воды. Я вспомнилъ, что она будетъ скоро вертѣть колеса моей мельницы, и подумалъ: „А вѣдь еще веселѣе будетъ мнѣ слушать твое журчанье, когда Гриба будетъ здѣсь рядомъ, со мною!“

Снова молчаніе.

— Какой я глупый! Не правда ли, Гриба?—смѣясь, спросилъ Язонъ.

— О, нѣтъ! Отчего же?..

— Да такъ оно кажется... Но право же, право, мнѣ такъ

казалось: и звѣзды, и птицы, и вѣтеръ,—все, все... все вокругъ будто шептало мнѣ звонко и радостно: „Гриба!.. Гри-и-и-ба!..“

Кто-то тихо-тихо, сдержанно всхлипывалъ.

— Гриба! Ты плачешь?—испуганно встрепенулся онъ вдругъ.

— Я? Да нѣтъ, и не думаю!

— Прощай, я ухожу!..

И Язонъ уже повернулся, чтобы уходить, какъ вдругъ остановился:

— Гриба! Я... я ухожу... теперь; но можно, можно?.. Я вечеромъ зайду за тобой, Гриба... Сегодня кончимъ кровлю на мельницѣ, и мы вмѣстѣ поглядимъ на нее?.. До свиданія!

Снова засмѣявшись своимъ короткимъ, счастливымъ смѣхомъ, Язонъ махнулъ шапкой, въ знакъ привѣта милой, и скоро пропалъ изъ виду.

„Нѣтъ, это слишкомъ мучительно!—думала Гриба.—Надо открыть ему глаза, надо признаться! Но онъ такъ любитъ, такъ вѣритъ въ меня, въ свою страсть! И подумать страшно обидѣть его: онъ убьетъ, убьетъ меня!.. Лучше уйти потихоньку, безслѣдно, оставить ему записку...“—И вотъ Гриба, съ лихорадочной дрожью въ рукахъ, спѣшитъ, пишетъ страницу за страницей, и рветъ ихъ, и снова начинаетъ писать. Объясненіе выходитъ длинное, запутанное, но все-таки оно даетъ ей нѣкоторое успокоеніе. Однако, обдумавъ свое рѣшеніе, Гриба находитъ его недостойнымъ, малодушнымъ и опять-таки рѣшаетъ, что сама во всемъ признается Язону. Чтобы не поддаваться соблазну, она взяла и спрятала свое письмо, вмѣстѣ съ письмомъ Михаила въ шкатулку, подъ замокъ.

Вечеромъ Язонъ пришелъ за нею, и она тихо, но твердо, не смѣя поднять на него глаза, сказала ему все. Скорѣе догадалась, нежели замѣтила бѣдная дѣвушка, что веселая усмѣшка постепенно пропала съ его лица и смѣнилась мертвенной блѣдностью. Вотъ-вотъ долженъ былъ разразиться его затаенный гнѣвъ, его горькая, неизгладимая обида. Но нѣтъ: никакого гнѣва не послѣдовало; только Язонъ сдавленнымъ голосомъ проговорилъ:

— Значитъ, всему конецъ между нами...

Безнадежность и глубина его чувства вдругъ стали ей до того понятны, такъ ей стало тяжко и больно за него, что она бросилась передъ нимъ на колѣни и жалобно, нѣжно стала умолять о прощеніи. Онъ тихо поднялъ ее.

— Гриба! Можетъ быть, я не умѣлъ васъ любить? Не довольно горячо любилъ? Я вѣдь грубый и глупый, простой человѣкъ. Вы барышня; вы умнѣе меня...

— О, нѣтъ, нѣтъ! Каждая барышня считала бы себя счастливой, еслибы вы ее такъ полюбили...

— Или я васъ обидѣлъ тѣмъ, что воспользовался вашимъ безотраднымъ положеніемъ?

— О, нѣтъ! Вы были со мной искренни и добры, но я-то... я...

— Такъ скажите мнѣ, что съ вами случилось со вчерашняго дня? Что васъ тревожитъ?

— Язонъ! Простите меня: это я одна виновата, я обидѣла васъ. Вы тутъ не при чемъ, но я теперь знаю, знаю навѣрно, что... не люблю васъ...

— А кого же?—хриплымъ голосомъ вырвалось у него.— Нѣтъ, нѣтъ! Не надо! Не говорите: я не имѣю права допрашивать.

— Мнѣ стыдно самой себя: такого человѣка я не съумѣла оцѣнить, обидѣла, оскорбила!.. Я дала вамъ слово и готова его сдержать... если вы того захотите.

Не сразу отвѣтилъ Язонъ; онъ долго молчалъ, и только звукъ его голоса выдалъ муки, которыхъ ему стоилъ отвѣтъ:

— Нѣтъ, Гриба, нѣтъ! Это было бы слишкомъ большой для васъ пыткой... Будьте счастливы; для меня, все равно, счастья нѣтъ... И ему, и вамъ, дай Богъ обоимъ счастья!..

Онъ хотѣлъ уйти, но Гриба бросилась къ нему, схватила его за обѣ руки и, глядя ему въ глаза нѣжнымъ, искреннимъ взглядомъ, проговорила:

— Еслибъ только было другое названіе для той любви, которую я все-таки чувствую къ вамъ, повѣрьте...

Но Язонъ перебилъ ее. Онъ оглянулся, и лицо его было страшно угрюмо, а голосъ прерывался:

— Умоляю тебя! Не смотри такъ на меня!.. Не мучь!..

— Но сердце мое надрывается!.. Язонъ!..—воскликнула Гриба и бросилась вслѣдъ за нимъ, обняла его и порывисто прильнула къ его губамъ.

— О, нѣтъ!.. Не надо!..—сдавленнымъ голосомъ вскричалъ онъ и, вырвавшись отъ нея, побѣжалъ прочь.

XVIII.

— Съ той минуты не было Язону ни днемъ, ни ночью покоя. Онъ бродилъ по цѣлымъ суткамъ въ лѣсу, уходилъ въ горы съ ружьемъ, но возвращался съ пустыми руками. Работы на мельницѣ стали: онъ какъ бы вовсе забылъ о ея существо-

ваніи. Его угрюмое молчаніе такъ тревожило старика Дэви, что тотъ боялся къ нему подступиться и даже сбѣгалъ къ знаменитой знахаркѣ, чтобы она пошептала: извелся въ конецъ молодецъ, сохнетъ, тоскуетъ!.. Свято исполнялъ старикъ всѣ ея предписанія, и ему показалось, что его молодой другъ сталъ какъ будто покойнѣе.

Однажды утромъ Язону вздумалось пойти въ церковь. Онъ пріодѣлся и, не замѣчая удивленныхъ взглядовъ воскресной толпы, пошелъ въ храмъ Божій. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ поселился на островѣ, онъ почти никогда не бывалъ у обѣдни, но всѣ его знали въ лицо и потому не мало удивились его появленію.

Служба началась. Среди торжественнаго молчанія, мѣрно раздавался голосъ пастора, читавшаго молитвы, и пѣніе незатѣйливаго деревенскаго хора. Затѣмъ дѣтскіе голосенки умолкли, и началось мѣрное чтеніе Библіи.

Сначала Язонъ плохо понималъ, что̀ читали и пѣли, углубившись въ свои тяжелыя думы. Мало-по-малу онъ сталъ прислушиваться, и его поразили слова священнаго писанія:

„...И ты будешь жить мечомъ твоимъ и будешь служить брату твоему; будетъ же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его съ выи твоей".

„И возненавидѣлъ Исавъ Іакова за благословеніе, которымъ благословилъ его отецъ его; и сказалъ Исавъ въ сердцѣ своемъ: приближаются дни плача по отцѣ моемъ; и я убью Іакова, брата моего..."

Язону показалось, что онъ пробуждается отъ долгаго сна. Все яснѣе и яснѣе становились для него библейскія слова, наводившія его на мысли о быломъ. Вспомнилась ему мать на смертномъ одрѣ; ея ужасный, торопливый и прерывистый шопотъ; ея смерть и его клятва отомстить за нее, если не отцу, то брату...Эти воспоминанія встали передъ нимъ такъ живо, что холодная дрожь затрясла его; онъ поблѣднѣлъ и видимо такъ былъ взволнованъ, что его сосѣдка, скромная старушка въ опрятномъ креповомъ чепцѣ, подвинула къ нему свою Библію. Но руки его дрожали; онъ не могъ найти того мѣста книги Бытія, которое читалъ пасторъ. Старушка опять выручила его: она нашла это мѣсто, открыла его и подвинула къ нему уже раскрытую книгу. Мысли Язона мутились; одно только казалось ему ясно, что онъ связанъ своею клятвой и долженъ исполнить ее,—иначе не будетъ на немъ во вѣкъ материнскаго благословенія. Глаза его блуждали по страницѣ, испещренной помѣтками параллельныхъ мѣстъ св. Писанія. Наконецъ, онъ нашелъ слова „...и я убью Іакова,

брата моего...“ и тутъ же, сбоку, помѣтки, гдѣ еще встрѣчается слово: „убью“. Это слово такъ приковало къ себѣ его вниманіе, такъ овладѣло всѣмъ существомъ его, что сдѣлалось для него въ эту минуту центромъ его мысли и интересовъ. Онъ сталъ съ лихорадочной жадностью прочитывать параллельныя мѣста, гдѣ говорилось все о томъ же, — о мщеніи людскомъ людямъ же, себѣ подобнымъ; онъ какъ бы спѣшилъ убѣдиться въ томъ, что это дѣло, освященное временемъ. Ему казалось, что изъ вѣка вѣковъ самъ Богъ, Творецъ вселенной, сдѣлалъ человѣка орудіемъ своей справедливой кары. Исторіи библейскихъ мужей: Моисея, Саула, Самсона и др., припомнились ему одна за другой, и ужасъ охватилъ его при мысли о его собственномъ положеніи. Но онъ старался разувѣрить себя.

„Полно! Что за ребячество создавать себѣ какія-то ужасныя обязанности! Одному только Богу, Единому Всемогущему, принадлежитъ право карать смертныхъ на землѣ и на небѣ: Онъ не нуждается въ помощи людей!“

А между тѣмъ, какъ онъ ни старался успокоить свои тревожныя мысли, въ ушахъ его все еще звенѣлъ голосъ пастора, который, казалось ему, все только повторялъ: „Исавъ... Исавъ... Исавъ!..“

„Неужели я трушу?“—спрашивалъ онъ самъ себя, и снова перечитывалъ мѣста Библіи, гдѣ говорилось о мщеніи; о томъ, что ближайшіе родственники убитаго должны мстить убійцѣ за пролитую имъ кровь, и что кто не исполнитъ этого, на того Господь нашлетъ такой страхъ, что шорохъ листьевъ—и тотъ будетъ пугать его.

„Нѣтъ, я долженъ сдержать свое слово... Да, да... я—Исавъ... я—Исавъ!..“—мысленно повторялъ несчастный, и растерянно поводилъ глазами по рядамъ молящихся, въ надеждѣ увидѣть Грибу; но ея не было. Только послѣ службы, на улицѣ, его нагналъ старшій изъ ея братьевъ, окликнулъ, остановилъ его:

— Вы, значитъ, не знаете, гдѣ она?

— Кто?—недоумѣвалъ Язонъ.

— Ну, кто же еще, какъ не Гриба!.. Впрочемъ, къ чему я это говорю: вамъ-то ужъ вѣрно ближе всѣхъ извѣстно, куда она дѣлась?

Здоровый толчокъ отшвырнулъ его въ сторону, а Язонъ уже былъ далеко; онъ спѣшилъ прямо на ферму.

— Вотъ такъ штука!—удивлялся, межъ тѣмъ, Джонъ Фэрбрезеръ, почесывая себѣ пострадавшій бокъ.—Право, можно подумать, что онъ, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ ничего не знаетъ!

Наканунѣ вечеромъ Эшеръ не видалъ Грибы и не обратилъ на это вниманія; но, не встрѣтившись съ нею дома на слѣдующее утро, т.-е. въ воскресенье, онъ настолько преодолѣлъ свою обычную лѣнь, что обошелъ всѣхъ своихъ братьевъ, разспрашивая ихъ, не у нихъ ли Гриба, не видали ли они ее. Узнавъ, что сестра и у нихъ не была, Эшеръ съ братьями отправился обратно, на ферму, гдѣ они прежде всего принялись за комнату Грибы; но слѣдовъ бѣглянки нигдѣ не нашли, пока не догадались сломать замокъ въ ея шкатулкѣ. Тамъ оказались, между прочимъ, и письма: ея собственное къ Язону и письмо къ ней Михаила, объяснившее имъ очень многое. За чтеніемъ и за обсужденіемъ этихъ писемъ засталъ братьевъ Язонъ.

— Гдѣ она? Говорите!—закричалъ онъ.

Не говоря ни слова, братья подали ему письмо Михаила; но онъ только вертѣлъ его въ рукахъ, въ недоумѣніи, растерянно поглядывая на нихъ, будто не зная, какъ за него приняться.

— Ну, къ нему она убѣжала... къ Михаилу, — пояснилъ, наконецъ, одинъ изъ братьевъ.

Не вздохъ, не крикъ, а стонъ, громкій, какъ ревъ раненаго звѣря, вырвался изъ мощной груди Язона.

— Будь онъ проклятъ! — вскричалъ онъ и бросился вонъ изъ дома.

Горе, казалось, придало ему новыя силы: добѣжавъ до своей мельницы, онъ расшаталъ устои, на которыхъ лежала почти оконченная крыша, разломалъ и разбросалъ ее; забѣжалъ въ свою хижину, досталъ и побросалъ въ море все, что у него было лучшаго и дорогого. Затѣмъ, расплатившись съ кое-какими долгами, онъ сѣлъ на торговый корабль, конечной цѣлью котораго былъ Рейкіавикъ, столица Исландіи.

Оставшись одни, братья Фэрбрезеръ призадумались.

— Дѣло дрянь!—замѣтилъ Джонъ.—Выходитъ, что онъ, этотъ пресловутый Кудрявчикъ, ни больше, ни меньше, какъ президентъ Исландіи,—все равно, что генералъ-губернаторъ!

— Чортъ его побери!..—воскликнулъ Терстанъ.

— Ну, однакоже, надо и намъ смекнуть, какъ тутъ быть. Говорилъ вѣдь я вамъ, дуракамъ, что надо щадить дѣвчонку: вотъ и любуйтесь теперь на дѣло рукъ своихъ. Она будетъ теперь и знатна, и богата; такъ захочетъ ли знать тѣхъ, кто ее держалъ въ черномъ тѣлѣ?

— Что вѣрно, то вѣрно!.. А ну-ка, какъ подумаемъ мы,

да и махнемъ туда къ ней, продадимъ здѣсь любую изъ фермъ, да и пусть отвезетъ ей одинъ изъ насъ эти деньги. Скажемъ:— вотъ, молъ, тебѣ, сестрица, твоя доля наслѣдства; какъ продали землю, такъ и отдаемъ тебѣ, что она стоитъ.

— Все это хорошо и прекрасно; только ѣхать-то туда жутко; трудно рѣшиться...

— А, чортъ! Давайте! я, пожалуй, рѣшусь!—воскликнулъ Яковъ.

— А, можетъ быть, и я не прочь?—замѣтилъ Россъ.

Итакъ, было рѣшено, что эти двое поѣдутъ въ Рейкіавикъ; но остальные четверо, да и всѣ вообще, не довѣряли имъ и другъ другу. Въ концѣ долгихъ пререканій и споровъ, каждый рѣшилъ про себя, что онъ непремѣнно поѣдетъ.

XIX.

Язонъ даже и приблизительно не зналъ о томъ, кого онъ ѣхалъ разыскивать; зналъ только, что его зовутъ Михаиломъ, прозвищемъ „Кудрявчикъ", и что онъ живетъ, или жилъ, въ Рейкіавикѣ. Безъ конца тянулись для него дни и недѣли, пока, наконецъ, не доѣхали до послѣдней стоянки передъ островомъ Хомъ, съ котораго по бурнымъ волнамъ къ нимъ съ большимъ трудомъ добралась почтовая шлюпка. Почтальонъ, старенькій старичокъ маленькаго роста, перебросился парою словъ съ лоцманомъ, который первый привѣтливо окликнулъ его:

— Ну что, Партриксенъ? Какія вѣсти? Что у васъ новаго?

— Не слыхали вы, что-ли? У насъ новое правленье: президентомъ выбрали чуть не мальчишку, да еще чужого, съ острова Мэна... Я зналъ его отца!..—многозначительно усмѣхаясь, договорилъ онъ.

Эти слова пробудили вниманіе Язона, хоть онъ и не зналъ, до какой степени они были для него важны. Когда почтовая лодка исчезла въ туманѣ, онъ хотѣлъ-было кой о чемъ разспросить лоцмана, но раздумалъ.

„Лучше промолчать, чтобъ не было потомъ лишнихъ свидѣтелей моего *дѣла*", рѣшилъ онъ.

Спустя двадцать четыре часа, Язонъ радушно разстался съ командой торговаго брига, который зашелъ въ Рейкіавикъ лишь мимоходомъ: всѣ полюбили его и долго провожали глазами шлюпку, которая должна была высадить его на берегъ.

Вечерній туманъ, сначала мѣшавшій ему видѣть знакомыя

очертанія исландской столицы, постепенно рѣдѣлъ, по мѣрѣ приближенія шлюпки къ берегу. Язонъ ясно могъ различить фонари и костры, при свѣтѣ которыхъ мелькали туда и сюда какія-то черныя фигуры; но большихъ зданій,—тѣхъ самыхъ складовъ, близъ которыхъ протекло его дѣтство и юность,—не было и слѣда. Въ удивленіи, онъ спросилъ объ этомъ гребца.

— Новый губернаторъ приказалъ срыть старые склады, а вмѣсто нихъ построить новыя укрѣпленія,—былъ отвѣтъ.

Между выступами голыхъ утесовъ, гдѣ пріютилась, за вѣтромъ, маленькая, незатѣйливая пристань, Язонъ вышелъ на берегъ и тутъ же, при свѣтѣ двухъ тусклыхъ фонарей, натолкнулся на двухъ-трехъ исландцевъ, которые въ испугѣ отскочили отъ него въ сторону.

— Съ нами крестная сила!.. Мертвецъ!.. — вскричали они, не сводя глазъ съ Язона.

Онъ тоже узналъ ихъ, но не сталъ разспрашивать и поспѣшилъ свернуть въ сторону, на дорогу, которая вела къ соборной площади. Тамъ, на краю ея, стоялъ маленькій домикъ соборнаго сторожа: онъ и жена его были ближайшими друзьями бѣдной Рахили, и къ нимъ-то спѣшилъ теперь ея сынъ. Слава Богу! И домикъ на мѣстѣ, и у печки, по обыкновенію, сидитъ старичокъ, а у стола—старушка, съ утюгомъ въ рукахъ.

Начались крики удивленія и разспросы:

— Откуда? Когда? Гдѣ былъ и что видѣлъ?

— Былъ въ Англіи, побывалъ въ Даніи, въ Шотландіи и ни вѣсть еще гдѣ,—отвѣчалъ Язонъ.

— Ну, вотъ! А они тебя здѣсь схоронили, и крестъ стоитъ на твоей могилѣ!—всплеснулъ руками старикъ.

— Стараніями дѣда твоего, Іоргенсона, губернатора нашего, поставленъ,—пояснила старуха.—И могилка-то твоя рядомъ съ матерью: какъ услышалъ онъ о ея смерти, такъ и раскаялся, и о тебѣ вспомнилъ.

— Недобрый тотъ человѣкъ, что натворитъ зла, а потомъ и раскается,—замѣтилъ старикъ.—Зато наказалъ его Богъ...

— Какъ такъ?

— А вотъ какъ: возмутился народъ, да и прогналъ отъ себя совсѣмъ, изъ Исландіи вонъ.

— А старуха-мать еще жива?

— Ахъ, это мать-то Стефена Орри? Какъ же, какъ же: все еще живетъ старуха, да не можетъ ужъ больше работать, такъ ей помогаетъ новый губернаторъ...

Ужинъ кончился, и Язонъ пошелъ побродить по городу. Его

влекло непреодолимое стремленіе скорѣй, скорѣй попасть на слѣдъ Михаила. Какъ ни былъ онъ занятъ своими мыслями, однако не могъ не замѣтить, что въ городѣ произошла ощутительная перемѣна. Улицы его хотя и были по прежнему узки, но были благоустроеннѣе прежняго: ровными рядами тянулись по обѣ стороны ихъ фонари; дома и лавки были освѣщены; повсюду хлопотливо сновалъ народъ; замѣтно было необычайное оживленіе.

Язонъ свернулъ въ одну изъ боковыхъ улицъ. Тамъ было почти такъ же тихо, какъ и въ былое время; но въ двухъ большихъ зданіяхъ горѣли огни, мелькали за открытыми окнами людскія фигуры, и въ ночномъ воздухѣ звонко раздавалась военная команда.

— Что это значитъ?—спросилъ Язонъ у дѣвушекъ въ платочкахъ, которыя, шушукаясь и пересмѣиваясь, проходили мимо.

— Это ученіе: новый губернаторъ все увеличиваетъ войска.

„Опять этотъ губернаторъ!..“—съ досадой подумалъ молодой исландецъ, и пошелъ дальше.

Проходя мимо тюрьмы, онъ и тамъ замѣтилъ движеніе; повидимому, въ ней никто не жилъ, но она была освѣщена: изнутри доносились звуки молотковъ, грохотъ досокъ, и т. п.

— Вотъ оно, изъ тюрьмы губернаторъ затѣялъ устроить себѣ дворецъ!—добродушно замѣтилъ какой-то прохожій.

— Опять этотъ губернаторъ!—вырвалось вслухъ у Язона.— Видно, ему неймется! Безпокойный онъ у васъ человѣкъ!

— Что же, что безпокойный?—возразилъ прохожій идя рядомъ съ нимъ.—Это не бѣда: онъ у насъ прыткій да смѣлый, какъ и слѣдуетъ быть человѣку въ двадцать четыре-пять лѣтъ; а уменъ—любого старика за-поясъ заткнетъ. Онъ одолѣлъ и прогналъ датскихъ мошенниковъ, которые насъ обирали; онъ же и заботится теперь о народѣ, какъ отецъ родной. Скоро его свадьба: ужъ и невѣста пріѣхала, остановилась пока у епископа...— знаешь? Говорятъ, она пріѣзжая, не изъ нашихъ... Покойной ночи, мнѣ направо; а тебѣ?—и, не дожидаясь отвѣта, словоохотливый исландецъ пошелъ своей дорогой.

Язонъ почему-то невольно подумалъ о Грибѣ и, представивъ себѣ, что, можетъ быть, она тоже здѣсь, въ Рейкіавикѣ, что только ночная тьма раздѣляетъ его отъ нея, вспыхнулъ отъ волненія какъ зарево. Ну, а что, если она и въ самомъ дѣлѣ тутъ, да еще встрѣтится съ нимъ? Хватитъ ли тогда у него духу на его... *дѣло*?.. Такъ тяжелы, такъ мучительны были эти мысли, что онъ и не замѣтилъ, какъ повернулъ обратно, къ самой люд-

ной части города. Не доходя дома епископа, его обогналъ и чуть не сбилъ съ ногъ верховой, молодцовато осадившій лошадь у крыльца. Закинувъ поводья на тычокъ забора, всадникъ поспѣшно вошелъ въ домъ, легкой, увѣренной походкой счастливаго человѣка, которому все удается.

„Вѣрно, самъ губернаторъ, — подумалъ Язонъ. — Кто онъ такой, хотѣлъ бы я знать?“

Неподалеку его нагнали и съ веселымъ крикомъ набросились на него товарищи, которые узнали его и сочли своимъ долгомъ затащить съ собою въ трактиръ, выпить за его здоровье.

— А, Язонъ!.. Вотъ такъ молодчина!..—раздались и тамъ крики знакомыхъ.—Давай-ка, выпьемъ на радостяхъ, что привелъ Богъ свидѣться!.. А жаль, что старикъ-то тебя не дождался.

— Какой старикъ?

— Да твой дѣдъ, Іоргенсонъ. Ужъ какъ онъ старался тебя разъискивать; хотѣлъ усыновить, обезпечить тебя. Да, видно, не судьба: тебя онъ не нашелъ, а встрѣтился съ Михаиломъ, по прозвищу „Кудрявчикомъ“...

— Что? Михаиломъ?!...—воскликнулъ Язонъ.

— Ну, да, съ этимъ самымъ губернаторомъ нашимъ,—теперешнимъ, который все на свой ладъ вверхъ дномъ норовитъ перевернуть да еще вздумалъ преслѣдовать народъ за пьянство...

— Кто? Новый губернаторъ? — машинально переспросилъ Язонъ.

— А то кто же? Все онъ, конечно! Да тебѣ, поди-ка, ближе всѣхъ онъ знакомъ: говорятъ, онъ твой незаконный братъ по отцу, что-ли?

И безъ того въ комнатѣ было душно; а теперь просто дышать стало нечѣмъ. Язону кровь бросилась въ голову. Онъ выбѣжалъ на улицу.

Такъ вотъ кто это Михаилъ, этотъ счастливецъ „Кудрявчикъ“! Третій разъ становится онъ ему, Язону, поперекъ дороги. Первый разъ разлучилъ онъ его съ отцомъ; второй—съ невѣстой и, наконецъ, съ дѣдомъ. Трижды кралъ онъ у него его счастье!.. Шатаясь какъ пьяный, Язонъ все шелъ впередъ и впередъ... и не помнилъ, какъ очутился передъ домомъ епископа.

„Ворваться къ нему, покончить съ нимъ тутъ же, на мѣстѣ?—неудержимо пронеслось у него въ головѣ.—Нѣтъ, нѣтъ: лучше выждать; лучше сначала увидать его и потомъ вѣрнѣе настигнуть!“

Въ эту минуту до него донеслись звуки женскаго голоса. Кто-то пѣлъ, подъ аккомпаниментъ струннаго инструмента.

Сердце Язона больно рванулось и застыло въ безграничной мукѣ.

„Это она!.. Гриба!.. Изъ-за него, изъ-за его богатства и знатности она бросила меня!..“

И ему вспомнились пять лѣтъ тайной, робкой любви, которая такъ овладѣла всѣмъ его существомъ, такъ поглощала его, что онъ, ради нея, забылъ думать о своей клятвѣ, только и жилъ, что мечтами о ней одной, о ея счастьѣ! А она, Гриба? Она не задумалась отвернуться отъ него, какъ только тотъ, другой, поманилъ ее къ себѣ.

— О, Боже, Боже Милостивый, Всемогущій! Предай его въ мои руки!—горячо взмолился несчастный.

XX.

Вернувшись къ своимъ друзьямъ, старичкамъ, Язонъ, какъ въ полу-снѣ, пробормоталъ извиненіе въ томъ, что поздно вернулся, и бросился на кровать.

Все тѣло его ныло, какъ разбитое; жилы на шеѣ бились порывисто, до боли; въ головѣ шумѣло; мысли бѣжали и путались, но глаза упрямо отказывались дать себѣ отдыхъ, неподвижно уставившись куда-то въ пространство. На колокольнѣ башенные часы пробили двѣнадцать; потомъ—часъ, два-три... и такъ до разсвѣта, когда усталость и не столько физическое, сколько нравственное напряженіе взяло свое. Онъ заснулъ тяжелымъ сномъ трудно-больного.

Ужъ не разъ и не два, заглядывала къ нему добрая старушка, которую безпокоила мысль: не заболѣлъ ли, чего добраго, бѣдный „мальчикъ“? А онъ все спалъ да спалъ, пока, наконецъ, не вскочилъ въ испугѣ, что упустилъ столько времени.

За чашкою кофе, Язонъ принялся ее разспрашивать о наружности и привычкахъ президента республики или губернатора, —какъ его, бо́льшей частію, называли по привычкѣ. Но старушка была нелюбопытна и, вдобавокъ, туга на ухо, такъ что ничего опредѣленнаго не могла сказать. Сторожъ тоже былъ глуховатъ не меньше жены, но все-таки его свѣденія были полнѣе: онъ зналъ, напримѣръ, что теперь происходятъ ежедневно засѣданія народнаго собранія, и что ежедневно на нихъ присутствуетъ губернаторъ.

Не допивъ своей чашки кофе, Язонъ бросился вонъ, на улицу, и въ нѣсколько минутъ очутился у крыльца того дома, гдѣ сходились народные представители. Терпѣливо дождался онъ того часа, когда они стали собираться, и напряженно вглядывался въ ихъ лица и прислушивался къ говору кучки зѣвакъ, чтобы угадать моментъ „его“ появленія. Но губернатора не было, хоть ужъ давно пробило двѣнадцать на городскихъ часахъ. Изъ говора окружающихъ, Язонъ узналъ, что почти съ недѣлю губернаторъ не бываетъ больше на этихъ собраніяхъ, а по новымъ правиламъ засѣдаетъ только въ „Верхней“ палатѣ; эти же собранія носятъ теперь названіе „Нижней“.

Это было въ четвергъ, и Язона мучило сознаніе, что ужъ четыре дня какъ онъ принялъ свое рѣшеніе, а до сихъ поръ еще не выполнилъ его. Раздраженный, угрюмый, онъ пошелъ на берегъ, къ тому мѣсту, гдѣ кипѣла работа надъ будущимъ фортомъ; ему казалось, что онъ тамъ встрѣтитъ губернатора. Но и на этотъ разъ его постигла неудача: губернаторъ уже былъ на работахъ и уѣхалъ. Язонъ сталъ бродить кругомъ да около, приглядываясь къ прохожимъ, останавливаясь у воротъ и подъѣздовъ; но затѣмъ, вспомнивъ, что въ это смутное время его легко могутъ принять за датскаго шпіона и арестовать (а слѣдовательно и помѣшать его дѣлу), онъ пошелъ прочь, тихо и безучастно.

Проходя мимо трактира, онъ услышалъ, какъ кто-то говорилъ, что губернаторъ поѣхалъ на ученье. Въ ту же минуту Язонъ свернулъ съ дороги и поспѣшилъ къ тому зданію, гдѣ наканунѣ слышалъ военную команду. Но и тутъ его ожидало разочарованіе: онъ уже не засталъ Михаила. На набережной, по дорогѣ оттуда, онъ узналъ, что вѣрнѣе всего можно встрѣтить его у епископскаго дома, куда онъ чаще всего заѣзжаетъ, во всякое время дня. Неутомимо сторожилъ Язонъ брата до глубокой ночи: но, видно, не суждено было ему встрѣтиться съ нимъ лицомъ къ лицу: всѣ его старанія были тщетны.

— Но почему, почему всѣ его видятъ, всѣ знаютъ въ лицо, а мнѣ одному это не удается? Почему я одинъ не попадался ни разу ему на глаза? — невольно спрашивалъ онъ самъ себя.

Въ темнотѣ ему послышался близкій сдержанный шорохъ; вслѣдъ затѣмъ онъ ясно разслышалъ тихій, но ясный шопотъ. Это было на дорогѣ въ Тингвеллиръ, которая шла мимо зданія сената. Хотя незнакомцевъ и было нѣсколько, но говорили только двое: судя по голосу,—старикъ и молодой.

— Ну, что, какъ дѣла?—спросилъ молодой. — Успѣли что-нибудь сдѣлать? Когда „они“ прибудутъ?

— Будьте покойны; все обойдется прекрасно. Мы знаемъ, что вы не упускаете его изъ виду, — и старикъ качнулъ головой по направленію къ сенату. — Не удастся ужъ ему больше посылать нашихъ братьевъ на свои сѣрныя копи!

— А еще, говорятъ, жениться собрался!—съ горькимъ смѣхомъ проговорилъ молодой.

Въ эту минуту они замѣтили, что Язонъ, котораго они, повидимому, не особенно стѣснялись, вѣроятно принимая также за шпіона, повернулся къ нимъ лицомъ; они остановились.

— Вы ошиблись, господа!—сказалъ онъ.—Надо быть осторожнѣе: я не шпіонъ и не убійца!

Довольно бодро произнесъ онъ эти слова, но не могъ удержаться отъ нервнаго содроганья, при мысли, что его дѣло могли сдѣлать до него другіе,—дѣло „возмездія“, которое, по его глубокому искреннему убѣжденію, было завѣщано ему самимъ Богомъ!.. Необходимо было спѣшить, спѣшить, во что бы то ни стало! Не то его предупредятъ другіе, цѣли которыхъ не такъ возвышенны и не такъ справедливы!

Крадучись, какъ кошка, вздрагивая при малѣйшемъ шорохѣ изъ боязни, что за нимъ шпіонятъ, бродилъ онъ по городу до поздняго вечера, и только къ ночи вернулся въ домъ сторожа. Сторожиха хлопотала у своего незатѣйливаго крылечка, протягивала какія-то веревки. Язонъ, какъ ни былъ разстроенъ своими думами, — не могъ не замѣтить, однако, что и весь городъ былъ въ хлопотахъ. Онъ спросилъ о причинѣ ихъ только такъ, машинально, догадываясь, въ чемъ дѣло.

— Да развѣ ты не слыхалъ, голубчикъ? Нашъ губернаторъ женится: завтра свадьба!—сказала она.—То-то будетъ народу въ соборѣ! Но ты не тревожься: намъ съ тобой найдется мѣстечко! Ужъ положись на меня: я все устрою!

Язонъ ожидалъ, что добрая старушка до этого договорится; но самый звукъ ея словъ поразилъ, испугалъ его. Онъ вскочилъ и выбѣжалъ на улицу. Оживленіе и веселый говоръ толпы окончательно оглушили его. Онъ шелъ неровными, нетвердыми шагами, толкая прохожихъ, которые отругивались или шутя давали ему сдачи такими же толчками. Только какая-то женщина пожалѣла его:

— Дураки! Не видите,. что-ли, что малый боленъ? — сказала она мимоходомъ.

„А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ я, должно быть, боленъ“,—

подумалъ бѣдняга, и еще больше зашумѣло у него въ головѣ, еще слабѣе стали усталыя ноги. Смутнымъ вихремъ проносились въ его головѣ мысли, быстро смѣняясь одна другою; воображеніе рисовало ему картины его подвига; онъ заранѣе переживалъ все, къ чему стремился.

Ему чудился знакомый съ дѣтства, глубокій соборъ.

Ярко освѣщенъ алтарь; стѣны и ниши тоже залиты огнями.

Изъ нарядной, многолюдной толпы выступаетъ женихъ, склоняясь подъ благословеніемъ епископа, сѣдого, но еще довольно бодраго старичка; только руки его дрожатъ отъ тяжести Евангелія въ дорогой массивной оправѣ. Вотъ и невѣста въ бѣлоснѣжной толпѣ своихъ подругъ... И на глазахъ у нея онъ, Язонъ, бросается съ ножомъ на счастливаго жениха, который, обливаясь кровью, съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ, падаетъ тутъ же, у ея ногъ. Толпа шумитъ, угрожаетъ убійцѣ, а онъ самъ, съ сознаніемъ своей правоты, спокойно отдается въ руки правосудія. — Вяжите меня! Я убилъ его!

Не страшны ни муки заключенія, ни стыдъ передъ лицомъ народа, когда совѣсть спокойна. Развѣ не сказано въ священномъ писаніи, что злодѣй долженъ потерпѣть возмездіе, и что оно настигнетъ его въ третьемъ и даже въ четвертомъ колѣнѣ отъ дѣтей его? Было бы даже грустно, безотрадно подумать, что правосудіе Божіе не оправдывается, не свершается на глазахъ людей... Нѣтъ, онъ хоть и убійца, а смѣло можетъ предстать у престола Великаго Судіи: онъ—орудіе справедливой кары Всевышняго, онъ не клятвопреступникъ!..

Утромъ его разбудила старушка, когда солнце ужъ давно высоко стояло надъ землею.

— Вставай, вставай скорѣе, сердце мое!.. Смотри, чтобы не опоздать, сердце мое!.. Пора, пора!.. Торопися, сердце мое!..— суетилась она.

Черезъ четверть часа они были уже въ соборѣ.

Пестрая толпа, масса огней, дорожка по срединѣ, усыпанная цвѣтами... все, все было такъ, какъ Язону представлялось въ мечтахъ.

Усѣвшись въ углу, недалеко отъ алтарной рѣшетки, Язонъ скользилъ взглядомъ по освѣщенному алтарю, по каѳедрѣ, по стѣнамъ, гдѣ особенно ясно выступали изреченія св. писанія. Прямо передъ нимъ, на стѣнѣ, было изображеніе скрижалей съ десятью заповѣдями; но въ глаза ему бросилась только одна, и,

глядя на нее, Язону казалось, что каждая буква ея налита кровью: „Не убій".

„Не убій!.. Не убій!.."

Такъ зачѣмъ же онъ здѣсь, съ какой цѣлью? Не мѣсто ему въ соборѣ, не мѣсто преступнику!..

Его душило, его тянуло на воздухъ, на просторъ. Благоговѣйная торжественность собора была ему въ тягость; сами стѣны, казалось, готовы были надвинуться на него, на... убійцу.

Свѣжій воздухъ ободрилъ его, и онъ снова принялся возражать самъ себѣ, оправдывая себя въ своихъ собственныхъ глазахъ:

„Я — сумасшедшій! И съ чего я взялъ, что я убійца?... Развѣ казнь преступника считается убійствомъ, а не правосудіемъ?" разсуждалъ Язонъ, постепенно приходя въ себя; но вернуться на свое мѣсто, въ соборъ, у него не хватило духу. Онъ смѣшался съ толпой праздныхъ зрителей, стоявшихъ у главнаго входа.

Женихъ съ невѣстой и шафера только-что вошли въ церковь,—толпа сомкнулась; послышался тихій говоръ. Дѣвушки и женщины, въ своихъ типичныхъ сѣрыхъ кофтахъ, отдѣланныхъ серебромъ и золотомъ и перехваченныхъ филиграновыми кушаками; мужчины,—юноши и молодые люди,—тоже въ національныхъ костюмахъ, въ штиблетахъ съ красными бантами сбоку, у колѣнъ, въ темно-сѣрыхъ чулкахъ и башмакахъ; старики въ долгополыхъ кафтанахъ и старушки въ синихъ длинныхъ накидкахъ,—всѣ были въ самомъ возбужденномъ состояніи, всѣ оживленно бесѣдовали вполголоса. Своды на крыльцѣ собора были разукрашены пестрыми лентами; въ сторонѣ были устроены для народа сараи, въ которыхъ весь день предлагалось угощеніе.

— Она англичанка!..—Нѣтъ, ее привезли изъ Ирландіи!.. Нѣтъ,—съ острова Мэна!—Э, да не все ли равно: не землячка намъ, и все тутъ! Ни слова не понимаетъ по-исландски; такъ говоритъ тетка Хильда, а на нее ужъ можно положиться: она служитъ во дворцѣ поломойкой.

Такъ болтали двѣ женщины позади Язона, перебивая другъ друга.

— Говорятъ, что она все-таки премилая женщина! Бѣдная, она ждала къ себѣ на свадьбу отца, а его корабль, кажется, потерпѣлъ крушеніе... Моего сына послали, вмѣстѣ съ другими, на развѣдки. Губернаторъ въ лицо его знаетъ. И такой-то онъ добрый, не спѣсивый, обходительный! Еще не дальше, какъ вчера утромъ, встрѣтился со мной, поздоровался, да и говоритъ:

„Съ добрымъ утромъ, тетушка! Вотъ и сынокъ твой ужъ скоро вернется!.."

— Да, хорошій онъ человѣкъ, и за народъ горой стоитъ; не даромъ его всѣ любятъ! Дай Богъ ему счастья на многіе годы и съ дюжинку дѣтей на придачу!

Вокругъ засмѣялись.

Раздались звуки органа, все громче и громче. Дверь распахнулась. Толпа напряженно ожидала появленія новобрачныхъ. Но Язонъ не дождался этой минуты: онъ отошелъ подальше отъ крыльца и незамѣтно очутился за оградой соборнаго кладбища.

„Боже мой! — думалъ онъ. — Неужели я собираюсь убить *его* въ ту самую минуту, когда онъ впервые покажется рука-объ-руку съ нею? Но вѣдь я же люблю ее! Вѣдь онъ мой братъ!"

— Идутъ! Идутъ! — послышались голоса. — Вотъ они!..

— Боже, спаси ихъ! Боже, благослови!..

У Язона помутилось въ глазахъ. Онъ не смѣлъ, онъ не могъ взглянуть вверхъ на соборныя ступени, гдѣ стояла Гриба, новобрачная! Невольно онъ опустилъ глаза и тутъ только замѣтилъ, что стоитъ у стѣны съ чугуннымъ красивымъ крестомъ. Машинально взглянулъ онъ на четкую, крупную надпись — и прочиталъ свое имя.

Все вокругъ заволокло туманомъ; земля поплыла подъ ногами; какой-то безпорядочный, оглушительный шумъ загудѣлъ въ ушахъ, и Язонъ потерялъ сознаніе.

Въ бреду ему чудились зеленыя высокія горы; тихое, свѣжее море, и она, Гриба, ласковой, прохладной рукою касалась его воспаленнаго лба.—Ты можешь гордиться собою, Язонъ!—говорила она нѣжнымъ шопотомъ, склоняясь надъ нимъ. Онъ видѣлъ, какъ волновалась ея высокая грудь, какъ румянецъ приливалъ къ ея блѣднымъ щекамъ. Онъ обнималъ, цѣловалъ ее; она вырывалась отъ него, а онъ радовался, на нее глядя, и смѣялся въ душѣ счастливымъ, беззаботнымъ смѣхомъ.

— Смирно лежи, сердце мое... смирно!—раздался надъ нимъ разбитый и слабый старческій голосъ.

Язонъ открылъ глаза. Передъ нимъ была знакомая, незатѣйливая комнатка сторожихи, и она сама, съ мокрой тряпкой въ рукахъ, которую только-что сняла у него съ головы.

— Слава тебѣ, Христосъ! Очнулся!—проговорила она, концомъ передника утирая слезы.

— Что это со мной? Я былъ безъ памяти?

— Безъ памяти?! Въ лихорадкѣ, сердце мое, въ лихорадкѣ!

— А какой день сегодня?

— День, сердце мое, день? А тебѣ на что, сердце мое? Ужъ два дня, какъ ты въ бреду. Такъ и не приходилъ въ себя послѣ того, какъ упалъ на кладбищѣ, въ самую ту минуту, сердце мое, какъ молодые выходили изъ собора... въ самую ту минуту!

— Слава Богу!.. Слава Богу!.. — облегченно воскликнулъ больной, и лицо его просіяло. Но вслѣдъ затѣмъ ему вспомнилось все, чего онъ лишился, и радость, что онъ не сдѣлалъ преступленія, смѣнилась сознаніемъ, что жизнь для него уже не существуетъ. Вдругъ у него мелькнула тревожная мысль, и онъ, притворяясь равнодушнымъ, спросилъ:

— А что, много болталъ я въ бреду?

— Не очень, сердце, не очень: бормоталъ только что-то, все будто изъ Библіи, да ругался, иной разъ, понемножку, Богъ тебя прости!

Язонъ припомнилъ, что старушка такъ же туга на ухо, какъ и ея мужъ, и успокоился. Старушка обрадовалась, что онъ улыбнулся, и поспѣшила спросить:

— А что, сердце мое, не скушаешь ли чего? Да? Ну, и слава Богу. Поправляйся, сердце мое, набирайся силъ! Кушай себѣ на здоровье!

Кушанье, однако, было только предлогомъ удалить добрую женщину. Едва она скрылась за дверью, какъ больной вскочилъ на ноги, наскоро натянулъ на себя платье и сапоги, и, нетвердо держась на ногахъ, побрелъ по улицамъ Рейкіавика.

XXI.

Еще издали завидѣлъ Язонъ ярко-освѣщенныя окна зданія сената и понялъ, что тамъ, вѣроятно, идетъ пиршество или вообще празднованіе радостнаго народнаго торжества, — бракосочетанія президента. И въ самомъ дѣлѣ, изъ дому неслись звуки музыки: народъ танцовалъ даже на лужайкѣ передъ домомъ.

Язонъ направился прямо туда; но, проходя по мосту, замѣтилъ, что мимо него проѣхалъ всадникъ и такъ близко, что лошадь чуть не задѣла его копытомъ. Бѣдняга вздрогнулъ: ему пришло на мысль, что такъ точно промелькнулъ мимо него Михаилъ въ ту ночь, когда онъ впервые убѣдился, что Гриба въ Рейкіавикѣ и живетъ въ домѣ епископа, въ ожиданіи дня своей свадьбы...

Что было потомъ—онъ плохо помнилъ, и очнулся только очу-

тившись лицомъ къ лицу съ той, которую любилъ сильнѣе всего на свѣтѣ.

— Язонъ! Зачѣмъ ты здѣсь? — тревожно и грустно спрашивала Гриба.

— А ты?—отвѣчалъ онъ.

— Ты слѣдилъ за мною?

— Зачѣмъ же ты бѣжала сюда?

— Но вѣдь ты же простилъ мнѣ, Язонъ! Еслибъ ты потребовалъ, чтобы я осталась, я была готова не покидать тебя. Ты самъ далъ мнѣ свободу, самъ отказался отъ меня. Я знаю, я чувствую: ты пріѣхалъ сюда отмстить мнѣ. О, пощади, развѣ я виновата? Онъ мнѣ мужъ, онъ любитъ меня!..

— Да; но онъ сынъ Стефена Орри!

— А, понимаю!—вскричала Гриба и ухватилась за него обѣими руками.—Я не забыла той ночи, когда умиралъ Стефенъ!

— Постой! Пропусти меня: я хочу его видѣть.

— Зачѣмъ? Что онъ тебѣ сдѣлалъ?.. Если кто виноватъ предъ тобою, такъ только я, я одна!

— Гдѣ онъ? Говори!

— Его нѣтъ; онъ уѣхалъ...

— Верхомъ? — перебилъ ее Язонъ и, не дожидаясь отвѣта, пошелъ къ дверямъ.

Мигомъ Гриба очутилась у дверей и раскинула руки, заграждая ему выходъ.

— Язонъ, не тронь его, если ты меня любишь!

— Пусти!—настаивалъ Язонъ.

— А, ты хочешь догнать его и... убить!..

— Пусти!..

— Ни за что на свѣтѣ!.. Убей меня: я виновата! Я оскорбила тебя!

— Упаси, Боже!

— Умоляю тебя: оставь свое намѣреніе!

— Не оставлю, пока жизнь и счастье не оставятъ *его*!

— Ну, такъ слушай же: если ты не жалѣешь меня, такъ и я тебя не пожалѣю! — вдругъ съ твердой рѣшимостью проговорила Гриба и отчаянно позвала на помощь.

Скрестивъ на лицѣ руки, Язонъ выскочилъ въ окно. Стекла со звономъ полетѣли на полъ. Гости толпами сбѣжались на крикъ новобрачной. Не прошло и пяти минутъ, какъ Язона поймали и привели обратно, окровавленнаго, въ разорванномъ платьѣ.

— Я обвиняю его въ покушеніи на жизнь моего мужа! — воскликнула Гриба, и въ ту же минуту человѣкъ десять броси-

лись вязать несчастнаго; но это не стоило имъ никакого труда: онъ стоялъ неподвижно и не думалъ сопротивляться.

Когда его уводили, онъ только разъ оглянулся на молодую женщину взглядомъ, полнымъ муки и... гордости.

Судъ надъ Язономъ длился не долго.

Предсѣдательствовалъ самъ епископъ; но, несмотря на его крайнюю снисходительность къ несчастному, онъ не могъ ничего сдѣлать съ показаніями свидѣтелей;—не могъ даже оградить его на основаніи показаній самой супруги президента, которая вполнѣ опредѣленно отвѣчала, что преступленія „дѣйствіемъ“ не было,—было только намѣреніе совершить его. Прокуроръ, человѣкъ краснорѣчивый и убѣжденный въ важномъ значеніи каждаго своего слова, сказалъ блестящую обвинительную рѣчь, прямымъ слѣдствіемъ которой былъ приговоръ:

„Препроводить подсудимаго на сѣрныя копи срокомъ на двѣнадцать мѣсяцевъ и продолжить срокъ его каторжныхъ работъ до той минуты, пока подсудимый не принесетъ клятвы впредь, до конца жизни своей, жить въ мирѣ съ братомъ“.

Молча, вполнѣ безучастно выслушалъ Язонъ свой приговоръ. На всѣ допросы онъ отвѣчалъ неизмѣннымъ упорнымъ молчаньемъ, и только по прочтеніи приговора, когда епископъ мягко обратился къ нему съ обычнымъ вопросомъ: что онъ имѣетъ возразить?—въ тяжеломъ безмолвіи залы суда раздался впервые его усталый, подавленный голосъ:

— Ничего!

Изъ судебнаго слѣдствія и свидѣтельскихъ показаній выяснилось, что главнымъ двигателемъ преступнаго намѣренія Язона была его естественная злоба на отца, бросившаго его мать, а слѣдовательно и на брата его, Михаила, который, самъ того не зная, отнялъ у него любовь и заботу отца.

О настоящей же причинѣ, побудившей его къ преступленію, не подозрѣвалъ никто, кромѣ Грибы. Тѣмъ тяжелѣе, тѣмъ безотраднѣе было у нея на сердцѣ.

Отрадные, счастливые дни, которые выпали ей на долю за краткій промежутокъ времени между ея пріѣздомъ въ Рейкіавикъ и моментомъ покушенія Язона, казались ей теперь чуднымъ, почти невѣроятнымъ сномъ. Недѣля промелькнула какъ одинъ день, а тамъ вдругъ какъ черная туча надвинулась бѣда: покушеніе Язона, страхъ за жизнь любимаго человѣка, опасенія, какъ бы

подсудимый не выдалъ передъ всѣми (а главное передъ ея мужемъ) своихъ отношеній къ ней. Тѣмъ болѣе тревожила ее эта мысль, что она еще даже и не намекала мужу о томъ, что знаетъ его брата, и чѣмъ былъ для нея Язонъ въ его отсутствіе, до самаго полученія его письма.

„О, Боже! Какъ мнѣ быть? Какъ признаться Михаилу? Теперь всему конецъ: пропала я, пропало мое счастье! Язонъ проговорится: мужъ все отъ него узнаетъ!“

На судѣ, когда подсудимый молчалъ, а свидѣтели давали свои показанія вкось и вкривь, Гриба не могла равнодушно видѣть полныхъ муки, потупленныхъ взоровъ Язона; жалость сжимала ей сердце, и она припомнила все свое знакомство съ нимъ, его преданность и любовь къ ней, къ ея отцу. И въ душѣ ея ясно сложилось убѣжденіе, что эта страстная и горячая любовь и была главной причиной его отчаянія, а слѣдовательно и преступленія. Съ нетерпѣніемъ ожидала она епископа, который долженъ былъ придти сказать ей, чѣмъ окончилось дѣло Язона (она такъ ослабѣла отъ волненья, что упала въ обморокъ на судѣ и очнулась уже у себя дома).

— Ну, что?—воскликнула она, завидя старика.

— Приговоренъ къ каторжнымъ работамъ, — грустно отвѣчалъ тотъ.

— Какъ же онъ защищался? Что говорилъ?

— Ничего ровно; и на вопросъ, не имѣетъ ли онъ чего возразить, только и сказалъ: „Ничего!“

Гриба облегченно вздохнула: слава Богу! еще не все пропало: онъ не выдалъ ее! Совѣсть укоряла ее за малодушіе, за подозрѣніе, которымъ она въ мысляхъ оскорбила человѣка, до конца проявившаго къ ней преданность и самоотверженіе. Она—причина его погибели! Она довела его до скамьи подсудимыхъ, а онъ, вмѣсто того, чтобы опозорить ее въ своемъ справедливомъ озлобленіи, — онъ предпочелъ молчать и нести всю тяжесть судебной кары. Ей было стыдно за себя, за свои опасенія: она чувствовала, что въ сравненіи съ нимъ она мелочна, малодушна.

— Бѣдняга! Мнѣ жаль его отъ души! Онъ добрый малый и заслуживалъ бы лучшей доли... Слава Богу, все-таки, что мужу вашему онъ ужъ болѣе не страшенъ... Прощайте, дитя мое, покойной ночи!..—сказалъ добрякъ епископъ, уходя.

Вслѣдъ затѣмъ начались для молодой женщины унылые, однообразные дни. Она томилась, ожидая возвращенія любимаго мужа; тревожилась мысленно за него, за отца, пропавшаго безъ вѣсти, за несчастнаго Язона, который еще сидѣлъ въ заключеніи, во

временной тюрьмѣ. До нея дошли слухи, что осужденный вотъ уже шестой день, какъ не пьетъ, не ѣстъ и лежитъ боленъ; что онъ былъ боленъ еще тогда, какъ бродилъ по городу, до покушенія: тогда, передъ ея свадьбой, у него уже было начало воспаленія мозга; онъ пролежалъ двое сутокъ въ бреду и, еще больной, упалъ отъ изнеможенія у собора, во время свадебнаго шествія. Эти вѣсти дали молодой женщинѣ надежду оправдать Язона. Какое можетъ быть „заранѣе обдуманное намѣреніе“ у человѣка, который не въ своемъ умѣ? — разсуждала она и поспѣшила къ епископу съ просьбой освободить несчастнаго.

— Вы видите, — онъ не могъ дѣйствовать обдуманно: онъ былъ въ бреду; онъ придетъ въ себя и самъ ужаснется своего проступка, о которомъ, вѣроятно, и не помнитъ. О, отпустите его на волю, отпустите, Бога ради!—умоляла она.

— Полноте, успокойтесь!—уговаривалъ ее добрый старикъ.— Вы разсуждаете какъ настоящая женщина: ну, придетъ ли въ голову кому бы то ни было, кромѣ женщины, просить за своего врага и обидчика? Наконецъ, и самъ президентъ не подпишетъ акта его освобожденія, да и не имѣетъ на это нравственнаго права, какъ глава народа, благосостояніе котораго только имъ и держится.

— О, нѣтъ! я увѣрена, онъ подпишетъ!—воскликнула Гриба, и тутъ же у нея возникъ планъ побывать у Язона въ тюрьмѣ, уговорить его примириться съ братомъ въ душѣ и на дѣлѣ, а тамъ, когда Михаилъ вернется, убѣдить и его подписать помилованіе осужденному.

Гриба усердно слѣдила за жизнью Язона въ тюрьмѣ и съ этой цѣлью посылала на развѣдки свою молоденькую горничную.

Къ сожалѣнію, послѣдняя наводила свои справки не сама, а съ помощью своего друга, исландца Оскара; притомъ же, другъ этотъ былъ болтливаго десятка, и скоро весь Рейкіавикъ узналъ (съ прибавками и убавками, конечно), что молодая супруга президента интересуется заключеннымъ, и что между ними завязались какія-то сношенія.

Однажды, узнавъ, что заключенному лучше, Гриба дождалась, пока совсѣмъ стемнѣло, и постучалась въ двери тюрьмы. Привратникъ, робкій и косноязычный человѣкъ, испугался при видѣ самой президентши и съ невѣроятными усиліями выразилъ ей свои опасенія насчетъ благополучнаго исхода ея посѣщенія.

— Полноте, я не труслива, — проговорила она и съ бодрой улыбкой пошла впередъ.

Временная тюрьма была, просто-на-просто, чѣмъ-то въ родѣ

деревяннаго, наскоро сколоченнаго сарая, перегороженнаго на отдѣленія, по виду напоминавшія собою ящики.

Въ томъ отдѣленіи, куда вошла молодая женщина, было сыро и холодно; на отпотѣвшей стѣнкѣ висѣлъ простой фонарь, въ которомъ тускло пылалъ сальный огарокъ. Язонъ сидѣлъ, поникнувъ головою, на низенькой, грубой скамейкѣ. Заслышавъ шаги, онъ не шелохнулся, и при неровномъ мерцаніи свѣчи Гриба замѣтила, что онъ блѣденъ, и что его рыжеватыя густыя кудри коротко острижены.

— Язонъ, прости меня!—робко заговорила она.—Я довела тебя до бѣды. Но что же мнѣ было дѣлать, если ты угрожалъ моему мужу?

Язонъ молчалъ, сидя по прежнему безучастно.

— Но пойми же: не могла я не вступиться за него!.. Знаю, что оскорбила тебя; знаю, что ничего, кромѣ горя, не видѣлъ ты отъ меня и, въ то же время, щадилъ меня, не мѣшалъ моему счастью...

Руки несчастнаго нервно задвигались; онъ ухватился за край стола, у котораго сидѣлъ, но ни слова не слетѣло у него съ языка.

— Слава Богу, еще не все пропало: я могу тебя спасти! Послушай: дай только слово, что не будешь больше питать злобы къ брату, и онъ—ручаюсь!—освободитъ тебя. Онъ такъ добръ, что навѣрное проститъ...

— А чортъ бы побралъ и его самого, и его прощенье!—воскликнулъ Язонъ, грузно стукнувъ кулакомъ по столу.—Кто онъ таковъ, чтобы карать меня или миловать? И что мнѣ за дѣло до него? Развѣ изъ любви къ нему я молчалъ на судѣ, когда лукавый подзадоривалъ меня разсказать всю правду?.. Нѣтъ, пусть онъ заживо схоронитъ меня на своихъ сѣрныхъ копяхъ! Пусть упрячетъ хоть въ самыя нѣдра земли!.. Я и оттуда выйду невредимымъ, чтобы настигнуть его;—чтобы вдвое воздать *ему* за то, что я претерпѣлъ отъ *тебя*!..

Несчастный снова поникъ головой и умолкъ.

Гриба такъ и ушла, не добившись отъ него больше ни слова. Грустно ей было, что не удалось уговорить Язона; но она утѣшала себя мыслью, что теперь, по крайней мѣрѣ, совѣсть ея будетъ спокойна.

„Я сдѣлала для него все, что могла, но мужъ для меня долженъ быть прежде всего!.. Когда онъ вернется, я лучше ничего ему не скажу!“

Все-таки, несмотря на свое сравнительное успокоеніе, Гриба горько плакала и болѣла душой за бѣднаго узника.

На слѣдующее утро, проведя тревожно всю ночь, молодая женщина проснулась съ тяжелой головою и, едва одѣвшись, подошла къ окну. Городъ еще спалъ, и среди общей тишины еще ужаснѣе казалась картина, которую увидала Гриба.

По широкой дорогѣ, которая вела въ Тингвеллиръ, подъ конвоемъ шли три арестанта, скованные одинъ за другимъ рука съ рукою; ноги ихъ также были въ кандалахъ. Конвойные, вооруженные съ головы до ногъ, едва поспѣвали за арестантами, впереди которыхъ шелъ крупными шагами человѣкъ богатырскаго роста, высоко поднявъ свою бритую рыжеватую голову; блѣдное лицо его было спокойно и самоувѣренно. Позади него шли: старикъ Томсенъ и юноша Польвезенъ,—датскіе шпіоны.

Глядя на Язона, Гриба живо вспомнила его лицо и осанку, когда онъ, ликующій, полный сознанія жизненныхъ силъ и счастья, пришелъ къ ней тогда, тоже на разсвѣтѣ...

Ей не подъ силу былъ гнетъ свѣтлыхъ воспоминаній: она отвернулась, закрывъ лицо руками... Прошла минута... другая... третья...

Когда она отняла руки отъ лица, конвойные уже были далеко...

А. Б—г—.

СТИХОТВОРЕНІЯ

ПРЕДЪ ГРОЗОЙ.

Въ бирюзовомъ небѣ выплываютъ
Облака громадой бѣлоснѣжной
И какъ пѣна на прибоѣ таютъ
Въ глубинѣ бездонной и безбрежной...

Такъ встаютъ подъ солнцемъ вдохновенья,
Въ свѣтлый день покоя надъ душою,
Дивныхъ грёзъ лазурныя видѣнья
Ихъ прозрачно-легкой чередою...

И встаютъ, и исчезаютъ снова
Блѣднымъ дымомъ или тѣнью нѣжной
Въ океанѣ блеска голубого,
Въ глубинѣ безстрастно безмятежной.

Но ростутъ, ростутъ ихъ вереницы
Отъ истомы сладостнаго зноя,—
И надъ царствомъ нѣги и покоя
Заблистали грозныя зарницы.

Всѣмъ огнемъ, всѣмъ пыломъ полдня дышетъ
Это небо, небо голубое,—
Словно сердце первой страстью пышетъ,
Первой страстью сердце молодое...

ОПЯТЬ...

Вновь вижу я сквозь радостныя слезы
Заросшій прудъ, поникшія березы,
И въ лунномъ блескѣ потонувшій садъ,
И чрезъ дорогу избъ убогихъ рядъ...
Блѣднѣетъ ночь прозрачно-голубая
И соловей гремитъ, не умолкая...
Все ближе, ближе... Вздрогнулъ темный домъ,
Уснувшій-было безмятежнымъ сномъ,
Блеснулъ огонь, мелькнули въ окнахъ тѣни
Изъ-за кустовъ жасмина и сирени,
Раскрылась дверь... И звонкій смѣхъ, и ласки,
И милымъ счастіемъ сіяющіе глазки...

ГДѢ?

(Изъ Гейне.)

Гдѣ отъ вѣчной битвы жизни
Я найду покой послѣдній?
Тамъ подъ пальмами на югѣ?
Иль подъ липами на Рейнѣ?

Можетъ быть, чужой рукою
Буду я зарытъ въ пустынѣ?
Иль усну, гдѣ море плещетъ
На песокъ волною синей?

Все равно! Въ объятьяхъ неба
Я вездѣ и мертвый буду,
Звѣздъ лампады надо мною
Разгорятся ночью всюду!...

Вл. Мартовъ.

ПОСЛѢДНІЯ ВРЕМЕНА
МОСКОВСКОЙ РОССІИ.

I.—Отношеніе къ западному образованію.—Кіевская школа.—Симеонъ Полоцкій.

Протопопъ Аввакумъ справедливо предчувствовалъ, что съ нимъ доживала „послѣдняя Русь“—та Русь, которая хотѣла жить неизмѣнно по старому преданію, утверждавшемуся въ XV—XVI вѣкѣ, и не допускала въ жизни никакой перемѣны, никакого нововведенія, потому что идеаломъ была именно неподвижность старины и во всемъ новомъ видѣлось нарушеніе православія, видѣлось что-либо латинское или нѣмецкое: дошло до того, что отвергался, наконецъ, авторитетъ самихъ вселенскихъ патріарховъ. Но рядомъ съ этою „послѣднею Русью“, среди самой Москвы, также еще жившей этимъ преданіемъ, имъ дорожившей и не думавшей выходить изъ круга благочестивыхъ воззрѣній старины, возникала новая Русь, въ которой сказалась, наконецъ, историческая сила великаго народа, искавшаго простора для своей умственной и нравственной дѣятельности, которая слишкомъ долго была задержана тяжелыми условіями его исторической судьбы. Эти новыя стремленія появлялись сначала едва замѣтно, какъ неясный инстинктъ; но, слѣдя за ихъ развитіемъ, можно увидѣть, что это былъ именно новый элементъ историческаго движенія, жизненность котораго выражалась тѣмъ, что онъ съ теченіемъ времени все болѣе расширялъ свое содержаніе, охватывалъ все новыя области жизни. Мы указывали раньше, какъ эти новыя

стремленія обнаружились наконецъ въ вопросѣ исправленія книгъ. Передъ тѣмъ, во второй половинѣ XVI вѣка, всѣ усилія тогдашнихъ передовыхъ умовъ направлены были къ тому, чтобы подвести итоги политической и умственной жизни и сдѣлать ихъ основаніемъ государственнаго быта и просвѣщенія. Въ вопросѣ объ исправленіи книгъ, повидимому, продолжалась та же самая забота объ утвержденіи стараго преданія. На первый разъ дѣло шло по прежнему обычаю, велось наугадъ книжниками стараго скуднаго образованія, но къ половинѣ XVII вѣка было наконецъ понято, что для книжнаго дѣла нужны настоящіе ученые люди: у себя дома такихъ людей не было; ихъ стали призывать изъ Кіева, просили восточныхъ патріарховъ присылать ученыхъ грековъ; появлялись въ Москвѣ и сами восточные патріархи и настойчиво заговорили о необходимости школы; кромѣ недостатка книжнаго знанія оказались недостатки въ самой церковной жизни и обрядѣ. Рѣшимость устранить эти недостатки, дать мѣсто требованіямъ ученаго знанія, стала настоящимъ переворотомъ: исправленіе книгъ окончилось расколомъ—разрывомъ между старою „послѣднею Русью“ протопопа Аввакума и Русью, искавшею новаго просвѣщенія.

Мы видѣли, что расколъ именно представлялъ собою народно-церковную старину XV—XVI вѣка; въ исправленіи книгъ въ первый разъ дано было мѣсто началу критическаго изслѣдованія —правда, еще въ самой ограниченной степени, но когда разъ было допущено извѣстное участіе науки, необходимость ея должна была все болѣе и болѣе возростать. Съ первой нѣсколько правильной школой началось умственное движеніе, которое стало охватывать все болѣе широкій кругъ книжныхъ людей, набирало среди нихъ все большее число дѣятелей, все дальше расширяло интересы вновь возникшаго образованія и, тѣсно примыкая сначала къ старому церковному міровоззрѣнію и бытовому обычаю, уже вскорѣ стало заявлять себя какъ новая сила просвѣщенія, способнаго стать независимымъ отъ преданія и обычая. Если мы сравнимъ первыя и послѣднія десятилѣтія XVII-го вѣка, мы увидимъ уже, что въ умственной жизни русскихъ людей произошла громадная перемѣна: къ старому содержанію присоединились новыя легкія черты, носившія печать чуждаго происхожденія, именно „латинскаго“, къ чему еще недавно питали такой ужасъ и отвращеніе; въ старый обычай входили новизны, какъ напр. театральныя зрѣлища, которыя еще недавно были бы сочтены „еллинскими“ и „бѣсовскими“, — но то и другое встрѣчало уже интересъ въ обширномъ кругу людей, и это не были какіе-нибудь исключи-

тельные любители новизны и отступники отъ старины: латинскія новизны въ книгахъ допускалъ самъ патріархъ; театральнымъ зрѣлищемъ услаждался самъ царь, съ разрѣшенія духовнаго отца. Въ принципѣ новая стихія была допущена въ русскую жизнь, и это совершилось уже къ концу царствованія Алексѣя Михайловича.

Чтобы точнѣе представить себѣ размѣры новыхъ вліяній, впервые вступавшихъ въ русскую жизнь, припомнимъ, однако, въ общихъ чертахъ, что̀ совершалось въ тѣ вѣка въ западномъ европейскомъ просвѣщеніи. Мы говорили въ другомъ мѣстѣ о томъ грандіозномъ движеніи, какое наступило здѣсь въ эпоху Возрожденія и реформаціи. Античное наслѣдіе, сохраненное Византіей, перешло въ западную Европу, и на почвѣ, которая была уже подготовлена раньше развитіемъ западно-европейской мысли, произвело блестящій расцвѣтъ литературы и науки, за которымъ утвердилось названіе Возрожденія. Теперь извѣстно, что оно подготовлялось цѣлыми вѣками: античныя воспоминанія сохранялись на самой западной почвѣ, онѣ давно были уже почерпаемы и изъ источника византійскаго; критическое броженіе заявляло себя уже въ средніе вѣка, и античная мысль стала находить сочувствіе потому, что умы были уже готовы къ тому освободительному міровоззрѣнію, какое доставила классическая литература, римская, а вскорѣ потомъ и греческая. Но XV и XVI вѣка были въ особенности наполнены тѣмъ энтузіазмомъ къ классической древности, который наконецъ совершенно измѣнилъ весь обликъ образованія и литературы: средніе вѣка были забыты, на нихъ стали смотрѣть съ пренебреженіемъ, какъ на эпоху варварства; новая философія ставила иныя задачи и иныя рѣшенія; литература искала образцовъ въ классической древности, и псевдо-классическая эпоха полагала, что она примыкаетъ прямо къ античной лирикѣ, эпосу и драмѣ. Въ дѣйствительности, новыя формы соединялись различными связующими нитями съ давними средневѣковыми формами, но въ концѣ концовъ классическіе образцы стали исключительнымъ предметомъ изученія и подражанія. Новое направленіе въ связи съ остатками средневѣковыхъ формъ создало, съ первыхъ вѣковъ Возрожденія, блестящую литературу, вліянія которой достигаютъ до XIX столѣтія. Литература была только однимъ изъ выраженій необычайнаго движенія умовъ; другимъ выраженіемъ его была наука. На переходѣ отъ среднихъ вѣковъ, въ ея складѣ оставалось еще не мало схоластическаго, какъ языкомъ ея еще продолжалъ быть языкъ латинскій; но уже вскорѣ въ области ея явились великія произведенія, которыя положили конецъ средневѣковому міровоззрѣнію и стали основою новѣйшей науки, вели-

кимъ пріобрѣтеніемъ человѣческой мысли. Чтобы указать эти великіе успѣхи человѣческаго знанія, достаточно назвать послѣ Коперника его продолжателей—Галилея (1564—1642) въ Италіи, Кеплера (1571—1630) въ Германіи: ближайшій предшественникъ послѣдняго, Тихо-де-Браге еще соединялъ астрономію съ астрологіей, но этотъ послѣдній отголосокъ среднихъ вѣковъ уже вскорѣ окончательно былъ забытъ, и глубокія открытія Кеплера, его математическіе „законы", послужили для дальнѣйшихъ открытій въ астрономіи: въ половинѣ XVII вѣка (1642) родился Ньютонъ. Еще въ XVI вѣкъ восходятъ знаменательные опыты новѣйшихъ построеній философской мысли: этой эпохѣ принадлежатъ имена Джіордано Бруно (1550—1600) и Бэкона (1561—1626); въ конецъ этого вѣка относится рожденіе Декарта (1596—1650); въ серединѣ XVII вѣка прошла краткая жизнь Спинозы (1632—1677); въ половинѣ этого вѣка родился Лейбницъ (1646—1716). Раньше мы указывали, что изученіе древности уже въ XVI столѣтіи произвело великихъ знатоковъ древняго міра, къ которымъ восходитъ основаніе филологической науки: уже въ то время были совершены грандіозные труды, не потерявшіе своего значенія и до настоящаго времени, какъ громадныя предпріятія Роберта Стефана (Этьена) и Дюканжа. Всѣ страны западной Европы—Италія, Германія, Франція, Англія, Голландія и пр.—имѣли своихъ великихъ представителей въ развитіи этого новаго знанія, которое съ одной стороны дѣйствительно возрождало передъ новымъ человѣчествомъ великую эпоху его прошедшаго въ дѣятельности античныхъ народовъ, оставившихъ новой Европѣ богатое наслѣдіе своей цивилизаціи, и съ другой освѣжили европейскую мысль и поэзію тѣми новыми возбужденіями, которыя опредѣляются названіемъ гуманизма. Въ XVII вѣкъ восходитъ дѣятельность ученыхъ, которые уже ближайшимъ образомъ подготовляютъ новѣйшее развитіе классической филологіи: назовемъ, напр., знаменитаго Ричарда Бентли (1662—1742). Мы говорили раньше, что европейская филологія съ первой эпохи Возрожденія обратилась также къ изученію греческой христіанской литературы, такъ что въ то время, когда у насъ писанія отцовъ церкви и иныя переводныя произведенія, заимствованныя изъ византійскаго источника, все еще списывались и при переписываніи искажались, когда становилось важнымъ правительственнымъ и церковнымъ вопросомъ разысканіе „добрыхъ переводовъ" и только послѣ вѣковыхъ недоумѣній убѣждались въ необходимости обратиться къ греческимъ подлинникамъ и посылали собирать ихъ на Аѳонѣ (только въ половинѣ XVII вѣка), на западѣ эта литература давно

уже стала появляться въ греческихъ изданіяхъ и латинскихъ переводахъ (такъ какъ греческій языкъ съ тѣхъ поръ, какъ и донынѣ, былъ извѣстенъ гораздо менѣе латинскаго) и вызывала уже ученыя изслѣдованія и комментаріи. Таковы были въ XVI и XVII вѣкѣ изданія и изслѣдованія Скалигера, Іеронима Вольфа, Гоара, Комбефиса, Льва Аллація и многихъ другихъ, а къ концу вѣка и къ началу XVIII столѣтія монументальные труды Монфокона, Іоганна-Альберта Фабриція, Бандури, Лекена и пр., которые донынѣ служатъ важнымъ источникомъ и пособіемъ для изученія греко-славянской литературы и церковной археологіи. Не говоримъ о тѣхъ громадныхъ трудахъ, какіе совершаемы были для изданія и изслѣдованія памятниковъ западной церковной литературы среднихъ вѣковъ, каковы были, напр., Acta Sanctorum Болландистовъ, изданіе которыхъ велось съ 1643 до 1794 года и закончено было въ 1846—1867 годахъ трудами цѣлаго ряда замѣчательныхъ ученыхъ и которые доставляютъ также множество драгоцѣннаго матеріала для изученій византійскихъ...

Рядомъ съ великими пріобрѣтеніями науки шло замѣчательное развитіе національныхъ литературъ. Шестнадцатый и семнадцатый вѣкъ создали у разныхъ народовъ западной Европы цѣлый рядъ произведеній, которыя внѣ своего національнаго значенія составили достояніе всемірной литературы, привлекая до сихъ поръ самое внимательное научное изслѣдованіе и доставляя глубокія художественныя возбужденія. Достаточно назвать нѣсколько именъ, чтобы указать великія литературныя пріобрѣтенія той эпохи. Въ Англіи конецъ XVI вѣка произвелъ Шекспира (1564—1616), XVII вѣкъ—Мильтона (1608—1674). Въ Испаніи это была эпоха Сервантеса (1557—1616), Лопе-де-Веги (1562—1635) и Кальдерона (1601—1681). Во Франціи XVI вѣкъ былъ вѣкомъ Рабле (1483—1553) и Монтэня (1533—1592); XVII вѣкъ создалъ первостепенныхъ представителей псевдо-классической драмы: Корнеля (1606—1684), Расина (1639—1699) и Мольера (1622—1673) и законодателя псевдо-классической поэзіи Буало (1636—1711), не говоря о такихъ именахъ XVII вѣка, какъ Лафонтенъ, Паскаль, Лесажъ, Фенелонъ и др., которые опять пользовались великой славой далеко за предѣлами французской литературы; второй половинѣ XVII вѣка принадлежитъ дѣятельность Пьера Бэйля (1647—1706). Дѣятели нѣмецкой литературы были менѣе извѣстны внѣ ея предѣловъ, но и здѣсь шло оживленное литературное движеніе, а также движеніе научное, отголоски котораго доходили въ видѣ нѣсколькихъ переводныхъ книгъ и до московской Россіи.

Эпоха Возрожденія сопровождалась также широкимъ развитіемъ искусства и культурныхъ знаній. Нѣтъ надобности говорить о разнообразныхъ произведеніяхъ національныхъ искусствъ въ живописи, архитектурѣ и скульптурѣ, наконецъ музыкѣ: промышленныя знанія и ремесло доходили до высоты художества. Наконецъ, школа пріобрѣтала все болѣе широкое распространеніе: размножался даже классъ спеціальныхъ, цеховыхъ ученыхъ; латинскій языкъ былъ общераспространеннымъ языкомъ не только между учеными, но и въ средѣ обыкновенно образованныхъ людей.

Изъ того, что̀ мы видѣли до сихъ поръ въ исторіи старой русской письменности, ясно уже, что она осталась совершенно чужда этому широкому содержанію западно-европейскаго просвѣщенія. Лишь очень немногіе люди, имена которыхъ извѣстны почти наперечетъ, знали по-латыни и могли до извѣстной степени получить понятіе о западной книжности; Максимъ Грекъ могъ разсказать о высокомъ состояніи западныхъ школъ,—но всѣ тѣ великія имена европейской литературы и науки, которыя мы назвали, оставались совершенно неизвѣстны; изрѣдка, когда до московскихъ людей доходилъ какой-нибудь отрывокъ европейскаго знанія, онъ былъ непонятенъ и пугалъ своей невиданностью, какъ та камеръ-обскура, которой, по разсказу Олеарія, перепугался его московскій знакомецъ; научное знаніе получало характерное названіе „хитрости“... Можно представить, какую тревогу подняло бы въ этой средѣ появленіе западно-европейскаго знанія въ его подлинномъ видѣ; но это было бы и невозможно, потому что еще не было никакихъ путей воспринять его; тревога поднялась и послѣ, когда въ Петровское время это знаніе начало появляться даже въ весьма укороченномъ видѣ. Эта тревога, какъ извѣстно, не улеглась и до сихъ поръ.

Но сосѣдство съ европейскимъ западомъ не осталось безъ вліянія, особенно съ тѣхъ поръ, когда московская Россія становилась все болѣе сильнымъ государствомъ. Потребности самого государства вызывали необходимость въ разнаго рода техническихъ знаніяхъ, которыхъ дома недоставало, и подобно тому, какъ въ своихъ церковно-книжныхъ дѣлахъ Москва почувствовала надобность въ ученыхъ людяхъ, которыхъ стала вызывать изъ Кіева и Греціи, такъ она стала вызывать разнаго рода знающихъ техниковъ, которыхъ приходилось искать на западѣ. Съ конца XV вѣка начинается усиленный вызовъ иноземцевъ.

Исторія этого западнаго вліянія въ древней Руси до сихъ

поръ еще не собрана [1]). Мы имѣли случай упоминать, что Русь древняя была гораздо въ большей степени открыта этимъ вліяніямъ, чѣмъ было послѣ, въ глухой періодъ татарскаго ига, различнымъ образомъ прервавшаго эти связи съ западомъ. Греческіе художники въ Кіевѣ, нѣмецкіе мастера въ Новгородѣ и Псковѣ, итальянскіе строители въ далекомъ Владимірѣ, какъ и брачныя связи русскаго княжескаго дома, доходившія до самой Франціи, указываютъ на обширныя сношенія, почти мало понятныя при дальнѣйшемъ обособленіи русской жизни. Въ теченіе татарскаго періода эти отношенія заглохли, почти прекратились. „Литовское“ государство, хотя русское по массѣ населенія, но вступившее въ политическій союзъ съ Польшей, а потомъ почти сполна ей подчиненное, въ концѣ концовъ было новой стѣной, отдѣлившей московскую Россію отъ запада. Поглощенная внутреннимъ вопросомъ созиданія государства, все больше уходившая въ свое исключительное міровоззрѣніе, Москва вмѣстѣ съ тѣмъ все больше впадала въ ту религіозную и національную нетерпимость, которая должна была оградить ее китайской стѣной отъ всякихъ иноземцевъ и иновѣрцевъ, порождала крайнее національное высокомѣріе, а наконецъ преграждала путь къ просвѣщенію: потому что это національное высокомѣріе было вмѣстѣ и религіознымъ фанатизмомъ, который представлялъ всѣ иновѣрные народы погаными, съ которыми нельзя имѣть общенія. Мы видѣли, что наконецъ заподозрѣны были сами греки: западная Русь и Малая Русь также оказались подъ большимъ сомнѣніемъ... Но чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе становилась очевидной невозможность обойтись безъ помощи западныхъ людей, хотя и зараженныхъ всякими ересями. Иноземцы оказались неизбѣжны для исполненія разныхъ дѣлъ государства: они были нужны какъ дипломаты (для этого не однажды служили греки и итальянцы, какъ Траханіотъ, Иванъ Фрязинъ), какъ строители, „рудознатцы“, литейщики, разнаго рода ремесленники, врачи, офицеры и солдаты, наконецъ, „органные игрецы“ и актеры... Призывъ иностранцевъ начинается въ особенности съ конца XV вѣка, при Иванѣ III, когда прибытіе греческой царевны изъ Рима до извѣстной сте-

[1]) Опытъ сдѣланъ въ книгѣ г. Брикнера: „Die Europäisierung Russlands. Land und Volk“. Gotha, 1888, но данныя собраны лишь въ количествѣ, достаточномъ для популярнаго изложенія. Извѣстія объ иностранцахъ въ Россіи см. у Карамзина, Соловьева, въ книгахъ г. Цвѣтаева о протестантствѣ въ Россіи, 1888 и 1890, у Забѣлина (Домашній бытъ русскихъ царей и царицъ), Костомарова (Очеркъ торговли моск. государства), Иконникова (біографія боярина Ордина-Нащокина, въ „Р. Старинѣ“, 1883) и друг.

пени уже открывало путь вліяніямъ западнаго обычая, искусства и ремесла. Такъ по совѣту Софьи для строенія Успенскаго собора въ Кремлѣ пригласили художника изъ Италіи: это былъ знаменитый Аристотель Фіоравенти. Аристотель на-диво выстроилъ въ нѣсколько лѣтъ Успенскій соборъ, такъ что довершеніе и освященіе его великій князь ознаменовалъ шумнымъ торжествомъ: цѣлыхъ семь дней пировали церковные „соборы“ на великокняжескомъ дворѣ. Но Аристотель былъ не только искусный архитекторъ, поражавшій московскихъ людей между прочимъ своими знаніями въ механикѣ: онъ лилъ пушки и съ ними ходилъ съ великимъ княземъ въ походъ, чеканилъ монету, лилъ колокола и пр. Но одного Аристотеля было мало [1]), и Иванъ III, посылая посольства къ римскому императору, венгерскому королю, въ Венецію и Медіоланъ, поручаетъ имъ призывать и привозить въ Москву всякаго рода мастеровъ и хитрыхъ людей—мастера рудника, мастера умѣющаго отъ земли отдѣлять золото и серебро, мастера умѣющаго къ городамъ приступать и изъ пушекъ стрѣлять, каменьщика хитраго, серебрянаго мастера, лекаря добраго, который умѣлъ бы лечить внутреннія болѣзни и раны, мастеровъ стѣнныхъ, палатныхъ и пр. Дѣйствительно, въ Москвѣ являются такіе люди, какъ напр. итальянцы Алевизъ—стѣнной и палатный мастеръ, Петръ пушечникъ, архитекторы Антонъ и Марко Фрязинъ, изъ которыхъ послѣдній построилъ Грановитую палату; кромѣ великаго князя и митрополита, нѣкоторые вельможи и купцы строятъ себѣ каменныя палаты при помощи иностранныхъ художниковъ; въ рукахъ мастеровъ русскихъ оставалась только церковная живопись, какъ дѣло религіозное и традиціонное. При Василіи Ивановичѣ Бонъ Фрязинъ выстроилъ колокольню Ивана Великаго. Положеніе иностранцевъ въ Москвѣ бывало все-таки не довольно обезпеченное. Еще съ половины XV-го вѣка при княжескомъ дворѣ, а тѣмъ больше впослѣдствіи, бывали иноземные доктора, греки, а потомъ нѣмцы; но неудача въ леченьѣ была для доктора очень опасна: лекарь Леонъ, лечившій сына великаго князя Ивана Молодого, и ручавшійся жизнью за его выздоровленіе, по смерти княжича былъ дѣйствительно казненъ; по волѣ великаго князя былъ зарѣзанъ татарами, „какъ овца“, лекарь Антонъ, котораго князь держалъ въ большой чести и который не вылечилъ татарскаго царевича.

[1]) Любопытно, что въ старыхъ памятникахъ имя Аристотеля употреблялось наконецъ въ нарицательномъ смыслѣ: „аристотели“—мудрые, „хитрые“ люди, быть можетъ, по наслышкѣ о древнемъ Аристотелѣ, подновленной славою нашего Аристотеля XV-го вѣка.

Послѣ этого случая напуганный Аристотель сталъ проситься домой, но великій князь велѣлъ за это схватить его и, „ограбивъ", посадить на Антоновомъ дворѣ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ иноземцы становились необходимѣе: выростали потребности государства, уже занявшаго могущественное положеніе на востокѣ, дворъ становился великолѣпнѣе, оцѣнивалось иноземное мастерство, но все еще не было русскаго, и иноземцы размножались. Герберштейнъ, въ первой четверти XVI-го вѣка, отмѣчаетъ уже существованіе нѣмецкой слободы въ Москвѣ. Съ теченіемъ времени итальянцы уступаютъ мѣсто въ особенности нѣмцамъ, и именно протестантамъ: католики были русскимъ болѣе антипатичны; слишкомъ долго церковная полемика говорила объ ихъ поганствѣ, и за ними была давняя вина зловредной для православія пропаганды; въ этомъ отношеніи протестанты казались менѣе опасными,—но во всякомъ случаѣ, конечно, не допускалась ни для тѣхъ, ни для другихъ малѣйшая тѣнь распространенія иновѣрныхъ ересей, и иноземцы выведены были въ особую слободу [1]). Оживившаяся торговля, съ нѣмцами—черезъ Новгородъ, съ англичанами и голландцами—черезъ Архангельскъ, съ Польшей и Литвой—на западѣ, все больше знакомили съ произведеніями иноземной промышленности; войны съ Швеціей, Ливоніей, Польшей умножали число иноземцевъ военноплѣнными, между которыми оказывались и „хитрые" люди; многіе изъ нихъ принимали православіе и сливались съ русскими,.. При Иванѣ Грозномъ основнымъ мотивомъ къ войнѣ съ Ливоніею было именно стремленіе утвердиться на Балтійскомъ морѣ для прямыхъ торговыхъ и культурныхъ сношеній съ западомъ: это была жизненная потребность широко развившагося государства,—что очень хорошо понимали и враги его, когда магистръ ливонскаго ордена добился у императора Карла V полномочія не пропускать въ московское государство вызываемыхъ имъ иностранцевъ. Это произошло по поводу извѣстнаго порученія, которое Иванъ Грозный, тогда 17-лѣтній юноша, далъ саксонцу Шлитте набрать какъ можно болѣе ученыхъ и ремесленниковъ: Шлитте дѣйствительно былъ захваченъ и посаженъ въ тюрьму въ Любекѣ; набранные имъ люди [2]) разсѣялись, а одинъ, пытавшійся, несмотря

[1]) Подробности объ исторіи нѣмецкой слободы въ упомянутыхъ книгахъ г. Цвѣтаева.

[2]) Карамзинъ сообщаетъ, что, по бумагамъ самого Шлитта въ кенигсбергскомъ архивѣ, имъ было приглашено въ Россію 128 человѣка, а именно: 4 теолога, 4 медика, 2 юриста, 4 аптекаря, 2 оператора, 8 цырульниковъ, 8 подлекарей, 1 плавильщикъ, 2 колодезника, 2 мельника, 3 плотника и т. д. Ист. Госуд. Росс., т. VIII,

на запрещеніе, пробраться въ Москву, былъ казненъ въ двухъ верстахъ отъ русской границы. Какъ враги понимали упорное желаніе Ивана Грознаго утвердиться на Балтійскомъ морѣ, свидѣтельствуетъ письмо Сигизмунда Августа къ англійской королевѣ Елизаветѣ, гдѣ онъ именно говоритъ, что столь сильный врагъ, какъ Иванъ IV, можетъ стать еще опаснѣе, когда будетъ пользоваться иноземной образованностью и искусствами [1]). Иноземцевъ набирали наконецъ всякими средствами, и напр. въ 1556 году Иванъ Грозный послалъ особую грамоту къ новгородскимъ дьякамъ, строго запрещавшую новгородцамъ продавать нѣмецкихъ плѣнниковъ нѣмцамъ или въ Литву, а чтобы продавали ихъ непремѣнно въ московскіе города [2]).

Борисъ Годуновъ, какъ и Грозный, былъ убѣжденъ въ необходимости балтійскихъ земель для безпрепятственныхъ сношеній съ западомъ, и особенно покровительствовалъ иноземцамъ, какъ въ надеждѣ имѣть въ нихъ вѣрныхъ слугъ среди окружавшихъ его опасностей, такъ и по сознанію пользы, приносимой ими государству. Заботы объ усвоеніи западныхъ знаній онъ повелъ гораздо дальше своихъ предшественниковъ, по крайней мѣрѣ въ намѣреніяхъ: онъ думалъ основать правильныя школы, гдѣ вызванные ученые люди учили бы русскихъ разнымъ языкамъ; но духовенство возстало противъ этого на томъ основаніи, что русская земля едина по вѣрѣ, нравамъ и языку, а когда будетъ

пр. 206. Соловьевъ, Ист. Россіи, новое изд., книга вторая (т. VI—X), стр. 110, думаетъ, что Шлитте руководился собственными соображеніями (на что однако былъ видимо уполномоченъ) и потому счелъ нужнымъ взять четырехъ теологовъ.

[1]) „Московскій государь ежедневно увеличиваетъ свое могущество пріобрѣтеніемъ предметовъ, которые привозятся въ Нарву, ибо сюда привозятся не только товары, но и оружіе, до сихъ поръ ему неизвѣстное; привозятъ не только произведенія художествъ, но пріѣзжаютъ и сами художники, посредствомъ которыхъ онъ пріобрѣтаетъ средства побѣждать всѣхъ. Вашему величеству не безъизвѣстны сила этого врага и власть, какою онъ пользуется надъ своими подданными. До сихъ поръ *мы могли побѣждать его только потому, что онъ былъ чуждъ образованности, не зналъ искусствъ*“... Соловьевъ, тамъ же, стр. 211.

[2]) „Велѣли бы вы въ Новгородѣ, при городахъ, волостяхъ и рядахъ кликать по торгамъ не одно утро, чтобъ боярскія дѣти и всякіе люди нѣмецкихъ плѣнниковъ нѣмцамъ и въ Литву не продавали, а продавали бъ ихъ въ московскіе города; а на кого доведутъ дѣти боярскія, что нѣмецкихъ плѣнниковъ продавалъ нѣмцамъ, тѣхъ дѣтей боярскихъ пожалую своимъ жалованьемъ, а доведетъ черный человѣкъ и ему на томъ, на кого доведетъ, доправить 50 рублей, а продавцовъ сажать въ тюрьму до нашего указу. Если случится у кого-нибудь изъ дѣтей боярскихъ и всякихъ людей нѣмецъ плѣнный, умѣющій дѣлать руду серебряную и серебряное, золотое, мѣдное, оловянное и всякое дѣло, то вы бы велѣли такихъ плѣнныхъ дѣтямъ боярскимъ везти къ намъ въ Москву, и мы этихъ дѣтей боярскихъ пожалуемъ своимъ великимъ жалованьемъ“. Соловьевъ, тамъ же, стр. 390.

много языковъ, то пойдетъ смута въ землѣ. Онъ отправилъ за границу нѣсколькихъ молодыхъ людей для обученія разнымъ языкамъ; какъ было при Грозномъ, послалъ довѣреннаго нѣмца Бекмана въ Любекъ для приглашенія въ царскую службу врачей, рудознатцевъ и иныхъ мастеровъ: ѣхать черезъ Балтійскій край онъ долженъ былъ „нешумно", чтобъ иноземцы не узнали,— этимъ объясняется, замѣчаетъ Соловьевъ, почему московскіе государи желали владѣть хотя бы одною гаванью на Балтійскомъ морѣ: „иначе надобно было дѣйствовать тайкомъ, нешумно, надобно было выкрадывать знаніе съ запада". А это знаніе было именно то „могущество, котораго именно недоставало московскому государству, повидимому такъ могущественному" [1]).

Новая царская династія еще настойчивѣе искала помощи иноземнаго знанія. Московскіе люди были еще по старому недовѣрчивы къ иноземцамъ по соображеніямъ религіознымъ, но „допущеніе все бо̀льшаго и бо̀льшаго количества иностранцевъ внутрь государства, явно высказываемая потребность въ нихъ, явно высказываемое признаніе превосходства ихъ въ наукѣ, необходимость учиться у нихъ предвѣщали скорый переворотъ въ жизни русскаго общества, скорое сближеніе съ западною Европою" [2]). Иноземцы приглашались уже не только для промышленно-техническихъ работъ; они еще въ концѣ XVI-го вѣка допускаются въ войско; при царѣ Михаилѣ иноземцы, особливо изъ нѣмцевъ (бывали также греки, волошане, сербяне, шведы, даже англичане и ирландцы), считались въ рядахъ войска тысячами,—были цѣлые нѣмецкіе отряды, были уже и русскіе, обученные иноземному строю; но предпочитали иноземцевъ протестантовъ и избѣгали нанимать „французжанъ и иныхъ, которые римской вѣры"; въ русскій языкъ уже въ это время входитъ много техническихъ иностранныхъ словъ, между прочимъ по техникѣ военной [3]). Искали, наконецъ, вообще людей ученыхъ, и въ 1639 году дана была опасная грамота ученому голштинцу, извѣстному Адаму Олеарію; въ грамотѣ царя говорилось: „вѣдомо намъ учинилось, что ты гораздо наученъ и навыченъ въ астроломіи, и географусъ, и небеснаго бѣгу, и землемѣрію, и инымъ многимъ надобнымъ мастерствамъ и мудростямъ: а намъ, великому государю, таковъ мастеръ годенъ".

---

[1]) Тамъ же, стр. 724, 725.

[2]) Тамъ же, стр. 1371.

[3]) Такъ во времена царя Михаила въ русскій языкъ входятъ слова: капитанъ, майоръ, квартирмейстеръ, секретарь, регментъ-шульценъ, солдатъ, рейтаръ, фуриръ, корпоралъ, сержантъ, ротмейстеръ (и подротмейстеръ), профосъ.

При царѣ Алексѣѣ иноземный элементъ до такой степени входилъ въ различныя области государственнаго управленія и хозяйства, что составлялъ значительную культурную силу, безъ которой государство не могло больше обойтись: надо удивляться, что старые и новѣйшіе противники и обличители Петровской реформы могли забывать объ этомъ явленіи, которое однако бросается въ глаза уже самыми размѣрами своего распространенія. Соловьевъ, говоря о томъ страшномъ разладѣ, который происходилъ тогда въ церковной жизни и раздѣлилъ, наконецъ, самую народную массу на два лагеря, горѣвшихъ непримиримой враждой другъ къ другу, замѣчаетъ, что въ это самое время, когда шелъ споръ о старыхъ началахъ русскаго просвѣщенія, явно нарождалась новая сила, собственно чуждая обѣимъ сторонамъ, чуждая до тѣхъ поръ всей старой жизни, и которой однако съ исторической необходимостью предстояло въ ней все болѣе широкое развитіе. „Приходили отовсюду новые учителя,—говоритъ Соловьевъ о временахъ царя Алексѣя:—во дворцѣ и съ церковной каѳедры, изъ монашеской кельи и изъ сибирскаго заточенья толковали они о необходимости перемѣнъ, о необходимости науки; задѣтые ими, оскорбленные старые учителя, бывшіе прежде сами передовыми людьми, возбуждавшіе негодованіе своими новшествами, возстали противъ новшествъ, принесенныхъ соперниками, провозгласили, что не должно быть никакихъ перемѣнъ: „до насъ положено, лежи оно такъ во вѣки вѣковъ“. Но въ то время какъ старые и новые учителя въ священническихъ и монашескихъ рясахъ препираются о двуперстномъ и трехперстномъ сложеніи, когда русскіе раздѣлились въ ожесточенной борьбѣ, когда сдѣлка съ наукою, попытка ввести науку чрезъ православныхъ учителей, не вредя православію, далеко не удалась какъ бы желалось, когда старые учителя провозгласили и православныхъ грековъ, и православныхъ малороссіянъ и бѣлоруссовъ еретиками, латинцами,—въ это время являются новые учителя особаго рода, не желанные ни старымъ учителямъ, ни новымъ въ рясахъ, являются иновѣрцы—нѣмцы, являются вслѣдствіе того, что прежде грамматики и реторики нужно было выучиться сражаться, вслѣдствіе того, что явно было экономическое банкротство по неумѣнью производить и продавать и по неимѣнію моря, являются вслѣдствіе того закона, по которому внѣшнее предшествуетъ внутреннему“. Большинство иноземцевъ, призываемыхъ въ Москву, были въ войскѣ: это были наемные солдаты и офицеры. „Волею или неволею оторвавшіеся отъ родной страны, мѣняющіе службу, знамена, смотря по тому, гдѣ выгоднѣе, составляя

пеструю дружину пришельцевъ изъ разныхъ странъ и народовъ, служилые иноземцы были совершеннѣйшіе космополиты, отличавшіеся полнымъ равнодушіемъ къ судьбамъ той страны, гдѣ они временно поселились, отличавшіеся легкою нравственностью; побольше жалованья, побольше добычи—оставалось всегда главною цѣлью. Трудно было сыскать между ними кого-нибудь съ научнымъ образованіемъ: такіе люди не пошли бы въ наемныя дружины; но это были обыкновенно люди живые, развитые, много видѣвшіе, много испытавшіе, имѣвшіе много кой о чемъ поразсказать, пріятные и веселые собесѣдники, любившіе хорошо, весело пожить, попировать за-полночь, беззаботные, живущіе день за день, привыкшіе къ крутымъ поворотамъ судьбы: нынѣче хорошо, завтра дурно, нынѣче побѣда, богатая добыча, завтра проигранное сраженіе, добыча отнята, самъ въ плѣну". „Таковы были люди,—продолжаетъ Соловьевъ,—которыхъ постоянно вызывали въ Москву, въ продолженіе XVII вѣка; сперва увеличеніе числа иностранцевъ въ Москвѣ возбудило сильный ропотъ, жалобы священниковъ; иноземцевъ выдѣлили, переселили въ особую слободу. Казалось, что Русь отгородилась отъ нѣмцевъ, но это могло только казаться такъ. Русь трогалась съ востока на западъ, и западъ выставилъ ей на пути, какъ свою представительницу, нѣмецкую слободу. Историческій чередъ былъ за нѣмецкой слободой, и скоро старая Москва преклонится передъ этою слободою своею, какъ нѣкогда старый Ростовъ преклонился передъ пригородомъ своимъ Владиміромъ; скоро нѣмецкая слобода перетянетъ царя и дворъ его изъ Кремля, обзаведется своими дворцами. Нѣмецкая слобода—ступень къ Петербургу, какъ Владиміръ былъ ступенью къ Москвѣ" [1]).

Этими словами Соловьевъ хотѣлъ болѣе рельефно высказать мысль о приближавшемся широкомъ воздѣйствіи западнаго просвѣщенія на русскую жизнь; въ частности, онѣ нуждаются, конечно, въ значительныхъ оговоркахъ. Во-первыхъ, нѣмецкая слобода заключала въ себѣ не однихъ военныхъ авантюристовъ: иноземное населеніе московской Россіи издавна, а при царѣ Алексѣѣ въ особенности, заключало большое число всякаго рода техниковъ и ремесленниковъ и между ними крупныхъ купцовъ и заводчиковъ, а въ военномъ сословіи опытныхъ военачальниковъ и наконецъ не мало настоящихъ ученыхъ людей, напр. между лютеранскими пасторами. Съ другой стороны вліяніе западнаго просвѣщенія, какъ увидимъ, приходило и другими путями, мимо

[1]) Исторія Россіи, т. XIII, гл. I.

нѣмецкой слободы. Въ концѣ концовъ послѣдніе годы XVII вѣка, царствованіе Ѳедора Алексѣевича и правленіе царевны Софьи, задолго до той поры, когда начались первыя нѣсколько самостоятельныя дѣйствія юноши Петра, представляютъ обильный наплывъ разнородныхъ западныхъ вліяній въ дѣлѣ военномъ, промышленномъ, бытовомъ, наконецъ, книжномъ, наплывъ безпорядочный, лишенный какой-нибудь цѣльности, но вообще несомнѣнно нарушавшій лѣнивое теченіе стараго преданія, носившій въ себѣ зародыши многихъ изъ тѣхъ движеній, какія развиваются потомъ въ XVIII столѣтіи. Обыкновенно думаютъ, что московская Россія, пользуясь услугами европейскаго знанія, допускала его только внѣшнимъ образомъ, ничего не уступая изъ своего содержанія, ревниво оберегая свои народныя начала. Дѣйствительно, московская Россія старалась объ этомъ, сколько могла; но мы видѣли, что наиболѣе послѣдовательный консерватизмъ могъ придти только къ идеямъ протопопа Аввакума. Уступка новому направленію, признававшему хотя бы до нѣкоторой степени права науки, сдѣлана была въ самомъ чувствительномъ пунктѣ старыхъ понятій—въ церковной книгѣ и обрядѣ, сдѣлана была наперекоръ цѣлымъ массамъ приверженцевъ неподвижной старины, и естественно было ожидать, что уступки новому теченію сдѣланы будутъ и въ другихъ направленіяхъ. Большинство признало сдѣланныя перемѣны; вскорѣ стали находиться послѣдователи и любители другой новизны—и въ понятіяхъ, и въ обычаѣ.

Уже давняя старина XV и XVI вѣка не была такъ упорно привержена къ своему обычаю, какъ это обыкновенно полагаютъ. При неподвижности умственной, повидимому, нельзя было бы ожидать стремленій къ новизнѣ, но мы видѣли, что даже въ тѣсномъ горизонтѣ старинныхъ книжниковъ могли легко восприниматься еретическія ученія, которыя свидѣтельствовали объ умственномъ броженіи, о недовольствѣ прежнимъ, объ исканіи новаго. Новизна проникала и въ бытовой обычай; старое преданіе не мѣшало ей водвориться во внѣшнихъ формахъ жизни, хотя бы даже нарушалось при этомъ церковное освященіе старины. Напр. въ XVI вѣкѣ настойчиво повторялись запрещенія о „тафьяхъ безбожнаго Махмета“: дѣло въ томъ, что русскіе люди того времени переняли восточный (татарскій) обычай, плотно стричь голову и даже брить ее, и по этому случаю носить тафьи, т.-е. татарскія ермолки; запрещеніе ихъ внесено было даже въ постановленія Стоглаваго собора. Издавна большимъ почтеніемъ пользовалась борода: она считалась необходимой принадлежностью и украшеніемъ мужского лица и даже выраженіемъ образа Божія въ

человѣкѣ; ношеніе бороды было „христіанолѣпнымъ обычаемъ“ [1]),— и между тѣмъ въ концѣ XV и особливо въ началѣ XVI вѣка сталъ распространяться обычай брить бороды, какъ говорятъ, обычай западный, которому послѣдовалъ даже великій князь Василій Ивановичъ при своемъ второмъ бракѣ. Этотъ обычай подвергся строгимъ осужденіямъ, которыя повторялись всѣми главными церковными дѣятелями XVI вѣка, какъ Максимъ Грекъ, Вассіанъ Косой, митрополитъ Макарій, въ особенности митрополитъ Даніилъ, представившій самыя подробныя обличенія; Стоглавый соборъ изрекалъ церковное осужденіе противъ нарушителей древняго обычая. Когда стали замѣтно размножаться въ московскомъ царствѣ иноземцы, ихъ обычаи стали находить подражателей. По обыкновенію, подражаніе прежде всего было внѣшнее. Если прежде подражали татарамъ, то теперь подражали западнымъ иноземцамъ. Такъ особенно о временахъ Бориса Годунова свои и чужія свидѣтельства отмѣчаютъ пристрастіе русскихъ къ иноземнымъ обычаямъ и одеждамъ; между прочимъ опять начали брить бороды, такъ что наконецъ приверженцы старины обратились къ патріарху, побуждая его запретить эти новизны. Іовъ, ставленникъ Бориса, не рѣшался возставать противъ нововведеній, въ которыхъ отчасти виноватъ былъ самъ царь, любившій иноземцевъ. „Видя сѣмена лукавствія,—пишетъ біографъ Іова,— сѣмыя въ винограднѣ Христовомъ, дѣлатель изнемогъ и, только къ Господу Богу единому взирая, ниву ту недобрую обливалъ слезами“ [2]). Въ теченіе XVII вѣка примѣры подражанія все болѣе умножаются, переходя наконецъ отъ одной внѣшности и на складъ мыслей. Упоминая объ основаніи первыхъ школъ при царѣ Михаилѣ, Соловьевъ замѣчаетъ: „Надобно было спѣшить просвѣщеніемъ, ибо необходимое сближеніе съ иностранцами, признаніе ихъ превосходства вело нѣкоторыхъ къ презрѣнію своего и своихъ; узнавши чужое и признавши его достоинство, начинали уже тяготиться своимъ, старались освободиться отъ него“ [3]). Молодые люди, посланные Годуновымъ за границу, домой не вернулись; при Михаилѣ около 1632 года поднялась цѣлая исторія по поводу того, что князь Иванъ Хворостининъ обнаружилъ крайнее вольномысліе, которое описывается въ указѣ къ нему отъ великихъ государей. При Разстригѣ Хворостининъ былъ „въ приближеніи“ и съ тѣхъ поръ впалъ въ ересь и въ вѣрѣ пошатнулся; при царѣ Василіи

[1]) Припомнимъ, съ какимъ почтеніемъ говорилъ Арсеній Суханов о бородѣ старца Дамаскина, которая была такъ длинна, что онъ носилъ ее, склавши въ мѣшечкѣ.

[2]) Соловьевъ, Исторія Россіи, новое изданіе, II, стр. 726.

[3]) Тамъ же, II, стр. 1371.

онъ сосланъ былъ за это въ Іосифовъ монастырь подъ начал; при царѣ Михаилѣ онъ сталъ опять приставать къ польскимъ и литовскимъ людямъ и попамъ; ему сдѣлали предостереженіе, чтобы онъ съ еретиками не знался, но тѣмъ не менѣе онъ все это забылъ и опять впалъ въ ересь; въ его собственноручныхъ письмахъ объявились многія непригожія и хульныя слова о православной вѣрѣ и о людяхъ московскаго государства; у него вынуто было (т.-е. найдено при обыскѣ) много образовъ латинскаго письма и много книгъ латинскихъ, еретическихъ; людямъ своимъ онъ говорилъ, что молиться не для чего и воскресеніе мертвыхъ не будетъ; въ 1622 году всю страстную недѣлю пилъ безъ просыпу, на свѣтлое воскресенье къ заутрени и къ обѣдни не пошелъ; въ разговорахъ говорилъ, будто бы на Москвѣ людей нѣтъ, все людъ глупый, жить ему не съ кѣмъ, и хотѣлъ, чтобы государь отпустилъ его въ Римъ или въ Литву; да въ книжкахъ его сочиненія найдены многія укоризны всякимъ людямъ московскаго государства, напр. будто московскіе люди сѣютъ землю рожью, а живутъ все ложью, что ему пріобщенія съ ними нѣтъ никакого, и многія иныя укоризны написаны въ виршъ (въ стихахъ). „Ясно,—говорилось въ указѣ,—что ты такія слова говорилъ и писалъ гордостію и безмѣрствомъ своимъ, по разуму ты себѣ въ версту никого не поставилъ, и этимъ своимъ бездѣльнымъ мнѣніемъ и гордостію всѣхъ людей московскаго государства и родителей своихъ обезчестилъ". За все это слѣдовало бы ему наказаніе великое, но его опять послали въ Кирилловъ монастырь, и когда онъ далъ клятву оставаться въ православной вѣрѣ и ереси не держать, онъ былъ возвращенъ ко двору.

Повидимому, польскія вліянія особенно возникаютъ именно съ той поры, когда съ Разстригой произошелъ сильный наплывъ поляковъ въ Москву: это были враги, но между ними бывали люди образованные. Позднѣе, особенно послѣ польскихъ войнъ царя Алексѣя, въ Москву переходило много „литовскихъ" людей, т.-е. тѣхъ же русскихъ, принявшихъ польскіе обычаи; въ ихъ числѣ бывали разные мастера и ремесленники; торговымъ путемъ приходило много польскихъ товаровъ, и въ старыхъ описяхъ упоминается не мало вещей, дѣланныхъ „на польскую руку". Изъ польскихъ войнъ были, наконецъ, выведены и ученые люди, т.-е. опять русскіе люди съ оттѣнкомъ латино-польскаго образованія, какъ знаменитый Симеонъ Полоцкій. Въ 1660 году произошелъ прискорбный случай, когда бѣжалъ за границу сынъ русскаго вельможи, воспитанный подъ вліяніями польскаго образова-

нія,—это былъ сынъ извѣстнаго боярина Ордина-Нащокина [1]). Симеонъ Полоцкій сталъ воспитателемъ царскихъ дѣтей и его книжная дѣятельность стала цѣлымъ характернымъ явленіемъ въ нашей литературѣ конца XVII вѣка. Въ то же время, какъ извѣстно, во дворцѣ самого царя Алексѣя явился первый опытъ русскаго театра, устроенный при содѣйствіи людей изъ нѣмецкой слободы.

Такимъ образомъ еще не было произведено никакого переворота въ русской жизни, никакого принципіальнаго отступленія отъ ея началъ, какое приписывается Петровской реформѣ, и между тѣмъ въ ней видимо совершается нѣчто новое и небывалое, послѣ чего послѣдующія нововведенія Петра для наблюдателя безпристрастнаго не представляютъ ничего неожиданнаго. Петръ былъ еще въ колыбели, когда совершались событія, въ которыхъ протопопъ Аввакумъ оплакивалъ „послѣднюю Русь“—а онъ былъ знатокомъ въ этомъ дѣлѣ... Съ точки зрѣнія болѣе умѣренной, принадлежавшей большинству, дѣло обстояло благополучно по прежнему: былъ благочестивый царь и святѣйшій патріархъ (раздоръ съ Никономъ былъ улаженъ авторитетомъ вселенскихъ патріарховъ), которые по старому обычаю правили государствомъ и церковью и охраняли православіе, но на окраинѣ самой Москвы поселились на прочное жительство „латина“ и „люторы“, у которыхъ были даже свои кирки; иноземцы, которыхъ по настоящему слѣдовало всячески оберегаться, теперь уже десятками тысячъ разсѣяны были въ войскѣ и по городамъ, занимали довѣренныя мѣста, начальствовали въ войскѣ надъ русскими, пользовались благосклонностью властей; человѣкъ сомнительнаго ученія былъ учителемъ въ самой царской семьѣ; благочестивый царь, который въ началѣ своего правленія принималъ строжайшія мѣры къ утвержденію добрыхъ нравовъ и къ изгнанію изъ народной жизни всякихъ „бѣсовскихъ“ обычаевъ и увеселеній [2]), завелъ въ собственныхъ палатахъ театральное зрѣлище, и духовная власть нашла возможнымъ разрѣшить его, основываясь на примѣрѣ византійскихъ императоровъ.

Во всѣхъ этихъ перемѣнахъ не было никакой системы, никакого опредѣленнаго намѣренія—дѣйствовали непосредственныя потребности самой жизни: нужно было исправить книги, устроить

---

[1]) См. любопытное письмо царя Алексѣя объ этомъ къ Нащокину-отцу, у Соловьева, Ист. Россіи, т. XI, 1861, стр. 94 и д.

[2]) Знаменитая „память“ верхотурскаго воеводы Рафа Всеволожскаго въ Ирбитскую слободу, съ изложеніемъ царскаго указа о народныхъ „бѣсовскихъ играхъ“ и „дѣйствахъ“, 1649 г. Акты историч., т. IV, № 35. Ср. Соловьева, Ист. Россіи, т. XIII, М. 1863, стр. 158—161.

военную силу государства, обезпечить торговыя и промышленныя нужды страны, надо было строить церкви и палаты, ввести ремесла, необходимыя въ быту, надо было учить царевича, являлась наконецъ потребность эстетическаго развлеченія и удовольствія—все это было необходимо, но своихъ домашнихъ знаній недоставало, и оставалось призывать иноземцевъ, которыхъ брали сначала на греческомъ югѣ, брали ученыхъ людей изъ Кіева, и наконецъ, все бо́льшими массами стали вызывать съ еретическаго запада. Системы не было, но все сильнѣе практически вырабатывалось сознаніе, что безъ помощи иноземцевъ и ихъ знанія обойтись нельзя, и наконецъ, что хотя бы для ближайшихъ нуждъ церковнаго просвѣщенія необходима школа. Мы видѣли, какъ туго шло это послѣднее дѣло: настоящей школы никогда не бывало, не знали, въ чемъ она состоитъ, и когда однажды учитель по профессіи, названный нами раньше грекъ Венедиктъ, предложилъ свои услуги, назвавъ себя учителемъ, въ Москвѣ ему внушительно отвѣтили, что таланты даются отъ Бога, что никто не долженъ самъ величать себя учителемъ, и особенно это дерзко и неприлично младшему передъ патріархомъ... И въ другихъ случаяхъ было такъ же мало пониманія: приходилось брать людей наугадъ, какіе встрѣчались; за учеными греками обращались къ восточнымъ патріархамъ: однажды такой грекъ оставленъ былъ въ Москвѣ однимъ изъ патріарховъ, но въ это время Арсеній Сухановъ, начавшій тогда свое путешествіе, разузналъ исторію этого грека и отписалъ въ Москву; въ этой исторіи значилось ни болѣе ни менѣе, что этотъ грекъ—человѣкъ ненадежный, что онъ бывалъ даже бусурманомъ, а потомъ уніатомъ [1]). Грека въ Москвѣ допросили, и онъ въ сущности не отвергъ показанія Суханова, объяснивъ свое бусурманство, какъ насильственное, когда онъ однажды попалъ въ руки турокъ; его сослали въ Соловецкій монастырь, но впослѣдствіи, возвращенный

[1]) „Арсеній (такъ звали грека),—писалъ Сухановъ,—родомъ гречанинъ и былъ черный попъ, и потомъ де невѣдомо какимъ случаемъ былъ онъ бусурманъ, а изъ бусурманской вѣры ушелъ въ польскую землю и былъ въ унеятской вѣрѣ. И, пришедъ де изъ Польши, жилъ въ Кіевѣ. А какъ де ерусалимской патріархъ пришелъ въ Кіевъ, а дидаскала его не стало,—и патріархъ де вмѣсто своего дидаскала взялъ того старца Арсенія къ Москвѣ, нарекъ его дидаскаломъ. А котораго де града онъ родомъ, и они де всѣ (греки, сопутствовавшіе патріарху Паисію) того не вѣдаютъ. И нынѣ де Паисій патріархъ скорбитъ о томъ гораздо, чтобъ де тотъ старецъ Арсеній съ Москвы не ушелъ опять въ бусурманскую вѣру, а какъ де тотъ старецъ Арсеній, на Москвѣ не захотя жить, уйдетъ, и онъ де, будучи въ бусурманской вѣрѣ, какость ему учинитъ большую“. Въ такомъ родѣ извиняя свою рекомендацію писалъ и патріархъ Паисій. Бѣлокуровъ, „Арсеній Сухановъ“. М. 1891, стр. 189 и далѣе.

въ Москву, этотъ Арсеній Грекъ много работалъ при Никонѣ по исправленію и переводу книгъ. Какъ здѣсь надо было мириться съ бывшимъ бусурманомъ, такъ въ другихъ случаяхъ надо было мириться съ людьми, болѣе или менѣе подозрѣваемыми въ наклонности къ латинству,—таковы были ученые, приходившіе изъ Кіева и западной Руси; приходилось, наконецъ,—вѣроятно, не безъ страха за спасеніе своей души,—постоянно имѣть дѣло съ наемными военными людьми, различными мастерами, врачами и т. д., хотя бы это были люди не весьма надежные по своему прошедшему.

Но всѣ эти греки, западно-русскіе ученые, служилые иноземцы и техники ни мало не сближали русскихъ людей съ тѣмъ высокимъ уровнемъ европейскаго просвѣщенія, какого оно достигало къ концу XVII вѣка въ самой Европѣ: сами эти иноземцы въ громадномъ большинствѣ были чужды этому высокому уровню; лишь немногіе были истинно образованными людьми по своему времени, но и тѣ не были призваны сообщать это знаніе; они служили только непосредственнымъ практическимъ запросамъ, а ученые западно-русскіе были исключительно богословы и риторы схоластической школы. Съ другой стороны, для болѣе широкаго просвѣщенія въ московской Россіи еще вовсе не было почвы: не было ни подготовительной школы, ни самаго представленія о тогдашнихъ стремленіяхъ научной мысли или складѣ поэтическаго творчества. Европейскія вліянія должны были неизбѣжно наступить, но по указаннымъ условіямъ онѣ на первый разъ высказались въ бытовой жизни простымъ привлеченіемъ иноземнаго техническаго знанія: въ наукѣ для нихъ возможенъ былъ лишь тотъ средній путь, какой представляла собою западно-русская схоластика; въ литературѣ—лишь тяжелыя вирши и грубое переложеніе популярной повѣсти или драматической пьесы.

Тѣмъ новымъ элементомъ, который съ конца XVI вѣка и особливо въ теченіе XVII вмѣшался въ московскую книжность и въ концѣ концовъ возобладалъ надъ нею, были образованіе и литература, развившіяся въ западной Руси и въ Кіевѣ. Это вмѣшательство начиналось едва замѣтными чертами, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше усиливалось, такъ что въ концѣ концовъ стало поворотнымъ пунктомъ въ развитіи старой русской литературы и подготовительной ступенью къ тому ея складу, который наступилъ послѣ Петровской реформы. Мы не будемъ останавливаться на исторіи этой западной и южной литературы: она была изло-

жена не однажды, хотя до сихъ поръ не была изслѣдована во всей ея многосторонности [1]): довольно отмѣтить общія условія ея возникновенія и развитія. Она была порождена тѣмъ историческимъ положеніемъ, какое создано было издавна татарскимъ нашествіемъ и литовскимъ завоеваніемъ западной Руси. Отдѣлившись отъ русскаго сѣверо-востока, гдѣ собралась наконецъ главная масса русскаго народа въ великомъ княжествѣ и царствѣ московскомъ, западная Русь повела свою отдѣльную жизнь, съ одной стороны испытывая все возроставшія вліянія польскаго политическаго быта и католицизма, съ другой пріобрѣтая церковный бытъ, отдѣльный отъ московской метрополіи и вступавшій

---

[1]) Въ общихъ чертахъ указанія о ней сообщены въ „Исторіи славянскихъ литературъ", изд. 2-е, I, стр. 326—345.

— Труды по исторіи русской церкви, Макарія, Филарета, Знаменскаго и др.

— Соловьевъ, Исторія Россіи; Костомаровъ, Русская исторія въ жизнеописаніяхъ ея главнѣйшихъ дѣятелей (жизнеописанія князя Константина Острожскаго, кіевскаго митрополита Петра Могилы, Голятовскаго, Радивиловскаго, Лазаря Барановича, Епифанія Славинецкаго, Симеона Полоцкаго, Дмитрія Ростовскаго); сочиненія Кояловича, „Памятники русской старины въ западныхъ губерніяхъ" и другія изданія Батюшкова; акты южной и западной Россіи въ изданіяхъ Археографическихъ коммиссій, и пр., и частныя изслѣдованія:

— Флеровъ, О православныхъ церк. братствахъ, противодѣйствовавшихъ уніи и пр. Спб. 1857.

— „Петръ Могила, митроп. кіевскій". Творенія св. отецъ, 1846, № 1, прил. 29—76.

— Пекарскій, Представители кіевской учености въ половинѣ XVII столѣтія. „Отеч. Записки", 1862, кн. 2, 3, 4.

— Макарій Булгаковъ (позднѣе митрополитъ московскій), Исторія Кіевской академіи, Кіевъ, 1846.

— Ив. Образцовъ, Кіевскіе ученые въ Великороссіи, въ журналѣ „Эпоха", 1865, январь (односторонняя полемика противъ южно-русскихъ дѣятелей школы Петра Могилы).

— С. Любимовъ, Борьба между представителями великорусскаго и малорусскаго направленія въ Великороссіи въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣковъ, въ Журналѣ мин. просв. 1875, августъ, сентябрь.

— С. Голубевъ, Петръ Могила и Исаія Копинскій, въ „Правосл. Обозрѣніи", 1874, кн. 4—5. И новый трудъ о томъ же: Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники (опытъ историческаго изслѣдованія). Томъ I-й. Кіевъ, 1883.

— Памятники полемической литературы въ западной Руси. Книга I (Русская историч. Библіотека, издав. Археогр. коммиссіею, IV). Спб. 1878. Здѣсь помѣщены: 1) Дѣянія виленскаго собора, 1509 года; 2) Дѣянія кіевскаго собора, 1640, по разсказу К. Саковича; 3) Діаріушъ берестейскаго игумена, Аѳанасія Филипповича, 1646; Оборона уніи, Льва Кревзы; 5) Палинодія, Захарія Копыстенскаго; 6) Посланія, припис. старцу Артемію, сотруднику Курбскаго, конца XVI вѣка.

— Апокрисисъ Христофора Филалета, въ переводѣ на современный русскій языкъ, съ предисловіемъ, приложеніями и примѣчаніями. („Апокрисисъ, або отповѣдь на книжки о соборѣ Берестейскомъ", былъ написанъ Христофоромъ Бро-

въ прямыя связи съ константинопольской патріархіей, которая давала, напр., свои утвержденія западно-русскимъ церковнымъ братствамъ и братскимъ школамъ. Люблинская унія 1569 года была только послѣднимъ актомъ давнихъ стремленій Польши къ полному господству въ русскихъ земляхъ великаго княжества литовскаго: эти стремленія необходимо захватывали отличительныя особенности русскаго населенія—съ одной стороны бытовой обычай и языкъ, съ другой исповѣданіе. Брестская церковная унія 1596 была естественнымъ довершеніемъ уніи политической. Формально, православіе сохраняло извѣстныя права; господствующіе нравы допускали извѣстную общественную иниціативу, и хотя на дѣлѣ русская народность подвергалась гоненію и притѣсненію, но оставалась однако возможность борьбы, и эта борьба дѣйствительно наполняетъ вторую половину XVI-го и XVII-е столѣтіе. Отсюда развитіе той литературы, которая впослѣдствіи оказала вліяніе въ Москвѣ, въ силу того, что по содержанію она была въ особенности направлена къ защитѣ православія противъ католицизма, которая и въ Москвѣ была однимъ изъ основныхъ

скимъ, скрывшимъ свое имя подъ псевдонимомъ Филалета, въ отвѣтъ на книгу о Брестской уніи, 1596 года, іезуита Скарги; книга Бронскаго была истребляема іезуитами, стала библіографическою рѣдкостью и была переиздана въ этомъ переводѣ Кіевской академіей къ юбилею 1869 года). Изслѣдованіе объ Апокрисисѣ Филалета, Н. Скабалановича. Спб. 1873.

— Н. Сумцовъ, Іоанникій Голятовскій и Лазарь Барановичъ. Къ исторіи южно-русской литературы XVII столѣтія. Харьковъ, 1885.

— Арсеній Сѣлецкій, Острожская типографія и ея изданія. Почаевъ, 1885 (изъ Волынскихъ епарх. вѣдомостей, 1884—1885 г.), и замѣтка Н. Петрова объ этой книгѣ, въ Журн. мин. просв., ч. CCXLIV.

— А. Архангельскій, Борьба съ католичествомъ и умственное пробужденіе южной Руси къ концу XVI в. Кіевъ, 1886.

— П. Владиміровъ, Докторъ Франциск Скорина. Его переводы, печатныя изданія и языкъ. Спб. 1888; Обзоръ южно-русскихъ и западно-русскихъ памятниковъ письменности отъ XI до XVII столѣтія. Кіевъ, 1890 (изъ IV книги „Чтеній“ въ общ. Нестора лѣтописца).

— Много отдѣльныхъ изслѣдованій о религіозной борьбѣ и южно-русской литературѣ XVI—XVII вѣка находится въ „Трудахъ“ Кіевской духовной академіи и въ „Кіевской Старинѣ“.

— Исторіи польской литературы Мацѣёвскаго, Вишневскаго, Куличковскаго; сочиненія Лукашевича; Historya szkół w Koronie i W. X. Litewskim. Познань, 1849—1851; Бандтке: Historya drukarń Krakowskich, 1815, и исторія типографій польскихъ и литовскихъ 1826, Ярошевича: Obraz Litwy, и др.

Въ академическихъ темахъ на уваровскую премію до сихъ поръ поставлено между прочимъ: историко-литературное обозрѣніе полемическихъ сочиненій, статей и брошюръ, изданныхъ въ свѣтъ русскими въ сѣверо- и юго-западномъ краяхъ Россіи съ конца XVI до начала XVIII столѣтій.

церковныхъ интересовъ, и въ силу того, что въ основѣ западно-русской литературы лежала гораздо бо́льшая степень школьной учености, чѣмъ имѣлось въ Москвѣ. Дѣло въ томъ, что въ западно-русскихъ условіяхъ для успѣшной борьбы противъ захватовъ католицизма нужно было владѣть тѣмъ же орудіемъ, какимъ владѣли противники. Этимъ орудіемъ была школа, особенно усилившаяся съ тѣхъ поръ, какъ въ Польшѣ, а затѣмъ и въ княжествѣ литовскомъ утвердились іезуиты. Западная Русь еще до окончательнаго политическаго соединенія съ Польшей испытывала то религіозное броженіе, какое совершалось въ Польшѣ со временъ реформаціи: протестантство находило въ Польшѣ ревностныхъ послѣдователей, а затѣмъ находило ихъ и въ русской средѣ между болѣе образованными людьми и самими магнатами. Католическая реакція, самыми ревностными дѣятелями которой по всей западной Европѣ были іезуиты, съ не меньшею энергіей отразилась и въ Польшѣ, и однимъ изъ могущественнѣйшихъ средствъ ея явилась іезуитская школа. Іезуитамъ удалось сильно подорвать и польское протестантство, и русское православіе: высшій классъ русскаго населенія въ теченіе XVI и XVII вѣка почти поголовно перешелъ въ католицизмъ; унія должна была облегчить этотъ переходъ для духовенства и народной массы. На этой почвѣ и открылась упорная борьба. Католицизмъ, владѣя богатыми матеріальными средствами и правильно организованной школой, привлекалъ къ себѣ и внѣшнимъ церковнымъ блескомъ, и блескомъ науки, которая, повидимому, вполнѣ опровергала самыя догматическія и обрядовыя особенности православія. Потребность въ образованіи, которая такъ чувствовалась въ общественныхъ связяхъ русскаго дворянства съ польскою шляхтою и которая такъ возбуждалась доходившими сюда отголосками европейской жизни, побуждала русскихъ православныхъ пановъ отдавать сыновей въ іезуитскія школы, изъ которыхъ они въ большинствѣ случаевъ выходили католиками. Сыновья двухъ ревностнѣйшихъ защитниковъ православія въ концѣ XVI вѣка, могущественнаго магната, князя Константина Острожскаго, и русскаго выходца князя Курбскаго, были уже католиками. Чтобы успѣшно бороться съ католическими захватами и спасти самую вѣру, необходимо было употребить тѣ же средства — средства просвѣщенія. Въ числѣ особенностей западно-русской жизни выдѣляются въ эту эпоху извѣстныя церковныя братства. Первое происхожденіе ихъ до сихъ поръ не вполнѣ разъяснено, но во второй половинѣ XVI вѣка онѣ являются уже до извѣстной степени организованной силой: въ нихъ собрались приверженцы

православія и отсюда основались тѣ православныя школы, которыхъ знаменитѣйшей представительницей стала потомъ кіевская коллегія Петра Могилы, будущая академія. Кромѣ братствъ, цѣлый рядъ школъ основанъ былъ княземъ Константиномъ Острожскимъ, напр., въ Острогѣ, Слуцкѣ, Туровѣ, Владимірѣ Волынскомъ. Въ то же время основывались типографіи, и когда въ московской Россіи была всего одна типографія въ Москвѣ, въ западной Россіи разсѣяно было очень много типографій не только въ главныхъ городахъ, но и въ мѣстечкахъ.

Какъ по внѣшней судьбѣ западно-русскій народъ отдѣлился отъ восточно-русскаго, такъ и западно-русское просвѣщеніе направилось инымъ путемъ. Впослѣдствіи, московскіе люди съ отличавшимъ ихъ высокомѣріемъ относились свысока и недовѣрчиво къ западно-русскимъ богословамъ (помощью которыхъ однако пользовались); они не находили у послѣднихъ того книжнаго содержанія, къ которому сами привыкли; и дѣйствительно, западная Русь до извѣстной степени утратила то книжное преданіе, которое больше сберегло въ Россіи московской (такъ Константинъ Острожскій выписывалъ изъ Москвы матеріалы для своего изданія Библіи; такъ позднѣе Дмитрій Ростовскій получалъ изъ Москвы матеріалъ для своего труда надъ житіями святыхъ); но съ другой стороны западно-русскіе писатели предпринимали труды, о которыхъ не думали въ Москвѣ и къ которымъ московскіе книжники были просто неспособны. Таковы были труды по грамматикѣ славянскаго языка (львовская 1591 года, составленная „спудеями“ львовской школы, и виленская Лаврентія Зизанія; позднѣе, грамматика Мелетія Смотрицкаго 1619, перепечатанная потомъ въ Москвѣ 1648), словари (Лаврентія Зизанія, и позднѣе Памвы Берынды), первый опытъ катехизиса (Лаврентія Зизанія и другой, носящій имя Петра Могилы); сочиненія историческія, церковныя поученія, наконецъ обширная литература полемическая, стоявшая на уровнѣ той литературы, которая направлена была противъ православія со стороны іезуитовъ. Если въ западной Россіи не были вполнѣ знакомы съ московской литературой, то должно сказать, что многое въ этой послѣдней носило чисто мѣстный и крайне мелочной характеръ, какъ напр. тѣ обрядовые споры, которые здѣсь не имѣли бы значенія (сугубая аллилуія, форма крещенія, двуперстіе или троеперстіе т. п.), а съ другой стороны московская литература ранѣе не успѣла достигнуть здѣсь авторитета и въ эти времена мало могла помочь въ ожесточенной борьбѣ, которая шла въ западной и южной Россіи: она не имѣла за собою той школы, безъ которой эта борьба была невозможна.

Разумѣется само собою, что когда въ западной Руси возникъ этотъ вопросъ о школѣ, онъ могъ быть рѣшенъ только въ одной формѣ. Эта школа должна была устроиться по единственному образцу, какой былъ на лицо: это была латинская, католическая школа. Ранѣе, ни на западѣ Россіи, ни въ Москвѣ не было совсѣмъ никакой школы; до основанія своихъ, русскимъ приходилось учиться въ школахъ латинско-католическихъ, и понятно, что свои организовались по тому же плану. Въ братской школѣ во Львовѣ, уставъ которой былъ утвержденъ патріархомъ Іереміей въ 1586, введенъ былъ греческій языкъ и самое училище называлось школой греческаго и славянскаго письма; греческій языкъ преподавался и въ нѣкоторыхъ другихъ школахъ конца XVI и начала XVII вѣка; но, повидимому, эти школы съ греческимъ языкомъ были скудны по размѣрамъ преподаванія и уже вскорѣ проникаетъ въ школы языкъ латинскій, съ которымъ тотчасъ приходилъ богатый учебный матеріалъ и который былъ необходимъ, потому что былъ господствующимъ языкомъ тогдашней ученой литературы, а также и языкомъ богословской полемики.

Одинъ изъ историковъ того времени рѣзко возставалъ противъ западно-русскихъ богослововъ школы Петра Могилы, какъ ученыхъ *латинскаго* образованія, противопоставляя имъ тѣхъ, которыхъ онъ причисляетъ къ *греческой* школѣ, и которые получили свое образованіе раньше Петра Могилы или въ первое время его коллегіи, когда она еще не успѣла заразиться латинскимъ духомъ [1]). Первые, представителями которыхъ этотъ историкъ считаетъ, напр., Симеона Полоцкаго и особенно ученика его Сильвестра Медвѣдева, а потомъ дѣятелей XVIII вѣка, какъ Стефанъ Яворскій, Ѳеофанъ Прокоповичъ и др., въ своей латинской школѣ пріобрѣли складъ мысли латинскій и не могли пользоваться у насъ сочувствіемъ „народа“; вторые, къ которымъ принадлежалъ, напр., Епифаній Славеницкій и въ духѣ которыхъ дѣйствовали потомъ, напр. греки Лихуды, были „народу“ пріятны; впослѣдствіи въ XVIII вѣкѣ латинское образованіе, исходившее изъ кіевской академіи, было у насъ вводимо насильственно, указами и предписаніями, и приносило вредъ, потому что не отвѣчало „народному характеру“. Если въ старой Москвѣ вооружались противъ кіевскихъ ученыхъ, получившихъ латинское образованіе, то это было естественно и справедливо, потому что они вносили чуждое и латинское; но „народному“ духу не противорѣчили тѣ ученые, которые, какъ Славеницкій, учились еще въ греческихъ школахъ до

[1]) „Образцовъ, „Кіевскіе ученые въ Великороссіи“.

Могилы [1]) и т. д. Эта фантазія, имѣющая въ виду указать латинскую зловредность Петра Могилы, фактически опровергается тѣмъ, что еще задолго до Могилы нашлись послѣдователи латинскаго образованія—въ духовенствѣ, принявшемъ унію; и напротивъ, борьба противъ католицизма и уніи стала гораздо успѣшнѣе именно со времени размноженія школъ, устроенныхъ по латинскому образцу, и со времени усиленія кіевской коллегіи Петра Могилы. Ссылки на „народъ“ слишкомъ часто у насъ злоупотребляются, и одно изъ такихъ злоупотребленій совершается здѣсь: о какомъ-либо рѣшеніи „народа“, въ данномъ вопросѣ мы не имѣемъ основанія говорить, потому что „народъ“ нигдѣ такого рѣшенія не высказывалъ да и не былъ къ тому приготовленъ. Самъ историкъ указываетъ, что, несмотря на утверждаемую имъ пріятность народу людей греческаго образованія и непріятность людей образованія латинскаго, дѣятельность Епифанія Славеницкаго, „большого труженика, честнаго и добросовѣстнаго“, все-таки вызывала къ себѣ вражду со стороны подлинныхъ московскихъ людей, старыхъ іосифовскихъ справщиковъ (именно принадлежавшихъ къ „народу“), и историкъ не съумѣлъ объяснить этого противорѣчія. Съ другой стороны, что же значило сочувствіе или несочувствіе народа, когда латинское образованіе, ему непріятное, тѣмъ не менѣе было, по словамъ историка, введено силой, указами и предписаніями и просуществовало у насъ въ теченіе цѣлаго XVIII и большой доли XIX столѣтія, воспитывая именно духовное сословіе, непосредственныхъ учителей народа?

Дѣло было проще. Западно-русская школа сложилась по необходимости въ той формѣ, какая была возможна по условіямъ времени,—по необходимости прямой церковной борьбы и по отсутствію раньше какого-нибудь типа школы, выработаннаго

[1]) „Кіево-могилянскіе ученые,—говоритъ, напр., г. Образцовъ,—были уже не то, что чисто-малорусскіе — братскіе ученые, равно какъ и школа Могилы не походила на братскія школы. Въ братскихъ школахъ учили латинскому и греческому языкамъ, но первому не давали предпочтенія предъ послѣднимъ, равно какъ и послѣдній никогда не ставили выше своего роднаго языка... Братскіе ученые не получали особенно широкаго образованія, они не владѣли сильной діалектикой, не знали аристотелевой логики, но за то они пріобрѣтали въ школахъ искреннюю и горячую любовь къ своей родинѣ и своей вѣрѣ, горячо стояли за ту и другую и писали и говорили отъ души, полной чувства. Изъ школы Могилы стали выходить ученые, пожалуй также православные по убѣжденіямъ, но уже значительно оттѣнявшіеся отъ братскихъ ученыхъ въ направленіи учености; греческому образованію они стали предпочитать латинское, а наконецъ поставили латынь выше и своего роднаго языка; на латинскомъ языкѣ они и книги писали и уроки преподавали. Братская искренность, простота, а пожалуй и честность у могилянскихъ ученыхъ замѣнилась полировкой, приличіемъ и тонкостью въ обхожденіяхъ, преднамѣренной и разсчитанной сдержанностью“ и т. п.

самимъ „народомъ“. Москва была въ такомъ же положеніи: школы, выработанной народомъ, точно также не было никакой и приходилось заимствовать у другихъ готовую форму. Заимствована была форма латинской церковной школы, потому что церковные интересы были преобладающими, и болѣе широкая форма научнаго образованія, какая была, напр., издавна въ европейскихъ университетахъ, была пока недоступна по всѣмъ обстоятельствамъ времени.

Не существовало, наконецъ, и предполагаемое упомянутымъ историкомъ различіе старыхъ братскихъ школъ отъ позднѣйшей коллегіи Петра Могилы. Съ самаго начала западно-русскихъ школъ въ нихъ появляется уже „латинскій“ элементъ и въ томъ отношеніи, что онѣ прибѣгаютъ къ латинскому учебному матеріалу, и въ томъ, что въ писаніяхъ и мнѣніяхъ западно-русскихъ книжниковъ являются черты, которыя казались въ Москвѣ латинскими. Эти латинскіе оттѣнки въ догматическихъ мнѣніяхъ и иныхъ обрядовыхъ подробностяхъ, безъ сомнѣнія, были результатомъ самого историческаго положенія западно-русской церкви: давнее раздѣленіе митрополій, давнее сосѣдство съ католическимъ населеніемъ дали возможность тѣхъ мѣстныхъ видоизмѣненій, какія вообще въ обиліи существовали въ разныхъ національныхъ областяхъ грекоточнаго православія. Московскіе люди не понимали возможности подобныхъ мѣстныхъ отличій: такія отличія бывали и въ самой церкви московской, и впослѣдствіи восточные патріархи указывали на нихъ и объясняли вмѣстѣ съ тѣмъ, что, напр., различіе въ обрядахъ не вредитъ существу вѣры, что обрядъ не есть „догматъ“ (въ Москвѣ, напротивъ, постоянно ихъ смѣшивали); но московскіе люди были убѣждены, что ихъ церковныя формы — единственныя правильныя, и обличали въ неправославіи тѣхъ, у кого находили какія-нибудь отличія отъ московскаго обряда, „прибылыя статьи иныхъ вѣръ“. Такъ они обличали грузинъ, а наконецъ и самихъ грековъ; армяне считались прямо еретиками; западно-русскихъ людей, православныхъ, приходившихъ въ Москву, перекрещивали какъ язычниковъ или полныхъ еретиковъ, пока, наконецъ, восточные патріархи объяснили, что перекрещивать даже латинянъ противно церковнымъ правиламъ (для принятія ихъ въ православную церковь достаточно было мѵропомазаніе, такъ какъ обрядъ крещенія надъ ними былъ уже совершенъ)... Эти крайности стали сглаживаться только ко второй половинѣ XVII вѣка, когда настоятельный вопросъ объ исправленіи книгъ привелъ къ болѣе тѣсному обмѣну мыслей съ восточными патріархами, и послѣдніе успѣли нѣсколько умѣрить крайнюю москов-

скую исключительность и — непониманіе. Но въ первое время, когда начались книжныя сношенія Москвы съ западно-русскими учеными, эта исключительность господствовала въ полной мѣрѣ, и еще при патріархѣ Филаретѣ, въ двадцатыхъ годахъ XVII столѣтія [1]), въ Москвѣ уже встрѣтились съ двумя оттѣнками „латинской“ западно-русской школы, а именно съ прямымъ уніатствомъ, въ Учительномъ Евангеліи Кирилла Транквилліона, и съ западно-русскимъ православіемъ, приправленнымъ латинскою ученостью, въ Катехизисѣ Лаврентія Зизанія.

Патріархъ Филаретъ въ первые годы своего правленія ничего не имѣлъ противъ западно-русскихъ церковныхъ книгъ, но когда въ 1627 году была привезена въ Москву книга Транквилліона, одинъ игуменъ, самъ кіевлянинъ, которому было поручено разсмотрѣть эту книгу, донесъ патріарху, что этой книги „всякому вѣрному христіанину и въ домѣ держати и чести недостоитъ“, потому что она была уже осуждена православнымъ соборомъ въ Кіевѣ, — дѣйствительно, кіевскій соборъ, осудивъ книгу, предложилъ автору исправить ее, но тотъ не согласился и перешелъ въ унію. Послѣ упомянутыхъ указаній игумена, патріархъ поручилъ двумъ другимъ лицамъ подробно изложить погрѣшности книги, и онѣ были изложены въ 61 статьѣ. „Критики были слишкомъ придирчивы,—говоритъ митрополитъ Макарій, — и иное называли ересью по одному лишь недоразумѣнію и непониманію литовскаго (т.-е. западно-русскаго) языка“. Въ результатѣ послѣдовала окружная грамота царя и патріарха, которою велѣно было собрать всѣ сочиненія (даже и не разсмотрѣнныя) Кирилла Транквилліона и „на пожарѣхъ сжечь, чтобъ та ересь и смута въ мірѣ не была“, и вообще московскимъ людямъ запрещено было держать „литовскія“ книги подъ угрозою наказанія отъ царя и проклятія отъ патріарха. Въ слѣдующемъ году велѣно было отобрать по церквамъ и монастырямъ литовскія книги и замѣнить ихъ книгами московской печати, и отобрать литовскія книги даже у частныхъ лицъ. Передъ тѣмъ, въ 1626 году, прибылъ въ Москву заслуженный западно-русскій книжникъ, нѣкогда дидаскалъ во львовскомъ братскомъ училищѣ, потомъ учитель въ Брестѣ, наконецъ проповѣдникъ и протоіерей, Лаврентій Зизаній, братъ Стефана, борца противъ уніи въ Вильнѣ. Лаврентій прибылъ въ Москву съ письмами отъ митрополита кіевскаго Іова, просилъ милостыни, потому что поляки его выгнали и ограбили и церковь его разорили, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ привезъ рукописную книгу

[1]) Въ противность теоріи Образцова.

своего сочиненія и просилъ объ ея исправленіи. Это былъ Катехизисъ. Филаретъ приказалъ разсмотрѣть книгу богоявленскому игумену Ильѣ и книжному справщику Онисимову; по исправленіи, въ которомъ участвовалъ и патріархъ, книгу велѣно было напечатать и напечатанную отдать Лаврентію, а объ исправленныхъ въ ней статьяхъ „поговорити съ нимъ любовнымъ обычаемъ и смиреніемъ нрава“. Такимъ образомъ произошло три собесѣдованія, причемъ дѣло касалось отчасти мелкихъ ошибокъ, отъ которыхъ самъ Лаврентій отказывался или относилъ къ своему литовскому языку, отчасти же истинъ вѣры и другихъ предметовъ: относительно послѣдняго, по замѣчанію митрополита Макарія, и самъ Лаврентій и его московскіе исправители „не чужды были нѣкоторыхъ ложныхъ мнѣній“. Разногласія были относительно изложенія догматовъ и обрядовъ, и Лаврентій не противорѣчилъ, но, просмотрѣвъ напечатанную книгу на третьемъ собесѣдованіи, замѣтилъ москвичамъ, что иное въ ней, кажется, пропущено. Московскіе исправители отвѣчали: „мы пропустили, что велѣлъ намъ святѣйшій патріархъ, что было написано у тебя о кругахъ небесныхъ и о планетахъ, и о зодіакѣ, и о затмѣніи солнца, о громѣ и молніи, о Перунѣ, о кометахъ и о прочихъ звѣздахъ, потому что тѣ статьи изъ книги Астрологіи; а книга Астрологія взята отъ волхвовъ еллинскихъ и отъ идолослужителей и съ правовѣріемъ нашимъ не сходна“. Очевидно, Лаврентій подбавилъ здѣсь своей латинской учености, которую въ Москвѣ сочли еллинскимъ волхованіемъ и не сходнымъ съ московскимъ правовѣріемъ, т.-е. совсѣмъ не вразумительнымъ. Лаврентій смиренно принималъ всѣ замѣчанія. Кромѣ того, исправители замѣтили ему: „да перемѣнили мы твое выраженіе въ молитвѣ Господней: да освятится имя твое. Имя Божіе не освящается, но освящаетъ“. Лаврентій: „по греческому языку такъ говорится, что освятится имя твое. Кто у васъ умѣетъ по-гречески?“ Илія и Онисимовъ: „умѣемъ по-гречески столько, что не дадимъ ни у какой рѣчи никакого слога ни убавить, ни приложить. Да есть у нашего государя царя переводчики греческаго языка, и грамотѣ умѣютъ, и псалмы въ церкви говорятъ, и они произносятъ: да святится, а не: освятится. И вотъ уже осмое столѣтіе идетъ, какъ греческая грамота переложена на русскій языкъ, а никогда не слыхано, чтобы кто говорилъ: да освятится“. Лаврентій отвѣчалъ, что ему это казалось все равно и извинялся и въ концѣ концовъ восхвалялъ премудрость патріарха Филарета. Очевидно, что въ этихъ возраженіяхъ московскихъ книжниковъ мы находимся совершенно въ Москвѣ XV—XVI-го вѣка... Лаврентій не возражалъ дальше,

потому что, ища милостыни, зависѣлъ отъ своихъ судей. Сохранившіеся экземпляры катехизиса не имѣютъ такъ-называемаго выходного листа, гдѣ обыкновенно указывалась исторія сочиненія. По замѣчанію митрополита Макарія, „катехизисъ, и притомъ въ такомъ обширномъ видѣ, въ первый разъ появлялся въ русской церкви и былъ напечатанъ; но, кажется, въ Москвѣ не понимали тогда достаточно высокаго руководственнаго значенія этой книги". Она не была разсмотрѣна соборомъ и осталась частнымъ трудомъ одного лица [1]).

Такова была первая оффиціальная встрѣча московскихъ книжниковъ съ западно-русскими: они уже не совсѣмъ понимали другъ друга,—были различные оттѣнки въ богословскихъ мнѣніяхъ, въ Москвѣ совсѣмъ не понимали латинской учености, которая у западно-русскихъ писателей становилась уже привычной литературной манерой, наконецъ въ Москвѣ не умѣли иной разъ понимать и „литовскаго" языка. Но чѣмъ дальше, тѣмъ необходимѣе становились, однако, связи Москвы съ юго-западомъ; собственныхъ силъ явно недоставало: изъ Москвы зовутъ кіевлянъ для ученой работы. Въ 1649 году Арсеній Сухановъ, отправляясь на востокъ, встрѣтился на дорогѣ съ Епифаніемъ Славеницкимъ и Арсеніемъ Сатановскимъ, ѣхавшими по вызову въ Москву. Это была характерная встрѣча: Суханову въ концѣ концовъ не удалось утвердить московскаго православія надъ греческимъ, и юго-западные ученые, отправлявшіеся въ Москву, дали въ концѣ концовъ новое направленіе московской книжности и были предвѣстниками цѣлаго переворота, наступившаго вскорѣ въ цѣломъ русскомъ просвѣщеніи; греческія книги, вывезенныя Сухановымъ, должны были послужить уже этому новому направленію. Мы не будемъ останавливаться на дальнѣйшихъ подробностяхъ этихъ московско-кіевскихъ отношеній; довольно сказать, что чѣмъ дальше, тѣмъ эти связи становились сильнѣе. Между двумя сторонами была несомнѣнно извѣстная противоположность: московскіе книжники были самоучки, большіе начетчики, обыкновенно лишенные всякой правильной школы, начетчики въ томъ размѣрѣ, какой былъ возможенъ по старымъ московскимъ книгамъ, упорные приверженцы преданія и буквы, незнакомые съ распространенными тогда на западѣ пріемами школьной учености; кіевляне и западно-руссы были меньше знакомы со старымъ русскимъ книжнымъ преданіемъ, которое до значительной степени было прервано историческою судьбою ихъ края; они были рев-

[1]) Макарій, Исторія р. церкви, XI, стр. 47—59.

ностные защитники православія, но уже владѣли хотя односторонним, но твердо усвоеннымъ школьнымъ образованіемъ и въ силу обоихъ этихъ обстоятельствъ не могли имѣть отличавшаго московскихъ людей узкаго пристрастія къ буквѣ и обрядамъ; они не боялись вносить въ книгу то, что пріобрѣтали изъ свѣтскаго знанія, говорили объ астрономіи, исторіи, пользовались древней миѳологіей и имъ, конечно, не приходило въ голову, что упоминанія объ астрономіи могутъ быть приняты за еллинское волхованіе и идолослуженіе, о чемъ московскіе люди, напротивъ, не сомнѣвались. Какъ дальше увидимъ, это въ сущности забавное недоразумѣніе повторялось не одинъ разъ и послѣ упомянутаго собесѣдованія московскихъ грамотѣевъ съ Лаврентіемъ Зизаніемъ. Вызовъ Епифанія Славеницкаго въ Москву показывалъ, однако, что въ Москвѣ мирились съ разными недостатками кіевскихъ ученыхъ изъ-за той несомнѣнной пользы, какую приносили ихъ знанія; дѣятельность Епифанія, мирнаго и осторожнаго труженика, который умѣлъ приноровляться къ понятіямъ московскихъ книжниковъ, доставила ему репутацію человѣка ученаго и мудраго. Въ Москвѣ должны были сознавать, что кіевская ученость есть дѣйствительно не малая заслуга, что эта ученость производила труды, къ которымъ въ Москвѣ были бы неспособны. Недовѣріе къ ученымъ Малой Россіи, которую въ прежнее время самъ Никонъ считалъ не совсѣмъ твердой въ православіи, должно было уступить передъ признаніемъ этой заслуги, и уже вскорѣ послѣ вызова Славеницкаго мы видимъ въ Москвѣ другого западнорусскаго дѣятеля — гораздо болѣе характернаго представителя кіевской учености, занятаго уже не одними церковными вопросами и не для нихъ только пришедшаго въ Москву, и впервые представляющаго опыты свѣтской учености и свѣтской литературы. Это былъ Симеонъ Полоцкій [1]).

Симеонъ (по монашескому имени, мірское имя неизвѣстно)

---

[1]) Въ послѣднее время ему посвящено было нѣсколько спеціальныхъ работъ:

— Л. Майкова, въ журналѣ „Древняя и Новая Россія“, 1875.

— В. Попова, Симеонъ Полоцкій, какъ проповѣдникъ, Москва, 1886.

— Іероѳея Татарскаго, Симеонъ Полоцкій (его жизнь и дѣятельность). Опытъ изслѣдованія изъ исторіи просвѣщенія и внутренней церковной жизни во вторую половину XVII вѣка. Москва, 1886. Авторъ книги, между прочимъ, утилизировалъ изслѣдованіе г. Майкова (не назвавши его), но, впрочемъ, сообщилъ и нѣкоторыя новыя данныя.

— Второе изданіе труда г. Майкова, дополненное новыми данными изъ рукописныхъ источниковъ, въ „Очеркахъ изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII столѣтій“. Спб. 1889, стр. 1—162. Это—наиболѣе обстоятельное изслѣдованіе о жизни и сочиненіяхъ Полоцкаго, на которомъ мы основываемся въ своемъ изложеніи.

Емельяновичъ Петровскій-Ситніановичъ былъ уроженецъ бѣлорусскій (1629—1680). Біографія его, по обычаю, извѣстна мало, но несомнѣнно, что свое образованіе онъ довершилъ въ кіевской коллегіи, когда въ ней уже въ полной мѣрѣ восприняты были учебные пріемы іезуитскихъ школъ—съ господствомъ латинскаго языка, схоластическаго богословія, схоластической реторики и піитики, съ развитіемъ риторства, съ извѣстными философско-богословскими диспутаціями, съ сочиненіемъ латинскихъ и славянскихъ виршъ и т. п. Симеонъ прозванъ былъ Полоцкимъ по его дальнѣйшей школьной дѣятельности въ Полоцкѣ, откуда онъ и выѣхалъ въ Москву. Впослѣдствіи враги Симеона называли его ученикомъ іезуитовъ, но его новѣйшій біографъ отвергаетъ это показаніе, какъ внушенное враждой: Полоцкій былъ православнымъ съ тѣми оттѣнками, какіе вообще отличали западно-русскихъ людей. Кончивъ ученіе, Симеонъ 27 лѣтъ принялъ монашество въ Полоцкѣ и сдѣлался учителемъ въ тамошнемъ братскомъ училищѣ. Въ 1656 году, царь Алексѣй Михайловичъ, проѣздомъ къ русскому войску подъ Ригой, былъ два раза въ Полоцкѣ, и въ одно изъ этихъ посѣщеній Симеонъ сдѣлался лично извѣстенъ царю, поднеся ему привѣтственные „Метры“. Въ 1661 году Полоцкъ былъ занятъ поляками; положеніе приверженцевъ русской власти становилось небезопаснымъ и въ концѣ 1663 или въ началѣ 1664 Симеонъ оставилъ Полоцкъ и свою школу и выѣхалъ въ Москву, запасшись рекомендаціей своего учителя по Кіеву, Лазаря Барановича, къ находившемуся тогда въ Москвѣ Паисію Лигариду, митрополиту газскому. Этотъ послѣдній, питомецъ латинской іезуитской школы, большой знатокъ церковныхъ дѣлъ, человѣкъ, не забывавшій своихъ выгодъ, пользовался тогда въ Москвѣ большимъ почетомъ, но не зналъ русскаго языка, и потому, вѣроятно, радъ былъ знакомству съ Симеономъ, который по образованію былъ къ нему ближе, чѣмъ московскіе книжники, и могъ послужить ему знаніемъ русскаго языка. Уже вскорѣ Симеону дѣйствительно пришлось быть переводчикомъ интимной латинской бумаги Паисія, въ присутствіи самого царя. Въ началѣ 1665 года онъ напомнилъ о себѣ стихотворнымъ „благопривѣтствованіемъ“ по поводу рожденія царевича Симеона. „Такимъ образомъ,—говоритъ г. Майковъ,—впервые появился въ стѣнахъ царскаго дворца придворный стихотворецъ, и самая новость этого занимательнаго и пріятнаго явленія не могла не располагать въ его пользу... и дѣйствительно, около этого времени Симеонъ сталъ въ близкія отношенія къ царскому двору, и прежде всего это выразилось тѣмъ, что онъ поступилъ на дворцовое содержа-

ніе". Но еще ранѣе Симеонъ по царскому указу началъ преподаваніе латинскаго языка въ Спасскомъ монастырѣ за иконнымъ рядомъ (или Заиконоспасскомъ), гдѣ онъ жилъ, и первыми учениками его были молодые подъячіе изъ тайнаго приказа; царь благоволилъ къ школѣ, которая была первымъ началомъ церковнаго образованія по образцу латинскихъ богословскихъ школъ — въ противоположность существовавшей тогда чудовской школѣ, гдѣ учили по-гречески, практическимъ изученіемъ текстовъ и переводами.

Въ 1666 году Симеонъ Полоцкій снова является дѣйствующимъ лицомъ и находитъ новыхъ покровителей въ восточныхъ патріархахъ, александрійскомъ Паисіи и антіохійскомъ Макаріи, которые вызваны были въ Москву по дѣлу Никона и для суженія о расколѣ. Симеонъ явился къ нимъ на поклонъ и вѣроятно объяснилъ имъ, въ какомъ дѣлѣ онъ нуждался бы въ ихъ помощи; они поручили ему произнести отъ лица ихъ слово въ день Рождества Христова, и онъ посвятилъ это слово, убѣжденію царя и духовныхъ властей въ необходимости „взыскати премудрости", указывалъ на оскудѣніе въ Россіи греческаго языка, который, однако, изучается даже западными неправославными народами, призывалъ царя „училища такъ греческая, яко славянская и иныя назидати, спудеовъ милостію его и благодатію умножати, учители благоискусныя взыскати, всѣхъ же честьми на трудолюбіе поощряти"; о чемъ еще раньше говорилъ царю Паисій Лигаридъ, указывая въ своей запискѣ о расколѣ на училища, какъ на лучшее средство для его уничтоженія. Вскорѣ Симеонъ долженъ былъ примѣнить свое литературное искусство къ первому обширному труду по тому же расколу. Въ началѣ 1666 года двое изъ наиболѣе упорныхъ защитниковъ старой вѣры, суздальскій попъ Никита и романовскій Лазарь, подали царю челобитныя противъ нововведеній Никона и въ особенности противъ изданной имъ Скрижали 1656 года; по волѣ царя и собора, опроверженіе этихъ писаній, заключавшихъ первое изложеніе раскольничьихъ требованій, поручено было Паисію Лигариду, и его сочиненіе,—написанное вѣроятно по-латыни,—было переведено Симеономъ Полоцкимъ; но потомъ соборъ счелъ нужнымъ составить и издать въ свѣтъ особую книгу въ обличеніе Никиты и Лазаря, а съ ними и всего раскола. Эта работа опять поручена была Симеону, который скоро ее кончилъ, воспользовавшись предшествующимъ трудомъ Лигарида. Между прочимъ, царь поручилъ Симеону увѣщаніе самого протопопа Аввакума, находившагося тогда въ Москвѣ; по характеру протопопа можно

представить себѣ, что увѣщаніе не могло имѣть никакого успѣха. Самъ протопопъ записалъ объ этой бесѣдѣ: „зѣло было стязаніе много: разошлися яко пьяни; не могъ и поѣсть послѣ крику". Симеонъ могъ оцѣнить въ своемъ противникѣ и характеръ, и сильный умъ, которому, однако, недоставало науки; о послѣднемъ онъ и сказалъ своему противнику; Аввакумъ на это плюнулъ и отвѣтилъ: „сердитъ я есмь на діавола, воюющаго въ васъ, понеже со діаволомъ исповѣдуеши едину вѣру и глаголеши, яко Христосъ царствуетъ несовершенно; равно и со діаволомъ и со еллины исповѣдуеши въ своей вѣрѣ". Книга Симеона Полоцкаго была отпечатана въ маѣ 7174 года по старому счету, подъ длиннымъ витіеватымъ заглавіемъ, и издана отъ имени царя и собора [1]). Въ этомъ сочиненіи ярко выразилась литературная школа Симеона: онъ въ изобиліи примѣнилъ здѣсь свою реторическую науку. Вмѣсто простого указанія на содержаніе книги, ей дано искусственное заглавіе, гдѣ „жезлъ правленія" означаетъ жезлъ архіерейскій, и на этомъ названіи по реторическимъ пріемамъ построено объясненіе церковной власти, которая должна утверждать правильно вѣрующихъ и казнить жестоковыйныхъ волковъ. Въ сочиненіяхъ раскольниковъ, — впрочемъ, по давнему обычаю старинныхъ московскихъ книжниковъ,—было слишкомъ много мелочного, важное смѣшивалось съ неважнымъ, догматическое съ обрядовымъ, приводились иногда сомнительные авторитеты, бывало простое непониманіе языка, и Симеонъ, какъ человѣкъ ученый, въ этихъ случаяхъ стоялъ, конечно, выше своихъ противниковъ и вообще смотритъ на нихъ свысока, какъ на самоучекъ, незнакомыхъ съ реторикой, діалектикой и богословіемъ, даже самой грамматикой. Въ своихъ обличеніяхъ онъ не останавливается передъ грубыми ругательствами (напр., Никита есть свинья, попирающая бисеръ, гнусный вепрь въ церковномъ вертоградѣ,

[1]) „Жезлъ правленія на правительство мысленнаго стада православно-россійскія церкви,—утвержденія во утвержденіе колеблющихся во вѣрѣ, — наказанія въ наказаніе непокоривыхъ овецъ, — казненія на пораженіе жестоковыйныхъ и хищныхъ волковъ, на стадо Христово нападающихъ. Сооруженный отъ всего освященнаго собора, собраннаго повелѣніемъ благочестивѣйшаго, тишайшаго и самодержавнѣйшаго великаго государя царя и великаго князя Алексія Михаиловича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержца, въ царствующемъ богоспасаемомъ и преименитомъ градѣ Москвѣ". Обширная челобитная попа Никиты Добрынина (прозваннаго Пустосвятомъ) и „свитки" попа Лазаря изданы въ „Матеріялахъ для исторіи раскола", Н. И. Субботина, т. IV, стр. 1—178 и стр. 179 и далѣе. Сужденіе о литературномъ достоинствѣ челобитной Никиты въ предисловіи къ „Матеріяламъ", стр. XX—XXIII. Челобитная и свитки были читаны на соборѣ 1666 года; это и было основаніемъ къ ихъ печатному опроверженію.

и т. п.), но мы видѣли раньше, что въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ уже своихъ предшественниковъ между московскими писателями: ему не уступалъ въ этомъ Іосифъ Волоцкій, а въ то самое время протопопъ Аввакумъ. Симеонъ грозитъ своимъ противникамъ не только проклятіемъ церкви, но и ввереніемъ въ руки діавола—опять такъ же, какъ протопопъ Аввакумъ считалъ Никона и его приверженцевъ учениками и слугами самого діавола.

Еще въ Полоцкѣ, собираясь ѣхать въ Москву, Симеонъ заботился о томъ, чтобы ближе изучить ту форму славянскаго языка, какая господствовала въ московскихъ книгахъ; онъ познакомился теперь и со старой московской литературой, и книга его снабжена обильными цитатами изъ восточныхъ отцовъ церкви; но сказалась также и его кіевская школа: онъ вноситъ подробности изъ свѣтской науки (средневѣковаго схоластическаго происхожденія); какъ думаетъ его біографъ, Симеонъ пользовался библіей не въ славянскомъ, а въ латинскомъ текстѣ [1]), и даже внесъ нѣкоторыя подробности догматическія, совпадающія не съ восточнымъ, а съ западнымъ ученіемъ (напр., о сопричастіи Пресвятой Дѣвы первородному грѣху, и о времени пресуществленія святыхъ даровъ въ тѣло и кровь Христову). Въ результатѣ книга Симеона Полоцкаго, несмотря на свою пространность, оставляла неблагопріятное впечатлѣніе, какъ рѣзкостью своего тона и непривычнымъ хитросплетеннымъ изложеніемъ, такъ и оттѣнками латинскаго ученія; сами раскольники говорили послѣ, что Симеонъ не опровергнулъ и пятой доли ихъ возраженій, — дѣйствительно, Симеонъ не исчерпалъ и того, что было говорено противъ Никиты въ соборномъ дѣяніи 1666 года. На соборѣ было нѣсколько лицъ, расположенныхъ къ Полоцкому, напр. Паисій Лигаридъ и Лазарь Барановичъ, и вѣроятно имъ Полоцкій обязанъ соборнымъ одобреніемъ, въ которомъ „Жезлъ правленія“ признавался „изъ чистаго сребра Божія слова, и отъ священныхъ писаній и правильныхъ винословій сооруженнымъ“ [2]). Произошла, однако, немалая неловкость, когда въ книгѣ Полоцкаго, изданной отъ имени собора, оказались упомянутыя неправославныя подробности: онѣ были замѣчены московскими книжниками и впослѣдствіи навлекли на автора суровыя обвиненія“ [3]).

---

[1]) Майковъ, „Очерки“, стр. 34, съ указаніемъ на статью Нильскаго о „Жезлѣ правленія“ въ „Христіанскомъ Чтеніи“, 1860, часть II.

[2]) Дѣянія собора 1666—1667 года помѣщены въ „Дополненіяхъ къ актамъ историческимъ“, т. V, стр. 439—510.

[3]) Такъ чудовскій монахъ Евонмій, любимый ученикъ Епифанія Славеницкаго и великій книжный трудолюбецъ, осуждалъ Симеона, что иное онъ написалъ „про-

Во второй половинѣ 1667 года Симеонъ назначенъ былъ учителемъ старшаго царскаго сына, царевича Алексѣя; при объявленіи царевича наслѣдникомъ престола, онъ присутствовалъ за торжественнымъ столомъ въ царскихъ палатахъ, произнесъ при этомъ поздравительную рѣчь, а потомъ сочинилъ для своего ученика стихотворныя привѣтствія, которыя царевичъ долженъ былъ сказать наизусть царю, царицѣ и одной изъ царевенъ, своей теткѣ. По смерти царевича Алексѣя, Симеонъ сдѣлался наставникомъ его брата Ѳедора (впослѣдствіи царя); онъ имѣлъ вліяніе на образованіе царевны Софьи; въ 1679 году, когда пришло время учить царевича Петра, Полоцкому порученъ былъ надзоръ за его обученіемъ, и подъ его наблюденіемъ изданъ былъ особый букварь, въ которомъ помѣщены были стихотворныя „привѣтства“ въ родѣ тѣхъ, какія Полоцкій сочинялъ для царевича Алексѣя. Царскимъ дѣтямъ онъ преподавалъ тѣ же предметы, какимъ обучалъ въ Спасской школѣ. Это были латинскій языкъ, піитика, реторика и богословіе. Царевичъ Алексѣй особенно отличался въ латыни, а Ѳедоръ въ русскомъ стихотворствѣ. Весьма вѣроятно, что съ этимъ обученіемъ царскихъ дѣтей связаны и нѣкоторыя сочиненія Симеона Полоцкаго, приноровленныя къ учебной цѣли, какъ напр. „Вертоградъ Многоцвѣтный“, большой сборникъ стихотвореній въ алфавитномъ порядкѣ заглавій на разнообразныя дидактическія темы. Соборъ 1667 года указывалъ, между прочимъ, необходимость церковной проповѣди, которая давно пришла въ Москвѣ въ упадокъ и замѣнялась обыкновенно чтеніемъ поученій отцовъ церкви: Симеонъ Полоцкій, поучавшійся риторству въ кіевской коллегіи, сдѣлался какъ бы оффиціальнымъ придворнымъ проповѣдникомъ; въ то же время онъ постоянно воспѣвалъ въ стихахъ всякія замѣчательныя событія въ царской семьѣ. Уже вскорѣ, въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, онъ считался человѣкомъ вліятельнымъ при дворѣ, и кіевскіе ученые обращаются къ нему съ своими просьбами: при его содѣйствіи одобрена была патріархомъ Іоасафомъ книга Иннокентія Гизеля „Миръ съ Богомъ“, хотя въ ней опять нашлись догматическія подробности, которыя въ Москвѣ считали неправильными; Лазарь Барановичъ хлопоталъ черезъ него о напечатаніи въ Москвѣ книги своей „Трубы словесъ“, что̀, впрочемъ, не состоялось.

Положеніе Симеона Полоцкаго при дворѣ установилось прочно и стало еще значительнѣе при новомъ царѣ, его питомцѣ, Ѳедорѣ

тивно мысли святыя восточныя церкви, не четъ греческихъ книгъ (не бо знаше что греческаго писанія), но четъ латинскія токмо книги и оттуда таковую мысль написа“.

Алексѣевичѣ. Онъ могъ свободно предаться писательской дѣятельности, которая направилась въ области, знакомыя ему по его ученому образованію, составляла для Москвы нѣчто совсѣмъ новое и, какъ увидимъ, вызвала въ московскихъ книжникахъ не малое недовольство, а наконецъ, по его смерти, строгое осужденіе. Симеонъ писалъ много прозой и стихами въ церковномъ и свѣтскомъ направленіи, перевелъ нѣсколько латинскихъ книгъ. Нѣсколько книгъ церковнаго содержанія: „Житіе и ученіе Христа Господа и Бога нашего", „Вѣнецъ вѣры каѳолическія" и „Книга краткихъ вопросовъ и отвѣтовъ катехизическихъ", представлявшія какъ бы цѣльное изложеніе христіанскаго ученія, какъ полагаютъ, могли быть составлены для его преподаванія въ царской семьѣ. Главною изъ этихъ книгъ былъ „Вѣнецъ", который онъ сплеталъ „изъ различныхъ цвѣтовъ богословскихъ и прочіихъ", чтобы служить „душамъ вѣрныхъ, яко дѣвамъ Жениха Небеснаго, во украшеніе и во воню благоуханія духовнаго". Положивъ въ основаніе апостольскій символъ вѣры, Симеонъ старается дать послѣдовательное объясненіе каждаго изъ членовъ символа въ изложеніи, которое онъ хотѣлъ сдѣлать легкимъ и общедоступнымъ, конечно, по всѣмъ правиламъ привычной ему реторики. Вліяніе кіевской школы сказалось и въ самой постановкѣ книги; напр., онъ основалъ ее вмѣсто общепринятаго Никейскаго символа именно на апостольскомъ символѣ, который въ восточной церкви, по его собственнымъ словамъ, былъ „мало вѣдомъ", а въ западной церкви „всякому возрасту извѣстенъ", — что было возможно съ точки зрѣнія католическаго богословія, но казалось необычнымъ и неправильнымъ въ богословскомъ ученіи православномъ; въ подборѣ его богословскихъ источниковъ и авторитетовъ очевидно вліяніе знакомой ему по школѣ католической теологіи: онъ пользуется, напр., иногда латинскою Вульгатою вмѣсто славянской и греческой библіи; ссылаясь на отцовъ церкви, онъ въ особенности цитируетъ Іеронима и Августина и даже позднѣйшихъ католическихъ богослововъ и церковныхъ писателей, напр. средневѣковыхъ: Рабана Мавра, Ансельма Кентерберійскаго, „доктора евангелическаго и христіаннѣйшаго" Жерсона, и даже новѣйшихъ католическихъ теологовъ, особенно іезуита Беллярмина, въ тѣ времена великаго авторитета въ католическомъ мірѣ, — причемъ рѣдко дѣлаетъ возраженія противъ католическихъ теологовъ, и относится къ латинскимъ ученіямъ съ нѣкоторою уклончивостью. По обычаю времени онъ даетъ мѣсто и сказаніямъ апокрифическимъ, которыя были въ ходу и у самихъ русскихъ богослововъ, но приводитъ ихъ не изъ сла-

вянскихъ, а изъ латинскихъ источниковъ; по обычаю своей школы, Симеонъ вводитъ въ свое богословіе и тѣ странныя умствованія, какія такъ любила средневѣковая схоластика. Вотъ нѣсколько примѣровъ, собранныхъ его біографомъ: „Въ разсужденіи о созданіи человѣка Симеонъ, сказавъ, что люди, еслибы не согрѣшили, жили бы въ раю, предлагаетъ вопросъ: какъ могло бы тамъ вмѣститься все человѣчество, — и отвѣчаетъ: одни бы изъ людей нарождались, а другіе умирали бы, и умирающіе были бы уносимы на небо. Далѣе опять вопросъ: были ли бы люди, въ такомъ случаѣ, наги, — и отвѣтъ: да, но безъ стыдѣнія и срама. Въ разсужденіи о благовѣстіи встрѣчаемъ такой вопросъ: къ какому чину ангельскому принадлежалъ Гавріилъ? На него отвѣтъ таковъ: многіе считаютъ Гавріила во второмъ чинѣ, архангельскомъ, ибо служеніе архангеловъ въ томъ и состоитъ, чтобы благовѣстить людямъ; но вѣроятнѣе, что благовѣстникъ былъ изъ начальныхъ ангеловъ, такъ какъ и соблазнитель Евы былъ того же чина. Въ разсужденіи „о имущихъ судитися“ на страшномъ судѣ, Симеонъ спрашиваетъ: будутъ ли у судимыхъ заступники и отглагольники (то-есть, адвокаты)? Отвѣтъ: будутъ; каждому человѣку — совѣсть его. Въ разсужденіи „о возстаніи тѣлесъ“ авторъ задаетъ себѣ еще болѣе странный вопросъ: въ комъ возстанетъ ребро Адамово, въ немъ ли самомъ, или въ Евѣ? Отвѣтъ дается въ такой формѣ: „Ребро во Адамѣ не бяше ради совершенства лица его, но ради размноженія вида, — того ради не возстанетъ въ немъ, но въ Евѣ, яко и сѣмя не возстанетъ въ отцѣ, но въ чадѣ, отъ сѣмене зачатомъ во образѣ плоти“. Въ томъ же разсужденіи объясняется, что при возстаніи мертвыхъ человѣкъ воскреснетъ „со всѣми уды своими“: даже и кишки „воскреснутъ, но не гноемъ смраднымъ наполнены, но преизрядными влагами“, и власы, и ногти возстанутъ“ [1]) и т. д.

По тому же образцу своей школы Полоцкій вводилъ въ свое изложеніе и свѣтскія, схоластическія и мнимо-научныя свѣденія. Опровергая многобожіе, онъ упоминаетъ, что Гезіодъ насчитывалъ 30.000 боговъ; по поводу Рождества Христова онъ говоритъ, что о немъ пророчествовали двѣнадцать языческихъ сивиллъ,—пророчанія которыхъ передъ тѣмъ были приведены въ стихахъ въ книгѣ Іоанникія Галятовскаго „Небо Новое“ (Львовъ, 1665). Въ разсужденіи о небѣ и землѣ Симеонъ изложилъ свои понятія объ устройствѣ міра, руководясь Іоанномъ Дамаскинымъ, а также и средневѣковой схоластической астрологіей. Эти космологическія

[1]) „Очерки“, стр. 61.

понятія по средневѣковому нелѣпы, но въ то же время хотѣли быть точными. „Видимый міръ состоитъ изъ естества небесъ и естества стихійнаго. Небеса—троякія: сперва—небо эмпирейское, самое высшее и неподвижное, престолъ всемогущаго Бога, пространствомъ въ 10.314 темъ или 85.710 миль (пятиверстныхъ); затѣмъ—небо кристальное, одинъ изъ поясовъ котораго движется съ неизреченною скоростью и движетъ прочія небеса съ востока на западъ; третій слой небесъ — твердь, на которой водружены звѣзды и планеты... Звѣзды движутся вмѣстѣ съ твердью; веществомъ онѣ чисты, образомъ круглы, по количеству многочисленны, по виду кажутся малы, производятъ вёдро и ненастье. Нижайшія изъ звѣздъ — планеты, сирѣчь блудящія, ибо онѣ ходятъ то по одному пути со звѣздами, то по противоположному. Малѣйшая изъ звѣздъ въ 80 разъ, а солнце въ 166 разъ болѣе земли, луна же въ 30 менѣе ея. Всякій часъ солнце проходитъ 7.160 миль". Земля ниже всѣхъ другихъ стихій и окружена ими и составляетъ „всего міра кентръ", внутри содержитъ адъ и терзается „трусомъ", т.-е. землетрясеніями, отъ заключенныхъ въ ней духовъ. Центръ земли имѣетъ отъ Бога естественную силу, чтобы она по своей тяготѣ оставалась на вѣки недвижимой [1]).

Катехизическіе вопросы и отвѣты Полоцкаго между прочимъ любопытны нѣкоторыми указаніями на черты современныхъ нравовъ; въ ихъ нравоученіяхъ, напр. въ мелочной классификаціи грѣховъ, находятъ сходство съ казуистикой іезуитской морали [2]), но должно сказать, что примѣры подобнаго рода находятся и въ требникахъ греческаго происхожденія.

Многочисленныя проповѣди Полоцкаго (болѣе двухъ сотъ), написанныя на разные церковные праздники, на дни святыхъ, которые праздновались въ царскомъ семействѣ, и на нѣкоторыя особенныя событія того времени, составили два большихъ сборника: „Обѣдъ душевный" и „Вечерю душевную", которые изданы были только по его смерти (1681—1683). Если схоластическіе пріемы писательства выказались уже въ богословскихъ сочиненіяхъ Полоцкаго, то въ проповѣдяхъ для этого было еще болѣе простора. По самому существу западно-русской школы, предназначенной стать противовѣсомъ католическому вліянію, проповѣдь должна была занять въ ней очень важное мѣсто. Реторика, преподаваемая въ юго-западной школѣ, доставляла цѣлую теорію писанія проповѣдей, а одинъ изъ кіевскихъ ученыхъ, именно Іоанникій

[1]) Тамъ же, стр. 70—71.
[2]) Тамъ же, стр. 72.

Галятовскій, даже напечаталъ подобное руководство [1]); и эта теорія обильно выполнялась на практикѣ, потому что проповѣдь, —какъ мы упоминали, совсѣмъ замолкшая въ Москвѣ,—на юго-западѣ очень распространилась по католическому примѣру [2]). Для составленія проповѣди даны были весьма обстоятельныя наставленія, взятыя, какъ и вся теорія, изъ схоластическихъ латинскихъ учебниковъ: какъ выбрать тему, какъ развивать ее съ помощію реторическихъ пріемовъ, какъ надо читать, кромѣ писанія и отцовъ церкви, также „гисторіи и кроники“ о различныхъ событіяхъ, читать книги о звѣряхъ, рыбахъ, птицахъ, деревахъ, камняхъ и т. д., чтобы ихъ свойства примѣнять къ тому предмету, о которомъ говорится въ проповѣди. Такимъ образомъ при соблюденіи этихъ наставленій сочиненіе проповѣди становилось дѣломъ очень легкимъ и сами наставники указывали, что этимъ способомъ можно придумать много матерій для проповѣданія. Дѣло становилось механическимъ исполненіемъ реторической задачи, для котораго не требовалось какой-либо глубины мысли или возбужденія чувства, а только соблюденіе предписанныхъ правилъ. Проповѣди Симеона Полоцкаго и составлялись по этимъ правиламъ и давали ему случай выказать свою ученость. По правиламъ составлялся планъ проповѣди и выполнялись ея подробности: онъ въ изобиліи цитируетъ Библію и отцовъ церкви, упоминаетъ о писателяхъ греческихъ, приводитъ примѣры изъ греческой и римской исторіи и изъ миѳологическихъ сказаній, наконецъ изъ естественной исторіи, которую онъ зналъ по средневѣковымъ схоластическимъ источникамъ, напр. по знаменитому Альберту Великому: этотъ писатель XIII вѣка представлялся ему, въ концѣ XVII столѣтія, премудрымъ знатокомъ тайнъ естества. Для подобныхъ цитатъ существовали еще съ среднихъ вѣковъ особенные сборники „примѣровъ“, которые набирались изъ исторіи, легенды и новеллы (какъ нѣмецкіе bîspel и позднѣйшіе русскіе „приклады“), сборники баснословныхъ и анекдотическихъ свѣденій по естественной исторіи (какъ средневѣковые бестіаріи, „физіологи“) и т. п. Наконецъ теорія рекомендовала чтеніе проповѣдей другихъ писателей: подобныхъ сборниковъ было множество въ католической литературѣ, и въ проповѣдяхъ Симеона Полоцкаго указываютъ

[1]) „Наука короткая албо способъ зложенія казаня“, при сборникѣ его проповѣдей подъ названіемъ: „Ключъ разумѣнія“. Кіевъ, 1659, и др. изданія.

[2]) Проповѣдь уже не называлась здѣсь по старинному словомъ или поученіемъ, а по-польски казаньемъ, а проповѣдникъ также по-польски назывался „казнодѣя“ (kaznodzieja); и еще у Фонъ-Визина употреблено это слово въ формѣ „козподѣй“.

вліяніе этихъ образцовъ [1]). У Симеона Полоцкаго есть между прочимъ проповѣди въ похвалу русскимъ святымъ, но онѣ лишены какого-либо историческаго и реальнаго содержанія и опять состоятъ всего болѣе изъ реторическихъ упражненій. Біографъ его замѣчаетъ, что при печатаніи надгробныхъ проповѣдей Симеонъ намѣренно исключалъ изъ нихъ то, что прямо относилось къ данному лицу, и это могло объясняться тѣмъ, что Симеонъ хотѣлъ сдѣлать свои проповѣди общимъ образцомъ, которымъ могли бы пользоваться другіе проповѣдники,—какъ это дѣлалъ между прочимъ и Галятовскій.

Въ проповѣдяхъ нравоучительнаго характера Симеонъ Полоцкій не могъ, конечно, не коснуться современнаго быта. Вѣроятно изъ осторожности онъ опасался говорить опредѣленнѣе и затрогивать высшіе классы общества, но въ тѣхъ общихъ обличеніяхъ, какимъ онъ даетъ мѣсто, встрѣчаются подробности, не лишенныя интереса. Онъ вооружается противъ народныхъ суевѣрій, поганскихъ обычаевъ, бѣсовскихъ пѣсенъ, какъ это бывало изстари; вооружается противъ нарушеній христіанскаго благочестія, но въ особенности противъ того зла, которымъ страдала тогда русская церковная жизнь, когда люди необразованные брались толковать священное писаніе и производили расколъ. Онъ негодуетъ также на недостатокъ церковнаго ученія: „Великимъ нерадѣніемъ священниковъ и всеконечнымъ ихъ небреженіемъ о чадахъ духовныхъ, — говоритъ онъ, — премногіе несмысленные люди, какъ безсловесныя овцы, заблудилися отъ пути праваго житія и въ пропасть погибельной жизни уклонились. Многіе нелѣпыми рѣчами и непристойными бесѣдами терзаютъ единство церкви... Многіе невѣжды, никогда и нигдѣ не учившіеся, дерзаютъ учителями называться... Не учители то, а мучители... Оттого умножилась въ людяхъ злоба, преуспѣло лукавство, волхованіе, чародѣйство, разбой, татьба, убійства, пьянство, нелѣпыя игры, грабежи, хищенія и тому подобное, напослѣдокъ, возстаніе противъ властей. А виною тому всего болѣе отцовъ духовныхъ неискусство и нерадѣніе: не поучаютъ и не наставляютъ чадъ своихъ духовныхъ“ [2]). Эти обличенія видимо стояли въ связи съ постановленіями собора 1666—1667 года.

Еще новымъ отраженіемъ кіевской школы было у Симеона Полоцкаго неутомимое стихотворство. Піитика была однимъ изъ основныхъ предметовъ преподаванія въ юго-западныхъ школахъ,

---

[1]) Майковъ, „Очерки“, стр. 84—85.

[2]) Тамъ же, стр. 90—91.

устроенныхъ по католическому образцу, и преподаваніе сопровождалось практическими упраженіями, какъ и въ реторикѣ. Образцомъ служило опять безконечное школьное стихотворство, которое велось на западѣ непрерывно отъ латинской поэзіи среднихъ вѣковъ и въ церковной школѣ направилось въ особенности на предметы церковные и дидактическіе. Такъ было и здѣсь: перелагались въ стихи латинскіе церковные гимны и писались свои собственные, сочинялись хвалебныя оды и разныя стихотворенія на случай; стихи, „вирши“, получили латинское названіе въ польской передѣлкѣ; они получали „краесогласіе“, т.-е. риѳму, и писались тѣмъ смѣшаннымъ языкомъ, какой вообще господствовалъ въ югозападной книжности, гдѣ на церковно-славянскую основу налегали болѣе или менѣе тяжелые слои языковъ малорусскаго или бѣлорусскаго, а затѣмъ польскаго и латинскаго. Какъ мы упоминали, Симеонъ Полоцкій чувствовалъ, что этотъ языкъ будетъ непригоденъ въ Москвѣ, и заранѣе старался исправить свой стиль изученіемъ московскаго церковно-славянскаго языка; но онъ никогда не могъ вполнѣ освободиться отъ своего прежняго привычнаго языка. Если такого рода школьное стихотворство вообще не могло обѣщать особыхъ поэтическихъ достоинствъ, то не было этихъ достоинствъ и въ твореніяхъ Полоцкаго, когда притомъ онъ былъ видимо лишенъ и какого-либо поэтическаго вдохновенія и вкуса. Получавшаяся этимъ путемъ поэзія была довольно ужасна: лишенная всякаго поэтическаго порыва, она говорила тяжелымъ неестественнымъ языкомъ, церковно-польскаго склада, поражающаго своей неуклюжестью. Но взамѣнъ Симеонъ Полоцкій отличался чрезвычайнымъ обиліемъ своего стихотворства: первымъ извѣстнымъ произведеніемъ его на этомъ поприщѣ были упомянутые „Метры“ въ честь царя Алексѣя Михайловича; послѣднее стихотвореніе „Философія“ было написано имъ за два дня до смерти. На этомъ пространствѣ написано множество стихотвореній, которыя были имъ собраны въ „Вертоградѣ Многоцвѣтномъ“ и въ „Риѳмологіонѣ“. Здѣсь были образчики всѣхъ родовъ школьнаго стихотворства: стихотворенія церковнаго содержанія, дидактическія, хвалебныя, переложенія псалтыри, нравоученія съ подтвержденіями изъ ходячихъ легендъ и новеллъ „Великаго Зерцала“ и подобныхъ сборниковъ, и разнаго рода мелкія стихотворенія. Несмотря, однако, на всю грубость формы, на школьную сухость содержанія, это стихотворство нравилось. Предпринявъ стихотворное переложеніе псалтыри, Симеонъ Полоцкій замѣчаетъ, что побужденіемъ къ этому труду былъ для него примѣръ иностранныхъ писателей, а также и то, что, по словамъ его, и въ Бѣлой,

и въ Малой Россіи, и въ самой Москвѣ многіе полюбили „сладкое и согласное пѣніе полскія псалтыри, стиховно преложенныя", и поютъ польскіе псалмы, „мало или ничтоже знающе и точію отъ сладости пѣнія увеселяющеся духовнѣ". Надо думать, что нравились и стихотворныя произведенія Полоцкаго, и это могло поощрять его въ стихотворствѣ. По складу своего образованія Полоцкій не могъ особенно сочувствовать московскому быту, и вѣроятно это вмѣстѣ съ школьнымъ примѣромъ дало ему поводъ внести въ свое стихотворство и сатиру. Содержаніе ея въ значительной степени вращается на общихъ темахъ нравоученія, приложимыхъ безразлично ко всякому обществу, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ его сатира представляетъ и отголоски именно русскаго быта: таковы, напр., обличенія, направленныя на недостатки церковнаго быта, на безчинную жизнь иноковъ, на невѣжественное суемудріе, ведущее къ расколамъ, и т. п.

Наконецъ, Симеонъ Полоцкій является писателемъ драматическимъ. Имъ написано было двѣ театральныя пьесы. Одна изъ нихъ: „Комедія о Навуходоносорѣ царѣ, о тѣлѣ златѣ и о тріехъ отроцѣхъ, въ пещи не сожженныхъ", примыкаетъ къ извѣстному обряду пещнаго дѣйства, которое тогда еще исполнялось въ церкви при архіерейскомъ служеніи передъ Рождествомъ и, можетъ быть, казалось Симеону слишкомъ неискуснымъ: онъ, какъ слѣдуетъ, написалъ свою пьесу въ стихахъ и расширилъ обстановку дѣйствія. Другая его пьеса была „Комедія притчи о Блудномъ сынѣ", которая повидимому имѣла въ свое время большой успѣхъ, потому что въ 1685 году, уже по смерти Полоцкаго, была издана съ многочисленными картинками [1]). Это драматическое авторство было, конечно, въ связи съ тѣмъ, что въ концѣ царствованія Алексѣя Михайловича драматическія представленія стали даваться въ царскихъ палатахъ и очень полюбились царю.

Наконецъ, въ послѣдніе годы жизни Симеонъ Полоцкій немало переводилъ съ латинскаго: таковы были переводы сочиненій противъ іудеевъ, о сарацинскомъ законѣ, о Магометѣ—послѣднее могло имѣть интересъ въ виду начавшейся тогда войны съ Турціей. На основаніи латинскихъ сочиненій онъ составилъ нѣсколько бесѣдъ о различныхъ церковныхъ предметахъ, и нѣкоторыя изъ нихъ направлены въ особенности противъ протестантовъ, въ виду

[1]) Она была издана потомъ нѣсколько разъ: въ „Древней россійской Вивліоѳикѣ", въ собраніи „Русскихъ драматическихъ произведеній" Тихонравова и наконецъ въ „Русскихъ народныхъ картинкахъ" Д. А. Ровинскаго (III, стр. 8—38; IV, стр. 520—522 и въ атласѣ).

того, что въ то время въ Москвѣ поселялось много иноземцевъ, и потому опасались распространенія протестантскихъ мнѣній.

Въ послѣдніе годы своей дѣятельности Симеонъ Полоцкій задумалъ собрать и издать свои многочисленные труды. Пользуясь особенной благосклонностью царя, онъ могъ наконецъ дѣйствовать довольно самостоятельно и, напр., печатать книги лишь по собственному усмотрѣнію, только съ номинальнымъ благословеніемъ патріарха (обыкновенно необходимымъ), который не хотѣлъ вступать въ споры съ царскимъ любимцемъ. Для этихъ изданій служила особая типографія, которую Симеону удалось завести при дворѣ,—какъ тогда говорилось, „на верху“. При содѣйствіи своего ученика и любимца, Сильвестра Медвѣдева, онъ приготовилъ къ печати свои сочиненія, а также и другія книги, и въ 1679 году вышелъ букварь, назначенный очевидно для царевича Петра; въ слѣдующемъ году вышла риѳмованная псалтырь, а по смерти его изданы были „Обѣдъ Душевный“ и „Вечеря Душевная“; изданъ былъ, кромѣ того, „Тестаментъ Василія, царя греческаго, сыну своему Льву Философу“ и издана (во второмъ славянскомъ текстѣ) „Исторія или повѣсть о житіи преподобнаго Варлаама и о Іосафѣ, царевичѣ Индѣйскомъ“. Его стихотворные сборники изданы не были и до настоящаго времени изъ нихъ напечатаны были отрывки. Полагаютъ, наконецъ, что Симеону Полоцкому могло принадлежать составленіе плана славяно-греко-латинской академіи, который былъ въ рукахъ Сильвестра Медвѣдева и въ 1685 году былъ поднесенъ имъ на утвержденіе царевны Софьи [1]).

Симеонъ Полоцкій умеръ въ августѣ 1680 года и похороненъ былъ въ трапезѣ Заиконоспасскаго монастыря. По царскому приказу Сильвестръ Медвѣдевъ долженъ былъ сочинить эпитафію и написалъ ихъ 14, но всѣ онѣ не нравились Ѳедору Алексѣевичу и только 16-ая, изъ 24 двустишій, удостоилась царскаго одобренія и вырѣзана была золотыми буквами на двухъ каменныхъ доскахъ, которыя и были поставлены надъ гробомъ Симеона.

Такова была въ немногихъ словахъ жизнь и литературная дѣятельность Симеона Полоцкаго. Это былъ первый изъ кіевскихъ ученыхъ, который явился въ Москву и дѣйствовалъ тамъ въ духѣ своей школы. Правда, и ранѣе кіевскіе ученые бывали уже въ Москвѣ и, напр., Епифаній Славеницкій лишь немногимъ предварилъ его и дѣйствовалъ еще при немъ въ Москвѣ; но Епифаній работалъ въ другой области, былъ человѣкъ менѣе подвижного характера и примѣнилъ свои знанія къ непосред-

[1]) Майковъ, „Очерки“, стр. 155.

ственнымъ задачамъ московской книжности; повидимому и свойство его учености было нѣсколько иное: онъ былъ знатокъ греческаго языка и у него, благодаря этой греческой начитанности, не было латинскихъ крайностей, какъ у Полоцкаго. Мы упоминали, что этихъ двухъ писателей хотѣли противопоставить, какъ представителей двухъ разныхъ эпохъ и характеровъ юго-западной школы, до и послѣ вліянія коллегіи именно Петра Могилы; но выше мы приводили примѣръ, что латинскій характеръ юго-западнаго образованія сказался гораздо ранѣе Петра Могилы и видѣли это на примѣрѣ книгъ Кирилла Транквилліона и Лаврентія Зизанія. Но въ Москвѣ при Симеонѣ Полоцкомъ дѣйствительно обозначились двѣ школы: одна—„греческаго ученія", въ Чудовомъ монастырѣ, гдѣ преобладало московское консервативное направленіе, подкрѣпляемое изученіемъ греческихъ писаній и гдѣ ученикомъ Епифанія былъ въ особенности ученый инокъ Евѳимій; другая—„латинскаго ученія", въ Заиконоспасской школѣ, не долго веденной Симеономъ Полоцкимъ, и гдѣ онъ успѣлъ воспитать ревностнаго ученика въ Сильвестрѣ Медвѣдевѣ. Обѣ стороны сходились въ одномъ—въ осужденіи того безпорядочнаго движенія, которое выразилось расколомъ, но затѣмъ онѣ могли относиться другъ къ другу только враждебно: Чудовская школа, на почвѣ греческаго православія и старой русской книжности, не могла одобрять ни догматическихъ отклоненій Симеона Полоцкаго, которыя пристали къ нему, быть можетъ полусознательно, изъ его латинскаго чтенія, ни самой схоластической реторики, которая была въ Москвѣ совсѣмъ непривычна. Патріархъ Іоасафъ, при которомъ Симеонъ прибылъ въ Москву, былъ къ нему расположенъ, но вскорѣ умеръ (1673); Питиримъ оставался на патріаршемъ престолѣ не долго, а преемникъ его Іоакимъ, напротивъ, относился къ Симеону Полоцкому прямо враждебно. При Іоасафѣ Симеонъ могъ исполнять такія довѣренныя порученія, какимъ было составленіе книги „Жезлъ правленія", изданной отъ лица собора; Іоакимъ только терпѣлъ его, благодаря его близости къ царской семьѣ, а впослѣдствіи строго осуждалъ. Но болѣе или менѣе явное несогласіе съ чудовской школой сказалось очень рано. По мнѣнію біографа, разногласіе Епифанія Славеницкаго и Симеона, весьма серьезное, не обратилось въ личный раздоръ только потому что оба кіевлянина были люди осторожные и оба дорожили своимъ положеніемъ. Когда вышелъ въ свѣтъ „Жезлъ", то въ чудовской школѣ замѣтили уже находившіяся въ немъ догматическія отклоненія отъ православія. Однажды, еще въ 1673 году, при патріархѣ Питиримѣ, между Епифаніемъ и

Симеономъ произошло преніе по этому поводу, въ которомъ первый указалъ причину этихъ отклоненій въ томъ, что кіевляне не изучаютъ греческаго языка и читаютъ только латинскія книги. Это преніе не имѣло дальнѣйшихъ послѣдствій, и по смерти Славеницкаго, въ 1674 году, Симеонъ написалъ въ память его нѣсколько хвалебныхъ эпитафій. Гораздо болѣе враждебно держался относительно Симеона упомянутый Евѳимій, изъ кружка котораго, по мнѣнію біографа, пущенъ былъ и самый слухъ о томъ, что Епифаній былъ воспитанникомъ іезуитовъ. Въ сохранившихся рукописяхъ Евѳимія находятся строгія осужденія мнѣній Симеона, высказанныхъ въ „Вѣнцѣ Вѣры“: Евѳимій находитъ здѣсь разныя „ереси латинскія и лутерскія“ и смѣется надъ тѣми схоластическими вымыслами, какіе находятся въ этой книгѣ. „Есть въ этой книгѣ,—говоритъ Евѳимій,—баснословѣданія о количествѣ и качествѣ круговъ небесныхъ и о мѣрахъ разстоянія между ними... Но, повѣдая сіи мѣры и числа, не сказалъ сочинитель, сколько лѣтъ сатана, низверженный съ небеси, летѣлъ въ бездну; знающему тѣ небесныя мѣры и разстоянія, слѣдовало бы знать и повѣдать и о семъ“. Вызывали недовольство и проповѣди Симеона и особливо его стихотворная Псалтырь: несмотря на оговорки Симеона, что его книга не назначается для чтенія въ церкви, противники его [1]) замѣчали, что его переводъ заключаетъ „многіе прилоги и отъятія“ противъ славянскаго текста,—что было совершенно естественно при переложеніи текста въ стихи и что не предполагало дурного намѣренія, — и дѣлали язвительное предположеніе, что Псалтырь Симеона прямо заимствована отъ латинника Кохановскаго или еретика Аполлинарія. Мы упоминали, что подъ конецъ Симеонъ печаталъ свои книги мимо одобренія патріарха; Іоакимъ въ свое время не возражалъ противъ этого, но впослѣдствіи говорилъ: „мы прежде печатнаго изданія не видали и не читали тѣхъ книгъ, а печатать ихъ не только благословенія, но и соизволенія нашего не было“ [2]). Нѣкоторые историки похваляютъ

[1]) Евѳимій въ книгѣ „Остенъ“ 1690.

[2]) „Очерки“, стр. 53—56, 74—75, 87, 153.

Есть извѣстіе Татищева, что Симеонъ по злобѣ къ Іоакиму предлагалъ царю Ѳедору Алексѣевичу установить въ Россіи четырехъ патріарховъ вмѣсто четырехъ митрополитовъ, а надъ ними папу въ родѣ римскаго; этимъ папой долженъ бы быть Никонъ, а Іоакимъ переведенъ въ Новгородъ. Нѣкоторые изъ новыхъ историковъ принимаютъ это извѣстіе буквально и скорбятъ, что „такой проектъ грозилъ русской церкви введеніемъ католическаго начала“ (С. Любимовъ, въ Журн. мин. просв. 1875, авг., стр. 129); новѣйшій біографъ не имѣетъ возможнымъ принять это за несомнѣнный фактъ („Очерки“, стр. 160).

„суроваго и ревниваго“ патріарха, что онъ возсталъ наконецъ противъ „мятежника“, „когда представился случай“, но случай представился только черезъ десять лѣтъ по смерти Симеона Полоцкаго [1]): при жизни Симеона суровый и ревнивый патріархъ молчалъ; теперь оказывалось, что Симеонъ хотя и былъ человѣкъ ученый и добронравный, „обаче предъувѣщенъ отъ іезуитовъ папежниковъ сущихъ и прельщенъ былъ отъ нихъ“, и на него взведены были такія ереси, какихъ у него вовсе не было, и даже по словамъ одного изъ упомянутыхъ историковъ, „въ своемъ суровомъ и ревнивомъ судѣ патріархъ перешелъ границы правдивости, приписавъ Полоцкому много лишняго“.

Ожесточенная вражда, какую возъимѣли къ Симеону Полоцкому московскіе приверженцы старины и которую, какъ мы видѣли, почти раздѣляютъ даже нѣкоторые изъ церковныхъ историковъ нынѣшнихъ, не можетъ, однако, быть принята за правильную историческую оцѣнку его дѣятельности. Книжники старой московской школы, воспитанные на исключительной церковной литературѣ, давно привыкли сыпать обвиненіями въ ереси, между прочимъ и тамъ, гдѣ просто сами не понимали сущности рѣчи: такъ это бывало въ обвиненіяхъ противъ Максима Грека, когда этотъ ревностный дѣятель того же самаго православія на многіе годы былъ даже лишенъ причастія, какъ послѣдній отщепенецъ. Нѣчто подобное происходило съ Симеономъ Полоцкимъ. Свидѣтельства самихъ враговъ объ его „добронравіи“, его собственныя заявленія, что онъ всегда хочетъ быть согласнымъ съ соборной апостольской церковью [2]), вовсе не показываютъ въ немъ какого-нибудь упрямаго, злостнаго еретика, и тѣ догматическія отклоненія, въ которыхъ онъ провинился, были повидимому только давней школьной привычкой, а эта привычка образовалась подъ вліяніемъ литературы, которая увлекала послѣдователей „латинскаго ученія“ своимъ богатствомъ. Питомцы кіевской школы не видѣли въ русской книжности ничего подобнаго; ученость латинская господствовала кругомъ ихъ, и еслибы „греческое ученіе“, въ незнаніи котораго ихъ упрекали, дѣйстви-

[1]) См. Образцова, стр. 13—14; Любимова, стр. 130. Первый замѣчаетъ, будто бы прежде патріархъ „понималъ, что вредить Полоцкому нѣтъ нужды,—что этотъ человѣкъ, безполезный для церкви, полезенъ для гражданской власти, нуженъ для свѣтскаго образованія общества“. Очевидно, что это объясненіе вовсе не вяжется съ позднѣйшими злобными осужденіями.

[2]) Въ предисловіи къ „Обѣду Душевному“ онъ говоритъ: „Воля и хотѣніе мое выну (всегда) есть, еже присно со отцы богоносными святыя соборныя апостольскія церкве согласну быти и ни въ чемъ ни на единъ власъ отъ праваго пути православія уклонитися“.

тельно могло предохранить ихъ отъ догматическихъ заблужденій, то въ другихъ отношеніяхъ оно не могло доставить того запаса знаній, какой открывала для нихъ латинская литература. Въ Москвѣ давно не довѣряли чистотѣ юго-западнаго православія; въ Кіевѣ, напротивъ, относились къ московскимъ людямъ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, какъ къ людямъ невѣжественнымъ, —что и подтверждалось тѣмъ фактомъ, что Москва нуждалась въ помощи кіевлянъ въ тѣхъ книжныхъ дѣлахъ, которыя были тогда ея первостепеннымъ церковнымъ и государственнымъ интересомъ и гдѣ у москвичей въ самомъ дѣлѣ недоставало иногда простого знанія грамматики. Такое недовѣрчивое отношеніе къ московскимъ людямъ мы встрѣтимъ не только у наиболѣе ревностныхъ приверженцевъ кіевской школы, но даже у такого мирнаго человѣка, какъ Дмитрій Туптало (впослѣдствіи св. Дмитрій Ростовскій).

Симеонъ Полоцкій по сущности его литературнаго характера не представилъ бы ничего исключительнаго въ Кіевѣ: вся его дѣятельность была только исполненіемъ кіевской программы — и его богословіе и проповѣдь, и стихотворство, и театръ; это былъ человѣкъ съ умомъ, познаніями, хотя въ стихотворствѣ не обнаружилъ никакого поэтическаго дарованія и языкъ его остался грубой смѣсью, которая въ стихахъ была достаточно усѣяна полонизмами. Его особенное историческое значеніе заключается въ томъ, что онъ сталъ ученымъ литературнымъ дѣятелемъ въ Москвѣ. Въ прежнее время здѣсь знали кіевскую ученость только издали, имѣли дѣло только съ ея чисто церковной стороной; Симеонъ поставилъ свою кіевскую программу лицомъ къ лицу съ московской книжнической рутиной, выполнялъ эту программу очень плодовито и возбуждалъ къ себѣ недовѣріе и вражду съ одной стороны, а съ другой встрѣтилъ не мало читателей, которыхъ новизна его заинтересовала: до тѣхъ поръ книга, являвшаяся почти исключительно изъ рукъ церковныхъ людей, знала почти только церковные вопросы и относилась къ жизни только съ точки зрѣнія церковнаго назиданія; въ рукахъ Симеона она въ первый разъ затрогивала жизнь не только съ этой исключительной точки зрѣнія,—рядомъ съ проповѣдью шло простое практическое поученіе, занимательный разсказъ, сатирическое обличеніе, шутка, драматическая сцена,—все это было непривычно и привлекательно; нравились даже тяжеловѣсные стихи, потому что въ нихъ все-таки почувствовали заботу о нѣсколько прикрашенной формѣ.

Вліяніе Полоцкаго не было, однако, чѣмъ-либо неожиданнымъ и неподготовленнымъ. Во второй половинѣ XVII вѣка замѣтно

усиленное вліяніе латино-польской литературы, которое выразилось многочисленными переводами книгъ, по тогдашнему научныхъ, а также многочисленныхъ повѣстей, романовъ, шуточныхъ разсказовъ и т. п.; латинскія и польскія книги въ обиліи появляются въ библіотекѣ самого царя [1]) и въ рукахъ наиболѣе образованныхъ людей. При Алексѣѣ Михайловичѣ, въ этомъ болѣе образованномъ кругу перестаютъ уже чуждаться, какъ прежде, иноземцевъ и иноземнаго образованія, признаютъ его цѣну и помышляютъ уже хотя о нѣкоторомъ его усвоеніи. Прямое заимствованіе его черезъ посредство школы казалось еще слишкомъ труднымъ, быть можетъ, даже нѣсколько страшнымъ, такъ какъ и въ это самое время постоянно говорилось о гибельныхъ латинскихъ и лутерскихъ ересяхъ; поэтому и былъ такъ привѣтливо встрѣченъ Симеонъ Полоцкій, человѣкъ русскій и православный, который, какъ тогда казалось, въ изобиліи обладалъ этою иноземною ученостью. Въ дѣйствительности, европейской ученостью Симеонъ вовсе не обладалъ: это былъ только выученикъ латинской схоластической школы, погруженной въ средневѣковомъ преданіи и очень далекой отъ истиннаго движенія тогдашней науки,—но по своей латинской учености онъ могъ бы быть доступенъ и болѣе широкимъ вліяніямъ тогдашней литературы; напр., онъ уже знакомъ съ разнообразными литературными формами, не пугается древней миѳологіи, въ которой видитъ только реторическій и піитическій матеріалъ, онъ полагаетъ возможнымъ измѣреніе „небесныхъ круговъ“ и т. д. Наконецъ, онъ былъ убѣжденный защитникъ образованія, „вызволенныхъ“ (свободныхъ) наукъ, которыя необходимы не только для истиннаго пониманія вѣры, но и для нравовъ и государственной пользы. Наука, которой онъ желалъ,

[1]) Въ 1653 году (когда царь Алексѣй еще не слыхалъ о Симеонѣ Полоцкомъ), князь Репнинъ-Оболенскій, будучи посломъ въ Польшѣ, по государеву указу покупаетъ тамъ разныя книги: лексиконъ славяно-русскій, лексиконъ гданскій на трехъ языкахъ — нѣмецкомъ, латинскомъ и польскомъ, „Гранографъ“ Пясецкаго, книгу Описанія Польши, Гвагнина, Библію на польскомъ языкѣ и пр. Много иностранныхъ книгъ было у знаменитыхъ начальниковъ посольскаго приказа, Ордина-Нащокина и Матвѣева, и др. (Соловьевъ, „Исторія Россіи“, т. XIII, 1863, стр. 181). Точно такъ, когда царь еще не зналъ Симеона Полоцкаго, въ 1652 году онъ указалъ кіевскому старцу Арсенію Сатановскому „книгу латинскую на словенскій языкъ перевести, а имя той книгѣ—„Оградъ Царицы“ или поученія нѣкоего учителя, именемъ Меффрета, собрана отъ 220 творцовъ греческихъ и латинскихъ, какъ внѣшнихъ философовъ, стихотворцевъ и историковъ, врачевъ, такожъ и духовныхъ богословцевъ и сказателей Писанія Божественнаго“ и т. д. (Акты, относ. къ исторіи южной и западной Россіи, III, стр. 480; въ „Очеркахъ“, стр. 84—86). Этотъ Меффретъ, нѣмецкій проповѣдникъ XV вѣка (книга его называется Hortulus Reginae), является потомъ въ числѣ проповѣдническихъ образцовъ и источниковъ Симеона Полоцкаго.

пока еще совершенно отсутствовала въ Москвѣ и, безъ сомнѣнія, была все-таки шире той, какую разумѣли московскіе книжники „греческаго ученія“. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ писаніяхъ Полоцкаго въ первый разъ заявлялось право и необходимость свѣтской книжности, которая обращалась бы къ изображенію жизни не только въ видѣ церковнаго поученія, и въ новой формѣ, которую онъ вводилъ, появлялся уже нѣкоторый запросъ на литературное изящество: однимъ словомъ, съ нимъ начинается, хотя еще въ самомъ грубомъ зародышѣ, поворотъ литературной жизни, исканіе новаго содержанія и новой формы; по своимъ образовательнымъ стремленіямъ онъ былъ прямымъ предшественникомъ другого ряда дѣятелей кіевской науки, которые стали уже ревностными сотрудниками и приверженцами Петровской реформы. Эти послѣдніе также не были пока настоящими начинателями новой русской литературы, но во всякомъ случаѣ ихъ образовательная программа была еще шире, ихъ требованія были настойчивѣе и результаты богаче.

А. Пыпинъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ

ИЗЪ ХОЗЕ-МАРІЯ ДЕ ЭРЕДІА.

1.—Смерть орла.

Когда, взмахнувъ могучими крылами,
Свободы жаждою возвышенной томимъ,
Орелъ подъ небомъ голубымъ
Паритъ надъ вѣчными снѣгами;

И миновавъ вершины грозныхъ кручъ,
Просторомъ голубымъ и солнцемъ опьяненный,
Достигнетъ онъ молніеносныхъ тучъ
И тутъ же падаетъ, смертельно пораженный—

Онъ такъ же счастливъ, какъ и тотъ,
Кто, отряхнувъ сомнѣній гнетъ,
Стремится побѣдить—иль пасть въ борьбѣ неравной;
Кто рвется на просторъ, на солнце, къ небесамъ,—
И, ихъ достигнувъ, гибнетъ тамъ
Такой же смертью—скорою и славной!

2.—На Циднѣ.

По темнымъ волнамъ золотая трирема
Плыветъ, оставляя серебряный слѣдъ.
Корму украшаетъ, какъ символъ побѣдъ,
Орелъ распростертый—величья эмблема.

Все ярче вдали пламенѣетъ закатъ,
Струятся куренья волной благовонной;
Царица, склоняся на бортъ золоченый,
Впередъ устремила сверкающій взглядъ...

Въ мечтахъ передъ нею—Антоній влюбленный,
Покорный и нѣжный, какъ левъ укрощенный!
Сильнѣй у царицы волнуется кровь,
И, сладость побѣды вкушая заранѣ,
Не видитъ она надъ собою въ туманѣ
Два призрака: *Смерть* и *Любовь*.

3.—Антоній и Клеопатра.

Вмѣстѣ съ террасы они на Египетъ взирали,
Тихо дремавшій у ногъ ихъ. Серебряный Нилъ
Волны свои величаво и мѣрно катилъ,
Легкій туманъ опоясывалъ дали...

Молча къ вождю Клеопатра приникла, дрожа.
Страстью объятый, склонился надъ нею властитель,
Онъ, побѣжденный красою ея побѣдитель,
Гибкое тѣло въ могучихъ объятьяхъ держа.

Царственный ликъ въ ореолѣ кудрей благовонныхъ,
Очи, мерцавшія нѣгой желаній влюбленныхъ,
Тихо къ нему обратила она.
Видѣлъ ли онъ въ этомъ темномъ, загадочномъ взорѣ
Акціумъ грозный, вспѣненное бурею море,
Бѣгство судовъ и могильную тьму?..

4.—Тріумфатору.

Герой и полубогъ! На аркѣ тріумфальной
Свои дѣянія изобразить вели:
Кровопролитный бой, народъ рабовъ опальный,
Склоненный до земли...

И кто бы ни былъ ты—изъ первыхъ гражданъ Рима
Происхожденіемъ, или простой плебей—
Все начертать вели неумолимо,
Заслуги всѣ твои предъ родиной твоей.

Иначе—берегись! Тебѣ грозитъ забвенье.
Чредой подъ сѣнь могилъ нисходятъ поколѣнья,
И падаетъ во прахъ поверженный гранитъ.
Современемъ косарь, бродя среди равнины,
Наткнется, можетъ быть, на жалкія руины,
И косу о трофей забытый раздробитъ...

5.—Горныя вершины.

Снѣгами вѣчными покрыты,
Людей пугающіе взоръ,
Вы, недоступные граниты
И выси дѣвственныя горъ,—

Всегда служили вы оплотомъ
Тому, кто къ вамъ безъ страха шелъ:
Всѣмъ, не склонявшимся подъ гнетомъ
И презиравшимъ произволъ.

На эти сумрачныя кручи,
Гдѣ рѣютъ коршуны и тучи,
Ступалъ лишь смѣлый человѣкъ.
Здѣсь жили вольные народы,
И колыбелью ихъ свободы
Гора останется во вѣкъ.

СРЕДНЕВѢКОВЫЕ СОНЕТЫ.

1.—Лебединая пѣснь.

Опершись о мраморъ балюстрады,
Надъ Луарой темноголубой—
Вдаль она глядитъ передъ собой,
И печалью дышатъ эти взгляды...

Подъ ея прозрачною рукой
Вновь звучатъ аккорды серенады.
Въ камышахъ береговыхъ цикады
Вторятъ звукамъ лютни золотой.

И несется пѣснь ея далёко,
Вслѣдъ тому, кого она глубоко
Полюбила сердцемъ молодымъ.
Меркнетъ день надъ тихою долиной,
И, быть можетъ, станетъ лебединой
Эта пѣсня, сложенная имъ...

2.—Подражаніе Петраркѣ.

Изъ Божьяго храма вы шли отъ обѣдни, мадонна,
И золото бѣднымъ вы сыпали щедрой рукой,
Подъ портикомъ темнымъ сіяли вы свѣтлой красой,
И взоръ мой за вами слѣдилъ неуклонно.

Я вамъ поклонился, но, словно не видя поклона,
Прошли вы, упорно смотря лишь впередъ предъ собой,
И гнѣвная краска въ лицѣ разлилася волной,
И взоръ вашъ блеснулъ непреклонно.

Но добрый Амуръ, снисходящій на наши моленья,
Не могъ допустить, чтобъ источникъ живой утѣшенья
Повергнулъ меня въ безутѣшную скорбь навсегда;
Покуда покровъ опустить вы спѣшили—рѣсницы
У васъ трепетали, какъ крылья испуганной птицы,
И очи сіяли, какъ въ небѣ вечернемъ звѣзда...

3.—Догаресса.

Съ террасы мраморной спускаются синьоры,
Которыхъ написалъ великій Тиціанъ;
Алмазами горятъ мечи ихъ и уборы,
Парча и шолкъ одѣли стройный станъ.

И часто съ дерзкою отвагою во взорѣ
Глядятъ они туда, гдѣ смѣло надъ волной

Взвиваются цвѣта Венеціи родной
И Адріатика синѣетъ на просторѣ.

Вдали отъ ихъ толпы, блестящей и пустой,
Блистая дивною и властной красотой,
Какъ въ сказкѣ гордая принцесса,
Даритъ улыбкою привѣтливой своей
Пажа, парчевый шлейфъ несущаго за ней,
Ихъ догаресса.

ИЗЪ ВЕНГЕРСКИХЪ ПОЭТОВЪ.

Въ чардѣ [1]).

(Сандора Петёфи.)

Надъ рѣкой темнѣетъ кровля старая чарды,
Но она не отразилась въ зеркалѣ воды:
Тьма ночная все объемлетъ сумракомъ и сномъ;
На рѣкѣ, въ тѣни деревьевъ, дремлетъ и пардомъ.

А въ чардѣ поютъ цыгане, пляски и кутежъ...
Веселится, до упаду пляшетъ молодежь.
—Эй, хозяйка, подавай намъ добраго вина,
Не жалѣй его, красотка, наливай до дна!

Пусть оно старѣе будетъ, чѣмъ мой дѣдъ сѣдой,
Горячѣе поцѣлуевъ дѣвы молодой!
Эй, цыгане, плясовую! Всѣхъ озолочу!
Нынче деньги я и душу проплясать хочу.—

Вдругъ въ окошко постучали:—Не шумите тамъ!
Вы покоя не даете ночью господамъ!—
—Убирайся вмѣстѣ съ ними прямо къ сатанѣ!
Эй, цыгане, веселите ретивое мнѣ...

Плясовую, да живѣе! Не жалѣй смычковъ!
Я послѣднюю рубашку вамъ отдать готовъ!—

---

[1]) Чардà—деревенскій трактиръ.

Но опять стучатся тихо въ переплетъ окна:
—Ради Бога, не шумите... Наша мать больна!—

И ни слова не отвѣтя, всѣ встаютъ кругомъ,
Допиваютъ тихо чарки, полныя виномъ,
И, съ цыганомъ расплатившись, длинною гурьбой,
Всѣ немедленно уходятъ изъ чардѣ домой...

---

* * *

(Изъ Андрея Сабо.)

Не тотъ бѣднякъ, кто, сдерживая стоны,
Ждетъ подаянія иль черствaго куска,
Но тотъ, кому его мильоны
Не могутъ посулить лавроваго вѣнка.

Не тотъ больной и страждущій несчастенъ,
Кто горько плачетъ надъ собой,
Но тотъ, кто болѣе не въ силахъ и не властенъ
Страданья облегчить единою слезой.

Жизнь измѣряется не нашими годами,
Не въ томъ вопросъ, какъ долго мы живемъ?
А въ томъ, что̀ выстрадано нами,
Что̀ пережили мы и сердцемъ и умомъ.

О. Михайлова.

1894 г.
Іюль.

ПОДАТЬ и НЕДОИМКА.

Если гражданскія реформы минувшаго царствованія не должны вызывать въ русскомъ крестьянинѣ ничего, кромѣ восторга и благоговѣнія, то политика экономическая и въ особенности податная—того времени—оставляетъ въ немъ самыя тяжелыя воспоминанія, тѣмъ болѣе незабываемыя, что эта политика не испытала на себѣ перемѣнъ. Податная политика шестидесятыхъ годовъ не только не шла наравнѣ съ общимъ характеромъ реформы императора Александра II, но приняла понятный ходъ даже по отношенію къ тому направленію, которое дано было податному дѣлу въ предъидущее царствованіе Николая I.

Съ учрежденія въ 1837 г. министерства государственныхъ имуществъ и со вступленіемъ въ должность министра графа Киселева, наша податная политика относительно казенныхъ крестьянъ впервые отказалась отъ прежней исключительно фискальной системы, преслѣдовавшей лишь увеличеніе доходовъ казны безъ принятія какихъ-либо мѣръ къ поднятію производительныхъ силъ страны вообще и платежной способности крестьянскаго населенія въ частности. Графомъ Киселевымъ въ податное дѣло казенныхъ крестьянъ впервые былъ внесенъ принципъ попечительства и заботъ о равномѣрномъ распредѣленіи податей, для чего предприняты были, подобно нынѣшнимъ земскимъ, массовыя статистическія изслѣдованія (кадастръ); появились заботы о поднятіи платежной способности малоземельнаго крестьянства путемъ нарѣзки имъ свободныхъ государственныхъ земель, сдачи въ аренду оброчныхъ статей безъ переоброчки, путемъ организаціи—на государственныя средства—переселеній и пр. и пр. При немъ же впервые получаетъ начало и покровительство крестьянской промышленности и благоустройства; для развитія крестьянской лѣсоторговли и лѣсопромышленности издается законъ о льготномъ ежегодномъ отпускѣ имъ лѣса на 25 р. на каждую ревизскую душу съ правомъ платежа попенныхъ денегъ чрезъ годъ; законъ о льготной

арендѣ ими казенныхъ мельницъ, мелкихъ промышленныхъ заведеній и оброчныхъ статей; для развитія крестьянской мелкой торговли и кустарныхъ промысловъ учреждаются волостныя кассы, выдаются временно изъ нѣкоторыхъ спеціальныхъ капиталовъ—ссуды. Въ борьбѣ со стихійными бѣдствіями, отъ пожаровъ, впервые (съ 1838 г.) учреждается система страхованія, основанная вначалѣ на одинаковомъ для всѣхъ 4-копѣечномъ подушномъ сборѣ и на выдачѣ одинаковыхъ безвозвратныхъ пособій деньгами и лѣсомъ (по 29 руб. на дворъ въ мѣстахъ лѣсныхъ, и по 42 р.—въ безлѣсныхъ),—система, получившая затѣмъ (1852 г.) организацію, подобную нынѣшней. При немъ получила начало (1842 г.) и лучшая изъ существовавшихъ у насъ когда-либо системъ продовольствія съ постояннымъ продовольственнымъ сборомъ, съ передвижными сельскими запасами и центральными хлѣбными магазинами. При немъ впервые при введеніи общественныхъ запашекъ былъ строго установленъ предѣлъ вмѣшательства государства въ хозяйственную жизнь сельскихъ обществъ, принадлежавшихъ къ составу казенныхъ крестьянъ, граждански свободныхъ. Находя полезность введенія этихъ запашекъ, гр. Киселевъ тѣмъ не менѣе высказался рѣшительнымъ противникомъ обязательнаго ихъ введенія.

Но всего памятнѣе для народа до-реформенная эпоха своимъ постоянствомъ въ податяхъ и стремленіемъ правительства сдѣлать ихъ по возможности соразмѣрными съ силами народа. Достаточно сказать, что за все 30-лѣтнее царствованіе Николая I ни одна изъ главнѣйшихъ податей—ни подушная, ни оброчная—не была увеличена ни на одну копѣйку!... Душевые оклады той и другой, установленные въ концѣ царствованія Александра I, при Николаѣ I подверглись лишь въ 1839 г. переложенію съ ассигнаціоннаго курса на серебро. Подушная подать, установленная въ 1818 г. въ 3 р. 30 к. ассигнац., въ 1839 г. была переведена на серебро въ 95 коп.; оброчная, по платежу которой губерніи были раздѣлены на 4 разряда и величина послѣднихъ ея окладовъ была опредѣлена еще въ 1812 г. (для I класса—11 р.; II—10 р.; III—9 р., и для IV—8 р. 50 к. ассигн., а затѣмъ въ 1824 г. было лишь перечисленіе нѣкоторыхъ губерній изъ низшаго класса въ высшій),—съ 1839 г. по переводѣ на серебро оставалась все время одинаковой: I кл.—2 р. 86 к.; II—2 р. 58 к.; III—2 р. 29 к., и IV—2 р. 15 к. сереб. [1]).

---

[1]) Историческое измѣненіе этихъ податей съ ихъ установленія было:

Подушной (для каз. и помѣщ. крестьянъ)		Оброчной (для казенныхъ крестьянъ).	
1722 г. . . .	— р. 80 к. для всѣхъ ревиз. души (ассигн.).	1724 г. . .	— р. 40 к. ассигн. для всѣхъ съ рев. души.
1724 „ . . .	— „ 74 „	1760 „ . . .	1 „ — „
1725 „ . . .	— „ 70 „	1764 „ . . .	1 „ 50 „ (съ однихъ экономическихъ).
1794 „ . .	по классамъ губерній а) 1 р.		

Въ царствованіе Александра II начинается быстрое увеличеніе всѣхъ податей. Подушная подать съ 1862 г. установлена въ 1 р.; съ 1863 г. къ ней сначала на одинъ годъ, а потомъ и ежегодно, установленъ добавочный сборъ въ среднемъ по 25 к. съ души, колебавшійся по различнымъ губерніямъ отъ 12 к. до 36 к. съ души; со второй половины 1867 г. къ этой подати установлена новая добавка въ среднемъ по имперіи по 50 к. съ души, которыя по различнымъ губерніямъ, уѣздамъ и даже волостямъ были распредѣлены „сообразно съ мѣстной производительностію и благосостояніемъ податного населенія". Съ преобразованіемъ въ 1875 г. государственнаго земскаго сбора, къ подушной подати присоединено болѣе 13 мил. руб.; и кромѣ того часть этого государственнаго земскаго сбора въ 7½ мил. руб. была разложена на земли всѣхъ сословій, а въ томъ числѣ и крестьянъ, подъ видомъ новой подати государственнаго поземельнаго налога, который съ 1884 г. былъ увеличенъ съ прежнихъ 7,6 мил. р. до 11,74 мил. руб. Начавшаяся съ 1883 г. отмѣна подушной подати закончена въ европейской Россіи къ 1887 г. Увеличеніе оброчной подати началось съ 1859 г., когда изъ прежнихъ 4 окладовъ было установлено семь: отъ 2 р. 15 к. до 3 р.; съ 1862 г. одновременно съ увеличеніемъ подушной была увеличена и оброчная подать процентовъ на 10, и только въ нѣкоторыхъ не-окадастрованныхъ губерніяхъ—на 5%. Чрезъ годъ съ 1863 г. одновременно съ добавкой къ подушной подати установлена и добавочная оброчная подать въ видѣ подесятиннаго сбора съ удобныхъ (кромѣ лѣса) земель въ размѣрѣ отъ 1½ до 9 коп. съ десятины отдѣльно по губерніямъ. Съ 1867 г. въ большинствѣ губерній (не-окадастрованныхъ) она снова была увеличена отъ 6 до 14% прежде поступавшаго съ нихъ акциза, а всего на 2 мил. р. слишкомъ; затѣмъ частное увеличеніе ея происходило въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и послѣ этого. Съ преобразованіемъ оброчной подати съ 1887 г. въ выкупные платежи по европейской Россіи она была снова значительно увеличена (съ 33,7 мил. р. въ 1886 г. до 49,3 мил. р. въ 1887 г.). Въ по-реформенное время росли и другіе платежи; самый древній и значительный изъ нихъ послѣ подушной

и б) 85 к. съ прибавкою натуральныхъ взносовъ хлѣбомъ и крупой.
1796 „ . . . 1 р. — к. для всѣхъ
1797 „ . . . 1 „ 13 „ а затѣмъ 1 р. 26 к.
1810 „ . . . 2 „ — „
1812 „ . . . 3 „ — „
1816 „ . . . 3 „ 26 „
1818 „ . . . 3 „ 30 „
1768 „ . . . 2 „ — „ со всѣхъ.
1788 „ . . . 3 „ — „
1797 „ . . . по классамъ I—5 р., II—4 р. 50 к., III—4 р., IV—3 р. 50 к. съ рев. души.
1810 „ . . . по классамъ: I—8 р., II—7 р., III—6 р., IV—5 р. 50 к. съ рев. души.
1812 „ . . . для всѣхъ классовъ добавлено по 3 р.

и оброчной подати—государственный земскій сборъ, взимавшійся съ крестьянъ, купцовъ и мѣщанъ, въ среднемъ на 1 душу составлялъ въ 1853-1856 г.—57 к.; въ 1857-1859 г.—61 к.; въ 1860-1865 г.—76 к.; въ 1865-1869 г.—98 к., и предъ преобразованіемъ его въ 1874 г. былъ выше 1 р. Государственный общественный сборъ, установленный въ 1840 г. съ однихъ государственныхъ крестьянъ и затѣмъ, также какъ и государственный земскій сборъ, присоединенный съ 1876 г. къ подушной подати, до земскихъ учрежденій, въ бюджеты которыхъ затѣмъ перешли нѣкоторые расходы, удовлетворявшіеся изъ этого сбора (напр., на школы, медицину), также возросталъ въ началѣ прошлаго царствованія. Ко всему этому для крестьянъ бывшихъ удѣльныхъ и помѣщичьихъ со времени ихъ освобожденія прибавились выкупные платежи и оброчная повинность, о тяжести которыхъ достаточно извѣстно. При быстромъ и значительномъ ростѣ государственныхъ прямыхъ податей и сборовъ, обложеніе которыми въ большинствѣ мѣстностей превосходило платежныя силы населенія, это послѣднее, разумѣется, не могло равнодушно относиться и къ возростанію мѣстныхъ сборовъ: земскихъ и мірскихъ, несмотря на то, что право назначенія и расходованія этихъ сборовъ принадлежитъ самому же населенію (мірскихъ—вездѣ прежде и теперь, а земскихъ лишь въ 34 губерніяхъ съ учрежденія въ нихъ земствъ). Земскіе сборы, взимавшіеся прежде подъ названіемъ губернскихъ вмѣстѣ съ государственнымъ земскимъ и назначавшіеся обыкновенно лишь на удовлетвореніе тѣхъ же государственныхъ нуждъ (содержаніе трактовъ, помѣщеній для гражданскаго управленія, полицейской медицины и пр.), съ переходомъ ихъ въ завѣдываніе земскаго самоуправленія должны были возрости уже отъ одного того, что теперь населеніе получило возможность удовлетворить первыя изъ своихъ насущнѣйшихъ нуждъ, какъ просвѣщеніе и медицинская помощь, которыя до сихъ поръ оставались безъ всякаго удовлетворенія. И земскія смѣты въ по-реформенныхъ губерніяхъ необходимо должны были возрости въ нѣсколько разъ [1]). Однако и при такихъ условіяхъ, когда вновь возникшему учрежденію приходилось почти все устроивать вновь, ростъ земскихъ бюджетовъ, уже чрезъ какихъ-нибудь 10 лѣтъ по возникновеніи земства, пошелъ медленнѣе общегосударственнаго бюджета; если мы сравнимъ ростъ земскихъ и государственныхъ бюд-

[1]) Въ до-земскій періодъ 1860-1864 г. ежегодный земскій губернскій сборъ по всѣмъ губерніямъ назначенъ въ 4.233 тыс. р.; затѣмъ въ земскій періодъ по 30 губерніямъ на 1868 г. смѣтные доходы составляли 12.841 тыс. р.; въ 1871 г. по 31 губ—17.222 тыс. р.; въ 1875 г. по 32 губ.—24.885 т. р.; въ 1880 г. по 33 губ.—30.077 т. р.; въ 1884 г. по 34 губ.—40.492 т. р., и въ 1889 г. по 34 г.—38.754 р. За позднѣйшее время свѣденій нѣтъ.

жетовъ послѣ 10 лѣтъ существованія земства, съ 1875 г., то увидимъ, что даже обыкновенные государственные доходы (безъ чрезвычайныхъ) по росписямъ росли быстрѣе земскихъ. По росписи 1889 г. обыкновенныхъ государственныхъ доходовъ назначено 865.463 тыс., больше противъ 1880 г. (по росписи 650.878,6 т. р.) на 47%, а противъ 1875 г. (548.670 т. р.) больше на 58%; по земскимъ смѣтамъ 1889 г. назначено 38.754 тыс., что противъ смѣтъ 1880 г. (въ 30.077 р.) составляетъ увеличеніе всего на 28%, а противъ смѣтъ 1875 г. (24.885 т. р.)—на 55%, причемъ еще смѣты 1889 г. были по 34 губ., а 1880 г. по 33 г. и 1875 г.—только по 32 губ.

Къ невыгодѣ государственнаго бюджета нужно отнести и то, что ростъ его обусловливался не ростомъ производительныхъ силы страны, а лишь увеличеніемъ налоговъ на предметы потребленія. Достаточно привести свѣденія за нѣсколько періодовъ о поступленіи главнѣйшихъ нашихъ косвенныхъ налоговъ, чтобы видѣть, насколько пореформенное время было щедрѣе прежняго на такого рода налоги. Поступленіе въ тысячахъ рублей было:

	1845	1855	1865	1875	1885	1893
Питейнаго	59.429	79.282	121.984	197.172	231.318	260.831
Таможеннаго	34.434	16.778	29.728	62.383	97.226	165.901
Соляного	8.963	8.924	9.150	11.284	—	—
Табачнаго	959	1.632	4.856	10.617	19.685	31.802
Сахарнаго	—	425	691	3.181	13.863	30.370
Всѣхъ об. доходовъ. . .	196.947	264.119	418.897	576.493	764.478	1.046.545

Вмѣсто отмѣненнаго съ 1881 г. налога на соль, за послѣднее время прибавлено нѣсколько новыхъ: пассажирскій (съ 1879 г.), дающій около 10 мил. р.; затѣмъ, налоги на керосинъ и спички (съ 1888 г.), изъ которыхъ первый въ 1893 г. далъ уже 16,4 мил. р., а второй—6,6 мил. р. При финансовой системѣ, стремящейся лишь къ увеличенію числа налоговъ и обложенія ими, количество потребленія обложенныхъ предметовъ обыкновенно сокращается; поэтому увеличеніе неокладныхъ сборовъ на цѣлыя сотни милліоновъ противъ прежняго выражаетъ ростъ не потребленія, а лишь одного обложенія. Относительно питейнаго и табачнаго доходовъ это можно доказать съ цифрами въ рукахъ. По свѣденіямъ акцизнаго управленія количество потребленія спирта въ срединѣ 60-хъ годовъ было: въ 1863 г. —0.344, въ 1864 г.—0,36, въ 1867 г.—0,4, ведра на душу наличнаго населенія, считая даже Сибирь, потребленіе которой обыкновенно вдвое менѣе, чѣмъ въ прочихъ мѣстностяхъ [1]), нынѣ потребленіе сократилось болѣе чѣмъ въ 1½ раза противъ прежняго, а

[1]) См. Военно-Статист. Сборникъ, ч. IV.

именно, безъ Польши и Сибири оно было въ 1882 г.—0,34, въ 1889 г. —0,25, въ 1891 г.—0,22 ведра спирта. Почему же питейный доходъ нынѣ возросъ послѣ 1865 г. болѣе чѣмъ вдвое? Потому что обложеніе спирта возвысилось болѣе чѣмъ вдвое: въ 1863 г. акцизъ съ % спирта былъ 4 коп., въ 1864 г. по 1869 г.—уже 5 к., а за послѣдніе года съ 1888 г.—9¼, и съ 1-го декабря 1892 г.—10 коп.! Такимъ образомъ, размѣры самого потребленія не играютъ существенной роли при полученіи казною дохода, а слѣдовательно, его можно довести до какого угодно minimum'a и тѣмъ не менѣе брать съ народа сколько угодно питейнаго дохода хотя бы только за право входа въ кабакъ. То же можно сказать и относительно другого акцизнаго предмета, табака, потребленіе котораго можно до нѣкоторой степени учесть. Сборъ табаку въ срединѣ 60-хъ достигалъ отъ 2½ до 3 мил. пуд.; въ трехлѣтіе 1889-1891 гг. онъ колебался въ предѣлахъ 2,9—3,8 мил. пуд., или среднее—3,3 мил. пуд.; увеличеніе, такимъ образомъ, въ сборѣ, а слѣдовательно и въ потребленіи табаку, произошло всего процентовъ не болѣе какъ на 25, причемъ ввозъ иностраннаго табаку не только низшихъ, но даже и среднихъ сортовъ почти совсѣмъ прекратился; между тѣмъ населеніе за это время увеличилось на 55%. Такимъ образомъ, потребленіе табаку несомнѣнно сократилось. Откуда же взялось увеличеніе табачнаго дохода съ 60-хъ годовъ болѣе чѣмъ въ 5—6 разъ? Очевидно, только отъ увеличенія самого обложенія и притомъ, главнымъ образомъ, низшихъ, наиболѣе употребляемыхъ сортовъ табаку. Въ періодъ съ 1861-1871 г., акцизъ на махорку былъ въ 3 к., на II сортъ—25 к. съ фунта; а съ мая 1887 г. на махорку онъ опредѣленъ уже въ 8 к. и на II сортъ — въ 48 к., т.-е. увеличеніе на первую составляло 170%, а на второй 90% противъ прежняго обложенія. Низшій же сортъ нюхательнаго табаку увеличился въ обложеніи съ 4 до 48 к. въ фунтѣ, т.-е. на 1.100%. О ростѣ таможенныхъ сборовъ и о вліяніи ихъ на чрезвычайное сокращеніе привоза болѣе дешевыхъ и лучшихъ иностранныхъ фабрикатовъ и говорить нечего. Отъ увеличенія таможенныхъ сборовъ населеніе переплачивало на искусственно поднятыхъ цѣнахъ на русскіе фабрикаты ежегодно по нѣскольку сотъ милліоновъ руб.

На такую политику населеніе могло отвѣчать только сокращеніемъ потребленія разныхъ предметовъ и недоимками въ податяхъ. Къ сожалѣнію сокращеніе народнаго потребленія не ограничивается только фабрикатами. Подъ вліяніемъ тяжелыхъ экономическихъ и податныхъ условій въ населеніи замѣчается сокращеніе потребленія даже предметовъ первой необходимости. Профессоръ А. Ф. Фортунатовъ въ своей „Сельско-хозяйственной статистикѣ“ констатируетъ факты значитель-

наго сокращенія за послѣднее 30-лѣтіе нашего скотоводства. На 100 челов. населенія европейской Россіи скота приходилось (по губернаторскимъ отчетамъ):

	лошадей:	кр. рог. скота:	овецъ:	свиней:
Въ 1857 . . .	26,5	37,1	72,1	15,3
„ 1870 . . .	23,8	31,0	68,8	13,9
„ 1883 . . .	22,8	30,1	59,4	12,0
„ 1888 . . .	?	29,7	53,6	11,1

А очевидно, что сокращеніе скотоводства должно вести за собой и сокращеніе продуктовъ отъ него, а слѣдовательно и сокращеніе потребленія ихъ.

Относительно потребленія населеніемъ хлѣба мы имѣемъ слѣдующія данныя. „Историко-статистическій обзоръ промышленности Россіи", изданный по порученію Высочайше учрежденной комиссіи по устройству въ 1882 г. всероссійской выставки (т. I), опредѣливъ общее производство зерноваго хлѣба въ 50 губ. европейской Россіи за десятилѣтіе 1870-1879 г. въ 2,6 четв. (за исключеніемъ сѣмянъ) на 1 душу наличнаго населенія и вычтя отсюда овесъ (0,6 четв. на душу) и хлѣбъ, идущій за границу и на винокуреніе (0,5 четв.), пришелъ къ заключенію, что „собственно продовольственнаго хлѣба на каждую душу не болѣе $1^1/_2$ четверти въ годъ. Такимъ образомъ, количество хлѣба, потребляемаго населеніемъ, въ среднемъ за 10-лѣтіе, ниже нормы приблизительно на $^1/_4$ четверти на душу". Переведя четверти въ пуды, по принятой центральнымъ статист. комитетомъ (Статистика Россіи за 1890 г.) и д-томъ земл. и сельск. пром. нормѣ для ржи въ 8 п. 34 ф., мы получимъ среднее годовое потребленіе хлѣба на 1 душу въ 13,27 пуда. По отдѣльнымъ пятилѣтіямъ было: въ 1870-1874—14,88 пуд., а въ 1875-1879—11,89 пуд. Такой же разсчетъ по даннымъ центр. ст. комитета о среднемъ сборѣ хлѣба за 5-лѣтіе 1883-1887 г. дѣлаетъ въ своемъ докладѣ импер. вольно-экономическому обществу членъ его Г. А. Фальборкъ (Труды И. В. Э. О. 1892 г., XI—XII); за вычетомъ изъ средняго сбора сѣмянъ, вывоза хлѣба на винокуреніе и овса, на 1 душу наличнаго населенія тѣхъ же 50 губерній за означенное 5-лѣтіе приходилось всякаго хлѣба 12,64 пуда безъ кавказскаго ввоза, и 13,14 пуда съ кавказскимъ хлѣбомъ. Чтобы сравнивать эти цифры, мы должны еще, по указаніямъ проф. Фортунатова, свѣденія центр. ст. комитета уменьшить на 7%, такъ какъ собранныя комитетомъ свѣденія объ урожаяхъ выше въ среднемъ на 7% такихъ же свѣденій въ отчетахъ губернаторовъ, по которымъ былъ составленъ разсчетъ за 1870-1879 гг. коммиссіей по устройству всероссійской выставки. Сдѣлавъ эту поправку къ цифрѣ Фальборка, мы получимъ, что среднее душевое потребленіе хлѣба 50 губ. европ.

Россіи было въ пятилѣтіе 1883-1887 г. всего—11,76 пуд., безъ кавказскаго ввоза, и 12,22 пуд. съ кавказскимъ ввозомъ хлѣбовъ, принятымъ у него въ 42,7 мил. пуд. Произведя такой же разсчетъ по даннымъ центр. ст. комитета и „Вѣстн. Фин." о чистомъ сборѣ хлѣбовъ, ихъ заграничномъ вывозѣ и употребленіи на винокуреніе за слѣдующій 4-лѣтній періодъ 1888-1891 гг. по тѣмъ же 50 европ. губерніямъ, и взявъ цифру населенія для этого періода (88.184 т.) по 1888 г. изъ отчета департамента неокладныхъ сборовъ (за 1888 г.), мы получимъ среднегодовое потребленіе хлѣба на 1 душу безъ кавказскаго ввоза въ 9,40 пуда (а уменьшивъ, по Фортунатову, на 7%—8,73 пуда), съ кавказскимъ же хлѣбомъ (въ 60 мил. пуд), душевое потребленіе будетъ 10,06 пуд. (при уменьшеніи на 7% будетъ 9,36 пуд.). Такое громадное уменьшеніе потребленія хлѣба противъ предъидущаго пятилѣтія, помимо общихъ, указанныхъ нами, причинъ, вліяющихъ на уменьшеніе потребленія, объясняется еще и тѣмъ, что въ пятилѣтіе 1883-1887 г. было два обильныхъ урожая (въ 1884 и 1887 гг.) и только одинъ недородъ яровыхъ (1885 г.), тогда какъ за 4-лѣтній періодъ 1888-1891 года при одномъ обильномъ урожаѣ (1888 г.) было два года: 1889 г.—неурожайный и 1891 г.—голодный. Сопоставивъ изъ этихъ цифръ однородныя, мы получимъ такую картину душевого потребленія хлѣба по 50 губерніямъ европейской Россіи за нѣсколько періодовъ. Всего чистаго сбора, за вычетомъ сѣмянъ, вывоза за границу и хлѣба на винокуреніе, приходилось на 1 душу наличнаго населенія (безъ овса):

Въ пятилѣтіе	1870—74	14,87 пуд.
„ „	1875—79	11,89 „
„ „	1883—87	11,76 „
„ четырехлѣтіе	1888—91	8,73 „

Въ статьѣ Л. Маресса: „Пища народныхъ массъ въ Россіи" („Русск. Мысль" 1893, X и XI кн.), также указывается на уменьшенное потребленіе хлѣба за 80-е годы предъ 70-ми. Среднее душевое потребленіе, опредѣленное ими по чистому сбору, но безъ вычета на винокуреніе и безъ указанной Фортунатовымъ поправки, опредѣлено для 9-лѣтія 1870-1879 г. въ 13,38 пуд., а для девятилѣтія 1883-1891 г.—въ 12,2 пуда; еслибы періоды эти были разбиты по пятилѣтіямъ и четырехлѣтіямъ, то цифры г. Маресса и отношенія ихъ между собою были бы недалеки отъ нашихъ.

Полагаемъ, что пояснять эти цифры нѣтъ нужды; онѣ краснорѣчивѣе всякихъ словъ говорятъ о самомъ печальномъ явленіи нашей народной жизни, говорятъ о хроническомъ недоѣданіи народа. Приводимыя далѣе у того же г. Маресса сравнительныя цифры годового

потребленія на одного человѣка въ различныхъ государствахъ указываютъ, что изъ числа 10 главныхъ государствъ Европы и Соединенныхъ Штатовъ Америки, Россія занимаетъ послѣднее мѣсто въ этомъ отношеніи, хотя до послѣдняго времени на міровомъ хлѣбномъ рынкѣ она и занимала первое мѣсто.

И въ указанномъ нами выше постепенномъ (съ теченіемъ времени) уменьшеніи потребленія хлѣба замѣчательно то, что это уменьшеніе шло параллельно не уменьшенію, а скорѣе увеличенію урожаевъ. Урожаи главнаго продовольственнаго хлѣба по изслѣдованію проф. Фортунатова („Урожаи ржи") по десятилѣтіямъ постепенно возростали; по однороднымъ массовымъ свѣденіямъ (изъ губернаторскихъ отчетовъ) средніе десятилѣтніе урожаи ржи были въ 1857-1866 гг. „самъ" 3,67, въ 1870-1879 г. „самъ" 3,93 и въ 1880-1889 гг. „самъ" 4,2. Это обстоятельство окончательно устанавливаетъ тотъ фактъ, что замѣчаемое уменьшеніе въ главныхъ предметахъ потребленія народа происходитъ подъ вліяніемъ не стихійныхъ бѣдствій, а чисто отъ усложняющихся экономическихъ и другихъ причинъ.

Теперь обратимся къ по-реформенной платежеспособности населенія; о ней наиболѣе вѣрное представленіе намъ даетъ ростъ недоимокъ за это время. По всѣмъ окладнымъ платежамъ (подушной и оброчной податямъ, государственному земскому сбору, преобразованному затѣмъ въ поземельный, налогу съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, выкупнымъ платежамъ и общественному сбору,—по послѣднему, начиная съ 1865 г.) недоимка представляется такимъ образомъ въ милліонахъ руб. [1]):

къ 1855 г. . . .	57,6	къ 1875 г. . . .	45,0
„ 1860 „ . . .	8,0	„ 1880 „ . . .	46,4
„ 1865 „ . . .	14,6	„ 1885 „ . . .	49,9
„ 1870 „ . . .	33,4	„ 1890 „ . . .	56,6

Къ началу новаго періода, къ 1855 г., за населеніемъ числилось 57,6 мил. руб. недоимки; къ 1890 г.—почти столько же, а къ 1891 г., т.-е. еще наканунѣ до сихъ поръ памятнаго для насъ бѣдствія, недоимки было уже 63,9 мил. р. Недоимки къ 1855 г. образовались послѣ 30-лѣтняго царствованія Николая I, во время котораго населенію пришлось перенести въ 1827 г.—мѣстный неурожай, въ 1828-1829 гг.—войну, въ 1830 г.—холеру, въ 1831— войну и холеру, въ 1833-1834 гг.—голодъ, въ 1839-1840 гг.—голодъ, 1842—мѣстный неурожай (по 7 губерн.), съ 1844-1846 г.—неурожай общій, въ 1848 г.—холеру и неурожай, въ 1849 г.—войну и холеру, въ 1850 г.

---

[1]) За первыя 15 лѣтъ 1855—1870 гг. свѣденія взяты изъ „Ежегодника Мин. Фин.", вып. XI, а слѣдующіе—изъ отчетовъ Государств. Контроля.

—неурожай, въ 1853-1854 г., войну. За послѣдующій періодъ, въ который прежняя недоимка по коронаціонному манифесту 1856 г. была сложена, до 1891 г. населеніе не испытало ни одного полнаго и общаго неурожая, равняющагося по своимъ бѣдствіямъ голоднымъ 1833-1834 г. и 1839-1840 годамъ, перенесло одну войну 1876-1878 гг. и имѣло лишь мѣстные недороды (какого-либо одного хлѣба), или неурожаи (обоихъ хлѣбовъ) въ 1859, 1865, 1867 (неурожай), 1875 и 1880 (неурожай), 1885 и 1889 гг.; съ другой стороны, за это время населеніе получило два всемилостивѣйшихъ манифеста: первый въ 1880 г. о сложеніи половины недоимки по подушной подати (до 7 мил. р.) и второй 1883 г.—о сложеніи полной недоимки по подушной, и въ размѣрѣ годового оклада—по оброчной подати и выкупнымъ платежамъ удѣльныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ (всего до 40 мил. р.). При такихъ несомнѣнно благопріятныхъ обстоятельствахъ по-реформеннаго времени постепенный ростъ недоимки, на которомъ послѣ 1880—1883 г. не отражается даже сложеніе ея въ 47 мил. руб., пріобрѣтаетъ уже особенное значеніе и важность. Очевидно, что еслибы за этотъ періодъ послѣ манифеста 1856 г. не было сложенія недоимки, то размѣръ ея къ началу 1891 г. достигалъ бы въ 110 мил., т.-е. равнялся бы почти двойной недоимкѣ 1855 г. Голодъ 1891 г. прибавилъ къ недоимкѣ новыхъ 41 мил. руб., а недородъ и холера 1892 г. добавили еще 22 мил. р. къ прежнему, такъ что къ началу 1893 г. всей недоимки числилось за населеніемъ уже 127,3 мил. руб., а со сложенными 47 мил. р. это составитъ 174,3 мил. руб. И если два года бѣдствій дали новой недоимки по окладнымъ сборамъ почти столько же, сколько къ этому времени было накоплено за семилѣтній, довольно благопріятный въ сельскохозяйственномъ отношеніи, періодъ послѣ манифеста 1883 г., когда были три выдающихся урожая (1884, 1887 и 1888 гг.), то очевидно, что постоянно дѣйствующая причина накопленія недоимокъ (неносильные платежи) всего лишь втрое-вчетверо слабѣе по своей интенсивности даже такихъ безусловныхъ бѣдствій, какъ голодъ и холера. А это приводитъ къ тому заключенію, что недоимку въ 127 мил. руб., даже безъ голоднаго 1891 и холернаго 1892 и 1893 года, мы накопили бы лѣтъ чрезъ 7—10, т.-е. приблизительно къ 1900 году; теперь же къ этому году нужно ожидать недоимки по крайней мѣрѣ въ 150—200 мил. руб.

На этомъ основаніи мѣра, принятая въ послѣднее время для уменьшенія недоимокъ (законъ 7 февраля 1894 г. объ отсрочкѣ и разсрочкѣ окладныхъ недоимокъ), представляется намъ настолько несущественною изъ всѣхъ возможныхъ палліативныхъ мѣръ этого рода, со включеніемъ въ число послѣднихъ даже и полнаго сложенія не-

доимокъ, что ожидать отъ нея сколько-нибудь серьезнаго улучшенія платежеспособности населенія невозможно; вся 30-лѣтняя по-реформенная исторія нашихъ недоимокъ говоритъ положительно противъ такихъ ожиданій. Пріостановить въ будущемъ (и только пріостановить) накопленіе новой недоимки можетъ только уменьшеніе оклада податей, а уничтожить прежнюю можетъ лишь полное сложеніе ея. Нынѣшній законъ объ отсрочкѣ и разсрочкѣ недоимки не представляетъ изъ себя ничего новаго, кромѣ уничтоженія прежнихъ сроковъ разсрочки и отсрочки на 5 и 10 лѣтъ и введенія условій, что ходатайствовать объ отсрочкѣ могутъ нынѣ, кромѣ губернатора, и другія губернскія начальства и учрежденія; но эти ходатайства, очевидно, могутъ доходить до министерства прежнимъ путемъ, чрезъ губернаторовъ и казенныя палаты, а отъ этого дѣло врядъ ли много измѣнится.

Нынѣшній законъ объ отсрочкѣ и разсрочкѣ недоимокъ настолько не новый, что и самая редакція его сохранила много общаго съ редакціей закона о томъ же, отъ 3 апрѣля 1889 г.; но и до этого по прежнему уставу о подат. министру финансовъ представлялось право отсрочки недоимокъ для городскихъ обществъ на 3 тыс. р. и на 3 года, а для волостей—на 3 тыс. р. на 5 лѣтъ для каждой (ст. 576 уст. о под. изд. 1857 г.). Кромѣ этого, по особымъ представленіямъ и ходатайствамъ, министръ могъ испрашивать Высочайшія разрѣшенія на отсрочки и безъ ограниченія суммами и временемъ. Однако эти законы не уменьшали старыхъ и не предупреждали накопленія новыхъ недоимокъ.

Нынѣшнія мѣры къ уменьшенію крестьянскихъ недоимокъ врядъ ли окажутъ лучшіе результаты, чѣмъ мѣры несомнѣнно даже болѣе льготныя и примѣненныя лѣтъ 20 тому назадъ хотя также къ недоимщикамъ, но уже другого рода. 18 января 1874 года былъ изданъ законъ „о мѣрахъ къ скорѣйшему уменьшенію питейно-откупныхъ недоимокъ и сокращенію письменнаго о нихъ производства". Законъ этотъ былъ вызванъ слѣдующими обстоятельствами. Ко времени отмѣны откуповъ и введенія новой системы питейныхъ сборовъ—акцизной, откупщики наши оказались такими же недоимщиками, какъ и крестьяне предъ царствованіемъ императора Александра II. Къ 1863 г., когда начала дѣйствовать акцизная система, за откупщиками числилось совершенно столько же недоимки (57.258.321 руб.), какъ и за крестьянами по всѣмъ окладнымъ сборамъ къ 1855 г. За одинъ послѣдній періодъ 1859-1862 гг. откупщики, заслышавъ о реформѣ, накопили 28.828.003 руб. недоимки. Какимъ образомъ могла накапливаться такая колоссальная недоимка за откупщиками, связанными по своимъ обязательствамъ съ казной имущественными залогами, разъяснитъ лишь исторія, но только откупщики оказывались менѣе испра-

ными плательщиками, чѣмъ даже крестьяне. Послѣ отмѣны откуповъ, ставъ недоимщиками, они выказывали еще мѣньшую склонность къ уплатѣ своего долга. Къ 1874 г., т.-е. чрезъ 12 лѣтъ, отъ нихъ поступило всего лишь 15,477,5 тыс. руб., т.-е. немного болѣе четверти прежней недоимки, да около того же было сложено. И недоимка все-таки оставалась громадной—въ 32.570.890 р. [1]). За крестьянами къ этому времени, несмотря на удвоившіеся ихъ казенные платежи, недоимки было 46,7 мил. р., т.-е. даже меньше той, какая была бы за откупщиками, еслибы съ нихъ не было сложено 13 мил. руб. Чтобы покончить съ этими недоимками, въ 1874 г. были изданы упомянутыя выше „мѣры объ уменьшеніи ея". Главная изъ этихъ мѣръ состояла въ сложеніи какъ части капитальной недоимки, такъ и всѣхъ начисленныхъ процентовъ на нее. Съ капитальной недоимки скидывалась сумма, равная учету изъ 6% по 20-лѣтней разсрочкѣ. Эта льгота давалась на два года, до января 1876; причемъ съ этого же времени прекращалось совсѣмъ начисленіе процентовъ на всѣ невнесенныя недоимки (по закону эти проценты шли въ капиталы общественнаго призрѣнія). Оказалось, однако, что даже и такой льготный законъ для откупщиковъ не вызвалъ у нихъ бо́льшаго стремленія къ уплатѣ недоимокъ, чѣмъ прежде. Въ два года, 1874-1875, ими внесено въ уплату 33-хъ-милліонной недоимки всего 392 тыс. руб., или едва не сотая часть ея. Зато въ эти два года вновь сложено съ нихъ 14,413,9 тыс. руб. Послѣ 1876 г. наступленіе недоимокъ шло уже совсѣмъ гомеопатическими долями: къ 1881 г. ихъ было уплачено за 5 лѣтъ всего 873 тыс. руб., и послѣ того недоимки состояло еще около 16 мил. руб. Сколько числится этихъ недоимокъ къ настоящему времени, неизвѣстно, но извѣстно, что съ 1881 г. до 1892 г., т.-е. за 12 лѣтъ, откупныхъ питейныхъ недоимокъ вмѣстѣ съ соляными (послѣ уничтоженія въ 1880 г. соляного налога) поступило менѣе 540 тыс. руб. И нужно замѣтить, что льгота о 6-ти-процентной скидкѣ за преждевременные взносы питейныхъ откупныхъ недоимокъ, разсроченныхъ безъ процентовъ, въ царствованіе императора Александра II практиковалась нѣсколько разъ; въ 1854 г. такая льгота послѣдовала сначала относительно недоимокъ, разсроченныхъ по откупамъ до 1847 г., затѣмъ въ томъ же году относительно недоимокъ, разсроченныхъ по откупамъ съ 1847 по 1851 г.; въ 1855 г. эта льгота была распространена на всѣ откупныя недоимки, разсроченныя безъ процентовъ. И тѣмъ не менѣе къ 1863 г. недоимокъ накоплено было

[1]) Увеличеніе ея приблизительно на 6 мил. р. объясняется начисленіемъ % и обнаруженной недоимки послѣ 1863 г. по неоконченнымъ къ этому времени разсчетамъ откупщиковъ съ казною.

болѣе 57 мил. руб.; въ уплату же ихъ до 1892 г. было внесено всего до 17 мил. руб., а болѣе 30 мил. руб. пришлось изъ нихъ сложить.

Эта историческая справка съ убѣдительностью говоритъ, что единственный путь къ облегченію плательщиковъ отъ недоимокъ есть путь сложенія ихъ. Только тотъ же путь сложенія ея былъ применѣнъ въ 1864 (законъ 9 августа) и къ помѣщичьимъ имѣніямъ, накопившимъ послѣ всемилостивѣйшаго манифеста 1856 г. новую многомилліонную недоимку ко времени 19 февраля 1861 г., по уплатѣ которой податей и всякаго рода казенныхъ взысканій за ихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Такимъ образомъ, исторія всѣхъ нашихъ недоимокъ, какъ по окладнымъ, такъ и по неокладнымъ налогамъ, выработала только одну мѣру къ замедленію роста недоимокъ—частичное или полное сложеніе ихъ. Очевидно, что по отношенію къ окладнымъ недоимкамъ даже и прежнихъ низкихъ податныхъ окладовъ эта мѣра была единственно дѣйствительною, такъ какъ самое накопленіе недоимокъ при неравномѣрности обложенія въ подушной системѣ податей было всегда явленіемъ неизбѣжнымъ; тѣмъ больше оно сдѣлалось неизбѣжнымъ въ по-реформенное время, когда и окладные и неокладные налоги быстро увеличились.

Такимъ образомъ, первый шагъ къ замедленію въ будущемъ роста недоимокъ состоитъ теперь въ сложеніи ихъ за старое время. Старая недоимка, являясь результатомъ недостаточной платежеспособности населенія за прежнее время, въ будущемъ сама становится причиной, помимо всѣхъ прочихъ, къ ослабленію этой платежеспособности. Это вытекаетъ изъ самаго законодательства о взысканіи недоимокъ. Прежде всего для взысканія недоимокъ въ законѣ не существуетъ даже сроковъ, какъ это установлено для текущаго оклада (примѣч. къ ст. 168 общ. пол. о кр.). Сельскія общества, связанныя по взносу податей круговою порукою (ст. 187. общ. пол.), могутъ взыскивать недоимку съ своихъ членовъ-недоимщиковъ круглый годъ; то же обязана дѣлать полиція по отношенію къ сельскимъ обществамъ, если они не внесутъ недоимку за своего члена къ 1 января (ст. 189, ibid). Рекомендуемыя закономъ мѣры по взысканію недоимокъ не могутъ назваться легкими даже для болѣе состоятельныхъ плательщиковъ, чѣмъ наши крестьяне. На основаніи ст. 127 и 188 общ. пол. и пол. о вык. могутъ принимать по отношенію недоимщиковъ слѣдующія мѣры: 1) обратить на возмѣщеніе недоимокъ доходъ съ принадлежащаго недоимщику въ собственность недвижимаго имущества; 2) отдать самого недоимщика или члена его семьи въ заработки; 3) опредѣлить къ недоимщику опекуна; 4) продать недвижимое имущество недоимщика, за исключеніемъ усадьбы; 5) продать часть движимаго имущества и строеній недоимщика, ко-

горыя не составляютъ необходимости въ его хозяйствѣ, и 6) отобрать у недоимщика часть или даже весь полевой надѣлъ. Еслибы за всѣми этими мѣрами недоимка осталась непополненною къ 1 октября, то общество обязано разложить ее на своихъ членовъ по раскладкѣ и взнести непремѣнно къ 1 января (ст. 189, ibid.). А еслибы и это не очистило недоимки, то полиція обязана немедленно же принять мѣры понужденія къ сельскому обществу (ст. 190, ibid); а еслибы и засимъ недоимка оставалась за обществомъ, полиція продаетъ движимое имущество членовъ общества (191, ibid). Законодатель самъ признаетъ разорительность этихъ мѣръ и въ примѣчаніи къ ст. 188 общ. пол. рекомендуетъ принимать обществу мѣры въ упомянутыхъ выше пунктахъ 4, 5 и 6 „только въ крайнихъ случаяхъ, когда всѣ другія мѣры окажутся недостаточными для пополненія недоимки". Точно такъ же, на основаніи п. 2 ст. 154 пол. о губ. и уѣздн. крестьян. учрежд., „губернаторъ, поручая уѣздной полиціи немедленное взысканіе недоимокъ (когда за обществомъ накопится недоимокъ свыше суммы полугодового оклада), *если сіе посредствомъ крестьянъ возможно безъ разоренія ихъ*, вмѣстѣ съ тѣмъ обязанъ указать ей, какая именно изъ допускаемыхъ закономъ мѣръ взысканія должна быть принята". Но очевидно, что эти робкія ограниченія на ряду съ существующей въ томъ же законѣ строгой отвѣтственностью губернской и уѣздной администраціи не только „за попущеніе недоимокъ" (ст. 550 уст. о подат., изд. 1857 г.), но даже и за „послабленія" при ихъ взысканіи (ст. 552, ibid), остаются лишь благими пожеланіями.

А результатъ дѣйствія такихъ мѣръ можетъ быть только одинъ: платежеспособность населенія должна падать все больше и больше, независимо отъ всякихъ другихъ неблагопріятныхъ для крестьянскаго хозяйства условій.

Сложеніе старыхъ недоимокъ, по нашему мнѣнію, есть лишь первый шагъ въ податной реформѣ; при существующихъ непосильныхъ платежахъ это должно лишь *замедлить*, но *не установитъ* въ будущемъ ростъ недоимокъ; мы уже видѣли, что послѣ всемилостивѣйшихъ манифестовъ 1856, 1880 и 1883 гг., слагавшихъ каждый разъ значительныя недоимки, эти послѣднія тѣмъ не менѣе вновь появлялись, а за послѣднее 20-лѣтіе росли съ такой быстротой, что дальнѣйшія сложенія оказывались почти даже незамѣтными. Очевидно, что въ борьбѣ съ недоимками долженъ быть избранъ другой путь—уменьшеніе самыхъ податей и поднятіе экономической состоятельности крестьянства. Съ начала нынѣшняго царствованія наша податная политика и вступила на этотъ путь. Закономъ 28 декабря 1881 г. выкупные платежи помѣщичьихъ крестьянъ были понижены

на 12 мил. руб. въ годъ. Пониженіе было общее, распространявшееся на всѣхъ крестьянъ, какъ состоявшихъ въ то время на выкупѣ, такъ и имѣвшихъ перейти на оный на основаніи одновременно изданнаго указа о прекращеніи обязательныхъ отношеній крестьянъ къ помѣщикамъ съ 1 января 1883 г.,—и добавочное или спеціальное, опредѣленное для тѣхъ селеній этихъ крестьянъ, хозяйство которыхъ пришло въ разстройство [1]). Общее пониженіе опредѣлено въ 1 р. съ душевого надѣла для мѣстностей Великороссійскаго Положенія 19 февраля 1861 г., и въ 16% съ годового оклада выкупного платежа для мѣстностей Малороссійскаго Положенія. Пониженіе должно было начаться съ іюля 1882 г. для вышедшихъ на выкупъ, и съ 1 января 1883 г.—для бывшихъ временно обязанныхъ. Еще большее облегченіе принесла крестьянскому населенію отмѣна по европейской Россіи подушной подати, начавшаяся съ 1883 г. и окончившаяся къ 1887 г.; съ этого времени подушная подать осталась только въ Сибири. Закономъ 18 мая 1882 г. прекращалось взиманіе подушной подати: съ 1 января 1883 г. съ мѣщанъ дворовыхъ и съ тѣхъ изъ крестьянъ, которые безъ земельныхъ надѣловъ приписаны къ волостямъ, или которые получили отъ помѣщиковъ четвертной дарственный надѣлъ. Закономъ 28 мая 1885 г. окончательно отмѣнялась подушная подать съ 1 января 1886 г. у всѣхъ крестьянъ, не платившихъ оброчную подать (помѣщичьи и удѣльные), а съ 1 января 1887 г. и у государственныхъ крестьянъ. О размѣрѣ облегченій, послѣдовавшихъ съ отмѣною подушной подати, можно судить по слѣдующимъ общимъ цифрамъ годовыхъ окладовъ по европейской Россіи подушной подати:

	Въ 1882 г.	Въ 1885 г.	Въ 1886 г.
	Въ тысячахъ рублей.		
Окладъ помѣщ. крестьянъ . . .	23.422,9	10.338,8	—
„ госуд. „ . . .	23.758,4	20.188,9	13.291,6
„ удѣльныхъ „ . . .	2.167,9	1.718,3	—

Если принять окладъ подушной подати 1882 г. наивысшимъ, то со всѣхъ податныхъ сословій европейской Россіи въ общемъ сложено около 55 мил. руб.; но, какъ мы говорили уже, за это время повышенъ (съ 1 января 1884 г.) государственный поземельный налогъ (съ 7.660,3 тыс. р. до 11.738,7 тыс. р.), и съ 1887 г., вмѣсто оброчной подати государственныхъ крестьянъ выкупные платежи ихъ; въ 1886 г. общій окладъ оброчной подати съ государственныхъ крестьянъ по европейской Россіи былъ въ 33,7 мил. руб., а въ 1887 г.

[1]) Для крестьянъ, вышедшихъ къ 1832 г. на выкупъ, общее пониженіе составляло въ 6.382.204 р., а спеціальное—4.583.270 р.

выкупные платежи ихъ опредѣлялись въ 49,3 тыс. руб. Въ общемъ новое увеличеніе по поземельному налогу и выкупу составляло около 20 мил. руб., при которыхъ на долю крестьянъ падаетъ до 18 мил. руб.; а такъ какъ пониженіе выкупныхъ платежей и отмѣна подушной подати уменьшили и платежи приблизительно на 61 мил. рублей, то за новымъ повышеніемъ податей крестьяне съ 1887 г. платятъ въ казну меньше противъ 1882 г. по крайней мѣрѣ на 40—45 мил. руб.

И если послѣ всего этого, и послѣ сложенія недоимокъ въ 1880 и 1883 г., послѣднія все-таки продолжаютъ расти, то очевидно, что предпринятыя облегченія въ платежахъ крестьянъ еще слишкомъ недостаточны, по крайней мѣрѣ при нынѣшнемъ положеніи крестьянскаго хозяйства. Очень можетъ быть и даже весьма вѣроятно, что еслибы указанныя облегченія и податная реформа произошли лѣтъ на 20 или даже 15 ранѣе, когда разстройство крестьянскаго хозяйства и его задолженность частнымъ лицамъ не сдѣлались еще, какъ нынѣ, общимъ явленіемъ, то даже и настоящее пониженіе выкупныхъ платежей вмѣстѣ съ отмѣной подушной подати дали бы другіе результаты; теперь же такое облегченіе недостаточно не только для поднятія экономическаго благосостоянія крестьянства, но даже и для того, чтобы удержать его платежеспособность хотя бы на прежней высотѣ.

Разсматривая недоимочность государственныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ отдѣльно по ихъ спеціальнымъ платежамъ—оброчной подати и выкупнымъ платежамъ,—можно видѣть, какъ неодинаково падала платежеспособность у тѣхъ и другихъ. Обременительные выкупные платежи, вмѣстѣ съ тяжестью подушной подати, въ первое же десятилѣтіе реформы давали знать, что они выше платежныхъ силъ помѣщичьихъ крестьянъ, и выкупная недоимка у этихъ уже къ концу 60-хъ превосходила половину годового оклада; у государственныхъ же крестьянъ въ первый разъ до полуоклада она достигаетъ лишь въ срединѣ 80-хъ годовъ [1]); но съ этого времени пла-

[1]) Движеніе недоимокъ у помѣщичьихъ крестьянъ по выкупнымъ платежамъ (въ тыс. руб. въ концѣ года) по отчету госуд. контроля:

Года.	Окладъ.	Недоимки.	Года.	Окладъ.	Недоимки.	Года.	Окладъ.	Недоимки.
1863	2.860,7	1.759,3	1873	39.469,4	15.938,7	1883	46.637,2	18.826,1
1864	7.930,3	4.435,9	1874	40.095,8	15.143,8	1884	44.464,8	16.096,5
1865	13.736,3	6.469,6	1875	40.713,5	15.121,5	1885	46.897,6	18.908,6
1866	20.537,4	9.827,0	1876	41.045,6	17.014,0	1886	42.644,7	20.384,6
1867	25.552,7	11.983,6	1877	41.832,3	18.381,0	1887	42.626,9	17.500,4
1868	30.747,2	17.120,6	1878	43.211,1	17.461,1	1888	42 951,2	14.525,4
1869	32.124,2	15.696,6	1879	43.462,3	17.371,8	1889	42.636,6	14.654,3
1870	32.028,0	20·596,8	1880	44.142,4	20.180,1	1890	41.652,3	15.956,4
1871	35.073,6	19.164,5	1881	44.968,9	23.649,6	1891	41.613,5	23.301,3
1872	38.086,7	18.718,7	1882	45.447,1	26.830,3	1892	41.194,8	28.940,2

тежеспособность тѣхъ и другихъ совершенно измѣняется: недоимки у помѣщичьихъ крестьянъ почти останавливаются въ своемъ ростѣ, особенно послѣ манифеста 1883 г., тогда какъ у государственныхъ крестьянъ онѣ, со средины 80-хъ годовъ, начинаютъ быстро расти, и уже ко времени преобразованія оброчной подати въ выкупные платежи недоимка составляетъ $^2/_3$ оклада—предѣлъ, котораго недоимки помѣщичьихъ крестьянъ достигли лишь послѣ бѣдствій 1891-1892 гг. Это различіе въ платежеспособности ихъ съ особенной рѣзкостью и выступило послѣ этихъ бѣдствій; послѣ 1891 г. недоимка помѣщичьихъ крестьянъ не составляла и $^2/_3$ оклада, а у государственныхъ она равнялась уже окладу; послѣ 1892 г. у первыхъ она была немного болѣе $^2/_3$ оклада, у государственныхъ же крестьянъ превосходила годовой окладъ болѣе чѣмъ на $^1/_4$ его и составляла 126,7% его. Эта разница въ ростѣ недоимокъ съ несомнѣнностью указываетъ на безотлагательную необходимость пониженія выкупныхъ платежей у государственныхъ крестьянъ; но такъ какъ ростъ недоимки не останавливается и у помѣщичьихъ крестьянъ, то и они нуждаются въ новомъ пониженіи своихъ платежей, чтобы не уменьшать своей платежеспособности отъ чрезмѣрной задолженности.

И къ такому заключенію необходимо приводитъ насъ разсмотрѣніе податного и недоимочнаго вопроса съ точки зрѣнія лишь однихъ фискально-казенныхъ интересовъ. Даже и временное пониженіе платежей, въ связи съ введеніемъ болѣе равномѣрной, чѣмъ нынѣ, раскладки ихъ, а также съ предполагаемыми экономическими реформами для увеличенія производительности крестьянскаго труда и вообще для поднятія благосостоянія народа,—въ будущемъ создало бы для казны настолько сильнаго и надежнаго плательщика, что никакія стихійныя бѣдствія, въ родѣ неурожаевъ, эпидемій и эпизоотій, не могли бы останавливать, какъ это происходитъ до сихъ поръ, прогрессивнаго хода государственной и общественной жизни, не могли бы создавать затрудненій нашему колоссальному бюджету.

У государственныхъ крестьянъ по оброчной подати и выкупнымъ платежамъ по имперіи; изъ ежегодниковъ мин. финанс. до 1887 г., а далѣе по отчетамъ государственнаго контроля.

Года.	Окладъ.	Недоимки.	Года.	Окладъ.	Недоимки.	Года.	Окладъ.	Недоимки.
1872	34.717,3	7.868,5	1879	35.521,2	10.390,7	1886	36.514,7	23.295,9
1873	35.000,4	8,837,2	1880	35.479,2	13.747,7	1887	50.771,4	25,775,0
1874	34.624,9	9.215,9	1881	35.373,5	15.609,3	1888	50.271,7	22.062,5
1875	33.759,1	8.766,8	1882	35.110,7	10.280,4	1889	49.857,3	24.366,5
1876	34.216,5	7.844,2	1883	34.671,4	11.751,8	1890	49.834,8	29.821,1
1877	35.372,5	9.633,5	1884	35.678,2	15.160,0	1891	49.836,6	49.011,9
1878	35.373,8	9.783,8	1885	36.199,5	19.278,9	1992	49.789,2	63.005,3

Разсматривать необходимость пониженія платежей съ точки зрѣнія интересовъ крестьянскаго хозяйства и вообще народнаго благосостоянія, полагаемъ, нѣтъ нужды: посильные подати и налоги есть первый и необходимый залогъ къ развитію и упроченію благосостоянія въ народѣ; они устанавливаютъ естественныя отношенія между трудомъ и капиталомъ и нормальный ростъ рентъ, усиливаютъ производительность труда, дѣлаютъ самостоятельнымъ каждое мелкое хозяйство, къ типу котораго принадлежатъ всѣ хозяйства нашихъ крестьянъ. Посильныя подати въ высокой степени усилятъ развитіе нашей мелкой, а за нею и крупной промышленности, поднимутъ не только національное, но и народное богатство и создадутъ тѣ нормальныя отношенія между ростомъ государственнаго бюджета и народнаго богатства, которыя у насъ уже давно нарушены.

Наконецъ, необходимость пониженія податей съ крестьянъ диктуется и справедливостью. Теперь, когда рушились крѣпостничество съ одной, и привилегіи—съ другой стороны, когда съ отмѣной подушной подати, этого прежняго податного клейма, нѣтъ больше дѣленій сословій на податныя и неподатныя, когда предъ закономъ объявлены всѣ одинаково равными,—теперь, казалось бы, и вопроса о податныхъ привилегіяхъ не должно существовать. Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Съ отмѣною подушной и преобразованіемъ оброчной подати и лѣсного налога, изъ числа прежнихъ прямыхъ податей теперь у насъ въ числѣ этихъ послѣднихъ состоитъ какъ будто лишь одинъ государственный поземельный налогъ [1]), образованный изъ государственнаго земскаго сбора и одинаково лежащій на земляхъ крестьянъ, частныхъ землевладѣльцевъ, городовъ, монастырей и даже удѣла, но въ сущности дѣло остается по старому. Оброчная подать и лѣсной налогъ, выплачивавшіеся прежде государственными крестьянами, остаются и теперь только на нихъ же; дореформенные оброки и барщина удѣльныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ остаются и продолжаютъ выплачиваться только одними этими же крестьянами. Все дѣло въ перемѣнѣ названій; теперь всѣ эти платежи называются только не податями, а выкупными платежами. Система выкупа, являясь операціей лишь чисто финансовой, не коснулась сущности прежнихъ податныхъ отношеній между различными сословіями; эти отношенія остаются прежними. Еслибы и дѣйствительно выкупъ являлся единственно вѣрнымъ средствомъ къ прекращенію прежней крѣпостной зависимости удѣльныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ и къ упро-

[1]) Значащіеся по росписямъ въ отдѣлѣ *прямыхъ налоговъ* еще сборы: торговый и съ денежныхъ капиталовъ, не имѣютъ ничего общаго съ прежними податями, а сборъ съ недвижимыхъ имуществъ есть сборъ только съ городовъ вмѣсто прежней подушной подати съ мѣщанъ (въ 1863 г.).

ченію замлевладѣнія, какъ у нихъ, такъ и у государственныхъ крестьянъ, то почему онъ является частнымъ, но не общегосударственнымъ дѣломъ? Въ сущности выкупъ, по крайней мѣрѣ у государственныхъ крестьянъ, является не земельнымъ, а податнымъ выкупомъ: выкупается прежняя оброчная подать и лѣсной налогъ, земли же всегда считались во владѣніи сельскихъ обществъ; по аналогіи съ этимъ и потому, что историческое происхожденіе оброчной подати было тѣсно связано съ оброкомъ и барщиной удѣльныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ, и выкупные платежи этихъ послѣднихъ въ сущности являются также податнымъ выкупомъ. Почему за историческую ошибку государства, раздававшаго прежде государственныя земли и жившихъ на нихъ казенныхъ крестьянъ отдѣльнымъ лицамъ и учрежденіямъ, и теперь должны расплачиваться только эти же самые крестьяне; почему выкупъ земель у удѣла—для удѣльныхъ, у помѣщиковъ—для ихъ бывшихъ крестьянъ, и у государства—для его же собственныхъ крестьянъ—не взять на себя самому государству и не сдѣлать это на общегосударственныя средства? Это отступленіе въ область сословно-правовыхъ отношеній мы сдѣлали лишь попутно, не желая въ настоящее время касаться этихъ вопросовъ, а лишь выясняя себѣ, насколько нынѣшняя податная система далека отъ прежней, до-реформенной, построенной на сословныхъ различіяхъ. И мы видѣли, что хотя формально эта система и отказалась отъ прежнихъ сословно-податныхъ привилегій, но сущность дѣла остается почти въ прежнемъ положеніи, замѣнивъ одни названія другими. Это послѣднее обстоятельство и выдвигаетъ нашъ вопросъ, если уже не о коренномъ преобразованіи прежнихъ податныхъ отношеній, то о пониженіи нынѣшнихъ крестьянскихъ платежей безъ различія ихъ названій.

Въ заключеніе обратимъ вниманіе еще на одно обстоятельство. Въ нашихъ законахъ до сихъ поръ совершенно отсутствовало указаніе на сроки, наиболѣе удобные для плательщиковъ по взысканію съ нихъ недоимокъ. Прежній и новый (1878 г.) законъ о срокахъ взноса податей имѣетъ въ виду установленіе обязательныхъ сроковъ взноса лишь текущаго годового оклада податей, и признавая, что необременительными для плательщиковъ взносами податей могутъ быть лишь тѣ, которые дѣлаются въ мѣсяцы, когда населеніе обладаетъ наибольшею платежеспособностію, законъ рекомендуетъ губернскимъ присутствіямъ сообразно съ этими періодами наибольшей платежеспособности устанавливать для каждой волости и частные сроки взноса податей (примѣч. къ ст. 168 общ. пол. о крест.). Для взысканія недоимокъ никакихъ такихъ сроковъ не устанавливается; къ взысканію ихъ полиція приступаетъ

„немедленно", какъ только за какимъ-либо обществомъ накопятся недоимки свыше полугодового оклада (п. 2 ст. 154 полож. о губ. и уѣзд. по кр. дѣл. учр.), и недоимка взыскивается тогда, когда это удобно для полиціи и волостного начальства. Очевидно, что если обременительными признаются несвоевременные сроки взноса текущаго оклада, то не менѣе, а еще болѣе обременительными должны быть несвоевременныя взысканія недоимокъ. Въ этомъ отношеніи взысканіе недоимокъ во время полевыхъ работъ или ухода недоимщиковъ на сторонніе заработки и вообще до жатвы должно быть признано особенно разорительнымъ для хозяйства недоимщиковъ. Нельзя, казалось бы, также не обратить вниманія на непропорціональную строгость мѣръ взысканія, рекомендуемыхъ съ одной стороны для сельскихъ обществъ, съ другой—для частныхъ землевладѣльцевъ. Принятіе мѣръ по взысканію недоимокъ съ крестьянъ, рекомендуемыхъ ст. 188 общ. пол., можетъ начаться тотчасъ же по окончаніи каждаго полугодового срока, послѣ котораго недовнесенный текущій окладъ считается по закону уже недоимкой. По отношенію частныхъ землевладѣльцевъ рекомендуется полиціи принятіе только понудительныхъ мѣръ не ранѣе, какъ по окончаніи полнаго податного года, а приступать къ описи имущества недоимщика еще черезъ полгода послѣ того, самая же продажа его—послѣ соблюденія всѣхъ установленныхъ для сего закономъ предварительныхъ провѣрокъ и публикацій—можетъ наступить не ранѣе какъ черезъ годъ или полтора послѣ окончанія того года, за который накопилась недоимка. И такое вниманіе и предусмотрительность къ интересамъ недоимщиковъ, конечно, ничего кромѣ пользы не можетъ приносить, а потому распространеніе этого порядка взысканія недоимокъ на сельскія общества также желательно.

Вмѣстѣ съ этимъ настоятельно необходимо измѣненіе самыхъ мѣръ взысканія, рекомендуемыхъ сельскимъ обществамъ по отношенію къ ихъ недоимщикамъ односельчанамъ (188 ст. общ. пол.) и полиціи—по отношенію къ сельскимъ обществамъ (ст. 190 и 191 общ. пол.). Нужно помнить, что эти мѣры всѣ безъ исключенія созданы еще въ прошломъ и началѣ нынѣшняго вѣка и уже въ законѣ 1834 г. имѣли редакцію едва не тожественную съ нынѣшней; въ редакціи нынѣшнихъ мѣръ отсутствуетъ лишь параграфъ, рекомендующій принятіе противъ недоимщиковъ „исправительныхъ мѣръ"—попросту, розогъ. Но если этотъ параграфъ въ изданіи законовъ 1857 г. былъ уже выпущенъ, то всякому извѣстно, что административная практика при взысканіи недоимокъ еще не разстается съ ними, имѣя возможность обходить умолчаніе закона о розгахъ при взысканіи недоимокъ различными способами. Очевидно, что прекращеніе этой постыдной мѣры, примѣняемой нынѣ во время взысканій податей часто къ людямъ ни-

когда и ничѣмъ неопороченнымъ, но лишь по различнымъ несчастіямъ впавшимъ въ недоимки, можетъ быть прекращена только изданіемъ закона, воспрещающаго примѣненіе ея, по крайней мѣрѣ, при взысканіяхъ недоимокъ. Точно также нуждается въ законодательномъ или, по меньшей мѣрѣ, въ циркулярномъ разъясненіи и слѣдующее обстоятельство. Законъ о взиманіи текущаго оклада податей, нигдѣ не устанавливаетъ никакихъ мѣръ ко *взысканію* ихъ; слѣдовательно, при взносѣ текущаго оклада во все время общихъ полугодовыхъ сроковъ (до 1-го іюля и до 1-го января) къ плательщикамъ не могутъ быть примѣняемы ни одна изъ мѣръ взысканія, указанная въ ст. 188 общ. пол.; для тѣхъ же, которые въ теченіе общихъ полугодовыхъ сроковъ оказываются неисправными плательщиками къ какому-либо изъ частныхъ сроковъ въ каждомъ полугодіи, законъ дозволяетъ сельскому и волостному начальству принимать лишь „мѣры *побужденія*“, состоящія въ штрафѣ до 1 руб. или въ 2 дняхъ ареста, но и эти мѣры побужденія примѣняются лишь къ тѣмъ изъ неисправныхъ, „которые будутъ признаны таковыми по упорству или нерадѣнію“ (п. 4 примѣч. ст. 168 общ. пол. о кр.). Несмотря на это, губернская администрація нерѣдко прибѣгаетъ ко *взысканію* и текущаго оклада мѣрами, установленными лишь для недоимокъ. Какъ на примѣръ въ этомъ случаѣ можно указать на циркуляръ вятскаго губернатора, 6-го октября 1887, № 5851, уѣзднымъ крестьянскимъ присутствіямъ, исправникамъ, становымъ приставамъ и волостнымъ правленіямъ [1]), гдѣ сказано: „предписываю сельскимъ и волостнымъ начальствамъ и полиціямъ къ неукоснительному исполненію, чтобы первые, по истеченіи *каждаго частнаго срока, тотчасъ принимали мѣры взысканія съ крестьянъ неуплаченныхъ въ срокъ платежей*, а за симъ полиція, по истеченіи перваго полугодичнаго окончательнаго срока, т.-е. въ періодъ съ 1-го іюля по 31-е декабря, принимала мѣры взысканія съ неисправныхъ сельскихъ обществъ по раскладкѣ невнесенныхъ платежей на все общество, согласно круговой порукѣ (ст. 190 и 191 общ. пол.). Такимъ же образомъ полиція должна дѣйствовать и въ отношеніи взысканія оклада второй половины, начиная тотчасъ по истеченіи второго полугодичнаго окончательнаго срока, т.-е. съ 1-го января“. Обѣ части этого предписанія не согласуются съ точнымъ смысломъ законовъ о взысканіи податей; первая часть противорѣчитъ указанному нами закону о взиманіи текущаго оклада, которымъ не допускаются никакія „мѣры взысканія неуплаченныхъ въ частные сроки платежей“. Предписаніе же полиціи

[1]) Напечатанъ въ „Сборникѣ циркуляровъ вятскаго губернскаго начальства“. Вятка 1891 г., стр. 80.

противорѣчитъ ст. 189 общ. полож., которая говоритъ: „еслибы недоимка, лежащая на крестьянинѣ, за всѣми употребленными мѣрами (обозначенными въ ст. 188), не была пополнена къ 1 октября, то она раскладывается сельскимъ сходомъ на прочихъ крестьянъ того же общества и должна быть очищена къ 1 января". И только послѣ этихъ, такъ сказать, домашнихъ мѣръ взысканія рекомендуется закономъ примѣненіе уже указанныхъ губернаторомъ ст. 190 и 191, когда начинаетъ производить взысканіе полиція. По предписанію губернатора, полиція приступаетъ ко взысканію недоимки мѣрами, указанными въ ст. 190 и 191, съ 1-го іюля, т.-е. еще тогда, когда общество не успѣетъ сдѣлать даже раскладки ея между членами; такимъ образомъ, взысканіе недоимки 1-го полугодія начинается на полгода, а II-го полугодія—на годъ ранѣе противъ указаннаго въ законѣ срока.

П. Голубевъ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 октября 1894 г.

Задачи „отдѣла мѣстныхъ учрежденій“ въ коммиссіи для пересмотра законоположеній по судебной части.—Различные способы объединенія „мѣстной юстиціи“ и разграниченія вѣдомствъ министерства юстиціи и министерства внутреннихъ дѣлъ.—Совмѣстима ли должность земскаго начальника съ другими званіями?—Земскіе начальники и крестьянское хозяйство.—Новый законъ о надзорѣ за страховыми учрежденіями.

Одинъ изъ четырехъ отдѣловъ коммиссіи, учрежденной для пересмотра законоположеній по судебной части, займется, какъ извѣстно, *мѣстными судебными учрежденіями*. Уже отсюда позволительно заключить, что упорядоченіе этихъ учрежденій составляетъ одну изъ главныхъ задачъ предпринятой реформы. Въ рѣчи, произнесенной министромъ юстиціи при открытіи коммиссіи, прямо подчеркнута „чрезвычайная сложность и важность предмета, затрогивающаго вседневные насущные нужды и интересы мѣстнаго и преимущественно сельскаго населенія“. „Здѣсь,—продолжалъ г. министръ,—прежде всего возникаетъ вопросъ о согласованіи и объединеніи между собою всѣхъ многоразличныхъ институтовъ мѣстной юстиціи: а) судебной части судебно-административныхъ учрежденій по закону 12-го іюля 1889 г.; б) мирового суда выборнаго въ столицахъ и нѣкоторыхъ большихъ городахъ; в) мирового суда по назначенію отъ правительства, дѣйствующаго въ прибалтійскихъ и привислянскихъ губерніяхъ, въ сѣверо-западномъ и юго-западномъ краѣ, въ губерніяхъ архангельской и вологодской, на Кавказѣ, въ Туркестанѣ и степныхъ областяхъ, и г) сибирскихъ окружныхъ судовъ“. Далѣе, въ рѣчи г. министра намѣчаются, между прочимъ, слѣдующіе вопросы: „1) не окажется ли возможнымъ выработать для всей Россіи такой средній общій типъ мѣстнаго ближайшаго къ населенію суда, который, удовлетворяя потребностямъ губерній, управляемыхъ на общемъ основаніи, въ то же время былъ бы настолько эла-

стиченъ и удобенъ, что его можно было бы примѣнить, съ нѣкоторыми частными измѣненіями, и къ окраинамъ? 2) Не нужно ли, въ связи съ этимъ, существенно измѣнить постановку судебной части въ новыхъ судебно-административныхъ учрежденіяхъ, въ смыслѣ разграниченія вѣдомствъ министерства внутреннихъ дѣлъ и юстиціи? 3) Не должна ли мѣстная юстиція представлять собою первую низшую судебную единицу, обнимающую и собственно судъ по дѣламъ менѣе значительнымъ, и участіе въ судѣ по дѣламъ болѣе важнымъ, и слѣдственную часть, и охранительное производство, и нотаріальное дѣло, и всѣ вообще функціи такъ называемаго судебнаго управленія? 4) Въ какихъ отношеніяхъ должна находиться мѣстная юстиція къ судебной власти, предоставленной мѣстнымъ административнымъ учрежденіямъ, и къ суду волостному или ему соотвѣтствующимъ (гминному, крестьянскому, станичному)?"

Программа, начертанная въ этихъ вопросахъ, весьма обширна: осуществленіе ея, въ какой бы то ни было мѣрѣ и въ какихъ бы то ни было предѣлахъ, немыслимо безъ значительныхъ измѣненій въ законахъ 12-го іюля 1889 года. Любопытно было бы знать, ожидается ли, предвидится ли *принципіальное* противодѣйствіе такой перемѣнѣ? Будетъ ли противопоставлена ей fin de non recevoir, основанная на томъ, что нельзя прикасаться къ постройкѣ только-что возведенной и возведенной, вдобавокъ, по систематически обдуманному плану? Благопріятнымъ въ этомъ отношеніи признакомъ можетъ показаться отзывъ газеты, преклонявшейся передъ новыми судебно-административными учрежденіями еще до введенія ихъ въ дѣйствіе и не перестающей, съ тѣхъ поръ, сочинять въ ихъ честь побѣдные и хвалебные гимны. Вотъ что сказано въ передовой статьѣ „Московскихъ Вѣдомостей" (№ 160), написанной именно по поводу приведенныхъ нами словъ министра юстиціи. „Наши читатели знаютъ наше отношеніе къ закону 12-го іюля 1889 года. Высоко цѣня въ немъ все, что воплощало собой основную идею учрежденія, что дѣйствительно создавало близкую къ народу твердую правительственную власть, мы всегда посильно указывали иныя, слабыя стороны преобразованія, лишь умалявшія благодѣтельное, можно сказать спасительное значеніе его для Россіи вообще и для нашего сельскаго населенія въ частности; главнѣйшая же изъ этихъ сторонъ и заключалась въ тѣхъ условіяхъ, которыми обставлена судебная дѣятельность земскаго начальника, сдѣлавшая его наполовину прежнимъ мировымъ судьей, со всѣми выяснившимися долгою практикой недостатками этого званія. Поэтому, какъ ни много можно сказать, съ чисто теоретической стороны, противъ ломки всякаго новаго, не успѣвшаго еще окрѣпнуть, учрежденія,—не мы будемъ защищать

неприкосновенность установленій, созданныхъ 12-го іюля 1889 года, въ отношеніи тѣхъ сторонъ ихъ, которыя не составляютъ ихъ сущности и не обусловливаются ихъ главнымъ назначеніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, нельзя не признать, что общій пересмотръ всей нашей судебной организаціи едва-ли былъ бы и осуществимъ безъ включенія въ него мѣстной юстиціи". Весьма характеристичны, повидимому, въ особенности послѣднія слова, констатирующія невозможность обойтись безъ нѣкоторыхъ передѣлокъ въ новыхъ судебно-административныхъ учрежденіяхъ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, однако, что дальше *видимости* дѣло здѣсь не идетъ, и что уступка, допускаемая газетой, принадлежитъ къ числу тѣхъ „данайскихъ даровъ", которые должны быть принимаемы съ крайней осторожностью и большими опасеніями. Разумная судебная реформа не можетъ стремиться ни къ чему иному, какъ къ закрѣпленію за судебною властью, въ чьихъ бы рукахъ она ни находилась, характера по истинѣ *судебнаго*, т.-е. *закономѣрнаго*—или къ возвращенію ей этого характера, тамъ гдѣ она его въ бо̀льшей или меньшей степени потеряла. Реакціонная пресса, критикуя законоположенія 12-го іюля, всегда имѣла въ виду нѣчто прямо противоположное: въ организаціи и функціонированіи новыхъ учрежденій ей не нравилась именно та доля закономѣрности, которая въ нихъ сохранилась. На этой же точкѣ зрѣнія „Московскія Вѣдомости" стоятъ, въ сущности, и теперь, высказываясь противъ сходства земскихъ начальниковъ съ мировыми судьями, т.-е. противъ всего того, что̀ даетъ дѣятельности земскихъ начальниковъ, какъ *судей*, окраску хоть отчасти судебную. Пересмотръ положенія о земскихъ начальникахъ, предпринятый и проведенный въ этомъ духѣ, неминуемо повлекъ бы за собою новое и весьма существенное отступленіе отъ основныхъ началъ нормальнаго судоустройства и судопроизводства... Едва ли, впрочемъ, статья московской газеты выражаетъ, на этотъ разъ, настроеніе тѣхъ сферъ, откуда вышло преобразованіе 1889 г. Авторамъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, свойственна любовь къ своему созданію; они расположены считать его безукоризненнымъ, совершеннымъ или требующимъ лишь частныхъ, маловажныхъ поправокъ. Мы слышали, что во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ введены земскіе начальники, собираются въ настоящее время не только фактическія данныя о числѣ и свойствѣ судебныхъ дѣлъ, ими разрѣшенныхъ, но и отзывы должностныхъ лицъ объ общемъ характерѣ и направленіи судебной дѣятельности земскихъ начальниковъ. Трудно предположить, чтобы эта работа имѣла цѣлью выяснить необходимость коренного преобразованія; гораздо правдоподобнѣе, что она должна доставить матеріалы для удостовѣренія его ненужности.

Присмотримся теперь поближе къ самому содержанію вопросовъ, поставленныхъ въ рѣчи г. министра юстиціи. Предрѣшаютъ ли они, и въ какой степени, направленіе работы, предстоящей отдѣлу мѣстныхъ учрежденій, позволяютъ ли они уловить руководящую мысль иниціатора реформы?—„Согласовать", „объединять" можно въ какомъ угодно смыслѣ. Можно, напримѣръ, всюду ввести земскихъ начальниковъ, замѣнивъ ими и выборный мировой судъ, и мировой судъ по назначенію, и сибирскіе окружные суды; можно, наоборотъ, повсемѣстно установить мировой судъ, въ одной формѣ или въ нѣсколькихъ; можно создать нѣчто новое, до сихъ поръ у насъ небывалое. Во всѣхъ этихъ случаяхъ можетъ выработаться „средній, общій для всей Россіи типъ мѣстнаго, ближайшаго къ населенію суда", достаточно эластичный для примѣненія и къ центру, и къ окраинамъ. Ничего опредѣленнаго не заключаютъ въ себѣ и вопросы объ измѣненіи постановки судебной части въ нашихъ судебно-административныхъ учрежденіяхъ, объ отношеніи „мѣстной юстиціи" къ этимъ учрежденіямъ и къ волостному суду. Единственный вопросъ, врѣзывающійся нѣсколько глубже въ самую суть дѣла, формулированъ слѣдующимъ образомъ: „не должна ли мѣстная юстиція представлять собою первую низшую судебную единицу, обнимающую и собственно судъ по дѣламъ менѣе значительнымъ, и участіе въ судѣ по дѣламъ болѣе важнымъ, и слѣдственную часть, и охранительное производство, и нотаріальное дѣло, и всѣ вообще функціи такъ называемаго судебнаго управленія?" Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что при такой организаціи мѣстной юстиціи представителемъ ея могъ бы явиться только судья, соединяющій въ себѣ существенныя черты нынѣшняго уѣзднаго члена окружного суда—т. е. спеціально-образованный юристъ, облеченный высокою степенью довѣрія и дѣйствующій въ довольно обширномъ районѣ. Въ самомъ дѣлѣ, изъ числа функцій, перечисленныхъ въ вопросѣ, въ компетенцію нынѣшняго уѣзднаго члена окружного суда не входитъ ни слѣдственная, ни нотаріальная часть; тѣмъ не менѣе эта должность считается вообще болѣе важною, чѣмъ должность обыкновеннаго члена окружного суда—и совершенно основательно, потому что уѣздный членъ дѣйствуетъ единолично, да и самыя обязанности его чрезвычайно разнообразны; чтобы исполнять ихъ какъ слѣдуетъ, необходимо обладать большою опытностью и многосторонними способностями. Съ присоединеніемъ къ нимъ еще обязанностей нотаріуса и судебнаго слѣдователя уровень требованій, которымъ долженъ соотвѣтствовать судья, повысится еще больше—и сообразно съ этимъ съузится кругъ лицъ, изъ которыхъ онъ можетъ быть назначенъ. Отсюда невозможность увеличить число такихъ судей или, по мень-

шей мѣрѣ, невозможность увеличить его значительно; придется остаться при одномъ судьѣ на цѣлый уѣздъ или имѣть ихъ въ уѣздѣ не болѣе двухъ. О *близости* судьи къ населенію не можетъ, при такихъ условіяхъ, быть и рѣчи; а такъ какъ близость суда, въ дѣлахъ маловажныхъ—потребность безусловно требующая удовлетворенія, то за „низшей судебной единицей" неизбѣжно должны будутъ слѣдовать единицы еще болѣе низкія, т.-е. болѣе доступныя—но уже не чисто-судебныя. „Объединеніе" судебной власти достигнуто, такимъ образомъ, не будетъ. Съ другой стороны, функціи, возлагаемыя на единоличнаго судью, окажутся несогласимыми между собою. Судья, напримѣръ, всегда—за исключеніемъ развѣ заранѣе опредѣленныхъ дней выѣзда на съѣздъ или въ участокъ—долженъ быть на мѣстѣ; еще въ бо́льшей степени это примѣнимо къ лицу, исполняющему обязанности нотаріуса. Судебный слѣдователь, наоборотъ, безпрестанно долженъ находиться въ разъѣздахъ, иногда весьма продолжительныхъ. Слѣдственная часть, притомъ, такъ трудна, такъ сложна, что вести ее съ успѣхомъ можно только отдавая себя ей всецѣло, и отнюдь не занимаясь ею между прочимъ. Недостатки нашего предварительнаго слѣдствія всѣмъ извѣстны, всѣми признаны; много разъ указывалось и на то, что они не могутъ быть устранены безъ поднятія уровня судебныхъ слѣдователей, безъ выработки типа слѣдователя-спеціалиста, слѣдователя по призванію. Соединить производство слѣдствій съ массой другихъ разнородныхъ функцій, значило бы пойти прямо въ разрѣзъ съ тридцатилѣтнимъ опытомъ, отказаться отъ всякой мысли о серьезномъ улучшеніи слѣдственной части [1]).

Этимъ не ограничиваются еще неудобства, сопряженныя съ созданіемъ судьи-энциклопедиста, судьи pour tout faire. Единоличный судья, являющійся, вмѣстѣ съ тѣмъ, судебнымъ слѣдователемъ, членомъ судебной коллегіи (въ періоды прибытія ея на мѣсто), нотаріусомъ, носителемъ судебно-охранительныхъ функцій и начальникомъ ипотечнаго отдѣленія [2]), едва ли имѣлъ бы достаточно досуга, чтобы играть дѣятельную роль въ разсмотрѣніи жалобъ на рѣшенія, постановляемыя „самыми низшими", не чисто-судебными единицами.

---

[1]) Мысль о возложеніи на судебныхъ слѣдователей рѣшенія маловажныхъ судебныхъ дѣлъ не нова: она была положена въ основаніе проекта, составленнаго бывшимъ министромъ юстиціи во время послѣдняго фазиса подготовительныхъ работъ къ мѣстной судебно-административной реформѣ. Подробныя возраженія противъ нея можно найти въ нашихъ тогдашнихъ внутреннихъ обозрѣніяхъ („Вѣстн. Европы" 1889 г., №№ 6 и 7).

[2]) Проектъ вотчиннаго устава предполагаетъ, какъ извѣстно, пріуроченіе ипотечныхъ учрежденій къ территоріальнымъ округамъ по возможности небольшимъ—и это, дѣйствительно, необходимо въ интересахъ населенія.

Другими словами, уѣздный членъ окружного суда, подъ новымъ своимъ именемъ и съ своими новыми аттрибуціями, едва ли входилъ бы въ составъ уѣзднаго съѣзда или вообще той коллегіи, которая служила бы апелляціонной инстанціей по дѣламъ наименѣе крупнымъ (но отнюдь не наименѣе важнымъ). Къ этому заключенію мы приходимъ, между прочимъ, и потому, что на очереди давно уже стоитъ расширеніе единоличной судебной власти, въ пользу котораго, судя по его рѣчи, склоняется и г. министръ юстиціи. При бывшемъ министрѣ юстиціи былъ изготовленъ проектъ закона, распространявшій компетенцію уѣзднаго члена окружного суда и по дѣламъ гражданскимъ (до суммы 2.000 рублей, вмѣсто нынѣшнихъ пятисотъ), и по дѣламъ уголовнымъ. Весьма можетъ быть, что эту мысль усвоитъ себѣ и вновь учрежденная коммиссія—и тогда соединеніе въ одномъ лицѣ функцій судьи и функцій непремѣннаго члена уѣзднаго съѣзда (какимъ является теперь, de facto, уѣздный членъ окружного суда) сдѣлается еще болѣе затруднительнымъ или почти невозможнымъ. Отсюда только одинъ шагъ до совершеннаго отдѣленія „мѣстной юстиціи“ отъ мѣстныхъ судебно-административныхъ учрежденій. „Разграниченіе вѣдомствъ министерствъ юстиціи и внутреннихъ дѣлъ“ можетъ быть достигнуто, при этомъ, въ самой простой его формѣ: изъ состава уѣзднаго съѣзда и губернскаго присутствія могутъ быть исключены всѣ должностныя лица, подвѣдомственныя министерству юстиціи (со включеніемъ почетныхъ мировыхъ судей, которыхъ замѣнятъ „почетные земскіе начальники“)—а городскіе судьи, какъ бы въ видѣ эквивалента, могутъ быть подчинены окружному суду. Это „простое“ разрѣшеніе вопроса было бы, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самымъ удобнымъ—не для населенія, конечно, и не для государства, а для обоихъ вѣдомствъ, соприкасающихся, въ настоящее время, съ судебно-административными учрежденіями. Министерство внутреннихъ дѣлъ осталось бы единственнымъ хозяиномъ въ этой области, а министерство юстиціи освободилось бы отъ обвиненій въ поощреніи или допущеніи „конфликтовъ“—обвиненій неизбѣжныхъ до тѣхъ поръ, пока судебные члены уѣздныхъ съѣздовъ хоть сколько-нибудь сознаютъ и чувствуютъ себя судьями. „Очищенныя“ отъ этого элемента, судебно-административныя учрежденія обратились бы всецѣло въ обыкновенныя административныя присутственныя мѣста, облеченныя, между прочимъ, судебною властью; рѣшеніе, въ дѣлахъ судебныхъ, уступило бы здѣсь мѣсто распоряженію.

Указывая на возможныя или, лучше сказать, неминуемыя послѣдствія сосредоточенія въ одномъ лицѣ самыхъ многоразличныхъ судебныхъ функцій, мы вовсе не думаемъ, однако, что именно таковъ будетъ результатъ дѣятельности коммиссіи. Къ совершенному отдѣ-

ленію „мѣстной юстиціи“ отъ „судебно-административныхъ учрежденій“ были направлены, одно время, усилія министерства внутреннихъ дѣлъ; апелляціонную инстанцію надъ земскими начальниками предполагалось первоначально составить исключительно изъ нихъ самихъ, съ присоединеніемъ только, въ качествѣ предсѣдателя, уѣзднаго предводителя дворянства. Трудно допустить, чтобы это предположеніе, отвергнутое въ самый разгаръ увлеченія новою должностью, осуществилось теперь, когда такъ мало уцѣлѣло отъ прежнихъ надеждъ и ожиданій. Еще менѣе вѣроятно, чтобы иниціативу его осуществленія взяло на себя министерство юстиціи. Задачей реформы, предпринятой по иниціативѣ министра юстиціи, является, по его словамъ, „укрѣпленіе истинной законности и справедливости“; она должна привести къ тому, чтобы въ Россіи „царило дѣйствительное правосудіе“; судебные дѣятели „должны обладать нравственнымъ, образовательнымъ и практическимъ цензомъ“ (о цензѣ имущественномъ въ рѣчи г. министра не сказано ни слова), т.-е. быть лицами „во всѣхъ отношеніяхъ благонадежными и *подготовленными къ отправленію суда*“. Все это устраняетъ мысль о судѣ, отправляемомъ не-судебными дѣятелями и внѣ обычныхъ процессуальныхъ гарантій. „Дѣйствительное правосудіе“ можетъ царить только тогда, когда *всякое* судебное дѣло разсматривается настоящимъ судомъ, въ настоящемъ судебномъ порядкѣ. Болѣе чѣмъ странной была бы *судебная реформа*, послѣ которой значительно бо́льшая часть судебныхъ дѣлъ оказалась бы совершенно изъятой изъ вѣденія суда, отрѣшенной отъ всякаго соприкосновенія съ судебнымъ вѣдомствомъ. Мы вполнѣ убѣждены, поэтому, что стремленіе къ концентраціи судебныхъ функцій не возьметъ верхъ надъ стремленіемъ къ концентраціи суда, т.-е. къ сосредоточенію всѣхъ *судебныхъ дѣлъ* въ рукахъ *судебной власти*. Разграниченіе вѣдомствъ только тогда можетъ считаться нормальнымъ, когда оно совпадаетъ съ естественной границей ихъ задачъ и назначеній. Если все касающееся общей администраціи составляетъ законный удѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ, то столь же законно пріуроченіе *всего* судебнаго къ вѣдомству министерства юстиціи... Отмѣтимъ еще одно, весьма важное обстоятельство. Когда новыя судебно-административныя учрежденія проектировались какъ нѣчто совершенно изолированное отъ „мѣстной юстиціи“ и отъ судебнаго вѣдомства, имъ предполагалось предоставить такую свободу дѣйствій въ рѣшеніи судебныхъ дѣлъ, которая не имѣла бы ничего общаго съ обычнымъ судебнымъ процессомъ. Это было совершенно логично: власти, чисто административной по своему составу, подобало быть чисто административною и по своимъ пріемамъ, даже въ области судебныхъ дѣлъ. Другая организація учрежденій повлекла за

собою установленіе другого процессуальнаго порядка: правила 29 декабря 1889 г., общія для земскихъ начальниковъ и для городскихъ судей, мало чѣмъ отличаются отъ судебныхъ уставовъ. Еслибы теперь изъ судебно-административныхъ учрежденій рѣшено было выдѣлить всѣ чисто-судебные элементы, то, во имя послѣдовательности, нужно было бы облечь земскихъ начальниковъ, въ качествѣ судей, значительною долей дискреціонной власти. Нужно ли доказывать, насколько требованія логики разошлись бы, при этомъ, съ требованіями общественнаго интереса?

Чтобы дать земскому начальнику фактическую возможность быть, въ одно и то же время, администраторомъ и судьею, т.-е. заниматься судебными дѣлами безъ слишкомъ явнаго ущерба для его административныхъ функцій, узаконенія 12 іюля 1889 г. должны были значительно расширить компетенцію волостного суда. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что между задачами и силами преобразованнаго волостного суда оказалась величайшая непропорціональность. Увеличилось, быть можетъ—и то не вездѣ—внѣшнее благочиніе при разборѣ дѣлъ, уменьшилась роль попоекъ и посуловъ, но не поднялся и не могъ подняться уровень волостныхъ судей, избираемыхъ тѣмъ же порядкомъ, изъ тѣхъ же элементовъ, при тѣхъ же условіяхъ. Даже грамотность, какъ извѣстно, требуется отъ волостныхъ судей не безусловно, а только *по возможности*—т.-е., въ сущности, вовсе не *требуется*; „уваженіе односельцевъ", которымъ они должны пользоваться—величина неизмѣримая и неуловимая, такъ что и это требованіе остается только на бумагѣ. Жалованье въ нѣсколько десятковъ рублей—не такая приманка, на которую пошли бы лучшіе изъ домохозяевъ, особенно въ виду взысканій, произвольно и безапелляціонно налагаемыхъ на волостныхъ судей земскимъ начальникомъ. Контроль земскаго начальника надъ волостнымъ судомъ обращается, сплошь и рядомъ, то въ простую формальность, то въ давленіе, не оставляющее мѣста для самостоятельности—этого перваго условія нормальной судебной дѣятельности. Учрежденіе апелляціонной инстанціи надъ волостнымъ судомъ безспорно представляетъ перемѣну къ лучшему—но составъ этой инстанціи не служитъ гарантіей правильнаго пониманія особенностей крестьянскаго быта, а число дѣлъ, поступающихъ на ея разсмотрѣніе, не позволяетъ ей относиться къ каждому изъ нихъ внимательно и осторожно. Между тѣмъ, обойтись безъ волостного суда въ настоящее время едва ли возможно, какъ потому, что въ крестьянской жизни сохранилось еще много особенностей, трудно доступныхъ для судьи-юриста, такъ и потому, что при всякой другой организаціи „мѣстной юстиціи" низшая ея ступень оказалась бы слишкомъ заваленной дѣлами и слишкомъ отда-

ленной отъ населенія. Отсюда вытекаютъ сами собою тѣ условія, которымъ долженъ удовлетворять волостной судъ. Компетенція его должна быть ограничена, какъ въ дѣлахъ гражданскихъ, такъ и въ особенности въ дѣлахъ уголовныхъ; самостоятельность его должна быть ограждена въ гораздо бо́льшей мѣрѣ, чѣмъ въ настоящее время; въ апелляціонной надъ нимъ инстанціи должны засѣдать, рядомъ съ лицами сравнительно образованными, представители крестьянства, съ интересами котораго ему приходится, бо́льшею частью, имѣть дѣло. Для такой организаціи волостного суда имѣются готовые образцы въ предѣлахъ имперіи—въ волостныхъ судахъ прибалтійскаго края и въ гминныхъ судахъ привислянскихъ губерній. Послѣдніе, въ нашихъ глазахъ, имѣютъ значительное преимущество передъ первыми, потому что въ ихъ составѣ, какъ и въ ихъ компетенціи, нѣтъ ничего узко-сословнаго. Мы не видимъ причины, почему въ предсѣдатели и члены волостныхъ судовъ не могли бы быть избираемы и у насъ лица всѣхъ сословій, почему волостному суду (повторяемъ—съ значительно сокращенной компетенціей и въ особенности съ значительно ограниченною карательною властью) не могли бы быть подчинены всѣ безъ различія жители волости; но большимъ шагомъ впередъ было бы и уравненіе нашихъ волостныхъ судовъ съ остзейскими [1]), а также установленіе надъ ними апелляціонной инстанціи, сходной, въ главныхъ чертахъ, съ остзейскими верхними крестьянскими судами [2]). Предсѣдателю верхняго крестьянскаго суда могло бы быть поручено, вмѣстѣ съ тѣмъ, единоличное рѣшеніе, на правахъ первой инстанціи, всѣхъ мелкихъ уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ, не подсудныхъ ни волостному суду, ни уѣздному члену окружного суда. Апелляціонной инстанціей для дѣлъ этого рода могло бы быть особое присутствіе окружного суда, составляемое, въ уѣздномъ городѣ, изъ городского судьи и двухъ членовъ окружного суда (уѣзднаго и еще одного); оно же могло бы слу-

[1]) Параллель между волостными судами остзейскими и общерусскими см. въ внутреннихъ обозрѣніяхъ „В. Е.“, № 9 за 1889 г., и № 12 за 1891 г. Замѣчательно, что правила о тѣхъ и другихъ, столь существенно различныя, утверждены почти въ одно и то же время (9 и 12 іюля 1889 г.).

[2]) Верхній крестьянскій судъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 9-го іюля 1889 г. положенія о преобразованіи крестьянскихъ присутственныхъ мѣстъ въ прибалтійскихъ губерніяхъ, состоитъ изъ предсѣдателя (назначаемаго министромъ юстиціи изъ лицъ съ такимъ же образовательнымъ цензомъ, какой требуется отъ мировыхъ судей) и не менѣе двухъ членовъ, приглашаемыхъ по очереди изъ числа предсѣдателей волостныхъ судовъ. Такихъ судовъ въ уѣздѣ можетъ быть и болѣе одного. Они разрѣшаютъ апелляціонныя и кассаціонныя жалобы на волостной судъ: послѣднія—окончательно, а первыя—съ правомъ кассаціоннаго обжалованія въ съѣздъ мировыхъ судей.

жить кассаціонной инстанціей для дѣлъ, рѣшаемыхъ верхнимъ крестьянскимъ судомъ въ апелляціонномъ порядкѣ. Мы не выдаемъ нашу мысль за возможно лучшее разрѣшеніе вопроса; напротивъ того, мы очень хорошо видимъ недостатки намѣченнаго нами судебнаго строя—но онъ имѣетъ за себя то важное соображеніе, что онъ не представляетъ собою ничего у насъ еще не испытаннаго, не требуетъ созданія должностей и учрежденій, нигдѣ у насъ не существующихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ достигаетъ главной цѣли: объединенія всѣхъ институтовъ „мѣстной юстиціи" на почвѣ чисто-судебной, правильнаго разграниченія вѣдомствъ министерства юстиціи и министерства внутреннихъ дѣлъ. Земскій начальникъ остался бы, при такомъ порядкѣ, исключительно администраторомъ, уѣздные съѣзды и губернскія присутствія обратились бы въ чисто-административныя присутственныя мѣста; для конфликтовъ съ судебнымъ вѣдомствомъ не было бы больше никакихъ поводовъ. Компетенція уѣзднаго члена окружного суда могла бы быть расширена какъ въ сферѣ уголовной, такъ и въ сферѣ гражданской и судебно-охранительной, но безъ возложенія на него слѣдственной части. Порядокъ судопроизводства для всѣхъ органовъ мѣстной юстиціи вообще, а для волостныхъ судовъ—въ особенности, могъ бы быть значительно упрощенъ, безъ отступленія, конечно, отъ основныхъ началъ состязательнаго процесса.

Что существующее въ настоящее время устройство инстанцій апелляціонной и кассаціонной по такъ называемымъ маловажнымъ судебнымъ дѣламъ не можетъ быть признано нормальнымъ—это начинаютъ, кажется, понимать даже систематическіе приверженцы новыхъ судебно-административныхъ учрежденій. При состоявшемся недавно распространеніи положеній 12 іюля 1889 г. на астраханскую губернію, въ городѣ Астрахани сохраненъ, на прежнихъ основаніяхъ, мировой судъ. „Во всѣхъ городахъ, въ которыхъ донынѣ, при введеніи реформы 1889 г., оставлялся мировой институтъ,—замѣчаютъ, по этому поводу, „Московскія Вѣдомости" (№ 193),—въ основу его положено выборное начало. Между тѣмъ, въ силу закона 2 мая 1878 года, мировые судьи астраханскаго мирового округа назначаются отъ правительства. Изъ этого обстоятельства мы въ правѣ, думается намъ, вывести то заключеніе, что министерство юстиціи для большихъ городовъ предпочитаетъ мировой судъ не потому лишь, что онъ выборный, а также и въ силу другихъ его качествъ. Принимая же во вниманіе, что судопроизводственныя правила городскихъ и мировыхъ судей въ существѣ своемъ почти одинаковы, нельзя не придти къ заключенію, что въ пользу мирового суда должна была склонить организація его апелляціонной и кассаціонной инстанцій, весьма отличныхъ отъ инстанцій для учрежденій, созданныхъ закономъ 12 іюля

1889 г." Такъ какъ за этимъ заключеніемъ, весьма правдоподобнымъ, не слѣдуетъ никакихъ возраженій противъ предполагаемаго взгляда министерства юстиціи, то мы, въ свою очередь, въ правѣ заключить, что даже съ точки зрѣнія московской газеты мировой съѣздъ, какъ инстанція апелляціонная, и прав. сенатъ (или хотя бы судебная палата), какъ инстанція кассаціонная, имѣютъ безспорное преимущество передъ уѣзднымъ съѣздомъ и губернскимъ присутствіемъ.

Въ рѣчи, произнесенной при открытіи коммиссіи для пересмотра законоположеній по судебной части, г. министръ юстиціи выразилъ намѣреніе широко пользоваться предоставленнымъ ему правомъ приглашенія въ составъ коммиссіи постороннихъ лицъ, участіе которыхъ въ ея трудахъ будетъ признано полезнымъ по ихъ служебному положенію, научнымъ знаніямъ или практической опытности. Списокъ лицъ, получившихъ до сихъ поръ такія приглашенія, появился недавно въ газетахъ. Они раздѣляются на три категоріи: одни приглашены для постояннаго участія въ трудахъ отдѣла, другіе—для участія въ занятіяхъ по соглашенію съ предсѣдателемъ отдѣла, третьи—для участія въ занятіяхъ отдѣла при обсужденіи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вопросовъ [1]). Число приглашенныхъ въ различныхъ отдѣлахъ весьма различно: по третьему отдѣлу (уголовнаго судопроизводства) ихъ 18, по второму (судоустройства)—16, по четвертому (гражд. судопроизводства)—11, по первому (мѣстныхъ учрежденій)—только двое. Между тѣмъ, именно въ первомъ отдѣлѣ желательно было бы видѣть возможно бо̀льшее число экспертовъ, съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ вѣденію отдѣла—и притомъ экспертовъ не только изъ числа должностныхъ лицъ, но и изъ числа мѣстныхъ земскихъ и городскихъ дѣятелей, а также изъ числа спеціалистовъ по государственному и административному праву [2]). Вопросъ о наилучшей организаціи мѣстныхъ судебныхъ учрежденій—не только технической, но и общественный, въ самомъ широкомъ смыслѣ слова: правильное разрѣшеніе его едва ли возможно безъ выслушанія голосовъ изъ самыхъ различныхъ классовъ населенія. Скажемъ болѣе: прежде разсмотрѣнія его въ коммиссіи, его слѣдовало бы передать на обсужденіе губернскихъ земскихъ собраній, предоставивъ имъ возможность ознакомиться предварительно съ мнѣніями уѣздныхъ земствъ. Послѣднее необходимо потому, что только въ уѣздныхъ земствахъ сколько-нибудь представлено крестьянство, болѣе чѣмъ всякое другое сословіе (какъ это признаетъ и

---

[1]) Изъ числа приглашенныхъ второй и третьей категоріи нѣкоторые будутъ принимать участіе въ трудахъ двухъ отдѣловъ.

[2]) Спѣшимъ прибавить, что число постороннихъ членовъ коммиссіи во всякое время можетъ быть увеличено; лица, приглашенныя до сихъ поръ, не безъ основанія названы въ газетахъ „приглашенными первой очереди".

г. министръ юстиціи) заинтересованное въ хорошемъ устройствѣ „мѣстной юстиціи".

Въ „Кіевскомъ Словѣ" появилась, въ августѣ мѣсяцѣ, слѣдующая корреспонденція изъ остерскаго уѣзда, черниговской губерніи: „въ селѣ Смолинѣ происходили недавно выборы предсѣдателя приходскаго попечительства. Первымъ кандидатомъ на выборахъ выступилъ мѣстный крупный землевладѣлецъ В. Н. Ка—скій, потерпѣвшій полное фіаско: громадное большинство крестьянъ высказалось противъ него въ самой категорической формѣ. Намъ нужны люди вполнѣ надежные,—послышались голоса. Послѣ водворенія порядка, нарушеннаго неизбѣжнымъ въ такихъ случаяхъ шумомъ, нѣкоторые изъ избирателей вновь предложили все того же Ка—скаго, но и на этотъ разъ вполнѣ безуспѣшно. Избрано было другое лицо, также одинъ изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, М. П. Д—ъ. Такое же единодушіе обнаружили крестьяне и на вторичномъ собраніи, созванномъ благочиннымъ для новыхъ выборовъ все того же предсѣдателя. Кандидатура Ка—скаго вновь была рѣшительно крестьянами отвергнута... Пришлось признать совершившійся фактъ, и фактъ очень характерный. Онъ говоритъ краснорѣчиво, къ сожалѣнію, о томъ явномъ антагонизмѣ, который установился, въ силу многихъ причинъ, между крестьянами села и мѣстнымъ земскимъ начальникомъ, въ должности котораго состоитъ отвергнутый такъ рѣшительно и безповоротно кандидатъ В. Н. Ка—скій. Выборы предсѣдателя попечительства явились только мѣриломъ этого антагонизма, существующаго уже нѣсколько лѣтъ и представляющаго явленіе въ высшей степени печальное и далеко не маловажное". „Московскія Вѣдомости", находя, что этотъ случай „самъ по себѣ ничтоженъ и не заслуживаетъ никакого вниманія", признаютъ, однако, положеніе забаллотированнаго земскаго начальника „щекотливымъ и, быть можетъ, не вполнѣ нормальнымъ" и видятъ въ немъ указаніе на „какой-то недочетъ" въ законѣ. Положеніе земскаго начальника,—продолжаетъ московская газета,—„слишкомъ отвѣтственно и слишкомъ вліятельно для того, чтобы участіе его въ тѣхъ или другихъ мѣстныхъ общественныхъ дѣлахъ могло быть предоставлено исключительно его усмотрѣнію. Если это участіе необходимо, оно должно входить въ кругъ обязанностей начальника; если оно не необходимо—оно не должно быть допускаемо, такъ какъ, съ одной стороны, являясь мѣстнымъ дѣятелемъ не ex officio, земскій начальникъ не подчиненъ своему обычному контролю и, слѣдовательно, можетъ злоупотреблять своимъ вліяніемъ, а съ другой—онъ всегда рискуетъ оказаться въ положеніи дискредитирующемъ его авторитетъ среди населенія. Принципіально на такой точкѣ

зрѣнія стоитъ и законъ. Статья 19-я положенія 12 іюня 1889 года гласитъ, что должность земскаго начальника не можетъ быть соединяема съ другою должностью по государственной или общественной службѣ, за исключеніемъ лишь почетныхъ должностей въ мѣстныхъ учебныхъ и богоугодныхъ заведеніяхъ и званія гласнаго земскаго собранія. Затѣмъ, послѣдующими узаконеніями прямо указываются учрежденія, къ дѣятельности которыхъ законодатель призналъ полезнымъ привлечь земскихъ начальниковъ, какъ, напримѣръ, это сдѣлано относительно уѣздныхъ отдѣленій епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ. Относительно же должности предсѣдателя церковно-приходскаго попечительства не содержится въ законѣ никакихъ указаній, и трудно сказать, слѣдуетъ ли ее отнести къ почетнымъ должностямъ, о которыхъ говоритъ ст. 19-я, какъ это, повидимому, усвоила себѣ существующая практика". Мы готовы согласиться съ заключеніемъ „Московскихъ Вѣдомостей", но только по другимъ основаніямъ. Должность предсѣдателя (или члена) церковно-приходскаго попечительства мы признаемъ несомнѣнно *почетной*, потому что она не сопряжена съ вознагражденіемъ и служитъ признакомъ общественнаго довѣрія и уваженія къ лицу, ее занимающему. Столь же несомнѣнно для насъ и то, что заведенія, основываемыя церковно-приходскимъ попечительствомъ, принадлежитъ къ числу „богоугодныхъ". Закрыть земскому начальнику доступъ въ церковно-приходское попечительство и въ другія аналогичныя учрежденія можно, поэтому, не путемъ *истолкованія* закона, а только путемъ его *измѣненія*, т.-е. путемъ отмѣны исключеній изъ общаго правила о несовмѣстимости должности земскаго начальника съ другими видами государственной и общественной службы (для избѣжанія недоразумѣній правильнѣе было бы замѣнить послѣднее выраженіе словами: „общественной дѣятельности"). Такая перемѣна кажется намъ желательною, конечно, не въ видахъ огражденія авторитета земскихъ начальниковъ (единственная надежная охрана авторитета должностного лица—собственный его образъ дѣйствій), а въ видахъ предупрежденія тѣхъ „злоупотребленій вліяніемъ", возможность которыхъ признаютъ даже „Московскія Вѣдомости". Въ церковно-приходскихъ попечительствахъ, какъ и почти во всѣхъ другихъ сельскихъ учрежденіяхъ, земскій начальникъ становится лицомъ къ лицу съ крестьянами, ему подвластными, и стѣсняетъ, этимъ самымъ, свободу дѣйствій и рѣшеній, безъ которой немыслима энергія, предпріимчивость, преданность дѣлу. Чтобы быть послѣдовательными, „Московскія Вѣдомости" должны были бы высказаться и противъ избранія земскихъ начальниковъ въ гласные того уѣзда, гдѣ они служатъ, какъ потому, что неудача на выборахъ роняетъ „авторитетъ" земскаго начальника, такъ и въ особенности по-

тому, что въ земскомъ собраніи, болѣе чѣмъ гдѣ бы то ни было, земскіе начальники могутъ „злоупотреблять своимъ вліяніемъ“ на крестьянъ. Или, можетъ быть, земскія собранія принадлежатъ къ числу тѣхъ учрежденій, въ которыхъ, съ точки зрѣнія московской газеты, участіе земскихъ начальниковъ *необходимо*, и членами которыхъ они должны были бы, поэтому, считаться ipso jure, въ силу носимаго ими званія? Поставить такой тезисъ—гораздо легче, чѣмъ доказать его. Включеніе въ число уѣздныхъ гласныхъ, безъ выборовъ, всѣхъ земскихъ начальниковъ уѣзда окончательно нарушило бы и теперь уже сильно поколебленное равновѣсіе между различными элементами земскаго представительства и свело бы къ нулю—или даже къ отрицательной величинѣ—и теперь уже слишкомъ небольшое значеніе гласныхъ-крестьянъ. Съ другой стороны, нѣтъ такого земскаго дѣла, для правильнаго рѣшенія котораго требовалось бы непремѣнно участіе земскихъ начальниковъ; знаютъ уѣздъ они, сплошь и рядомъ, не лучше, чѣмъ остальные гласные, а къ потребностямъ его часто относятся подъ угломъ зрѣнія, прямо зависящимъ отъ служебнаго ихъ положенія. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда исполненіе мѣръ, проектируемыхъ земскимъ собраніемъ, требуетъ участія земскихъ начальниковъ, вполнѣ достаточно было бы выслушать ихъ объясненіе или заключеніе, какъ выслушиваются теперь иногда уѣздный исправникъ, податной инспекторъ или инспекторъ народныхъ училищъ.

Кромѣ сомнѣній относительно совмѣстимости должности земскаго начальника съ другими званіями и должностями, случай, происшедшій въ остерскомъ уѣздѣ, возбуждаетъ еще нѣкоторые другіе вопросы. Неизбраніе кого-либо на ту или другую выборную должность далеко не всегда бросаетъ тѣнь на забаллотированное лицо, какъ потому, что избирателями руководятъ иногда соображенія, не имѣющія ничего общаго съ личными свойствами баллотируемаго, такъ и потому, что вполнѣ достойными могутъ быть оба конкуррента—а предпочтеніе по неволѣ нужно дать одному изъ нихъ. Дѣйствительно неловкимъ положеніе забаллотированнаго лица становится только тогда, когда его кандидатура ставилась настойчиво и неоднократно—и столь же настойчиво отклонялась, съ ясными выраженіями недовѣрія со стороны избирателей. При такихъ именно условіяхъ, если вѣрить сообщенію „Кіевскаго Слова“, былъ забаллотированъ земскій начальникъ въ остерскомъ уѣздѣ. *Степень* неудобствъ, возникающихъ, затѣмъ, для избирателей и для отвергнутаго ими кандидата, прямо пропорціональна степени вліянія и власти, принадлежащихъ послѣднему, какъ лицу должностному. Если забаллотированъ, напримѣръ, волостной старшина или даже становой приставъ, то бѣда еще не такъ велика, потому что избиратели сравнительно мало

отъ нихъ зависятъ, да и самыя должности не принадлежатъ къ числу претендующихъ на особый „престижъ“; по отношенію къ волостному старшинѣ существуетъ, вдобавокъ, достаточное основаніе предполагать, что онъ будетъ забаллотированъ и на слѣдующихъ волостныхъ выборахъ. Совсѣмъ другое дѣло—земскій начальникъ. Чѣмъ обширнѣе и разностороннѣе его власть, тѣмъ невыгоднѣе положеніе лицъ, высказавшихся противъ него на приходскихъ или какихъ-либо другихъ выборахъ—и тѣмъ затруднительнѣе положеніе самого земскаго начальника. Какъ ни сильны оружія, которыми снабдилъ его законъ, успѣшное, хотя бы со стороны чисто-формальной, примѣненіе ихъ все-таки предполагаетъ, по меньшей мѣрѣ, отсутствіе явнаго неуваженія къ личности земскаго начальника. Тамъ, гдѣ нѣтъ этого условія, приказывать почти такъ же трудно, какъ и повиноваться... Немногимъ лучше, впрочемъ, стоитъ дѣло и тогда, когда чувства населенія не успѣли еще выразиться ясно и открыто. Самому земскому начальнику они легко могутъ сдѣлаться извѣстными и безъ демонстраціи въ родѣ той, какая произошла въ остерскомъ уѣздѣ—но о нихъ очень долго могутъ не знать тѣ, кому въ особенности о нихъ вѣдать надлежитъ.

Давно уже мы не встрѣчали въ русской печати такого прямого, откровеннаго отклика на одинъ изъ жгучихъ вопросовъ современной дѣйствительности, какъ статья г. Ѳ. Ромера въ № 6656 „Новаго Времени“, озаглавленная: „Сельско-хозяйственные чины“. „Не нахожу я возможнымъ,—говоритъ г. Ромеръ,—умолчать о крайне непріятномъ, даже тяжеломъ чувствѣ, съ которымъ не я одинъ, а многіе (напримѣръ, вся, единогласно, орловская земская коммиссія по вопросу объ организаціи сельско-хозяйственныхъ совѣтовъ) встрѣтили намѣреніе министерства (земледѣлія и государственныхъ имуществъ) привлечь гг. земскихъ начальниковъ къ участію въ мѣропріятіяхъ по улучшенію крестьянскаго хозяйства. Я, конечно, очень хорошо помню, что, создавая институтъ земскихъ начальниковъ, правительство, между прочимъ, надѣялось обрѣсти въ нихъ истинныхъ хозяевъ своего участка, людей, которые будутъ поддерживать въ немъ общественный порядокъ властной рукою, но, не ограничиваясь этимъ, съумѣютъ вникнуть и въ хозяйственныя обстоятельства ввѣреннаго имъ крестьянства. Да, я хорошо помню эту радужную идиллію медоваго мѣсяца гг. земскихъ начальниковъ, сочиненную въ Петербургѣ; помню и озабоченное покачиваніе головами мѣстныхъ пророковъ провинціи, обрѣтавшихся далеко не въ столь розовомъ настроеніи... Все это было такъ недавно! Но, вмѣстѣ со всѣми дру-

гими жителями селъ и деревень, я былъ наивно, по-обывательски, убѣжденъ, что суровая и холодная дѣйствительность давно убила цвѣты петербургскихъ мечтаній. Намъ казалось, что что-что—а никому и не приснится въ земскомъ начальникѣ хозяинъ. Вѣдь именно *безхозяйственность* этихъ господъ явилась какъ бы отличительною ихъ чертою, быстро подмѣченною крестьянами. Въ самомъ дѣлѣ, земскими начальниками, за весьма рѣдкими исключеніями, состоятъ либо (въ лучшемъ случаѣ) землевладѣльцы съ подорванными средствами, либо даже неизвѣстно откуда появившіеся офицеры. Мудрено ли, что въ крестьянствѣ утвердилось убѣжденіе, будто „настоящій, стоющій баринъ“ въ земскіе не пойдетъ? Я живу въ уѣздѣ, который по личному составу земскихъ начальниковъ находится въ исключительно счастливомъ положеніи: трое изъ нихъ — мѣстные землевладѣльцы съ университетскимъ образованіемъ, а четвертый чуть ли не двадцать лѣтъ сряду служилъ въ мѣстномъ крестьянскомъ присутствіи непремѣннымъ членомъ и, разумѣется, тоже землевладѣлецъ. Поищите, много ли такихъ уѣздовъ въ имперіи!.. Однако, я вынужденъ засвидѣтельствовать по совѣсти, что даже и при такомъ составѣ ближайшаго начальства крестьянское благосостояніе или крестьянское хозяйство въ уѣздѣ не подвинулось ни на одинъ шагъ впередъ, а, напротивъ, замѣчается даже какъ бы обратное движеніе; да и вообще особенныхъ похвалъ новымъ порядкамъ я ни отъ одного крестьянина—буквально ни отъ одного—не слыхивалъ. Что же происходитъ въ другихъ уѣздахъ, менѣе счастливо обставленныхъ? Я не позволю себѣ передавать здѣсь сотни печальнѣйшихъ фактовъ, которые мнѣ, подобно всякому другому, приводилось слышать отъ обывателей того или другого изъ уѣздовъ. Это матеріалъ сырой и не провѣренный. Но я приведу нѣсколько характерныхъ примѣровъ, несомнѣнность которыхъ удостовѣрена либо оффиціальными фактами, либо печатью, либо, наконецъ, лицами, безспорно заслуживающими довѣрія. Существуетъ циркуляръ одного изъ гг. земскихъ начальниковъ, разосланный по волостнымъ правленіямъ, которымъ предписывается наблюдать, чтобы каждый крестьянинъ, даже *ѣдущій съ нагруженнымъ возомъ*, при встрѣчѣ съ землевладѣльцемъ *свернулъ бы въ сторону*, всталъ, снялъ шапку и проводилъ бы встрѣченную особу глазами. Такимъ образомъ, крестьянину вмѣняется въ обязанность такая экстренная и *разорительная* вѣжливость, которой никто не рѣшался требовать отъ него даже при блаженной памяти крѣпостномъ правѣ! Долженъ ли, въ отвѣтъ на подобную вѣжливость, встрѣченный землевладѣлецъ хотя бы кивнуть головою—изъ циркуляра не усматривается. Бывшій непремѣнный членъ крестьянскаго присутствія, землевладѣлецъ, губернскій гласный и

врачъ, И. Н. Пущинъ, разсказалъ цѣлой земской коммиссіи, что въ минувшемъ году, въ самый разгаръ холерной эпидеміи, одинъ земскій начальникъ, прямо вопреки закона, своей властью разрѣшилъ крестьянамъ мочить пеньку въ рѣкахъ, непосредственнымъ слѣдствіемъ чего было девятнадцать заболѣваній холерою, констатированныхъ медицинскою властью. Всѣмъ извѣстный въ Орлѣ сельскій хозяинъ и коннозаводчикъ, предсѣдатель орловской земской управы, В. Н. Телѣгинъ, свидѣтельствуетъ, что въ одномъ изъ засѣданій коммиссіи по раздачѣ пособій хлѣбомъ крестьянству въ неурожайный годъ, когда зашла рѣчь о какомъ-то попорченномъ хлѣбѣ, которымъ брезгали даже голодающіе (или, можетъ быть, о чьемъ-нибудь предложеніи продать такой хлѣбъ по сравнительно дешевой цѣнѣ—не упомню теперь хорошенько), г. земскій начальникъ упорно отстаивалъ этотъ хлѣбъ, съ тѣмъ только, чтобы предложить его нуждающимся непремѣнно въ видѣ муки. Настойчивость защиты произвела даже нѣкоторое удивленіе въ коммиссіи... хотя потомъ разъяснилось, что г. земскій начальникъ арендуетъ нѣсколько мельницъ. Двое гг. земскихъ начальниковъ въ одномъ и томъ же уѣздѣ орловской губерніи вынуждены были оставить службу, такъ какъ супруги ихъ открыли по питейному заведенію. Положимъ, это закономъ прямо не воспрещается, но... считаю излишнимъ договаривать... Даже такая прекрасная хозяйственная мѣра, какъ устройство учебныхъ садиковъ при народныхъ училищахъ, благодаря хозяйственной умѣлости гг. земскихъ начальниковъ, успѣла... *озлобить* (!!?) населеніе. И это гдѣ же? Въ корочанскомъ уѣздѣ, гдѣ крестьянскіе сады приносятъ по тысячѣ и по двѣ годового дохода, и гдѣ, слѣдовательно, каждый ребенокъ понимаетъ великое экономическое значеніе плодоводства". Всѣ разсказанные факты, по словамъ г. Ромера, отнюдь не особенно рѣдки или исключительны, а напротивъ, принадлежатъ къ числу явленій достаточно заурядныхъ. „Необходимо замѣтить, — говоритъ онъ дальше,—что и помимо хозяйственной компетентности гг. земскихъ начальниковъ, привлеченіе ихъ къ участію въ улучшеніи крестьянскаго хозяйства представляется мнѣ крупною ошибкой. Хозяйственныя реформы и улучшенія, новыя орудія, новые пріемы въ обработкѣ земли, какъ и всякое дѣло знанія, могутъ быть удачно вводимы въ обиходъ дѣйствительной жизни только силою убѣжденія; всякое же насильственное ихъ вколачиваніе приноситъ лишь огромный вредъ, надолго отвращая населеніе отъ указаній разума и науки. Потому-то *въ крестьянскомъ хозяйствѣ не должна быть допускаема никакая единолично-властная инициатива*, хотя бы даже исходящая отъ безусловно-компетентной и благожелательной силы. Извѣстное истребленіе громадныхъ тутовыхъ плантацій нашими бывшими военными

поселеніями на югѣ Россіи какъ нельзя нагляднѣе иллюстрируетъ мою мысль. Милліонныя, готовыя богатства сдѣлались жертвою народнаго озлобленія. А въ вологодской губерніи одинъ скромный человѣкъ, съ самыми ничтожными средствами, силою личнаго примѣра, труда и кроткаго убѣжденія, пропагандировалъ между крестьянами молочное хозяйство съ такимъ успѣхомъ, что теперь именно на этомъ хозяйствѣ держится благосостояніе чуть ли не всей губерніи".

Во всякое другое время эти разсужденія могли бы показаться общими мѣстами, аксіомами, не требующими доказательствъ; но теперь наклонность забывать или игнорировать самыя безспорныя истины такъ велика, что повтореніе ихъ отнюдь не можетъ быть признано излишнимъ. Особенно важнымъ и полезнымъ оно является на страницахъ газеты, которую отнюдь нельзя заподозрить въ систематическомъ нерасположеніи къ новымъ учрежденіямъ. Со стороны „Новаго Времени" напечатаніе статьи г. Ромера—тѣмъ бо́льшая заслуга, что она идетъ прямо въ разрѣзъ съ мнѣніемъ, высказаннымъ, если мы не ошибаемся [1]), именно этой газетой, вслѣдъ за введеніемъ въ дѣйствіе положенія о земскихъ начальникахъ. „Узаконенія 12-го іюля, —такъ гласитъ это мнѣніе,—означаютъ рѣшительный поворотъ въ внутренней правительственной политикѣ; поэтому естественно то противодѣйствіе, которое возбудили они въ чиновничьихъ сферахъ, главнымъ образомъ заинтересованныхъ у насъ въ сохраненіи либеральныхъ принциповъ. Послѣдніе, какъ извѣстно, въ концѣ концовъ приводили обыкновенно къ распложенію чиновничества и подъ видомъ обновленія Россіи ограничивались усиленіемъ штатовъ... По всей вѣроятности, когда институтъ земскихъ начальниковъ привьется и упрочится, уѣздное земство можетъ быть безъ труда упразднено, и чисто хозяйственные вопросы сосредоточены исключительно въ губернскомъ земскомъ собраніи". Не ясно ли, что „радужныя идиллія", о которыхъ говоритъ г. Ромеръ, существовали, пять лѣтъ тому назадъ не только въ административныхъ сферахъ? Какъ велики были надежды на хозяйственную компетентность земскихъ начальниковъ, если признавалось возможнымъ замѣнить ими все уѣздное земство! Изъ словъ г. Ромера видно, что далеко не въ „розовомъ настроеніи" встрѣчала реформу именно провинція, для которой она предназначалась—а въ редакціонномъ кабинетѣ петербургской газеты

[1]) Мы дѣлаемъ эту оговорку потому, что въ Общественной Хроникѣ, откуда мы беремъ нижеприведенную цитату („В. Е." 1889 г., № 9), газета, изъ которой она заимствована, прямо не названа; но намъ едва ли измѣняетъ память, когда мы отождествляемъ эту газету именно съ „Новымъ Временемъ".

единственными недовольными реформой провозглашались либеральные чиновники!.. Мы напоминаемъ обо всемъ этомъ вовсе не съ цѣлью уличить газету въ противорѣчіи съ самой собою. Признать ошибку и принять мѣры къ ея исправленію никогда не поздно; достойнымъ порицанія было бы, наоборотъ, нежеланіе увидѣть и раскрыть правду... Какъ бы то ни было, статья г. Ромера, находящая себѣ мѣсто на столбцахъ „Новаго Времени"—это, въ нашихъ глазахъ, явленіе весьма характеристичное.

6-го іюня утвержденъ новый законъ о надзорѣ за дѣятельностью страховыхъ учрежденій и обществъ. Для осуществленія этого надзора образованъ страховой комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ директора хозяйственнаго департамента министерства внутреннихъ дѣлъ, изъ двухъ членовъ отъ этого министерства и двухъ членовъ отъ министерства финансовъ. Дѣлопроизводство комитета возложено на особый страховой отдѣлъ, составляющій часть хозяйственнаго департамента. Надзору комитета подлежатъ губернское взаимное страхованіе, общества взаимнаго страхованія въ городахъ и частныя русскія и иностранныя страховыя общества. Главныя обязанности комитета: наблюденіе за исполненіемъ правилъ о страхованіи, общимъ закономъ и отдѣльными уставами опредѣленныхъ; наблюденіе за сохранностью капиталовъ, принадлежащихъ страховымъ учрежденіямъ и обществамъ; разсмотрѣніе ихъ отчетовъ и балансовъ; повѣрка ихъ дѣйствій—въ случаѣ надобности—путемъ ревизіи; предварительная разработка вопросовъ, касающихся страхового дѣла и противопожарныхъ мѣръ; предварительное разсмотрѣніе уставовъ вновь учреждаемыхъ страховыхъ обществъ и измѣненій въ уставахъ уже дѣйствующихъ, а также полисныхъ условій, плановъ страхованія жизни и т. п. Отношеніе нашей печати къ новому закону отличается замѣчательнымъ единодушіемъ; съ одинаковымъ сочувствіемъ онъ встрѣченъ, напримѣръ, такими противоположными другъ другу органами печати, какъ „Московскія Вѣдомости" (№ 190) и „Русскія Вѣдомости" (№ 218). И дѣйствительно, правительственный контроль надъ страховымъ дѣломъ, столь близко затрогивающимъ всѣ классы населенія, можетъ имѣть большое, благодѣтельное значеніе, въ особенности тамъ, гдѣ интересы страхователей не вполнѣ солидарны съ интересами страховщика—т.-е. въ сферѣ дѣятельности акціонерныхъ страховыхъ обществъ. Въ иномъ свѣтѣ представляется намъ только вопросъ о контролѣ надъ земскимъ страхованіемъ, и до изданія новаго закона находившимся, на-

равнѣ со всѣми другими отраслями земской дѣятельности, подъ бдительнымъ надзоромъ правительственной власти. Спеціально по отношенію къ губернскому взаимному страхованію новый законъ возлагаетъ на страховой комитетъ, между прочимъ: 1) преподаніе учрежденіямъ, выдающимъ страхованіе, надлежащихъ указаній и разсмотрѣніе, въ предѣлахъ указанныхъ закономъ, жалобъ на эти учрежденія и 2) назначеніе изъ страховыхъ платежей суммъ на усиленіе средствъ учрежденій, завѣдующихъ губернскимъ взаимнымъ страхованіемъ, и на вознагражденіе волостныхъ писарей за труды ихъ по страховой операціи. Этимъ установляется, de facto, значительное ограниченіе самостоятельности и даже круга дѣйствій земскихъ учрежденій. До сихъ поръ указанія учрежденіямъ, вѣдающимъ губернское взаимное страхованіе—т.-е. губернскимъ земскимъ управамъ—давали губернскія земскія собранія; они же разсматривали жалобы на распоряженія губернскихъ управъ по страховой части и назначали изъ страховыхъ платежей суммы на усиленіе средствъ губернской земской управы и на вознагражденіе волостныхъ писарей за труды по страховой операціи. Теперь все это будетъ дѣлать, вмѣсто губернскихъ собраній, страховой комитетъ; онъ же, конкуррируя съ губернаторомъ, будетъ повѣрять дѣйствія земства по страховой части, прибѣгая съ этою цѣлью, между прочимъ, и къ ревизіи. Перемѣна въ положеніи земскихъ учрежденій происходитъ, такимъ образомъ, весьма существенная—и это въ значительной степени уменьшаетъ, въ нашихъ глазахъ, цѣнность новаго закона. Для предупрежденія неправильностей въ веденіи земскаго страхового дѣла правительственная власть и прежде имѣла въ своихъ рукахъ вполнѣ достаточныя средства; усиленіе ихъ свидѣтельствуетъ о недовѣріи къ земству, вовсе имъ не заслуженномъ. Та небольшая доля самостоятельности, которую сохранило за земствомъ положеніе 1890 г., послѣдующими узаконеніями (новыми правилами объ оцѣнкѣ имѣній для уплаты земскаго сбора, новымъ больничнымъ уставомъ, закономъ 6-го іюня 1894 г.) уменьшается все больше и больше. Если это движеніе будетъ продолжаться, отъ земскаго самоуправленія скоро останется одно только названіе...

Въ связи съ сказаннымъ нами до сихъ поръ находится, отчасти, и другое замѣчаніе, которое можно сдѣлать по поводу закона 6-го іюня 1894 г. Присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ у насъ такъ много, что для контроля надъ страхованіемъ едва ли необходимо было создавать особый комитетъ, съ цѣлымъ штатомъ служащихъ. Губернаторъ—на мѣстѣ, хозяйственный департаментъ—въ центрѣ управленія располагаютъ такими силами, которымъ не трудно

было бы справиться съ новой задачей, въ особенности еслибы она не коснулась земскаго страхованія. Учрежденіе, спеціально созданное для извѣстнаго дѣла, всегда расположено къ его расширенію, къ вмѣшательству въ такія отношенія, которыя, безъ всякаго вреда и неудобства, могли бы быть предоставлены своему естественному развитію. Въ области страхованія опасенъ, конечно, недостатокъ контроля—но вовсе не желателенъ его избытокъ...

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го октября 1894 г.

Японскія побѣды и ихъ значеніе.—Самобытныя черты китайскаго могущества.—Военные опыты для европейцевъ.—Политическія особенности Японіи.—Западно-европейскія дѣла: смерть графа Парижскаго и рѣчи князя Бисмарка.

Событія на дальнемъ азіатскомъ востокѣ приняли весьма рѣшительный оборотъ, котораго всего менѣе ожидали въ Европѣ: огромная китайская имперія терпитъ пораженія, на сушѣ и на морѣ, отъ маленькой Японіи, и предсказанія многихъ публицистовъ о неминуемой побѣдѣ Китая опровергнуты скорѣе, чѣмъ можно было думать. Китайскія войска, направлявшіяся съ сѣвера къ столицѣ Кореи, Сеулу, разбиты японцами при Піенгъ-янгѣ, 3—4 (15—16) сентября, причемъ захваченъ въ плѣнъ почти весь главный штабъ, вмѣстѣ съ значительною частью арміи, съ громадными запасами оружія и провіанта. Этою побѣдою Корея очищена отъ китайцевъ и предоставлена въ полное распоряженіе Японіи. Въ то же самое время нанесенъ жестокій ударъ китайскому флоту, въ сраженіи 5 (17) сентября, въ Корейскомъ заливѣ, близъ устьевъ рѣки Ялу, отдѣляющей китайскія владѣнія отъ Кореи. Эскадра, состоявшая изъ 16 военныхъ кораблей и въ томъ числѣ изъ нѣсколькихъ броненосцевъ перваго ранга, сопровождала транспортныя суда, которыя должны были высадить отрядъ войска въ Ви-тсіу, у устьевъ р. Ялу, для подкрѣпленія арміи, имѣвшей свою главную квартиру въ Піенгъ-янгѣ. Японскіе крейсеры и миноноски, въ числѣ 17 судовъ, напали на эту могущественную китайскую эскадру, чтобы помѣшать высадкѣ привезенныхъ солдатъ; завязалась горячая битва, въ которой погибло четыре китайскихъ броненосца и сильно пострадали корабли обѣихъ сторонъ. Китайскій флотъ ушелъ съ большими потерями къ Печилійскому проливу, въ портъ Артуръ; японская эскадра такъ же точно удалилась, потерпѣвъ значительныя аваріи. Китайскій отрядъ, доставленный въ Ви-тсіу, не могъ уже оказать поддержку войскамъ, разбитымъ наканунѣ при Піенгъ-янгѣ; морское сраженіе, разыгравшееся на другой же день послѣ разгрома сухопутныхъ китайскихъ силъ, довершило успѣхъ японскаго оружія и обезпечило за Японіей несомнѣнное фактическое владычество надъ Кореею. Часть японскихъ войскъ, по газетнымъ извѣстіямъ, перешла чрезъ рѣку Ялу въ китайскіе предѣлы и быстро подвигается къ сѣверо-западу, по направленію къ Мукдену, главному

тельно съ кораблями болѣе легкаго типа, въ родѣ крейсеровъ. Въ военно-морскихъ кружкахъ, особенно въ Англіи, по увѣренію нѣкоторыхъ иностранныхъ газетъ, послѣднія морскія сраженія въ китайскихъ водахъ разсматриваются какъ интересные опыты для провѣрки практическихъ достоинствъ и недостатковъ разныхъ системъ военнаго кораблестроенія. Говорятъ, что новѣйшіе огромные броненосцы не достигаютъ цѣли и подвергаются слишкомъ большимъ опасностямъ, вслѣдствіе своей чрезмѣрной тяжести: отъ перваго удачно направленнаго торпеднаго толчка или даже отъ мѣткаго орудійнаго выстрѣла они безпомощно погружаются въ воду и тонутъ, прежде чѣмъ экипажъ успѣетъ подумать о спасеніи. Такъ погибли въ битвѣ при Ялу два китайскіе броненосца вмѣстѣ съ 600 человѣкъ экипажа; другіе два крейсера, поврежденные пушечными снарядами, также напрасно искали спасенія. Большія китайскія суда не могли свободно двигаться въ ограниченномъ пространствѣ бухты, гдѣ произошло столкновеніе, тогда какъ японскіе корабли маневрировали легко и быстро, благодаря своимъ мѣньшимъ размѣрамъ. Но для подобныхъ наблюденій и выводовъ едва ли требовались столь жестокіе опыты; преимущества быстроходныхъ и подвижныхъ военныхъ судовъ предъ новѣйшими морскими колоссами были и безъ того хорошо извѣстны и не разъ подтверждались печальными фактами даже въ мирное время. Всѣмъ памятна еще гибель англійскаго броненосца вмѣстѣ съ адмираломъ и со всѣмъ экипажемъ въ Средиземномъ морѣ, въ тихую погоду, вслѣдствіе неудачнаго исполненія какого-то морского маневра. Будь китайскій флотъ въ рукахъ искусныхъ и энергичныхъ людей, онъ вѣроятно примѣнилъ бы къ дѣлу не одни лишь недостатки, но и преимущества крупныхъ броненосцевъ, но энергія и находчивость не поощряются въ Китаѣ, гдѣ все заранѣе предусмотрѣно регламентомъ. Предпріимчивость и рѣшимость несовмѣстимы съ духомъ смиреннаго подчиненія разъ заведеннымъ порядкамъ. Военные и политическіе удары застаютъ врасплохъ китайцевъ и не встрѣчаютъ своевременнаго обдуманнаго отпора, такъ какъ правительству богдыхана не полагается имѣть въ чемъ-либо неудачу, и самая мысль о признаніи непріятнаго факта можетъ оказаться преступною. Неудовольствіе или раздраженіе жителей остается скрытымъ отъ взоровъ правителей до тѣхъ поръ, пока оно не выступитъ наружу въ формѣ прямого бунта; при обычномъ мирномъ ходѣ жизни всѣ въ Китаѣ обязаны вѣрить, что правительство всегда дѣйствуетъ превосходно, что оно не можетъ ошибаться, дѣлать промахи и упущенія, и что оно не нуждается ни въ критикѣ, ни въ похвалахъ. Военныя пораженія имѣютъ, однако, ту особенность, что они никакъ не поддаются обычнымъ традиціоннымъ фикціямъ и

какъ бы пріостанавливаютъ дѣйствіе условныхъ политическихъ формулъ, которыми держался авторитетъ власти; такой моментъ внезапнаго кризиса насталъ повидимому и для Китая. Усовершенствованныя орудія войны, доставляемыя европейцами, не обезпечиваютъ еще ни разумнаго распоряженія военными силами, ни удачнаго выбора начальниковъ, ни честности въ финансахъ и въ интендантствѣ; самыя лучшія вооруженія могутъ оказаться безсильными, если ими заправляетъ невѣжество, соединенное съ произволомъ и самомнѣніемъ. Китайскіе патріоты искони славились своимъ преувеличеннымъ мнѣніемъ о самихъ себѣ и презрительнымъ отношеніемъ къ иноземному знанію; неудивительно поэтому, что имъ не помогла и европейская техника, взятая напрокатъ.

Въ японско-китайской войнѣ заслуживаетъ вниманія одна характерная черта, на которую мы указали уже въ прошломъ обозрѣніи: это всегдашняя готовность культурныхъ западно-европейскихъ предпринимателей доставлять за деньги могущественныя военныя орудія всякимъ вообще народамъ и правительствамъ безъ различія, въ томъ числѣ и африканскимъ и азіатскимъ. „Кёльнская Газета“ отмѣчаетъ съ оттѣнкомъ патріотическаго удовлетворенія, что крупнѣйшіе изъ китайскихъ броненосцевъ построены въ Германіи и вооружены пушками нѣмецкаго производства; она находитъ вполнѣ естественнымъ то обстоятельство, что борющіеся между собою флоты Китая и Японіи одинаково представляютъ собою произведенія европейскаго искусства, и что слѣдовательно въ этомъ смыслѣ Европа сражается съ Европою въ корейскихъ водахъ. Нѣтъ ничего печальнѣе этой фальшивой двусмысленной роли европейскаго знанія, отдаваемаго на службу спеціально военнымъ интересамъ и инстинктамъ народовъ и правительствъ, которые въ другихъ отношеніяхъ не признаютъ авторитета иноземной науки. Изъ обширнаго круга умственныхъ пріобрѣтеній и успѣховъ избирается одна только область военно-техническая, для всеобщаго подражанія и усвоенія, одни только способы разрушительной борьбы пользуются привилегіею повсемѣстнаго распространенія и поощренія, въ видѣ общепризнанныхъ образчиковъ высшей культуры и техники. Просвѣщенные европейцы, спеціалисты военнаго дѣла, могутъ видѣть поучительные для себя опыты въ дѣйствіяхъ броненосцевъ, топящихъ другъ друга вмѣстѣ съ сотнями людей гдѣ-то далеко у береговъ Китая, при помощи новѣйшихъ научныхъ пріемовъ; но съ точки зрѣнія простого здраваго смысла слѣдовало бы желать, чтобы представители европейскаго знанія и искусства не брали на себя активнаго содѣйствія ускореннымъ истребительнымъ подвигамъ японцевъ и китайцевъ. Частные предприниматели не должны были бы имѣть право изготовлять ору-

дія войны для чужихъ народностей, безъ особаго, надлежащимъ образомъ мотивированнаго разрѣшенія государственной власти; но и разрѣшеніе такого рода могло бы быть оправдываемо только въ тѣхъ случаяхъ, когда оно давалось бы въ пользу непосредственныхъ политическихъ союзниковъ. Не странно ли, что англичане или нѣмцы строятъ броненосцы для народовъ, которые могутъ современемъ пустить въ ходъ эти морскія силы противъ самой же Англіи или Германіи? Безъ участія европейскихъ поставщиковъ Китай остался бы при своемъ старомъ флотѣ; такъ же точно и Японія едва ли располагала бы своими быстроходными крейсерами и миноносками, еслибы не имѣла къ своимъ услугамъ заграничныхъ, преимущественно французскихъ кораблестроительныхъ фирмъ. Китай и Японія пока не грозятъ войною ни одной европейской державѣ; но кто поручится за будущее, и какъ будутъ чувствовать себя англичане или нѣмцы, если ихъ корабли подвергнутся успѣшному нападенію броненосцевъ, сооруженныхъ ихъ собственными англійскими или нѣмецкими руками? Были примѣры, что европейскіе коммерсанты снабжали усовершенствованнымъ оружіемъ дикія племена, занятыя набѣгами на колоніи ихъ соотечественниковъ, и жестокое избіеніе европейцевъ являлось результатомъ торговыхъ операцій другихъ европейцевъ, которые не видѣли ничего постыднаго въ своей выгодной торговлѣ и считались даже очень почтенными и уважаемыми коммерсантами. Объ этой вопіющей аномаліи напоминаетъ и нынѣшняя японско-китайская война, которая ведется не только доставленнымъ изъ Европы оружіемъ, но и при прямомъ участіи европейскихъ наемныхъ совѣтниковъ и инструкторовъ. Если нельзя помѣшать любителямъ служить въ рядахъ китайцевъ или японцевъ, то вполнѣ возможно и необходимо положить предѣлъ слишкомъ широкому международному торгу пушками, торпедами и броненосцами. Быть можетъ, отъ этого пострадаетъ интересъ наблюденій и опытовъ, производимыхъ in anima vili спеціалистами или любителями военнаго дѣла; но интересы истинной человѣческой культуры выиграли бы несомнѣнно.

Японія обыкновенно противопоставляется теперь Китаю, какъ страна смѣлаго прогресса и бодраго умственнаго движенія; и дѣйствительно, военные успѣхи японцевъ составляютъ только логическое послѣдствіе и проявленіе ихъ успѣховъ культурныхъ и общественныхъ. Не болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ Японія, по своему внутреннему строю и быту, мало чѣмъ отличалась отъ Китая,—по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія европейскихъ наблюдателей. Замкнутая въ самой себѣ, она такъ же точно оберегала свою самобытность отъ иноземныхъ вліяній и ревниво охраняла традиціонныя

учрежденія и обычаи. Высшій представитель власти, микадо, стоялъ такъ высоко, что не имѣлъ уже связи съ землею и народомъ; онъ былъ выше земныхъ интересовъ своей имперіи и превратился почти въ миѳическое лицо, недоступное для взоровъ простыхъ смертныхъ. Превознесеніе личности микадо до степени божества, съ номинально неограниченною властью, сопровождалось передачею фактической государственной власти въ руки первыхъ министровъ или правителей, такъ называемыхъ шогуновъ или тайкуновъ, сдѣлавшихся наслѣдственными и пріобрѣвшихъ мало-по-малу значеніе свѣтскихъ государей, въ отличіе отъ высшаго духовнаго авторитета микадо. Оффиціально тайкуны или шогуны были слугами императора, а дѣйствительно они одни обладали всѣми полномочіями государя, оставивъ своимъ мнимымъ повелителямъ только тѣнь власти. Личность микадо окружалась ореоломъ таинственнаго величія и могущества, тогда какъ реально управляли имперіею шогуны, въ качествѣ полновластныхъ свѣтскихъ правителей. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ произошла революція, окончившаяся низверженіемъ наслѣдственныхъ шогуновъ и возстановленіемъ власти микадо. Бывшій духовный глава имперіи сошелъ съ своихъ заоблачныхъ высотъ на землю и предпочелъ пользоваться ограниченною человѣческою властью, вмѣсто того, чтобы оставаться чѣмъ-то въ родѣ божества въ пустомъ пространствѣ; онъ вступилъ въ непосредственныя сношенія съ народомъ и открылъ эпоху смѣлыхъ и обширныхъ реформъ, которыя вполнѣ обновили политическій и общественный бытъ Японіи. Микадо не усмотрѣлъ даже ограниченія своего авторитета въ созывѣ выборныхъ представителей народа для публичнаго обсужденія государственныхъ дѣлъ; онъ пересталъ быть всевѣдущимъ и всемогущимъ номинальнымъ властелиномъ, но сдѣлался на дѣлѣ главою и руководителемъ своего народа, независимымъ отъ опеки обязательныхъ совѣтниковъ и посредниковъ. Это превращеніе миѳическаго духовнаго главы въ реальнаго парламентскаго правителя составляетъ одинъ изъ любопытнѣйшихъ эпизодовъ всемірной исторіи, и всестороннее освѣщеніе этой метаморфозы сдѣлало бы болѣе понятнымъ многое изъ того, что происходитъ въ новѣйшее время въ Японіи.

Въ Англіи, странѣ изгнанія и убѣжища для континентальныхъ претендентовъ и эмигрантовъ, скончался глава бывшей королевской династіи во Франціи, графъ Парижскій,—тоже своего рода „микадо“ для французскихъ монархистовъ. Жизнь и дѣятельность этого короля безъ подданныхъ производятъ впечатлѣніе чего-то безцвѣтно-меланхолическаго. Родившись въ 1838 году въ тюльерійскомъ дворцѣ, въ

качествѣ первороднаго сына наслѣдника французскаго престола, герцога Орлеанскаго, онъ въ раннемъ дѣтствѣ потерялъ отца, который погибъ случайно при паденіи экипажа, опрокинутаго взбѣсившимися лошадьми. Мальчикомъ десяти лѣтъ онъ невольно фигурировалъ уже въ роли претендента, въ памятномъ засѣданіи палаты депутатовъ 24-го февраля 1848 года, когда мать его пыталась возбудить симпатіи народныхъ представителей къ законному преемнику отрекшагося короля Луи-Филиппа. Съ тѣхъ поръ онъ бо́льшую часть своей жизни вынужденъ былъ провести въ изгнаніи. Пока былъ живъ представитель старшей линіи Бурбоновъ, сынъ герцога Беррійскаго графъ Шамборъ, французскіе легитимисты держались въ сторонѣ отъ принца Филиппа Орлеанскаго, графа Парижскаго, и смотрѣли на него отчасти какъ на отщепенца, чуждаго истинно монархическихъ чувствъ. Графъ Парижскій оставался во главѣ небольшой, но вліятельной партіи либерально-конституціонныхъ монархистовъ, безъ всякихъ шансовъ на достиженіе какого-либо практическаго успѣха. Только въ началѣ семидесятыхъ годовъ, когда графъ Шамборъ сдѣлался дѣйствительнымъ и единственнымъ кандидатомъ на французскій престолъ, графъ Парижскій отказался отъ своего неопредѣленнаго положенія и формально подчинился авторитету старшаго представителя Бурбоновъ. Поѣздка въ Фрошдорфъ, резиденцію графа Шамбора, въ 1873 году, только повидимому помирила строгихъ легитимистовъ съ графомъ Парижскимъ, какъ законнымъ преемникомъ бездѣтнаго „короля Генриха V“, дофиномъ Франціи. Представитель либеральныхъ идей, правнукъ Филиппа-Egalité, перешелъ номинально въ лагерь строгихъ приверженцевъ законной монархіи и этимъ шагомъ поставилъ себя въ двусмысленное положеніе, изъ котораго не могъ уже выйти до конца своихъ дней. Послѣ смерти графа Шамбора, въ 1883 году, онъ почувствовалъ себя болѣе свободнымъ и старался одновременно привлечь къ себѣ прежнихъ легитимистовъ и либеральныхъ консерваторовъ; но старый расколъ въ монархической партіи не исчезъ, несмотря на всѣ усилія достигнуть внѣшняго сліянія. Графу Парижскому суждено было какъ будто занимать мѣсто между двухъ стульевъ; ему всегда приходилось совмѣщать несовмѣстимое—говорить о законныхъ правахъ монархіи и признавать либеральные принципы народовластія, лавировать между священными королевскими традиціями и началомъ всеобщаго голосованія. Руководящее нравственное вліяніе не давалось графу Парижскому, отчасти вслѣдствіе его личныхъ качествъ, напоминавшихъ нѣкоторыя черты его дѣда; между прочимъ, на французовъ произвела крайне неблагопріятное впечатлѣніе рѣшимость принца потребо-

вать и получить отъ разоренной войною Франціи въ 1872 году денежное вознагражденіе за конфискованныя при Наполеонѣ III имѣнія Орлеанской фамиліи, не дожидаясь даже окончанія разсчетовъ съ нѣмцами по уплатѣ пяти милліардовъ контрибуціи.

Графъ Парижскій никогда не былъ популяренъ и не имѣлъ никакихъ данныхъ для популярности среди французскаго общества,— не говоря уже о народѣ; ему недоставало для этого характера и яркой политической физіономіи. Вялый и колеблющійся въ своихъ дѣйствіяхъ и рѣшеніяхъ, онъ обнаруживалъ часто отсутствіе практическаго чутья и такта; оттого въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ выступалъ изъ своей обычной пассивной роли, онъ дѣлалъ явные промахи, сильно вредившіе ему въ общественномъ мнѣніи. Такъ, онъ имѣлъ слабость увѣровать въ великое призваніе генерала Буланже и заключилъ союзъ съ сомнительными и разнородными элементами буланжистскаго движенія, чѣмъ компрометтировалъ не только себя лично, но и всю роялистскую партію. Позорное паденіе буланжизма окончательно разстроило ряды монархистовъ и побудило многихъ изъ нихъ открыто примкнуть къ республикѣ. Наконецъ, папа Левъ XIII нанесъ послѣдній и наиболѣе чувствительный ударъ графу Парижскому своимъ торжественнымъ признаніемъ республиканской формы правленія во Франціи и своими настойчивыми совѣтами легитимистамъ отречься отъ безцѣльныхъ притязаній и присоединиться къ установленному государственному порядку. Монархическая партія распалась, и графъ Парижскій доживалъ свой вѣкъ уже безъ всякихъ иллюзій, которыхъ, вѣроятно, у него не было и раньше. Онъ до конца добросовѣстно исполнялъ свою роль, назначенную ему отъ рожденія,— роль пассивнаго претендента на наслѣдство, котораго онъ не надѣялся получить, но которое считалъ долгомъ сохранить въ неприкосновенности для потомства. Ему пришлось быть передатчикомъ монархическаго принципа отъ прошлаго къ будущему, и онъ аккуратно напоминалъ въ торжественныхъ случаяхъ о существованіи этого принципа, который превратился для него какъ бы въ условный фамильный девизъ, въ отвлеченную формулу безъ положительнаго содержанія.

Сознаніе безплодно прожитой жизни грустно звучитъ въ послѣднемъ обращеніи покойнаго къ личнымъ друзьямъ и приверженцамъ. Въ этомъ политическомъ завѣщаніи, помѣченномъ 21 іюля въ Стоугоузѣ, онъ признаетъ, что „не могъ употребить свою жизнь съ тою пользой, съ какою желалъ бы, для служенія интересамъ отечества". Онъ признался также, что нерѣдко ошибался въ людяхъ и вещахъ, но оправдывалъ свои ошибки искреннимъ желаніемъ добра Франціи.

Проведя многіе годы вдали отъ родины, преимущественно въ Англіи, графъ Парижскій не всегда могъ вѣрно понимать настроеніе и чувства французскаго общества; но онъ ясно видѣлъ, что дѣло монархіи становится все болѣе чуждымъ и отдаленнымъ для большинства французовъ и что даже существующія стремленія къ созданію единичной власти направляются совсѣмъ въ другую сторону, безъ всякой связи съ старыми фамильно-монархическими тенденціями. Попытка оживить монархизмъ при помощи популярнаго генерала, связаннаго съ радикалами и бонапартистами, свидѣтельствовала уже о полномъ упадкѣ вѣры въ самостоятельную силу и будущность монархической партіи. Тѣмъ не менѣе графъ Парижскій долженъ былъ оффиціально поддерживать эту вѣру въ самомъ себѣ и въ своихъ сторонникахъ; онъ заявляетъ еще въ послѣднемъ своемъ манифестѣ, что сохраняетъ надежду на возстановленіе монархіи во Франціи. Онъ связываетъ судьбу монархизма съ возрожденіемъ христіанскихъ чувствъ въ народѣ; но въ этомъ случаѣ онъ впадаетъ въ противорѣчіе съ главою римской церкви, который проповѣдуетъ необходимость подчиненія французскихъ католиковъ республикѣ и демократіи.

Въ такомъ смутномъ и неопредѣленномъ видѣ переходитъ монархическое наслѣдство къ старшему сыну покойнаго, герцогу Орлеанскому. Съ кончиною графа Парижскаго (8-го сентября н. ст.), можетъ измѣниться личная роль главы французскихъ монархистовъ, но не положеніе ихъ во Франціи. Молодой герцогъ, въ противоположность своему отцу, обнаруживаетъ склонность къ увлеченіямъ, къ смѣлымъ планамъ и предпріятіямъ; онъ успѣлъ уже составить себѣ нѣкоторую извѣстность, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда самовольно явился въ Парижъ подъ предлогомъ отбыванія воинской повинности, и долженъ былъ просидѣть нѣсколько мѣсяцевъ въ тюрьмѣ, за нарушеніе закона объ изгнаніи членовъ царствовавшихъ французскихъ династій изъ предѣловъ республики. Новый представитель законной монархіи родился уже за границей, въ Англіи, и будетъ по своему вести роль странствующаго претендента; быть можетъ, ему удастся произвести нѣкоторый шумъ своею дѣятельностью, но репутація юношеской легкомысленности не дастъ ему, конечно, нравственнаго или политическаго авторитета въ глазахъ французскихъ консерваторовъ. Покойный графъ Парижскій былъ человѣкъ весьма образованный и просвѣщенный; онъ дѣйствовалъ также въ литературѣ и оставилъ послѣ себя два дѣльныя сочиненія —о положеніи рабочихъ въ Англіи и о междоусобной войнѣ въ Сѣверной Америкѣ. Герцогъ Орлеанскій — человѣкъ другого закала, и если его шансы успѣха столь же ничтожны, какъ и у графа Париж-

скаго, то все-таки исчезнетъ при немъ элементъ безцвѣтно-меланхолическій, и болѣе занимательные мотивы вступятъ въ свои права въ лагерѣ „послѣднихъ могиканъ“ французскаго монархизма.

Въ послѣднее время замѣчается какое-то странное оживленіе польскаго вопроса въ германской печати, и руководящую роль въ этой польско-нѣмецкой полемикѣ играетъ князь Бисмаркъ. Старый канцлеръ принималъ у себя въ Варцинѣ 16-го (4) сентября, многочисленную депутацію познанскихъ нѣмцевъ, и по этому случаю произнесъ длинную рѣчь на тему о польско-германскихъ отношеніяхъ. Нужно сказать, что нѣкоторые изъ видныхъ представителей польской группы въ германскомъ парламентѣ отступили отъ обычной своей дипломатической осторожности и дали поводъ нѣмецкимъ патріотамъ заговорить о „неблагодарныхъ“ чувствахъ и стремленіяхъ прусскихъ поляковъ. Бывшій депутатъ Косцельскій, назначенный членомъ прусской палаты господъ, пользуется большимъ политическимъ вліяніемъ, благодаря личному расположенію къ нему Вильгельма II, и онъ давно уже служитъ предметомъ настойчивыхъ нападеній нѣмецкихъ національно-либеральныхъ газетъ, такъ какъ его считаютъ виновникомъ одной изъ особенностей „новаго курса“—примирительной политики относительно польской націи. Недавно Косцельскій ѣздилъ въ Львовъ, на польско-галиційскую выставку, и тамъ, въ центрѣ возрождающейся и торжествующей австрійско-шляхетской Польши, въ обществѣ блестящихъ магнатовъ, сказалъ нѣсколько теплыхъ словъ объ единствѣ польскаго отечества и польской народности, несмотря на существующія территоріальныя границы. Эти слова прусскаго политическаго дѣятеля были подхвачены строгими блюстителями патріотизма въ нѣмецкой печати и истолкованы въ смыслѣ чуть ли не государственной измѣны.

Князь Бисмаркъ въ своей пространной рѣчи коснулся польскаго вопроса съ болѣе общей національной точки зрѣнія и подробно изложилъ свои давно извѣстныя воззрѣнія по этому предмету. Нѣмецкія патріотическія газеты съ восторгомъ привѣтствуютъ заявленія бывшаго канцлера и совѣтуютъ правительству внимательно прислушиваться къ предостерегающему голосу великаго старца. Самъ императоръ Вильгельмъ II, на банкетѣ въ Торнѣ, 22-го сентября (нов. ст.), выразилъ сожалѣніе, что прусскіе поляки не всегда ведутъ себя такъ, какъ можно было бы ожидать и желать; и онъ закончилъ свой тостъ энергическимъ напоминаніемъ, что прусскіе поляки должны чувствовать себя прежде всего прусскими подданными. Такимъ образомъ варцинская рѣчь князя Бисмарка пріобрѣтаетъ особенный инте-

ресъ, какъ выраженіе взглядовъ, раздѣляемыхъ не только значительною частью нѣмецкаго общества, но и самимъ королемъ Пруссіи и императоромъ Германіи. Самое удивительное то, что въ этихъ сужденіяхъ о прусскихъ полякахъ нѣтъ абсолютно ничего такого, что̀ не примѣнялось бы съ одинаковымъ правомъ къ самимъ нѣмецкимъ народностямъ, дорожащимъ своею политическою автономіею, несмотря на безусловную вѣрность относительно германской имперіи. Вотъ почему остается совершенно непонятнымъ, почему полякамъ въ Пруссіи ставится въ вину то естественное народное чувство, которое признается вполнѣ законнымъ со стороны саксонцевъ или баварцевъ.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го октября 1894.

— Дѣдловъ. Переселенцы и новыя мѣста. Путевыя замѣтки. Спб., 1894.

Небольшая книжка г. Дѣдлова заключаетъ разсказъ объ его странствіяхъ въ уральскомъ краѣ и на „новыхъ мѣстахъ"—въ сосѣднихъ мѣстностяхъ Средней Азіи, въ киргизской степи, куда между прочимъ направляется переселеніе нашего крестьянства внутреннихъ губерній. Странствія были предприняты не случайно: путешественникъ хотѣлъ видѣть рѣдко посѣщаемую туристами окраину нашего отечества, а также видѣть на дѣлѣ, хотя въ одномъ пунктѣ, процессъ переселенія, которое въ послѣдніе годы стало такимъ важнымъ вопросомъ народной жизни, такой заботой для администраціи, и которому посвящено было въ послѣднее время немало изслѣдованій. Въ эту литературу г. Дѣдловъ сдѣлалъ немаловажный вкладъ: его книжка, наполненная картинами, писанными съ натуры, на нашъ взглядъ есть одно изъ самыхъ интересныхъ явленій нашей литературы за послѣднее время.

Въ предисловіи авторъ съ нѣкоторой раздражительностью замѣчаетъ, что „у насъ надъ *і* непремѣнно нужно поставить точку: иначе скажутъ, что это не буква, а зловредный знакъ черной магіи". Такую точку онъ и хотѣлъ поставить въ предисловіи. По словамъ его, въ послѣднее время „ходили дикіе слухи, будто кто-то хочетъ вернуть крѣпостное право", что средствомъ къ этому должно между прочимъ служить запрещеніе крестьянскихъ переселеній, и что кто противъ переселеній, тотъ—явный крѣпостникъ. Авторъ „боится попасть въ крѣпостники", но въ то же время онъ вовсе не въ восторгѣ ни отъ переселеній, ни отъ новыхъ мѣстъ, и объясняетъ свой взглядъ на нихъ слѣдующимъ образомъ. Онъ напоминаетъ журнальные и газетные толки 1887—1891 годовъ о нѣмецкомъ Drang nach Osten. „Тогда выяснилось, что русская Польша на половину германизована,

что западный край наводненъ нѣмцами, что на югѣ ростъ колонистскаго землевладѣнія принялъ угрожающіе размѣры,—что между нами и нѣмцемъ начинается и уже началась „борьба за существованіе“. Это тревожило и волновало насъ чрезвычайно, но потомъ мы вдругъ успокоились и начали, въ такомъ же чрезвычайномъ волненіи, проповѣдовать... переселеніе русскихъ въ Азію. Воображаю, какъ это пріятно слушать нѣмцу!“

„Я не противъ переселеній, но убѣжденъ, что ихъ нужно направить не въ Азію, гдѣ пока достаточно военной, казачьей колонизаціи, а на западъ и югъ европейской Россіи, гдѣ намъ грозитъ большая опасность. *Кромѣ того,* надо употребить всѣ усилія, чтобы повысить экономическій и культурный уровень мужика вообще, а западнаго и южнаго въ особенности. Вы скажете, это задачи трудныя,—кто же говоритъ, что легкія! Вы скажете, что это невозможно,—но въ такомъ случаѣ такъ прямо и сознавайтесь, что нѣмецъ долженъ вытѣснить насъ изъ Европы, а мы должны уйти въ Азію, гдѣ и одичаемъ“.

Можно замѣтить пока, что авторъ напрасно негодуетъ на необходимость точки надъ *і*. Во-первыхъ, наша литература, частью и по независящимъ отъ нея причинамъ, слишкомъ часто говоритъ такъ неясно, что желательно, чтобы этого недостатка не было по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ ясность совершенно возможна, какъ въ настоящемъ случаѣ, и автору не было надобности доводить себя до огорченія поставить надъ *і* точку. Во-вторыхъ, упомянутая неясность можетъ быть по справедливости непріятна читателю потому, что подъ благовидными фразами у насъ дѣйствительно сплошь и рядомъ прячутся вовсе неблаговидныя цѣли, и читатель не желаетъ, чтобы его морочили. Г. Дѣдловъ упоминаетъ дальше о „дикихъ слухахъ“: эти слухи могутъ быть названы дикими только по ихъ содержанію, потому что была бы дика мысль о возвращеніи крѣпостного права; но эти слухи имѣли основаніе, потому что въ нашемъ обществѣ и въ литературѣ за послѣдніе годы подобная мысль существовала и существуетъ, хотя ее стыдятся высказать съ точкой на *і*. Впрочемъ авторъ преувеличиваетъ, говоря, что быть противникомъ переселеній значило быть явнымъ крѣпостникомъ. Противъ переселеній говорилось уже не однажды—и не съ такой крайней точки зрѣнія: говорилось, напр., съ хозяйственной точки зрѣнія, что переселенія поднимаютъ наемную плату земледѣльческихъ рабочихъ, что̀ невыгодно для сельскихъ хозяевъ; говорилось и съ стратегической точки зрѣнія, что переселенія ослабляютъ русскій центръ европейской Россіи и т. п.; говорилось, наконецъ, что переселенія свидѣтельствуютъ особенно о низкомъ уровнѣ нашей земледѣльческой культуры, что̀ было справедливо.

Обратимся впрочемъ къ книгѣ. Какъ мы сказали, это рядъ картинъ съ натуры; конечно, кое-гдѣ онѣ подправлены или закруглены фантазіей автора, но въ тонѣ его общихъ впечатлѣній. Г. Дѣдловъ—вообще наблюдатель зоркій и умѣетъ подмѣтить характерныя черты въ мѣстной природѣ, въ бытовомъ обычаѣ, въ типахъ населенія и характерахъ. На своемъ пути онъ встрѣчалъ вообще множество оригинальнаго, мало извѣстнаго, а иногда и совсѣмъ не затронутаго въ литературѣ. Такова, напр., на первыхъ страницахъ характеристика уральскаго казака: „Казаки и казачки высоки, стройны, прямы. Мужикъ въ сравненіи съ нимъ и жидковатъ, и косматъ, и приземистъ. Казаки и съ лица красивы, хотя нѣсколько и безцвѣтны, какова впрочемъ и вся Русь... Казакъ всегда и вездѣ долженъ имѣть такой видъ, какъ будто впереди у него киргизъ съ пикой, а позади башкиръ съ шашкой. Казакъ всегда долженъ быть золъ, какъ передъ боевой схваткой, но въ то же время и хитеръ, какъ человѣкъ, которому всюду грозятъ засады. Вглядитесь въ его глаза: какъ они пронизываютъ и сверлятъ незнакомаго человѣка, какъ они ловятъ выраженіе вашего лица. Бесѣда казака—допросъ. Его вопросы—ловушки. И такъ наглы и подозрительны всѣ—и мужчины и женщины, старики и дѣти. Всѣ они, безъ различія пола и возраста, какіе-то дерзкіе и смѣлые двадцатилѣтніе ухари. Особенно непріятно видѣть это въ старикахъ и дѣтяхъ. Должно быть, въ XVI, въ XVII столѣтіи, до Юрьева дня и первыхъ признаковъ культурности, вся Русь была такова: сильная, жестокая, смѣлая и полудикая“ (стр. 19). На одной почтовой станціи въ тѣхъ же мѣстахъ путешественникъ засталъ пиръ по тому случаю, что передъ тѣмъ происходила ревизія станціи и начальникъ остался доволенъ. Пиръ затянулся до ночи: „на дворѣ, на телѣгахъ и подъ телѣгами спала веселая компанія, въ платьяхъ, даже въ платкахъ и шапкахъ“. На утро стали подыматься: „Скоро суетилась вся полусонная, немытая станица, съ головной болью отъ вчерашняго хмеля. И такъ—каждый день, всю жизнь,—въ грязи, въ-полпьяна, впроголодь, въ лѣнивой суетѣ. Какія тутъ общинныя дѣла, какое общественное управленіе (объ этомъ авторъ наканунѣ бесѣдовалъ съ однимъ изъ обывателей)! Системы тутъ нѣтъ и слѣда, одинъ только „авось“ да „нахрапъ“ (стр. 21).

По части религіознаго просвѣщенія: причетникъ (тоже выпившій, при общемъ угощеніи) жалуется на крайнюю скудость своего существованія, которую и объясняетъ примѣрами.

„— Неужели же населеніе такъ бѣдно?

„— Все идетъ на служеніе сатанѣ, въ двухъ кабакахъ, а въ церкви... Повѣрите ли, на днихъ былъ праздникъ святого Іоанна

Предтечи. Вѣдь пророкъ изъ пророковъ,—а они сидятъ на завалинахъ. „Что, говоритъ, я пойду съ чужой свѣчой молиться, а свою поставить—достатковъ нѣтъ!“ Кабакъ процвѣтаетъ, а какимъ образомъ я грѣшный живу,—просто понять отказываюсь... А вѣдь живу! (Смѣхъ не столько горькій, сколько изумленный)“.

Вліяніе этой среды на переселенцевъ, осѣдающихъ въ этихъ краяхъ:

„Дикость казака заражаетъ и мужиковъ, переселяющихся сюда изъ внутреннихъ губерній. Не только крутой великороссъ усвоиваетъ разбойничье ухарство казака, но даже и мягкій въ манерахъ хохолъ, говорящій своей *жинкѣ* „вы“, и тотъ мѣняетъ свой полтавскій теноръ на сиплый баритонъ, а сиротскія манеры—на ухватки барантовщика. Сибирскіе казаки, какъ разсказываютъ, уже до того одичали, что считаютъ особеннымъ шикомъ говорить между собою не по-русски, а на мѣстныхъ инородческихъ нарѣчіяхъ...

„Подражая казацкому ухарству, переселенцы подражаютъ и ихъ лѣни, но въ этомъ случаѣ уже невольно: тутъ нѣтъ никакихъ заработковъ... Въ урожайные годы — семимѣсячное ничегонедѣланіе, въ неурожайные, притомъ очень частые, ничегонедѣланіе и проголодь, а то и прямо голодъ. Какъ выдерживаютъ люди такое существованіе—непостижимо. Зато вполнѣ постижимо, что они дичаютъ и, ушедши съ болѣе культурной „старины“, гдѣ есть и кое-какія школы, и книжонки, и гуманная барышня-акушерка, и грамотный учитель, и недалекій городъ, возвращаются въ состояніе шестнадцатаго столѣтія“ (стр. 23—24).

Картина видимо взята съ натуры, а подобныя картины почти неизмѣнно сопровождаютъ путешественника на его странствіяхъ въ оренбургскомъ краѣ и въ сосѣдней Азіи, гдѣ онъ встрѣчалъ русскихъ поселенцевъ на киргизскихъ земляхъ. Не всегда путешественникъ находилъ экономическую необезпеченность; было и достаточное крестьянство, въ городахъ (впрочемъ очень рѣдкихъ въ краѣ)—богатые купеческіе дома, большіе магазины и склады, но почти вездѣ поражало путешественника отсутствіе правильнаго хозяйства и какой-нибудь культуры. Самая обыкновенная форма хозяйства, можно даже сказать—единственная, это—хищничество; вся забота о томъ, чтобы какъ-нибудь въ настоящую минуту собрать хлѣбъ или получить иной доходъ, не думая не только о своихъ будущихъ поколѣніяхъ, но даже о собственномъ завтрашнемъ днѣ. Самая обыкновенная, почти единственная форма веселья, „гулянья“—пьянство.

Напримѣръ въ окрестностяхъ Орска: „Когда-то всѣ морщины горъ были покрыты березовыми и осиновыми перелѣсками. Было

много дичи, было много птицъ, больше родниковъ, больше дождей. Мы, „россійскіе люди", свели рощи, и ключи изсякли; птицы улетѣли; развелись миріады насѣкомыхъ, пожирающихъ хлѣба въ урожайные годы; настали засухи, уничтожающія посѣвы. И, переваливъ черезъ сырты, мы увидѣли прямо ужасающую картину" (стр. 29)...

На такъ называемой „новой линіи" путешественникъ пораженъ былъ страннымъ сходствомъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ онъ былъ въ Африкѣ на Нилѣ, и это вспомнилось ему въ казачьемъ поселкѣ на берегу одного притока Тобола. Похожа была, тамъ и здѣсь, и погода —изнуряющая жара и сушь, и люди, и нравы. „Домъ, гдѣ я пишу эти строки, почти такой же, какой былъ тамъ, на Нилѣ. Стѣны—изъ воздушнаго кирпича: потолокъ—изъ сосновыхъ досокъ (въ нильскомъ домѣ онъ былъ тоже изъ русскаго лѣса); обстановка—дешевая Европа пополамъ съ дешевой Азіей: плохенькія зеркала, деревянные стулья, швейная машина и восточные ковры по лавкамъ вдоль стѣнъ. И тамъ, и тутъ на улицахъ слышались капризные крики верблюдовъ и дикія пѣсни „туземцевъ". Тамъ распѣвали выпившіе феллахи, рывшіе каналъ; тутъ визжатъ толпы казачекъ, вотъ уже третій день напивающихся на свадьбѣ и съ неуклюжими плясками шатающихся по поселку, несмотря на адскій зной. Даже пшеница, —яровая, низкорослая, съ длиннымъ колосомъ, — похожа тамъ и тутъ... Похожа обстановка, похожи и люди. И тамъ, и тутъ населеніе пьяно: тамъ отъ гашиша, тутъ отъ сивухи. И тамъ, и тутъ меня хотятъ обобрать, заламывая несообразныя цѣны... И тамъ, и тутъ населеніе укрощается грубымъ вмѣшательствомъ властей: тамъ шейха, здѣсь поселковаго атамана" (стр. 33).

На „новой линіи" путешественникъ встрѣтилъ гораздо бо́льшую зажиточность: „Земли тутъ сколько хочешь... Посѣвы занимаютъ на извѣчной ковыльной степи такое же пространство, какъ мѣтка на большой скатерти. Поковыряютъ два-три года въ одномъ мѣстѣ и бросятъ, и ковыряютъ въ другомъ. Ковыли косятъ въ послѣднее время машинами, потому что иной разъ въ засуху они тверды, какъ проволока, и не поддаются косѣ. Подъ пастьбу скота остаются необозримыя пространства. Словомъ, тутъ, на новой линіи, на-лицо всѣ тѣ условія, при которыхъ даже русскій человѣкъ чувствуетъ себя довольнымъ своей судьбой. Отсюда-то и бросающаяся въ глаза разница въ зажиточности и манерахъ новолинейныхъ и старолинейныхъ казаковъ. Но, увы, и новая линія на порогѣ къ недовольству и бѣдности. И тутъ становится „тѣсно", и тутъ уже не могутъ подѣлить безграничной степи" (стр. 38).

Кромѣ казаковъ появляются и переселенцы изъ Россіи, правдой и неправдой занимаютъ киргизскія земли и первые годы процвѣ-

таютъ, распахивая нетронутую почву. „Въ третьемъ году урожай былъ неслыханный, больше трехсотъ пудовъ пшеницы съ десятины, но никто не подумалъ сдѣлать запаса или устроить по селамъ хлѣбные магазины. Да какое магазины: старостъ не хотятъ выбирать! Что молъ вздумали,—на новыхъ мѣстахъ „старину“ заводить, Россею! Пшеницу ѣли сами, кормили скотину, продавали за что ни попало, а когда купцы перестали покупать, стали мѣнять на водку, по 15 к. за пудъ, и неистово пьянствовать. Прошлый годъ былъ мало-урожайный, и казна дала на обсѣмененіе. Въ нынѣшнемъ году не соберутъ ничего,—и уже теперь, въ іюлѣ, голодаетъ около пяти тысячъ душъ“... „Опять бросаютъ земли и дома, опять налаживаютъ кибитки, опять христарадничанье, воровство, холодная, драка“ (стр. 51).

Въ этихъ мѣстахъ въ нѣсколько лѣтъ отъ наплыва переселенцевъ выросъ даже цѣлый городъ, тысячъ въ двадцать жителей, который только недавно былъ оффиціально признанъ и получилъ имя „Ново-Николаева“: въ народѣ онъ называется Кустонай, „Новый-городъ“, „Вольный-городъ“. „Широчайшія улицы перекрещиваются подъ прямыми углами. Въ центрѣ—площадь, равная цѣлому государству. И улицы, и площадь обстроены землянками, мазанками, домишками и домами, въ четыре, въ пять оконъ. Въ землянкахъ и мазанкахъ живутъ мужики. Въ сколоченныхъ на живую нитку домишкахъ размѣстились кабаки, постоялые дворы, пьяные мастеровые и плуты-торгаши. Въ центрѣ города два-три каменныхъ дома, подобныхъ крѣпости: толстыя стѣны, громадные каменные заборы, слѣпые амбары и склады. Это засѣли крупные купцы... И страшный же это городъ Кустонай! Цѣлыя недѣли по степи носятся бураны и затемняютъ солнце пылью... Выйдешь за городъ—тамъ голая степь, безчисленныя конусообразныя черныя кучи кизяка и несмѣтное полчище вѣтряныхъ мельницъ, которыя машутъ на васъ своими крыльями, точно не пускаютъ въ степь и гонятъ назадъ въ городъ. Вернешься—опять безобразныя мазанки и домишки, опять народъ, который перенялъ арестантскія манеры наглыхъ и пьяныхъ казаковъ „старой линіи“. Ни садика, ни газеты, ни телеграфа, ни хорошей церкви... Когда-нибудь мы съ вами, читатель, заберемся въ Америку и тогда сличимъ американскіе Кустонаи съ нашимъ“. Эта унылая картина, конечно, представляется автору не одиночнымъ явленіемъ, а только однимъ изъ образчиковъ цѣлаго бытового порядка, и онъ приходитъ къ такимъ общимъ соображеніямъ. „Я предвижу упрекъ,—говоритъ авторъ,—который мнѣ сдѣлаютъ читатели. Экъ, куда хватилъ!—скажутъ они:—тамбовскаго мужика ставить на одну доску съ американцемъ! Читатель, остерегитесь дѣлать этотъ упрекъ. Я хорошо

знаю, что есть историческая необходимость, выше которой не прыгнешь. Я знаю, что можно очень умно и убѣдительно разсуждать на ту тему, что русскій народъ дѣлаетъ, что̀ можетъ; что исторія его сложилась неблагопріятно; что и подъ давленіемъ неблагопріятныхъ условій, благодаря счастливымъ свойствамъ своего ума и характера, онъ дѣлаетъ очень много и очень хорошо. Все это я знаю, всѣмъ этимъ я горжусь, все это меня поддерживаетъ; но Боже сохрани насъ съ вами отъ этой благоразумной исторической точки зрѣнія на современность... Никогда не оправдывайте себя прошедшимъ; всегда вините себя въ томъ, что лучшее будущее достигается вами недостаточно быстро, что другіе обогнали, обгоняютъ васъ. Заводите въ Кустонаѣ телеграфъ, школы и газеты, закрывайте кабаки, разводите сады, не голодайте,—поѣзжайте взглянуть на американскіе Кустонаи“ (стр. 52—54).

Это русское народное хозяйство приводитъ путешественника въ ужасъ. „Я понимаю мужика,—говоритъ авторъ,—который бредилъ Кустонаемъ,—новымъ, вольнымъ городомъ. Ни начальства, ни баръ, ни волостного суда, ни потравъ и порубокъ. Вышелъ изъ землянки, взглянулъ—сердце смѣется: такъ вольно. Я понимаю мужика, но его поведеніе въ „вольномъ городѣ“, его манера обращаться съ „новыми мѣстами“ просто ужасаютъ меня. Положимъ, тутъ иной разъ заработать можно вдвое больше, чѣмъ „на старинѣ“,—мужикъ вмѣсто того работаетъ вдвое меньше. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ. земля выпашется, другой земли киргизы не даютъ,—и опять „тѣсно“, опять начинай сначала, опять кончай тѣмъ же, опять броди снимать сливки „подъ Новый Кустъ“ или „на Китайскій Клинъ“. Незамѣтно искатели новыхъ мѣстъ разбаловываются, разлѣниваются, пріучаются бродяжничать и почти всѣ нищаютъ. Наживаются только два-три кулака, которые за чудовищные проценты ссужаютъ деньгами, а въ голодное время хлѣбомъ, да кабаки, куда тобольніе колонисты ежегодно сносятъ двѣсти тысячъ рублей... Нѣмцы, собравшись въ русскую колонію изъ тридцати своихъ государствъ, прежде всего составляютъ Gemeinde, строятъ школу, строятъ запасный магазинъ и выбираютъ старосту, которому, ради поддержанія порядка, вручается противозаконная власть—сажать подъ арестъ и даже келейно пороть. Наши тобольніе колонисты, собравшіеся хоть и изъ тридцати разныхъ губерній, но изъ одного и того же царства, и не подумали ни о чемъ подобномъ, и при второмъ неурожаѣ погибаютъ —говорю я это не для краснаго слова, а буквально“... „Кормить ихъ?—спрашиваетъ авторъ. — Конечно, кормить. Военноплѣнныхъ турокъ—и то кормили. Но... но не пора ли намъ меньше походить на турокъ?“ (стр. 57—59).

Вторая половина книжки занята разсказами о переселенцахъ, которыхъ нашъ путешественникъ наблюдалъ на одномъ изъ тѣхъ пунктовъ, гдѣ находятся переселенческія конторы, ведущія статистику переселенія, а также оказывающія переселенцамъ небольшую помощь въ случаяхъ крайней нужды. Авторъ изображаетъ процедуру прохожденія переселенцевъ черезъ эту контору, причемъ можно было наблюдать и тѣ условія, въ какихъ совершается переселеніе, и разнообразные типы переселенцевъ по племенамъ и мѣстностямъ. Въ большинствѣ случаевъ положеніе переселенцевъ очень тяжелое, нерѣдко удручающее; но всего тяжеле положеніе „обратныхъ", составляющихъ около двѣнадцати процентовъ всего движенія. Эти двѣнадцать процентовъ, очевидно, шли куда-то наугадъ: не знали, куда идутъ, не нашли, чего искали, и возвращались разоренные; большинство другихъ точно такъ же не знаютъ, куда идутъ. Обыкновенно цѣль переселенія указывается чрезвычайно неопредѣленно и широко: идутъ въ Туркестанъ, въ Мервъ, „гдѣ хлѣбопашество съ поливкою, въ родѣ какъ садъ", на Амуръ, который представляется гдѣ-то недалеко отъ Оренбурга и Самары, къ Семи-палатамъ, на Семь рѣкъ; иные спрашиваютъ маршрутъ въ индѣйскую землю, наконецъ въ какой-то Китайскій-Клинъ. „Узнавъ, что всѣ эти мѣста существуютъ только въ его воображеніи, мечтатель теряется, просится въ переселенческій домъ, спрашиваетъ, нельзя ли куда-нибудь проѣхать на казенный счетъ, и чтобы на новомъ мѣстѣ его, по крайней мѣрѣ, первый годъ кормили,—и часто обращается вспять". Переселяются не всегда бѣдняки; но и состоятельные крестьяне точно такъ же бредутъ въ потьмахъ: при заботѣ извѣстныхъ ревнителей о неприкосновенности народа отъ школы, эти переселенцы не имѣютъ понятія о какой-нибудь географіи, по дорогѣ многіе становятся жертвами „садчиковъ", которые, не давъ имъ дойти до переселенческой конторы (гдѣ они могли бы получить точные маршруты), заманиваютъ ихъ въ какой-нибудь Китайскій Клинъ, для чего надо будто бы впередъ записаться, конечно, заплативъ за это садчику и т. п. Переселяются и нѣмцы, но они идутъ, какъ замѣчаетъ авторъ, не по звѣздамъ и по слухамъ, какъ русскіе люди: „нѣмецъ переселяется по географической картѣ и основательно проштудировавъ законъ о переселеніяхъ, притомъ въ точномъ переводѣ на нѣмецкій языкъ, обязательно сдѣланномъ для него нѣмецкой колонистской газетой въ Одессѣ. Законъ даетъ переселенцамъ нѣкоторыя права, и нѣмецъ не упуститъ случая воспользоваться ими; законъ налагаетъ извѣстныя обязанности,—и нѣмецъ исполнитъ ихъ съ величайшей аккуратностью".

Но что̀ заставляетъ крестьянъ переселяться, предпринимая такія

громадныя странствія? „Между идущими на востокъ,—говоритъ авторъ,—совершенныхъ бѣдняковъ нѣтъ и не можетъ быть... Уходятъ не отъ наступившей, а отъ надвигающейся бѣдности—отъ „тѣсноты". Но тѣснота эта—спеціально русская. Чѣмъ привольнѣй губерніи, тѣмъ сильнѣе чувствуетъ мужикъ тѣсноту. Больше всего уходятъ изъ привольныхъ самарской, саратовской и новороссійскихъ губерній. Тѣснота не въ малоземельѣ, а въ необходимости перехода отъ первобытнаго хозяйничанья на дѣвственной почвѣ къ болѣе сложному хозяйству. Самарецъ уходитъ оттого, что не стало ковыльныхъ степей. Таврическій не можетъ держать прежнія громадныя стада овецъ. Тамбовецъ, пензенецъ и рязанецъ бѣгутъ отъ сохи: они взяли отъ земли все, что могъ имъ дать вершковый слой почвы, который они поднимали одноконной сохой... Всѣмъ имъ предстоитъ одно изъ двухъ: либо ломать земледѣльческую культуру, которой народъ держался со временъ Рюрика, либо идти по бѣлу свѣту искать такихъ мѣстъ, гдѣ Рюриковы времена еще не прошли. Ничего не можетъ быть естественнѣй, что народъ избираетъ послѣднее!" (стр. 102—103).

Т.-е. „естественнымъ" оказывается неумѣнье понять и примѣниться къ новымъ условіямъ хозяйства, которыя дѣлаются неизбѣжными; „естественнымъ" становятся фантастическое исканіе индѣйской земли и Китайскаго-Клина; наконецъ „естественны" тѣ бѣдствія переселенія, о которыхъ такъ много говорилось очевидцами; наконецъ, „естественно" и то, что, пришедши на новыя мѣста, — какъ разсказываетъ нашъ авторъ, — нашимъ переселенцамъ становится опять тѣсно въ киргизскихъ степяхъ, Сибири и т. д. Земледѣльческій бытъ становится какимъ-то первобытнымъ кочеваніемъ, стремящимся возвратить Рюриковы времена... Рядомъ съ этимъ авторъ разсказываетъ: „Кого ни спросишь, напримѣръ, изъ новороссійцевъ, что сдѣлали съ землей на старинѣ, отвѣчаютъ:—продали.—Кому?—Нѣмцамъ, потому что хорошо платятъ". Отчего же нѣмецъ не только покупаетъ, но и задорого покупаетъ ту самую землю, которую русскій вынужденъ мѣнять на сомнительныя блага „новыхъ мѣстъ"?

Авторъ справедливо полагаетъ, что это стремленіе на востокъ кончается одичаньемъ. Мы не понимаемъ только, какимъ образомъ, понимая этотъ характеръ нашего народнаго „сельскаго хозяйства", авторъ „убѣжденъ, что переселенія нужно направить не въ Азію, а на западъ и югъ Европейской Россіи, гдѣ намъ грозитъ большая опасность". Намъ кажется однако, что вопросъ о нашихъ „опасностяхъ" поставленъ у г. Дѣдлова не совсѣмъ точно. Если передвинуть на западъ или югъ то переселеніе, которое идетъ теперь на востокъ, то сущность дѣла останется та же самая; кому „тѣсно" въ самарской или пензенской губерніи, будетъ столько же тѣсно или тѣснѣе

въ западныхъ губерніяхъ, и опять начнется то же исканіе Рюриковыхъ временъ, или же эти русскіе сельскіе хозяева попадутъ въ кабалу къ разнымъ мѣстнымъ дѣльцамъ и кулакамъ. Правда, авторъ находитъ, что „кромѣ того“ надо повысить экономическій культурный уровень мужика: мы думаемъ, что это нужно не *кромѣ того*, а *прежде всего*,—чтобы сельскій народъ могъ получить хотя бы самыя элементарныя познанія, на первый разъ по крайней мѣрѣ для того, чтобы знать, что такой земли, какъ Китайскій-Клинъ, куда онъ стремится, на свѣтѣ не существуетъ; что „садчикъ“, который беретъ съ него деньги впередъ, „по рублю съ семьи“, за участокъ въ индѣйской землѣ, есть мошенникъ, и платить ему—глупо; что путешествіе по звѣздамъ неудобно, и что есть для этого болѣе простые способы, напр. существуютъ географическія карты, и т. д. Наконецъ, повысить уровень нужно и въ другомъ существенномъ отношеніи, чтобы понята была необходимость другого способа хозяйствованія, чтобы не было необходимости отъ „тѣсноты“ продавать землю, на которой сейчасъ же удобно устроивается сельскій хозяинъ нѣмецъ, и т. п. Мы согласимся съ авторомъ, что это задачи трудныя, и что если скажутъ, что это невозможно, то въ такомъ случаѣ надо прямо сознаться, что „нѣмецъ долженъ вытѣснить насъ изъ Европы, и мы должны уйти въ Азію, гдѣ и одичаемъ“; только способъ борьбы съ „нѣмцемъ“ долженъ заключаться не въ томъ, что̀ на первый планъ ставитъ намъ авторъ.

Повторимъ опять, что книжка г. Дѣдлова принадлежитъ къ числу самыхъ интересныхъ, какія были писаны въ послѣднее время о народѣ. Быть можетъ, не всѣ ея подробности достаточно точны, но во всякомъ случаѣ сущность его наблюденій кажется намъ вѣрной. Литературный талантъ автора довольно извѣстенъ, и въ изображеніи бытового склада, въ передачѣ народной рѣчи онъ можетъ стать въ рядъ съ лучшими писателями на этомъ поприщѣ; но есть черты, которыя ставятъ его особнякомъ. При всемъ интересѣ къ народному быту онъ не сливается съ народною жизнью, ея лучшими сторонами и ея нуждой и бѣдами, какъ это поражаетъ и увлекаетъ насъ, напр., у г. Короленка; г. Дѣдловъ—наблюдатель холодный, и оттого, быть можетъ, отъ него, ускользаютъ тѣ условія, которыя поражаютъ народную темноту, безпомощность, а также и испорченность, то существенное, въ чемъ именно нуждается наша народная жизнь. Правда, что съ другой стороны у него совсѣмъ нѣтъ и тѣхъ фантазій, какими усердные народники такъ старательно скрываютъ отъ себя настоящую дѣйствительность. Авторъ „Переселенцевъ“ приходитъ даже къ самымъ суровымъ заключеніямъ о русскомъ народѣ. „Я скажу,—говоритъ онъ,—что русскій народъ, можетъ быть, и чудный народъ, но прежде всего ему

нужно искренно и съ сокрушеніемъ признаться, что онъ—дрянной народъ. Теперь мы на мертвой точкѣ; теперь мы настроены по камертону Достоевскаго: „русскій народъ дуренъ, но идеалы его хороши". Отдавъ вѣчному правосудію идеалы въ залогъ, мы пустились во всѣ тяжкія, и того и гляди не замѣтимъ, какъ пропустимъ срокъ, и залогъ пропадетъ" (стр. 34). Но въ дополненіе къ этому укажемъ не лишенную теплаго сочувствія страницу, гдѣ авторъ хочетъ опредѣлить одну нравственную черту великоросса (стр. 139).

— Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Д. И. Фонвизина. Посмертный трудъ академика Н. С. Тихонравова. Изданіе Второго Отдѣленія Имп. Академіи наукъ. Спб., 1894.

Въ декабрѣ 1892 года исполнилось сто лѣтъ со дня смерти Фонвизина. Въ виду этой годовщины покойный Тихонравовъ, давно занимавшійся изученіемъ Фонвизина, предложилъ Второму отдѣленію Академіи издать собранные имъ матеріалы для полнаго собранія сочиненій этого писателя. Начатое изданіе затянулось, было напечатано двадцать листовъ этого изданія, когда Тихонравовъ умеръ въ ноябрѣ 1893, а довершеніе книги по плану самого Тихонравова оказалось, по крайней мѣрѣ, въ настоящее время невозможнымъ: въ распоряженіи Отдѣленія осталась только небольшая доля матеріала, высланная ему Тихонравовымъ, бумаги же его по его смерти пока еще недоступны. Отдѣленіе рѣшило, однако, выпустить въ свѣтъ то, что было имъ сдѣлано, исполнивъ еще только часть предположеній Тихонравова. Въ планъ послѣдняго, кромѣ изданія болѣе исправныхъ текстовъ извѣстныхъ произведеній Фонвизина, входили, какъ второй отдѣлъ, „сочиненія и переводы Фонвизина, вовсе не бывшіе въ печати, или не включенные ни въ одно изданіе его произведеній", и какъ третій отдѣлъ—„сочиненія, приписываемыя Фонвизину". Составленіе этого второго отдѣла сборника, по словамъ предисловія, оказалось невозможнымъ, „такъ какъ совершенно неизданныхъ сочиненій и переводовъ Фонвизина неизвѣстно Отдѣленію, а относительно существующихъ въ печати, но не включавшихся доселѣ въ собранія его произведеній, не имѣется указаній, какія именно изъ этихъ статей Н. С. признавалъ заслуживающими перепечатки". Несомнѣнно только, что Тихонравовъ не имѣлъ въ виду вносить въ свой сборникъ такихъ обширныхъ переводовъ Фонвизина, какъ „Жизнь Сифа", „Любовь Киприды и Полидора" и др. Что касается третьяго отдѣла (который въ настоящемъ изданіи сталъ вторымъ), въ немъ помѣщены пьесы, намѣченныя самимъ Тихонравовымъ. Это—небольшое стихо-

твореніе „Чортикъ на дрожкахъ“ и сатирическая статья „Повѣствованіе мнимаго глухого и нѣмого“. По словамъ предисловія, принадлежность ихъ Фонвизину указывается старинным преданіемъ, которому въ этомъ случаѣ Тихонравовъ придавалъ значеніе.

Изданіе, начатое Тихонравовымъ, закончено было Л. Н. Майковымъ, который къ первому отдѣлу прибавилъ описаніе тѣхъ рукописей и печатныхъ книгъ, которыми пользовался Тихонравовъ при своей работѣ, и дополнилъ варіанты; далѣе, г. Майковъ прибавилъ упомянутыя пьесы, приписываемыя Фонвизину, и также сопроводилъ ихъ примѣчаніями и варіантами.

Выраженіе: „посмертный трудъ“ (въ заглавіи) должно быть выведено изъ употребленія, какъ совершенно невозможное: „посмертнымъ“ можетъ быть только изданіе, а не самый трудъ.

— С. М. Соловьевъ, его жизнь и учено-литературная дѣятельность. Біографическій очеркъ П. В. Безобразова. Съ портретомъ Соловьева, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ. Спб., 1894.

Въ серіи біографій, издаваемыхъ г. Павленковымъ, мы съ большимъ удовольствіемъ встрѣтили біографію С. М. Соловьева. Прошло уже пятнадцать лѣтъ по его смерти и все еще не было нѣсколько обстоятельной біографіи знаменитаго историка. Есть, правда, прекрасныя воспоминанія г. Герье, но онѣ представляютъ только общую характеристику его труда и его литературнаго характера, мало касаясь біографіи; между тѣмъ надо было желать болѣе подробнаго разсказа о дѣятельности писателя, оставившаго по себѣ громадный ученый трудъ, по истинѣ національнаго значенія. Біографія ученаго очень часто бываетъ немногосложна по внѣшнимъ фактамъ: она немногосложна и въ настоящемъ случаѣ. Вскорѣ послѣ перваго начала своего ученаго поприща, Соловьевъ, съ 1845 года, вступилъ на каѳедру; черезъ немного лѣтъ послѣ того онъ началъ, съ 1851 года, изданіе своей монументальной „Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ“,—и съ тѣхъ поръ каѳедра и „Исторія“ составили весь трудъ его жизни. Внѣшнихъ фактовъ мало; личная жизнь шла въ строго опредѣленномъ порядкѣ, систематически посвященная университету и работѣ надъ „Исторіей“. Но за внѣшними фактами, эта біографія представляетъ высокій внутренній интересъ, какъ исторія тѣхъ идей, на которыхъ основался историческій трудъ Соловьева, и какъ объясненіе личнаго характера въ данной обстановкѣ общественныхъ условій. Можно сказать, что послѣ Карамзина, имѣвшаго громадное значеніе въ свое время, но историческій взглядъ котораго давно

пересталъ удовлетворять критику, трудъ Соловьева, болѣе обширный, доведенный почти до конца XVIII-го столѣтія, былъ важенъ въ особенности тѣмъ, что былъ первымъ опытомъ раціональной постановки русской исторіи. Соловьевъ не задавалъ себѣ цѣлей художества, не имѣлъ въ виду дѣйствовать на чувство нравоучительными картинами прошедшей жизни, положительными или отрицательными; онъ стремился понять историческій *законъ*, по которому совершалось развитіе русской жизни, найти *условія*, изъ которыхъ произошли политическія и общественныя формы, умственный и нравственный складъ народа, разыскать тѣ нити, которыми связываются различные періоды народнаго бытія, и это была, конечно, настоящая задача историческаго изслѣдованія. Какъ сложилась эта точка зрѣнія и какъ она была выполнена? Въ этой исторіи ученаго труда, очевидно, связываются общій ходъ нашей научной, и скажемъ также—общественной мысли, и личная иниціатива. Историческій взглядъ Соловьева былъ до извѣстной степени подготовленъ предъидущимъ ходомъ русской науки, но подготовленъ только до извѣстной степени, и великая заслуга его личной иниціативы была въ самостоятельномъ и настойчивомъ развитіи его основной идеи, въ примѣненіи ея на громадномъ пространствѣ вѣковъ русской исторіи. Значеніе этой личной научной заслуги, составляющей вмѣстѣ и достоинство характера, опредѣляется, между прочимъ, необычайной и особенно рѣдкой у насъ энергіей, съ какой онъ задумалъ и исполнилъ свое предпріятіе. Какъ разсказываетъ біографія, первый приступъ къ его монументальному труду встрѣтилъ, правда, теплое сочувствіе въ средѣ одинаково настроенной молодой профессуры, встрѣтилъ, однако, и крайнее недоброжелательство... Нѣкоторая часть общества,—говоритъ біографъ, — была убѣждена, что „Карамзинъ стоитъ на недосягаемой высотѣ, и что писать исторію послѣ него большая дерзость. Такой взглядъ господствовалъ въ высшемъ обществѣ, когда появился первый томъ „Исторіи“ Соловьева. Одинъ изъ высокопоставленныхъ меценатовъ прямо высказалъ автору свое недовольство (!); онъ находилъ предпріятіе писать русскую исторію послѣ Карамзина очень смѣлымъ: другое дѣло, еслибы Соловьевъ издалъ лекціи, читанныя имъ въ университетѣ. Авторъ отвѣчалъ, что названіе лекцій было бы страннымъ для труда, который должно быть будетъ очень обширнымъ и многотомнымъ. Это окончательно разсердило мецената... Эти меценаты, не читая труда Соловьева, отзывались о немъ съ большимъ пренебреженіемъ, старались уничтожить его, уронить въ глазахъ публики“.

Книжка П. В. Безобразова, написанная тепло и съ вѣрнымъ пониманіемъ тѣхъ литературныхъ условій, въ которыхъ Соловьевъ совершалъ свое предпріятіе, съ вѣрнымъ пониманіемъ значенія его

труда, — эта книжка прекрасно удовлетворяетъ своей популярной цѣли: она будетъ прочитана съ большою пользою тѣми, кто захочетъ познакомиться съ біографіей знаменитаго историка. Но остается все-таки желать, чтобы было исполнено и болѣе обширное жизнеописаніе, съ бо́льшими подробностями о ходѣ и судьбѣ ученой работы Соловьева, объ его университетскихъ отношеніяхъ, которыя дава́ли ему, вѣроятно, не мало радостныхъ, но, сколько извѣстно, не мало и тягостныхъ минутъ... Намъ кажется, что теперь многое уже можетъ быть разсказано и намеки раскрыты: эти подробности его біографіи, безъ сомнѣнія, еще полнѣе объяснятъ его нравственный образъ. Точно такъ же были бы очень любопытны и бо́льшія подробности его литературныхъ отношеній: для изложенія ихъ не представится, вѣроятно, уже никакихъ препятствій.—Т.

— Славянское Обозрѣніе. Годъ второй. Сборникъ статей по славяновѣдѣнію, подъ редакціей И. С. Пальмова. Изданіе с.-петербургскаго Славянскаго благотворительнаго Общества. Спб., 1894. Стр. VIII+506.

Литературныя предпріятія нашего Славянскаго Общества замѣтно измѣняютъ свой характеръ въ послѣдніе годы. Изданіе спеціальнаго журнала для распространенія славянофильскихъ идей оказалось дѣломъ крайне неблагодарнымъ, и всѣ опыты такого рода приводили къ неудачѣ и разочарованію. Еженедѣльныя „Славянскія Извѣстія" закончили свое существованіе за отсутствіемъ подписчиковъ, причемъ редакція объясняла свой неуспѣхъ главнымъ образомъ стѣснительными мѣрами австрійскаго правительства, мѣшавшими разсылкѣ газеты въ предѣлахъ Австро-Венгріи. Ежемѣсячный журналъ, выходившій затѣмъ подъ редакціею проф. Будиловича, подъ названіемъ „Славянскаго Обозрѣнія", долженъ былъ такъ же точно прекратиться по недостатку средствъ; редакторъ опять-таки ссылался не только на тяжелыя матеріальныя условія изданія, но и на „гнетъ австро-угорской цензуры", который „ложится тяжелымъ бременемъ на большинство заграничныхъ подписчиковъ" журнала. Что у насъ въ Россіи подобный журналъ не можетъ имѣть достаточнаго количества читателей—это подразумѣвалось само собою. Разсчитывать на австрійцевъ было довольно странно со стороны русскаго изданія, предназначеннаго для русской публики, и жалобы на австрійскую цензуру производили вообще комическое впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что значительная часть журнала посвящалась жестокимъ нападкамъ на Австро-Венгрію во имя интересовъ славянства. Наконецъ, мысль о славянскомъ журналѣ съ политическимъ оттѣнкомъ теперь оставлена, и проповѣдь славянофильства приняла единственную разум-

ную форму—добросовѣстнаго ознакомленія публики съ научно-литературною, общественною и политическою жизнью славянскихъ народовъ, безъ предвзятыхъ тенденцій, безъ излишней полемики и борьбы. Польза и важность такого ознакомленія не могутъ подлежать спору, и Славянское Общество оказало бы большую услугу русской литературѣ и публицистикѣ, еслибы оно направило свои усилія на распространеніе положительныхъ и своевременныхъ свѣденій о славянскихъ народностяхъ, не задаваясь щекотливыми и туманными вопросами внѣшней политики.

Вышедшій недавно „Сборникъ статей по славяновѣденію", подъ редакціею проф. И. С. Пальмова, вполнѣ отвѣчаетъ такому желательному направленію славянофильскихъ работъ и заслуживаетъ поэтому полнаго вниманія и сочувствія. Въ сборникѣ находимъ цѣлый рядъ интересныхъ статей, обстоятельныхъ очерковъ и корреспонденцій, касающихся литературы, современной, общественной и политической жизни славянства. Эти очерки и корреспонденціи, писанныя на мѣстѣ свѣдущими лицами, особенно цѣнны потому, что въ нашихъ ежедневныхъ газетахъ почти не встрѣчается самостоятельныхъ свѣденій о ходѣ дѣлъ въ славянскихъ земляхъ, и публикѣ приходится довольствоваться лишь отрывочными и случайными сообщеніями, заимствованными изъ австрійскихъ источниковъ. Правда, прежній задорно-политическій духъ даетъ себя еще чувствовать въ нѣкоторыхъ статьяхъ сборника; но редакція видимо старалась сохранить объективность и безпристрастіе въ изложеніи и освѣщеніи собраннаго матеріала, и это стараніе само по себѣ составляетъ уже несомнѣнный прогрессъ для дѣятелей нашего Славянскаго Общества. Г-нъ Пальмовъ заявляетъ въ предисловіи, что, издавая настоящій сборникъ, редакція „приняла всѣ зависящія отъ нея мѣры къ тому, чтобы изданіе соотвѣтствовало намѣченной программѣ и представляло сборникъ такихъ статей по славяновѣденію, которыя, на ряду съ историческимъ освѣщеніемъ прошлыхъ судебъ славянства и культурныхъ его спутниковъ, давали бы по возможности хотя краткія свѣденія о современной жизни этихъ народовъ, все еще мало и не всегда внимательно затрогиваемой въ нѣкоторыхъ нашихъ, даже большихъ повременныхъ изданіяхъ". Кромѣ двухъ главныхъ отдѣловъ—научно-литературнаго и современной лѣтописи славянства,—редакція имѣла въ виду присоединить къ нимъ еще отдѣлъ славянской библіографіи; приготовленъ былъ также полный обзоръ „русскихъ сочиненій, даже болѣе или менѣе важныхъ журнальныхъ статей по славяновѣденію и отзывовъ о заграничныхъ славянскихъ изданіяхъ" за минувшій годъ; но печатаніе этой статьи отложено до слѣдующаго выпуска. Редакція выражаетъ также сожалѣніе о

томъ, что для отдѣла современной лѣтописи „не удалось получить во-время свѣденій изъ-за границы о полякахъ и нѣкоторыхъ другихъ частныхъ вѣтвяхъ той или другой славянской народности".

Г. Пальмовъ дѣлаетъ еще одну существенную оговорку, которая въ дѣйствительности заключаетъ въ себѣ косвенное отреченіе отъ односторонних тенденцій и полемическихъ пріемовъ редакторовъ прежнихъ изданій Славянскаго Общества. Мѣстная славянская печать за границей, говоритъ г. Пальмовъ, высказывала иногда „упреки нѣкоторымъ нашимъ редакторамъ за мнимое (далеко не всегда мнимое!) пристрастіе къ той или другой славянской народности или даже къ извѣстной партіи опредѣленной народности"; по этому поводу редакція заранѣе предупреждаетъ, что, помѣщая въ сборникѣ тѣ или другія статьи, она „не считаетъ себя, однако, отвѣтственною за различіе въ воззрѣніяхъ авторовъ статей на извѣстныя междуславянскія отношенія". Между прочимъ, это предупрежденіе повторено спеціально относительно этюда г. А. Бендерева о Болгаріи (стр. 107, примѣч.),—вѣроятно, въ виду принадлежности автора къ числу болгарскихъ эмигрантовъ, не могущихъ безпристрастно и спокойно относиться ко всему происходящему въ княжествѣ.

Изъ числа статей сборника слѣдуетъ отмѣтить статью проф. Будиловича о Янѣ Колларѣ, г. А. Липовскаго—о Гундуличѣ, проф. А. Александрова—о торжествѣ 400-лѣтія ободской типографіи въ Черногоріи, г. В. Завитневича—объ отношеніи польской исторической литературы къ вопросу о паденіи Польши, г. К. Грота—о лужицко-сербскомъ поэтѣ Михаилѣ Горникѣ, г. Бендерева—статистическій обзоръ Болгаріи. Въ отдѣлѣ современной лѣтописи обращаютъ на себя вниманіе весьма интересные очерки и описанія „славянскихъ студенческихъ обществъ въ Вѣнѣ", „Болгаріи наканунѣ 1894 года", г. Людсканова, „Черногоріи въ 1893 году"—П. А. Ровинскаго, „Австро-Угорской Руси" въ томъ же 1893 году, характеристика политическаго состоянія Хорватіи, обзоръ хорватской литературы за прошлый годъ, объ этнографическомъ движеніи въ чешскихъ земляхъ, о Босніи и Герцеговинѣ, о словинцахъ въ 1893 г., обзоръ главнѣйшихъ сочиненій по румынской исторіи и литературѣ за послѣдніе два года, письма изъ Сербіи, Угорской Руси, Далмаціи, Истріи, словацкой области, Праги и др. Хотя нѣкоторые изъ этихъ очерковъ и писемъ не отличаются желаннымъ безпристрастіемъ (какъ напр. описаніе вѣнскихъ студенческихъ обществъ), но въ общемъ нельзя не отдать справедливости усиліямъ г. Пальмова достигнуть возможно большей полноты и разнообразія матеріала въ редактируемомъ имъ полезномъ изданіи Славянскаго Общества.

— Что дѣлаютъ дворяне и что имъ слѣдовало бы дѣлать?—Харьковъ, 1894. Стр. 38. Ц. 1 р.

Въ брошюркѣ неизвѣстнаго автора изображается прежде всего безплодность и пустота сословной дѣятельности дворянства въ провинціи, и затѣмъ, для устраненія этихъ недостатковъ, предлагается подробно выработанный проектъ новаго устава „дворянскихъ обществъ взаимной помощи“ въ 96 параграфахъ. Обычный ходъ дворянскихъ собраній и выборовъ характеризуется, по описанію автора, отсутствіемъ всякихъ серьезныхъ интересовъ, полнымъ равнодушіемъ къ общественнымъ дѣламъ, господствомъ мелочныхъ личныхъ разсчетовъ, обиліемъ всевозможныхъ сословныхъ ходатайствъ и напрасною тратою времени и денегъ. Авторъ не стоитъ за какія-либо новыя привилегіи для дворянства: „были заслуги,—говоритъ онъ,—были и награды, да еще и не по заслугамъ,—разсчетъ конченъ“. Выпрашиваніе послабленій и льготъ онъ считаетъ „отрицаніемъ своей правоспособности, тѣмъ болѣе неблаговиднымъ, что по образованію и матеріальнымъ достаткамъ дворянство занимаетъ первое мѣсто въ государствѣ“. Такъ какъ существующія условія образованія дѣтей весьма тягостны для помѣщиковъ и не соотвѣтствуютъ практическимъ потребностямъ, то дворяне должны взять дѣло воспитанія исключительно въ свои руки; для этого „надо учредить пансіоны-пріюты, въ которыхъ преподавались бы не только одни слова, но и дѣло, т.-е. ремесла и искусства, могущее обезпечивать самостоятельнымъ трудомъ каждаго, желающаго выучиться работать“. При этихъ пансіонахъ будутъ устроены „образцовыя мастерскія съ пріемомъ заказовъ, что̀ послужитъ пособіемъ для содержанія ихъ“. Далѣе, въ виду плачевнаго состоянія нынѣшнихъ провинціальныхъ больницъ, слѣдуетъ „господамъ дворянамъ позаботиться о больныхъ своихъ собратахъ и устроить отдѣльныя больницы подъ непосредственнымъ своимъ наблюденіемъ“. Надо учредить въ городахъ дворянскіе банки для лицъ, нуждающихся въ кредитѣ, завести общественныя дворянскія земли для раздачи надѣловъ желающимъ, назначить опредѣленное жалованье предводителямъ, избрать комитеты для изысканія способовъ помочь бѣднымъ дворянамъ и т. д. Все это могло бы быть устроено при помощи новыхъ „дворянскихъ обществъ“, которыя, по проекту автора, соединяли бы въ себѣ самыя разнородныя функціи, начиная съ операцій ссудныхъ кассъ и кончая поддержаніемъ научныхъ и литературныхъ предпріятій. Между прочимъ, коммиссіонныя дѣла возлагались бы „преимущественно на членовъ общества, не имѣющихъ занятія (!) и потерявшихъ таковыя по независящимъ отъ нихъ причинамъ“.

Откуда явится у мѣстныхъ дворянъ недостающая имъ дѣловитость, энергія и самодѣятельность, послѣ учрежденія новыхъ „обществъ взаимной помощи“,—этого авторъ не объясняетъ, какъ не указываетъ онъ и мотивовъ чисто-сословной организаціи предлагаемыхъ реальныхъ школъ и разныхъ улучшеній мѣстнаго быта. Среди множества „дворянскихъ“ проектовъ, появляющихся въ наше время, предположенія неизвѣстнаго харьковскаго обывателя любопытны только въ одномъ отношеніи,—что они основаны всецѣло на принципѣ самостоятельности и самопомощи, безъ модныхъ нынѣ разсчетовъ и домогательствъ, направленныхъ противъ государственнаго казначейства.—Л. С.

Въ теченіе сентября поступили въ редакцію слѣдующія новыя книги и брошюры:

Андреевскій, И. С.—Генезисъ науки, ея принципы и методы. Ч. II. Кіевъ, 94. Стр. 32.

Андерсенъ. — Собраніе сочиненій въ 4-хъ томахъ. Переводъ съ датскаго подлинника. А. и П. Ганзенъ. Т. II, вып. 8, стр. 401—521. Т. III, вып. 9: Импровизаторъ, ч. 1, стр. 128. Спб. 94. Ц. 8 р. за 4 т., по подпискѣ 6 руб.

Афанасовичъ, В. К.—Плодовый садъ и домашній огородъ любителя въ сѣверной полосѣ Россіи. Изд. 2-е. Спб. 94. Стр. 243. Ц. 1 р.

Базилевскій. М.—Рабби Іегуда Ганасси, составитель Мишны, его жизнь и дѣятельность. Од. 94. Стр. 41. Ц. 15 к.

Брэмъ, А.—Жизнь животныхъ. Популярное изданіе. Полутомъ I, вып. 13. Полутомъ II, вып. 14. По 25 к. выпускъ. Од. 94. Перев. съ нѣм. п. р. д-ра зоологіи С. М. Переяславцевой.

Бунге, Н. А.—Курсъ химической технологіи. Вып. I: Вода, топливо и отопленіе, освѣщеніе. Съ 138 политип. Кіевъ. 94. Стр. 352. Ц. 3 р. 30 к.

Вахтеровъ, В. П.—Всеобщее начальное обученіе. М. 94. Стр. 20.

Велецкій, С. Н.—Двадцать-пять лѣтъ дѣятельности земства въ Полтавской губерніи, съ 1866 по 1892 г. Полт. 94. Стр. 142.

Вельнеръ, А.—Часы досуга, сборникъ стихотвореній. Ѳеодосія, 93. Стр. 47.

Вешняковъ, В. И. — Рыболовство и законодательство. Спб. 94. Стр. 780 и 150. Ц. 4 р.

Владиміровъ, П. В. — Начало славянскаго и русскаго книгопечатанія въ XV и XVI вв. Кіевъ, 94. Стр. 34. Ц. 35 к.

Владиславлевъ, В.—Къ аграрному вопросу въ Лифляндіи. Спб. 94. Стр. 60.

Гамонъ, А. — Опредѣленіе преступленія. Перев. съ франц. В. В. Быковскаго. М. 94. Стр. 23. Ц. 35 к.

Гацискій, А. С. — Чествованіе памяти. В. Кн. Георгія Всеволодовича. Н.-Новг. 94. Стр. 44.

Гинтеръ, Н. К.—Краткій учебникъ фармацевтической ботаники и растительной фармакогнозіи. Съ 135 рис. Спб. 94. Стр. 266. Ц. 1 р. 80 к.

Головъ, Д.—Двигатели малой силы для промышленности и сельскаго хозяйства. Спб. 94. Стр. 237. Ц. 2 р.

Грумъ-Гржимайло, Г. Е.—Описаніе Амурской области. П. р. П. П. Семенова. Спб. 94. Стр. 638. Ц. 4 р.

Де-Волланъ, Гр.—По бѣлу свѣту. Путевыя замѣтки. Ч. 2. Бирма, Ява, Китай, Тонкинъ, Кохинхина, Камбоджа, Сіамъ. Спб. 95. Стр. 371. Ц. 2 р. 25 к.

Джаншіевъ, Гр.—Изъ эпохи великихъ реформъ. Съ портр. А. М. Унковскаго и С. И. Зарудnаго. 5-е дополн. изд. М. 94. Стр. 716. Ц. 2 р. 40 к.

——— А. М. Унковскій и освобожденіе крестьянъ. Историко-біографическія справки. Съ 2 портр. и приложеніями: „Извлеченія изъ журнальн. статей". М. 94. Стр. 192 и 51. Ц. 1 р. Съ благотворительною цѣлью.

Добровольскій, В. Н.—Смоленскій этнографическій сборникъ. Спб. 94. Стр. 442.

Драгановъ, П.—Македоно-славянскій сборникъ съ приложеніемъ словаря. Вып. 1. Спб. 94. Стр. 280.

Жеденовъ, Н.—Общественное призрѣніе дѣтей на началахъ самостоятельнаго ихъ существованія, въ связи съ вопросомъ о сельско-хозяйственномъ и кустарномъ образованіи. Сарат. 94. Стр. 43. Ц. 30 к.

Замѣскій, С. І., проф.—Къ вопросу о нормированіи пищевого довольствія для пріисковыхъ рабочихъ. Томскъ, 94. Стр. 20.

Карелинъ, А. А.—Краткое изложеніе политической экономіи. Спб. 94. Стр. 307. Ц. 1 р. 50 к.

Карѣевъ, Н.—Исторія западной Европы въ новое время. Развитіе культурныхъ и соціальныхъ отношеній. Т. IV: XIX-й вѣкъ — Консульство, Имперія, Реставрація. Спб. 94. Стр. 661. Ц. 4 р.

——— Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи. Спб. 94. Стр. 203. Ц. 50 к.

Корню, А. — Къ столѣтію открытія гальваническаго тока, 1794—1894 г. Взаимное соотношеніе явленій статическаго и динамическаго электричества и опредѣленіе электрическихъ единицъ. Перев. съ франц. И. Пламеневскаго: Тифл. 94. Стр. 67. Ц. 30 к.

Кудринскій, Ѳ.—Утопленница. Этнографическій разсказъ. Кіевъ. 94. Стр. 57.

Кудрявскій, Д.—Какъ жили люди въ старину. М. 94. Стр. 136. Ц. 30 к.

Куперникъ, А. А.—О судебномъ преобразованіи. Од. 94. Стр. 30.

Лавриченко, К. Г.—Родителямъ и учителямъ. Вопросы воспитанія. Спб. 94. Стр. 82. Ц. 50 к.

Лажечниковъ, И. И.—Ледяной домъ. Съ рис. П. Полякова. Изд. и ред. А. Сосницкаго. М. 94. Въ 4-хъ частяхъ. Ц. 2 р.

Ловягинъ, А.—Каталогъ Библіотеки Имп. Человѣколюбиваго Общества. Спб. 94. Стр. 210.

Луговой, А.—Сочиненія. Т. I: Стихотворенія, повѣсти, разсказы и драматическія произведенія. Спб. 94. Стр. 572. Ц. 2 р.

Маркевичъ, А.—Опытъ указателя сочиненій, касающихся Крыма и Таврической губерніи вообще. Симфер. 94. Стр. 394. Ц. 2 р.

Матвѣевъ, П. А. — Николай Васильевичъ Гоголь и его переписка съ друзьями. Спб. 94. Стр. 152. Ц. 1 р. 50 к.

Мельниковъ, А. П. — Керженскіе или дьяконовы отвѣты (брошюра). Н.-Новг. 94.

Мижуева, О. М. — Приключенія трехъ котятъ, разсказъ для маленькихъ дѣтей. Спб. 94. Стр. 15. Ц. 30 к.

Миропольскій, С. — Наставленіе для обучающихъ по „Учебнику грамоты для молодыхъ солдатъ". Изд. 5-е. Спб. 94. Стр. 31. Ц. 15 к.

Молло, М.—Правила адвокатской профессіи во Франціи. Перев. съ франц. М. 94. Стр. 98.

Моревъ, Д. Д. — Очеркъ коммерческой географіи и хозяйственной статистики Россіи сравнительно съ другими государствами. Изд. 4-е. Спб. 94. Стр. 327. Ц. 2 р.

Мушниковъ, А.—Основныя понятія о нравственности, правѣ и общежитіи. Курсъ законовѣденія для кадетскихъ корпусовъ. 2-е изд. Спб. 94. Стр. 144. Ц. 1 р. 25 к.

Немировичъ-Данченко, В. И. — Майоръ Бабковъ и его сироты. Повѣсть. Спб. 94. Стр. 308. Ц. 1 р.

Ньюкомбъ, С. и Р. *Энгельманъ*.—Астрономія въ общепонятномъ изложеніи, дополненная Г. Фогелемъ, директ. астроном. обсерват. въ Потсдамѣ. Перев. съ 2-го изд. Н. С. Дрентельна. Вып. 1. Спб. 94. Стр. 144. Ц. 1 р. 40 к.

Падалка, Л.—По вопросу о существованіи Запорожской Сѣчи въ первыя времена запорожскаго казачества. Кіевъ, 94. Стр. 41.

Палаузовъ, В. Н. — Къ вопросу о будущемъ нашемъ уголовномъ кодексѣ. Од. 94. Стр. 132.

Певзнеръ, С.—Стихотворенія. М. 94. Стр. 18. Ц. 20 к.

Петровскій, П. Н.—Лирическіе наброски. Кіевъ, 94. Стр. 45.

Петровъ, Андрей. — Пятидесятилѣтіе научной разработки славянскихъ источниковъ для біографіи Кирилла и Меѳодія (1843—93 г.). М. 94. Стр. 56.

——— Спорные вопросы миссіонерской дѣятельности св. Кирилла Философа на Востокѣ. Од. 94. Стр. 13.

——— Апокрифическое пророчество царя Соломона о Христѣ. Спб. 94. Стр. 16.

Піонтковскій, А.—Объ условномъ осужденіи или системѣ испытанія. Уголовно-политическое изслѣдованіе. Од. 94. Стр. 184.

Плещеевъ, А. Н. — Стихотворенія (1846 — 1891 г.). 2-е изд., съ портр. автора, факсимиле и статьею П. И. Вейнберга. Спб. 94. Стр. 603. Ц. 3 р. 50 коп.

Плотниковъ, М. А. — Кустарные промыслы Нижегородской губерніи. Н. Новг., 94. Стр. 278.

Рева, И. М.—Сѣверныя желѣзно-дорожныя вожделѣнія. Арханг. прожектерамъ посвящ. Арханг., 84 (?). Стр. 26.

Струве, П. — Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи. Спб. 94. Стр. 291. Ц. 1 р. 50 к.

Стулли, Ѳ. С.—Собраніе повѣстей и разсказовъ. Спб. 94. Стр. 538. Ц. 3 р.

Суперанскій, М. — Какъ открывать и устроивать народныя библіотеки и читальни. Симб. 94. Стр. 41. Ц. 25 к.

Толстой, гр. А. К. — Князь Серебряный. Повѣсть временъ Іоанна Грознаго. Спб. 94. Стр. 359. Ц. 1 р. 50 к.

Томеро́, А.—Сельско-хозяйственныя страхованія. Современное положеніе этого вопроса. Съ приложеніемъ статьи: Первая попытка государственнаго соціализма при Наполеонѣ III. Спб. 94. Стр. 53.

Трефолевъ, Л. Н.—Стихотворенія (1864—1893 г.) М. 94. Стр. 416. Ц. 2 р.

Фрейманъ, фонъ О. Р. — Пажи за 183 года (1711—1894 г.). Вып. 1. Фридрихсгамнъ. 94. Стр. 80. in-4°. Ц. 1 р. 50 к.

Халютинъ, С. Л., перев. съ франц.—Французы и русскіе въ Крыму. Минскъ, 94. Стр. 327. Ц. 1 р.

Черепнинъ, Н. П.—Бесѣды врача о заразныхъ болѣзняхъ. Законоположеніе

о нихъ, мѣры къ ограниченію леченія и прописи лекарствъ. Изд. 4-е. Спб. 94. Стр. 117. Ц. 70 к.

Чешихинъ, Е. В.—Краткая исторія Прибалтійскаго края. Изд. 2-е, съ біографическими свѣденіями о Чешихинѣ. Рига, 94. Стр. 73.

Шимко, И. И.—Патріаршій казенный приказъ, его внѣшняя исторія, устройство и дѣятельность. М. 94. Стр. 361. Ц. 1 р.

Ястребовъ, В. Н.—Воспитаніе Петра В. Од. 94. Стр. 32. Ц. 10 к.

Эвелинъ, Дж.—Королева инковъ. Ром. Ч. 2-я. М. 94. Стр. 197.

Daurelle, Jacques.—Psyché, roman sentimental. Par. 94. Стр. 140.

— Движеніе на населението въ Българско то Княжество прѣзъ 1891 год. Издава статистическото бюро. София, 1894. Стр. 473 in-4°.

— Дешевая Библіотека: № 179. Плутарха, Поліеркетъ и Антоній. № 180. Его же, Діонъ и Брутъ. № 249. Аристофана, Облака. № 258. Безпросвѣтная глушь, В. Немировича-Данченко. № 262, 263, 264, 265. Сто великихъ людей. № 308. Маруся, Квитка-Основьяненка. № 310. Сочиненія Е. А. Баратынскаго. № 311, 312 и 313. В. Гюго, Соборъ Париж. Богоматери. Спб. 94.

— Изданіе книжнаго магазина П. К. Прянишникова: № 1. Царь золотой рѣки, штирійская легенда. № 2. О воздухѣ, М. Н. Янишевскаго. № 3. Что нужно дѣлать въ садахъ, чтобы не было червивыхъ яблокъ? А. Золотарева. № 4. Новое удобреніе для неурожайныхъ земель, К. Дмитріева. М. 94. Ц. 2 р. 75 за 100 экз.

— Краткій обзоръ дѣятельности педагогическаго музея военно-учебныхъ заведеній за 1893-94 г. Спб. 94. Стр. 91. Ц. 30 к.

— Матеріалы къ санитарной оцѣнкѣ городскихъ полей орошенія въ Одессѣ. Од. 94. Стр. 55.

— Настольный Энциклопедическій Словарь, изд. А. Гранатъ и К°. Вып. 84—88 (Питео-Публилій). М. 94. Стр. 3903—4142. Ц. по 40 к.

— Наша старина. V: Разрушеніе Іерусалима, С. Пэна. Од. 94. Стр. 48. Ц. 15 к.

— Новая Библіотека Суворина. Женщина тридцати лѣтъ. Романъ Бальзака. Спб. 94. Стр. 274. Ц. 60 к.

— Отчетъ Имп. Человѣколюбиваго Общества за 1890-91 г. Спб. 94.

— Отчетъ о дѣятельности состоящаго при Имп. Вольн. Экон. Обществѣ Спб. Комитета грамотности за 1893 г. Спб. 94.

— Отчетъ о сборѣ съ публичныхъ зрѣлищъ и увеселеній въ пользу вѣдомства учрежденій имп. Маріи съ 1-го окт. 1892 г. по 1 янв. 1894 г. Спб. 94. Стр. 103 in-4°.

— Отчетъ по лѣсному управленію министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ за 1893 г. Спб. 94. Стр. 108.

— Положеніе о видахъ на жительство, съ оглавленіемъ и азбучнымъ указателемъ. Изъ собранія узакон. и распоряж. правительства. Петроградъ, 95. Издатель Геруцъ. Стр. 47. Ц. 20 к.

— Сборникъ правовѣденія и общественныхъ знаній. Т. III. Спб. 94. Стр. 255 и 194. Ц. 2 р. 50 к.

— Статистика търговията на Българското княжество съ чуждитѣ държави прѣзъ 1893 година. Издава статистическото бюро. София, 1894. Стр. 307 in-4°.

— Тифлисскій настольный календарь на 1894 г. Тифл. 93. Стр. 106. Ц. 40 коп.

— Труды Геологическаго Комитета: Т. VIII, № 2. Аммониты нижняго волжскаго яруса, А. Михальскаго. Т. IX, № 3. Фауна нижнеолигоценовыхъ отложеній окрестностей Екатеринослава. Т. XIII, № 2. Общая геологическая карта Европ. Россіи, л. 89: ро-гидрографическій очеркъ зап. части Вятской губ., П. Кротова. Спб. 94.

— Труды Общества дѣтскихъ врачей въ С.-Петербургѣ. Томъ VIII. Спб. 94. Стр. 110. Ц. за годъ 2 р.

— Узаконеніе о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ (читальняхъ) съ приложеніемъ примѣрныхъ ихъ уставовъ, составленныхъ Спб. Комитетомъ грамотности. Спб. 94. Стр. 29.

ОБЪЯСНЕНІЕ.

Былъ ли В. И. Григоровичъ въ Римѣ въ 1840—41 гг.?

По поводу замѣтки Н. И. Булича, помѣщенной недавно въ журналѣ и разрѣшающей отрицательно вопросъ о томъ, былъ ли извѣстный профессоръ и знатокъ славянскихъ нарѣчій въ Казани и Одессѣ, В. И. Григоровичъ, въ Римѣ въ 1840—41 гг., Н. И. Янжулъ доставилъ въ редакцію журнала слѣдующее сообщеніе:

„Въ августовской книгѣ „Вѣстника Европы" напечатана замѣтка г. Булича на тему: „Былъ ли В. И. Григоровичъ въ Римѣ въ 1840—41 гг.?"... Г. Буличъ добавляетъ въ концѣ статьи, что Григоровичъ положительно „никогда и не былъ въ Римѣ"; между тѣмъ хозяйка дома, въ которомъ я въ настоящее время пребываю въ саратовской губерніи, О. П. Орлова, имѣетъ роскошный альбомъ, принадлежавшій ея покойному отцу П. И. Кривцову, 14 лѣтъ сряду проживавшему въ Римѣ и уѣхавшему оттуда въ Россію лишь *въ 1844 году*. Альбомъ этотъ былъ поднесенъ г. Кривцову на прощальномъ обѣдѣ, данномъ ему въ Римѣ наканунѣ отъѣзда русскими художниками-земляками, желавшими выразить ему свое сочувствіе и сожалѣніе; альбомъ состоитъ изъ массы рисунковъ участниковъ и большей частью юмористическихъ или каррикатурныхъ портретовъ другъ съ друга, съ такими же стихотвореніями, писанными впрочемъ однимъ Рязановымъ-Рамазановымъ и служащими текстомъ къ рисункамъ.

„Въ числѣ или присутствовавшихъ на обѣдѣ, или проживавшихъ тогда въ Римѣ (или около этого времени) *находился именно В. И. Григоровичъ*, съ котораго есть юмористическій портретъ (вмѣстѣ съ папой и другими лицами), а въ объясненіяхъ Рязанова-Рамазанова значится: „Св. отецъ, П. И. Кривцовъ и *В. И. Григоровичъ*". Все писано одной рукой и раньше, чѣмъ было поднесено г. Кривцову.

„Сообщая это мелкое свѣденіе, можетъ быть однако любопытное для лицъ, интересующихся біографіей В. И. Григоровича, я просилъ бы редакцію распорядиться моимъ сообщеніемъ, какъ угодно—переслать ли г. Буличу, или, напротивъ—г. Успенскому, котораго онъ, повидимому, не совсѣмъ точно опровергаетъ"...

Въ основаніи сомнѣнія по настоящему вопросу лежитъ нѣкоторое недоразумѣніе, и оно разрѣшается очень просто. Тутъ рѣчь идетъ

о двухъ совсѣмъ разныхъ лицахъ, но съ одинаковыми начальными буквами ихъ имени и отчества, при полномъ тожествѣ фамиліи: В. И. Григоровичъ. У г. Булича говорится о *Викторѣ Ив.* Григоровичѣ, профессорѣ, какъ выше сказано, казанскаго, потомъ одесскаго университета (ум. 1876 г.); въ альбомѣ же П. И. Кривцова, завѣдывавшаго русскими художниками въ Римѣ, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, несомнѣнно изображенъ очень извѣстный въ свое время *Василій Ив.* Григоровичъ: онъ былъ въ ту эпоху конференцъ-секретаремъ академіи художествъ (ум. 1865 г.); некрологъ его былъ написанъ тогда Рамазановымъ, однимъ изъ главныхъ составителей упомянутаго альбома.

Во всякомъ случаѣ, однако, сообщеніе почтеннаго И. И. Янжула сохраняетъ интересъ, указывая на существованіе любопытнаго памятника, остававшагося до сихъ поръ мало кому извѣстнымъ. При новѣйшихъ легкихъ способахъ воспроизводить подобные памятники, было бы весьма кстати, по поводу совершившагося его пятидесятилѣтія, сдѣлать снимки съ альбома,—конечно, если послѣдуетъ на то согласіе владѣющаго имъ лица. Академія художествъ, быть можетъ, приняла бы въ этомъ участіе...

П.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

J. J. Weiss. Le drame historique et le drame passionnel. Paris, 1894. Стр. 361.

Театръ и драматическая критика занимаютъ во Франціи гораздо болѣе значительное мѣсто, чѣмъ во всѣхъ другихъ современныхъ литературахъ. Уже со времени романтизма и памятныхъ дней „Эрнани" театръ сдѣлался любимой ареной для новаторовъ въ области эстетическихъ, литературныхъ и нравственныхъ идей. Борьба съ классическими авторитетами, культъ свободы чувствъ, протесты противъ оковъ условности, новые этическіе идеалы—всѣ эти теоретическіе и практическіе сюжеты составляютъ содержаніе французскаго театра на ряду съ пьесами совершенно иного, чисто артистическаго характера, опять-таки направленными на защиту извѣстныхъ теорій.

Французскій театръ тенденціозенъ; въ этой особенности его лежитъ источникъ его слабостей и вмѣстѣ съ тѣмъ объясненіе выдающейся роли, которую онъ не перестаетъ играть въ духовной жизни Франціи. Проповѣдь со сцены, при посредствѣ сильныхъ, хотя бы даже и преувеличенныхъ характеровъ и положеній, всегда была наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ повліять на воображеніе французской публики и привить ей новыя идеи; то, что̀ прошло бы почти незамѣтнымъ въ болѣе артистично и тонко исполненномъ, понятномъ для меньшинства, литературномъ произведеніи, электризуетъ театральную залу въ болѣе рѣзкомъ сценическомъ освѣщеніи, въ смѣлыхъ „mots de la fin", въ сценическихъ эффектахъ. Любовь къ театру прирождена французской массѣ; вѣковыя традиціи развили въ ней вкусъ и драгоцѣнное для драматурга умѣніе проникаться сразу атмосферой пьесы и чуткость къ намѣреніямъ автора. Эта симпатія, которая такъ легко устанавливается на французской сценѣ между искреннимъ и убѣжденнымъ авторомъ и чуткой, обладающей развитымъ вкусомъ публикой, влечетъ къ театру всѣхъ проповѣдниковъ новыхъ идеаловъ въ искусствѣ и въ жизни во Франціи. Реформа эстетическихъ понятій общества производится въ другихъ странахъ, какъ, напр. въ Англіи, медленной работой цѣлыхъ поколѣній поэтовъ, художниковъ и критиковъ; сколько дружныхъ и направленныхъ въ одну сторону стремленій высокоталантливыхъ представителей разнообразныхъ отраслей литературы и искусства понадобилось для того, чтобы Англія второй половины

вѣка положила конецъ безплоднымъ традиціямъ псевдо-классической эпохи Попа и Джонсона. А во Франціи нѣсколько шумныхъ театральныхъ „premières", „Эрнани", Виктора Гюго, „Чаттертонъ", Альфреда де-Виньи и нѣкоторые другія сразу взяли штурмомъ театръ и побѣдили въ нѣсколько вечеровъ долголѣтнія традиціи классицизма. Въ другой періодъ интеллектуальной жизни Парижа, когда центръ общественныхъ интересовъ перемѣстился въ область вопросовъ общественной нравственности, пьесы Александра Дюма вызвали метаморфозу общественнаго мнѣнія и опрокинули принципы code civil смѣлой формулой: „Tue la!" и провозглашеніемъ правъ незаконнорожденныхъ дѣтей. Эти примѣры, конечно, далеко не единственные въ своемъ родѣ, и страна, въ которой театръ является такимъ могущественнымъ рычагомъ общественной жизни, должна была естественно выработать драму, болѣе близко и непосредственно связанную съ современностью, чѣмъ театръ другихъ странъ, преслѣдующій болѣе литературныя и менѣе публицистическія цѣли.

Видная роль театра во Франціи возвела театральную критику въ особый литературный жанръ. Нѣсколько поколѣній талантливыхъ писателей сдѣлало изъ такъ-называемаго „драматическаго фельетона" одну изъ самыхъ оживленныхъ формъ литературной критики. Теофиль Готье, Жюль Жаненъ и теперешніе ихъ преемники, Франсискъ Сарсэ, Жюль Леметръ, Эмиль Фаге и множество другихъ—драматическіе критики par excellence; въ ихъ статьяхъ и книгахъ отражаются очень различные взгляды на назначеніе театра и принципы сценическаго творчества, но взятая въ совокупности дѣятельность ихъ представляетъ по своей плодотворности и содержательности поразительный контрастъ съ теоретической безпочвенностью театральныхъ рецензій, замѣняющихъ современную критику въ Англіи, въ Германіи и у насъ. Въ послѣднее время скандинавскій театръ съ одной стороны и „молодая Германія" съ другой, создали возрожденіе драматическаго искусства въ Европѣ—но за немногими исключеніями театральная критика сводится по прежнему къ газетнымъ рецензіямъ, не выходящимъ за предѣлы поверхностныхъ отчетовъ. По прежнему, одна Франція видитъ въ театральной критикѣ богатую область эстетики, и число критиковъ, спеціально посвящающихъ себя изученію сценическаго творчества, все болѣе увеличивается.

Къ числу авторитетныхъ писателей въ этой области относится Ж. Ж. Вейсъ, умершій нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Только послѣ его смерти стало выходить собраніе его статей о театрѣ въ отдѣльныхъ книжкахъ. Появившемуся теперь тому: „Le drame historique et le drame passionnel", предшествовали книги: „Autour de la Comédie Française" и „A propos de théâtre", и кромѣ того долженъ появиться

вскорѣ четвертый томъ подъ заглавіемъ: „Les théâtres parisiens", которымъ и закончится полное собраніе сочиненій умершаго критика. Тремя вышедшими книгами Ж. Ж. Вейсъ занялъ весьма опредѣленное мѣсто въ современной критикѣ, какъ рѣзкій защитникъ ненарушимости основныхъ принциповъ драмы, противъ которыхъ направлены новаторскія попытки разныхъ школъ и отдѣльныхъ авторовъ.

Особенно рѣзко выясняются теоретическіе взгляды Вейса въ послѣдней книгѣ. Разбираемыя въ ней пьесы относятся къ періоду 1883—1885 гг., но такъ какъ по особому стеченію обстоятельствъ прочіе парижскіе театры занялись въ это время повтореніемъ знаменитыхъ пьесъ прежней поры, то критика Вейса простирается почти на всѣ главныя драмы времени романтизма и апогея реалистическаго или натуралистическаго направленія. Ему приходится говорить о Викторѣ Гюго и Дюма-отцѣ, о Гонкурахъ и Додэ, о Вилье-де-Лиль-Адамѣ и предвозвѣстникахъ драмы „fin de siècle", и интересъ книги заключается въ оригинальности его сужденій, идущихъ очень часто въ разрѣзъ съ установившимися въ литературѣ мнѣніями о всѣхъ этихъ сошедшихъ со сцены—и отчасти съ современнаго репертуара—поэтахъ и драматургахъ.

Возобновленіе на сценѣ „Comédie Française" и „Odéon" нѣсколькихъ пьесъ В. Гюго, Дюма-отца и нѣкоторыхъ другихъ, и даетъ Вейсу случай дать очеркъ развитія исторической драмы во Франціи, начиная съ „Henri III et sa cour", Александра Дюма, и кончая прикроенными по мѣркѣ Сары Бернаръ византійскими драмами Сарду. Историческая драма, по убѣжденію Вейса, создана во Франціи не В. Гюго, какъ утверждаетъ большинство критиковъ, а А. Дюма; В. Гюго написалъ только теоретическій трактатъ въ предисловіи къ „Кромвелю", а Дюма создалъ въ самомъ дѣлѣ новый жанръ въ „Henri III et sa cour". Превознося эту пьесу, несмотря на ея очевидную слабость въ освѣщеніи историческихъ характеровъ и на отсутствіе оригинальности самой интриги, Вейсъ высказываетъ своеобразное пониманіе исторической драмы. Онъ не требуетъ отъ нея вѣрности характеровъ и событій; фабула можетъ всецѣло принадлежать воображенію автора, дѣйствующія лица, носящія историческія имена, могутъ быть очень далеки отъ своихъ оригиналовъ; но если при всемъ этомъ атмосфера эпохи, къ которой относится дѣйствіе, воспроизведена вѣрно и картинно, то драма будетъ образцовой въ своемъ жанрѣ. Такъ, хотя вся исторія герцога Гиза и его нѣжной, какъ бы начитавшейся поэзіи Ламартина, жены менѣе всего укладывается въ рамки разнузданной придворной жизни временъ Валуа, но самый этотъ дворъ, съ его нравами, фаворитами и интригами, представляетъ въ драмѣ Дюма картину полную жизни и движенія, — что

и создаетъ основной элементъ исторической драмы. Второй актъ „Henri III“ составляетъ эпоху въ исторіи французскаго театра по совершенству драматическаго бытописанія, и въ этомъ главное значеніе пьесы въ глазахъ критика, нѣсколько пристрастнаго къ историческимъ и „внѣ-историческимъ“ драмамъ Дюма.

Эта теорія исторической драмы создалась, очевидно, подъ вліяніемъ вальтеръ-скоттовскаго культа couleur-locale, замѣняющей нѣчто болѣе трудное и серьезное — воспроизведеніе психологіи людей минувшихъ вѣковъ. Но Вейсъ не всегда является сторонникомъ этой теоріи,—когда отъ Дюма онъ переходитъ къ В. Гюго, не пользующемуся его благосклонностью; отсутствіе выдержанности историческихъ характеровъ дѣлается его главнымъ упрекомъ автору „Ruy Blas“ и „Le roi s'amuse“. Оправдывая историческую невѣрность герцога Гиза, онъ нападаетъ на В. Гюго за то, что эпикуреецъ Франсуа I, беззаботный весельчакъ и Донъ-Жуанъ, превращенъ въ деспотическаго Barbe-Bleue. Критика Вейса, направленная противъ историческихъ драмъ Гюго, Понсонъ-дю-Терайля, Вакери и др., относится въ сущности къ самому жанру, слишкомъ искусственному, чтобы прочно утвердиться въ національномъ театрѣ. Удачныхъ и имѣвшихъ успѣхъ историческихъ драмъ Вейсъ съ трудомъ насчитываетъ три-четыре: „Louis XI“, Казиміра Делавиня, произведшій сильное впечатлѣніе правдой и жизненностью въ изображеніи послѣднихъ лѣтъ павшаго духомъ деспота, „La Closerie des Gênets“, Фредерика Сулье, „Bouquetière des Innocents“, Анисэ Буржуа, и нѣсколько упомянутыхъ вскользь драмъ А. Дюма, какъ его „Tour de Nesles“ и „Catherine Howard“ — вотъ всѣ шедевры исторической драмы, процвѣтавшей во Франціи во времена романтизма и его переживаній. Драмы В. Гюго Вейсъ не включаетъ въ число успѣховъ историческаго жанра, а уже съ конца 40-хъ годовъ онъ констатируетъ полный упадокъ исторической драмы въ „Jeunesse du roi Henri IV“, Понсонъ-дю-Терайля, совершенно уродливо воспроизводящую выбранный историческій моментъ и его дѣятелей.

Что̀ замѣняетъ собой историческую драму въ непрерывномъ ходѣ развитія литературныхъ жанровъ? На этотъ вопросъ книга Вейса даетъ отвѣтъ, сопровождаемый фактическими подтвержденіями. Національно-военная эпопея съ сенсаціоннымъ аккомпаниментомъ патріотизма, шовинизма, національной гордости и т. д., вытѣснила болѣе безличное и художественное воспроизведеніе прошлаго; мелодрама „Клеберъ“, Гастона Маро и Эдуарда Филиппа, дѣлается типомъ популярныхъ пьесъ, и театръ Сарду въ значительной степени идетъ по тому же направленію, будь это „Теодора“, о которой Вейсъ гово-

рить съ большой—и едва ли заслуженной—похвалой, или новѣйшее изъ его произведеній, сенсаціонная „Madame Sans-Gêne".

Переходя къ психологической формѣ, „drame passionnel", какъ ее называетъ Вейсъ, онъ имѣетъ передъ собой болѣе широкое поле. Драмы страстей измѣнили свой характеръ въ промежуткѣ между экзальтированнымъ изображеніемъ чувствъ въ театрѣ В. Гюго и Дюма-отца и метафизически-отвлеченными драмами Вилье-де-Лиль-Адама, но онѣ далеко не отжили свой вѣкъ и по прежнему царятъ на французской сценѣ. Съ своимъ страннымъ пристрастіемъ къ Дюма, Вейсъ приписываетъ ему же первый шагъ въ созданіи романической драмы. „Antony", Дюма-отца, представленный въ 1831 г. съ шумнымъ успѣхомъ, ввелъ, по его мнѣнію, впервые въ моду романтическій жаргонъ, непонятный и расхолаживающій современнаго зрителя въ титаническихъ герояхъ драмъ 30-хъ и 40-хъ годовъ съ ихъ демоническими страстями. Фразы героя въ родѣ: „Tu es à moi comme l'homme est au malheur", или его отвѣтъ на вопросъ о томъ, сколько разъ онъ былъ влюбленъ: „Demandez à un cadavre, combien de fois il a vécu", очень характерны для опредѣленія діапазона общественнаго настроенія въ дни бурнаго, бьющаго черезъ край энтузіазма романтической поры.

„Ruy Blas", В. Гюго, принадлежитъ къ тому же разряду титаническихъ героевъ, и Вейсъ забываетъ историческую точку зрѣнія, доказывая, что В. Гюго въ своей погонѣ за антитезами создалъ невозможную и каррикатурную фигуру въ своемъ благородномъ лакеѣ, взявшемъ на себя унизительную роль. Говоря о романтизмѣ, нужно всегда помнить, что его представители не имѣли въ виду рисовать жизнь, а только облечь въ наиболѣе эффектныя и яркія краски апогеи страстей, уживающихся въ душѣ человѣка.

Переходъ отъ чисто романтическихъ драмъ къ реалистическимъ представляетъ „Формоза", Вакери, въ которой Вейсъ констатируетъ привѣтствуемое имъ возвращеніе къ расиновскимъ традиціямъ, къ замѣнѣ сценическихъ эффектовъ анализомъ борьбы геройской души съ тиранніей обстоятельствъ. Пьеса Гонкуровъ, знаменитая въ исторіи театра „Henriette Maréchal", даетъ критику случай произнести строгое сужденіе надъ реалистической драмой; онъ признаетъ ея стремленіе воспроизводить жизнь съ возможной точностью, но доказываетъ, что объективное отношеніе авторовъ къ изображаемымъ имъ характерамъ лишаетъ пьесу самаго драгоцѣннаго качества: драма Гонкуровъ не трогаетъ зрителя, не устанавливаетъ симпатіи между авторомъ и аудиторіей. „Si vis me flere..." повторяетъ критикъ горацієвское изреченіе, настаивая опять-таки на томъ, что принципы драматическаго творчества неизмѣнны, и всѣ тѣ пьесы современнаго театра,

которыя могутъ разсчитывать на долговѣчность, построены на тѣхъ же принципахъ, которые руководили древнихъ трагиковъ и были для Франціи возобновлены Корнелемъ и Расиномъ. Въ нихъ Вейсъ видитъ неизсякаемый источникъ мудрости для французскихъ драматурговъ; онъ постоянно отсылаетъ ихъ къ изложенію „Bajazet'a", къ любовнымъ сценамъ „Phédre" и т. д. Онъ не рѣшается рекомендовать слѣдованіе Шекспиру, такъ какъ ему, какъ большинству французскихъ писателей, непонятенъ недисциплинированный геній Шекспира. Онъ отъ времени до времени открываетъ разныя слабости въ авторѣ „Отелло" и „Макбета"—наиболѣе понятныхъ для француза пьесъ, но въ общемъ откровенно сознается въ томъ, что ему чуждо творчество Шекспира. Для сужденія о новыхъ французскихъ драматургахъ онъ довольствуется критеріемъ французскихъ классическихъ идеаловъ. Съ ихъ высоты онъ уничтожаетъ театръ Ришпена и другихъ драматурговъ „изъ новыхъ". Нападки его рѣзки и, какъ мы видѣли на примѣрѣ В. Гюго и А. Дюма, подчасъ пристрастны. Но съ ними приходится считаться, потому что Вейсъ—одинъ изъ самыхъ опредѣленныхъ представителей „вѣковыхъ традицій" и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ съ художественнымъ чутьемъ.

II.

Annie Besant. An autobiography. London, 1893. Стр. 364.

Въ различныхъ религіозныхъ, этическихъ и соціальныхъ движеніяхъ, волновавшихъ Англію за послѣднія 20 лѣтъ, имя Анни Безантъ окружено ореоломъ блестящей, неутомимой и плодотворной дѣятельности. Ея замѣчательное краснорѣчіе, живой умъ, искренность убѣжденій одинаково признаются какъ сторонниками, такъ и противниками, а полемическій талантъ, сказывающійся въ ея публичныхъ диспутахъ, увлекаетъ за ней даже самую предубѣжденную аудиторію. Всегда борющаяся въ первыхъ рядахъ за осуществленіе тѣхъ или другихъ гуманныхъ идей, воодушевленная безграничной жалостью къ страданіямъ угнетенныхъ, готовая принести себя въ жертву и жадно выискивающая возможность сдѣлать это, Анни Безантъ представляетъ одно изъ самыхъ любопытныхъ явленій въ общественной жизни своей страны; но духовная сторона ея дѣятельности, обличая въ ней человѣка съ сильнымъ аналитическимъ умомъ, представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ одну изъ самыхъ интересныхъ психологическихъ загадокъ. За двадцать лѣтъ своей общественной дѣятельности Анни Безантъ была послѣдовательницей и сподвижницей лю-

дей самыхъ противоположныхъ ученій и съ одинаковой искренностью и энтузіазмомъ проповѣдовала идеи, радикально опровергающія одна другую.

Воспитанная въ строгихъ протестантскихъ традиціяхъ, съ пламенной вѣрой, она сдѣлалась женой молодого пастора, не любя, но почитая его какъ служителя церкви. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, благочестивая жена священника и мать двухъ дѣтей порываетъ связи съ семейнымъ очагомъ, пишетъ брошюры, направленныя противъ церкви, и дѣлается вскорѣ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ атеистическаго движенія, начатаго Чарльсомъ Брэдлоу. Дружба съ этимъ отщепенцемъ англійскаго общества создаетъ Анни Безантъ невыносимое положеніе, лишаетъ ее всѣхъ прежнихъ друзей, сильно затрудняетъ возможность находить работу, грозитъ ей величайшимъ нравственнымъ страданіемъ, — отнятіемъ малолѣтней дочери. Но всѣ эти страданія только укрѣпляютъ духъ женщины, какъ бы рожденной для роли мученицы. Она увѣровала въ матеріализмъ, ведущій къ „религіи человѣчества“, и культъ, обращенный на отвлеченную идею божества, кажется ей отнятымъ отъ любви къ человѣку, отъ спасительнаго состраданія къ людямъ. Перенесши свое религіозное чувство на всепоглощающую любовь къ страждущимъ, новая атеистка дѣлается цѣнной помощницей Брэдлоу, поддерживаетъ его въ самые тяжелые моменты борьбы съ общественнымъ мнѣніемъ, пишетъ одну за другой брошюры, распространяющія взгляды атеистическаго союза (National Secular Society), читаетъ лекціи, ведетъ диспуты, развивая философскую сторону атеизма. Въ памятные дни пятикратнаго избранія Брэдлоу въ парламентъ, Анни Безантъ играетъ видную роль, подготовляя избраніе своими рѣчами на митингахъ, и во время скандальныхъ сценъ въ парламентѣ ей одной удается удержать толпу отъ вторженія въ зданіе съ цѣлью поддержки своего депутата; ея простыя, дружескія слова оказываются дѣйствительнѣе угрозъ полиціи. Съ тѣмъ же энтузіазмомъ и готовностью бороться за свободу человѣческаго духа она бросаетъ вызовъ обществу, защищая знаменитый памфлетъ Нольтона (Knowlton), сторонника ученія Мальтуса. Не раздѣляя вполнѣ взглядовъ Нольтона, Брэдлоу и Анни Безантъ берутъ на себя изданіе и продажу осужденной книги только во имя свободы убѣжденій въ печати. Осуждаемая обществомъ, обвиненная предъ судомъ за распространеніе безнравственныхъ идей, м-ссъ Безантъ продолжаетъ отстаивать словомъ и перомъ необходимость философскаго просвѣтленія для блага человѣчества. Когда бурные дни атеистическаго движенія прошли и сторонники его не должны были платить постоянными жертвами за право считать себя „атеистами“, Анни

Безантъ продолжала вести дѣятельную пропаганду атеизма и политическаго радикализма на страницахъ Брэдлоускаго журнала „National Reformer“, въ которомъ она состояла соредакторомъ. Казалось, она вся ушла въ теоретическое обсужденіе своихъ идей и сосредоточилась на радикальной политикѣ Брэдлоу, сильно расходившагося не только съ реакціонной частью англійскаго общества, но и съ соціалистической партіей. Велико же должно было быть удивленіе читателей „National Reformer“, когда въ октябрьскомъ нумерѣ за 1887 г. отсутствовала подпись Анни Безантъ; въ слѣдующемъ нумерѣ появилось оффиціальное заявленіе м-ссъ Безантъ, что измѣнившіеся политическіе взгляды заставляютъ ее отказаться отъ соредакторства въ изданіи; нѣсколько строчекъ, прибавленныхъ къ ея заявленію самимъ Брэдлоу, свидѣтельствуютъ, какъ тяжело ему было констатировать отпаденіе своей преданной почитательницы.

Изъ атеистки Анни Безантъ превратилась въ соціалистку, забывающую философскую подкладку человѣческой дѣятельности за непосредственнымъ дѣломъ облегченія участи рабочихъ массъ. Видѣвъ близко нужду и страданія народа во время избирательной кампаніи Брэдлоу, она сознала необходимость непосредственныхъ практическихъ мѣръ; соціализмъ, въ лицѣ лондонскаго „фабіанскаго общества“ и „демократической федераціи“, привлекалъ ее своей дѣятельностью въ борьбѣ за рабочій классъ, и съ свойственной ей рѣшимостью Анни Безантъ вторично мѣняетъ кругъ дѣятельности и кругъ друзей, покидаетъ Брэдлоу, дружба котораго досталась ей путемъ отреченія отъ всѣхъ прежнихъ связей и привязанностей. Она дѣлается членомъ фабіанскаго общества и въ теченіе двухъ лѣтъ неустанно и самоотверженно работаетъ, внося опять-таки въ практическое дѣло соціалистической организаціи энтузіазмъ идеалистки, преисполненной любви и состраданія. Знаменитое побоище на Трафальгеръ-скверѣ, стачки работницъ на спичечныхъ фабрикахъ, основаніе клубовъ работницъ и организація труда, заступничество за заключенныхъ и борьба за облегченіе ихъ участи,—всѣ эти памятныя въ хроникѣ фабіанскаго общества событія происходили не только при участіи, но отчасти по иниціативѣ Анни Безантъ. Эта дѣятельность, требовавшая громадной самоотверженности, труда и всей души человѣка, отдавшагося ей, удовлетворяла м-ссъ Безантъ,—пока нѣчто совершенно новое не заполонило ея душу. Въ 1889 г. она была на рабочемъ конгрессѣ въ Парижѣ и познакомилась черезъ общихъ друзей съ Е. П. Блаватской, пріѣхавшей въ Парижъ отдохнуть отъ работы въ Лондонѣ. Ученіе Блаватской уже давно заинтересовало впечатлительную м-ссъ Безантъ, для которой вопросы души имѣли всегда неотразимую привлекательность; нѣсколько разговоровъ съ Блават-

ской и чтеніе ея „Secret Doctrine“ убѣдили пламенную соціалистку, что спасеніе человѣчества не въ „восьми-часовомъ законѣ, а въ нравственномъ совершенствованіи каждаго человѣка, который, путемъ самоотреченія и слѣдованія велѣніямъ высшей справедливости, можетъ обезпечить себѣ блаженство въ дальнѣйшихъ стадіяхъ своего существованія въ мірѣ. Вскорѣ Анни Безантъ, не умѣя дѣлать ничего на половину и чувствуя особое наслажденіе въ страданіяхъ за свои убѣжденія, открыто примыкаетъ къ теософическому обществу и дѣлается главной его опорой. Прежніе друзья отшатнулись отъ нея; Брэдлоу, какъ она сама съ грустью сознается, пересталъ вѣрить въ здравость ея сужденій, но все это не могло поколебать ея новой вѣры; придя къ ней послѣ столькихъ блужданій среди различныхъ ученій, она увидѣла въ мудрости „махатмъ“ синтезъ всѣхъ своихъ душевныхъ стремленій, лишь частью удовлетворяемыхъ въ предъидущей дѣятельности. Ставъ во главѣ лондонской вѣтви теософскаго общества (Blavatsky Lodge), Анни Безантъ столь же неутомимо работаетъ до сихъ поръ, какъ работала въ сообществѣ съ Брэдлоу и потомъ съ членами фабіанскаго общества; только предметомъ ея лекцій, брошюръ, рѣчей и т. д. служитъ не активная борьба противъ гнета нищеты, а призывъ къ самосовершенствованію, къ подготовленію себѣ лучшей участи въ будущей жизни, вѣра въ возможность общенія съ таинственнымъ міромъ духовъ и т. д.

Какимъ образомъ совершилась эта странная эволюція открытаго, смѣлаго ума и чуткой, любящей души—отъ строгаго протестантизма къ теософіи черезъ атеизмъ и соціализмъ? Можно ли утверждать, какъ это дѣлали не разъ, что, будучи чисто пассивной натурой, она всегда дѣйствовала подъ чьимъ-нибудь вліяніемъ, и поэтому ея талантъ и энергію слѣдуетъ цѣнить только какъ исполнительную силу, какъ хорошій инструментъ, нуждающійся въ искусной рукѣ для пользованія имъ? Быть можетъ, ея колебанія и частые переходы имѣютъ болѣе глубокія психологическія причины и представляютъ связанные одинъ съ другимъ фазисы душевнаго развитія. Отвѣтъ на это мы находимъ въ появившейся нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ автобіографіи Анни Безантъ. Эта искренно и просто написанная книга жизни, передающая очень сложные психологическіе феномены, представляетъ очень интересный document humain; нѣтъ сомнѣнія, что активная жизнь, проведенная Анни Безантъ среди всякихъ общественныхъ кризисовъ, представляетъ большой интересъ своей фактической содержательностью, но значеніе ея еще увеличивается отъ ясности и искренности, съ которой авторъ посвящаетъ насъ въ свою душевную жизнь. Автобіографія Анни Безантъ, раскрывая предъ нами сомнѣнія и исканія идеалистически настроен-

ной души, можетъ служить въ то же время драгоцѣннымъ психологическимъ матеріаломъ для историка внутренней жизни нашего времени, съ его смѣсью крайностей идеализма и скептицизма.

Слѣдя за теченіемъ событій въ жизни м-ссъ Безантъ по ея автобіографіи, мы видимъ, что большинство этихъ событій вытекало не изъ случайныхъ обстоятельствъ, а было вызвано ея вѣчно работающимъ сознаніемъ и неустаннымъ исканіемъ истины. Отъ упрека въ пассивномъ слѣдованіи случайнымъ внушеніямъ оправдываетъ ее тотъ фактъ, что не подъ вліяніемъ того или другого изъ проповѣдниковъ разныхъ философскихъ или политическихъ доктринъ совершались ея частыя превращенія, а что, напротивъ, продѣлавъ внутреннюю борьбу наединѣ съ собой и убѣдившись въ разрывѣ съ прежними вѣрованіями, она потомъ уже шла къ людямъ, воплощавшимъ ея новыя убѣжденія. Нѣчто иное лежитъ въ основѣ ея дѣятельности. Анни Безантъ—натура чисто эмоціональная; всякое убѣжденіе начинается у нея чувствомъ, а сильно развитый, гибкій умъ служитъ ей для того, чтобы перевести въ область мысли и снабдить сильными аргументами истину, въ которую она прежде всего повѣрила, которую поняла душой. Она принадлежитъ къ натурамъ, нуждающимся въ неустанномъ самопожертвованіи и обладающимъ неистощимымъ источникомъ любви, энтузіазма и состраданія. Теоретическое исканіе истины и успокоеніе въ пассивномъ религіозномъ или философскомъ міровоззрѣніи не могло удовлетворить ея активнаго темперамента; ей нужна была видимая борьба противъ зла, заявленіе протеста возмущенной души противъ несправедливости, нужна была возможность принести себя въ жертву, спасти людей, искупая ихъ вину или отстаивая ихъ попранныя права. Въ средніе вѣка подобная женщина была бы христіанской мученицей и шла бы на костеръ, вознося къ Небу благодарственные гимны,—въ концѣ XIX в. экзальтація альтруизма и жажда мученичества сдѣлали Анни Безантъ заступницей народныхъ массъ и послѣдовательницей мистическихъ ученій Востока. Просто и понятно разсказываетъ она въ своей автобіографіи о первыхъ религіозныхъ сомнѣніяхъ, возникшихъ при столкновеніи съ реальной жизнью; всѣ привитыя ей понятія о справедливости и милосердіи, какъ основахъ человѣческаго существованія, оказались опровергнутыми тѣмъ, что она видѣла вокругъ себя, и разъ проснувшійся духъ сомнѣнія все глубже и глубже проникалъ въ ея прежнія вѣрованія. Природное влеченіе къ истинѣ, каковой бы она ни оказалась, и пытливый умъ, не останавливающійся ни предъ какими внушеніями осторожности, привели ее къ первому роковому кризису въ ея жизни. Разсказъ Анни Безантъ объ этой порѣ своей юности полонъ непосредственнаго драматизма и вызываетъ

преклоненіе передъ глубиной и чистотой женщины, неспособной ни на малѣйшіе компромиссы съ своей совѣстью и умѣющей героически переносить тяжелыя послѣдствія своей смѣлости. Воспитанная подъ крылышкомъ своей матери, не чаявшей въ ней души, окруженная съ дѣтства любовью семьи и близкихъ друзей, Анни Безантъ выросла беззаботной, веселой дѣвушкой, любящей развлеченія, но увлекавшейся въ то же время чтеніемъ Мильтона и сочиненій отцовъ церкви. О жизни она не имѣла никакого понятія, не обладала никакими точными научными знаніями и жила въ счастливомъ убѣжденіи, что судьба человѣка опредѣляется его вѣрностью евангельскимъ завѣтамъ. Выйдя въ 19 лѣтъ замужъ за пастора Безанта, человѣка ограниченнаго и неделикатнаго, она сразу очутилась въ антагонизмѣ съ своей новой средой; ей не съ кѣмъ было дѣлиться занимавшими ее теологическими и философскими вопросами; мужъ навязывалъ ей общество провинціальныхъ кумушекъ, затѣмъ пошли хозяйственныя дрязги, тяжелые мѣсяцы болѣзней, рожденіе двухъ дѣтей и постоянное трепетаніе за ихъ жизнь среди недуговъ младенческаго возраста,—обычная картина семейной жизни въ среднемъ кругѣ, не согрѣтая къ тому же для м-ссъ Безантъ дружескими отношеніями съ мужемъ. Пасторъ Безантъ былъ человѣкъ вполнѣ застывшій въ традиціонныхъ понятіяхъ объ авторитетѣ мужа, о подчиненіи внѣшнимъ требованіямъ общественной жизни; слишкомъ формально и узко понималъ онъ нравственность и религію, чтобы помочь женѣ справиться съ сомнѣніями, вкравшимися въ ея душу. Одинокая въ начинающейся душевной борьбѣ, она силилась сначала заглушить внутренній голосъ, подкапывающій прежнюю вѣру въ высшую разумность и справедливость божественнаго Промысла; она еще была далека отъ атеизма, но умъ ея работалъ уже надъ рѣшеніемъ вопроса о законности существованія зла, о согласованіи идеи справедливости съ незаслуженными страданіями людей, которые слѣдуютъ злу лишь вслѣдствіе роковыхъ законовъ міроздания; обрушившіяся на нее самое несчастія открыли ей глаза на незаслуженность и тяжесть людскихъ страданій, и, проводя долгія ночи у постели больныхъ дѣтей, она все глубже и глубже проникалась отрицаніемъ положительнаго ученія церкви. Чтеніе догматическихъ книгъ, составлявшее ея любимое занятіе прежде, еще болѣе увеличивало ея сомнѣнія. Надѣясь найти больше свѣта въ ученіяхъ диссидентовъ англиканской церкви, она углубилась въ изученіе ихъ и все болѣе и болѣе приходила къ отрицанію всякихъ религіозныхъ ученій. Чтобы отвлечь ее отъ теологическихъ занятій, пагубно отражавшихся на ея слабомъ здоровьѣ, одинъ изъ пріятелей ея мужа сталъ давать ей естественно-научныя книги для чтенія. М-ссъ Безантъ наброси-

лась на нихъ, упиваясь фактическими свѣденіями и объясненіями міровоззрѣнія понятнымъ для ея разума путемъ. Вѣра въ ученіе церкви погибла среди этого умственнаго кризиса у молодой женщины; ей съ трудомъ удалось выдѣлить изъ развалинъ прежнихъ вѣрованій нѣсколько основныхъ положеній, которыхъ не коснулись ея сомнѣнія, и слѣдуя которымъ она имѣла еще право считать себя христіанкой; при дальнѣйшей работѣ въ томъ же направленіи, поддерживаемая дружбой съ Скотомъ, издателемъ разныхъ диссидентскихъ и раціоналистическихъ книгъ, Анни Безантъ потеряла всякую связь съ христіанствомъ. Это сознаніе сдѣлало для нея невозможнымъ продолжать внѣшнее соблюденіе религіозныхъ обрядовъ, на которомъ настаивалъ ея мужъ, не входившій во внутренній міръ своей жены, но требовавшій отъ нея подчиненія внѣшнимъ требованіямъ общества отъ жены пастора. Въ этотъ моментъ сказался по истинѣ героическій характеръ м-ссъ Безантъ: понимая, къ какимъ результатамъ приведетъ ея поступокъ, но повинуясь исключительно голосу совѣсти, она открыто отказалась принимать причастіе и заявила себя не-христіанкой. Рѣзкій разрывъ съ мужемъ, отнятіе сына, нищенская самостоятельная жизнь, непосильная работа въ погонѣ за жалкимъ заработкомъ, чтобы прокормить себя и дочь—всѣ эти тяжелыя страданія и волненія были легки для отважной женщины послѣ нравственной пытки, которую она пережила до начатія новой жизни. Уже разорвавъ съ прошлымъ и принимая дѣятельное участіе въ изданіяхъ Скота, она пошла слушать лекцію Брэдлоу въ позитивистской часовнѣ; съ перваго разговора съ нимъ по окончаніи лекціи она увидѣла въ немъ друга, раздѣлявшаго ея страстное стремленіе облегчить участь людей, и зная, что сотрудничество съ атеистомъ окончательно поставитъ ее внѣ общества, принесла свое общественное положеніе и даже свое доброе имя въ жертву новымъ идеямъ, воодушевлявшимъ ее.

Въ передачѣ Анни Безантъ—весь ходъ душевной и умственной борьбы, приведшій ее къ атеизму, теряетъ свою кажущуюся непонятность и становится типичной исторіей богато одаренной, чистой души въ ея конфликтахъ, между традиціонными понятіями и проснувшимся самостоятельнымъ мышленіемъ. Подобные конфликты возникаютъ въ жизни большинства людей, серьезно задумывавшихся надъ жизнью; но нужно быть воодушевленной энтузіазмомъ Анни Безантъ и ея всепобѣждающей любовью къ истинѣ, чтобы не войти въ компромиссы съ жизнью и съ своей собственной совѣстью и согласовать свои дѣйствія съ познанной истиной.

Измѣнивъ религіи, въ которой она родилась и воспитывалась, Анни Безантъ сохранила однако религіозное чувство, составляющее осно-

ной элементъ ея души. Отъ страстнаго поклоненія Христу и жажды освятить свой культъ принесеніемъ себя въ жертву, она перешла къ такому же чисто религіозному чувству по отношенію къ страданіямъ людей, къ стремленію осуществить идею всемірнаго братства, объединяющаго людей во имя блага человѣчества, облегченія участи угнетенныхъ. Стоитъ читать ея атеистическія брошюры и лекціи, чтобы видѣть, что она осталась вѣрующей идеалисткой среди своихъ пламенныхъ опроверженій доказательствъ бытія Божія; доказывая несостоятельность всѣхъ деистическихъ ученій, она болѣе всего озабочена тѣмъ, чтобы обратить любовь вѣрующихъ не на сомнительную въ ея глазахъ будущую жизнь, а на непосредственныя страданія ближнихъ, облегченіе которыхъ составляетъ первый нравственный долгъ человѣка. Атеизмъ Анни Безантъ былъ построенъ на альтруизмѣ, какъ и всѣ остальные фазисы ея вѣрованій, и поэтому не въ теоретической философской части ея ученія лежитъ центръ ея дѣятельности, а въ мотивахъ, которые руководили ею и въ практическихъ дѣйствіяхъ, которыя вытекали изъ нихъ; матеріалистка по своимъ философскимъ убѣжденіямъ, она внесла въ свои поученія и въ свои отношенія къ людямъ чисто-религіозный энтузіазмъ; политическая сообщница Брэдлоу была такъ же благоговѣйно проникнута культомъ человѣчества, какъ въ тѣ дни, когда молодой дѣвушкой она повторяла наизусть цѣлыя страницы изъ Мильтона и воображала себя воинствующимъ ангеломъ небесной арміи, доставляющимъ своимъ мечомъ побѣду истинному Богу.

Переходъ Анни Безантъ отъ атеизма къ соціализму былъ менѣе рѣзкимъ,—она измѣняла въ этомъ случаѣ не принципамъ, а людямъ; Брэдлоу расходился съ соціалистами по вопросамъ политическимъ, а политика волновала м-ссъ Безантъ гораздо менѣе, нежели вопросы нравственности и религіи. Нѣтъ ничего удивительнаго, поэтому, что соціализмъ, болѣе непосредственно касающійся интересовъ рабочей массы, увлекъ Анни Безантъ, увидавшую здѣсь широкое поле для дѣла любви. Въ своей автобіографіи она лишь вскользь останавливается на періодѣ своего открытаго вступленія въ „фабіанское общество“. Этотъ шагъ ей достался тоже дорогой цѣной, ей пришлось отказаться на этотъ разъ не отъ долго-тяготившей домашней среды, а отъ близкаго друга, съ которымъ ее связывала долголѣтняя общая работа, — но голосъ долга звалъ ее на иное поприще, и твердая, готовая на новыя жертвы, новыя страданія, она идетъ въ ряды борцовъ за угнетенный трудъ.

Гораздо болѣе страннымъ является конечное обращеніе м-ссъ Безантъ въ теософію. Что̀ привлекло въ туманномъ ученіи нео-буддистовъ ясный умъ и любящее сердце Анни Безантъ? Она объяс-

няетъ, что матеріалистическія ученія, которымъ она слѣдовала до тѣхъ поръ, всегда оставляли у нея въ сердцѣ неудовлетворенность, и только теософія, опредѣляющая судьбы человѣческой души, удовлетворяетъ таинственнымъ порывамъ, свидѣтельствующимъ о высшемъ назначеніи человѣка. Для возбужденія таинственнаго тяготѣнія м-ссъ Безантъ къ тибетскимъ мудрецамъ, съ ихъ обладаніемъ астральными тѣлами и т. д., нужно было, однако, взаимодѣйствіе доли мистицизма, присущаго ей съ дѣтства, и личное вліяніе Блаватской на впечатлительную натуру ея новой послѣдовательницы. Потеря м-ссъ Безантъ для практической дѣятельности среди рабочихъ была, конечно, крайне чувствительна для послѣднихъ; но теософія преслѣдуетъ въ значительной степени чисто гуманитарныя цѣли, и какъ организаторша помощи бѣднымъ, какъ утѣшительница, поднимающая духъ обездоленныхъ своимъ безграничнымъ участіемъ, Анни Безантъ-теософка продолжаетъ свою прежнюю дѣятельность. Во всѣхъ своихъ начинаніяхъ, подробно изложенныхъ въ автобіографіи, м-ссъ Безантъ является все той же цѣльной, высокоодаренной натурой, въ которой искренность и инстинктивный альтруизмъ составляютъ основныя черты; эти качества заставляютъ забыть непостоянство ея теорій и заблужденія, составляющія конечный фазисъ ея умственной жизни.—З. В.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 октября 1894 г.

„Балтійствующая зловредная сила", „послѣдній оплотъ польщизны" и финляндскія праздничныя рѣчи, какъ объектъ усердія не по разуму.—Модная эпидемія.—Процессъ Горшенина.—Еще два слова о судебной гласности.—Погребеніе Е. И. Утина и надгробное слово В. Д. Спасовича.

Кто бы подумалъ, что въ настоящее время могутъ еще раздаваться жалобы на недостаточность мѣръ къ обрусенію прибалтійскаго и привислянскаго края? У насъ, однако, невѣроятное сплошь и рядомъ оказывается возможнымъ. Реакціонная печать никакъ не хочетъ успокоиться; ей мало оффиціальныхъ мѣропріятій, направленныхъ противъ особенностей той или другой окраины—ей нужно еще, чтобы исчезло или по меньшей мѣрѣ умолкло сожалѣніе о прошломъ, неудовольствіе настоящимъ. Весьма характеристична, съ этой точки зрѣнія, статья „Московскихъ Вѣдомостей" (№ 244): „Балтійская нѣмецкая печать". Мы узнаемъ изъ нея, что время, переживаемое теперь прибалтійскимъ краемъ, „напоминаетъ отчасти конецъ семидесятыхъ и начало восьмидесятыхъ годовъ: снова выступаютъ на первый планъ національно-окраинные вопросы, снова поднимаются споры о самобытности мѣстныхъ культуръ — эстской, латышской, нѣмецко-эстонской и нѣмецко-латышской, — снова оживилась въ балтійскомъ лагерѣ агитація въ пользу обособленія мѣстной жизни, въ пользу тѣснаго сближенія нѣмцевъ съ эстами и латышами, ради самобытнаго развитія Балтики, ради спасенія *драгоцѣннѣйшихъ сокровищъ родины* (Heimath)—*вѣры и языка*". Итакъ, вся масса преобразованій, произведенныхъ за послѣднія десять лѣтъ въ остзейскомъ краѣ, прошла безслѣдно? Несмотря на реформу суда, полиціи и школы, несмотря на господство русскаго языка, дѣло стоитъ на томъ же пунктѣ, на какомъ стояло въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ? Нѣтъ; въ дальнѣйшемъ развитіи своей мысли авторъ указанной статьи приходитъ къ совершенно иному заключенію. „Мѣстная жизнь,—говоритъ онъ,—все болѣе освобождается отъ нездоровыхъ и безпочвенныхъ элементовъ и вліяній. Школа, судъ и отчасти администрація внесли и вносятъ въ нее русскія начала, направляютъ ее въ историческое русло, то-есть въ сторону Россіи, и своею патріотическою работой уже достигли, слава Богу, нѣкоторыхъ успѣховъ. Но эти три могучія орудія обрусенія края могли бы и должны были бы достигнуть гораздо бо́льшаго, и если этого не случилось на самомъ дѣлѣ, то въ этомъ ви-

новаты, во-первыхъ, противодѣйствующія вліянія балтійской печати —главнѣйшей нынѣ балтійствующей силы въ краѣ, во-вторыхъ, послабленія и попущенія съ русской стороны". Въ чемъ именно заключаются *послабленія* и *попущенія*—этого авторъ прямо не объясняетъ; онъ жалуется только на „снисходительное покровительство", оказываемое рижской газетѣ „Düna-Zeitung"—этой „значительно вредной силѣ"—нѣкоторыми „мѣстными оффиціальными сферами", и на недостаточную поддержку, съ той же стороны, „русскаго стража на балтійскомъ поморьѣ"—„Рижскаго Вѣстника". Нѣсколько дальше идетъ рѣчь о томъ, что „балтійскіе заправилы" (они же—„непримиримые", они же—вдохновители „Düna-Zeitung") „успѣли втереться въ такіе дома и учрежденія, благосклонность коихъ обезпечиваетъ имъ спокойствіе и свободу дѣйствій". Итакъ, объ причины, препятствующія, по мнѣнію сотрудника „Московскихъ Вѣдомостей", успѣшному ходу обрусенія, сводятся, въ сущности, къ одной: къ относительной свободѣ, предоставляемой нѣмецкимъ балтійскимъ газетамъ. „Послабленія" и „попущенія" состоятъ только въ томъ, что между обоими отдѣлами мѣстной печати не дѣлается столь рѣзкаго различія, какое желали бы установить наши ультра-націоналы. Нѣмецкую прессу они хотѣли бы совершенно обезцвѣтить и обезличить,—а ей кое-что позволяется говорить не подъ чужую диктовку; русской (благонамѣренной) прессѣ они хотѣли бы предоставить неограниченное право полицейскаго розыска и благороднаго негодованія—а ея услуги въ этомъ направленіи признаются, повидимому, излишними или, по меньшей мѣрѣ, слишкомъ усердными (pas trop de zèle, messieurs!). Отсюда раздраженіе, доходящее до указанія на *дома*, въ которые „успѣли втереться балтійскіе заправилы". Нужно потерять всякое самообладаніе, чтобы заявить, такимъ образомъ, претензію на контроль надъ частными знакомствами должностныхъ лицъ.

Посмотримъ, однако, въ чемъ собственно провинилась эта ужасная, „зловредная" балтійская нѣмецкая пресса. По словамъ автора, она „систематически, но вмѣстѣ съ тѣмъ дипломатически дѣйствуетъ въ духѣ несогласномъ съ преобразованіями". Ея тактика „состоитъ преимущественно въ пропагандированіи германской культуры, государственности, высокихъ якобы качествъ и преимуществъ германской расы и т. д. Пропагандѣ германскихъ идеаловъ, воззрѣній и стремленій служатъ почти всѣ безъ исключенія мѣстныя нѣмецкія изданія, въ бо́льшей или мѣньшей степени... Они удѣляютъ дѣламъ Германіи гораздо больше мѣста, сочувствія и сердечности, чѣмъ дѣламъ Россіи. Иностранные корреспонденты ихъ вербуются либо изъ балтійскихъ эмигрантовъ, либо изъ иностранцевъ; русскіе интересы и рус-

скіе идеалы имъ или прямо несимпатичны, или совершенно чужды и непонятны. Изъ русскихъ городовъ въ одномъ только Петербургѣ имѣютъ своихъ представителей двѣ рижскія и одна ревельская газета; но въ то время какъ германскіе корреспонденты балтійскихъ нѣмецкихъ газетъ, рядомъ съ политическою хроникой, посвящаютъ читателей въ явленія общественной, литературной, художественной жизни Германіи, роднятъ ихъ, благодаря личнымъ своимъ симпатіямъ, съ политическими и культурными идеалами соперничающей со славянами расы, прививаютъ имъ симпатіи къ Deutschthum'у, приневскіе корреспонденты доставляютъ своимъ газетамъ новости торгово-промышленнаго міра и т. п. И въ этомъ случаѣ балты остаются вѣрны своему основному воззрѣнію на Россію, какъ на источникъ матеріальныхъ благъ, и на Германію—какъ на источникъ благъ умственныхъ и культурныхъ". Заимствованія балтійскими газетами дѣлаются преимущественно изъ газетъ германскихъ, при чемъ обнаруживается „пристрастіе, неумѣстное для изданій, выходящихъ въ Россіи и предназначенныхъ для русскихъ подданныхъ". Въ доказательство всего сказаннаго авторъ дѣлаетъ обзоръ статей, помѣщенныхъ, за послѣдній мѣсяцъ, въ „Düna-Zeitung". Его возмущаетъ, что „отдѣлы библіографіи и смѣси этой газеты посвящены почти исключительно германскому книжному рынку и германской общественной и культурной жизни". Ему не нравится, что объ одномъ изъ стихотвореній Ленау трактуется въ пяти фельетонахъ, о юбилеѣ университета въ Галле—въ трехъ, о Гердерѣ—въ двухъ, что цѣлая передовая статья наполнена свѣденіями о съѣздѣ германскихъ гимнастовъ въ Бреславлѣ, что для ознакомленія читателей съ взглядами папы газета прибѣгаетъ къ посредству протестантскаго богослова, что въ фельетонѣ: „Die Kunst geht nach Brod" говорится о борьбѣ между драматическими авторами и актерами *въ Германіи*. Когда идетъ рѣчь о Германіи, балтійскія газеты употребляютъ мѣстоименіе unser (нашъ), а когда идетъ о Россіи, то на сцену выступаетъ Russland или der Russe. „Оно и понятно,—замѣчаетъ авторъ:—матеріалъ изъ иностранныхъ источниковъ берется цѣликомъ, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онъ приподносится германскимъ читателямъ, тогда какъ русскія извѣстія переводятся изъ русскихъ газетъ самими балтійскими редакціями. Оттого, напримѣръ, балтійскія газеты нерѣдко печалятся о томъ, почему устранили Бисмарка отъ вліянія на германскую политику, почему германское правительство дѣлаетъ уступки центру, почему Вильгельмъ II проявляетъ миролюбивыя наклонности въ отношеніи Франціи, и о тому подобныхъ явленіяхъ".

Таково содержаніе обвинительнаго акта, въ сущности гораздо болѣе похожаго на оправдательный приговоръ. Если таковы всѣ „про-

ступки" *зловредной* прессы, то никакой безпристрастный судья—даже раздѣляющій политическіе взгляды московскихъ псевдо-патріотовъ—не затруднится сказать о ней: *нѣтъ, не виновна*. Всякая газета даетъ своимъ читателямъ то, что̀ ихъ интересуетъ. Совершенно понятно, что читатели балтійскихъ нѣмецкихъ газетъ, воспитанные въ нѣмецкихъ школахъ, весьма часто владѣющіе только нѣмецкимъ языкомъ и знакомые только съ нѣмецкой литературой, интересуются преимущественно тѣмъ, что̀ дѣлается и пишется въ Германіи; совершенно понятно, что для протестантовъ важно знать, какъ судятъ о намѣреніяхъ папы богословы протестантскаго исповѣданія. Что Германія до сихъ поръ была и все еще продолжаетъ быть для остзейской интеллигенціи „источникомъ умственныхъ и культурныхъ благъ"—это фактъ, о которомъ можно быть того или другого мнѣнія, но котораго нельзя ни отрицать, ни игнорировать. Балтійская пресса не создаетъ его, а только отражаетъ его въ себѣ, подчиняется его вліянію, какъ потому, что сама принадлежитъ, своими дѣятелями, къ составу мѣстной интеллигенціи, такъ и потому, что ею и для нея существуетъ. Когда на страницахъ балтійскихъ газетъ появляются сѣтованія о миролюбіи Вильгельма II, объ удаленіи Бисмарка и т. п., они идутъ—по признанію самого обвинителя—не отъ лица редакторовъ или сотрудниковъ этихъ газетъ, а непосредственно отъ лица германскихъ изданій, изъ которыхъ они *цѣликомъ* заимствуются. Аномалія, на которую жалуются „Московскія Вѣдомости", на самомъ дѣлѣ, слѣдовательно, не оказывается вовсе: газеты, выходящія на русской почвѣ, никакихъ анти-русскихъ чувствъ не выражаютъ, а только не скрываютъ отъ своихъ читателей, что такія чувства гдѣ-то имѣются на-лицо. Требовать отъ редакцій, чтобы за каждой ложкой яда тотчасъ же слѣдовало бы надлежащее противоядіе, за каждой цитатой изъ органа, не симпатизирующаго Россіи—негодующее опроверженіе, было бы болѣе чѣмъ странно. Политическая жизнь Германіи, къ области которой относятся вопросы о Вильгельмѣ II, Бисмаркѣ, центрѣ и т. п., составляетъ для остзейской публики предметъ совершенно платоническаго любопытства; въ искусственномъ огражденіи ея отъ страстей, разыгрывающихся на этой почвѣ, не предстоитъ ни малѣйшей надобности.

Практическій смыслъ похода, предпринятаго въ московской газетѣ противъ балтійской нѣмецкой печати, сводится не къ усиленію цензурнаго надъ нею надзора, а къ совершенному ея упраздненію. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ можетъ сдѣлать цензура противъ „зловредной" привычки инкриминированныхъ газетъ—привычки говорить слишкомъ много о Германіи и слишкомъ мало о Россіи? Нельзя же опредѣлить maximum корреспондентовъ, которыхъ каждая остзейская газета *можетъ* имѣть

въ Германіи—и minimum корреспондентовъ, которыхъ она *должна* имѣть въ Россіи; нельзя же установить maximum столбцовъ, которые *могутъ* быть посвящены Германіи—и minimum столбцовъ, которые *должны* быть посвящены Россіи... Еслибы „вина" балтійской нѣмецкой печати заключалась въ тенденціозномъ осужденіи преобразованій, предпринятыхъ русскимъ правительствомъ въ остзейскомъ краѣ, или дѣйствій, совершаемыхъ мѣстными должностными лицами русскаго происхожденія, газетныя „извѣщенія" могли бы привести къ властному: quos ego!—къ воздѣйствію высшей администраціи на цензоровъ, цензоровъ—на редакціи; но теперь ни о чемъ подобномъ не можетъ быть и рѣчи, за неуказаніемъ corpus delicti, къ которому могли бы быть пріурочены цензурные громы. А между тѣмъ, вѣдь эта самая пресса, ни въ чемъ ощутительномъ и осязаемомъ неповинная, возводится на степень „главнѣйшей балтійствующей силы въ краѣ", главнаго источника „противодѣйствующихъ вліяній"! Не ясно ли, что, за невозможностью уничтожить плоды, нужно вырвать самое дерево? И дѣйствительно, именно къ этому выводу направлена статья „Московскихъ Вѣдомостей", хотя прямо онъ въ ней и не формулированъ. „Съ вѣковыми привычками и воззрѣніями разстаться очень трудно",—говоритъ авторъ; другими словами, нельзя ожидать отъ балтійскихъ нѣмецкихъ газетъ добровольнаго поворота на новую дорогу, тѣмъ болѣе, что это значило бы для нихъ „наложить на самихъ себя руку". „Когда въ Балтикѣ, — читаемъ мы дальше, — восторжествуютъ русское міросозерцаніе, русскій народный духъ, когда все мѣстное грамотное населеніе усвоитъ себѣ русскую рѣчь и будетъ употреблять ее даже въ частномъ обиходѣ, когда здѣсь будутъ сознавать себя членами обширной русской семьи, тогда, разумѣется, спросъ на мѣстныя не-русскія періодическія изданія сильно упадетъ. Но, во-первыхъ, до наступленія такихъ условій еще далеко; во-вторыхъ, при рѣшеніи государственныхъ задачъ не могутъ быть приняты во вниманіе выгоды одного или другого издательскаго предпріятія". Ergo—delenda est Carthago; „государственная задача" должна быть рѣшена устраненіемъ „противодѣйствующей, зловредной силы" — балтійской нѣмецкой печати.

До какой степени фальшива и опасна проповѣдь насильственнаго упраздненія „несогласно мыслящихъ" элементовъ, объ этомъ всего лучше можно судить по слѣдующимъ словамъ самого проповѣдника: „хотя условія нашего (прибалтійскаго) края измѣняются за послѣдніе годы къ лучшему, хотя устранены уже многія шероховатости и ненормальности, тѣмъ не менѣе въ краѣ еще столько несогласій и противорѣчій на-лицо, столько взаимнаго непониманія и раздраженія, что жить здѣсь—для многихъ подвигъ. Разладъ между школой и

семьей, доходящій до полнаго антагонизма; разладъ между начальствующими и подчиненными, между управляющими и управляемыми; взаимное недовѣріе и нерасположеніе; разладъ между заявленіями учителей, профессоровъ, пасторовъ, газетъ и требованіями дѣйствительности; разладъ во взаимныхъ отношеніяхъ членовъ семьи и общества—весь этотъ разладъ даетъ себя чувствовать въ бо́льшей или меньшей степени и дѣлаетъ жизнь на окраинѣ крайне непріятною. Оттого-то такъ охотно бѣгутъ изъ Балтики: кто на востокъ, *въ Россію*, кто на западъ, въ Германію". И этотъ-то разладъ предполагается исцѣлить новыми стѣсненіями и запрещеніями! Корреспонденту газеты, давно утратившей способность понимать и уважать чужія вѣрованія и чувства, естественно глумиться надъ стремленіемъ балтовъ къ охраненію „драгоцѣннѣйшихъ сокровищъ своей родины [1]) —языка и вѣры"; но для всякаго другого совершенно ясно, что именно въ этомъ стремленіи—и въ препятствіяхъ, имъ встрѣчаемыхъ—коренится источникъ „разлада", переживаемаго теперь остзейскимъ краемъ. Внѣшнихъ выраженій этого разлада, съ исчезновеніемъ или окончательнымъ обезличеніемъ балтійскихъ нѣмецкихъ газетъ, стало бы меньше—но тѣмъ больше увеличилась бы его внутренняя сила.

Благосклоннымъ вниманіемъ нашихъ „уравнителей" пользуется не одна только прибалтійская окраина. Въ той же московской газетѣ (№ 249) появилась недавно передовая статья подъ сенсаціоннымъ заглавіемъ: „Послѣдній оплотъ польщизны". Такимъ оплотомъ оказывается... польское земское кредитное общество, т.-е. существующій въ Варшавѣ польскій земельный банкъ! Это—„единственное мѣстное учрежденіе, въ которомъ управители *избираются* (курсивъ въ подлинникѣ). Избираются они заемщиками, но такъ какъ всѣ имѣнія привислянскаго края заложены въ земскомъ кредитномъ обществѣ и вся шляхта числится въ рядахъ заемщиковъ, то выборы правленія кредитнаго учрежденія превращаются во всенародные шляхетскіе выборы, волнующіе край и составляющіе предлогъ чуть ли не для народныхъ торжествъ; засѣданія *пановъ радцевъ* (совѣтниковъ правленія) играютъ роль маленькихъ народовыхъ сеймиковъ, на которыхъ обсуждаются вопросы далеко не объ однихъ финансовыхъ оборотахъ общества. Затѣмъ, въ этомъ учрежденіи, въ его дѣлопроизводствѣ и въ устныхъ сношеніяхъ съ кліентами, сохра-

[1]) Московскую газету непріятно поражаетъ, повидимому, самое выраженіе *родина*, примѣняемое „балтами" къ прибалтійскому краю. Какъ же, однако, имъ именовать его?.. *Родиной*, въ противоположность отечеству, каждый изъ насъ называетъ именно ту часть родной страны, съ которою онъ особенно близко связанъ происхожденіемъ и воспитаніемъ.

няется польская рѣчь, которая уже замѣнена русскою рѣчью во всѣхъ казенныхъ учрежденіяхъ края, во всѣхъ торговыхъ конторахъ и во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, кромѣ университета, гдѣ, къ сожалѣнію, тоже еще допускается польскій языкъ, даже въ сношеніяхъ студентовъ съ профессорами и канцеляріей (что̀ представляетъ непонятную и необъяснимую аномалію)!.. По отзыву самихъ поляковъ, въ земскомъ кредитномъ обществѣ царитъ неурядица; основа для оцѣнки имѣній, подъ которыя выдаются ссуды, самая архаическая; злоупотребленія при продажѣ имѣній и при ссудахъ наблюдаются постоянно". Исходя изъ этихъ данныхъ и признавая, что „выборная система приноситъ вредъ дѣлу и создаетъ очагъ будущихъ смутъ", „Московскія Вѣдомости" предлагаютъ „коренную реформу" общества, а именно сліяніе его съ дворянскимъ земельнымъ банкомъ, „вполнѣ удовлетворяющимъ какъ требованіямъ жизни, такъ и условіямъ нашей государственности". Это, по мнѣнію московской газеты, „тѣмъ удобнѣе, что большинство заемщиковъ пользуется правами россійскаго дворянства, и ликвидація дворянскимъ банкомъ остальныхъ дѣлъ общества легко можетъ совершиться на основаніяхъ, подобныхъ тѣмъ, на какихъ произведена была ликвидація дѣлъ общества взаимнаго поземельнаго кредита, также слитаго съ дворянскимъ банкомъ".

Насколько удовлетворительно устройство и цѣлесообразна дѣятельность польскаго кредитнаго общества—объ этомъ мы судить не беремся, да вовсе и не въ этомъ суть вопроса, возбуждаемаго московской газетой: изъ недостатковъ учрежденія логически вытекаетъ только его передѣлка, а отнюдь не его упраздненіе. Мы узнаемъ изъ другой статьи о кредитномъ обществѣ, напечатанной въ томъ же нумерѣ „Московскихъ Вѣдомостей", что необходимость пересмотрѣть уставъ общества и исправить его несовершенства признается самими польскими его защитниками; аргументомъ въ пользу его закрытія эти несовершенства, слѣдовательно, служить не могутъ. Мы не будемъ также останавливаться подробно на удобствахъ или неудобствахъ сліянія, проектируемаго „Московскими Вѣдомостями"; замѣтимъ только, что оно будетъ до крайности невыгодно для всѣхъ польскихъ землевладѣльцевъ, не пользующихся правами русскаго дворянства, такъ какъ дворянскій банкъ ихъ имѣній въ залогъ принимать не будетъ, а никакого другого поземельно-кредитнаго учрежденія, кромѣ земскаго общества, въ царствѣ польскомъ не имѣется. Съ точки зрѣнія московской газеты, все это—curae posteriores; ей нужно, конечно, не упорядоченіе кредита въ привислянскомъ краѣ, а уничтоженіе „послѣдняго оплота польщизны". Узкость и черствость нашего ультранаціонализма обнаруживается здѣсь въ полномъ блескѣ. Мало распо-

ложенный къ выборному началу и самоуправленію у себя дома, онъ окончательно не переноситъ его на окраинахъ, признавая его здѣсь неразрывно связаннымъ съ національными традиціями. Ему невыносимы звуки не-русской рѣчи, разъ что они раздаются не въ четырехъ стѣнахъ частной квартиры (само собою разумѣется, что онъ желалъ бы изгнать ихъ и отсюда, но для этого еще не найдено подходящаго средства). Допустимъ, на минуту, что изобличители „послѣдняго оплота" фактически правы, что выборы въ правленіе польскаго кредитнаго общества „волнуютъ край и составляютъ предлогъ для народныхъ торжествъ", „что засѣданія пановъ радцевъ играютъ роль маленькихъ сеймиковъ"; кому и чему это можетъ принести вредъ, во имя чего нужно вооружиться противъ столь безобиднаго подобія общественной жизни? Кто повѣритъ, что въ собраніяхъ, происходящихъ съ вѣдома и подъ контролемъ администраціи, обсуждается что-либо угрожающее государственному порядку?.. Въ стремленіи подавить всѣ, даже самыя скромныя проявленія „польщизны" — стремленіи, заранѣе обреченномъ на неудачу, такъ какъ крупная національность (крупная не только по численности, но и по культурѣ) не поддается истребленію,—нельзя видѣть ничего другого, кромѣ безполезной, мелкой жестокости, одинаково несовмѣстной и съ политическимъ благоразуміемъ, и съ требованіями справедливости и нравственности.

Выходки противъ „польщизны" и противъ „балтійствующихъ силъ" встрѣчаются въ реакціонной печати сравнительно рѣдко: слишкомъ уже мало осталось для нихъ поводовъ и даже предлоговъ. Тѣмъ чаще и тѣмъ усерднѣе, зато, эта печать ополчается противъ окраины, меньше всѣхъ подвергшейся обрусенію—противъ Финляндіи. Статьи „Московскихъ Вѣдомостей", посвященныя финляндскому вопросу, составляютъ уже, въ отдѣльномъ изданіи, два толстыхъ тома [1])—и все-таки корреспонденціи, фельетоны, передовицы на ту же тему продолжаютъ сыпаться, какъ изъ рога изобилія. Сотрудники московской газеты чутко прислушиваются ко всему тому, что̀ можетъ послужить новымъ доказательствомъ финляндской „неблагонамѣренности". Не ускользаютъ отъ ихъ вниманія, между прочимъ, и рѣчи, произносимыя на музыкальныхъ, гимнастическихъ и другихъ празднествахъ въ Финляндіи. Чтобы составить себѣ понятіе о томъ, чѣмъ возбуждается подозрительность и возмущается патріотическое чувство нашихъ газетныхъ наблюдателей, достаточно привести рѣчь барона Вилле-бранда, сказанную на гельсингфорскомъ праздникѣ гимнастовъ. Къ участію въ этомъ праздникѣ были приглашены, *съ разрѣшенія над-*

[1]) Недавно вышелъ въ свѣтъ второй выпускъ этого сборника, озаглавленнаго: „Финляндская окраина Россіи".

лежащей власти, гости изъ Швеціи, которыхъ и привѣтствовалъ г. Виллебрандъ. Напомнивъ о первомъ обще-скандинавскомъ (студенческомъ) торжествѣ (1875 г.), въ которомъ участвовали финляндцы, и о другихъ, позднѣйшихъ собраніяхъ этого рода, г. Виллебрандъ продолжалъ: „Финляндія находится въ долгу у Швеціи; долгъ этотъ она несетъ съ радостію, безъ мысли уплатить его, такъ какъ онъ не можетъ быть уплаченъ... Едва вѣсть о томъ, что мы получили возможность привѣтствовать Швецію, стала извѣстною, какъ бо̀льшая часть общества усмотрѣла въ этомъ лучшую приманку и удовольствіе. Такой бури восторга, какою вчера привѣтствовали сине-желтое, то-есть шведское, знамя и его почетный караулъ, мы никогда не слыхали, и это мгновеніе никогда не забудется присутствующими. Исторія свидѣтельствуетъ, что мы, шведы и финны, поклялись другъ другу въ вѣрности, и въ теченіе 700 совмѣстныхъ лѣтъ горя и радости клятва не нарушалась. Какія узы насъ связывали и нынѣ еще связываютъ на нашихъ разныхъ путяхъ, мнѣ не приходится здѣсь объяснять. Достаточно сказать, что исторія едва ли въ состояніи указать два политически разъединенные народа, которые имѣютъ въ своей жизни столь много существенно общаго... Надѣюсь, что, покинувъ Финляндію, вы когда-нибудь дружески вспомните объ этихъ дняхъ. Вы вспомните, что въ кликахъ восторга слышно было нѣчто, согрѣвавшее болѣе чѣмъ солнце лѣта, и что это нѣчто была сердечная теплота, вѣрнѣе всего вызываемая въ Финляндіи дружескимъ пожатіемъ руки потомковъ того народа, который стоялъ къ намъ ближе всѣхъ другихъ".

Самый строгій цензоръ едва ли нашелъ бы въ этой рѣчи поводъ къ помаркамъ или къ докладу по начальству—а „Московскія Вѣдомости" (№ 255) считаютъ нужнымъ включить ее въ свои „матеріалы" (въ Щедринскомъ смыслѣ слова)! Ораторъ констатировалъ безспорный фактъ (признаваемый и московской газетой), что своей первоначальной культурой Финляндія обязана Швеціи—и констатировалъ его въ нѣсколько приподнятыхъ выраженіяхъ, свойственныхъ торжественной рѣчи. Узы, связывавшія и связывающія Швецію съ Финляндіей—это литература, языкъ, религія, нѣсколько столѣтій общей исторіи, значительная часть тѣхъ порядковъ, которыми такъ дорожатъ финляндцы. Все это естественно отражается въ привѣтѣ дорогимъ шведскимъ гостямъ—и нужно особенное искусство, чтобы отыскать въ немъ что-то похожее на измѣну, чтобы увидѣть въ чествованіи шведскаго знамени „воздыханіе" по немъ [1]), т.-е.

[1]) Финляндцы—такъ резюмируетъ московская газета рѣчь г. Виллебранда—„вздыхаютъ по сине-желтомъ знамени Швеціи".

затаенное желаніе возсоединенія съ Швеціей... Финляндцамъ, по мнѣнію московской газеты, не слѣдуетъ забывать, что „благопріятныя условія для воздѣлыванія почвы финской самобытности и для взращенія заимствованныхъ (изъ Швеціи и вообще изъ западной Европы) сѣмянъ даны Финляндіи россійскою имперіей; при восхваленіяхъ шведскихъ временъ они не должны замалчивать и выгодъ временъ русскаго владычества". Насколько финляндцы умѣютъ цѣнить дѣйствительныя выгоды, доставленныя имъ русскимъ владычествомъ—это они показали съ достаточною ясностью при открытіи въ Гельсингфорсѣ, весною нынѣшняго года, памятника императору Александру II-му; но въ привѣтствіи шведамъ не было рѣшительно никакой надобности говорить о русскихъ. Даже правда, сказанная не во-время и не у мѣста, становится похожей на лесть—а если лесть у финляндцевъ не пользуется почетомъ, то это должно быть имъ вмѣнено не въ вину, а въ заслугу. „Учителямъ финскаго народа" московская газета совѣтуетъ, далѣе, „ввести въ свою политическую программу любовь и пріязнь къ русскому народу, солидарность съ русскими государственными интересами". Любовь и пріязнь—не какія-нибудь мѣропріятія, которыя можно включать въ программу; это чувства, которыя возникаютъ и исчезаютъ, усиливаются и слабѣютъ сами собою, помимо велѣній и внушеній. Болѣе неблагопріятныхъ условій для ихъ развитія, чѣмъ тѣ, которыя желала бы создать реакціонная печать, нельзя себѣ, въ данномъ случаѣ, и представить. Что касается до солидарности интересовъ русскихъ и финляндскихъ, то ее можно понимать весьма различно. Ее и не думаютъ отрицать „учителя финскаго народа"—только они ищутъ и находятъ ее не въ томъ, въ чемъ ее видятъ „Московскія Вѣдомости".

Въ разныхъ мѣстахъ Россіи, повидимому, свирѣпствуетъ, въ послѣднее время, настоящая эпидемія сѣченья. Въ московской губерніи, въ уфимской, купцы этимъ путемъ расправляются съ своими рабочими; въ новгородской губерніи происходитъ какая-то совершенно невѣроятная, но, къ несчастію, не подлежащая сомнѣнію „домашняя экзекуція", устроенная... уѣзднымъ членомъ окружного суда (въ качествѣ не должностного, а частнаго лица)! Во всѣхъ этихъ случаяхъ не было, по крайней мѣрѣ, прямого превышенія или злоупотребленія власти; но вотъ что мы читаемъ въ „Недѣлѣ" (№ 38), въ письмѣ изъ нижегородской губерніи, озаглавленномъ: „Возрожденіе конюшни". „Какъ извѣстно, до 1861 г. конюшни имѣли двоякое назначеніе: во-первыхъ, тамъ помѣщались лошади, во-вторыхъ, на конюшняхъ драли людей. Съ уничтоженіемъ крѣпостного права второе, болѣе важное назна-

ченіе конюшни, казалось, погибло навсегда. Но это только казалось: конюшня не погибла, и скромно перенеся время своего униженія и забвенія, теперь, повидимому, снова возрождается во всемъ своемъ первоначальномъ значеніи школы народной нравственности. Къ числу признаковъ этого надо отнести честь, недавно оказанную конюшнѣ почти одновременно въ двухъ разныхъ мѣстахъ: въ нижегородскомъ уѣздѣ земскій начальникъ 5 участка Сергѣй Андреевичъ Михайловъ и въ саранскомъ уѣздѣ пензенской губерніи предводитель дворянства Юрій Ивановичъ Юрловъ выпороли двухъ мужиковъ на своихъ конюшняхъ. Одинъ мужикъ, по разсѣянности или вслѣдствіе нѣкотораго опьяненія, не поклонился С. А. Михайлову на базарной площади въ с. Полецахъ. Михайловъ тростью сшибъ шапку съ мужика и кромѣ того ударилъ его кулакомъ. Мужикъ началъ ругаться и въ свою очередь толкнулъ земскаго начальника, который приказалъ сотскимъ отвести мужика на *конюшню* и тамъ его *хорошенько выдрать*. Свѣденіе объ этомъ дошло до нижегородскаго губернскаго присутствія, которое представило министру внутреннихъ дѣлъ о преданіи г. Михайлова суду. Состоялось ли это преданіе—неизвѣстно; но въ газетахъ появилось слѣдующее извѣстіе: приказомъ министра внутреннихъ дѣлъ земскій начальникъ 5 участка нижегородскаго уѣзда, отставной поручикъ С. А. Михайловъ, уволенъ, согласно прошенію, по домашнимъ обстоятельствамъ, отъ службы въ отставку. Подвигъ г. Юрлова еще болѣе характеренъ. 8-го минувшаго іюля г. Юрловъ осматривалъ свою конюшню и при этомъ замѣтилъ, что конюхъ Власовъ, парень 20 лѣтъ, толкнулъ одну изъ лошадей въ бокъ рукояткою вилъ. Власовъ объяснилъ свой поступокъ тѣмъ, что лошадь наступила на его босую ногу своей подковой, и, чтобы избавиться отъ нестерпимой боли, онъ отпугнулъ лошадь. Г. Юрловъ, однако, никакихъ резоновъ не принималъ и вытащилъ Власова за ухо на дворъ конюшни, гдѣ приказалъ своему кучеру и наѣзднику пороть Власова ременнымъ арапникомъ (что и было исполнено). Этого показалось мало руководившему истязаніемъ г. Юрлову. Онъ схватилъ Власова за волосы и тыкалъ его лицомъ въ землю, потомъ приказалъ принести вилы и ударить Власова по спинѣ рукояткою, чтобы онъ зналъ какъ бить лошадей. Несмотря на то, что нашлись люди, объяснившіе какъ и кому надо жаловаться, Власовъ не рѣшился преслѣдовать Юрлова. Земскій начальникъ—такъ разсуждалъ Власовъ—подчиненъ предводителю, становой тоже не промѣняетъ барина на меня, я же лишусь мѣста, и, кромѣ того, Юрій Ивановичъ (Юрловъ) отниметъ землю отъ моихъ родственниковъ и родныхъ. Такое воззрѣніе Власова усердно поддерживали причастные къ истязанію кучеръ и наѣздникъ Юрлова. Совершивши это безобразное самоуправство, г.

Юрловъ, какъ ни въ чемъ не бывало, разъѣзжаетъ по уѣзду и весьма развязно всѣмъ объясняетъ:—нельзя, знаете, не проучить этихъ конюховъ, это необходимо. Я нимало не скрываю, что выпоролъ мужика, и даже этимъ горжусь. Я знаю, что будетъ сдѣлана попытка меня за это пропечатать, но я надѣюсь, что званіе предводителя спасетъ меня отъ этой непріятности". Всему этому трудно было бы повѣрить, еслибы не названы были en toutes lettres мѣста „происшествій" и имена участвующихъ лицъ. Прежде всего возникаетъ, конечно, вопросъ, какая судьба постигла или постигнетъ гг. Михайлова и Юрлова? Нельзя же допустить, что достаточнымъ возмездіемъ за образъ дѣйствій г. Михайлова—соединяющій въ себѣ, судя по сообщенію „Недѣли", всѣ признаки тяжкаго превышенія власти и ничѣмъ не отличающійся отъ проступка, за который былъ преданъ суду и присужденъ къ исключенію изъ службы земскій начальникъ Протопоповъ,—послужило увольненіе его отъ службы, *по прошенію*. Что касается до г. Юрлова, то отсутствіе жалобы со стороны потерпѣвшаго очевидно не составляетъ препятствія къ возбужденію противъ него судебнаго производства: дѣяніе, имъ совершенное, можетъ и должно быть разсматриваемо какъ *истязаніе* (улож. о наказ. ст. 1489), преслѣдуемое въ порядкѣ государственнаго, а не частнаго обвиненія. По существу, притомъ, оно также весьма близко къ превышенію власти: хотя исполнителями истязанія были рабочіе г. Юрлова (а не сотскіе, какъ въ случаѣ съ г. Михайловымъ), но они едва ли исполнили бы явно противозаконное приказаніе своего хозяина, еслибы не видѣли въ немъ лицо, облеченное властью. Эта власть, во всякомъ случаѣ, внушала и внушаетъ г. Юрлову увѣренность въ безнаказанности; эта же власть была причиной, помѣшавшей Власову принести жалобу на г. Юрлова. Единственнымъ средствомъ къ возстановленію ея авторитета—*настоящаго* авторитета, меньше всего основаннаго на слѣпомъ и рабскомъ страхѣ—является судебное преслѣдованіе. Впрочемъ личная отвѣтственность гг. Михайлова и Юрлова—вопросъ сравнительно второстепенный; примѣръ г. Протопопова удостовѣряетъ, что одной судебной кары мало для предупрежденія, на будущее время, аналогичныхъ правонарушеній. Гораздо важнѣе было бы устранить самый источникъ, изъ котораго вытекаетъ непрерывный рядъ возмутительныхъ беззаконій. Этотъ источникъ—неправильныя представленія съ одной стороны о власти, какъ объ орудіи обузданія массы per fas et nefas, съ другой стороны—о народѣ, какъ объ объектѣ подтягиванья и грубѣйшихъ формъ примитивной расправы. Пока тѣлесныя наказанія входятъ въ кругъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ карательныхъ мѣръ, широко примѣняемыхъ всѣми органами мѣстной

администраціи, начиная съ низшихъ—волостныхъ судовъ [1]) и до высшихъ—губернаторовъ, до тѣхъ поръ они неизбѣжно будутъ проникать и въ частныя отношенія между лицами властными и безвластными, извращая всѣ понятія о правѣ, подрывая въ корнѣ уваженіе къ человѣческой личности и накопляя раздраженіе, тѣмъ болѣе опасное, чѣмъ меньше оно выступаетъ наружу. Опасность увеличивается еще тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ органахъ печати, за которыми стоятъ болѣе или менѣе вліятельныя общественныя сферы, замѣтно стремленіе создать такое положеніе вещей, при которомъ поступки въ родѣ упомянутыхъ выше сдѣлались бы чѣмъ-то нормальнымъ и заурядnымъ. Въ „Гражданинѣ", напримѣръ, опять раздаются варіаціи на старую тему: „въ деревнѣ жить невыносимо" (конечно—помѣщикамъ). Причина этому —„современное состояніе крестьянскаго сословія, страшная распущенность крестьянъ, неуваженіе ими правъ землевладѣльца, безнаказанность за нарушеніе этихъ правъ, недобросовѣстность въ работахъ и въ выполненіи обязательствъ и договоровъ и *начинающая проявляться грубость и дерзость* крестьянина". Не помогло горю и учрежденіе земскихъ начальниковъ: улучшенія отъ нихъ „видно еще мало", въ деревнѣ по прежнему ощущается „недостатокъ власти, недостатокъ порядка" (!). „Прежде,—продолжаетъ „Гражданинъ",—помѣщикъ имѣлъ свое общественное положеніе всѣми уважаемое, и, независимо отъ его личныхъ качествъ, имѣлъ значеніе и вліяніе въ своемъ околоткѣ; тогда помѣщику жить въ имѣніи было удобно и пріятно; всѣ держались своихъ родовыхъ имѣній и вели хозяйства... Чтобы удержать (теперь) дворянъ-помѣщиковъ въ деревнѣ, поддержать и укрѣпить помѣщичьи хозяйства и сдѣлать жизнь помѣщика въ деревнѣ удобной, необходимо поднять значеніе помѣщика, дать ему вліяніе въ околоткѣ, и тѣмъ дать ему возможность, кромѣ веденія хозяйства, быть полезнымъ краю своею дѣятельностью, содѣйствовать водворенію порядка въ крестьянскомъ быту". Другими словами, необходимо предоставить каждому дворянину-помѣщику, независимо отъ его „личныхъ качествъ" (!), возможность поступать, на законномъ основаніи, такъ, какъ поступилъ г. Юрловъ вопреки закону. Еще короче эта мысль можетъ быть выражена въ трехъ словахъ: *возстановленіе крѣпостного права.*

Смертный приговоръ надъ Багатуровымъ, о которомъ мы говорили въ предъидущей хроникѣ, не приведенъ въ исполненіе: смертная

[1]) Мы называемъ волостные суды органами администраціи въ виду полнѣйшей зависимости ихъ не только отъ земскихъ начальниковъ (и предводителей дворянства), но, сплошь и рядомъ, и отъ исправниковъ и даже отъ волостныхъ старшинъ.

казнь замѣнена каторжной работой безъ срока. Вслѣдъ затѣмъ въ газетахъ появилось сообщеніе о другомъ процессѣ, также окончившемся смертнымъ приговоромъ. Военному суду по законамъ военнаго времени былъ преданъ, въ Тифлисѣ, бывшій кондукторъ закавказской желѣзной дороги Горшенинъ, убившій помощника начальника этой дороги П. В. Корша и покушавшійся на убійство начальника движенія той же дороги, Э. Д. Золотницкаго. Къ этому дѣлу вполнѣ примѣнимо все сказанное нами о процессѣ Багатурова. Какъ ни возмутительно преступленіе Горшенина, нетрудно указать множество преступленій не менѣе или еще болѣе тяжкихъ, разсмотрѣнныхъ, въ послѣднее время, въ обычномъ порядкѣ уголовнаго судопроизводства. Достаточно назвать, для примѣра, по истинѣ ужасное убійство, въ екатеринославской губерніи, цѣлой семьи судебнаго слѣдователя Арцимовича (съ цѣлью ограбленія). На вопросъ о томъ, почему это послѣднее дѣло было предоставлено нормальному теченію, а дѣла Багатурова и Горшенина—изъ него изъяты, невозможно дать сколько-нибудь удовлетворительный отвѣтъ. Повторяемъ еще разъ: или смертная казнь, за извѣстныя преступленія, должна быть прямо назначена закономъ, или она никогда не должна быть назначаема за нихъ (за исключеніемъ развѣ случаевъ объявленія данной мѣстности на военномъ положеніи, если, притомъ, преступное дѣяніе прямо предусмотрѣно въ такомъ объявленіи и совершено *послѣ* его обнародованія).

Мы говорили недавно [1]) о громадной разницѣ, существующей между ограниченіемъ гласности у насъ, по закону 12 февраля 1887 г., и во Франціи, по іюльскому закону противъ анархистовъ. Чрезвычайно яркой иллюстраціей къ нашимъ замѣчаніямъ могутъ служить два недавнихъ процесса—одинъ въ Москвѣ, другой въ Вильнѣ. Бывшій московскій присяжный повѣренный Салтыковъ обвинялся въ нѣсколькихъ подлогахъ; въ первый разъ онъ былъ оправданъ присяжными, но рѣшеніе ихъ было кассировано сенатомъ, и при второмъ разбирательствѣ, въ истекшемъ сентябрѣ, онъ признанъ виновнымъ и присужденъ къ ссылкѣ. Это дѣло слушалось *при закрытыхъ дверяхъ*, хотя до крайности трудно допустить, чтобы публичный разборъ его могъ угрожать „достоинству государственной власти, общественному порядку или правильному ходу судебныхъ дѣйствій". Другое дѣло, гораздо болѣе громкое—о сопротивленіи властямъ въ мѣстечкѣ Крожахъ, россіенскаго уѣзда ковенской губерніи—должно было начаться въ виленской судебной палатѣ, съ участіемъ сослов-

---

[1]) См. сентябрьское Внутреннее Обозрѣніе.

ныхъ представителей, 20-го сентября, также при закрытыхъ дверяхъ. Всѣхъ обвиняемыхъ по этому дѣлу 70 человѣкъ (въ томъ числѣ 17 женщинъ), въ возрастѣ отъ 18 до 80 лѣтъ; изъ нихъ *пятьдесятъ* содержатся подъ стражей. О событіяхъ, послужившихъ поводомъ къ этому процессу, извѣстно, до сихъ поръ, только по слухамъ, въ которыхъ, вѣроятно, много преувеличеннаго или даже невѣрнаго. Тѣмъ важнѣе было бы раскрытіе истины, возможное только при публичномъ разбирательствѣ дѣла. Никакихъ опасеній за „общественный порядокъ и правильный ходъ судебныхъ дѣйствій“ такое разбирательство не возбуждало бы, потому что въ центрѣ сѣверо-западнаго края существуетъ, конечно, достаточно средствъ къ огражденію спокойствія и тишины въ залѣ и вокругъ залы судебныхъ засѣданій. Что касается до „достоинства государственной власти“, то, во-первыхъ, непосредственное участіе въ крожскихъ событіяхъ принимали, безъ сомнѣнія, представители мѣстной власти, а не государственной; во-вторыхъ, достоинству власти больше могутъ повредить ничѣмъ не провѣренные слухи, чѣмъ точно установленные факты. Если русское общество, по выраженію г. министра юстиціи, „въ правѣ знать, что̀ дѣлается въ судѣ и какъ творится правосудіе“, то, мы не видимъ причины, почему крожское дѣло должно составлять исключеніе изъ общаго правила. Не ясно ли, что возстановить нормальный порядокъ вещей можетъ, въ этомъ отношеніи, только отмѣна или коренная передѣлка новеллы 12 февраля 1887 года?

20-го сентября, въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, близъ могилы С. П. Боткина, состоялось погребеніе Е. И. Утина, скончавшагося 9-го августа, на югѣ Россіи. Какъ ни преждевременна была его смерть, но онъ уже успѣлъ, тѣмъ не менѣе, пріобрѣсти прочныя симпатіи во всѣхъ тѣхъ разнообразныхъ сферахъ, гдѣ приходилось ему дѣйствовать въ жизни, столь внезапно прерванной и обѣщавшей такъ много еще въ будущемъ. Произнесенное у самаго края могилы надгробное слово В. Д. Спасовича вполнѣ выразило тѣ чувства, которыми были воодушевлены въ ту скорбную минуту многочисленные друзья покойнаго, пожелавшіе проводить его въ послѣдній путь.

„Мы собрались,—говорилъ В. Д. Спасовичъ,—воздать послѣдній долгъ дорогому умершему. Внезапная смерть его произвела страшное, гнетущее впечатлѣніе—не на него—онъ ея и не предчувствовалъ, до послѣдней минуты жизни и не предугадывалъ, что кончается и отходитъ, — но на насъ, его близкихъ, пережившихъ его. Былъ человѣкъ здоровъ и веселъ, — въ самомъ жизнерадостномъ настрое-

нiи—затѣмъ послѣдовало нѣсколько часовъ физическихъ страданiй—и его не стало. Еще въ первыхъ числахъ августа онъ писалъ изъ своей волынской усадьбы своему знакомому въ Петербургѣ: „въ Вильно на засѣданiе суда *20-го сентября* я пріѣду, непремѣнно пріѣду, *развѣ не буду живъ*“.—Послѣднее и случилось; онъ — не живъ! его мы въ этотъ самый день, 20-го числа, хоронимъ, а тамъ, въ Вильнѣ, въ эту самую минуту открывается то засѣданiе, къ которому онъ всею душою стремился, и въ которомъ долженъ былъ защищать одинъ изъ самыхъ дорогихъ для него интересовъ—свободу совѣсти. Во всѣ такiя дѣла, гдѣ затронуты бывали высшiе интересы человѣка, вносилъ онъ жаръ чувства и заразительно-увлекающую слушателей убѣжденность. Таковы были его рѣчи по дѣламъ печати, по преступленiямъ политическимъ; таковы были дѣла такъ-называемыя пасторскiя, которыя въ послѣднее время велъ онъ только одинъ въ правительствующемъ сенатѣ. Тѣ свойства, которыя я намѣтилъ какъ отличительные признаки его дарованiя: жаръ чувства и убѣжденность — обыкновенныя качества молодости,—потомъ, съ лѣтами они обыкновенно пропадаютъ. Есть, однако, счастливые люди, у которыхъ они сохраняются, которые остаются юношами, приближаясь, какъ онъ, къ пятидесяти годамъ и достигая иногда болѣе преклонныхъ лѣтъ.

„Но неувядаемая юность—удѣлъ весьма рѣдкихъ избранниковъ, никогда не падающихъ духомъ начинателей, людей одержимыхъ „священнымъ недовольствомъ“ настоящей минуты, исканiемъ лучшаго будущаго,—людей всегда что-нибудь новое задумывающихъ, и которыхъ призванiе: активная борьба съ препятствiями на пути жизни.

„Е. И. Утинъ и былъ именно такой боецъ по своему темпераменту, по натурѣ. Такимъ бойцомъ онъ былъ начиная со школьной скамьи; такимъ онъ былъ позже въ своихъ странствованiяхъ по западу, когда ѣздилъ во Францiю тотчасъ послѣ седанскаго погрома, когда прислушивался къ народному собранiю въ Бордо, когда восторгался Гамбеттою; онъ столь сильно привязался къ французамъ и ихъ цивилизацiи, что по возвращенiи мы прозвали его шутя „французскимъ патріотомъ“. Такимъ бойцомъ онъ былъ, когда отправлялся туристомъ въ Болгарiю во время войны 1877 г. и подвергался изъ одной любознательности турецкимъ выстрѣламъ изъ укрѣпленiй Плевны. Такимъ бойцомъ онъ былъ, когда въ качествѣ странствующаго рыцаря адвокатуры перебывалъ и состязался во всѣхъ почти судебныхъ центрахъ Россiи, отъ Петербурга до Одессы и отъ западныхъ окраинъ до Екатеринбурга.

„Всѣ люди—дѣти своего вѣка; на нихъ есть слѣды рѣзца той эпохи, того момента, когда они появились на поприщѣ дѣятельности общественной. Великiя эпохи имѣютъ свой особенный блескъ; онѣ

налагаютъ на своихъ сподвижниковъ свою печать и сообщаютъ имъ свой извѣстный свѣтъ. Старѣйшіе здѣсь по возрасту между нами—люди славной эпохи, люди „шестидесятыхъ“ годовъ. Покойный Утинъ былъ однимъ изъ типическихъ представителей этого поколѣнія, со всѣми его достоинствами и недостатками, съ его вѣрою въ идеалы и порывистымъ стремленіемъ къ ихъ осуществленію. Онъ только теперь, въ первый разъ, успокоился, но намъ отъ этого не легче. Мы ощущаемъ одну только убыль; ряды наши рѣдѣютъ. Сомкнемъ же эти ряды, люди шестидесятыхъ годовъ, и почтимъ память умершаго увѣренностью, что и мы, какъ и онъ, останемся вѣрны до нашего конца своимъ идеаламъ, и не измѣнимъ имъ, подобно ему, не измѣнившему до могилы. Можетъ быть, мы и не доживемъ до лучшаго, до новой весны, но подъ пеленою снѣга всегда прозябаютъ незримые для глаза всходы посѣянныхъ сѣмянъ...

„Теперь остается только сказать одно послѣднее прости дорогому усопшему!—Да будетъ тебѣ могильная земля легка!!“

ИЗВѢЩЕНІЯ.

Отъ Спб. Комитета Грамотности.

С.-Петербургскій Комитетъ Грамотности, состоящій при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, преслѣдуя цѣли распространенія грамотности и полезныхъ знаній въ средѣ сельскаго населенія, въ засѣданіи 14-го декабря 1893 года, выслушавъ заявленіе 55 своихъ членовъ, постановилъ открыть подписку на учрежденіе, при посредствѣ земствъ, 100 безплатныхъ народныхъ читаленъ или библіотекъ, всего на сумму 25.000 рублей, возложивъ исполненіе этого постановленія на Совѣтъ Комитета. Для осуществленія этой задачи необходимо дѣятельное общественное сочувствіе. Исходя изъ глубокаго убѣжденія, что русское общество вполнѣ сознаетъ, что невѣжество есть главное препятствіе къ поднятію народнаго благосостоянія, Комитетъ Грамотности, на основаніи ст. 3 своего Устава, открываетъ пріемъ пожертвованій и приглашаетъ всѣхъ сочувствующихъ его начинанію направлять свои взносы слѣдующимъ лицамъ:

Предсѣдателю Комитета А. Н. Страннолюбскому (Гороховая, 48); товарищамъ предсѣдателя: А. М. Тютрюмову (Коломенская, 1); Г. А. Фальборку (Гончарная, 11); секретарямъ: Э. Э. Анерту (Екатерининъ-

скій кан., 51); М. А. Лозинскому (Саперный, 20); Д. Д. Протопопов. (В. О., Большой пр., 27) и В. И. Чарнолускому (Гончарная, 11),— а также членамъ Комитета: К. К. Арсеньеву (Мойка, 13); Н. А Варгунину (М. Итальянская, 38); В. П. Воленсу (Симеоновскій, 5); Я. Г. Гуревичу (Лиговская улица, 1); баронессѣ В. И. Икскуль (Екатерининскій кан., 156); А. М. Калмыковой (Литейный, 60); Я. Т. Михайловскому (Невскій, 97); М. И. Соколову (Невскій, 21) и М. Н. Стюниной (Воскресенскій, 17).

Всѣ означенныя лица имѣютъ особыя книги для выдачи квитанцій въ пріемѣ суммъ и подписные листы для сбора. О всѣхъ пожертвованіяхъ Комитетъ будетъ извѣщать въ газетахъ, а по окончаніи подписки будетъ опубликованъ подробный отчетъ объ израсходованіи суммъ.

Лица, внесшія не менѣе 250 рублей, могутъ указывать ту мѣстность, гдѣ должна быть открыта учреждаемая на ихъ средства читальня.

ПОПРАВКА.

Въ сентябрьской книгѣ, на стр. 449, строка 15 св., напечатано: „Германія—также обѣтованное царство"; слѣдуетъ: „Германія — также *не* обѣтованное царство".

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЯТАГО ТОМА

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 1894.

Книга девятая. — Сентябрь.

стр.

Лизочка.—Повѣсть.—Д. Ц—ВА. 5

Н. В. Гоголь. — Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г. — XXI-XXII. — В. И. ШЕНРОКА. 55

Весенніе иллюзіи.—Повѣсть.—XV-XX.—В. ДМИТРІЕВОЙ. 93

Ипполитъ Тэнъ въ исторіи яковинцевъ.—I.—В. И. ГЕРЬЕ. 142

Заложникъ.—The Bondman, by Hall Caine.—Книга первая.—I-XIII.—Съ англійскаго.—А. Б-Г 192

Экономическій матеріализмъ въ исторіи.—IX-XIII.—П. И. КАРѢЕВА . . . 249

Исправленіе книгъ и начало раскола.—А. Н. ПЫПИНА 278

Позикмельныя задачи.—III-IV.—Л. З. СЛОНИМСКАГО 328

Хроника.—Внутреннее Овозрѣніе. — Бракосочетаніе Е. И. В. Вел. Кн. Ксеніи Александровны.—Гласность процесса у насъ и во Франціи.—Судъ присяжныхъ и французскій законъ объ анархистахъ.—Присяга присяжныхъ засѣдателей.—Дальнѣйшее распространеніе новыхъ судебно-административныхъ порядковъ.—Нѣчто о законности.—Сельскіе рабочіе.—Льготы по образованію при отбываніи воинской повинности. 348

Иностранное Овозрѣніе.—Современные международные вопросы.—Недавнія событія и перемѣны въ Сербіи. — Политическія дѣла Болгаріи. — Стамбуловскій режимъ и его послѣдствія.—Болгарское общественное мнѣніе.—Школьное дѣло и печать въ княжествѣ.—Вопросъ о русско-болгарскомъ сближеніи. — Странныя требованія нѣкоторыхъ газетъ.—Японско-китайская война и ея значеніе 367

Литературное Овозрѣніе.—Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ шести томахъ.—Д. И. Писаревъ, его жизнь и литературная дѣятельность, Евг. Соловьева.—Т.—Празднованіе Имп. Казанскимъ университетомъ столѣтней годовщины дня рожденія Н. И. Лобачевскаго.—А. В.—Путешествіе на Востокъ Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича, 1890 — 1891. Авторъ-издатель кн. Э. Э. Ухтомскій. Части 1—3. — ВЛ. С. — Новыя книги и брошюры. 382

Съ книгами по ярмаркамъ.—Письмо изъ полтавской губерніи.—В. ЯКОВЕНКО. 401

Новости Иностранной Литературы—I. Ginisty. L'Année Littéraire.—II.—Journal des Goncourt. Tome 7-me. — З. В. 419

Некрологъ.—Е. И. Утинъ †.—К. К. АРСЕНЬЕВА. 432

Изъ Общественной Хроники.—Наступилъ ли „добрый часъ“ общей, дружной работы всѣхъ видовъ начальной школы? — Еще объ офицерскихъ дуэляхъ. — Процессъ Багатурова. — Городское самоуправленіе въ пермской губерніи. — Литературный фондъ — Журналы и газеты 437

Библіографическій Листокъ.—Бесѣды съ дѣтьми о природѣ, Арабеллы Бёрклей. —Исторія германскаго народа, К. Лампрехта, т I, ч 1 и 2.—Рѣчь государственнаго обвинителя въ уголовномъ судѣ, А. Левенстима. — Законы о судопроизводствѣ и взысканіяхъ гражданскихъ, состав. М. П. Шафиръ

Объявленія.—I-XVI стр.

Книга десятая. — Октябрь.

стр.

Н. В. ГОГОЛЬ. — Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г.—XXVIII-XXXIV.—Окончаніе.—В. И. ШЕНРОКА. 453
Лѣночка.—Повѣсть.—VIII-XIV.—Окончаніе.—Д. Ц—ВА 480
Ипполитъ Тэнъ въ исторіи яковинцевъ.—II.—В. И. ГЕРЬЕ 525
Рабочій вопросъ въ С.-Американскихъ Штатахъ.—II. ТВЕРСКОГО 570
Весенніе иллюзіи.—Повѣсть.—XXI-XXV.—В. ДМИТРІЕВОЙ 618
Россія и Англія въ началѣ XIX-го столѣтія.—I-III.—Ѳ. Ѳ. МАРТЕНСА . . 658
Заложникъ.—The Bondman, by Hall Caine.—Книга II: XIV-XXI.—А. Б-Г . 697
Стихотворенія.—I. Предъ грозой.—II. Опять...—III. Гдѣ?—ВЛ. МАРТОВА . 739
Послѣднія времена московской Россіи.—1. Отношеніе къ западному образованію.—Кіевская школа.—Симеонъ Полоцкій.—А. Н. ПЫПИНА. 741
Стихотворенія.—Изъ Хозе-Марія де-Эредіа.—Средневѣковые сонеты.—Изъ венгерскихъ поэтовъ.—О. МИХАЙЛОВОЙ 790
Хроника.—Подать и недоимка.—П. ГОЛУБЕВА 796
Внутренній Овозрѣніе. — Задачи „отдѣла мѣстныхъ учрежденій“ въ коммиссіи для пересмотра законоположеній по судебной части.—Различные способы объединенія „мѣстной юстиціи“ и разграниченія вѣдомствъ министерства юстиціи и министерства внутреннихъ дѣлъ.—Совмѣстима ли должность земскаго начальника съ другими званіями?—Земскіе начальники и крестьянское хозяйство. — Новый законъ о надзорѣ за страховыми учрежденіями 818
Иностранное Овозрѣніе.—Японскія побѣды и ихъ значеніе.—Самобытныя черты китайскаго могущества. — Военные опыты для европейцевъ.—Политическія особенности Японіи.—Западно-европейскія дѣла: смерть графа Парижскаго, рѣчи князя Бисмарка 839
Литературное Овозрѣніе.—Переселенцы и новыя мѣста, путевыя замѣтки, Дѣдлова.—Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Фонвизина, Н. С. Тихонравова.—С. М. Соловьевъ, его жизнь и ученo-литературная дѣятельность, П. В. Безобразова.—Т.—Славянское Обозрѣніе. Сборникъ статей по славяновѣденію, п. р. И. С. Пальмова.—Что дѣлаютъ дворяне и что имъ слѣдовало бы дѣлать?—Л. С.—Новыя книги и брошюры 851
Объясненіе.—Былъ ли В. И. Григоровичъ въ Римѣ въ 1840—41 гг.?—П. . . 873
Новости Иностранной Литературы.—I. Weiss, Le drame historique et le drame passionnel.—II. Annie Besant. An autobiography.—З. В. 875
Изъ Общественной Хроники. — „Балтійствующая зловредная сила“, „послѣдній оплотъ польщизны“ и финляндскія праздничныя рѣчи, какъ объектъ усердія не по разуму. — Модная эпидемія. — Процессъ Горшенина. — Еще два слова о судебной гласности. — Погребеніе Е. И. Утина и надгробное слово В. Д. Спасовича 889
Извѣщенія.—Отъ Спб. Комитета Грамотности 205
Библіографическій Листокъ. — Рыболовство и законодательство, В. И. Вешнякова. — Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 8-е изд. Н. С. Таганцева. — Изъ эпохи великихъ реформъ, 5-е изд. Гр. Джаншіева.—Унковскій, А. М., и освобожденіе крестьянъ, его же.—Настольный энциклопедическій словарь, вып. 79 и 80.
Объявленія.—I-XVI стр.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Рыболовство и законодательство. В. И. Вешнякова. Спб. 1894. Стр. 780 и 154. Ц. 4 р.

Оглавленіе настоящаго многолѣтняго труда, задуманнаго еще въ 1869 г., четверть вѣка тому назадъ, далеко не даетъ понятія о всемъ его объемѣ; изъ перечисленныхъ источниковъ, которыми авторъ воспользовался вполнѣ, можно смѣло заключить, что едва ли есть какая сторона въ изслѣдуемомъ имъ предметѣ, которой онъ не коснулся бы болѣе или менѣе подробно и обстоятельно. Не только законодательство, но и администрація рыболовства изложена сравнительно у всѣхъ первоклассныхъ народовъ Европы и Америки; къ историческому обзору рыболовства, начиная съ глубокой древности до настоящаго времени, какъ на западѣ, такъ и въ Россіи, присоединено описаніе рыбоводства, съ изложеніемъ постепенныхъ успѣховъ и пріемовъ рыбопромышленности, а также, рядомъ съ тѣмъ, и ученыхъ изслѣдованій, составившихъ задачу особой науки—ихтіологіи, рыбовѣденія. Самую главную и обширную часть всего труда составляютъ два послѣднихъ отдѣла, посвященныхъ рыбной администраціи и законодательству, вмѣстѣ съ международными учрежденіями, регулирующими рыбные промыслы въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуются международныя мѣры къ тому, чтобы рыбный промыселъ не превращался въ истребленіе населенія водянаго царства. По отношенію къ русскому рыболовству настоящій трудъ представляетъ особую цѣну, такъ какъ авторъ былъ поставленъ въ возможность пользоваться не только обширною отечественною литературою предмета, но и дѣлами министерства государственныхъ имуществъ по вопросамъ объ отечественномъ рыболовствѣ, а также и рукописными матеріалами, которые были ему весьма обязательно доставляемы отъ лицъ, стоящихъ во главѣ администраціи по рыболовству въ другихъ странахъ. Надобно желать, чтобы этотъ капитальный трудъ не остался безъ добраго вліянія на дальнѣйшій ходъ такой важной отрасли народнаго хозяйства въ странѣ, гдѣ наклонность къ хищничеству въ безмолвномъ водяномъ царствѣ можетъ одержать верхъ надъ его обиліемъ. „Къ сожалѣнію,—говоритъ самъ почтенный авторъ,—и тѣ немногочисленныя законоположенія, которыя предназначены для охраненія нашего рыболовства отъ хищническихъ пріемовъ, далеко не всегда соблюдаются, частію вслѣдствіе малаго знанія существующихъ законовъ, еще же чаще вслѣдствіе прямого пренебреженія ихъ рыболовами и полнаго отсутствія надзора за ихъ дѣятельностью". Почему же такой надзоръ отсутствуетъ?—Впрочемъ этотъ нескромный вопросъ выходитъ изъ круга изслѣдованій почтеннаго автора.

Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, изд. 1885 г. Н. С. Таганцева. Изд. 8-е. Спб. 94. Стр. 440. Ц. 2 р.

Въ новое изданіе вошелъ текстъ устава 1885 г., съ его продолженіями 1890—1893 гг., и извлеченіе изъ рѣшеній уголовнаго кассац. деп. по 1-ое янв. 1874 г., и изъ рѣшеній общихъ собраній по 1-ое янв. 1893 г., съ мотивами къ уставу о наказаніяхъ, извлеченіемъ изъ циркуляровъ министра юстиціи.

Изъ эпохи великихъ реформъ. Историческія справки Гр. Джаншіева. *Пятое* дополненное изданіе. М. 1894. Стр 716. Ц. 2 р. 40 к.

Унковскій, А. М., и освобожденіе крестьянъ. Историко-біографическія справки. Гр. Джаншіева. Съ 2-мя портр., fac-simile и приложеніями. М. 1894. Стр. 192 и 51. Съ благотворительною цѣлью.

О первомъ изданіи, въ формѣ сборника историческихъ „справокъ", у насъ говорилось не разъ по поводу предъидущихъ его изданій; настоящее, *пятое*—въ теченіе какихъ-нибудь двухъ лѣтъ съ небольшимъ—говоритъ уже само, безъ насъ, о своихъ успѣхахъ въ читающей публикѣ. Вмѣсто краткаго предисловія—къ новому изданію, авторъ помѣстилъ цѣлую „справку", названную, очевидно, новою ожидаемою эволюціею въ судьбахъ нашего правосудія,—подъ заглавіемъ: „Наканунѣ пересмотра судебныхъ уставовъ и новеллъ". Рискуя прослыть въ наше время радикаломъ, авторъ заявляетъ прямо, что, по отношенію къ вопросу о приведеніи въ порядокъ „пестрыхъ" новеллъ,—„только радикальное, т.-е. всестороннее проведеніе извѣстнаго начала можетъ обезпечить водвореніе связанныхъ съ нимъ благъ"—въ данномъ случаѣ, дѣло идетъ именно объ области правосудія; такое же „радикальное" мнѣніе, оказывается, высказалъ уже давно гр. Д. Н. Блудовъ: „многіе думаютъ,—писалъ онъ,—что правила благоразумія, будто бы, требуютъ не вдругъ заводить *хорошее*, но понемножку и по частямъ... У этихъ людей всегда на языкѣ недѣлость общества, неразвитость народа и тому подобное... Если вы хотите получить благотворное дѣйствіе отъ тѣхъ началъ, въ благотворности которыхъ не сомнѣваетесь, то дайте имъ *возможно большій* просторъ, да пустите ихъ дѣйствовать *съ наибольшей* силой, не компрометтируйте, не ослабляйте, не разрывайте связи, безъ которой они *теряютъ всякій смыслъ*". Правда, эти мѣткія слова произнесены лѣтъ 55 тому назадъ, а потому невольно напоминаютъ еще одну истину: „Ужъ сколько лѣтъ тверди міру"... Другое изданіе, посвященное доброй памяти А. М. Унковскаго, имя котораго неразрывно связано съ эпохою освобожденія крестьянъ, можетъ служить пока программою будущаго историческаго памятника, достойнаго имени А. М. Авторъ сравниваетъ свой симпатичный трудъ съ тѣмъ простымъ деревяннымъ крестомъ, который обыкновенно осѣняетъ могилу въ первые дни послѣ похоронъ; весьма вѣрное сравненіе—такой крестъ всегда и ставится съ самымъ теплымъ чувствомъ, съ какимъ не создаются впослѣдствіи самые великолѣпные мавзолеи.

Настольный Энциклопедическій Словарь. Вып. 79 и 80: Пафосъ—Паоосъ. Изд. А. Гранатъ и К°. М. 94. Стр. 1711—3790. Ц. по 40 коп.

Весьма существенно отличаясь отъ такого же петербургскаго изданія по краткости и сжатости содержанія статей, „Настольный" словарь имѣетъ и особое назначеніе — быть болѣе общедоступнымъ по цѣнѣ и удовлетворять читателя въ несложныхъ вопросахъ краткими фактическими указаніями. Вышедшіе выпуски содержатъ потому свыше 60.000 статей и уже составляютъ около $^2/_3$ всего изданія, такъ какъ все изданіе должно заключать не болѣе 120 выпусковъ; издатели обѣщаютъ послѣднюю треть Словаря окончить уже въ наступающемъ году.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1895 г.

(Тридцатый годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

— выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ год отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
	Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала . . . . 15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 80
Въ Петербургѣ, съ доставкою . . . . . 16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ —
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес. . . 17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ —
За границей, въ госуд. почтов. союза . . . . 10 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ —

Отдѣльная книга журнала, съ доставкою и пересылкою — **1 р. 50 к.**

Примѣчаніе. — Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ: въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года: въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается—**безъ повышенія годовой цѣны подписки.**

☛ Съ перваго октября открыта подписка на послѣднюю четверть 1894 г. ☚

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ *Петербургѣ*: 1) въ Конторѣ журнала, на Вас. Остр., 5 лин., 28; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера на Невск. просп., 14; А. Ф. Циндерлинга, Невскій просп., 20, у Полицейскаго моста (бывшій Мелье и К°), и Н. Фену и К°, Невскій просп., 42;—въ *Москвѣ*: 1) въ книжн. магаз. Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасникова, на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи.—*Иногородные* и *иностранные*—обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Спб., Галерная, 20; и 2) лично —въ Контору журнала.—Тамъ же принимаются

ИЗВѢЩЕНІЯ и ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Примѣчаніе.—1) *Почтовый адресса* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фамилію, съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства и съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожительствѣ подписчика.—2) *Перемѣна адресса* должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адресса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородніе, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., и иногородные, переходя въ городскіе—40 коп.—3) *Жалобы* на неисправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, *не позже* какъ по полученіи слѣдующей книги журнала.—4) *Билеты* за полученіе журнала высылаются Конторою только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ М. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:
Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., 5 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., Академ. пер., 7.

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER
BOOK DUE
JAN 2 8 1983
CANCELLED
JAN 7 - 1983
7-76040